

Д/4 (10-10-10)
М-62.

Владимир Минач

Поколение



БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУРЫ ЧССР

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

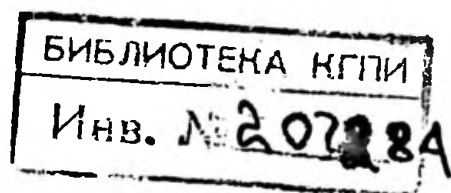
Н. И. Балашов
Ю. В. Богданов
Н. Н. Замошкина
С. В. Никольский
В. М. Озеров
В. Н. Павлов
О. С. Смирнова
В. С. Сохов
Б. В. Шуплецов

Владимир Минач

Поколение

Трилогия

*Перевод
со словацкого*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1974

Оформление В. Добера

188 02

188 02

Все части настоящей трилогии
вышли в свет на языке оригинала
и в переводе на русский язык до 1973 г.

М $\frac{70304-011}{006(01) - 74}$ 79-74



Martin's Mine's

ОТ АВТОРА

Я не ставил себе целью описывать недавние исторические события: скорее, меня интересовало то, как отражается движение истории на людях. Отражается — всего лишь вспомогательное, приблизительное выражение. Человеческое сознание не ограничено точными плоскостями, оно непостоянно и изменчиво, и угол падения не равен углу отражения. Реакция сознания бывает порой не только непредвиденна, но и непостижима: вот тема, рискованная, но и заманчивая. И ведь эта реакция сознания не немое, неподвижное отражение, а взаимосвязь и взаимозависимость, переплетение причин и следствий; человек повелевает событиями, он — их причина, но он же и продукт их. Мне кажется, что даже в прошлом честолюбие литературы (я говорю о литературе реалистической, и в первую очередь о прозе) заключалось прежде всего в том, чтобы вскрыть связь между событиями и сознанием человека, между причиной и следствием, и что социалистическая проза тоже должна обладать подобным честолюбием и исследовать эту связь, а не описывать случаи, она должна не просто отображать мир, но пытаться уяснить его суть и тем самым способствовать изменению.

Эта озабоченность судьбами общества и мира вызывает насмешки у многочисленных противников социалистической литературы; они твердят о ее дидактичности, перенасыщенности политической, о ее служебной роли. А мы знаем: в таком понимании роли литературы — наша великая сила и единственно возможный смысл искусства в будущем.

Я не собирался описывать исторические события, но и не думал превращать историю всего лишь в какой-то более или менее достойный фон, на котором разыгрываются некие психологические шарады. События истории не кулисы: они сама реальность, затрагивающая жизнь людей. А те пять лет, в рамках которых действуют герои моей трилогии, до отказа заполнены событиями: фашизм, война; Восстание, партизанская борьба; освобождение, победа революции. Такие события не только затрагивают жизнь людей — они переворачивают все: и общественный строй, и материальные ценности, и человеческие души. Они до основания изменили и нашу страну и привели ее от нищих, сонных, позорных, полных религиозного мракобесия времен на порог современного века, к социализму.

Мне хотелось запечатлеть движение как таковое, сам процесс изменения. Вот почему я сосредоточил свое внимание на одном

поколении словацкой интеллигенции. Следовательно, я держал в фокусе не тех, кто готовил эту перемену, кто имел решающее влияние на ход событий, кто возглавлял их; я рассматривал тех, кто сам подвергался изменениям. Тех, в чьих умах сложнее всего переплелись все эти взаимозависимости и взаимосвязи и на которых особенно выпукло сказались великие перемены.

Я хотел показать путь этого поколения от состояния смятения, позора и безысходности через разграничительную черту борьбы и расслоения к идеалам коммунизма. На этом пути мы встретим не только тех, кто дойдет до конца: есть здесь и такие (и количественно их, может быть, больше), кто не выдержит трудностей борьбы; есть и такие, кто выберет партию смерти.

Восстание — вот подлинная разграничительная черта. «Старая цивилизация рушится, и у всех нас крепнет сознание, что вместе с этой войной что-то безвозвратно идет к концу, а что-то новое рождается и что исход войны будет означать не просто новый предел границ, но и новое устройство человеческой жизни вообще». Так писал в дни Восстания известный словацкий очеркист и критик Александр Матушка. Эти слова могли бы стать эпиграфом ко второй части трилогии, роману «Живые и мертвые»: ведь (по крайней мере я того хотел) это роман о том, как «что-то безвозвратно идет к концу, а что-то новое рождается»; о том, как люди побеждали свое одиночество, принимая участие в общем деле, о том, как они прокладывали себе дорогу к будущему, и, конечно, о том, как на смертной грани отделялось зерно от плевел.

Я сознаю — да и наша критика не раз подчеркивала это, — что уже в самом моем замысле немало подводных камней. Моя трилогия — лишь суженный взгляд на какую-то часть Восстания и партизанской борьбы; не все движущие силы того периода истории изображены в ней, вы не найдете там законченных образов партийных работников или советских людей — их роль в Восстании и в партизанской борьбе неизмеримо более высока и решающа, чем можно прочитать в моих книгах.

Однако я считаю, что отдельный человек в отдельном литературном произведении не в силах дать всей полноты картины: ведь целое складывается из многих деталей. Но важно, чтоб эти частные детали согласовались с ходом истории. И еще важно, чтобы писатель не натягивал на себя чужую шкуру, не отступал от собственного сокровеннейшего опыта и не перешагивал ту черту, за которой он становится уже только глашатаем истории, а не ее эмоциональным участником и сотворцом.

поколении словацкой интеллигенции. Следовательно, я держал в фокусе не тех, кто готовил эту перемену, кто имел решающее влияние на ход событий, кто возглавлял их; я рассматривал тех, кто сам подвергался изменениям. Тех, в чьих умах сложнее всего переплелись все эти взаимозависимости и взаимосвязи и на которых особенно выпукло сказались великие перемены.

Я хотел показать путь этого поколения от состояния смятения, позора и безысходности через разграничительную черту борьбы и расслоения к идеалам коммунизма. На этом пути мы встретим не только тех, кто дойдет до конца: есть здесь и такие (и количественно их, может быть, больше), кто не выдержит трудностей борьбы; есть и такие, кто выберет партию смерти.

Восстание — вот подлинная разграничительная черта. «Старая цивилизация рушится, и у всех нас крепнет сознание, что вместе с этой войной что-то безвозвратно идет к концу, а что-то новое рождается и что исход войны будет означать не просто новый предел границ, но и новое устройство человеческой жизни вообще». Так писал в дни Восстания известный словацкий очеркист и критик Александр Матушка. Эти слова могли бы стать эпиграфом ко второй части трилогии, роману «Живые и мертвые»: ведь (по крайней мере я того хотел) это роман о том, как «что-то безвозвратно идет к концу, а что-то новое рождается»; о том, как люди побеждали свое одиночество, принимая участие в общем деле, о том, как они прокладывали себе дорогу к будущему, и, конечно, о том, как на смертной грани отделялось зерно от плевел.

Я сознаю — да и наша критика не раз подчеркивала это, — что уже в самом моем замысле немало подводных камней. Моя трилогия — лишь суженный взгляд на какую-то часть Восстания и партизанской борьбы; не все движущие силы того периода истории изображены в ней, вы не найдете там законченных образов партийных работников или советских людей — их роль в Восстании и в партизанской борьбе неизмеримо более высока и решающа, чем можно прочесть в моих книгах.

Однако я считаю, что отдельный человек в отдельном литературном произведении не в силах дать всей полноты картины: ведь целое складывается из многих деталей. Но важно, чтоб эти частные детали согласовались с ходом истории. И еще важно, чтобы писатель не натягивал на себя чужую шкуру, не отступал от собственного сокровеннейшего опыта и не перешагивал ту черту, за которой он становится уже только глашатаем истории, а не ее эмоциональным участником и сотворцом.

Время долгого ожидания

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ

Шел ноябрь тысяча девятьсот сорок третьего года, и за единственным окошком мансарды тоскливо вздыхал и шумел Горский парк. Люди в комнате были молоды и ни во что не верили. Они знали и о том, что веселье их убого и обманчиво. Им казалось, что они знают все о себе и о мире, и это все было таково, что лучше не думать и забыться.

В накуренной комнате стоял тошнотворно сладкий запах винных паров. Все пили, варили гог на чистом медицинском спирте, охваченные единственным желанием, чтобы эта мансарда превратилась в остров, отрезанный от остального мира неприступными стенами пьяного тумана. Но подлость их века была настолько сильна, настолько пронизывала все вокруг, что от нее не было спасения. Реальный мир был там, за окном, где независимо и призрачно качалась ветка старого ясеня. А тот, другой мир, жил в них самих; они были заражены ядом неверия, не могли верить, были отравлены болезнью пустоты, которую разверзали перед ними отсутствие веры и ее невозможность.

В застывшей тишине все думали о себе и о своем страхе. Потом вдруг резко, пронзительно вскрикнула Эма.

— Коричневое и черное! — крикнула девушка и продолжала кричать в пьяном безумии: — Коричневое и черное! Коричневое и черное!

Эта миловидная девушка, полная и белокожая, сейчас была пьяна, бледна; в слегка выпуклых, широко открытых глазах ее застыли страх и тоска. Девушка сжимала в руках стакан гогa, расплескивая его на высокую округлую грудь, и пьяно выкрикивала:

— Коричневое и черное! Ать-два! Коричневое и черное!

Девушка была пьяна и кричала все громче и громче. Все чувствовали, что в ее крике все сильнее звучат тоска

и страх. И все боялись, что и их захлестнет та, другая действительность, настоящая и самая реальная.

И тогда полуодетый, одиноко лежавший на постели в стороне от всех капитан закричал:

— Вольно! Запевай!

И все обрадованно запели, стараясь заглушить в себе страх. Песня была вся пропитана духом коричневой чумы. Это была знаменитая песня под названием «Denn wir fahren...»¹. В ней говорилось о крови, о расе, в ней звучал миф о завоеваниях. Они пели вызывающе и насмешливо, маршируя, как на параде, вокруг стола, ревели и топали, желая заглушить слова песни. Они останавливались, переводили дух, с жадностью глотали глоток. А потом снова раздавался вызывающий рев, в котором все громче звучал страх, и снова они, топая, заглушали слова, от которых как бы поднимались кровавые испарения. Казалось, люди не в силах были оборвать и этот рев и этот топот. На мгновение они ощутили, что безумие мира ворвалось в эту комнату, что оно затопило ее всю до отказа, и вот уже нет ничего, кроме страшного безумия. И надо маршировать, и топать, и реветь, пробиваться сквозь густые потоки крови, хлынувшие сюда, в мансарду, со всех фронтов, со всех морей и рек, с земли и воздуха. А потом они обессили.

— Шикарно, — сказал Валер, когда все смолкли и тишина стала почти угрожающей. Валер, красивый бледный юнец, имевший богатого дядюшку, был неотъемлемой частью всех пирушек. — Шикарно, — повторил он и засмеялся. Но больше никто не засмеялся, все ясно чувствовали, что они разбиты, жалки и ничтожны, что они не заглушили, не затоптали миф о крови, расе и завоеваниях, не изгнали его из комнаты — он остался здесь и, бесцеремонно развалившись, злорадно, с дьявольской ухмылкой скалит зубы.

Девушка бессильно лежала на полу — ее пухлые щеки вздрагивали. Капитан, отрешившийся от всего, снова уставился в потолок; он чувствовал легкое презрение к остальным, ведь он обладал обширным опытом, бывал и не в таких переделках, как они.

¹ Denn wir fahren gegen England...» (нем.) — «Так мы плывем в Англию...». — Здесь и далее примечания переводчиков.

Молодой аптекарь, присев на корточки, варил новую порцию грога.

Марек съежился в темном углу, чувствуя себя до тошноты отвратительно. А ветка старого ясеня за окном мансарды по-прежнему качалась независимо и призрачно.

Аптекарь поднял голову, и его блестящие черные усики зашевелились.

— Новая Европа, — сказал аптекарь, — это массовое производство дрожжей. Мы обречены и должны стать дрожжами. Значит, мы погибнем в химическом процессе, но послужим закваской для нового хлеба.

Аптекарь был сверх меры порядочен, а главное, практичен. Но на досуге мечтал быть оригинальным, и поговаривали, будто он тайком пишет стихи.

— Плевать мне на твой хлеб, — сказала Эма, не поднимая головы. Она недолюбливала аптекаря за его нахальные усики и за то, что он самоуверенно считал себя любимцем женщин.

— Новая Европа! — язвительно фыркнул из угла Марек. — Нашим кожевникам новая Европа по душе. Они выгодно сбывали гардистам немало кожаных ремней. Что ж, новая Европа — весьма почтенный гешефт в наилучших старых традициях.

— Браво, Марек! — насмешливо воскликнула Эма. — А Марек, оказывается, остроумен.

— Шикарно! — захохотал Валер, искренне убежденный, что все на этом свете смешно и весело.

Капитан по-прежнему лежал одинокий и отрешенный, уставившись в потолок. Все слова для него звучали бессмысленно. Он удивлялся людям, старавшимся понять мир с помощью слов. Как будто можно хоть что-то в этом мире объяснить словами.

— И кожевники тоже дрожжи, — оскорбленно заявил аптекарь. — И кожевники и гардисты, все они только дрожжи.

— Шикарно, — захохотал Валер, — лично я в качестве дрожжей чувствую себя весьма недурно.

«Ты прихлебатель и паразит, — подумал Марек, но промолчал. — Если тебя раздавить, — хотел он сказать, — то после тебя ничего не останется, кроме вони». Он не сказал этого, потому что трудно было обидеть Валера, это непосредственное, добродушное животное. Но в Ма-

реке росла злость, она поднималась волна за волной, заполняя все его существо. «И откуда во мне столько злости?» — спрашивал он себя, страдальчески щуря глаза.

Эма била ногами по тонкому ковру и кричала:

— Ну, скорее, скорее! Чего ты там копаешься?

Ей хотелось напиться, как можно быстрее опьянеть, словно от быстроты, с какой ее охватит опьянение, много, очень многое зависело. А может, и в самом деле это было важно.

Капитан все лежал, отрешенный и независимый, уставившись в потолок. Он видел там все время одно и то же: жестяную табличку и крест с каской, а на жестяной табличке надпись. Надпись была неясная, но капитан знал, что там написано его имя, — он отчетливо видел собственную могилу. А рядом со своей могилой множество других солдатских могил. Капитан имел право думать об этом, имел право видеть свою собственную могилу и много других могил. Полгода назад его зенитную батарею вдребезги разбили на Востоке, разбили так, что не осталось ни орудий, ни подчиненных.

Грог был готов.

— Шикарно! — воскликнул Валер. — Выпьем за дрожжи!

Аптекарь пошевелил блестящими усами.

— За дрожжи! — сказал он. — И за новый хлеб! Не следует забывать о новом хлебе!

— Дурак, — сказала Эма и залпом выпила горячий грог. — Дурак, — повторила она. — Кто же будет жрать твой новый хлеб? Некому будет его жрать.

Марек молчал. Он чувствовал, как его душит злость, как новые и новые волны ее разливаются по телу, казалось, он явственно ощущает, как в нем струится отравленная кровь. «И откуда во мне столько злости?» — повторял он все время про себя и не находил ответа.

«Почему все столько говорят?» — размышлял капитан. Ему были смешны попытки говорить о вещах, которые нельзя объяснить словами. Теперь он видел не жестяную табличку, а ствол орудия. Ствол пушки был разбит, жерло превратилось в цветок с причудливым синим венчиком, над которым застыло бездонное голубое небо. Страшное и прекрасное зрелище, таившее в себе глубокий смысл. Тогда, помнится, он на мгновение

очень ясно почувствовал этот глубокий смысл; сейчас он напрасно силился воссоздать то мгновение. Осталось лишь воспоминание, сознание, что он прикоснулся к чему-то важному, глубокому, значительному.

Смеркалось, призрачно и немного таинственно качалась за окном ветка ясеня.

Они снова варили грог и снова пили, пели хрипылыми голосами и в короткие промежутки, наступавшие во время подогретой веселости, испытывали тоску и страх перед пустотой, окружавшей их. Потом мир зашатался, расплылся в тумане, и наступило забытие.

Девушка неподвижно, точно мертвая, лежала на полу. В уголках губ выступила слюна. Аптекарь давно перестал философствовать. Он сидел на полу возле девушки и узкими холеными пальцами поглаживал ее высококую грудь. Валер покачивался на стуле, нахлобучив на голову кастрюлю, из которой на его красивое лицо текло что-то жирное.

Марек скрипнул зубами, не переставая удивляться: и откуда берется столько злости? Капитан не сводил глаз с потолка, но не видел уже ничего — ни жестяной таблички, ни причудливой красоты синего венчика разбитого жерла пушки.

Потом капитан поднялся с постели и пошел в одних носках, такой большой и громоздкий, что заполнил собой всю комнату. Он нагнулся над аптекарем и ударил его по рукам:

— Пшел прочь, как тебе не стыдно?

И, легко подхватив девушку на руки, положил ее на постель. Потом направился в темный угол к Мареку и долго с пристальным вниманием смотрел ему прямо в глаза, но не увидел ничего, кроме тусклого блеска очков.

— Выпьем, — сказал капитан. — Выпьем за это свинство.

Они молча выпили.

2

Марек сидит на лестнице. Как он сюда попал? Лестница крутая и темная, вокруг стоит кромешная, почти ощутимая тьма. Марек сидит в тяжелой удушливой темноте, выбитый из времени и пространства. В этой тьме

нет ничего, кроме знакомого, старого чувства заброшенности, одиночества и страха перед одиночеством.

(Он проснулся среди ночи. Он совсем один, и вокруг него темнота, он хорошо знает, что один во всем доме, во всем мире. Он молится, потому что ему всего семь лет, и единственное, что может помочь ему против одиночества, страха и темноты, — это молитва. Он молится горячо, и тем горячее его молитва, чем сильнее страх и чем сильнее сомнения в пользе молитвы.

Он совсем один, и его обступают тьма и страх, и он молится, сомневаясь в силе молитвы. Он не может закричать: «Мама, я боюсь!» У него нет матери, он никогда не видел ее и, хотя знает от других детей, что это слово означает спасение, спасение и безопасность, не может произнести это слово — ведь для него оно ничего не означает. Он совсем один, и тьма вокруг него угрожающе сгущается, душит его, нагоняет страх, принимает сотни образов, мешает молиться. Мальчик вскрикивает — это дикий предсмертный вопль, он кричит: «Отец! Отец!» Это дикий крик, словно кричит уже не мальчик, а сам первобытный ужас перед одиночеством, тьмой и смертью. Но отец далеко, он не слышит сына — он слушает цыган в трактире; мальчик знает, что отец далеко, что он его не услышит, и ненавидит отца за это, ненавидит его за свой ужас, за свой страх, за свое одиночество...)

Марек сидит на лестнице, вокруг него густая враждебная тьма, и он снова, как в детстве, испытывает простой, наивный ужас перед одиночеством и тьмой. Теперь он не молится, ему уже двадцать три года, и он давно разучился молиться. Он совсем не противится этому страху и подсознательно чувствует, что этот животный детский страх ничто по сравнению с его страхом взрослого, опытного человека. Нет, Марек не боится этого естественного страха: это знакомый страх, в нем есть что-то приятное и грустное, потому что он напоминает ему детство.

Потом темнота и одиночество внезапно обрываются. Кто-то открывает дверь, внизу по крутой лестнице прыгает свет фонарика. Марек возвращается к действительности. Он слышит за своей спиной, за дверями мансарды пьяный, хриплый женский крик — это кричит Эма.

Свет фонарика, прыгая по ступенькам, мелькает по лицу Марека, возвращается к нему и застывает. Потом свет гаснет, тьма становится еще гуще, и в этой полнейшей темноте слышится мягкий, бархатный, угодливый голос:

— Это вы?

— Как видите.

— Она вас зовет...

— Не пойду.

— Она вас зовет. Услышала ваш голос и зовет.

— Нет, я не приду. Не пойду.

— Но сейчас вы должны пойти.

Бархатный голос становится еще бархатистее.

— Она услышала ваш голос и теперь волнуется. Все время зовет вас.

Бархатный голос звучит убеждающе, он уверен в том, что имеет право убеждать. И Марека действительно встает. И голова пустая, во рту отвратительный привкус. Человек с бархатным голосом освещает ему дорогу.

— Сейчас вы должны идти, — шепчет он заискивающе и мягко, — вы один можете образумить ее.

— Что это значит? — спрашивает Марека. — Что это значит — образумить?

И бархатный голос убедительно объясняет, что образумить — значит уговорить Ирену лечь в больницу. «Он просто хочет избавиться от нее», — приходит Мареку в голову.

— Вы хотите от нее избавиться, — говорит он.

Бархатный голос возражает. Он пытается притвориться оскорбленным, но это ему плохо удается.

— Вы хотите от нее отделаться, — упрямо повторяет Марека. — Вы хотите от нее отделаться, потому что она еврейка.

Человек с бархатным голосом взвизгнул. Марека коснулся самого чувствительного места.

— Как вы можете так думать? — сказал человек с бархатным голосом, и в его голосе на этот раз прозвучала почти искренняя обида. — Ну как вы можете так думать?

«Я уверен в этом», — хотел сказать Марека, но промолчал. Все слишком очевидно, слишком ясно. Четыре года назад, когда Ирена выходила замуж за этого чело-

нека с бархатным голосом, тому было даже на руку, что она еврейка, ведь ее отец владел винокуренным заводом, у него водились деньжата. И в то время, когда человек с бархатным голосом покупал эту виллу на деньги Иринино отца, было даже хорошо, что она еврейка. Но времена изменились, и сейчас скверно, что Ирена еврейка, очень скверно. Счастье еще, что она умирает.

Марек спускался вниз по крутым ступенькам, а человек с бархатным голосом светил ему. На первом этаже он остановился и, вздохнув, сказал:

— Ведь она совсем не еврейка. Она давно крестилась.

— Еще счастье, что она умирает, — ответил Марек.

Больше они не разговаривали. Человек с бархатным голосом, очевидно обиженный, умолк. Он обиделся по-настоящему. А Марек теперь думал об Ирине, и даже не столько об Ирине, сколько о смерти, об умирании, обо всем, что с этим связано. Во рту он чувствовал противный привкус. Ему было отвратительно все хоть как-то связанное со смертью, с умиранием. Всякая мысль о смерти, умирании и гибели была ему противна, потому что он знал, что все эти мысли гнездятся в нем, что они засели где-то глубоко, таятся в неизведанных глубинах, но могут вынырнуть в любую минуту. Поэтому он очень неохотно шел к Ирине, ведь лицо Ирины давно потеряло краски, она давно лишилась здоровья и красоты, у нее осталась только надежда на смерть — ведь вид умирающей Ирины мог вызвать на поверхность загнанные вглубь мысли и утопить в слабости и без того слабого Марека.

Марек боится собственной слабости, боится, потому что у него нет ни сил, ни желания жить. Но он идет прямо и без колебания к постели Ирины, он с детства учился преодолевать свою слабость, и живет он, собственно, тем, что преодолевает свою слабость.

Ирена лежит высоко на подушках и улыбается.

Человек с бархатным голосом, ее муж, остановился в дверях, но Ирена его не видит, она видит одного Марека, с Марекком к ней входит то, о чем она неотступно думает, — ее молодость. Поэтому Ирена улыбается и говорит:

— Садись, садись так, чтобы я тебя хорошо видела.

Марек садится, глаза его скользят по комнате, хватают обычные предметы — зеркало, кресла, ночной столик, лекарства. Все видят, на всем останавливаются глаза Марека. Одного только стараются они не замечать — лица Ирены. Это лицо принадлежит уже не Ирене, а тому, кто уходит из жизни, угасает.

Ирена видит испуганные глаза Марека и перестает улыбаться.

— Боишься? — спрашивает она серьезно и печально.

— Нет-нет, совсем не то, — отвечает Марек.

— Нет, совсем не то, — повторяет как эхо Ирена. — Только слегка неприятно, да? Неприятно видеть умирающего?

Марек лишь ниже опускает голову и молчит, пытается всеми силами превозмочь в себе эгоистическое отвращение, пытается почувствовать к умирающей любовь и сострадание. «Я мерзкий, — убеждает он сам себя. — Мерзкий эгоист, если меня больше мучает необходимость смотреть, как она умирает, чем то, что она вообще умирает». Он пытается думать о тайных поцелуях в рёслеровском саду (таких волнующих!), о том времени, когда ему и Ирене было по шестнадцать лет и они были твердо уверены, что любят друг друга. Но ни одно из этих чувств не возвращается — ни приятная слабость, ни головокружительная радость, которые уносили их прочь от всего земного, — ни одно из этих чувств не возвращается, они окаменели, они мертвы, потому что ожить им мешает умирающая Ирена. Ирена смотрит на склоненную голову Марека, она больше не улыбается, ее лицо печально, она все понимает.

— Решетки, — говорит Ирена задумчиво и грустно, — помнишь решетки? На нашем доме было множество решеток, сплошные решетки.

— Да, — отвечает Марек, — вы отгородились решетками.

Рёслеровский дом был весь обнесен решеткой, отгороженный от всего остального мира своим богатством. Бедного студента Марека кое-как терпели за решетками и иной раз угощали отличными блюдами, но вкус их был горек.

— Всю жизнь я прожила за решетками, — сказала Ирена. — Да-да, в тюрьме. Сначала потому, что была богата, а после потому, что была еврейка.

Теперь Ирене все стало очень ясно, все стало очень просто и ясно! Разве не ясно, что вся жизнь прошла в тюрьме? И все же сейчас ей было жаль покидать эту тюрьму.

Муж, человек с бархатным голосом, все еще стоя в дверях, сказал:

— Ирча, Ира, не говори так. Какая тюрьма? И кроме того, не забывай, ты не еврейка. Тебя же крестили.

— Я еврейка, — повторила Ирена, и Марек теперь видел ее глаза, горящие тоскливым отчаянием, и при виде ее тоскливого отчаяния он сразу чувствует, что она ему близка. Внезапно чувство отвращения исчезает, Марек все понимает, и ему становится тоскливо, он приходит в отчаяние, словно он сам умирает вместе с Иреной.

— Ты крестилась, — снова сказал человек с бархатным голосом, — не следует это забывать.

— Я еврейка, еврейка, да, еврейка! — Ирена приподнялась на подушках, задыхаясь от ненависти к человеку с бархатным голосом, от ненависти к своему мужу. Потом закашлялась и откинулась на подушки. Марек вскочил, подошел к человеку с бархатным голосом и схватил его за грудь, ощущая дикое желание ударить, ударить этого лицемера и лгуна, разнести в клочья, уничтожить. Но он не ударил его, а только сказал, прохрипел ему прямо в лицо:

— Вы зверь, вы не смее! Неужели вы не видите, что вы ее убиваете, — проговорил он, — вы зверь!

И вытолкнул его из комнаты, захлопнув за ним двери. Ирена закашлялась, на лбу у нее выступили капли пота, а в уголках губ показалась розовая пена. Теперь Марек не испытывал отвращения, он лишь злился на человека с бархатным голосом и чувствовал отчаяние за Ирену. Он с нежностью вытер ей пот со лба, вытер и розовую пену. Потом взял ее руку, худенькую, словно у ребенка, очень влажную и прозрачную.

Ирена, не открывая глаз, прошептала еле слышно:

— Марек?

— Да, да. Я здесь.

Через окно в комнату проникала ночь, плыл запах дождя и прелых листьев. Капитан лежал на полу, прикрытый шинелью, заложив руки за голову, и размышлял о том, что казалось ему невозможным и невероятным. Ему уже надоело думать о смерти, и потому сейчас он придумывал такой, по его мнению, невероятный случай, что он останется в живых и выйдет целым и невредимым из этого огромного царства смерти, думал он и о том, что станет делать, если будет жив. «Сброшу форму, — рассуждал он, — первое, что я сделаю, — сброшу форму. А потом? Потом буду жить простой, спокойной жизнью. А есть такая жизнь? Черт его знает, может, и есть. А для чего такая жизнь? Чтобы жить. Надо жить, если уж мы родились на свет, и не следует задавать себе глупых вопросов о жизни, надо просто жить!»

Потом капитан Лабуда попробовал представить себе эту простую, немудреную жизнь, и это была жизнь на отцовской мельнице. Мельничный стук. Ленивая речка. Ленивые солнечные дни развалились на лугах. Отец сидит на треногом стуле в тени шелковицы и читает газету. Во дворе остановилась повозка. А он — грязный, небритый, со всклокоченными волосами, в разорванной рубаше — носит мешки. «Поднимете два?» — «А вы накладывайте, дядюшка, не бойтесь. Вот так». — «Еще один?» — «Еще один, право, прибавьте еще один, ничего, не бойтесь». Потом он шагает, напрягая все свои немалые силы, потому что ноша вот-вот придавит его. Он шагает внешне спокойный, улыбаясь, и о тяжести мешков можно догадаться лишь по вздувшейся на лбу жиле. Вот это работка, вот это силач! И отец откладывает газету и говорит: «Теперь такие молодцы не рождаются, ей-богу, нет. Когда-то, давным-давно, рождались, а сейчас — нет, сейчас разве что случайно родится такой молодец. И все потому, — объясняет отец, — что раньше люди жили здоровой жизнью, не то что теперь». И еще долго рассуждает о том, какие настали плохие времена и люди стали жидковаты, и о том, как раньше все было иначе. А мельница стучит, травы благоухают, и лето лениво раскинулось над полями и сонно дышит.

«Да, вот это жизнь, такая жизнь мне и нужна», — размышляет капитан, хотя знает, что такая жизнь невероят-

на и невозможна, что такая жизнь утеряна для него, утеряна безвозвратно. Но ему приятна даже самая мысль о такой жизни, ему доставляют удовольствие такие мысли, и он кокетничает с ними, хотя знает, что такая жизнь для него невозможна и навсегда потеряна.

Потом скрипит постель, и мгновенно пропадают и мельница, и шелковица, и отец с газетой и улечивается аромат лета — все исчезает, и остаются лишь унылые капли дождя за окном и ослепительные лучи прожекторов, бессильно теряющиеся в низких облаках:

— Вы спите? — спрашивает Эма.

Капитан Лабуда прекрасно понимает, почему девушка обращается к нему, но делает вид, что спит, и молча закрывает глаза.

— Вы спите? — повторяет Эма, касаясь рукой его лица, но капитан притворяется спящим и начинает глубоко и мерно дышать — пусть она убедится, что он действительно спит.

— А мне не спится, — вздыхает Эма, и постель снова скрипит.

Эма лежит на постели, беспокойно ворочается с боку на бок, чувствуя отчаянное желание покончить разом со своими долгими мучениями, со своими бесконечными мучениями. Ей очень тоскливо, она знает, что снова теряет случай избавиться от своих мучений, что опять ничего не произойдет и мучениям не будет конца. Как страстно она желает, чтобы это произошло, и как боится, что это произойдет! Как она ненавидит свою неопытность, как стыдится ее, как маскирует под внешней грубостью и резкостью! Как ей хочется, чтобы это произошло, и как она боится, что то, что произойдет, будет лишь грустью и пошлостью, не больше.

Капитан прекрасно понимает, что значит, когда девушка мечется на постели и не может заснуть, он понимает, чего она от него ждет. Но Эма ему не очень нравится — слишком уж она податлива и слишком уж явно вешается ему на шею. Поэтому капитан молчит, притворяясь спящим.

Но Эма решила, она полна решимости — сейчас или никогда. Она встает с постели, сбрасывает с себя одежду. Торопливо срывает залитую вином, не очень свежую блузку, скорей, скорей, только бы не потерять решимости; она сбрасывает с себя юбку, дрожащими

пальцами отстегивает чулки, скорей, скорей, теперь нельзя думать, теперь нужны лишь движения рук, ног и пальцев. Обнаженная, она стоит возле постели, в темноте тепло белеет ее полное тело, она проводит по груди руками и вздыхает, глубоко вздыхает: «Боже мой, что я делаю?»

Но капитан уже не притворяется спящим, нет, глаза его широко открыты, он видит, как теплая белизна тела заполняет собой всю комнату, как она расползается, обволакивает его со всех сторон, как поднимаются и шумят жаркие волны, струящиеся от белого женского тела.

Эма проводит руками по высокой груди, поглаживает полные бедра, не переставая думать: «Боже мой, что я делаю?» Она вздыхает, и снова ее охватывает отчаяние, она чувствует, что зашла в тупик, что не в силах ничего сделать, не в силах двинуться с места, и боится, что у нее не хватит решимости, что снова ничего не произойдет и ее мучениям не будет конца.

Но капитан уже давно забыл, что Эма ему не очень нравится, теперь он чувствует лишь жаркие, идущие от белого тела волны, и в голове шумит гулкий прибой. Его пальцы уже касаются ее тела, чувствительные, опытные пальцы касаются плеч, скользят вниз, а Эма дрожит от страха и пронизывающей сырости, ползущей через окно в комнату.

— Иди сюда, иди, — шепчет он, — иди, ну, не бойся. Боишься? Ну, иди сюда, не бойся, не надо бояться.

Но Эма боится, сейчас она просто боится, все остальное исчезло и ушло, остался только страх, физический страх и отвращение к мужским жадным рукам, касающимся ее тела. У нее одно желание — очутиться далеко-далеко, где-то очень далеко, остаться совсем одной, выплакаться в этом далеком одиночестве.

— Иди сюда, ну, иди, не бойся, нечего бояться, — шепчет ей капитан, возбужденный ее страхом. — Иди, иди же, Эма, Эмочка, иди и не бойся, — нашептывает капитан, распаленный горячим, полным, белым телом и страхом, в котором оно бьется.

А Эме по-прежнему страшно, она злится на свой страх, но не может ничего с собой поделать, потому что ее тело охвачено страхом. Оно стало чужим, совершенно независимым. А прикосновения мужских рук все

смелее и настойчивее, тело Эмы напрягается от страха, ужаса и тоски и еще чего-то.

— Нет! Нет! — кричит Эма и всхлипывает, без конца всхлипывает...

Потом Эма лежит, закрыв глаза, и перестает всхлипать, стихает и пытается ощутить свое тело. «Все было так, как я и ожидала, — мучительно, бессмысленно, грязно», — думает Эма, прислушиваясь к своему телу, но оно говорит о чем-то ином, оно ликует, освобожденное и успокоенное. Опытный в таких вещах капитан предлагает ей сигарету.

— Закури, это успокаивает, — говорит он, но Эма молчит.

Глаза ее закрыты — она прислушивается к своему телу. В нем что-то ликует, и в ней рождается новое, неизведанное чувство, чувство любви к собственному телу.

Капитан закуривает, при свете зажженной спички он видит лицо Эмы, и сейчас оно снова ему не нравится, и особенно двойной подбородок, который старит Эму, придает ей сходство с торговкой. Но у капитана мягкое сердце, он жалеет всех женщин, с которыми он близок, жалеет, чувствуя, что оскорбляет их, жалеет он и Эму, которая сейчас ему не нравится, у нее двойной подбородок, и она похожа на торговку.

— Прости меня, Эма, — говорит он поэтому, — прости, я не знал.

— Чего ты не знал?

— Не знал, что ты еще ни с кем не была близка.

— Ах, так.

Эме совершенно безразлично, что говорит этот человек, лежащий рядом с ней, она внимательно прислушивается к своему телу, и в ней поднимается любовь к нему, она чувствует теперь, что нет больше в ее теле ничего таинственного и нечистого, что нечистая тайна исчезла, и ей легко и радостно.

— Я этого не знал, Эма, прости меня, — повторяет капитан.

Он и в самом деле не знал, кто бы мог подумать? Она выглядела опытной, разыгрывала из себя очень опытную женщину, откуда он мог знать, что она еще ни с кем не была близка? Ах, черт побери, и в самом деле скверно! Теперь он чувствует нечто вроде ответственности перед Эмой, и поэтому Эма становится ему

еще противнее, он уже ничего не видит, кроме двойного подбородка, придающего ей сходство с торговкой.

— Дай мне сигарету, я закурю, — говорит Эма.

Капитан зажигает сигарету и видит ее лицо, бледное, с мягкими, расплывчатыми чертами, словно рыхлое тесто.

«Ах, черт возьми! — ругает себя в душе капитан. — Что я натворил?!»

Эма курит с наслаждением, чувствуя себя независимой от этого человека, который лежит рядом с ней, чувствует себя независимой от всего мира. Ей кажется, что она угадывает мысли человека, лежащего рядом с ней, и не может удержаться от желания чуточку подразнить его.

— Как же мне называть тебя? — спрашивает Эма. — Как называть, если мы так близки? Янко? Яничек?

— Как хочешь, — грубо отвечает капитан. «Что я натворил, что я только натворил?! Ох, уж эти мне девицы, черт побери, кто в них разберется?»

Но Эма вдруг становится серьезной, она слегка оскорблена за свое новое чувство независимости, перестает смеяться и говорит серьезно и обиженно:

— Уж не воображаешь ли ты, Янко, Яничек, что я кинусь тебе на шею? Повисну, как шнурочек с золотым сердечком?

— А вот этого-то я как раз и не думаю, — говорит капитан. — Ни минуты о тебе так не думаю, — лицемерно говорит он, радуясь, что все разом стало на свое место, и вместе с тем досадуя, что она так легко от него отказывается.

— Ты больше не придешь? — спрашивает через минуту капитан.

— Нет, не приду, — твердо отвечает обиженная Эма.

Они молчат, и Эма снова прислушивается к своему телу. Но ее тело говорит — придешь, придешь, ты не можешь не прийти.

4

А внизу в том же доме лежит Ирена, молодая женщина при смерти. Она готовится в долгий, в самый долгий путь, в бесконечное чудесное путешествие вне времени и пространства. В руке она держит узелок, в узел-

ке спрятаны все земные радости и печали; их было так мало — и радостей и печалей, — что они уместились в скромном узелочке. Ведь у человека, стоящего у врат вечности, все, что осталось, может уместиться в жалком узелке: немного маленьких радостей детства, немного больших печалей, несколько чудесных воспоминаний...

Ирена лежит, не открывая глаз, длинные черные ресницы слегка вздрагивают — красивые ресницы, последние следы былой красоты.

— Ты здесь, Марек?

— Да, здесь. Я рядом с тобой, Ирена.

— Хорошо, Марек, очень хорошо. Мне столько хочется тебе сказать. Я никому этого не могу сказать, только тебе, Марек.

— Тебе нельзя много разговаривать, Ирена.

— Нет-нет, теперь уже можно. Теперь мне все можно, Марек, понимаешь?

— Ты должна беречь себя, Ирена.

— Нет, теперь уже мне все можно. Понимаешь, Марек?

— Ах, Ирена...

Глаза у Ирены закрыты, ресницы вздрагивают все сильнее, и глаза под опущенными веками наполняются слезами. Ах, Ирена слишком хорошо знает, что у нее нет надежды, она слишком умна, чтобы сохранять какую-либо надежду, но она не в силах заглушить жалость к самой себе; в такие минуты, когда она чувствует к себе сострадание, ей становится бесконечно жаль себя.

— Не бойся, Марек, — говорит она, поглаживая руку Марека. — Я не боюсь...

Но голос ее, этот дрожащий, жалобный детский голос, голосок ребенка, которого сильно обидели, дрожит и срывается. Из-под опущенных век скользит слеза и катится по худой пожелтевшей щеке.

— Ну вот, — говорит Ирена, — видишь, какая я глупая? Я плачу...

Какой-то частью сознания Марек жалеет Ирену, жалеет нежно и глубоко, а другая внимательно наблюдает за этой жалостью. Это не эгоизм, а самоистязание, давнишняя привычка наблюдать за собой, ввевшаяся привычка смотреть на себя со стороны, мучительная борьба за внутреннюю правдивость — болезнь всех излишне чувствительных людей. И он наблюдает за своей жало-

стью и пытается найти то, чего в ней нет, фальшивую ноту, притворство, ибо самоанализ — это самоподозрение.

— Поплачь, Ирена, поплачь, от слез тебе станет легче, — говорит Марек, успокаивающе прикасаясь к ее худой, прозрачной руке. И злится сам на себя, и уличает себя в бесчувственности, потому что у него нет других слов, а есть лишь обычные, глухие и пустые слова.

— Нет, — отвечает Ирена, — эти бесконечные слезы не дают облегчения. Этим слезам нет конца, понимаешь?

Нет, он не понимает, как он может понять? Это недоступно ни уму, ни, пожалуй, чувствам другого человека. И Ирена ощущает это не умом, а, скорее, болезненно обостренным чувством приговоренной к смерти, это чувство открывает ей вещи, скрытые от прочих людей, непонятные им. Она постоянно слышит плач, похожий на пронзительный вой чудовищного хора теней. Стоит ей только закрыть глаза, она слышит плач и завывания, ей чудится, будто она различает тени, и эти тени более реальны, чем зеркало, потолок, лампа, лекарства. Этот плач преследует ее неотступно — это бездонная скорбь обреченного, скорбь без страха и все-таки ужасная, бесконечная.

Нет, Марек ее не понимает. Как он может ее понять? Ирена многое узнала о людях — у нее теперь много времени, и она думает, думает, у нее много, очень много теперь тихих, одиноких часов для раздумья. Муки и ожидание смерти делают ее мысли очень четкими; отсюда, с постели, с которой уже ей никогда не подняться, она видит истинную цену вещам и людям. Здесь конец всякому притворству, сорваны последние маски, которые носят в мире здоровых даже самые искренние люди, спасаясь от самих себя. Вот Марек, он искренен, до жестокости искренен по отношению к себе, и все-таки и он не снимает своей последней маски — маски мудреца. Он создал божество из собственного разума, верит в него и поклоняется ему, не позволяя себе усомниться в нем, и как он страшится той минуты, когда его разум окажется жалким и ничтожным, он прячется от этого страха под маской мудреца. Ах, Марек, как ты растеряешься, как будешь опустошен и беспомощен, когда пробьет твой час!

— Марек, Марек...

- Я здесь, Ирена. Не бойся.
- Я не боюсь. Мне только жаль.
- Жаль...
- Жаль всего. Тебя и себя, всех. Всего жаль.
- И меня?
- И тебя. Всех.

Марек не понимает. Да и как он может понять? Он готов даже усмехнуться, он даже на мгновение подозревает Ирену в сентиментальности. И тут же ему становится стыдно своего подозрения, он бичует себя за него и вместе с тем наблюдает, нет ли в этом самобичевании притворства.

Ирена слабо пожимает руку Марека, пристально наблюдая за ним, словно читает его мысли.

— Тебе надо быть ближе к людям, — говорит она, — бежать от самого себя, понимаешь? Трудно жить в одиночестве. И умереть в одиночку трудно.

— Каждый умирает в одиночку, — угрюмо говорит Марек.

— Нет, нет. Каждый умирает с теми, кого он любил.

— Это романтика.

— Нет, это правда. Ты должен покориться, Марек.

— Любить и покориться. Как Христос?

— Христос — холодный пророк. Разве ты не чувствуешь, как он бесчеловечно холоден? Он возвысился и стал богом, чтобы избежать людских искушений. Это лицемерие.

— Как Алеша? Как Карамазов?

— Нет, тот просто фантазер. И все это придумано.

— Так как же?

— Как человек, который знает, что он смертен. Как человек, носящий в себе страх и потому любящий других.

— И потому любящий других?

— И потому добрый к другим.

— Ах, Ирена, — вздохнул, помолчав, Марек, — боюсь, что все это только слова.

— Слова умирающей, — сказала Ирена, строго сведя брови в тонкую-тонкую линию.

Марек снова вздохнул, выпустил руку Ирены, отвел глаза и уставился в пол. Его эгоистическое «я» вновь взбунтовалось. Он не желает страдать, не желает будить страх, который, он знал, таится где-то в глубинах обыч-

ной жизни, под обычными мыслями. Он не желает страдать! Он испытывает естественное отвращение к страданиям, ибо слишком слаб, чтобы их переносить.

— И все же это только слова, — повторил он упрямо, решив не переступать границы, за которой таился страх. Сейчас Марек даже злился на Ирену, злился за то, что она, умирая, старается и его заставить думать о таких вещах, о которых ему не следует думать.

— Мы не понимаем друг друга, — сказала Ирена. Глаза ее снова закрылись, с лица исчезло легкое оживление, оно пожелтело и стало крохотным, точно у ребенка.

Марек ничего не ответил.

Оба молчали.

В краткий миг тишины они вдруг почувствовали, что навсегда отдалились друг от друга, что стали чужими друг другу и все, что их связывало, ничтожно по сравнению с тем грозным и всесильным, что их разделяет.

— Иди, Марек, ты утешил меня, — сказала Ирена, пытаясь улыбнуться, но улыбка получилась очень грустная.

— Нет, не утешил, — сказал Марек, подняв глаза. — Я знаю, что я тебя не утешил, Ирена, знаю.

— Ну иди же, — сказала Ирена и отвернулась, потому что глаза ее вновь наполнились слезами.

Марек встал и окинул взглядом комнату. Он увидел обычные вещи — зеркало, шторы, кресла, ночной столик, лекарства, увидел все, что хотел увидеть, а того, чего не хотел, не увидел.

— Чем я могу тебе помочь? — спросил он.

Он нетерпеливо осматривал комнату и думал: «Когда же этому конец? Когда кончится эта пытка, этот страх перед страхом?»

Ирена молчала. «Вот и уходит все, что когда-то в жизни было прекрасным, — думала она, — уходит все, что могло быть прекрасным». И ей было невыразимо жаль всего, и особенно себя.

— Знаешь что, Марек? — умоляюще сказала она слабым детским голосом. — Поцелуй меня. Поцелуй меня в губы. Ты не боишься?

Марек боялся, но склонился над ней и слегка коснулся ее губами. Она обвила его плечи слабой, худой рукой. Губы были мягкие, холодные и чуть солоноватые. Мареку казалось, что слабая рука, обнявшая его за пле-

чи, пытается удержать его. Он вырвался, испуганный и удрученный. Рука Ирены скользнула печально и безнадежно.

— Прощай, Марек, — прошептала Ирена, и глаза ее наполнились слезами.

— Почему прощай? Я еще приду.

— Прощай, Марек, — прошептала еще раз Ирена. Она знала — он больше не придет.

— До свидания, Ирена, — повторил Марек. И он чувствовал, что больше не придет, но не мог признаться в этом ни Ирене, ни самому себе.

Он коснулся ее руки. Но Ирена закрыла глаза и вытянулась, точно мертвая.

Тихо, на цыпочках, Марек вышел из комнаты.

5

На одной из тихих улиц возле площади Рихтора Якуба в четырехэтажном доходном доме, принадлежащем архитектору Феркодичу, среди ночи проснулась его дочь Олина. Ей приснился сон, от которого она пробудилась. Сон был приятный. Олина попыталась снова заснуть и продлить этот приятный сон, но ничего не вышло. Сновидение пропало, рассеялось, тихо и неуловимо исчезло. И куда деваются эти сны, в каких неведомых закоулках сознания они таятся? Олине стало жаль чудесного и приятного сновидения — она ничего не могла вспомнить. Осталось лишь неясное ощущение чего-то приятного и нестерпимо сладостного, но что это было, что вызвало это ощущение, Олина не могла себе объяснить. Может, ей приснился он? Конечно, он там был, иначе откуда же появилось это нестерпимо сладостное чувство? Но как он выглядел? Что говорил? Нет, Олина, как ей ни было досадно, не могла вспомнить ни одной подробности.

Сквозь тонкие шторы в небольшую комнату проникал отраженный свет прожекторов. Комната, залитая мерцающим светом, казалась белой и призрачной. На потолке мелькали странные тени, это были причудливо измененные ветки березы под окном. Олина смотрела на мелькающие тени — она знала их, пять лет она жила рядом с этой березой и всеми ее чудесными превраще-

ниями. Но сейчас тени неожиданно показались ей иными, таинственными, казалось, неслышно катились спокойные волны, какая-то тихая неземная река уносила ее плавно, неудержимо. Куда она стремится? Куда несет ее этот беззвучный, таинственный поток? К радости или к печали? Да-да, конечно, к радости, к бесконечной, безграничной радости, потому что Олина красива, ей девятнадцать лет, и там, где кончается поток, не может быть ничего иного, кроме одной лишь радости. Там будет он и радость. Он будет стоять там и ждать, когда поток принесет ее к нему на тихих волнах, и она скажет ему... да, что она скажет?

Олина очнулась от своих мечтаний, вопрос казался ей очень важным, почти неразрешимым. Что она скажет, что же она ему скажет? И таинственные бесшумные волны вновь превратились в тени от березы, знакомые и реальные, и вопрос теперь не был связан со сном, существовал наяву, настойчивый и неотложный. Что она ему скажет, что же все-таки она ему скажет? Он придет завтра или послезавтра, через три-четыре дня, придет, как всегда, высокий, красивый, равнодушный. Нежно и почтительно поцелует у мамы руку, мама его дальняя родственница, а он уважает ее за что-то, чего Олина понять не в состоянии. Что такое в маме, почему он ее так уважает. Мама хорошая, но неинтересная, скучная, она совсем не знает новых кинофильмов, не разбирается в спорте, она тихая, покорная и все дни напролет читает. Потом он молча слушает отца, отцовские заботы, которых очень много, слушает и презирает услышанное, а может, и самого себя за то, что слушает такой вздор, так по крайней мере кажется Олине. А на нее он и не посмотрит, разве просто скользнет по ней иной раз взглядом, словно не видит ничего интересного. Однажды они столкнулись в дверях — она спешила на баскетбол, а он пришел к ним. В тот раз он ее заметил — она почувствовала, как утонула в его взгляде, а в следующее мгновение он как-то испуганно (испуганно?) отвернулся. Он спросил только: «Вы уходите, Оля?» А она ответила: «Да, на баскетбол». И все. С тех пор он избегает смотреть на нее. Олина явно чувствует, что он боится на нее взглянуть, и ощущает во всем этом какую-то тайную надежду. А что я ему скажу? Что же я ему скажу? Олина мысленно перебирает множество прочитанных в

романах или услышанных в кино слов, очень много разных слов, но они все похожи друг на друга, их просто невозможно различить, и нет ни одного настолько возвышенного и красивого, как ей хотелось бы. Она перебирает в памяти слова, которые слышала и говорила раньше в школе, когда была влюблена и когда в нее влюблялись. Школьная любовь легка, как ветерок, но сейчас эти слова кажутся ей глупыми и почти оскорбительными.

Что я ему скажу, что же я ему скажу? Олина знает, что она ничего не скажет, снова промолчит, но в поисках слов таится такое наслаждение, такое прекрасное, мучительное наслаждение!

Олина вскакивает и нетерпеливо подходит к зеркалу в углу. Босая, в широкой пижаме, она всматривается в свое отражение и нетерпеливо расчесывает волосы, не щадя их. Пышные, очень светлые длинные волосы покорно ложатся волной, потрескивают, сопротивляясь, и покоряются. Прическа модная и изысканно простая, как у кинозвезды Алиды Валли, и Олине жаль, что у нее не черные волосы, как у этой звезды. «Но я красива», — любовно думает о себе Олина. Можно и не смотреть в мерцающее зеркало, она и так знает, что красива, и это доставляет ей неизменное удовольствие, возвышает в собственных глазах, это одна из ее самых больших радостей в жизни. Олина пожинает в жизни одни только радости: она богата, богат ее отец, она красива, молода, влюблена в себя и в жизнь — это здоровое чувство молодого хищника, готового накинуться на крупную добычу. Она упивается своим здоровьем, красотой, порывистостью движений, ее окружает восхищение юношей и зрелых мужчин, восхищение, которое ласкает и радостно волнует ее. Но почему же ею восхищаются все, только не он? Ах, все еще переменится, все будет так, как нужно. Иначе быть не может. Олина убеждена, что случится все то, чего она так жаждет и чего она все же немного побаивается. Олина стоит перед зеркалом, зажмурив глаза и не думая, сбудутся или нет ее мечты, просто мечтает, как это будет. Как это случится? Какие будут слова, жесты, какие прикосновения, мысли? Нет, ей не хватает слов, их ей уже мало, теперь она думает (думает? Нет, мечтает!) о прикосновениях губ, рук, тела, вот она крепко зажмурила глаза, воображая, как

он ее обнимет, в мечтах она уже в его объятиях, и тело ее вздрагивает. Ах, какой он сильный, изумительный! Волны каштановых волос, точно отлитые из металла, такие мягкие, шелковистые, на груди у него такие же каштановые волосы, очень мягкие и очень нежные. Олина просыпается, потом, успокоясь, снова погружается в сон, и снова ее тело ощущает тысячи прикосновений — такая это изумительная, волнующая игра. Это сладостная игра, наивысшее блаженство, потому что Олина пока лишь мечтает, потому что живет пока лишь воображением, не ограниченным действительностью.

Олина вздрогнула от холода. Ах, какая же я глупая, сумасшедшая, простужусь и буду ходить с красным носом. Ну и красота — блондинка с красным носом. У блондинок сразу все заметно, каждое пятнышко для них опасно, а я буду ходить с красным носом! Но Олина не ложится, нет — пренебрегая опасностью схватить насморк, она хочет повторить и продолжить сон, — зажимает глаза, но ничего не выходит. Видения появляются послушно, но они холодны, безразличны, не будоражат чувств. Олина вдруг начинает сердиться, теперь уже всерьез боясь простуды и насморка, и все-таки не идет спать, а, откинув штору, выглядывает на улицу. Что может ждать Олина от улицы? Улица пустынна и безмолвна, шумит дождь. Последние упрямые листья березы вздрагивают от холода...

Но вот слышны шаги — шаги одинокого прохожего. Ну да, слышны шаги одинокого человека, торопливые шаги. На тихой улице они слышны даже в шуме дождя! Безумная мысль. Конечно, это не он, но разве страстное желание не причина самых безумных видений? Спрятавшись за штору, Олина сторожит звуки, все тело ее напряженно застыло в ожидании. И вот — да-да — шаги замирают под окном, прямо под ее окном. Олина задыхается от напряженного ожидания. Она прижимает руки к груди, и вместе с мучительным чувством напряжения в голове мелькает соблазнительная мысль — ох, как чудесно было бы, нашептывает эта соблазнительная мысль, если бы он увидел тебя сейчас, как это было бы чудесно, словно в романе или в фильме.

Человек под окном громко чихает и что-то бурчит себе под нос. Олина отодвигает штору и возвращается к действительности. Нет, это совсем не он, разве это

может быть он? Это всего лишь Валер, подвыпивший Валер — чихая, он шарит по всем карманам, отыскивая ключ от двери дома. Сейчас Олина сердита на Валера, считая его виновником своего разочарования, сердита потому, что Валер — это только Валер, а не тот, кого она ждет.

Отодвинув штору, она злорадно наблюдает, как подвыпивший Валер выворачивает карманы пальто, но не может найти ключ. Потом, бросив поиски, Валер мучительно задумывается, потирает лоб и снова чихает. Но теперь Олина уже не смотрит на него со злорадством, ей вдруг пришло в голову, что Валер мог быть с ним, может быть, принес письмо от него, записку в несколько слов. Накинув халат, она всовывает ноги в ночные туфельки и идет открыть дверь Валеру.

Чихнув ей прямо в лицо, Валер весело скалится:

— А, это ты, Олька, шикарно, что это ты...

— Тс-с-с, — тихо просит Олина, и Валер тихо повторяет «т-с-с», и оба крадутся в переднюю.

Олина стаскивает с него мокрое пальто и шепчет:

— Где ты был, Валер, где ты был?

Валер осовело, с глупой усмешкой отвечает:

— Я был...

И, не договорив, снова чихает.

— Ты был с ним? — спрашивает Олина.

— С ним? — переспрашивает Валер с двусмысленной улыбкой. — А кто это твой он?

— Ну, он, — нетерпеливо перебивает Олина. — Ты не знаешь, кто он?

— Понятно, — говорит Валер, пьяно ухмыляясь. — Просто шикарно: он — это он.

— Ты был с ним?

— Если это он, так я был с ним!

— И что он?

— Он... ничего.

Валер разувается, чтобы незаметно прошмыгнуть мимо дядиной комнаты, прыгает на одной ноге, а потом для верности садится. Только тут Олина замечает, что он изрядно пьян и с ним просто невозможно сейчас разговаривать; она сердится на него, сердится и на себя — не надо было затевать этот разговор.

— Фу, — говорит она с отвращением, — фу, Валер, ты пьян как свинья!

— Шикарно! — ухмыляется Валер и снова чихает.

Олина возвращается в свою комнату, быстро, со злостью сбрасывает с себя халат и туфли, потом разочарованно съеживается под периной в маленький-премаленький комочек. «Боже мой, какая я глупая, сумасбродная, что со мной творится? До чего же я глупа, сумасбродна, до чего же несчастна, ох, до чего же я несчастна!» Она пытается вспомнить то время, когда она еще не была влюблена, вспоминает о мимолетных школьных увлечениях, о легком флирте, когда она испытывала свою власть и чувствовала лишь радость от сознания своей красоты, превосходства, делавших ее сильной. Ах, как было тогда хорошо, как было легко и свободно, и как теперь ей тяжело! В эту минуту Олине жаль себя, не помогает ей и обычное самомнение, да оно и не нужно — ведь жалость так сладостна, если мы жалеем самих себя в тайной надежде, что жалеем напрасно.

Олина засыпает, и в полусне ей чудится, будто за окном вспыхнул свет, на небе пылает зарево и тишину разорвали призывные звуки; но все это уже кажется ей нереальным, доходит до нее сквозь пелену сна, она еще успевает подумать, что, вероятно, где-то горит, и тут же засыпает.

6

Что же случилось? По темным улицам с бешеной скоростью мчатся пожарные машины, на юге вспыхивает зарево. Марек стоит перед старым домом на Шён-дорфской улице, сжимая в руках большой ключ от парадного, и не сразу понимает, что происходит. Да, ночь пробудилась от сна, содрогаясь от дикого воя сирен и грохота стремительно несущихся пожарных машин, а где-то внизу, у Дуная, полыхает огромный пожар, оза-ряющий полгоризонта. Марек устал, но что-то заставляет его идти на вой сирен, туда, в сторону зарева, навстречу волнениям внешнего мира, которые его успокоили бы и принесли забвение. Да, сейчас все-таки лучше быть самим собой. Марек сует ключ в карман, плотнее запахивает промокшее пальто и направляется вниз по улице.

Капитан пробудился от крепкого сна при первых звуках сирены. Слабое завывание доносилось издалека,

но капитан был очень чуток к звуку сирены, он выделял его сразу среди огромного мира звуков. Он проснулся и тут же понял, что сирены не те, что это не воздушная тревога. Через крохотное окошко смутно просвечивало зарево. «Где-то горит, — подумал капитан, — где-то горит, что же это такое?» Может, он проспал налет или бомбежку? Нет, это было невозможно. Этого с ним никогда не случалось, он всегда чувствовал их в воздухе еще задолго до объявления тревоги. Это что-то другое», — подумал он, успокоившись и собираясь встать, но, неожиданно коснувшись горячего тела лежащей рядом женщины, в ту же секунду вспомнил все.

— Эма, Эма, — зашептал капитан, — ты спишь?

Эма почти проснулась.

— Что случилось? — пробормотала она, и ей показалось, будто она вообще не спала, что все продолжается с того места, где остановилось.

— Горит, где-то горит, — сказал капитан Лабуда, обнимая Эму.

— Пусть горит, — прошептала Эма, окончательно очнувшись, и крепко прижалась к нему...

Человек с бархатным голосом, муж Ирены, осторожно закрывает окно, со вздохом облегчения отгораживается от опасностей внешнего мира.

— Что случилось? — спрашивает Ирена. — Что там происходит?

— Ты не спишь, — говорит человек с бархатным голосом, — а я думал, ты спишь. Что там происходит? Да, ничего, — отвечает он, — горит где-то, должно быть, далеко внизу, у Дуная, похоже, что у Зимнего порта.

— Был налет? Я не слышала.

— Нет, это не налет, — отвечает человек с бархатным голосом, — это что-то другое, какой-то другой пожар.

— Саботаж?

— Возможно, и саботаж, — отвечает человек с бархатным голосом.

Ирене тоже нет дела до пожара: пожар там, в их мире, в ее мире холодно и мертво, и ничего не может его согреть, даже самый сильный пожар не коснется его,

пожар далеко, и ничто не угрожает ее миру. Да, мир обезумел, поэтому он горит и превращается в пепел, но это ничего не значит для ее мира, это всего лишь рамка, в которой умирает ее мир.

— Ты не можешь заснуть? — спрашивает человек с бархатным голосом. Но Ирена затихла, не ответив, потому что понимает: в бархатном голосе звучит фальшивая заботливость, человек с бархатным голосом насквозь фальшив. «Нет, не могу спать, — сказала бы она, если бы это имело смысл, — не могу ни спать, ни бодрствовать, ни жить, ни умереть».

В красиво обставленной комнате на Паненской улице сидит аптекарь, нервно поглаживая усики, и пишет поэму. Он пишет за старинным громоздким письменным столом, подаренным вдовой Ашеншвандтнеровой, его хозяйкой, женщиной, растрачивающей состояние ради утех своего увядающего тела. Аптекаря зовут Шернер, Августин Шернер; он твердо решил прославиться под своим собственным именем, оно казалось ему в достаточной мере возвышенным и весьма подходящим для эпохи, в которую он живет. Он пишет большими печатными буквами на тонком листе бумаги. Не думая о стихах, которые он пишет, он пытается представить себе свои стихи уже напечатанными, он отчетливо видит сверстанные строчки, видит даже блеск бумаги и чувствует запах типографской краски — упоительный запах, за которым скрывается признание, слава. Можно сказать, что Августин Шернер в известном смысле человек несчастный: мечты о славе уничтожают в зародыше всякую возможность славы. Стоит только ему сесть за стол, как мечты о славе тут как тут и обгоняют все остальные мысли, мчатся ошалело и неудержимо и мешают работать. Вот и теперь он написал всего-навсего четыре строчки и безнадежно застрял, наткнувшись на плотную стену мыслей о признании, о славе. Тем не менее стихи ему явно нравятся. Они написаны в современном духе, но не чересчур и потому не создают впечатления, будто он принадлежит к подозрительным поэтам-радикалам, недостаточно современным, чтобы их заметили.

Опасность, опасность,
за ней плетется дикая темная ночь,
всюду шум, всюду шум,
хаос родится из хаоса и бьется о стены мрака.

Аптекарь Шернер читает стихи сначала вслух, потом шепотом, закрыв глаза; в эту минуту ему чудится, что на него нахлынула волна звуков, звуки заполнили всю комнату, и надо только их удержать, удержать на крошечную долю секунды, и тогда он, Августин Шернер, станет счастливейшим человеком на земле, величайшим поэтом. Но мир воображаемых звуков мгновенно рассеивается, его уже нет, остались лишь стол, лампа под зеленым колпаком и затемненное окно, а через затемненное окно в комнату доносится весьма реальный угрожающий вой сирен. Аптекарь Шернер раздраженно гасит настольную лампу и открывает окно; он чувствует дождь, хотя и не слышит его: все заглушается воем сирен.

В эту самую минуту большинство обитателей города спит. Некоторые просыпаются и, убедившись после минутного страха, что это не воздушная тревога, облегченно вздыхают и плотнее заворачиваются в одеяла. В ресторане «У Штельцера», в винных погребах «Лиги», «Карлтона», «Савойки» и «Благу» не слышат ничего, там раздаются последние звуки скрипок, последние пьяные выкрики; скатерти залиты вином, пепельницы полны окурков: умирающий кутеж в умирающем мире. На Дорнкапле и Кирпичном поле спят голодным, беспокойным сном рабочие, их жены и дети. Спят дома и улицы, спят виноградники и кладбища, издавая запах гниющих хризантем.

Город, вздрогнув от страха, вновь равнодушно погружается в сон, живет, дышит, грезит под старыми и новыми крышами; город на Дунае, город в Центральной Европе отвернулся от войны и не желает ее видеть. Не желает видеть то, что ему должно видеть, не желает думать о смерти и умирании, живет жизнью пресмыкающегося, которое жметя к земле. Он дышит осторожно, притаившись и подавляя свой тщательно скрываемый страх, с мольбой взывая к своим защитникам на земле и на небесах. Город продан за то, чтобы не чувствовать страха, продан, чтобы жить пресмыкающимся; ночью, скорчившись, он старается стать незаметнее, ему

хотелось бы зарыться в землю, подобно дождевому червяю, а днем он оглушительно орет и трезвонит, вскидывает руку для приветствия и устраивает манифестации, притворяется независимым и отвратительно нахальным, ибо он понимает — надо заглушить страх. Но откуда-то издалика, из восточных степей, в равнодушный город доносятся слова солдатской песни, такие знакомые слова старинной песни: «Словацкие матери, хороши у вас сыновья, вырастили вы их, а женить не придется». Такие правдивые, грустные слова в песенке странных солдат, что не желают воевать за продавшийся город. И эта грустная солдатская песенка врывается в тихие ночи равнодушного города, наполняя его ужасом, она слышна и среди криков шумного дня, сталкивается со словами, летящими с трибун, окрашивает их кровью.

Как лицемерен этот город! Он делает вид, что его не касаются все чудовищные преступления, которые в нем происходят, точно его не ждет расплата за все. Город прикидывается веселым и беспечным, довольным и добродушным: это единственный город в Европе, который словно влез в удобные домашние шлепанцы. Но все это одно притворство: и веселость, и покой, и уютный, домашний вид; этот город чужд всем, чужд самому себе, в нем все одно притворство, а истинное его лицо — лицо, на котором написан ужас.

Чудовищный пожар все разрастался. Горели склады в Зимнем порту, горели товары, приготовленные для Вены, с грохотом взрывались железные бочки с рафинированным маслом, дым увенчивал пламя тяжелой черной короной. В неровном свете пожара, казалось, бестолково металась пожарная, тонкие струи воды из шлангов выглядели до смешного беспомощными, где-то в центре огня трещало, гремело и ухало, точно разверзлась сама земля, изрыгая долго сдерживаемую злобу.

Скорчившись под крышей какого-то сарая или склада, Марек различал рядом с собой тени людей, но он едва замечал их, все его внимание было приковано к пожару. Да-да, могучая стихия — это злобный огонь, восхитительно злобный огонь, которым возмущенная, истерзанная земля отвечает на ложь, что душит ее, на преступления, на поднятые для приветствия руки. В Марек

рождается какое-то чувство единства с огнем, огонь — его брат и соратник. Марек вздрагивает от страха, когда ему кажется, что пожар утихает, а когда пламя снова трещит и вспыхивает с новой силой, вспыхивает вместе с ним и ярость Марека, в груди становится тепло от наслаждения победой и мщением. Гори, разгорайся, рушь, сметаи и пожирай, поглоти этот оскверненный город, этот город предателей, лицемеров и убийц! Огонь, да прежде всего сейчас нужен огонь, нужно выжечь, разрушить, уничтожить все до основания, под корень, чтобы потомки не нашли и следа того позора, которым предатели покрыли народ Марека.

Пожар, все еще великолепный и грозный, достиг своего апогея, но уже чувствуется, что он замирает, поглотив все, и теперь принимается пожирать самого себя. Марек сжал кулаки, еще, еще, огонек, вспыхни, взвейся ввысь, наполняя одних ужасом, а других отвагой, но огонь уже утихает: переварив все, он вцепился теперь в собственное тело. Марек отворачивается от пожара, точно тот его обманул и оскорбил; это лишь обычный, вульгарный пожар, сгорел склад — только и всего. Марек отворачивается, и в его сознание вновь входит окружающий мир, тени людей шевелятся и переговариваются.

- Ну и огонек... А как горит! Что твой фейерверк...
- Фейерверк! Дурак! Что еще за фейерверк?
- Ну ладно, не фейерверк. А все-таки недурен огонек!

— Недурен...

Марек всматривается, прислушиваясь к голосам, но различает только две тени, как и он, скорчившиеся под крышей; тьма за кругом света от пожара густая, точно смола.

Тень поменьше ритмично покачивается из стороны в сторону, очевидно, человек постукивает замерзшими ногами. Потом наклоняется к тени повыше и почтительно спрашивает:

- Как, по-твоему, это случилось?
- Не знаю.
- Поджог, а?
- Тише ты...
- Саботаж?
- Молчи, дурак!

Тень повыше делает рукой движение, словно хочет заткнуть второму рот. В эту минуту пламя взвивается — очевидно, это последняя вспышка — и освещает лицо высокого человека. В ту же секунду Марек узнает его, а тот, по-видимому, так его и не узнал — лицо Марека осталось в тени, и человек заметил лишь одно: он привлек внимание. Вспышка гаснет, тьма становится еще гуще, и Марек скорее чувствует, чем видит, что человек исчезает в ней, и тогда он, Марек, шагает за ним вслед.

Человек заметил, что его кто-то преследует, и круто свернул за угол, закружил по темным улицам. Но Марек шел по звуку его шагов, улицы были пустынные, и одинокие шаги вели его точно по следу. Наконец на Дунайской улице расстояние между ними сократилось.

— Янко! Постой!

Человек остановился, прислонился спиной к стене, не вынимая рук из глубоких карманов крестьянской куртки. Марек нерешительно подошел — что, если он ошибся? Нет, это Янко, конечно, это он, невозможно ошибиться, чувство ему подсказывает, что это он.

— Янко! Крап! — окликнул его Марек, подойдя еще на несколько шагов.

— Тише, ради бога тише! — умоляюще, но с угрозой сказал человек, слегка шепелявя.

Ну конечно, это он, Янко Крап. Теперь Марек отчетливо видит, что это он. Марека не обманут ни усики, смешные и точно приклеенные, ни шрам, перерезающий наискось всю правую щеку, это он, Янко Крап, друг юности Марека, ее свидетель и товарищ.

— Янко! — повторил Марек и протянул руку.

— Фу, как ты меня напугал! — сказал Янко Крап.

Теперь и он узнал Марека. Но он все еще настороже, рука в кармане куртки по-прежнему судорожно сжимала револьвер.

— Фу, как ты меня напугал! — повторил Янко Крап и разжал пальцы в кармане, чувствуя, как дрожит рука, колени, все тело.

— Вот это встреча! — сказал Марек. — Хорошо же ты меня встречаешь через столько лет!

Марек даже слегка обиделся. В тот момент, когда он узнал Янко Крапа, в нем проснулось острое чувство, могучее и отчетливое чувство дружбы, большое и беско-

рыстное, какое бывает только у очень щепетильных людей.

— Ну, иди сюда, — примирительно сказал Янко Крап, протянув руку. Они обнялись. Потом они зашагали по темным улицам, иногда задевая друг друга плечом, и Мареку казалось, что время остановилось, что снова ему восемнадцать и он шагает с Янко по проселку, спустилась ночь, мир непонятен и прекрасен, они идут, понимая друг друга без слов, а потом говорят наивно и смело о непонятном мире.

Но Янко Крап не думает ни о молодости, ни о проселке, настороженно и чутко прислушиваясь к окружающему миру, зная, что он идет по враждебным улицам, по враждебному городу. А Марек? Что он знает о Марек? Марек был хорошим парнем, другом, каких у Янко не было ни раньше, ни потом, увлекающимся и несколько странным другом, но все это было давным-давно, пять лет — слишком большой срок в эти неустойчивые времена. Они молчат, как люди, которые были близки когда-то и встретились через много лет и теперь инстинктивно прощупывают друг друга. Потом Янко Крап, остановившись, спрашивает:

— Куда же мы идем, куда ты меня тащишь?

— Пошли ко мне, — уговаривает его Марек, — пошли ко мне, нельзя же нам вот так разойтись, раз уж мы встретились. Пять лет! Ты только подумай, Янко, пять лет!

Комната у Марек странный — длинная и узкая, переделанная из коридора, напоминает склад старой мебели; в ней холодно и неуютно, вид у нее немного таинственный — свет от пыльной лампы без абажура не проникает во все углы этой длинной комнаты. Они сидят на старом, вылинявшем, продавленном диване, завернувшись в одеяла. Янко Крап оглядывает комнату, и правая сторона его лица, рассеченная глубоким шрамом, кривится усмешкой. Его взгляд останавливается на столе, заваленном книгами, он узнает Достоевского, Гамсуна, и теперь гримаса появляется и на левой щеке, он и в самом деле улыбается.

— Все еще ищешь бога, Марек?

— Я ищу себя, Янко.

— Неужели ты это серьезно? Себя?

— Серьезно. А почему ты думаешь, что несерьезно?

— Потому что ведь это всего лишь отговорка. Ищу себя, вот посмотрите, какая умная я и сложная личность, другие ищут счастья и богатства и неведь что еще, а я ищу себя. Ну разве я не достоин восхищения? А? Вокруг меня рушится мир, бедствия, точно плесень, охватывают его, а я ничего не вижу, я ищу себя. Так?

— Я вижу,— говорит с обидой Марек,— почему не вижу? У меня есть глаза, и я вижу все.

— А что дальше?

— Что дальше?

Янко Крап встал, больше он не улыбается; серьезный, хмурый, он прошелся по комнате, завернувшись в одеяло, остановился перед Марек, устремив взгляд куда-то поверх его головы, и сказал, не повышая голоса:

— А дальше то, что ты паразит и тунеядец.

— Янко!

— Паразит и тунеядец, вот что ты такое. Тебя кормит загнивающий мир. И ты доволен, что тебе позволяют паразитировать. Ты зритель, такие зрители мне знакомы. Ты соизволишь созерцать, как убивают человека.

— Да какое мне до этого дело? — Марек тоже вскочил с дивана, диван заскрипел с пронзительным визгом. Одеяло соскользнуло с Марек, очки засверкали, он говорил быстро, захлебываясь и чувствуя, что говорит вещи давно обдуманые, хорошо известные ему самому, но для него самого сомнительные. Поэтому он повышает голос, взволнованно и горячо жестикулирует.— Какое мне дело?! Разве первый раз человечество надевает звериную шкуру и хватается в руки дубинку? Бей его, убивай его! За веру, за гроб господень, за родину, за народ, за императора, бей его, убивай его, у него другая родина, другая вера, другой император. Людям надоела культура, дремота пресного покоя, и они хватаются за дубинку, режут, убивают друг друга. Убивают человека? Какого человека? Зверь перегрызает горло зверю. Он жаждет крови. Вековая потребность, древний инстинкт и необходимость...

— Первородный грех?

— Да, если тебе угодно, первородный грех. А какое мне до этого дело?! Я спасаю свою личность, хочу остаться незапятнанным и чистым. Это единственное, что в моих силах,— спасти себя, спасти идею.

— Ростки будущего.
— Да, не смейся, именно ростки будущего. Человечеству понадобится чистота идеи, когда оно отбросит дубинку.

— Это только плащ, прикрывающий эгоизм. И плащ дырявый. Обычная философия тунеядца.

— Ты не понимаешь меня.

— Я понимаю тебя, Марек. Очень хорошо понимаю!

Они замолчали. В тишине в темных углах комнаты шуршат мыши. Одна, выскочив на свет, удивленно уставилась на Марек, точно спрашивая, кто этот чужой? И почему они так кричат? Марек снова сел на диван, подавленный и усталый; сейчас, высказавшись, он чувствует в себе пустоту, и в этой пустоте растет сомнение в том, что он сказал и во что ему хочется верить. Боже мой, вечно эти сомнения, сомнения в самом себе, когда же им придет конец?

— Ложись спать, Янко, давай спать, — говорит он, — утро вечера мудренее.

Потом они лежат, прижавшись друг к другу, на широкой постели, и Марек, закрыв глаза, вспоминает. Одно воспоминание особенно ему дорого: на высокой скале горит костер, под ногами у них качаются верхушки елей, а из темноты вокруг костра возникают старинные сказания о разбойниках. Янко Крап, стоя на камне, играет на скрипке удивительную мелодию; огонь отбрасывает на его лицо грозные тени, он играет удивительную, никем никогда не написанную мелодию, в ней слышны вопли истязуемых, их муки, их упорство. Много раз Мареку хотелось вновь услышать эту мелодию; но Янко Крап никогда не мог ее больше вспомнить, мелодия исчезла вместе с костром, со скалой и с шумящими вершинами елей.

— На скрипке играешь по-прежнему? — спрашивает Марек.

— Нет. Сейчас не время.

— Ну, как с марксизмом? С марксизмом еще споришь?

— Нет, больше не спорю.

— Победил здравый смысл?

— При чем тут здравый смысл?

— Значит, поверил?

— Поверил.

— Помнишь, как ты издевался над всякой верой? Это, дескать, костыли для слабых.

— Помню. Ну и что? Другое было время. А теперь времена такие, что надо во что-то верить.

— И твоя вера тебя спасает?

— Почему спасает? Сейчас не время анализировать. Анализировать станем потом, понимаешь, когда все это кончится. Потом хватит времени и на анализ и на сомнения, а сейчас надо просто верить.

Янко Крап зевнул, зевнул умышленно, стараясь показать, что разговор его больше не интересует. Он давно уже перестал верить в такие разговоры, зная, что все они ведутся впустую, бесполезно. Из всех слов, блуждающих по свету, он выбрал для себя лишь те, что больше всего подходили ему, то есть те, что больше всего поддерживали его прирожденную склонность к деятельности. А система, созданная им, прочная и строгая, служила лишь тому, чтобы поддерживать его активность, толкать к деятельности и ограждать от всего, что могло бы препятствовать ей. Он не чувствовал себя ни обремененным, ни упрощенным: наоборот, только теперь он ощущал, что живет полной жизнью.

Но Мареку, Мареку было страшно жаль, что Янко Крап зевает, не желает продолжать разговор. Сейчас Янко Крап очень мало походил на прежнего. У нового Янка Крапа были смешные, точно приклеенные, светлые усики, глубокий багровый шрам перерезал всю правую щеку, и было видно, что этот новый Янко Крап уверен в себе, что он прочно стоит на земле. А Мареку встречалось так мало людей, прочно стоящих на земле! Ему так хотелось освободиться раз и навсегда от всяких сомнений, от мучительной пытки и идти куда-то с Янко Крапом плечом к плечу с такой же уверенностью и с такой же решимостью. Марек долго вздыхал и ворочался с боку на бок. Потом решил:

— Янко?

— Ну?

— Ты что... подпольщик?

Тишина. А потом раздался странно нерешительный голос Янко Крапа:

— Нет... Нет... Что это тебе вдруг взбрело в голову?

И Марек понял по нерешительному тону, что Крап его обманывает, не доверяет ему. Янко ему не доверяет!

Янко Крап проснулся и по многолетней привычке сразу взглянул на светящийся циферблат. Половина девятого, надо спешить. В комнате было темно. Осторожно встав, он раздвинул штору. За окном было серое, мутное, сонное утро. Моросил дождь. Из окна виднелась мокрая от дождя стена дома напротив, старая и облезлая. Янко Крап вздохнул: нужно поскорее уходить из города. Все ему здесь опротивело — улицы, дома, люди, все было чужое и неприятное; он задышался, ему было трудно дышать, точно и воздух был здесь другой, тяжелый.

Надевая пиджак, он взглянул на Марека. Бледное узкое лицо с высоким лбом выглядело без очков по-детски беспомощным, острый, тонкий нос еще больше подчеркивал эту почти болезненную беспомощность. Да, Янко Крап узнал это лицо, лицо старого друга; в нем ничего не изменилось, лишь в уголках губ пролегли тонкие следы морщинок, словно там собрался весь горький опыт прожитой им жизни. Ему стало жаль своего давнишнего друга, он вспомнил о ночном разговоре, спросил сам себя, не обидел ли он Марека? И торопливо набросал на листочке из записной книжки несколько слов: «Я живу в общежитии. Ищи меня под фамилией Кршнак». Янко положил листок на кипу книг, но в дверях остановился, вернулся и, избегая смотреть на спящего Марека, взял листок и сунул его в карман. «Лучше чувствовать вину перед другом, чем расплачиваться за собственную глупость», — подумал он, холодно усмехнувшись своей минутной слабости. Он тихо прошел через кухню; на диване в самом отдаленном углу лежал кто-то. Двери на кухне никак не открывались. Он нетерпеливо задергал их.

— Там крючок, — буркнул низкий женский голос. Женщина на диване даже не приподнялась.

— Спасибо, — сказал Янко Крап.

Ответа не последовало. Янко Крап отбросил крючок и вышел во двор, глубоко вздохнул, словно вырвался из тюрьмы.

На улице царило обычное утреннее оживление. На углу Шёндорфской и Почтовой стоял мужчина в форме

ФС¹ и женщина в тирольской шляпе и толстых зеленых коротких чулках; позвякивая кружкой с угловатыми буквами WHW, она угрожающим тоном предлагала: «Bitte, eine kleine Spende»².

Буквы на кружке, слова и жесты этой пары — все было угловатое, и во всем таилась угроза. Их обходили стороной, некоторые намеренно шли мимо этой кланящейся пары, будто вовсе не слыша призывного позвякивания кружки, а другие ехидно протягивали оловянные кроны, думая: «Припекло вас, видно?» Перейдя Почтовую улицу, Янко Крап задержался на минуту перед «Асом»³ и услышал голос человека, продававшего какие-то чудодейственные травы. Человек хрипло выкрикивал нелепые слова. «Flores tokares! Ваши нервы успокоятся!» — кричал он, тупо предлагая свои травы, и люди покупали их, травы шли нарасхват, потому что люди уже давно привыкли ко всему нелепому и безумному в этом нелепом и безумном мире — и это казалось людям самым естественным.

Без пяти девять Янко Крап уже сидел в кафе, закрывшись газетой и не спуская глаз с двери. В кафе шелестели газеты и слабо пахло цикорием. За угловым столиком, уткнувшись носом в залитый вином мрамор, храпели, очевидно после ночного кутежа, двое растрепанных парней. Неподвижно сидела грубо размалеванная проститутка в промокшем пальто, от усталости у нее слипались веки. Четверо пожилых посетителей пили кофе с молоком, разговаривая вполголоса, хотя по их лицам было видно, что они яростно спорят: говорили явно о политике. Прошел высокий корректный официант и с любопытством покосился на багровый шрам Янко Крапа. Через несколько столов напротив Янко сидел человек в зеленой рубашке с непомерно широким галстуком и смотрел через окно на шумную улицу.

«Шпик, — подумал Янко Крап, — сразу узнаешь его профессию». Янко Крап заказал кофе и стал ждать. В нетерпении отложив газету, он нервно барабанил пальцами по мраморному столику. Нервы? Янко Крап вспомнил о человеке с травами. «Ваши нервы успокоят-

¹ Фашистская организация в Словакии.

² Пожертвуйте немного, пожалуйста (нем.).

³ Универмаг в Братиславе.

ся!» — кричал этот человек, и только теперь Янко понял: человек предлагал травы, успокаивающие расстроенные нервы. Он усмехнулся про себя — а ведь в самом деле, не так уж нелепо продавать в такие времена травы для исцеления расстроенных нервов, нет, это совсем не так нелепо и по-своему хорошее занятие. Люди промышляют как могут; сейчас война, вот они и кормятся за счет войны и тех болезней, которые вызвала война в организме общества. Многие кормятся за счет этих болезней — крестьяне, продающие из-под полы откормленных поросят, ремесленники, тайком сбывающие материю и кожу, торговцы, аризаторы¹, кустари, варящие самодельное мыло, чиновники, берущие взятки, гардисты, которые просто-напросто воруют, — все кормятся за счет войны, общество паразитирует, питается кровью, проливаемой на полях сражений.

По проходу между столиками пробирался человек с блестящей лысиной; низкий, кругленький, юркий, он внимательно осматривал крошечными глазами кафе, в руке у него был большой портфель — вошедший всем своим поведением напоминал коммивояжера. Остановив свой взгляд на Янко Крапе, он подошел к его столику:

— Имею честь говорить с паном Камеником?

— Моя фамилия Кршнав.

Человек удовлетворенно кивнул головой, потер руки и уселся напротив:

— Партию в шахматы?

— Я не играю в шахматы.

— Неважно, сейчас мы попросим шахматы.

Человечек весело осклабился, на все кафе щелкнул пальцами и громогласно потребовал кофе и шахматы. Янко Крап с возмущением посмотрел на него, ему не верилось, что этот веселый коммивояжер именно тот, кого он ждет. Человечек заметил возмущенный взгляд Янко, но это его нисколько не тронуло, и он улыбается весело и самодовольно. Потом наклоняется к Янко Крапу.

— Это ничего, — говорит он. — Чем заметнее, тем незаметнее. Понимаешь? — И, хитро и самодовольно улыбаясь, ловко расставляет шахматные фигуры на доске.

¹ Владельцы предприятий, конфискованных у евреев во время войны.

Крошечные глазки быстро блуждают по кафе, торопливо ощупывая людей, глазки, точно руки опытного торговца, одним прикосновением оценивают качество материала. Потом эти глазки, острые, как иголки, застывают на Янко Крапе. Человечек держит шахматную фигурку, вертит ее в пальцах, его губы весело улыбаются, но неприятные глазки сверлят Янко, точно буравчики.

— Что ты так на меня уставился?

— Тебя предложили связным. Вот смотрю на тебя, изучаю. Вижу, не подходишь.

— Быстро же ты решил.

— Быстро, я все делаю быстро. Понимаешь, неповоротлив ты для нашего дела.

— Как так? Что значит неповоротлив?

— Это значит, что ты неповоротлив. Тяжеловес. Ты умеешь ходить на цыпочках? Не умеешь. В нашем деле надо быть увертливым и незаметным. Шмыг туда, шмыг сюда. Я иду, улыбаюсь, раскланиваюсь направо и налево, ваш покорный слуга, на страж¹. Кто я? Скромный, порядочный гражданин, сразу видно, что я порядочный государственный служащий. Покупайте вешалки, первоклассные вешалки из ясеня, покупайте, а то их скоро не будет. Ты умеешь продавать вешалки?

— Научусь.

— Нет, не научишься. Ты тяжеловес. Взрывать мосты. Ходить с гранатами в кармане. Ведь у тебя есть граната в кармане? Нет? Ну, или, скажем, хоть револьверчик. Заряженный револьверчик. А? Только посмей взглянуть на меня косо — получишь пулю в брюхо. Так ведь?

Человечек все это выкладывал как-то весело, сразу было видно — влюблен в свое проворство, доволен, что может доказать свое превосходство. Янко Крап мрачно созерцал человечка, человечек был ему явно несимпатичен, напрасно он убеждал себя, что это, несомненно, отличный коммунист, отличный работник, но он был не в силах побороть свою неприязнь к человеку.

— Что я должен делать? — хмуро спросил Янко Крап.

— Передвинуть пешку. Нет, не эту. Что с тобой?

¹ Приветствие глинковских гардистов.

Нет, ты явно не подходишь. Даже играть в шахматы не умеешь. И потом, этот шрам. Усики! Посмотрите на меня, я конспиратор! Да через два дня за тобой увяжется целый хвост шпигов. Нет-нет, ты не подходишь.

— Что я должен делать? — спрашивает теперь уже с нескрываемой злостью Янко Крап.

— Вернуться туда, откуда пришел.

— И ждать?

— Ждать!

Янко Крап сделал движение, точно собираясь вскочить из-за стола. Несколько фигурок опрокинулось. Человечек осторожно и заботливо поставил их на свои места. Потом строго и несколько презрительно взглянул на Янко Крапа.

— Пора кончать, — проговорил он. Вынув из потертого бумажника листок, он протянул его Янко Крапу. — Это квитанция из камеры хранения. Получишь там чемодан. В чемодане гектограф. Ты отвечаешь за него, храни его как зеницу ока. Это все.

— Листовки! — со злостью проговорил Янко Крап.

— Да, именно листовки!

— Передай твоим хозяевам, — прошипел Янко Крап, еле сдерживая душившую его злобу, — передай им, что я не смогу долго ждать.

Человечек все еще весело улыбался, хотя теперь было видно, что эта улыбка — всего лишь привычная маска. Голое темя у него слегка порозовело, и только усилием воли он сдерживал себя, стараясь не взорваться — очевидно, он не выносил возражений.

— Можешь идти, — сказал человечек, и это прозвучало как приговор. — Не забудь, что эти хозяева — коммунисты, товарищи постарше и поопытнее тебя. Они видят то, чего ты не видишь. А ждать придется столько, сколько потребуется. Понятно? Можешь идти! Официант, счет!

Человечек щелкнул пальцами на все кафе и стал собирать шахматы. Янко Крап какой-то миг стоял растерянный, потом нерешительно двинулся с места.

— До свидания, — сказал он.

— На страж, господин Кршнав, — проговорил человечек, и Янко Крап почувствовал в его словах откровенную издевку. Он торопливо, не глядя по сторонам, прошел через кафе, задыхаясь от злости. Выскочив на ули-

цу, он шепотом выругался и всю дорогу до дома бранился на чем свет стоит.

В общей комнате ночлежки, не раздеваясь, он лег на постель и устался на грязную стену, усеянную рыжими пятнами от клопов, и попробовал успокоиться. Но злоба снова и снова возвращалась, сливаясь с каким-то неясным ощущением обиды и опасений. Листовки! Гектограф! А ну их к черту с их листовками, гектографами и сомнениями! Они знают положение! А он, Янко Крап, его не знает? Ясно одно: если они хотят остаться во главе движения, надо готовиться к вооруженной борьбе. Возможно, эти товарищи и хорошо разбираются в положении, в запутанных нитях международной политики. И все же он, Янко Крап, видит больше, видит то, чего не видят они, — пришло время, в стране растет и зреет ненависть. Дайте же нам оружие, оружие! Ох, что можно было бы сделать, как бросились бы к оружию толпы людей и содрогнулась бы земля! А они — листовки!

Оскорбленный Янко Крап закрыл глаза, жалея себя. Ему не хотелось быть незаметным, послушным винтиком в машине, он считал себя героем. Два года подпольной работы, потом бегство из армии; в Тепличных горах он создавал базу для будущего восстания. В тех местах, где его знали, он внушал уважение и страх, в народе о нем говорили уже не только шепотом, но и вслух: погодите, вот придет Янко Крап! Он был таинственным «горным хлопцем»¹, новым Яношиком. И в самом деле, он не ошибался: стоило ему бросить клич, и к нему кинулись бы смелые парни из всех уголков страны, они пошли бы за ним и в бой и на смерть. А этот человечек коммивояжер, не купите ли вешалки? К черту такие порядки!

Через тонкую стенку сюда доносились из соседней комнаты звуки радио. Кто-то включил его на полную мощность, и оно гремело так, что дрожала стена, но даже сквозь грохот радио был слышен жалобный крик мальчика. «Опять, — с отвращением подумал Янко Крап, — опять это свинство!» Старичок, который на постели у окна, скривив рот, стриг длинные грязные ногти

¹ Так называли сподвижников легендарного разбойника, народного мстителя Яношика, с именем которого словаки издавна связывали свои мечты об освобождении.

на ногах, подошел к Янко Крапу и ткнул большими ножницами в стену, откуда грохотало радио и доносился крик.

— Опять он кого-то терзает! — сказал старичок.

Янко Кrap пожал плечами.

— Что говоришь? — спросил старичок, он был глуховат, и ему показалось, что Янко Кrap что-то сказал. — Постучать ему, что ли?

Янко Кrap снял ботинок и изо всей силы забарабанил в стену. Крик затих. Только радио гремело по-прежнему нагло, отвратительно: «Гардисты, на страж!» Гомосексуалист в соседней комнате, вероятно, совсем взбесился. Янко Кrap видел его два раза в ванной комнате: у него было роскошное кимоно, покрашенные ногти и выбритые брови. Он сладко улыбался, и голос у него был сладкий, но темные глаза испуганно бегали по сторонам, ощупывая людей, и, казалось, пачкали их одним своим взглядом.

Не реже трех раз в неделю из соседней комнаты доносились жалобные крики. Гомосексуалист, очевидно, любил разнообразие. Заманивая всякий раз новых мальчиков, он подпаивал их сладкими ликерами, соблазнял по всем правилам. Несколько человек ходили с жалобами к швейцару. Оказалось, что и швейцар тоже гомосексуалист, и он попросту выгнал делегацию.

— Вот он, новый порядок, — сказал вслух Янко Кrap.

— Что говоришь? — переспросил старичок и подставил правое ухо.

— Вот он, их новый порядок!

— Да-да, — отозвался старичок. — Люди готовы глоту перегрызть друг другу.

Старичок был кровельщиком, странствовал по всей Словакии, побывал в Германии; он ходил с места на место, точно его подгоняла какая-то тайная пружина. Это был оборванный, небольшого роста старичок с сизым носом пьянчужки. У него был жесткий режим: две недели работать, неделю пить, неделю бесцельно шататься, набираясь сил. К людям и событиям он относился спокойно, не без интереса, но слегка презрительно, точно знал все наперед и его уже ничем нельзя было удивить. Вся его жизнь, весь его жизненный опыт сосредоточивались в одной-единственной фразе, простой и обобщающей: люди готовы глотку перегрызть друг другу.

Янко Крап сунул белье в потрепанный портфель. Как можно скорее вон из этого дома, вон из этого города! Старичок снова сел на свою постель, продолжая стричь ногти. Радио в соседней комнате ревело марш гардистов.

8

— Конец, — торжественно сказала Олина. — Теперь все знаю, — добавила она и с шумом захлопнула учебник французского языка. Французский язык нынешние власти изгнали из школ. Пани Гана, мать Олины, питала романтическую склонность к этому языку: она провела три лучших года своей жизни (как в этом ее убеждала последующая жизнь) в пансионе в Швейцарии. Отец смотрел на частные уроки французского языка сквозь пальцы: лишь бы без крика, только бы из-за этого чего-нибудь не вышло. Олина на уроках, как всегда, когда имела дело с учебниками, откровенно скучала, пытаясь заполнить часы урока невинным флиртом с чудачком-учителем. Он, по мнению Олины, был безнадежно неприступен, холоден и строг: его глаза, скрытые очками, следили за ней настороженно и насмешливо. Именно поэтому он и стал объектом, на котором она испытывала свои чары.

Приподнявшись на цыпочки — при этом под ее тонкой кофтой резко обозначилась грудь, — Олина подхватила обеими руками пышные светлые волосы и откровенно зевнула.

— Пойдемте на улицу, — сказала она.

— Идет дождь, — хмуро отозвался Марек и посмотрел в окно. Береза вздрагивала под холодным, унылым дождем.

— Я люблю дождь, — сказала Олина. — Значит, не пойдете?

Марек заставил себя глядеть в окно, слышал легкое потрескивание волос — Олина причесывалась, подстерегая его взгляд в зеркале. «Не пойду, не пойду! — хотелось ему закричать. — Ненавижу эту ерунду, ненавижу красоток, словно вырезанных из модного журнала, этих бездушных красоток из кинофильмов. Не пойду, не пойду, я не дурак рыцарь, я не желаю быть дураком в этой игре, которую я разгадал и отлично понимаю».

Отвернувшись от окна, он встретился взглядом с Олиной. Она улыбалась виновато и просительно.

— Ну что ж, пойдемте, — сердито сказал Марек.

Ветер швырял капли дождя, холодные и колючие, точно иголки. Тоска заполняла промежутки между серыми домами. Мир казался одноцветным, его заслоняла скука, тяжелая, тревожная.

— Я люблю дождь, — проговорила Олина. — С детства люблю дождь. Это небесный дар. Да? Он очищает душу.

Капюшон сбился у нее набок, волосы надо лбом намокли, потемнели, и все лицо как будто стало серьезнее.

Марек злился, шагая рядом с ней. Старый плащ промок и неприятно холодил. В дырявых ботинках хлюпала вода: чавк-чавк. Очки запотели, мир скрылся от него за туманной пеленой, как-то странно колеблясь и издавая звук: чавк-чавк.

— Романтизм, — сказал Марек.

— Нет, почему? — торопливо заговорила Олина. — Почему романтизм? Просто люблю. Без всякой причины, просто так люблю.

Марек ничего не ответил. Если ответить, то надо сказать — да, это так. Мы любим и ненавидим без причины. Вопреки причинам. Несмотря ни на что.

Они вышли на набережную. Ветер здесь был порывистее, холоднее, деревья стояли совсем голые, вокруг было пусто, ни души. Даже бронзовый Штефаник, трагически одинокий, казался хмурым. Дунай уныло катил на восток свои свинцовые, печальные воды.

Олина вдруг остановилась и коснулась пальцем плаща Марека. Марек невольно вздрогнул.

— Скажите, — заговорила Олина, — скажите, Марек, правду, но только правду. Можно любить без причины? Без всякой причины?

Она смотрела на него пылливо и немного насмешливо.

Марек молчал, глядя в землю. Мир, казалось, замер. Замерли все звуки. Марек чувствовал аромат волос Олины и слышал ее дыхание. Он прислушивался к ее дыханию — это был единственный звук, заполнявший безграничные просторы мира.

— Скажите же, Марек. Можно ли любить совсем, совсем без причины?

Голос Олины звучал на этот раз настойчивее. Марек поднял голову и увидел ее лицо теперь уже без тени насмешки. Лицо было серьезное, напряженное и, как показалось Мареку, даже печальное.

— Кого-нибудь или что-нибудь? — спросил Марек.

— Кого-нибудь или что-нибудь, не важно.

— Не знаю, — сказал Марек.

Он отвел глаза и снова уставился в землю, на свои ботинки, жалкие и разбитые; он мысленно видел себя всего — жалкого, несчастного, неуклюжего, непривлекательного.

— По-моему, нельзя, — ответил он колко, все еще глядя на свои разбитые ботинки. — Все имеет свои причины.

Олина сердито повела плечами и двинулась вперед. Марек, погрустневший, понуро шагал рядом. Почему он не уходит? Почему не бежит? Почему уступает тому, что сам считает безумием? Но он не мог уйти и шагал, опустив голову, против собственной воли. Он чувствовал, что откуда-то к нему приближается решение, и боялся его.

— Для вас это невозможно, — враждебно сказала Олина, — а для меня это необходимо. Вы всюду ищете причину. Я же ищу любви.

— Любви?

— Да, любви!

— Как же вы ищете эту любовь?

— Весь мир полон ею.

— Любовью?

— Да, весь мир наполнен любовью. Разве вы этого не видите?

— Я вижу только ненависть.

— Ах, Марек, Марек, как вы этого не видите? Все, что меня окружает — ваш плащ, голые деревья, шум дождя, — все наполнено любовью. Все пробуждается, живет и дышит любовью. Не слышите? Нет? Не чувствуете?

— Нет, не чувствую.

— Ах, Марек, какой вы злой. Вы бесчувственный, Марек.

На этот раз Марек смотрит на Олину — лицо Олины серьезно, на нем лежит тень затаенного страха. На длинных ресницах повисли капельки дождя: капельки слегка дрожат и тихонько падают, словно слезы. Рот

у Олины полуоткрыт, влажные, немного полные губы вздрагивают от обиды. Марек смотрит на Олину и больше не борется с собой. Он уже не может не смотреть, самообладание потеряно. Это сильнее его разума и воли. Коснуться пряди ее влажных волос. Коснуться ее руки, губ, глаз. Милое, милое лицо! Марек останавливается, поднимает руку. Олина инстинктивно отодвигается.

— Не мучайте меня, Олина.

— Что такое, Марек?

— Вы мучаете меня, Олина. Разве вы не видите, как меня мучаете?

— Марек?!

Он молчит.

— Это недоразумение. Этого не может быть, Марек!

Марек стоит перед Олиной, жалкий, поникший, с узких полей шляпы на его впалые щеки стекают капли дождя. Острый длинный нос блестит, у Марека немного смешной и очень беззащитный вид. Олине жалко его. Она не слишком гордится своей победой. У Олины искреннее юное сердце. Она слегка избалована и слегка испорчена кино, но все это внешнее, все это смывает первая же волна настоящего чувства. Олина искренне жалеет Марека, хотя немного и презирает его — Марек так не похож на ее героя!

— Я знаю... — говорит Марек покорно, с отчаянием глядя не на Олину, а на свои разбитые ботинки. — Я знаю, это не должно было случиться. Что же мне делать? Что же мне теперь делать, Олина?

Олина не знает, что теперь делать Мареку, и стоит неподвижно. Все вдруг предстает перед ней в другом вете — жесты, взгляды, намеки Марека. Как она могла не заметить? Олине становится неловко и стыдно: нужно покончить с этим. Но как из этого выпутаться? Как всегда, в первую минуту ей приходят на ум сцены из кинофильмов. Она со стыдом отвергает: с этим нужно покончить просто, по-человечески.

— Я пойду, — говорит Марек.

— Не сердитесь на меня, Марек.

— Я не сержусь. Почему я должен сердиться? Я пойду.

Но он все еще стоит, не в силах двинуться с места. Он понимает, что стоит ему шевельнуться, как исчезнет последняя надежда: сделай он хоть одно движение — и

наступит конец, катастрофа, мрак. И он стоит, боясь пошевелиться.

Олина страдает, ей тяжело смотреть на Марека; прислонившись к железной решетке, она глядит на свинцовые, печальные волны. «Не сердитесь на меня, Марек, не сердитесь, я ведь только играла». Кошка от скуки мурлычет, играет с клубком. Откуда ей знать, что клубок живой, что ему больно?

— Я пойду, — повторяет Марек, но опять не трогается с места.

Олина вздыхает.

— До свидания, Марек. Не сердитесь.

— Больше мы не увидимся. Я больше не увижу вас, Олина.

— Нет, почему же? Ведь ничего не случилось?

У Марека что-то смешно булькает в горле, он отворачивается и на этот раз идет вперед. Он идет сгорбившись, шагая против ветра — чавк-чавк, — не оборачиваясь. Олина смотрит ему вслед, жалея и чуть-чуть презирая. «Как собачонка, — думает она, — как мокрая побитая собачонка».

Чавк-чавк. Марек идет против ветра, идет все быстрее и быстрее, целиком погруженный в эти звуки. «Я ведь должен чувствовать боль, — думает Марек, — но, странное дело, я ничего не чувствую. А может, я обманывал себя? Вправду ли я был влюблен?» Марек удивляется, что не чувствует никакой боли, напротив, ему кажется, что теперь ему стало свободнее и легче, и он даже начинает подозревать, что просто выдумал эту любовь, так же как выдумывает все остальное, что все в нем выдуманное. «Я книжный человек, во мне нет ничего настоящего, все выдуманное», — размышляет Марек, и то, что в другое время его мучило, злило, теперь, наоборот, успокаивает. Смотрите-ка, значит, он не может даже страдать, а просто выдумывает для себя страдания: это его щит, это отличная ограда, дающая ему независимость от мира реальных ценностей: я такой, каким я хочу быть.

Но когда он дома ложится на старый, скрипучий диван, перед ним неожиданно всплывает образ Олины: на ресницах слегка дрожат капли дождя, влажные губы полуоткрыты, веет ароматом от ее мокрых пепельных волос. Этот образ надвигается на Марека так внезапно

и неожиданно и с такой силой, что Мареку становится сразу тоскливо, и в эту минуту он понимает, что ему никуда не деться от этого образа. Олина не исчезнет, а навсегда останется здесь. Ему становится ясно, что тут, рядом с ним, в полумраке комнаты, не Олина, а ее образ, который он создал в своем воображении и влюбился в него. Это лишь часть его самого, его снов и мечтаний. А потом он пытается представить себе, что больше никогда не увидит этот образ, что он уже его не видит, совсем не видит, и тогда им овладевает острое чувство болезненной тоски. Нет, это невозможно, я должен ее видеть, обязательно должен видеть!

Марек пытается бороться, старается уйти в себя, погрузиться в привычные мысли. Внешний мир безжалостен и опасен; соприкасаясь с ним, Марек вновь уходит в себя, возвращается к своей шаткой уверенности. В груди книг он разыскивает маленькую красную записную книжку. В этой красной книжке скрыта его сила, его спор с внешним миром, его презрение, вся озлобленность слабого против сильных. В красной книжечке он плюет на все, чему приходится покоряться и чего он боится. Он записывает сюда свои мысли, возникающие в одиночестве, не мысли, а мыслишки: месть слабого. В записанных мыслях своя система — есть разделы и подразделы, весь мир систематизирован. Раздел «Политика» начинается следующей мыслью: «Нет хуже и убийственнее страха, чем страх правителей, боящихся за свою власть. Правители всегда боятся за свою власть: любая власть неустойчива. Поэтому в мире царит и будет царить страх». Раздел «Эгоизм» открывается мыслью: «Единственная радость, которая присуща нам до самой смерти, — это радость при виде неудач и ошибок других». А вот раздел «Любовь»: «Говорят, это святой эгоизм. Нет, это извращенный эгоизм. Это ложь и лицемерие, которым никто не должен верить и все же верят все, каждый ради самого себя». Марек перелистывает записную книжку, но на этот раз ему не удастся скрыться под спасительную защиту своих мыслей. Сейчас он смотрит на них со стороны, как беспристрастный судья: он презирает свое презрение, понимает, что причина его — слабость, а не сила. Как смешна вся эта мудрость слабовольного человека, как смешна она, прикидываясь, что кого-то оскорбляет!

Нет, Марек не в силах сосредоточиться, войти в свой привычный мир. Он откладывает записную книжку и начинает мерить комнату длинными шагами, пугая мышей в углах и думая только об одном: «Я должен ее видеть, должен! А что будет, когда я ее увижу? Это не важно, это совсем не важно, теперь важно только одно: я должен ее видеть!»

Хозяйка стучит в дверь, зовет пить кофе. В кухне тепло, в плите горит огонь; они сидят на низких стульях у плиты и пьют жидкую отвратительную «мельту»¹. Марек слушает хозяйку и кивает головой, слушает то, что давно уже знает: бесконечные жалобы одинокой женщины. У хозяйки полное красное лицо с черными усиками; это сорокалетняя женщина, рослая, сильная, как мужчина. Сейчас она гардеробщица в ночном заведении. Еще два года назад она была «дамой», у них был меховой магазин, целые дни она проводила в кафе, держала служанку, собачку, и у нее было свое «общество». Теперь у нее нет ничего. Муж погиб, возвращаясь на автомобиле из Модры после крупного кутежа, на полной скорости врезался в столб, разбившись сам и убив насмерть знакомую дамочку. Внезапная смерть мужа открыла обманутой жене не только его измену, но и долги, о которых она не подозревала. Все рухнуло почти молниеносно: от прежней жизни у нее осталась лишь кое-какая обстановка. Жизнь, к какой она готовилась и к какой привыкла, рухнула, и теперь она не знает, как ей жить дальше, только вспоминает и жалуется. О муже хозяйка говорит лишь одно хорошее и никогда не вспоминает о неожиданной развязке. Об измене мужа она пыталась забыть, а может, и вправду забыла, помня только самые светлые минуты, совместные воскресные прогулки, полные блистательного достоинства, его щедрость и легкомысленную веселость; в воспоминаниях она любила его так, как не любила никогда в жизни.

Марек слушает ее низкий жалующийся голос, слушает бессмысленные отрывочные истории из прошлого этой женщины, а другая половина сознания все время настойчиво нашептывает ему: он должен ее видеть, должен! Хозяйка, собираясь на работу, одевается в темноте. Марек внезапно решает: он должен увидеть Олину!

¹ Солодовый суррогат кофе.

Он шагал ссутулившись по улицам, словно прячась от кого-то. От кого? От самого себя не спрячешься. Мареку было досадно, что он уступил бессмысленному желанию, но досада была не искренняя, и он понимал, что она не искренняя. «Фу, да я просто сумасшедший», — ругал он себя, но желание шептало: «Ах, как хорошо быть сумасшедшим!»

Перед домом, где жила Олина, он потерял всю смелость. Олинино окно было открыто, и в нем слегка колыхалась белая занавеска. За окном темно. Марек стоит сгорбившись на противоположной стороне улицы и жадно смотрит на занавеску. Олина за ней так близко! Он озяб, его лихорадит, по телу пробегают мурашки. Он проводит холодной рукой по горячему лбу: да, я болен. От прежней смелости не осталось и следа, он знает, что не войдет в этот дом, не позвонит у дверей. И ждет чуда: может, Олина покажется в окне, может, выйдет из дверей. Марек стоит, стуча зубами, его лихорадит все сильнее и сильнее. «Я болен, мне нужно вернуться домой и лечь», — мелькает у него в голове, но он продолжает стоять и ждать чуда.

Занавеска в окне дрогнула, отодвинулась, и за ней открылась темная комната. Белая женская рука закрывает внутренние створки окна, на которых повешено затемнение. Марек весь напряжен — нет, это не она, это только служанка. Окно закрывается. Конец. Тьма. По тротуару идет человек, высокий, стройный мужчина в голубой офицерской шинели зенитчика; тихо насвистывая, он направляется прямо к входу в дом Олины. Марек узнает его даже в темноте: Это капитан Лабуда. У входа раздается звонок, затем хлопает дверь. Да, капитан Лабуда идет к ней, к ней.

Марек прикладывает холодную руку к горячему лбу. «Да, я болен», — бормочет он, идя по тихой улице. Сердце тоскливо сжимается: один, один!

Капитан Лабуда снимает в передней шинель, стряхивает брызги дождя с форменной фуражки. Бросив взгляд в зеркало, приглаживает руками непослушные каштановые волосы. Из зеркала на него смотрит широкоскулое лицо с крупным ртом, чистое, упитанное лицо

без следа морщин, молодцеватое лицо, которое так нравится девушкам и стареющим женщинам. «Селадон», — думает капитан Лабуда; он хочет презрительно усмехнуться своему лицу в зеркале, но не может: оно ему нравится.

Кто-то кашляет, и капитан Лабуда оборачивается. В дверях, ведущих в комнату, стоит Олина в темно-синем платье, ее светлые, почти белые волосы как будто излучают тепло.

— Это вы?

— Да, я.

— Мы не ждали вас. В такую погоду!

Олина заранее приготовила эти ничего не значащие фразы, но ее голос странно дрожит и ломается, это не ее глуховатый девичий, а глубокий, грудной голос, готовый вот-вот прерваться от волнения. Олина стоит, оцепенев, все в ней напряжено, все в ожидании следующей минуты: что-то должно случиться, что-то большое и незабываемое!

— Как раз подходящая погода, — говорит капитан Лабуда. — Самая подходящая погода для разлуки.

— И для любви, да?

— Для любви? Что вы об этом знаете?

— Идет дождь, и в комнате полумрак. Мир далек, мира не существует, и двое любят друг друга, не так ли?

— Что вы об этом знаете?

— Я... ничего.

— И в самом деле ничего. Что вы об этом можете знать?

Капитан Лабуда чувствует всю напряженность минуты, и это ему не нравится. Он любит женщин, но не любит всяких осложнений с ними. Как было бы великолепно любить их, смотри они на все просто, как оно и есть на самом деле. Но женщины ко всему припутывают какие-то мечты, какие-то желания, плачут и обижаются, ревнуют и ненавидят и лелеют какие-то еще более сложные и непонятные чувства, и все для того, чтобы в конце концов сдаться.

Олина нравится капитану Лабуде. Да и кому Олина не нравится? Но капитан предчувствует, что с ней будет много осложнений. Олина как раз из тех женщин, которые все усложняют и все делают трудным, выдумывают

какие-то обоснования для своей страсти и глубоко ее переживают. На кой черт ему нужны все эти выкрутасы? И все-таки ему льстит, что в него влюбилась такая красивая и юная девушка.

Олина неподвижно стоит в дверях; напряжение проходит, улетучивается: опять ничего не случилось и не случится. Это до отчаяния безнадежно, а он прекрасен как бог, еще лучше, чем в мечтах. Он совсем близко — сейчас пройдет мимо нее, повеет запахом табака и здорового мужского тела. Олина закрывает глаза, хотя понимает, что ничего не случится.

— Что вы, Олина, знаете о любви?

— Ничего, — говорит Олина. — Ничего о ней не знаю.

Несколько полные губы ее дрожат от горя и детской злости.

Мать Олины сидит на тахте: две недели назад ей вырезали раковую опухоль. Пани Феркодичева чувствует себя неплохо, ей теперь гораздо лучше, чем до операции, болей нет, ей продлили жизнь, а она уже не ждет от жизни много, она научилась быть скромной в своих желаниях. Капитан Лабуда целует ей руку.

— Какой ты милый, Янко, как хорошо, что ты пришел, — говорит пани Гана, и видно, что слова ее искренни, она и вправду рада его приходу.

С капитаном к ней приходят самые лучшие воспоминания, самые радостные недели ее жизни: первая любовь. Стук мельницы, белое в сборках платье с широкой черной лентой, в саду сладко пахнет спелыми грушами. Она вернулась из Швейцарии, ей семнадцать лет, она свободна, на душе у нее легко — она полна надежд. А ее кузен, сильный и мужественный, опаленный солнцем, ходит с раскрытой грудью, закатав рукава. Он стоит перед ней, глядя в землю, и задумчиво постукивает палочкой по голенищу. Объяснится он или нет? Объяснится? Нет, не объяснится, он робкий, такой милый и такой робкий! Но она рада даже тому, что понимает, о чем он хочет ей сказать, рада даже, что он такой робкий. А потом кончается просто и глупо: они расстаются, так ничего и не сказав друг другу.

Гана Феркодичева еще и сейчас вздыхает: как глупо все кончилось! Как безвозвратно исчезло чувство легкости и свободы, сладостное искушение, чистый смех

и невинные слезы, как все это безвозвратно исчезло! И как бедна и жалка вся жизнь по сравнению с этими несколькими минутами!

И вот теперь перед ней стоит его сын, совсем другой и все же похожий на него, сын не так неловок и мил, он немного холоден, умеет взять себя в руки, умеет и все вокруг держать в руках. Они оба, и он и она, любят мельницу, ленивую речку и аромат спелых груш. Они вспоминают, вспоминают почти без слов, в долгом молчании в памяти возникают картины, такие близкие и милые.

Олина от злости кусает губы: она ревнует его к этим воспоминаниям. Что это за неизвестная жизнь, о которой они так любят вспоминать? Почему она ничего не знает об этой жизни, почему ей непонятны их слова и молчание?

Потом воспоминаниям приходит конец, словно их кто-то обрывает; пришел архитектор Феркодич, его длинное лошадиное лицо серьезно и важно нахмурено. Архитектор Феркодич — богатый и важный человек; он строит собственную виллу и заседает в парламенте. Виллу он строит в чисто словацком стиле, в стиле оравских поместий, с башенками, с островерхой крышей, и парламент, где он заседает, тоже чисто словацкий. Архитектор Феркодич стал истым словаком именно тогда, когда это было выгоднее всего, пять лет назад: перед этим он был членом партии аграриев. «Мы, словаки, — говорил он, — ждали этого момента, ждали тысячу лет, чтобы выполнить свою историческую миссию, осуществить идею словацкого независимого государства». Тысячу лет! Какими страданиями вымощен был путь от Сватоплука и Прибины до Тисо и архитектора Феркодича! И вот настал конец страданиям, претворилась в жизнь идея независимости: архитектор Феркодич стал во главе большой строительной фирмы. Военная конъюнктура вынесла его на поверхность, он строил дороги на Восток, голова у него пошла кругом от успехов. Если вначале у него и были сомнения, то впоследствии он перестал признавать какие бы то ни было компромиссы. Успехи окончательно его убедили, что все так и должно быть — изгнание чехов, торжество немецкого оружия, транспорты евреев. Сталинград он переживал как личное оскорбление, но и дальше пытался верить в

победу немецкого оружия, не желая утратить веру в свои успехи.

— Вы еще здесь? — приветствовал он капитана. — Вас еще не отправили на Восток?

— Мы охраняем вас, — сказал капитан Лабуда. — Защищаем сердце государства.

Архитектор Феркодич посмотрел на капитана Лабуду исподлобья: не смеется ли он? Но Лабуда был серьезен.

— Они не осмелятся, — сказал архитектор Феркодич и вспомнил о своей вилле. В полдень он заехал посмотреть на нее — она была почти готова, уютно выглядывая из-за деревьев и вызывая в нем пылкую радость.

— Они не осмелятся, — повторил архитектор Феркодич, — мы — открытый город. На что мы нужны англичанам и американцам? Зачем им нас бомбить? — спрашивал архитектор Феркодич; он и вправду не понимал, что может быть у англичан и американцев против Братиславы.

— Мы объявили им войну, — сказал капитан Лабуда.

— Это же была простая формальность, — возразил архитектор Феркодич.

Все знают, что это была простая формальность, жалкий и смешной жест. Ему самому было смешно, когда он поднимал руку в парламенте: карлик грозит великану.

Олина подает кофе, руки у нее дрожат, когда она наклоняется к капитану Лабуде, она совсем близко от него — волосы упали ей на лоб и касаются его лица. Кофе пролился. Капитан Лабуда мягко, успокаивающе коснулся ее руки. Олина вся вздрагивает и спешит скрыться в самый темный угол. Мать все это видит и глубоко вздыхает: ах, как она завидует молодости своей дочери, даже ее разочарованию в первой любви!

— Возможно, они об этом не знают, — сказал капитан Лабуда. — По-моему, они не знают, что это была простая формальность.

— Они не осмелятся, — еще раз повторил архитектор Феркодич, совсем не убежденный в этом. В последние дни в нем зашевелились тайные опасения: а что, если мы потерпим поражение? Что, если счастье навсегда покинет немецкое оружие? И секретное оружие только блеф? Тайные опасения появлялись у него и

раньше — в новой вилле он устроил просторный подвал с двойным железобетонным перекрытием. Но в последние дни его тайные опасения становились все отчетливее, возникали и формировались где-то в глубине сознания.

Можно надеяться, можно верить, но нельзя не видеть: поражение близко.

— Осмелятся, — неожиданно сказала пани Гана. — Почему бы им не осмелиться? Это будет мстью за неумеренную жадность.

Архитектор Феркодич уже давно не любил свою жену и даже не помнил, когда он ее любил. Он не мог простить ей, что она была умней и образованней его и презрительно, с насмешкой напоминала ему об этом.

— За какую неумеренную жадность? — спросил он злобно.

— За неумеренную жадность, — спокойно и насмешливо ответила пани Гана. — Ты хорошо знаешь за какую.

Архитектор Феркодич строго посмотрел на свою жену, но та не опустила глаз и даже не попыталась скрыть свою насмешку. Архитектор Феркодич встал — ему очень хотелось стукнуть кулаком по столу, но он не стукнул, это было бы неприлично. Он прошелся несколько раз по комнате, его длинное лошадиное лицо стало злым и обиженным. Пани Гана и капитан Лабуда переглянулись: они понимали друг друга. Олина, нахохлившись, сидела в углу и тщетно старалась поймать взгляд капитана: ей казалось, что он совсем забыл о ней.

— Допустим, — сказал архитектор Феркодич, — допустим, что это так, что поражение и в самом деле близко. Но поражение еще не конец. Даже в природе и буря и землетрясение — все минует. А человек останется, нация останется, мы останемся. Допустим, что на какое-то время немецкое оружие перестанет гарантировать нам спокойствие. Что же будет? На нашей территории произойдет столкновение Востока с Западом; мы сделаемся буферным государством, второй Швейцарией. Буря пройдет, а мы по-прежнему останемся тем, чем стали.

— От нас останется мокрое место, — серьезно сказал капитан Лабуда. — В таком случае от нас останется мокрое место. В исторических музеях после нас сохранятся старинные словацкие штаны. С нами исчезнет тайна производства липтовской брынзы; мир обеднеет.

Гана Феркодичева зло усмехнулась. Олина в углу тихонько засмеялась.

— Не смейтесь,— оскорбленно сказал архитектор Феркодич.— Это чрезвычайно серьезное дело.

— Я говорю об этом вполне серьезно,— ответил капитан Лабуда.

Архитектор Феркодич злился. Он чувствовал, что над ним издеваются, но насмешка была скрытая, неуловимая, смеялись не только над ним, смеялись над всем тем, что он представлял в своем лице,— над парламентом, над правительством, над официальной философией. И подумать только, кто смеется?.. Шалопай, разевшийся солдат. Ему бы следовало защищать цивилизацию на Востоке, а он вместо того философствует и занимается подрывом основ. И сеет вокруг себя разложение и страх перед будущим. Сколько таких теперь вынырнуло! Но нет, еще не пробил их час, и неизвестно, пробьет ли когда-нибудь!

— Вы слишком далеко заходите,— сказал архитектор.

— А что вы думаете?

— Я уже сказал. У вас опасные мысли.

— Государственная измена?

— Как на то смотреть. Возможно, и государственная измена!

— Антон, не сходи с ума! — воскликнула пани Гана.

— Молчать! Молчать! — Архитектор Феркодич расвирепел, затопал ногами, лицо у него налилось кровью, и редкие волосы встали дыбом. Он кричал и брызгал слюной: в эту минуту он действительно чувствовал себя окруженным изменой. Разбуженный страх убеждал его, что это так и есть, что всюду плетется паутина заговора, всюду проникает и все теснее его опутывает. — Предатели, все вы предатели,— кричал он,— все вы трусы и предатели!

— Антон! — возмущенно крикнула пани Гана. Муж был омерзителен, и она стыдилась за него.

— Извините,— сказал капитан Лабуда.

Он спокойно поцеловал пани Гане руку и улыбнулся ей: мы-де понимаем друг друга. Потом он высокомерно поклонился архитектору Феркодичу: элегантный и безукоризненный капитан, уверенный в себе, и это доставило ему удовольствие.

Капитан Лабуда вышел. Архитектор Феркодиш метался по комнате, издавая бессвязные звуки, потом ринулся в свой кабинет, с грохотом захлопнув за собой дверь. Пани Гана приподнялась с кушетки, словно желая задержать капитана, хотя и знала, что случилось непоправимое, что она теряет одну из последних своих радостей в жизни. Она закусила бескровные губы. Боже, что за жизнь!

Олина все поняла скорее сердцем, чем разумом: он уходит, уходит навсегда. Она выбежала в переднюю, непонятно почему на цыпочках, но там его уже не было. Она догнала капитана за углом и, испуганная, остановилась перед ним, тяжело дыша. Он наклонился к ней.

— Это ничего, Олина, ничего, — сказал он и слегка коснулся ее плеча.

— Я должна вас видеть, — еле переводя дух, сказала Олина.

Он помолчал, потом вздохнул и нерешительно пожал плечами.

— А вот это было бы плохо. Это бы скверно кончилось, Оля.

— Я должна, — прошептала Олина. — Понимаете? Должна!

— Это было бы плохо, — повторил капитан Лабуда.

Он смотрел куда-то поверх Олининой головы, избегая ее взгляда, он боялся увидеть ее испуганные, застывшие глаза, знал, что уступит жалости. «Черт возьми, — думал он со злостью, — что мне делать?» Олина нравилась ему больше других женщин -- она была такая хрупкая, такая юная и загадочно нежная! Она была словно посланницей какого-то далекого, особого мира. Этот мир был соблазнительным и в то же время опасным! Неизведанное манило, но в нем таились те осложнения, которых так боялся капитан Лабуда. «Черт возьми, что мне делать?»

— Дождь идет, Оля, — сказал он. — Смотрите, какой сильный дождь. Вы промокнете, нужно вернуться домой.

Олина опустила голову. Да, так и должно было все кончиться, не иначе. Ей хотелось кричать от стыда, от унижения и разочарования. Она резко повернулась и бросилась домой. Дома она громко жалобно разрыдалась.

Янко Крап торопливо покидал город, бежал из него, хотел выбраться как можно поскорее. Он хотел скорее вновь обрести чувство безопасности, уверенно двигаться среди знакомых вещей и людей. Он близко сжился с опасностью, которая постоянно угрожала ему в горах; жандармов, преследовавших его, он знал по имени, опасность, которая грозила ему там, в Тепличных горах, была близкой, привычной, почти приятной. А в городе все было предательским, неизвестным, внешность людей была обманчива, опасность не таилась здесь в каких-то отдельных закоулках, она подстерегала повсюду — на улицах, в домах, во взглядах, в непривычных, неожиданных звуках. Янко Крапа не покидало ощущение неуверенности, очень отчетливое ощущение, что за каждым его шагом следят чьи-то глаза, внимательные и насмешливые глаза шпика.

Когда он брал чемодан из камеры хранения, его подозрения сменились уверенностью: он ясно увидел незнакомца в зеленой рубашке с очень широким галстуком, которого он видел в кафе. Парень только появился и сразу же исчез в густой толпе перед входом на платформу. Тысяча чертей, что теперь делать? Чемодан был такой тяжелый, что Янко с трудом тащил его. Он поставил чемодан на землю и выругался, бормоча себе под нос все известные ругательства, придумывая все новые и новые, но это не помогло. Что же делать? Не будь у него чемодана, все было бы проще: он не из тех, кого легко поймать. Но что делать с чемоданом? Ему очень хотелось вернуть чемодан в камеру хранения и уехать без него. Гектограф! Листовки! Боже мой, да на что им листовки? У них и так все понимают, в чем дело, а тех, кто еще не понимает, не убедишь никакими листовками! Какой важный и насмешливый был тот человечек. Я не гожусь. И вправду, вешалки продавать я не гожусь! Я им не чета, не чета этим революционерам с вешалками. Вешалки и революция! Уж не повесили ли они на вешалку и саму революцию?

Но чем сильнее он ругался, тем яснее ему было, что он потащит этот тяжелый и, как он думал, никому не нужный чемодан — он скорее рискнет всем, но исполнит приказ несимпатичного человечка. Он волочил чемодан

по ступенькам, стараясь скрыться в густой людской толпе, и внимательно оглядывал своих соседей. Парня в зеленой рубашке не было видно. Может, это ему только померещилось? Может, это просто разыгрались нервы, подстегнутые незнакомой обстановкой, — известное дело, у страха глаза велики.

Ночной поезд был, как всегда, набит до отказа. Янко Крап с трудом втиснулся в неосвещенное купе. Он сел в проходе на чемодан — другого места не оказалось. Закурил сигарету и затаился: меня теперь днем с огнем не сыщешь! В купе стоял тяжелый запах мокрой одежды и пота. Кто-то открыл окно, но другой пассажир с руганью снова закрыл его. Свежий, холодный, влажный воздух, ворвавшийся в купе, вновь сменился тяжелым запахом. Темное купе несло в темной ночи. Казалось, между тьмой купе и ночной тьмой стерлись все преграды — все слилось, стенки купе раздвинулись до бесконечности, словно сама тьма с вызывающим грохотом мчалась в неизвестность. Голова у Янко Крапа отяжелела. Он не спал десять ночей подряд — клопы в общегитии оказались наглыми и прожорливыми. Он дремал, прислушиваясь к тихому, далекому гулу людских голов. Кто-то барабанил в стенку: бух-бух, бух-бух. Это, конечно гомосексуалист в соседней комнате терзает новую жертву.

А потом кто-то склонился над ним, предлагая вешалки: не купите ли? Янко Крап отказывался: на что они ему? Но продавец не отставал, не хотел уходить и щекотал его. Янко Крап открыл глаза, прямо в лицо ему светил фонарем проводник. Билет, ах, да, билет, куда же он его сунул? Он нашел билет в потрепанном бу-мажнике, протянул проводнику, но тот не уходил, продолжал светить Янко Крапу в лицо. «Чемодан», — сказал проводник, и Янко на минуту замер: ну вот и конец. И тут понял — нужно убрать чемодан. Он поднял чемодан и с трудом его передвинул.

— Давайте помогу, — сказал кто-то рядом с ним. Янко Крап обернулся на голос, огонек фонаря заколебался и на минуту осветил лицо говорившего. На нем была зеленая рубашка и свободно завязанный галстук.

— Нет! — почти вскрикнул Янко Крап. — Нет, я сам, — сказал он уже тише, стараясь взять себя в руки.

Но парень в зеленой рубашке все же помог ему. Проводник ушел, купе снова погрузилось в темноту. Янко Крап застыл на месте: он пропал, предчувствие его не обмануло, он пропал. Он слышал рядом дыхание парня в зеленой рубашке, и на минуту его оставили силы.

— Тяжелый, собака, — сказал парень в зеленой рубашке. — Что у вас там?

Янко промолчал. В отчаянии он поспешно размышлял: что делать? Выскочить из поезда? Но как? Давка такая, что незаметно ни к двери, ни к окну ему не обратиться. Шпик кинется за ним и преспокойно пустит ему пулю в спину. Нет, только не это! Он будет защищаться, будет защищаться до конца, живым он не дастся. При мысли об этом Янко немного успокоился. Он сжал револьвер в кармане куртки и стал ждать.

— У вас там не гвозди? — спросил старческий голос из глубины купе.

— Эх, если бы гвозди, — вздохнул старик.

— Нет, там не гвозди, — ответил Янко Крап.

— Жаль, — сказал старик и снова вздохнул. — Я за этими гвоздями до самой Братиславы, до самого высокого начальства добрался и боровка им пообещал. А они мне — давай его сюда из рук в руки. Что ж, я должен был бы на своем горбу его тащить? А гвозди мне нужны, строюсь я, зятка с войны вытащил. Он пришел — не узнаешь, орет: «Отец, я с вами жить не желаю, вы живете, как свиньи в хлеву, а я все фронты прошел и теперь по-человечески жить хочу». Словом, не нравится ему наше житьё, вот мы строиться и начали. Так, значит, и вправду нет у вас гвоздей?

— Нет, папаша. Откуда мне их взять. — Янко Крап напряженно вслушивался в свой голос — не дрожит ли он от страха. Нет, не дрожит. Янко Крап решился, сжимая револьвер в кармане, и стал ждать. Он чувствовал рядом с собой парня в зеленой рубашке и с опаской следил за каждым его движением. Но парень стоял спокойно, лишь временами переступая с ноги на ногу, и чем-то странно поскрипывал.

Старик в темноте вздыхал, что-то бормоча и жалуясь. Купе, разделенное до сих пор на отдельные группы, начало объединяться, втягиваясь в общий разговор. Молодой озорной голос из угла поддел старика:

— Это вы, дяденька, не больно ладно придумали — строить в такое время. Придут русские и все у вас заберут. Все равно заберут, и вместе с вашими гвоздями. Хе-хе-хе.

— Не искушай бога, — серьезно возразил старик. Он наверняка перекрестился в темноте.

Потом раздался низкий, басистый голос, медлительный, глухой, словно шел он снизу, оттуда, где грохотали колеса.

— Гвозди — это ерунда. Вот пулеметик — другое дело.

Купе на минуту стихло, затем снова пришло в возбуждение, словно в него вдруг попала искра.

— Пулемет! Скажешь тоже!

— А пушки не хочешь?

— И на что тебе пулемет?

— Стрелять, дурья твоя башка. На что еще? — Густой, басовитый голос спокойно разнесся по купе. От этого рассудительного спокойствия у сидящих в купе пробежали по коже мурашки.

— Матерь божья, спаси нас от всякого зла, — запричитал женский голос.

— Бога не искушайте, — набожно и сокрушенно сказал старик.

— Нет, ты скажи, — отозвался молодой голос из угла, — скажи по-человечески, на что тебе пулемет? В кого стрелять?

— В кабанов, — спокойно сказал басистый голос.

— Го-го-го, — захохотал кто-то из мужчин. — Ну и брякнул!

— Нет, ты скажи, — не отставал задиристый паренек из угла, — скажи по совести. В кого ты хочешь стрелять?

— В кабанов, — ответил бас. — Роются у меня в овсах, все мои овсы перекопали, мои мозоли выкопали. Что же мне их жалеть? Нельзя мне их жалеть, чертей паршивых. Пулеметом их, так, чтоб пыль столбом взвилась и только спины у них засверкали.

— Го-го-го, — снова захохотал один из парней. — Вот это да!

— Свое добро защищать надо, истинная правда, — согласился старик.

Задиристый парень помолчал, наверное, раздумывал.

Потом обратился в ту сторону, откуда шел басистый голос, и тихо сказал:

— Не бойся, не такой я дурак, все понял. — И доверительно спросил: — Откуда ты?

— Тебе-то что за дело?! — злобно отрезал басистый голос.

— Да так, ничего, я ведь по-хорошему.

— Знаю я таких хороших, — рявкнул бас.

Парень замолчал, явно обиженный. Говор в купе так же внезапно оборвался, как и возник. Купе снова слилось с обступающей его тьмой и продолжало мчаться тихо, без звука в таинственную неизвестность.

Янко Крап сжимал в руке револьвер, рука оцепенела, все тело затекло от долгого напряжения. Сколько он еще выдержит? Парень в зеленой рубашке все еще стоял рядом — Янко Крап чувствовал его дыхание и в темноте различал беспокойные белки глаз. Нужно продвинуться незаметно. Стать парню за спину и бежать, выпрыгнуть в темноту. Оглушить его ручкой револьвера. Бежать без оглядки — он не в силах стоять так вечно и ждать, чего ждать? А чемодан? Черт его возьми, черт возьми их чемодан вместе с их гектографом, с их листовками! Разве человек не дороже какой-то глупой машины? Миллиметр за миллиметром Янко Крап начал продвигаться, стараясь очутиться у парня за спиной. Парень стоял, опершись о перегородку купе, и, словно не замечая Янко Крапа, переступал с ноги на ногу, чем-то поскрипывая. Янко Крап осторожно продвигался, держа револьвер за ствол, готовый к удару. Удар должен быть точным и по возможности бесшумным, может, в грохоте колес никто ничего не заметит. Но в тот момент, когда он уже вытаскивал из кармана руку с револьвером, с парнем в зеленой рубашке произошло что-то странное, он повалился, весь скорчился, вцепился в стенку и застонал от боли:

— Ой, люди добрые...

Янко Крап невольно выпустил револьвер и подхватил падающего. Тело было безвольное и тяжелое. Он едва его удержал.

— Посветите! — закричал он со злостью. — Посветите же!

Кто-то чиркнул спичкой. Появилась и самодельная зажигалка, неуклюжая и чадаящая. Янко Крап положил

парня на освобожденный край лавки. Глаза у парня были закрыты, а между полуоткрытых губ виднелись стиснутые зубы. Янко Крап растегнул ему рубашку. Ресницы дрогнули, парень глубоко вздохнул и широко открыл глаза: это был только минутный обморок.

Люди столпились вокруг парня. Рослая скуластая женщина в деревенской одежде перекрестилась и забормотала: «Спаси нас, мать божья, от всякого зла». Упавший смущенно озирался вокруг.

— Упал я, что ли? Простите меня, братцы, простите, это все моя новая нога. Трет и трет. Я за ней в Братиславу поехал, как-никак, последнее слово техники. Немецкий патент. Эх...

Он завернул штанину, показалась разборная искусственная нога из стали и дерева. Хозяин зажигалки наклонился, внимательно рассматривая ногу и обстукивая ее с видом знатока.

— Бросовый материал, — сказал он. — И трет?

— Трет, проклятая! Говорили, что не будет, дескать, это самый лучший товар, с полной гарантией, и дают его мне только как герою Липовца — там мне оторвало мою собственную. До сих пор я на деревянной ходил, не больно была хороша, ничего не скажешь, зато не терла. А эта трет и трет. Думал, перестанет, раз говорят, что она такая замечательная, последний немецкий патент, а она трет и трет. Я и зубы стискивал — не помогало. Так вы уж меня простите, братцы.

— Наверняка наши ее смастерили, — сказал пассажир с зажигалкой. — Немцы искусники известные, мастера на выдумки, промаха не дадут. Наверняка наши смастерили.

— Смотрите-ка, какой защитник немцев выискался, — отозвался задиристый паренек. — Зад готов им лизать.

— Стану я лизать! — Пассажир с зажигалкой говорил спокойно, совсем не сердито. — Но что верно, то верно: в таких делах они мастера.

Янко Крап стоял над парнем в зеленой рубашке, напряжение прошло, ему было стыдно. «Тьфу, — думал он, — ну и герой я, едва невинного человека не убил. И все от страха, струсил, как мальчишка...» И ему стало очень стыдно. Несимпатичный человечек оказался прав — он, Янко Крап, на такие дела не годится. Эх,

скорей бы уж добраться до Тепличных гор, очутиться в знакомой обстановке, среди знакомых людей и знакомой опасности. Разговор в купе вспыхивал и угасал и наконец совсем стих. Стук колес убаюкивал. Янко Крап прислонился к стенке и устало закрыл глаза.

Из зала в гардеробную долетали звуки ленивого и очень томного танго. Приятный хрипловатый тенор пел: «Ах, наше счастье у-ле-е-тит». Каролина Губерова, хозяйка Марека, вздохнула: улетело счастье, улетело безвозвратно. Когда-то и она ходила на танцы; тогда она не замечала, что на свете существуют гардеробщицы, швейцары, продавщицы цветов, продавщицы жареного миндаля — все это относилось к миру вещей, которые создавали вокруг нее атмосферу любви и которые можно было купить довольно дешево. Теперь она сама живет в этом мире, униженная в мире униженных. Но и тут царит иерархия: у швейцара, например, в этом мире самое высокое положение — он может безнаказанно смеяться над Каролиной, может называть Карличком за ее усики, а она должна молчать. А продавщицы цветов, миндаля и сигарет, наоборот, подчинены ей так же, как и женщина, обслуживающая туалет. Официанты принадлежат к другому миру, рангом повыше, но еще более высокое положение занимает пан Колиско из дирекции, над ним стоит только хозяин, но того Каролина видела лишь раз, когда нанималась на работу. «Ах, ах», — вздыхает Каролина Губерова. Навалившись грудью на пульт и подперев лицо ладонями, она слушает ленивое и очень томное танго и вздыхает.

Швейцар настежь распахивает дверь и учтиво раскланивается: входит хороший гость — Августин Шернер. Хороший гость в хорошем настроении, в отличном настроении, все его лицо, включая элегантные усики, улыбается торжественно и приподнято, у него вид человека, которому выпал крупный выигрыш. И это действительно так: Августину Шернеру выпал крупный выигрыш — наконец произошло то, чего он так долго, до отчаяния долго ждал: напечатали его поэму. Поэма называется «Катаклизмы», она вся пропахла типограф-

ской краской — это опьяняющий, самый опьяняющий запах на свете. Журнал, в котором напечатана поэма, аккуратно сложен и засунут в боковой карман, у самого сердца; Августин Шернер все время трогает журнал и снова и снова ощущает радость победителя.

За Августином Шернером нетвердо шествуют три представителя литературных кругов, достаточно известных, чтобы оказать ему честь своим присутствием. Шернер снимает с них грязные, мокрые пальто, суетится вокруг с простодушной почтительностью: «Прошу, прошу, господа». Он улыбается всем, улыбается даже Каролине: как ты себя чувствуешь, Каролинка? Каролина сначала хмурится, размышляя, не обидеться ли, потом натянуто улыбается: этот господин постоянный гость, и к тому же он никогда не требует сдачи. Августин Шернер порхает и скользит по паркету, нашептывая что-то метрдотелю. Минуту спустя он уже восседает со своими собутыльниками в уютном кабинете, официант сказочно быстро приносит вино и разливает по бокалам.

— За ваше здоровье, господа. Да здравствует поэзия! — произносит Августин Шернер. Он встает — для него это торжественная минута: ведь он сидит, пьет с ними, чувствует себя одним из них. — За ваше здоровье, господа, за поэзию, — произносит он взволнованно, и голос его звучит неестественно. Августин Шернер заикается, он глубоко растроган самим собой.

Но его собутыльники нисколько не растроганы, они и не думают вставать да и вообще не испытывают никакого восторга — они усиленно пьют и молчат. Один из них, редактор журнала и издатель по случаю, отдувается и потеет, потому что несколько тучноват. Наклонясь к Августину Шернеру, он гудит ему прямо в ухо:

— Какую-нибудь цыпку, а?

— Кого, простите?

— Цыпку, осел!

— А-а, цыпку.

Августин Шернер наконец понимает и послушно встает. Он оглядывает танцующих, видит несколько знакомых ему женщин легкого поведения, но ему кажется, что их никак нельзя соединить с ощущением, которым он сейчас полон, — с ощущением гордой победы, чего-то великого и головокружительного. Он ищет взглядом

одинокую девушку — лучше всего девушку, с печатью грусти, которая сулила бы ему не будничное приключение, а приключение, соответствующее его возвышенному настроению. И тут он видит именно такую девушку — она сидит к нему спиной неподалеку от танцующих; Августин Шернер спешит к столику: разрешите, пожалуйста. Девушка оборачивается, и он узнает Эму.

— Ах, это ты, Эма! Это ты! — радуется Августин Шернер.

Эма отвечает его представлениям, она не похожа на других, и он приглашает ее и тащит в отдельный кабинет.

— Плевать мне на твоих поэтов, плевать мне на них, — говорит Эма, но покорно идет за ним. Почему бы ей не пойти, не все ли равно, с кем провести вечер, ночь — ничтожную частицу бессмысленной жизни? Да, для Эмы безразлично, с кем она проведет ночь, с кем проведет вечер; она ищет такое место, где сгинула хотя бы часть огромной бессмыслицы жизни. Капитана она бросила через неделю: возбуждение, охватившее ее в первые дни, притупилось и возвращалось потом упрямо одинаковое, ничем не удивляя, однообразное и безличное. А Эма ждала чуда! Чуда, которое перевернуло бы всю ее жизнь, придало бы ей простой и глубокий смысл. Неужели невозможно, чтобы у жизни был простой и глубокий смысл, и разве ей, Эме, заблудшей, мятущейся душе, так никогда и не обрести его? Ведь живут же люди в закоснелом спокойствии, может быть, тупом и ограниченном, но кому это мешает? А она, Эма, не может найти себе покоя, не может быть инертной, жить, ни о чем не задумываясь, она тоскует о чем-то неясном, сама не зная о чем. Ах, будь она красивой, ей жилось бы легко, счастливо, бездумно. Но она некрасива, она знает и всегда помнит об этом; разве не от этого строгого постоянного самоанализа начинаются все ее несчастья? Нет, лучше об этом не думать, лучше ни о чем не думать: мысли влекут за собой слишком ощутимые страдания. Надо попытаться забыть, да, нужно забыть.

Поэт с бледным узким лицом уставился на нее тупым, пьяным взглядом. Прямые волосы падали ему на лоб, ухмыляющийся рот открывал гнилые зубы.

— Ты тоже цыпочка?

— Не знаю, — высокомерно сказала Эма. — Не знаю, кто я, а вы — определенно хам.

— Го-го-го, — загоготал редактор. — Вот это язычок!

— Простите, господа, — сказал Августин Шернер. — Это медичка. Последний курс.

— Го-го-го, — снова загоготал редактор. — Со всеми своими многочисленными добродетелями? Не так ли?

Третий из этой литературной братии молча и быстро поглощал стакан за стаканом, но лицо его совсем не менялось, несмотря на то что пил он много. Лицо было полное, свежее, без морщин, с тонкой сеткой кровеносных сосудов на носу и под глазами.

Августин Шернер наклонился к Эме и прошептал ей:

— Извини их, Эма, они это не серьезно.

Эма пожала плечами: какая разница? Тучный потный редактор отдувался, от него неприятно пахло. Осовелый поэт нагло разглядывал Эму. Официант приходил и уходил; в углу сгрудились пустые бутылки. Пили торопливо, жадно. Августин Шернер пытался петь, его оборвали. Давай пей, не теряй времени, все банально и глупо, пить — вот сама цель, истина в вине. Тучный редактор потной рукой назойливо поглаживал под столом Эмины колени. Эма резко, со злостью сбросила его руку.

— Вы изомнете мне юбку, — сказала она громко.

Третий из компании, до сих пор не сказавший ни слова, вдруг повернулся к Эме:

— Вы медичка?

— Да.

— Значит, вы должны понять. Это распад материи. Понимаете, общий распад материи. Незвестная болезнь общества...

— Гибель! Да здравствует гибель!

Поэт взгромоздился на стул, сорвал с себя галстук, угрожающе выкрикивая что-то бессвязное.

— Да, мы дрожи! — сказал Августин Шернер.

— Го-го-го, — загудел редактор, — просто закваска.

— Распад ткани, — упрямо повторил третий из компании. — Вы должны это понять. Болезнь неизвестная, известны лишь ее признаки, болезнь в скрытой форме, мы видим только сыпь. Этот человек, — он показал согнутым пальцем на поэта, словно уличая его в чем-то, — просто сыпь, и ничего больше.

Поэт стоял на стуле и тупо, бессмысленно ухмылялся. Августин Шернер почтительно затаил дыхание. Эма больше не чувствовала безразличия; то, что говорил этот человек, казалось ей достаточно умным и убедительным. Слова, которые она сейчас слышала, бесформенные и туманные, были ей будто давно известны; теперь все прояснилось и приняло четкие формы.

Говоривший сидел, наморщив гладкий лоб, вытянув руки на столе, и смотрел широко открытыми глазами куда-то поверх своих сабутьльников.

— Цивилизация была такой сложной и хрупкой, что начала разлагаться сама по себе. То, что мы видим, просто и страшно: война, кровь, убийство. Но то, что мы не видим, еще страшнее, — это неумолимая всеобщая смерть. Всеобщая анемия. Всеобщий распад. Понимаете, такой полный распад, после которого уже ничего не может появиться и от которого нет спасения. Единственный выход — прекратить жизнь, но распад зашел так далеко, что у нас нет сил покончить с жизнью. Выхода нет, понимаете? — Он окинул всех строгим взглядом, потом уставился на Эму. У Эмы прилила кровь к лицу — да, да, это так и есть. Ее собственные страдания становились меньше, бледнели рядом с картиной всеобщего безмерного ужаса; этот всеобщий ужас был потрясающе страшен, но он не был ее собственным, а потому почти приятно волновал. Собственная судьба становилась законной частью судьбы всех, ее неотъемлемой частью, и это возбуждало.

— Выхода нет, — сказал человек и хлопнул ладонью по столу. Он задумался, потом снова устремил свой взгляд куда-то поверх сидящих. — Или нет, один выход есть. Единственный разумный выход для цивилизации — отказаться от всех претензий на разум и от всех претензий разума. Разум привел цивилизацию туда, где она очутилась, сейчас его нужно отбросить. Нужно скинуть с себя это изношенное платье, через которое передается зараза. Да, голый человек, голое человечество, в этом единственное спасение! Я призываю тебя, святое варварство, приди и спаси жизнь!

— Да здравствуют варвары! — воскликнул поэт и, рискуя сломать себе шею, чуть не свалился со стула.

— Голый человек, и особенно голые женщины, —

было бы недурно, — сказал редактор. — Но напрасно ты, профессор, это проповедуешь — в нашем климате из этого ничего не выйдет.

Августин Шернер разочарованно посмотрел на редактора — как можно смеяться над такими глубокими мыслями? Теперь, именно теперь Августин Шернер почувствовал полноту жизни, как мореплаватель, на корабле которого ветер наконец надул повисшие паруса. Эма слушала все еще внимательно, но чем дальше говорил человек, которого называли профессором, тем больше что-то начинало ее раздражать. Это что-то заключалось не в его словах: слова, как видела Эма, были правильны и правдивы. Скорее, ее раздражал сам говоривший — он играл словами, играл ужасом; в человеке было что-то актерское — широкие жесты, которыми он хотел ошеломить; было видно, что он старается быть не тем, что есть на самом деле.

— Да здравствуют варвары! — снова воскликнул поэт.

Он кому-то погрозил, потерял равновесие и с грохотом свалился со стула. Вино разлилось. Профессор предусмотрительно отодвинулся и презрительно скривил свой красиво очерченный рот.

— Варвары уничтожат поэтов. Им будет не нужна поэзия, она будет в них самих, будет присуща каждому проявлению их обнаженных чувств. Движение обнаженных чувств, освобожденных от всех пут, будет их единственной поэзией. В сравнении с этой поэзией все созданное до сих пор человечеством — только жалкий лепет и глупость.

— Аминь, — сказал редактор.

— Гав-гав! — залаял из-под стола поэт.

Профессор перевел дух и продолжал, словно ничего не видя вокруг себя.

— А кто расчищает им путь? Мы — последние интеллигенты последней цивилизации; умирающие сами копают себе могилу. Мы несем знамя разложения, сеем заразу, мы стоим на берегу черных вод нового Иордана, готовя приход Великого Варвара. Наш героизм — в нашей ненависти, наша надежда — в нашей гибели. Еще никогда у человека не было более ужасной и великолепной судьбы: расчищайте же ей путь, расчищайте ей путь!

— Да, — сказал Августин Шернер восторженно, — да, мы дрожи.

— Гав-гав! — лаял из-под стола поэт.

— Все это глупости, — сказал редактор. — Давайте лучше выпьем.

Профессор ничего не ответил, только пожал плечами. Потом он взял в руки бутылку с узким горлышком и долго пил, словно его мучила жажда. Морщины у него на лбу разгладились, взгляд вдруг стал мутным, бессмысленным.

— Гениальные мысли, — сказал Августин Шернер, — грандиозные мысли. Да, это наша судьба.

— Го-го-го, — загудел редактор. — Простая машинка для слов. Налей вина, и машинка крутится. Вот так-то, господа и дамы, готовьтесь к Судному дню, потому что я напился и машинка во что бы то ни стало хочет работать.

«Правда, правда, все это так, совершенно верно, — думала Эма. — Это только игра словами, пустая игра, за которой ничего нет, кроме слабости и страха. Одна из многих систем защиты от действительности; неискренность, которая прикидывается суровой и грубой искренностью».

Официант принес новые бутылки. В кабинет заглянул цыган с расшитой словацкими узорами рубахе. Цыган заиграл, а Августин Шернер запел, эlegantные усики у него трогательно задвигались. Профессор склонил голову на руки, его остекленевшие, пьяные глаза смотрели бессмысленно. Поэт, спрятавшись под стол, подвывал и лаял. Влажная рука редактора снова щупала Эмины колени. Августин Шернер допел и расплакался.

— Господа, как это прекрасно, — сказал он, и по лицу у него покатились слезы.

Эма встала, голова у нее кружилась, ноги не слушались. Она заставила тело подчиниться своей воле. Она должна была уйти; в ней поднималось острое, безудержное чувство отвращения.

Каролина Губерова умывалась в кухне. Каждое утро, приходя с работы, она умывалась со смутной мыслью, что смывает с себя все свои унижения и все свои несчастья. Умывалась она в небольшом умывальнике, раз-

брызгивая воду, а потом яростно, докрасна вытиралась полотенцем. Затем причесывалась перед большим зеркалом с затейливой рамкой — зеркало было из прошлой жизни, и минуты перед ним были самыми счастливыми. В этот миг ей казалось, что ничего не изменилось, она сидит перед своим старым зеркалом в тихой супружеской спальне; где-то сзади широкая супружеская постель, и в ней еще хранится тепло обоих — мужа и ее; она полна ленивой истомы и сладкой усталости, смотрится в зеркало и видит свои сильные красивые плечи, еще свежую грудь, поглаживает руками бедра, понимая, что она еще привлекательна. Но тут на нее веет холодом, она приходит в себя, очнувшись от своих мечтаний, и вот опять она в жалкой кухоньке, униженная и презираемая, и одна, одна, никому не нужная, ни для кого не привлекательная. Такая одинокая, покинутая! И так нуждается в ком-то, так тоскует по живому человеку, по живому словечку, взгляду, по прикосновениям мужских рук!

Она вздохнула, надела ночную рубашку, сунула ноги в домашние туфли. Она устала, но спать ей совсем не хочется, ей вообще не хочется спать, посланная кушетка ей неприятна. Спать, но даже во сне она одна, и, когда встанет, опять одна, всегда одна, во сне и наяву, все дни недели — недели, месяцы, годы. Она бессмысленно бродит по кухне, шлепая туфлями, и вздыхает. Потом останавливается у дверей квартиранта, прислушивается. За дверями тихо. «Бедняжка, — думает Каролина Губерова, — он бедняжка, и у него нет никого на свете. Он так же одинок, как она, Каролина. Редко-редко кто-нибудь к нему зайдет, писем он не получает. Этот одинокий, грустный юноша, наверное, очень умный и очень ученый, он всегда сидит, уткнувшись в книгу. Бедняга, он заслуживает жалости, и Каролина его жалеет. И теперь вот уже три дня, как он болен, у него грипп, и, если бы не она, никто бы к нему даже не заглянул, он мог бы даже умереть, и никто бы не узнал об этом». Каролине Губеровой жаль своего квартиранта, она тихонько стучит к нему в дверь. В ответ молчание. Каролина Губерова стучит сильнее, но за дверью по-прежнему тихо. Каролина Губерова осторожно приоткрывает дверь и заглядывает в комнату. Там полумрак и запах пропитанных потом перин.

— Спите? — спрашивает Каролина и осторожно, на цыпочках приближается к постели; глаза у квартиранта закрыты, на лице лежат серые тени, тонкий нос заострился. «Бедняжка», — вздыхает Каролина Губерова, постояв над ним, она вздыхает еще раз и тихо, на цыпочках выходит.

Но Марек не спит. Проснулся он давно, еще в темноте, слышал плеск воды в кухне, слышал, как хозяйка бродит по кухне и вздыхает, слышал и стук в дверь, шелест ночной рубашки, жалостные слова, все слышал, но закрыл глаза, не желая никого видеть. Проснулся он весь в поту, но голова была удивительно ясной: лихорадка прошла, оставив лишь слабость, вялость и ощущение физической легкости. И остались мысли, очень ясные, покорные и безболезненные. В темноте и одиночестве своей комнаты он сводил счеты с самим собой, сводил спокойно, без истерики, с печальной покорностью своей судьбе. Все обстоит так, как и должно быть; еще раз он попытался вырваться из своего одиночества, и еще раз его оттолкнули. Он одинок, совсем одинок, но в этом нет уже ни острой боли, ни чувства обиды; это так просто, совсем просто — быть в одиночестве. Серо-грязные стены, завеса дождя, одинокий человек в толпе, тихая, всюду проникающая грусть с примесью гордости. Вот и все, он обречен на одиночество, и иначе не может быть. Впрочем, все одиноки, одиноки и в жизни и в смерти. Человек соединяется с человеком, чтобы преодолеть страх одиночества; любовь, семья, дружба, общество — все это лишь прибежище от страха одиночества. Необходимый и естественный самообман для человека. Да, это так, все просто и ясно в ярком свете этих мыслей, все только необходимый и естественный самообман. Его, Марека, отталкивают, не хотят его включить в этот договор о всеобщем самообмане, ну и пусть! Пусть так и будет! Он не способен на этот компромисс, у него нет мужества обманывать самого себя. Пусть так и будет!

В эти утренние минуты, когда время остановилось, в минуты большой и чистой слабости Мареку ничего не жаль, даже самого себя, он не испытывал ни желания мстить остальному миру, ни обиды, ни гордости: он полностью смирился. До сих пор он протестовал, грозил, думал о мщении, остро переживал свою обиду, исклю-

чительность своего одиночества, исключительность своей души, которая казалась ему гордой и мятежной. Теперь, в эту минуту и только на эту минуту, все с него спало, свободный от всяких лишних мыслей, он был чист и покорен. И Марек видел перед собой свою будущую жизнь, свою судьбу: он хотел быть добрым и покорным, всепрощающим и незаметным. Тихий наблюдатель, который все видит и понимает. Зритель. Зритель! Он вспомнил о Янко Крапе, о ненависти, прозвучавшей в его словах. Да, он будет зрителем, ну и что? Ему, Янко Крапу, легко: он родился, чтобы плыть посреди течения. Все его существо — это мускулы и сухожилия, действие и движение, он может жить в действии и движении! А Марек — просто зритель на берегу, неподвижный и неизменный, стоит и смотрит на течение, все ему ясно, и он понимает, что сила относительна, как и движение, движения бы не было, не стой он неподвижно на берегу. Он все понимает, понимает конечную бессмысленность, поэтому не смеется, а прощает. Да, пусть так и будет — наблюдатель, зритель. Он затеряется где-нибудь в тихом городке, где жизнь однообразно проходит и ровно. У него будет своя, не доставляющая волнений работа, свой тихий, спокойный мир. Разве этого не достаточно для того, кто не владеет большим?

Из кухни послышался храп. Хозяйка наконец заснула. Который час? Уже десять. Марек попробовал встать, но ноги подкашивались, голова кружилась. Ухватившись за спинку кровати, он старался побороть головокружение, слабость его искушала: ложись и спи. Но чувство смирения и требовательность к себе были еще совершенно свежи и новы. Марек превозмог себя и отправился на лекции. Целый день его не оставляло это новое чувство смирения, окрыляющее чувство: Мареку казалось, что он нашел свое место в мире. Прочное место, прочную точку в бурной, изменчивой действительности. Он смотрел на всех — на профессоров, на коллег, на знакомых и незнакомых людей — с этим новым чувством и видел то, чего никогда раньше не видел: какие они добрые и какие жалкие! Все добрые и все жалкие; все куда-то спешат с головокружительной скоростью и не понимают конечной бессмысленности своих стремлений. Он решил навестить Ирону: Ирена могла лучше всех оценить его новые чувства, его великое решение. Но когда он

вышел на улицу, вдруг загудели сирены. Началась воздушная тревога. Люди не спеша останавливались и поднимали вверх головы. В небе ничего не было, кроме высоких темно-серых, свинцовых туч. Люди становились под арки ворот и карнизы домов, беззаботные и только слегка раздраженные. Это была обычная тревога, каких бывало уже много, тревога ненадолго задерживала движение и ничем не грозила. Но тут загудели невидимые самолеты, разнесся глухой, равномерный, самоуверенный гул, замкнув город в стальное кольцо тяжелого грохота. Потом в темно-сером свинцовом небе разорвался зенитный снаряд — это был резкий, угрожающий звук, словно лай злого пса. «Бомбят!» — крикнул кто-то, женщины завизжали. Все кинулись врассыпную, раздались отчаянные крики. Люди, толкаясь, без оглядки побежали к входу в убежище. Перемена была слишком внезапной: словно великий маг взмахнул жезлом, и в одну секунду все изменилось — лица, голоса, чувства людей, сами люди. Через несколько секунд улица опустела, пустые трамваи остановились, словно лодки, выброшенные на берег, ветер неся по улицам с отчаянной силой, будто и его кто-то освободил из заключения. Лишь на углу сидел глухой нищий и смотрел на все красными, слезящимися глазами, не понимая, что происходит.

В убежище было душно, оно было забито людьми, которые стояли вплотную, прижатые друг к другу. При каждом новом выстреле зенитных орудий сбившаяся в кучу людская масса невольно вздрагивала. Кто-то успокаивал толпу: это ведь только зенитные снаряды. А кто-то другой со злом и испугом говорил то, о чем думали все:

— Лучше бы перестали стрелять, только несчастье накличут.

— Что правда, то правда, — согласился еще чей-то голос, — и зачем стреляют?

— И ведь все мимо, стреляют в белый свет!

Женский голос раздраженно закричал:

— Дети тут, не видите, что тут дети?

— А почему я знаю, — сердито проворчал грубый мужской голос, — глаза у меня на затылке, что ли?

Все были раздражены, и все боялись, понимая, что сами виноваты. Сейчас каждому было ясно, что он сам виноват, повинен в выстрелах зенитных орудий, что и

он в ответе за судьбы сыновей и братьев на Восточном фронте, за лагеря евреев, за нюрнбергские законы, ари-зацию, за торжественные процессии, аплодисменты, за блеск гардистских сапог; сейчас каждый понимал, что все они несут вину за тоску по спокойной жизни и за молчание. В этот короткий миг, пока все снова не вклю-чились в еще более быстрое движение, в котором все так легко забывается, в этот короткий промежуток все очень ясно почувствовали свою вину. Но сирены, возвестив-шие о конце воздушной тревоги, освободили людей от страха, а с ним легко исчезло и чувство вины, и снова нужен был страх, чтобы появилось это чувство вины.

Марек вместе с остальными выбрался из убежища на улицу, вместе с остальными облегченно вздохнул, но в Мареке это чувство вины осталось. Это было знакомое, привычное чувство, и Марек оставлял его дремать среди других неприятных чувств. В этом чувстве было что-то грязное, нечистое, оно чем-то походило на предатель-ство. Нет, Марек никого не предавал, Марек не марши-ровал с ними, он ненавидел их. Но его слабость, беспомощность, его молчание все же походило на предатель-ство; он сидел сложа руки, когда должен был действо-вать, молчал, когда должен был говорить. У него были смягчающие обстоятельства: он был одинок и очень бес-помощен! Но так оправдываются все, у кого не хватает мужества подвергнуть риску собственную жизнь. Нет, Марек не может действовать, не может даже закричать: «Позор, позор вам, позор нам всем!» Он удалился от внешнего мира и потерял возможность действовать. Весь мир заключен в нем самом, в наблюдателе, ничто не проявляется вовне, и важно только то, что происходит в нем самом. Разве не этому обязывает новое мироощу-щение Марека и место в мире, которое он выбрал для себя?

Марек шагал в гудящей толпе и вдруг остановился, застыл, окаменел. Ему показалось, что в толпе мелькну-ло лицо Олины, блеснули ее золотые волосы, наполняя всю улицу ликованием. И все сразу вернулось — уколы в сердце, мучительная боль. Его новые ощущения испа-рились бесследно, новое место в жизни сразу стало до смешного шатким, в одно мгновение он с горечью по-нял, что все было просто выдумкой, обманом, самоза-щитой раненого. Он бросился, натываясь на людей,

словно слепой, туда, где блеснули золотистые волосы, он хотел вдохнуть аромат этих волос, хотел быть рядом, ничего более, только быть рядом. Поздно: золотое пятно исчезло, как и появилось, растаяло в серой толпе, и остались лишь люди, куда-то бессмысленно спешащие, ненужные и неприятные. Марек, запыхавшись, остановился, и ему пришлось прислониться к стене какого-то дома. Мимо него торопливо шли люди, незнакомые, совершенно лишние; зачем они живут, зачем суетятся и почему исчезло золотое пятно, почему улица потемнела? Марек протирает очки, руки у него вспотели, пальцы дрожали. Он качал головой — значит, это была не игра. Да, это не было игрой, этим жило все его существо, все силы его чувств были прикованы к маленькой точке в пространстве, где минуту назад блеснули золотистые волосы. Да, значит, это была любовь, самая настоящая любовь, а не игра в любовь. Да, значит, это была любовь, боль и муки.

Он пойдет к Ирине и все ей расскажет, расскажет все, и она, возможно, поймет то, чего он сам понять не в силах. Ирина мудрая, ведь у нее уже нет никакой надежды. Она может судить о вещах с высшей точки зрения, с точки зрения того, кто расстался со всем в жизни и у кого нет никаких надежд. И Ирина, его друг детства, поймет — поймет все и все распушет.

После этого решения Мареку стало легче; он быстро зашагал по улице, словно боялся, что потеряет драгоценное время, которое все решает. Улочки в квартале вилл были тихие, пустынные и таинственно печальные. Голые тополя и голые березы, вымершие сады, обнаженный мир, в котором гулял на свободе студеной ветер. Здесь нет и в помине сладостной меланхолии: суровая печаль, обнаженный мир, гибель. Ясень перед домом Ирины тяжело вздрагивал и вздыхал. В Горском парке что-то стучало: тук-тук. Марек позвонил. Дверь открыла незнакомая служанка с небольшими косичками и румяными щеками с ямочками. Он спросил Ирину. Какая Ирина? Служанка вытаращила глаза.

— Да пани Ульрихова, — сказал Марек. — Больная пани Ульрихова.

— Такая тут не живет, — сказала служанка и неизвестно почему засмеялась.

— Как же так, — нетерпеливо спрашивал удивленный

Марек, — пани Ульрихова тут не живет? Не живет в своем доме?

— Нет, правда, такая тут не живет. Тут живет только пан Ульрих, а никакой пани Ульриховой тут нет.

В двери показался мужчина с бархатным голосом, в купальном халате, принявший ванну, побритый и помолодевший.

— Вы ищете Ирену?

Марек молча кивнул.

— Ирены здесь нет, — сказал человек бархатным голосом, изо всех сил стараясь скрыть свою радость. — Ирену нам пришлось отправить в больницу. Она умирает, понимаете?

— Да, умирает, — повторил Марек бессмысленно. Потом посмотрел на Ульриха, на человека с бархатным голосом, посмотрел на него пристально, не говоря ни слова, и затем сказал:

— Значит, вам все-таки удалось. Все-таки наконец удалось, пан Ульрих.

Человек с бархатным голосом пожал плечами:

— Что мне удалось?

— Чистая работа, пан Ульрих, — сказал Марек, не спуская тяжелого взгляда с человека с бархатным голосом. — Умиравшая еврейка в квартире! Как вы могли так долго терпеть?!

— Она была христианкой, как я и вы, — сказал человек бархатным голосом, — она была крещена.

— Она была еврейка, и вы ее убили!

Человек с бархатным голосом выругался и хлопнул дверью. Из-за двери он выкрикивал какие-то угрозы и оскорбления, но Марек его уже не слушал. Он слышал только звук из глубины Горского парка: тук-тук. Точно удары молотка, которыми заканчивается аукцион. Тук-тук: все продано, все кончилось.

Действительно, это была Олина, зрение не обмануло Марек — он видел хорошо. Это была Олина, но она никого не замечала, думая лишь о своих чувствах, о созревающем в ней решении. Она бродила по улицам с утра, гонимая сумасшедшими, смелыми мыслями, оста-

навливаясь перед полупустыми витринами, ничего не видя, кроме своего, но какого-то далекого, чужого лица, гладких золотых волос и немного полных губ; губы произносили какие-то слова, иногда смелые, иногда боязливые, но все эти слова, и смелые и боязливые, касались той самой вещи, того самого решения. Нет, так жить дальше нельзя, нельзя, как прежде, спать, есть, учиться, дышать: нужно решить это, она должна решить сейчас же, сию минуту. Пока это не решится, Олина не может вернуться домой, в свою белую комнату, которая теперь стала для нее тюрьмой, полной отчаянной пустоты. К чему ей такая пустая и глупая жизнь, состоящая из еды и сна и из перерывов между едой и сном? К чему ей несбывшиеся мечты, чувство невозвратимой утраты, бессонные ночи, к чему, к чему? Она молода, ей очень хочется жить, не существовать, а жить, пить жизнь полной чашей, а не осторожными глоточками. Разве она этого не смеет сделать? Что может быть греховного и грязного в чистом томлении сердца? Мать старалась ее воспитать в старозаветных правилах: таковы были семейные традиции. Но сама воспитательница не очень-то верила в силу этих традиционных принципов воспитания: именно эти принципы сделали ее несчастной. Олина, уловив сомнения матери, не относилась к ее советам всерьез: это было старомодное платье. Эта старосветская порядочность, целомудренность, сдержанность и неизменность принципов выглядели смешными в мире Олины — в мире спорта, сумасшедших скоростей в мире, где не было ничего устойчивого. Олина была свободна. Но она не знала о том, что свободна, потому что никогда не испытывала потребности в свободе, ничто не препятствовало ее свободе. Она была свободна как птица, как стихи. Она могла делать с собой что угодно. Именно поэтому она не бросалась в легкие и заманчивые приключения, как многие ее приятельницы, кидавшиеся с головой в этот омут, чтобы разбить железный круг запретов и приказов. В ней зародилось инстинктивное чувство ответственности за себя, чувство самоуважения. Никто не призывал ее к ответственности, и потому она призвала к ответственности самое себя.

И сейчас впервые в жизни она чувствовала бремя, которое существовало помимо ее воли, тяготило и ограничивало ее действия, и Олина пыталась из последних сил

сбросить с себя это бремя и знала, что не сбросит его. Как это случилось? Как это могло случиться? Неужели это произошло тогда, когда она увидела его в первый раз? Он пришел с фронта худой, загорелый, с сумрачным, застывшим лицом. Он был так привлекательно суров и необычен! Чужой, пришедший из далекого мира, полного каких-то незнакомых ужасов и тревог. Незвестное и таинственное притягивало. Он говорил мало и нескладно.

Видно было, что он простой и несложный, но что за этой простотой и несложностью кроется что-то незнакомое, таинственное и сильное. Он посмотрел на Олину, и его усталые глаза слегка блеснули. В ту минуту, да, в ту минуту это и случилось. Тогда это и должно было случиться: сон и явь, все смешалось и все слилось — это был он.

До тех пор Олина не знала, что такое страсть. Она считала, что страстью можно управлять, как автомашиной: первая, вторая, третья скорость, тормоз; мотор включаешь по желанию. Но когда капитан Лабуда посмотрел на нее и глаза у него блеснули, когда он слился с ее мечтой и она вмиг угадала, что это тот, кого она ждала, тогда она еще ничего не знала о силе страсти. Сначала это казалось лишь приятным волнением — в его присутствии, от его голоса, его взгляда. А потом возникло желание овладеть его взглядом, голосом, руками, желание, которое росло и от которого нельзя было избавиться, оно прорывалось неожиданно, пронизывало ее всю — она делалась слабой и несчастной, и в конце концов это желание становилось похожим на безумие, заполняя все вокруг, не покидая ее ни на секунду. Это желание было всюду, не было ничего, кроме него, оно звучало в сиренах и в звоне трамваев, подползало в шуме дождя, приходило ночью в долгие, бесконечные часы, в которые человек так беззащитен. Это походило на безумие, впрочем, может, это и правда было безумием, галлюцинацией, состоянием невменяемости, когда чувства притупляются ко всему, что происходит в действительности, выхватывая из нее лишь чудесные обрывки и создавая из этих обрывков призрачный мир грез и мечтаний.

Нет, так жить было невозможно! Нужно было что-то решать, нужно было покончить с этим так или иначе.

Олина не знала, что значит «так или иначе». Ее мысли, мечты, желания кончались просто: увидеть его, значит, она должна его увидеть! Она посмотрелась еще раз в темное стекло витрины, пригладила волосы, коснулась маленькой ладонью лба: он был горячим. Это должно, должно осуществиться. Она должна его увидеть. Олина оторвалась от витрины и пошла. Она шла легко и быстро — теперь у нее была цель. Ее сопровождал какой-то тайный страх, какой-то укоризненный голос, которого она как следует не понимала, но шаги ее были легки, быстры и тверды, ноги несли ее уверенно и неудержимо. На темной пустынной Глубокой улице она почти столкнулась с Марекком, но он ее не видел. Он шел сгорбившись, с потемневшим лицом, спотыкаясь, он походил скорее на призрак, чем на человека. Олина испуганно застыла на месте, ноги задрожали. Укоризненный голос вдруг стал громче, ее охватил страх, зазнобило: это был страх за себя. На мгновение она ясно почувствовала, как все восстает в ней против ее решения, и прежде всего чувство чистоты и душевного целомудрия.

Марек уже растворился в полумраке узкой улицы, а Олина все еще стояла на том же месте: да, это что-то нечистое и хаотичное! Она оскорбляет себя и других людей, навсегда разрушает душевное спокойствие и чистоту. Навсегда!

Но как же быть? Не делать этого? Вернуться и не видеть его? Нет, сделать это Олина не может. Она должна отбросить эти сомнения, избавиться от мук, она должна его видеть. Она двинулась дальше, сжав губы, ноги несли ее удивительно легко и быстро, словно не касаясь земли. Издалека, из глубины Горского парка, слышался стук: тук-тук. Олина позвонила, ей открыла румяная горничная.

— Да, барышня, капитан дома.— И она ухмыльнулась.

Но Олина не видела ее усмешки, ноги несли ее по крутой лестнице легко и быстро. Там на какую-то долю секунды она остановилась перед дверями мансарды и глубоко вздохнула: итак, все решилось. Не постучав, она нажала ручку двери влажной, потной рукой. В комнате было темно и стояла тишина. Капитан Лабуда, не раздеваясь, лежал на постели в том виде, как вернулся с батареи. Это было полчаса тому назад.

Он снова думал, в который раз размышляя о своей жизни и снова не находил выхода. Вопрос был прост: жить честно и подвергать себя опасности или жить в относительном спокойствии, но бесчестно. Он знал, кому служит, знал это и под Харьковом, и на Кубани, и на Кавказе: это были подлые убийцы и помощники еще более подлых убийц. Но как сделать, чтобы жить честно? Выхода не было, потому что не было моральной опоры; все правила морали размолоча чудовищная машина войны. Он чувствовал в себе только очень большой избыток энергии, от которой он ощущал временами просто физическую боль. Что же делать? Нужно найти смысл в этом кипящем котле, в котором варился мир; но был ли в этом вообще какой-нибудь смысл?

Капитан Лабуда услышал слабый скрип двери и разозлился, что кто-то нарушил его одиночество. Может, как раз теперь он и нашел бы выход, может, как раз теперь он отыскал бы скрытый смысл событий и свое место в них. Ему даже показалось, что он наверняка бы нашел выход, только бы еще немного, совсем немного спокойного раздумья.

— Кто там? — раздраженно спросил капитан Лабуда. И когда никто не отозвался, он повторил: — Это ты, Эма? Что же ты стоишь?

— Нет, это не Эма, — сказала Олина.

— Черт возьми! — испуганно воскликнул капитан. Он узнал Олину по голосу, но ему не хотелось, чтобы это было правдой. — Кто это?

— Я. Это я.

— Черт возьми, Оля! Как вы решились?

— Я пришла, — сказала Олина. — Я должна была вас видеть.

— Вам не следовало этого делать, Оля.

— Я сделала это, — сказала Олина. И потом добавила тихо, с грустью: — Вам непонятно, почему я должна была это сделать?

Ну вот, теперь все сказано, и все сразу стало легче и проще, чем она представляла. Капитан встал, помог ей снять непромокаемый плащ.

— У вас жар, — сказал капитан, — вас всю трясет.

— Нет, это не жар, — ответила Олина, — это совсем другое.

— А что же? — спросил капитан.

— Я должна была вас видеть, понимаете? Я должна вас видеть и должна вас чувствовать. Я не могу без вас жить.

— Это плохо, Оля, очень плохо,— сказал капитан.

— Для меня это неважно,— сказала Олина,— для меня все неважно, понимаете? Все для меня неважно, я должна была это сделать и должна делать это и дальше.

Капитан держал руку Олины — это была худенькая, маленькая, дрожащая рука.

— Оля,— вздохнул капитан Лабуда.

— Что?

«Вы плохо сделали, что пришли сюда, Оля, плохо сделали, потому что я вас уважаю и, возможно, немного люблю. Но этого недостаточно для того, чтобы я разбил вам жизнь, этого недостаточно, Оля». Но капитан Лабуда не сказал ничего. Олина была совсем близко, касалась его, он чувствовал ее присутствие, ее слабость, нежность и дрожь.

— Оля,— повторил только капитан, и в голосе его теперь слышалось волнение и что-то похожее на просьбу. «Оля,— хотел сказать капитан Лабуда,— это невозможно, нельзя допустить, чтобы это произошло. Это было бы очень плохо для вас и для меня, для нас обоих». Но он не сказал этого; Олина касалась его, была совсем близко, он чувствовал через плотную блузу прикосновение ее юной груди, и все это волновало и вместе с тем вызывало нежность. Потом Олина мягко освободилась из объятий и отошла к окну.

— Оля,— сказал капитан Лабуда, словно моля о прощении.

— Оставьте меня,— сказала Олина.— Теперь ничего не говорите.

За окном призрачно качались голые ветки ясеня.

Из глубины Горского парка неясно доносилось: тук-тук. «Это и есть счастье,— подумала Олина.— Да, конечно, это счастье».

На сей раз архитектор Феркодич был депутатом Феркодичем и стоял на балконе Национального театра, а рядом с ним, под ним и над ним развевались на ветру знамена, всюду были черные и коричневые мундиры,

шапки с торчащими султанами и строгие фуражки и кресты — кресты словацкой армии, кресты-свастики и железные кресты, — кресты холодные, строгие и угрожающие. Старик с растрепанными седыми волосами говорил о христианстве и цивилизации, о доблестных мужах на Восточном фронте и неизбежности жертв. На высокой ели, изображавшей рождественскую елку, общегосударственную и общенациональную рождественскую елку, белым, синим, красным светом сияли лампочки. Старик говорил о необходимости жертвовать жизнью и имуществом для укрепления восточного вала против варварства, говорил, что свобода искупается кровью и что нужно продолжать борьбу за полное уничтожение мирового еврейства, большевизма и плутократии; он обещал какие-то крупные победы и после них великие торжества, блестящее мирное будущее и благополучие. Старик, Великий Мученик, как его называли, был самым заслуженным и самым независимым человеком в государстве, которое он представлял. У него было сероватобелое лицо с резкими тенями от света праздничных огней, это было лицо мертвеца. Голос дополнял это ощущение: низкий и хриплый, он выходил из черного отверстия ввалившегося рта — это был загробный голос. Лицо мертвеца пыталось сохранить уверенность и достоинство живого человека, по лицу пробежали судороги, это было смешно и вместе с тем страшно. Старик был мертв, опустошен и, возможно, знал об этом. В нем не было уже никакого воодушевления и никакой уверенности, а одно лишь честолюбие, да и то без огня и без побуждений, честолюбие по инерции. Старик жил, произносил речи, держался у власти только по инерции; все остальные побуждения давно потерпели крах.

Депутат Феркодич вначале чувствовал себя хорошо, даже великолепно, в окружении знамен, мундиров и крестов; это был могущественный блеск власти, и этот блеск изливался прямо на него. Депутат Феркодич парил в этом сладком и ослепляющем блеске и грезил о своем — о власти и о славе. Так было вначале, но это был лишь краткий миг ослепления, и чем дальше, тем больше мрачнел депутат Феркодич. Даже здесь, в торжественные минуты и в безопасном месте, к нему возвращались опасные мысли последних дней: что, если война принесет поражение? Это были трусливые, пре-

дательские мысли, и он знал об этом, но не мог от них отделаться. Мысли были с ним, он читал их в мертвенно-бледном лице старика, чувствовал в его голосе. Старик бесил архитектора Феркодича: почему именно этот старик заправляет всем? Кого он может воодушевить? Этот узурпатор, мошенник, политический авантюрист, высохший старый гриб без мыслей и без идей. Кого он может воодушевить? Даже словацкого языка не знает, послушайте только, как он говорит: *всекаждая личность*. Представитель нации! Глава правительства! К черту такого главу, такой непременно заведет в тупик! Да и вообще все похоже на похороны, торжественное погребение — знамена вокруг мертвеца, тихая, безмолвная толпа стоит неподвижно, без единого вздоха, кажется, что она одобряет эти торжественные похороны. Ветер подул, сильнее заколыхались знамена на ветру — хлоп, хлоп! Это был угрожающий звук, и депутата Феркодича зазнобило даже в теплом пальто. Ему было страшно.

Внизу неподвижно застыла безмолвная толпа, казалось, она стоит уже очень давно и будет стоять еще очень долго, целую вечность; казалось, толпа окаменела, и слова, устремляясь к этому окаменевшему лесу, отражались от него глухо и беспомощно. Опутанная цепью из свастики и крестов нация была согнана сюда по приказу. Здесь стояли сбившиеся в кучки рабочие, голодные, невыспавшиеся, неподвижные и мрачные, студенты, давно уже утратившие воодушевление первых лет, обманутые пышными словами; здесь стояли братиславские немцы, нерешительно расстававшиеся с ошеломляющим мифом пангерманизма и возвращавшиеся к менее ошеломляющим, но более верным доходам от виноградников и торговли; стояли чиновники и служанки, полицейские и торговцы, проститутки и пастухи, университетские профессора и завсегдатаи кабаков, старые вояки глинковской гвардии и выкресты-евреи, торговцы, парикмахеры, солдаты и дети, аризаторы, грабители по случаю и грабители по призванию — это была Улыбающаяся Словакия. Шел конец тысяча девятьсот сорок третьего года, и Улыбающаяся Словакия не улыбалась и не аплодировала, а молчала, равнодушно глядя в будущее.

Августин Шернер стоял недалеко от рождественской елки. До него отчетливо долетали слова, но он не следил за их смыслом. Он любил торжественные церемо-

нии за их необычность и праздничность, убежденный, что слова стихов возникают легче, скорее в торжественные, праздничные минуты. Он и сейчас испытывал нечто необычное. В неподвижной тишине на ветру развеивались знамена: хлоп! хлоп! И слова одинокие, покинутые казались безжизненными, затерявшимися, голос мертвеца блуждал в мертвой, каменной пустыне. Да, голос блуждал в каменной пустыне, и вот уже звучат слова, слова рождающейся поэмы. Как прекрасно, что весь мир — это только мир звуков и нет ничего, кроме этого мира, а все остальное так ничтожно, незначительно и бессмысленно. В каменной пустыне голов блуждают глухие звуки, они слагаются в ритмичные строки, вызывают новые слова, и Августин Шернер в мучительном упоении закрывает глаза.

Стоит здесь и жалкий Марек Угрин, не ставший еще настоящим человеком, но уже испытывавший жизненные удары; он стоит на тротуаре, и холодный ветер дует ему прямо в спину. Он молчит вместе со всеми, он часть каменного леса; ему ненавистны знамена и кресты, ненавистны мертвящий голос старика и покорность толпы, ненавистно свое собственное бессильное молчание. Ему хотелось бы закричать: это ложь, позор, это предательство, мы никогда его не искупим, никогда не смоём с себя, но он понимает, что бессилён, что он не закричит и будет молчать с остальными, и ему противны собственные слабость и бессилие. Как ужасно быть бессильным, как подло быть вечно бессильным, все видеть и не иметь сил взбунтоваться, быть соринкой на ветру, пылью, которую топчут, и никогда не подняться и знать, что мы никогда не поднимемся! Ах, Марек все прекрасно понимает, он понимает всю гнусность своего бессилия, он требователен к себе, он хочет уважать себя. Он молод, и в нем живет страстная жажда жизни, дела, духовных подвигов; в его записной книжке первым стоит знаменитое восклицание: «*Wer immer strebend sich bemüht...*»¹

Но время, когда он мужает, предлагает ему лишь ничтожную, недостойную жизнь пресмыкающегося, любой поступок в такое время похож на преступление, а духовный подвиг — на безумие. Что можно сделать в такое время? Смотреть, наблюдать, как мир задыхается в

¹ «Кто жил, трудясь, стремясь весь век...» (нем.) Гёте, Фауст, ч. 2, действие 5, перевод В. Холодковского.

судорогах безумия; такое зрелище хоть немного удовлетворяет оскорбленного и отринутого человека. Но нет, нет, это не все, не может быть всем! Марек почти закричал это вслух и пришел в себя; и вот с небывалой для него решительностью он проталкивается через оцепление, на него все оглядываются, оглядываются и гардисты, султаны на их шапках смешно раскачиваются, и каменный лес шумит и волнуется. А Марек, не оглядываясь, шагает навстречу великому решению, словно решив все раз и навсегда.

Стоит здесь и Олина, дочь депутата Феркодича; она не чувствует и не видит ничего из того, что происходит на площади! У нее большие прозрачные глаза, она погрузилась в свои мечты о любви. Семь дней в неделе, семь лет или семь минут? Самое удивительное, что Олина не знает, из чего складывается неделя — из дней, лет или минут. Мир сомкнулся над ней, время остановилось. Олина движется в мягком, словно выложенном ватой, бесцветном тумане. «Да, это счастье, — думает Олина, — это мое счастье, моя судьба, мой долг». И она касается своего счастья, ощупывает его, и сейчас оно больше и полнее, чем в те страшные и сладкие мгновения, когда Олина с ним. Сейчас она одна со своей мечтой, сейчас ей ничто не мешает и ничто не ограничивает: ни движения, ни слова, ни взгляды — как неуклюжи человеческие слова, движения, взгляды, как оскорбительные в сравнении с мечтой о счастье! Как безгранична страсть Олины — в ней и птицы, и деревья, и ветер, и какая-то захватывающая, все заполняющая музыка; и какой земной и граниченный предмет ее страсти! Олина не осознает этого, лишь временами ощущает огромное пустое пространство между страстью и ее предметом. Тогда ей сразу становится холодно, она закрывает глаза: это и вправду он? Это и вправду счастье? Не ошиблась ли я, не ошибаюсь ли? И тогда туман вокруг нее рассеивается, и вокруг нее оказывается пустота, откуда на Олину скалит зубы страх. Этот страх мещанки, которая нарушила моральные устои своего круга; но еще сильнее и страшнее другой страх, страх за самое дорогое и самое близкое для нее: страх за свою мечту. Но Олина молода, молода и ее любовь, и ей пока нетрудно отогнать этот страх, она еще может о нем не думать. Достаточно снова погрузиться в грезы, в мечты о будущем своей любви,

потому что у ее любви пока есть будущее. Достаточно почувствовать ток собственной крови, чтобы обо всем забыть и знать только одно: я счастлива, счастлива...

Стоит тут и Эма Бурианова, медичка, пытающаяся убедить себя, что все только мерзость и свинство, презирающая всех и вся и желающая презирать и себя, но это сделать она не может, потому что никто не в силах постоянно презирать самого себя. У нее ясный, аналитический ум, доводящий ее до отчаяния; но она слишком любит себя, чтобы уступить ему целиком. Затаенная, скрытая любовь к собственной особе принуждает ее искать спасительный щит веры; скептический ум презирает эти искания, и она делает вид, что прислушивается к своему разуму; но где-то глубоко, подсознательно таится надежда, что однажды она одержит победу над своим разумом или хотя бы обманет его. И она одинока среди толпы, она ненавидит толпу так же, как ненавидит свое одиночество. Она очень ясно понимает суть происходящего, физически ощущает запах крови, исходящий от слов старика, моральное падение собравшихся, которые молча слушают свой приговор и испытывают злорадное, мстительное чувство: ну и пусть, ну и пусть.

Стоит здесь и веселый, благодушный бездельник Вальер, который ни о чем не думает, в душе слегка гордясь своим дядей, архитектором Феркодичем, занимающим столь блестящее место в центре торжества. Стоит и пан Ульрих в солидной шубе, важный, почтенный и скользкий. Он завидует тем, кто застыл на балконе в сиянии прожекторов и в ореоле славы. Сейчас он чувствует себя легким, свежим и предприимчивым: Ирена умерла. Хотя Ирена и была крещена, она все равно оставалась еврейкой, и это было его цепями. Теперь пан Ульрих свободен от цепей и чувствует огромный вкус к жизни; этот вкус к жизни удесятирил его силы, и мучит его только одно — не запоздала ли смерть Ирены?

Здесь стоит еще немало людей, и все они одиноки со своими надеждами и своими горестями. Они могли бы закричать, но молчат; могли бы кинуться и растоптать знамена и кресты, но они неподвижны. Бессильные в своем одиночестве, они слушают загробный голос, от которого словно пахнет кровью.

А ветер грозно и вызывающе рвет полотнища знамен: хлоп, хлоп!

СТАРАЯ И ДОБРАЯ ПРОВИНЦИЯ

1

Звезды искрятся и мерцают, холодные и чуждые. Городок спит в их свете, предусмотрительно закутавшись в свежевыпавший снег, — это спячка медведя в своей берлоге, вынужденная и тоскливая спячка в зимние ночи. Нигде ни огонька, ни звука; городок застыл среди гор, как камень, канувший в глубокие воды. Вокруг простирается таинственная неподвижность, неподвижная тайна стоячей воды, безмолвия, мертвого оцепенения.

Родина, родина... Что же такое родина? Марек шагает по знакомым местам, по очень знакомым улицам, шагает неслышно, все чувства у него взбудоражены, кажется, он ощущает родные места каждой частицей своего тела. Что же такое родина? И почему так неровно стучит сердце, почему наполнено оно каким-то особым светом, сотканным из тихой радости и еще более тихой печали? Может, это улицы и люди, дома и сады, речка и горы? Нет, это не то: и горы, и речка, и сады — только безжизненные предметы; они сохраняют этот чудесный свет, но сами его не излучают. Источник света скрыт в нас самих, родина — это наша юность. Это те места, где наша юность «в белом на траве-мураве лежит». Утерянный рай детства. Страстное, полное безумия дыхание возмужалости. Неосознанная радость и неведомая печаль, наивная простота души, вбирающей в себя все вокруг, свою маленькую вселенную, чтобы не отдать ничего обратно: аромат, который мы вдохнули в детстве, мы храним в душе до последней минуты.

Дом Рёслера. Большой и темный, опасный и враждебный. Когда Марек был очень маленьким, в доме было нечисто. Там обитал самый настоящий сказочный колдун. А позже, когда в колдунов они больше не верили, там поселился злой еврей, который забирал детей в мешок и куда-то их утаскивал. Когда минуло и это, рёслеровский дом все же сохранил в глазах ребенка дурную славу: это был дом богача и дом еврея. Старый Рёслер

по субботам расхаживал по саду весь в черном, словно ворон; над ним никто не решался смеяться: от него веяло злобной строгостью.

А потом появилась Ирена, с длинными косами и румяным лицом, простая и сердечная. Она стояла, прижимаясь к ограде, и с грустью смотрела через решетку на детей. Она заманивала их к себе и подкупала конфетами: «Идемте к нам, идемте к нам!» Понемногу они становились смелее, и таинственный страх перед домом исчезал — там были люди, деревья и птицы, толстая, добродушная пани Рёслерова, служанка и глухой кучер, там было много вкусных вещей: фрукты и остатки со стола, казавшиеся детям королевским угощением. Для Марека рёслеровский сад был местом его первых грез, там впервые он пережил ошеломляющие чары одиночества, впервые почувствовал странную дрожь от случайного прикосновения девичьей руки; сад оказался для него воротами в зрелость.

А вот и гостиница. Старая, маленькая, грязная, с облупленными стенами из красного кирпича, словно отмеченными какой-то болезнью. Это был таинственный мир, незнакомый и недоступный, весь пропитанный кислым запахом выдохшегося пива. Там останавливались иностранцы, великие путешественники, авантюристы, герои детских снов (они продавали швейные машинки «Зингер», шихтинское мыло с оленем и патент Франк Перол). Марек обычно сидел на перилах моста напротив входа в гостиницу и часами наблюдал за ее постояльцами, он грезил о приключениях. Мечты Марека не имели ничего общего с постояльцами гостиницы и устремлялись в те дали, куда эти люди должны были отправиться. Марек путешествовал вместе с ними: это были великолепные путешествия!

Однажды в летний день гостиница словно сорвалась с места, бешено завертелась, закричала. Люди бежали вверх по лестнице. Маленький Марек побежал с ними (он чувствовал, что в эту минуту все законы нарушены и все запреты сняты). Заглядывая в просветы среди плотной толпы взрослых, Марек увидел грязный, унылый гостиничный номер. Простыня на постели была красная от крови; на постели лежало двое обнаженных людей: мужчина и женщина. У женщины был распорот живот, мужчина все еще сжимал в руке небольшой пе-

рочинный нож. Люди притихли, никто не шевелился. Марек понял: это смерть. Он закричал, бросился вниз по лестнице и побежал вдоль улицы, в глазах его застыл ужас. Потом, задыхаясь, остановился у какого-то забора, и его вырвало.

С тех пор он чувствовал густую пелену красного тумана рядом с собой в течение всего детства. К вечеру этого же дня вместе с другими ребятами он подкрался к мертвецкой. Они смотрели сквозь щели в растрескавшихся дверях; обнаженные тела в призрачном свете сумерек казались огромными, словно раздувшимися. Это было страшно и стыдно, и все же в этом было какое-то волнение, темное, притягивающее, неодолимое. Несколькими годами позже он видел другое самоубийство. На откосе возле дороги лежал парень в рваных штанах и обнимал левой рукой молодую девушку с милым и удивленным лицом. Рядом валялись велосипед, бидончик для молока и маленький, словно игрушечный, револьвер, скатившийся к обнаженным икрам девушки. Да и все походило на игру: лица самоубийц были спокойны, без тени волнения, казалось, они спят. И толстый жандарм пыхтел и наклонялся над ними, делая около них какие-то непонятные зарисовки: он тоже принимал участие в этой игре. А потом кто-то сквозь зубы сказал грубо и зло: застрелились из-за любви. И тут Марек увидел красные струйки крови и синие тени вокруг губ влюбленных. Это была обыкновенная история: безработный, служанка и ребенок, который должен был родиться. Мареку было двенадцать лет, и не все он понимал, но одно он понял — любовь страшна и кровава, и подчас любовь и смерть неотделимы. Любовь была чем-то нечистым, но невероятно могучим, чем-то таким, чего люди боятся, ищут и из-за чего убивают себя. И прежде чем Марек познал любовь, он пережил страх перед ней; тем сильнее в нем жило искушение коснуться огня...

Ужас, страх, ощущение грязи. Отец, пахнувший клеем и водкой, огромный, волосатый и красный. Рябая, вечно сонная служанка, оживляющаяся только ночью, в постели отца. Тогда она вздыхала и шептала непристойности. Марек видел все, ни одна добрая рука не хранила его от жизненных ударов. Его всюду подстерегали опасности, страх, грязь жизни, которые скрывали от взрослых, но не таили от ребенка. Он слишком рано стал взрослым

и излишне чувствительным. Он нуждался в нежной, любящей руке, но ее не было. Когда он вырос из детских игр, то стал одинок, охваченный тоской и страхом перед жизнью и перед людьми. Он все время огрызался, ненавидел взрослых, ненавидел своего отца и страшился этой ненависти, укоряя себя в ней. В четырнадцать лет, в возрасте, который называют беззаботным, у него появилось очень много серьезных забот. В бессонные ночи его сжигала внутренняя лихорадка, он метался под бременем последнего из своих страхов, переживая неизбежность собственной смерти. Его мучил невероятный страх пустоты, страх абсолютного конца, но он не бежал от него, а вызывал его снова и снова, привыкая к нему. Он взбунтовался против бессмысленности людской жизни, отрекался от бога, отрекся от него и с облегчением и не без насмешливого злорадства установил, что ничего не случилось — его не постигла никакая кара, он не увидел ада, на него не обрушились громы и молнии.

Он освободился от бога, грозного и мучительного, стал свободным, открытый и доступный всему, впитывая все впечатления без разбору. Но все то, в чем не нуждалась его душа, отпадало само собою. Оставалось лишь то, что укрепляло его протест против окружающей грязи, и откладывалось все, что могло защитить его от разры — таков закон контраста, закон противодействия.

Из одиночества он создал принцип — добродетель по необходимости. Ты одинок — так будь же сильным, если ты одинок! Гордись тем, что ты одинок! Толпа выбросила тебя на берег, вырви ее из своего сердца! Отбрось жалость и слезы, будь человеком, будь мужчиной! Гордись самим собой!.. Это была печальная гордость. С легким, радостным сердцем он расстался с ней, когда пришла первая любовь и первая дружба. Он так нуждался в любви!

Все возвращается: мысли и чувства, печали и страх, оскорбления и короткие минуты благородных стремлений, нежных и чистых привязанностей, слова, прикосновения, аромат былого. Марек идет по знакомым местам, а из переулков, из-за углов, из-за занавесок на него смотрят лица, события, чувства; они приближаются тихо, с затаенной улыбкой грусти: оглянись, вот твоя юность. Марек идет и улыбается, он растроган и немного опечален.

А вот и отцовский дом — родной дом. Высокий фронтон, застекленная веранда, голубые наличники на окнах; дом стоит среди других городских домов, как равный среди равных. На бывшей мастерской дощечка: «Гробы, ленты, венки» — и буквами помельче: «Андрей Угрин».

Марек вздохнул, словно его ожидало неприятное дело. И, поставив чемодан, постучал в окно. Никто не отозвался. Он застучал сильнее. Занавеска за окном осторожно шевельнулась. Потом скрипнуло окно, появилась растрепанная женская голова.

— Кто тут?

— Я.

— Кто я?

— Я, Марек.

Окно закрыли. Послышался приглушенный говор. Потом где-то в доме хлопнули двери. Зашлепали босые ноги на веранде. Марек поздоровался, растрепанная женская голова что-то пробурчала. Это могло быть и приветствием, но Марек знал, что нет. На опухшем лице он ясно читал вопрос: чего тебе здесь надо? И Марек ответил бывшей служанке и теперешней своей мачехе упрямым и недружелюбным взглядом: здесь мой дом, И дом больше мой, чем твой. Убирайся с дороги, убирайся! Женщина словно прочитала все это во взгляде Марека. Она отвернулась от него и, сердито стуча короткими сильными ногами, исчезла в комнате.

Марек с чемоданом в руке остался в кухне. Двери в спальню были полуоткрыты. Отец сидел на постели, почесывая волосатую грудь. Свет из кухни падал на его большую лысую голову. Лицо оставалось в тени; казалось, на нем застыла дьявольская усмешка.

— Не забыл еще сюда дорогу, а?

— Нет, не забыл.

— А я думал, забыл. Важные господа охотно забывают о бедняках. Так ведь?

Он засмеялся скрипуче и неискренне. Марек устало сел, навалившись на стол и подперев голову рукой. Он был дома.

2

Отец и сын не любили друг друга. Это была давняя вражда, постоянная и непоколебимая. Старый Угрин обманулся в сыне: старик ненавидел его физическую сла-

бость, бесконечные болезни, близорукость, деликатность. Он уверял себя: это не мой сын, он не может быть моим сыном. И действительно, Марек ничем не напоминал своего отца. Старый Угрин был рослый, здоровый, сильный человек вспыльчивого характера, безудержный кутила и сквернослов, любитель пошуметь и похвастать. Он был не без способностей. Схватывал все быстро, на лету, разбирался даже в таких вещах, которые не входили в круг понятий провинциального гробовщика. Но ум его не развивался, Угрин хвастал, что плюет на образование; в его среде ему хватало прирожденной смекалки да некоторой изворотливости. Его честолюбие было особого сорта: он хотел, чтобы люди его боялись. И люди действительно отступали перед его силой, перед его грубостями, жестокими шутками; ему прощались нарушения мещанской морали, потому что силе прощают то, что не прощается слабости. В известном смысле его даже любили: он был местной достопримечательностью, которая придавала сонной скуке какой-то блеск и которой можно было по-своему гордиться.

Бедняга Марек! Кто сосчитает детские слезы, кто измерит глубину обид, кто заглянет на дно страха, от которого замирает сердце ребенка? Против жестокой отцовской тирании у него не было никакого оружия, никакой опоры. Он пытался любить отца, ибо так приказывал закон морали: возлюби отца своего и мать свою! Но Марек не мог его полюбить, в своем сердце он находил только страх и отвращение. Однажды случайно он подслушал разговор родственниц. Одна из женщин, испуганно озираясь, сказала: «Это он загнал ее в гроб». Марек понял — говорили о его родителях. С этого дня он возненавидел отца, потому что любил мать, которой не помнил. Из обрывочных разговоров, из затаенных вздохов взрослых, из рассказов в зимние вечера складывался образ нежной, тихой женщины, его матери; она любила его, он это знал.

Она любила его, как и он любил ее, это было спасением для него, отдыхом, точкой опоры в шатком мире. Он подолгу рассматривал ее свадебную фотографию; на него смотрели большие растерянные, печальные глаза — это были его глаза. Он жаловался этим глазам, беззвучно плакал. Отец застал его за этим. Он вынул из рамки фотографию и пририсовал покойной гусарские

усы: «Так-то она красивее, братец», — сказал он и загготал. Это было святотатством, надругательством, словно он снова заставил ее умереть. Как возненавидел его за это Марек!..

На другой день после приезда Марека было воскресенье. Марек встал поздно, отсыпаясь после дороги. В доме стояла тишина. На диване в кухне лежал отец и читал газету. Мачехи не было видно, должно быть, она ушла в костел. Отец из-за газеты искоса посмотрел на Марека и показал на свою щеку. Марек, превозмогая отвращение, слегка коснулся губами его щеки, заросшей рыжей щетиной. Отец заметил отвращение и сделал вид, что сердится...

— Противен я тебе?

Марек промолчал.

Отец сел на диван, отложил газету. Густые рыжие брови нахмурились.

— Зачем пожаловал?

— В родной дом. Я приехал домой.

Отец встал, шаркая шлепанцами, и насмешливо поклонился Мареку:

— Милости просим, уважаемый. Мы тебя ждали. Для полного счастья нам только тебя и не хватало.

— Я знаю, что вы меня не ждали, — ответил Марек.

— Ждали, да еще как! — закричал отец и хлопнул себя по ляжкам. Потом вплотную приблизился к Мареку, схватил тяжелой жесткой рукой за плечо и больно сжал. Он больше не притворялся.

— Денежки получить хочешь? Денежки? Да? Напрасно пожаловал, если хочешь денежек. Обобрать меня задумал? Да? Родного отца обобрать?

— Не нужно мне ваших денег, — сказал Марек и попытался освободить плечо.

Старый Угрин отпустил его и недоверчиво покачал головой, но видно было, что ему стало легче.

— Значит, тебе денег не нужно? Так зачем же ты пожаловал?

— Просто так. Отдохнуть.

— Понимаешь, денежки-то тютю. Людям теперь не хочется умирать, хе-хе-хе. Словаки получили свободу, разве захочешь тут умирать? Не желают умирать, паскуды. Теперь ведь приказ таков: плодитесь и размно-

жайтесь. Пусть будет побольше свободных словачков. хе-хе-хе!

Он потер лысое темя и исподлобья посмотрел на Марека.

— Так тебе и вправду денег не надо?

— Не надо.

Старый Угрин совсем успокоился, прошаркал к дивану. Марек молча пил молоко. Через некоторое время старик снова поднял голову от газеты и сказал притворно смиренным голосом:

— Послушай, братец, как же будет с этой самой планомерностью?..

— С чем?

— Да с этим планомерным отступлением. Говорят, немцы в штаны наложили?

— Не знаю.

— Как это... не знаешь? А мне нужно знать: остановятся они или нет?

— Как видно, не остановятся.

— Не остановятся, это уж точно. А секретное оружие? Очковтирательство? Да?

— Наверное.

— Эх, заварили кашу. А ты, словак, расхлебывай. Наобещали золотые горы, а теперь — спасай свой голый зад. Я ведь, понимаешь ли, гардист. И не какая-нибудь мелочь, а чин имею, помощник командира. Брат-помощник, хе-хе-хе, командую: ать-два, шагом марш! Эх, чтоб им!..

Он вздохнул, погрозил кому-то кулаком. Поднялся и стал ходить по кухне, шаркая шлепанцами. Затем остановился и уставился на Марека колючими быстрыми глазами.

— Послушай, скажи мне правду-матку. Что с нами будет?

Марек пожал плечами:

— Не знаю.

Старик постоял, хмурия брови. Он злился.

— Не знаю, не знаю, а сам думаешь: повесить бы их на первом суку. Повесить, да? Для родного отца веревку готовишь, а? Еще нет такой веревки, братец, еще нет, помни это!

Он размахивал большими руками перед лицом Марека, брызгая слюной. Но Марек сидел спокойно, не

отвел даже взгляда. Старик видел: сын его не боится. Ярость его не усилилась от этого, наоборот, он как-то сразу обмяк: по существу, он был трусом.

— Эх ты, интеллигентская душа, — сказал он и плюнул. Но это было лишь жестом, и оба знали, что это только жест. Минуту спустя снова раздался его голос, более смиренный и тихий. Старик оправдывался: он во все не хотел идти в гарду. Его привлекла возможность приказывать, командовать. В первую мировую войну он дослужился до цукфюрера¹. Двадцать лет он командовал пожарными. Ему приходилось приказывать. Командовать было его давней опьяняющей страстью. Погоны, ордена, мундир. ореол власти, возможность повелевать толпой, особое положение — все это неодолимо притягивало его. Он не мог не быть там, где приказывали и выполняли приказания, где скрипели кожаные портупеи и стучали каблуки, где кричали и ругались, где уважение завоевывалось силой голоса; и он был там. Он явился несколько поздно, после великого раздела, и из материальных благ ему мало что перепало, впрочем, он к этому не особенно стремился. Командирская форма — вот что было его слабостью, ради этого он был способен поступиться и некоторыми своими интересами и даже деньгами. Ему нравилось оживление, внезапные собрания, ночные дежурства, участие в обысках, облавы на евреев; в такие минуты он ясно чувствовал, что сеет страх, сознавал свою силу и власть, это был единственный доступный ему душевный подъем. Теперь такие минуты стали редки. «Бездельничаем, — сказал он Мареку, — смердим от безделья. Выгнали чехов, угнали транспорты жидов, пересажали большевиков». Машина, созданная для великих дел, работала вхолостую. Дрязги, личное честолюбие, клевета, подхалимство, интриги — вот все, что осталось от этой блестящей машины. Многие убирались прочь: канонада с Востока звучала для них слишком недвусмысленно. Старый Угрин остался: он был честен в своей любви к мундиру и к власти. Здесь, в этом особом, упоительном мире, он не мог ловчить, как в обычной жизни: это было бы осквернением чести. Он не питал иллюзий по отношению к своим соратникам, но сказал себе: «Я старый конь и буду тянуть до конца».

¹ Командир взвода (от нем. Zugführer).

Кругом одни стервецы и жулики! Но я им покажу!» Что он им покажет? Он и сам не знал. Просто он не мог расстаться со своей любовью к власти, со своей привычкой сеять вокруг себя страх, а собственная трусость, глубоко сидевшая у него внутри и тщательно скрываемая от всех, в том числе и от самого себя, заставляла его размышлять. Он злился на это, злился на себя и больше всего на Марека, который точно подслушал его мысли и которому он частично открыл свои слабости.

— Что ты молчишь? — накинулся он на него.

— А что мне говорить? Делай как знаешь.

Делай как знаешь, что мне до этого? Что мне до вашей грязи и ваших гнусностей? Марек слушал отца и пытался оставаться спокойным. Что мне до этого? Что мне до их мира? Не я создал его, и не я помогал его создавать. Я лишь зритель, случайный прохожий; меня ничто не может оскорбить. Он понимал всю суть зла. Со знавал, что именно на таких людях, как его отец, несознательных и наивных поклонниках силы, на множестве подобных людей и держится весь этот преступный правящий мир. Но он не хотел бунтовать, понимая, что его бунт будет бесполезен и бессмыслен, и подсознательно боялся вопроса, который ему могли задать все эти заблудшие и наивные люди: а что ты нам дашь вместо этого? То, что он мог дать, выглядело в этом мире безумным и смешным: какая-то там любовь к человечеству. Ха-ха-ха, намажь себе на хлеб эту свою любовь к человечеству. Замаринуй ее, чтобы она не испортилась. Вручить срочно! Скоропортящийся груз!

Нет, Марек ничего не мог сделать, даже если бы и захотел. Зная, что он бессилен, он спрятался в укромном уголке. Это была вынужденная добродетель.

Укромный уголок был мнимый: внешний мир, метущийся в агонии, вторгся в него. Напрасно Марек защищался, напрасно старался быть разумным, всепонимающим зрителем — течение увлекало его за собой.

Под вечер отец надел форму. И сразу стал другим человеком — сильным, энергичным, полным достоинства. От него веяло уверенностью, сознанием собственной силы, решительностью. Уголки губ опустились, лицо под фуражкой удлинилось, стало строгим и благородным. Отец собирался на какой-то званый обед к районному командиру. Он милостиво пригласил и Марека: пойдём,

увидишь, как люди живут. Марек был не очень любопытен. Ему было уже скверно, хотя он и пробыл дома всего один день. Марек согласился. Районного начальника звали Лемнитцкий (до этого Лемницкий), и жил он в рёслеровском доме. Ограда, каштановая аллея, дорожки, знакомые уголки. Марек не видел, но сердцем чувствовал, что все осталось по-прежнему, как когда-то в давние времена. И в то же время все иное, нереальное, замершее: воспоминания покоятся под снежным покровом, мертвые и застывшие.

Местная власть сидела в столовой со старой, тяжелой и унылой мебелью Рёслеров. Марек с детства помнил эту столовую: он боялся ее, она его стесняла. Лемнитцкий вышел им навстречу. Старый Угрин щелкнул каблуками, Лемнитцкий милостиво потрепал его по плечу. Мареку показалось, что быстрые, беспокойные глаза Лемнитцкого смеются над отцом. Мареку он пожал руку мягко и вежливо. Некоторое время бегающие глаза Лемнитцкого задержались на Мареке. Мареку этот взгляд был неприятен: он обладал силой разоблачения. Но это продолжалось лишь миг: Лемнитцкий тотчас отвел глаза. Казалось, энергия у него так и бьет через край. Он перескакивал взглядом с предмета на предмет, и так же, наверное, перескакивали в нем мысли и слова. Словно он боялся, что упустит что-нибудь, боялся, что от него что-нибудь ускользнет, что ему не хватит времени расследовать, раскрыть что-то, что он не сумеет справиться со всеми делами, с которыми ему нужно справиться. Марек помнил Лемнитцкого. Это был сын лесоторговца, разорившегося в годы кризиса. Сыну пришлось бросить учение. За это он возненавидел евреев и чехов, которые, по мнению его отца, были прямыми виновниками их семейного несчастья. Он шатался по свету, безработный и раньше времени опустошенный, бродяжничал, играл на гитаре, попрошайничал. Через несколько лет вернулся в городок и пристроился на лесопилке, принадлежавшей некогда его отцу. Он стал «людаком», конечно, и из прежней ненависти, но больше всего из-за того, что почувствовал поднимающуюся волну, которая могла вознести его над толпой. Ему не пришлось долго ждать: приближался тридцать девятый год. В эти изменчивые времена он быстро выделился смелостью и своим кругозором среди трусливых, огра-

ниченных отцов города. В сороковом году он женился на дочери богатого мясника и сразу стал известным, богатым, сильным. А больше ему ничего и не было нужно, он был не так уж безумно честолюбив и стремился только удержаться на том месте, куда его вынесло течение. Он укреплял завоеванные позиции: расставлял вокруг себя своих родственников и друзей. Обнаружив вдруг, что его прадед приехал в городок откуда-то на Судет, он изменил фамилию. Он стал единственным арийцем в маленьком городке, потому был недосягаем. Но у него не закружилась голова от новой славы, слишком хорошо он понимал, как шатко положение сильных мира сего. Он никому не доверял и подозревал всех. Он научился видеть в людях только их страсти, их желания, их дурные качества и слабости: это помогало ему укрепить свое положение. В душе Лемнитцкий презирал многих, смеялся про себя над наивным пылом тех, кто поверил в историческую миссию словаков, в вождя и в вечную свободу — сам он ни во что это не верил. Он понимал, что в мире, где он живет, решают не идеалы и не лозунги, а сила, соотношение сил и что соотношение сил может когда-нибудь измениться. Но ему казалось, что власть их продержится достаточно долго, чтобы он мог все оправдать. Впрочем, это был удобный случай, и было бы грешно и глупо не воспользоваться им. Потом будет видно.

Гости пили и ели. Пани Лемнитцкая, маленькая, круглая, чистенькая, угощала гостей. Она щебетала, это был тип щебечущей, уютной женщины. Мясник Фабри, свекор Лемнитцкого, распустил галстук. Он морщился и вздыхал, чувствуя себя в форме довольно скверно. Форма его угнетала. Это был маленький, щуплый, болезненный человек, не любивший выделяться. Он предпочитал сидеть дома над своими счетами. Большим плотничьим карандашом он подводил итоги на клочке оберточной бумаги, наводил экономию. Себя он называл маленьким человеком и скромным торговцем, но никто этому не верил — он был одним из самых богатых людей в городке. Он восхищался своим зятем, как всеми, кто хорошо ориентировался в этой суматохе, кто был силен и не боялся жизни; в то же время Фабри побаивался своего зятя, потому что жуткий страх за свое богатство убеждал его, что это очень ненадежный союзник. Он

почти ничего не пил и мало ел, опасаясь за свое здоровье.

Зато остальные пили и ели вовсю, наливали и набивали животы; здесь была нежная сливовица, незаметно проскальзывающая в глотки, свежая буженина, острый соус с грибами, жареные и ливерные колбасы; от всего шел пар, в нос ударял сытный, жирный запах, смешанный с запахом пряностей и перца. Вскоре в комнате стало жарко. Все вспотели, покраснелись, распустили пояса. Все были пресыщены жирной пищей, даже улыбки пирующих были жирными: да, мы настоящие мужчины, говорили эти улыбки. Но разговаривали мало. Все ели и пили из последних сил, пока не почувствовали бесильной вялости, полного изнеможения. Комиссар районного политического управления вдруг неестественно побагровел, затем стал быстро синеть. Он беспомощно замахал руками, желая привлечь к себе внимание, — он задыхался. Старый Угрин услужливо и простодушно хлопал комиссара по спине. Комиссар, выпучив глаза, хватал ртом воздух. Лемнитцкий смеялся одними глазами. Остальные не отличались особой деликатностью и гоготали во всю мочь. Комиссар был известен своим обжорством, и ему пророчили в глаза, а большей частью за глаза, что он когда-нибудь погибнет от своего обжорства. Сейчас он задыхался, и это веселило остальных. Начальник районной организации глинковской молодежи, толстый, коренастый учитель, хохотал громче всех.

— Хо-хо-хо, он словно рождает!

Наконец изо рта комиссара выскочил большой скользкий, облепленный слизью кусок буженины и упал как раз под нос Фабри. Тот зажал рот и выскочил из-за стола: его тошнило.

— Хо-хо-хо! — грохотал учитель. — Как лягушка! Кусок выскочил, как лягушка!

Комиссар вытерся запачканной салфеткой, глядя раскосыми черными глазами на учителя. Учитель сразу перестал смеяться, все затихли, комиссар был человек мстительный и вероломный. Наступила тишина, неприятная и напряженная. Но тут старый Угрин сказал:

— Это дело нужно запить, давайте выпьем.

Комиссар натянуто улыбнулся. Предводитель глинковской молодежи с заискивающей улыбкой налил ему, они чокнулись, выпили — все было в порядке.

Лемнитцкий наклонился к Мареку.

— Вы не пьете?

— Пью, — ответил Марек.

— Мало пьете, — сказал Лемнитцкий. — Мы привыкли пить иначе.

— По-моему, и вы пьете не так уж много, — возразил Марек.

Лемнитцкий улыбнулся по-светски тонко.

— У кого-нибудь должна быть ясная голова, — заметил он.

Лемнитцкий удивлял Марека. Он относился к Мареку внимательно и почти любезно. Это был здесь единственный интересный человек, он выделялся из своего окружения, был выше его. Остальные ничем не нарушали этого впечатления. Под мундиром у каждого было добропорядочное мещанское брюхо, жадное и ненасытное — все были способны продаться за небольшую плату. Полулюди, полуживотные, выросшие в ленивой мещанской среде, сентиментальные крикуны, герои преферанса, мелкие карьеристы, немного тугодумы, глупцы и невежды. Они были добродушны, пока все шло согласно их желаниям. Они могли быть опасны, если кто-нибудь приводил их в ярость, слепую, разрушительную ярость диких свиней. Марек почувствовал, что Лемнитцкий не из их числа. И вовсе не потому, что он старался отделиться от остальных, стать выше их; он действительно был выше их по своему жизненному опыту, по своей психологии. Для него важна была не только карьера, но и радость, доставляемая игрой, благодаря которой карьера завоевывается и удерживается. У него были высшие побуждения: месть за свою юность, за перенесенные им унижения, за годы нищенской жизни. Это все помогало ему возвыситься над остальными и делало его гораздо опаснее остальных.

Марек хотел незаметно исчезнуть. Но Лемнитцкий деликатно и любезно загородил ему дорогу. словно для него было важно, чтобы Марек видел все до конца.

Марек увидел все до конца. Тяжелое, тоскливое опьянение, неподвижное, без искры веселья. Они разошлись лишь на минуту, заорав песенку, требовавшую у венгров возврата Кошице, Шураны, Левице. Они жаждали расправы, им нужны были завоевания — в этой песенке были и расправы и завоевания. Они ревели охрип-

шими голосами, топали сапогами по паркету, сжимали кулаки. В эту минуту они чувствовали себя такими, какими хотели быть: решительными, смелыми, отважными; они были ударными частями, над которыми реяли знамена со словацким крестом. Этот марш возвышал их, напоминал им ночи, проведенные на венгерской границе, первые дни наступления, первый энтузиазм. На миг они почувствовали себя крестоносцами, борцами за святое дело, за бога и нацию, теми, кто услышал призыв своей словацкой родины. Но это был лишь миг, вспышка, погасшая так же внезапно, как и вспыхнула. Предводитель глинковской молодежи бил себя в грудь и кричал в экстазе:

— Братья, друзья, нас предали, нас оскорбили!

По его жирным щекам текли слезы: он вспомнил о венском арбитраже¹. Воодушевление потухло, марш их больше не будоражил. Вернулась действительность — венгерские границы, глубоко врезавшиеся в словацкие земли и приблизившиеся к городку настолько, что рукой подать. И снова они были бессильны и снова вспоминали о своем бессилии и о своих обидах. Напряжение, в котором всех держала песня, исчезло. Снова каждый стал самим собой, подозрительно поглядывая на других. Принялись спорить, спорили страстно, обстоятельно, со злостью и ненавистью. Комиссар размахивал кулаком перед носом у предводителя глинковской молодежи, явно не забыв его насмешки. Он кричал:

— Разве я сказал это, сказал?!

И поворачивался к остальным, чтобы они подтвердили его правоту. Но никто не понимал, о чем идет речь, никто никого не слушал. Все кричали что-то свое, вспоминали свои обиды. Давно уже все скинули форму, а теперь, отбросив остатки деликатности, нарушали границы того молчаливого соглашения, которое они скрупулезно соблюдали трезвыми. Поднялся дикий гвалт и шум, слышались вопли, грохот кулаков. Фабри вышел и заперся в уборной. Старый Угрин, схватив за шиворот хлипкого юнца, органиста и председателя глинковской партии, брызгая ему в глаза слюной, кричал:

¹ По венскому арбитражу 1938 года, южные районы Словакии, отторгнутые у Чехословацкой республики, передавались хортистской Венгрии.

— А хочешь, я тебя вышвырну?

У командира глинкавской молодежи голова вдруг упала на грудь, и он захрипел. Комиссар, вцепившись ему в редкие волосы, молча и методично бил его головой по столу.

Марек задыхался, ему не хватало здесь воздуха. Лемнитцкий не держал его больше. Он мягко, с сочувствием пожал ему руку. Пожатие говорило: это свиньи, но мы двое к ним не принадлежим. В глазах Лемнитцкого светилась нескрываемая радость: он был доволен, что может доказать свое превосходство над толпой. Взгляд Лемнитцкого в то же время говорил: мы понимаем друг друга, мы будем друзьями. Марек вспыхнул от чувства внутреннего стыда и опустил голову. Кто же он, если подобный человек осмеливается предлагать ему дружбу?

3

Тишина. Мир остановился и замер в неподвижности. Солнце, искрящийся снег и длинные тени елей; одинокая лыжня; волнистая цепь холмов, освещенная ярким светом, и мягкие тени на склонах; вольный, широкий мир, просторный, полный прозрачной чистоты и блеска; мерцающая неподвижность.

Где-то глубоко внизу, у ног Марека, другой мир. Колокольни, труба винокуренного завода, свист паровозиков — это городок, зевающий в сонной дремоте. Люди там злые, враждебные, нечистые.

А здесь царит тишина, и воздух звонок от чистоты. Он звенит, послушай, как он звенит. Церковные колокола позванивают; а здесь звенит сам воздух, звенит язычески радостно, здоровый и могучий. Он окружает вас резкими, свежими звуками, пронизывает ваши чувства и мысли; он не убаюкивает, а пробуждает их, проясняет неясное, развязывает запутанное.

Воздух звенит, застыл в неподвижности. Тишина колышется в огромной колыбели вселенной. Округлое облачко, похожее на поджавшего хвост смешного, ошалелого щенка, плывет по небу. Далекие предметы кажутся близкими, близкие — далекими. И мир в этом новом виде становится понятнее, наполняется смыслом. Все на своем месте, все так, как было и должно быть.

Марек стоит и смотрит. На сердце у него спокойно и чисто. Он различает знакомые очертания гор: Три вершины, Павлово плоскогорье, Лазенце; ущелья, потоки, речки, тоненькие струйки дыма над поселками и хуторами, и далеко, почти у самого горизонта, Тепличные горы и окутанную дымкой сказочную Черную Брану. Все знакомо и врезалось в память навеки — неизгладимые картины детства. И все же здесь все новое, безупречно новое, другое и своеобразное, точно нынешняя картина оторвана от прошлого, точно у нее нет ничего общего ни с его прошлым, ни с прежним Марексом. Картина скрыта за прозрачной звенящей дымкой, сильная и возвышенная. Все эти горы и реки словно говорят: мы были здесь испокон веков и останемся здесь навеки. Бесшумное дыхание почти ощутимой вечности — Мареку кажется, что он касается ее кончиками пальцев. Еще минута! Еще мгновение! Еще немного, и Мареку все станет ясно, он разгадает большую, серьезную загадку! Еще совсем немного, и пред ним раскроется величайшая тайна!

Нет! Звенящая завеса раздвигается — и снова лишь искристый снег, солнце, горбатые ели, одинокая лыжня. Реальный мир воскресает вновь, Марек возвращается к действительности. Это был всего лишь миг, порыв, мимолетное забвение; пробуждение горько и безжалостно. Марек старается его отогнать — прочь, скройся. Но мысли вновь густым роем кружатся вокруг него, как назойливая черная туча. Нет на свете места, где бы человек скрылся сам от себя. Человек искал это место в пустынях, в уединении, бежал, скрывался — и не убежал. Тебе не скрыть лица своего от меня! Это означает: тебе не скрыть лица своего от самого себя!

Такова судьба всех мыслящих: надо покориться. Марек покорялся с ненавистью. Он думал о себе как о постороннем человеке, как о скверной, лишней обузе. Он разглядывал себя со стороны и видел ясно и отчетливо: никчемный человек! И еще хуже: лживый человек! Теперь Марек отчетливо видел лишь ложь — крупную и мелкую ложь, которой он облегчал себе жизнь. Изгнанный, отверженный, затерянный в людской толпе, он считал одиночество достоинством, моральным героизмом. Какая фальшь, какое заблуждение, какая жалкая ложь! От природы слабый, нерешительный, робкий, он считал

силу безнравственной. Все, что было заложено в нем, все, что было дано от природы и чего он не в силах был преодолеть, он пытался узаконить как нравственную норму. Ложь! Всюду ложь, лицемерие, притворство! Он презирал тех, у кого хватало смелости считать ложь правдой, не понимать этого и жить, руководствуясь этим. По какому праву? Разве его ложь не в тысячу раз хуже и подлее их лжи?! Он выворачивался наизнанку, оскорблял себя, истязал в поисках очищения. Жаждал быть чистым, как горный ручей, без капельки лжи, и поэтому был неумолимо строг к себе. Он разложил по полочкам в себе все без остатка. Чем жить? Чем дышать? Любовь? Теперь он был уверен, что выдумал и ее. Ему казалось, что мысль об Олине не вызывает волнения, эта мысль стала холодной и далекой. Дружба? Лживая маска, под которой юность скрывает свой эгоизм:

Он взбунтовался — в чем же тогда правда? И строгий судья в нем самом мгновенно нашел ответ: правда — это эгоизм; правда — это слабость; правда — это страх. А чем же тогда мы отличаемся от животных? Только качеством: твой эгоизм эгоистичнее, твоя слабость слабее, твой страх страшнее; ты более достоин сожаления, чем животное. Нет! Нет! Я человек! А что такое человек? Что это значит? — Не знаю, не знаю, что это значит. Знаю только, быть человеком — великая вещь. Великолепная вещь — я могу все понять, все объять, все любить. Ты прячешься за слова, говорил в нем строгий судья. Скрываешься за словами. Боишься? — Нет, не боюсь. Я опустился на самое дно — какое поражение может еще меня ожидать? Мне уже ничего не страшно. Я создам свою жизнь заново, буду чист и буду человеком. Я сумею это сделать! — Ты все строишь на песке, при первом ударе все рассыплется. — Пусть! Я буду строить снова! Снова и снова! — Ты неисправимый мечтатель!» — Я человек!

Да! Я человек! Это могучее, очищающее понятие. Вопреки всему, вопреки всему! Марек дышал быстро и прерывисто: он был взволнован. Он видел свое будущее как ясную, отчетливую прямую линию. Теперь все будет просто: ты человек, неси факел, борись, сражайся... Борись, сражайся! Вопреки всему, вопреки слабости и страху, вопреки сомнениям! Ты человек! Неси высоко свой факел!

Марека был еще так молод! Разочарование в жизни и вера в нее были в нем почти неотделимы. Как многие одинокие люди, он обладал опасным свойством видеть только теневую сторону вещей. Он видел и знал: мир черен, враждебен и преступен. Но юное сердце, вечные порывы юного сердца противились этому, они преодолевали действительность, поднимались над ней. Во имя чего? В знак чего? Это было неясно. Идеал был туманным, и в нем было много наивного. Он складывался из слов, мыслей, каких-то примеров из жизни и борьбы, относящихся к лучшим временам человеческой истории. Он боялся прибегать к различным философским системам, страшился их. Они были слишком односторонни, слишком точны и определены. В основе многих из них лежало сомнение, в заключение все они брали под сомнение даже преступление и отступничество. Для Марека сомнение было не самоцелью, а только средством: это был единственно возможный простор для развития мысли. Во времена устойчивых систем возможность свободно сомневаться — единственная возможность свободно мыслить. Эта внутренняя свобода была для Марека дороже всего; он не мог от нее отказаться — тогда ему пришлось бы отказаться от того, что он считал своей самой откровенной собственностью. И он не отказался от нее, не расстался со своими сомнениями. Это была рискованная игра: он сомневался во всем — в идеалах и в поступках, в других и в самом себе; он с трудом создавал свой мир духовных ценностей, чтобы его же собственные сомнения вмиг уничтожили этот мир. Сомнения одолевали его, для него наступали минуты отчаяния. И снова он подымался из развалин. Ведь он был молод, честен и хотел быть сильным и полезным. Он хотел быть борцом, провозвестником братства, в минуту юношеской гордыни он считал себя Рыцарем Мысли. Безнадежно смешной рыцарь для времени, в которое он вырос!

Белоснежная вселенная остановилась, словно жалобно вздыхая. Потом снова пришла в движение. Тишина дрогнула. Зазвучали выстрелы, прокатились вниз по долине, натакиваясь на крутые склоны. Это было жестокое внезапное пробуждение. Белый мир потемнел,

на солнце набежали облака. Марек оглянулся по сторонам: от прежней картины ничего не осталось. Все сразу стало обычным и неинтересным — снег, горы, долины. Воздушный, прозрачный простор исчез: его рассеяли выстрелы. Из-за холма на поляну выбежали три серны. Они остановились совсем близко от Марека, удивленные и испуганные. Они тяжело дышали, их спины были мокры от пота. Серны спасались от выстрелов. Большие пугливыми глазами они смотрели на человека. Человек сделал рукой движение, приветливое и ласковое. Животные не поняли. Движение показалось им угрожающим: они, вероятно, увидели в нем ту странную вещь, которая сверкает огнем, грохочет и убивает. Козленок жалобно заблеял, напомнив плач ребенка. Потом они вдруг взвились на дыбки и помчались во весь дух по глубокому снегу. И тут же бесшумно исчезли в лесу, поляна опустела, словно их никогда здесь и не было.

Только блеяние козленка повисло в воздухе. Оно дрожало и жаловалось: это была жалоба преследуемого. Этот звук вызывал сочувствие и жалость, а еще больше ненависть к преследователям. Это было рыдание времени, в котором жил Марек, времени, когда мир распался на охотников и преследуемых, на тех, кто убивал, и на тех, кого убивали. Мареку это было ясно: он ненавидел охотников. Но он не делал ничего, чтобы изменить соотношение сил, лишь наблюдал и стыдился этого. Он ждал момента, великого момента, когда сможет приложить все свои силы. Его уделом в этой борьбе было самопожертвование, великая жертва, отзвуки которой разнеслись бы повсюду и потрясли бы всех. Великий момент не наступал. Этот век не был веком великих жертв: герои и трусы умирали толпами, никому не известные; это был век, когда жертв было слишком много и они были обесценены.

Стало холоднее. Подул ветер. В ельнике загудело, поднялась белая пыль. Мареку стало холодно, и он решил повернуть к дому. Но тут ветер донес до него всхлипывания, слабый человеческий голос. Он прислушался. Голос почти пропадал в жалобном стоне ветра, но Марек слышал его ясно. Он направился на звук, продираясь через молодую поросль, прошел краем ельника. За ельником шел крутой спуск к лужайке. Ветер свободно разгуливал по поляне, взметая вихри снега. Вдруг

совсем потемнело, солнце скрылось. Марек ничего не видел через залепленные снегом очки; он шел вперед ощупью, как слепой. Потом он остановился, аукнул — голос ответил где-то совсем близко.

Теперь он ясно видел: внизу, в расщелине, у его ног лежал человек. Марек осторожно спустился вниз и перевел дыхание — в овраге было тихо. Он наклонился над лежащим человеком и удивленно охнул: это была девушка, почти ребенок. Длинные ресницы залепило снегом, по лицу текли слезы. Девушка, видно от боли, тихо стонала, беспомощная и испуганная. Марек успокаивающе коснулся ее покрытого снегом плеча и спросил:

— Что случилось, где у тебя болит?

— Нога, — сказала девушка и, глубоко всхлипывая, вздохнула.

Из глубокого снега торчали только концы лыж. Марек принялся разгребать снег, чтобы добраться до ног. Девушка перестала всхлипывать, стараясь не дышать.

— Эта? — спросил Марек.

— Нет-нет, правая.

Марек осторожно снял лыжу, коснулся ноги над щиколоткой. Девушка застонала от боли. Марек покачал головой.

— Ничего, только щиколотка, — сказал он.

Он снял и вторую лыжу и внезапно оцепенел. То, что он увидел, было почти невероятно: на снегу лежала мокрая листовка. Он ясно видел жирные черные буквы: «Словаки», три восклицательных знака, за ними: «Наше время близится» и снова восклицательный знак. Марек однял листовку и разбросал снег — под ним лежала целая кипа таких же листовок и потертый ученический портфель: листовки, очевидно, выпали оттуда. Девушка подняла голову.

— Что вы?

— Ничего, — сказал Марек, — не бойтесь. — И добавил: — У вас выпало из портфеля.

Марек бессознательно стал называть девушку на «вы».

— Боже мой! — испуганно сказала девушка.

— Не бойтесь, — сказал Марек. — Я соберу их.

Девушка только молча вздохнула. Марек принялся собирать листовки. Они намокли, и краска на некото-

рых расплылась; все они пахли свежей краской. Листовки, очевидно, печатались где-то недалеко, и печатающий листовки был недостаточно внимателен: в тексте было много ошибок. Сам текст изобиловал сильными выражениями, ругательствами и угрозами в адрес гардистов. Тот, кто писал, не утруждал себя поисками слов. Впрочем, так, пожалуй, было и лучше: листовка вызывала доверие своей неофициальностью.

Внезапно послышался собачий лай. Лай быстро приближался, собаки неслись, очевидно, прямо к расщелине. Девушка приподнялась, хотела встать, но боль в ноге заставила ее снова сесть. Она сидела беспомощная, сжав губы, и со страхом, умоляюще смотрела на Марека широко раскрытыми детскими глазами.

— Не бойся. — Марек снова говорил девушке «ты». — Все будет хорошо.

Лай собак приближался. Марек зарыл портфель в снег. Собаки остановились над расщелиной с громким лаем. Марек успокаивал их, но собаки не умолкали. Потом показался и охотник. Он цыкнул на собак, и они замолчали. Охотник нагнулся над расщелиной. В тот же миг Марек узнал Лемнитцкого. Тот пристально смотрел на Марека, словно не узнавая его; что ему тут надо? Потом Лемнитцкий заметил и девушку.

— А-а-а! — сказал он и покачал головой. — Добрый день, пан Угрин.

— Добрый день, — сказал Марек. Он старался скрыть дрожь в голосе, и это ему удалось.

— Романтика? — сказал Лемнитцкий, и взгляд его остановился на девушке. Марек с усилием улыбнулся. Лемнитцкий слегка кивнул головой на прощанье.

Марек прислушивался некоторое время, не вернется ли? Он боялся поверить, что все сошло так гладко. Только теперь он почувствовал рискованность положения. Но странное дело, он совсем не испытывал страха; он заглядывал в себя, ища там страх, но страха не было. Он радовался этому и слегка гордился, чувствуя себя сильным и решительным. Марек взял лыжи и портфель, помог девушке встать.

— Обопритесь на меня, — предложил он ей.

Девушка попыталась передвигаться, подпрыгивая на одной ноге. Ей это не удалось, склон был крутой, снег глубокий.

— Поддержите меня за талию,— сказала девушка. Марек послушно обнял ее. Девушка была маленькая, легкая, но и Марек не отличался силой, через каждые десять метров им приходилось отдыхать. Во время одной такой передышки девушка спросила Марека:

— Вы не узнаете меня?

Марек посмотрел внимательнее: скуластое лицо, большие глаза, довольно большой рот. Кого-то девушка напоминала, но кого, он не мог вспомнить.

— А я вас знаю,— сказала девушка.— Я хорошо вас помню.

— Не припоминаю,— ответил Марек.

— Крапова,— назвала себя девушка.

Марек не мог ее вспомнить. Да, наверно, это Крапова. Теперь он понял, кого она ему напоминает: девушка очень походила на старого Крапа. Но он так и не вспомнил ее. Он потер очки и взгляделся в нее пристальнее. Длинные ресницы слегка дрожали.

— Ганка,— сказала девушка.— Не помните?

— Ганичка, неужели?

Теперь он ее вспомнил. Самая младшая из семьи Крапов, поздний цветок — старому Крапу было под шестьдесят, когда она родилась. Хрупкий, подвижный и веселый ребенок, она всем приносила радость. Все в доме любили ее; старший брат, Янко Крап, любил ее почти страстно.

— Вы были совсем малышка,— сказал Марек.

— Я выросла, правда?

— Выросли,— сказал Марек.

Они глядели друг на друга улыбаясь. Длинные ресницы широко раскрылись, большие глаза смотрели на Марека тепло и доверчиво. Потом вдруг оба перестали улыбаться и смущенно отвели взгляд.

— Пойдем? — сказал Марек.

— Да, нужно спешить. А то дома будут беспокоиться.

Всю остальную дорогу они не говорили, словно чего-то стыдились. Ветер совсем стих, снег падал густыми крупными хлопьями. Они ничего не различали уже в нескольких метрах и шли, окруженные белой завесой снега; казалось, они передвигались в большом белом колоколе. Марек ни о чем не думал, а просто радовался. Радовался тому, что может кому-то помочь и что за

длинными ресницами у девушки, которой он помогает, скрываются большие доверчивые глаза.

Старая Крапова первая заметила их во дворе. Она ахнула, ведро с водой выпало у нее из рук.

— Так я и знала, так и знала! — жалобно запричитала она.

В дверях показался старый Крап. Он был испуган, но, узнав, что случилось, разозлился на свой собственный страх.

— Не реви, — накинулся он на жену. — Чего ре-
вешь? — И, повернувшись к дочери, сказал: — Ну, коза! Допрыгалась?! Не можешь ходить, как все люди?! — И только потом поздоровался с Марекком. Он пригласил его в дом, но Марек отказался. Ему хотелось остаться одному, совсем одному, наедине со своей маленькой чистой радостью. Девушка подала ему руку, ресницы поднялись, и глаза снова посмотрели доверчиво и радостно.

— Спасибо, — сказала девушка, — спасибо за все, понимаете?

Марек кивнул, и взгляд его сказал: это ерунда, я могу сделать и больше. Могу сделать все, если вы пожелаете.

4

Янко Крап сидел в лесной сторожке под Черной Браной и скучал. У него была уйма времени, а делать нечего! Сторожка стояла над ручьем в густом лесу; до первого хутора отсюда летом не меньше часа ходьбы, до первого поселка — выше двух. А теперь все дорожки и тропинки в сторожку завалило глубоким снегом, ее занесло до самой крыши и отрезало от всего мира. Оставалось лишь сидеть сложа руки и ждать, спать и есть. Янко Крапу казалось, что весь мир спит и зевает — ну и скучища!

Новая бревенчатая сторожка на каменном фундаменте вся пропахла смолой. В ней жили шестеро: лесник Ульрих с женой, двое русских, рабочий Чачко с каменоломни, ушедший из-под носа жандармов, когда его хотели арестовать. Русских подобрали в октябре на Лазенце. Они бежали из плена и пробирались из Верхней Австрии на Украину. В это время дождь лил неделями. Русские были голодные, больные, истощенные.

Крестьянин, живший на Лазенце, нашел их в лесной чаще в куче листьев — беглецы были на грани смерти. Теперь они уже почти поправились. Они спали и ели, толстели, позевывали и перемигивались с женой Ульриха — словом, ожили.

Скучно. Только рассветет и уже снова темнеет. Керосиновая лампа моргает и чадит. Швейная машинка лесничихи монотонно постукивает. Артем сидит у открытой дверцы печки и играет с котенком. Леша валяется на скамейке и смотрит в потолок. Он пролеживает так часами — что он там видит, на потолке. Чачко в углу что-то строгаёт, он все время старается занять руки работой; сейчас он делает топорище. Иной раз он за весь день не проронит ни словечка — такой он мрачный, тяжелый человек. Он думает о жене и детях, оставленных дома: не случилось ли с ними чего, не голодают ли? Лесничиха перестала шить и потягивается. Это рослая женщина с некрасивым, рябым, немного туповатым лицом. Да и кто другой пойдет замуж в такую глушь? С тех пор как в сторожке появилось столько мужчин, она постоянно потягивается: ей приятны голодные взгляды, и она старается наверстать упущенное в девичестве, видя в мужских взглядах то, чего ей раньше не хватало, — восхищение и желание. Артем, бегая глазами, подвигает свой стул к швейной машинке.

— Послушай, — говорит он, — сшей мне что-нибудь. Лесничиха смеется:

— Что же тебе сшить?

— Сшей что-нибудь, придумай сама, — говорит Артем и кладет ей руку на колено.

— Нельзя, — говорит лесничиха и смеется.

— Эх, баба, — вздыхает Артем и добавляет шепотом: — Мучаешь ты меня, не мучай так.

А она тоже шепотом отвечает:

— Нельзя, Артемка, у меня муж, понимаешь?

Женщина украдкой окидывает комнату взглядом; за столом сидит Янко Крап, и ей кажется, что он смотрит прямо на них. Она говорит уже громко:

— Отстань, Артем, убери руки!

Артем обиженно передвигается со стулом обратно к печке.

— Эх, баба!

Янко Крап сидит за столом и сочиняет листовку. Тысяча чертей, ну и работка! Слова-врати скачут перед ним, танцуют, не даются в руки и прячутся в самых темных углах комнаты. Слова, которые ему удастся поймать и написать на бумаге, выглядят глупыми и смешными. Он всегда испытывал отвращение ко всякому сочинительству, и в словах, написанных им, ему виделось что-то надуманное, неискреннее, фальшивое. На солдатской службе он нашел себе девушку; девчонка оставила его, как только получила от него несколько писем. В письмах было всегда одно и то же: здоров, надеюсь, что и ты здорова, — и так все время. Он никак не мог заставить себя написать что-нибудь еще — стыдился написанных слов. А теперь так валяй! Черт возьми! В стилистическом искусстве он лучше всего овладел восклицательным знаком. Вот он и писал, прибегая к восклицательным знакам и простым предложениям, к отдельным словам, обращениям, ругательствам. А директивы говорили: нужно объяснять, открывать людям глаза. Что нужно было объяснять? И так все ясно. Янко Крапу казалось, что положение дел для всех так же ясно, как и для него. Эх, черт побери эту работу!

— Артем, — сказал Янко Крап умоляюще, — помоги мне, ведь ты же образованный парень!

И Артем, глядя на огонь, медленно лепит слово к слову, внимательно и педантично. Артем учитель и умеет составлять предложения. Тут пробуждается от своего оцепенения и Леша, он говорит:

— Не такие слова нужны, совсем не такие.

— Почему не такие? — обижается Артем.

— Не такие слова нужны, это гладкие слова, пустые. Ты давай такие, чтоб кнутом стегали! Пусть ссорятся!

У Алеши таких слов полно. Он с Волги, и кажется, что ему подчиняются все слова. Нагоняющие страх, — это огненная цепь слов, энергичных, повелительных и простых. Янко Крап пожимает плечами: не подойдет. Теперь обижается и Леша:

— Почему не подойдет?

— Их нельзя перевести, — объясняет Янко Крап. — Мы народ небольшой, нам приходится жить мирно перед другими, таких слов у нас нет.

— Ладно,— говорит Леша примирительно,— так напиши по-нашему.

— Не поймут,— возражает Янко Крап.

Леша удивляется: как можно не понять такие ясные слова? Неужели есть кто-то на свете, для кого непонятны такие ясные слова? И Артем, как человек образованный, объясняет Леше, почему эти слова можно не понять. Леша спорит, начинается перебранка, бесконечная перебранка, вызванная скукой, бездействием, необходимостью сидеть на одном месте. Янко Крап нервно ходит по комнате, вокруг звучат ругательства, мастерски направленные атаки и контратаки. Леша и Артем настоящие мастера в этом искусстве. Но тут из-за швейной машинки поднимается лесничиха и кричит на них, как на малых детей:

— Хватит, у меня уже в голове гудит!

И они затихают, словно послушные собачонки,— видно, что они совсем не сердятся друг на друга, что это всего лишь своеобразная гимнастика. Чачко достругал топорище и теперь подчищает его. Вдруг он поднимает голову и прислушивается — у него очень тонкий слух.

— Это он,— бормочет Чачко и снова принимается за работу.

Все затихают и тоже прислушиваются: теперь уже всем слышно радостное повизгивание собаки лесника. Все оживают: идет посланник внешнего мира, далекого мира, который кажется им почти нереальным. В сторожку вваливается лесник, вбегает собака, врывается морозный воздух.

— Бог в помощь,— говорит лесник и смотрит на всех очень светлыми, словно выцветшими, глазами.— Ну как, живы еще?

Лесник невысок, скорее, даже низковат, но голос у него резкий, громкий, грудной; когда он открывает рот, словно гром гремит. Лесник греет руки и грохочет:

— Сидите вы тут, посиживаете и не знаете, что на свете творится.

— А что творится на свете? — спрашивает Янко Крап.

Все так и смотрят в рот леснику. Он это чувствует и, усмехаясь про себя, подогревает их любопытство.

Он нагибается к огню, неторопливо набивает трубку и так же неторопливо прикуривает ее. Лесничиха злится:

— Ну, давай выкладывай, что случилось?

Лесник поднимается и обращается к Янко Крапу:

— Что случилось? Да ничего, ищут вас, ха-ха-ха.

Он смеется, смеется так, что, кажется, даже оконные стекла дрожат.

Лесник снова и снова переживал свое приключение, хохотал над жандармами раскатистым смехом. Но Янко Крап оставался серьезным.

— Не нравится мне все это, — сказал он.

— Чего тебе тут не нравится? — удивился лесник.

— Если уж они принюхиваются, то унюхают. И дитя малое догадается, где мы прячемся. Придется перейти на новое место.

— Эх, — с сожалением протянул Артем.

Чачко прислонил готовое топорщице к стене и страхнул с колен опилки.

— Я тоже так думаю: надо уходить.

— А ты, Леша?

— Надо.

— Эх вы, вояки! — укоряет их лесничиха. — Вас еще никто не гонит, а вы уже стрекача собираетесь дать. На Лазенце, с позволения сказать, воздух кто-то испортил, а под Черной Браной уже полные штаны наложили. А мужики вы здоровущие, что твой медведь!

Лесничиха и в самом деле сердилась. Она думала об одиночестве, о долгих, глухих часах ожидания в пустом доме.

— Не надо бы вам уходить, — печально говорит лесник.

— Эх, — снова вздыхает Артем.

Янко Крап почесывает свой шрам. Ему тоже не хочется уходить отсюда. Но он подсознательно, инстинктом преследуемого чувствует: в избушке лесника слишком хорошо, слишком хорошо и спокойно. Это ему и не по душе. Он понимает: хорошее жилье, лень и беззаботность делают их слабыми и это может все погубить.

— Завтра переберемся на новое место, — говорит он.

И больше никто не возражает — Артем даже не

вздохнул, только жалобно усмехнулся. Янко Крап поворачивается к леснику.

— Ну и новость,— говорит Янко Крап и с облегчением пожимает плечами.

— А новость в том, ха-ха-ха,— весело грохочет лесник,— новость в том, что из самой Братиславы приехали.

— Фью,— свистит Янко Крап,— так уж и из Братиславы?

— Право слово, из самой Братиславы. На трех машинах прибыли — и в штатском и в мундирах, специальная группа. И собаки с ними.

— Да, это уже кое-что,— говорит Янко Крап.— Это большое дело и большая честь для нас.

— Ха-ха-ха,— смеется лесник.— Вот я так им и сказал: это слишком большая честь для нашего края.

— Кому ты сказал?

— Да жандармам.

— Жандармам?

— Право слово, жандармам. А они накатались, как щенки.

— Ну, я что-то никак в толк не возьму,— говорит Янко Крап.

Лесничиха набрасывается на мужа:

— Не морочь голову людям, расскажи все по порядку.

Лесник украдкой смотрит на жену: вправду ли она злится? Это единственная вещь на свете, которой он побаивается. У лесничихи нахмуренное лицо, и лесник смиряется.

— Ладно уж, расскажу, как было дело, только передохну немного.

Он садится поудобнее на скамейку, потягивая трубку, собака ложится к его ногам: у него сейчас вид охотника с дешевых картинок. Рассказ свой он начинает издали, рассказывает подробно, но не по порядку, пропускает главное и останавливается на мелочах, временами смеется своим грозным, оглушительным смехом.

Оказывается, на обратном пути он остановился на одном хуторе на Лазенце и встретил там двух жандармов: знакомого вахмистра и незнакомого сержанта. Вахмистр обошелся с ним хорошо, угостил из своей

фляжки и разговаривал, как со старым знакомым. А сержант с самого начала насканивал на него: «Вы следов не видели?»

Лесник Ульрих прикинулся дурачком. «Зверья всякого у нас хватает,— сказал он,— пожалуй, и медведь найдется». Тут этот тип на него заорал, лесник обиделся и собрался было уходить. Но вахмистр его задержал и стал уговаривать. Он шепнул леснику: «Не обращайтесь на него внимания, пан Ульрих, он еще молод да зелен. Выпейте лучше». Лесник не заставил себя долго упрашивать — он никогда не отказывался от паленки и выдул фляжку одним духом. А потом выпил и сержантскую фляжку. Увидев, что вахмистр доволен, он понял, что его хотят спойть. «И-их,— сказал он,— я бы еще чего-нибудь выпил». И тут же хлопнул себя по лбу: да ведь у меня есть кое-что в рюкзаке. А у него там был спирт; тамошняя хозяйка сварила паленку, и в доме стоял такой запах, что не устояли даже жандармы. Сперва они лишь попробовали, но она так пришлась им по вкусу, что они стали пить вместе с лесником, а когда выпили весь спирт у лесника, хозяину пришлось поискать водки у себя.

— Часа три мы веселились, ха-ха-ха,— смеялся лесник.— И попели, и на славу пообнимались, и нацеловались. А потом сержант, напившись, заскулил. Скулит и скулит, наша служба, мол,— это собачья работа, не для людей, говорит. Он был из особого отряда и все мне выложил о своих начальниках, о службе и прочее. Я, говорит, дрянь, с детства был дрянью, и ничем другим мне не быть, потому что мне всю жизнь не везет. Я, говорит, заколдованный человек, кто-то меня, должно быть, проклял, никак не могу получить повышения по службе. Остальные, эти собачьи морды, чины получают, а ведь и стараний столько не прикладывают, сколько я. Как же это так? А потом как пошел ругаться, и опять скулит, и опять ругается. Его бы только, думаю, довести сюда, заполучили бы помощничка. А вахмистр был не сильно пьян и все меня нахваливал. Вы, пан лесник, знаете, мол, все тропинки и дорожки.— Это я и вправду знаю.— А не заметили ли вы в последнее время чего-нибудь необычного? Необычного? Говорю, нашему брату и впрямь случается много необычного видеть. Эх, приятель, говорит он мне, выпьем еще.

Так что же ты видел? Да вот, говорю ему, видел собаку с двумя головами. Собаку с двумя головами? Ей-богу, собаку с двумя головами, ха-ха-ха, одна своя, а вторая — заячья, в пасти. Да заржал ему прямо в глаза, и ему пришлось засмеяться, он и говорит мне: эх, приятель, да ты пройдоха. А я ему: лучше выпей, пан вахмистр, чего себе голову будешь ломать? Может, ты и прав, приятель, и все это понюшки табаку не стоит, говорит вахмистр. Вот мы и пили и горланили, так что дом дрожал. А потом эти двое сцепились, чуть до драки не дошло, потому как вахмистр принялся поносить тех, что из Братиславы приехали. Я, говорит, и сам мог бы сидеть в тепленьком местечке, греть ноги да письма писать, а заявились эти псы собачьи и выперли меня на мороз. А ты ходи нюхай, того и гляди на смех подымут порядочные люди. Разве не так? Да мы тут все знаем друг друга, говорит вахмистр, все мы тут свои, все как одна семья. Слышишь ты, словно бы и не слышал, видишь, как словно бы и не видел. А те-то — ровно ищейки! Парень услышал, очухался да хватъ вахмистра за горло: кто это тебе ищейки? Ну, я их разнял, ха-ха-ха, неохота мне, чтобы наше государство понесло потери.

— Отдал?

— Отдал.

— Кто взял?

— Ганка, сестренка твоя взяла.

— Ничего не передавали?

— Ах, я балда, — хлопает себя по лбу лесник. — Бумажку прислали.

Бумажка оказывается плотно сложенным разлинованным листом бумаги. Янко Крап развернул его, читает: «Ондрей не хочет помириться. Работа стоит. Приходи, может, сумеешь нас рассудить. В среду буду колоть свинью у Мелихеров».

Янко Крапу содержание записки хорошо понятно: нахмурившись, он больно царапает шрам ногтем. Тысяча чертей! Сколько же будет тянуться эта зима? Янко Крапу кажется, что кто-то привязал их к одному месту и они уже никогда не сумеют отсюда выбраться. Все замерло, погрузилось в сон, гниет. Силы расходуются зря, в безделье, в ссорах и скуке. Когда же этому будет конец?

Чачко боязливо косится на листок в руках Янко Крапа. Он думает о своих детях и о своей жене.

— Что стряслось? — спрашивает он.

— Ничего, — отвечает Янко Крап. — Все в порядке.

5

Старый Мелихер, учитель на пенсии, склонился над шкафчиком, и сердце у него наполнилось тихой радостью. В шкафчике мягко поблескивали монеты: серебряные, золотые, медные, никелевые, монеты всех времен и всех стран. Более сорока лет собирал Мелихер монеты, это была его страсть и радость. Вот они лежат перед ним, словно разговаривают. Он касался их нежно и ласково, ласкал так, как ласкал бы своих детей, если бы они у него были. У каждой монетки была своя история, каждая воскрешала в его памяти безвозвратно ушедшие времена — и все вместе они составляли историю его жизни. Прикасаясь к монетам, он погружался в мечты. Его монеты были не простые монеты-образы, монеты-мечты. Мелихер не был ученым нумизматом, а нумизматом-поэтом; он не изучал монеты, а создавал их историю. У каждой монеты была своя собственная история: талер — это была история о веселом бродяге-подмастерье, который ходил через Вену в Баварию, посвистывая и подбрасывая на ладони талер. Заработает талер и истратит, снова заработает и снова истратит — это был его вечный талер. Луидор был большим французским барином, дворянином, который, бежав от революции, шатался по немецким княжествам, охваченный злобой и ностальгией. Монету времен Марка Аврелия потеряла маркитантка, женщина могучего телосложения, которая везла на трех возах вино и девиц легкого поведения; пьяные легионеры напали на нее за Вышеградом, ей пришлось бежать, и она потеряла все свое имущество. Здесь были монеты древних культур, монеты всех частей света, свыше тысячи монет и более тысячи историй — это была своеобразная, полная грез поэтическая история человечества, не сухое ее изложение и анализ, а близкая, волнующая.

Прикасаясь к монетам, Мелихер блуждал по минувшим эпохам и никогда не виданным им землям. И все — и минувшие столетия, и неизвестные края, —

все было близко, и все было чудесным и достигаемым. Прикасаясь к монетам, он наполнялся спокойной радостью, радостным удовлетворением человека, знающего, что в жизни можно достичь только малого и что этого малого он достиг.

В дверь постучали. Мелихер с сожалением закрыл шкафчик и пошел открыть. В дверях стоял высокий широкоплечий парень и стряхивал снег с бараньей шапки.

— Я первый?

— Первый.

Потирая заочевенные руки, парень прошелся по комнате. Задержавшись возле шкафчика с монетами, он некоторое время рассматривал их. Потом решительно проговорил:

— Я бы на вашем месте продал это.

— Что продал?

— Эту коллекцию. Ее купит музей. Сейчас война, фронт не за горами. Надо освободиться от всего лишнего. Надо быть мобильным.

— А я, видите ли, предпочитаю оставаться немобильным.

— Как хотите. Но я бы на вашем месте все-таки продал их музею.

Мелихер оскорбленно промолчал. Ну и человек этот Шведа! Что он знает о жизни, о скрытых источниках жизни? Ровным счетом ничего не знает. Он видит лишь поверхность, контуры: это поверхностный человек. Мелихеру такие люди не нравились — они казались ему слишком самонадеянными, властными и ограниченными. Ох уж этот Шведа! Очевидно, он представлял себе жизнь как крупную и хорошо рассчитанную игру, где можно предопределить каждый шаг, и он рассчитывал свои шаги. Он не выбирал профессии, профессия его выбрала сама: он работал в банке. Жизнь — это счет: дебет — кредит; и он брал и давал, убежденный, что поступает правильно. То, что выходило за рамки точных расчетов, не имело для него смысла, было лишь тратой времени, беспорядком, обузой. Нет, Мелихер недолюбливал этого Шведу.

— Выпьете рюмочку?

— Рюмочку можно.

Шведа плюхнулся в кресло, в старое кресло, обитое красным плюшем. Оно жалобно застонало. Мелихер

насупил седые брови: в этой комнате, где он провел почти всю жизнь, все было для него дорого и ценно. Но он, пересилив себя, даже не вздохнул: пошел на войну — воюй, а воевать — это значит уметь переносить неприятности.

Массу неприятностей! Вместе с вечером к нему вторглись беспорядки, шум и грязь. Мечтательная тишина, в которой он доживал свои дни, строгий порядок вещей и мыслей — все нарушалось. Он старался понять суматоху и шум, громкие нетерпеливые слова, но все было каким-то посторонним, чужим и далеким. Ему казалось, что он отделен от остальных почти ощутимой толстой стеной: он смотрел не вперед, а назад. Он был гуманистом старого типа, ненавидел фашистов, ибо они разрушали то, во что он верил всю жизнь, и издевались над этим. Но и ненависть его оставалась спокойной, сочеталась с тоской по навеки утраченному и безвозвратному.

Он слушал и не понимал. К чему этот крик, к чему эти резкие слова? Он смотрел на ноги старого Крапа. На солдатских ботинках таял снег, с них стекала грязная вода прямо на ковер. Мелихеру было неприятно и даже жаль и ковра, и старческих ног в грубых ботинках, и мокрых обтрепанных брюк — всего ему было жаль. Ноги Крапа были неподвижны, точно вросли в пол. Старый Крап сидел, застыв на стуле, чувствуя себя неловко среди господ, к которым он питал вражду. Шапку он положил на колени, а на шапке покоились большие темные руки. Руки то разжимались, то сжимались. Это было единственное движение, которое позволял себе старый Крап. Плотная шея и еще могучие, совсем не старческие плечи подались вперед: он напряженно вслушивался, стараясь не пропустить ни единого слова.

Говорил Кремпашский, хозяин сыроварни, методист. Его голос прерывался от волнения, но на белом творожистом лице не дрогнул ни единый мускул. Лицо было строгое, холодное, интеллигентное, внушало уважение. Кремпашский вышел из известной семьи будителей¹, он

¹ Деятели национального возрождения Чехии конца XVIII — начала XIX века.

высоко ценил свое происхождение, уважал самого себя, прошлые заслуги семьи и обширные родственные связи, презирая тех, кто этим не обладал. Его предки вышли из народа, их образы всегда жили в его душе; он тоже старался быть близким к народу, ораторствовал перед ним и стремился руководить им. В нем жили замашки вождя, и он был искренне убежден в правомерности подобного честолюбия. И сейчас его голос звучал повелительно; он считал себя выше партийных разногласий и говорил: единство — это святой принцип, подумайте о том, кто объединит всех, о вожде — имея в виду себя. Он не выдвигал свою кандидатуру как одну из возможных, он навязывал ее как единственную возможность, искренне убежденный, что только он способен сплотить разобщенные усилия и возглавить подпольную борьбу.

Он кончил, в комнате наступила тишина. Все ясно понимали, о чем идет речь. И старый Крап яснее остальных. Он стиснул руки, лежавшие на коленях; и в тишине все слышали, как хрустнули его суставы. Не поднимая головы, он сказал, тщательно отделяя слоги:

— Я не согласен. — И добавил: — Мы не можем согласиться.

— Ничему-то вы не научились! — сердито воскликнул Шведа.

— Кто это ничему не научился? — спросил старый Крап, по-прежнему не поднимая головы.

— Вы ничему не научились! — сердито повторил Шведа. — Вы, коммунисты!

Старый Крап поднял голову и в упор посмотрел на Шведу, точно стараясь получше его запомнить. Седые усы Крапа слегка шевелились, словно он прятал улыбку.

— А это мы еще увидим, — проговорил старый Крап. — Еще увидим, пан Шведа, кто чему научился за это время.

— И так видно, — сказал Шведа. — Вы ничему не научились.

— Что за ерунда! — вмешался Павел Йозеф Яник. — Дайте мне две роты и тогда сами увидите.

Павел Йозеф Яник некогда служил подполковником в легионе; теперь он вел оптовую торговлю табаком. Это был человек откровенный, дружелюбный и

недалекий. Оптимист по натуре, он говаривал, что на этом свете все можно выдержать, главное — любить жизнь; это означало любить хорошую компанию, карты, вино, женщин. Все его знали как человека, умеющего пользоваться жизнью, поэтому, распуская про него немало сплетен, завидовали ему.

— Дайте мне две роты, — повторил он, грохнув кулаком по столу. Глаза у него были слегка навекате, багровое лицо блестело от пота.

Кремпаший поморщился, как человек, помимо своего желания очутившийся в недостойном обществе. Он был оскорблен до глубины души. Кто такие эти люди, отказывающие ему в том, что ему принадлежит по праву? Кто они, какого они рода, каковы их заслуги?

— Кажется, мне здесь нечего делать, — проговорил Кремпаший и поднялся.

— Нет-нет; не уходите, — умоляюще сказал Мелихер.

— Как вам угодно, — отозвался старый Крап и тоже поднялся со стула. — Как угодно, — повторил он. — Но мы не можем этого допустить.

Нет, старый Крап не мог этого допустить. Это была слишком дорогая цена за единство. Он понимал, что надо объединиться, что разобщенность ослабит силы и поставит под угрозу конечную цель их борьбы. Но старое недоверие к сильным мира сего, ставшее в течение многих лет его второй натурой, говорило ему: они хотят не объединиться, а растоптать нас. А он не даст им растоптать свой труд и свои надежды, усилия многих ночей и месяцев, преследования и муки товарищей-коммунистов — это было бы предательством.

— Тем лучше, — со злостью проговорил Шведа. — По крайней мере теперь у нас развязаны руки.

— Надеюсь, вы их используете, — вмешался профессор Маркех.

Шведа повернулся к нему, но тот с деланным равнодушием созерцал носки своих ботинок.

— Это не ваша забота, — отрезал Шведа.

— Извините, — сказал Маркех. — Я полагал, что и у меня есть право голоса.

— Ну-ну, господа! — принялся успокаивать их Мелихер.

Профессор Маркех, пожав плечами, замолчал. Он недолюбливал Шведу, считал его карьеристом и никчемным человеком. Кроме того, Шведа принадлежал к числу местных щеголей, а профессор, человек невзрачный, ненавидел щеголей.

— Дайте мне две роты! — воскликнул Павел Йозеф Яник и бухнул кулаком по столу.

— Подождите, — проговорил парень с огненно-рыжей шевелюрой и усыпанным веснушками лицом, до сих пор молча стоявший за стулом старого Крапа. — Одну минутку, сейчас, — сказал он, торопливо шаря по карманам. Старый Крап подозрительно покосился на него.

— Что ты ищешь?

— Две роты для пана подполковника, ха-ха-ха! — засмеялся парень, растянув в усмешке большой рот. — Никак не могу их отыскать. А ведь точно знаю, там был целый полк, ха-ха-ха!

— Болван! — угрожающе рявкнул Павел Йозеф Яник.

— Господа, господа, — успокаивающе проговорил Мелихер. Он с сожалением обвел глазами собравшихся, свою комнату. На всем — и на вещах и на людях — лежал отпечаток беспокойства, все было не на своих местах. На старом, изодранном ковре стояли грязные лужицы. Люди, вскочив со стульев, враждебно смотрели друг на друга. На гармоничную и чистоплотную натуру Мелихера все это действовало болезненно. Но он видел, что слаб и не может ничему воспрепятствовать — ни грязи, ни враждебности. Стоя в дверях, Кремпашский держался уже за ручку. Все остальные тоже собирались уйти, избегая смотреть друг на друга. В это время послышались шаги, и чья-то рука дернула дверь. Кремпашский испуганно отскочил.

Дверь распахнулась, и вошел Янко Крап в узких суконных брюках и деревенской кабанице¹. Он обвел внимательным взглядом присутствующих. Нетрудно было догадаться, что здесь произошло, но Янко Крап сделал вид, что ничего не понял.

— Садитесь, — сказал он. — Что вы стоите?

¹ Род накидки.

Все нерешительно сели. Только Кремпашский и Шведа остались на ногах.

— Ну что ж, начнем, — сказал Янко Крап.

— Мы уже кончили, — сухо проговорил Кремпашский.

— Тогда начнем снова, — сказал Янко Крап. — Начнем с самого начала. — Он обратился прямо к Кремпашскому. — Вы не думаете, что нам нужно еще раз начать?

— Так и быть, — после некоторого колебания ответил Кремпашский. Но он остался стоять в дверях, и его творожистое лицо по-прежнему хранило высокомерное выражение.

— С чего же мы начнем? — спросил Янко Крап. И сам себе ответил: — Начнем с того, что нас объединяет. У нас одно желание и стремление — смерть фашизму! Этого вполне достаточно, чтобы нам не враждовать и не идти врозь. Мы должны быть вместе. Это уже не спорный вопрос, а необходимость.

— Речь об этом уже шла! — отозвался Шведа.

— Да, — вмешался, все еще чувствуя себя оскорбленным, Кремпашский. — Об этом я им говорил.

— Значит, мы договоримся, — сказал Янко Крап. И он продолжал говорить спокойно и убедительно. Надо подчиниться необходимости, отбросить все личное, идти на жертвы. Надо забыть все остальное, обязательно забыть; нельзя думать ни о прошлом, ни о далеком будущем, надо выполнять требования настоящего момента.

Янко Крап говорил нравоучительным, успокаивающим тоном, точно уговаривал поссорившихся детей. А сам в глубине души осыпал всех проклятиями. Тысяча чертей, ну и работка! Он, Янко Крап, должен гнуть спину перед этими людьми, перед этими надутыми чучелами, должен говорить спокойно, когда впору кричать, должен уговаривать там, где следовало приказывать. Но он был убежден, что так надо, что надо идти на уступки. И он шел на уступки. Кремпашский со Шведой уже давно сели. Старый Крап все больше хмурился, стараясь не глядеть на сына. Его сын, его гордость, его творение был он сам, не обремененный старостью, без заблуждений и скверных привычек, его улучшенное подобие. И вот теперь он видел, что сын

отдаляется от него, бросает его, предает. Сын делает вид, будто его, старого Крапа, тут даже и нет, точно он воздух и ничего больше. Нет, Янко Крап ошибается, старый Крап еще здесь, и он еще скажет свое слово! И он произнес его в тот самый момент, когда у всех уже было мирное настроение и все склонялись к согласию.

— Мы не можем этого допустить!

— Должны! — проговорил Янко Крап, даже не взглянув в сторону отца.

— Ты за это ответишь! — крикнул отец.

— Да, отвечу! — спокойно отозвался Янко Крап.

Старый Крап замолчал, задыхаясь от гнева. «Нет, это еще не конец, — пригрозил он мысленно, — ты еще меня не обскакал! Придет и мое время!» Теперь он видел в Янко не сына, а политического противника. Тем хуже, что он был и его сыном, тем глубже и больнее была обида. Старый Крап был властен по натуре. Старый член партии, он считал себя ее воплощением. Он был рядовым коммунистом и не старался чем-нибудь выделиться. В нем жила одна всепоглощающая страсть: он всегда стремился к правде. Он рос лишь за счет жизненного опыта: сама жизнь была его учителем и высшим судьей. Он не помнил ни единой цитаты; все его выступления начинались с воспоминаний. Молодым, приходящим к коммунизму через книги и идеи, он не доверял. Он чувствовал в них почти враждебную силу. Он восхищался своим сыном и любил его, хотя не раз сомневался в его правоте; это очень осложняло их отношения. И теперь в нем с новой силой возродились сомнения во взглядах сына. Политик! Спелся с бари! От злости старик даже закашлялся. Но сын не обращал на него внимания. Он настойчиво продолжал переговоры, торопясь их окончить. Скорее же, скорее, чтобы не взорваться и не испортить дела. Наконец они пришли к соглашению. Кремпаешский торжественно протянул руку Янко Крапу. Шведа принужденно улыбнулся. Профессор Маркех сказал вполголоса Мелихеру:

— Слава богу, вождь у нас есть. А где же толпа?

Мелихер наполнил рюмки, все выпили. Старый Крап отказался, нахлобучил шапку и вышел. Янко Крап поспешил за отцом. Он нагнал его уже в узкой улочке, круто поднимающейся на холм. Старый Крап, сгорбив-

шись и опустив плечи, стоял у забора, тяжело переводя дух. Янко Крап почувствовал жалость, сердце его защемило. Он мягко положил руку на плечо отцу.

— Отец, — проговорил он тихо, — так было нужно.

Старик резко выпрямился, стыдясь, что сын застал его в минуту слабости. И молча зашагал вперед.

— Отец! — окликнул его еще раз Янко Крап.

Но старик не оглянулся. Он упрямо взбирался на холм, скользя на обледенелых ступеньках и хватаясь за забор. Сын шагал сзади, злясь на самого себя и на всех. Когда же все это кончится? Когда же кончится это бессмысленное ожидание? Он ненавидел сложности, страстно ожидая часа, когда все станет просто и ясно: вот оружие, вот друг, вот враг. Когда же наступит эта пора? И ему страшно, страшно хотелось поторопить время.

6

Депутат Феркодич, человек мелочный и мстительный, не забыл об оскорблении. Капитана Лабуду откомандировали на Восток. Он собирался наспех — швырнул в потрепанный чемоданчик белье, несколько листов бумаги, несколько фотографий. Олина застыла у окна. Горский парк был тихий, белый, задумчивый. Ясень стоял неподвижно, хмурый и безжизненный. Олина ничего не видела. Кусая губы, она еле сдерживала слезы. В висках стучало настойчиво и неотвязно: конец, конец, конец. Ну вот и все — расставание, конец. Тихо и пусто; убийственная пустота. Тоска, беспомощность, страх перед грядущим. Конец, конец. Еще несколько вдохов, еще несколько слов, а потом ничего — пустота, мрак. Капитан Лабуда с шумом захлопнул чемодан. Олина, не выдержав, всхлипнула. Капитан вздохнул.

— Не плачь, Оля, — сказал он, — что же делать? Ты никому не поможешь своими слезами.

Олина расплакалась громко, по-детски страстно всхлипывая. Он утешал Олину, глядя ее волосы. Схватив его за плечи, она уткнулась ему в грудь лицом.

— Нет, я не пущу тебя, ты не смеешь уезжать!

Она смотрела на него сквозь слезы и находила те-

перь в его лице что-то такое, чего она всегда боялась, — что-то холодное, чужое, неумолимое. Она знала, что это самая последняя из последних минут, а еще надо столько сказать! А она ничего не сказала из того, что следовало бы. Сказала лишь то, что говорится в таких случаях:

— Ты мне напишешь, ведь ты мне напишешь?

— Ты же знаешь, Оля, — сказал капитан, — ты же знаешь, что напишу. Как же я могу тебе не написать? — И он взглянул на часы, поцеловал ее вскользь, в волосы. — Пора, Оля, мне надо идти.

Она застыла безжизненная, словно мертвая. Конец, конец, конец любви, конец мечтам, жизни. Она уже не плакала, уже не было слез; у черного, бездонного отчаяния нет голоса, оно немо. Дверь захлопнулась. Черный, непроглядный мрак. Конец.

А капитан Лабуда вздохнул с облегчением: свободен! Он бодро зашагал вниз по улице, снег скрипел под ногами, и он насвистывал в такт шагов: свободен! Марево рассеялось, как только он захлопнул двери. Всю свою запутанную жизнь последних месяцев он оставил там, за этими дверями, теперь ему легко и свободно. Шагая, он насвистывал, и ямочки на его щеках улыбались. Он был школьником, которого оставили после уроков, а теперь отпустили домой; он был студентом, который удачно выкарабкался на экзамене и сейчас отправляется на каникулы; он радовался простым, не всегда осознанным вещам: ощущению здоровья, силы, свободы. Впереди неделя отпуска. Семь беззаботных дней! Семь дней, за которые он ни перед кем не отчитывается! А позади... нет, о том, что позади, не надо думать. Он махнет рукой — и все, что осталось позади, исчезнет. Не надо, не надо сейчас об этом думать — и он не думал. Он знал, что в запутанной жизни, оставшейся позади, было что-то такое, чего лучше не касаться: там таились и подстерегали его упреки. Нет, он не будет этого касаться. Все, что было, прошло, словно и не бывало. Словно все это игра теней: люди-тени, мысли-тени, чувства-тени. Хмурая осень, тоска, люди, замкнувшиеся в кругу безумных мыслей, странных слов, возгласов, страстей, — все это было неправдой. Правда, теперь он чувствовал ясно, в нем самом — это то, как он осознает себя, свою радость, свою любовь к жизни.

На остановке в стекле испорченного автомата он неожиданно увидел свое лицо. Боже мой, как я еще молод! У меня еще все впереди, надо только двигаться, есть, дышать, лететь. Он не знал, что именно ждет его впереди, но сейчас это было и не так уж важно. Важно чувствовать себя свободным, возрожденным, словно выздоравливающим. Все ему казалось неустроенным и безнадежно запутанным, и вдруг все стало ясным и чудодейственно простым. Дыши, живи, беги! Зачем? Куда? Ненужные вопросы — глупые вопросы душевнобольных, неврастеников и ипохондриков. Ты молод и здоров, ты красив, приятен — завоевывай радость! Всю дорогу его не покидало это всеобъемлющее, почти животное чувство радости жизни. Он улыбался людям, стал очень разговорчив, насвистывал марши. Гоп-гоп-гоп — он чуть ли не подпрыгивал от радости. Он думал о приятных и веселых вещах: о приятелях из военной школы, об удалой силе молодых голосов, о пирушках, где не было и следа печали, только буйное веселье. И эти короткие, обрывочные воспоминания подсказывали ему: жить — вот радость, жить — вот хорошая штука!

На станции его ожидали сани. Отец необычайно долго жал ему руку, бегал вокруг него, похлопывал его по плечу.

— Я уж думал, не дождусь тебя, — сказал отец.

Он как-то очень быстро состарился, лицо сморщилось, нос выступил вперед, острый, горбатый. Вот какие дела, братец, говорило это лицо, наш час приближается, идет к смерти. Но сейчас капитану Лабуде не хотелось видеть печальные вещи — и он не видел их. Он стегал отдохнувших коней, сани скрипели на утоптанном снегу, звякала сбруя, ветер свистел в ушах. Вперед, вперед, окунуться в эту опьяняющую скорость. На площади толпились люди, тут были торговцы, парикмахер, мастера. Они что-то кричали ему, махали руками в знак приветствия. Он остановился, снял шапку; он был рад им, как и они ему. Это были его друзья, его подданные в этом уголке мира; он забыл о них, как только покинул городок, а они его не забыли. В их глазах он был добрый парень, гуляка, вертопрах, не жалеющий денег и бросающийся в любые приключе-

ния; его приезд сулил им новые увлекательные развлечения, которые вырвут их из оцепеняющих будней.

От коней валил пар, сани пронеслись мимо лесопилки и дровяного склада, оставили позади винокуренный завод и унылый рабочий поселок. Теперь снова вихрем летел снег, скрипели сани; деревья вдоль дороги стремительно неслись назад. Скорее, скорее! Капитан Лабуда сбросил шапку и — с развевающимися волосами, разбурлявшимся лицом — стоя погонял лошадей. Как далеко остался город, который он покинул, как далеко унеслось все, что еще несколько часов назад казалось ему таким важным! На одном из поворотов он едва не наскочил на встречные сани, съехал на обочину и еле-еле удержался в равновесии. Встречные сани были битком набиты визжащими женщинами. Разгоряченные водкой и быстрой ездой, они протяжно выкрикивали: «Гоп, мой лен, гоп, моя конопель!» За ними летели вторые, третьи, четвертые сани. И все они были битком набиты хохочущими, пьяными женщинами. «Гоп, мой лен, гоп, моя конопель!» — кричали они, взвизгивая. Капитан Лабуда вспомнил: ах да, кончается масленица, это же старый обычай, может быть, еще языческих времен и, конечно, языческий по духу. Тут, кажется, ничего не изменилось, здесь еще молятся о хорошем урожае льна и конопли, как и тысячи лет назад. Тут все неподвижно, неизменно и безопасно — здесь хорошо и уютно. А вот и деревня, улочка, мост через реку, мельница. Вода глухо шумит в турбине, мельница постукивает и чуть дрожит: какие старые и знакомые звуки! Отец повел его не на мельницу, а в пристройку, где некогда жили работники. Мельница теперь сдана в аренду. А на окне пристройки висели те же самые белые занавески, цвели те же самые красные герани... Мать, сидящая посреди комнаты, плакала, по полным щекам текли слезы. Она не в силах двигаться — у нее опухли ноги. Она гладит сына по широким плечам, по лицу, а когда он удаляется, жалобно протягивает за ним руку. Сын никогда не задумывался над своим чувством к матери. Всегда, и в детских играх и позже, когда он вырос, ему был ближе отец, умный и всепрощающий. С матерью в доме никто не считался, она была неразговорчивой, покорной — вещью, предметом в хозяйстве. Теперь, когда она стала беспомощной, он

вдруг увидел ее в другом свете; и это открыло ему страдания человека, долгие страдания и унижения, большое и покорное сердце женщины. Растроганный Лабуда склонился над ней, коснулся губами седых редких волос. Она громко зарыдала. Отец расхаживал по комнате, чему-то кивая головой. Потом повернулся к сыну.

— Вот так-то, братец, — проговорил он, — забыли мы ее. Теперь только заметили, да уж поздно, — сказал отец.

— Нет, не поздно, — запротестовал сын, — почему поздно?

— Поздно, сын мой, — серьезно проговорил отец. — Мы уже ей ничем не отплатим.

— Ах, — всхлипнула мать, — сейчас, когда я тебя увидела, мне уже все равно. Теперь мне не о чем жалеть, теперь я могу спокойно умереть.

«Зачем вам умирать?» — хотел спросить сын, но не спросил. Глаза, жесты, все предметы в комнате, казалось, готовились к приближающейся смерти медленно, сосредоточенно и спокойно. Люди прожили свою жизнь, знали об этом и готовились умереть. Без сопротивления, лишь с небольшим сожалением в сердце. А в отцовских глазах мелькал крохотный огонек страха: он страшился боли умирания.

Капитан все видел и все понимал, но не мог по-настоящему прочувствовать. Умиление захватило его лишь на минуту. Он старался как можно скорее обрести вновь утраченное чувство радости, силы и любви. Он вышел во двор и глубоко вдохнул в себя воздух, смешанный со знакомым запахом муки. Пройдя через тихий сад, погруженный в сон, он через заднюю калитку вышел на луг. За Лазенце заходило солнце, в просветах прозрачного тумана сверкали колокольни и фронтоны городских домов. Он зашагал в сторону заходящего солнца, проваливаясь в глубоком снегу. На скованной льдом речке бегали на коньках деревенские ребята. Разбежавшись, он с радостным криком проехался на каблуках по льду, виртуозно и беззаботно, как в детстве. И зашагал дальше, с удовольствием ощущая стремительный бег взволнованной крови. Он чувствовал в себе силу, много сил, избыток сил: что делать с ней, со своим здоровьем, с бурной жаждой жиз-

ни? К чему приложить эту силу, на что использовать? Оне не знал да и не думал об этом; сейчас ему хватало простой радости от сознания своей силы и здоровья, послушной игры мускулов, стремительного бега крови. Но когда-нибудь надо остановиться и вернуться. Назад он шел неохотно. В пристройке жизнь была унылой, тоскливой, затхлой. Конечно, капитан Лабуда любил своих родителей. Но эгоистичная молодость сторонилась их тихой печали, брезгливо отворачивалась от старости, болезней и страданий.

Ужинали молча. Отец старался завести разговор, но было видно, что он его не интересуется; во всем обширном мире, в котором он некогда с философским раздумьем одинокого человека следил за каждым движением, его уже ничто не занимало; единственное, что еще привязывало его к жизни, был сын и страх за его судьбу. Но сын не боялся за себя; охватившее его новое чувство не допускало возможности смерти и несчастья: он был уверен, что выпутается из всех неприятностей, что все хорошо кончится. Расхаживая по маленькой комнатушке, он нетерпеливо потягивался. Отец вздохнул:

— Иди, братец, с нами тебе веселья мало.

Капитан растерянно взглянул на мать. Но и глаза матери говорили то же самое: иди, сын мой, делай что хочешь. Работник с мельницы помог ему запрячь лошадь. Он почтительно улыбался.

— В хорошую пору попали, пан капитан, сегодня в городе гулянье.

7

Сегодня в городе гулянье. Последние дни масленицы сорок четвертого года. Во всем мире идет война. Но городку кажется, что война где-то далеко-далеко, война городка не касается, он не слышит и не видит ее — может быть, никакой войны и вообще нет.

Ганка Крапова осторожно спускается вниз по берегу. На ней туфли на высоких каблуках, она еще не привыкла к ним, и ей все время кажется, будто у нее чужие ноги. Под пальто шуршит белое шелковое платье; там, где платье касается обнаженного тела, оно холодит и бросает в жар. Это первое шелковое платье у Ганки, в

нем таятся слезы, волнение, желание, в нем и смущение и мечты, надежда и страх: Ганка идет на свой первый бал. Ей холодно в легком пальтишке, а голова горит словно в лихорадке. Боже мой, боже мой, как все получится? А вдруг ее поднимут на смех, никто не подойдет к ней, не пригласит танцевать? Ну конечно, она будет танцевать, почему это вдруг останется в углу, никем не замеченная? Она в сотый раз пересчитывает всех знакомых парней, которые должны были бы с ней танцевать. И она сразу становится смелее: все в порядке, у нее такое платье, какое ей хотелось, такое блестящее и — если потрогать — гладкое; волосы высоко зачесаны надо лбом: это делает ее выше. Она совсем иная, незнакомая самой себе, и эта неизвестная девушка очень недурна! И все-таки... все-таки сомнения и страх не оставляют ее. Ганка смелая, ей хочется как можно быстрее пройти через огненную купель испытания — и она спешит. Мать, задыхаясь, кричит ей вслед.

— Куда ты так несешься, шальная? Опять что-нибудь натворишь, танцевать тебе в постели!

Мать ворчит, но это ласковое ворчание. Она гордится дочкой. «Хоть и бедные мы, — думает она, — а поглядите-ка на нее, на нашу Ганку! Разве у ней нет всего, что есть у других, разве она не красива, как розочка?»

А вот и бывший Рабочий дом, неплотно затемненные окна пропускают свет, за ними раздаются шум, гул, звуки скрипок. Мать с дочерью пробиваются через толпу любопытных. Внутри толкучка, запах долго не проветриваемого помещения и горящих свечей. Мать украдкой крестит дочку: ах, только бы с ней ничего не случилось! На сцене и вдоль стен стоят столики, но они уже все заняты. Мать нашла наконец столик в углу зала; дочка не отходит от нее. Заиграла музыка, из-за столиков поднялись пары, танцевальная площадка заполняется. Парни оглядываются по сторонам. Ганка замечает несколько знакомых парней, но они словно ее не видят, словно нарочно избегают смотреть в этот угол зала. Один из них направился через зал, прямо в ее сторону. Минута тоскливого ожидания: не к ней ли он идет? Нет, он останавливается, не доходя до нее, и приглашает другую девушку. Ганка со стыдом опускает голову. Мать смотрит на нее, касается ее ру-

кой: не боясь, еще подойдут. Она уверена, что они не могут не заметить ее Ганки. Но Ганка в этом совсем не уверена, ее смелость вдруг исчезает. Она смотрит из-под опущенных век на танцующих, и ей кажется, что все девушки в зале чем-нибудь лучше ее. И шелковое платье не кажется ей больше таким сказочным и таким прекрасным; оно внезапно становится неудобным, жмет в плечах, ей кажется, что оно висит на ней как на пугале. А прическа, теперь она понимает, невыносимая, совсем не модная — ее сделала мать, а она давным-давно ничего не понимает в сегодняшнем мире. Ах, боже мой, все погибло, все так ужасно и стыдно! А как Ганка мечтала, какие надежды возлагала на этот вечер! Она стоит уже второй, третий танец. Уже и мать потеряла терпение.

— Тебя не видно в этом углу, — говорит она и отсылает Ганку на видное место.

Но Ганка не в силах сдвинуться с места, ноги точно налиты свинцом, точно приросли к земле, по всему телу разлита тяжесть: как стыдно, очень стыдно! Глаза ее полны слез, слез обиды и стыда, очень горькие слезы. Ах, хоть бы исчезнуть отсюда, испариться, пропасть бесследно! И зачем она не родилась мальчишкой, как унижительно быть девчонкой, как стыдно быть бедной девушкой! Ах, если бы она была богатой, если бы была богатой! Она уже боится поднять глаза, чувствуя, как деревенеют ноги; в эту минуту она ненавидит свое тело, ей хочется раздавить его, исхлестать: вот тебе, вот тебе! Ей кажется, что именно ее тело, его жадность причиной всему позору и мукам.

И вдруг все меняется. Перед ней, наклонив голову, стоит Юло Голко, его огненные волосы пылают, веснушки на лице улыбаются тысячами улыбок. Ганка тоже улыбается ему сквозь слезы. Онемевшие ноги разом оживают, они совсем легкие, все тело воздушное, легкое, послушное. Ганка танцует, вся во власти движения, ноги неслышно скользят, тело наклоняется в такт; Ганка плывет в свете огней, мимо проплывают лица, она погружается в веселый чудесный круговорот. Юло что-то говорит ей, но она отвечает лишь коротким «да-да», улыбается, ничего не чувствуя, кроме движения собственного тела, лиц, улыбок, взглядов. Теперь ее все время приглашают. Ее огромные глаза, ее неж-

ная хрупкость, невыразимое очарование подростка, почти взрослой девушки, манят и притягивают. Все как во сне, как в мечтах, только гораздо прекраснее. Весь мир улыбается Ганке, заигрывает с ней, ласкает ее взглядом; она чувствует, как эти взгляды проникают через платье, согревают, обдают жаром щеки. Ничего нет, только движения ног, плавные и кружащиеся, прикосновения рук и тел, улыбки, неуловимые слова, взгляды — таким может быть только счастье! Ганка счастлива, она излучает вокруг себя эту особенную теплоту счастья, свет его притягивает всех парней, вызывая восхищение и зависть. Она танцует с Марекком. Марекк неловкий танцор, но и он возле нее становится подвижнее, усиленно шаркает ногами и что-то говорит. Что он может говорить? Да-да, кивает Ганка и улыбается, не понимая, о чем рассуждает Марекк, но это неважно, важно лишь то, что Марекк хороший человек, она видит за стеклами очков его кроткие и чуть испуганные глаза. Марекк хороший человек, и она, Ганка, нравится ему; все люди хорошие, такие хорошие и привлекательные! Она танцует с Марекком, но чувствует на себе все взгляды, ей чудится, что она слышит лестный шепот из многих уст.

А потом одерживает победу один-единственный пристальный и неотрывный взгляд. Ганка долго борется с собой, наконец этот взгляд одерживает верх. Она оглядывается. Зал точно потемнел и снова осветился. На сцене, возле рамп, стоял высокий темноволосый капитан и в упор смотрел на Ганку. Ганка взглянула на него лишь на миг и тотчас же отвела взгляд, но глаза их встретились, и этот взгляд не забылся, как забылись многие другие взгляды этого вечера, он остался, он не забылся.

Теперь Ганка видела капитана, даже не глядя в его сторону: она чувствовала, как он приближается к ней. А вместе с ним на нее надвигается какая-то тоска, страх, печаль, сжимая ее все плотнее и плотнее, и ей становится трудно дышать. Ганка ждет, опустив голову. Он нежно берет ее за плечи, нежно и уверенно, как властелин и хозяин. Ноги машинально становятся послушными, они движутся в такт, но тело застыло, стало неприятно деревянным; глаза у Ганки опущены, она не решается в эту минуту взглянуть вверх, в лицо своему

партнеру. Она чувствует большую легкую руку на своих худеньких плечах. Потом рука медленно опускается по спине и нежно гладит ее. Но Ганку бросает в холод, она дрожит.

— Вы боитесь меня?

— Нет.

— Вы не должны меня бояться. Посмотрите на меня.

— Я вас не боюсь. Почему я должна вас бояться?

— Тогда посмотрите на меня.

— Захочу и посмотрю. Чего мне вас бояться?

— Посмотрите на меня сейчас же, теперь.

— Вы очень много о себе воображаете. И я совсем вас не боюсь.

— Не посмотрите?

— Нет.

— И все-таки вы посмотрите.

— Нет.

Но он поднял рукой ее подбородок. Она на миг видит смеющиеся серые глаза, огоньки в них, блестящие каштановые волосы и веселые ямочки на щеках.

— Что вы увидели?

— Задаваку.

— И только?

— А больше там нечего видеть.

— Вы ошибаетесь.

— Нет, не ошибаюсь.

— А в глазах? Что вы увидели в глазах?

— Высокомерие.

Капитан Лабуда весело засмеялся. Это была игра, волнующая и приятная. Игра отвечала его настроению. Мир распахнут перед ним настезь, огромный, заманчивый: сколько чудесных, хороших вещей ждет в нем того, кто его откроет! Малышка привлекательна, она не похожа на других женщин и девушек в городе, она вся какая-то здоровая и чистая, словно сотканная из прозрачного и очень чистого материала. Жизнь проста и чудесна, она полна неожиданностей и приключений. Отдайся этому мигу, не позволяй ему пройти мимо себя незамеченным — в этом вся мудрость. Умножай свои силы, сей радость в себе и вокруг себя: что еще нужно?

Теперь Ганке было уже не страшно. Тело ее подчинялось радостно и благодарно. Незнакомец стал близким и понятным, точно она знала его давным-дав-

но. Радость, которую испытывал он, стала и ее радостью. Они танцевали, чувствуя только свое дыхание и ничего не видя вокруг, танцевали один, другой, третий танец, танцевали, позабыв обо всем мире. Они были чудесны, прекрасны, одни в этом зале и знали об этом. Все остальные были просто неодушевленными предметами, по которым равнодушно скользили их взгляды, были лишь воздухом, которым они дышали и который усиливал их опьянение.

Цыгане кончили играть, но капитан вынул сто крон — играйте, играйте сколько хватит сил. И теперь они танцевали совсем одни; паркет был пуст, в нем отражались лишь огни, великое множество огней над головой и под ногами, и все они кружились, раскачивались, взвивались и падали в ритме вальса. Это длилось бесконечно — бесконечный поток света, уносивший Ганку, мягкие, нежные звуки, согласный ритм движений, убаюкивающий восторг, нескончаемый сон, который разворачивается тихо и бесшумно. Еще, еще, еще, этой минуте нет конца, она бесконечна, она кружит, и шепчет, и опьяняет. Мир кружится, поднимается и падает, все закружилось страстно и жадно, радостно и ослепляюще.

Но всему когда-нибудь приходит конец, и танец — этот восторг, упоение — кончился. Капитан отводит Ганку в угол зала и с улыбкой кланяется матери, но мать хмурится: она боится его, боится за дочь. Я вернусь, говорит дочери взгляд капитана. Ганка провожает его глазами, видит, как он, высокий и сильный, проталкивается через толпу к выходу. И тут же видит, как за ним идут по пятам парни: огненная шевелюра Юло Голко и еще несколько парней торопливо пробираются к выходу.

— Мама, — шепчет Ганка.

— Что с тобой? — удивляется мать.

— Мне страшно, — говорит Ганка, и ее охватывает недоброе предчувствие.

— Чего ты боишься, ты же со мной!

«Они подерутся», — хочет сказать Ганка, но ничего не говорит. Снова играет музыка, и ей приходится танцевать.

Капитан за дверью закуривает сигарету. Ночь легкая, беззвездная, не очень холодная. Воздух приятно

холодит разгоряченное лицо. Капитану хорошо и радостно. Выйдя из полосы света, пробивающегося из полуоткрытых дверей, он делает несколько шагов в темноте. Сзади слышатся шаги, приглушенный говор, но капитан не оборачивается: его ничто не занимает, кроме собственной радости. Потом, однако, он внезапно оборачивается — его заставляет резко обернуться ощущение неминуемой близкой опасности. Но поздно. Он видит лишь темную, навалившуюся на него массу и еле успевает закрыть голову от замахнувшейся руки. Капитан сбрасывает с себя напавшего, но в эту минуту кто-то сбивает его с ног, он спотыкается на скользком тротуаре, падает. Его бьют трое или четверо. Бьют без слов, молча, тяжело дыша и непонятно почему, но капитану становится ясно, что кричать нельзя. Он пытается встать, но тут же получает страшный удар кулаком прямо по переносице; ему кажется, что голова у него раскалывается пополам. В голове глухо шумит; собрав последние силы, он пытается побороть надвигающуюся темноту, но тело уже не в силах подчиниться искорке сознания. Темнота, липкая и густая, обступает его со всех сторон. «Это за нее, — успевает мелькнуть мысль, — меня бьют за малышку». Кто-то над ним наклоняется.

— Хватит с него, — слышит капитан.

— Неужто мы его до смерти?

— Не бойся, — отзывается второй голос, — очухается.

Тени вокруг капитана разбегаются.

В дверях стоит Марек и видит, как в полосе света вспыхивает огненная шевелюра Юло Голко, слышит топот и догадывается, что случилось. Он заметил, как парни двинулись за капитаном, понял, почему они за ним потянулись. Но он не двигался вслед, где-то в уголке сердца он одобрял тот урок, который готовился; зависть, испытываемая им к капитану, была недалеко от ненависти, от острой вражды. Марек старался быть смиренным, хотел быть смиренным, хотел прощать, но он не мог оградить себя от обид и унижений, от неудач и несправедливости. Стоит только появиться крошечной мечте, как приходит этот капитан и грубо хватается то, к чему он, Марек, боится прикоснуться.

Марек нашел капитана лежащим без сознания у

стены, с поджатыми ногами, словно они все еще пытались защитить живот от ударов. Лицо у Лабуды было мокрое и липкое от крови. Марек вытер ему лицо снегом, расстегнул мундир, потер снегом грудь. Через некоторое время капитан открыл глаза. Он узнал Марека.

— Меня избили,— сказал он.

Мареку показалось, что он улыбается.

— Можешь встать?

— Попробую,— сказал капитан и с помощью Марека приподнялся. В голове у него гудело, ноги подкашивались.

— Я как старая баба,— сказал он.

— Это тебе не шутки,— возразил Марек.— Тебя могли убить.

— Ничего, я в сорочке родился,— сказал капитан. И, помолчав, спросил: — Кто это был?

— Не знаю,— неуверенно ответил Марек.

— Ну их всех к черту! — сказал капитан.— Я спрашиваю о малышке!

— О малышке?

— Ну да, о малышке.

Марек с удивлением покачал головой. Человека чуть не убили, а он спешит узнать адрес!

— Это Крапова,— сказал он,— Ганка Крапова. Как видишь, лучше держаться от нее подальше.

— Крапова,— повторил капитан.— Ну, это мы еще посмотрим.

— Так лучше и для нее,— сказал Марек.

— Откуда ты это знаешь?

— Я ее знаю.

Капитан дрожащими пальцами закурил сигарету.

— Ничего ты не знаешь и ничего не узнаешь,— сказал он.

При свете сигареты удивленный Марек увидел, что капитан и вправду улыбается.

Ганка танцевала. Несколько большой рот послушно, механически улыбался. Но глаза беспокойно и внимательно бегали по залу. Что случилось? Почему он не возвращается? Он виделся ей избитым, окровавленным,

мертвым. По спине пробежали мурашки. Она ругала себя. Глупая, глупая, позабавился немного и ушел. Вот и все. А ты что думала? Сколько таких девчонок встречалось на его пути!

Ее беспокойный взгляд поймал Марека, пробирающегося через зал, в руках он нес шинель капитана и шапку. Это усилило ее подозрения: да, так и есть, ушел, ничего не сказав, скрылся, как вор. Глупая, глупая, что тебе в нем? Она танцевала, улыбалась, но большие глаза ее больше не сияли, они потухли. Она еще не умела притворяться, на ее лице было ясно написано разочарование и печаль. Ей казалось, что все это видят и все довольны. Так тебе и надо! Ишь чего захотела! Что ты о себе воображаешь? У тебя за душой гроша нет, и ты должна знать свое место! Как ей было больно и стыдно! Взгляды, которые минуту назад ее ласкали, теперь словно сверлили, словно обнажали ее смятение и ее позор. Так тебе и надо! Что ты о себе воображаешь? Марек вернулся в зал, она подозвала его взглядом; он послушно подошел. Марек танцевал молча и задумчиво. Ганка наконец отважилась.

— Что случилось?

— Ничего. Что могло случиться?

Ганка пристально на него посмотрела. Но за стеклами очков ничего не увидела — там было темно. И вправду, что могло случиться? Были веселые огоньки в серых глазах, а сейчас их нет. Вот и все, что могло случиться и что случилось. Но почему же Ганке не хочется верить такому простому факту? Что заставляет ее сомневаться? Ах, лучше уж пусть что-нибудь случится, уж лучше пусть он лежит где-нибудь окровавленный и беспомощный. Тогда ей, Ганке, было бы легче — она могла бы к нему побежать, помочь ему, могла бы посмеяться над своим разочарованием.

— Ганка, — тихо сказал Марек.

— Что? — Ганка внимательно поглядела на него. Глаза за стеклами очков блеснули. И тут же погасли, за стеклами вновь была тьма.

— Ничего.

— Вы хотели что-то сказать. Я видела это по вашим глазам.

— Нет, я ничего не хотел. Собственно, хотел: так, просто глупость!

— Теперь мне уже интересно. Вы должны мне это сказать.

Марек колебался. Потом все-таки решился:

— Вы должны остерегаться, Ганка.

— Остерегаться? Чего?

— Людей. Вы слишком доверчивы.

— А разве люди плохие?

— Есть и плохие и хорошие. Но не стоит им слишком доверять.

— О чем вы говорите?

— Вы знаете о чем.

— Спасибо за совет. У меня своя голова на плечах.

После этого они замолчали, оба оскорбленные, сердитые друг на друга. Мареку было неприятно: зачем он ввязался в это дело? Из жалости, да, из жалости и из симпатии, из старой дружбы к ее брату, из чувства ответственности, убеждал он себя, зная, что есть и другие, скрытые причины, не такие чистые и благородные, а низкие и эгоистичные.

Они кончили танцевать. Марек проводил ее к матери. Ганка на него больше не смотрела.

— Пойдем домой, — сказала она матери, сердито надевая пальто и никак не попадая в рукава. Марек помог ей.

— Я провожу вас, — предложил Марек.

— Как вам угодно, — сказала мать.

— Не стоит, — сказала Ганка. Она уходила внешне гордая, надменная, но с униженным, опустошенным, сердцем. Гордость боролась с последними остатками надежды: победила гордость. Все они одинаковы, все эгоисты и обманщики. И ей, Ганке, никто не нужен, она обойдется без них, будет одна, совсем одна. Эка важность, разве нельзя жить без них?

Но дома, когда Ганка лежала одна в маленькой, тесной комнате, отделенная от всего остального мира, она внезапно почувствовала острую тоску, похожую на резкую физическую боль. Она одна, покинутая всеми, ее обманывают, обманули. Она такая одинокая, маленькая и слабая! Ганка свернулась под периной калачиком и заплакала. Она вспомнила, как радовалась вечеру, как собиралась, вспомнила дни, когда она жила весело и беззаботно. В голове молнией промелькнула мысль: я уже никогда не буду такой, никогда не буду! Она

плакала горько и жалобно: слезы уносили последние минуты детства. С этих пор детство будет жить в ней только как воспоминание, как горе от безвозвратной утраты. Она не знала этого, но чувствовала, что в ней происходит что-то решающее и вместе с тем страшное. Прежние основы ее жизни вдруг зашатались. Дрожая от незнакомого ей чувства страха, она ощупывала все вокруг себя, как слепая, искала знакомый круг вещей, но все сдвинулось со своих мест. Она была одна-одинешенька среди опасностей, ей казалось, что она навсегда утратила непосредственную радость жизни, искреннее и простое восприятие вещей и людей; это ее ошеломило. Это походило на детскую сказку; девочка собирала ягоды, ягоды были красные и сладкие, и вдруг она очутилась в густом, темном лесу, нигде ни тропинки, нигде ни огонька; незнакомый лес шумит и трещит, вздыхает и стонет; куда денешься в густом враждебном лесу?

Утром она проснулась сама не своя, плохо выспавшаяся. Болела голова. Илона, старшая сестра, грубо ее разбудила, крикнув:

— Вставайте, барышня!

Илона ушла от мужа-пьяницы, сейчас жила у родителей — ни жена, ни вдова — и мстила всем за свою неудавшуюся жизнь. Это была высокая женщина с сухим лицом. Ганку она не любила, завидуя ее красоте и молодости.

— На танцы так бегом, а о работе не напоминай? — кричала она на Ганку. Ганка встала, подавляя в себе отвращение и ненависть. Что за жизнь! Как все уныло, как все тоскливо и мрачно. Небо серое, грязное; облака на небе висят, как бесцветные тряпки; даже самый воздух кажется тяжелым и нечистым. Ну что за жизнь!

До самого полудня она стирала на реке. Колотила вальком — раз, раз, раз. Пальцы у нее коченели, ноги мерзли, но она нарочно не шла погреться, мучила себя. Раз, раз, раз. Так ей и надо — раз, раз, раз. Она колотила вальком, била по своим мечтам и желаниям. Так ей и надо — раз, раз, раз! Вот она жизнь, вот она работа, это тебя ожидает, будешь бить вальком всю жизнь. И ничего больше? И ничего больше! Раз, раз, раз!

В полдень поднялся ветер, тучи разорвались. Вскоре разъяснилось, засветило солнце. Ганка развешивала

белье в саду. Сад стоял на холме, откуда был виден городок: низкие одноэтажные и двухэтажные домишки, колокольни двух церквей. Ганка невольно поглядела в сторону бывшего Рабочего дома: его высокие окна блестя от солнца. Она глубоко вздохнула и задумалась, стоя с бельем в руках.

— Добрый день!

Ганка вздрогнула.

— Что вам здесь надо?!

Прежде чем она увидела лицо за забором, она знала, что это он. Кровь отхлынула у нее от лица, по телу пробежали мурашки.

— Вас, — сказал капитан и засмеялся. — Я ищу вас.

— Нечего вам тут искать, — сказала Ганка. Она рассердилась: на ней был облезлый материнский полушубок, на ногах старые сапоги. На кого она похожа? Боже мой, и именно он видит ее такой!

— Я пришел получить вознаграждение за увечье, — сказал капитан и рассмеялся.

Ганка отважилась посмотреть на него. Теперь она увидела, что из-под фуражки выглядывает бинт, под глазом большой синяк. Белье, которое она все еще держала в руках, упало на землю.

— Боже мой, что с вами случилось?!

— Ерунда, — сказал капитан, продолжая смеяться. — Что-то попало мне в глаз.

— Вас избили, — еле выговорила Ганка.

— Что-то попало мне в глаз, только и всего. Вы не знаете, что попало мне в глаз?

— Нет, не знаю.

— Вы должны были бы об этом знать, Ганка.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

Конечно, она прекрасно знала, о чем говорит капитан. Так вот оно что! Кровь хлынула ей в голову и опять отлила. Радость, радость, безмерное облегчение — ее мук как не бывало. Мир стал ясным, воздух свежим, солнце ласковым. Она смотрела в землю, не в силах поднять голову.

— Я скажу вам это на ушко. Шепну. — Капитан облокотился на забор, забор затрещал.

— Нет, не надо!

— Почему не надо?

— Нас увидят.

— Ну и что, если увидят?

— Нельзя, мне стыдно.

Капитан собирался перепрыгнуть через забор. Но тут со двора послышался неприятный, пронзительный голос:

— Что ты там так долго возишься?

— Я еще вешаю, — ответила Ганка, — еще не повесила белье.

— Копуха, — закричал пронзительный голос, — до вечера будешь копать!

— Уходите, — прошептала Ганка умоляюще. — Это Илона.

Капитан сердито потер нос.

— Вечером в восемь, — сказал он. — Я буду вас ждать на дороге за поселком. Вы придете?

— Не знаю.

— Я отсюда не сделаю ни шагу, пока вы не пообещаете. Придете?

— Это некрасиво. Это же вымогательство.

— Придете?

— Приду.

— В восемь, — сказал капитан. — Не забудьте.

Он отошел от забора. Ганка смотрела ему вслед, пока он не исчез за поворотом дороги над садами. Потом вздохнула глубоко и счастливо. Она машинально потянулась за бельем, выпавшим из ее рук, но так и осталась стоять, не зная, что с ним делать. Потом что-то заставило ее обернуться. Она испугалась. За спиной у нее стояла Илона.

— Кто это был?

— Никто.

— Этот никто носит фуражку, да?

Ганка молчала. В эту минуту она почувствовала острую ненависть к этому некрасивому несчастному существу, к своей сестре.

— Не рано ли начинаешь с парнями гулять? — сказала Илона скрипучим голосом. — Знаешь, что получается из таких девчонок?

Ганка молчала. Она задыхалась от злости и ненависти.

— Шлюхи из них получаются, — многозначительно сказала Илона. — Шлюхи и непутевые девчонки.

— Оставь меня в покое! — крикнула Ганка, расплакавшись.

— Не оставляю! А вот и не оставляю!

Илона исполнила свое обещание. Не успел старый Крап вернуться с работы, как она открыла ему Ганкину тайну. Старый Крап был человеком свободных взглядов. Но когда дело касалось женщин из его семьи, он становился человеком старозаветным.

— Сопля, — крикнул он, — сопля, сопливая девчонка, я тебе покажу ухажеров! — Он ударил Ганку по лицу своей тяжелой рукой. — Я тебе покажу ухажеров!

Он был искренне возмущен и оскорблен: что же это делается у него за спиной? В наказание он запер Ганку в комнату и весь вечер кричал на жену.

— Я вам покажу балы, я вам покажу гулянки! Я вам покажу ухажеров!

Ганка не плакала, молчала, стиснув зубы. Она придумывала мст: уйти из дому или броситься в прорубь; после этого все будут жалеть ее, поймут, что потеряли. Она страдала. Но это были переносимые страдания, обида, походившая на многие другие обиды. И в страданиях ее было даже тайное утешение: она страдает не зря! В решетчатом окошке ее каморки мерцали бледные звезды. Ганка сидела под окошком, закутавшись в два одеяла, дрожала от холода, не ложилась. Где-то там под этими звездами стоит он и ждет ее. Ждет ее! Она гордилась своим успехом и боялась, что все начавшееся теперь будет испорчено, что все растает как дым и исчезнет, что веселые огоньки в серых глазах пропадут так же внезапно, как появились. Она сидела под окошком и по-детски шептала молитву: «Боже, сделай так, чтобы я могла вылететь через окошко на минуточку, на одно словечко. — Но решетка по-прежнему четко вырисовывалась на небе. — Глупый, — сердилась Ганка, — ведь только на минуточку, на миг! Что тебе стоит!» Она знала, что ее желание наивно и невыполнимо, но ее согревали и утешали эти мысли о невыполнимом.

Капитан ждал на дороге за поселком, курил одну сигарету за другой, злился и издевался над собой. «Для чего я здесь стою? Дурак, старый дурак, смешной старый дурак! Сколько лет тебе, и сколько ей?» Но он тут же отбрасывал эту мысль. Годы! Ерунда! Он молод и имеет право на молодость! К черту все мысли и все попреки,

сейчас нужно жить! Но почему она не идет? Чем дольше он ждал, тем больше нетерпение переходило в злость. Ожидание оскорбляло его самолюбие. Он привык к легким победам, женщины никогда не заставляли его сомневаться в себе. Он пытался с презрением думать о той, что его оскорбила: ничтожество, провинциальная девчонка! Он еще и еще припоминал ее такой, какой увидел, — с красными руками, неуклюжую, в больших сапогах, в мокром дырявом полушубке. И сравнивал ее с женщинами, с которыми был близок, с многими женщинами, знавшими себе цену и все-таки спокойно и с радостью ему отдававшимися, и с удивлением убеждался, что эта малышка не входит в их число, находясь в каком-то дорогом, неприкосновенном и манящем уголке сердца. Вот, черт возьми, что со мной творится? И вместо гнева, разочарования и обиды расцветала тихая радость, тихая и чистая. Что это могло значить? Он не копался в своих чувствах, потому что не любил этого. Одно он знал твердо: он не откажется от нее теперь. Он не может от нее отказаться!

На другой день сразу утром капитан отправился в городок. Пока парикмахер, старый знакомый, брил его, он пытался, как он думал, незаметно навести разговор на Краповых. Незаметно! Не только парикмахер, но и весь городок уже давно обо всем знал, знал значительно больше, чем капитан. В маленьком городке никому не надо ни видеть, ни слышать: он попросту дышит этими вещами.

— Краповы? — переспросил парикмахер. — От них лучше держаться подальше.

— Почему? — поинтересовался капитан.

— Семья бунтовщиков, — объяснил парикмахер. — Старик, почитай, год отсидел в Илаве, пока его отпустили. А молодого, — парикмахер наклонился к самому уху капитана, — молодого вы разве не знаете?

— Не помню, — сказал капитан.

— Он заядлый коммунист, — сказал парикмахер. — Они говорят, что он в плену, но все знают, что он в горах.

— В горах?

— Ну да, в горах. Разгуливает там себе с винтовкой, с такими же, как он. Словно Яношик.

— Ага, — сказал капитан Лабуда, — партизан.

— Кто его знает? — пожал плечами парикмахер. — Может, и партизан.

Капитан Лабуда тоже пожал плечами. Какое ему дело? Все это не важно; важно только одно, но об этом капитан парикмахеру не скажет.

До самого полудня он ходил по знакомым торговцам и мастерам, сидел, слушал ленивые речи и не сводил глаз с главной улицы, на которой таял снег, ходили люди и скрипели крестьянские возы: он подстерегал Ганку. Но ни в этот день, ни на другой ему не удалось ее увидеть. Подстерег он ее только на третий день — она возвращалась с покупками. Он выбежал из какого-то магазина, Ганка заметила его, прибавила шагу, свернула на ближайшем углу в узкую тихую улочку. Он догнал ее.

— Мне нужно с вами поговорить, — сказал он настойчиво, тяжело дыша.

— Я не могу, — сказала Ганка.

— Почему?

— Не спрашивайте, — сказала она.

На миг он увидел ее глаза, большие и печальные, и ему показалось, что они наполняются слезами.

Он схватил ее за свободную руку. Маленькая, жалкая ручонка тряслась. Ганка со страхом оглядывала улочку.

— Говорите! Скорей!..

— Нет, так нельзя, — сказал капитан. — Так нельзя. Слишком много надо сказать. — Он крепко, до боли сжимал ее руку. На улочке раздался чей-то кашель. Ганка вырвала руку.

— Не могу, — прошептала она. И пошла, почти побежала по улочке. Капитан сделал несколько шагов, потом нерешительно остановился. Навстречу брела какая-то старуха, закутанная в черный платок. Из платка выглядывали только острый нос и колючие глазки, черные, как ягоды. Старуха остановилась, поглядела на капитана и закивала головой.

— Улетела птичка, — прокаркала старуха, кивая сама себе головой.

— Не суйтесь, куда не надо, бабушка, — оборвал ее разозленный капитан.

— Улетела, — прокаркала еще раз старуха, насмешливо глядя на капитана.

Капитан со злостью отвернулся. «Тьфу, проклятая баба, — проклинал он ее в душе, — как тебя еще земля носит!» Он был раздосадован и рассержен: в первый раз он почувствовал всю сложность мещанских предрассудков, удушливую, затхлую атмосферу захолустья. Теперь он понимал Ганку, видел всю ее беду, ее жизнь в нужде, подкарауливающие глаза, сплетни, приказы и запреты. Но он не сдавался — именно поэтому! Он покажет им всем! На другой день утром он получил письмо. Штемпель говорил о том, что письмо местное, и капитан подумал, что пишет Ганка. Он долго не разворачивал письмо, продлевая радость ожиданием. Но из конверта выпал кусок бумаги, исписанный печатными буквами, и на нем угрожающие и злые слова: «Мало тебя проучили? Все кости тебе переломаем, свинья офицерская!!!» — три восклицательных знака и подпись: «Верные друзья». Но капитан был не из пугливых, как раз наоборот: опасности, препятствия только усиливали его желание перешагнуть запрет. Вечером он переоделся в штатское, натянул старую фронтовую кожаную куртку и с наступлением темноты отправился в город. Он шел не по улицам, а пробирался садами. Наконец скрипнула калитка, и капитан очутился в тихом темном дворе, подкрался к окнам. В щелку он увидел старого Крапа, сидевшего у печки и читавшего какую-то книгу. Старая Крапова и какая-то некрасивая женщина с сердитым лицом что-то шили и штопали. Ганки в комнате не было. Капитан, пригнувшись, обошел дом, внимательно прислушиваясь к каждому шороху. Нигде никакого движения. За домом к речке шла узкая скользкая тропинка; капитану пришлось идти осторожно, сантиметр за сантиметром. Наконец он заметил окошко каморки. Оно было высоко. Лабуда встал на завалинку, чтобы заглянуть внутрь. Внутри было темно. Но капитану показалось, что он видит белеющую постель и на ней девичье плечо. Он постучал. В каморке что-то зашевелилось, словно кто-то испуганно вздохнул. Потом к окошку прильнуло лицо, и капитан узнал Ганку. Губы ее двигались, но голоса слышно не было.

— Это я, — сказал капитан.

Белая рука открыла окошко. Большие испуганные глаза были совсем близко от лица капитана.

— Ах, — сказала Ганка, — как вы могли это сделать?

— Я должен был это сделать, — ответил капитан.

— Ничего хорошего из этого не получится, — испуганно прошептала Ганка.

— Я должен был, — сказал капитан. — Послезавтра я уезжаю на фронт. И мне нужно было увидеть вас до этого.

— Ах, — вздохнула Ганка. — Так скоро!

Глаза их были рядом, руки встретились на решетке окошечка. У капитана вдруг нашлись слова, к которым он не готовился, он даже не предполагал, что скажет их.

— Я хотел спросить вас, Ганка, вы будете меня ждать?

— Сколько женщин будет вас ждать?

— Возможно, много. Но вернусь я только к вам. Если вы захотите.

— Это невозможно, — сказала Ганка. — На что я вам?

— Я не знаю. Еще сам этого не знаю. Так будете меня ждать?

— Попробую, — прошептала Ганка.

— Правда?

— Правда.

Он протянул руки через решетку, коснулся ее глаз, губ, подбородка.

— Не забудь, Ганка, — сказал капитан, затем соскочил с завалинки и быстро исчез в проходе. Ганка смотрела в окошко. Глаза ее сияли, в них светились удивление, восторг, страх. Что же это случилось?

Марек целыми днями бродил по горам и проселкам, погружаясь душой в белоснежную тишину. Внизу люди, злые, опасные, коварные; они толкают друг друга, сбивают с ног, подставляют подножку, суетятся, как насекомые. Здесь, в горах, широчайшие просторы, где так раздольно мыслить, грезить, мечтать. Человек здесь один и ни с кем не сталкивается; в одиночестве он постигает самого себя и просторы вокруг. Он поднимается, падает, послушный законам внутреннего ритма, падает в пропасть отчаяния и поднимается до безумных мечтаний; он один и все время снова и снова открывает сам себя.

Марек влюбился в эту простую и застывшую тишину горных просторов, он любил приключения поисков и открытий, больше не боялся пропастей и смятения в самом себе: он изучал их, пытаясь разобраться; увиденные вблизи, они переставали быть таинственными и опасными. Он слегка презирал остальной мир и слегка его ненавидел; ему казалось, что и остальной мир презирает его и ненавидит. Марек пытался не верить остальным людям и не создавать для себя мечтаний, которые зависели бы от остальных людей: он боялся новых разочарований. Он создавал свое одиночество, как крепость, раз и навсегда. Силен тот, кто одинок: он не растратит свои силы попусту на других и не примет на себя бремена чужих слабостей. Нужно воздвигнуть укрытие, убежище, панцирь; нужно отгородиться от грязи, ненависти, тьмы; если нельзя возвыситься над вещами, нужно по крайней мере от них отдалиться.

Однажды, возвращаясь с одной из своих прогулок, он повстречал на улице Лемнитцкого. Тот подхватил его под руку и повел к себе. Марек отказывался, но мягкое и ласковое прикосновение Лемнитцкого было настойчивым. Опомнился Марек уже в кабинете. Лемнитцкий подошел к письменному столу, его быстрые глаза перебежали с предмета на предмет, потом на минуту застыли на лице Марека. Марек почувствовал этот взгляд: холодный взгляд остроумного, сообразительного, интеллигентного и на все готового человека. Лемнитцкий что-то ему подал.

— Вы знаете, что это такое?

У Марека дрогнули веки. Он попытался скрыть смятение, начав протирать очки. Но он знал, что от внимательного взгляда Лемнитцкого ничего не ускользнет.

— Не знаю. Не знаю, — с усилием сказал Марек.

— Не узнаете? Жаль, — сказал Лемнитцкий.

В его бегающих глазах блеснула явная насмешка. Он все еще держал в руке перед глазами Марека листовку, знакомую листовку. Марек протирал очки, моргая близорукими глазами, но и так ясно видел буквы, слова и восклицательные знаки, кричавшие с листовки угрожающе и смело.

— Жаль, — повторил Лемнитцкий и осторожно положил листовку на стол. — Здесь есть такие слова, — сказал Лемнитцкий и задумчиво постучал пальцем по листов-

ке. — Время близится! Какое время? Вы не можете мне объяснить? Нет? Жаль.

Быстрые глаза Лемнитцкого блуждали по комнате, впивались в лицо Марек и снова смотрели куда-то в сторону. Марек молчал. Лемнитцкий сокрушенно вздохнул.

— Они угрожают! Кому угрожают? Смерть фашизму! Смерть предателям народа! Кто это — предатели народа? — Лемнитцкий энергичными шагами ходил по кабинету. Марек стоял молча. Лемнитцкий подошел к нему вплотную, положил ему руку на плечо.

— Скажите, только откровенно, что вы думаете: неужели я предатель народа?

— Не знаю, — ответил Марек. — Я не разбираюсь в политике.

— Разбираетесь. Почему я должен быть предателем народа?

— Не знаю.

— Лжете. Я знаю, что вы думаете. Вы меня боитесь? Марек молчал.

— Боитесь. Жаль, — сказал Лемнитцкий и снова вздохнул. И добавил: — Извините, это все, что я хотел от вас.

— Все? — удивился Марек.

— Да, все. Вы должны меня извинить, — сказал Лемнитцкий и низко поклонился. В его бегающих глазах еще раз заискрилась насмешка. Марек уходил со страхом в сердце. Какое-то тайное чувство его предостерегало: это угроза. Слова, насмешливая вежливость, быстрые взгляды — все в Лемнитцком было беспощадно и угрожающе.

Капитан уехал, Ганка его избегала, и Марек снова оказался один среди людей. Ему казалось, что, чем дольше он живет, тем больше все убеждает в том, что его удел, его судьба — одиночество. Он покорился, чтобы не быть побежденным. Он добровольно уступил тому, что считал неизбежным, — в этом чувстве покорности была тоска о чем-то утраченном, печаль и остатки гордости. По ночам он читал в холодной кухне, окоченевшими пальцами перелистывал дорогие страницы: это был мир, который не предавал. Он проникал в сущность вещей, дрожа от внутреннего напряжения; со страниц книг, как в затуманенном зеркале, неясно проступало лицо

его души. Это были грустные книги: были в них драмы сердца, его преступления, падения, проигрыши. Но все в них кричало: очистись, очистись! Мир, потонувший в грязи, вздыхал в них и тосковал о духовной чистоте. Это были крики отчаяния, голоса сильных одиночек, и поэтому они находили в душе Марека ясный и отчетливый отзвук. Очиститься, очиститься! Это было неукротимое юношеское стремление к хорошей, прекрасной жизни, простой и честной. Он не знал, как можно создать такую жизнь. Но ему казалось, что стремление к ней все-сильно в нем, главное — страстно желать, и все остальное покорится само. Все это было неясным — у образов внутренней жизни нет четких очертаний. Но это придавало силы, это была опора, прочная опора во вселенной. Ничего для себя, ничего для личного счастья! Если бы человек задушил в себе свои желания, жизнь стала бы легкой и простой. (Но это был лишь обман. Как будто можно умертвить эгоизм молодости! Это был один из самых чистых и прекрасных обманов.)

Однажды Марек забрел очень далеко. Туман, густой и неприятный, скрыл окрестности. Снег был глубокий, мокрый, тяжелый. Очки сразу же запотели, и приходилось каждую минуту их протирать. Марек не знал, где находится, видя вокруг себя только на несколько шагов; дальше неотступно стояла плотная, непроницаемая стена тумана. На снегу виднелись лишь следы зверей; ничего, что указывало бы на присутствие человека. Марек устал, пот лил с него градом, ему все время приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Он поднимался по крутому склону, надеясь, что выше туман будет реже и он сможет осмотреться. Напрягая все силы, он вскарабкался на вершину. Но туман не поредел, а, наоборот, казалось, стал еще гуще. Все было как в кошмаре: неясные тени деревьев, бесконечное движение в тумане, казавшееся нереальным; липкий снег словно старался поглотить ноги Марека. Наконец он наткнулся на что-то похожее на человеческие следы. Он перевел дыхание. Немного спустя он выбрался на утоптанную тропинку. И вскоре набрел на небольшой охотничий домик, который вдруг вынырнул из тумана. Марек постучал в дверь. За дверью что-то задвигалось, потом внезапно затихло. Он постучал еще раз, затем нажал на ручку. Дверь открылась, и он вошел. Что-то ударило его по затылку, в

глазах у Марека потемнело. Он хотел поймать это что-то, но рука ухватила пустоту. Марек упал.

Очнулся он на жестких нарах, хотел пошевелить рукой, но руки были связаны за спиной. В голове шумело. Над ним склонились три мужских заросших лица с недружелюбными блестящими глазами. (Это было продолжением кошмара.)

— Узнаешь? — спросил один. А второй наклонился совсем близко к лицу Марека.

— Нет, — сказал второй. — Кто это?

— Угрин.

— Сын гардиста.

— Того самого.

— Фашист. Сукин сын, — сказал третий.

«Нет, — хотел сказать Марек, — я не фашист». Но язык его не слушался, все действительно происходило словно в кошмаре, он видел, как падает в пропасть, и не мог пошевелиться.

— Выслеживал, — сказал первый решительно.

— Я теперь припоминаю, — сказал второй, — это сын Угрина, студент. Что с ним делать?

— Еще спрашиваешь? — сурово сказал первый. — Что делают со шпионами? — Это говорил Леша. Леша всегда мыслил прямолинейно. Он не любил неясностей и полутеней, переходов и промежуточных стадий: он признавал только два цвета.

— А может, он и не шпион, — через силу, нехотя сказал Чачко.

— Подождем командира, — сказал Артем.

— Зачем?

Леша сделал рукой нетерпеливое движение.

Марек глядел на заросшие лица, но они расплывались перед глазами — без очков он плохо видел. Но вот он начал их различать: тяжелый сон рассеивался.

— Никакой я не шпион и не фашист, — сказал он.

— А что тебе тут надо? — спросил Чачко.

— Я заблудился.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Леша. — Заблудился!

— Да, заблудился, — упрямо повторил Марек. — Почему вы мне не верите?

— Нужно подождать командира, — сказал Артем. Леша сердито махнул рукой, подсел к небольшой печке, опустил голову на руки и больше ни разу не отозвался.

Чачко подметал пол метелкой из прутьев, поднял у дверей разбитые очки Марека и стал задумчиво их рассматривать. Потом достал откуда-то кусок проволоки и начал чинить очки. Артем подсел на нары к Мареку и стал пристально его разглядывать. Артем принадлежал к числу тех, о ком говорят, что они не могут усидеть на одном месте. Это был подвижный, любопытный человек. Даже в самые тяжелые минуты он не утрачивал любопытства, задорного и почти детского стремления все видеть и открывать.

— Ты кто? — спросил он Марека.

Марек только беспомощно заморгал. Он не понял. Артему пришлось ему объяснить.

— Ты сказал, что ты не фашист. Вот я и спрашиваю: кто же ты?

— Студент, — сказал Марек.

— Ага, значит, интеллигент. Чью сторону держишь?

— Не знаю. Я сам по себе.

— Сам по себе, — возмущенно, с видом обманутого ребенка сказал Артем. — Как же ты живешь?

— Не знаю. Я всегда был сам по себе.

— Ты прямо доисторическое явление, — строго сказал Артем. — Тебя нужно показывать, как мамонта, в музее. Ископаемое животное, понимаешь?

— У нас много таких, — сказал Марек.

— Много? Много мамонтов? А что же вы делаете? Зачем живете?

Марек молчал.

— Не знаешь? Эх, плохо твое дело. Совсем плохо.

Марек молчал, и Артем быстро утратил к нему интерес. Он забрался на нары и принялся насвистывать сквозь зубы какую-то песенку.

— Эх, гармошку бы, — вздохнул он громко, но ему никто не ответил.

Леша сидел у печки, подперев голову руками. Чачко возился с очками. Мареку было очень неудобно лежать, все тело ныло. Он ворочался и вздыхал, но на него никто не смотрел. Чачко принес ему очки, надел их ему на нос.

— Хорошо? — спросил он, и Марек благодарно кивнул.

Но Чачко уже отвернулся — его движение ясно говорило: очки я тебе исправил, но ничего общего с тобой

иметь не желаю. За окном все еще стоял густой туман, ожидание было тягостным. Весь этот маленький мирок, в котором внезапно очутился Марек, действовал на него оступляюще. Это был особый, почти нереальный мир, удивительный островок, плавающий среди тумана. Тут были заросшие, суровые парни, словно потерпевшие кораблекрушение и высадившиеся на пустынном острове, такие же странные и нереальные, как и все вокруг. Да и все происшедшее было для Марека фантастическим и бессмысленным. Зачем я здесь? Что я здесь делаю? Как я сюда попал? Туман совсем прижался к стеклу, темнота в доме стала еще гуще. Огонь из печки освещал Лешины руки: они казались окровавленными. Артем больше не насвистывал, даже Чачко уселся в темном углу и словно перестал дышать. Небольшой островок плыл в таинственном полумраке.

А потом что-то нарушило тишину и неподвижность. Артем сел на нары, а Чачко попробовал поглядеть в затуманенное стекло.

— Это он, — сказал Артем, и Чачко открыл дверь.

Через дверь ввалились клубы тумана, и в тумане появилась темная тень.

— Почему вы не зажжете огонь? — спросила тень, и у Марека при звуке этого голоса дрогнуло сердце. — Сидите тут, как в мышиной норе.

Чачко чиркнул спичкой, зажег свечку и поставил ее на стол.

— Погляди, — сказал он весело, — мы языка поймали.

— Языка?

— Интеллигента, — сказал Артем, — погляди.

Человек отошел от двери, вступил в круг света. Марек теперь увидел его и сразу узнал: это был Янко Крап. На правой щеке у него горел багровый шрам, стягивая лицо в усмешку. Он подошел к нарам и посмотрел на Марека.

— Черт побери! — воскликнул он. — Это ты? — Он наклонился над Марексом и, увидев, что тот связан, освободил ему руки. — Что тебе здесь надо?

— Я заблудился, — сказал Марек, потирая онемевшие руки. — Был туман, и я заблудился.

— В такую непогоду лучше всего сидеть дома, — сурово ответил Янко Крап. Он еще раз посмотрел на Марека, словно собираясь что-то сказать. Потом стреми-

тельно отвернулся и начал раздеваться. И весь вечер он делал вид, будто Марека здесь нет. Но Марек знал, что Янко чувствует его присутствие, что все смотрят на него как на непрошеного гостя. Разговаривали мало и только о самых обычных вещах: здесь присутствовал чужой человек, которому они не доверяли. «Янко, Янко,— вздыхал в душе Марек,— за кого ты меня принимаешь?» Но не решался ничего сказать — Янко Крап казался ему сейчас далеким, суровым и неприступным.

Утром Янко Крап проводил его до самого Хладного холма. За всю дорогу они обмолвились лишь несколькими словами, холодными и неискренними. На холме они остановились, и Янко Крап протянул Мареку руку.

— Отсюда сам доберешься?

— Доберусь.

— И не заглядывай в эти края.

— Янко...

— Не заглядывай!

Янко Крап отвернулся. Марек стал спускаться вниз. Через несколько шагов он оглянулся — Янко Крапа уже не было. Вокруг Марека стояли лишь туман и тишина: он был снова один. «Ну, что ж, так лучше всего,— убеждал он себя по дороге в город,— это единственный для меня выход, иначе быть не может: это моя судьба и мой удел».

Но дома его ждало письмо от Олины. Сердце обмануло его, оно не забыло о том, о чем хотел забыть Марек. В письме были слова, полные смятения, в них звучали тоска и душевная боль. Марек понял лишь одно: Олина зовет его, Олина в нем нуждается.

В тот же день он уехал в Братиславу.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

1

Архитектор Феркодич сидел в своем кабинете, склонившись над картой. Кабинет дышал мягким теплом, новизной и чистотой. Это был новый кабинет в новой вилле — мечта архитектора Феркодича сбылась. Здесь, в кабинете, где светило веселое мартовское солнце, окруженный тишиной и покоем архитектор Феркодич чувствовал себя превосходно и беззаботно. Здесь его оставляли тревоги, смятение и дурные предчувствия, овладевавшие им внизу, в городе. Мой дом — моя крепость, выстроенная мною крепость, где я царь и господин. Он убеждал себя — и убедил довольно быстро, — что этот дом и крепость есть результат усилий всей его жизни, его способностей и труда; он забыл обо всем, что хотел забыть. Жизнь — это борьба, и он ее выиграл; слабые падают, сильные поднимаются. Он не хотел быть слабым и не был слабым — разве в этом его вина, разве это грех? Нет, тут не может быть никакой вины: он жил, подчиняясь общепринятым законам — не он, архитектор Феркодич, выдумал их, он только следовал этим законам.

Он сидел в кабинете, склонившись над картой. Это была большая карта Европы с множеством цветных линий, стрелок и пометок на полях. Пометки были просты и энергичны: «Глупость!», «Бред!» С некоторых пор архитектору Феркодичу не нравилась тактика главного командования немецкой армии. Он уже давно не верил берлинским сводкам о положении на фронтах, тайком слушал Лондон; не верил он ни в секретное оружие, ни в торжественные заявления фюрера. Он верил только своему собственному плану — ведь нужно было во что-то верить; он тщательно следил за положением на фронтах, измерял расстояния и страстно мечтал о втором фронте — поскорее бы тот открылся.

Архитектор Феркодич не спеша, с большими предосторожностями возобновлял старые знакомства. Прежние, давно забытые друзья и знакомые появлялись снова,

их было много, и все они походили на него: были осторожны, встревожены, настроены выжидательно. Все знали, что решающий час приближается. Давно уже говорилось не о тысячелетнем ожидании и о вечной свободе, а о том, что нужно спасти нацию и завоеванные ею успехи. Ссылки на нацию были почти искренни: ведь при этом все думали о своих собственных успехах. Нация, народ, словацкая отчизна! С малых лет они носили эти слова сначала в сердце, покорно и почтительно; потом выносили их на площади и ораторские трибуны, продавая свое чувство за предметы более осязаемые; и наконец слова превратились в знаки отличия в петлицах и на плечах, стали знаками власти, чинов, богатства. Но эти люди не оттолкнули народ в сторону, как ненужный груз, а отождествили его со своей властью, со своими чинами, со своим богатством. Они утратили прежнее горячее чувство, но были еще способны расчувствоваться и упивались собственными словами, песнями, вздохами, слезами, уверенные, что в них выражена душа народа. Народ они представляли себе празднично и патриархально, глядя на него как на свою собственность, на свое предприятие, в которое они вложили средства, как на завоеванные владения — все это вместе возвышенно называлось «землей предков». Они не переносили так называемых новых деятелей, «людаков», считали их узурпаторами, людьми без роду без племени, бродягами и люмпен-пролетариями. Но они объединились с ними, убеждая самих себя и других, что тем самым спасают священные для нации ценности. Они объединились бы с самим дьяволом, лишь бы спасти самих себя и свое благополучие. Архитектор Феркодич когда-то был близок к этим кругам, но в то время он был заурядным, ничем не примечательным человеком, одним из многих. Теперь он возвращался к ним в ином качестве, возвысившись, преисполненный важности, внушающий уважение. И все благодаря жене и ее семейству. Нити этой семьи связывали архитектора Феркодича с такими людьми, от которых наверняка зависела его будущая судьба. Он уже давно изменял своей жене с другими женщинами: она была больной, какой-то бесцветной. Но теперь он относился к ней почтительно, избегал ссор и распрей, заботился о ее здоровье, охраняя в ней свое будущее. Нет, архитектор Феркодич не пропадет!

Он сидел над картой в ленивой тишине кабинета. Длинное лошадиное лицо Феркодича было серьезно и сосредоточенно. Он измерял расстояния циркулем, чертил значки, кружки, стрелки. Время от времени почесывал пальцем острый горбатый нос. Положение на фронтах выглядело совсем не так, как ему хотелось бы. Вопреки всем предсказаниям русские, сметая все оборонительные линии, неумолимо приближались. Вдруг ему показалось, что в тишине кабинета он слышит гул миллионов ног. Сумасшедшая нация! Откуда это у них берется? Идут и идут, гибнут десятками, сотнями тысяч, истекают кровью, голодают — и все же идут и идут! Грозная, непонятная сила! В этот миг ему показалось, что все вокруг наполнилось гулом — земля задрожала, крепкие стены виллы затряслись, — что все напрасно, что все тщетно и ненужно! Он вскочил, словно ужаленный внезапным страхом, прошелся несколько раз по мягкому ковру. Нет, нет! Ничего не гудит, ничего не содрогается и не дрожит. Вокруг знакомые вещи, новые, прочные, удобные, это его вещи, его стены, его порядок. Ничего не изменилось, и ничего не дрогнуло, за окном светит веселое мартовское солнце, зеленеет сад, вокруг покой, стоит хорошая погода. Он опустил в мягкое кресло, прикрыл глаза руками, отгоняя от себя дурные, неприятные видения, и погрузился в ленивые мечты о приятных вещах. Да, так и будет. Однажды утром он проснется и где-то далеко внизу услышит грохот чужих танков. На окнах будут развеваться старые чехословацкие флаги, это будет торжество, а не смерть и не стрельба, это будут торжественные встречи и прощание. Он, архитектор Феркодич, шествует по какой-то длинной парадной лестнице, в конце лестницы его ожидает генерал, комендант города. «Мы ждали вас, мы вас знаем, — говорит генерал. — Мне вас рекомендовали, и я был бы рад, если бы вы мне помогли в управлении городом. Честно говоря, я в этом не разбираюсь». И другая картина: архитектор Феркодич приветствует представителей нового правительства. «В нашем исстари прославленном городе, в древних стенах...» — говорит он, и голос у него прерывается от волнения. Ему жмут руку, обнимают, в этих объятиях — прощение, всепрощающие объятия, которые сулят многое.

В саду заскрипел песок на дорожке. Архитектор Феркодич неохотно отрывается от мечтаний. Кого еще черт несет? Приоткрыв штору на окне, он смотрит в сад. По дорожке, посыпанной белым песком, идет Олина. Она идет сгорбившись, опустив голову, светлые волосы в беспорядке падают на лоб. Она останавливается и отсутствующим взглядом смотрит вокруг себя, словно удивляясь привычной обстановке, словно ничего не узнавая вокруг — ни сада, ни виллы, ни мартовского солнца. Немного полный рот полуоткрыт. Олина глубоко, нервно дышит, грудь ее высоко поднимается, и архитектору Феркодичу кажется, что он слышит всхлипывания. Что это значит? Но Олина уже снова сгорбилась и идет усталым, старческим шагом. Архитектора Феркодича охватывают жалость и угрызения совести. Что это должно означать? Несомненно — он не может ошибиться, — что-то случилось. И от этого «что-то» его дочь несчастна. Он подозревает, что такое это «что-то», кто это такой, но даже в душе он не отваживается произнести его имя.

«Я должен с ней поговорить, — думает он, — я обязательно с ней поговорю». С каких пор он уже с ней не разговаривал по душам? Он не помнит. Дочь живет рядом с ним, спит, ходит в том же доме, что и он — это его дочь, — но такая далекая и чужая, как первый встречный на улице. Нет, он не может этого допустить, это его дочь, его кровь, самый близкий ему человек. Он ее любит, да, любит, чувствует, как в нем пробуждается какое-то давно забытое, свежее, чистое чувство. И он упрекает себя, что мог забыть об этом чувстве, о своем долге: девочка такая слабая, нежная и неопытная! Что, если с ней случится что-нибудь серьезное, что, если это серьезное уже случилось? Сколько ловушек, сколько приманок и какие пропасти поджидают неопытную девушку в этом городе? За последние годы архитектор Феркодич узнал много женщин, особенно таких, которые не стыдились своих слабостей и гордились своим падением. Теперь, подумав о своей дочери, он ужаснулся: как он мог о ней забыть? Он должен поговорить с ней. Но он даже не пошевелился, что-то ему мешало, удерживало его от этого разговора. Это был страх разоблачения, неосознанный страх перед чем-то непоправимым, что слишком усложнит его жизнь и нарушит покой, который он с таким усилием со-

хранял. Он снова уселся в кресло, пытаясь обмануть себя: нужно успокоиться, ведь ничего не случилось. Что, собственно, могло случиться? Какое-нибудь мимолетное горе, незначительное разочарование, разве это редкость у молодых девушек? Все приходит и проходит, не оставляя никакого следа. И Олина переживает — она серьезная девушка, в ней его кровь, его характер. Конечно, ничего не случилось, да и что могло случиться?

Но внезапно он услышал ясный звук, словно тихий плач, стон раненого. Звук был тихий-тихий, еле уловимый, но архитектор Феркодич его очень хорошо услышал, дальше обманываться он уже не мог. Он встал и решительно отворил дверь. Входя в комнату, он увидел Олину, скрывшуюся в противоположной двери: она пряталась от него. Жена в оборонительной позе стояла перед дверью, в которую ушла Олина.

— Что такое? Что случилось?

— Ничего, — сказала пани Гана, — что могло случиться?

— Где Олина?

— В своей комнате.

Он подошел к двери Олининой комнаты, но пани Гана загородила ему дорогу.

— Не ходи туда сейчас, — сказала она.

— Почему? Почему мне нельзя туда войти?

— Сейчас нельзя, — сказала пани Гана твердо. Лицо у нее было очень бледное, блестящая кожа обтягивала скулы. Но глаза, как всегда, смотрели немного печально и вместе с тем строго и насмешливо. Да, это были всевидящие и всепонимающие глаза, архитектор Феркодич ненавидел и боялся их.

— Почему мне нельзя войти к своей дочери?

Жена промолчала, но не отступила ни на шаг. Она смотрела на мужа пронизательно и насмешливо. Архитектор Феркодич отступил, растерянно поглаживая горбатый нос.

— Странно, — сказал он.

Уходя, он почувствовал облегчение. Хорошо, что все кончилось именно так; он подозревал, что избежал серьезного беспокойства. И одновременно понял, что будет избегать его и в дальнейшем, никогда ни о чем не спросит. Вокруг было столько других чрезвычайно важных дел.

Марек позвонил из кафе. В трубке что-то хрипело, скрежетало, потрескивало. Потом послышался Олинин голос, странно измененный, грубый и неприятный. Но для Марека это была музыка, музыка, музыка.

— Это я, Марек,— сказал он, и рука, державшая трубку, вдруг стала мокрой и задрожала.

— Ах, это вы,— ответила Олина, и Мареку показалось, что в ее голосе прозвучало разочарование. Но Олина сказала после этого: — Где вы? Я сейчас приду.

В трубке что-то щелкнуло и снова затрещало, зашумело. Но для Марека все это было музыкой, музыкой сердца, музыкой надежды. Он ходил между столами в поисках укромного уголка. Кто-то кричал ему на все кафе:

— Марек, Марек!

Сейчас Марек не хотел видеть никого из знакомых, и он прикинулся, что не слышит. Но кричать не переставали, и ему пришлось обернуться. Оказалось, что звала его Эма; он понял, что придется подойти. Эма встала и с напускной серьезностью поздоровалась с ним.

— Это Марек,— представила она,— скитался, покинутый богом и людьми. Сосуд нравственных и благородных мыслей.

— Шикарно,— засмеялся Валер.

Августин Шернер многозначительно улыбнулся под усами, подстриженными по-английски. Поэт с гнилыми зубами недружелюбно, с презрением оглядел Марек.

— Садись и пей,— сказала Эма.

— Что ты празднуешь?

— Последний день свободы,— сказал Августин Шернер.

— Шикарно,— смеялся Валер.— Наша Эма выходит замуж.

— Выходишь замуж?

— А что в этом странного? Выхожу замуж, продаюсь. Кто не играет, тот не выигрывает. Что тут странного?

Марек пожал плечами: не стоит с ней спорить. Эма уже слегка опьянела, а в таких случаях она бывала злой

и задиристой. Он сел так, чтобы видеть входную дверь, сосредоточив все свое внимание на этом маленьком кусочке пространства. Все остальное он видел словно издали, через какую-то завесу. Люди, шум голосов — все это было давно знакомо, неинтересно и ненужно. Все было нечисто, отвратительно, словно в протухшем мясе копошились белые черви. Он смотрел на дверь и пытался слушать музыку внутри себя. Это была нежная, тоскливая и робкая мелодия: хрупкая, почти неслышная музыка сердца. Эма наклонилась к Мареку и что-то зашептала ему на ухо. Что она шепчет? Зачем она шепчет? Сейчас он увидел ее лицо вблизи и понял, что Эма изменилась. Она похудела, лицо осунулось, глаза с глубокими тенями под ними казались больше и глубже. Что она шепчет? Он пожал плечами, ничего не понимая.

— Дурак! — со злостью сказала Эма. — Навсегда останешься дураком.

Марек не ответил — он смотрел на двери. Стеклопакетные двери открывались и закрывались. В них игриво сверкали солнечные лучи. Он чувствовал всем своим существом — сейчас, сейчас, каждую минуту она может прийти. Нетерпеливый, беспокойный, он страстно, отчаянно ждал ее и боялся.

Августин Шернер встал и произнес тост:

— Выпьем за свободу. За неограниченную свободу, мать поэзии.

Но никто с ним не чокнулся. Поэт с гнилыми зубами, до сих пор мрачно молчавший, сказал:

— Сучья морда.

— Простите, что вы сказали? — вежливо спросил Августин Шернер.

— Сучья морда, — упрямо повторил поэт и добавил: — Сучья морда.

— Шикарно! — засмеялся Валер. — Мы все сучьи морды.

Марек внезапно вскочил. Он шел, спотыкаясь между столиков, натываясь на людей. Эма следила за ним взглядом.

— Ого, — сказала она. — Вот оно как!

— Это Олина, — сказал Валер.

— Девка? — спросил поэт.

— Нет, — возразил оскорбленный Валер, — это моя кузина.

В дверях стояла Олина. На ней была светло-серая весенняя жакетка — единственное, на что Марек отважился посмотреть.

— Уйдем отсюда, — сказала Олина, глядя куда-то поверх плеча Марека.

— Хорошо, — сказал Марек.

На улице был яркий свет, в лужицах на тротуаре многократно отражалось солнце. Оно было всюду: играло на оконных стеклах, на лицах людей, наполняло улицы, весь город. Воздух был бодрящий, свежий, словно сгустившийся; это был тревожный воздух наступающей весны. Они шли молча в потоке людей, залитых лучами солнца. Марек совершенно потерял голову. Олина была так близко, что он не смел на нее взглянуть, но чувствовал ее присутствие, дышал ее близостью. Она крепко схватила его за руку, судорожно сжала ее.

— Марек...

— Олина... — выдохнул он.

Это было безумно и прекрасно, это было безумно-прекрасно, когда они шли по улицам, по солнцу и дышали густым пьянящим воздухом. Какие-то люди, какие-то лица мелькали вокруг них, и Марек был убежден, что он видит счастливых людей, счастливые лица, что все вокруг него смеется — улица, дома, солнце, воздух. И вот они оказались на набережной. Здесь была тишина и простор, наступающей весной здесь пахло еще сильнее, она была всюду — и в запахе воды, и в сочном, пряном запахе древесной коры.

— Марек...

— Олина...

— Я так одинока, Марек.

— Ах, Олина, если бы вы знали...

— Я так одинока, Марек. И я боюсь!

— Олина!

Она все еще держала его за руку, словно в этом были ее спасение и защита. Марек видел похудевшее личико Олины и ее дрожащие, словно припухшие, губы. Волосы у нее были коротко острижены, по-детски тонкая шея вызывала жалость — такая была она несчастная и беззащитная. Марек охватила жалость. Это было острое чувство, желание укрыть Олину, защитить от невзгод и пока неведомой ему опасности. В этот миг он не думал о себе, о своих интересах и о своих тайных же-

ланиях: он помнил только об Олине. Это был могучий порыв чувства, полное отрешение от себя. Марек ощущал возвышенность мгновения и был почти растроган собственным великодушием. Я здесь, я ваш раб, ваша вещь, ваше зеркальце в сумочке, ваша губная помада, ваша туфелька; вы можете в меня смотреться и можете во мне ходить, я ничто для себя и все для вас, я весь в вашем распоряжении, весь в вашем распоряжении.

— Я с вами, Олина. Чего вы боитесь? Я сделаю все, что вы захотите.

— Знаю, Марек, знаю, вы очень хороший.

— Я с вами, Олина. Вы не должны ничего бояться.

— Я так одинока, Марек. Я так вас ждала!

— Теперь я с вами.

— Да-да, это хорошо.

Они шли по пустынной набережной, и вдруг солнце скрылось за легкое, веселое, белое облачко. Веселое белое облачко загрустило, начало темнеть, потемнело, нахмурилось, и на набережную упала густая тень. Подул ветер, холодный и резкий.

Олина задрожала от холода, ее лицо побледнело еще сильнее. Она остановилась.

— Олина, что случилось?

— Ничего, Марек. У меня немного кружится голова.

— Обопритесь на меня, Олина.

— Ничего, мне уже лучше.

Нет, ей не стало лучше, ей было совсем плохо. Марек чувствовал, как дрожит Олина, слышал ее тяжелое дыхание. Им пришлось снова остановиться.

— Ах, как мне нехорошо! — вырвалось у Олины. — У меня кружится голова.

И вдруг она вырвалась и закричала:

— Уйдите, уйдите от меня!

Она еле дотащилась до парапета набережной. Ее стошнило, и, когда ей стало немного лучше, не поворачивая головы, она крикнула еще раз:

— Уходите! Разве вы не видите, что со мной!

Но Марек стоял как вкопанный, не в силах двинуться просто с места. Вначале он просто испугался, но это было еще полбеды. А вслед за тем он моментально сопоставил разрозненные наблюдения, странные намеки, свои подозрения. Ее бледность, едва заметные пятна на лице и эта тошнота, беспомощная грусть и испуганные

глаза! Его пронизали ужас и отвращение, и из всех этих чувств самым сильным было ощущение чего-то нечистого, грязного. По каким-то непонятым и странным причинам это ощущение чего-то грязного он относил скорее к себе, чем к Олине. Осквернили, да, осквернили то, что он так ревниво оберегал в себе как самое чистое и неприкосновенное. Загадили все, обокрали его и обманули. Это было ударом молнии, которая спалила что-то дорогое и невознаградимое: уже ничего не вернется в прежнем своем виде, уже никогда не будет таким, каким было.

Нет, этого не может быть! Разве может одно мгновение разрушить все до самого основания? Это просто его страх, его вечный страх и вечные подозрения. Неужели это правда?

— Олина...

Олина стояла, опираясь рукой о парапет, рука в светло-серой перчатке казалась безжизненной, неподвижной. Но сейчас у Марек обострились все чувства, он видел то, чего иной раз и не заметил: плечи Олины едва заметно вздрагивали.

— Олина,— повторил Марек и сделал шаг к парапету. Она повернула к нему заплаканное лицо. Но она и так чувствовала его боязливый взгляд, его отчаянный вопрос. «Неужели это правда, Олина?» — спрашивали его глаза. «Да, это правда», — ответил ее взгляд. «Бедняга Марек, несчастный Марек,— говорили ее глаза.— Тебя обидели? Бедный Марек!»

— Оставьте меня, Марек,— сказала она.— Это бессмысленно, я дурная, а вы слишком хороший.

Безжизненный, неподвижный предмет дрогнул и ожил: теперь это снова была обычная рука в светло-серой перчатке, рука вытаскила зеркальце и пудреницу. Да, обычная рука в светло-серой перчатке, пудреница, светлая весенняя жакетка и серо-стальная вода Дуная — все это были обыкновенные вещи под солнцем. Но Мареку они казались необъяснимыми: как они могут быть прежними, если в нем все изменилось? Это уже не было ударом молнии, страхом, ужасом; первая вспышка миновала, сейчас в нем росло тоскливое сознание непоправимости случившегося. Конец, конец всему, на этот раз непоправимый конец; это было болью, мукой и горем. «Я ненавижу ее,— твердил он себе,— я должен ее нена-

видеть, ведь она меня так оскорбила!» Но Марек знал, что любит ее. Он продолжал стоять, глядя в землю и не зная, что делать. И хотя чувствовал весь трагизм и комичность своего положения, но не мог решиться на какое-нибудь движение, не мог ничего изменить: любой жест, любая перемена только подтвердили бы ему, что всему конец.

— Не сердитесь, Марек. Я не хотела вас обидеть.

Нет, Олина и вправду не хотела его обидеть. Она думала, что его любовь — это только слова и мечты, ей казалось, что он не способен на страсть! Глаза у нее уже были сухими, к лицу прилила кровь. Она прощалась, протягивая Мареку маленькую руку в светло-серой перчатке.

— Я не хотела вас обидеть, — повторила она и коснулась лица Марека испуганным жалостливым взглядом. Но Марек боялся встретиться с ним и опустил глаза.

Олина удалялась. Шаг за шагом все удалялся светлый жакет и золотые волосы, каблуки звонко постукивали на пустынной набережной — тук-тук, как выстрел за выстрелом. Все выстрелы попадали точно в цель, были смертельны. И теперь Марек знал, теперь он твердо вопреки всем сомнениям знал с потрясающей ясностью: без нее он не может жить, без нее он никогда не сможет жить!

Он сорвался с места, побежал за ней. Он был смешон и знал об этом, но сейчас все это было неважно, все казалось таким ничтожным в сравнении с ошеломляющей правдой того, что он понял. Запыхавшись, он остановился около нее и сказал ей, опустив глаза:

— Я здесь, с вами. Я здесь и здесь останусь до тех пор, пока вы пожелаете.

Он хотел еще сказать: я ваша вещь, весь в вашем распоряжении. Я не могу без вас жить, поэтому я весь в вашем распоряжении! Он не сказал этого, но зато с внезапной поспешностью произнес давно приготовленные слова.

Через несколько месяцев он кончает учиться, будет самостоятельным человеком, уже не беспомощным, а способным предоставить ей кров и защиту. Понимает ли его Олина? Кров и защиту. В нескольких словах он нарисовал ей свою мечту: небольшой городок, тишина и покой, уголок, в котором можно дышать и скромно ра-

доваться своим маленьким радостям, получаемым от жизни. И он сказал это ей, сказал!

— Не хотели бы вы, Олина, поехать со мной туда, не хотели бы вы стать моей женой?

— Женой?

— Женой, супругой. Самым близким человеком, всем.

— Марек, Марек, вы неисправимы, вы слишком хороший. В вас говорит жалость.

— Я не могу без вас жить, Олина.

— Нет, это невозможно. Я не в силах даже представить себе, это ведь так смешно.

— Почему же это невозможно?

— Ведь вы знаете, что я не люблю вас.

— Вы привыкнете.

— Но как же я смогу полюбить вас, если не люблю?

— Я не требую от вас этого. Я не требую вашей любви.

— А зачем я вам тогда?

— Я хочу, чтобы вы были со мной. Я хочу быть с вами.

— Нет, Марек, это невозможно. Разве это возможно? Я люблю другого, и у меня будет от него ребенок. Так разве это возможно?

— Это будет и мой ребенок. Он будет нашим ребенком.

— Вы слишком добры, Марек. Вы самый хороший человек, какого только я знаю. Возможно, я делаю глупость, наверняка я глупая, бесчувственная эгоистка. Но я не могу иначе.

— Значит, нет?

— Нет, Марек, это невозможно.

Все было очень ясно, не могло быть яснее, никакой надежды, одна неумолимая правда. Мареку нужно уйти, все слова сказаны, и все они были сказаны напрасно — теперь ему нужно уйти. Но он не уходил, не уходил по той простой причине, что не мог уйти.

— Вы проводите меня?

— Да.

Они снова шли по тем же самым улицам, но солнце уже давно не играло и не блестело, на улицах стоял полумрак и дул холодный ветер. Люди перестали улыбаться, у них были колющие, неприятные и любопытные гла-

за. Мареку очень хотелось бы поговорить о том, другом человеке. Он понимал, что это не совсем честно и благородно — касаться кровоточащей раны, но искушение оказалось сильнее его. Он спросил о том, другом, и Олина была готова к этому вопросу и приготовила ответ.

— Я классический пример, — сказала она, — классический пример соблазненной и покинутой девицы. Мне следовало бы выпить кислоту, и в этом случае всегда пьют кислоту, правда?

— Он не пишет вам? — спросил Марек.

— Он бросил меня. Нет, это неправильное слово. Он забыл меня, как дырявый носок в шкафу. Я приводела в порядок его комнату и нашла там дырявый носок. Напоминание судьбы. Ах, я и забыла, ведь вы, Марек, не верите в судьбу. Помнится, вы раз сказали, что это дешевая отговорка ленивых и слабых.

— Нет, не помню, — ответил Марек. — Наверное, тогда я не точно выразился. Я не верю в судьбу, которая вне нас; то, что мы называем судьбой, заключено в нас самих. Моя судьба — вы, потому что вы во мне.

— Фу, Марек, — сказала Олина, — не говорите больше об этом. Дайте мне слово, что вы об этом больше не станете вспоминать.

— Хорошо, я буду молчать, — пообещал Марек.

И действительно он замолчал, всю дорогу не проронив ни слова; так они и шли, молча, ничего не говоря, оба печальные, несчастные и недовольные друг другом. А когда настало время расстаться, оба никак не могли на это решиться. И пообещали друг другу встретиться еще. В Мареке вновь вспыхнула надежда и решимость, в его взгляде был вызов: я не откажусь, не откажусь от вас, я не могу от вас отказаться.

Олина ответила кротким взглядом: бедный Марек, несчастный Марек!

3

Бедная Олина! Пока она была с Марekom, она чувствовала себя сносно, находя поддержку в его сочувствии и жалости, могла быть даже гордой, могла решать за себя и за других. Но как только она провалилась в пропасть одиночества (да, теперь она провалилась

в пропасть одиночества — иначе и не скажешь, — в бездонную, опасную, грозную пропасть), она стала жалкой, самой жалкой женщиной на свете. Ее красота, ее молодость, мужественная решимость жить по-своему и любить — все превратилось теперь в прах, в пепел и горечь в сердце. У нее не было ничего, кроме красоты, молодости и смелости, и, когда все это перестало существовать, когда все это вдруг исчезло, она оказалась опустошенной, словно выжженной. Молодость еще сопротивлялась, не желала поверить несчастью, не хотела его, оно претило ей. В первых письмах она пыталась заглушить подозрение, подавить предчувствие приближающегося несчастья. «Милый, милый, милый мой, — писала она, и это был голос любви и страха. — Милый мой,» — писала она, и это было заклинанием от страха, могучая формула надежды. Она утешалась романтическими мыслями: разве можно устоять перед такой любовью, остаться к ней глухим? Она думала о родстве душ, которое преодолевает все расстояния и препятствия, но это родство душ было слишком неощутимо и потому внушало недоверие: что это такое? Капитан Лабуда долго не писал. Потом ответил холодно и сдержанно. Да, он понимает те осложнения, в какие она попала. Разве он не говорил, что из этого получатся только осложнения? Разве он не предупреждал ее об этих осложнениях? Но он все равно готов взять на себя все последствия их связи. (Готов взять на себя все последствия! Официант, счет! Я готов оплатить расходы! Это было оскорбительно и возмущало Олину.)

Оскорбление помогло ей преодолеть ужас первой минуты прозрения. Она написала ему грубое, полное ненависти письмо. «Милостивый государь, — писала она, — я не чемодан, который нужно взять в камере хранения. Письмо, которое, как вы думали, дает вам на это право, можете смело разорвать». Так писала она ему с тайной надеждой оскорбить его. И написала ему еще: «Вы не имеете права меня жалеть, не вы меня обманули, а я сама себя обманула». Как будто в его письме было хоть слово о жалости и сожалении. Но, бросив письмо в почтовый ящик, она испугалась. Ведь она все-таки любила его! Но теперь дела не поправишь. Письмо ушло, и она со страхом ждала ответа. Капитан не ответил ни через неделю, ни через две, ни через месяц. Словно его

никогда не существовало, словно никогда ничего не было! Он исчез, перестал существовать. Она писала ему еще раз. Смирившись, она писала ему нежно и униженно, уже не скрывая своей тоски и страха. «Милый, милый мой, — писала она ему, — прости меня и отзовись, потому что я так не могу жить». Он не ответил; это был последний удар, окончательное прозрение.

Что оставалось делать Олине? Где было искать помощь и опору? В себе она их не находила. Воспитание, полученное ею в кругу семьи, семейные традиции и мораль были приспособлены только к предвиденным случаям, а это был случай непредвиденный. Он не подходил под привычные правила, он не подходил ни под одну рубрику, он был отвратительно грязен.

Конечно, рядом была мать, которая не могла не заметить в глазах своей дочери мольбы о помощи. Она заметила ее и выждала удобного момента. И вскоре мать знала все. Олине пришлось ей открыться. Мать была оскорблена, чувствуя себя даже более обманутой, чем ее дочь. Разве не возлагала она на него столько надежд? Разве не считала его почти своим сыном? Это было еще одно оскорбление и еще один обман в длинной цепи оскорблений и обманов, уготованных ей жизнью. Она была готова защищать свою дочь. Но много ли у нее сил, чтобы защитить Олину? Она привыкла страдать, в этом была ее единственная сила, но у нее не хватало сил бороться со страданиями.

А Олина не хотела страдать! Она не могла страдать! Ее молодое существо противилось страданию, боли, отчаянию. Это было таким отвратительным и бессмысленным! И все же тут было нечто существовавшее помимо воли Олины, то, что обступало ее со всех сторон, что приходило в любой момент, шло с ней, не отпускало и не ставило на колени. В минуты тупого, бездонного отчаяния она думала о смерти: это было бы единственным выходом, естественным бегством молодости от слишком мучительных страданий. Но она была чересчур добропорядочная, побаивалась вдобавок и за свою бессмертную душу. К тому же у нее еще теплилась надежда, робкая искорка надежды, которую она скрывала от самой себя, зная, что эта искорка не вынесет даже самого слабого дуновения действительности. Ее надежда не имела никакой реальной опоры, не зависела ни от каких

внешних обстоятельств. Надежда была в самой Олине и не могла не быть, потому что Олина не переставала любить его.

Неужели это было на самом деле так? Неужели она не переставала любить его?

Разве женская любовь не только отблеск чувства мужчины, разве она не что-то второстепенное, несамостоятельное? Можно ли уподобить ее лишь лунному свету, возникающему из отраженных солнечных лучей? Бывает и так. Существуют женщины, живущие чувствами, блуждающие в просторах вселенной небесные тела, светящиеся не своим, а лишь отраженным светом; они тянутся к источнику света, ищут расположения мужчины, напоминая головку подсолнуха, всегда обращенную в сторону солнца. Этот дразнящий головокружительный взлет чувств происходит лишь в случае расположения и восхищения мужчины; отсутствие расположения сдерживает взлет до тех пор, пока на горизонте не появится новое светило. Эти женщины лишь вторят любви; они настолько влюблены в себя, настолько сосредоточивают свое внимание на собственной особе, что не в состоянии любить без взаимного чувства. Они желают, чтобы их добивались, и воспаляются лишь при определенной температуре. Но в общем, страсть зависит не от пола, а от характера. Существуют женщины, которые сами излучают свет и трагически сами сгорают, и есть мужчины-подсолнечник. Есть и такие случаи, когда невозможно отличить первопричину от производного, источник света от освещаемого предмета, когда есть взаимозависимость и равномерность чувств. Здесь нет единого правила: страсть не подчиняется правилам, она самостоятельна, самобытна и независима, это самая независимая стихия, которую мы знаем.

У Олины бывали минуты сомнения. Она осуждала свое чувство, осуждала, ненавидела и презирала себя. Строгие принципы нравственности (в этом была некоторая доля излишней строгости) были даже сильнее душевной боли. Это была нечистая душевная боль, строгая нравственность осуждала ее. Но вопреки этому, вопреки всему чувство Олины к человеку, обманувшему ее, не умирало в ней. Не все воспоминания заставляли ее страдать. Были и светлые и ликующие воспоминания, напоминавшие о минутах восторга. Было и другое —

взгляды, прикосновения, тысячи мелочей, делающих воспоминания такими приятными. Ее чувство питалось этими воспоминаниями, она заботливо прятала его в них. Что осталось бы ей, не будь этих воспоминаний? Она не была слишком чувственной, в ее любви было много романтического, много нереального и надуманного. Именно поэтому ее чувство могло питаться воспоминаниями. Пока она могла вспоминать, она могла мечтать, пока мечтала, у нее теплилась надежда. В минуты наибольшего отчаяния она старалась не видеть действительности, и ей удавалось это — она видела только свою мечту, это было единственным прибежищем.

Правда, это было прибежище, защищенное воздушными стенами. Она могла спрятать в нем свое чувство, но не могла спрятаться в нем сама, скрыть свое несчастье. Она понимала, что случившееся с ней не только ее личное дело. Теперь впервые она ощутила бремя родственных и общественных уз. Она избегала всех прежних знакомых; словно раненый зверек, пряталась от отца. А после одного разговора отдалилась и от матери. Было это под вечер, в доме стояла тишина, мать и дочь молча сидели в комнате, не зажигая света. Потом пани Гана глубоко вздохнула и подняла голову.

— Он знает об этом? — спросила она.

— О чем?

— О том, что у тебя будет ребенок, — сказала пани Гана непривычно резко, почти сурово.

— Нет, не знает.

— Ты не написала ему об этом?

— Нет.

— Ты должна ему написать, — сказала пани Гана. — Он честный человек.

— Я не могу ему написать, — сказала Олина. — Как я могу это сделать, мама?

— Тогда я напишу ему сама, — сказала мать.

— Ты не смеешь! Не смеешь! — закричала Олина.

Она упала на колени, спрятала голову в материнских коленях и разрыдалась.

— Мама, мамочка, ты не должна этого делать. Обещай мне, что ты не сделаешь этого.

Расплакалась и мать, обещая все, что угодно. В эту минуту они обе чувствовали себя очень несчастными и очень близкими.

— Но что делать? — беспомощно спросила пани Гана, немного успокоившись.

— Не знаю, ничего не знаю, — сказала Олина, все еще всхлипывая. Пани Гана снова вздохнула и потом осторожно заметила:

— Ты бы могла выйти замуж, Оля.

— Выйти замуж?

— Ну да, выйти замуж. Разве мало мужчин, которые бы согласились на это?

— Но ведь это было бы позором! — с удивлением возразила Олина. — Позором!

И вот тут пани Гана неожиданно раскричалась:

— Позором? А разве не позор то, что с тобой случилось?

Это была злоба, гнев, вызванный отчаянием и беспомощностью. А для Олины это было катастрофой, ударом по самому слабому месту. Значит, вот как! Вот как! Это бесстыдство, это бесстыдство даже в глазах ее матери. Кто же она, Олина? Бесстыдница! Бесстыдница!

Теперь у нее остался только Марек с его неистощимым терпением, безропотный слушатель, перед которым она могла излить все свои страдания и боль. Предмет — и ничего другого. Боль так эгоистична! Она видит во всей вселенной только одну себя; всемогущая тень собственной боли заполняла все пространство и каждую частицу времени. Олина оскорбляла и ранила Марека, даже не сознавая этого. Она доверяла ему самые сокровенные мысли и надежды, и это было для Марека самым болезненным. Он чувствовал, что в ее глазах он не только не близкий человек, а вообще не мужчина, он только зеркало, в котором отражаются все ее несчастья и надежды. Но Марек был терпеливо покорен. Он не смирился со своим положением, он не хотел вечно оставаться неодушевленным предметом, зеркалом. Его терпеливая покорность вытекала из его мыслей о будущем. Он ждал. Он почему-то был уверен, что его ожидания не окажутся напрасными, что он ждет не зря. Он не сумел бы объяснить, откуда взялось у него такое ощущение, близкое к уверенности. В обращении Олины ничто не давало ему повода к этому ощущению, но оно все-таки было, росло изнутри, из его грез и желаний. Это чувство жило в нем упорно, настойчиво: я не могу от нее отступить, не откажусь! И он не отступал.

Эма выходила замуж. Безумная, смешная, причудливая, глупая мысль, до самой последней минуты этого нельзя было себе представить. Зачем? Что я делаю? Что я совершила? (Да, именно совершила — подходящее выражение. Совершила выход замуж.) На миг, когда она покинула костел и шла мимо толпы зевак к украшенному цветами такси, на какой-то миг она растрогалась. Все же это было торжественно, необыденно, торжественно и серьезно — шелест платьев, восторженные взгляды, почтительный шепот, вся атмосфера, которой люди окружают решающие события в жизни: рождение, смерть, венчание. Но когда она уже сидела в такси, где стоял густой запах бензина, ей снова пришло в голову, что происходит что-то странное и бессмысленное. Она покосилась направо, где, выпрямившись, важно восседал ее муж. Ее муж! До чего же это смешно и глупо!

— Ну, вот и все, — сказала она.

— Да, теперь мы принадлежим друг другу, — сказал бархатный голос пана Ульриха.

— Ну-ка, не спеши, — сказала Эма. — Я пока принадлежу сама себе. Это мне ясно. Но что значит «принадлежим друг другу»? Глупость!

— Так говорится, Эмочка, — успокаивающе сказал сладкий голос пана Ульриха. — Мы свои, так обычно принято говорить. Это значит, что один принадлежит другому, что мы неотделимы друг от друга!

— Принадлежит! Неотделимы! Что это такое?! Какие-то варварские слова, и звучат они как заклинание. Пустые слова!

— Так принято говорить, — сказал немного обиженный, но мягкий голос пана Ульриха.

Эма не ответила. Она снова посмотрела на мужа, сидящего рядом с ней, на своего мужа: он сидел еще более прямой и надутый. В первый раз Эма разглядывала его так близко и вдруг почувствовала, что он ей противен, — это было внезапное пробуждение, чувство было очень острым и очень отчетливым. Все вдруг перестало казаться смешным, и ее охватил страх. Что я наделала? Как это могло случиться?

Именно «случиться». У Эмы всегда все «случалось». Она никогда ничего не предпринимала и никогда не

противилась случившемуся. Разумеется, случившееся касалось Эмы, поскольку происходило с ней или у нее, но причины, мотивы всегда лежали вне ее, возникали совершенно независимо от ее воли. Когда появлялась какая-либо причина, она ей не противодействовала не от недостатка воли, а, скорее, от невозможности познать конечный смысл происходящего. А раз конечный смысл был непознаваем, не все ли равно было, что делать. Всего удобнее было подчиняться и приспособляться, позволить, чтобы с нами что-то происходило, что-то случалось; плыть по течению, которое возникло по неизвестным причинам и которое несет бог весть куда; это было приключением чувств. Именно так у Эмы случилось и с этим человеком, с этим паном Ульрихом. Они сидели и пили где-то в веселой большой компании, отмечая последние экзамены. Откуда-то появился пан Ульрих. Он танцевал с ней, нашептывал вкрадчивым, бархатным голосом нежные, удивительные слова. Не многие мужчины говорили Эме, что она красива, и хотя она этому, в общем, не верила, все же слушала всегда такие слова с удовольствием. А пан Ульрих шептал ей об этом нежно, но настойчиво, с уверенностью, порождаемой только внутренним убеждением.

— Вы хотите меня соблазнить? — спросила она его.

— Упаси боже, я вас уважаю! — вкрадчиво сказал пан Ульрих. Он и вправду был оскорблен тем, что о нем так могли подумать. Она поверила пану Ульриху, потому что в ту минуту ей было удобно и приятно ему верить. На другой день утром она проснулась на вилле в Горском парке, свежая и радостная. Пан Ульрих принес ей в постель завтрак и стоял рядом мягкий, вежливый, в пределах приличия нежный.

— Как приятно, — засмеялась она, — как удобно!

С паном Ульрихом и вправду все было удобным, было как-то легко и ни к чему не обязывало.

— Вы придете когда-нибудь ко мне в гости? — мягко спросил он бархатным голосом, когда она уходила.

— Не знаю, возможно. — И тут неизвестно по какой причине — по какой причине? — ее подхватило течением, и она ответила: — Приду. — И она пришла снова и приходила еще и еще, когда чувствовала себя слишком одинокой, приходила словно для того, чтобы отдохнуть и освежиться. Да, она погружалась в это бархатное

восхищение и мягкую, вкрадчивую нежность, купалась в ней, и это ее освежало. И однажды утром он сказал ей:

— Хочешь выйти за меня замуж, Эмочка?

— Что?

— Хочешь стать моей женой, Эмочка?

— Ты сошел с ума, — засмеялась она. — Ты свихнулся, определенно свихнулся.

— Я хорошо знаю, что делаю, — мягко, но внушительно возразил пан Ульрих.

— Ничего лучше ты не мог придумать?

А он, не повышая своего бархатного голоса, упрямо повторял:

— Я хорошо знаю, что делаю. Я ничего не выдумываю. Почему бы нам не пожениться?

И Эма стала серьезней, больше не смеялась, ошеломленная тем, что и она серьезно раздумывает об этом предложении. А правда, почему бы нет? Почему это так уж невозможно? И это опять было течением, чувством, что оно ее уносит и что очень удобно подчиниться ему.

— Что ж, я подумаю об этом, если ты говоришь так серьезно, — сказала она в конце концов.

— Да, — сказал пан Ульрих, — подумай об этом, Эмочка. Я не буду ни к чему тебя принуждать, но я хорошо знаю, что делаю.

Вот так-то все и случилось с ней.

Но в такси она внезапно почувствовала отвращение к пану Ульриху, ставшему теперь ее мужем. Она вдруг увидела его со стороны, и не только в действительности, но и мысленно, и ей показалось, что сквозь его бархатистость и мягкость она видит что-то грязное, отвратительное. Что я наделала, что же я наделала!

— Не сердись, Эмочка, — сказал пан Ульрих. — Зачем ты сердиться? Все будет хорошо, и все будет так, как полагается.

— Как полагается?

— Да, именно так, как полагается.

— Но как?

— Видишь ли, я не умею объяснить. Я знаю, что все будет в порядке. У меня такое чувство.

— Чувство! — презрительно сказала Эма.

— Да, чувство. Я хорошо знаю, что делаю.

Эма замолчала, мрачная и злая. Пан Ульрих осторожно и успокаивающе коснулся ее руки. Эма отдернула ее, но он не обиделся. Ему только стало немного досадно. Ох уж эти женщины! Сколько с ними мучений! Но он был уверен, что в данном случае не допустил никакой ошибки, и это его успокаивало. Ведь он все так основательно продумал! В самом деле, это был не безрассудный шаг влюбленного юнца, вовсе нет! Только раз в жизни он поддался чувству, один-единственный раз — с Иреной, и потом долго расплачивался за свое безрассудство. Разве он ее не любил? А чем все кончилось? (Он всегда был убежден, что женился на Ирене по любви. Он не мог допустить даже мысли, что жаждал ее богатства. Богатство было только фоном, только приятным приложением и законными отступными за Иренино происхождение.)

Теперь будет все иначе, теперь он не юнец, женится не очертя голову, а осторожно и рассудительно. Он все обдумал и все взвесил, это совершенно солидное и безопасное дело: во-первых, Эма словачка и католичка; это, конечно, не играет особой роли и в то же время значит очень многое. Во-вторых, она врач, женщина образованная и видная. В-третьих, с ней приятно — она не настолько уж непривлекательная, чтобы с ней было неприятно, но и не настолько красива, чтобы создавать осложнения. Это было именно то, что ему нужно, что ему подходило. Это было вроде нового пиджака, сшитого не у портного, а случайно найденного в магазине готового платья, пиджак удивительно ловко сидит, словно специально сшит на вас. Счастливая случайность!

Пану Ульриху была нужна жена, он считал ниже своего достоинства спать с прислугой или заводить сомнительные случайные знакомства; он слишком долго воздерживался, чтобы на этот раз отказаться от законного наслаждения. Но он нуждался в жене еще и по другой причине — ему была нужна прочная опора в личной жизни, в уверенной семейной атмосфере; не последнюю роль играло и то, что ему нужна была жена вроде Эмы как доказательство его патриотизма. Он всегда считал себя истым словаком, в студенческие годы ратовал за автономию. Он с завистью наблюдал, как его прежние товарищи поднимаются по лестнице почестей, как купаются в новеньких лучах славы новенького

государства. А он был проклятым, погибшим человеком, узником, каторжником, к ногам которого была привязана тяжелая свинцовая гиря его юношеской ошибки. Он оставался на одном месте, всегда на одном и том же незначительном месте, время для него не двигалось, хотя все двигалось вперед. Это было мучительно, особенно мучительно, ибо он был твердо убежден, что у него есть все основания, необходимые для быстрого продвижения: и горячие патриотические чувства, и убеждения, и образование. А ему приходилось топтаться на месте, отсиживать в тени и смотреть, беспомощно смотреть на все происходящее. Он не озлобился на своих более счастливых товарищей, а восхищался ими и завидовал им. Не отказался он и от своей веры и убеждений, почти естественно было возненавидеть свою ошибку, свою роковую ошибку — и он возненавидел Ирену тем сильнее, чем больше уплывали от него все возможности. И вот теперь он освободился, ворота тюрьмы распахнулись. Не поздно ли? Нет, еще не совсем поздно, только надо торопиться, по возможности торопиться, не терять ни минуты, дорог каждый миг!

Такси торжественно загудело перед виллой в Горском парке.

— Вот мы и дома, Эмочка, — сказал бархатный голос пана Ульриха.

Он помог Эме выйти из машины, подал руку. Рука была мягкая, гладкая, слегка влажная. Эма вздрогнула от внутреннего холода. Что я наделала? Что же я наделала? Какая невероятная, какая пошлая глупость, какая комедия, скверная и слишком явная комедия. Что у нее, у Эмы, общего со всем этим? Что у нее общего с этим человеком, с этим домом, с этими ухмыляющимися лицами гостей, с этим шуршащим шелком? Она изо всех сил пыталась понять то, что сейчас казалось ей непонятным, и снова возникало старое, знакомое чувство, острое чувство ненависти и презрения ко всему, и ко всем, и к себе самой: трагический и мятежный порыв меланхолии. Ей был чужд и далек странный, непонятный шум, звон бокалов, тосты; она не замечала почти ничего из того, что происходило вокруг нее; она была одна, как с ней случалось порой, течением ее выбрасывало на берег, и тогда она с удивлением замечала, что она одна, и чувствовала себя несчастной, хотела за-

быться. Она сидела неподвижно за столом, и всем могло показаться, что она растрогана, а она была потрясена.

Пан Ульрих казался еще слаще и бархатистее, чем когда-либо, — казалось, что в груди у него склад бархатистых мягкостей и сладостей, и все это он осматривательно, с рассудительностью распределял между своими гостями. Пан Ульрих хорошо знал, что делает: Эма была именно такой женой, какая ему нужна, и гости были именно такие, какие нужно, он демонстрировал перед ними свой патриотизм (патриотизм, так сказать, личного характера), начало счастливого христианского, католического и словацкого супружества. Большинство гостей были его прежними знакомыми, которым пан Ульрих завидовал. Это были еще молодые, но уже уважаемые лица, люди с положением и с будущим. Здесь были два сотрудника одной из центральных ежедневных газет, секретарь одного известного деятеля, были здесь представители политических партий, молодежных организаций, гардисты. Это были пока не слишком выдающиеся личности, но в их жестах, словах, взглядах убедительно проглядывала будущая значительность. В одной из их песен пелось: «Мы — будущее нации». И каждый при взгляде на них тотчас же понимал, что в этой песне говорится о них, прежде всего о них, исключительно о них. Это были «младолюдаки», люди подвижные, решительные и всесторонне подготовленные к борьбе. Большинство из них не было еще продажно: у них существовали убеждения, и они были этим убеждениям искренне преданы. Конечно, эти убеждения состояли из нескольких ничтожных идеек, нескольких лозунгов и формул. Могучими и непоколебимыми эти убеждения делала верность патриотическим чувствам, которые у некоторых превратились в подлинную страсть. Они добровольно отказывались от всяких сомнений и всяких рассуждений, чтобы иметь возможность верить в единственный принцип — принцип нации. Нация — это была мистерия, великое таинство, священный огонь, начало и источник всякого движения. Словак, словацкая земля, словацкая нация — это производилось благоговейно, в этом слышалось что-то неземное; это была монополия, освященная союзом крови и земли. Это был трансцендентальный принцип, фетиш,

божество, которое прочно укоренилось в них. Они были фанатиками, но не фанатиками идеи, а фанатиками чувства и страсти, искренние и пагубные демоны, порожденные опасными последствиями нашего убогого прошлого. Эти сынки крестьян, мелких торговцев и чиновников чувствовали себя орлами; они были убеждены, что воспарили, вознеслись на недостижимую высоту, что покончили с жизнью пресмыкающихся; они были тверды, они были сталь и железо, воплощали новую эру нации. Это было чудовищное и трагическое слияние искреннего чувства и ограниченных взглядов.

У их веры было мало опоры в действительности, и тем отчаяннее они старались быть непоколебимыми. Их мало волновало изменчивое военное счастье, хотя они и не выказывали этого очень явно. Они верили и были готовы верить, это спасало их от всех сомнений. Старых, заслуженных «людаков», вождей, они уже не боготворили, старики казались им неизбежным злом, переходным явлением, необходимой, но временной ступенькой. С их точки зрения старики слишком легко шли на компромиссы, были продажные, политиканствовали; они сами были проще, чище. Для стариков, как им казалось, нация являлась предметом политики, стратегии, тактики, для них она была судьбой. Старики соединяли судьбу нации со своей политической судьбой, а они олицетворяли, воплощали в себе эту судьбу, отождествляли себя с ней. Ко многим из них в одиночестве наверняка приходили сомнения, они боялись этого опасного союза, но, когда они были вместе, их чувство патриотизма, их одушевление, упоение вселяли в них силы, как песня героев, боевая песня, приказывающая не думать, а маршировать. Они хотели быть героями и были ими в своем воображении, многие из них всерьез готовились принести себя в жертву.

Пан Ульрих мог быть доволен. Его свадебный обед был, как полагается, с хрусталем, с семейным серебром (с семейным серебром Рёслеров!) и с безудержным весельем молодых хищников. Они хлопали пана Ульриха по плечу, обнимали его — старый товарищ! Это было возвращение, прощение, реабилитация — теперь он снова стал одним из них. Они вспоминали не о его ошибке, а о его былых заслугах. Да, вот это было время, какое чудесное время, когда они были очень молоды, очень

бедны и у них не было ничего, кроме надежд! Товарищ, старый товарищ, помнишь ли ты это? Они были добродушны, сознавая разницу между собой и между паном Ульрихом, а тот даже не пытался скрыть эту разницу — напротив, казалось, он с удовольствием ее подчеркивает.

— Я неудачник, — мягко и виновато жаловался пан Ульрих одному из сотрудников газеты, — мне так не повезло в жизни.

— Теперь вы об этом не думайте, — сказал журналист, — теперь вы думайте о будущем.

Пан Ульрих мягко и виновато вздохнул и подумал о будущем. Сейчас у него не было сомнений в своем будущем. В этом дружном, беззаботном веселье, в этом опьянении общностью духа он снова обрел свою прежнюю уверенность. Судьба выбросила его за борт, но сейчас он вернулся в старое русло, в единственно возможное русло. В этой среде все его устраивало, все было знакомо, уютно и близко, в этой атмосфере можно было наконец дышать полной грудью и жить полной кровной жизнью: все, что было вне этой атмосферы, было лишь прозябанием, видимостью. Он был в какой-то мере осторожен и расчетлив, но не настолько, чтобы не растрогаться этим возвращением блудного сына, этим возвратом незабываемых минут молодости, энтузиазма молодости, чувства и дружбы. В глазах у него от волнения заблестели слезы, когда он услышал тост секретаря одной очень значительной особы:

— За нашего старого товарища, который выдержал все испытания судьбы и вышел из них с неоскверненным национальным достоинством!

— За ваше здоровье! — кричали все старому товарищу, немного растроганные; все понимали, что они великодушны, и старались быть еще великодушнее, желая помочь старому товарищу, приблизить его к себе.

Секретарь подробно выпрашивал у пана Ульриха о его делах.

— Это ужасно, — сказал он, — такой способный и образованный человек, как это можно?! — Секретарь был искренне огорчен. — Я буду иметь в виду, — сказал он многозначительно.

И пан Ульрих мягко ответил бархатным голосом:

— Спасибо, я тебе очень благодарен, дружище.

Пан Ульрих растрогался, и чем дальше, тем он становился растроганным, в груди у него что-то сладостно разливалось и наполняло его всего. Все было как полагается и даже еще лучше; это была победа, воскресение из мертвых.

А Эма, Эма сидела с застывшим лицом и совсем не чувствовала умиления, она была охвачена ужасом и потрясена. «Что я наделала, что же я наделала?!» — неотступно спрашивала она себя, не находя ответа, и в ней был только мрак, страх и ужас! В таком состоянии ей не оставалось ничего другого, как пить, и она пила, пила торопливо, вливая в себя рюмку за рюмкой, пила вместе со всеми и одна наливала сама себе и пила. Это была странная невеста, но на нее никто не обращал внимания — сейчас все были заняты своим воодушевлением, все погрузилось в атмосферу дружбы, где Эме не было места. Она пила, и алкоголь выгонял из нее мрак. Иногда на миг она ясно видела, что за люди вокруг нее, кто такой пан Ульрих и кто такая она сама, Эма; она разгадала осторожную, расчетливую игру пана Ульриха и свою роль в ней. Страшно унижительную роль, оскорбительную не для женщины, а для человека. Было почти невыносимо видеть это и думать об этом, ведь во всем была виновата лишь сама Эма, она сама была первопричиной всего, ее слабость, ее непротивление, неумение доискаться до смысла того, что с ней происходит. И она старалась напиться поскорее, не желая думать о своей роли, о своем унижении, не желая видеть этих людей вокруг себя и пана Ульриха, который казался ей сейчас лягушачьим самцом; ей казалось, что весь он покрыт мягкими, скользкими бородавками, которые испускали отвратительное, острое зловоние. Она машинально опустошала рюмку за рюмкой, пила торопливо, но не могла опьянеть, и ее застывшее лицо со следами страха и отвращения очень долго оставалось неподвижным.

Наконец ей все-таки удалось опьянеть. Тогда она почувствовала смелость, и ей захотелось оскорбить этих людей. Она встала, постучала рюмкой по столу, наступила тишина — все ждали ее тоста. Но она стояла молча, открывая и закрывая рот — было видно, как во рту ворочается тяжелый язык, издавая нечленораздельные звуки. Кто-то смеха ради захлопал, все засмеялись и

захлопали тоже, а Эма и вправду была смешна, на лице у нее застыло бессмысленное выражение. Потом она бессильно опустилась на стул, и пан Ульрих, нежно подхватив ее, отвел в спальню, уложил в постель и растегнул ей платье — она не сопротивлялась.

— Ты выпила немного лишнего, Эмочка, — сказал он ей с мягким упреком, обращаясь с ней, словно с малым ребенком, который не полностью отвечает за свои поступки. И Эма видела его лицо, неясное и расплывчатое, видела, как оно над ней наклоняется, и, собрав последние силы, уже почти ничего не сознавая, она села и плюнула в это лицо. «Вот», — сказала она себе довольная и легла, закрыв глаза; сделав это, она могла теперь спокойно уснуть. Пан Ульрих удивленно застыл над постелью, медленно вытирая лицо носовым платком.

— Что же это такое, Эмочка? Что это должно значить? — Он удивленно покачал головой и сказал: — Ты не должна была этого делать, Эмочка. Так не годится, Эмочка.

Но Эма лежала на постели, спокойно дыша, ее лицо уже не было озлобленно застывшим, оно ожило, и казалось, она довольно улыбается.

— Ты не должна была этого делать, Эмочка, так не годится, — повторил пан Ульрих еще раз и потом подумал: «Счастье еще, что никто не видел. Это большое счастье, что никто не видел; ведь если никто этого не видел, значит, ничего не случилось: пока вещи невидимы для других, до той поры они, собственно говоря, и не существуют».

5

Августин Шернер уже не работал в аптеке Милосердных братьев¹ и вообще нигде не работал, его прочное общественное положение пошатнулось, в его жизни все смешалось, полетело вверх тормашками. Августин Шернер издал сборник — книжку стихов; это внезапно и резко изменило его жизнь. Певец нежного и трагического не мог стоять за прилавком в белом хала-

¹ Католический монашеский орден, заботившийся о больных и имевший свои больницы, аптеки и т. п.

те, не мог продавать аспирин, полоскания и слабительные — это было бы просто смешно. Скрепя сердце и с некоторыми опасениями отказался Августин Шернер от солидного места, от скромного и безупречного спокойствия обычной, заурядной жизни. Теперь он стриг волосы только раз в месяц и ходил в одном и том же покрытом грязными пятнами пальто. Он был свободен, волен как птица, жил (и вправду так можно было сказать) как птица небесная, поклевывал крошки с богатого стола пани Ашеншвандтнеровой, своей хозяйки. Сборник вышел тиражом всего лишь в пару сотен экземпляров. Августин Шернер издал его на собственные средства (на средства пани Ашеншвандтнеровой). И именно из-за сложных финансовых обстоятельств при издании своего сборника Августину Шернеру пришлось пойти на уступки, насилуя свою поэтическую совесть, — первое стихотворение он посвятил пани Ашеншвандтнеровой («Пани Юлии А.»). Правда, пани Ашеншвандтнерова здесь выступала не в своем подлинном виде, а как Идея, Преданность и Убежище. Это в какой-то мере льстило пани Ашеншвандтнеровой, но не давало полного удовлетворения. Сборник назывался «Звезды излучают аромат», в нем были по большей части печальные, скорбные и трагические стихи. Одни из них были написаны по-модному энергично, другие традиционно. Критика, конечно, отметила, что Августин Шернер ищет собственное лицо. Естественно, что в сборник входило несколько стихотворений с тонким национальным, даже с национал-социалистским подтекстом: своего рода дань времени. Критика приняла книжку снисходительно: официальная критика упрекала ее за недостаточную воинственность и неясные намеки, прогрессивная — за излишнюю ясность, за то, что в ней еще много ненужных традиционных приемов, а желчный профессор Копаницкий, стоявший вне обоих лагерей (во всяком случае, так он считал), написал, что это верное отражение эпохи, хоть печаль стихов расплывчатая, вымученная, не прочувствованная. Августин Шернер был еще неопытен, и поэтому некоторые критические замечания его оскорбляли. Но его новые друзья объяснили ему, что все в наилучшем порядке, что с ним могли случиться тысячи более худших вещей и самым худшим было бы молчание критики, а нападки крити-

ки — есть лучшая дорога к славе. Августин Шернер ходил теперь по городу в грязном пальто, но с гордо поднятой головой. Всюду он таскал с собой портфель, набитый книгами, в портфеле находился почти весь тираж его сборника, который расходился плохо. Он навязывал книгу знакомым в кафе, ходил продавать ее среди студентов, но лишь изредка ему удавалось сбыть один-два экземпляра, а по большей части он дарил книгу, украшая ее отработанной подписью. Как-то он преподнес сборник одному молодому поэту, имевшему успех у читателей. Поэт взял сборник, прикинул в руке на вес, заглянул в него и сморщил нос.

— Трагика, — сказал он, — это уже не имеет спроса. Это уже приелось.

— А что бы тогда могло пойти? — спросил Августин Шернер.

— Оптимизм чувств, — сказал поэт. — Всеохватывающая сила чувств, понимаешь? — Августин Шернер ему не совсем поверил, но подумал, что не мешало бы в будущем сборнике сыграть и на струне оптимизма и уделить внимание и этой могучей силе. Теперь, когда он вступил в храм своих мечтаний, он увидел, что в этом храме есть купцы и менялы; от этого храм нравился ему не меньше, напротив, он стал не так величествен и мрачен, а доступнее и человечнее. Шернер решил как можно быстрее приспособиться к новой среде и учился не выделяться, стараясь как можно быстрее усвоить ее обычаи, мысли, манеры. Он, еще не овладев искусством, старался быть смиренным, принимал всякую критику, молча глотал оскорбления, желая любой ценой проникнуть в заветные круги. Он научился осторожному молчанию (молчать солидно) и благодаря своему осторожному, смиренному и жадно-внимательному молчанию быстро стал весьма любим в литературном мире. Его считали «хорошим парнем», немного ограниченным и не очень талантливым (тем лучше, тем приятнее он казался им), приятели бескорыстно его поучали и разрешали платить за себя.

Августин Шернер был не настолько глуп, чтобы не понимать, какое место занимает он в этом мире. Но даже самые ничтожные и презираемые из этого мира все же возвышались над толпой, над пошлой посредственностью, над жалкими обязанностями, над утоми-

тельной монотонностью мещанской жизни. Это был мир веселый и свободный, по крайней мере таким он прикидывался. Никаких обязательств, никаких канонов. Единственным правилом была тут неожиданность поступков, внезапность и необычность были девизом и программой. Здесь царила причудливость и ненадежность человеческого существования, человеческое существование всеми средствами старалось вырваться из будничного течения жизни. Все ценности были поставлены вверх ногами: все, что в обычной жизни считалось безумием, здесь было нормальным явлением. Эту искусственно созданную бессмысленность выдавали здесь за протест против официальной бессмысленности в процессе человеческой истории. Но это был не протест, а всего лишь детское упрямство. Это были озорные дети рехнувшегося буржуазного общества, озорные дети знали, что им многое прощается, их шалости испытывали меру терпения.

И все же это был особый мир, в котором таились заманчивые тревоги, обманы и иллюзии; и все же этот окарикатуренный мир был возвышеннее и приемлемее, чем в своем настоящем виде: иллюзорная пропасть этого искусственного мира казалась более сносной, чем самая реальная гнусность другого, реального мира. Этот маленький мирок, выдуманный и нереальный, был, вероятно, извращением в сравнении с ценностями, некогда имевшими силу в обществе, но был простым и невинным в сравнении с тем, что его окружало.

Августин Шернер был неопитом. Все казалось Шернеру новым и ошеломляющим, и ему пока нравились неожиданности. Его еще не утомила маска шута и безумца. Он не познал еще смертельно тоскливой усталости; иллюзорный мир, в который он вступил, казался ему веселым, заманчивым и необычайно интересным. Он был самым обыкновенным «приличным человеком», без малейшей склонности к приключениям; тем сильнее ошеломляла и притягивала его необузданная свобода новой среды, ее безалаберность и отсутствие всяких обязательств. Он любил порядок и спокойствие обычной жизни, а внезапный скачок, который вырвал его из упорядоченной жизни и бросил в хаос и беспорядок, все же пугал его, и потому он пытался поскорее забыть об аптекаре Августине Шернере, о его щепетильности,

заурядности, будничности. Ему нужно было быстро привыкнуть и быстро забыть: чем скорее он погружался в новую жизнь, тем более далеким казался прежний Августин Шернер и его страхи.

На улице царил яркий свет, а они сидели в мрачной коробке, в тесной комнате над винным погребком. Кругом была плесень и паутина, электрическая лампочка, покрытая многолетней пылью, длинный грязный стол и неоструганные скамейки. Воздух был сырой и холодный, все вокруг пропахло затхлостью. Призрачный мир; только топор, воткнувший в балку, казался единственным предметом с реальными очертаниями, все остальное терялось в полумраке. Здесь собралось немало народу: на скамейках было тесно, многие сидели на пустых бочках. На крыше таял последний снег, и через дырявую крышу капало прямо на середину стола: кап-кап, стучали капли.

Подтянутый профессор Копаницкий сидел с заносчивым видом; его красивое, с правильными чертами лицо с тонкой сетью жилок казалось застывшим. Нижняя губа была слегка оттопырена, выдавая презрение профессора ко всему на свете. Профессору доставляло удовольствие выставлять напоказ свое презрение, и в такие минуты он очень уважал самого себя. В нем накопилось много злобы, как в каждом, кто понимает, что его жизнь удалась не так, как могла бы; к тому же в нем жил страх человека, подошедшего в неумолимой пытливости слишком близко к краю пропасти и заглянувшего в ее опасную пустоту. В нем были избыток злобы и избыток страха для одного человека. И он сеял страх и злобу вокруг себя, облегчая свое бремя тем, что делился им с другими. Его считали циником, боялись и выказывали ему уважение, а он с немалой эрудицией и с известной долей эlegantности бичевал слабости других, чтобы никто не заметил его собственной слабости. Он любил афоризмы, женщин и вино, больше всего на свете боялся физических страданий и смерти. Когда-то он был беспощаден к себе, хотел стать выше своей среды, в которой жил, не из честолюбия, а из внутренней потребности; теперь с брющащей и несправедливой неумолимостью человека, который обманулся в жизни, он был беспощаден к другим.

Поэт Павел Почина сидел на самой высокой бочке,

почти под потолком, и скалил в полутьме свои гнилые зубы: он разыгрывал Мефистофеля. В беспрестанном опьянении алкоголем и в той атмосфере, в которой он жил, он уже давно забыл, где кончается граница между игрой и действительностью. Он обладал некоторым талантом, резкая обостренность чувств постоянно толкала его на крайности, он был шутом и безумцем не только из чувства моды, но и из органической потребности. Честолюбивый до вульгарности, словно актер или балерина, он хотел быть в центре общего внимания, хотел выделяться с первого взгляда и выделялся своими трюками и в жизни и в поэзии. Поэзия его жила в темном царстве чудовищ и зловония, чувственных извращений, в ней были вопли, брань; это была месть чувствительного, оскорбленного человека. На самом деле у него было мягкое, доброе сердце, жаждущее гармонии и согласия. В нем был заложен дар к смиренной, тихой мелодии, но он подавлял его в себе, ибо в такое время подобный дар казался бы смешным, а он меньше всего хотел быть смешным. Это было время коршунов и воронья, время карканья и разлагающихся мертвецов — и Павел Почина каркал. Все это было позой, своего рода доспехами позы, но доспехи срослись с телом и стали уже неотделимы от него, он не снимал их даже во сне — поза обрела собственное существование, без нее он чувствовал бы себя жалким, убогим и беспомощным. Он барабанил ногами по бочке, извивался и гримасничал, словно его схватила падучая, не переставая повторять «бу-бу-бу».

Некоронованный король поэзии, поэт, завоевавший себе просторы в хрестоматиях, любимец жизни и юных девиц сидел на почетном месте и спорил. Спор был одной из многих его страстей, а он жил только своими страстями и ради них. Спорить он умел упорно, долго, до упаду, повторяя все снова и снова одни и те же аргументы. Аргументы не играли роли: играла роль личность, их произносившая. И никто не отрицал роли поэта главным образом потому, что он сам был бесповоротно убежден, что играет главную роль. Он был влюблен в себя так, как может быть влюблен только удачливый поэт: это помогало ему преодолевать все сомнения, которые вызывали простодушие и наивность его стихов. Глаза у него были очень голубые и очень светлые, про-

зрачные и чистые — такие глаза бывают у мошенников, убегающих из-под венца. Он принадлежал к старшему поколению, верил в духа, который вносит порядок в хаос материального мира, и слова «Справедливость», «Идеал», «Человек» любил писать с большой буквы. Он презирал материю и ненавидел материалистов, из всего материального он уважал только материальное благополучие. Это был простой словацкий буржуа, который жаждал светскости и потому знал наизусть названия всех сортов вин, сигар и коньяков и тайком собирал наклейки отелей. Теперь он спорил, гладкое розовое лицо его слегка покраснело от выпитого вина и от бурного спора.

— Дух, друзья мои! — говорил он. — Не забывайте о бессмертии!

И поэт Почина отвечал ему со своего почетного места:

— Бу-у, бу-у, бу-у.

Толстый редактор Паулинда резал копченое сало и кивал головой:

— Да, это ерунда. Все вокруг страшная ерунда и сплошная глупость.

Редактор Паулинда любил это общество, но прежде всего был практичным человеком. В душе он был торговец, но в эту душу кто-то впрыснул яд любви к искусству. Это был предприимчивый, ловкий человек, умевший обходиться с людьми; он мог бы разбогатеть и пойти в гору, подыщи он себе другое занятие, и он знал об этом. Он ругал себя болваном за эту свою склонность, почти бескорыстную, но не знал, как от нее избавиться: ему льстило, что он издает молодых, неизвестных поэтов, даже если это ему дорого обходилось. Они звали его отцом Паулиндой — это было его заработком, его глупой гордостью! Он отрезал себе кусок сала, ругаясь в душе, но его полное лицо улыбалось — это было лицо счастливого человека.

Августин Шернер, сидевший на скамейке, бегал за новыми кружками вина и держал себя скромно и почитательно. Тут было столько знаменитостей, столько известных людей, и все они в чем-нибудь его превосходили! Он уже не чувствовал себя чужим среди них, был одним из них, но самым незаметным. Он не заговаривал, не вступал в спор, захвативший весь стол, вежливо всех

слушал и со всеми соглашался. У него были и свои мысли, собственные взгляды, они не казались ему такими уж незначительными, но он знал, что здесь все зависит от того, кто их высказывает, и поэтому молчал.

Но вот все притихли и разом повернули головы. У двери послышался робкий звук скрипки. Там стоял цыганенок, оборванный и почти босой. Переступая с ноги на ногу, он водил смычком по скрипке, которая в его руках казалась необычайно большой.

— Это музыка небесных сфер! — воскликнул поэт Почина. — Это музыка сфер!

Он соскочил со своей бочки и взгромоздил туда перепуганного цыганенка.

— Играй, играй, — приказал он ему.

И цыганенок заиграл. Это была визгливая, терзающая слух музыка, адские завывания. И ветер, который уже давно свистел на крыше, словно только и ждал этого помощника, вдруг со всей силой обрушился на старые, сгнившие перекрытия, поднимая черепицу, с грохотом сбрасывая ее во двор. Цыганенок играл, испуганно тараща глаза, а ветер свистел все безумнее и неистовее.

— Это наша музыка! — кричал Почина. — Это музыка ада!

На крыше что-то затрещало; у всех пробежал мороз по коже, цыганенок перестал играть.

— Играй, играй! — кричал Почина, и цыганенок, тараща глаза, со страхом поглядывал на потолок, где что-то бушевало, вздыхая и грохоча. Это был безумный, оглушительный шум, в котором тонким ручейком пробивалось жалобное повизгивание скрипки. Профессор Копаницкий еще презрительнее оттопырил нижнюю губу: что за глупость! Что за жалкий ад! Но и ему стало страшно, он наслаждался страхом, смакуя это извращенное, противоестественное наслаждение. Августин Шернер погрузился в беснование звуков, пытаясь уловить их увлекательный хаос, звуки казались ему самостоятельной стихией, живым существом, захватившим власть над миром. Некоронованный король поэзии удалился из комнаты: он считал такое беснование материи слишком диким и грубым. Впрочем, он знал, что материя не очень-то считается с духом, и боялся за духа в себе.

Скрипки больше не было слышно. Ветер, вихрь, какой обычно бывает весной, с грохотом бушевал, сотрясая все вокруг. Казалось, от него дрожат даже прочные каменные стены. «Это уже не игра», — подумал профессор Копаницкий, не чувствуя теперь запретного, извращенного страхом наслаждения, а просто боясь.

А потом произошло нечто ужасное: с тихим треском проломилась подгнившая балка. Все повскакали со своих мест, стол и скамейки очутились под обломками бревен и досок, попадали и покатались бочки, поднялась известковая пыль.

— А-ай-ай! — вскрикнул перепуганный детский голосок. — Ай! — вскрикнул еще раз и внезапно стих.

Августин Шернер закрыл глаза руками: ему показалось, будто балка падает прямо на него. Он успел еще подумать: «Какая глупая смерть». И на миг ясно представил себе вдову Ашеншвандтнерову: у нее была привычка сморкаться торжественно и страстно, при этом она всегда вставала на цыпочки, надувала щеки и усердно трубила, издавая неприятный звук. «Как глупо, что в эту минуту я думаю о таких отвратительных и низких вещах», — удивился Августин Шернер. — Я должен думать о возвышенном. Где возвышенные мысли, приходящие в последнюю минуту?» Но таких мыслей не было, оставалась лишь вдова Ашеншвандтнерова — у нее было красное лицо и небольшой зеленый шелковый фартук, и она с удовольствием сморкалась в большой носовой платок. «Какая глупая, какая отвратительная картина», — успел подумать Августин Шернер. Но тут что-то ударило его по голове, и он на мгновение потерял сознание. Когда он пришел в себя, пыль уже осела, все успокоилось, через отверстие в стене просачивался слабый предвечерний свет. Августин Шернер ощупал голову: затылок был влажным и липким от крови. Шернер пополз к отверстию, только теперь, задним числом, чувствуя страх и одновременно радость, что выбрался живым. Пальцами он нащупал что-то, это была маленькая рука, необычайно тонкое предплечье и запястье — темная и грязная детская ручонка, она сжимала гриф скрипки. Августин Шернер застыл, его сразу затряс озноб. Под грудой бочек и бревен не было ничего видно, кроме худой грязной детской ручки и грифа разбитой скрипки. «Как глупо, как бессмысленно», — подумал

Августин Шернер и пополз дальше. На дворе стояли и сидели его приятели.

— Вот еще один, — сказал кто-то из них, показывая на него.

— Все уже здесь? — спросил кто-то другой. А еще кто-то начал считать, называя всех по именам. Редактор Паулинда, потирая руки, оглядывал двор.

— Слава богу, — сказал он, — все тут.

И тут Августин Шернер поднял голову и сказал удивительно слабым голосом:

— Там ребенок.

— Какой ребенок?

— Ребенок со скрипкой. У него есть маленькая рука.

— Он действительно там? Ты хорошо видел?

— В самом деле, — заметил редактор Паулинда, — это цыганенок.

— Да, — повторил Августин Шернер. — Конечно, там лежит ребенок. У него очень маленькая ручка, а в ней скрипка, гриф скрипки.

— Бедняжка, — сказал редактор Паулинда. — Это цыганенок.

— Нужно вызвать «скорую помощь», — предложил кто-то.

— Пожарных, — посоветовал другой.

— Все в порядке, — успокаивал их редактор Паулинда. — Дядя Йожи сейчас, конечно, позвонит.

Все успокоились, замолчали. Да, дядя Йожи (это был хозяин, винодел) этим займется, всегда окажется кто-нибудь, кто займется неприятными вещами. Все облегченно вздохнули: все было в порядке, ничего с ними не случилось...

— Значит, вообще ничего не случилось.

Августин Шернер, у которого кружилась голова и которого тошнило, снова упрямо возразил:

— Там ведь ребенок. И может, он еще жив.

Они молча посмотрели на него исподлобья, точно он их чем-то оскорбил.

Профессор Копаницкий искал шляпу:

— Вы не видели моей шляпы?

А поэт Почина, не лишенный чувства понимания непонятных вещей, захохотал:

— Ха-ха-ха, шляпа осталась там! Там остались шляпа и ребенок!

— Да,— повторил Августин Шернер,— ручка была еще теплая. Возможно, ребенок еще жив.

Но никто ему не ответил, теперь все испытывали раздражение и злость, из-за того что он им напоминает неприятные вещи.

Ворота скрипели и хлопали, открываясь и закрываясь. Спасшиеся от гибели уходили один за другим, не оглядываясь, уходили, как преступники, стремящиеся поскорее покинуть место преступления.

Только Августин Шернер сидел неподвижно на земле, подперев голову, и упорно старался вспомнить что-то очень важное. Ему было холодно, он дрожал, в голове глухо шумело, какие-то болезненные волны поднимались и ударяли в виски. Он с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел через двор. В воротах он замер: да, там остался ребенок, худая и грязная детская ручонка и гриф сломанной скрипки. И груда бочек и балок, целая груда бочек и балок и рука, еще живая и теплая.

Августин Шернер остановился в воротах, потирая рукой лоб. Потом медленно, держась за стены дома, поплелся за остальными.

6

А в это же самое время и почти в тот же самый час далеко на восток от этого города капитан Лабуда стоял перед следователем полевого суда. Следователь был в форме майора юстиции, с маленьким, почти детским личиком, с раскосыми глазками. В помещении бывшей школы, в комнате, покрашенной светло-голубой краской, их было двое: следователь и подследственный. Они сидели друг против друга, разделенные только маленьким столиком, и казалось, между ними идет дружеская беседа, а не допрос военно-полевого суда. Майор то и дело наклонялся над столиком к капитану, прикладывая ладонь к уху, точно не слыша.

— Ага,— говорил он, делая вид, будто понял и ответом весьма доволен. А потом переспрашивал снова и снова то же самое с извиняющейся добродушной улыбкой; видите ли, я глуховат и вдобавок забывчив, придется вам еще раз повторить. Капитан Лабуда был не так наивен, чтобы поверить в игру майора; и майор пони-

мал, что капитан ему не верит. Но он продолжал играть роль добродушного глуховатого человека, только по обязанности и без всякого внутреннего интереса занимающегося делом, которое он, в общем, не считает важным. Это было его системой допроса: из множества ответов на один и тот же вопрос он выбирал ничтожные отклонения, оговорки и из них создавал для себя новую картину, некий второй план, иное, более правдивое и отвечающее действительности представление. Майор любил свою работу, в достаточной мере волнующую, если воспринимать ее не как бездушное ремесло, а как игру, борьбу двух интеллектов, когда побеждает интеллект более высокий, быстрее суждение, более находчивый ум. Он гордился тем, что никогда не бил допрашиваемых, не принуждал их к ответу путем насилия; он старался сохранить равные условия для обоих: для следователя и подследственного. Правда, страх подследственного и свое психологическое превосходство не мог устранить даже он, но он старался ими не пользоваться.

Удобно облокотившись обоими локтями на столик, майор приветливо заморгал глазками и уставился на капитана.

— Итак, вы утверждаете, что эта девушка... как ее имя?

— Маруся.

— Да-да, вы уже говорили. Маруся... такое, в общем, обыкновенное имя. Незаметное. Не так ли?

— Я не виноват, что ее так зовут.

— Что? Ах, ну разумеется, не виноваты. Никто вас в этом не обвиняет. Итак, вы утверждаете, что она пришла к вам сама? Сама от себя?

— Я не сказал, что она пришла сама. Я сказал, что я уже точно не помню.

— Так-так. Да, теперь я вспоминаю. Итак, предположим, что она пришла не сама от себя. Что она пришла от кого-нибудь или с кем-нибудь. Вы не могли бы вспомнить, с кем или от кого она пришла?

— Я этого не сказал. Я не говорил, что она пришла с кем-нибудь.

— А я и не утверждаю. Я говорю — предположим. Предположение, понимаете? Вы не могли бы припомнить?

— Я не помню.

— Что? Ах, понял. Вы извините меня, капитан, я неважно слышу. Итак, вы не помните? Ну что же делать? Это нечто вроде высшей силы. Не так ли?

Капитан пожал плечами. Все это ему казалось каким-то смешным, необыкновенно комичным, точно это не касалось лично его, точно речь шла не о нем, а о ком-то ином. Он наблюдал за всей этой сценой со стороны, совершенно безучастно. Майор изобразил на лице сожаление и порывлся в бумагах. Потом, удобно откинувшись на спинку стула, снова замигал своими приветливыми маленькими глазками.

— Итак, хм, ничего не поделаешь. Вы не помните — и конец, точка. Но вот здесь показания сержанта Коциана. Вы его знаете?

— Знаю.

— Итак, сержант Коциан показывает: вышеуказанная Маруся вошла в объект приблизительно в 8.30 в сопровождении неизвестного мне надпоручика. Надпоручик спросил капитана Лабуду. Я довел его до самых дверей канцелярии, где и оставил... Из этого явствует, что завязка именно здесь. Что вам сказал надпоручик?

— Из этого ничего не явствует. Какой надпоручик?

— Вы хотите сказать, вы его не знаете?

— Вот этого я не мог бы сказать. Я знаю много надпоручиков.

— Ха-ха-ха! — захохотал, развеселившись, майор. Смех у него был тонкий, чистый, прерывистый. — Что правда, то правда, капитан. Впрочем, и мне этот вопрос кажется слишком туманным, загадочным и запутанным. Не станем вдаваться в подробности... Как вы думаете?

— Как вам угодно.

— Итак, покончим с этим туманным вопросом. Я лично люблю ясные вещи. Ясная вещь, словно зеркало или начищенная пуговица: ничто к ней не пристанет, даже солнце от нее отражается. И тут дело совершенно ясное: Марусю, вышеуказанную Марусю, как ее именуют протоколы, вы приняли и взяли под стражу. Из жалости?

— Из принципа гуманности.

— Ах, и у вас есть принципы? Вот видите, я именно так о вас и думал: это человек с принципами. Вы, очевидно, заметили, что сейчас появилось много офицеров с принципами. Раньше этого не было, а теперь это так.

Каждый второй офицер — человек с принципами. А что к чему? К чему в офицерском корпусе принципы? Принципы — это значит мышление. А мышление подразумевает устои нравственности. Ну скажите мне, как есть у нас принципы?

— Я не компетентен в этом вопросе.

— Что? Ах, извините, я не расслышал. Идем, на принципа гуманности. А немецкому жандарму, который уговаривал вас выйти ему за пределы лагеря, вы разбили физиономию тоже на принципах гуманности?

— Приблизительно так.

— А вы знаете, что вы не имели права? Что эту девушку следовало отдать под охрану немцам?

— Вот они-то не имеют права.

— Кто «они»? Немцы? Они не имеют права, а вы имеете право? А кто вам дал это право? Принципы?

— Я сам. Я сам дал себе это право.

— Фу-у, капитан! И ваш принцип карьеры поправляется анархией.

Капитан Лабуда снова пожала плечами. Пусть поправляется чем угодно: это мой принцип! Это принцип! До сих пор он никогда не подозревал, что у него есть какие-то принципы, какие-то твердые взгляды, но теперь ему казалось, что хотя он и не оссуждал эти принципы, все же он был к ним бесконечно и без труда, руководствуясь ими. И он почувствовала радость, точно обрел не потерянное, а давно забытое. Он слушал майора, а обретенный принцип заставляла его смеяться над этим майором, показывать свою независимость, унижать его. Лабуда откровенно понимала, чем это ему грозит; но желание было сильно, непреодолимо. Он глубоко вздохнул и проговорил спокойно, почти грустно:

— Какой же вы подлец, майор!

Майор быстро и как-то робко мигнул глазками.

— Что, извините?

— Вы подлец и свинья. — повторил капитан.

— Да понимаете ли вы, кто я? И кто вы?!

— Кто я, это еще мне точно не известно. Но кто вы, это я вижу: подлец и свинья.

Майор как будто несколько не оскорбился; он как-то жалобно моргал глазками, глядя на капитана. Точно эти слова не удивили его, точно он давно уже их ожидал; очевидно, он не раз уже задумывался над своим

положением и оно ему было не совсем ясно; может быть, даже в минуту слабости ему самому приходили в голову эти слова.

— Я выполняю свой долг.

— Гнусный долг, — сказал капитан Лабуда.

— Что это значит?! Да кто вы такой, что смеее так со мной разговаривать?! А каковы же ваши обязанности? А? А может быть, ваши обязанности благородны, высоки? Если я приказываю кого-нибудь расстрелять, то я руководствуюсь предписаниями. А вы убиваете вообще без предписаний!

— Я никого не убивал!

— Откуда вы знаете? Разве у вас нет своего подразделения, своих орудий, и разве вы из них не стреляете? Разве вы не сидите в удобном укрытии и не командуете по телефону: направление юго-восток, высота и так далее, огонь?! Разве это не своего рода смертный приговор?

Майор взволнованно поднялся из-за стола и, сунув руки в карманы кителя, зашагал по скрипучему полу. Было видно, что он с такой страстью защищается не от обвинения капитана, а от других обвинений, от тайных укоров совести, от себя самого. Капитан Лабуда сидел спокойно, сознавая свою силу и слабость противника. Он испытывал большое желание подразнить майора, оскорбить его еще сильнее, что-то толкало его выяснить, где же предел его силы!

— А мы стреляли так, чтобы не попасть, — сказал он.

— Что, простите?

— А то, простите. Мы били мимо цели.

— Да о чем вы тут болтаете?

— Я говорю, что мы никогда не попадали в русских. Однажды под Майкопом нам удалось сбить самолет. К несчастью, произошла ошибка: оказалось, что «мессершмитт». Понимаете, воздушный бой, разобрать ничего нельзя, ну вот и получилась такая штука.

— Значит, вы умышленно?

— А кто его знает? Может, и умышленно.

— И это вы говорите мне?

— Вам.

— А вы знаете, что это саботаж? Что это государственная измена?

— Ну и что?

— В этом случае может быть только один приговор, капитан.

— А какое вам, собственно, дело до моей головы? Что вы так волнуетесь? Ведь у вас так полагается: за одну голову — одна звездочка? Поздравляю вас, подполковник!

— Ну, знаете, это уж... Что это такое? А вы можете это повторить? Все это повторить?! Может быть, мне позвать протоколиста?

— Как вам угодно!

Майор застыл, не сводя удивленного взгляда с капитана. Что это за человек? Зачем он нарочно сует голову в петлю? Что это — сумасшедший или провокатор? Ну конечно, провокатор. Он вызывает его на провокацию, болтает здесь ерунду, а на самом деле все чистейшая выдумка. Но зачем ему все это нужно? Может, и в самом деле позвать секретаря и записать показания? Но ведь этот дурак, этот сумасшедший способен повторить все, способен принести себя в жертву во имя каких-то своих бессмысленных принципов! Это же верная смерть, смертная жизнь, а он все же словак — офицер, словак, как и он сам. И все это из-за одной немецкой гадины, из-за одной разбитой немецкой морды! На кой черт эти немцы сюда полезли? Чего они всюду суют свой нос? Когда им прищемят хвост в чужих дверях, так они воображают, будто рушится весь свет! Оскорбление Великой Германии! Оскорбление немецкой армии! Какому-то вонючему жандарму съездили по морде, и уже из Братиславы летят телефонограммы! Дипломатия! Союзники! Тьфу, какое свинство! (Майор испуганно оборвал себя.) Ого, что это такое?! Как я рассуждаю? Ведь подобные мысли — чистейшая государственная измена! Ведь я уже ни в чем, ну абсолютно ни в чем не разбираюсь! Кто тут обвинитель, а кто обвиняемый? Тьфу, все перепуталось!

Он смотрел сверху вниз на сидящего перед ним капитана и беспомощно моргал глазами. Капитан удобно устроился, почти развалился на стуле, безучастно глядя в грязное окно: за окном тянулась унылая, голая равнина, слегка окутанная синеватой предвечерней дымкой. Где-то очень-очень далеко на горизонте виднелись едва различимые контуры гор. Майор снова сел напротив капитана, стараясь успокоиться и вернуть соответствующую

щее его работе, его игре настроение. Но он чувствовал, что игра безвозвратно испорчена: насмешливый, вызывающий взгляд капитана мешал сосредоточиться. Дурак! Красивый надутый дурак! Разумеется, пользуется успехом у женщин и воображает, что мир — детская игрушка. На минуту он ощутил ненависть к капитану, захотелось стереть его в порошок, уничтожить, показать свою власть, но он чувствовал, что это нисколько не изменит соотношения сил, что глаза капитана по-прежнему будут насмешливо усмехаться и он, майор, окончательно попадет в дурацкое положение. Он заерзал на стуле, его маленькое личико неожиданно покрылось кривыми морщинками и стало похоже на сушеную сливу: он думал. Потом вдруг принял решение.

— Знаете что? Я не стану с вами возиться.

— Вы не хотите марать себе руки?

— Не стану с вами возиться. Я предложу перевести вас в тыл.

— Благодарю.— Капитан Лабуда иронически поклонился, не поднимаясь со стула.

Майора снова охватила злость, и, нагнувшись совсем близко к капитану, он с ненавистью прошептал:

— Вы дурак! А глупость — это еще не геройство! Это еще далеко не геройство! Запомните это!

— Благодарю,— повторил капитан Лабуда.— Разрешите вытереться? Вы меня всего оплевали...

— Дурак!

На другой день капитана Лабуду отправили под конвоем в Словакию. Это было совсем не страшно и не грустно — просто он сидел с двумя офицерами, сопровождавшими его, в закрытом почтовом вагоне, и они всю дорогу дулись в карты. Офицеры, еще зеленые юнцы, радовались, что едут домой, пили спирт и восхищались капитаном Лабудой. Историю Лабуды они уже знали: весь полк хихикал в кулак, рассказывая о разбитой немецкой морде. Капитан позволял восхищаться собой, ему было хорошо и весело; он чувствовал в себе прилив сил, огромный прилив сил, в нем укоренилось очень твердое и очень уверенное чувство, что теперь конец всей путанице, что все стало ясно и все в порядке. Именно это чувство полной ясности казалось ему особенно важным. Да, это очень важно, это самое важное: до сих пор он жил как-то неестественно, жил вопреки

своей совести, и отсюда рождалась вся путаница. Его теперешнее положение на первый взгляд гораздо хуже: его везут под конвоем, будут допрашивать, посадят за решетку. Но такое положение согласуется с его совестью, и это делает его свободным и сильным. Да, это так, все было запутано, а теперь все стало ясно. Поезд осторожно постукивал на стыках, подолгу стоял на каких-то станциях, останавливался в открытом поле, осторожно и медленно полз по временным мостам. К вечеру офицеры напились: спирт оказался крепким. Они повалились на соломенные тюфяки, а капитан Лабуда принялся писать письмо. «Со мной случился пустяк, маленькая неприятность. Но это ничего, все наладится. Я вернусь. Вы еще не забыли, что должны меня ждать? Не забыли? Вы не должны об этом забывать, Ганка, Ганка, Ганичка». Так он трижды написал ее имя и посмотрел на него с улыбкой. «Какой же я смешной», — подумал он, но ему нравилось, что он смешной, что он может быть смешным, таким смешным. «Я помню, — написал он, — свои слова, от них не отказываюсь, и я приду к вам во что бы то ни стало! Ганка, Ганка...»

Тут внезапно визгливо закрипели тормоза, но уже было поздно. Раздался взрыв. Пустая бутылка из-под спирта, консервы, тюфяки, письмо, какие-то ящики и человеческие тела — все смешалось, с грохотом взлетело в воздух и с еще более ужасающим грохотом рухнуло вниз. После взрыва на равнине снова стало спокойно и тихо.

7

Время тащилось тупо и сонно, но в этой тупости и сонливости что-то нетерпеливо вибрировало, говоря о нынешнем дне как о состоянии переходном и очень неустойчивом. Марек не понимал, откуда у него появилось предчувствие, что все внезапно и неожиданно изменится и изменится резко, до самого основания. Иногда ему казалось, что у этого ощущения временности и неустойчивости нет опоры в действительности, что это лишь его внутреннее желание как-нибудь покончить с неясностью в отношениях с Олиной, мучившей его; иногда ему казалось, что этим ощущением неустойчивости наполнено все вокруг, что он замечает его во встре-

воженных взглядах людей, что все, все чего-то ждут и чего-то боятся. Он закончил курс, сдал последние экзамены, но в жизни его ничего не изменилось. Он по-прежнему ютился в темной каморке пани Каролины Губеровой, которая каждое утро, умываясь, расплескивала воду в кухне, а потом долго шаркала туфлями и вздыхала, прежде чем улечься в свою одинокую постель. Он жил на те жалкие гроши, которые зарабатывал сам частными уроками (отец прислал ему денег, но Марек вернул их). Он питался хлебом и чаем из шиповника и жил, замкнувшись в своем одиночестве, которое нарушалось только встречами с Олиной. Он давно уже избегал людей, и многие знакомые считали его чудачком, если не душевнобольным; он знал, что к нему так относятся, но ему было словно все равно, точно ему вообще не было дела до внешнего мира. Он свернулся, как улитка, стараясь быть незаметнее и никому не мешать, он охотно надел бы на себя шапку-невидимку. В нем заканчивался уже давно начавшийся процесс — угасал последний бунт одиночки и приходило прочное чувство смирения, тихого и покорного. Он пришел к твердой уверенности, что источники, из которых мы пьем, находятся не вне нас, а только в нас самих. (Он не хотел себя обманывать, даже если дело касалось Олины: она была его вымыслом, фантазией, созданной его жаждой любви.) Он искал источники в себе, в таинственном и бесконечном пространстве, в котором витала его душа. Он снова ушел с головой в свои любимые книги, в книги, от которых бросало то в жар, то в холод, которых он страшился и которые его неодолимо притягивали. Он спускался с ними на дно собственной души. Что там? Новость? Мерзость? Животный страх? Да, там было все это, он знал это точно и определенно, присутствие их можно было доказать. Но разве там нет ничего больше, разве нет искры, озаряющей все и согревающей, божественной или человеческой искры, сладкая и незнакомая сила души? Разве там, на дне, не скрывается тайник, из которого струится восторг, восторженное стремление к страданиям, к пониманию страдания, к жалости и состраданию? Да, там, в полумраке души, на самом ее дне, есть все это великое множество способностей и их оттенков; и все это в вечном движении, переплетается, борется, гибнет и возникает, ничто не упорядочено и не

постоянно. Какая увлекательная вселенная! Иногда Марек по целым дням не выходил из каморки, ничего не ел, лежал, уставившись в потолок, и размышлял.

От такой жизни он быстро ослаб; начал худеть и наконец заболел. Как-то утром он хотел встать, но не смог. У него хватило сил позвать пани Каролину, которая шаркала и плескалась в кухне, и написать записку Олине. Он испугался. Хотя он и не ожидал многого от жизни, хотя и смирился со страданиями, он все же любил жизнь и, как все молодые люди, боялся смерти. В болезненной слабости, овладевшей всем телом, ему слышался грозный шепот смерти, и его охватил протест. Нет, он не хочет умирать, жизнь прекрасна и драгоценна, пусть она какая угодно, пусть ничем не примечательна, пусть и ничтожна, и все же она хороша и прекрасна! Олина пришла на другой же день. Она пришла в его каморку впервые, и, если бы не слабость и болезнь, которые так напугали Марека, он, очевидно, устыдился бы своей бедности. Но Олину ничто не удивило, она двигалась по комнате легко и непринужденно, точно бывала здесь много раз. Лицо ее еще более осунулось, нос стал тоньше, заострился, а пухлые губы казались еще более пухлыми. Короткие волосы она гладко зачесала: это делало ее старше. И одета она была как-то небрежно. Хотя на ней по-прежнему были те же хорошие вещи, но теперь ей чего-то не хватало, гармония и линии, так сказать душа одежды, изменились.

Пани Каролина смотрела на Олину неприязненно, как на незваного гостя. Тщательно осмотрев Олину со всех сторон, она определила качество материи на ее платье и быстро и почти точно подсчитала стоимость того, что было на Олине. Глядите-ка, глядите, девушка из хорошей семьи, богатая — и мой бедный, нищий студент! Какой роман! Но Олина ей приветливо и униженно улыбнулась, у нее появилась теперь униженная улыбка, не свойственная ей прежде, а у Каролины было доброе сердце, всегда готовое смягчиться. Они вдвоем стали заботиться о Мареке как умели, но тот лежал недвижимый и тихий, еле слышно дыша; он все время находился в каком-то удивительно приятном забытии. Была только одна тяжесть: он не мог разомкнуть веки, которые точно налились свинцом или еще более тяжелым металлом и давили на мозг. Врач, вызванный

Олиной, долго осматривал Марека и недоверчиво качал головой. Это был пожилой, хорошо одетый человек, домашний врач Олины, любивший строить из себя грубияна, маскируя свое доброе, преисполненное любовью, человеколюбием сердце.

— Ну и ну, — ворчал он, считая пульс, выстукивая и поворачивая беспомощное тело. Потом зашептал Олине: — Это особый случай, барышня, последний раз в моей практике такой случай был семь, нет, восемь лет назад.

— Что это? — спросила Олина.

— Голод, — ответил врач, — голод, самый обыкновенный случай голодания.

— Голод?

— Да, вот так, обычный голод. Конечно, это немислимо в наше время, но наука, барышня, не ошибается. Студент, да? Сдавал экзамены? Да? Ну, перестарался, ах, святая наивность молодости!

И он еще что-то бурчал о молодости, припомнил свои студенческие годы и стал почти сентиментален.

— Ничего, барышня, — сказал он наконец, — через недельку юноша будет на ногах. — И уже в дверях спросил: — Это ваш, хм, друг, барышня?

Он окинул взглядом каморку, и на его лице грубияна-гуманиста появилась неуловимая улыбка. Олина хотела сказать: «Это мой хороший знакомый, он давал мне уроки французского языка», но проговорила:

— Да, это мой друг, мой очень хороший друг, доктор.

И в самом деле, это были теперь не просто слова, сейчас, когда Олина сидела возле беспомощного Марека, вытирала потный лоб и кормила его какой-то кашей, она вдруг поняла, что это правда. До сих пор она в нем нуждалась, воспринимала его лишь как частицу своих страданий, он был возле нее, потому что должен же был существовать кто-нибудь, кто помог бы ей нести тяжкое бремя. А теперь он лежал беспомощный и нуждался в ней, тем самым как бы перестал быть просто ее тенью, он стал самостоятельным существом. Теперь она не то чтобы поняла, а вмиг почувствовала весь его внутренний мир, его силу, смелость, его страдания, взглянула на мир его глазами. И странно, именно теперь глядя на его бледное, почти прозрачное лицо, она чувствовала, что Марек и в самом деле ее любит.

До сих пор (она раньше никогда это не осознавала и поняла лишь сейчас), казалось, в его отношении к ней было что-то неясное, что-то неискреннее и натянутое, точно Марек сам себя к чему-то принуждал. Теперь она поняла и это и знала, что он вопреки всему ее любит.

Вскоре Мареку стало лучше, и тупая боль в голове слабела и медленно уходила, векам стало легче, он попытался их поднять, и, к его удивлению, это ему без труда удалось сделать. Он открыл глаза и увидел лицо Олины. Это его нисколько не удивило, он чувствовал, что она здесь (ему казалось, будто он что-то видел в том сладком, приятном забытии, о котором он смутно помнил). Он был слишком слаб, чтобы ужаснуться при виде ее в этой грязной дыре, чтобы со стыдом подумать о своей беспомощности: у него не хватало сил думать об этом, и он не думал.

— Это ты?

— Тсс, тише. Молчи.

— Как хорошо, Олина.

— Молчи. Ты очень слаб, и тебе нельзя разговаривать.

— Да, это правда. Я очень слаб. Как хорошо, Олина. Олина...

— Тсс. Что ты хочешь?

— Ах, Олина, Олина. Я очень слаб, но мне хорошо. Очень хорошо, понимаешь?

— Довольно! — строго сказала Олина.

Марек послушно закрыл глаза. Он чувствовал прикосновение руки Олины к своему локтю, прикосновение мягкое и приятно прохладное, и это было все, чего он страстно желал, это было самое большее, чего он мог желать от жизни! Он был очень слаб и невыразимо растроган — на глаза навертывались слезы. Он чувствовал себя легким и воздушным, освобожденным от физической тяжести, тело точно потеряло форму, размеры и вес. И наоборот, то, что представлялось ему душой, словно нашло воплощение, еще неясное и смутное, но он знал, что немного усилий — и все прояснится. Да, этого, конечно, можно достичь. Он это увидит, и это наступит скоро, очень скоро. Его охватило блаженное чувство; он улыбнулся и с этой ясной улыбкой на губах так и заснул.

Олина берегла его сон, она приходила каждый день и ухаживала за ним. Она не любила страданий, боли, болезней. Она была молода, и страдания и боль были ей неприятны. Но сейчас в ней происходила перемена, чудесная перемена по основной химической формуле, великая и окончательная метаморфоза организма. Ее прежний облик исчезал. (Неужели это правда? Неужели некогда существовала девушка с волосами, как у Алиды Вали? Девушка, мечтающая о романтическом Герое и романтической Любви и Страсти? Вполне возможно, что такой девушки никогда не существовало, все было ложью.) Точно из затуманенного зеркала проступал новый образ страдающей, умудренной жизнью женщины; новое лицо показывало язык прежней, доисторической Олине, насмехаясь над ней; и все же ей было чуточку жаль той, прежней Олины. Первый взрыв отчаяния, невыносимая боль прошли. Боль утраты любимого человека, чью любовь она потеряла, притупилась. Теперь ей казалось, что она потеряла способность любить, и сама не знала, радоваться ли этому или бояться этого. Нельзя сказать, что она как-то особенно раздумывала о своей судьбе. Не то чтобы она боялась такого раздумья, нет, но это было неприятно, а она по-прежнему уклонялась от всего, что было ей неприятно или беспокоило ее. Она знала, что по общепринятым понятиям она несчастна и должна страдать. Ну и что? Ну и несчастна! А какое кому до этого дело? Ну и буду страдать! При чем тут остальные? Я одна буду страдать! Буду страдать — и кончено!

Это было, конечно, легкомысленно, но Олина не могла все время быть в отчаянии, это было не в ее натуре. Отчаяние, унижение, покорность, в которых она жила после всего того, что произошло, были для нее слишком неестественны. Инстинктивно она старалась избавиться от этой тяжести, искала опоры. Теперь ей казалось, что она ее нашла — это был протест. О нем, о том человеке ей не хотелось думать. Ей казалось, что она ничего к нему не испытывает, что он стал для нее безразличен. Вдобавок некоторые воспоминания были очень неприятны, ранили ее новую гордость, которая должна была служить ей опорой. И кроме того, в этом она себе не признавалась, она боялась об этом думать — в самом тайном уголке сознания, где-то в

тайниках сердца жили страх и надежда: а что, если он меня позовет, побегу ли я к нему? В ней было еще много запутанного и неясного, она не могла и, пожалуй, даже не хотела видеть себя отчетливо. Но одно она чувствовала безошибочно: прежний эгоизм, глупое и низкое себялюбие покидают ее. Она не стала теперь менее эгоистична, но новый эгоизм был как-то шире, он включал в себя гораздо больше предметов и людей; теперь она замечала и других.

За эти несколько дней она сблизилась с Марекom именно потому, что теперь она его больше уже не считала лишь зеркалом своих скорбей и надежд, человеком, который ее любит; теперь она видела его одиночество, видела его истинное лицо. Она видела его необыкновенно робкую застенчивость, душевную чистоту, его энергию, целиком обращенную внутрь и сгорающую без пользы, его тяжелое и постоянное одиночество, его склонность к переживаниям и страданию. Она поражалась: какой своеобразный человек! И жалела его чистой жалостью сестры. В эти дни они разговаривали мало: узнавали друг друга молча. Они жили точно в другом мире, освещенном иными, преломленными лучами: все было необычно, а многое казалось совсем новым и поражающим. Марек хорошо видел новое Олинино лицо, ее новое отношение к себе. Он не задумывался глубоко над этой переменой, зная, что ее новое чувство слишком далеко от того, чего он так настойчиво ждет. И все же это было так чудесно, так прекрасно — чувствовать ее близкой-близкой, понимать выражение ее глаз и ее улыбку! Он слишком слаб и охотно предавался мечтаниям: теперь Олина пробуждала его мечты.

8

В свои семнадцать лет Ганка Крапова сохранила еще весьма романтические представления о жизни. Эти представления создавались не по известной схеме: девушка из бедной семьи, богатый, молодой, красивый, эlegantный юноша. Ганка отличалась слишком практичным умом, чтобы лелеять подобные мечты. И все-таки она ждала от жизни многого, очень многого, если иметь в виду ее малые возможности. Она, пожалуй, никому

не сумела бы сказать точно, чего она ждет, но очень хорошо знала, чего она не хочет. (Ей не хотелось походить на сестру Илону: мрачную, несчастную и злую; ей, Ганке, не хотелось мужа, от которого вечно несет табаком, водкой и который плюет на пол; ей не хотелось вечно торчать дома, где не повернешься, где безнадежно тесно и грязно; ей не хотелось нарожать десятков детей, бледных и хилых; не хотелось вечно варить и вечно стирать и гладить, вечно бояться за завтрашний день. Словом, ей не хотелось жить так, как жили окружавшие ее женщины, не хотелось жить, как ее мать и другие женщины в поселке. Она не хотела нищеты и горя, нет, нет!)

Она хотела... чего она хотела? Она хотела, чтобы все вокруг нее изменилось. Она ведь так любила движение и перемены, что ни на секунду не могла бы поверить в неизменность судьбы; у нее было великодушное сердце, поэтому она желала перемен для всех так или иначе обойденных судьбой, она знала и то, что эта перемена как-то связана с тем, что делали ее отец и брат. Она была смелой, подвижной, живой; ей часто хотелось отправиться в путешествие, открывать, познавать чужие края. (За все свои семнадцать лет она не бывала дальше соседнего городка, в тринадцати километрах от поселка; это были обычные школьные прогулки с песнями-маршами, сваренными вкрутую яйцами и скверным лимонадом; для нее же это были Великие Приключения.) С виду хрупкая, нежная девочка, она была сильной, здоровой и крепкой, жадно рвалась к жизни и борьбе. Она принадлежала к числу тех девчонок, что растут среди мальчишек, не любят играть в уклады, а предпочитают прыгать через забор в чужой сад, умеют бегать и взбираться на деревья, ходить на лыжах или играть в волейбол не хуже своих сверстников. Городскую школу она окончила очень хорошо, и ей так хотелось учиться дальше, добиться чего-нибудь. Но дома не хватало денег, да и отец не захотел: к чему ей учиться? Девчонка должна выйти замуж, к чему ей учиться? Еще избалуется, курить приучится да губы мазать всякой дрянью.

Это была первая обида, первый серьезный удар в ее жизни; она поплакала, но не сдалась. Она была убеждена, что это лишь временное препятствие, как же

так, неужели ей, Ганке Краповой, суждено торчать в этой безутешной, безнадежной, серой обстановке? Нет, это совершенно невозможно! Она верила в себя — это была наивная, трогательная и непоколебимая вера.

А этой весной, этой удивительной весной все вдруг начало меняться. Теперь уже не казалось ей все таким ясным: она стала кое в чем сомневаться. По какой-то таинственной причине она потеряла веру в себя, спокойная уверенность сменилась нерешительностью, робостью, страхом. Она противилась тому, что с ней происходило, но с изумлением и почти с ужасом убедилась, что ничего не может поделать. Со стороны ничего не было заметно; этой весной она похорошела, словно выросла и округлилась, движения утратили угловатость и резкость. Она видела это, но не хотела этому радоваться (хотя, впрочем, все-таки чуть-чуть радовалась). Она была убеждена, что в этих физических изменениях скрыта приманка, которая может помешать ей, ее простой и чистой радости жизни. Ей не с кем было поделиться своим смятением. Сестра ее недолюбливала, мать была слишком стара, с головой ушла в непонятный для Ганки мир, подруг у Ганки не было, а парней она теперь как-то избегала, чувствуя, что с ней творится нечто такое, что безвозвратно испортило ее прежние дружеские отношения с ними. О капитане Ганка вспоминала не часто и, как ей самой казалось, неохотно. Она посмеивалась: «Какой роман! Глупая деревенская домоседка и скиталец! Три танца — и уже на всю жизнь голову потерять!» Но его два письма, написанные неловко и, как ей показалось, холодно, она все же сохранила и спрятала в своей каморке на дне коробки, где лежали все ее драгоценности: последняя школьная фотография с подписями, стальное колечко, выточенное для нее Юло Голко, и фотографии, вырезанные из газет, с видами далеких и незнакомых городов: Амстердама, Банско-Бистрицы, Рио-де-Жанейро. И хотя письма Ганка прочла только по одному разу (или, быть может, два!?) и больше к ним не прикасалась, избегая их, точно тягостной встречи, она помнила их, как ни странно, почти наизусть! Она не признавалась самой себе, что ждет следующего письма, и еще одного, и еще чего-то; это ничего не меняло — она ждала. Но капитан внезапно перестал писать, замолчал в таинственной

дали. Она была почти совершенно уверена, что он ее забыл. Глупая, глупая, и чего ты воображала? Принц и Золушка! Золушке надо подметать пол, стирать белье и мыть посуду! И не думать о глупостях!

Она подметала пол, стирала белье, мыла посуду и продолжала думать о глупостях. Теперь, когда она была почти совершенно уверена, что всему пришел конец (чему всему — трем танцам и шепоту у окна? И надеждам, надеждам!), она позволяла себе думать обо всем этом. Вспоминая, она вызывала в памяти картины и видела чаще себя, чем капитана: образ капитана рисовался каким-то блеклым, будто туманная отцовская фотография с войны: конечно, это когда-то было, но очень давно, совсем в другом мире. Часто, что-то делая, задумавшись и бросив все, она вдруг останавливалась: ей хотелось уловить ускользавшие от нее воспоминания. Она не плакала, не проронила ни единой слезинки, только ругалась — ругаться она научилась у своего брата. «Вот дьявол! Тысяча чертей! Вот дьявол! Ну чего я стою, уставилась как баран на новые ворота?! Что со мной творится?! — И потом ласково обращалась сама к себе: — А не влюбились ли вы случайно, уважаемая барышня Крапова? Влюбились? Да, влю-би-лись, если хотите знать. А во что, скажите, пожалуйста? Не угодно ли лучше вам спросить, в кого? Да, в кого? В себя, уважаемая барышня, и еще кое в кого; вам нравится, что вы кое-кому понравились, и этот некто вам нравится, потому что вы ему понравились. Брысь, пошли прочь, духи, вы слишком глупы и завистливы!»

Но постепенно она привыкла к подобным разговорам с собой. Насмешливое сострадание к себе защищало ее от отчаяния — это были своего рода рыцарские латы. Каждую субботу она отправлялась в далекий путь закупать сыр в горах. И дорогой оставалось много времени на мысли о себе и о целом свете; и она думала и о такой грязной и неприятной вещи, как любовь. И поскольку только в этом она была неромантична (она слышала кое-что об этом от своего брата), она пришла к выводу, что все творящееся с ней совсем не удивительно, хотя и глупо. И просто жаль этой симпатичной девушки (Ганки Краповой!), что она занимается такой ерундой да и вообще изнывает! (Она занималась этой ерундой и изнывала.) Мир полон приключе-

ний и чудес и без того, и без парней, которым мы готовы повеситься на шею; на свете есть дела и посерьезнее, дела поважнее и позначительнее, чем слюнявые глупости, которые неизвестно с какой стати появляются в голове семнадцатилетних девиц. (Ох, эти слюнявые глупости, ну их к дьяволу, все-таки они были гораздо привлекательнее серьезных и важных дел!)

В одну из таких суббот произошло событие, надолго выбившее ее из колеи. Она шагала по проселочной дороге вдоль реки, в пустом рюкзаке шуршала в такт шагам бумага. За поворотом ей пришлось остановиться: поперек дороги стояла машина, под машиной возился перепачканный шофер, а возле него стоял Лемнитцкий в кожаном пальто (было начало мая, но тут, в горах, еще стояли холода). Она хотела его обойти, не поднимая глаз, но Лемнитцкий ее остановил.

— А! Какая неожиданность!

— Добрый день, пан районный начальник, — ответила она, боясь поднять глаза, — какая неожиданность!

— По-моему, я где-то вас видел?

— Может быть. Я не невидимка.

— Ха-ха! Факт. Вы любите природу?

— Что?

— Природу. Я слышал, что вы довольно часто совершаете прогулки.

— Я хожу за сыром.

— А зимой на лыжные прогулки.

— Да-а. Зимой я катаюсь на лыжах.

— Это хорошо. В здоровом теле — здоровый дух. Нам нужна здоровая молодежь. У нас будет здоровый народ. Правда?

— Да, наверное, так, пан начальник.

Ганка изо всех сил старалась казаться спокойной, но чувствовала, как от страха помимо ее воли к лицу приливает кровь. В кармане кофты она несла записку, поручение к брату. Она судорожно стиснула ее в руке: что делать? Где-то она читала, будто в таких случаях полагается проглотить записку; бумажка стала влажной от потной руки и, конечно, очень грязной. Даже при мысли о том, что ее надо проглотить, Ганка почувствовала тошноту. А Лемнитцкий, по-прежнему не сходя с дороги, обшаривал ее беспокойными, бегающими глазами.

— Ну что ж, — вздохнул он вдруг, — пожалуйста. — И отступил с дороги. Но когда она проходила мимо него, он схватил ее за плечо, не грубо и сильно, но словно как-то показывая, что может схватить грубо и сильно, и прошептал ей:

— Передайте привет брату.

— Кому?

— Вашему брату. Знаменитому Янко Крапу. От него нет вестей?

— Не... не понимаю...

— И верно, вы не понимаете. Но на всякий случай передайте ему привет: сердечный привет и тысячи воспоминаний от районного начальника гарды Лемнитцкого. Я к нему весьма расположен. Хорошо? — На миг его глаза, бегающие, злые и угрожающие, остановились. Она вырвалась и бросилась бежать. Рюкзак смешно подпрыгивал на спине. Глупая, смешная, она же себя выдала и знала об этом. Она услышала за спиной смех Лемнитцкого. Теперь страх прошел, и ее охватила злость, невыразимая, дикая злость, которая так и заставляла ее обернуться, броситься на Лемнитцкого и выцарапать ему глаза. Но ноги несли ее дальше, потом хохот затих, и она остановилась перевести дух. Она кусала губы, плача от злости: глупая, глупая, глупая! Дело, в котором и она была крохотным винтиком, она считала таинственным и неприкосновенным, в нем заключалась и та перемена, которой она ждала. И теперь, она знала, она испортила это дело. Глупая, глупая, глупая!

На Лазенце ее ждал Янко Крап. За зиму он отрастил бороду, каштановую, мягкую, курчавую, и губы у него стали словно краснее. Она пожаловалась брату, он озлобленно нахмурил брови, потом успокоил ее. Это ничего, Лемнитцкий просто паршивая крыса, которая боится и потому пугает беззащитную девчонку. Ну, что ты реवेशь? Из-за такой подлой дряни не стоит, таким мы в два счета свернем шею. Тысяча чертей! Клянусь, не миновать ему петли, не будь я Янко Крап, висеть ему на суку, мы еще ему сапоги дерьмом намажем!

Потом он все же сказал ей:

— Придется тебе кончить это дело, Ганка.

— Значит, мне нельзя уже ничего делать?

— Надо быть осторожней, Ганка. Им все равно,

что ты девчонка и тебе только семнадцать лет. Тебе нельзя попасть к ним в лапы.

— Значит, мне нельзя больше сюда ходить?

— Да, теперь тебе надо быть осторожней.

Он хотел еще добавить: «Ты дорогой, самый дорогой человек для меня, и поэтому с тобой ничего не должно случиться». Но так и не сказал — ему казалось, что такие слова не к лицу суровому воину.

9

Когда Янко Крап думал об освобождении пролетариата, то всегда представлял себе свою мать, ее сухонькое, небольшое лицо, надувшиеся жилы на ногах, которые она растирала керосином. А думая о победе, о будущем коммунистическом завтра мира, он сразу представлял себе свою сестру, умную, энергичную и развитую девушку. Она могла бы, скажем, стать летчиком, полярным исследователем или знаменитой спортсменкой. (Янко Крап никогда не представлял себе, по крайней мере имея в виду Ганку, что при коммунизме будут и обычные профессии — стенографистки и продавщицы овощей, парикмахерши и вечно озабоченные многодетные матери.) Вообще о будущем Янко Крап думал редко. Э, что там будет — увидим, когда доживем, теперь не время мечтать. И он не мечтал; он сторонился всего, что могло бы его хоть как-то отвлечь от действительности и от действий. Он любил считать себя человеком практики и героем дела, а все остальное называл ерундой. Он прочитал «Манифест Коммунистической партии» и «Государство и революция»; в них он видел залог гигантского движения и активности миллионов. Сильное впечатление произвели на него и «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида и роман Павленко «На Востоке»: в них обещание становилось явью, все здесь было в движении, здесь были ясные и конкретные действия, которые все будоражили и все изменяли. Такие действия были его идеалом.

Однако к своим убеждениям он пришел не только через книги. Одним из самых ярких его воспоминаний было воспоминание о первомайской демонстрации, красных гвоздиках, об отце, который нес знамя, о

вкусных сосисках с горчицей и глотке пива — этот день был для него лучшим праздником в году. В девяносто лет во время голодной демонстрации вместе с остальными сорванцами он бил окна в магистрате. Это была пока невинная детская игра, но и тогда уже он предчувствовал, что эта игра серьезна. Потом он вступил в комсомол, и его выгнали из шестого класса гимназии за распространение нелегальной литературы: он дал почитать однокласснику «Мать» Горького. Он выучился на механика в авторемонтной мастерской старого Бенчи и за эти годы привык презирать всех, у кого чистые руки и незамасленная одежда. В эти годы, в годы возмужания, появились и сомнения и первые нелады с совестью. Секретарь красных профсоюзов, человек с редкими рыжими волосами и большой бородавкой на носу, старый знакомый их семьи, растратил деньги. Он растратил деньги, потому что страшно бедствовал: у него было слишком много детей и слишком мало терпения. Но Янко Крап был тогда настолько молод, что в его глазах ничто не могло оправдать этот позор, для него этот случай был ударом, настоящим ударом в спину. Все, во имя чего он жил, казалось ему бесповоротно оскверненным; он отошел от общественной работы, озлобился. Он пытался в одиночку, самостоятельно найти выход, независимый ни от кого, а главное — от секретарей, которые растрачивают деньги. В эти времена он часто встречался с Марekom, своим бывшим товарищем по школе. Янко казалось, что этот робкий юноша скрывает за словами тайну той независимости, о которой он так мечтал. Но Янко недолго выдержал совместные поиски выхода — всем сердцем он ненавидел абстракцию, неясность и неуверенность. И кроме того, наступала серьезная пора, полная туманных прогнозов, события развивались быстро и энергично, ушел в забвение случай с рыжеволосым секретарем; призрак фашизма перестал быть призраком и превратился в реальную угрозу. Для Янко Крапа это было призывом судьбы, звуком боевой трубы, и он вернулся в ряды бойцов, как тогда говорили, зная, что он никому не оказывает милости, а лишь осуществляет свое право и выполняет свою привилегию, свой долг.

Теперь его мучила лишь одна забота: оружие, оружие и оружие. Были охотничьи ружья, старые винтов-

ки, спрятанные браконьерами еще со времен прошлой войны, были и неуклюжие старинные револьверы — это было смехотворное оружие против оснащенной по последнему слову техники современной армии, и Янко Крап знал об этом. Но он знал и о том, что пришли в движение скрытые силы, что тысячи и тысячи новых бойцов поднимаются в ярости и ненависти, знал, что безоружный народ надо вооружить. С тем оружием, что было у них, они могли сойти разве что за разбойников, героев-авантюристов. Но Янко Крап знал, что речь идет и о большем: надо было поднять на борьбу весь народ. Оружие, оружие и оружие. Его лагерь разросся, вокруг собирались молодые, готовые на все парни, и пожелай он — их будет еще больше. Пробыл час, предсказанный поэтом: «Третий раз послышится свист — сабли зазвонят». Но в его век было слишком хлопотливо возиться с саблями: их попросту не было. Янко Крап настойчиво и упрямо добывал оружие. Он познакомился с ротным в казармах, и в записке, принесенной Ганкой, для него содержалась надежда: кажется, он сможет добыть настоящие боевые винтовки и даже легкий пулемет с двумя ящиками лент. Вот это да! Янко Крапу казалось, что с таким вооружением они станут сильными и непобедимыми.

Спустившись с Лазенце к ручью, он зашагал вверх по ущелью, вдоль ручья, бегущего среди скал с приглушенным журчанием. Солнце стояло над Черной Браной, по небу плыли легкие, торопливые весенние облака. В ущелье дул ветер, было холодно и неудобно, но весна и здесь брала свое: о ее приходе говорили и сережки на вербах и ракитах, молодые березы наливались горьковато-сладким соком. Но Янко Крап ничего этого не замечал. Он не был ни горожанином, ни поэтом, природа не вызывала в нем каких-то необычных чувств, для него она была лишь средой, естественной средой, в которой развиваются определенные формы жизни. Он не мог бы, пожалуй, сказать, любит он природу или нет, но он определенно недолюбливал людей, которые твердили с преувеличенной восторженностью о своей любви к природе. К горам, где он жил уже много месяцев, он чувствовал благодарность: они прятали его... (Это было извечное чувство всех преследуемых и изгнанников.) Но то, что обычно называют природой, над

чем привык вздыхать городской житель и о чем слагают сладко-меланхоличные стихи, — этого он словно не замечал. Он был охвачен лишь одной мыслью, и ей подчинялось все. В ущелье с прозрачным ручейком, с сережками верб и раkitника для Янко не было пробуждающейся весны — ущелье представлялось ему идеальным путем для отступления, которое можно прикрывать одним противотанковым орудием с двумя пулеметами и где можно задержать даже хорошо вооруженный батальон противника. Дикий, девственный лес под Черной Браной — это последний резерв, убежище в минуту наибольшей опасности. Тропинки и дороги, крутые откосы и глубокие долины в его глазах были позициями для наступления и отступления, высотами и опорными пунктами. Он хранил в голове рельефную карту всей местности, видел эту местность не в состоянии величественного покоя, а бунтующей, пришедшей в движение. Он чувствовал себя командиром и вождем не только людей, но и всей материальной природы, которая — он был глубоко убежден в этом — внезапно пробудится и придет ему на помощь.

Янко Крап торопился скорее добраться до своих. Он не любил одиночества, слегка его побаивался и чувствовал себя почти обиженным, если приходилось оставаться в одиночестве. Одиночество казалось опасным и предательским, на смену привычным мыслям в эти минуты рождались иные — беспокойные и странные. Например, как проста и очевидна мысль: я отдал свою жизнь и все силы на борьбу за освобождение пролетариата. А в одиночестве вслед за ней всплывала крохотная искуcительная мыслишка: в самом деле? У тебя и в самом деле столько преданности и желания принести себя в жертву? А может, это не так, тебе доставляет удовольствие твое положение и ты просто кокетничаешь своей ролью вождя? Может быть, тебе попросту доставляет радость возможность приказывать, ругаться и распекаль, может быть, это свойство твоей натуры, а все разглагольствования о преданности и жертвах только плохая маскировка самолюбивого и лицемерного мещанишки?

Янко Крап не любил таких мыслей, буквально ненавидел их. Они вносили беспорядок туда, где все было упорядочено, запутывали ясные и отчетливые линии его

жизненной программы. Откуда они появляются? По какому праву? У него было единственное желание — не верить им, заглушить их, изгнать раз и навсегда. Но искусительные мыслишки и не исчезали, и он чувствовал, что они остаются с ним, как чувствуем мы даже во сне больной зуб. Чепуха, ругался он, разные подсознательные мысли, Фрейд и комплексы — все это чепуха для студентов и скучающих барышень! Но мыслишки, крохотные, трусливые, не исчезали, он ощущал их не как прямую угрозу, а как отдаленную возможность угрозы.

Янко торопливо, почти бегом пробирался вверх по ущелью, а искусительные мыслишки всю дорогу спешили за ним, в какую-то минуту ему даже почудилось, что он прислушивается к ним. И когда перед Янко Крапом внезапно открылась поляна со сторожкой лесника (после ухода особого отряда они снова перебрались в лесную сторожку), он тяжело перевел дух, точно избежал какой-то опасности. И тут же засмеялся сам над собой, сомнения (ибо искусительные мыслишки были, собственно, не чем иным, как сомнениями) мгновенно исчезли, и сразу все стало простым и ясным. На прогалине перед сторожкой царили шум и веселье — все плотным кольцом окружили лужайку, в центре которой боролись Леша и Артем.

Артем, легкий как перышко, увертливый и стремительный, прыгал вокруг Лешы, задирая его, а тот, будто вросший в землю, хмурился, точно раздумывая: ударить или не ударить? Леша, грузный и неповоротливый, отяжелел от долгого безделья, но руки, сжатые в кулаки, казались могучими и грозными.

Профессор Маркех, в модной шляпе с широкими полями, выбритый, надушенный, сказал менторским тоном Янко Крапу:

— Это атавизм. В основе всех спортивных игр лежит не просто избыток сил, но и женщина, которая способствовала тому, что мужчины осознали этот избыток. Смотрите, она готова закудахтать от радости!

В дверях сторожки стояла лесничиха. Взволнованно, затаив дыхание, она следила за борьбой. Янко Крап помрачнел. И он знал о тайном соперничестве между Лешей и Артемом, но об этом не следовало бы говорить. «Хватит, ребята», — хотел сказать Янко Крап, но

опоздал. Артем ускользнул от неповоротливой Лешиной руки и съездил его по носу. У Лешин хлынула из носа кровь, но он не двинулся с места, стоя по-прежнему как вкопанный, готовый вот-вот ударить Артема. Все это видели, кроме Артема.

— Берегись, Артемка! — крикнула лесничиха, и в ту же минуту раздался звук удара. Точно какая-то сила оторвала Артема от земли, и он тяжело упал на спину. Леша тыльной стороной руки утер нос и в недоумении уставился на лежащего Артема. Потом, рухнув на колени возле него, жалобно протянул:

— Артемка, Артем!

Доктор Розенталь осторожно, стараясь не запачкать брюки на коленях, нагнулся к Артему.

— Ничего страшного, — сказал он, подняв голову. — Все в наилучшем порядке.

И действительно, Артем, поддерживаемый Лешей, встал и сконфуженно оглянулся. Лесничиха исчезла в дверях, и Янко Крап сказал так, чтобы все слышали:

— Больше этого никогда не повторится!

Но профессор Маркех заметил:

— Не мешайте стихии быть стихией. Иначе вы будете смешны.

— Благодарю, — со злостью проговорил Янко Крап, — благодарю покорно, пан профессор. Когда мне понадобится совет, я обращусь прямо к вам.

— Ваш покорнейший слуга, — сказал профессор, поправив галстук, — всегда к вашим услугам, брат-командир.

Янко Крап впервые внимательно посмотрел на профессора Маркеха. Стихия! Надушенная стихия! Чего он у них ищет? Когда в конце зимы он пришел к ним в отряд, его прямо спросили: зачем вы пришли? И он, не смущаясь нисколько, ответил:

— Я ишу справедливости, пан Крап.

— Ну, не знаю, — сказал тогда Янко Крап, — найдете ли вы у нас то, что ищете. Принципы не растут в горах и на деревьях.

— Попытаюсь, — сказал профессор Маркех, — это стоит того.

Он остался в отряде и вот разгуливает среди них в своем несколько провинциальном элегантном костюме; и Янко Крапу порой кажется, что он лишь строит

из себя шута, высокомерного и пустого шута, что это попросту провокатор.

— А стихию мы будем укрощать, — сказал ему резко Крап. — Ради дисциплины, пан профессор!

— Да, это правда, — ответил Маркех. — Во всем должен быть порядок.

В их разговор ввязался и доктор Розенталь в своем ядовито-зеленом, подпоясанном какой-то бечевкой пальто и в берете на абсолютно голом черепе. Он плохо расслышал и поэтому переспросил:

— Что, простите?

И Маркех с готовностью пояснил:

— Порядок — это основа вселенной. Еще за день до того, как старый добрый господь бог задумал сотворить мир, он заложил краеугольный камень, содержащий принцип порядка. Вначале не было ни слов, ни действия; вначале царил хаос, и сразу же на смену ему пришел принцип порядка. Гитлер не выдумал ничего нового: он довольно грубо понял практику вашего господа бога, доктор.

— Да, пожалуй, — проговорил вежливо доктор Розенталь и неуверенно посмотрел сквозь очки на Маркеха, не понимая, шутит тот или говорит вполне серьезно. Янко Крап сердито отошел от него и от всего сердца сплюнул: тоже мне борцы!

10

Капитан Лабуда пришел в сознание, ему было холодно, и он весь промок. Над головой он увидел темные, почти черные облака, сквозь которые неясно светило несколько звезд. Он лежал на отлогом берегу, ноги были по колено в воде. Он пошевелился, и мгновенно его пронзила резкая боль в левой ноге. И в ту же секунду он вспомнил все, что произошло: поезд, взрыв, взлетевшие в воздух обломки вагона, чей-то крик и выстрелы. Он прислушивался, но всюду стояла тишина, лишь вода в речке, где он лежал, приглушенно журчала. Метрах в десяти от него в темноте неясно вырисовывалась железнодорожная насыпь с обломками поезда. Он насмешливо подумал: «Должно быть, я летел вроде архангела. Недурная картинка — парящий в воздухе капитан, вдобавок арестованный по подозре-

нию в государственной измене; ха-ха-ха, жаль, что мне не удалось поглядеть на это собственными глазами!»

Это было первым, о чем он подумал, и мысль ему очень понравилась: она была насмешливой, почти веселой. «Ха-ха, никогда вы еще не выходили из поезда с такой помпой, капитан. И кажется, вы не предстанете теперь перед прокурором, да и вообще вы внесете ненужный беспорядок в документы! Ха-ха-ха!» Он расхохотался бы злорадно и от всего сердца, если бы не тупая боль в ноге, безумно тяжелой и словно чужой. Он с трудом выбрался из воды, растянулся на спине и некоторое время тяжело переводил дух. Он ранен и оказался совсем один — это было его второй мыслью. Он был совсем один, всеми покинутый и брошенный в незнакомой местности, под незнакомым темным небом; здесь ничто не напоминало ему того, что он видел, что знал, что пережил, — все было совсем новое и совершенно неизвестное. Не страх, не ужас чувствовал он, лежа на спине и глядя в неприветливое, темное небо. Его охватило чувство, острое, почти болезненное чувство одиночества во всей вселенной. Вдали от всего. Вдали от всех. И вдруг он понял, что любит свою родину, свою Словакию, свою родную страну не потому, что ее следует любить, а потому, что без нее для него невозможна жизнь. Это было мгновенное прозрение, стремительный порыв чувств; ему казалось, что он раз и навсегда разрешил давно мучивший его вопрос: что такое родина? В этот краткий миг он познал, что родина — это то, без чего мы не можем жить и без чего очень трудно умирать. Всем своим существом, всеми чувствами он затосковал по родине, затосковал по реке, шуму мельницы, туманным силуэтам гор. Он почувствовал волнение и трогательную нежность.

Потом он сел и с усилием отогнал от себя беспомощные мысли. «Ну, довольно, капитан, хватит грусти и растроганности. Если я не ошибаюсь, у вас полный сапог крови, надо что-то предпринять, что-то сделать». Он нагнулся и осмотрел раненую ногу: сапог и впрямь был полон крови, и нога, опухшая, тяжелая, чужая, была как в тисках. «Да, сапог полон крови», — повторил он, и по какой-то причудливой ассоциации перед его глазами возникла обложка приключенческого романа, прочитанного в детстве: на обложке был нарисован

огромный красный кулак, сжимающий длинный нож, с кулака и ножа стекали огромные капли крови. Как называлась эта книжка? Как же она называлась? Ах, да, она называлась «Кровавый кинжал». Он совершенно твердо уверен, что именно так она называлась: это была первая приключенческая книга, которую он прочел и которой тогда боялся. Да, она называлась именно так — «Кровавый кинжал». Он забился тогда в сарай, спрятавшись там со своей таинственной, страшной книгой, читал и боялся, что читал. Но какая тут связь?! «Ого, капитан, кажется, у вас лихорадка и вы начинаете бредить. А ведь вы выбрали довольно неудачное время для лихорадки и бреда. Нет, лихорадка вам ни к чему, это слишком большая роскошь в вашем положении. Вы должны встать, стиснуть зубы и идти или ползти, должны что-то сделать. Ведь вы же всегда хвастались своей силой, вы же богатырь, непобедимы, не боитесь ни боли, ни страха. Так докажите же теперь это, вот ваш Рубикон, перейдите через него: этот грозный, вонючий ручеек совсем не такая большая река, как вам кажется». — «Мне кажется, — возразил другой голос, — вы ошибаетесь, это огромная река, широкая и могучая, и мутные, холодные, противные волны ударяют о ее берега. И еще мне кажется, я просто не сумею, я слишком ленив, а боль не так уж страшна, чтобы сдвинуть меня с места, и мне очень, очень хочется мечтать». — «Да знаешь ли ты вообще, глупый и хвастливый человек, что такое мечтать? Ты же сам всегда бежал от мечтаний, всегда сам избегал. Бабыя болтовня, говаривал ты». — «Какая бабыя болтовня?» — «Быть тем, чем тебе всегда хотелось стать, прикасаться к тем вещам, которые ты любишь, и к тем, которые ты хочешь любить, парить в бесконечных просторах, где беспрепятственно осуществляется твоя воля, — разве это бабыя болтовня?!» — «Ну, в самом деле довольно, — вступился первый голос. — Во-первых, мне неизвестно, когда мы с вами перешли на «ты», я что-то не помню такой необычной и исключительной чести. Во-вторых, ты сию же минуту встанешь на ноги и что-нибудь предпримешь!»

Он сполз к ручью и окунул голову в воду. Вода была очень холодная и резко пахла гнилью. Теперь в голове прояснилось, мысли перестали кружиться и путаться. Ему казалось, что в темноте, где-то далеко-далеко на го-

ризонте, угадывались очертания горного массива. За этими горами его родина, это далеко, это страшно далеко, но это его родина, и он должен туда добраться. Он пополз по почти невидимой долине против течения ручья. Чужой, мертвый предмет, свою бывшую ногу, он тащил за собой. Он ежеминутно останавливался, отдыхал, в голове гудело от напряжения, мысли путались, воля ослабевала. Тогда он в бешенстве нагибался к ручью и опускал голову в воду. И полз дальше, метр за метром. Наконец ему показалось, что он отполз уже немало, но, обернувшись, он различил в сумраке рассвета контуры насыпи и сошедший с рельсов поезд. Его охватило отчаяние, но он, стиснув зубы, пополз дальше; горы теперь с рассветом отодвинулись вдаль и были бесконечно, безнадежно далеки.

Потом он совсем выбился из сил. Он лежал, вытянувшись, в зарослях ивняка, куда дополз из последних сил, движимый инстинктом раненого зверя. Его бросало то в жар, то в холод, но мысли оставались удивительно ясными, их было много, они не походили одна на другую, но все были ясны и отчетливы.

«Все-таки я дополз. Здесь хорошо, и никто меня тут не увидит. Я буду отдыхать здесь долго-долго, а потом двинусь дальше. Нет, не двинусь дальше. Зачем? Да, родина, мельница, пахнет мукой, и луга пахнут сеном. И груши пахнут, а как пахнут груши? Я уже забыл запах груш, как жаль. Надо вспомнить, без этого ведь нельзя жить, надо туда доползти и вновь почувствовать этот аромат. Я только немного отдохну, а потом снова двинусь дальше. Да, двинусь дальше — надо умирать стоя. Надо умирать стоя. Кто это сказал? Какая глупость, точно я способен умереть стоя. Я же не могу встать, у меня совсем омертвела нога. Умирают неподвижно, вот так-то, старина, человек умирает и перестает двигаться. Надо бы разложить костер и обогреться, я весь промок, и мне страшно холодно, я весь дрожу от холода, даже зубы стучат. Но я не в силах шевельнуться, что со мной? Как это называется? А-а, катапульта, меня вышвырнуло катапультой, меня катапультировало, я был катапультирован. Тьфу, до чего же мерзкое слово, от этого слова во все стороны брызжет грязь».

Он чувствовал, что начинается бред, и из последних сил противился этому. Он вызывал воспоминания, лица

близких, но ничего не различал, ничего, ни единой черты. Это омерзительное слово, точно улупив удобный момент, лезло из отдаленных углов сознания, заслонив собой все остальное. Ему не хватило сил бороться — и он сдался.

(«Итак, катапульта. Какое смешное слово, и какая смешная штука — валяться здесь и умирать. Умирать? Да, умирать с катапультой. Катапультически умирать. Катапульта — это механизм, извергающий огонь. И в самом деле, здесь страшно жарко, очевидно, им удалось поджечь укрепления, все вокруг пылает и горит. Подлая катапульта! А там кто-то убегает от пожара — да ведь это он, капитан Ян Лабуда, в парадной форме, кортик бьет по ноге, на груди дощечка, а на дощечке надпись мелом: я пропал без вести. Не ищите меня в списках».)

Он долго лежал в бредовом забытии, минутами теряя сознание, и лишь на короткие мгновения ясно понимал свое положение. Под вечер заморосил дождь, холодный весенний дождь со снегом. Капитан немного пришел в себя и еще раз собрался с силами. Он пополз дальше, грызя от злости землю, полз несколько часов вдоль ручья, прополз через какую-то рощицу, потом очутился в лесу, в старом благородном буковом лесу. Он ободрал руки и колени, но полз и полз вперед, хотя сам не знал, зачем и куда он ползет, полз, чтобы доказать себе самому — да, он жив и не сдается. А потом неожиданно в глубине леса послышался строгий оклик:

— Кто идет?

Капитан с трудом ловил воздух ртом, но горло сжалось, и он не мог произнести ни слова.

Часовой щелкнул затвором.

— Кто идет, ты... — Он громко выругался.

Капитан хрипло крикнул:

— Не стреляй! Я — брат. Словак. Славянин.

Часовой партизанского отряда, Константин Алексеев, бурят, о славянском братстве имел довольно смутное понятие.

— Вставай, — приказал он, — ты... — И он снова выругался.

— Не могу, — простонал капитан, — я ранен.

— Ну, ты... — сказал часовой. — Знаем мы таких раненых.

И тут же объяснил, что он взял его на мушку и пусть тот лучше не двигается с места, если ему дорога жизнь. Но капитан Лабуда не отвечал — он снова потерял сознание. А часовой, ничего не подозревая, с оскорбленным видом старательно держал его на прицеле, пока не пришла смена.

На мгновение капитан Лабуда очнулся от резкой боли в ноге, что-то треснуло (это разрезали сапог), чье-то бородатое лицо в разбитом пенсне склонилось над ней, боль в ноге стала дикой, нестерпимой, и капитан снова потерял сознание. Очнувшись, он почувствовал облегчение, покой, сладостный, убаюкивающий покой. Его покачивало из стороны в сторону, и что-то раскачивалось вместе с ним, точно детские качели. Он заснул, и ему приснился старший засыпка на мельнице, которого он уже давно забыл. Засыпка весь в муке, с совершенно белыми усами, спрятав руки за спину, спрашивал: «А что у меня в руках?» И мальчик отвечал: «Яблочко». Засыпка протянул руки — в них ничего не было, руки были пусты, и засыпка загоготал. И мальчик сказал: «Ты плохой». А засыпка ответил: «Эх ты, что ты в этом понимаешь? Разве ты знаешь, что такое добро и зло?» А потом вдруг оказалось, что засыпка лежит на снегу, весь покрытый льдом, вокруг него много-много людей, а в ногах у него черное отверстие проруби. Кто-то отчетливо сказал очень звонким голосом: «Он хотел спасти ребенка и сам себя погубил. Хороший был человек». И мальчик сказал: «Он был плохой. Он меня обманул». Но его никто не слышал, как и он сам себя. А мертвый засыпка вдруг сел, с него с хрустом посыпались льдинки, и он сказал: «Значит, ты в этом уже разбираешься? Проклинаю тебя, не знать тебе никогда, что такое добро и зло». И он упал на снег, снова покрылся льдом и стал мертвым.

Капитан медленно приходил в себя, но, даже окончательно очнувшись, долго находился под впечатлением сна. Мальчик — это был он сам. А у засыпки и в самом деле были белые усы, но он охотно шутил, любил пререкаться с батрачками и попугать детей. Он утонул в весенний паводок, подымая шлюз у запруды, сбитый течением, и подцепили его баграми уже у самого моста. Потом он лежал, вытянувшись, в своей маленькой комнатушке на голом тюфяке, и у него — это так поразило

маленького Лабуду — были рыжие усы. Капитан в ту же секунду все вспомнил, чувствуя, что все это совершенно неважно, важно одно — предсказание и угроза засыпки, услышанные во сне. Его охватило чувство сожаления: «Да, я обидел несчастного засыпку и в дальнейшем обижал еще много. Я шел по жизни, как медведь, не глядя, на кого ступаю». И это было совсем новое, совсем незнакомое чувство смирения, вызванное физической слабостью, но капитану казалось, что это чувство вырастает из самой души, что душа у него раскрылась и из ее таинственных глубин поднимается что-то нестерпимо сладкое и смиренное.

Он лежал на сене, над его головой покачивалось хмурое небо. Толстые ровные стволы буков мелькали вдоль лесной дороги. На козлах сидел старик с измученным лицом, в потертой бараньей шапке. На телеге возле капитана полусидел-полулежал парень с острым прямым носом и белокурыми волосами; на глазах у него была плотная черная повязка, и голова печально покачивалась. Повозки скрипели, лошади тихонько ржали, гул множества человеческих голосов тихо плыл над старым лесом. Все было смутно, точно происходило во сне. Над голыми кронами деревьев прокричала какая-то невидимая птица и сразу же смолкла. Капитан приподнялся на локтях, потом сел. Голова у него слегка кружилась, и ему страшно хотелось есть. За повозкой, на которой он сидел, четверка лошадей тащила маленькую горную пушку. А за ней, тихо поскрипывая и издавая жалобный стон, тащились другие повозки, длинный ряд повозок, на которых дремали на козлах очень похожие друг на друга люди. Все это было похоже на чудо, на мираж, и капитан Лабуда громко спросил:

— Где я?

Парень с черной повязкой на глазах протянул руку к капитану.

— А где тебе быть? У нас. — А потом, по-детски нахмутив брови, спросил: — А ты кто?

— Словак.

— Офицер?

— Был офицером.

Парень инстинктивно отодвинулся от капитана.

— Фашист? Тебя взяли в плен?

— Нет, я не фашист. Я никогда не был фашистом.

— Видел я раз одного вашего офицера. От немца и не отличишь.

— Были у нас и такие. Я не из них.

— Все так говорят, как им хвост прищепишь. А чего тебе здесь надо?

— Я ранен.

— Ранен... Ну а чего тебе здесь надо? Где тебя ранило? На чьей земле?

— На вашей.

— А что тебе тут надо, на нашей земле?

— Мне приказали.

— Приказали — тьфу!

Парень с отвращением плюнул и отвернулся от капитана. А потом всю дорогу упорно молчал, не проронив ни слова. Капитан собирался было парню все объяснить, теперь ему самому вдруг стало все ясно и понятно, но он предполагал, что объяснить это невозможно. Он был солдат и не смел ослушаться приказа: шли все, шел и он. Однажды их привели на выставку «зверств коммунистов». И при этом кричали: «Защищайте культуру, защищайте человека и свою родину от опасности и позора». И все почти поверили, потому что легче выполнить приказ, заглушив голос совести, чем не подчиниться приказу. Многие подозревали, что все это ложь, но не желали об этом думать, боясь убедиться в ней. А потом, когда они увидели все собственными глазами, все были ошеломлены: они были простыми винтиками в огромной, точной до безумия машине. Все ли было так? Да, так, и, кроме того, они были и трусливы. Трусливые наемники в войсках врага. Тьфу! Капитану нестерпимо захотелось плюнуть на самого себя, как недавно плюнул парень с повязкой на глазах.

Когда стемнело, они остановились на какой-то большой поляне. Разложили небольшой костер. К повозке подошла закутанная в длинный бараний тулуп женщина. Из-под шерстяного платка выглядывали только глаза и нос. Она принесла больным и раненым поесть: какой-то травяной чай, хлеб и холодную говядину. Мясо было жесткое, сплошные жилы — ну и мясо! Женщина прикоснулась к руке Лабуды.

— Вкусно, капитан?

— Маруся?

— Меня зовут Ирина. Но имя неважно, правда?

— Да, имя неважно. Как тесен мир!

Это была та самая девушка, которую неделю назад он спрятал в своей канцелярии.

Надпоручик Липницкий привел ее и сказал: «У тебя ее не будут искать».

Но ее стали искать у капитана, тот ударил жандарма, поднялся крик, началась драка между словаками и немцами, а девушка тем временем выскочила в окно.

— Человеку с человеком как не встретиться, — сказала Ирина.

Откуда-то из темноты появился высокий человек в зеленой рубашке с расстегнутым воротником. Короткий пиджак был накинут на плечи, на голове у него была фуражка с красной звездой. Он задавал вопросы, и капитан отвечал. Человек кивал головой, очевидно, ответы его удовлетворяли. Потом он спросил:

— Нога болит? Вам не холодно? — И приказал кому-то: — Принеси еще одеяло.

Потом наступила тишина, все ушли, костер догорел. Парень рядом с капитаном долго ворочался с боку на бок, отыскивая удобное место. И внезапно спросил:

— Эй ты, словак, спишь?

— Нет, не сплю, чего тебе?

— Я тебя тут обидел. Ты уж меня прости.

— Нет, это ты меня прости. Как тебя зовут?

— Илья.

— Прости меня, брат Илья.

Вокруг тишина, тишина и в душе. Конец смятению, все заполнилось беспредельной, безмятежной тишиной. Капитану хотелось целовать землю и просить у нее прощения. За себя и за всех других.

— Ты спишь, Илья?

— Нет, не сплю.

— Давай поговорим.

Ему хотелось выговориться, он должен был все сказать сейчас, сию минуту. Он должен был рассказать все этому незнакомому парню. Потому что теперь он сумеет сказать и о том, о чем до сих пор боялся думать. И он говорил и говорил, его слова походили на стремительный поток, который струился и журчал, вдруг прорвавшись через препятствия. Илье было всего семнадцать лет, но ему казалось, что он понимает этого

большого неповоротливого человека, его смирение и его вину: жизнь хорошо подготовила его к такому пониманию! Капитан рассказывал до самого утра. Никогда он не мог потом точно вспомнить, что говорил этой ночью, но он знал одно, что хотел рассказать все, что он очищался, смывал с себя всю грязь и что это было обновлением. И в душе его и этой ночью и в последующие дни царило царство освобождения, свободное, могучее чувство, соединенное с чувством братства, чувством любви к людям.

11

Олина проводила Марека до самого вагона. Она поцеловала его на прощание в щеку, и у Марека от слабости и волнения на глазах навернулись слезы.

— А я и вправду смешной? — спросил он, имея в виду не только свою слабость, но и свою упорную надежду.

— Ты хороший, — сказала Олина. Поезд тронулся, и Олина добавила: — Я люблю тебя, Марек.

— Что ты сказала? — крикнул Марек.

Но поезд уже с грохотом шел вперед, и Олина была избавлена от необходимости отвечать. Она помахала рукой, печально улыбаясь. «Наверное, она рада, что не надо отвечать», — подумал Марек. И Олина ему вдруг показалась хитрой и жестокой. А ее внимание к нему о время болезни, ее заботы о нем — это только расчет, плата по счету, расчетливая отзывчивость. Она честно озвращает свой долг, потому что он, Марек, тоже сочувствовал и помогал ей как умел. Ох, ну конечно, она жестока! Он попытался представить ее со стороны, не связывая ее с собой: это обывательница, неспособная на большое чувство. И она даже не слишком умна или интеллигентна: просто красива, как многие другие. Что он в ней нашел, что искал в ней? Это все лишь плод его воображения — образ женщины, которую он мог бы и должен был бы полюбить. Опять то же самое, опять тот же самый обман! Он злился на самого себя, стараясь возненавидеть Олину.

Потом он вдруг припомнил свою каморку, легкие шаги Олины и шорох ее платья, сопровождавший ее

повсюду аромат, и волны светлых волос, падающих на лоб, и слегка припухшие губы вблизи от своего лица. У него перехватило дыхание — он увидел перед собой зияющую пропасть бесконечного горя. Когда он снова увидит Олину? И увидит ли вообще? Ему хотелось выскочить из вагона и вернуться — желание увидеть ее казалось нестерпимым. И все то, что он понимал и знал, утонуло и растворилось в одном страстном желании увидеть Олину. Он любил Олину — и созданный им образ, и такую, как она в действительности была, но прежде всего ее образ. Он хотел, чтобы она стала его женой. Марек был честен — он никогда не думал о ней как о своей любовнице; физическая близость казалась ему лишь внешним выражением внутренних чувств. Он хотел быть покорным и нежным, хотел упасть перед ней на колени и касаться ее ног. В этом было что-то от Вертера, романтическое и поэтому, смешное в тот век, когда он жил. Марек знал об этом, но разве он может быть иным? Он не выбирал себя сам, он был тем, кем был. Он знал о себе очень много и многое в себе ненавидел, над многим издевался, но это еще не означало, что он мог измениться, и как-то особенно старался стать другим.

Отец встретил Марека сердито.

— Окончил? Ладно. Ты болен? Скверно, у нас тут не больница. И денег нет.

Марек хорошо знал отца: тот сердится, потому что боится. Но он не сдастся, он доиграет свою роль до конца, потому что для него еще страшнее мысль, что люди догадались о его страхе. Марек молча стоял посреди кухни. А мачеха с заплаканными глазами на тучном, мясистом лице, хлопнув себя по животу, сказала:

— У нас нет места для его милости, пусть его милость извинит.

Она была беременна и выгнала Марека из дому. Отец отвернулся и, как показалось Мареку, ухмыльнулся. Марек взял несколько любимых книг, немного белья, швырнул кое-как все это в чемодан и вышел на улицу, не сказав ни слова.

На улице он еще раз оглянулся на дом, в котором родился, — он понимал, что уходит навсегда. Он не испытывал даже сожаления. Единственное, что привязывало его к этому дому — тень матери, — осталось с ним.

Еще тогда, когда врач посоветовал ему свежий воздух и хорошее питание, он вспомнил о сестре матери и о своем детстве на Лазенце; облака плыли там низко над головой, там стояла скала, похожая на человеческую фигуру, под которой наверняка был закопан разбойничий клад. Были там кудрявые бараны, пасека с выкрашенными в голубой цвет ульями и овчарка по кличке Дунай. А рядом был лес, в шуме которого слышались таинственные песни. (Это были лучшие дни в жизни Марека, и воспоминания о них прочно врезались в его память: он сидит на краю леса на каком-то старом вывороченном пне и слушает песню леса. Ему казалось, что он вот-вот уловит ее мелодию, услышит отдельные слова. Его охватывает бесконечная радость, потому что он убежден, что разгадал еще никем не разгаданную тайну: он слышал поющий лес и понимал его песню. Но тут он неосторожно шевельнулся, и все исчезло, все пропало — слова, мелодия и шум леса снова стали непонятны.)

И вот он на Лазенце и, кажется, только что ушел отсюда, всего несколько часов назад. Тут все осталось по-прежнему: вот пчельник с голубыми ульями. Дунай бежит по дорожке, так что видны только голова и косматый хвост, бычок, упрямо раскорячившийся в грязной луже перед хлевом... Только у хозяина лицо, быть может, стало немного краснее, а хозяйка казалась выше и строже. И встретили они его без удивления, словно он ушел отсюда только вчера.

— Ты приехал? Ну, здравствуй. Надолго? Ладно, придется принести постель. В светелке ткацкий станок и полно всякого хлама, зато ты будешь там один.

Они принесли с хозяином кровать, обтерли ее, втащили внутрь и набили матрац свежим, пахучим сеном. Говорили они очень мало. Хозяин спросил:

— Хвораешь, что ли? — И покачал головой. — Это все от дурной воды, — сказал он, — вода все дело решает. А у вас в городах вода дурная, по трубам проходит, а это против ее природы. Потому что у воды своя природа и свои законы, их соблюдать надо.

Вечером, перед сном, хозяйка села за стол и открыла книгу церковных песен. Она пела строгим, уверенным голосом. Хозяин, одолеваемый дремотой, клевал носом. Марек слушал этот одинокий голос, а в душе

его звучал мощный, гневный хорал. Он с удивлением убедился, что старые, хорошо знакомые слова приобретают теперь новый отчетливый смысл. «Не впадай в отчаяние, стадо малое. Это твой старый враг. Сила и хитрость — грозное оружие его». Голос зазвучал выше, лицо женщины стало строгим и одухотворенным. Она пела: «Когда наступил час полночный — слышен глас вездесущий. Проснись, Иерусалим! Аллилуйя! Будьте готовы!» Глаза твердо и упрямо смотрели в одну точку, лицо было словно высечено из камня. Женщина пела, и это был гордый плач преследуемых, стража на Сионе, окруженном врагами. Каждое слово дышало верой: бог был строг и взыскателен, но он был близко, песнопение доходило до него. Марек прислушивался затаив дыхание. Это было очень, очень давно, но он хорошо помнил этого строгого бога, который пугал его и к которому все же можно было прибегнуть в несчастье. Марек помнил, что он принадлежит к не склонившей голову горстке людей, которые через всю историю, вопреки всему пронесли собственного бога и собственную правду. Здесь, на этих хуторах, протестантство сохранило свой первоначальный вид: оно не сгибалось и бунтовало. Оно отворачивалось от радости и искушений света; его мораль была суровой и почти невыносимо жестокой. Казалось, эта мрачная мораль черпала силу из двух источников: у почвы этого края, скалистой и неподатливой, ничего не отдающей даром; и в истории, оставившей здесь гуситские церковки и полную ненависти веру потомков таборитских фанатиков, град Сион, подвергавшийся гонениям целые столетия и никогда не покоренный. И вот теперь паства оказалась снова в опасности, снова подверглась гонениям, снова постигнута невзгодами; суровое пение женщины пробуждало тревогу.

Потом женщина опустила голову и глубоко вздохнула. Она молилась. По старым, пожелтевшим страницам молитвенника она читала молитву о сыне, сражающемся на войне, вечную молитву матерей, орошенную слезами. Потом она подняла глаза и встретилась взглядом с Марекком. Этот взгляд говорил: «Да, вот ты здесь, а мой сын далеко и, может быть, в эту самую минуту умирает. По какому праву ты здесь, а он там?» Она ничего не сказала об этом, о своей материнской тоске,

только снова вздохнула: после молитвы грешить нельзя. А позже, расплетая косы, спросила Марек:

— Ты, я слышала, и в церковь не ходишь! Не веришь, значит?

— Не знаю,— отозвался Марек, не желая ее обидеть.

Но она поняла.

— Бедняжка, как же ты можешь жить без милости божьей? Кто придет тебе на помощь, если тебя постигнет тяжкий крест?

— Я помогаю себе сам как умею,— сказал Марек.

— Сам?

— Да, сам себе помогаю.

— Бедняга,— повторила женщина,— эх, ты, душа сиротская, с малых лет по миру бродишь без матери, а теперь тебя и бог оставил.

— Не он меня оставил,— возразил Марек,— а я сам его оставил.

— Тем хуже, сын мой, это сатанинская гордыня тебя обуяла. Склони лик свой перед господом, и он примет тебя, ибо он милосерден к грешным.

— Ах, оставим это, тетя, со мной ничего не случится.

— Спасай себя,— сказала женщина,— спасай свою душу, Марек.

— Оставьте, тетя,— отозвался Марек, которому стало неприятно.— О своей душе я как-нибудь и сам позабочусь.

Когда он уже лежал в постели и вокруг стояла плотная, густая тьма, у него появилось неприятное ощущение, будто он в чем-то провинился. Суровый, грозный лик бога, мучивший его в детстве, снова появился перед ним. Он гнал от себя этот образ: какой смешной этот господь бог, этот злой и самолюбивый старик, скрывающий в волнах своей бороды тайну добра и зла! Но Марек убедился, что следы давнишнего страха еще прочно сидят у него в крови; он завидовал всем, кто не утратил своего пастыря, своего простого и верного прибежища. Но он тут же восстал против всех авторитетов, против всякой зависимости. Я одинок, и мне не от кого ждать помощи; но зато я независим. Я отвечаю только сам перед собой и только за себя. Это и есть та желанная свобода, к которой я стремился, это абсо-

лютизация свободы, свободный порыв духа, наивысшее возможное счастье. Ни от чего не зависеть и быть в ответе только перед собой и только за себя — это осуществление желаний. Он убеждал себя и укреплялся в своей вере, стремящейся поправить всякую веру. Но он чувствовал, как под этим убеждением разума струится мутная река печали одинокого, покинутого человека.

Его одинокая гордость возросла еще больше в следующие дни испытаний. Лазенце вовсе не был таким миролюбивым, сонным хутором, как хотел казаться. Здесь все было в движении: в маленькой комнатухе беспрестанно менялся народ, заходили сюда жандармы из деревни, забегали на минуту всякие люди и, обменявшись с хозяевами несколькими словами, исчезали. Не раз он видел здесь и знакомых: Кремпашского с расплывчатой, всегда точно обиженной физиономией, воинственного и шумного Шведу и кое-каких других знакомых из городка. Он подозревал, что за этим внешним движением существует здесь и в других местах, на других хуторах, в отдаленных лесных сторожках и спрятавшихся в лесу шалашах иное, таинственное движение, которое умышленно обходит его стороной. И хотя Марек решил жить самостоятельно, полагая, что он уже больше ничем не связан с остальными людьми, все же он ощущал обиду, заметив, что все его избегают. Это заставляло относиться к происходящему с иронической, недоверчивой усмешкой. Какие таинственные герои! Защитники народа, справедливости и еще бог знает чего! И он старался отыскать в них низкие побуждения, порочащие дело, во имя которого боролись все эти люди. Он пытался увидеть ограниченность их цели, наивность их представлений и преждевременность их восторгов. Как они глупы, воображая, будто свободу можно завоевать насилием! Как они близоруки! Свобода избегает насильственных действий, она таится от жадных взоров и рук, которые неосторожно касаются ее и пробуют на ощупь, точно купцы скот на ярмарке. Свобода не завоевывается, свобода покупается ценой внутренних усилий. Как же они близоруки! Мир, за который они борются, будет похож на мир, против которого они борются: у него будут лишь иные краски. Как же они близоруки! И все же Марек завидовал им, этим близоруким, их способности верить и действо-

вать; он вообще не был убежден, что его свобода благороднее, чем их близорукое рабство. Тщетно он твердил сам себе, что стоит выше этих вещей, вне их, что они его не касаются — они касались и его. И в его свободе, покупаемой дорогой ценой и все еще не купленной, снова и снова появлялись трещины, и она становилась угрожающе похожей на пустоту.

Однажды ночью Марека разбудил необычный шум. Он вышел на улицу. Во дворе пофыркивали лошади, слышались приглушенные голоса, свет карманных электрических фонариков мелькал в темноте. Среди голов он узнал один, очень хорошо и близко знакомый голос Янко Крапа. Мареку не хотелось встречаться с Янко Крапом: обида, нанесенная зимой, все еще не прошла. Но таинственная суматоха его притягивала, он подошел к повозкам, с которых сбрасывали солому. Несколько парней, взобравшись на повозки, стали подавать что-то вниз, и это «что-то» время от времени тускло поблескивало в мерцающем свете.

— Осторожно, — сказал кто-то.

А второй голос отозвался с радостным смехом:

— Не бойся, это не яйца.

— Передавайте друг другу по цепи, — зашептал Янко Крап с повозки, — по цепи.

Все тотчас же быстро и бесшумно образовали цепь. И Марека неожиданно тоже встал в цепь, с недоумением спрашивая себя: «Зачем я тут? Что мне надо?» Но размышлять времени не было: теперь он стал делью машины, составной частью движения, и ему пришлось делать то же, что делали остальные, чтобы это движение не прекратилось. Оружие было блестящее, гладкое, это было совсем новое оружие, очевидно, прямо со складов: стволы были еще покрыты толстым слоем тавота. Оно пахло не смертью и войной, а доброй и веселой мужской работой. Парень возле Марека весело осклабился, в темноте сверкнули белые зубы.

— Вот это работенка! Верно? — сказал он, весело скаля зубы.

Луч света на мгновение коснулся его головы, и Марека вдруг узнал огненную шевелюру Юло Голко. Он хотел ему ответить: да, веселая работа, очень веселая работа. И в самом деле, у Марека весело на сердце, в нем росло ощущение товарищества и общей радости,

великая тайна дружбы, объединяющая людей в общем деле, это чувство было сильнее его и приносило облегчение Мареку, избавляя от тяжести.

Потом движение остановилось, парни тяжело переводили дух и вытирали пот. Юло Голко сказал:

— Вот это работенка, не дай бог каждую ночь такую.

И кто-то из тьмы ответил:

— И верно, согреть почище бабы.

Парни засмеялись, это был хороший смех после хорошей работы. Спрыгнув с повозки, Янко Крап в темноте наткнулся на Марека, положил ему руку на плечо:

— Это ты, Марек?

Марек молчал, не зная, что ответить. Янко Крап больно сжал ему плечо и радостно зашептал:

— Эх, Марек, теперь дело пойдет на лад. Как ты думаешь?

И прежде чем Марек ответил, Янко скрылся куда-то в темноту. Марек стоял, все еще чувствуя огромное облегчение. Лошади заржали, скрипнули повозки и двинулись вниз, в долину. Вдруг наступила тишина, и снова Марек остался в одиночестве, снова один, минута никогда раньше не пережитого волнения ушла. Ничего не произошло. Он был снова один — ничего не изменилось. На него повеяло холодом, только теперь он заметил, что вышел из дому в одной рубашке. Тетка звала его:

— Марек, Марек, ты чего не идешь спать?

— Иду, иду, — отозвался он и покорно опустил голову. Ему хотелось сказать: «Вот видите, я опять один. Понимаете ли вы, какая это тяжесть и какая это боль?» Но он знал, что об этом не стоит говорить.

12

Теперь все сдвинется с места, теперь все начнется! Наконец-то развязался узел, кончилась эта проклятая, тысячу раз проклятая неподвижность! Конец ожиданиям, конец отупляющему и унижительному ожиданию! Будь благословенно, наступившее царство действия! Теперь оно началось, это замечательное и захватывающее движение, и его ничто не удержит, оно разошлось

кругами, увлекая все и всех за собой своей стремительностью, любимая и желанная сила, имя которой движение, перемена и действие. Янко Крапу хотелось пасть на колени и произносить слова диковинной молитвы. А в самом деле, как должна звучать благодарственная молитва коммунистов? Вечный покой мертвым богам на небесах. Снизойди, перемена, на землю! Снизойди, перемена, на землю, аминь.

Теперь здесь, под Черной Браной, было уже два лагеря, здесь собралось более сотни готовых на все парней и появилось оружие, да, и оружие! Были здесь связанные, следившие за событиями по всей Словакии, налажена связь с тайным радиопередатчиком. Теперь это не походило на игру в «горных хлопцев», дело разыгрывалось не на шутку серьезное. И какое множество людей ожидало только сигнала! Снова Янко Крап был охвачен нетерпением, снова стремился ускорить движение, подогнать ветер, который еще только поднял легкое облачко пыли, приблизить надвигающуюся бурю. Но теперь, когда желания становились действительностью, он хорошо видел, как плохо подготовлены повстанцы, теперь вдруг понадобилось делать тысячу вещей, о которых вначале никто не думал. По мере роста сил повстанцев яснее вырисовывалась и реальная сила врага. И Янко Крап сам теперь остро чувствовал ответственность, а то и еще похуже. Люди, десятки людей добровольно доверили ему свою жизнь, свою честь и совесть: это была тяжелая ноша, груз, к которому он не привык. Все смотрели на него, ожидая, что он решит за них то, что надо решить, — и он решал. И хотя он издевался над сопливыми интеллигентами, которым вопросы совести не позволяли действовать, он сам постоянно сомневался, но не потому, что боялся решать, а потому, что не знал, правильно ли он решил. Здесь не существовало никакой поддержки, никаких поправок, он был диктатором. Здесь была необходима, так по крайней мере он думал, единая твердая рука, которая могла бы сплотить множество разнородных воль, убеждений, привычек. Надо было сковать кольцо дисциплины; и он, Янко Крап, единственный представитель этого принципа, он почти отождествлял себя с ним. Если Янко Крап сомневался в своем решении, то не показывал этого, тем более что он испытывал втайне сомнения,

не выносил напоминаний об этом. Он считал, что ненавидит упрёки и возражения только потому, что они нарушают священный принцип дисциплины, но он ненавидел их ещё и потому, что они порождали в нём сомнения в себе самом и — что было ещё хуже — заражали сомнениями и других. Именно из-за этого он и возненавидел профессора Маркеха, который в глазах Янко Крапа представлял идейную оппозицию. Янко Крап, конечно, уверял себя, что ненавидит в нём больше всего разлагающее начало, а главное — воплощавшуюся в лице Маркеха угрозу дисциплине; но больше всего он ненавидел профессора потому, что тот каждым своим взглядом, каждым замечанием оскорблял его до глубины души.

Однажды вечером Янко Крап отозвал в сторону профессора и предложил ему пройтись. Маркех удивленно взглянул на него, но все-таки пошел. Они долго шагали молча по узкой тропинке, среди старых елей — профессор впереди, Янко Крап в нескольких шагах сзади. Профессор поежился в своем пальто, ему было страшно. Наконец они подошли к самому ручью, через который было перекинута бревно. Здесь было несколько светлее. Маркех остановился.

— Ну, так в чем же дело?

— Вы боитесь?

— Это глупо, командир. Итак, в чем же дело?

— Небольшая ночная беседа. Разговор без свидетелей. Понятно?

— Да, конечно. Но это же глупо. Ночь, нигде ни души, река, заглушающая звук выстрела. А у вас в кармане револьвер. Покорно благодарю за подобную беседу.

— Тыфу, — со злостью сплюнул Янко Крап. — За кого вы меня принимаете?

— Значит, все в порядке, — сказал, вздохнув с облегчением, профессор Маркех. — Ну-с, я жду, — продолжал он, удобно прислонясь к придорожной ели.

В просветах между елями над рекой мерцали яркие звезды. Река журчала, и этот звук настойчиво вплетался в мысли, превращая их в бессмысленные обрывки. Янко Крап внезапно забыл, о чем он хотел сказать: все это так ненужно!

— Разрешите закурить, командир? — Маркех уже

приободрился, в его голосе звучала нескрываемая насмешка.

— Черт вас возьми! — выругался Янко Крап. — Что вас сюда привело? Зачем вы пришли к нам?

Профессор закурил сигарету. Он говорил спокойно и терпеливо, точно разговаривая со строптивым ребенком. Но за всем этим — и за спокойствием и за терпеливостью — скрывалась насмешка, которой, может быть, он и сам не желал и не видел; это была естественная и неотъемлемая часть его духовного облика, свойство его характера, в чем он был не властен над собой.

— Я ненавижу насилие, — сказал он. — А фашизм — это концентрат насилия. Это возврат к прошлому. А я не желаю к нему возвращаться. Я, конечно, упрощаю, но все же это понятно, не так ли, командир?

— Вы же служили ему, — возразил Янко Крап. Ему очень хотелось оскорбить этого человека. — Вы служили этому фашизму.

— Я только получал деньги. Ведь интеллигент, командир, — это явление паразитическое. Мы вынуждены жить, как паразиты.

— И теперь вы тоже кормитесь за чужой счет? За счет революции?

— А теперь я хочу быть самим собой. Видите ли, пан Крап, у меня весьма специфическое желание: быть самим собой, освободиться. От чего? А как раз от паразитизма и прислужничества. Всю жизнь мы прислуживаем: у нас есть служебный стаж, служебные обязанности, мы получаем жалованье, выслушиваем пенсию. И вот вдруг у нас пропала охота служить. У нас вдруг пропало желание маршировать с армией наемников, существовавшее века! Мы по-своему восстаем: одни гонятся за карьерой, другие пьянствуют и творят безобразия, а третьи делают революцию.

— Превосходно, — оскорбленно проговорил Янко Крап, — революцию ставить на одну ступень с пьянством.

— А что вы хотите? Для вас революция, возможно, мечта, вера, религия. А для меня это только бегство.

Профессор сильно затянулся сигаретой. Крошечный огонек на мгновение осветил его лицо: Янко Крапу показалось, что оно печально. И голос Маркеха словно утратил свой вызывающий тон, стал глуше.

— А народ? До народа вам нет никакого дела? — спросил Янко Крап.

Профессор тихонько засмеялся.

— Народ? А что это за феномен? Это лишь один из современных мифов: народ, масса, класс. Народ — это всего лишь огромное количество индивидуумов, множество отдельных страстей, мечтаний, предрассудков, привычек. Мой отец работал на железной дороге, дробил камень. У него была единственная мечта: стать стрелочником. Он участвовал во всех демонстрациях, кричал, что хочет революции. А когда наконец он в самом деле стал стрелочником, то утратил всякий интерес к революции. Если бы оказалось достаточно места для людей, мечтающих стать стрелочниками, то никто бы не стремился к революции. Народ! Вы, коммунисты, унаследовали этот принцип от романтиков и теперь стараетесь походить на них, вы так же расплывчато любите народ и точно так же со всей определенностью стремитесь возвыситься над ним. Но даже наилучшие из романтиков не жили с народом, а сближались с ним. И вы сближаетесь с теми, кого называете народом, чтобы вести их. Народ! Вечная отговорка для содеянных иготавливаемых преступлений.

— Тысяча чертей! — выругался Янко Крап. — Значит, я преступник?

Он поймал себя на том, что стиснул в кармане рукоятку револьвера. И сразу же почувствовал стыд: только не это, только не это! Он отдернул руку, точно обжегся.

— Я не хотел вас обидеть, — сказал серьезно Маркех. Он отбросил сигарету, сигарета описала короткую дугу и тихо зашипела в реке. Профессор глубоко вздохнул. — Иногда я сам себе поражаюсь, — сказал он задумчиво. — Я неплохой человек, по крайней мере не считаю себя плохим. Впрочем, кто считает себя плохим? Словом, мне иногда страстно хочется быть с людьми, помогать им. Но стоит мне открыть рот, и всегда получается, что я оскорбляю людей. Почему бы это?

— От неудовлетворенного честолюбия, — сказал Янко Крап уже несколько спокойнее.

— Посмотрим, — как-то удивленно и с усмешкой отозвался Маркех. И, разведя руками, он со вздохом сказал: — Впрочем, к чему играть в жмурки? Может

быть, вы и правы. Даже определенно правы. Я хотел... Впрочем, вас вряд ли интересует, что я хотел. Все равно ничего не получилось.

И через минуту добавил огорченно:

— Ничего у меня не получилось. Я всего-навсего никому не нужная машина для мышления.

Янко Крап молчал: что тут ответишь? И к чему люди так мучают самих себя? Ведь все так ясно и просто. Ложь, несправедливость, нищета, угнетение — это уж ощутимые и реальные вещи; надо только идти на жертвы, надо бороться против них — служить делу их уничтожения. Это служба без стажа, без выслуги и претензий на пенсию; это служение всем — человечеству, цивилизации и своей собственной совести. Что тут сложного? Я коммунист, я не в силах свободно дышать, пока в мире, в любом уголке мира существуют несправедливость, нищета, угнетение. Я коммунист, я призван нести все тяготы нашего мира и уничтожить их. Я мобилизованный солдат революции! Что же тут сложного?

— Вернемся? — спросил профессор.

— Я хотел вам сказать, вернее, если вам угодно, попросить вас: не разлагайте дисциплину. Вы в строю, и никакие сомнения не дают вам права безнаказанно нарушать этот строй. Ваши сомнения спрячьте в мешок рядом с носками и подальше от оружия. Вынете их, когда придет время. Ладно?

— Когда придет время?

— Когда мы будем свободны.

— Ах, — возразил профессор Маркех, и его голос снова прозвучал насмешливо. — Вы думаете, что мы будем когда-нибудь свободны? Вы, и я, и все мы?

— Я в этом уверен, — раздраженно ответил Янко Крап.

— Ах, да, — сказал профессор, — я и забыл, что вы верующий.

— Это бессмысленно, — снова рассердился Янко Крап. — Это совершенно бессмысленно... Мы пришли сюда не ради спора. Или вы подчиняетесь общему порядку, или...

— Или?

— Или вам придется покинуть отряд!

— Фью! — свистнул профессор сквозь зубы. — Вот это мужской откровенный разговор. А что это за все-

общий порядок? Это вы, командир? «Я порядок», «Я дисциплина». Единый вождь, единая воля, единое действие!

— Да, на этот раз я. А что, вам это не нравится?

— Вы-то мне нравитесь. Мне не нравится сам принцип.

— Вам придется это проглотить, профессор или, как я уже сказал, убирайтесь с нашей дороги!

Профессор Маркех ответил не сразу. Он размышлял, пытаясь спокойно и хладнокровно взвесить ситуацию. Но сколько он ни думал, одно было ясно: нужно решать тут же, немедленно. Командир стоял перед ним и неумолимо ждал решения. Профессор знал людей и понял, что Янко Крап не отступится: это железный человек, человек-монолит; можно смеяться над его односторонностью, можно завидовать его твердости, но нельзя его недооценивать.

— Я не в силах обещать, что полностью отрекусь от самого себя. Но я попробую. Еще раз попробую.

— Хорошо, — сказал Янко Крап. — Попробуйте.

И профессор понял, что это означает: я буду с вами начеку, но и вы будьте со мной осторожны!

Они возвращались молча. Оба были недовольны собой и друг другом. Янко Крап снова припомнил весь разговор. Какая наглость! Ему казалось, что все слышали эти вызывающие, циничные слова, и они оскорбляли его, потому что оскорбляли его авторитет, который он сам начал уважать и считаться с ним. Профессора занимала только одна мысль! Какая чудовищность! Как чудовищно устроен этот мир! Неужели нет в мире места, где бы человек мог забыть о таких словах, как порядок, дисциплина, повиновение; неужели нет в мире такого маленького уголка, где бы человек мог слушать только музыку собственной души? Возможно, что все это появится в будущем. Возможно, но Маркех в это совсем не верил.

Весенний дождь весело барабанил по крышам городка, немощенные улицы пахли свежей землей. Все было умыто, свежо, чисто, радостно, и этот свежий, обновленный мир был погружен в густую, крошечную

тému. Нигде ни огонька, никакого движения, ни единого звука, кроме шума дождя: городок крепко спал.

Но события подготавливались где-то за кулисами темноты и монотонных звуков. Внезапно загудели моторы машин, притушенные огни фар запрыгали по уличным лужам, машины подскакивали на выбоинах, скользили, скатывались и карабкались на холм: они явно направлялись к рабочему поселку.

Старая Крапова не спала — у нее невыносимо разболелись ноги. Боль накатывала волнами, новыми и новыми. (Ах, этот бесконечный прибой, эта боль без конца!) Она сразу услышала урчание приближающихся машин. Крапова разбудила мужа.

— Старик, — сказала она, — там что-то неладно.

Старый Крап вслушивался только один коротенький миг.

— Да, машины идут сюда, в поселок. — Он вскочил с постели и бросился в каморку: — Ганка, Ганка!

Ганка спала здоровым, полным радужных мечтаний сном молодости. На ее нежных смуглых щеках разлился слабый румянец, руки были свободно раскинуты, она улыбалась во сне. (Как бессильны все горести и беды по сравнению со здоровым молодым сном! Как далеки они и нереальны!) Ганка спала по-детски сладко и улыбалась во сне. Ей снился какой-то неуловимый, воздушный и приятный сон. Даже старый Крап улыбнулся — уж очень он любил свое последнее дитя, возможно вспоминая о своей далекой молодости, уже давно скрытой в неясном тумане. Но он вынужден был быть жестоким — гул машин все приближался.

— Ганка, Ганка!

Ганка проснулась, все еще продолжая улыбаться, и, слегка приоткрыв глаза, увидела доброе усатое лицо своего отца.

— Ганка, тебе надо бежать!

Отец схватил ее за худые плечи и посадил, она открыла глаза окончательно. В дверях стояла мать со старым отцовским дождевиком в руках.

— Надо тебе бежать, Ганка, слышишь? Да, бежать.

— Ну что ж! Раз бежать, так бежать.

В два счета она оделась. С ее губ еще не сошла улыбка, и взгляд был спокойный и отсутствующий. Но уже одетая, она все-таки спросила:

— Что же случилось?

— Беги, — ответил отец. — Не слышишь разве? Они уже на холме, сейчас будут у Голковых.

Ганка надела большой тяжелый плащ, схватила портфель, приготовленный на такой случай. Мать всхлипнула:

— Подожди, дай я тебя хоть поцелую.

Но Ганка уже стояла в дверях.

— Разве не видишь, мама, что у меня нет времени. — И выбежала в ночь.

— Через сад беги, через сад! — закричал ей вслед старый Крап. Но Ганка, не отвечая, исчезла в густой пелене дождя, словно провалилась.

Машины внезапно затихли. Старый Крап стоял в дверях, пытаясь взглядом проникнуть сквозь густую тьму. Но он ничего не видел, а только слышал глухой топот и тихие приказания. Ноги шлепали по грязной улице: чавк-чавк. «Окружают, — подумал старый Крап, — почему окружают? Окружают весь поселок, что такое могло случиться?» В первую минуту он подумал о предательстве Шведы и Кремпашского. «Я знал, всегда знал, что господа останутся господами, никакой краской их не переокрасишь? А разве я не говорил? Разве не предупреждал?» И теперь он даже радовался тому, что происходит, радовался, что оказался прав. Чавк-чавк. Шаги раздавались уже совсем близко, вот они остановились перед калиткой, и тихие голоса стали совещаться. Старый Крап осторожно закрыл двери, заложил щеколду. Старая Крапова застилала Ганкину постель. Илона стояла рядом в рубашке, большая, растрепанная и злая.

— Что случилось? — спросила она сердито.

— Замолчи ты и придержи язык, — сказал ей старый Крап. — А вы ложитесь, — приказал он. И только все успели лечь, как с улицы застучали в дверь.

— Иди открой, — сказал старый Крап жене, и она пошла, вздыхая, потому что ноги у нее сильно болели и старое сердце сжималось.

В дом вошли жандармы, молодые, незнакомые жандармы, и сказали старому Крапу:

— Эй ты, старик, вставай.

— В чем дело? — спокойно спросил старый Крап.

— Вставай и одевайся без разговоров!

Старый Крап встал и принялся лениво одеваться.

— Вы меня забираете? — спросил он. — А где у вас ордер на арест?

— Ха-ха-ха, — рассмеялся один из жандармов. — Ты, старик, проспал добрых несколько лет. Твоя дерьмовая демократия давно подохла вместе с ордерами на арест. Теперь мы независимы, понимаешь?

— Вижу, как вы независимы, — сказал старый Крап.

— Ха-ха-ха, — смеялся жандарм, — вот именно, независимы.

Потом в дом вошел поручик, глядя в какой-то список.

— Где ваша дочь?

— Илона, — закричал старый Крап, — где ты?

Илона, накинув старое пальто, стояла в сенях и смотрела на жандармов.

— Нет, — возразил поручик, — не Илона.

— Ганка? — спросил старый Крап.

— Да, Ганка. Где она?

— Ганка? — насмешливо переспросил Крап. — Что тут делать Ганке? Ганки тут нет.

— А где она? — спросил поручик Крапову. Старуха сидела у изголовья кровати, дрожа от холода и страха. Она не отвечала, продолжая стучать зубами.

— Она уехала, — объяснил Крап, — искать работу. Что тут молодой девчонке делать? Поехала искать работу, потому что нам, уважаемый, и при нынешней свободе живется трудно.

А поручик так и сыпал вопросами: куда, когда и зачем? Крап медленно одевался — у него было достаточно времени, очень много времени. И он добродушно объяснял:

— Уехала, да... вчера утром уехала, утренним поездом.

— Куда?

— Да в Братиславу, списалась с какой-то фирмой, ну и поехала показаться.

— А где эти письма? — спросил поручик.

— Письма?

— Да, письма.

— Эти письма, — сказал старый Крап, уже не стараясь скрыть насмешку, — эти письма она забрала с собой.

— Нам придется сделать у вас обыск, — объявил поручик.

— Что ж, делайте, — пожал плечами Крап.

— Ну, иди, старик! Пошевеливайся! — кричали жандармы и, подхватив Крапа с обеих сторон, вытолкнули его на улицу.

— Прощай, старая, — сказал Крап и махнул ей рукой. Крапова все еще сидела у изголовья кровати, и у нее страшно болели ноги, ее трясло от холода, и старое сердце сжималось.

— Ах, боже, за что ты нас наказываешь? — кричала Илона в задней комнате: у нее распороли перину — самое лучшее и ценное из того, что у нее было.

— Свины! Свины и воры! — кричала она.

Крапа вывели во двор, а она выбежала за ним, и крик ее разнесся по всему поселку:

— Свины! Воры и свины!

Внезапно она затихла — сзади кто-то ей закрыл рот рукой и втащил ее в сени.

Старого Крапа провели по двору, отворили калитку, вывели на улицу, и там его остановили два человека, одетые в черные непромокаемые плащи. Один из них был Лемнитцкий. Он спросил жандармов:

— А где же девчонка?

— Нет ее, девчонки, — ответил один из жандармов.

— Где твоя девчонка? — спросил Лемнитцкий у Крапа.

А тот только засмеялся:

— Ха-ха-ха!

— Идиот! — выругался Лемнитцкий и отвернулся. — Идиоты! — заорал он неизвестно на кого.

«Идиоты, — подумал он, — не сумели схватить простую деревенскую девчонку из маленького городка, а ведь она привела бы их прямехонько к бандитам. Идиоты!» Лемнитцкий был зол на себя, на всех, на весь мир. Он не был ни глуп, ни наивен, не верил в разное секретное оружие и знал, что его время подходит к концу. Возможно, судьба ему вновь улыбнется — земля круглая и вертится, но сейчас приходится считаться с самыми неблагоприятными обстоятельствами и приготовиться к отступлению.

Так думал Лемнитцкий, так он и действовал; ему удалось открыть небольшой счет в Швейцарии, парти-

занов он понапрасну не дразнил, не проявлял инициативы, все выглядело так, словно он был связан с ними тайным договором не замечать друг друга. И все шло совсем не плохо. Но эти глупцы из Братиславы, ничего не понимая или не желая понимать, придумали свою грандиозную операцию «Р», операцию с заложниками, да еще прислали этих олухов, которые испортят самые простейшие дела! Идиоты!

Второй незнакомец в черном непромокаемом плаще осторожно двинулся за старым Крапом. Когда Крапа втолкнули в грузовик, он подошел к борту и прошептал:

— Ничего, не бойся, все это для виду.

Крап узнал Угрина, они были знакомы еще с тех времен, когда Угрин был бедным столяром-подмастерьем и социал-демократом.

— А чего мне бояться, — громко, на всю улицу крикнул старый Крап, — я не такое дерьмо, как ты! Но ты, Угрин, попомни, придет время, я тебя собственными руками повешу.

Угрин отскочил от борта и выругался:

— Пес, старый пес!

— Ну вот, мы опять влипли, — с усмешкой сказал старый Голко, который сидел, согнувшись, рядом с Крапом. Его правую щеку десять лет назад обожгло кислотой, и с тех пор он говорил с трудом.

— А чего ты ждал от них, от этих разбойников? — спросил старый Крап, все еще не остывший от возбуждения.

Он окинул взглядом машину — под натянутым брезентом сидели, скорчившись, какие-то тяжело дышавшие люди, но в темноте нельзя было разглядеть их лица.

— Кто здесь? — спросил старый Крап.

Но жандарм, сидевший сзади на скамейке, крикнул:

— Эй, вы там, тихо! Молчать!

Но вокруг стоял сплошной крик. Жандармы тащили к машине маленькую женщину, Чачкову, а она все время вырывалась с воплем:

— А это вы видели? Вот это видели? — и, задирая юбки, показывала жандармам голый зад. — Все вверх дном перевернули, сюда только не заглядывали!

В дверях стояли ее пятеро детей и все ревели в голос:

— Мама! Мама!

Рослый жандарм стоял возле нее, не зная, что делать. Это был деревенский парень, и старая растрепанная женщина походила на его мать.

— Заткни ей глотку, — посоветовал вахмистр, стоявший сзади.

— Заткнуть? — спросил молодой жандарм.

— Ну да, заткни ей глотку, — приказал вахмистр. — Она весь поселок на ноги поднимет!

— Есть заткнуть глотку! — ответил рослый жандарм, все еще стоявший в нерешительности около Чачковой, которая продолжала кричать.

— Да что ты там? — строго спросил вахмистр. — Долго она еще орать будет?

Жандарм, еще помнивший, что недавно он был простым деревенским парнем, уговаривал Чачкову.

— Да перестань ты, баба. Ну чего ты разоралась! Перестань, старая, а не то сейчас получишь.

Но Чачкова все кричала и кричала. Тогда жандарм вздохнул и сказал себе: «Ну, раз так...» И взмахнул здоровенной ручищей, отвесив Чачковой оплеуху. Крик сразу прекратился. Женщина рухнула на землю, потеряв сознание. Даже дети на миг перестали реветь, пораженные увиденным. Чачкову закинули на грузовик, слышался приказ, машины тронулись с места. Ребята Чачковой кричали вслед:

— Мама! Мама!

Илона босиком прошлепала по холодной грязи к Чачковым и крикнула детям:

— Ну, чего ревете?

Она уложила их спать и поставила воду для кофе. Потом вспомнила о своей перине, открыла двери и закричала прямо в ночь:

— Прохвосты!

Но гул машин доносился уже издалека, сливаясь с шумом дождя.

Дождевые струйки проникли Лемнитцкому за воротник, поползли по спине, его знобило от холода.

— Идиоты! Олухи! — громко ругался он.

Эта операция «Р» не нравилась ему с самого начала, он понимал, что их время кончилось, что дело идет к концу, что нужно соблюдать осторожность и быть разумным. А это значило — не рисковать попусту и го-

товиться к поражению и длительной борьбе после него. Но ему даже на миг не пришло в голову сдаться, потерять всякую надежду: он не мог представить себе жизнь без власти и без надежды на власть, представить себя вне избранных. И он почти верил, что государство, которое он представлял, было единственно возможной формой существования словацкого народа. Он ненавидел евреев и чехов непреходящей, непоколебимой ненавистью, понимая, что он виноват перед ними и не может ждать от них пощады. Да, он знал, что ему нечего ждать пощады, и поэтому даже на миг ему не приходило в голову сдаться! Нет, он никогда не станет на колени! Никогда не будет молить о пощаде! Но уж если ему придется погибнуть из-за глупости других, он погибнет не один: он им покажет, где раки зимуют, они будут долго помнить! Да, после нас хоть потоп, как сказала одна высокопоставленная шлюха.

Старый Угрин сидел в машине рядом с Лемнитцким, дрожа от ночного холода. Уходя из дому, он подкрепился, но алкоголь уже выдохся, и теперь Угрину было холодно и он сидел вялый и равнодушный. Это было совсем не то, что прежде, когда они хватали евреев, когда были веселы, сильны и молоды; сейчас старый Угрин чувствовал себя больным и усталым, и все казалось ему безнадежным. И внезапно в этом угнетенном состоянии духа за запотевшим стеклом подсакивающей машины старый Угрин увидел лицо своей первой жены. (Она стояла над корзиной с бельем. Вдруг она подняла свое очень белое лицо, глаза ее наполнились слезами — и ничего больше.) Угрин едва дышал от страха: ему показалось, что он умирает, что он увидел свою собственную смерть, смерть нищего, всеми покинутого, всеми отвергнутого человека. Он собрался с силами, дрожащей рукой протер запотевшее стекло. «Тьфу, изыди, сатана!» — молил он в душе. Видение исчезло, за стеклом появились знакомые улицы. Тут и там через затемненные стекла пробивались полосы света; Угрин знал, что люди проснулись и прислушиваются. Это были враги, весь город был враждебен.

— Мы переполошили весь город, — сказал старый Угрин громко.

Лемнитцкий и сам знал об этом и злился, но вслух ответил:

— Что ты ноешь! Разве мы не в собственном городе, не на собственной земле?!

Но он и сам не очень был уверен, что этот город и эта земля все еще принадлежат им и не предали их.

— Да я ничего, просто так, — ответил старый Угрин.

«Я слышу, как ты говоришь, — подумал Лемнитцкий. — Ты говоришь так потому, что боишься, полные штаны наложил, только и думаешь, как бы дать стрекача от нас, свинья, дрянь».

— Боишься, старик? — спросил Лемнитцкий.

— Боюсь? — протянул Угрин. — Чего мне бояться?

Он хотел еще что-то добавить, но внезапно замолчал: он действительно боялся.

Ганка бежала уже с полчаса; она миновала сад, проскользнула через дырку в заборе и побежала над садами по едва различимой тропинке, выбралась на шоссе и кинулась полем вдоль него. Непромокаемый плащ, который был велик ей, путался у нее в ногах, в нем было очень жарко, она вспотела. Лучше всего бежать бы прямо к Черной Бране, туда стремилось ее сердце, но бежать туда она не осмеливалась, зная, что этого нельзя делать, вся эта свора может кинуться за ней. Она бежала вперед, вокруг нее были только ночь и дождь, а позади остался городок, откуда еще доносился отдаленный гул машин. Ноги вязли в размокшей глине, полуботинки на шнурках отяжелели. «Как глупо, — подумала Ганка, — какая я глупая, мне нужно было надеть башмаки, а не полуботинки». Внезапно гул в городке смолк, стало тихо, и Ганка остановилась. Она ловила ртом воздух, колени у нее дрожали, она была одна во враждебной темноте. В портфеле у нее лежало немного белья, яблоки (она очень любила яблоки) и записка с адресом, по которому она должна была обратиться. Это было очень далеко, ей пришлось бы идти всю ночь. Она вынула из портфеля яблоко и надкусила его. «Ну что ж, не пропаду же я», — успокаивала она себя. Она стояла, преодолевая дрожь. Потом выбралась на шоссе и отправилась в далекий путь. «Не бойтесь, я не пропаду», — пообещала она кому-то, с удовольствием прислушиваясь к бодрому звуку своих шагов.

Старый Голко, собрав силы, крикнул Крапу:

— Э, да у тебя протекция, хе-хе-хе!

— Не бойся за меня! — крикнул ему в ответ Крап.

— Черт вас возьми! — выругался жандарм. — Да заткните вы наконец глотки!

Старого Крапа отделили от остальных и повели в районное управление на второй этаж. Остальных загнали в подвал, в совершенно новое, современное тюремное помещение — это была единственная современная вещь в городке. Крики затихли, небольшая площадь, засаженная липами, и скверик опустели. Угрину пришлось идти домой пешком. (Лемнитцкому даже и в голову не пришло его подвезти.)

Угрин шел посередине улицы, страхась тени у стен. Он шел осторожно, словно пробирался по неприятельской территории, со страхом поглядывая на окна. Но городок снова спал, по крайней мере казалось, что он спит, ни о чем не заботится, ничего не желает видеть.

Дождь весело барабанил по крышам домов, и немощные улицы издавали крепкий, свежий запах земли.

14

Эма стояла над раскрытым чемоданом и оглядывала комнату: не забыла ли она еще чего-нибудь? Светило яркое утреннее солнце, мир был весел, и в Горском парке пели птицы. Ее муж, пан Ульрих, ушел на службу, и в доме стояла тишина. Эма присела у раскрытого чемодана, сложив руки на коленях. Вот и кончилась еще одна глава: она бежит из дома, который не любила, и от мужа, которого она возненавидела. Все в порядке, но что же дальше? Ах, там будет видно. Не к чему строить разные планы, жизнь в один момент все перевернет и изменит, есть много потоков, текущих независимо и самостоятельно, помимо нашей воли; единственное, что мы можем сделать, — это выбраться из одного и поплыть по течению другого. Познав течение, влекущее нас, мы можем от него освободиться, если у нас хватит сил, но не мы выбираем новое течение, а оно само выбирает нас; глупцы возвышенно называют это судьбой.

Умные освобождаются без жалости, но и без надежды; скучно быть умным, но это единственное орудие против превратностей жизни.

Наклонившись над чемоданом, она попыталась его закрыть. Но тут зазвонил телефон. Она неохотно встала и взяла трубку. Звонил ее муж, пан Ульрих. Он забыл дома какие-то бумаги, не видела ли Эма синей папки с этими бумагами?

— Нет, не видела, — ответила Эма, — какое мне дело до твоих папок!

Она хотела положить трубку, но раздумала.

— Слушай, — сказала она многозначительно, — слушай!

— Я слушаю, — покорно ответил пан Ульрих. В телефоне его голос терял свою мягкую бархатистость.

— Я ухожу, — сказала Эма.

— Жаль, — сказал пан Ульрих. — А когда ты вернешься?

— Дурак! Я совсем ухожу! Совсем, понимаешь?

В трубке что-то затрещало. Потом стало тихо. Вскоре послышался голос пана Ульриха.

— Не понимаю. Что случилось?

— Дурак, — повторила Эма. — Да ничего не случилось. Что могло случиться? Просто мне осточертело глядеть на тебя. В общем, ты мне осточертел. Понимаешь?

В трубке опять что-то затрещало. Эма положила трубку. Но минутой позже телефон зазвонил снова.

— Что еще тебе надо?

— Это ты серьезно, Эмочка?

— Очень серьезно, — ответила Эма и невольно улыбнулась.

— Что я тебе сделал?

— Не бойся, ты не виноват. Ты не отвечаешь за свою натуру.

— За что?

— За свою натуру.

— Не делай этого, Эмочка. Как ты можешь это сделать? После всего?

— Как могу? А как же я могла выйти за тебя замуж? Как я могла с тобой спать?

— Не говори так, Эмочка, это же неприлично, так не полагается.

— Ох,— сказала Эма и положила трубку около аппарата.

Она снова наклонилась над чемоданом. Наконец ей удалось закрыть его, она встала, надела легкое весеннее пальто, затем оглядела комнату еще раз — это была спальня со светлой ореховой мебелью. Нет, ей здесь ничего не жаль, она здесь ничего не оставляет. Это была чужая спальня, чужие постели, пижама пана Ульриха вызывала в ней отвращение. «Я снимала здесь квартиру, постель, столовалась,— подумала она и криво усмехнулась.— Как я могла это сделать?» Теперь пан Ульрих может дать объявление в газету: «Нужна барышня для постели. Примечание: убежденная католичка». В телефоне слышалось скрипучее: «Алло, Эмочка, ты слышишь? Алло, алло!»

Эма в сердцах хлопнула дверью.

Она тащила тяжелый чемодан вниз по Глубокой улице и размышляла о том, что ее ждет. Может ли ее ожидать в жизни что-нибудь удивительное, что вырвало бы ее из этой утомительной пошлости и приподняло бы над ней? Есть ли еще смысл ожидать чего-нибудь от будущего? Эма чувствовала себя усталой и опустошенной. «Умные люди давно перестали надеяться»,— пришло ей в голову, и она снова повторила про себя: «Умные люди уже давно перестали надеяться». Жизнь — глупая и бессмысленная штука, и надеяться могут или дураки, или сумасшедшие, потому что их удел — царство небесное, царство безрассудства и веры.

(Но ей так хотелось верить, хотелось надеяться, что в жизни есть что-то еще, какие-то ценности, какой-то человек, который вдруг появится и скажет: «Вот он я, вот я, для которого ты до сих пор жила. Все, что ты до сих пор упустила, и все, что ты уберегла, познала,— все это было ради встречи со мной». Но она не могла больше в это верить, она слишком устала и утратила слишком много иллюзий.)

На станции в густой толпе пассажиров она заметила Августина Шернера.

— Шернер! — закричала она. — Августин!

Шернер испуганно оглянулся и, увидев Эму, приложил палец к губам. Она пробралась к нему через толпу.

— И ты куда-то едешь?

— Тсс, Эма. Ради бога!

— В чем дело? — удивилась Эма. — Ты что, скрываешься?

— Почти. Объясню тебе потом.

Когда они сели в купе, Шернер развязал галстук и отодвинулся подальше от окна. Эму он попросил следовать за перроном.

— За кем я должна следовать?

— Нет ли там кого-нибудь подозрительного?

— Мужчина или женщина?

— Женщина.

— Ага, — засмеялась Эма. — И как же выглядит эта женщина?

— Толстуха в невыносимой шляпе.

— Ха-ха-ха, — рассмеялась Эма. — Ну и характеристика!

— На ней невыносимая шляпа с пером, — оскорбленно сказал Августин Шернер. — Таких теперь уже не носят.

— Ха-ха-ха, — смеялась Эма. А потом сказала: — Вон там одна невыносимая шляпа с пером. Плышет, как лодка по бурным волнам.

— Боже, — простонал Августин Шернер.

— Плышет и приближается к нашему берегу, — объявила Эма.

— Боже мой, — заскулил Августин Шернер.

— Ага, вот она уже видна целиком! — воскликнула Эма. — Под шляпой толстуха. С очень короткими ногами.

— Это она, — вздохнул Августин Шернер.

Эма, потешаясь, смотрела на коренастую взволнованную толстуху, которая прокладывала себе дорогу сквозь толпу и подозрительно заглядывала в окна купе. У нее были очень короткие ноги, и казалось, что она не идет, а катится, как шар.

— Она здесь, — сказала Эма и обернулась. Но Августина Шернера и след простыл. Он вернулся в купе, только когда они отъехали от станции. И сел, совершенно уничтоженный, на скамейку, вытирая пот со лба.

— Это ужасно, — сказал он.

— Что ужасно?

— Все. Вся жизнь.

— Ты не преувеличиваешь?

— Нет, взгляни на меня: я потерпел крушение.

Эма взглянула на него и увидела белую грязную рубашку и когда-то элегантные усики, сейчас уныло повисшие. Словно с Шернера кто-то стер скверный лак: теперь он выглядел самым собой, более мужественно.

— Поэзии нужны потерпевшие крушение люди. Поэзия — это самоотречение, — сказала она.

— Плевать мне на поэзию! — почти закричал Августин Шернер.

— Эге, это что-то новое, — удивилась Эма.

— Все это сплошной обман. Все мошенники.

— Тебя обидели?

— Я хочу жить, как живут другие люди. Я сыт по горло этим обманом.

— Как же ты хочешь жить?

— Как все люди. Работать и жить.

— Если бы все это было так просто! — вздохнула Эма.

— Нужно упростить жизнь, — сказал Августин Шернер.

Они замолчали, но вскоре Августин Шернер снова заговорил и говорил долго, а Эма молча слушала его. Монотонный стук колес вызывал на откровенность. Августин Шернер говорил, стараясь быть искренним. Говорил он бессвязно, потому что об этом он говорил впервые. До сих пор он не решался над всем задумываться и теперь подыскивал слова и пытался раскрыть смысл вещей скорее не для Эмы, а для себя. Он говорил об оскорблениях, о системе оскорблений, об оскорбительных замечаниях и оскорбительном молчании, рассказывал о снобах, обманщиках и шарлатанах.

— Эти грязные свиньи, — говорил он, — все персвернули вверх тормашками.

И снова, и снова возвращался к тоненькой детской ручонке, сжимавшей гриф скрипки.

— Этот цыганенок умер? — спросила Эма.

— Да, но в тот момент он, может быть, был еще жив. Понимаешь, Эма? В тот момент этот цыганенок еще, возможно, жил, а мы все ушли!

— Понимаю, — сказала Эма. А потом спросила: — А эта женщина? Что у тебя с этой женщиной?

— Ах, эта женщина, — вздохнул Августин Шернер. — Эта женщина — мой позор. Моя хозяйка, пани Ашеншвандтнерова, давала мне деньги, а я посвящал ей

стихи. И кроме того, каждую ночь она забиралась ко мне в постель и воняла подгорелым молоком. Она следила за мной, за каждым моим словом, взглядом, за моими бумагами, за каждым моим шагом. Ох, это было невыносимо!

Августин Шернер старался быть искренним, но он еще не окончательно освободился от своих привычек: он театральным жестом закрыл лицо руками и наверняка зарыдал бы, если бы Эма его не прервала:

— Истерика — женское дело. Что же ты теперь будешь делать?

Августин Шернер открыл лицо, и ему стало немного стыдно.

— Ты права, — сказал он, — я еще не освободился от этой фальши.

— Что же ты будешь теперь делать?

— То же, что делал раньше. Буду аптекарем.

— Разумное решение, — сказала Эма. — Станешь аптекарем в маленьком городке, женишься, пойдут дети. И будешь играть в преферанс.

— И буду играть в преферанс, — упрямо сказал обиженным тоном Августин Шернер. И добавил: — Нет ничего хуже лжи и обмана.

— Ты так уверен, — сказала Эма, — ты так уверен, что это ложь и обман?

— Да, уверен, — подтвердил Августин Шернер, — и мне противно.

Эма посмотрела на Августина Шернера, словно видела его в первый раз.

Она взвешивала: искренен ли он сейчас или это опять новая поза? И ей показалось, что он искренен. Она удивилась:

— Ты наивен, Августин. Я думала, что ты просто жестяной горшок. А ты ребячлив и наивен.

— Почему?

— Ты думаешь, что есть какая-нибудь другая жизнь? Без лжи и обмана?

— А почему бы нет?

— Нет, есть только разница в оттенках. В самой основе нет разницы. Сама основа всегда одинакова. От нее не скроешься.

— И потом, — сказал Августин Шернер с явной злобой, — потом все это нужно поджечь. И взорвать!

— Смотрите-ка, — слегка насмешливо сказала Эма. — Какой революционер!

— А что же делать? — защищался с обиженным видом Августин Шернер. — Смотреть на это свинство?

— А почему бы и нет? Можно и смотреть на это свинство. Можно быть спокойным, примириться. И смотреть на это свинство.

— Это цинизм, — неуверенно сказал Августин Шернер.

— Это только слово. Что оно значит? Нужно быть умным. И ничего больше не ждать.

— Ты уже ничего не ждешь, Эма?

— Ах, оставим это, Августин. Это бессмысленно.

(Но ей очень хотелось чего-то ждать, и она понимала, что где-то в уголке сердца она еще чего-то ждет. Она не может избавиться от ожидания. Пока мы живем, мы надеемся. Но вместе с тем она знала, что не дождется, что она уже устала и опустошена. Да, все это бессмысленно.)

Августин Шернер грыз ногти. До сих пор он всегда только кокетничал с тоской. Ему нравились дикие выкрики профессора Копаницкого, приятный холодок пробежал по спине от картины гибели; теперь он знал, что это была лишь игра, литература, жест. Теперь на него нахлынула настоящая тоска и настоящий страх — это были суровые, свинцовые волны тоски, волны накатывались медленно, но неумолимо. Откуда они приходили? Почему он раньше о них не знал? Внезапно он открыл в себе пропасть, она разверзлась в нем, и в нее было страшно заглянуть. Как мог он жить и не знать об этой пропасти?

— Мы потерпели крах, — сказал он. — Мы погибшие люди.

Помимо его воли, это звучало хвастливо и театрально.

— Мы еще живем, — сказала Эма.

(Еще живем. Еще живем. Пока живем, мы ждем. И даже если понимаем, что ждать нечего, мы все-таки ждем. Тщетное и бессмысленное ожидание, но разве изгонишь его из живого человеческого сердца? Так было, так есть, так будет во веки веков. Аминь.) Августин Шернер грыз ногти. Лицо у него побледнело и временами подергивалось. Откуда пришли эти волны

тоски? Где они до сих пор скрывались? Внезапно на него нахлынуло множество вопросов, это были новые, незнакомые и опасные вопросы. Но на них был только один ответ: нужно все разрушить до основания и все создать заново, нужно перестроить жизнь. Он знал, что эти вопросы уже не позволят жить ему так, как он жил до сих пор. Но он не знал, хорошо это или плохо, и ему было страшно.

— Нужно упростить все, — сказал он.

Эма молчала. Ее глаза были прикрыты тяжелыми веками, белое лицо словно вытянулось. Августин Шернер вздохнул, оперся о ручку скамейки и тоже закрыл глаза. Поезд стучал монотонно и безучастно.

15

Весна летела, она промчалась бесшумно, как в стремительном сновидении. Все в эту весну было таким же, как и в любую другую: и леса, и птицы, и поля. И тем не менее все было другим — и птицы, и леса, и поля, потому что изменились люди, которые на них смотрели. Все предметы приобрели другой смысл, словно за ними что-то скрывалось, словно за ними скрывались неизвестные ранее просторы, которые были гораздо важнее, чем внешние очертания отдельных предметов.

Казалось, из таинственных глубин исходит приказ: так больше не может быть, так не может продолжаться! И люди стали с подозрением смотреть на внешний образ предметов, и те вдруг показались им нереальными, как все кажется нам нереальным перед внезапной, готовой вот-вот наступить переменой. Действительность была мнимой, а движение, которое за ней скрывалось, становилось чем дальше, тем реальнее. Все настороженно ожидало той минуты, которая должна была прийти, минуты, когда скрытое движение сметет действительность. Это было ожидание: в нем были страх и надежда. Это было удивительное время, время ожидания, от которого нельзя было спрятаться в устойчивом, знакомом кругу вещей, от него нигде нельзя было скрыться, потому что оно таилось скорее в сознании людей, чем в предметах материального мира.

Нельзя было спрятаться от этого времени ожидания: старый Угрин зарывался в перины, в них виднелись только его заросший подбородок и запавшие глаза. Но он чувствовал, как близится развязка. Он говорил, что болен. Может, и вправду он болен: у него была астма, камни в печени и еще множество болезней, о которых он и не подозревал. Он боялся, страх, который он до сих пор подавлял в себе, вдруг вырвался и охватил все его существо. Ему было за пятьдесят, жена родила ребенка — девочку, — и, когда ее поднесли к его постели, он только пробормотал:

— На что она?

И отвернулся, чтобы его не увидели плачущим. Теперь он часто плакал, чувствуя себя слабым и покинутым, и думал о смерти. Он с трудом припоминал слова молитв, которые в последний раз читал когда-то в детстве; теперь он снова учился молиться. Целые дни и ночи он находился в одиночестве, один на один со своим страхом и угрызениями совести; вместе с прежней жизнью вспоминались и старые грехи — ночи, которые он прокутил, жизнь, которую он промотал, и снова ему виделись глаза первой жены, блестящие от слез. Он вздыхал: «Ох, грехи наши тяжкие, грешен я, грешен». И думал о смерти, которой очень боялся.

Лемнитцкий в разговоре с районным комиссаром политического управления сказал:

— Бог словаков отвернулся от нас.

Но как человек прежде всего практический, он приготовил на всякий случай чемоданчик, в котором было рёслеровское золото. Он бывал на военных совещаниях в Слиаче, видел главнокомандующего, начальников, их многочисленных помощников. Все делали вид, что ничего не происходит, что они твердо верят в то, о чем говорят. Но их слова звучали слишком бодро, их вера казалась слишком твердой, и Лемнитцкий им не доверял. Он знал, что нужно ждать всего, даже самого плохого; через месяц на всякий случай он выпустил всех арестованных из рабочего поселка, кроме старого Крапа. И однажды вечером даже навестил старую Крапову.

— Я ничем не могу вам помочь, пани Крапова, — сказал он ей, — ничем не могу помочь. Вашего мужа арестовали высшие органы, им заинтересовалась Братислава. Я тут ни при чем, поверьте, пани Крапова.

Крапова кивала головой и не верила.

— Мне уж его не увидеть, чувствую, мне его не увидеть, — твердила она.

— Что вы, что вы, — успокаивающе сказал Лемнитцкий. — Всякая каша горяча, пока варится!

Он отступал, зная, что при отступлении необходимо укреплять тыл. Временами на него находили приступы злости и ненависти: ему хотелось все взорвать, умереть героем, умереть за идею и убеждения на груди трупов своих врагов. Но ему не хватало страсти, он знал и видел слишком много, чтобы не сомневаться в идеях и убеждениях. Из осторожности он никогда не позволял себе размышлять о своих убеждениях: он чувствовал, что все эти убеждения слишком шатки и в основном построены на ненависти к убеждениям других и на ненависти вообще. Во имя их стоило жить, ибо они приносили много личных выгод, и прежде всего власть, но за них явно не стоило умирать. Идеи и убеждения зависели только от него и были ограничены только им: с его смертью им бы тоже пришел конец. Он хотел жить, потому что хотел возвращения власти и личных выгод, это и было его убеждениями. И поэтому он укрощал в себе ненависть и боялся ее.

Для Янко Крапа время ожидания уже прошло; он стал частицей того движения, которое подготавливало перемену. Иногда, в минуты горделивого упоения, ему казалось, что он был зачинателем этого движения, его источником, и тогда он был уверен, что делает историю. Это было заблуждением: движение совпадало с его волей, но происходило не по его воле. Оно являлось совокупностью многих волей, которые, возможно, не были такими осознанными, как воля Янко Крапа, но для конечного результата были одинаково важны. Названия рек по названиям истоков — это только вспомогательные названия, не раскрывающие всей сущности реки, состоящей из множества впадающих в нее притоков; и названия исторических эпох по отдельным личностям и событиям — это только вспомогательные названия, по которым эти эпохи различаются, но которые ничего не говорят о сущности этих эпох. Это волны, сверкающие на поверхности, а течение под ними невидимо. Что же важнее?

Не всегда ослепляла Янко Крапа гордость творца и вождя. В минуты прозрения он знал, что не он творец истории и не он ее вождь. Он был предвестником движения, собирал людей, организовывал их и приказывал им; в эти минуты прозрения он прекрасно понимал, что движение началось бы и без него, без его организационной работы и без его приказов, что это было стихийное движение масс, что оно сильнее его воли и заставляет его, Янко Крапа, действовать то так, то этак, согласно своим собственным законам, а не по законам его воли, воли Янко Крапа. Это оскорбляло Янко Крапа, и ему хотелось подчинить себе это движение со всеми его капризами и отклонениями. Он не знал, что все эти капризы и отклонения имеют свои собственные законы, действие которых можно ограничить, но не затормозить. Его сердили эти отклонения — он, Янко Крaп, был человеком с убеждениями и собственной линией поведения. Эта линия всегда представлялась ему в виде прямой черты. Ему приходилось тратить много напрасной энергии, чтобы направлять движение по прямой линии; он не понимал, что все его усилия направить движение по прямой — тоже всего лишь одно из отклонений, один из капризов движения, одно из множества отклонений, совокупность которых и создает закон.

Теперь они были хозяевами и властителями гор. Их сила неустанно возрастала, укреплялась, множилась. Это был стремительный поток, который нельзя было удержать; скрытые источники вливались в него, и поток непрерывно ширился. Это было чудесное время. Свободу, которую они чувствовали и носили в сердцах, они хотели подарить всем. Всем! Всем! Пафос рождающегося, пафос зарождения нового — это сильнейшие минуты, когда человек и человечество вновь обретают молодость. Они знали о своей растущей силе; знали они и о страхе, и о том странном, парализующем состоянии, которое их растущая сила вызывает там, внизу, где еще хозяйничают фашисты. Их долго преследовали; теперь они сами стали сеять страх. Они спускались в долины, все ниже и ниже, расширяли область своей власти и еще больше усиливали страх и оцепенение своего противника. Да, их молодая сила была вызывающей и почти слепой; они гордились ею и всюду о ней кричали. Вечерами они появлялись в деревнях, вооруженные гранатами

и револьверами, пили в корчмах, кричали и ругались, стучали кулаками по столу и угрожали. Это была демонстрация силы, и это оказалось сильнее всякой пропаганды и листовок. Никто им не давал советов, такого опыта раньше не было: движение само прокладывало себе дорогу. Янко Крап вначале ругался, боролся с нарушениями дисциплины, наказывал, но скоро и он понял, какую силу таят эти вылазки во враждебный мир, увлекая за собой нерешительных и наводя страх на противника. Он решил использовать стихийное движение и организовал демонстративную вылазку в городок.

Они шли по пыльной дороге под ясными июньскими звездами и пели. Некоторые были слегка навеселе, но все были опьянены собственной отвагой и собственной силой. Они шли и пели, никого не боясь — этот край был в их власти, все принадлежало им.

У первых домов городка дорога делала крутой поворот. Выйдя из-за поворота, они почти нос к носу столкнулись с жандармским патрулем. К этому времени жандармы уже старались их избегать. Но патруль состоял из молодых парней, и потому они порядком струхнули. Они дали очередь, повернулись и кинулись бежать. Лесник Ульрих выругался:

— Черт вас подери!

И остановился. Янко Крап, шедший рядом, спросил его:

— В чем дело?

— Вот сволочи, — выругался снова лесник Ульрих и тяжело опустился на землю. — Ранили меня... — прошептал он, уже лежа на земле.

Леша, осыпая жандармов проклятиями, кинулся за ними. Остальные остановились. Лесник Ульрих лежал на плаще и тихо стонал. Шляпа с султанчиком из кабаньей шерсти откатилась в сторону, редкие светлые волосы слиплись от пота. Чачко наклонился к нему и расстегнул куртку. Потом поднял голову.

— В грудь, — сказал Янко Крап, все еще не веря случившемуся.

Вернулся запыхавшийся Леша, не переставая сыпать проклятиями:

— Ушли, сукины дети! Попрятались.

Лесника Ульриха подняли, завернули его в собственный плащ и донесли до ближайшего дома. Янко Крап

расставил караулы и присел на крылечко. Он вдруг почувствовал себя слабым и усталым. Что случилось? Они шли, им было весело, и неожиданно произошло что-то непоправимое. Как это могло случиться? Он закурил сигарету и только тут заметил, что у него дрожат руки. Что это, страх? Эх, черт возьми, тысяча чертей, чего ему было бояться? И все-таки он боялся — он боялся думать о леснике Ульрихе, о его жене, он со страхом думал о профессоре Маркехе. Было странно, что ему пришел в голову Маркех, но тот ему вспомнился, и Янко Крап слышал его, ему даже казалось, что он разбирает слова: «Принцип вождя, пан Крап. Что для вас люди? Стадо свиней и рой мух. Мое почтение, командир, низко кланяюсь, великий вождь». «Черт возьми! — мысленно выругался Янко Крап. — Какое отношение имеет ко всему случившемуся этот дерьмовый профессор?!»

Открылась дверь, из нее вышел маленький сгорбленный человечек в фуражке дорожного сторожа. Он сел на крыльцо рядом с Янко Крапом, набил трубку и покосился на своего бородатого соседа. Потом сказал, словно про себя:

— Я думаю, не выживет.

Янко Крап вздрогнул, но промолчал. Дорожный сторож, которому принадлежал дом, был, очевидно, и сам порядком перепуган, и поэтому ему хотелось говорить.

— Крови натекло, — сказал он, — всю кухню залило. А сколько холста разорвали. А кровь все льет и льет.

— Не выживет? — прошептал Янко Крап.

— Я так думаю, не выживет. Изойдет кровью. Кабы доктора, может, что-нибудь и вышло бы. А так не выживет.

Янко Крап резко встал и отбросил сигарету. Войдя в кухню и отдавая приказ Артему, он ни разу не взглянул на деревянный топчан, на котором лежал лесник Ульрих.

— В чем дело? — спросил Чачко. — Ты куда?

— За врачом, — сказал Янко Крап.

— Зачем идти тебе? Я пойду, любой из нас пойдет. Тебе не положено, ты командир.

— Нет, я сам, — сказал Янко Крап и вышел в ночь.

Янко спешил, почти бежал. Он не хотел ни о чем думать, сжимал зубы, повторяя: «Врача, врача...» Ему казалось, что от этого слова зависит не только жизнь лесни-

ка Ульриха, но каким-то образом и жизнь его самого, Янко Крапа. Он притащит врача живого или мертвого, притащит во что бы то ни стало! Но ему не повезло. Знакомого врача не оказалось дома, он как раз куда-то ушел.

— Куда он ушел? — нетерпеливо спросил Янко Крап. Служанка смотрела на него растеряннo, испугавшись сердитого бородатого незнакомца.

— Не знаю, — ответила она и со страху хлопнула дверью.

Теперь Янко Крап бежал, не видя ничего вокруг, мимо поселка в больницу. Врача, врача, он достанет его хоть со дна морского, врач должен быть, он должен его найти!

В воротах он оттолкнул сторожа и побежал по усыпанной песком дорожке, ворвался в приемную и, ослепленный ярким светом, вначале ничего не увидел.

Эма подняла голову:

— В чем дело? Почему вы без стука?

Янко Крап тяжело дышал в дверях.

— Скорее, идемте!

Эма присмотрелась к странному посетителю: что за манеры? Она работала в больнице всего две недели и очень считалась со своим новым солидным положением. В дверях стоял бородатый парень с сумасшедшими глазами.

Она отложила книгу и спустила ноги с дивана.

— Что вам надо?

— Скорей, — сказал Янко Крап. — Вы что, не понимаете? Вы должны скорей идти, ранен человек, он умирает.

— А где он, этот ваш раненый?

— Там, — сделал неопределенный жест Янко Крап. — Он в верхней части городка и умирает.

— Я дежурю, — сказала Эма. — Я занята здесь, в больнице, и не могу идти.

Янко Крап вошел в комнату и приблизился к Эме: кулаки у него сами собой сжимались и разжимались.

— Вы что, не понимаете?! Вы должны идти! — И он схватил ее за плечи. Эма вскрикнула от боли.

— Ох! Что за манеры? Я буду кричать!

— Хватит! — сказал Янко Крап. — Одевайтесь! — Он вытащил из кармана кожаной куртки револьвер и напра-

вил его на Эму. — Живо! — сказал он. — Ведь этот человек там умрет!

Эма испугалась, ее белое лицо стало еще бледнее, чем обычно. Но в тот же миг в ней все возмутилось, ее охватило упрямство, протест и злость.

— Я не пойду, — сказала она. — Стреляйте! — И добавила оскорбленно и гневно: — Что это за фокусы?

Янко Крап не знал, что делать. Им овладело дикое желание все разбить, все расстрелять и уничтожить здесь. «Это безумие», — постарался уверить он себя и сразу весь как-то обмяк.

— Ведь этот человек умирает, — прошептал он еле слышно. — Я прошу вас, — сказал он, готовый стать на колени.

Эма с минуту смотрела на него. У бородатого незнакомца в глазах стояли слезы.

— Вот это другой разговор, — сказала Эма и начала одеваться.

— Спасибо вам! — вырвалось у Янко Крапа из глубины сердца. — Я никогда этого не забуду.

— Ну что там, — пожала плечами Эма. — Возьмите чемоданчик.

Они торопливо вышли и в коридоре встретили ругающегося сторожа, но Эма его успокоила. Они сбегали по лестнице и нырнули в темноту. Они шли быстро, почти бежали, но Янко Крапу казалось, что идут они очень медленно, он боялся, боялся каждой убегающей минуты.

— Вы не можете идти быстрее? — спросил он умоляюще.

— Не могу, — ответила Эма. — Я могу только бежать.

— Тогда бежим, — сказал Янко Крап и пустился бегом.

Эма послушно побежала за ним. Бежать было трудно, ноги подкашивались, она едва переводила дух и все же бежала. Все было удивительно — ночь, черная как смола, бородатый незнакомец с ее чемоданчиком, и она сама, бегущая за ним. В какой-то миг она подумала: «Почему я все-таки бегу за ним? Почему, напрягая все силы, бегу за ним?» Все это было удивительно, а еще удивительнее была уверенность; возникшая у нее, уве-

ренность, основанная на неясном ощущении: почему-то очень важно бежать за этим человеком.

В кухне дорожного сторожа стояла тишина, все сидели неподвижно, ни живы ни мертвы, в мрачном покорном ожидании, потому что ни на что другое не были способны. Лицо лесника Ульриха было бледнее мела. Эма присела к леснику и нащупала пульс.

— Его срочно нужно в больницу, — сказала она, — необходимо переливание крови.

Янко Крап задумчиво гладил шрам на правой щеке.

— Это трудное дело, — сказал он, — в больницу его нелегко отправить. Знаете, кто это?

— Это раненый человек, — сказала Эма, — и он потерял слишком много крови. Его нужно отправить в больницу, иначе он умрет.

Янко Крап задумался, и все с ним задумались: что же делать? Чаčko вежливо спросил:

— А нельзя ли как-нибудь иначе, пани докторша?

— Его нужно отправить в больницу, иначе он умрет, — повторила Эма.

Янко Крап задумчиво почесал шрам и глубоко вздохнул:

— Что же делать?

Потом приказал сторожу разыскать повозку и послал с ним нескольких ребят из отряда. Эма перевязывала лесника; тот еле дышал. Янко Крап вышел на улицу, не в силах следить за перевязкой.

Он сел на крыльцо и закурил. Тысяча чертей! Он потихоньку ругался, чтобы прогнать чувство вины, чувство тяжелой вины. И знал, что это чувство ему не прогнать, что оно останется и не уйдет. Командир, какой он командир?! Он скорее похож на подмастерья мясника, держащего овцу: колите, пан мясник, я ее держу. А потом брызнет кровь и льется, льется, сколько крови! «Тьфу, — ругается Янко Крап, — я вел их на смерть, нас всех могли укокошить, а я их погнал как баранов!» И нужно же было попасть под пулю именно ему, именно леснику, первому человеку, который в самые плохие времена был для Янко Крапа отцом, братом, другом! А какой он был веселый, как умел смеяться — дрожала вся лесная сторожка! И вот теперь он умирает, а если даже и не умрет, что с ним будет? «Тысяча чертей!» —

потихоньку ругался Янко Крап и со злостью отбросил сигарету. Почему их нет до сих пор с этой повозкой?

Эма тихонько вышла из кухни, закуталась в непромокаемый плащ и присела на крыльце.

— У вас есть сигареты?

Янко Крап протянул ей сигарету и дал прикурить. До сих пор в спешке и волнении он ее не разглядел; теперь при свете сигареты он заметил необычно белое лицо и немного близорукие, печальные, беспомощные глаза.

— Он будет жить?

— Не знаю,— ответила Эма.— Если бы он уже сейчас был в больнице!

— Вам придется сообщить об этом? Да? Придется сказать — у нас тут раненый бандит? Что же будет потом?

— Не знаю,— сказала Эма.— Я здесь всего две недели и не знаю, как делаются подобные вещи.

— Да, придется сообщить,— сказал Янко Крап и замолчал.

Послышался стук колес и приглушенные голоса.

— Ну, я пойду,— сказала Эма и вздохнула.

Янко Крап легонько коснулся ее плеча.

— Доктор,— сказал он ей,— а как же будет с вашим сообщением?

— Не знаю,— сказала Эма.

— Это лесник из Черной Браны. На Тепличной его подстрелили браконьеры, теперь везде полно браконьеров. Они бросили его, и он почти истек кровью, но добрые люди подобрали и ночью привезли его к вам. Больше вам ничего не известно.

— Хорошо,— сказала Эма,— постараюсь запомнить. Лесник из-под Черной Браны. Запомню. Как его звать?

— Ульрих, лесник Ульрих.

— Ульрих?

— Да, лесник Ульрих. Чему вы удивляетесь?

— Такая редкая фамилия,— сказала Эма.— Я ее легко запомню.

— Я никогда этого не забуду,— сказал Янко Крап.

— Оставьте,— сказала Эма.— Не стоит.

Повозка остановилась перед домом. Жена сторожа положила в повозку перину. Леша осторожно вынес

лесника и опустил на перину. Он наклонился над ним и спросил:

— Хорошо тебе так?

Но лесник не ответил, он был без памяти. Эма села у его ног. Молодой Голко тихонько тронул лошадей.

Янко Крап коснулся руки Эмы.

— Я никогда этого не забуду, — повторил он.

— Все в порядке, — ответила Эма.

Повозка тронулась. Янко Крап с ребятами остался стоять на дороге. Эма видела только черные тени, печальные, неподвижные и тихие. «Как все это странно, — подумала Эма. — Эта ночь, эти черные тени и повозка, которая медленно и бесшумно катится по асфальтированной дороге». А фамилия лесника — Ульрих. Это брат пана Ульриха. Эма помнит, пан Ульрих как-то раз случайно о нем проговорился, но тут же добавил, сморщив нос: «Это, собственно, не родной брат, он от первого брака, а я от второго». И было похоже, что пан Ульрих стыдится брата. Эма сидела у ног лесника, плотно закутавшись в непромокаемый плащ, и чувствовала, что ее захватывает какое-то свежее, неизвестное ей таинственное течение. Она знала, что это за течение и что это за парни, почему тут лежит без памяти лесник Ульрих и почему она сама сидит около него. И ей совсем не было страшно. После долгого, очень долгого времени у нее снова появилось ощущение, что она коснулась чего-то чистого, чего-то такого, что может очистить ее и что не противно ее совести.

Депутат Феркодич в последние месяцы охотно забыл бы о том, что он депутат, и старался быть теперь только архитектором Феркодичем. Он покинул город, который его угнетал, и свою виллу, больше не казавшуюся ему такой прочной и неприступной крепостью. Он уехал из Братиславы на строительство туннеля и там целыми днями мотался по стройке, заглядывал в бараки, вступал в разговоры с рабочими. По вечерам он играл в карты по маленькой со своими подчиненными — с инженером, руководившим стройкой, с бухгалтером, — вел себя как человек простой и общительный. Он хорошо себя чув-

ствовал на свежем воздухе, отдохнул, окреп, и ему самому стало казаться, что все в порядке, что он никогда не был депутатом, что он и вправду простой и близкий народу архитектор, за какого себя выдает. Но однажды он получил анонимное письмо. «Уважаемый пан депутат, — говорилось в письме, — вы скоро будете дедушкой. Но где же отец ребенка?!» И подпись: «Друг нравственности». Архитектор Феркодиц с глупым видом смотрел на письмо, и вдруг в нем вспыхнули все подозрения, которые он умышленно гнал от себя, взгляды, слова, недоумолвки. И внезапно он понял, что это правда, пришел в ярость, порвал письмо и заметался по кабинету, в бешенстве топая ногами. В тот же день он сел в поезд и уехал в Братиславу.

Пани Гана уже не вставала с постели. Врачи советовали ей сделать еще одну операцию, но она отказалась. Она отлично понимала, что надежды нет, и ей была противна одна мысль о том, что нужно подняться со своей постели и снова столкнуться с грязью, шумом и суетой, увидеть чужие лица и чуждую ей среду. Весь мир теперь ограничивался для нее постелью, в которой она лежала, собственным телом, болью, постоянной и неотступной, — боль заполняла все. Приходил врач и делал ей укол морфия, измученному телу становилось легче, боль на некоторое время отступала, состояние оупления казалось приятным, почти сладостным, как в спокойном царстве теней. А потом снова возвращалась боль, изнурительная, невыносимая, бесконечная, и снова укол морфия и тишина, подобная сну.

Олина большую часть своего времени проводила у постели матери. Она вытирала ей пот, мыла ее, причесывала, кормила, всячески заботилась о ней как умела. Когда пани Гана засыпала, Олина садилась в кресло у окна, читала или сидела просто так, положив руки на колени, и думала. Первый раз в жизни у нее было достаточно времени для размышлений, теперь она оказалась наедине сама с собой, и это было мучительно. Она занималась не только собой, своим положением и своей судьбой: рядом была мать, умирающая мать. Сейчас Олина понимала, что всегда ее любила, стыдилась своих ссор с ней, своей злости, своих подозрений, ей хотелось забыть все, будто никогда ничего и не было. Она видела страдания матери, сочувствовала им, и ей было беско-

нечно жаль, что она не может страдать вместе с ней, вместо нее. Олина вся отдалась этой любви и этому сочувствию — это было чистое, бескорыстное чувство. Она ощущала, как все случайное в ней теперь оседает и принимает определенные очертания. Ей казалось, что от прежней Олины не осталось и следа. Теперь она была уверена, что прежняя Олина жила в несуществующем мире, в мире лжи и обманов, и обещала себе, что больше никогда не поддастся этой лжи и иллюзиям, этим приятным соблазнам, которые заставляют нас слишком сильно любить себя и свои радости. Ей казалось, что теперь она видит жизнь в ее истинном свете: жизнь была трудной и грязной. Но Олина была готова нести свой крест, гордо держать голову и не сдаваться. Она решила, что не будет скрывать свое положение от других людей, и начала носить свободные платья, под которыми ясно вырисовывался ее увеличившийся живот. Вокруг нее образовалось пустое пространство — все знакомые стали ее избегать. Только несколько женщин, которых когда-то она легкомысленно считала своими приятельницами, посещали ее, жалея и не пытаясь скрыть своего злорадства. Она не сердилась, не обижалась и молчала, гордая и важная. Визиты в конце концов прекратились, и в доме водворилась тишина.

И вот в эту тишину, полную размышлений, ворвался архитектор Феркодич. Смеркалось. Олина сидела в кресле, подремывая, утомленная своим сидением. Пани Гана лежала после укола неподвижно, даже дыхания ее не было слышно. Архитектор Феркодич отворил двери и повернул выключатель. Олина открыла глаза. Она инстинктивно закрыла живот руками, словно защищая его. Архитектор Феркодич застыл в дверях как вкопанный — значит, это правда, теперь он убедился во всем собственными глазами. Он хотел шагнуть вперед, но споткнулся, притронулся рукой ко лбу и потерял его. Потом сказал, задыхаясь от злости:

— Вон отсюда!

Олина встала, книга соскользнула с колен на пол.

— Вон из этого дома! — повторил архитектор Феркодич и показал рукой на дверь. — Чтобы я тебя здесь больше не видел! — Руки у него тряслись, он брызгал слюной, длинное лошадиное лицо исказилось.

— Отец, — тихо сказала Олина.

— Чтобы я тебя здесь больше не видел! — иступленно закричал архитектор Феркодич.

— Почему ты так кричишь? — спокойно спросила Олина. — Ты ее разбудишь.

Как боялась Олина этой встречи! Но теперь, когда все было позади, страх ее прошел. Все оказалось легче, чем она представляла: легче потому, что этот взбесившийся от ярости человек был чужим для нее и безразличным. Она нагнулась за книгой и еще раз взглянула на мать. Потом не спеша вышла. В своей комнате Олина села на постель и долго сидела без движения и без мыслей. Потом, вздохнув, встала и начала укладывать самые необходимые вещи в чемоданчик. Когда все было готово, она снова присела и попыталась подумать о том, как быть дальше. Что она должна сделать? Куда поехать? Она знала только, что должна уехать, что она не может жить рядом с этим человеком, своим отцом, что она задохнулась бы здесь. Ей было очень жаль матери, но что она могла сделать? Теперь нужно было уехать — это было ясно и вполне определено; потом будет видно, что делать дальше.

С чемоданчиком в руке она вошла в комнату матери. Архитектор Феркодич сидел на стуле прямо в дверях, сжимая голову руками. Олина прошла мимо него, словно мимо пустого места, наклонилась над постелью. У матери были открыты глаза, она тихо, неслышно дышала. Увидев Олинино лицо, она слегка наморщила лоб.

— Это ты, Олина?

— Да, мама.

— А он... тут?

— Да.

— Мне что-то показалось, — с усилием сказала больная. Она приподняла руку, рука была безмерно, невыносимо тяжелой.

— Чего ты хочешь, мама?

— Уходишь?

— Да.

Рука безвольно упала на постель. Больная на минуту закрыла глаза. Потом снова их открыла и долго смотрела на Олину. В этом взгляде было и понимание и сочувствие, но все это — и понимание и сочувствие — было заслонено чем-то более тяжким и более значительным — это был взгляд с того света.

— Я буду молиться за тебя, — тихо сказала больная, выпрямилась и глубоко вздохнула.

Больная снова закрыла глаза, и на лбу у нее выступили капельки пота. Олина осторожно их вытерла. Еще раз вздохнула.

— Ну, я пошла, — сказала она.

Мать не открыла глаз. Человек, сидевший на стуле в дверях, — Олинин отец — молчал, не двигаясь. «Теперь и в самом деле нужно уйти», — подумала Олина. Она крепко сжала ручку чемодана, медленно, тяжелыми шагами прошла через всю комнату и тихо прикрыла за собой двери. Затем прошла через сад — песок скрипел у нее под ногами — и тщательно закрыла калитку. Она отдавала себе отчет во всем, ощущала свои движения, свою усталость, но все словно было покрыто какой-то дымкой, словно женщина, идущая по тихой улице, была не Олина, а какой-то посторонний человек, вызывающий жалость и сочувствие. На улицу опускались легкие летние серовато-голубые сумерки, из какого-то сада доносился густой аромат роз. Внизу, у подножия квартала особняков, тихо и неназойливо шумел город. Олина шла навстречу этому шуму, следила за своими движениями, слышала свои шаги и жалела женщину, которая идет и слышит свои шаги. Вверх по улице поднимался какой-то очень высокий мужчина, странно размахивая рукой с портфелем и что-то бормоча себе под нос. Затем Олина встретила влюбленных: они шли медленно, не спеша, останавливались иногда и снова медленно двигались дальше, словно подчиняясь какому-то ритмическому закону, известному только им одним. Городской шум становился все ближе, и наконец город поглотил Олину. Она остановилась: куда идти? На мгновение она осознала, что женщина, которую нужно жалеть, — это она сама. Куда ей направиться? Она растерянно стояла в шумной толпе, которая куда-то спешила и толкала ее. Куда поехать? Неподалеку остановился трамвай. Она села в вагон и, когда трамвай подошел к вокзалу, вышла из вагона: ей показалось, что она собиралась попасть именно на вокзал. Но в зале ожидания Олина снова беспомощно остановилась. Она принялась читать надписи над окошками касс; там стояло много названий, но все они казались ей чужими, незнакомыми, ничего не говорящими. У окошек, где продавались билеты, была давка.

Какой-то офицер громко ругался с кассиром. Олина вздрогнула: у офицера был точно такой же синий мундир и точно такой же кортик, как у капитана Лабуды. Но она тут же успокоилась — это был не он, а совершенно незнакомый, неприятный человек. Она встала в очередь и вместе с остальными принялась проталкиваться к окошку, все еще не зная, куда едет. Куда поехать? Но ей казалось, что об этом не стоит думать, что в нужный момент придет решение, что, собственно, она уже решила, только еще не знает что. И действительно, подойдя к окошку, она сказала, ни секунды не раздумывая:

— Прегибы, третий класс.

Так называется городок, где жили родители Марека.

Уже сидя в поезде, Олина слегка удивилась своему решению: почему к Мареку, почему именно к нему? Но она тут же отогнала сомнения: а куда же еще ей ехать? Что же, выпить яд, броситься в Дунай или перерезать себе вены? Фу, как это отвратительно! А куда же еще? Она едет к Мареку — и кончено.

Поезд тащился еле-еле, хотя это и был пассажирский поезд. Он тащился бесконечно долго, ежеминутно останавливался, скрипел тормозами и дергался. Олина задремала, затем очнулась, ощущая неприятный вкус во рту, и снова задремала. Проснулась она потому, что кто-то положил ей руку на плечо. Это был проводник, говоривший ей:

— Дамочка, дальше мы не едем, вам выходить.

Олина удивленно открыла глаза: что за дамочка? К кому это обращаются? Она оставалась уже одна в купе, и проводник невежливо устоялся на ее живот и на руку без обручального кольца.

— Вам выходить, дамочка, — сказал он еще раз и усмехнулся.

Ей стало стыдно, она прошла мимо проводника с опущенной головой. На улице стояла ночь, и Олину слегка знобило — было холодно. Большая станция, на которой Олине нужно было ожидать пересадки, лежала среди гор. Ждать пришлось больше пяти часов. Станционный ресторан оказался уже закрытым, в зале ожидания набилось полно народу, там было душно и смрадно. На перронных скамейках не было ни одного свободного места. Олина ходила по перрону — тридцать ша-

гов вперед, тридцать назад. И снова, и снова эти неизменные тридцать шагов — вперед и назад, вперед и назад. Ей казалось, что она ходит по клетке и что это началось не сегодня и не вчера; что всегда, сколько она себя помнит, она двигалась в замкнутом пространстве, и она была счастлива только потому, что не ощущала этого замкнутого пространства. Клетка, тюрьма; у каждого человека только ограниченное пространство для движения, каждый живет в большой или маленькой клетке. Тридцать шагов вперед, тридцать назад. Не все ли равно, какой величины эта клетка? Она никогда не бывает настолько велика, чтобы не чувствовать ее стен; никогда мы не можем быть свободны. Клетка, тюрьма, свобода. Какой во всем этом смысл?

У Олины болели ноги, все тело, голова слегка кружилась, и она чувствовала себя слабой, обессиленной. Олина остановилась и, поджимая колени, прислонилась спиной к стене, тяжело дыша. Боже мой, что это со мною? Почему у меня такая слабость, почему я здесь одна, совершенно беспомощная? Почему я здесь стою? Что со мной происходит? Олина стиснула зубы, но не могла преодолеть приступа слабости и застонала. С соседней скамейки поднялся щуплый паренек и сказал ей:

— Садитесь, пани.

На паренке была спортивная куртка и берет, и голос у него был удивительно чистый, звонкий, девчоночий. «Садитесь, пани», — сказал паренек чистым, звонким голосом. Олина тяжело опустилась на скамейку и закрыла глаза. Паренек с жалостью спросил:

— Вам плохо, пани?

Олина, не отвечая, тихо застонала.

— Я принесу вам воды, — сказал паренек и скрылся.

Через минуту он вернулся с бутылкой воды. Олина стала пить, вода была холодная и приятная на вкус — давно уже ей ничего так не нравилось, как эта холодная вода с привкусом извести.

— Спасибо, — сказала она, открывая глаза, — спасибо вам.

В утреннем свете она увидела совсем рядом несколько большой рот, слегка выступающие скулы и большие карие глаза; кожа была удивительно тонкой, женской. «Какая я глупая, — подумала Олина, — ведь это девушка,

она в брюках, и у нее коротко острижены волосы, но это девушка — круглолицая, нежная и милая».

— Спасибо,— сказала Олина еще раз, и девушка, которой, видимо, хотелось, чтобы ее принимали за паренька, проворчала нарочито грубым голосом:

— За что? За каплю воды?

Потом она сунула бутылку в небольшой портфель и отошла. Олина потеряла ее из виду, только при выходе в Прегрибах ей показалось, что она снова ее увидела. Но девушка тут же исчезла, словно сквозь землю провалилась.

После недолгих блужданий Олина нашла дом Угринов. Она постучала, дверь открыла рябая, растрепанная, небрежно одетая женщина. Женщина кипятила белье в кухне, полной пара. Она стояла посреди кухни с большой деревянной мешалкой в руке. Олина поставила чемоданчик и остановилась в дверях. Женщина неприязненно оглядев ее, бесстыдно уперлась взглядом в живот Олины. Наконец она спросила:

— Что вам надо?

— Я ищу Марека,— покорно сказала Олина.— Здесь живет Марек Угрин?

Женщина все еще смотрела на Олинин живот.

— Нет, не живет. Что ему тут делать?

Она почувствовала, как снова ее охватывает слабость. В душной кухне было нечем дышать.

— Она спросила:

— Можно ли присесть?

— Идите туда, откуда пришли,— неприязненно сказала женщина и, неизвестно почему, начала кричать: — В этом доме я хозяйка, если хотите знать! Этого еще мне не доставало! Всякие потаскушки из города будут сюда приезжать! Этого еще мне не доставало!

От крика проснулся и заплакал ребенок. Из комнаты послышался глухой кашель.

— Идите туда, откуда пришли! — кричала женщина.

Олина тяжело дышала, лицо ее побелело.

— Где же Марек? — с трудом спросила она.

— Там,— женщина неопределенно махнула рукой. А потом снова закричала: — Иди к нему, иди к нему со своим брюхом, нечего тебе тут делать!

Олина взяла чемоданчик и, шатаясь, вышла. Она чув-

ствовала невероятную слабость и села на крыльцо. Но женщина появилась в дверях и закричала на всю улицу:

— Катись отсюда, стерва, а не то я тебя ошпарю!

Олина с трудом поднялась. Ослепительное солнце било ей прямо в глаза. Двери в домах и калитки начали открываться; дремлющая улица проснулась, вдруг появилось много глаз, внимательных и насмешливых. Глаза, не стесняясь, смеялись: ха-ха-ха, нам опять посчастливилось кое-что увидеть! Олина медленно тащиась по улице, по этой улице позора, едва передвигая ноги и не чувствуя ничего, кроме тяжести собственного тела. Она шла, упрямо шагая по пыльной дороге... Кончилась улица, дома, городок, а она все шла и шла. Куда она идет? Олина не думала об этом. Она шла, и ей казалось, что самое важное — пересилить тяжесть собственного тела. Она медленно брела по дороге в горы, совсем одна в полуденном зное и тишине. Она не знала, сколько уже идет, потеряв счет времени. И ей казалось, что все остановилось, что все замерло — и воздух, и солнце, и горы. Ее полные губы распухли, потрескались, короткие светлые волосы слиплись от пота и почернели от пыли. Но она ничего не чувствовала — ни грязи, которой она не выносила, ни своего жалкого вида; она чувствовала лишь невыносимую тяжесть собственного тела и с ужасом замечала, как тают ее силы. Что она будет делать, когда выбьется из сил? Что будет делать потом? И ее охватывало предчувствие, что потом придет что-то более трудное, чем невыносимое напряжение и тяжесть, что потом придет другая, еще более страшная тяжесть, с которой ей не справиться. «Мне нужно идти, пока у меня есть силы, нужно идти дальше и дальше и ни о чем не думать. Нет ничего хуже этих дум. Ты должна идти, — приказывала она себе, — должна идти и идти, это очень просто, должна идти — и все!»

Олина видела перед собой какие-то дома и хозяйственные постройки и странного человека, лежащего в пыли на дороге за каким-то странным предметом. Он кричал ей что-то — она не понимала. Она сделала еще несколько шагов, зашаталась и рухнула в дорожную пыль, не выпуская из рук чемоданчика. Парень, лежа-

щий за пулеметом, выругался и что-то закричал. Из домов выбежали люди, окружили Олину, потом подняли ее и понесли.

Капитан Лабуда лежал на вершине над Горна-Осадкой. Он смотрел в бинокль на Прегибы, но в стеклах бинокля виднелась все та же картина — неизменно неподвижная. Он снял рубашку и перевернулся на спину: над ним плыли облака, маленькие августовские облачка, едва заметные на раскаленном небосводе. Откуда-то издадека слышался глухой шум веялки, а на общинном кладбище лениво позвякивали колокольчиками коровы. Звуки были мягкие, приглушенные, в воздухе пахло елью и перестоявшими травами, веял ветерок, нежный и сонный.

Капитан Лабуда с наслаждением дышал, чувствуя каждой жилкой — вот она, моя родина: горы и долины, звуки и ветерок, и этот немыслимый воздух.

Это и есть действительность, это и есть подлинная действительность. Все остальное, что отделяло его от нее — белорусские леса, непроходимые и трагические, дремучие и печальные, болота и речки с запахом стоячей воды; самолет, пробивающийся сквозь облака; столица Украины Киев, город развалин и цветущих каштанов; тихий городок, где шло военное обучение, новые друзья; и снова самолет, крохотные огоньки во мраке и прыжок в бездонную тьму, — все было только призраком, сном, подготовкой к этой действительности. Капитан Лабуда, бывший капитан Лабуда лежит на вершине над Горна-Осадкой, теперь он начальник штаба в бригаде Янко Крапа, и сейчас у него единственное занятие — время от времени смотреть в бинокль на знакомый городок, на Прегибы. Но там все замерло. На дороге спокойно подпрыгивает повозка, груженная зерном; все мирно, тихо, мягко. Капитан Лабуда лежит то на животе, то на спине, то снова переворачивается на живот. Единственное его занятие — валяться на солнышке и время от времени поглядывать в бинокль. Но в бинокль не видно ничего интересного, кроме обычной ленивой жизни: повозки, груженные зерном, важно подпрыгивают по дороге, и весь городок словно вы-

мер. Но вот в стеклах бинокля что-то появляется — это пешеход, одинокий пешеход с чемоданчиком. И так как капитану нечего делать, то он с интересом наблюдает за этим пешеходом.

Фигуру пешехода трудно поймать в бинокль — тот идет пошатываясь. «Пьяный, — думает капитан Лабуда, — пьяный уже днем». И он снова растягивается на спине в теплой, опаленной солнцем траве. Но теперь он уже не может поймать этот неповторимый аромат воздуха — пьяный с чемоданчиком не дает ему покоя. Что за чудак? Здесь в полдень никто не напивается и никто не ходит в горы с чемоданчиком. Что за чудак?

Теперь капитан Лабуда смотрит в бинокль долго, пристально. И вдруг отводит бинокль — черт возьми, да ведь это женщина! Он протер стекла и снова всмотрелся; да, это женщина, у нее бесформенная фигура и большой живот, она идет шатаясь. Но кажется, она не пьяна, а шатается просто от усталости. Капитан Лабуда больше не опускает бинокля и внимательно наблюдает за одинокой женщиной, которая беспомощно тащится по пыльной дороге, оставляя за собой клубочек пыли. Он пытается представить себе ее историю: скорее всего, она прислуга, обычное дело — прислуга служила в городе, а теперь возвращается в деревню рожать. Такие вещи часто случаются.

Но чем ближе женщина, тем меньше верит капитан Лабуда в выдуманную им историю. Нет, женщина совсем не походит на прислугу. Капитан Лабуда не видел отчетливо ни ее одежды, ни лица, но что-то убеждало его, что это совсем не прислуга, возвращающаяся домой рожать. В этой нетвердой походке, в этом чемоданчике, в этой одинокой фигуре словно таилась какая-то трагедия, и минутами капитана Лабуду охватывало предчувствие, что эта трагедия как-то касается и его, капитана Лабуды.

— Черт возьми! — сказал он вслух. — Кто же это может быть?

В бинокле лицо женщины все время подпрыгивало, было очень туманно, но временами капитану Лабуде казалось, что он узнает в этом лице давно знакомые и близкие черты.

— Черт возьми! — сказал капитан Лабуда еще раз и опустил бинокль.

Теперь он мог видеть женщину простым глазом — она шла шатаясь в глубокой долине, прямо под ним. Он услышал крик часового, увидел, как женщина упала в дорожную пыль, и в ту же минуту понял, что его предчувствие, которого он боится, правильно. Он быстро натянул рубашку и размашистым шагом сбежал с вершины.

Янко Крап сидел на бревне в саду. Чачко подстригал ему бороду. Он поднял голову, увидев, как капитан перескакивает через забор.

— В чем дело?

— Ничего, — сказал капитан Лабуда и почему-то выругался. — Все в порядке, — сказал он и теперь уже не спеша прошел во двор. Молодой Голко чистил на заваulinke пулемет. Он посмотрел на капитана из-под густых рыжих бровей и ухмыльнулся. Видя капитана, он вспоминал об одной зимней ночи, всегда при этом ухмыляясь.

— Что случилось? — спросил капитан.

— Ничего.

— Так-таки ничего?

— А что могло случиться? — Молодой Голко насмешливо подмигнул капитану.

— Никто не приходил?

— Ах, да. Какая-то баба рассыпалась.

— Рассыпалась?

— Рассыпалась! — Молодой Голко снова насмешливо подмигнул капитану. — Наверно, родить шла. Вот и будет у нас тут родильный дом, капитан.

Капитан Лабуда неуверенно вошел в сени. Там было холодно и темно. В дверях дома, где теперь помещался штаб, он почти столкнулся с Ганкой. Она все еще была в спортивной куртке и сейчас пролила воду, которую выносила из дому.

— Ты что, не видишь? — Она подумала, что это молодой Голко. — Что ты тут под ногами путаешься?

— Ганка!

Ганка пришла сюда несколько часов назад. Капитан Лабуда не знал об этом. Ганка, напротив, знала, что капитан Лабуда в бригаде брата.

— Ганка, — сказал он еще раз и протянул к ней руки.

Только теперь она узнала его:

— Это вы?

Ему показалось, что голос ее звучит холодно и безучастно.

Протянутые руки опустились. Ганка прошла мимо и исчезла в дверях, ведущих из сеней во двор. Послышался ее голос: она пререкалась с молодым Голко.

Капитан Лабуда сердито отвел взгляд, следивший за Ганкой. В открытые двери комнаты он видел доктора. Доктор стоял у стола и задумчиво грыз ногти, временами он поднимал голову и смотрел в темный угол, словно желая что-то сказать. Но ничего не говорил. Капитан Лабуда вошел в комнату. В углу на лавке полулежала-полусидела Олина.

— Олина, — сказал он. — Оля, это ты!

Казалось, Олина совсем не удивилась капитану. Она попала в такой странный мир, что теперь ее вообще больше ничего не удивляло.

Она чуть подняла голову:

— Ах, это вы, капитан? Я ищу Марека Угрина.

— Марека?

— Да, я ищу Марека Угрина.

Олина повысила голос. Доктор перестал грызть ногти и с удивлением посмотрел на обоих.

— Вам нельзя волноваться, — сказал доктор Розенталь. — Вам нужен покой.

В дверях неслышно остановилась Ганка. В руках она держала пустой таз.

— Я спокойна, — сказала Олина. — Я совсем не волнуюсь. — Но голос ее невольно повысился и задрожал.

— Я не знал об этом. — сказал капитан Лабуда. — Я не знал, что ты ждешь ребенка.

— А тебе какое дело? А какое вам дело?!

— Я готов отвечать за последствия, — сказал капитан Лабуда, и ему стало стыдно, потому что его слова прозвучали фальшиво.

Олина закричала:

— Гадость, какая гадость!

Она хотела встать, но доктор бросился к ней и удержал ее на лавке.

— Вам нельзя волноваться, голубушка, — сказал доктор.

Обессиленная Олина прошептала слабым голосом:

— Пусть он уйдет.

— Вам нужно уйти,— сказал доктор капитану.

Капитан Лабуда стоял посреди комнаты, и ему было очень стыдно перед этой женщиной и перед самим собой.

— Я сделаю все, что нужно,— сказал он.

Олина застонала.

— Вам нужно уйти, капитан,— сказал доктор.

Он выпрямился и подошел к Лабуде. Смешной, маленький человечек стоял против великана, и глаза его сверкали за стеклами очков.

Капитан Лабуда невольно отступил назад. Потом пожал плечами и вышел из комнаты. В дверях застыла Ганка, все еще с пустым тазом в руках. Ее теплые карие глаза были широко раскрыты: в них стоял страх, ужас. Капитан остановился как вкопанный. Он хотел что-то сказать, но только бессильно опустил голову и вышел.

На улице ослепительно светило солнце. Молодой Голко все еще чистил пулемет.

— Выгнали вас? — спросил он капитана и ухмыльнулся. Капитан не ответил ни слова, будто не слышал. Стыд, срам! А когда он вспомнил большие карие глаза, им овладела ярость, злая ярость, потому что она была бессильна и не на ком было ее сорвать. К черту! К черту! Он скрипел зубами и, казалось, был готов грызть землю от бешенства.

За гумном Леша учил военному делу молодых парней. Он скомандовал «смирно» и повернулся к капитану. Капитан Лабуда машинально козырнул.

— Хорошо,— сказал он,— продолжайте.

У края дороги, за пулеметом, лежал дозор. Капитан Лабуда узнал одного из дозорных — это был профессор Маркех. Капитан помахал ему рукой, и профессор ответил тем же. По дороге между домами бежал Артем.

— Капитан! — кричал он издали. — Машине конец! И затем объяснил, задыхаясь, что на одном грузовике лопнула ось. — Нужно будет раздобыть другую.

— Ладно,— ответил капитан,— завтра.

Артем разозлился.

— Это почему же завтра?! Она нужна сегодня!

— Ну так сегодня,— равнодушно согласился капитан. Сейчас для него все было безразлично.

Потом он выругался:

— К черту, пусть все бабы околеют, пусть передохнут, провалятся в тартарары!

И ему показалось, что он освободился от своих мучений. Он выпрямился и направился к Янко Крапу. Янко Крап был подстрижен, побрит, свеж: шрам на правой щеке стал отчетливее, покраснел, и казалось, что Янко Крап усмехается чему-то.

— У меня уже все чесалось, — сказал он, словно оправдываясь.

— Нужно будет послать людей в Прегибы, — сказал капитан и объяснил, что произошло с машиной.

Янко Крап нахмурился. После несчастного случая с лесником Ульрихом он неохотно посылал людей вниз, в городок.

— А это не опасно?

— Ха-ха-ха, — засмеялся капитан Лабуда. — Прикажи и дай мне с десяток ребят. Увидишь, как я встряхну эту банду!

— Но-но, полегче, — сказал Янко Крап, не скрывая, однако, что капитан и его слова пришлись ему по душе.

— Дай мне десяток ребят и тогда увидишь, — повторил капитан Лабуда, — побегут, как зайцы.

— Только осторожно, — сказал Янко Крап. — Машина нам нужна, это верно. Но нам не нужны лишние осложнения. И затем поправился: — Нам нельзя их создавать, таков приказ.

Этот приказ ему снова передали сегодня через сестру: остерегаться всего, что могло бы привлечь внимание. Что могло бы привлечь внимание? У них тут больше двухсот вооруженных людей, и они не должны привлекать внимание! И о чем только думают те, в чьих руках судьба восстания? Сестра привезла негласные сведения о каких-то неладах, о каких-то сложных переговорах с армией, о каких-то противоречащих друг другу приказах из Москвы и Лондона. А в результате они тут должны делать вид, что их словно и не существует: сидеть тихо и ждать! Опять ждать! Теперь, когда сила в их руках, ожидание было не только опасно, но и невозможно. Разве удержишь людей, которые рвутся испытать свою силу? И Янко Крап в душе соглашался с ними: послать бы это все к черту, покончить одним махом с этим ожиданием! Но он должен был

прислушиваться, он еще не научился полному повиновению, но уже понял, что нужно слушаться.

— Только осторожно, капитан, — сказал еще раз Янко Крап. — Никаких авантюр!

— Ладно, — сказал капитан, — можешь на меня положиться, командир.

Он стоял перед Янко Крапом, рослый, сильный, решительный. Приятно было посмотреть на этого молодца — могучие плечи, словно отлитые из стали, упрямый лоб забияки, задиры. Янко Крап, довольный, поглаживал шрам. Да и сам капитан словно радовался собственной силе, будто хвастался ею сам перед собой. Тихо насвистывая сквозь зубы, он шел через двор, радуясь предстоящей вылазке, движению, случаю испробовать свои силы. На дворе Юло Голко все еще возился с пулеметом. А рядом с ним сидела, съезжившись, маленькая беспомощная Ганка. Она подняла голову, услышала шаги, но сразу же опустила ее. Капитан быстро прошел через двор, ступая словно по горящим угольям. Выйдя на улицу, он вздохнул свободно и снова выругался:

— К черту этих баб!

Но в тот же миг он понял всю бесполезность ругани, зная, что не в силах так легко отделаться от своих мучений.

18

Солнце светило, веял ветерок, а Лазенце пахло зерном и спелыми грушами. Марек вертел ручку веялки и чихал от мякины и пыли. Хозяин менял и насыпал решетки, хозяйка следила за мехами, все трое работали в неторопливом ритме, серьезно и спокойно, как того требует дело, похожее скорее на богослужение, чем на работу. Марек вертел ручку веялки и сквозь летящую мякину видел Олину — она сидела на завалинке и что-то шила. Иногда она поднимала голову, взгляды их встречались, и они обменивались улыбками. Олина улыбалась кротко, застенчиво, временами на глазах у нее появлялись беспричинные слезы. А Марек чувствовал себя сейчас здоровым и сильным и был счастлив. Эти спокойные дни, наполненные солнцем, работой и улыбками, словно были прообразом будущего. Да, вот

так и будет: тишина и покой, полное взаимопонимание и простые радости.

Да, так и будет: они отгородятся от мира, такого непонятного и сложного, что так ранит и приносит только безнадежную усталость. Двое одиноких создадут новое, восхитительное одиночество, полное мечтаний и смиренных надежд, глубокого покоя и наслаждения взаимопониманием. Да, так и будет: длинная вереница тихих дней, они вдвоем, склонившись над бесшумным, медленным течением, смотрят на свои отразившиеся в нем лица.

В эти праздничные, светлые, солнечные дни Марек почти окончательно уверовал в свою мечту. Рядом была Олина, и это решало все, остальное было второстепенным и незначительным. Рядом была Олина, которая в нем нуждалась, у которой не было на свете никого другого; она ничего не говорила, но он знал об этом. Это был дар, неожиданная милость. Он убеждал себя, что больше ему ничего не нужно ждать от жизни. Да, это было немного странно: теперь, когда его мечта становилась явью, ему приходилось постоянно убеждать себя в полноте своего счастья, приходилось подавлять тайную тревогу и сомнения, причиной которых были не внешние обстоятельства, а он сам. Эта тайная тревога была вызвана страхом, что его мечты изменят ему; он сам не признавался себе в этом, не знал, что этот страх существует, и закрывал на него глаза, не желая его видеть. Снова и снова он уверял себя, что все в порядке. Снова и снова он пылливо всматривался в Олину, касаясь ее рук и волос. И иногда, в короткие минуты мгновенного прозрения, ему казалось, что это чужая, незнакомая и безразличная ему женщина. Это тревожило и пугало его: он ненавидел эти минуты, гнал их от себя — он жаждал увидеть свою мечту о счастье наяву, увидеть вопреки всем сомнениям, вопреки всему.

А потом вдруг все кончилось — и мечта и сомнения в ней. Кто-то кричал с другого берега, пронзительно и испуганно. Они остановили вейлку и вышли за гумно. Наконец они расслышали, через долину к ним долетело два слова:

— Немцы идут!..

И эхо словно отвечало: «... идут...ут...»

Марек ополоснул лицо в корыте. Хозяин кинулся в зимнюю овчарню и вскоре вернулся оттуда с винтовкой. Жена завернула им немного сыра и хлеба. Олина неподвижно сидела на завалинке, бессильно опустив руки на колени. Теперь это не была чужая и безразличная женщина. Марек знал, что это была именно та женщина, которую он знал и любил.

— Оставайся здесь, — сказал ей Марек. — Тут тебе будет хорошо.

Олина ничего не ответила, только ее глаза наполнились слезами.

— Мне нужно идти, — сказал Марек.

Старый хозяин уже пошел вперед, и Марек кинулся за ним. Он должен был идти, ни на минуту не сомневаясь в своем долге; это чувство жило где-то глубоко в нем, независимо от него. Неизвестная и неясная сила, порожденная любовью и ненавистью, воздухом, которым он дышал, скрытым страхом перед одиночеством, любовью к людям, к роду, к которому он принадлежал и судьба которого вопреки всему была и его судьбой. Они бежали вниз, в долину, слышали топот множества ног, видели вершины, косогоры и склоны — все пришло в движение и ожило, ленивый покой сразу превратился в стремительное движение, которое захватывало и увлекало всех за собой. Это было бесконечно приятное чувство — быть частицей бегущей с громким топотом толпы, частицей увлекающего всех движения. Марек бежал, вот он оказался уже в долине, мимо него и рядом с ним бежали другие — крестьяне с хуторов, совершенно незнакомые ему люди, ставшие теперь самыми близкими его сердцу. Они что-то кричали друг другу, приходя в еще большее возбуждение, и бросались вниз, в долину, с ругательствами и проклятиями сжимая кулаки. Всех переполнило какое-то незнакомое огромное чувство, все стали близки друг другу, и все были охвачены гневом; толпа валила по долине, и чем дальше, тем больше она становилась; шумная толпа, толпа смелых и отважных что-то кричала, размахивая над головой старыми винтовками, а те, у кого не было винтовок, потрясали в воздухе голыми кулаками. Это было удивительное чувство, замечательное чувство — бежать среди этих людей, освобождающее чувство, чувство свободы, чувство братства, от этого чувства захватыва-

ло дух, оно горячей волной разливалось по сердцу. Никогда раньше Марек не чувствовал себя таким свободным, как в этой толпе, подчиняясь существовавшей вне его воле. И ему казалось, что он обрел что-то очень ценное, то, что до сих пор он тщетно искал в самом себе. Это было что-то близкое понятию, так часто употребляемому: смысл жизни. И на миг Марек почувствовал, осознал: да, это и есть смысл всего, это и есть смысл жизни...

Старый Крап ворочался на соломенном тюфяке и громко стонал. Еще на рассвете его вызвали на допрос, и теперь он умирал. Минутами он прекрасно понимал, что умирает, но боль мешала ему сосредоточиться на этой единственно важной мысли. Сильнее всего боль ощущалась в пояснице, она возобновлялась все с новой силой и охватывала все тело. В короткие перерывы, когда боль отпускала, ему удавалось подумать: «Свиньи, отбили мне почки!» И грозил: «Они за это заплатят, заплатят сторицей!»

А потом на него снова навалилась боль и он снова стонал, не в силах уже больше ни о чем думать.

Большая камера была почти пуста. Остальных арестованных увезли однажды ночью.

У стола сидел конокрад и чистил ногти. У конокрада было маленькое, детское личико, нежные светлые брови и тонкие волосы цвета соломы. Он чистил ногти, стараясь казаться равнодушным, но при каждом стоне старого Крапа у него судорожно дергались брови. А потом вдруг наступила тишина. Конокрад испугался и спросил:

— Что с тобой, старик?

Но старый Крап не ответил — он был мертв.

Конокрад испугался смерти и принялся колотить в дверь. Кулаки у него были маленькие, и ударов почти не было слышно. Он принялся кричать, пронзительно визжа:

— Эй, эй, послушайте!

Наконец открылся глазок, и часовой с привычной злобой спросил:

— Чего орешь? В морду хочешь?

— Он умер! — визжал конокрад. — Старик умер!

Часовой открыл дверь, вошел в камеру и взглянул на старого Крапа, потом дружески посоветовал конокраду:

— Не ори, а то худо будет.

Затем закрыл дверь и пошел сообщить о событии в канцелярию.

Старый Угрин сидел в кухне за столом, кашлял и пил. Неделию назад он продал склад гробов — все свое имущество — и с тех пор каждый день пил. Он был грязный, заросший, лицо его почернело; он сидел в грязных подштанниках и скреб голую грудь, поросшую рыжими волосами. Он ругал весь мир и боялся потерять рассудок от страха. Лемнитцкий уехал в Братиславу и не думал возвращаться. Старый Угрин чувствовал себя одиноким, покинутым и преданным, всюду вокруг себя он видел одни ловушки, бесконечное множество ловушек и козней. Под скамейкой, где он сидел, лежал топор. Как только жена с ним заговаривала, он поднимал топор и вопил: «Убью!»

Топор стал навязчивой идеей, он следил, чтобы не напиться окончательно и не потерять топор из виду, брал его с собой даже в постель. Страх преследовал Угрину сильнее всего по ночам, он не мог спать, давно забытые картины — глаза первой жены, грузовик с евреями — вставали перед ним; он просыпался, хватал топор и вопил: «Убью!»

Теперь ему не помогала даже паленка: страх таился всюду. Угрин скреб голую грудь, и его мутные, полубезумные глаза блуждали по кухне. Жена варила обед и со страхом смотрела на него. Ему вдруг показалось, что во всем виновата эта женщина, рябая, толстая и пропахшая салом, что в ее косых взглядах таится ожидание его конца и тайная насмешка. Он еще не совсем верил в это, но старался разжечь подозрение, он не мог больше сидеть и ждать, он должен был что-то сделать. Он нагнулся и нащупал топориче. Но жена, следившая за ним, схватила ребенка на руки и выбежала на улицу, хлопнув дверью.

— Убью! — закричал он и выскочил следом за ней. Но когда он очутился за дверью, жена была уже дале-

ко — она визжала и звала на помощь. Он вернулся на кухню.

— Убью! — закричал он и вонзил топор в стол.

Рубил он с яростью — сначала стол, стулья, потом буфет, скамейки и дверь.

— Убью! Убью! — орал он, но вдруг остановился, сел среди обломков и разразился дикими рыданиями.

Машина промчалась по долине, с ревом выскочила из Горна-Осадки и понеслась по пыльной дороге, оставляя за собой клубы медленно оседающей пыли. Артем сидел за рулем, скаля зубы от радости: он страшно любил машины и все, что хоть как-то было связано со скоростью.

Грузовик мчался, с ревом подскакивал на выбоинах.

Машина принадлежала Кремпашскому. Когда-то она была выкрашена голубой краской, на бортах пестрели рекламы: «Прегибская брынза известна всему миру!» После падения республики надпись на бортах Кремпашскому пришлось закрасить: мир для прегибской брынзы сократился, теперь он ограничивался лишь гитлеровской Германией.

Капитан Лабуда сидел рядом с Артемом; на каждом ухабе его подбрасывало, пружины кожаного сиденья скрипели. На коленях капитан держал автомат и смотрел прямо перед собой: он тоже радовался движению, был доволен, что все наконец тронулось с места, все зашевелилось и все стало проще; теперь уже ничто не мешало, остался только необозримый простор для движения и действий. (Была в нем какая-то печаль еще и какие-то угрызения совести, но все это казалось теперь ничтожным, незначительным и потускневшим.)

На капоте машины подскакивал пулемет, отличный пулемет образца 1926 года, вычищенный и готовый дать очередь, и маленький Голко держал его почти с нежностью, почти с любовью. Огненные волосы Голко развевались на ветру, глаза блестели; на нем была клетчатая рубашка, а на шее пестрый шелковый платок, он был молод и был пулеметчиком революции. «Вот это красота, вот это скорость!» — думал он и от всего сердца желал, чтобы они наткнулись на какое-нибудь со-

противление, чтобы нажать гашетку, стрелять, драться, отличаться.

Рядом с ним стоял Янко Крап в потертой кожаной куртке. Он пытался скрыть волнение, хотел быть строгим, слиться с остальными, быть обычным, как в другие дни. Но лицо его странно кривилось, глупо улыбалось, и вдруг внезапно послышался странный всхлипывающий звук, и он вытер влажные глаза. «Это от ветра, — уверял он себя, — ветер вызвал слезы, такая глупость!» Ведь он был взрослый человек, командир, он бы ответственным за все, и такое глупое волнение было ему совсем не к лицу.

Машина — громадный, разъяренный, ревущий зверь — неслась с сумасшедшей скоростью, подскакивала на ухабах. Профессор Маркех стоял, стиснутый другими повстанцами, прижавшись к кому-то, держа кого-то за плечи. Он был, как всегда, свежевыбрит, в чистой рубашке, галстук и сером пиджаке, слегка блестящем на локтях, на голове у него была военная фуражка, а в руке винтовка. «Возможно, это то, чего я ждал, — думал Маркех, — кажется, то, именно то», — думал он и улыбался.

Чачко скорчился сзади, прячась от ветра, — он был человеком болезненным и боялся, что его продует. Он думал о своей жене, о детях, думал и о тех, кто его обижал: «За все мне заплатят!» Он не был мстителем, но у него голодали дети, и он знал об этом. «За это они мне заплатят!» Он был готов мстить, сам не зная кому, был готов разрушать, бить и уничтожать, потому что дети его голодали.

— А ведь мы идем! — закричал кто-то из парней на грузовике. — Черт возьми, идем!

— Началось, — закричал второй, — а это уже кое-что значит!

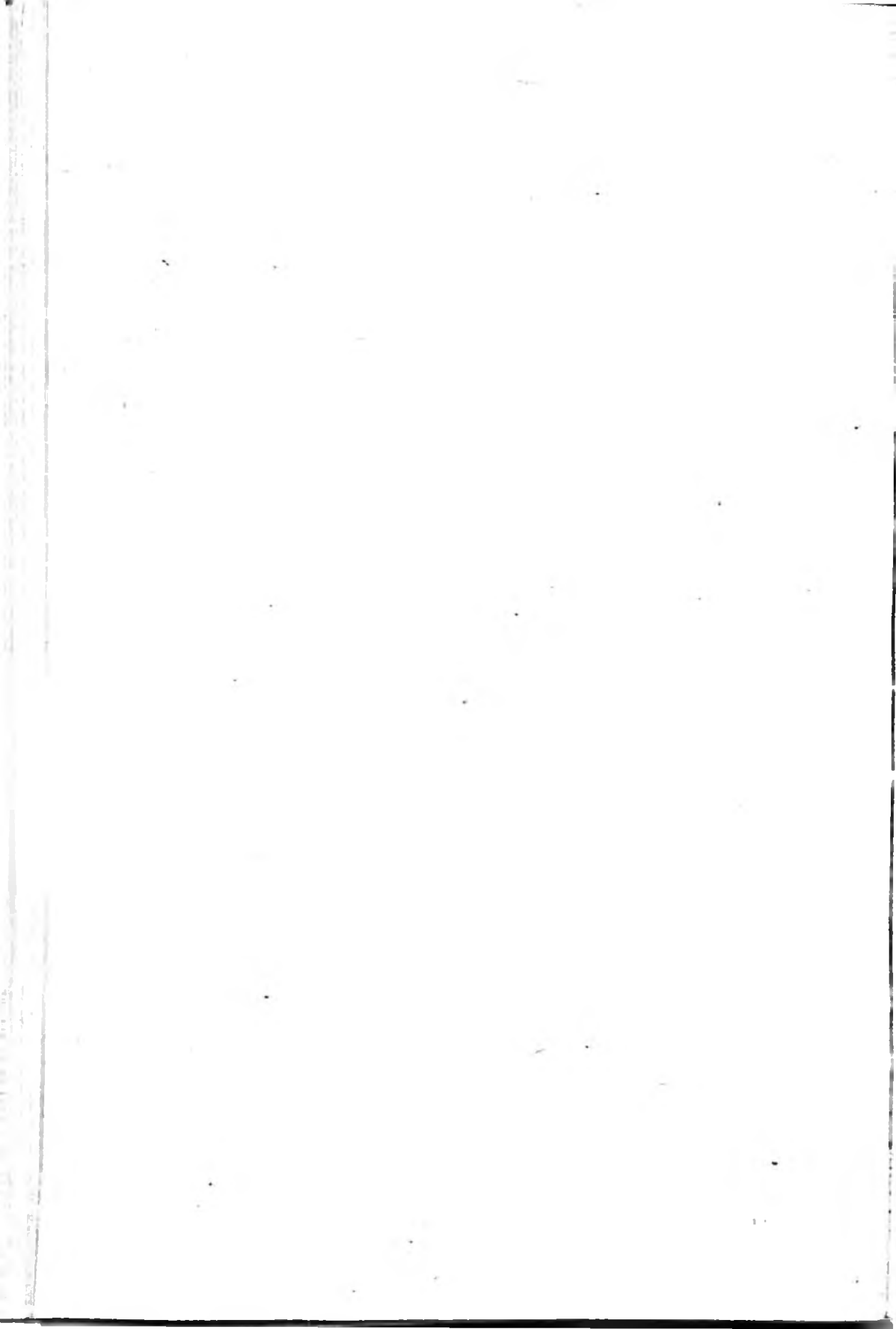
Машина неслась по узкой долине, ревела и поднимала облака пыли. Еще поворот и еще — вот и город; молодой Голко крепче сжал пулемет и положил палец на гашетку. Но в городке было тихо и сонно, над ним лениво катилось августовское солнце. Машина взревела и остановилась на площади. Парни на машине что-то кричали, размахивая винтовками. Торговцы поспешно закрывали ставни. Люди с опаской выглядывали из окон и ворот, потом набрались храбрости и вышли на

площадь. Их становилось все больше, площадь постепенно заполнялась, вокруг было множество возбужденных людей, которые чего-то ждали.

Янко Крап забрался на капот машины, собираясь говорить, у него накопилось много слов, которые он хотел сказать, — это были злые, гневные и хорошие слова. Но когда площадь затихла, у него от волнения перехватило горло, и он еле сумел произнести:

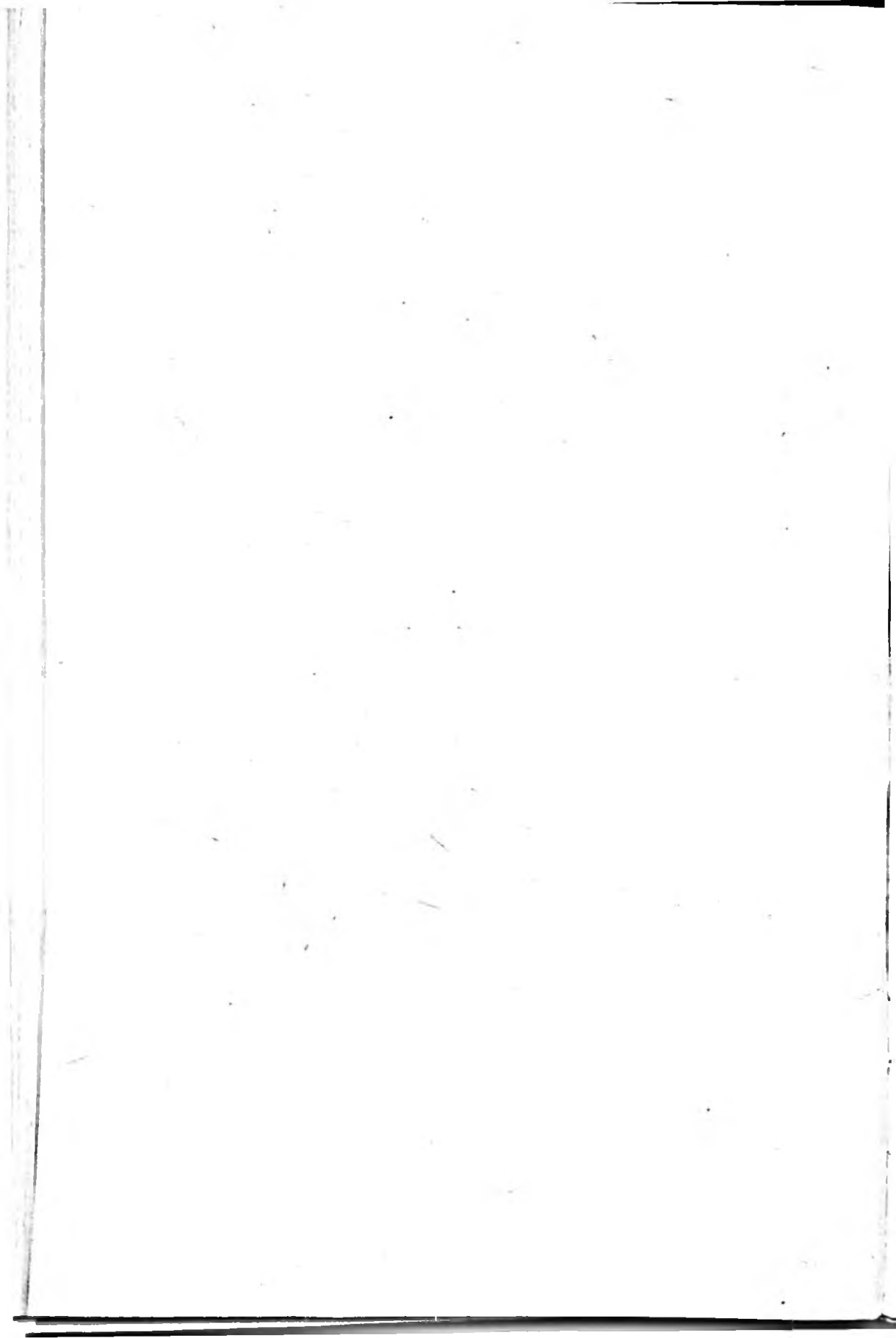
— Смерть фашизму! — И еще тише добавил: — Да здравствует Чехословацкая республика!

На домах появились чехословацкие флаги. Люди на машине что-то кричали, размахивая винтовками и подымая их к небу.



Живые и мертвые

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ



СОЛНЦЕ, ТУМАН И ДОЖДЬ

1

Марек сидел за столом, за которым еще несколько дней назад хозяйничал веселый лысый помощник писаря. Охрипшим голосом Марек кричал в телефон:

— Алло, алло, говорит участок Грабово!

Голос на другом конце провода отвечал со злостью:

— Ты зачем встрял? Осел!

— Сам ты осел! — крикнул Марек так же зло.

— Иди к черту, — отвечал тот же голос, — и поцелуй меня знаешь куда?..

— Осел! — крикнул Марек еще раз и грохнул трубкой.

Так продолжалось день и ночь, день и ночь в телефонной трубке снова и снова звучали бессмысленные слова, нагромождались ошибки и недоразумения. Сумятица первых дней восстания врывается в трубку, все теснилось в ней — тревожные сообщения, противоречивые приказы, злые слова, брань, угрозы. Никто не был в состоянии разобраться в них, это был полный хаос: где-то совершались события, скрытые силы приходили в движение по каким-то непостижимым законам. Но слова, попадавшие в телефонную трубку, были лишь отзвуком этих скрытых сил, их отголосками, огнюдь не влиявшими на ход событий.

Правда, Павел Йозеф Яник верил, что события подчинены ему, что он держит их в руках, являясь мозгом и центральной нервной системой восстания. Но он должен, обязан был верить, как подполковник и командир участка; к тому же по своей ограниченности он мог верить любой бессмыслице, если только она поднимала его в собственных глазах и в глазах окружающих.

Марек тер красные от бессонницы глаза. Все вокруг казалось ему отвратительным, запутанным и бессмысленным. Канцелярия была грязной и неухоженной, отовсюду исходил запах пожелтевших от времени бумаг и старых чернил; на полу валялись осколки гипсового

бюста Адольфа Гитлера, который кто-то разбил в первый же день восстания. В запыленные окна едва пробивалось сентябрьское солнце. Марек встал и открыл окно; на улице было необычайно ясно и тихо. Почти невероятный покой и тишина. Липы на площади стояли неподвижные, величавые, излучая во все стороны спокойствие. На скамейке сидела какая-то старуха вся в черном, у ног ее играла черная собачонка. Вся эта картина с липами, старухой и собачонкой была очень ясной и отчетливой, и вместе с тем все казалось каким-то нереальным и призрачным, будто вся эта картина умышленно стремилась ввести всех в заблуждение, обмануть.

Зазвонил телефон. Марек вернулся к столу и машинально произнес:

— Участок Грабово слушает... Участок Грабово слушает... Есть, будет исполнено,— сказал он и прошел в соседнюю комнату.

Там, скорчившись на старом кожаном диване, спал Павел Йозеф Яник. Рот у него был открыт, виднелись хорошо сохранившиеся зубы и беловатый язык, лицо покраснело и выглядело во сне добродушным. Марек разбудил его:

— На проводе Махово, пан подполковник, опять Махово.

Павел Йозеф Яник сел, не открывая глаз.

— Отступление, приказываю отступить,— пробормотал он.

Мареку пришлось встряхнуть подполковника, чтобы тот окончательно проснулся.

— Да, да,— сказал Павел Йозеф Яник, очнувшись.— Ну, что там?

Лицо его теперь утратило добродушное выражение, приняло важный, начальственный вид, но это получалось смешно и глупо. Подполковник натянул китель с многочисленными ленточками легионерских наград и с серьезным, благоговейным выражением лица надел плоскую фуражку, какие носили лет двадцать назад.

По телефону он говорил подчеркнуто повелительным тоном, отчеканивая каждое слово: «Нет у меня! Не дам!» А потом связывал слова, выстреливая их залпом: «Нетумения! Недам!»

Казалось, его больше занимает форма разговора, чем его содержание. Подполковник очень любил разговоры

по телефону, можно сказать, жил ими, и в этих разговорах ярко проявлялись все особенности и свойства его характера. В личном общении нерешительный и неподатливый, в разговоре по телефону он становился тем, кем хотел быть: бесстрашным, сильным, решительным.

Он еще раз энергично выпустил в телефон очередь: «Нет у меня! Не дам!» Затем пожал жирными плечами и презрительно произнес:

— Два пулемета с расчетами! Откуда мне их взять?

— Взводный вернулся, — сказал Марек.

— Что? — спросил Павел Йозеф Яник. — Какой взводный? — И снова посыпались длинные очереди. — Нет у меня! Не дам!

— Взводный Коза. С пулеметным взводом, — повторил Марек.

— Какая коза? Что ты мелешь? — И энергично закричал в телефон: — Нет, и точка! — И положил трубку. Потом повернулся к Мареку.

— Что ты городишь?

— Взводный Коза вернулся с пулеметным взводом. Они разлеглись на траве и режутся в карты.

— Что такое?! — оскорбленно заорал подполковник. — Почему ты не доложил?

— Вы спали, — заметил Марек, — а взводный сказал, что время терпит и ему не к спеху.

— Позвать его! — с достоинством скомандовал оскорбленный подполковник. — Сейчас же позвать!

Марек прошел во двор по прохладному коридору. Во дворе стояло, сидело и валялось человек сорок резервистов. Они жарились на солнце, играли в карты и ругали беспорядки. Марек крикнул:

— Взводный!

Никто не шевельнулся, и он крикнул еще раз:

— Коза, тебя старик зовет!

Из тесной кучки картежников, недоговорно ворча, поднялся низкорослый паренек со смуглым насмешливым лицом. Накинув китель на плечи, он пересек двор.

— Что нужно этой обезьяне? — спросил он Марек.

— Иди доложись, — сказал Марек строже, чем хотел.

Он почувствовал себя обиженным за подполковника: каким бы ни был Павел Йозеф Яник человеком, он все же подполковник и, кроме того, как-то связан с Марekom, с его обязанностями, которые он, Марек, все

еще считал важными и значительными. Взводный остановился и ткнул Марека грязным пальцем в грудь.

— Ты, бумажная душа! — сказал он. — Самая что ни на есть бумажная душа, и давай тут не командуй.

Марек нахмурился, но ничего не ответил. Да и Коза не сказал больше ни слова. Они вошли в канцелярию. Подполковник в фуражке стоял у стола, сверкая всеми своими наградами.

— Это еще что такое? — строго накиннулся он на взводного, уставившись на него начальственным взором.

Взводный, не отводя глаз, усмехнулся, готовый вот-вот рассмеяться.

— В чем дело?

Лицо подполковника налилось кровью. Казалось, он сейчас набросится на взводного, но тут же отвел взгляд в сторону.

— Мундир, — задыхался от злости подполковник. — Где у вас мундир? Вам что тут, цыганский табор?

— Ах, вот что, — протянул с усмешкой Коза. — А я уже думал, беда какая стряслась. — Он надел китель, вытащил из кармана брюк измятую шапку с тремя жестяными пуговками и нахлобучил ее.

— Стать смирно! — крикнул все еще сердито подполковник. — Докладывайте!

Взводный, явно потешаясь, щелкнул каблуками и, вытянувшись в струнку, выпалил одним духом:

— Осмелюсь доложить, пан подполковник, взводный Коза явился по вашему приказанию!

— Почему вы нарушили приказ? А? — загремел подполковник из-за стола.

Взводный опять щелкнул каблуками.

— Осмелюсь доложить, пан подполковник, там ничего не было!

— Чего там не было?

— Осмелюсь доложить, совсем ничего. Ни окопов, ни соседа слева, ни соседа справа.

— Постой, что ты мелешь? Как же так?

Взводный еще раз щелкнул каблуками.

— Ничего там не было, на этой высотке, пан подполковник. Ни соседа, ни фронта. Валялись мы на брюхе и собирали чернику. Съели все, что у нас было с собой, да и вернулись.

— Это невероятно! — возмущился подполковник и недоверчиво переспросил взводного: — Значит, там вовсе ничего не было?

Взводный щелкнул каблуками, по всему видно было, что он это делает для того, чтобы потешаться над подполковником. Но тот не отличался столь тонким умом и не понял насмешки. Взводный ответил скороговоркой:

— Осмелюсь доложить, пан подполковник, ровным счетом ничего! Ничегошеньки там не было.

— Это какая-то ошибка, — сказал подполковник.

— И я так думаю, — согласился взводный и ухмыльнулся.

— Можете идти, — строго приказал подполковник.

Взводный вновь щелкнул каблуками и гаркнул так, что задрожали стекла:

— Слушаюсь, пан подполковник!

Когда двери за взводным закрылись, подполковник постоял молча и на лице его появилась тень какого-то раздумья. Но это длилось лишь мгновение, вскоре лицо его разгладилось, снова стало добродушно-пустым.

— Невероятно, — повторил он и со вздохом направился к кожаному дивану.

Марек все это время стоял у окна. Площадь продолжала дышать чудесным покоем, на скамейке по-прежнему сидела старуха в черном, а у ее ног валялась в пыли черная собачонка и по-прежнему сохранялось ощущение мнимости этого покоя, который, казалось, что-то в себе таит. И это что-то, таившееся за удивительным покоем, вызывало тревогу и опасения, неясный, но в то же время неотступный страх. Но какие опасения, какой страх? И возможно, пожелай этого Марек, не чувствуя он такой усталости, он, наверно, понял бы, в чем причина этого страха и его реальное воплощение. Но Марек опять устал и еще больше боялся увидеть причины и реальное воплощение этого страха. (Возможно, тогда оказалось бы, что то дело, которое стало для него священным, служить которому он устремился в таком восторженном порыве, что это великое общее дело становится все ничтожнее, дробится и пропадает, как река, исчезающая в карстовых отложениях.)

Внезапно тишина дрогнула, из рупоров грянула музыка, хриплый марш разлился по пустынной площади.

Марек открыл окно: заполненная грохотом и хрипом площадь казалась теперь еще пустыннее и безлюднее. Потом музыка умолкла, зазвучали слова диктора: «Говорит свободная радиостанция Банска-Бистрица! Передаем сообщения с фронтов. В районе Врутки — Турчанский Святой Мартин после ожесточенных боев наши войска отступили со всех позиций, в районе Кремница — после ожесточенных боев наши войска оставили Верхнюю Штубню, в районе Тельгарта — упорные бои... оборонительные бои... арьергардные бои, тяжелые бои... нами сбито два немецких истребителя типа «мессершмитт»... заседание Национального совета... прибытие военной миссии Соединенного Королевства на самолете типа «дуглас»... торжественная встреча и банкет в Народном доме... сегодня ночью соединения тяжелых бомбардировщиков бомбили города Мюнхен и Нюрнберг... Жестокие бои в Карпатах, убито столько-то... ранено столько-то... взято в плен столько-то...» И снова раненые, убитые, пленные, названия чужеземных городов, и снова убитые, раненые, пленные, столько-то и столько-то убитых, раненых, пленных. На площади ничто не шелохнулось, убитые, раненые и пленные растаяли в тишине и неподвижности, старуха в черном по-прежнему сидела на скамейке, только черная собачонка, перестав играть, застыла в почтительной позе и внимательно с понимающим видом уставилась прямо в рупор.

Марек закрыл окно. Он устал, глаза его покраснели от постоянного недосыпания, руки и ноги одеревенели, все тело налилось свинцовой тяжестью. Он опустился на табурет у телефонного аппарата, голова упала на стол; в полусне ему казалось, что он слышит равномерный стук веялки, успокаивающий, приятный звук, связанный с какой-то знакомой и дорогой ему картиной, которую ему не удалось увидеть. Он напрягал все силы, стремясь увидеть эту картину, но это никак ему не удавалось — картина была окутана чем-то воздушным и легким, мешающим ее разглядеть. Потом Марек уже не видел никаких картин, да и не хотел ничего видеть, погрузившись в глубины беспробудного сна, где совсем ничего нет.

Проснулся Марек внезапно: с громким стуком открылась дверь, и поток воздуха ударил ему прямо в лицо. Вскочив, он заморгал спросонок близорукими

глазами. В дверях стоял капитан Лабуда, худой, смуглый, загорелый, заросший щетиной. Он был в старой рубашке, с рукавами, закатанными по локоть, и грубо держивал на груди немецкий автомат. Пройдя с автоматом через канцелярию, он распахнул дверь в соседнюю комнату, но диван оказался пустым. Подполковник на нем не было.

— Черт возьми! — выругался капитан Лабуда. — Что за порядки?

Марек пожал плечами и сказал разведчику:

— Наверно, он в кореме у Домеки. Если его нет на диване — значит, в кореме у Домеки в карты играет.

— Черт возьми. — выругался еще раз капитан Лабуда, — что у вас здесь за порядки?

Марек только пожал плечами и спросил:

— Зачем ты пришел?

— Просто свинство. Не шибко, а свинарник какой-то! — ругался капитан Лабуда в ярости рассказывая по канцелярии в новых скрипящих, еще не смазанных сапогах. Наконец он остановился и заявил: — Мне нужны пулеметы, два пулемета с расчетами.

Марек опять пожал плечами: тебе, мол, подполковник уже ответил, что не даст пулеметов, что их нет. Но вместо этого сказал:

— Есть у нас тут взводный Коза. Только он не пойдет.

— Где он? — спросил капитан Лабуда.

— Болтается на дворе, — ответил Марек, — болтается на дворе и режется в карты. Но он не пойдет.

— Хотел бы я видеть, — сказал капитан Лабуда, — хотел бы я видеть такого парня и такого взводного, который не пойдет, если я с ним поговорю.

Капитан Лабуда выбежал из канцелярии, а Марек вслед за ним.

Пулеметчики только что пообедали, вымыли миски в ручье и теперь развалились в тени под старой грушей. Капитан Лабуда прошелся среди лежавших парней, разыскивая взводного Козу, а найдя его, спросил:

— Ты, что ли, взводный Коза?

Взводный Коза слегка приподнял голову и огрызнулся:

— А ты кто такой?

Капитан Лабуда низко нагнулся и тихо сказал:

— Послушай, взводный Коза, слушай хорошенько. Через десять минут построитесь и приготовьтесь к маршу.

— Черта с два,— усмехнулся взводный Коза,— подумаешь, испугался. Аж мороз по коже пробежал, право слово,— сказал он, даже не подумав двинуться с места. Капитан Лабуда нагнулся еще ниже, схватил взводного за мундир, приподнял одной рукой и поставил на ноги.

— Ну вот,— сказал капитан взводному Козе,— теперь можно и поговорить.

Взводный струхнул, но старался не показывать виду.

— Только попробуй,— ответил он и оглянулся на лежавших парней.— Только попробуй, живым отсюда не уйдешь.

Но капитан Лабуда все же попробовал и закатил ему две оплеухи.

— Ну вот,— сказал он взводному Козе,— теперь ты уже знаешь, кто я, теперь мы с тобой знакомы. Меня зовут капитан Лабуда, и через десять минут я приду проверить, все ли в порядке.

Капитан говорил все это спокойно, словно втолковывая что-то очень понятное малому ребенку. И вдруг заорал:

— Ясно?!

Взводный Коза больше не ухмылялся, ему нанесли смертельное оскорбление, и в душе он готов был тут же убить капитана. Но вместо этого вытянулся в струнку и сказал:

— Слушаюсь, пан капитан! — А потом гаркнул: — Встать! Всем встать!

Через четверть часа взводный Коза со своими парнями лез на тот самый грузовик, на котором прикатил капитан Лабуда. Марек стоял на площади, и на душе у него почему-то было тоскливо и тяжело. Когда загрохотал мотор и грузовик тронулся с места, Марек бросился следом и уцепился за борт.

Кто-то подал ему руку. Когда Марек был уже наверху, среди парней, взводный Коза закричал:

— А тебе что здесь надо, бумажная душа? От первой мины обделаешься и навоняешь на весь взвод.

— Я не боюсь,— ответил Марек, заикаясь от волнения.— Я не буду бояться.

Тени елей на лесной прогалине становились все длиннее. Внизу, в долине, слышались одиночные взрывы артиллерийских снарядов, заглушаемые стеной леса, как занавесом.

Комиссар Бенде поднял вверх толстый палец. Все усталились на этот поднятый палец, словно ожидая от него чего-то необычного, какого-то неожиданного, невиданного чуда, а может быть, от комиссара Бенде действительно ждали чудес. Комиссар чем-то походил на колдуня, это сходство таилось в быстрых, ловких движениях его рук, в остром, пронизывающем взгляде маленьких глазок, во всем его тяжелом, но удивительно подвижном теле. Никакого чуда, однако, не произошло, комиссар Бенде постоял с поднятым пальцем, потом согнул его и сказал:

— Так, голуби мои, это есть первое дело. Да! Да!

Комиссар Бенде очень плохо говорил по-словацки, в его речи то и дело проскальзывали слова чуждого языка. Казалось, он вслепую вытаскивает эти слова из какой-то невидимой шапки, сам не зная, когда такое вытаскист. Да и слова-то были все чужие — венгерские, русские, немецкие, испанские. Для комиссара Бенде это была своего рода серьезная игра, ответственная и утомительная. Он стоял посреди прогалины, а рядом широким полукругом сидели и лежали парни из отряда. Комиссар убеждал быстрыми движениями рук с усилием вытаскивал слова из невидимой шапки, потел от усердия и все время вытирал свою толстую красную шею, блестящую от пота. Он знал, что может казаться смешным, и боялся этого. Но странное дело, он и впрямь выглядел смешно, и все же партизанам ни на миг не приходило в голову потешаться над ним. Бенде был коротышкой, круглым, как мяч, но внутренняя энергия, проявлявшаяся в быстрых и ловких движениях, спасала его от насмешек. На него смотрели с почти-тельным удивлением, слушали внимательно, хотя и не очень понимали его. Нескладная, корявая речь комиссара порой казалась непонятной, но все чувствовали, что комиссар Бенде убежден в том, что говорит. Сила этого убеждения, сила внутренней, страстной коры так и была ключом в этом тучном потеющем человеке. И жили

лишь немногие могли следить за речью комиссара Бенде и лишь немногие знали, о чем он говорит, и понимали его, все слушали с тем уважением, которое всегда вызывает сила внутреннего убеждения.

— Да, да,— говорил комиссар Бенде.— Барселона, понимаете? Вы еще помните Барселону? И вода, река, Гвадалахара. И Мадрид, Пуэрто-дель-Соль.

Он щурил маленькие черные глазки и вдруг сразу широко раскрывал их, словно его самого удивляли слова, которые он нашел в своей невидимой шапке. Это так и было, всякий раз, когда он находил новое слово, в его сознании возникали новые картины, стершиеся воспоминания, забытые лица друзей — это были видения, яркие, отчетливые. Чувства кипели и бушевали в нем страстные и могучие, он был глашатаем, творцом своей собственной, исключительной веры, и вера эта была не выдуманна, она родилась из всего пережитого, из реального страха, ужаса и ненависти.

— Да, да,— говорил он,— «капрони»¹, фашисты бросали бомбы.

Он с усилием подбирал все новые и новые слова и после каждого такого усилия широко открывал глаза, и его полное лицо искажалось гримасой внутреннего напряжения. Закончил он как-то неожиданно, внезапно, посередине фразы, воодушевление оставило его, и он стоял усталый и обессиленный, озираясь вокруг и словно удивляясь себе и окружавшим его людям: где он и что тут делается?

Парни глубоко вздохнули. Те минуты, когда они внимательно слушали Бенде, робко приобщаясь к чему-то для них новому, великому, общему им всем, были для них минутами душевного подъема. Но то, что вызывало этот подъем, приносило с собой и тяжесть, которая рождает протест, заставляет напрягать все силы, требует непривычных, незаурядных усилий. Эти непривычные усилия мы охотно прилагаем, пока существует давление, их вызывающее, но стоит только этому внешнему давлению исчезнуть, как мы стряхиваем с себя все непривычное и охотно возвращаемся в привычную,

¹ Марка итальянских самолетов, действовавших в Испании в 1936 году.

удобную колею, безопасную и знакомую. Вероятно, даже самые набожные люди вздыхают с облегчением, выходя из храма. В этой полной отдаче чувству, в этом душевном подъеме, вызываемом внешним давлением, есть что-то тягостное и неестественное.

Янко Крап, нахмурившись, смотрел на комиссара Бенде, сидевшего теперь с усталым видом и вытиравшего большим платком мокрый затылок. Что-то беспокоило Янко Крапа, даже более — что-то возмущало его в комиссаре Бенде, словно эта неистовая, полная вытерпимости, крикливая вера комиссара бросала тень и на его собственное отношение к идее коммунизма, словно в этой вере как-то отражалась и его, Янко Крапа, собственная вера в искаженном, карикатурном виде, вызывающая и глупо ухмыляющаяся. Прямодливецность и односторонность комиссара Бенде напоминала ему его собственную односторонность и прямодливецность. Но у Бенде вера была полным делом жизни, а у Янко Крапа сам выбрал ее из многих как наилучшую из возможных. Получалось так, что крикливая вера комиссара Бенде пробуждала в Янко Крапе давно уснувшие сомнения в правильности его отношения к коммунизму, и это беспокоило и тревожило его.

Комиссар Бенде все еще сидел с удрученным видом, с трудом переводя дыхание. Лицо его выражало все напряженное выражение. Большие руки бесцельно повисли, на лице ничего не отражалось — ни душевного подъема, ни восторга. Это был просто пожилый человек, усталый и некийто смущенный. Один из парней — то был помощник комиссара, тевинский винный мастер — на ремне у него болталась пистолетная сумка, пистолет и эфесик — с важным видом читал вслух газету. Парни старательно гудели и разговаривали как умели. Из леса на опушку вышли какие-то люди, это были две женщины в черном в спортивно-деловом. Парни оборачивались, только что они могли быть, и совсем не слушая помощника комиссара, все еще с важным видом читавшего газету.

— Да это же мама! — воскликнула Ганка Крапка. — Это мама с Илоной!

Это и впрямь была старая Крапка, или старая Крапа. Она шла через поляну, опираясь на Илону, и каждую минуту хваталась за сумку.

— Сынок, — сказала Крапова подбежавшему Янко Крапу, — я уж и не верила, что увижу тебя. Уж и не надеялась, — сказала вдова Крапова, тяжело дыша и приложив руку к сердцу.

Янко Крап бережно повел мать к лесочку, расстелил на траве свою гимнастерку и усадил.

— Такие прогулки не для тебя, мама, — упрекнул он. — Тебе не нужно было сюда приходить.

— Мы пришли за Ганкой, — строго сказала Илона.

— Мы так измучились, — вздохнула, словно оправдываясь, вдова Крапова и тихо застонала.

— Тебе не нужно было приходить, — сказал Янко Крап. Он осторожно коснулся совершенно седых волос матери, влажных от пота, и это легкое прикосновение вдруг пронизало все его существо жалостью, печалью, он почувствовал укоры совести.

Ганка стояла поодаль, крепко потирая руки. Она с неприязнью взглянула на сестру, та ответила ей таким же взглядом.

— Что ей нужно от меня? — спросила Ганка у матери.

— Ты должна вернуться домой! — сказала строго и решительно Илона.

— Мы так измучились, — пожаловалась вдова Крапова, — неужто еще и Ганке погибнуть?

Янко молчал. Ганка надула губы.

— Мама, — спросила Ганка, чуть не плача, — неужели я должна вернуться домой?

— Мы очень измучились, — повторила вдова Крапова и снова, как бы оправдываясь, посмотрела на сына.

— Ну и времена пошли! — закричала Илона. — Одна среди парней, ну и времена!

— Мама, — сказала Ганка, — я ведь тут с Янко, и со мной ничего не случится.

— Здесь место только шлюхам! — крикнула Илона. Янко Крапа взяла злость.

— Еще слово скажешь — и я заткну тебе глотку!

— Шлюхам! — повторила Илона. — Все так говорят. Порядочной девушке и в голову не придет сюда тащиться.

Янко Крап оглянулся на ребят. Рыжий парень все еще читал газету, но его никто не слушал, все косились на Янко Крапа. Янко почувствовал огромное желание

задать трепку этой противной бабе — своей сестре. (А ведь когда-то у нее были светло-каштановые косы и робкая улыбка.) Но он не мог этого сделать. Вышло бы смешно и глупо, а он не имел права выглядеть смешным.

Вдова Крапова снова примирительно:

— Нам было очень трудно, сыночек. Янко мой, — и добавила, вздохнув: — Неужто и ей погибать?

Янко Крап потер шрам на правой щеке.

— Почему же ей погибать, мама?

Вдова Крапова печальным взглядом обвела поляну, залитую полуденным солнцем. С минуту она стояла, опустив голову, словно вслушиваясь во что-то далекое, что могла слышать лишь она одна.

— Все вы погибнете, — произнесла она.

— Глупости все это, мама, — сказал шепелявый Янко Крап. Всегда, когда Янко сердился или раздражался, он шепелявил.

Илона кричала:

— Одна среди парней, где это видано? Среди таких охальников. Разве это прилично?

Илоне казалось, что она ненавидит всех мужчин на свете. Собственный муж обманул ее да и другие не любили. Не переставая твердить, что все мужчины — грубые животные, тайком, в уголке сердца она тосковала по мужской ласке.

— Неужто и ей погибать? — виновато упрекнула вдова Крапова.

У нее болели ноги и ныло старое, больное сердце. Неделю назад она получила из тюрьмы сверток, в нем было немного белья и старые серебряные часы с потертым черным ремешком — все, что осталось от ее мужа. Ее ошеломил не самый факт смерти, смерть была ей близко знакома: много раз в долгие бессонные ночи она являлась к ней, измученной спазмами больного сердца. Нет, больше всего ее потрясло то, что она не смогла проститься с мужем, обнять и отпустить его, положить в гроб. Это казалось ей очень жестокой и немилосердным, тяжелой и горькой обидой. Вся свою жизнь она провела в трудах и заботах, жертвуя всем и всему, покоряясь, твердо веря, что не следует противиться порядку вещей, установленному господом богом. Но эта последняя и самая горькая обида жаждала ее, и она

пришла спасать своего ребенка, самого любимого ребенка покойного мужа. Это был ее первый и последний бунт против нерушимого порядка вещей.

Крапова смотрела на сына умоляюще, с укором в ясных светло-голубых глазах. Платок сполз у нее с головы, волосы были совсем седые, слипшиеся от пота и такие редкие, что сквозь них просвечивала кожа. Несчастливая мать! Несчастливая женщина!

— Хорошо, мама, — сказал Янко Крап. — Раз ты так хочешь, пусть Ганка возвращается домой.

— Спасибо тебе, сынок, — сказала вдова Крапова.

— Будто граф какой! — презрительно фыркнула Илона. — За что его благодарить?!

Янко Крап все еще тер шрам на правой щеке, с трудом сдерживая злость.

— Вам пора идти, — сказал он немного погодя. — Пора, иначе вы не успеете спуститься вниз засветло.

— Значит, и мне идти? — спросила Ганка обиженно.

По лицу ее катились слезы, она с трудом сдерживалась, готовая заплакать в голос. Она ненавидела Илону и жалела себя: снова ей не повезло, опять что-то оборвалось. Опять принимайся за старое, снова вернется это бесконечное однообразное, нудное и безвыходное житье: тесная комната, сад, речка, вечная грязь и вечная уборка, подметание, стирка, глажка — тот тесный, скучный круг жизни, который душит и убивает ее. А здесь, как здесь было интересно, как вольно дышалось! Она не боялась ни усталости, ни оскорблений, ни назойливых взглядов, она была гордой недотрогой; к ней привыкли, а некоторые даже были склонны считать ее равной себе. К тому же здесь были непрестанные перемены, все в движении, действии и полно надежд на новые и новые перемены.

Ганка сквозь слезы смотрела на своего старшего брата, смотрела упорно, умоляюще, упрасывая его взглядом. Но Янко Крап лишь с сожалением пожал плечами.

Илона схватила Ганку за руку потянула за собой. Ганке стало стыдно, она вырвала руку и закричала на Илону:

— Не трогай меня!

Она стояла против сестры, колючая и негодующая, готовая защищать то, что считала своим достоинством.

еще длиннее и как-то странно скривились, солдатская шапка смешно сползала на уши, ботинки были велики, а рукава мундира коротки. Словом, выглядел он так, как выглядит большинство новичков, и даже еще смешнее, потому что был вдобавок довольно неуклюж. Но это его не смущало, не мешало сознавать, что наконец-то он участвует в настоящем, важном деле. Когда они шли через Махово, на крылечках стояли люди — женщины и старухи, старики и дети, — стояли тихо, с серьезными лицами, никто не произносил ни слова, только какая-нибудь женщина тихонько вздыхала да кто-нибудь робко улыбался. Но все во взводе знали, о чем говорят взгляды этих людей. В них была просьба, доверие и надежда. «Вы наши, — говорили эти взгляды, — вы наши близкие и родные, и мы верим, что вы защитите нас. Мы всем вам верим и доверяем, как собственным сыновьям». Слова были лишними, эта война была простой и понятной — война за родные деревни и городки, за людей и их имущество, за женщин и детей — против врага, который все это хотел уничтожить. И солдаты ничего не говорили, пока не прошли деревню. Прошли они через нее с серьезными лицами, без улыбки, но все чувствовали устремленные на них взгляды, которые ко многому обязывали. Сознание ответственности и тяготило их, и в то же время они им гордились. И Марек тоже гордился и чувствовал себя растроганным, поскольку впервые сознавал ответственность за других — за всех, за всю свою родину. И это было не каким-то абстрактным чувством, а очень реальным, почти физическим ощущением близости со всеми, кто подвергался сейчас опасности. Впервые в жизни он не чувствовал себя униженно безоружным, у него была винтовка, и он шел сражаться. Прежде он еще боялся чего-то неизведанного и неизвестного, боялся, что не устоит перед внезапным страхом, боялся оказаться трусом. Но фронт встретил его приветливо, вопреки его представлениям война была почти праздничной и веселой. Целый день они лежали в неглубоких окопах, над ними от вершины к вершине медленно плыло солнце, и земля пахла поздним летом. Время от времени взводный Коза давал пулеметные очереди, хотя был не совсем уверен, что бьет по цели — по вражеским солдатам. К вечеру раздался сильный взрыв: солдаты взорвали

железнодорожный мост через реку; затем последовало несколько взрывов послабее — и все это на железной дороге. Взводный Коза внимательно прислушался к взрывам, выругался и сказал

— Помяните мое слово, опять готовится какое-нибудь свинство.

Вскоре появился связной, и взводный Коза снова выругался и торжественно сплюнул.

— Так и есть, — сказал он, — вот и дождались свинства.

Да, так оно и было — пришел приказ отступить. После взрывов на железной дороге стало тихо и спокойно; сумерки неслышно скользили по лесистым склонам. Приказ об отступлении казался бессмысленным и непонятным. Марек спросил Козу:

— Почему мы отступаем?

Взводный Коза лишь презрительно усмехнулся, его физиономия сморщилась; он сплюнул, но ни слова не сказал. Взвод уже полз по лощине к деревне; все шло тихо, словно на похоронах. Деревня тоже казалась тихой, вымершей, но солдатам чудилось, что на крылечках все еще стоят люди, провожавшие их утром, а откуда-то из дворов и садов несутся громкие упреки: «Ребята, сыночки, да что ж вы делаете?»

Пройдя деревню, все облегченно вздохнули, словно освободились от гнетущей тяжести. Затем около часа они шли вдоль железной дороги. Тьма сгустилась, и в этой тьме они слышали шаги незнакомых солдат, бряцание оружия, тихую брань: отступал весь участок фронта. Наконец выступили неясные очертания железнодорожной станции. Здесь их остановил очень молодой незнакомый поручик и показал место, где они должны были занять оборону. Но, добравшись до этого места, они увидели, что позиции уже заняты. Тогда их послали на другую сторону долины. В конце концов они заняли позиции, которых им никто не отводил, но которые взводный Коза по каким-то причинам считал удобными. Они устало опустили на землю, и взводный Коза впервые за все отступление громко выругался:

— Черт возьми!.. Ну и порядки!

Марек вежливо поддакнул:

— Не понимаю, к чему все это и почему мы отступаем?

Тут взводный Коза взорвался.

— Цыц, ты, бумажная душа! — закричал он. — Цыц, заткнись, а не то зубов не досчитаешься!

И все накинулись на Марека, словно именно он был повинен в отступлении. Марек, обиженно насупившись, молчал. Просто непонятно, почему так быстро все изменилось вокруг него и в нем самом, рядом с ним уже не было взвода, воинского подразделения. Каждый обособился, выделился из этого дружного коллектива, который они молчаливо составляли; да и в душе Марека уже не было того чувства гордости, возникшего из уверенности, что он делает доброе и полезное дело: все вдруг куда-то исчезло незаметно, необъяснимо. И не враг, не опасность, не страх вызвали эту перемену, а что-то неуловимое и от этого еще более опасное.

Над Маховом, которое они оставили, взлетела красная ракета. Одновременно где-то далеко впереди раздался еле слышный отрывистый рокочущий звук: это двинулись немецкие танки. Взводный Коза курил, прикрывая огонек сигареты ладонью.

— Идут, сволочи, — пробормотал он, ухмыльнулся и повернулся к Мареку. — Слушай, профессор, — сказал он ему. — Случись что, ты тут только мешать будешь. Иди-ка лучше поищи капитана и хорошенько его распроси: что нам тут делать?

— А где мне его искать?

— Иди по нюху. Принюхаешься — наверняка найдешь, — сказал взводный Коза и осклабился.

Теперь Мареку было все равно. Он встал, поправил подсумок, взял винтовку. Когда он отошел на несколько шагов, взводный Коза крикнул ему вслед:

— Ищи его на станции, он где-то там! Засели там, черти!..

Над деревней взвилась еще одна ракета. На миг стало видно колокольню и несколько крыш. Рокочущий звук немецких танков-вездеходов медленно, нерешительно приближался.

Марек спускался в долину. В свете звезд виднелись неясные очертания предметов. Среди деревьев, скорчившись, жались к земле пни, точно животные, готовые к прыжку. Он наткнулся на какой-то забор из жердей, неловко, с трудом перелез через него, потом вышел на дорогу, которая и привела его прямо к станции. На

путях, тихо пофыркивая, стоял паровоз, товарные вагоны были забиты солдатами. Солдаты лежали и в зале ожидания, и на перроне, и на ступеньках станционного здания. Повсюду царила тьма, только из кабинета начальника станции через узкую щель в затемнении проникал свет. Марек направился туда и чуть не споткнулся о пожилого офицера запаса, который сидел на ступеньках и мирно дымил трубкой. Офицер добродушно гаркнул:

— Ты что, ослеп?

— Извините,— Марек почтительно вытянулся.— Я ищу капитана.

— Он тут,— сказал офицер и показал на дверь позади себя.— А чего тебе?

— Меня послал Коза. Взводный Коза.

— Коза? Это такой маленький, злой? Злющий как черт! Так что же хочет твой Коза?

— Он не знает, что нужно делать.

— Вот оно что.— Офицер кивнул головой, словно с чем-то соглашаясь.— А кто здесь знает, что делать? Никто ничего не знает. Прямо вавилонское столпотворение.

— Так я все-таки пройду к капитану,— сказал Марек.

— Иди. Разве я тебе мешаю?

Офицер немного отодвинулся, не переставая мирно попыхивать трубкой. Марек вошел в кабинет. На столе горел железнодорожный фонарь. Капитан Лабуда спал, уронив голову на стол. Он был в одной нижней рубашке, мундир висел сзади на спинке стула. Колечки светло-каштановых волос мягко поблескивали в свете фонаря. Тихо тикали на стенке часы с медным маятником.

Марек остановился в дверях, не зная, что делать. Он ударил винтовкой об пол, но капитан и не подумал проснуться. Нарочно громко стуча ботинками, Марек прошел вперед от двери, но капитан продолжал спать. Марек потряс его за плечо. Капитан медленно, лениво открыл глаза — лицо у него было измятое, неприятно опухшее.

— В чем дело? — спросил он сонно, но, открыв наконец глаза, сразу же узнал Марек.— Что тебе здесь надо? — закричал он с нескрываемой неприязнью.

— Я от взводного Козы,— доложил Марек.

— Подожди, — сказал капитан.

Он прошел в угол комнаты, где стояло ведро с водой и умывальник. Набрав воды в кружку, капитан нагнулся над умывальником и стал поливать себе голову.

— Так чего же хочет взводный Коза? — спросил капитан из угла.

— Мы не знаем, что делать. Пришли туда и сидим. Получили приказ отступить — отступили. Теперь сидим и не получаем никаких приказов.

— Черт вас побери! — выругался капитан. — И с этим ты сюда явился? Какого дьявола ты лезешь с такими глупостями?

— Мы не знаем, что делать, — упрямо повторил Марек. — У нас нет никаких приказов.

— Убирайся к черту! — закричал капитан и подошел к Мареку ближе.

Волосы у Лабуды были мокрые, вода стекала по лицу и волосатой груди.

— Но Марек не двинулся с места. Удивленно и чуть презрительно рассматривал он сквозь очки рослого, дрожавшего от злости капитана. Марек почему-то почувствовал, что злость у капитана бессильная; да и весь этот высокий сильный человек сейчас совершенно беспомощен. «Вот как эти герои выглядят вблизи», — подумал Марек и почувствовал какое-то злорадное чувство, словно ему доставляло удовольствие видеть капитана Лабуду в подобном состоянии. Марек никогда не мог забыть, что этот человек взял то, что само далось ему в руки и что для Марека было святым и недоступным. А может, в нем жило и опасение, что Олина все еще любит этого человека.

Капитан подошел вплотную. Марек увидел его большие, налитые кровью глаза. Во взгляде капитана было какое-то странное, свирепое и вместе с тем неуверенное выражение. И когда он подошел совсем близко идохнул на Марека винным перегаром, тот понял: «Боже мой, да он просто пьян!» И как только он это понял, его уверенность в себе и презрение к капитану усилились. Было так приятно чувствовать свое превосходство над человеком, который ранее всегда одерживал над ним верх, которому всегда отдавали предпочтение! И хотя в следующую минуту Марек осознал всю недостойную мелочность своей радости, его потрясла мысль

о том, что судьба стольких людей — в руках пьяного командира. Но радость от ощущения своего превосходства, радость, что сейчас он видит человека, которому так завидовал, слабым и достойным лишь презрения, не оставляла его.

Ярость капитана внезапно прошла, он весь обмяк, отвел глаза и тяжелым шагом отошел к столу. Сев за стол, он помолчал, стиснув голову ладонями. Потом он обвел канцелярию мутным взглядом и уставился на Марек, словно только что узнал его.

— Чего тебе тут надо?

— Я жду приказаний, — ответил Марек.

— Каких приказаний?

— Для взводного Козы. Он не знает, что должен делать.

— А кто это знает? Никто не знает. — Лабуда с такой силой потер лоб, что тот покраснел. Потом капитан произнес: — Окопайтесь.

— Хорошо, — сказал Марек.

Он все еще не двигался с места.

— Ну, что еще у тебя?

— Один вопрос. Можно спросить?

— Говори.

— Мы не должны были отступать и все же отступили. Почему мы отступили?

— Вошь паршивая! — закричал капитан. — Убирайся к черту или я тебя пристукну, дрянь ты этакая!

Марек презрительно пожал плечами и вышел. Холодно и ясно светили звезды. Гул немецких машин затих. Пожилой офицер сидел на ступеньках, завернувшись в шинель. Из канцелярии слышалась брань капитана Лабуды.

— Бушует? — спросил пожилой офицер.

— Он пьян, — ответил Марек, и ему доставило радость, что он может так сказать о капитане Лабуде.

— Что поделаешь! — вздохнул пожилой офицер. — Все полетело вверх тормашками.

Марек не ответил.

Он отошел от офицера, осторожно пробрался через перрон среди спящих солдат, пересек железнодорожную линию и вскоре разыскал дорогу, которая незадолго до этого привела его на станцию.

Марек стал подниматься по склону; яркие сентябрьские звезды сияли над головой. Стояла тишина, полнейшая, немыслимая тишина. Во влажном от росы воздухе пахло травами.

4

Немецкая часть, наступавшая по гребню горы, к утру, перед самым рассветом, наткнулась на партизанский лагерь. Столкновение было неожиданным для обеих сторон: партизаны безмятежно спали под охраной нескольких клевавших носом часовых, полагая, что враг далеко. Немцы, передвигавшиеся по гребню горы одновременно с продвижением своих главных сил в долине, не подозревали о лагере.

Немецкая часть развернулась в боевой порядок и открыла огонь прежде, чем часовые партизан успели подать сигнал тревоги.

У немцев было два легких миномета, и партизаны проснулись уже от свиста мин над головой. В поднявшейся суматохе нечего было и думать об обороне или об организованном отступлении. При первых же взрывах партизаны разбежались и скрылись в ближайшем леске. На поляне остались лишь мертвые и умирающие. Преследуй немцы партизан, вряд ли бы кто уцелел из отряда. Но фашисты сами испугались и решили ждать рассвета: они не доверяли горам.

Партизаны продирались сквозь густую чащобу, не переводя дыхания, бежали через лес, никем и ничем не преследуемые, кроме собственного страха. Спустя полчаса они начали останавливаться, тяжело дыша и не смея от стыда взглянуть друг другу в глаза. Комиссар Бенде, привыкший перед сном снимать обувь, бежал босиком.

Янко Крап шел, опустив голову, позади своих ребят. В свете занимающегося утра партизаны походили на зловещие безмолвные тени. Янко еще не решался подумать о том, что произошло; он знал, что случилось нечто ужасное и позорное, но не осмеливался даже в мыслях коснуться этого: слишком свежи были страх и стыд.

Когда партизаны вышли на опушку леса, из-за гор показалось солнце — багровое, тусклое и холодное. Внизу долина открывала им умытые росой просеки, пастби-

ща, желтеющие овсы, клочки полей, поднимающихся уступами, а совсем внизу — зеленые ленты лугов и речки, заросшие по берегам лозняком.

Партизаны остановились — они не знали, куда идти. Янко Крап разглядывал долину в бинокль, протирал запотевшие стекла и вновь прикладывал бинокль к глазам. Но там, где еще вчера проходила линия обороны, где тянулась прерывистая линия окопов, теперь никого не было. На зеленом полотне лугов отчетливо виднелась красноватая линия свежевырытой глины. Окопы опустели, в них не было никого, ни единой души. Янко Крап протер глаза, ему не хотелось верить, потом он снова прильнул к биноклю; перед ним теперь появилась деревня Махово. Внешне она выглядела мирно, кое-где из труб поднимался дым, но перед магазином стояли немецкие вездеходы, а на улицах и в садах сутились немецкие солдаты. Теперь было ясно, что словацкие войска ушли, бежали и в Махове немцы.

— В Махове немцы, — сказал Янко Крап.

— Плохи наши дела, — отозвался рыжеволосый Голко. — Галушки с брынзой отменяются.

Никто не засмеялся. Комиссар Бенде, дрожа от холода, спросил:

— Что же это такое? — И сам себе ответил: — Это измена!

— Нас предали! — истерически закричал парень, весь увешанный военной амуницией.

— Ну, это еще не ясно, — сказал Янко Крап.

— Это уже ясно, — отозвался со злобой Чачко. — Чего еще выяснять? Ушли, а нас бросили. Нас могли там всех перебить, а они взяли и ушли.

— Еще не ясно, как было дело, — сказал Янко Крап.

Он пытался сдержать в себе внезапную бурю негодования и ненависти. Но укрощал он ее не так уж энергично. Янко и сам охотно поверил бы, что они не виноваты и оказались не трусами, а жертвами, что он, Янко Крап, ни в чем не виноват, просто тут произошла какая-то грязная история. Это было уже не первое недоумение между регулярными частями и партизанами; каждый день вспыхивали ссоры между командирами, солдатами и бойцами партизанских отрядов. Такие ссоры и перебранки, возникавшие из-за пустяков, нередко кончались драками и вспышками открытой вражды.

Нити взаимных подозрений, недоверия и вражды тянулись на передовую из штабов высоких и высших начальников, доходя до представительных и исполнительных органов революционной власти. Это был политический вопрос, и это Янко Крап отчасти понимал. Возможно, внезапное отступление и то, что о нем не сообщили партизанскому отряду, прикрывавшему правый фланг участка фронта, было актом мести и вражды. Втайне Янко Крап желал, чтобы все случилось именно так; тогда ему удалось бы избежать тех упреков, которые, как он предугадывал, неизбежно возникнут. Возможно, тогда в ушах его не раздавались бы крики раненых, брошенных на поляне. И поскольку он никак не мог поверить, что испугался и струсил сам, что все испугались и струсили, и поскольку он не мог этому поверить, так как это перечеркивало всю его прежнюю деятельность, все мечты, стремления и все заслуги, то он поверил в измену.

Внизу, в долине, пронзительно засвистел паровоз. И сразу же в ответ в садах Махова что-то блеснуло, загремели горные орудия, заухали минометы. Началась артиллерийская перестрелка, сначала как-то вяло и сонно, затем все яростнее и энергичнее. В гулкие, грозные взрывы влились резкие веселые голоса пулеметов. Партизаны залегли, потом поползли вперед. Они добрались до проселочной дороги, которая служила для перевозки бревен на станцию. Здесь уже можно было идти пригнувшись, ложбина прикрывала их от пуль. В одном месте ложбина оказалась настолько глубокой, что позволила выпрямиться во весь рост. Вот здесь-то Янко Крап и остановился, построил отряд по взводам и отделениям. Не досчитались восьми человек.

— Ну, за это они мне заплатят, — тихо прошепелявил Янко Крап. — Своей кровью заплатят.

Теперь он уже не думал о собственной трусости, о своем страхе. Все заслонила злость на тех, других, и тем яростней была эта злость, чем она была неискренней. Где-то подсознательно у него занозой застряло ощущение собственной вины и позора.

Они выбрались из ложбины и снова торопливо поползли вперед, наскоро окапываясь в опасных местах.

Взводный Коза, заметив мрачных и, как ему показалось, испуганных партизан — беспорядочную толпу, не

имевшую ни приличной формы, ни настоящего оружия, — закричал:

— Смотрите-ка, что за процессия?!

Леша заскрипел зубами, лязгнул затвором автомата:

— Ах ты, сукин сын! — Но он не выстрелил, а лишь погрозил взводному Козе: — Мы еще посчитаемся, я тебе припомню.

— Ей-богу, — осклабился взводный Коза, — вояки хоть куда.

Тут же ему пришлось пригнуться — рядом просвистела мина.

Партизаны ползли дальше, мрачные, молчаливые и злые; злость их так и рвалась наружу, достаточно было малейшего повода, чтобы они бросились на солдат и перебили всех до единого; все были уверены, что солдаты их предали. Наконец партизаны добрались до станции. Пути теперь были почти свободны — паровоз вывел вагоны в безопасное место. Перед кабинетом начальника станции виднелась воронка от артиллерийского снаряда. Вокруг были симметрично разбросаны части человеческого тела, двери сплошь забрызганы кровью с остатками внутренностей, на уцелевших ступеньках валялась трубка, из которой еще вилась тонкая, едва заметная струйка дыма. Рыжий Голко осторожно, стараясь не измазаться, открыл дверь. Кабинет был пуст. В зале ожидания остались несколько наспех перевязанных раненых, ожидавших отправки. Молоденький поручик с позеленевшим лицом придерживал раненую руку и стонал.

— Где капитан? — спросил Янко Крап.

Поручик недоумевающе посмотрел диким взглядом на этих разъяренных людей.

— Какой капитан?

Было видно, что больше всего на свете его занимает раненая рука.

— Ваш капитан, — сказал Янко Крап. — Капитан Лабуда.

— Не знаю, — ответил поручик, и его лицо скривилось от боли, — я ранен.

— А ну, проваливайте отсюда, — сказал солдат с красным крестом на рукаве партизанам, набившимся в зал ожидания. — Не видите, что здесь раненые?

— Значит, никто не знает, где капитан? — еще раз спросил Янко Крап.

Со скамейки, на которой лежали тяжелораненные, донесся хриплый голос:

— Наверно, на батарее. Он всегда так — как попадет на батарею, так сразу сам к орудию.

— А где эта батарея?

— Да там, — из груди тел поднялась рука, — за рекой.

— Что ж, ладно, — сказал Янко Крап. — Найдем его и там!

Эти ничтожные помехи и безуспешные поиски были смешны, и Янко Крап это понимал. Но вопреки тому или, вернее, именно потому он их и не прекращал. Чем смешнее становился он в своих собственных и в чужих глазах, тем сильнее овладевало им неистовое, убийственное желание сорвать на ком-нибудь свою злость.

«Они мне еще за все заплатят, заплатят за все кровью», — с яростью думал он, все время отгоняя от себя желание быть разумным и справедливым, потому что именно там, в уголках справедливого разума, притаились угрызения совести.

— Пошли, — мрачно произнес Янко Крап.

— Командир, — примирительно сказал Артем, — ну какой в этом толк?

— Пошли, — повторил Янко Крап и в упор посмотрел на Артема.

Артем пожал плечами и умолк.

Партизаны шли за Янко Крапом, молчаливые, хмурые, отяжелевшие от дум, они уже не были так решительно настроены кому-то мстить, как в самом начале. Да и кому мстить? Они видели раненых там, на станции, это были их товарищи по несчастью, все они страдали за одно общее дело. Кому же они должны мстить?

Над линией обороны низко летел немецкий «фокке-вульф»; солдаты стреляли по нему из винтовок и пулеметов. Но самолет, не обращая внимания на стрельбу, назойливо гудел над окопами. Пилот покачал крыльями: он издевался над беспомощными людьми там, внизу.

Капитана нашли часам к десяти. Он лежал на поляне за батареей, срисовывая в потрепанную записную книжку позиции немцев. На переднем крае стояла тишина, это была одна из тех передышек, которые так же не-

ожиданны, как внезапные яростные перестрелки. Капитан поднял голову — на его записную книжку упала тень. Он с удивлением оглянулся: вокруг него плотным кольцом стояли партизаны, молчаливые и хмурые.

— Это что за сборище?

Ему никто не ответил.

— Ошиблись, голубчики, — сказал тогда капитан Лабуда. — Здесь фронт, и нам тут не до политики.

Он встал и в упор посмотрел на враждебное лицо Янко Крапа.

— Почему вы отступили, капитан? — От волнения Янко Крап опять зашепелявил.

— Я получил приказ, — небрежно пояснил капитан Лабуда.

— Это же измена! — закричал комиссар Бенде.

— А это кто такой? — спросил капитан Лабуда Янко Крапа. — Что за тип?

— Я не потерплю оскорблений! — закричал комиссар Бенде. — Я — комиссар отряда.

— А раз вы комиссар, — теперь и капитан вышел из себя, — то не шляйтесь тут босиком! Курам на смех!

Комиссар залился краской, лицо у него беспомощно задергалось. Он посмотрел на свои ноги, на которых сейчас болтались лишь толстые рваные и заляпанные грязью носки. Леша медленно приблизился к капитану и схватил его за рубашку.

— Чего орешь? Заткнись!

— Тут пока еще я командир! — взорвался капитан Лабуда. — Я имею право орать!

Он схватил Лешу за руки, стараясь оторвать их от себя. Они стояли друг против друга, оба рослые, сильные. Внешне они были неподвижны; только учащенное дыхание и стиснутые зубы говорили о том, как напряжены их мускулы.

— Оставь его, — повелительно сказал Янко Крап.

Леша отпустил капитана.

— Так в чем же, собственно, дело? — спросил капитан.

— Мы хотим кое в чем разобраться, — сказал Янко Крап, стараясь говорить спокойно.

— Это что, вопрос?

— Называйте как хотите, капитан. Возможно, и допрос.

— Ты — изменник! — крикнул комиссар Бенде. — Мы будем тебя судить как изменника!

Партизаны дружно загудели. Теперь было ясно, что перед ними тот единственный человек, который несет вину за все и за всех. Пока вина не воплотилась в одном человеке, им было очень тяжело ненавидеть всех; но теперь перед ними был единственный виновник, они видели его, чувствовали его высокомерие и вдруг поверили, что именно в нем причина их усталости, страха, позора.

Капитан Лабуда оглянулся и увидел, как круг сужается, что к нему приближаются искаженные ненавистью лица, и постепенно он стал осознавать свое положение. Ему не хотелось верить: он был слишком самонадеян, чтобы предположить нечто подобное. Однако партизаны смотрели на него весьма недвусмысленно, горя желанием отомстить за своих мертвых, брошенных на поляне. Они негодовали потому, что чувствовали свою собственную вину и хотели поскорее избавиться от нее. (Если они найдут виновника и покарают его, их совесть будет чиста: такова сила предрассудка, изменяющего тяжесть вины серьезностью наказания.) Сквозь тесный круг партизан капитан Лабуда видел окопы батареи. Артиллеристы почуяли что-то неладное и, поднимаясь один за другим, медленно приближались к партизанам. Капитан Лабуда крикнул им:

— Назад, на батарею!

Артиллеристы остановились и нерешительно побрели обратно. Капитан повернулся к Янко Крапу.

— Что тебе от меня надо? Я не преступник, а ты не судья!

— Почему вы отступили?

— Я уже сказал: получил приказ.

— Какой приказ?

— Из штаба участка.

— Это измена! — закричал комиссар Бенде.

— Почему не сообщили нам? Почему не дали знать?

В ушах Янко Крапа снова отчетливо зазвучали крики раненых, которых он бросил на поляне, и он еще больше вознегодовал.

— Вам сообщили. Мы послали связного.

— И не подумали, — запальчиво сказал Янко Крап. —

Да, вы бросили нас на произвол судьбы. Вы сделали это умышленно!

— Измена! — выкрикнул комиссар Бенде.

Капитан Лабуда словно не замечал его.

— Ты хочешь сказать, что я лгу? — тихо спросил он Янко Крапа.

— У нас есть убитые, — сказал Янко Крап. — Кто ответит за них?

— Я послал связного, — хмуро повторил капитан Лабуда. — Ты хочешь сказать, что я лгу?

(А между тем связной, весельчак Калвода, лежал в нескольких шагах от передового края обороны, в высокой траве просеки. Руки у него были раскинуты, рот полуоткрыт. Казалось, он сладко спит. Пуля немецкого снайпера угодила ему прямо в голову, как раз под каску.)

— Кто-то из нас двоих лжет, — сказал Янко Крап. — Во всяком случае, не я.

— Ты изменник! — тонким голосом закричал комиссар Бенде. — Мы будем тебя судить.

— Тьфу! — плюнул со злостью капитан Лабуда. — Я не скажу больше ни слова. Все это мерзость и свинство! Убейте меня, но я не скажу больше ни слова.

Он рванул рубашку на груди.

— Стреляй! — крикнул он Янко Крапу. — Я больше не скажу ни слова!

Капитан стоял огромный, бешено сверкая глазами, крепко стиснув зубы. Он был готов к смерти, и было ясно, что он умрет, но не проронит ни слова. Янко Крап сразу понял, что не выстрелит, хотя рука его невольно потянулась к пистолету. Неожиданно мелькнула искуссительная мысль: выстрелить — и делу конец, потому что обвиняемый, если он мертв, кажется виновным. Но тут же он понял и то, что у него не хватит мужества преодолеть чувство собственной вины.

— Командир, — Артем коснулся плеча Янко Крапа, стараясь его успокоить. — Командир, не нужно.

Янко Крап уже знал, что не выстрелит, и в душе был благодарен Артему, потому что рука его застыла на кобуре с револьвером, и было глупо так стоять в нерешительности. Он убрал руку с кобуры и прошепелявил:

— Мы еще сочтемся.

Но капитан Лабуда лишь презрительно взглянул на Янко Крапа. «Трус,— говорил его взгляд,— теперь я тебя раскусил». Капитан по-прежнему не трогался с места, тело было непослушным и судорожно напряженным, но наконец мышцы ослабли, и Лабуда шагнул вперед. Он сделал несколько шагов к плотной стене окружавших его людей и, казалось, вот-вот столкнется с ними грудь с грудью. Но тут партизаны расступились, словно подчиняясь какому-то тайному приказу. Как будто все внезапно поняли, что капитан Лабуда — прямой и мужественный человек, он не лжет и не может быть виновным. И многие вздохнули с облегчением: жаль, если бы такой смелый парень оказался виновным.

В воздухе загудели немецкие самолеты. Три «мессершмитта» сначала глухо, устрашающе зарокотали, затем, истерически взыв, ринулись стремглав на окопы. Почти одновременно со взрывом первых бомб у Махова заговорили немецкие пушки и минометы: немцы начали подготовку к атаке.

Партизаны залегли. На широком лугу, полого спускавшемся к реке, отчетливо выделялась фигура капитана Лабуды: выпрямившись во весь рост, он в одиночестве шагал к реке. Пилот «мессершмитта», выровнявший свой самолет после пикирования, заметил капитана и дал по нему пулеметную очередь. Лабуда продолжал идти. Он не пригнулся и не посмотрел вверх. Промахнулся, понял капитан, а может, лучше было бы, если бы не промахнулся. Не война, а сплошная мерзость и свинство, неразбериха какая-то, политика, которой он, Лабуда, не понимает. Дважды он уже не выполнил приказа об отступлении, дурацкого приказа. В горловине ущелья у Махова они занимали отличную позицию, нужно было только укрепить ее, и тогда они смогли бы сдерживать даже превосходящие силы немцев неделю, две, месяц. Но Павел Йозеф Яник настоял на отступлении, кроме того, ему позвонили из главного штаба в Бистрице, угрожая военным судом. И теперь еще одно — этот Янко Крап, которого он уважал и которого должен перестать уважать после того, что произошло, поскольку этот человек заподозрил его в измене. «Плевать мне на это, к черту все», — ругался в душе капитан Лабуда. Настроение у него было хоть вешайся, на душе было отвратительно, и весь мир казался бессмысленным

и безнадежно запутавшимся. Охотнее всего он сбросил бы с себя все эти тягостные думы и пошел бы в атаку, как простой солдат — стрелять и ни о чем не думать, — или упал бы сейчас на землю, вцепился в нее зубами — только бы ни о чем не думать.

5

Когда капитан Лабуда добрался до шоссе за железнодорожной станцией, туда подошли три танкетки. Это были легкие машины устаревшего типа, которые использовались лишь для обучения новобранцев. Танкетки чадили плохо очищенным горючим и дребезжали так, словно вот-вот готовы были развалиться. Они остановились на обочине шоссе под кленами, окружавшими станцию. Из первой танкетки высунулась чья-то толстощекая добродушная физиономия, блестящая от пота и чумакая от масла.

Капитан Лабуда подошел к танкеткам и с удивлением стал их разглядывать.

— Что это за развалины? — спросил он.

— Танки, — с гордостью пояснила добродушная физиономия.

— Танки? — переспросил капитан Лабуда. — А я думал, детские коляски.

— Ха-ха-ха! — рассмеялась толстощекая физиономия. — Пан капитан шутит.

Но капитан Лабуда не шутил, мрачно созерцая эти казавшиеся ему жалкими и ни на что не годными машины. Да, все в этой войне было жалким, словно кто-то просто играл в войну, словно кто-то невидимый усмехался во мраке, потирая от удовольствия руки: играйте, деточки, умирайте, солдатики, это веселая и хорошая игра.

— Хороша детская коляска, — сказала толстощекая физиономия. — Есть у нее и пушечка, есть и пулеметик, она стреляет и быстро-быстро катится.

— Как вразправдашний танк, — насмешливо сказал Лабуда.

— А это и есть танк, — осклабилась толстощекая физиономия.

Капитан Лабуда вдруг принял решение.

— Хорошо, — сказал он, — посмотрим.

Испытаем и это, почему не испытать? Хотя здесь на-верняка нечестная игра, но, раз мы ее начали, будем играть до конца. Этого требует честь офицера и порядочного человека, нужно довести ее до конца, даже если всем нам придется подохнуть. Испробуем и это и докажем тем, кто считает нас изменниками и трусами, что мы не те, за кого нас принимают.

— Подождите здесь, — сказал капитан. — Как вас звать?

— Поручик Репих.

— Подождите здесь, поручик Репих. И не выключайте мотора.

— Ясно, — добродушно улыбнулась толстощекая физиономия.

Капитан Лабуда пошел к станции, оглядываясь по сторонам. Небо было чистое, без облачка, «мессершмитты» куда-то скрылись, только «фокке-вульф» надменно гудел над лесистым склоном. Огонь начал стихать.

Капитан по лесенке взобрался на явор, где находился наблюдательный пункт. Дежурный сержант протянул ему бинокль.

— Сейчас пойдут в атаку, — сказал сержант.

Немцы закончили артподготовку. Огонь вели теперь только несколько минометов. Сквозь редкие разрывы слышалось урчание вездеходов.

— Пошли, — сказал сержант.

Капитан Лабуда видел немцев как на ладони. Из-под маскировочных сетей по боковым улочкам Махова на шоссе выползли вездеходы. Несколько домов в деревне горело, но никто не тушил их. Немецкие машины выстроились в колонну и двинулись по шоссе, за ними потянулась пехота. Капитан прокричал в трубку полевого телефона приказ артиллерийской батарее: стрелять всеми орудиями по окoliце. И батарея загрохотала, снаряды стали рваться на шоссе при выезде из деревни. Это было единственное место, откуда могла начаться атака немцев, и оно было пристреляно артиллеристами. Первая немецкая машина на полной скорости ворвалась в зону обстрела, не сумела преодолеть огневой вал, повернулась, подскочила, как пьяная, остановилась в воронке, вырытой снарядом, и загорелась. Вторая подошла вплотную к огневой преграде, постояла, словно приня-

хиваясь, и попятилась. Капитан Лабуда с довольным видом сдвинул фуражку на затылок: впервые за этот день он испытал чувство удовлетворения. Сам артиллерист, он любил артиллеристов, их одних считал настоящими солдатами и полностью на них полагался.

— Попались, голубчики, — пробормотал он.

И пожалел, что у него мало орудий: сейчас он мог бы разбить немцев одним ударом. Немецкие машины пятились по шоссе к магазину и одна за другой исчезали в своих укрытиях. Капитан приказал прекратить огонь: приходилось беречь снаряды. Затем он спустился с наблюдательного пункта. Моторы танкеток глухо стучали на малых оборотах. Капитан присел на обочине и, подставив колено, набросал в записной книжке план атаки. Вырвав листки, он разослал их со связными.

Закурив, он стал ждать. Капитан ни о чем не думал, только курил и ждал. Казалось, ему стало легче, словно он стряхнул с себя неприятную тяжесть в ту минуту, когда принял решение атаковать немцев. Он знал, что действует вопреки приказаниям командования — возможно, его разжалуют, а может, Павел Йозеф Яник передаст его дело в военный трибунал. Если атака не удастся, наверняка все так и случится. Но будь что будет. Всем своим существом он чувствовал, что поступает правильно, что делает единственно возможную вещь: как все солдаты, он чувствовал, что должен смыть позор бессмысленного отступления, ощутить, что он еще жив, убедиться в том, что он цел и невредим. И он сделает то, что должен сделать. Мужества у него хватит, а на остальное ему наплевать.

Докурив, капитан посмотрел на часы. Пора.

Он встал и подал знак сержанту на наблюдательном пункте. Орудия снова открыли беглый сосредоточенный огонь. Артподготовка длилась только пять минут. Во внезапно наступившей тишине капитан крикнул:

— Поручик Репих, вперед!

И танкетки, выпустив густые клубы дыма, заворчали и с оглушительным грохотом двинулись по шоссе.

Пехота по обеим сторонам шоссе поднялась. Капитан Лабуда бежал за средним танком и что-то кричал на ходу. В эту минуту ему было по-настоящему хорошо, в эту минуту все было как надо — бензиновая гарь, разрывы, кричащие солдаты, все было как надо. Они бежа-

ли, ложились, когда над головой свистели мины, снова поднимались и снова бежали, а танкетки перед ними смешно подскакивали на ухабах, пыхтели и дребезжали, будто готовые вот-вот рассыпаться. Но все же стреляли из своих пушек, яростно выплевывали огонь из пулеметов и упрямо шли вперед.

Они шли вперед!

Партизаны Янко Крапа, заметив рядом с собой какое-то движение, рванулись следом, влились в общий поток, вмиг забыв обо всех раздорах и недоразумениях между штабами. Теперь все они были участниками одного и того же дела, самого важного, их общего дела. Рыжий растрепанный чуб юного Голко отважно мелькал где-то впереди; Леша продвигался не спеша, степенно, как почтенный хозяин, но всегда оказывался в первых рядах. Комиссар Бенде, побрякивая, подпрыгивал на больных ногах, и только парень, увешанный амуницией, укрылся в первой же воронке от снаряда и просидел в ней все сражение.

Они шли в атаку!

Марек вскочил и побежал вместе со всеми, его неуклюжие журавлиные ноги заплетались на ходу, он держал со злости плечами, лицо его исказилось от возбуждения; он бежал навстречу разрывам и клубам дыма, поднимавшимся над Маховом, небрежно держа в руке винтовку, как совершенно бесполезную вещь, и бежал, бежал вперед, твердо веря, что один этот стремительный бег решает что-то очень важное и что нужно лишь бежать и бежать навстречу вспышкам огня. Где-то глубоко в нем бился страх, но тем сильнее было возбуждение от этого стремительного бега, тем сильнее было ощущение победы над страхом. Марек бежал и через забрызганные грязью очки ничего не видел ни впереди, ни вокруг себя, различая лишь яркие вспышки выстрелов и клубы волнистого дыма. И вдруг, когда его бег стал особенно стремительным, кто-то дернул его за ногу, и он упал, уткнувшись лицом в твердую землю. Только тогда он заметил, что рядом с ним лежит взводный Коза. Это он заставил Марека упасть, а теперь кричал ему в самое ухо:

— Болван, куда лезешь?!

Они попали под пулеметный огонь и залегли, прижавшись к иссохшей, твердой земле и тяжело дыша.

Взводный Коза подполз к высокой меже, остальные последовали за ним. Межа оказалась вполне пригодным укрытием, отсюда было видно лишь мирно светившее солнце, и земля здесь пахла сухой картофельной ботвой и еще чем-то, это было удивительно и почти невероятно. Взводный Коза корректировал огонь своих пулеметов. Солдаты лежали за высокой межей и стреляли в завесу пламени и густого дыма, закрывавшую Махово. Над их головами непрерывно жужжали пули, не давая подняться с земли. Худой, давно не бритый солдат запаса, пулеметчик, менявший диск, вздыхал:

— Да, в хорошенькую переделку мы попали: ни назад, ни вперед. Немцы не дают головы поднять.

Взводный Коза покосился на него и громко спросил:

— А какой он, по-твоему, немец-то?

— Сам видишь, какой, не пускает нас, и все тут, — отвечал пулеметчик упрямо, словно малый ребенок.

Взводный Коза сказал назидательно:

— Немец-то — тоже человек. И у него всего две дырки в носу.

— Дырки-то две, да вот...

— А еще что скажешь?

На небольшом, смуглом до черноты лице взводного Козы появилось угрожающее выражение. Солдат отвел глаза.

— Да ничего. Разве я что говорю?

— Ну то-то, — пробурчал взводный.

С северо-востока, из ущелья, потянул свежий воздух. Дым на миг рассеялся, стали видны ярко полыхавшие дома и гумна в Махове и немцы, в смятении бегавшие среди огня. Танкетки поручика Репиха остановились метрах в двухстах от деревни, они то пятились под огнем орудий, бивших прямой наводкой, то снова осторожно ползли вперед. Казалось, они играют в какую-то непонятную, но забавную игру. Вдруг все увидели, как из-за средней машины вынырнул человек, подскочил к танкетке и забарабанил кулаком по стальной броне. Это был капитан Лабуда. Марек узнал его даже издали. Капитан колотил кулаком по броне и кричал, показывая вперед рукой с автоматом. Танкетка вздыбилась, словно конь перед барьером, содрогнулась и ринулась вперед. Капитан Лабуда что-то закричал невидимым солдатам,

те нерешительно, по одному стали подниматься и побежали вперед.

— Вперед, ребята! — крикнул взводный Коза, туго затянул ремень и одним прыжком перемахнул через межу. Марек вскочил почти в тот же миг; он слышал тяжелое дыхание бежавших рядом с ним солдат, тонкое жужжание пуль, но яснее всего стук собственного сердца. «Тук-тук», — стучало сердце, измеряя это бесконечное время, эти бесконечные секунды. Марек и Коза были уже у самой околицы, видели сады и двух немцев, лежавших за пулеметом. От дыма щипало в носу, слышно было мычание скотины, очевидно запертой в горящем хлеву. И вдруг случилось это. Марек почувствовал слабый удар в правое плечо. Он слегка повернулся, винтовка выпала из рук, но он пробежал еще несколько шагов. Потом остановился, заметив, что в руках у него нет винтовки, оглянулся, увидел ее в нескольких шагах позади себя и удивился: как же она там очутилась? Он вернулся и хотел поднять ее, но вдруг почувствовал, что правая рука его беспомощно повисла, — тут только он понял, что ранен. При этой мысли тело его сразу обмякло, стало непослушным, и он опустился на землю. Взглянув на плечо, он увидел, что рукав мундира уже намок от крови. «Вот она, — пришли ему на ум глупые слова, — вот она, та жертва, освященная кровью жертва». Здоровой рукой он коснулся занывшего плеча, но тут же отдернул ее, словно обжегся: вся ладонь была вымазана кровью. Марек побледнел, не в силах перенести вид собственной крови, и потерял сознание.

Очнулся он уже на станции, в зале ожидания. Солдат с красным крестом на рукаве, с неприветливым лицом перевязывал ему плечо. Закончив перевязку, он сказал другому солдату:

— Этого надо отправить, пуля застряла.

Марек хотел спросить: «Я серьезно ранен?», — но не смог произнести ни слова. Он полулежал на скамейке, в оконных стеклах играло заходящее солнце.

— Встать можешь? — спросил его санитар с хмурым лицом.

— Попробую, — ответил Марек, привстал и тут же схватился за солдата: кружилась голова. — Думаю, что смогу, — сказал Марек.

Он закрыл глаза и подождал, пока пройдет головокружение. Затем осторожно двинулся вперед и вышел из зала ожидания. За станцией стояла грузовая машина. Солдаты с красным крестом на рукаве выносили из зала ожидания раненых и укладывали их в машину. Мимо Марека пронесли Голко; у него были стиснуты зубы, белде как мел лицо, влажные огненно-рыжие волосы, казавшиеся темнее обычного. Уже сидя в кузове, Марек увидел взводного Козу, тот бродил вокруг машины, заглядывал в лица раненых, словно кого-то разыскивая.

— Пан взводный! — крикнул ему Марек.

Взводный Коза подошел к борту.

— Ага, — пробормотал он, — я так и думал. — Закурив сигарету, он выпустил струйку дыма и сказал: — Все-таки мы их выбили, только задницы мелькали. А тебе здорово повезло, мог схлопотать прямо в башку. В такого, как ты, только слепой промахнется.

И принялся ругать Марека за то, что он полез на рожон. На долю Марека досталось немало «болванов» и «лопухов», но тут взревел мотор, и взводный Коза сказал:

— Я ведь тебя просто так ругаю, по привычке. А для первого раза все было неплохо, ей-богу, совсем неплохо, парень. И не скажешь, что ученый интеллигент. Ну ладно, бывай здоров.

На машину натянули брезент с огромным красным крестом. Под брезентом был полумрак, стоял удушливый запах крови и лекарств. Марек различил мертвенно-бледное лицо Юло Голко: зубы у него были все еще стиснуты, и дышал он со свистом, тяжело. Марек наклонился над ним, стараясь узнать, не нужно ли чего. Но Голко не слышал, его большие глаза были широко раскрыты и неподвижны. Машина подскочила на развороченном шоссе, Голко слабо застонал, разжав зубы:

— Мама, ой, мамочка моя!

И все. После этого стало тихо.

Старый пан Мелихер, вышедший на пенсию учитель, старательно закрыл двери своей квартиры. Не удержавшись, Мелихер вздохнул: он не любил покидать свои две комнаты, прибежище, где он ощущал уверенность и

покой, где все шло по заведенному порядку и имело свое, строго определенное место. Он давно привык к неизменному порядку вокруг себя. По жизни он старался идти размеренным и неторопливым, не воинским, а солидным, спокойным и осторожным нестроевым шагом. А если некогда у него и были какие-то страсти, если когда-то его и искушали волнения, то он затаил их, подавив во имя порядка, постоянства, неизменности вещей. Незыблемость принципов, незыблемость окружавших его предметов стала для него не только целью, но и мерилom всех ценностей. Эти принципы создал не он сам, пан Мелихер, он обрел их в юности и уже не отступал от них. Они таили в себе понятия, которые выходили или уже давно вышли из моды: честь, моральную чистоту, гуманизм — те древнеримские добродетели, которым учили когда-то в классических гимназиях. Пан Мелихер верил, что достаточно поддерживать этот священный огонь, достаточно вести примерную жизнь и доказывать собственной жизнью неизменность принципов — и люди сами собой, тронутые подобным примером, станут лучше. Впрочем, с течением лет люди все меньше занимали его. С ним были его одиночество, его вера в неизменность принципов, его нумизматическая коллекция и упорядоченный мирок. Из дому выходил он лишь в силу необходимости, когда нуждались в нем, в его моральном авторитете, в его честности, в его каменном спокойствии святого.

Пан Мелихер, сверкающий чистотой, опрятный и стройный, со снежно-белыми усами, закрученными по моде времен его молодости, осторожно спустился с холма, опираясь на палку. Выйдя на площадь, он невольно поморщился: там было много народу, слишком много, на его взгляд, слишком много шума и суматохи. Пана Мелихера уже ждали. Шведа подхватил его под руку и представил какому-то очень близорукому юноше. Толстые стекла очков были вставлены в массивную оправу, а на кончике его носа виднелся прыщик, очевидно очень болезненный, потому что юноша ежеминутно трогал его пальцем. Это был представитель Национального совета, присяжный оратор на всех торжествах, прибывший из самой Банска-Бистрицы. Старый пан Мелихер церемонно поклонился и сказал:

— Добрый день, господа!

Был здесь и Кремпашский со своим одутловатым творожистым лицом. Теперь Кремпашский был председателем районного национального комитета, и лицо его стало еще более одутловатым и творожистым. Был здесь и профессор Маркех, как всегда чисто выбритый, с быстрыми насмешливыми глазами, приехавший из Бистрицы вместе с вышеупомянутым присяжным оратором.

Все, кроме профессора Маркеха, поднялись на трибуну, и юноша в роговых очках и с прыщиком на носу начал речь. Это был в полном смысле слова присяжный оратор. Он употреблял только самые торжественные слова: братство, славянство, жертвы, искупление, демократия. Затем следовали когти германского хищника, преступный Гитлер и преступный Тисо и снова братство, искупление, славянство, исконная свобода. Люди на площади немного похлопали и нестройными голосами запели старые республиканские гимны. Шведа сказал:

— Ну вот, слава богу, все кончено.

Молодой человек с прыщом на носу аккуратно собрал свои листки и бережно спрятал их в карман пальто. После этого все отправились к Домеку — слегка подкрепиться, как сказал Кремпашский, или на небольшой банкет, как поправил его Шведа.

Рослый, плечистый Шведа выглядел действительно очень неплохо: на нем был галстук-бабочка в горошек, лицо его дышало надменностью и самоуверенностью. Шведа поднял тост за Чехословацкую республику, свободу и демократию.

— Особенно за нашу демократию, — язвительно заметил профессор Маркех, не любивший Шведу за его бравый вид и особенно за его самоуверенность. Профессор Маркех вовсе не был уверен в себе. Всех людей, уверенных в себе, он считал глупцами или притворщиками.

— Без сомнения, — сказал Шведа и смерил профессора Маркеха презрительным взглядом. — За нашу демократию.

— Я был бы осторожнее, — сказал профессор Маркех. — На вашем месте я был бы осторожнее с «нашей» демократией. Она как воздушный шарик, понимаете ли? Достаточно коснуться его длинным ногтем — и что останется от этого шарика? Ха-ха-ха, а ведь ваши политиче-

ские партнеры, насколько мне известно, довольно часто не обрезают ногтей. И пальцы свои суют всюду, и ваш воздушный шарик жалеть не станут. Я был бы все-таки поосторожнее, пан Шведа.

— Не ваша печаль, пан профессор.

— И все же я осмеливаюсь посоветовать вам быть осторожнее с этой демократией, пан Шведа. Весьма шаткая опора по нынешним временам.

Шведа встал и гневно одернул профессора Маркеха.

— Не суйте носа в это святое дело, не касайтесь его!

Поднялся и профессор Маркех.

— Смотрите, какой демократ! — сказал он. — Если не ошибаюсь, вы ведь тот самый Шведа, который три года назад разгуливал по площади в гардистской форме? На страж, брат Шведа! Должен признаться, та форма была вам к лицу, где вы еешили? На страж, брат демократ!

Профессор Маркех вскинул руку для фашистского приветствия. Шведа вспыхнул и мгновенно побледнел. Он замахнулся: казалось, вот-вот он ударит Маркеха. Но тут вскочил молодой человек с прыщиком на носу, строго посмотрел сквозь толстые стекла очков и сказал:

— Полное единодушие, господа! Демократия — это единодушие.

— Вы правы, — поддакнул Кремпашский.

— Да, — сказал и профессор Маркех, — это украдено из хрестоматии.

— Фу, — поморщился Кремпашский, — как вам не стыдно!

— Не думал я, что вы такой, — обиженно промолвил юноша с прыщиком на носу.

Шведа нерешительно сел. Но профессор Маркех все еще стоял, поправляя галстук, и смотрел на остальных, злобно сощутив глаза.

— А вы мнили себя опорой общества? Да за кого вы меня принимаете? Надеетесь, что я примирился с вашей глупостью и буду вокруг вас размахивать кадиллом, чтобы никто ее не заметил?

Лицо профессора Маркеха оставалось спокойным, хотя в своем гневе он был сейчас просто невменяем. Он походил на человека, который все время соблюдал диету и вдруг вопреки всему решил наесться вволю. С Янко Крапом он так и не ужился и ушел из отряда, как только

партизаны спустились с гор. Сразу же после этого он перебрался в Бистрицу, иногда писал для газет очень умные статьи, которые никто не читал, приобщился к политике и близко познакомился с политиками. У него и раньше был острый глаз по части всяких подлостей, а в той среде, в которой он сейчас вращался, подлостей хватало с избытком. Не без злорадного наслаждения наполнялся он густым злобным гневом, чувствуя, что заряжен им, как аккумулятор. И было лишь вопросом времени, когда аккумулятор даст искру. Теперь это время пришло, и Шведа послужил случайной причиной вспышки. Профессор Маркех давно его ненавидел и теперь с удовольствием отдавался вспышке ярости. Профессор кричал:

— Я разоблачу вас! Я покажу всему миру, что вы за люди, вы ничего от меня не скроете, я вас вижу насквозь. Вашу кровожадность, вашу жажду власти, ваши глупые речи, пустые сердца, вашу алчность! Там, где у других чувства, у вас только брюхо, все исчезает в нем — правда, красота, любовь, нация — все! Я выведу вас на чистую воду! — кричал Маркех. — Вам ничего не удалось от меня скрыть! Я вас все равно разоблачу!

Он ударил кулаком по столу и крикнул:

— Конец! Я кончил! Отслужил! Слуга покорный!

Все были поражены этим внезапным взрывом, оглушены им. Они были беспомощны перед профессором Маркехом и внезапно испугались, почувствовав бессильную ярость.

— Это ужасно, — возмутился молодой человек с прыщиком на носу. — Это просто недопустимо!

Старый пан Мелихер встал, стряхнул с черного старомодного пиджака крошки и церемонно поклонился.

— Извините, пожалуйста, но мне пора. Господа меня извинят, но мне действительно пора.

— Вас я не имел в виду, — сказал профессор Маркех. — Поверьте, пан учитель, я имел в виду совсем не вас.

Старый пан Мелихер мельком взглянул на профессора своими выцветшими старческими, усталыми глазами. Затем кивнул головой и повторил:

— Извините меня, господа, но мне пора.

И тут же вышел.

— Болван! — закричал Шведа. — Осел!

Галстук-бабочка в горошек подскакивал на его большом кадыке. Профессор Маркех не удостоил Шведу ответом. Кремпашский сидел, наморщив творожистое лицо, и обеими руками упирался в стол. Все это было неслыханно. К счастью, настолько неслыханно и невероятно, что даже не могло его оскорбить. Он был выше всей этой грязи, она не касалась его.

— Я полагаю, — обратился он к профессору Маркеху с важностью, которая, как он считал, весьма шла ему, — я полагаю, что вам здесь делать нечего после того, что мы от вас услышали, вам здесь делать нечего.

— Да, — сказал профессор Маркех. — Меня от вас тошнит!

— Болван! — закричал вслед ему Шведа.

Профессор Маркех остановился в дверях, испытывая огромное ребяческое желание злорадно показать им язык. Но сдержался и вышел с достоинством солидного человека. Он шел по темному коридору и вдруг остановился: куда он идет? Внезапно охватила его слабость, вдруг он перестал быть сильным, мстительным профессором Маркехом, мечущим громы и молнии, а стал простым маленьким человеком, оскорбленным и покинутым. Куда он идет? Он не мог ужиться с людьми, но и не мог жить без них, он должен был с ними общаться, должен был видеть их подлость и, глядя на них, накапливать злость. Это было его духовной потребностью, он не мог дышать вдали от людей, не мог жить без людей. Он таил в себе странный яд, мятежный дух, который не покидал его с первых минут сознательной жизни. Эта неодолимая сила, жившая в нем, всегда брала верх над всем остальным, побеждала его желание жить в ладу с людьми, руководствоваться их законами, мерить свою жизнь их меркою. Это чувство было могучим и непобедимым, но в то же время мучительным и изнуряющим: очень трудно постоянно бунтовать, постоянно ненавидеть и постоянно быть объектом ненависти. Но для него это было суровой необходимостью и потребностью, тем грузом, который мешал ему идти прямо и больно бил по ногам, но без которого он не смог бы идти дальше. То, что он протестовал, ненавидел и бунтовал, не было каким-то нравственным протестом, нет, это жило в нем, было естественной потребностью, чем-то врожденным, инстинктивным, почти физически необходимым.

После каждой вспышки протеста, каждого победоносного преодоления преград его ждала черная тьма, пустота, холодное пространство, где не было ничего, по крайней мере ничего человеческого, никакого теплого и живого дыхания, одно только голое отрицание. Он боялся этой пустоты, этого изгнания и каждый раз с неумолимой последовательностью возвращался к ней, отринутый людьми, которых слишком пугала его грозная, оскорбительная правда. Это был тоскливый, мрачный путь, который становился еще мрачнее от того, что профессор Маркех ясно видел его конец и у него хватало мужества не строить иллюзий на этот счет. Он не позволял себе кокетничать с сознанием собственной исключительности, не позволял себе жалеть свою особу, хотя это приносит облегчение в подобных случаях. Он был искренне убежден, что нисколько не лучше остальных, просто он мужественнее и правдивее, он — скорбящий человек, который кричит во всеуслышание, оттого что ему больно.

В конце темного коридора кто-то кашлянул. Профессор Маркех вздрогнул:

— Кто там?

— Я вас очень прошу... — отозвался от двери плаксивый, дрожащий голос.

— Да кто вы такой?

— Помогите, умоляю. Все пожертвую, все отдам, — бормотал плаксивый голос у двери.

Профессор Маркех зажег спичку. Теперь он узнал говорившего: это был мясник Фабри, богач, тесть Лемнитцкого. Несколько лет назад, когда профессор Маркех перебрался в Прегибы, он частенько подумывал о дочери Фабри, которой давал уроки. Это была тихая девушка, вся какая-то светлая и чистая. Но затем появился Лемнитцкий, и тихая чистая девушка вышла замуж за предводителя гардистов.

— Что вам надо?

— Просить хочу, ваша милость. Пришел вот просить за себя и за семью. Ведь все мы люди, пан профессор. — Маленькое лицо Фабри сморщилось от страха и горя, губы задрожали.

— Да, все мы люди, все мы словаки, — сказал профессор Маркех.

— Совершенно верно, ваша милость.

Фабри схватил профессора за пиджак, схватил судорожно, крепко, словно решил ни за что не отпускать его. Профессор попятился. Фабри двинулся за ним. Профессор оттолкнул его руку. Рука была потной, влажной. Маркеха передернуло от отвращения.

— Что вы делаете?

— На коленях умоляю, пан профессор... На коленях.

Фабри медленно сполз на пол. Профессор в изумлении отшатнулся. Фабри на коленях полз за ним, бессвязно бормоча о каком-то списке, в который он попал, о том, что его хотят арестовать, что во всем виноват Лемнитцкий, что Агнеша, его дочь, ждет ребенка, что сам он никогда политикой не занимался, что у него двое сыновей, что он не переживет позора. Он полз за пятившимся профессором, хватая его за пиджак. Это смахивало на сцену из дешевой пьесы, но вместе с тем было очень реальным, отвратительным и постыдным.

— Фу, — не выдержал профессор Маркех. — Стыдитесь, Фабри!

Так он увещевал своих учеников в школе, и слова эти являли собой верх презрения. Он уклонился от рук Фабри, как от чего-то нечистого, и поспешил к выходу. Когда он открыл дверь, коридор залило светом. Профессор оглянулся: Фабри, подымаясь с пола, отряхивал брюки на коленях и злобно бормотал ему вслед проклятия.

7

Маленькое окошко, разделенное на квадраты железной решеткой. За окошком яблоня, сад. За садом пустой овечий загон, за загонем правильный квадрат букового леска, а за леском крутой косогор, под ним узкая долина, где шумит очень чистый и очень холодный ручей. Все это — и гудение пчел, и звон колокольчиков коровьего стада, и аромат далеких елей, и запахи близких выгонов, — все это, вместе взятое, и есть Лазенце, маленький мир в большом мире, тихий мир, открытый для всех ветров и замкнувшийся в самом себе.

Замкнуться в самом себе — сколько ласкового и примиряющего покоя в таком одиночестве! Это тишина омута: глубоко внизу, на самом дне, недоступном для

нашего взора, происходит какое-то тихое таинственное движение. Мы не пытаемся познать его законы, мы просто знаем о его существовании, и этого нам достаточно. Сознание на время погружается в его ленивый круговорот и снова выносится на поверхность, в недвижную тишину. Мы знаем, что живем, в нас что-то растет и зреет. И то, что в нас зреет, что привязывает нас к самим себе, что нас укрепляет, — это наша защита в трудные дни, в трудные минуты, которые настанут. Смотрите, поверхность заволновалась, на дне все пришло в движение, забурлило, горизонт потемнел — откуда эта внезапная тревога? Тишина поднялась и уплыла, и вот уже слышится взволнованный шепот, слова, в которых мы различаем горестные упреки и недобрые предсказания: откуда они?

Олина отложила шитье, встала и зашагала по комнате, наклонив голову — потолок в комнате был слишком низок. Ей уже были знакомы эти внезапные приступы тревоги, и тогда она вставала и ходила до полного изнеможения: она боялась сидеть. Ей казалось, что неподвижность делает ее безоружной против этих приступов. Двигалась она тяжело, неуклюже, вся наполненная тяжестью, словно гора, таящая в себе запасы руды. Руками она поддерживала низ живота и старалась думать о том, что будет — о ребенке, но там, впереди, вдруг становилось темно, там был страх перед страданием и перед смертью, она не могла ясно представить себе своего ребенка. Тревога надвигалась на нее из всех углов, наполняла комнату; это были укоры совести и предчувствие неожиданных ужасов. Олина остановилась и прошептала:

— Ну чего я боюсь? — И сама себе ответила: — Я боюсь, что буду очень страдать, боюсь умереть от родов. Что ж, нет ничего странного в том, что я боюсь страданий и смерти. Но есть и еще что-то, еще что-то, чего я боюсь. Безусловно, есть что-то еще, но что? Я боюсь, ах, боже мой, неужели это может быть правдой? Я боюсь, что это правда, боюсь, что все еще люблю его? Все еще люблю того, кого я все еще люблю? Боюсь, да, боюсь, что люблю того, другого, ненастоящего. (Мы всегда боимся, что любим не того, любим ненастоящего.) Неужели это возможно, как я могу любить его после всего случившегося? Ах, боюсь, что это правда, что

я все еще люблю его. Марек! Какой Марек добрый! Бедный Марек!

(Бедный Марек! Она получила от него письмо, сосед принес его вчера вечером из долины. Письмо было из госпиталя. Олина даже немного испугалась, ведь она по-своему любила Марека, который был для нее родным человеком, надежной опорой в этом шатком мире. О ранении Марек сообщил как бы вскользь. Возможно, писал он, рука останется не совсем здоровой, но не беда, бывает и похуже. Он старался казаться веселым. Олина видела, как он старался быть веселым и бодрым, и знала, что все это ради нее. Марек ничего не писал об их отношениях, но все, каждое слово выражало его отношение к ней — дышало верной, тихой и спокойной любовью. Тут была покорность, самопожертвование и преданность. «Я гуляю по саду,— писал Марек,— каждый день по одним и тем же дорожкам, посыпанным гравием. Здесь растут сосны, темно-зеленые, с красноватыми стволами, и серебристые ели, они всерьез гордятся своим блеском; растут здесь и астры, в них кроется неодолимая сила, которая заставляет их цвести вновь и вновь. И все это живет и дышит, отстаивая свою самобытность. Людям следовало бы жить среди садов, весь мир нужно было бы превратить в сад — разве люди тогда могли бы быть дурными? Древние евреи знали это, ведь библейский рай не что иное, как сад без конца и края». Еще он писал: «Я знаю, вечная невинность и тому подобное — просто детские мечтания, но разве нельзя сохранить хоть что-нибудь — чистоту души, смирение сердца, глубину спокойного взаимопонимания?»

И Олина понимала, что он хочет сохранить все это не только для себя, но и для нее, для них обоих. Бедный Марек! Письмо дышало любовью, в нем сквозила забота о ней и опасение быть назойливым, показаться ей таким. Олина представила себе, как он осторожно и тщательно подбирает слова, стараясь ее ничем не задеть. Он писал о людях, все они казались ему теперь хорошими — доктор Розенталь, Эма, лесник Ульрих. «Возможно,— писал он,— это лишь временное ощущение, простая слабость после ранения, но не лучше ли нам всегда быть слабыми, не следует ли нам стараться быть слабыми, если это помогает нам видеть людей с хоро-

шей стороны? Еще недавно я пытался найти себя, свой внутренний принцип, свое мироощущение, свою самостоятельность и независимость. И гордился этими поисками. Какая глупая гордость! Что за глупая самоцель? К чему поиски самого себя? Теперь это пришло само собой, независимо от меня, и я понял: нужно искать других. В них, в этих других, в сострадании к другим, в любви к ним, в понимании их — самое главное для познания самих себя. Анализ — отвратительное, холодное, леденящее чувство, оно ведет лишь к распаду личности. Сострадание, напротив, — элемент созидательный».

Из письма Марека было, кроме того, ясно, что его мысли не просто новая теория, одна из многих, которые возникают и исчезают, не оставив следа, а новое мироощущение, тот новый угол зрения, под которым он смотрит теперь на жизнь и на людей. А он и вправду смотрел на людей по-новому. Доктор Розенталь, казалось ему, был как бы покрыт очень чувствительной эмульсией, каждое прикосновение причиняло доктору боль. «Его расу проклинали, — писал Марек, — и доктор верит, что он проклят. Весь он словно впитал в себя боль множества других. У него нет ничего своего, личного, даже нервы у него уже не его собственные нервы, а нервы всей его расы. Какое ужасное бессилие, какой роковой удел! А Эма, ты помнишь Эму? Это человек редкого духовного богатства, болезненно совестливый, кто-то ее обидел — с кем из нас этого не случилось? — и она затаилась, ушла в себя, как улитка, и сказала: «Не прикасайтесь ко мне, я нечистая, грубая, колючая». Она очень гордая, для нее очень важно, чтобы люди о ней хорошо думали, но сама она делает все, чтобы оттолкнуть людей и настроить их против себя. Зачем она так поступает? Очевидно, боясь разочарований, мы много делаем из страха разочароваться. Только иной раз мы об этом не догадываемся, а иной раз не признаемся себе в этом. Мы далеко не так героичны, даровиты и сильны, какими хотим казаться себе и другим. Мы слабы и нуждаемся не только в сострадании к себе, но и в том, чтобы выказывать это сострадание другим. Мы бедны, если никто нам не сочувствует, но мы и вовсе нищи, если в нас самих нет источника, из которого мы могли бы оделять сочувствием других».

Так писал Марек. Это был чистый родник, глоток холодной прозрачной воды. Славный, славный Марек! Бедный Марек!

Олина уважала Марека, любила его, даже больше — понимала его. Он был ей ясен, близок, но она не могла любить его другой любовью, и чем больше она в нем нуждалась, тем отчетливее это ощущала. Он был, пожалуй, слишком ясен, слишком чист, слишком понятен, а она в свои двадцать лет жаждала чего-то иного, большего или меньшего, но, во всяком случае, не этого тихого и спокойного слияния душ, какое только и могло соответствовать ее представлению о Мареке и об их совместной жизни. Когда Марек был рядом с ней, она улыбалась ему, уверяя себя, что он хороший, лучший из людей, и в то же время с ужасом сознавала: «Я ничего к нему не чувствую». Физически он был ей безразличен, его присутствие не волновало ее. Она не представляла себе, чтобы он мог касаться, ласкать ее, чтобы она могла испытать с ним наслаждение, не представляла его своим любовником. Олина боялась, что однажды он потребует своего, и уже заранее испытывала отвращение, думая об этой минуте. Ее девичья любовь была разбита, но из-под обломков проступал не образ Марека, а другой, образ того, кого она ненавидела, боялась и кто ее волновал. Она ничего не могла с собой поделать, ей было лишь двадцать лет, в ней все еще жила мечта о сильном, необыкновенном человеке, мужчине, который берет, не спрашивая, и оскорбляет, не нуждаясь в прощении, он для женщины — весь мир, за ним она идет, ни о чем не спрашивая, он вправе принимать и отвергать, и ему нужно отдаться с закрытыми глазами. Она понимала, что такое представление безнравственно, что оно ее унижает, что оно даже банально. Но Олина не могла избавиться от этой мечты, это было очень реальное представление, почти физическое ощущение: такие ощущения нельзя ни прогнать, ни просто вычеркнуть из памяти.

Олина все еще стояла посреди комнаты, на лбу у нее выступил пот, руками она крепко придерживала низ живота. На половице играли солнечные пятна, они подходили на больших золотых жуков. Вокруг стояла тишина — пустая, гнетущая неподвижность. Внезапно шумно закричали старинные большие часы с маятником, мед-

ленно, неторопливо пробив двенадцать. Олина очнулась от оцепенения и решительно приказала себе: «Хватит! Никаких романтических сцен! Покрепче стиснуть зубы, и все пройдет!» По привычке Олина вспомнила свое старое гимназическое, почти забытое: «Ну, баста!» И сразу ей стало веселее, как-то уютнее на душе. Она, конечно, понимала, что не избавилась от нерешенных вопросов, упростив их, но ради нескольких спокойных минут решила не думать об этом. Она умыла лицо в оббитом, помятом тазу. Причесала волосы, которые за последние недели отросли и беспорядочно торчали на затылке. Мельком взглянула в зеркальце, уцелевшее у нее от прошлого века — далекого, доисторического века, когда жила очень веселая и очень глупая девушка из хорошей семьи. В зеркальце отразились полные, словно припухшие губы, а большие глаза незнакомой женщины спрашивали: «Кто это?» Или скорее: «Кто это будет?» Она быстро отложила зеркальце, ей не хотелось никаких вопросов.

Затем она уложила в корзину хлеб, соль, горшочек с вареной фасолью, которую хозяйка приготовила на рассвете, нож, деревянные ложки и вышла на улицу. Ее встретило солнце, добродушное, ласковое сентябрьское солнце. Дорога полого спускалась под уклон. Олина двигалась осторожно, наступая на свою короткую бесформенную тень. Она уже видела поле, где хозяин, хозяйка и две соседские женщины копали картофель. (Хозяин вернулся в первых числах сентября и сказал только: «Разве это война? Одна неразбериха. Неделю там мы на пузе валялись».) Кто-то из женщин поднял голову, и Олина махнула рукой. Она слегка покачнулась, потеряла равновесие на неровной дороге и вдруг упала. В первый момент она совсем не испугалась, ей только было жаль, что перевернулась корзина с едой: густая фасолевая похлебка медленно растекалась по дороге. Потом Олина хотела встать и не смогла, и тогда уже действительно испугалась, а вместе с испугом пришла первая схватка — свирепый, яростный приступ боли. Она закричала, услышала, но не узнала своего голоса. Это был звериный вопль, не имеющий ничего общего с человеческим и тем более с ее собственным голосом. Она все еще не понимала, что с ней происходит, только чувствовала боль, оглушающий приступ боли;

боль заставила ее закрыть глаза и снова широко раскрыть их. В короткий миг она увидела, как женщины с картофельного поля бегут к ней. Они бежали, пригнувшись, и ей показалось, что это собаки. «Какие огромные темные собаки,— подумала она.— И бегут, куда же они бегут?»

Хозяйка, хотя и была старше всех, добежала первой. Она не всплеснула руками, не запричитала.

— Поднимите ее,— сказала она женщинам, а сама бросилась домой приготовить все необходимое.

Олина снова закричала.

— Кричи, кричи,— посоветовала одна из женщин постарше,— покричи вволю.

— Тяжелая какая,— удивилась третья, совсем еще молоденькая девушка.

— Как же ей не быть тяжелой! — прикрикнула на нее мать.— Ведь она на сносях.

Когда Олина была уже в постели и боль немного отпустила, она увидела над собой внимательные серые глаза хозяйки.

— Я не умру? — спросила она жалобно, пытаясь улыбнуться, словно желала этой улыбкой извиниться перед хозяйкой за свой страх.

— Эх, милая,— сказала хозяйка.— Да разве ты первая рожает?

В движениях и в голосе хозяйки было спокойствие и та уверенность, которая дается лишь большим жизненным опытом, вернее, большими страданиями. Хозяйка стояла у постели выпрямившись, серьезная, уверенная в себе, мужественная. И Олина с облегчением вздохнула: она ей верила. Потом Олина зажмурилась — подкатывала новая волна боли.

8

Августин Шернер подписывал теперь свои стихи псевдонимом Ало Грон; стихи были воинственные, в духе Халупки и Ботто¹, сплошь пестрели сильными, суровыми, стальными словами. Перемену имени и измене-

¹ Халупка Само (1812—1883), Ботто Ян (1829—1881) — словацкие поэты-романтики.

ние стиля Августин Шернер считал делом естественным и исторически неизбежным. Для него в этом не было ни сознательного подражания моде, ни заведомой погони за карьерой — по крайней мере вначале. Скорее, в нем жило стремление быть необходимым, занять свое место в истории и участвовать в ее создании. Было тут и инстинктивное ощущение, что лучше плыть посреди потока, потому что там безопаснее всего. К тому же в его новой склонности к беспощадной прямоте заключалась месть за все братиславские заблуждения и мудрствования. Но прежде всего здесь проявлялся подлинный душевный энтузиазм человека, который легко загорается, потому что испытывает потребность воспламениться.

Августин Шернер внутренне одобрял все происходящее, его увлекала головокружительная смена больших событий. Теперь, когда дело сделано, он был уверен, что так и должно было быть, что всю свою жизнь он только и делал, что готовился к этим грандиозным событиям. Он уверовал в это с легкостью, шутя, не пытаясь разобраться в своем энтузиазме, разжигая себя собственными словами и жестами, ибо слово и жест были для него самой реальной действительностью. Он призывал: «Вперед, на штурм!» И чувствовал, как вздымается гигантская волна, как она пенится, грохочет, бурлит, шипит, бьет. У него была артистическая способность воспринимать слово и жест, воспринять и пережить. Так часто бывает у ораторов и поэтов. И он, задумываясь, верил своим словам и жестам. Слова и жесты менялись, но вера в них оставалась постоянной и неизменной.

Сначала он публиковал свои стихи в журнале, печатавшемся на гектографе, в районном городе, где одно время он работал в аптеке. Он даже собственноручно нарисовал титульный лист журнала: солдата со штыком наперевес, неустрашимо бросающегося на колючую проволоку. Лучше всего вышла колючая проволока. Солдат получился какой-то кривобокий, ноги у него были коротковаты, а туловище слишком длинное. Но кто на это станет обращать внимание? В такие дни подобные мелочи никого не занимают; не то что их не видят — их, конечно, видят, но просто не придают им значения. Мелочи, характерный узор из мелочей мы воспринимаем уже задним числом; и так, вспоминая их, мы воскрешаем в

памяти не только картину больших событий, но и те чувства, которые у нас с ними связаны.

Августин Шернер жил среди мелочей, занимался мелочами: делал оттиски на гектографе, ровнял листы в стопках, разносил их, продавал. Но все эти мелкие заботы не были изолированы одна от другой, он воспринимал их не как отдельные процессы, а как единое проявление чего-то большого и безмерно важного. Он писал стихи в помещении пыльного городского архива, где выпускалась их газета. Писал он, облокотившись на перила мостика через маленькую речушку на площади, писал, расстелив бумагу на колене, на стене дома; писал карандашом, ручкой, мелом, на машинке; писал утром, едва открыв глаза, писал ночью у открытого окна, сквозь которое доносилась еле слышная переключка часовых. Он был переполнен звуками, возникавшими по большей части в одном ритмическом строе. Это были все новые и новые звуки в одном ритме — воинственном, зажигательном, кричащем.

Несколько его стихотворений напечатала центральная газета в Банско-Бистрице. Тогда ему показалось, что он напрасно прозябает в маленьком городке и потому, возможно, и не войдет в историю, во всяком случае, не займет в ней должного места. Он не мог больше быть там, стремясь быть в центре событий. Но он все же пока колебался: ему жаль было оставить газету, свое детище, дело своих рук, ума, вдохновения. Он понимал, что там будет лишь одним из многих; здесь же, в маленьком городишке, он был единственным и неповторимым. Но случай, который в обычное время показался бы ему странным — а что теперь казалось странным? — помог ему принять решение.

Однажды он стоял на площади, облокотившись на перила мостика, как обычно в эти дни, переполненный звуками, приходившими к нему длинной вереницей, все новыми и новыми волнами. Перед рестораном остановился грузовик, набитый штатскими — перепуганные лица, осенние пальто, рюкзаки, чемоданчики. Это были арестованные, которых везли в Люпчанский замок. Конвоиры зашли в ресторан, у машины остался лишь коренастый, сутулый пожилой солдат, лениво жмурившийся на солнце. Вдруг Августину Шернеру показалось, что он слышит свое имя. Он подошел к машине; тихий го-

лос позвал его отчетливее. Пробежав взглядом по арестованным, он заметил жест одного из них, явно адресованный ему. Сначала он не узнал человека в охотничьей шапке и куртке, но вдруг вспомнил: это был архитектор Феркодич! (Августин Шернер несколько раз бывал у Валера, племянника Феркодича. Валер представил его архитектору как надежду нации. На длинном лошадином лице Феркодича появилась кислая улыбка, и он произнес несколько вежливых фраз: на этом их знакомство и кончилось.) И вот теперь Августин Шернер снова увидел длинное лошадиное лицо, с которого, словно по волшебству, исчезли вся важность и самомнение: это было лицо ограниченного, испуганного человека. Августин Шернер отвел взгляд, он не хотел иметь ничего общего с бывшим депутатом, не чувствуя себя перед ним ничем обязанным. К тому же его немало рассердила наглая выходка Феркодича, который решился скомпрометировать его в этом городке, где Шернер известен всем и где каждый знает о его заслугах. Шернер смотрел на мелкую рябь быстрой речушки, но краем глаза все же увидел, как архитектор бросил бумажку, скатанную шариком, прямо к его ногам. Этот человек! Чертов оборванец! Бумажный шарик подкатился почти к самым ногам Шернера, но он не шевельнулся, сделав вид, что не замечает бумажки. А этот человек умолял его униженно, гнусаво:

— Пан Шернер!

Августину Шернеру казалось, что Феркодич выкрикнул его имя во весь голос, что вся площадь оцепенела и обратила свои взоры на него, Августина Шернера. Посмотрите, хорош гусь этот Августин Шернер! Взгляните только, какие друзья у него, полюбуйте на его друзей! Но ничего не произошло. Из ресторанчика вышли конвоиры, шофер завел мотор, машина с грохотом пронеслась мимо Августина Шернера, но даже и в этом грохоте он расслышал умоляющий голос:

— Пан Шернер! Прошу вас!

Бумажный шарик остался лежать на месте — Шернер видел его уголком глаза. Он окинул взглядом площадь. Стоял полдень, вокруг было безлюдно. Быстро, как вор, он нагнулся, поднял бумажный шарик и развернул его. На бумажке было написано чернильным карандашом: «Сообщите о моем положении доктору К.

Произошло недоразумение. Я пришел добровольно, хотел помочь. Сообщите ему, что я хотел помочь. С уважением и благодарностью арх. Феркодич». Августин Шернер прочитал записку, видимо заранее приготовленную депутатом Феркодичем на случай встречи с кем-нибудь из знакомых. «Вот как, — сказал себе Августин Шернер, — стало быть, он хотел помочь». А так как дело, увлекшее его, было в его глазах возвышенным и бесспорным, то он склонен был поверить даже архитектору Феркодичу. К тому же здесь было названо имя доктора К., личности, вынырнувшей из глубин подполья и ставшей теперь олицетворением национально-освободительного движения. Представлялась возможность приблизиться к этой личности, попасть наконец-то в самую гущу событий, отличиться, сделать что-то такое, что, может быть, будет иметь подлинно историческое значение.

Он осторожно разгладил бумажку, вложил в записную книжку и решил не мешкая отправиться в Банска-Бистрицу: история ждала его.

Город его не разочаровал: он дышал взволнованно, прерывисто, беспокойно. Будничной жизни здесь не было и в помине, будничная жизнь давно кончилась. Каждый день был нов, неповторим, не походил на прошедшие; и все знали, что таким будет и следующий день. Солдаты и партизаны, часовые, пулеметы, зенитки — все придавало городу облик военного лагеря. По улицам расхаживали солдаты, одетые и вооруженные самым странным и смешным образом, временами, грохоча, проносился грузовик с распеваящими партизанами. По площади прохаживались элегантные слушатели Военной академии, еще более элегантные штабные и интендантские офицеры и самые элегантные из всех — офицеры связи западных держав. Но город был не только военным лагерем, он был к тому же столицей, главной резиденцией новой администрации, центром законодательной и исполнительной власти. Он притягивал всех, кто попадал в сферу его притяжения, был битком набит людьми, искавшими здесь свои старые учреждения (а может, делающими новую карьеру), своих покровителей, наград. Много было и таких, кто прибыл сюда действительно помогать: эти и на самом деле создавали что-то невиданное — новое, небывалое государство.

Августин Шернер целый день бродил по улицам, ды-

шал возбужденной атмосферой города и прислушивался к его голосу, к ритму его жизни, который был гораздо сложнее ритма его, Шернера, стихов. Он встретил немало знакомых и среди них много таких, кто заставил его удивляться: «Как, и этот здесь? Зачем? Как он сюда попал?» Он забыл, что у его знакомых, пожалуй, столько же причин задать подобный вопрос и ему, Августину Шернеру: «А что здесь делаешь ты? По какому праву ты здесь?» Он уже забыл, что в его прошлой жизни и впрямь не было ни достаточных причин, ни мотивов, чтобы теперь оказаться в гуще борьбы. Сейчас он был убежден, что такова судьба не только его самого, но и всего движения, что только по велению судьбы он попал сюда, мог идти по этой площади и нести в себе музыку всех этих волнений и тревог. Он ходил по городу, улыбался, здоровался, привыкая к новому для себя положению певца национального движения. Все это было так торжественно, так волнующе и непривычно, и люди, которых он раньше никогда не видел, и старые знакомые — все казались ему необыкновенно сердечными, милыми и доброжелательными.

Эти сердечность и доброжелательность, еще не успевшие застыть в строгих формах бюрократизма, помогли ему уже на второй день сравнительно легко попасть к той особе, которой он должен был передать записку Феркодица. Он был слегка смущен: дело, из-за которого он пришел, теперь не казалось ему сколько-нибудь значительным. Но особа встретила его демократично, по-братски. Она не была похожа на значительную особу, выглядела довольно буднично, совсем как чиновник высшего ранга, чиновник с твердым положением, с твердыми принципами и с твердой надеждой на крупную пенсию. Особа прочитала записку и слегка наморщила нос.

— Поздновато, пожалуй, а? — изрекла особа.

Августин Шернер не понял. Особа объяснила ему, теперь уже чуть гнусявя, ее братское и демократическое обращение сменилось недовольством.

— Я говорю — поздновато, пожалуй. Этому господину нужно было решать быстрее. Когда история приходит в движение, дорога каждая минута. А теперь уже поздновато. — Особа сунула записку не в дела, лежавшие на столе, а в бумажник. Отсюда Августин Шернер

сделал вывод, что, пожалуй, его миссия не так уж мало-важна и безрезультатна. Затем особа осведомилась:

— А вы знакомы с этим господином?

— Шапочное знакомство, — сказал Августин Шернер, еще не зная, хорошо это для него или плохо. И рассказал, как к нему попала записка.

— Хорошо, что вы пришли с запиской прямо ко мне, — кивнула головой особа. — Это вы хорошо сделали. Как ваше имя?

Августин Шернер назвал себя. «Вот оно, — подумал он, — вот я и попал в самую гущу событий, я чувствую дыхание истории».

— Чем вы занимаетесь? — продолжала свои расспросы особа.

— Я поэт, — отвечивал Августин Шернер.

— Поэт! — сказала особа почти любезно. — Что ж, нам нужны поэты. Но... на какие средства вы живете?

— Я был аптекарем. — Августин Шернер опустил голову, слегка стыдясь такого скромного занятия.

— Аптекарь! — сказала особа уже совсем любезно. — Магистр фармацевтики, не так ли? Аптекарь и к тому же поэт. Такие люди нам нужны! — На лице особы снова появилось братское и демократическое выражение. Особа встала из-за стола, приблизилась к Августину Шернеру и положила руку ему на плечо. Августин Шернер уже твердо знал, что ему положила руку на плечо сама история, что она благословляет его и посвящает в свои рыцари.

— Я пишу под именем Ало Грон, — сказал Августин Шернер.

— Прекрасно. Такие люди нам нужны.

Особа, подойдя вплотную, заглянула Шернеру в глаза. Августин Шернер увидел небольшую бородавку на веке личности, бородавка нервно дергалась.

— А взгляды? — спросила особа. — Каковы ваши взгляды?

— Простите?

— Ну, взгляды. Политические.

— Политикой не занимаюсь, — ответил Августин Шернер, сожалея, что приходится разочаровывать особу.

— Вот как... — сказала особа. Она несколько отстранилась, но руки с плеча Августина Шернера не сняла.

Затем она снова придвинулась вплотную, бородавка на веке несколько раз дернулась. — Но убеждения? Какие-то убеждения у вас ведь есть?

— По убеждениям я демократ, — не задумываясь, ответил Августин Шернер.

Ему казалось, что это так и есть на самом деле, что у него всегда были демократические убеждения, хотя прежде он никогда всерьез не задумывался о подобных вещах; но сейчас он чувствовал, что ответить надо именно так, этого требует от него история, с которой он так близко соприкоснулся.

— Прекрасно, — сказала особа, положив на плечи Августина и вторую руку. — Такие люди нам нужны.

Особа слегка сжала плечи Шернера. Бородавка на веке быстро задергалась. Врата истории широко распахнулись: Августин Шернер входил в историю через парадный ход.

Но странно, теперь, когда все уже было позади, ему захотелось вернуться к своей газете, оттиснутой на гектографе, к мостику, где он слагал свои воинственные, громоподобные стихи. У него было неясное чувство, словно он совершил что-то постыдное, будто чему-то изменил. Но это было лишь минутной слабостью. И он преодолел ее, сказав себе: «Вперед!» Он увидел себя возносящимся вверх, летящим, рассекающим воздух, в центре исторических событий, увидел себя с развевающимися волосами, громовым голосом увлекающего за собой народные массы... Итак, вперед!

Братислава уже не могла закрывать глаза на призрак, нависший над всем миром; призрак навис и над ней, война вдруг стала близкой, невероятно близкой: Ганнибал стоял у ворот. По Братиславскому мосту прошли немецкие танки, а в обратную сторону проехали первые транспорты со словацкими пленными. Границ больше не существовало, великая Германская империя уничтожила эти воображаемые границы. Обманчивая дымка независимости рассеялась и исчезла, ее унес первый же порыв ветра. На берегу Дуная высились почерневшие развалины рафинадного завода — напоминание

судьбы, напоминание о том, что город стал полем битвы. Сирены звучали глуше и тревожнее, в них слышался зловещий голос смерти.

Теперь напрасно жители города прятали головы под перины, стараясь не слышать неистовый рев войны. Она была рядом, пришла сюда, грохотала в воздухе, подползала к городу и по земле. Самые преданные фюреру говорили о секретном оружии — последнем оплоте веры. А дальше уже не было ничего, кроме призрака расплаты и кары. Раненый зверь был еще далеко не добит, он яростно отбивался, бешено кусаясь, не обращая внимания на боль и предчувствие неотвратимого конца. Нахлынула новая волна террора, арестов, допросов. Каждый должен был высказаться за или против: для всех пробил решающий час.

Профессор Копаницкий выпроводил свою жену с двумя детьми на прогулку.

— Марта, — сказал он, — не теряйте времени зря, пользуйтесь последним солнцем.

И вот теперь он остался один в тихой квартире, через открытую дверь была видна спальня, красиво убранные кровати с вышитыми покрывалами, семейные фотографии на стенах. Он ходил по комнате. Под ковром слабо поскрипывал рассохшийся паркет.

— Невыносимо, — вымолвил профессор вслух, — с 'ма можно сойти.

Что делать? И для него пробил час принять великое решение. Ведь профессор знал наперед, что когда-то этот час наступит; он не был настолько наивен, чтобы не знать этого. Копаницкий не был удивлен, но с ужасом чувствовал, что совсем не подготовлен, что он беспомощен перед лицом великих испытаний. Он ненавидел фашизм. Как аристократу духа, ему были противны все эти подонки, вынырнувшие на поверхность. Но больше всего его пугали страдания, допросы, тюрьма, а не смерть. Но третьего пути не было. Нужно было подписать Манифест верности, преклонить колени и поцеловать знамя, оскверненное десятками тысяч убийств, или не подписать, не преклонить колени и отвечать за все последствия.

— Будь же мужчиной, — проговорил вслух профессор Копаницкий, — будь мужчиной!

Он остановился у окна, сквозь прозрачные занавески увидел тихую улицу, спокойно и как-то застенчиво дремлющую под осенним солнцем.

— Будь мужчиной, — повторил он, пристукивая ногой, — будь мужчиной!

Но что значит «быть мужчиной»? Если это значит позволить, чтобы какой-нибудь безмозглый подонок хлестал тебя по лицу, выбивал тебе зубы, если это значит, как он слышал, есть собственные испражнения — тогда глупо быть мужчиной, тогда быть мужчиной — все равно что быть дураком! Нет, таким мужчиной он не хочет и не может быть. Страдать за справедливость! Быть мучеником справедливости! А что, собственно, такое эта справедливость? Всего лишь одно из наиболее скомпрометированных слов, потому что его чаще всего произносили в истории цивилизации. Всего лишь одно из слов, утративших свой смысл. Мученик за справедливое дело! Что за глупость! Ведь это не мученики, а дураки, которые попались на удочку и теперь принимают муки за слово, которое ничего не означает. Нет, он, профессор Копаницкий, не такой дурак.

Но все было не так просто, разумные доводы не убеждали, сомнения не уходили. Быть может, лучше, твердил ему внутренний голос (как давно уже профессор Копаницкий не слышал этот голос, голос своей юности!), быть может, лучше быть глупцом, чем трусом. Быть может, иной раз теряешь нечто большее, чем жизнь, и, может быть, боль и страдания — не самые худшие вещи под солнцем. Профессор Копаницкий удивлялся: что же не дает ему покоя? Не то ли, что обычно называется совестью? Нет, просто наследственное упрямство, случайное сочетание наследственных генов, химическая формула, возникшая независимо от его разума. А ведь разум, дух на то и даны, чтобы подчинять себе чудовищные химические формулы, разрывать оковы физической оболочки. И твой страх, твердил ему внутренний голос, твой страх — разве это не та же химическая формула, физические оковы, разве это не функция простейших инстинктов? И не для того ли тебе дан дух, чтобы подавлять эти простейшие инстинкты?

— Довольно, довольно, — произнес вслух профессор Копаницкий. — Это невыносимо, с ума можно сойти. Что же мне делать?

Он хотел вспомнить слова, с помощью которых иной раз ограждал себя от всего и всех, хотел вспомнить свое великолепное видение гибели, свое циничное безверие. Но слова не приходили, и теперь он понимал — впрочем, он всегда это предчувствовал, — что все его речи о катастрофах, его философия гибели, его цинизм — все это было лишь маской, жестом, дырявым плащом, спасающим лишь в тот момент, когда дождя нет. Легко было высмеивать энтузиазм, веру, убеждения, легко было пугать других, пока ничто не угрожало ему самому, пока все было лишь игрой, психологическими вывертами, ни к чему не обязывающими упражнениями ума. Но теперь, теперь все приняло ясные очертания, суровые разные очертания. Что делать? Профессор остановился у письменного стола, на котором лежал отпечатанный на машинке экземпляр Манифеста верности, со злостью скомкал его, но тут же осторожно расправил. Что делать?

Раздался звонок. Профессор Копаницкий с облегчением вздохнул — пришли друзья.

Они тихо вошли и поздоровались, молча расселись по углам кабинета. Долго никто не заговаривал. Все они собрались ради того же дела, которое так мучило профессора Копаницкого, но никто не хотел начать разговор первым. Люди, которые обычно не давали говорить другим, для которых высокомерие стало второй натурой, теперь, когда пробили час испытаний, потребовавший от них слишком большой ответственности, эти люди оказались слабыми. Редактор Паулинда прихватил с собой бутылку французского коньяка из своих старых запасов. Он нерешительно поставил ее на письменный стол.

— Сейчас выпьем или после?

— После чего? — спросил профессор Копаницкий.

Он слишком хорошо знал, после чего. Но надо же было как-то начать.

— Да, после этого свинства, — сказал поэт Почина, трезвый, грустный и мрачный. Прижимая язык к испорченным передним зубам, он неприятно причмокивал.

— Да перестань же! — одернул его другой поэт, уже вошедший в историю и в хрестоматии. — Перестань чмокать, не действуй мне на нервы!

Поэт Почина зачмокал еще громче.

— Смотрите-ка,— буркнул он, косясь на почтенного поэта.— Действует ему на нервы! А мне не действует? Мне все действует на нервы, все вы действуете. Наливай,— повернулся он затем к редактору Паулинде, указывая подбородком на бутылку коньяка.— Все уже у меня поперек горла стоит.

— Не ссорьтесь,— брезгливо поморщился профессор Копаницкий.— Сейчас не время.

— Так что же? — спросил маститый поэт.

Редактор Паулинда извлек пробку из горлышка. Открывая бутылку, он нагнулся к ней, потянул носом, и лицо его просветлело, смягчилось.

— Аромат... — нараспев произнес он, выкатывая водянистые глаза.— Писали ли вы о чем-нибудь подобном? Воспоминание об аромате — об этом стоит написать.

Профессор Копаницкий вынул рюмки из ящика письменного стола. Паулинда наполнил их коньяком. Почина привстал из глубокого кресла и залпом выпил рюмку. Поэт, вошедший в историю, пил изящно, деликатно, держа рюмку по-женски. Зажмурился, он слегка прищелкнул.

— Урожай девятьсот двенадцатого года,— заявил он.— Так что же будем делать? — осведомился он немного погодя.

— Подпишем или отправимся в кутузку? — сказал редактор Паулинда и торжественно добавил: — *Tertium pop datur*¹.

— Невыносимо,— ужаснулся профессор Копаницкий.

— Что касается меня, то мне, пожалуй, труднее всех,— сказал маститый поэт.— Меня все знают, и поэтому мне хуже всех. Признав мои стихи, они просто прижали меня к стенке.

— Что касается тебя,— со злостью заметил Почина,— то ты известный трус.

Маститый поэт покраснел до корней своих пышных седых волос, но собрался дать Почине достойный ответ. Профессор Копаницкий перебил его.

— Ты не подпишешь? — спросил он Почину.

¹ Третьего не дано (лат.).

— Нет, — ответил Почина и снова зачмокал.

— Подумаешь, геройство, — презрительно сказал маститый поэт. — Ему-то легко быть героем: его подписи никто особенно не требует. Что значит его подпись? Кукиш с маслом!

Он наглядно показал на пальцах, во что ставит поэта Почину, и презрительно прищелкнул.

— Да перестаньте вы! — умоляюще воскликнул профессор Копаницкий. — Оставьте ваши ссоры!

Стало тихо, и в тишине было слышно, как редактор Паулинда снова наливает рюмки.

— Выпьем, — сказал Паулинда. — Выпьем, все равно жизнь теперь не стоит ни гроша.

Они выпили, похвалили коньяк и вспомнили другие марки коньяков, другие развлечения, попойки, другие времена, казавшиеся сейчас такими беззаботными и безоблачными. Но все знали, что придется вернуться к роковому вопросу. Их радость, вызванная воспоминаниями и коньяком, была фальшивой, притворной, и они знали, что она притворна.

Паулинда спросил:

— Ну как? Что ты решил?

Профессор Копаницкий покачал головой:

— Не знаю.

— Мы должны все быть заодно, — сказал Паулинда. — Все должны тянуть за один конец веревки.

Профессор Копаницкий машинально кивнул головой, не поняв толком, о чем говорит Паулинда, в его сознании из слов Паулинды застряло лишь одно — веревка. Да, это та веревка, на которой нам придется повесить свою совесть, честь и убеждения.

Почина перестал чмокать и сказал:

— Не так-то просто с этой веревкой. Веревка одна, а мы держимся за разные ее концы. Одни будут тащить конец, а на другом они повесят остальных — вот как получится с этой веревкой!

— Герой! — сказал маститый поэт. — Кто это тебя собирается вешать? Никто тебя не знает, твоих стихов никто не читал.

Почина, не сказав ни слова, вновь принялся чмокать. Паулинда вертел в руках бутылку, прикидывая, сколько там еще осталось, — коньяк был лишь на самом донышке.

— Нужно решать, — напомнил он. — Бутылка почти пуста.

Профессор Копаницкий снова принялся расхаживать по комнате, остановился у окна, но улица была все такая же спокойная, тихая и сонная. Он схватился пальцами за виски. Что делать?

— Что мы сделаем? — спросил он, обводя взглядом всех по очереди.

Решающий час пробил. Теперь уже никто не мог уклониться от неизвестной ответственности. Молчали все, молчал даже Почина, сейчас было уже не до жестов, надо было принимать окончательное решение со всеми вытекающими из него последствиями. Почина знал, что не отступит, он никогда не отступал перед самыми сумасбродными и случайными решениями. И все же он боялся последствий и какой-то миг кокетничал с мыслью, что он сдастся и подпишет, что все останется прежним, все будет таким же, как вчера, позавчера, неделю назад. Слегка привстав из глубокого кресла, он сказал:

— Я уже говорил вам: лично я не подпишу.

И он снова принялся усердно чмокать.

— Да перестань ты чмокать! От этого просто с ума можно сойти, — снова озлился маститый поэт.

Почина пожал плечами и перестал чмокать. Маститый поэт вставил сигарету в серебряный мундштук, долго прикуривал и наконец выпустил облако дыма.

— Что касается меня, — сказал он нерешительно, — то я, надо полагать, подпишу.

— Подпишешь? — спросил профессор Копаницкий.

— Возможно, то есть, вероятно, подпишу. Мне кажется, духу придется уступить грубой силе материи.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Почина. — Какой гибкий дух!

— Не смейся, — одернул его Паулинда. — Здесь нет ничего смешного. Другого выхода я не вижу.

Стало ясно: маститый поэт и Паулинда заранее сговорились, а если и не сговорились, то заранее твердо решили, что подпишут. Они и сюда пришли с готовым решением и лишь для приличия разыгрывали нерешительность. Профессор Копаницкий раскусил их, и ему стало немного легче; он был все-таки лучше их.

— Значит, подпишешь? — еще раз спросил он маститого поэта.

— Подпишу, — уже сердито повторил почтенный поэт. — А что мне делать?

«Вот, значит, как», — подумал профессор Копаницкий, и ему стало легче дышать, когда он увидел трусость других. Но даже в душе профессор не отважился презирать этих двух, он слишком хорошо понимал, что трусит сам и что он слишком малодушен. «Мужайся, мужайся! — говорил он себе. — Будь мужчиной, хоть раз будь мужчиной! Но что значит быть мужчиной? Что такое мужество? Ведь мужество — лишь одна из самых завуалированных форм страха. Тьфу, — с отвращением думал он, — какой дурацкий афоризм!» Мозг профессора работал словно независимо от воли, рождал сложные аргументы за и против, разбирал их, анализировал и синтезировал, в голове был полный сумбур, а профессор Копаницкий понимал, что это сумбур умышленный, цель его — прикрыть, замаскировать и как-то оправдать решение. «Будь мужчиной, — сказал он себе еще раз, — хоть раз в жизни будь мужчиной!» И тут он понял, что не будет мужчиной, его бросило в дрожь, он увидел себя избитым и окровавленным, представил себе, как рука с черными волосами на запястье тычет его лицом в его собственные испражнения.

— А ты? — спросил Паулинда. — Что сделаешь ты, профессор?

— Я, — сказал профессор Копаницкий, потирая ладонями виски, — что же мне делать? Я тоже подпишу.

Почина громко зачмокал. Поэт, вошедший в историю и в хрестоматию, выпустил большое облако дыма, скрывая за ним легкую, деликатную усмешку.

— Я так и знал, — обрадовался Паулинда. — Я всегда знал, что ты не подведешь хорошую компанию... Выпьем за это, — добавил он и налил в рюмки оставшийся коньяк.

— Да, — сказал Почина, — выпьем за это свинство.

Пан Ульрих, корректный и осторожный пан Винцент Ульрих, бежал вместе с другими по плацу Кухай-

да, бросался на землю по свистку, вставал, снова бежал и снова бросался на землю. Его прежде осторожная бухгалтерская душа внезапно изменилась, словно душа эта засучила рукава, распахнула на груди рубашку и стала воздушной, легкой, парящей. В отряд боевой готовности¹ он вступил еще с прежней душой, вступил из осторожности и расчетливости: близилась всеобщая катастрофа, а во время всеобщих катастроф безопаснее всего находиться среди сильнейших. Друзья уверили его, что отряды боевой готовности будут самыми сильными — они будут тем стальным кулаком, который разобьет любое нападение, все превратит в прах. Пан Ульрих вступил в отряд, стремясь найти защиту от бедствий, которые неотвратимо надвигались; он желал иметь надежный кров над головой в случае непогоды. И тут начались с его душой удивительные перемены. Душа открылась, стала сильной, воинственной, смелой. Пан Ульрих нисколько не удивлялся этой перемене, он принял ее и гордился ею, открыв в ней дотоле беспомощно дремавшие силы. Впрочем, теперь он был уже не пан Ульрих, чиновник из Центрального экономического управления, владелец виллы в Горском парке, — теперь это был скупиник², скупиник отряда боевой готовности, и никто другой.

— Плюньте на все, что было раньше, сказал им надзбройник³ Филип Грахо, адъютант из главного штаба, один из приятелей пана Ульриха. И Винцент Ульрих плюнул на свое прежнее осторожное житье-бытье, плюнул и теперь искренне презирал его: как мог он жить такой ничтожной, жалкой жизнью?

Винцент Ульрих бежал с другими по неровному плацу Кухайда, бросался наземь, заслышав свисток надзбройника Грахо, снова вставал по свистку и опять бросался вперед. Рядом с ним бежал светловолосый парень, он улыбался большим ртом, сверкая здоровыми белыми зубами. Ложась на землю, он каждый раз приговаривал: «Вот здорово! Шикарно!»

Это был Валер Феркодич, племянник бывшего депутата Феркодича и теперешний владелец его виллы и

¹ Фашистские силы самообороны.

² Унтер-офицерское звание в отрядах гарды.

³ Офицерское звание в гарде.

остальной недвижимости. В отряд боевой готовности он вступил, чтобы защищать богатство, так неожиданно свалившееся ему на голову. В середине августа умерла пани Гана. Затем загадочно исчез сам депутат Феркодич. Валер остался в доме один, совсем один в огромной вилле со всеми ее богатствами. Сначала Валер устроил в ней несколько диких попоек. Но однажды заявились два господина и пригрозили забрать виллу для нужд вермахта. Тогда он не мешкая вступил в отряд боевой готовности. Это был веселый малый, в общем недалекий вечный студент и кутила по призванию. Свалившееся богатство казалось ему теперь единственной надежной опорой в жизни. Он решил защищать его, пока хватит сил. Сейчас он бежал вместе с другими — с учениками из крупных торговых домов, которым надоело получать затрещины и которые сами были не прочь их отвешивать, с темными личностями из Подградья, шатавшимися по ночам с ножом в рукаве. Валер бежал, смеясь во весь рот, и каждый раз, падая на землю, говорил: «Вот здорово! Шикарно!»

Потом надзбройник Грахо дал один длинный и один короткий свисток и еще раз длинный и короткий, что означало передышку. Все сели на еще теплую землю, расположились полукругом и начали закусывать недосоленной колбасой и курить. Когда все кончили есть, надзбройник Филип Грахо встал в центре и начал речь:

— Может, из вас и выйдет толк, может, я вас вышколю. Вы должны быть остры, как отточенные ножи, как кинжалы, как бритвы! Забудьте о том, кем вы были, забудьте все, отбросьте жалость, которую выдумали жида. Как сказал наш вождь, все что вредит нации, я уничтожу, разрушу — на то я и гардист. А я добавлю, — сказал надзбройник Филип Грахо, — я добавлю, что я не просто разрушу и уничтожу, но до основания разрушу и уничтожу, вырежу язык у того, кто болтает повсюду о глупых и опасных вещах, выколю глаза, превращу в прах, вырву внутренности и брошу их на свалку. Так я поступаю с каждым изменником, с каждым вшивым жидом, с каждым коммунистом, так я поступаю даже с собственным братом, окажется он виновным. Я поступаю так, потому что это не грех, а мой священный долг, и да поможет мне господь бог!

Надзбройник Филип Грахо, тяжело дыша, стоял среди них — эдакий бравый, рослый, крепкий молодчик. Лицо у него побагровело от напряжения, с минуту он переводил дух, а затем вновь принялся быстро выплевывать отвратительные, чудовищные слова, смердевшие кровью и грязью. Это было богослужение, ритуальный обряд посвященных, и он был их первосвященником, покровителем и богом. Его слушали затаив дыхание; эти слова разрушали все преграды привычного мышления и привычной морали, отделяли слушавших от мира обыкновенных людей, делая их исключительными, посвященными, неприкосновенными и неуязвимыми, избавляя от всех сомнений и обязанностей, возлагая на них лишь одну обязанность — обязанность ненавидеть и уничтожать.

— Теперь не время хитрить и деликатничать, — продолжал надзбройник Филип Грахо, — теперь другое время, время великой битвы, и оно велит нам убивать, чтобы самим не быть убитыми. Мы должны быть остры, как отточенные ножи, как бритвы!

Валер Феркодич шепнул Ульриху:

— Вот здорово! Мы сможем бриться друг другом!

Но Винцент Ульрих посмотрел на него исподлобья и сказал:

— Заткнись, не то донесу!

А пожилой глуховатый возчик со штейновской пивоварни — человек с круглой красной физиономией и волосами ежиком — спросил:

— Что он говорит? Когда выплатят жалованье?

На него цыкнули, и он послушно затих, открыв рот, чтобы лучше слышать, и наморщил лоб, пытаясь уловить слова и их смысл.

А надзбройник Филип Грахо все говорил и говорил, уста его словно изрыгали языки пламени, лижущие слушателей снова и снова, словно волны огненного потока; слушатели его уподоблялись страшной, хорошо замешанной и сформованной массе, которую надзбройник Филип Грахо обжигал теперь в огнедышащей печи, придавая этой массе неслыханную прочность. Он говорил и говорил, выплевывая великие слова — бог, нация, родина, историческая миссия, — и снова плевался отвратительными, пахнущими кровью грязными словами звериного мифа. Винцент Ульрих, бывший корректный

пан Ульрих с бухгалтерской душой, слушал эти слова, упивался ими, купался в этой зажигающей мерзости и чувствовал себя великим, непобедимым, чувствовал себя той разрушительной силой, которая все сносит на своем пути и которую никто не остановит.

— И будь это даже родной брат, — вещал надзбройник Филип Грахо, — я вспорю ему брюхо, выпущу кишки и развешу их на заборе. Пусть все видят, что он сволочь и предатель, что он не словак и не брат мне, а предатель и свинья.

«Как хорошо, — думал Винцент Ульрих, — что у меня нет родного брата, что у меня есть только сводный брат». Это была глупая мысль, и он поспешил ее отогнать. Но мысль вернулась, она была упрямой. Чем меньше касалась она всего окружающего — Филипа Грахо, дружков Винцента Ульриха из отряда и слов надзбройника, — тем прочнее она держалась в голове пана Ульриха и тем упорнее возвращалась. Он взмахнул рукой, словно отгоняя муху, но не прогнал мысль. Это была уже не одна мысль, а целая вереница образов. Внезапно ему пришел на память один давно забытый случай. Он не помнил, чтобы этот случай когда-нибудь возникал в его памяти, а сейчас, в самую неподходящую минуту, это воспоминание всплыло. Он был тогда совсем малышом, лет пяти, играл на островке, который образовала речка за домом лесника. Случилось это летом, небо было высокое и очень ясное, остро пахла льха. Он строил из песка дом, а рядом с домом — целое хозяйство: хлевы, собачью будку, курятник — все, что видел у отца в лесничестве. И вдруг хлынул сильный поток с гор, вода брызгала, пенилась, бушевала и гудела так, что сердце малыша замерло от страха. Винцент стоял на островке, а вода бесновалась в обоих протоках, окружала со всех сторон и поднималась все выше и выше, подступала мутная, разъяренная, грозная. Винцент пятился к середине маленького островка, но вода настигала его, и вот ему уже некуда было отступить. Он стоял, ухватившись за молодую ольху, а вода плескалась уже у его босых ног. Винцент тихо плакал, ему казалось, что из воды вот-вот появятся сказочные чудовища, о которых он слышал, и проглотят его. Тут Винцент увидел своего сводного брата, который был старше его на шесть лет; тот вошел в бурный поток и

погрузился в мутную воду. Вода сначала дошла ему до пояса, потом поднялась еще выше. Она дошла ему до горла и стала относить его, но он боролся упрямо и в конце концов сделал несколько шагов, необходимых для спасения Винцента.

Брат подошел к Винценту, у него были крепко стиснуты зубы, как всегда, когда он очень сердился, но сейчас он совсем не сердился, а посадил маленького Винцента на спину и перенес его на берег. «Ты боялся, Винцулик? — спросил он. — Ты испугался этой воды, да?» И только тогда Винцент громко разревелился, прибежала мать, схватила его на руки и отругала за что-то старшего брата, который приходился ей пасынком.

Винцент Ульрих еще раз махнул рукой, словно отгоняя муху. «Какие глупые мысли, — бранил он себя в душе, — что я выдумываю?» И он попытался вновь сосредоточиться на словах надзбройника Филипа Грахо, но ему не удалось это сделать так легко, как раньше. Что-то беспокоило его, мешало и не думало исчезать, как он ни старался от этого избавиться в такую священную минуту. «У меня потому такие мысли, что я еще недостаточно крепок духом, недостаточно тверд, во мне еще много жалости, и ее нужно искоренить, истребить, вырвать из сердца, чтобы и следа от жалости не осталось». Ульрих злился на самого себя и жадно слушал надзбройника. А надзбройник говорил и говорил. Он давно охрип, но все еще продолжал выплевывать отвратительные, циничные, пахнущие кровью слова. А Винцент Ульрих уже не мог слушать его внимательно. Смутное воспоминание детства не покидало его. Он боялся, что это воспоминание сделает его слабым, наполнит жалостью, и не мог хорошенько сосредоточиться.

— Вы должны быть готовы на все! — кричал надзбройник Филип Грахо. — Готовы на все и ко всему готовы! Вы должны, если потребуется, вырвать из сердца мать, жену, ребенка, вы должны оставить там лишь бога и нацию, вождя и нашу цель!

Надзбройник Филип Грахо вскоре все же закончил речь, вынул свисток и приложил его к губам. Отряд боевой готовности построился, скупиники зашагали во главе скупин, а надзбройник Филип Грахо — во главе

отряда. Так они промаршировали в город. Теперь началось самое главное: с пением они шли по испуганно притихшим улицам; гардисты пели и топали. Их пение и топот эхом отражались от стен домов и гремели впереди них, над ними и сзади. Они пели: «Вперед, ребята, шагом марш, за нашу нацию, за бога». Они пели и марш словацких гардистов: «Мы по рождению словаки». А когда затаили «Кто словак, тот к нам иди», с грозным видом оглядывались по сторонам, косясь на редких прохожих, нерешительно поднимавших руки в знак приветствия. С песнями и топотом проходили они по притихшим улицам. Теперь-то и началось главное. Сейчас они в полной мере ощущали свою силу, ощущали трепетный страх улиц перед их силой, и это было самой сладкой наградой, самым большим вознаграждением.

Во дворе казармы уже стояли другие отряды, надзбройник Филип Грахо отправился доложить о прибытии заместителю начальника главного штаба. Филип Грахо долго не показывался, вместо него во двор вышел другой надзбройник. Это был Лемнитцкий, он командовал всем трем отрядам:

— Смирно, равнение направо!

И когда появился заместитель начальника главного штаба со своей свитой, он приветствовал их кличем «на граж» и, обратившись ко всем, сказал:

— Братья, друзья, завтра — ваш великий день. Сегодня вы отправитесь на исповедь, а завтра дадите присягу. Это будет ваш великий день, который неразлучно свяжет вас с судьбой нации и отчизны. Вы поклянетесь всемогущему богу, что станете его совестью и его карающей рукой. А потом вы пойдете в бой, вы двинетесь на врагов нашей нации и будете получать двойное жалованье, и деяния ваши увенчаются немеркнувшей славой.

Заместитель начальника главного штаба не был таким блестящим оратором, как надзбройник Филип Грахо, это было совсем не то. Слова его не вызывали никакого подъема, никакого воодушевления. Он с трудом подбирал слова, даже потел от напряжения и каждую минуту вытирал тыльной стороной ладони низкий лоб. Надзбройник Филип Грахо, который наконец вышел из казармы, присоединился к группе офицеров за спиной

заместителя начальника штаба. Он очень гордился тем, что умеет говорить гораздо лучше заместителя начальника штаба. Пожалуй, несправедливо, что он всего лишь надзбройник, а это чучело в мундире — заместитель начальника штаба.

— Что-то он сегодня спотыкается, — тихо сказал Филип Грахо надзбройнику Лемнитцкому, стоявшему рядом с ним и безучастно разглядывавшему крыши.

Надзбройник Лемнитцкий лишь пожал плечами, что могло означать согласие, но могло и ничего не означать. И в самом деле, этот жест ничего не означал: рассеянный взгляд Лемнитцкого безучастно скользнул по двору и соседним крышам. Весь этот парад был ему безразличен, он думал о своем. Он давно решил испариться, исчезнуть со сцены. В Швейцарии хранились довольно крупные сбережения, основу которым положило имущество Рёслера. Он уже давно решил, что все происходящее бессмысленно, что секретное оружие — сплошной обман, ловушка для наивных дураков и что нужно незаметно сойти со сцены, стать невидимым, исчезнуть. Но именно это и не получалось — ему не удавалось стать невидимым, он был винтиком в машине, сейчас вновь работавшей на полную силу, а хаос, который помог бы ему исчезнуть, еще не наступил. Всюду был строгий порядок, и Лемнитцкого окружала атмосфера подозрительности. Лемнитцкий никак не мог выскользнуть из машины, приходилось ждать, пока механизм испортится. Он понимал, что нужно ждать. Но это ожидание выводило его из терпения, он страшился непредвиденных событий, которые могли бы помешать его планам.

Заместитель начальника штаба закончил речь. Отряды боевой готовности проревели: «На страж!» — и разошлись.

— Вот здорово! — сказал Валер Феркодич. — Просто шикарно!

Но Винцент Ульрих, шедший рядом с ним, лишь поморщился, ему не хотелось, чтобы ему мешали. Он был очень серьезен и хотел остаться серьезным до тех пор, пока вместе с присягой он не отдаст свою душу, свою совесть всемогущему богу, чтобы избавиться от всего того, что еще мешало ему действовать в духе закона отрядов боевой готовности.

Прочитав в газете о подготовке студенческого съезда в Банска-Бистрице, Марек Угрин уговорил Эму отпустить его из больницы.

— Иди, если хочешь, — отозвалась Эма, — если тебе надоела теплая постель.

Так оно, пожалуй, и было. Окружавший Марека в больнице покой, его новое, полное внимания и любви отношение к вещам и людям — все это не могло заглушить скуку. Там, за оградой больницы, происходило что-то огромное и волнующее. Теперь, когда он не принимал непосредственного участия в событиях, издали они казались ему более значительными и важными. Из тихого, укромного уголка он отчетливо видел историческую и всемирную значимость восстания маленького народа, своего народа, который Марек любил. И он горел желанием очутиться в центре событий.

Плечо по-прежнему было в гипсе, но теперь Марек уже слегка шевелил пальцами: кажется, рука скоро придет в норму. Он немного ослаб после госпиталя и теперь никак не мог привыкнуть к царившему в эти дни в Банска-Бистрице оживлению. У него кружилась голова. Шагая по улице, Марек робко поглядывал на людей, стараясь прочитать в их глазах то, что носил в своем сердце: постоянный тихий восторг, восторг, до краев наполненный любовью и лаской, чувством братства, общей судьбы. Ему казалось, что он находит то, что искал, столь чистым был его восторг и столь мало сомнений испытывал он в те дни.

На одной из улиц его застала воздушная тревога. Кто-то грубо толкнул Марека, он упал и, лежа на земле, пытался отыскать соскочившие очки. Наконец он нашел их и, надев, осмотрелся вокруг: улица точно вымерла, слышался грохот зениток и треск пулеметов. Рев самолетов, почти неслышный до этого, как-то внезапно приблизился. Марек едва успел укрыться в воротах какого-то дома. Яростный гул самолетов усилился, стал оглушительным, и вдруг среди рева моторов раздался взрыв. Трехэтажный дом на противоположной стороне улицы как-то нерешительно покачнулся, зашатался и медленно, словно нехотя, начал крениться к земле, извергая клубы пыли. Во все стороны полетели обломки

кирпича, камня и досок, потом здание медленно осело, на землю с грохотом обрушился фасад. Самолеты ушли, зенитки рявкнули еще несколько раз — и наступила тишина. Над развалинами дома медленно поднимались клубы дыма. Густое облако упорно не рассеивалось, точно стараясь укрыть от нескромных взоров отталкивающую картину разрушения. В тишине, теперь особенно полной и ощутимой, Марек услышал жалобный визг. Он пошел на звук и вскоре наткнулся на черную собачонку, придавленную обломками стены. Собачонка не была породистой, скорее всего, какая-нибудь помесь. В глазах животного застыла мука, казалось, они молили о помощи. Марек принялся разбирать обломки кирпича и штукатурки, и песик, понимая, что человек спешит ему на помощь, перестал отчаянно визжать, заскулил потихоньку, словно всхлипывая от боли. Марек ободрал пальцы, стараясь поскорее откопать собачонку. Почему-то ему казалось очень важным поскорее освободить песика. Он слышал, как за его спиной вновь оживала улица, со всех сторон к разрушенному дому спешили люди. Какая-то женщина причитала, кто-то назвал фамилии выходивших из убежища жителей (убежище находилось как раз под тем домом, где прятался Марек). Люди откликались: «Здесь, здесь...» Потом тот же голос спросил: «Все целы?» Но люди молчали, потрясение было еще слишком сильным. Марек с трудом, одной левой рукой, разгребал обломки: пальцы его уже были в крови. Потом он почувствовал, что кто-то остановился возле него, и послышался испуганный детский голосок:

— Это Бибино, мама, смотри, это Бибино.

— Верно, — отозвался женский голос, — это Бибино. Бедняжка Бибино!

Мальчик присел рядом с Марekom и, вытащив откуда-то корку хлеба, стал совать ее песику в рот, но Бибино продолжал жалобно, тихо скулить.

— Бедняжка Бибино, — повторила мать мальчика и принялась помогать Мареку освобождать песика. Наконец песика освободили, он хотел встать на задние лапы, но из его брюшка вывалились розоватые внутренности. Бибино жалобно взвизгнул, протяжно заскулил, и глаза его потускнели.

— Смотри, Бибино плачет,— сказал мальчик, все еще пытаясь засунуть в рот собаке хлебную корку.

— Не плачь, Бибино,— уговаривал он собачонку,— я больше никогда не буду тебя дергать за хвост, честное слово, никогда.

— Бедняжка Бибино,— проговорила, выпрямляясь, женщина.

— Он умрет? — спросил мальчик у матери.

— Конiec твоему Бибино,— сказала женщина.— Бедный Бибино.

Она взяла мальчика за руку и повела прочь. Мальчик не хотел уходить, тихонько захныкал, а потом расплакался громко, навзрыд.

«Да, Бибино конiec»,— понял и Марек, стоя над собачонкой, и почувствовал вдруг прилив острой жалости. Ему жаль было и мальчика, и эту никудышнюю, неизвестной породы собачонку. Потом, словно чего-то устыдившись, он торопливо зашагал прочь.

«Как глупо,— отчитывал он самого себя,— как глупо расчувствоваться, когда ежедневно умирают тысячи людей. Во мне живет какой-то порок, какая-то слабость, способная вызывать во мне глупые и смешные чувства». Но тысячи умирающих ежедневно на всех фронтах мира казались ему лишь цифрой, безликим арифметическим понятием. А мордочку собачонки он не мог забыть, ее жалобный визг долго еще стоял у Марека в ушах.

Слушая выступления на студенческом съезде, он поймал себя на том, что не перестает думать о собачонке. Бедняжка Бибино! Успокоился ли наконец тот мальчик? Конечно, ведь дети умеют так быстро забывать, детские интересы мимолетны, и их так много! Марек заставил себя слушать: сколько разговоров, сколько разговоров! Одни слова! Причем отнюдь не новые, а старые, знакомые слова, взятые напрокат у старой, буржуазно-демократической республики: идеалы, гуманность, демократия, свобода, честь, совесть, будущее народа. Объявили о выступлении поэта Ало Грона, и Марек показалось, что это Августин Шернер — по-прежнему элегантний, только без усиков. Конечно, это он. Марек сразу узнал его по слащавому тону. Теперь это был поэт Ало Грон. Он читал свои стихи, довольно звучные, но состоявшие из тех же пустых и старых

слов: идеалы, свобода, демократия, возрождение. Внезапно Марек и все в зале насторожились: на сцену вышел высокий человек с крохотной, но хорошо видной всем красной звездочкой¹ на груди. Человек заговорил громким, раскатистым голосом, речь его не блистала ораторским искусством, но отличалась от остальных как небо от земли.

— Все это болтовня! — гремел высокий человек, стуча большим кулаком по трибуне, — одна болтовня! Плевать я хотел, извините за выражение, на такую болтовню. На нее плюют и будут плевать солдаты и партизаны на передовой. Пока вы тут мелете языком, немцы жмут нас со всех сторон. Вот как жмут! — И человек показал крепко сжатый огромный кулак. — Все, кто способен держать в руках винтовку, должен идти на фронт! Пока мы тут болтаем, свобода погибает! — кричал человек.

Это была простая и понятная правда, но присутствующие встретили эту правду без особого восторга, вероятно потому, что она была так ясна и понятна. Марек не мог аплодировать, мешала раненая рука. Вскочив со своего места, он громко закричал:

— Правильно! Верно!

Эти слова необходимо было произнести, во всяком случае, ему казалось, что он хочет сказать именно эти слова. Марек стоя кричал:

— Это так, это правда! — И неожиданно смолк. Все устали на него, и, смущенный всеобщим вниманием, Марек торопливо сел на свое место.

Высокий человек спустился с трибуны, аудитория некоторое время еще беспорядочно гудела, а потом снова начались знакомые речи, посыпались старые слова, и слушатели погрузились в приятную дремоту, в которой не было ничего волнующего.

Когда Марек выходил из зала, кто-то положил ему руку на плечо. Он оглянулся: позади стоял высокий человек с красной звездочкой на груди.

— Моя фамилия Гуня, — буркнул он, протягивая Марку руку.

Марек не мог подать правую, и их руки встретились не сразу.

¹ Значок члена Коммунистической партии Словакии.

— Ах, вот оно что, — сдержанно усмехнулся Гуня. Он постучал пальцем по гипсу.

— Где это тебя?

— Под Маховом, — ответил Марек.

— Вот дерьмо! — вдруг со злостью проговорил Гуня. — Погляди на это дерьмо!

Марек проследил за его взглядом — мимо проходила группа слушателей Военной академии: юнцы в элегантной форме, все на них так и сверкало. Они были вооружены новенькими немецкими автоматами.

— Вот дерьмо! — громко выругался еще раз Гуня, стараясь, чтобы те услышали. — Таскаются по кино да к шлюхам на Урпине! А какое оружие им дали, — скрипнул зубами Гуня, — до чего хороши автоматы!

Мареку Гуня нравился, но ему показалось, что тот слишком все преувеличивает. Он так и сказал Гуне:

— Мне кажется, ты преувеличиваешь. Быть может, они неплохие ребята, просто делают то, что им приказали.

— Пошли они к черту! — махнул рукой Гуня и спросил Марека: — Что же ты будешь делать со своей рукой?

— Не знаю, — отозвался Марек, — через недельку, говорят, заживет.

— А что ты собираешься делать потом?

— Думаю вернуться в свой взвод.

— Иди-ка лучше к нам, — предложил Гуня, — у нас славные ребята.

— Нет, — сказал Марек, — я лучше вернусь в свой взвод.

— Ну, как хочешь, — проговорил Гуня, — по-моему, ты, в общем-то, хороший парень и тебе у нас было бы неплохо.

Марек покраснел, он не привык, чтобы его хвалили.

— Нет, — возразил он, — я лучше вернусь к своим.

— Ну, как знаешь, — сказал Гуня и стиснул руку Марека в своей широченной ладони.

Марек вышел на улицу. Смеркалось, рядом шумел Грон, над городом нависли облака, казавшиеся теперь совсем темными. В тучу уперся первый луч прожектора; на земле внезапно стало еще темнее, порыв ветра принес первые капли дождя.

Мареку нечего было делать — его поезд отходил только через два часа. Присев на скамейку на набережной Грона, он стал следить за игрой прожекторов. Тьма быстро сгущалась, ветер усиливался. Внезапно из темноты вынырнула какая-то фигура, некоторое время постояла, покачиваясь на одном месте: очевидно, человек был пьян. Запрокинув голову, пьяный принялся разглядывать небо, тучи, подпертые столбами света, потом громко икнул. Пошарив руками, он нащупал скамейку и опустился на нее, задев колено Марека. Марек отодвинулся на край скамейки. Пьяный долго чиркал спичками, спички гасли на ветру, наконец одна вспыхнула, он закурил сигарету. При свете спички Марек увидел лицо, которое показалось ему знакомым. Он решился заговорить с пьяным:

— Добрый вечер, пан профессор.

Пьяный, не подозревавший, что рядом с ним кто-то сидит, подскочил от неожиданности. Однако ноги его не слушались, и он тут же плюхнулся на скамейку.

— Что такое? Какая-то чертовщина...

— Теперь Марек окончательно узнал этого человека, рядом действительно сидел профессор Маркех. Марека удивило, что профессор был пьян: в ту пору, когда Марек у него учился, Маркех вообще не пил.

— Это я, пан профессор.

— Какого дьявола! — выругался профессор. — Кто ты... дух или материя?

— Да это я, пан профессор, Угрин. Марек Угрин.

Профессор Маркех коснулся Марека рукой, точно и в самом деле хотел убедиться в его материальности.

— Смотри-ка, — проговорил он изумленно. — И в самом деле Угрин. Самый настоящий Угрин, живой Угрин с угрями. У вас по-прежнему много угрей, Угрин?

— Наверное, уже меньше, пан профессор.

— А что вы здесь делаете, Угрин?

— Жду поезда.

— Это на вас похоже. У вас всегда были такие наивные коровьи глаза: наивные всегда чего-нибудь ожидают.

— Да, — отозвался Марек. — Мы всегда чего-нибудь ждем. Каждый чего-нибудь ждет.

Профессор Маркех курил, покачиваясь на скамейке. Он произносил слова невнятно, как говорят иногда кап-

— Ах, вот оно что,— сдержанно усмехнулся Гуня. Он постучал пальцем по гипсу.

— Где это тебя?

— Под Маховом,— ответил Марек.

— Вот дерьмо! — вдруг со злостью проговорил Гуня. — Погляди на это дерьмо!

Марек проследил за его взглядом — мимо проходила группа слушателей Военной академии: юнцы в элегантной форме, все на них так и сверкало. Они были вооружены новенькими немецкими автоматами.

— Вот дерьмо! — громко выругался еще раз Гуня, стараясь, чтобы те услышали. — Таскаются по кино да к шлюхам на Урпине! А какое оружие им дали, — скрипнул зубами Гуня, — до чего хороши автоматы!

Мареку Гуня нравился, но ему показалось, что тот слишком все преувеличивает. Он так и сказал Гуне:

— Мне кажется, ты преувеличиваешь. Быть может, они неплохие ребята, просто делают то, что им приказали.

— Пошли они к черту! — махнул рукой Гуня и спросил Марека: — Что же ты будешь делать со своей рукой?

— Не знаю, — отозвался Марек, — через недельку, говорят, заживет.

— А что ты собираешься делать потом?

— Думаю вернуться в свой взвод.

— Иди-ка лучше к нам, — предложил Гуня, — у нас славные ребята.

— Нет, — сказал Марек, — я лучше вернусь в свой взвод.

— Ну, как хочешь, — проговорил Гуня, — по-моему, ты, в общем-то, хороший парень и тебе у нас было бы неплохо.

Марек покраснел, он не привык, чтобы его хвалили.

— Нет, — возразил он, — я лучше вернусь к своим.

— Ну, как знаешь, — сказал Гуня и стиснул руку Марека в своей широченной ладони.

Марек вышел на улицу. Смеркалось, рядом шумел Грон, над городом нависли облака, казавшиеся теперь совсем темными. В тучу уперся первый луч прожектора; на земле внезапно стало еще темнее, порыв ветра принес первые капли дождя.

Мареку нечего было делать — его поезд отходил только через два часа. Присев на скамейку на набережной Грона, он стал следить за игрой прожекторов. Тьма быстро сгущалась, ветер усиливался. Внезапно из темноты вынырнула какая-то фигура, некоторое время постояла, покачиваясь на одном месте: очевидно, человек был пьян. Запрокинув голову, пьяный принялся разглядывать небо, тучи, подпертые столбами света, потом громко икнул. Пошарив руками, он нашупал скамейку и опустился на нее, задев колено Марек. Марек отодвинулся на край скамейки. Пьяный долго чиркал спичками, спички гасли на ветру, наконец одна вспыхнула, он закурил сигарету. При свете спички Марек увидел лицо, которое показалось ему знакомым. Он решился заговорить с пьяным:

— Добрый вечер, пан профессор.

Пьяный, не подозревавший, что рядом с ним кто-то сидит, подскочил от неожиданности. Однако ноги его не слушались, и он тут же плюхнулся на скамейку.

— Что такое? Какая-то чертовщина...

Теперь Марек окончательно узнал этого человека, рядом действительно сидел профессор Маркех. Марек удивило, что профессор был пьян: в ту пору, когда Марек у него учился, Маркех вообще не пил.

— Это я, пан профессор.

— Какого дьявола! — выругался профессор. — Кто ты... дух или материя?

— Да это я, пан профессор, Угрин. Марек Угрин.

Профессор Маркех коснулся Марек рукой, точно и в самом деле хотел убедиться в его материальности.

— Смотри-ка, — проговорил он изумленно. — И в самом деле Угрин. Самый настоящий Угрин, живой Угрин с угрями. У вас по-прежнему много угрей, Угрин?

— Наверное, уже меньше, пан профессор.

— А что вы здесь делаете, Угрин?

— Жду поезда.

— Это на вас похоже. У вас всегда были такие наивные коровьи глаза: наивные всегда чего-нибудь ожидают.

— Да, — отозвался Марек. — Мы всегда чего-нибудь ждем. Каждый чего-нибудь ждет.

Профессор Маркех курил, покачиваясь на скамейке. Он произносил слова невнятно, как говорят иногда кап-

ризные дети. Но мысли профессора были абсолютно ясны, будто он совсем не пил.

— Вот как! — проговорил он. — А какой в этом смысл?

— Не знаю, — отозвался Марек. — Возможно, мы ждем потому, что так устроены. Мы не можем жить без будущего, без ожидания его.

Профессор Маркех отшвырнул окурок.

— Впереди ничего нет, — проговорил он, немного помедлив.

— Откуда вы знаете?

— Уверяю вас, невинное дитя, там ничего нет, кроме такого же зловония, такого же убожества и свинства, как и в настоящем.

— Откуда вы знаете, пан профессор?

— А вдруг я это видел? И что же? Я видел ваше будущее собственными глазами. Пережил его и знаю: там ничего нет. Напрасно вы ждете, вы всего лишь один из тех сумасшедших, кто живет пустой надеждой.

— А вы уже ничего не ждете?

— Ничего.

— Это очень печально, пан профессор.

— Черта лысого! Почему печально?

— Без будущего жить нельзя. Всегда нужно чего-нибудь ждать, иначе нельзя жить.

— А что в конце нашего будущего? Не знаете? Знаете, да еще как! Распад ткани. Химический процесс, который можно выразить формулами, — вот где кончается ваше будущее. Это достойно сожаления, но, увы, это так, этим кончаются все ожидания. Маленькая точка в конце короткой фразы, которую вы успели написать. И это все: вы ничего не дождались, и вам уже нечего ждать.

Мареку больше всего хотелось вскочить со скамейки и броситься прочь, уйти от этого человека и от его слов. Это были знакомые ему старые мысли, высказанные теперь профессором Маркехом, они вновь атаковали его. И Марек опасался, что его новое мироощущение не столь сильно, чтобы устоять перед этими мыслями, что к нему вернутся все страдания и сомнения.

— Нет, этого не может быть, пан профессор. Какой же тогда во всем смысл?

— Никакого, — отозвался профессор Маркех.

— Нет, не может быть,— повторил Марек.

— А почему во всем должен быть какой-то смысл? Кто вам сказал, кто вас убедил, что во всем должен быть какой-то смысл?

— Я это знаю,— упрямо проговорил Марек.— Я чувствую.

— А что вы чувствуете? Призвание? Предопределение? А где, в каком органе таится у вас столь драгоценное чувство? В сердце или в почках?

— Я чувствую,— произнес Марек дрожащим от волнения голосом.— И потому это правда. Я знаю, что родился не напрасно, и есть у меня свое призвание, обязанность все видеть и понимать.

— ... и любить человечество,— иронически закончил профессор Маркех.

— Да, и любить человечество,— упрямо повторил Марек.— Любить людей, понимать их и сочувствовать им. Что в этом смешного?

— Смешно и глупо. К тому же, все это пустые слова.

Марек обиженно замолчал. Профессор Маркех вынул новую сигарету, но ветер дул сильнее, и спичка все время гасла. Израсходовав весь коробок, он со злостью отшвырнул его.

— Ах, Угрин,— спустя некоторое время вновь заговорил профессор.— Угрин с угрями, во всем действительно нет никакого смысла. Один лишь страх заставляет нас докапываться до какого-то глубокого смысла, точно так же как прежде заставлял выдумывать богов и загробную жизнь. Это всего-навсего наш страх, Угрин с угрями, а я избавился от страха, отбросил его. Все, что вы тут говорите, я уже сотни раз передумал. Все, что вы переживаете, я уже пережил: в том, что мы живем на свете, нет никакого великого смысла. Есть лишь некоторый смысл, скажем, написать коротенькую фразу — нашу жизнь — отличным стилем. Понимаете, от начала до конца в едином стиле, не изменить ему ни на мгновение, придерживаться его строго и неукоснительно. Это еще чего-то стоит, по крайней мере я думаю, что стоит. А все остальное — сущий вздор, мой милый Угрин, слова, пустые слова, за которыми мы прячем свой страх перед правдой.

Он замолчал. Молчал и Марек. Проекторы погасли, вокруг стояла непроглядная тьма. Порывистый ве-

тер приносил из долины мелкие колючие капли дождя. Оба долго молчали. Потом профессор Маркех сказал:

— Мне по-собачьи грустно.

— Я лучше пойду, пан профессор,— проговорил Марек, поднимаясь со скамейки.

— Бойтесь?

— Чего мне бояться? Просто пора идти.

— Вы боитесь, это подобно искушению в пустыне. Верно? Только вы не Христос, а я не дьявол-искуситель, и вокруг нас не пустыня, но страх тот же самый.

— Я не боюсь,— повторил Марек.— Мне в самом деле пора.

Марек знал, что говорит неправду: он боялся. Быстро поднявшись, он протянул профессору руку. Но профессор Маркех или не заметил ее в темноте, или просто не захотел видеть.

— Бойтесь, Угрин с угрями. Убирайтесь к черту!

— Спокойной ночи,— проговорил Марек, радуясь, что может наконец избавиться от профессора и его опасных слов.— Спокойной ночи, пан профессор.

Но профессор Маркех не ответил. Сделав несколько шагов, Марек оглянулся, но в густой темноте он не увидел ни скамейки, ни профессора Маркеха, словно там вообще никогда ничего не было.

Поезд был битком набит. Марек стоял у окна в коридоре и смотрел, как ветер швыряет в стекло дождевые капли. Марек устал, ослаб, рука под гипсом мучительно чесалась. Думать о том, что он пережил в городе, не хотелось. Он гнал от себя все мысли, потому что сграшился их. И все же он не мог избавиться от ощущения, будто прикоснулся к чему-то нечистому, осквернил себя и в то светлое, чистое, что он с трудом создавал в душе, ворвался мутный поток. Внезапно он вспомнил о собачонке, о розовых внутренностях, о собачьих глазах, полных слез. «Бедняжка Бибино»,— тихо вздохнул он, и его пронзило чувство жалости к самому себе, к профессору Маркеху, ко всем и ко всему.

Солнце не показывалось. Над горами низко нависли облака, в долинах целый день клубился туман. Беспрестанно моросил мелкий дождь, однообразный и уны-

лый. По размокшим дорогам плелись вереницы беженцев, которым нигде было преклонить голову: с каждым днем их становилось все больше, занятая повстанцами территория непрерывно сужалась. Они продолжали сопротивляться, но сейчас уж понимали, что надежды нет. Сознание поражения тяжело отразилось на всех, начиная с высшего командования и кончая последним солдатом. Дисциплина, не успев окрепнуть, снова расшаталась, участились случаи дезертирства, хотя оно и каралось теперь смертной казнью. Вряд ли кто из командиров решился бы в такие минуты отдать приказ о расстреле отчаявшегося солдата, который не верил в победу точно так же, как сам командир. Перевес сил был не двойной, а десятикратный. Остановить наступление немцев было невозможно, оставалось только умереть. Многим повстанцам подобная смерть казалась бессмысленной, они не испытывали особенного желания умирать. Солдаты больше подумывали о возможности побега и о способах скрыться, чем о борьбе с врагом, о наступлении.

Солдатам не говорили о безнадежности положения. Газеты, политкомиссары, пропагандисты старались поддерживать дух войск. Но все повстанцы и так знали, что дела плохи, — подобные вести носятся в воздухе. На передовой стало вдвое тяжелее; но хуже всего было сознание беспомощности, упадок духа, снижение боеспособности. Капитан Лабуда как-то сказал своим артиллеристам:

— Ну что ж, коль нужно умереть — умрем. Разве это страшно?

Артиллеристы знали, что капитан Лабуда их не обманывает, смерть для него вовсе не пустое слово. Но их злили благородство капитана, его смелость, не позволявшая им помышлять о спасении собственной шкуры, о бегстве. Будь все офицеры такие, думали солдаты, может, тогда все повернулось бы иначе и удалось бы кое-что сделать. Но они знали, что таких, как капитан Лабуда, мало и что всякий героизм сейчас жалок и бесполезен.

Руки у капитана Лабуды были теперь развязаны. Павел Йозеф Яник утих, окончательно забросив участок Лабуды. Он все еще красовался в своей легионерской форме с длинным рядом орденов, но знал, что в неда-

леком будущем ему придется снять ее. Это наполняло его и горечью и страхом. Капитан Лабуда и так не подчинился бы его приказаниям; после удачной контратаки на Махово газеты писали о капитане как об энергичном и смелом командире, как о человеке железной воли. Капитан воспринял это как награду, которая заставила себя долго ждать, как окончательное признание его самого и его командирских способностей. После того их трижды выбивали из Махова и трижды они брали его обратно. От деревни остались лишь развалины, среди которых торчали низкие печные трубы, а боевая слава капитана Лабуды тем временем ширилась и росла. У солдат он заслужил авторитет народных командиров, которые не гнушаются есть с подчиненными из одного котелка, пить с ними и вместе ходить к бабам. Зато такие не боятся и съездить по морде, когда надо. Лабуда пользовался симпатией, он был популярен, солдаты рассказывали о нем много веселых историй, они любили его — «свой парень» — и боялись его гнева. Капитан был убежден, что подобный патриархальный авторитет самый лучший под этим солнцем. Он верил, что солдаты не подведут его в трудную минуту и пойдут за ним в огонь и воду.

Но в последнее время капитан начал в этом сомневаться. Он видел, что солдаты при встрече с ним опускают глаза, понимал, что они стыдились смотреть ему прямо в лицо. И он не мог ничего поделать с этой болезнью; невидимая и неуловимая, она упорно расползалась по подразделениям. Но капитан Лабуда крепко стиснул зубы, стараясь поспеть всюду. Во время атаки шел впереди, в обороне сам стрелял из орудия, грозил, ругался, раздавал направо и налево оплеухи, а по вечерам пьянствовал вместе с солдатами.

— Уж если подыхать, — сказал он во время одной такой попойки, — так с музыкой.

Он был полон решимости умереть, но хотел умереть со славой. Все вокруг считали его героем, вполне естественно, что он и сам начал считать себя героем. Но взводный Коза как-то при случае сказал ему:

— Не всем расхлебывать эту кашу, капитан.

Капитан Лабуда в ярости раздавил рюмку в руке.

— Вы будете делать то, что я прикажу! — заорал он. — Даже жрать, если я захочу, коровье дерьмо!

Солдаты не решились ему возразить, но простить оскорбления тоже не могли. Выходка капитана не за былась, солдаты начали сторониться своего командира. Они по-прежнему уважали его за смелость, но теперь знали совершенно определенно: капитан хочет не того, чего хотят они, а так как им вовсе не хотелось умирать, они предпочитали подавить в себе любовь к своему командиру. А некоторые, кто не в силах был забыть его оплеух, грубых, оскорбительных слов, в душе возненавидели капитана. Однажды темным вечером, когда Лабуда проверял посты, где-то совсем близко раздался выстрел, и пуля пропела над самым ухом капитана. Он не сразу догадался, что стреляли в него. Поняв это, он не испугался, но был глубоко удивлен и пришел в ярость.

— Подлец! — кричал он в темноту ночи. — Где этот подлец? — Он зашагал прямо в ту сторону, откуда стреляли, и все кричал: — Где этот подлец? Я повешу его за уши, оскоплю, чтобы его поганое семя не расплодилось по свету!

Тьма раздвигалась перед ним и тотчас смыкалась за спиной, тихо шелестел дождь, большими каплями стекая с деревьев. Капитан так никого и не нашел. В ту ночь он не лег спать. Сидя в командирском блиндаже, он пил чистый спирт, разбавленный дождевой водой. Пил и в ярости сыпал проклятиями. Но вдруг им овладела слабость: он понял, что это конец его власти над солдатами, какая-то таинственная, нечистая сила вмешалась в их отношения, что-то оборвалось, и при всей своей силе он совершенно беспомощен против этого. Утром он с хмурым видом обходил расположения взводов. Он всматривался в лица солдат, и ему казалось, что все знают о ночном происшествии и втихомолку издеваются над ним. Он хотел найти подлеца, стрелявшего в него. Капитан был убежден, что под его взглядом непременно выдаст себя едва заметной дрожью в лице или ничтожным жестом. Но Лабуда ничего не добился: со всех сторон на него смотрели одинаковые заросшие и усталые лица, одни — равнодушно, другие — угрюмо и враждебно. Когда капитан вернулся в блиндаж, он понял, почему не смог найти стрелявшего: этой ночью сбежали первые два солдата.

Тогда же в часть вернулся Марек Угрин. Капитан

леком будущем ему придется снять ее. Это наполняло его и горечью и страхом. Капитан Лабуда и так не подчинился бы его приказаниям; после удачной контратаки на Махово газеты писали о капитане как об энергичном и смелом командире, как о человеке железной воли. Капитан воспринял это как награду, которая заставила себя долго ждать, как окончательное признание его самого и его командирских способностей. После того их трижды выбивали из Махова и трижды они брали его обратно. От деревни остались лишь развалины, среди которых торчали низкие печные трубы, а боевая слава капитана Лабуды тем временем ширилась и росла. У солдат он заслужил авторитет народных командиров, которые не гнушаются есть с подчиненными из одного котелка, пить с ними и вместе ходить к бабам. Зато такие не боятся и съездить по морде, когда надо. Лабуда пользовался симпатией, он был популярен, солдаты рассказывали о нем много веселых историй, они любили его — «свой парень» — и боялись его гнева. Капитан был убежден, что подобный патриархальный авторитет самый лучший под этим солнцем. Он верил, что солдаты не подведут его в трудную минуту и пойдут за ним в огонь и воду.

Но в последнее время капитан начал в этом сомневаться. Он видел, что солдаты при встрече с ним опускают глаза, понимал, что они стыдились смотреть ему прямо в лицо. И он не мог ничего поделать с этой болезнью; невидимая и неуловимая, она упорно расползалась по подразделениям. Но капитан Лабуда крепко стиснул зубы, стараясь поспеть всюду. Во время атаки шел впереди, в обороне сам стрелял из орудия, грозил, ругался, раздавал направо и налево оплеухи, а по вечерам пьянствовал вместе с солдатами.

— Уж если подыхать, — сказал он во время одной такой попойки, — так с музыкой.

Он был полон решимости умереть, но хотел умереть со славой. Все вокруг считали его героем, вполне естественно, что он и сам начал считать себя героем. Но взводный Коза как-то при случае сказал ему:

— Не всем расхлебывать эту кашу, капитан.

Капитан Лабуда в ярости раздавил рюмку в руке.

— Вы будете делать то, что я прикажу! — заорал он. — Даже жрать, если я захочу, коровье дерьмо!

Солдаты не решились ему возразить, но простить оскорбления тоже не могли. Выходка капитана не забылась, солдаты начали сторониться своего командира. Они по-прежнему уважали его за смелость, но теперь знали совершенно определенно: капитан хочет не того, чего хотят они, а так как им вовсе не хотелось умирать, они предпочитали подавить в себе любовь к своему командиру. А некоторые, кто не в силах был забыть его оплеух, грубых, оскорбительных слов, в душе возненавидели капитана. Однажды темным вечером, когда Лабуда проверял посты, где-то совсем близко раздался выстрел, и пуля пропела над самым ухом капитана. Он не сразу догадался, что стреляли в него. Поняв это, он не испугался, но был глубоко удивлен и пришел в ярость.

— Подлец! — кричал он в темноту ночи. — Где этот подлец? — Он зашагал прямо в ту сторону, откуда стреляли, и все кричал: — Где этот подлец? Я повешу его за уши, оскоблю, чтобы его поганое семя не расплодилось по свету!

Тьма раздвигалась перед ним и тотчас смыкалась за спиной, тихо шелестел дождь, большими каплями стекая с деревьев. Капитан так никого и не нашел. В ту ночь он не лег спать. Сидя в командирском блиндаже, он пил чистый спирт, разбавленный дождевой водой. Пил и в ярости сыпал проклятиями. Но вдруг им овладела слабость: он понял, что это конец его власти над солдатами, какая-то таинственная, нечистая сила вмешалась в их отношения, что-то оборвалось, и при всей своей силе он совершенно беспомощен против этого. Утром он с хмурым видом обходил расположения взводов. Он всматривался в лица солдат, и ему казалось, что все знают о ночном происшествии и втихомолку издеваются над ним. Он хотел найти подлеца, стрелявшего в него. Капитан был убежден, что под его взглядом непременно выдаст себя едва заметной дрожью в лице или ничтожным жестом. Но Лабуда ничего не добился: со всех сторон на него смотрели одинаковые заросшие и усталые лица, одни — равнодушно, другие — угрюмо и враждебно. Когда капитан вернулся в блиндаж, он понял, почему не смог найти стрелявшего: этой ночью сбежали первые два солдата.

Тогда же в часть вернулся Марек Угрин. Капитан

Лабуда встретил его растерянно и даже с некоторым удивлением.

— Ты здоров? — спросил он. — Рука в порядке?

— В порядке, пан капитан, — ответил Марек, вытянувшись по стойке «смирно».

— Вольно, вольно, — усмехнулся капитан Лабуда, — мы здесь уже отвыкли от таких манер.

Глаза у капитана были красные, руки слегка дрожали. «Много пьет, — мелькнуло в голове у Марека, — почему он так много пьет?» Читая в газетах хвалебные заметки о капитане Лабуде, Марек отчасти завидовал ему, отчасти испытывал чувство гордости: как-никак, это был его старый знакомый и командир. Но сейчас перед ним стоял совсем не тот человек, о котором писали газеты. Перед ним стоял еще не побежденный, но уже предчувствовавший свое поражение, озлобленный и разочарованный человек. Все еще храня в душе настроение любви и сочувствия, понимания и всепрощения, Марек словно впервые в жизни увидел капитана Лабуду не только своими, но и его, капитана, глазами. И Марек понял — или ему показалось, что он понял, — огромную, растрачиваемую впустую силу этого человека, понял, в чем заключается его беда. Мареку казалось, все несчастье в том, что эта огромная сила не может найти себе применение, ей негде развернуться и потому она уходит внутрь, поглощая саму себя. Все это Марек понял, увидев тяжелый, угрюмый взгляд капитана Лабуды, и впервые простил ему все, в чем тот провинился перед Олиной и перед ним, Мареком, — не потому, что следовало простить, простил не умом, а сердцем.

— Садись, — предложил Лабуда. — Чего стоишь?

Марек сел на низкий деревянный чурбак. Капитан пошарил под плащ-палаткой, расстеленной на деревянных нарах, и вытащил бутылку со спиртом:

— Выпьем?

— Немного, — согласился Марек. — Я промок до костей.

Капитан Лабуда протолкнул пальцем пробку внутрь и вытер ладонью горлышко. Потом протянул бутылку Мареку:

— Пей прямо из горлышка. Сервизов не держим.

Марек хлебнул почти не разведенный спирт, обжег

горло и закашлялся. А капитан Лабуда отпил и бровью не повел, только шире открыл глаза да глубоко вздохнул.

— Много пьешь, — заметил Марек.

— Ну и что?

— Тебе нельзя столько. Ты командир и отвечаешь за других.

— Все летит к черту, — угрюмо проговорил капитан.

— Ты не должен так говорить, — возразил Марек.

— Теперь в командирах не нуждаются, — продолжал Лабуда. — Все полетело к черту! — Потом предложил: — Выпьем еще?

— Нет, — отказался Марек. — Зверски крепкий.

— Да, не для младенцев, — усмехнулся Лабуда и приложился еще раз.

Теперь лицо его слегка покраснело, на широком лбу резче обозначились морщины. Светло-каштановые волосы растрепались и словно потускнели. Прищулив один глаз, он вопросительно смотрел на Марек, точно пытался его раскусить, точно решался на что-то. Наконец капитан проговорил неуверенно, тяжело роняя слова:

— Ну, а как Олина? Что с ней?

Марек давно ждал этого вопроса: Лабуда не мог не задать его. И хотя Марек видел сейчас капитана Лабуду слабым и испытывал к нему жалость, стоило капитану произнести имя Олины, как в душе Марек вспыхнула люта я ненависть, ожила старая обида, острое чувство враждебности.

— Не знаю, — проговорил он сухо, отводя глаза.

Капитан Лабуда заметил это. Он снова отхлебнул из бутылки, лицо его покраснело сильнее.

— Чего ты нахохлился? Нечего тебе дуться, — сказал он Мареку.

— Оставим это, капитан.

— Нечего тебе дуться, — повторил капитан с упрямством пьяного. — Что я тебе сделал? Она была мне не нужна, она сама легла в мою постель. Ей было очень интересно, ну я и удовлетворил ее любопытство.

— Ты пьян! — со злостью крикнул Марек.

— Ну и что, если пьян? А ты выслушай меня хорошенько. Кому же мне и рассказать, как не тебе? Ведь ты ее любишь? Верно? Пожалуйста, не строй такой физиономии, меня не испугаешь, я-то никого и ниче-

го не боюсь: ни бога, ни людей. И не уважаю никого, даже тебя. Да и за что мне тебя уважать? Ты ведь как творог, как простокваша: ткнешь пальцем — расползется.

Марек вскочил, чтобы уйти. Но капитан Лабуда схватил его своими длинными руками за плечи и заставил снова сесть. Не совсем еще зажившее плечо заныло. Марек в бессильной злобе заскрипел зубами.

— Перестань, — проговорил он срывающимся голосом. — Перестань. Ты напился и ведешь себя как свинья!

— Гляди-ка! — насмешливо скривил свое выразительное красивое лицо капитан. — Гляди, как эта вошь закопошилась. Если хочешь знать, ты — просто вошь! Да стоит мне захотеть, и я тебя ногтем раздавлю! Все вы поганые вши, расплозились в разные стороны, заглади весь свет. А я — человек! Понятно? Человек!

Капитан Лабуда ударил себя в грудь кулаком и замер, большой, с широко открытыми блестящими глазами, слегка сутулясь в низком блиндаже. Потом в нем вдруг словно что-то погасло, глаза потускнели, подернулись влагой, рот приоткрылся, нижняя челюсть отвисла, он весь обмяк и опустился на нары. Обхватив руками голову, он начал раскачиваться из стороны в сторону и тихо стонать. Потом трясущейся рукой нащупал бутылку и прильнул к горлышку, крепко зажмурив глаза.

— Прости, — проговорил он через некоторое время тихим хриплым голосом. — Это я просто так — бахвалился. Напьюсь и бахвалюсь потом.

Марек не ответил. Перемена была слишком резкой и неожиданной, он не понимал ее.

— Ну иди, — проговорил капитан Лабуда тем же тихим голосом побежденного человека. — Иди и не сердись... Марек.

Марек встал, подошел к капитану и положил ему руку на плечо, он почувствовал, что широкие плечи капитана дрожат мелкой дрожью.

— Тебе не надо бы столько пить, — с сочувствием сказал Марек.

— Ладно, иди уж, — сказал капитан. Потом внезапно, выкатив глаза, заорал: — Ну иди, чего стоишь?! Проваливай к черту, чтоб духу твоего здесь не было!

Марек торопливо вышел из блиндажа.

Взводного Козу он отыскал в подвале разрушенного дома. Подвал был просторный, с устоявшимися запахами гнилой картошки, плесени и человеческого пота. Взводный с солдатами сидел вокруг ящика, заменявшего стол, и играл в карты.

— Ей-богу, он! — воскликнул взводный Коза, узнав Марека. — Ей-богу, профессор!

Он протянул руку вошедшему Мареку, продолжая играть в карты. Спустя некоторое время он повернулся к Мареку и сказал:

— Устраивайся, профессор. Здесь тебе будет лучше, чем у родной мамы. Мы тут как в лоне Авраама, в бога его...

Марек стащил с себя тяжелую намокшую шинель и опустился на солому в углу. Сквозь крохотное незастекленное оконце ветер швырял в подвал капли дождя. На улице было тихо, лишь монотонно шумел дождь. Немцы не беспокоили весь день, быть может, потому что им просто не хотелось что-либо предпринимать в такую скверную погоду. Слышались только возбужденные голоса картежников и удары по ящику. Потом картежники поссорились. Взводный Коза попытался было утихомирить их окриком, но ничего не вышло, и тогда он беспомощно махнул рукой и подошел к Мареку. Присев к нему на солому, взводный попросил сигарету, закурил и с видом знатока с наслаждением затянулся.

— Первый сорт, — одобрительно проговорил он. — Не то что казенные — те плесенью провоняли, черт их возьми! Отсырели, что ли...

Марек ничего не ответил. Наклонившись к нему, взводный поинтересовался:

— Ну, а как там насчет баб? Не растерялся, а? Говорят, в госпиталях это дело простое.

— Не пробовал, не знаю, — отозвался Марек.

Взводный Коза укоризненно покачал головой. С прилипшей к нижней губе сигаретой он нагнулся, заглянул в лицо Марек, точно стараясь отыскать в нем что-то странное и необычное. Потом снова покачал головой:

— Ну и чудак ты профессор. Чего ты сюда явился?

— Куда же мне деваться?

— Воевать? Ты пришел воевать? Нет, братец, тут

много не навоюешь, надо думать, как бы ноги унести. Дело дрянь. А немчуры тьма-тьмущая — шапками закидают.

— А куда же мне деваться? — переспросил Марек.

— Куда хочешь. Только ты, по-моему, дурак, хоть и ученый, а прямо тебе скажу — такой дурак, каких свет не видал. Ну, чего ты не остался в госпитале? Сидел бы себе сейчас в тепле да в свете да девок, что там околачиваются, по мягкому месту похлопывал. А тут теперь много на навоюешь, только бы ноги унести, чтобы в земле не сгнить.

— Да я ведь совсем выздоровел, — возразил Марек. — Как я мог там остаться?

Взводный Коза хлопнул рукой по колену.

— Нет, вы слышите? — обернулся он к солдатам.

Но взводного никто не слушал, картежники все еще спорили.

— Эх, да ты и в самом деле дурак! Разве тебе кто приказывал говорить, что ты здоров? Приказывал? Ну, видишь, не голова у тебя, а кочан капусты. Я, братец, уже пятый год в армии, а такого чудака еще не видел.

— По-моему, это было бы нечестно, — сказал Марек.

— Э, да что с тобой говорить, — презрительно махнул рукой взводный Коза. — Сигареты такие у тебя еще есть?

Марек протянул ему целую пачку.

— Вот и хорошо, — поблагодарил взводный Коза. — Ты, в общем-то, неплохой парень. А все-таки, скажу тебе, лопух первостатейный.

Он вернулся к картежникам и больше к Мареку не поворачивался.

Марек просидел в своем углу до самого вечера. Он немного подремал, а потом очнулся, перекусил и снова заснул. Проснулся он только оттого, что взводный Коза немилосердно тряс его за плечо.

— Что случилось? — пробормотал спросонья Марек.

— Вставай, — приказал взводный Коза, — уходим.

— Куда?

— К чертовой матери! — злобно выругался взводный.

Они покидали Махово, оставив для прикрытия лишь горсточку партизан из отряда Янко Крапа. Никто не

знал, что случилось. Некоторые радовались, предполагая, что их отводят на желанный отдых, что прислали смену. Но смена почему-то не являлась. Взводный Коза, который лучше всех разбирался в обстановке, ибо уже пятый год служил в армии, сказал:

— Опять какое-то свинство!

И все почувствовали, что это так, скорей всего будет именно так, как сказал взводный Коза.

За станцией их ждали грузовики. Капитан Лабуда, невидимый в темноте, сердито покрикивал:

— Ну, шевелись, шевелись! Или у меня сгниете заживо!

Солдаты торопливо влезли в кузова, и едва успели опустить брезент, как машины ринулись вперед. Они понеслись вниз, в долину, на поворотах солдаты падали друг на друга, барабанили шоферу в окно.

— Не гони, чего так гонишь?

Но водитель не сбавлял скорости, машины натужно ревели, разворачиваясь с бешеной скоростью на крутых поворотах.

— Что-то мы больно торопимся...— проворчал какой-то солдат.

— Видно, в самом деле где-то здорово припекло,— отозвался взводный Коза.

— Ох, чует душа, тут нам достанется,— вздохнул кто-то в темноте.

После двухчасовой бешеной гонки машины притормозили. Солдаты подняли брезент, выглянули наружу: какой-то город. Марек высунулся из-под брезента, и ему показалось, что он узнал Прегибы. На улицах было неспокойно, все полно какого-то таинственного движения. Перед районным национальным комитетом выстроилась колонна грузовых и легковых машин, из здания то и дело выскакивали темные фигуры и грузили что-то на машины.

Марек понял: эвакуация. И в ту же минуту он понял и другое: их поспешный отъезд как-то связан с эвакуацией Прегиб. Но откуда тут взялись немцы?

Солдаты вылезли из грузовиков тотчас за рабочим поселком, и капитан Лабуда в двух словах сообщил им то, о чем они уже сами догадывались: немцы прорвали фронт на юге и в первый же день глубоко вклинились на территорию, занятую повстанцами. Подразделению

капитана Лабуды было приказано оборонять южные подступы к Прегибам.

Капитан Лабуда подгонял солдат:

— Скорее, скорее!

Это был его родной край, край его детства. К югу от Прегиб стояла мельница, где он родился. Там все время что-то поблескивало, потом горизонт внезапно вспыхнул. Капитан пристально всматривался вдаль, стараясь угадать, что горит — деревня или мельница. А сердце безошибочно подсказывало: мельница. И чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что горит мельница, мельница его отца и его дедов.

— Скорее, скорее! — охрипшим голосом подгонял капитан солдат. Он бежал впереди подразделения, чувствуя страх в сердце и жажду мести.

Они наткнулись на беженцев. Некоторые торопливо ехали навстречу солдатам на телегах, запряженных лошадьми, другие тащились на волах. Позади всех плелись по колено в грязи женщины, одетые в черное. Капитан Лабуда остановил их, начал расспрашивать о немцах.

— Ох, зря вы туда идете, — вздохнула одна старушка, — за смертью ведь своей идете.

— А много там немцев? — спросил кто-то из солдат.

— Туча несметная, — запричитала старуха, — конца-краю не видно гадам ползучим.

Старуха подошла к капитану Лабуде и схватила его за рукав шинели.

— А ты кто будешь? Командир?

— Командир, мать, — отозвался капитан.

— А ты, сынок, не из наших краев, не с мельницы?

— Ну конечно, с мельницы, — сказал капитан. — Лабуды сын.

— Ой, горе-то какое! — запричитала старуха. — Ведь я тебя сразу признала. Сердцем почуяла, что это ты. Вот, говорю себе, не иначе как Янко с мельницы. В лихую годину ты домой возвращаешься, сынок. Мамаша твоя глаза навек закрыла. На столе лежит. В лихую годину ты домой-то возвращаешься.

— Умерла? — тихо спросил капитан.

— Заснула вечным сном, — плаксиво подхватила старуха, — обрела вечный покой, ей уже ничего не нужно. Мы к вам приходили помолиться над ней. Попрощаться

как положено. А отец твой совсем ослаб, видать, долго не протянет. И тут как застучали в окошки, дескать, немцы идут, спасайтесь, люди добрые. Ну, мы и выскочили в чем были, ничего не успели взять с собой, ни корки хлеба, все оставили им, собакам. Вот гляди, только молитвенники, слово божье и унесли. Она вытащила из-под фартука Псалтырь, подняла его над головой, чтобы все видели.

Капитан Лабуда больше не слушал старуху. У него вдруг перехватило горло.

— Бегом! — крикнул он. — Бегом! — И первый бросился вперед. Солдаты, увлеченные порывом капитана, рванулись за ним, внезапно почувствовав, что есть нечто более важное, чем страх. Они бежали за своим командиром, потому что эти старухи были их матерями, а они — их сыновьями, и дети на телегах были их родные дети, а полосатые, мокнувшие под дождем перины были такие же, как те, на которых они родились и спали. Подбежав к деревне, солдаты слышали топот. Они растянулись в цепь и продолжали бежать. И вдруг столкнулись с солдатами, удиравшими с передовой.

— Застрелю! — загремел капитан Лабуда. — Застрелю на месте!

Капитан Лабуда в эту минуту казался страшнее той опасности, от которой бежали солдаты, и они повернули обратно. На краю деревни загудели моторы немецких вездеходов. Они дали несколько очередей трассирующими пулями, но, встретив ураганный пулеметный огонь, дрогнули, очевидно не ожидая сопротивления. Солдаты вихрем ворвались в деревню. Не раздумывая, они вбегали в дома, где успели расположиться немцы. Застигнув их врасплох — немцы ели, умывались, грабили, — солдаты не щадили никого, пленных не брали.

Немецкие вездеходы в панике покинули деревню. Через час в ней не осталось ни одного живого врага. Капитан Лабуда организовал оборону за околицей в брошенных окопах, потом кинулся к мельнице.

Пожар утихал. Двор был усеян осколками битой черепицы, в воздухе стоял тяжелый запах горелого мяса, очевидно, в хлеву погибли коровы и свиньи. Моросил дождь, и потому с пепелища поднимался гигантский столб едкого дыма. Капитан прошел по грязным черным лужам к тому, что прежде было пристройкой, где жили

его родители. Толстая поперечная балка обгорела, переломилась посередине и рухнула в комнату, увлекая за собой куски штукатурки. На месте жилой комнаты валялись лишь обуглившиеся бревна и кирпичи, от которых валил пар. Вдруг капитан застыл на месте: из-под тлеющего бревна торчал сапог. Он тотчас узнал его: это был отцовский сапог. Лабуда схватил горящее бревно — кожа на ладонях треснула, но он, не обращая внимания на боль, с трудом поднял и отбросил бревно в сторону. Тут капитан увидел и второй сапог и с остервенением принялся разбрасывать горящие балки и кирпичи! Наконец ему удалось вытащить из-под обломков тело отца. Это был обезображенный жалкий труп: голова разможена, кровь смешалась с сажей и пеплом. Подняв отцовский труп, капитан осторожно перенес его через сад под обгоревшими деревьями. На углу за мельницей Лабуда остановился: понял вдруг, что идти больше некуда. Тогда он опустил тело отца на землю, выпрямился и погрозил кулаком небу. С губ его сами собой слетали проклятия, он и не подозревал, что знает столько проклятий, слова рвались из уст сами и устремлялись к небу.

Потом он рухнул на землю и тяжело зарыдал.

13

Партизанский отряд Янко Крапа оборонял Махово третьи сутки. На третий день, ровно в полдень, Янко Крапа ранило осколком разорвавшегося вблизи снаряда. Взрыв оглушил его, осколок засел глубоко в мышцах бедра. Его извлекли на перевязочном пункте на станции. Но стоило Янко подняться, как в глазах у него потемнело, к горлу подступила тошнота. Пришедший попрощаться комиссар Бенде сказал Янко Крапу на своем своеобразном словацком языке:

— А ты полеживай, командир. Что будет, то будет.

Янко Крап, измученный непрекращающейся рвотой, с трудом поднял голову и кивнул комиссару на прощанис. Его перенесли на разбитый бронепоезд, уходивший со станции. Янко сильно ослаб, в голове его беспрерывно гудело, окружавшие предметы виднелись ему сквозь какой-то туман, их пропорции нарушались.

Предметы то разрастались до колоссальных размеров, то вдруг сжимались, исчезая в густом тумане. Потом Янко Крапа сняли с бронепоезда и на какой-то битком набитой станции положили в зале ожидания, где валялись десятки раненых. Янко Крапу чудилось, что он никогда в жизни не видел такого скопления людей. «Как муравейник, только это не муравьи, а люди», — подумалось ему. Огромные люди с огромными ножищами — когда они шагают по залу, все вокруг гремит — топ, топ! — и сотрясается. Потом люди начали отдаляться от него, становиться все меньше и меньше и наконец совсем исчезли. Янко Крап остался совсем один, теперь его окружало лишь непрекращающееся гудение. «Это в голове гудит, — подумал он, — что со мной?» На мгновение к нему вернулась ясность мыслей, он мог подумать о том, что с ним случилось, и об отряде. Что же теперь с ним будет? Комиссар Бенде не очень-то разбирался в военных делах, Алеша — тот понимает что к чему, только не слишком ли он медлителен? Вот для Юло. Голко такое дело было бы по плечу. Но его нет в живых, он погиб, как погибли многие и погибнут еще. Скольким еще придется умереть? И тут в голове у Янко снова глухо зашумело, уже не было сил о чем-нибудь думать.

К вечеру его положили в повозку, крытую брезентом. По брезенту негромко, монотонно барабанил дождь. Обессиленный Янко Крап задремал вначале чутким сном и запомнил, что они где-то останавливались и усатый человек, который его вез, с кем-то сердито переругивался. Потом они снова тронулись, и Янко Крап погрузился в глубокий сон, подобный забытию. Проснувшись, Янко почувствовал себя лучше, шума в голове почти не было, ему хотелось есть. Он приподнялся и увидел на фоне серого неба силуэт возницы, прикрытого от дождя мешком. Повозка медленно тащилась по скверной дороге, уходившей в горы.

— Куда вы меня везете? — спросил Янко Крап и сам удивился, как слаб его голос.

— А черт его знает, — прогудел низким басом усатый возница. — Сказали, в госпиталь, а где он теперь, черт его знает?

— В Прегихах, где же ему быть? — удивился Янко Крап,

— Нынче все полетело вверх тормашками, милый человек, — сказал усатый таким тоном, словно был лично оскорблен тем, что все полетело вверх тормашками. — Ну, верно, был там госпиталь, да только нынче там пустое место. Все увезли, одни голые стены остались.

— Эвакуировали?

— Вот-вот, мил человек, — кивнул усатый, потом повернулся к нему. — Как же вас звать? Вы майор или кто?

Янко Крап назвал себя.

— А вы как, из простых или какой-нибудь там самый главный? — не унимался усатый.

Янко объяснил ему, кто он такой, и усач успокоился.

— А я сразу подумал, что вы какой-нибудь самый главный, потому как мне за вас здорово влетело. «Куда, говорю, на ночь глядя тащиться? И лошади не кормлены, и сена захватил самую малость, потому как мне сказали — до госпиталя и обратно». А они как набросились на меня: «Кулацкая твоя душа, да мы тебе ушиотрежем!» А кто разорался? Сопляк, какой мне во внуки годится. Разве это дело?

Возница сердито щелкнул кнутом. Когда Янко Крап ничего не ответил, он мало-помалу успокоился. Он набил трубку и закурил. При свете спички Янко Крап рассмотрел широкое, скуластое лицо с быстрыми, прищуренными глазами.

— Так как вас кличут-то? Крапом? У нас тоже был один такой, звался Крапом, только он, видать, вам вовсе не сродни. Наш-то был сторожем. Нашего-то Крапа паленка с мостика стянула. Он в тулупе был, потому как весна на дворе стояла и ночью еще подмораживало, ну а зелье проклятое и столкнуло его с мостика-то. А дело было в половодье, вода и потащила его за собой. На другой день только выбросило его на песок, вздулся, что твой барабан. Только он, по всему видать, не сродни вам, потому как вы пан командир, а наш-то всего-навсего сторож.

Повозка, покачиваясь, неторопливо катилась вверх по дороге. Янко рассеянно слушал болтовню старого возницы, постепенно его снова охватила дремота. Как все странно — эта повозка, затерявшаяся в дожде и мраке, усатый возница со своей неторопливой речью —

все было так непохоже на то, что Янко Крап пережил в последние дни, что казалось, принадлежало к какому-то другому миру, повозка, убаюкивающий дождь, горы и старик казались неправдоподобными, точно во сне, но вместе с тем все это было более реальным и устойчивым, чем война и фронт. Закрыв глаза, Янко Крап с трудом пытался уловить смысл старикинской болтовни, которая текла не спеша, плавным потоком, точно дождь или тихая речка.

— ...а я вот что вам скажу, пан командир, и, прошу прощения, чего тут скрывать, скажу прямо: и те и другие — истинные разбойники. Мы-то знаем, что такое солдаты. Стоит человеку оторваться от работы — и он дуреет совсем. Вот так-то, пан командир. Работа — в ней все, а кто от нее оторвется, теряет человеческий облик. А ты мужчина, терпи: телушку заберут — пикнуть не смей, утащат картошку — клади зубы на полку, снимут последнюю рубашку и подштанники — бегай всем на смех по белу свету с голым задом. Вот так-то, пан дорогой. Да вы слушаете?

— Слушаю, слушаю, дядюшка, — с трудом проговорил Янко Крап.

— А разве мы бы сами чего не дали? — помолчав, продолжал усатый. — Да с превеликой радостью. Сами видим, люди терпят муку. Только мне не по душе, когда приходят как разбойники да начинают орать на человека: «Поддай то! Поддай это!» За крестьянина кто заступится? Крестьянин — тот кругом виноват. Ну, скажите, пан дорогой, какой это порядок? Разве все мы не люди, и почему это одним позволено над другими измываться?

Повозка вдруг резко подскочила, и усатый, оборвав свои рассуждения, заорал на лошадей:

— Но-о, черти! Куда прете?

В темноте лошади сбились с дороги. Усатому пришлось слезть с повозки, слышно было, как он ругался, хрипло дыша. Вскоре он вывел коней на дорогу. Усевшись на козлы, возница натянул на себя поплотнее свой промокший мешок и пробурчал:

— Темно, как в могиле. Собственного носа не видно, а тут тащись к черту в пекло.

Янко Крап очнулся от дремоты.

— Куда вы меня все-таки везете? — спросил он.

— Да я вам не сказал разве? В Осадку. Говорят, вроде бы как там теперь будет госпиталь. А как это можно, пан командир, ведь госпиталь-то, он беспрерывно должен быть в городе, в большом каменном доме. А Осадка?.. Там и в помине каменных домов нет, это не только не город, а даже и не деревня — так себе, захудалые домишки стоят. Какой уж тут госпиталь?

— Раз вам так сказали, значит, госпиталь там, — попытался успокоить старика Янко Крап.

— А кто ж его знает? Теперь всюду неразбериха, все вверх дном. И что творится на белом свете? Я ведь тоже не всю жизнь на печке просидел, а на войне был. Только в ту войну был порядок — ейн, цвей, дрей — и все шло как по маслу. А нынче одна неразбериха. Одному подай то, другому это. Один тебе прикажет одно, другой все переиначит. Неразбериха, скажу прямо, какой свет не видывал.

— Верно, — согласился Янко Крап, — неразберихи хватает.

— А как же так, пан командир? Почему? Без порядка-то и на войне не победишь!

— Верно, — снова согласился Янко Крап, — только война войне рознь. Наша — национальная, народная... Усатый с сомнением покачал головой.

— Неужто так? Не слыхал, не доводилось. Вот партии — это верно, были всякие — и национальные, и народные, а чтобы война такая была... Я думаю, что война — она всегда на беду народу. Народ и кровь свою проливает, и обдирают его вдобавок как липку.

— Случается и такое, только в нынешней войне все иначе. Теперь решается все: или мы их, или они нас...

Янко Крап даже приподнялся на локтях, стараясь лучше убедить возницу. И тут же опрокинулся навзничь, охваченный новым приступом слабости и головокружения. «Как я ослаб», — подумал Янко Крап, и ему стало немного жаль себя.

— Ну что ж, может, оно и так, как вы говорите, — вздохнул усатый, но по тону было ясно, что слова Крапа не слишком его убедили. И в самом деле, вскоре он снова спросил:

— Ну а как-нибудь нельзя... примириться?

— Нет, пельзя.

— Да нешто они не люди?

— Были людьми,— с трудом отозвался Янко Крап. В голове снова зашумело, в пустом желудке начались спазмы.— Были, да фашизм их в зверей превратил.

— Это Гитлер, что ли?

— Фашизм, дядя. Не будь фашизма, не было бы и Гитлера.

Но очевидно, вознице не понравилось слово, которое для него не имело смысла. Он немного помолчал, потом задумчиво проговорил:

— Вам, конечно, пан командир, лучше знать. Я человек неученый, но полагаю, что бесприменно всему виной он, собачье отродье: орал, орал, всех с толку сбил, все рехнулись, а теперь уж им не хочется уступить. Вот я и полагаю, не иначе как он, Гитлер, гад паршивый, всему виной.

Янко Крап не ответил, тихо застонав.

Усатый заглянул в темноту повозки под брезент.

— Или болит что?

— Голова,— застонал Янко Крап.— Страшно болит голова.

— Значит, вас в голову ранило? — проговорил с сочувствием возница.— Да, уж коли в голову попадет — плохо дело.

Янко Крап опять не ответил, продолжая стонать; усатый заговорил, словно обращаясь к самому себе:

— И чем я могу вам помочь? Ничем! А ведь хуже нет, коль человек человеку помощи оказать не может. Глядишь, как человек мучается, а помочь ничем не можешь.

Потом он глубоко вздохнул, пристально глядя в темноту, точно отыскивая там что-то, и опять забормотал:

— Беда идет на народ, лютая беда и мор. Плохо нам будет всем, ой, как плохо!

Янко Крап слышал голос возницы, но отдельных слов уже не разбирал. В голове загудело так, что казалось, она раскалывается пополам. Его опять начало тошнить, но пустой желудок только болезненно сжимался. Янко хотел вытереть пот со лба, но не в силах был пошевелить рукой. «Я страшно ослаб», — успел он еще подумать, проваливаясь в кромешную тьму, похуже той, сквозь которую пробиралась одинокая повозка.

Янко очнулся уже утром. Он лежал на высоких периных, сквозь маленькое оконце проникал робкий свет осеннего утра. Янко увидел очаг с глиняной посудой, закопченный потолок. В голове было ясно и пусто — ни одной мысли, ни одного воспоминания, словно все вымело метлой. И только постепенно в памяти возникло все случившееся: как его ранило, как везли в бронепоезде, уса́тый возница.

Тихо скрипнула дверь. Янко сел на кровати и тотчас почувствовал, как к голове прихлынула кровь и снова отвратительно зашумело в ушах. Он снова опрокинулся на подушки. «Видно, я попал в скверную историю», — подумал он с досадой.

— Лежите спокойно! — проговорил с порога строгий девичий голос.

Янко Крап повернул голову на голос. Прислонившись к косяку, в дверях стояла девушка в грязном белом халате. Она выглядела очень утомленной, под глазами темнели большие круги.

— Лежите спокойно, — повторила девушка, подошла к нему, взяла за руку и стала считать пульс.

— Что со мной было? — спросил Янко Крап.

— У вас был шок, — ответила девушка. — И довольно сильный, — добавила она, помолчав.

— А что это значит?

— А что вас интересует?

— Что это значит для меня? Сколько мне еще лежать?

— Это зависит от вас, — отозвалась девушка. — Неделью, может быть, и две. Осложнение с ногой. И какие коновалы вас перевязывали? Один осколок вынули, а десять оставили! Рана воспалилась и теперь непременно загноится.

— Нет, это невозможно! — негодуяше прошепелявил Янко Крап.

— Что именно? — строго спросила девушка.

— Невозможно. Я не имею права целую неделю, а тем более две валяться в постели. Просто смешно. Да я и двух дней не могу лежать!

— А придется, — сказала девушка.

— Нет, невозможно! — возмущался, шепелявя, Янко Крап. — Какая глупость! Да вы знаете, что сейчас происходит на фронте?

— Знаю,— равнодушно отозвалась девушка,— там и без вас обойдутся.

— Ошибаетесь — возразил Янко Крап.— Глубоко ошибаетесь! Вы знаете, кто я?

— Конечно, знаю,— по-прежнему безразлично проговорила девушка.— Я вас помню. Ну и что из этого?

— Нет, невозможно,— снова прошепелявил Янко Крап.— Я не могу здесь остаться.

— Лежите спокойно,— строго сказала девушка.— Вы мне мешаете.

Янко Крап замолчал, девушка сосредоточенно считала пульс. Потом поднялась с края постели и устало потянулась.

— Возможно, вам действительно не придется здесь залеживаться,— проговорила она.— Судя по всему, вы недолго пролежите. Но в этом случае я не знаю, что с вами будет и с нами всеми тоже.

— Плохие вести? — спросил Янко Крап.

— Хороших уже давно нет,— равнодушно и устало промолвила девушка.— Уже давно приходят только плохие.

— Вот именно, поэтому мне здесь нельзя долго лежать,— сказал Янко Крап.— Вы должны меня понять!

— Я не бог, а всего лишь врач. Что я могу сделать?

Теперь Янко Крап просил, умолял. Он напоминал Эме о леснике Ульрихе, уверял, что не забыл ее, что благодарен за спасение жизни лесника. Янко говорил, что, если она поможет ему скорее встать на ноги, это сохранит многие жизни.

— Ну, сделайте как-нибудь так, чтобы я мог встать и уйти. Хоть костыли дайте, что ли. Только бы мне встать на ноги.

Девушка пожала плечами.

— Мне все равно,— сказала она, неожиданно покачнувшись и тяжело опустилась на лавку.— Мне уже все равно,— зарыдала девушка, уронив голову на стол.

Янко Крап удивленно поднял голову с подушки.

— Что такое? Что с вами?

Девушка по-прежнему громко рыдала, положив голову на стол, и не отвечала.

Превозмогая слабость, Янко Крап сел на кровати.

— Вот это уж ни к чему, — проговорил он. — Нельзя так распускаться. Именно сейчас все должны держать себя в руках. Вы не имеете права так падать духом.

Девушка подняла голову. По осунувшемуся, измученному лицу еще градом катились слезы, но в глубоко посаженных темных глазах уже сверкали злые огоньки.

— Право?! Никто не имеет права ни приказывать, ни запрещать мне. Я одна вправе распоряжаться собой. И никому нет дела до меня.

Вскочив с лавки, она отвернулась к окну. Потом вытерла слезы, и, когда снова повернулась к Янко, лицо ее было уже спокойнее.

— Простите, — проговорила она, — это все от усталости. — И потом добавила тихо, точно про себя: — Сколько крови — всюду кровь и кровь. И откуда берется столько крови?

Янко Крап, почувствовав слабость, откинулся на подушки. Его почему-то разозлила эта девушка. Он сам с трудом сдерживался, и у него не хватало сил спасать других. А девушка, это он видел, дошла до крайности, в ней остались лишь усталость, безнадежность и взвинченные до предела нервы.

— Вы же врач, — сказал Янко Крап, — вы не должны так распускаться.

— Я всего лишь женщина, — отозвалась она, — и мне страшно.

Она растерянно улыbnулась и вышла из комнаты. Но днем она снова пришла, и они продолжали разговор, начатый утром. Эма чувствовала скрытую силу в этом раненом, беспомощном человеке. Она искала в нем поддержку, точку опоры, потому что уже теряла равновесие на краю глубокой пропасти. Ею овладели не только страх и усталость. Прежние забытые мысли о никчемности жизни снова не давали ей покоя и уже не покидали ее. Вставали старые вопросы, зачем жить, во имя чего? И вновь приходил знакомый ответ: все бессмысленно — жизнь, любовь, смерть. Ни в чем нет смысла.

И вдруг рядом очутился человек, который — так по крайней мере казалось Эме — постиг тайный смысл жизни, и надо было держаться ближе к этому человеку. Эма сразу почувствовала, что для него жизнь имеет свою определенную цель, смысл и точно установленную цену.

Теперь они разговаривали спокойно, с той неожиданной откровенностью, которая нередко без всякой видимой причины возникает между людьми. Они рассказывали друг другу о себе, о своей молодости, с изумлением убеждаясь, что, несмотря на различие внешних обстоятельств их жизни, в них обоих есть что-то общее, и это общее и есть то основное, что позволяет им понимать друг друга.

— Я не думала, что вы поймете меня,— заметила Эма.

— Это потому,— улыбнулся Янко Крап, и шрам на его лице искривился,— что мы оба всего лишь люди.

А потом они долго молчали в им одним понятной тишине, сближавшей их и отделявшей от всего остального мира.

Но в сумерки пришел перепуганный доктор Розенталь и сказал:

— Все кончено. Что делать?

— Что кончено? — спросил Янко Крап.

— Немцы уже под Прегибами. А возможно, и в самих Прегибях.— Доктор Розенталь снял очки и потер красные от бессонницы глаза. Рука, державшая очки, заметно дрожала.

— Тысяча чертей! — негромко выругался Янко Крап, и ему почудилось, что вместе со злостью к нему возвращаются силы.— Значит, это все-таки случилось.

— Это конец,— проговорила Эма.— Потоп. Конец света.

— Что же нам делать? — растерянно пробормотал доктор Розенталь. И нерешительно добавил: — Надо ликвидировать госпиталь.

Янко Крап бросил на доктора Розенталя злой взгляд.

— Нет, это мне не нравится,— решительно отчеканил он.— Что это значит? Что значит ликвидировать госпиталь, доктор Розенталь? Вы хотите сказать, что надо ликвидировать раненых?

— Нет, нет,— запротестовал доктор, и его лицо вспыхнуло.— Честное слово, я думал не об этом.

— Соберите все подводы в деревне,— тоном приказа проговорил Янко Крап.— Надо вывезти раненых в горы. Врачей, медикаменты — все отправить с ними. Понятно?

— Понятно,— покорно откликнулся доктор Розенталь.

— Это конец! — снова сказала Эма. Она оцепенела, устремив безжизненный взгляд в одну точку на стене. — Это конец,— повторила она.

— Нет! — крикнул Янко Крап, но, почувствовав резкую боль в голове, понизил голос: — Нет, Эма, это только отступление.

Но Эма, точно не слыша его, упрямо твердила:

— Это конец, потоп, конец света.

14

Ганке Краповой не удалось уйти от матери, как она надеялась. Старуха слегла, ноги у нее отекали, распухли, как колоды, сердце билось слабо, с перебоями. И хотя дома оставалась Илона, у Ганки просто не хватало духу покинуть мать. Старуха Крапова ничего не говорила, но Ганка видела по ее глазам, как она была рада, когда Ганка подсаживалась к ней. При виде Ганки старые слабые глаза матери наполнялись теплой влагой. Эти глаза точно умоляли: «Побудь со мной до конца. Видишь, уже недолго осталось, не уходи от меня, моя младшенькая, моя желанная». Ганка осталась из жалости и сострадания к матери, но без особой охоты. Каждый день она чего-то ждала, какого-нибудь непредвиденного события, которое изменит ее недостойное, как она полагала, существование. Она стремилась туда, где все было в движении, хотела вновь очутиться в бурлящем водовороте, из которого ее вырвали вопреки ее воле. А здесь лишь тихая, монотонная жизнь — уборка, помои, стирка, глажка и ожидание, ожидание...

Наконец это непредвиденное наступило, но оно оказалось совсем иным, чем ожидала Ганка: ночь, дождь и вой ветра, люди, обезумевшие от страха, слякоть и грязное месиво, разлившаяся река, мутные волны которой несли смятение и хаос.

Мать уложили на телегу, на которой старый Крап обычно возил хворост из лесу, прикрыли периной, а на перину, чтобы та не промокла, набросили ковер. Илона отчаянно чертыхалась. Ганка делала все молча, стиснув зубы. Они выбрались из поселка и с трудом дотащили

телегу до площади. Телега скрипела и вздыхала, катилась вперед с трудом: оси уже давно не смазывались. Добравшись до площади, они застыли от неожиданности.

— Тыфу, — сплюнула Илона, — наказание божье!

На площади скопились машины и повозки, кони и люди. Брызги грязи, крики, потоки брани и проклятий — все смешалось, перепуталось в невообразимой сумятице. Перины, шкафы, кровати, раненные, пьяные, солдаты и чиновники, крестьяне из южных деревень и рабочие из поселка, целые семьи и одинокие старики, потерявшиеся дети, овцы, визжавшие поросята, коровы — все бурлило на площади, как в огромном котле, вопило и хрипело, металось из стороны в сторону, но не трогалось с места.

— Тыфу, — снова плюнула Илона, — сущий ад. — Потом схватила Ганку за плечо: — Ганка, гляди, вон председатель садится в машину. Беги попроси, чтобы захватил с собой мать. Лошадь я, что ли, чтобы тащить ее на себе?

Ганка послушно пробралась через толпу к красной легковой машине, в которую садился Кремпашский, и вежливо попросила его взять с собой мать, но Кремпашский словно не слышал ее. Тогда она схватила его за рукав пальто.

— Я Ганка Крапова, у нас больная мать. Вы разве не знаете Янко Крапа?

Кремпашский обернулся и увидел девушку, державшую его за пальто. Он раздраженно дернул плечом, вырвался, сел в машину, даже не взглянув на Ганку. Ганка забарабанила кулаками по стеклу машины.

— Я же Ганка Крапова, разве вы не знаете Янко Крапа?

Но в эту минуту пробка на площади наконец рассосалась, машина заревела и рванула вперед, окатив Ганку с головы до ног тяжелой липкой грязью.

Девушка вернулась к повозке. Приподняв покрытую ковром голову, мать ошеломленно смотрела на площадь.

— Что тут творится? — спросила она слабым, тоненьким голоском.

— Ничего, мама, ничего, — успокоила ее Ганка, — все будет хорошо, не бойтесь, мама.

— Как бы не так, — грубо оборвала ее Илона. — Уж куда как хорошо! Это дерьмо укатил на машине, а бедный люд пусть себе здесь подышает? Да чтоб вас всех громом разразило, чтоб вам засесть в навозе по самую крышу, чтоб вам задохнуться в этой вонище!

Илона вскочила, яростно грозя кулаками вслед машине Кремпашского.

Наконец весь поток сдвинулся с места. Вереницей потянулись машины, мотоциклы, повозки, запряженные лошадьми и волами, пешеходы, тащившие на себе то, что успели захватить в последнюю минуту. Солдаты-одиночки с винтовками за плечами и небольшие молчаливые группы солдат хмуро месили липкую грязь. Кто-то гнал целое стадо жалобно блеявших овец, проехала повозка, доверху груженная мешками с мукой; мешки, сделанные из плотной бумаги, промокли, и мука сыпалась прямо в грязное месиво. Увидев сыпавшуюся в грязь муку, старая Крапова горько вздохнула:

— Господи, вот жалость, вот жалость! Сколько добра пропадает!

Илона со злостью накинулась на нее:

— А вам-то какое дело, мамаша? Ваше, что ли, добро пропадает?

Но старая Крапова строго проговорила тоненьким голоском:

— Муку мне жалко, доченька. Мука — дар божий!

Ганка пыталась остановить еще несколько повозок, умоляла, просила, но все напрасно. «И почему каждый заботится только о себе? — с горечью думала Ганка. — Как они могут в такую минуту заботиться только о себе?» Слишком юная и не искушенная в жизни, Ганка не знала, что именно в такие минуты толпа сбрасывает с себя все привычное, все лишнее, а лишним в такие минуты для человека становится все, что не является его собственностью, не является для него самым дорогим.

Площадь мгновенно опустела — точно вихрь пронесся. Все сразу стихло, слышался только шум дождя.

Ганка закусила губу.

— А ну, давай! — приказала она Илоне и подняла оглобли.

— Я тебе не лошадь! — грубо сказала Илона. — Не хватает еще тащить телегу!

— Бери оглобли! — закричала Ганка. — Берись или я тебя, ей-богу, пришибу на месте! Убью!

И как ни странно, Илона подчинилась, точно в голосе Ганки прозвучал повелительный голос отца или брата. Она послушно взялась за оглобли и потащила телегу.

Телега дребезжала и скрипела, ноги скользили по липкой грязи. На юге небо вспыхивало от оружейных залпов, грохот приближался, становясь все отчетливее.

На окраине Прегиб они остановились у подножия холма перевести дух. Приподнявшись на локте, старая Крапова произнесла тихим голосом:

— Ну чего вы возитесь со мной? Оставили бы дома, все лучше дома помирать.

— Ну зачем вы так, мама? — проговорила запыхавшаяся Ганка. — Зачем вы говорите о смерти?

— Конечно, — хмуро поддержала мать Илона, — глупо так выматываться, ровно мы лошади. А от них, видно, все равно никуда не уйдешь.

Но Ганка и сама видела, что с телегой им далеко не уйти, и ее порой охватывало чувство бессилия и отчаяния. Но она не привыкла останавливаться на полдороге и неохотно отказывалась от начатого. Брат наказал ей ни в коем случае не попадаться немцам. Она не смела послушаться его. В ней было сильно развито чувство долга, долга высшего порядка — долга перед людьми.

— Пошли, — снова повелительным тоном приказала она Илоне, — надо идти... А ну, давай!

И они потащились дальше, с трудом передвигая ноги, часто останавливаясь, тяжело переводя дух. Мать уже не подавала голоса. Илона при каждой остановке сердито ворчала.

Но Ганка не сдавалась, она упорно противилась не только Илониной злобе, что было легко, но и собственной слабости и отчаянию, что было значительно труднее. Стиснув зубы, наклонившись вперед, она шла и шла, с трудом вытаскивая ноги из липкого месива. Здесь, за городом, дорога была глубоко разрыта колесами повозок и сотнями человеческих ног. Непромокаемый плащ давно уже промок, платье прилипло к спине. «Ну и пусть, ну и пусть, — говорила себе Ганка с детским упрямством, — все равно будем идти. Я докажу, что мы

все равно будем идти». Она и сама не знала, кому это докажет. Просто она чувствовала радость от сознания того, что может упорно оказывать кому-то сопротивление и злиться.

Она еще не успела уйти далеко от города, когда услышала позади себя тяжелый топот множества человеческих ног. Илона оглянулась. Сквозь сетку дождя поблескивали стволы винтовок.

— Солдаты, немцы,— прошептала она,— ну, что я говорила?

Они свернули вместе с телегой в придорожную канаву. Ганка придерживала мать, чтобы та не вывалилась из повозки. Старая Крапова тихо застонала и открыла глаза.

— Что там такое?

— Ничего, мама,— зашептала перепуганная Ганка.— Все будет хорошо, лежите, лежите тихо.

Колонна солдат приближалась: впереди ехал на коне офицер, за ним, тяжело ступая, месили грязь солдаты — молчаливые, темные тени. Потом мимо проехало несколько орудий, в которые были запряжены лошади, и снова потянулась пехота. Один из солдат, закуривая сигарету, замедлил шаг, солдат, шедший сзади, наткнулся на него и громко выругался. Теперь Ганка поняла, что это не немцы, а повстанческая часть.

— Это же наши! — громко сказала она, а Илона, выскочив из канавы, схватила за рукав первого попавшегося парня и громко запричитала:

— Люди добрые, смилуйтесь, помогите нам!

Солдат испуганно шарахнулся в сторону, вырвался из рук Илоны. Но другой — это был взводный Коза — остановился и недружелюбно буркнул:

— Убирайся с дороги! Чего людей пугаешь?

Тут и Ганка выскочила на дорогу и принялась то-ропливо объяснять:

— У нас мать больная, мы бежим от немцев.

Подойдя к Ганке, взводный Коза заглянул ей в лицо. Девушка ему, видно, приглянулась, потому что Коза остановился и спросил:

— На что нам твоя мамаша? Лечить ее? Небось старая да беззубая, какая от нее радость? Вот с тобой... Ей-богу, славное вышло бы лечение!

Он протянул к Ганке руку, сам хорошенько не зная

зачем, но тут не по-женски твердая рука Илоны отшвырнула его в сторону.

— Вот я тебя как тресну! — заорала Илона. — Так тресну, что ты у меня все зубы выплюнешь, все свои тридцать два зуба выплюнешь! Кобель ты паршивый, разбойник! У людей беда, они жизнь свою спасают, — вопила Илона, — а он вон что выдумал? Тут душу спасать надо, а он, подлец, только об одном свинстве и думает! Осатанел, гад подлый!

Вокруг женщин и взводного Козы уже толпились солдаты, все были рады неожиданному происшествию, прервавшему их унылый марш, рады, что могут хоть на минуту остановиться, перевести дух. Им было не до смеха, но они заметно подтянулись, начали закуривать сигареты и отпускать ехидные шуточки в адрес Илоны и взводного Козы. Марек Угрин стоял в толпе, курил, лениво прислушиваясь к бессмысленной перебранке между женщиной и солдатом, оставаясь совершенно безразличным. В этом походе Марек был безразличен ко всему. Все утратило смысл, кроме сигареты, которую он курил, и сна, которого жаждало усталое тело. Все кругом было слишком печально и жестоко, его хрупкая вера не выдержала испытания. Но теперь не было никаких мучительных вопросов, никаких «почему», никаких «для чего», остался лишь грязный, в обтрепанной шинели солдат Марек Угрин, который шагал вместе с остальными, стреляя, ел, спал, ни о чем не думал.

Но неожиданно в одной из женщин Марек узнал Ганку. Пробравшись сквозь толпу, он заслонил собой обеих женщин, словно собираясь защитить их.

— Оставьте их в покое, — резко сказал он солдатам, — как вам не стыдно! Две слабые женщины, и им надо помочь!

Потом повернулся к взводному Козе.

— Это моя знакомая, Ганка Крапова, ей надо помочь.

Взводный Коза пожал плечами.

— Помогай, мне-то что? Только вон та, — он показал на Илону, — ей-богу, не слабая женщина. А может, она и вовсе не баба, а переодетый немец.

Илона собиралась было ему что-то ответить, но подъехавший к солдатам капитан Лабуда оглушительно заорал:

— Банда паршивая, что у вас там?

— Ори, ори, — сказал какой-то солдат, — как бы твое капитанство скоро не кончилось.

Но все-таки солдат сказал это так тихо, что Лабуда не расслышал.

Марек подошел к капитану:

— Это Ганка Крапова, а с ней больная мать. Надо бы им помочь, капитан.

— Крапова? — изумленно переспросил капитан.

— Да, — подтвердил Марек, — она тут, и с ней больная мать.

Капитан Лабуда украдкой покосился в ту сторону, куда показал Марек. Он увидел две женские фигуры и сразу же в одной из них узнал Ганку.

— Положи больную в повозку, — негромко приказал он Мареку. И, обернувшись, рявкнул на солдат: — Встать в строй! Чего уставились как бараны?

Солдаты начали швырять сигареты, сплевывать, огрызаться, но все-таки встали в строй. Слишком силен был еще авторитет капитана Лабуды, по крайней мере в тот момент, когда они были с капитаном лицом к лицу.

Старую Крапову переложили на повозку с ранеными, и колонна снова двинулась вперед.

Марек, шагая за повозкой рядом с Ганкой, не знал, о чем с ней говорить. Ему казалось, что их первая встреча произошла давно. И никак не мог поверить, что с тех пор прошло всего лишь несколько месяцев.

— Мы очень вас испугались, — сказала Ганка, — подумали, что немцы.

— Вам повезло, — отозвался Марек. — Немцы идут за нами по пятам. Мы последние, — проговорил он, и в том, как он это сказал, чувствовался остаток его солдатской гордости. Вскоре он извинился и ушел вперед — догонять товарищей.

Они шли еще два часа. Перед рассветом колонна остановилась у лесопилки под Осадкой.

Когда повозка с ранеными переезжала через мост, Ганку кто-то негромко окликнул. Она остановилась. На мосту, облокотившись о перила, стоял капитан Лабуда. Ганка вздрогнула. Увидев капитана, она вдруг почувствовала себя слабой и беспомощной. Но это продолжалось лишь мгновение. Ганка пересилила себя и хотела идти дальше. Капитан Лабуда крепко схватил ее за руку.

— Не убегайте,— едва слышно проговорил он,— почему вы от меня убегаете? Боитесь меня?

— Нет, не боюсь,— возразила Ганка,— чего мне вас бояться?

Она сказала так, и ей вдруг почудилось, что эти слова, весь этот разговор она уже когда-то слышала, что все уже было и все повторяется до мельчайших подробностей.

— Вам нечего меня бояться,— с грустью проговорил капитан Лабуда.

— А я и не боюсь,— отозвалась Ганка,— просто я вас больше не люблю.

Она почувствовала, как дрогнула рука капитана.

— Правда? Вы уверены?

Ганка и сама не знала, так ли это. И даже очень сомневалась в справедливости своих слов. Но героически кивнула головой:

— Да, я знаю наверняка. Вы такой...

Ганка долго пыталась найти подходящее слово. Ей хотелось отомстить за свое разочарование и вместе с тем не причинить капитану смертельной обиды.

— Какой?

— Такой... нечистый.

— Нечистый?

— Да, нечистый... и ненадежный.

Капитан Лабуда молчал. Все еще не выпуская Ганкину руку, он глядел ей в лицо. На разбурявшемся лице девушки поблескивали серебром дождевые капли, мокрые волосы выбивались из-под платка, и все лицо казалось свежим, юным, дышало особой, непорочной чистотой.

«Она права,— подумал капитан Лабуда,— по сравнению с ней я действительно гнусен, грязен, отмечен нечистой опытностью».

— Что же мне делать? — спросил он с грустью в голосе.

— Исправиться,— строго сказала Ганка.

В другое время капитан Лабуда посмеялся бы над этими словами: они были чересчур наивными. Но сейчас рядом с ним еще шла тень смерти — он только что видел изуродованное тело отца. А рассвет наступал такой чудесный, словно не было у него границ ни в прошлом, ни в будущем, и в нем таилось что-то роковое и

решающее. И капитан понял, что за детской серьезностью в Ганкиных глазах скрывается робкое девичье ожидание.

— Ну хорошо, — серьезно проговорил он, — а потом мне можно будет к вам прийти?

— Да, — согласилась Ганка. — Потом приходите.

Он слегка притянул ее к себе и коснулся губами мокрых ресниц. Веки ее дрогнули, Ганка вся затрепетала, и ее рука в его ладони вдруг ослабла: губы приоткрылись, и Лабуда почувствовал на своем лице ее теплое дыхание, пахнувшее молоком и еще чем-то, и отпустил ее.

— Теперь мы обручены, Ганка, — серьезно сказал он.

Ганка широко открыла глаза.

— Да, я буду вас ждать.

Она снова опустила голову и, помедлив в нерешительности, внезапно выпрямилась и убежала.

Капитан Лабуда все еще стоял на мосту, облокотившись о перила, и смотрел на юг. Над Прегибями взвилась в небо ракета, бледно-красная в голубоватом свете утра. В Прегибях были немцы.

В Лазенце в избе молились. Во главе стола, скрестив пухлые руки, сидел священник и читал вслух молитвы. Хозяйка не сводила с него глаз, он казался ей святым, был для нее якорем спасения, надеждой в час отчаяния, олицетворением строгого и справедливого бога. Священник был человек серьезный. Неизвестно, верил ли он на самом деле, но делал вид, что верит. Он понимал, что этим самым он укрепляет веру в сердцах простых людей, а это для него было важнее всего. С амвона он призывал народ бороться против немцев, противиться телесной и душевной гибели. После этого ему пришлось бежать. И как только священник, страдавший водянкой, бросил свою церковь и свой приход, он стал тяжелым, неповоротливым и робким. Он произносил слова молитвы тихим, глухим голосом, и люди в комнате повторяли за ним:

— Спаси нас, боже предвечный, сохрани паству свою.

Комната была битком набита беженцами. Они сидели на лавках, на полу и тихо повторяли слова молитвы. Только пани Розенталь не молилась. Она молчала, устремив неподвижный взгляд в одну точку, на лице ее горел нездоровый румянец. Сидевшая у нее на коленях маленькая Луиза спросила:

— Мамочка, почему ты не молишься? Все молятся.

А старшая дочь Гизела, примостившаяся у ног матери, добавила:

— Все люди молятся. А почему мы не молимся, мамочка?

— Ну давайте помолимся, — слабым, сдавленным голосом отозвалась пани Розенталь. И, вздохнув, сказала тихо, как бы про себя: — Помолимся, ведь если бог есть, так он один для всех.

Девочки сложили руки, пани Розенталь последовала их примеру, и все трое принялись повторять за священ-

ником слова молитвы. Слова эти будто стремились выманить всемогущего бога из тайного убежища, где он укрылся, и заставить его охранять паству, которая сейчас хотела остаться верной ему.

— Спаси и сохрани паству свою, — читал священник. — Спаси и сохрани нас, бессмертный боже, от всяких напастей и нечестивцев всяких. Не допусти, не допусти! — со страстью произносил священник. — Не допусти! — взывал он к невидимому господу, и всем казалось, что эти слова, возносясь, достигают небес и что всемогущий услышит их.

Олина сидела в передней комнатухе, но не молилась вместе с остальными. Она не верила в молитвы, и ей казалось недостойным в тяжелый час искать спасения в смирении. Она сидела в темной каморке и вглядывалась во мрак, где на постели лежал ее сын. Олина знала, что скоро он проснется. За эти несколько недель она успела узнать о своем сыне все, она знала о нем гораздо больше, чем когда-либо знала об окружающем ее мире. Эта маленькая вселенная — мир ее сына — была безгранично интересна, и Олине казалось, что в ней можно открыть гораздо больше, чем во всем остальном мире. Всякая мелочь становилась здесь важной, а в большом мире всякое важное дело сводилось к словам и понятиям, в конце концов ничего не означавшим. Ну что там могло сравниться с розовым пальчиком ее сына? Мое дитя! Мой сын! То была не просто материнская гордость, а обретенная наконец точка опоры, прочное место на земле, ограниченное, но строго определенное пространство, в котором ей предстояло существовать. Олина никак особенно не готовилась к появлению ребенка и не радовалась ему. Она скорее страшилась этой минуты и всего, что за ней последует. Но теперь, когда у нее был сын, она почувствовала, что судьба ее решена, и это принесло ей облегчение. Ее мир ограничивался теперь комнатой, постелью, пеленками, корытцем, в котором она купала сына. Она охраняла этот мирок, готова была драться за него со всеми, отказалась уступить каморку больному священнику. Нет! Никто не имеет права нарушать покой ее сына, ни у кого на свете нет такого права! Маленький Марек слабо запищал, просыпаясь. (Олина написала Мареку в письме: «Мы крестили его в Осадке и назвали твоим именем, Ты не

будешь сердиться? Я так рада, Марек!» Но письмо она не отправила, так как не знала, с кем и куда его послать.) Олина зажгла свечку, перепеленала ребенка и, сев на постель, стала его кормить. То были минуты радости. Она немного пополнила, выглядела здоровой и свежей, грудь налилась молоком, а сын ее был прожорливым маленьким зверенышем. Никогда раньше Олина не ценила своего здоровья и не радовалась ему так, как в эти минуты, когда отдавала его своему сыну.

Ей казалось, что она прошла сквозь испытание огнем и вышла из него победительницей. Олина чувствовала себя свежей и сильной, полной решимости жить и бороться, потому что жить — значит бороться. Теперь все окружающее стало четким и простым: у нее был сын, она была готова вцепиться в горло кому угодно, чтобы сохранить жизнь сына, не задумываясь, сделала бы это. Олина не спускала глаз с сына, следя, с какой жадностью он сосет, и ласково поглаживала свою грудь. Мысленно Олина произносила слова, которые говорят все матери от сотворения мира: «Ешь, ешь, маленький, ешь досыта! Придет время — и ты станешь большим мужчиной, станешь сильным и здоровым!»

Из комнаты в каморку долетало приглушенное бормотание — там все еще молились.

— А те, — говорил священник, — кто возносил молитвы к всемогущему, должны молиться, веруя от чистого сердца.

И люди, к которым война протянула свою железную кровавую лапу, действительно молились, веруя от чистого сердца. Пани Розенталь тоже шептала молитву чуждой ей религии, в глубине души оправдываясь тем, что в трудную минуту можно испытать и этот неведомый путь к богу толпы. Наконец священник закончил молитву, опустил болезненно опухшее лицо, и все смолкло.

И тут под окном раздались шаги, и кто-то настойчиво забарабанил в дверь. Охваченные во время молитвы лишь чувством страха, все были убеждены, что пришли немцы. В комнате поднялся шум и суматоха. А священник с достоинством встал из-за стола и движением руки успокоил людей.

— Продолжим нашу молитву, — проговорил он глухим, невыразительным голосом.

И вновь принялся читать слова молитвы. «Так шли на смерть первые христиане,— подумал он,— так пойдем на смерть и мы. Пойдем, отбросив страх: молитвы — наша защита перед страхом».

В дверь снова забарабанили, настойчиво, сердито. Священник повысил голос. Олина в своей каморке, загнув щеколду, не дыша, застыла за дверью. Кто это? Почему не открывают?

Наконец из-за двери раздался сердитый голос:

— Мама, это я. Почему вы не открываете?

Услышав голос, словно доносившийся откуда-то издалека, хозяйка подумала, что ее обманывает слух. Сколько раз она слышала этот голос, сколько раз представляла себе, как сын постучится в дверь и произнесет именно эти слова. Она не верила своим ушам, но сердце подсказывало: это он, ее сын! Хозяйка хотела встать, но у нее подкосились ноги.

— Пойди,— обернулась она к мужу, прервав молитву.— Пойди открой. Это же наш сын, Якуб, не иначе!

Хозяин послушно встал и отпер дверь. Молитва стихла. Все с опаской поглядывало в сени. Молодой голос в сенях с досадой проговорил:

— Да что у вас тут творится? Никак не достучусь!

Хозяин что-то ответил, но слов его никто не разобрал. Дверь в комнату распахнулась, и вошел молодой солдат с обветренным лицом. На нем была промокшая шинель и сапоги, грязные снизу доверху. Он удивленно огляделся вокруг, видимо не ожидая увидеть в доме столько народу, потом поздоровался:

— Добрый вам вечер, всему обществу добрый вечер!

— Сыночек! — с трудом вымолвила хозяйка.— Якуб!

Сын подошел к тому месту, где сидела мать. Было видно, что он растроган встречей, но старается скрыть свое волнение. Он поклонился матери и поздоровался с ней:

— Добрый вечер, мама!

Мать схватила его за рукав мокрой шинели, он слегка нагнулся к ней, а она принялась гладить его забрызганные грязью плечи, точно стараясь убедиться в том, что все происходит наяву.

— Живой,— зашептали ее губы,— жив и здоров, мой сыночек.

— Живой, мама,— проговорил солдат, выпрямившись.

Он сбросил с плеч вещевой мешок и сунул его под лавку.

— А мы уж и не чаяли, сыночек... Мы уж и не надеялись тебя увидеть.— У хозяйки дрожал подбородок.

А хозяин укоризненно произнес:

— Что ж ты не дал нам знать? Мог бы открыточку написать или хоть на словах передать, что возвращаешься.

— Не мог, отец,— ответил солдат.— Рад бы, да не удавалось. Как прибыли на фронт, так напрямик из самолета на передовую. А потом не было ни минутки времени. Лупили мы немцев, ох, как мы их лупили! Так славно в наступление пошли — и вот как теперь все кончилось!

— Да не мучай ты его! — вступилась за сына хозяйка.— Чего к нему пристал?

Силы наконец вернулись к ней, она встала с места и принялась хлопотать — собирать для сына все лучшее, что еще оставалось в доме. Якуб снял через голову автомат, положил его на стол рядом с молитвенником священника и стащил с себя промокшую шинель. На мундире блеснули боевые награды, в петлицах красовались знаки различия подпоручика.

— Фью-и! — не удержался хозяин.— Вот это да, орден-то сколько! — Потом подошел поближе, потрогал петлицы и почтительно отступил от сына: — Стало быть... ну, в общем, ты вроде... командира.

— Офицер,— с гордостью отозвался Якуб.— А почему бы и нет?

— Да как же это? — покачал головой хозяин.— Ты ведь не ученый...

— Ничего, в армии выучился,— отозвался Якуб.

— Оно верно,— кивнул хозяин.— Только раньше такого не случалось.

— Не случалось, зато теперь случается. Теперь все иначе, отец. И армия другая, народная.

Хозяин пригладил усы и развел руками:

— Может быть. Времена нынче изменились. А как ты добрался сюда, прилетел?

— С десантом, отец. Я в авиадесантной бригаде.

— Так-так, — с важным видом кивнул головой хозяин, хотя хорошенько не понял, какой такой десант и какая бригада. — Значит, ты теперь человек ученый, командир. Кто бы мог подумать! И чем же мне теперь потчевать тебя, офицера? Вы небось только коньяк пьете?

Хозяйка выложила на стол сало, копченую колбасу, сыр и хлеб.

— Садись, садись, сыночек, поешь на здоровье, — приглашала она сына.

Якуб присел к столу, где тесно, один к одному, сидели беженцы.

— Подвиньтесь, — обратился он к священнику, — не можете, что ли, подвинуться?

Священник поморщился, ему не нравилось, что он уже не в центре внимания, ему не по душе пришелся и Якуб, слишком здоровый, гордый и смелый. Священник опасался, что Якуб может подорвать его теперешнюю власть в доме и что от этого у него, священника, будет еще немало хлопот и неприятностей. С достоинством он встал из-за стола и сел в углу на маленькую табуретку. Остальные беженцы один за другим начали выходить из комнаты, отправляясь спать на сеновал.

— Давайте что есть, — ответил наконец Якуб отцу. — Я и купорос выпью.

Хозяин поставил на стол бутылку с какой-то зеленоватой жидкостью. Затем налил сыну полный стакан, себе — рюмку. Чокнулись. Якуб не моргнув глазом осушил стакан.

— Ого! — изумился хозяин. — Вот это глотка! Скажу тебе, хоть ты и офицер, а глотка у тебя мужичья, сразу видать. Ведь это черт, а не паленка! Я ее гнал из бузины, три раза перегонял, такая крепкая, что и быка с ног свалит. А ты... сразу видать, от доброго корня пошел.

— Ну-ну, расхвастался! — оборвала его хозяйка.

Она не спускала глаз с сына, то и дело потчuya его, резала колбасу на маленькие ломтики и чуть ли не подносила их ко рту сына. Значит, не напрасными оказались ее молитвы, думала она, в душе благодаря господу. Ее муки, ее вечный страх и ожидание были не напрасны. Все ей воздалось сторицей: сын вернулся.

Якуб ел с жадностью и время от времени выпивал с отцом. После четвертого стакана он побагровел, с

лица градом покатился пот. Якуб скинул мундир и растегнул грязную, пропотевшую рубаху.

— Уф,— вздохнул он, окидывая взглядом стол, где еды оставалось еще на троих.— Да вы тут как свиньи в жите.

— Ну и ну,— заморгал хозяин.— Вежливости-то тебя там не научили.

— Это точно,— с усмешкой согласился Якуб.— А ну ее к черту, вежливость!

— Смирение, сыночек, редкий дар, сокровище,— робко проговорила хозяйка.— А гордыня дьявола тешит.

— Чего вы добьетесь своим смирением, мама? Довольно, сыты по горло.

Священник заерзал на своем табурете в углу, собираясь что-то возразить, но, видимо, раздумал.

Подвыпивший хозяин хлопнул сына по плечу:

— Твоя правда, сынок, святая правда. Ведь раньше как бывало — придут и скажут: «Давай помалкивай, мужичок, а мы с тебя три шкуры сдерем». Разве не так? А почему так должно быть? Мы сословие нужное, основное, без нас на свете ничего не будет — ни хлеба, ни войны. Вот кабы мы все как один встали, любой бы призадумался, прежде чем нас трогать.

— Тебе бы кровь пустить! — прикрикнула на него хозяйка.— В тебе дурная кровь бурлит, колдун старый! Встать ему, видите ли, захотелось. Куда тебе становиться? Разве что в коноплю, воробьев пугать?

Якуб засмеялся, обнажив хищный оскал зубов.

— Ну что ж, отец! Вставайте!

Хозяин притих, покосился на жену.

— Да разве с ней сладишь? — проговорил он виновато.— Это же не баба, а черт в юбке.

Хозяин налил еще паленки, но его веселое настроение точно рукой сняло, он нахмурился, потом спросил:

— Что же теперь будет? Отвоевались мы?

У Якуба веселье внезапно улетучилось. Он сразу весь как-то отяжелел. Отодвинув стакан, сжал кулаки.

— Больше не хочешь?

— Нет, не хочу,— глухо отозвался Якуб.

Он тяжело поднялся и уставился на отца пьяными глазами.

— Раздавили нас, отец, понимаете? — Он показал сжатый кулак.— Как орех щипцами раздавили.—

И, ослабев, он рухнул на лавку. Из груди его вырвалось глухое всхлипывание.

— Вот оно как, — вздохнул хозяин. — Видать, слабоваты мы еще против немцев. Ну... а как же теперь будет?

Якуб не ответил. Внезапная усталость охватила его, он тяжело опустил голову на стол.

— Что ты к нему пристал, черт старый?! Ну, что ты к нему пристал? — накинулась хозяйка.

Хозяин покорно замолчал, размышляя. «Пристал? Хотел бы я знать, как это я к нему пристал? Я спросил, как же теперь будет, он же должен знать, коли офицер. Только ныне такие путанные времена наступили, что никто ничего не знает. Ни он, ни я, ни священник — никто ничего не знает. Ох, горе горькое!»

Священник сидел на табуретке и шептал слова молитвы: «Боже, дай нам силы». Он молился за свой народ, который подобен малому дитяти и которому угрожает страшная опасность. Священник молился, чтобы дитя выдержало посланное ему испытание.

2

Капитан Лабуда не желал сдаваться. Как унижительно капитулировать перед этими свинными рылами, этими ненавистными крестоносцами и наемниками, сеющими вокруг себя страх. Именно из-за этого страха капитан Лабуда считал невозможным, унижительным сложить оружие. Он не знал, что надо предпринять в такие минуты, как не знали этого сотни других командиров и тысячи повстанцев. Но капитан твердо решил не терять головы, не складывать оружия и если не одержать победу, то хотя бы найти путь для достойной мести.

Утром, после отступления, он созвал младших и старших офицеров в тесной конторе лесопилки. Пришел юный, неопытный поручик, получивший офицерское звание только год назад. Восстание застало его в Прегибах, где он служил в гарнизоне. Он был легко ранен: осколок содрал ему кожу на правом виске. На голове поручика белела огромная повязка, похожая на тюрбан. Поручик прятал от капитана глаза и упорно

смотрел в землю: он трусил. Пришел надпоручик запаса, полный, с брюшком, внешне спокойный и флегматичный. Но на его широком хмуром лице застыло выражение упрямства, густая щетина на подбородке выглядела вызывающе. Пришел начальник артиллерии, взводный Коза и двое унтер-офицеров. Все были сонные, усталые и злые. Капитан Лабуда пристально всматривался в каждое лицо порознь и во все вместе, пытаясь прочесть мысли этих людей, взвесить их способности.

— Черт вас побери! — с досадой выругался он. — Что вы сидите как на похоронах?

— Кажется, так оно и есть, — отозвался надпоручик.

Капитан Лабуда неприязненно посмотрел на него. Надпоручик не выдержал и отвел глаза.

— Идите побрейтесь, надпоручик, — с язвительной усмешкой приказал ему капитан Лабуда, — у вас щетина, как у дикого кабана. Сначала побрейтесь, а потом уж высказывайте свои соображения.

Надпоручик не двинулся с места, и тогда капитан Лабуда не спеша подошел к нему вплотную и приподнял его со стула за ворот мундира.

— Вы слышали? — проговорил он тихо. — Вы слышали приказ, надпоручик? Через десять минут вы явитесь сюда выбритым! Кругом!

Надпоручик с удивительной легкостью повернулся и отправился бриться.

— А вы? — повернулся Лабуда к остальным.

Опустив головы, офицеры старались спрятать свои заросшие лица.

— Кому охота любоваться вашими заросшими мордами?!

И капитан принялся осыпать своих подчиненных ругательствами, словно в нем что-то прорвалось; он ругался с наслаждением, самой отборной солдатской бранью, и все вдруг почувствовали, что мир нисколько не изменился, никакой паники нет, их окружает старая, хорошо знакомая, привычная атмосфера. Перед ними был командир; им, подчиненным, следовало молчать и повиноваться, держать равнение и шагать в ногу. Все как в старые добрые времена. Это был рапорт, и их отчитывал командир, глаза его сверкали от гнева — и они невольно вставали и вытягивались по стойке «смирно».

— Садитесь, болваны, — сказал капитан Лабуда. — Чего повскакали? Кому вы нужны? И запомните одно, — добавил он затем, — ничего еще не кончилось, все продолжается. Вы еще повоюете, семь потов с вас сойдет, не будь я капитан Лабуда!

Офицеры не возмутились, не возразили ни словом, ни взглядом. Правда, они чувствовали себя немного оскорбленными, но по крайней мере видели выход из общей неразберихи. Повелительный окрик и их послушание — все было старым, давно проверенным и привычным и потому могло быть для них единственной надеждой.

Капитан Лабуда приказал построить подразделение. Он наблюдал в окно, как не спеша собирались дрожащие от утреннего холода солдаты. К мокрым, грязным шинелям пристали солома, лошадиный навоз, опилки, на которых они спали.

— Тьфу! — зло сплюнул капитан Лабуда. — Тоже солдаты! Стадо, а не армия!

Солдаты собирались группками, закуривали и очень неохотно строились повзводно. Юный поручик кричал тонким, скрипучим голосом, поминутно хватаясь за повязку на голове, взводный Коза сыпал ругательствами. Наконец солдаты все-таки построились в промежутке между штабелями бревен и распиленных досок, глухо покашливая и переступая с ноги на ногу. Капитан Лабуда вышел вперед, поручик крикнул тонким голосом: «Смирно! Направо равняйся!», но приказ выполнили только передние ряды, а солдаты, стоявшие сзади, беспрерывно покашливали, переминались с ноги на ногу и продолжали курить. Капитан стоял перед выстроившимся подразделением и не знал, что предпринять. Он чувствовал лишь одно: надо пойти на какой-то решительный шаг, встряхнуть эту хмурую и угрюмую солдатскую массу. Он стоял, заложив руки за спину, и пристально смотрел на солдат, а они на него. Сейчас они были врагами. Капитан вдруг почувствовал это. Почувствовали это и солдаты. Командир стал сейчас их врагом, он намерен был поступить вопреки их воле, вопреки их решению, которое еще не осознали полностью, но которое уже зрело в них.

— Отставить курение! — приказал капитан Лабуда. — Кто вам разрешил курить? — Кое-кто потрусливее

загасил сигареты, но многие будто не слышали слов капитана и продолжали курить и негромко покашливать. Капитан Лабуда знал, что непогашенные сигареты — откровенное неповиновение, и почувствовал желание ткнуть зажженными сигаретами в эти гнусные, отвратительные физиономии, которые издеваются над ним.

— Кончайте курить! — приказал он еще раз, и снова некоторые поддались страху.

Однако нашлись такие, кто и на этот раз не выполнил приказания. Капитан Лабуда стремительно прошел сквозь строй артиллеристов к задним рядам, направляясь к одному из куривших солдат. Все смотрели на него, головы поворачивались вслед за капитаном, ряды дрогнули, точно лес, на который налетел первый порыв ветра перед грозой, послышался глухой ропот. Капитан Лабуда, не останавливаясь, приближался к солдату, державшему во рту окурки. Он ни секунды не колебался, понимая, что не смеет остановиться, дрогнуть, а должен идти вперед, не спуская глаз с этой отвратительной, наглой физиономии: он должен подойти к ней вплотную, а потом одним ударом разбить ее в кровь. Ропот усилился, солдаты беспокойно задвигались, строй нарушился. Почти бессознательно они начали стягиваться к тому месту, куда направлялся капитан. Теперь Лабуду отделяло от солдата лишь несколько шагов, он хорошо видел его лицо, усталое, заросшее и злое, как и все остальные лица вокруг. Солдат явно струхнул, но упрямо не выпускал изо рта сигареты, стараясь не глядеть в сторону капитана. Он косился куда-то вбок, будто не понимая, что происходит. Капитан Лабуда подошел вплотную к солдату и остановился. И в то же мгновение ропот смолк, словно внезапно затих ветер, но это было затишье перед бурей. Казалось, через минуту ветер вновь забушует со страшной, яростной силой. «Ударить, ударить! — твердил про себя капитан Лабуда. — Разбить в кровь эту мерзкую физиономию!» Но рука, много раз делавшая это движение, теперь беспомощно повисла вдоль тела, не поднялась и не нанесла удара. «Что со мной? — удивленно подумал капитан Лабуда, — почему я медлю и не могу его ударить?» Но он не мог нанести удар. Рука неподвижно висела вдоль тела. Его живая рука не могла нанести удар, она не повиновалась никаким силам. «Что со мной?» — снова с изумлением подумал

мал капитан Лабуда, и на лбу у него выступила испарина. Никогда в жизни он не испытывал такого чувства бессилия, беспомощности, такого незнакомого и удивительно странного чувства. «Очевидно, я болен,— мысленно оправдывался капитан перед собой,— просто болен, раз не в силах дать ему по морде, что еще может быть со мной?» Лабуда стоял перед солдатом неподвижно, сознавая, что смешон, но он понимал также, что никакая сила не способна заставить его руку подняться и нанести удар.

— Вы что, не слышали? — хрипло спросил он солдата, — не слышали приказа — отставить курение?

Солдат по-прежнему упрямо косился в сторону, не глядя на капитана, словно того вообще не существовало. Солдат курил, сигарета прилипла к нижней губе, от нее остался лишь маленький окурочек, огонь мог вот-вот обжечь солдату рот. Наконец солдат повернулся к капитану. Несмотря на испуг, он держался вызывающе, явно чувствуя себя героем.

— У меня еще на две затяжки, пан капитан, — сказал он. — Разве не видите, осталось на две затяжки... Жаль бросить, — добавил солдат, — ведь теперь уже сигареток не получишь.

Он сделал две глубокие затяжки и попытался выплюнуть окурочек. Тот долго не отклеивался от нижней губы, но в конце концов солдат все-таки его выплюнул. Капитан Лабуда покраснел от злости и стыда, но понимал, что рука, раньше всегда готовая без колебаний вlepить оплеуху, теперь беспомощно висела. Рука была живая, но отказывалась ему повиноваться. «Конечно, я болен», — мысленно оправдывался перед собой капитан Лабуда. Но он знал, что это не болезнь, а просто желание оправдаться перед самим собой, и не мог понять, что с ним случилось.

Капитан медленно повернулся и пошел назад. Как отвратительно отступать, сознавая, что ты потерпел поражение. Но делать было нечего. Солдаты облегченно вздохнули, они радовались, что все обошлось благополучно, потому что еще уважали капитана Лабуду, хотя и считали его теперь своим врагом. Капитан вернулся на прежнее место, но перед солдатами стоял уже совершенно другой человек, а перед ним — другие солдаты, потому что он потерпел поражение, а они одержали

верх. Некоторые даже были готовы посочувствовать капитану — по натуре это были добросердечные люди, по-своему любившие капитана. Теперь они могли быть великодушны, потому что вышли победителями.

Капитан Лабуда стоял перед строем, чуть сгорбившись, потом резко выпрямился и с брезгливой враждебностью окинул взглядом подразделение.

— Убирайтесь куда хотите! — прохрипел он. — Можете катиться на все четыре стороны, валяться на печи и ждать, пока немцы всем вам не перережут глотки. Теперь я вижу, что вы просто шайка разбойников, а не солдаты. Можете убираться куда угодно, мне на вас и смотреть-то тошно.

Он махнул рукой, и этим жестом было выражено все: презрение, злоба, горечь и бессилие. Он было сделал несколько шагов, но вернулся и добавил:

— Через полчаса я приду. Кто захочет остаться, может идти со мной.

Солдаты провожали взглядом уходящего капитана. Но теперь, освободившись от его грубой, назойливой воли, они молча застыли на месте.

Все это время Марек стоял со взводом Козы, такой же, как и остальные, усталый, грязный и злой и, может быть, так же как и остальные, угрюмо, угрожающе роптал, не осознавая этого. Он был частицей солдатской массы, одним из множества. Оскорбление, нанесенное капитаном Лабудой одному из солдат, касалось и его. «Почему он так орет? — думал Марек. — Неужели он не видит, что мы зверски устали, дошли до полного отчаяния и просто не в силах идти дальше? Зачем он заставляет, если у нас нет сил, идти дальше?» Марек злился на капитана Лабуду, как и остальные солдаты, за то, что он принуждает их к тому, что они сейчас не в силах сделать. Вдобавок он завидовал силе капитана, его исключительному упорству, и это тоже злило Марека.

Но когда капитан Лабуда ушел, все мгновенно переменилось. Несогласия между капитаном Лабудой и солдатами не существовало, оно было разрешено: капитан Лабуда потерпел поражение, а солдаты одержали победу. Теперь возникло новое несогласие, вдруг выдвинувшееся на первый план, — это было дело, за которое они боролись и от которого были теперь готовы отречься. И новое несогласие не было таким уж простым, как

прежнее. Никто теперь не принуждал солдат остаться и продолжать борьбу за их общее дело и из-за этого испытывать лишения. И именно потому, что капитан их теперь не принуждал, положение стало гораздо сложнее, поскольку в дело вмешались такие вещи, как совесть и честь, солдатская и мужская. И сразу стало ясно, что спор идет между честью и совестью, с одной стороны, и трусостью, страхом и желанием сбежать — с другой.

Солдатам казалось, что они стоят уже долго, бесконечно долго, хотя после ухода капитана не прошло и пяти минут. Они стояли безмолвно, никто не курил, не кашлял; они стояли тихо, переступая с ноги на ногу, не глядя друг на друга, и не могли принять решение.

Потом кто-то (кто же это был?) глубоко вздохнул, поправил вещевого мешок за спиной и проговорил:

— Ну как? Пошли, что ли?

Неизвестно, кто произнес эти слова, может быть, их вообще никто не произносил, но услышало их все подразделение. И вдруг в одно мгновение, будто по безмолвному уговору, строй нарушился и воинской части как не бывало — остались лишь усталые, забрызганные грязью крестьяне в промокших солдатских шинелях. Они еще немного стыдились чего-то, но уже не скрывали радости, что приняли наконец решение, что всему пришел конец и они разойдутся по домам, ибо за этим решением стояли не только страх, трусость, желание сбежать, но жена и дети, коровы и овцы, пасеки и фруктовые сады — все то, что они считали своей собственностью, своим имуществом. Имущество же следовало защищать, потому что наступило тревожное, грозное время. Ведь солдаты были из крестьян и до сих пор смотрели на мушку своих винтовок кое-как, больше косились на свое хозяйство, на все, что пришлось бросить, что было их жизнью. Лишь на одну треть они были солдатами, а на две трети оставались крестьянами.

Здесь все походило теперь на ярмарку, когда знакомые встречаются и договариваются вместе ехать домой.

— А как же винтовки? Что делать с винтовками?

— Бери ее с собой, кум, винтовка всегда пригодится.

— А можно, пожалуй, податься на Ломы, оттуда свернем направо, а там только с горы сбежать — и дома.

Все, кто собирался уходить, чувствовали себя уже в родном селе, торопились, дорога была каждая минута, к тому же им вовсе не хотелось торчать на глазах у тех, кто оставался.

Надпоручик с брюшком взмахнул ореховой тросточкой, найденной им возле конторы лесопилки, и это послужило сигналом к уходу. Солдаты толпой хлынули на мостик, за мостиком разделились на две группы и вскоре исчезли за прибрежным ольшаником. Стоявший у входа в контору лесопилки обессиленный поручик схватился обеими руками за толстую повязку на голове и бросился догонять уходящих.

Взводный Коза со злостью плюнул. Он остался, не в силах представить себе, что кто-нибудь сочтет его трусом. Да ему и хотелось остаться. Дома были старики родители и восемь душ братьев и сестер. Он уже пятый год находился в армии, а до военной службы дробил щебень на мостовой. «Такая работа от меня никуда не уйдет, — размышлял взводный Коза, — ей-богу, на нее охотников мало, никто из-под носа не утянет». Этакая работа может подождать, ему, взводному Козе, торопиться некуда. Он оглядел оставшихся и со злостью еще раз сплюнул. Маловато осталось от целого батальона — не больше двух взводов. Солдаты неподвижно стояли на своем месте. Они молча переглядывались, несколько испуганные и удивленные тем, что их так мало, вместе с тем гордясь, что их так мало. Взводный Коза, теперь самый старший по званию, вышел вперед. На его плечи легло сразу много обязанностей. Солдаты выпрягли лошадей из орудий, сняли замки, подобрали брошенное оружие и погрузили его на телегу. Они работали быстро, с охотой, хорошо сознавая, что они попали в исключительное положение по собственной воле, пошли на жертвы ради других, и каждый слегка чувствовал себя героем. Только неловкий и неуклюжий Марек, как всегда, путался у всех под ногами, мешая работать.

— Господи боже мой! — вздохнул взводный Коза. — Ну и чудак ты, профессор. И чего ты не ушел с остальными? Неужто не видишь, что солдат из тебя никудышный? Может, ты и ученый, да на войне от тебя толку мало.

Марек не отвечал, не чувствуя никакой обиды. Он слишком хорошо знал взводного Козу и понимал, что

тот не хочет сказать ничего плохого. Марек опять гордился собой, своим решением, потому что снова подавил свой страх и чисто физическое желание покончить с грязью, голодом и усталостью. Но Мареку тоже некуда было идти — где у него было место на земле? Собственности у него не было никакой, единственным человеком, которому он хотел бы принадлежать, была Олина. Но ведь тут дело обстояло совсем неважно. Когда он к ней вернется? И вообще все зависело не от Марека, а только от Олины. Марек считал, что он остался, чтобы защищать дело свободы, народ, родину. Даже себе он не отваживался признаться, что ему просто некуда уйти. Иные говорили об этом без обвиняков, но Марек не мог себе этого позволить, всегда нуждаясь в возвышенном идеале, который помогал ему переносить страдания, когда другим до этого было достаточно простой необходимости.

Ровно через полчаса капитан Лабуда вернулся. Все были уже готовы к выступлению, и солдаты построились в два взвода. Капитан Лабуда молча выслушал рапорт взводного Козы, окинул взглядом остатки подразделения, жалкие и убогие, но все-таки это была вооруженная сила.

— У вас еще есть время, — обратился к солдатам капитан Лабуда. — Вы еще можете уйти, пока не поздно.

Но никто не двинулся с места, не произнес ни звука, все молча смотрели ему в лицо так, словно он их понапрасну оскорбил.

— Потом, — продолжал капитан Лабуда, — у вас уже не будет времени, подумайте еще раз. Потом не будет времени, не будет возможности думать даже о собственной жизни... Ну ладно, — добавил капитан Лабуда, потому что солдаты продолжали молчать. — С этой минуты за малейшее неповиновение я буду карать смертью. Понятно? С этой минуты о жизни и думать забудьте.

Он отдал приказ к выступлению, солдаты двинулись вперед, четко печатая шаг, прошли по мостику и окунулись в поднимавшийся от реки туман. Капитан Лабуда скомандовал:

— Вольно! Запевай!

Солдаты шепотом посовещались, потом взвился чей-то чистый печальный тенор, и взводы подхватили пес-

ню. Песня расплывалась в плотной завесе тумана, солдаты, не жалея глоток, пели старую песню:

Добрых сыновей, словачки,
сумели вы родить.

Песня была их другом, товарищем, матерью, родиней. И они пели звонко и задорно:

Вырастили и вскормили,
да не будете женить.

Песня пробила плотную завесу тумана, на душе солдат стало весело, хорошо и легко. Они снова обрели силу, избавились от тяжкого бремени и сделались бодрыми и ловкими. Усталость точно рукой сняло, и им стали нипочем туман, слякоть и грязь. Широко открыв глаза, побагровев от напряжения, виводный Коза оглушительно орал песню. Пел даже Марек, хоть он никогда не умел петь, у него не было слуха, но сейчас он пел, и его совсем не смущало, что он безбожно фальшивит.

Капитан Лабуда шагал впереди взводов, насвистывал мелодию и улыбался. Потом, неожиданно для себя, и он начал подпевать:

Не одна красавица
заплачет по ним...

Он пел и думал о Ганке.

3

В Осадке разорвался шальной артиллерийский снаряд, отхватил угол гумна и разметал свинарник. К Янко Крапу прибежал доктор Розенталь в теплом пальто и синем берете.

— Идут, — сказал доктор Розенталь и, прежде чем Янко Кrap успел расспросить его о подробностях, исчез. Затем появилась Эма и сказала, что сейчас его перенесут на повозку, которая ждет на улице.

— Нет-нет, — запротестовал Янко Кrap, — я пойду сам.

— Как хотите, — пожала плечами Эма, — делайте как хотите, мне уже все равно.

Янко Кrap чувствовал себя лучше: в голове больше не гудело и тошнота пропала. Но нога еще болела — рана в бедре загноилась и была очень чувствительна.

Янко с трудом надел брюки и натянул на одну ногу сапог, а другую обернул куском одеяла.

— Черт побери! — выругался Янко Крап, выйдя на улицу и осмотревшись. — Что это за порядок?

Никакого порядка не было, царила неразбериха. Раненых вынесли из школы на обочину дороги, но везти их было не на чем. Они лежали под дождем, прикрытые одними одеялами. Янко Крап выдернул кол из забора и, опираясь на него, заковылял по шоссе.

— Черт побери, — ругался он, прихрамывая, — что за порядок?

Он искал доктора Розенталя, но нигде не мог найти, доктор словно испарился.

— Он уже смылся, — сказал один из раненых, с гноящимися глазами, — я сам видел: сел на телегу и прости-
прощай.

— Черт побери! — ругался Янко Крап, — что это за порядки?

Наконец он все-таки нашел Эму, она стояла за школой, прислонясь к стене. Он издали узнал ее и уже приготовился было хорошенько отчитать за раненых, но, подойдя ближе, увидел, что у нее вздрагивают плечи: Эма плакала.

Она стояла в белом, запачканном кровью халате, прислонясь головой к стене; от ее фигуры веяло таким одиночеством, что Янко почувствовал к ней жалость.

— Вытрите себе нос, — добродушно сказал он ей, — вытрите нос, пани докторша. Сейчас не до слез, хныкать будем потом, когда у нас на это будет время.

Он ласково коснулся плеча Эмы, и она перестала вздрагивать. Она повернула к нему заплаканное лицо и робко улыбнулась.

— Хорошо, — согласилась она, — отложим слезы на будущее.

В конце концов повозки нашлись. Янко Крап ругался и размахивал палкой до тех пор, пока повозки не подъехали и раненых не погрузили. Потом он заковылял, стиснув зубы от боли, за последней телегой, стараясь не ступать на больную ногу. Рядом шла Эма, с бледным, почти землистым от усталости лицом и курила сигарету за сигаретой. Они скупно роняли лишь самые необходимые слова, но оба чувствовали, как и несколько дней назад, какую-то внутреннюю близость.

Вечером они наконец добрались до места — это был красивый охотничий домик, скрытый в глуши леса. Построенный со вкусом, домик принадлежал какому-то венгерскому графу. Вокруг домика росла живая изгородь и был небольшой парк во французском стиле — настоящее чудо в дремучем лесу, сказочный дворец за тремя хрустальными горами. У входа стояли вооруженные часовые. Повозки остановились — дальше их не пускали. Янко Крап, с трудом пробираясь вперед, уже издали кричал:

— В чем дело, что там за свинство?

Наконец он протолкался к воротам и увидел, что домик охраняют два знакомых милиционера — рабочие из поселка.

— В чем дело? — спросил Янко Крап, едва переводя дух. — Разве вы не видите, что это раненые?

— Гляди-ка, — сказал один из милиционеров, тот, что был пониже ростом, — это Янко Крап!

— У нас есть такой приказ, — ответил второй милиционер.

— Какой еще приказ? — зашепелявил Янко Крап.

— Никого не велено пускать, ни одной живой души, — пояснил второй милиционер.

Первый растерянно затаптался и почесал за ухом.

— Верно, — сказал он. — Был такой приказ — не впускать. Да ведь это Янко Крап!

Янко Крап вытащил из кармана кожаного пальто револьвер, с которым никогда не расставался, и совсем тихо зашепелявил:

— А ну, пропускай! Чтоб духу вашего тут не было, не то я вам кишки выпущу. Ей-богу, пули не пожалею!

Низенький милиционер готов был согласиться и уступить, но второй, высокий, видимо обиженный, заупрямился.

— Ну-ну, ты полегче! Ишь какой скорый на расправу! Чего разошелся? — наступал он на Янко Крапа. — У нас приказ — никого не впускать, вот мы и не пустим — и баста!

— Посмотрел бы я, — ответил Янко Крап, еле сдерживаясь, — как это нас не впустят! И очень хотелось бы мне видеть того, кто такие приказы отдает!

— Ну-ну! — примиряюще сказал милиционер пониже. — Сам председатель, ну, как его... Кремпаший при-

казал! Распорядился не впускать ни единой живой души. Тут ведь теперь районный национальный комитет.

— Не впустим,— твердил высокий милиционер.— Не впустим — и все тут! Чего с ним толковать? А ты, Янко, револьвером своим меня не пугай, у меня винтовка найдется!

— Болван! — взорвался Янко Крап.

Янко, может быть, и вправду выстрелил бы. Он падал от усталости, нога нестерпимо болела, и он был в ярости оттого, что их не пускают. Но тут откуда-то вынырнула Эма с мокрыми растрепанными волосами, подскочила к милиционерам и закричала прямо им в лицо:

— Да это же раненые, не видите, что ли? Не видите — раненые! Да я вам глаза выцарапаю!

Милиционеры невольно отступили, увидев ее бледное, почти землистое лицо и безумные глаза — глаза человека, внезапно потерявшего рассудок.

— Глаза вам выцарапаю! — истерически кричала Эма.

Милиционеры медленно отступали перед Эмой, раненые, кто мог ходить, шли за ней. Грязной волной, распространяя дурной запах, они постепенно заполняли все комнаты с резной мебелью и множеством оленьих рогов на стенах, натащили грязи и сырости в сверкающие чистотой коридоры.

В передней, где в английском камине пылал огонь, стоял Кремпашский в длинном черном пальто, из-под которого выглядывали подштанники. Очевидно, он только что вскочил с постели.

— Что тут творится? — кричал он. — В чем дело? Кто вам разрешил?

Но раненые шли мимо, словно не замечая, и отталкивали его, грязный поток жалких, иступленных людей разливался все дальше по комнатам. И тот, кто вздумал бы помешать им войти в этот дом, обещавший отдых, покой и надежду, погиб бы от их руки.

Наконец волна схлынула. Янко Крап, руководивший у дверей размещением последних раненых, тяжело упал в плетеное кресло. Он вытянул свою раненую ногу и закрыл глаза. Только тут Кремпашский заметил его.

— Что это значит? — спросил он. — Что это значит, пан Крап?

— А разве вы не видите? — ответил Янко Крап, не

открывая глаз.— Это раненые, вы ведь видите, что это раненые.

— Кто вам позволил? — захлебнулся гневом Кремпашский.

— Никто,— сказал Янко Крап, по-прежнему не открывая глаз,— никто нам не разрешал. Мы сами себе позволили не умирать.

Кремпашский стоял, потирая одну босую ногу о другую. Он хмуро поглядывал на принесенную с улицы грязь и беспорядок.

— Вы за это ответите,— возразил Кремпашский.— По плану эвакуации здесь должен разместиться районный национальный комитет.

— А теперь здесь будет госпиталь,— спокойно сквозь сон сказал Янко Крап.

— Вы за это ответите,— повторил Кремпашский.— Это нарушение порядка.

— Какого порядка? — спросил Янко Крап, открывая усталые глаза.

— Обычного порядка,— сказал Кремпашский.— Во всем должен быть порядок.

— Существует два порядка,— через силу, утомленно проговорил Янко Крап.— Один — чиновничий, тупой, ограниченный. Его-то вы, очевидно, и имеете в виду. Другой — революционный! Революционный, пан председатель.

— Мы не делаем никакой революции,— возразил Кремпашский, поморщившись.

Янко Крап невольно улыбнулся.

— А кто вам говорит, что ее делаете вы? Хороша была бы такая революция!

— Мы восстали отнюдь не из революционных побуждений,— заметил Кремпашский,— и не делаем никакой революции, поймите, пан Крап. Никакой революции не будет, пан Крап.

— Как бы не так! — воскликнул Янко Крап.— Слон заболел, и представление отменяется, так, что ли? Быть или не быть революции — от вас не зависит, пан председатель. Это вообще от вас не зависит!

Кремпашский стоял у камина, потирая ноги одна о другую, и злобно косился на Янко Крапа.

— Впрочем,— с усмешкой сказал Янко Крап,— об этом толковать поздно. Революция началась, а мне хо-

чется спать. — И, давая понять, что разговор окончен, он закрыл глаза.

Кремпаешский еще немного повозмущался, затем ушел. Шум в доме постепенно затих, слышалось только потрескивание дров в камине. Янко Крап сидел с закрытыми глазами. Он невероятно устал, нога сильно болела, и он никак не мог заснуть. Вскоре Янко открыл глаза, с трудом встал, придвинул плетеное кресло к камину, а раненую ногу положил на другое кресло. Теперь ему стало лучше, веселый огонь был совсем близко, огромные смолистые сосновые поленья весело потрескивали. Он лениво размышлял некоторое время о разговоре с Кремпаешским. Действительно ли началась революция? Некогда он представлял ее себе совсем иначе. Огромные толпы, кроваво-красные стяги над ними. Толпы куда-то бегут, гудит земля, стяги реют над головами — и все покоится этой страшной монолитной силе. Теперь тоже что-то пришло в движение, но это длилось совсем недолго и очень скоро сменилось хаосом. Неужели и вправду революция началась? Он размышлял об этом некоторое время, но как-то очень неохотно. Янко всегда чувствовал, что ради призрачного, неразличимого далекого будущего опасно отрывать от очень осязаемой конкретной действительности, которая называется «завтра» и «послезавтра» и имеет свои неотложные проблемы. Отрыв от конкретной действительности ослаблял Янко Крапа, и он намеренно избегал всего, что делало его слабым. Он воспитывал в себе сильную волю к действию, и эта воля спасала его от сомнений и разсуждений о смысле и сущности того дела, которому он служил. Янко твердо знал: настало время действовать, время, когда нужно упростить жизнь. И он упростил ее. Даже в мыслях ему хотелось кричать и ругаться, отдавать приказания, что-то организовывать. Тихие, беспредметные раздумья он охотно оставлял барышням, профессорам и прочим сумасбродам. Не раз он с гордостью думал, что вся философия заключена в нем, в его руке, сжимающей оружие, в его голосе, отдающем приказания, в его жестах, указывающих направление другим. Он шел в ногу с историей и, если появлялась хоть тень сомнения, прогонял ее, и тень исчезала.

Янко сидел, закрыв глаза, довольно долго и думал о будущем, которое называлось «завтра» и «послезавт-

ра», о практических делах, ждавших его решения, о комиссаре Бенде и своем отряде, о матери и Ганке и о многом другом, что его окружало и что, как он был уверен, полностью от него зависело. Потом Янко подумал об Эме: будь она рядом, с ней хорошо было бы лениво молчать и неторопливо говорить о вещах, совершенно не связанных с этими событиями, превратившимися в сплошной хаос. Он хотел бы рассказать ей о своей скрипке, о том, как он любил свою скрипку и сочинял сам для себя странные мелодии, и какая страсть переполняла его, когда он играл, и как эта страсть внезапно исчезла, и он стыдился ее, называл себя романтиком и глупцом, чувствуя в своей страстной игре что-то темное, зловещее и нечистое.

Но когда Эма действительно пришла и Янко услышал ее тихие шаги, он даже не открыл глаз. Он ловил звуки: вот Эма остановилась у камина, греет руки, вздохнула, подбросила поленьев и снова вздохнула. Слабо скрипнуло плетеное кресло — это Эма села и снова вздохнула, теперь с облегчением.

А Янко Крап по-прежнему не открывал глаза, ему вдруг показалось, что они сидят так давным-давно, и все это когда-то было — и сказочный домик, и камин, и аромат сосновых поленьев. Когда же это было? Словно все это было в какой-то прошлой жизни; возникло даже ощущение, что они с Эмой приезжали сюда когда-то раньше. Ощущение было таким сильным, реальным и осязаемым, что Янко Крап в испуге открыл глаза.

Эма удобно расположилась в кресле, на ее бледном лице лежали кирпично-красные отсветы пламени. Янко Крап увидел ее впервые без белого халата: на ней был свитер, прерывисто дышала высокая грудь. Он поймал себя на том, что смотрит на эту высокую грудь и не может отвести от нее глаз. Эма заметила его взгляд и сделала движение рукой, словно стараясь прикрыть грудь. Оба смутились и уставились на огонь. Но даже в их смущении было нечто вроде тайного сговора, тайного соглашения, вызывающей интимности. Янко Крап откашлялся и спросил:

— Вы устали?

— До смерти, — ответила Эма. — Это уже не усталость, а сама смерть. Глупо, конечно, но, может, ничего

уже нет? — Ее голубоватые веки тяжело опустились, и она произнесла с легкой усмешкой: — Может быть, мы уже перешли через реку и стоим на другом берегу... Вам не кажется это возможным? Мы — только тени, и все вокруг нас лишь тени теней. Может быть, мы умерли, но не знаем об этом?

Янко Крап, смотревший на огонь, при этих словах решился поднять глаза, и снова его взгляд упал на высокую грудь Эмы.

— Нет, — сказал Янко Крап, — мы из плоти и крови и вполне осязаемы.

— Фу, вы словно камень! — воскликнула Эма. — Камень, который разбивает мечты! Понимаете? Вы портите всякую игру.

— Но я пока еще здесь, на земле, — ответил Янко Крап, — и у меня есть желания. К чему мне игра, раз все, что я желаю, можно видеть и осязать?

— Разве все можно видеть и осязать? — спросила Эма.

— Все, чего я хочу, — сказал Янко Крап и снова взглянул на грудь Эмы.

— И разумеется, вы хотите многого? — спросила Эма.

— Это уж мое дело, — ответил Янко Крап. — Но я хочу достичь того, к чему стремлюсь. И знаю, что этого можно достичь. Я прикладываю все силы к тому, чтобы добиться своего.

— И этим вы живете, — сказала Эма.

— И этим я живу, — подтвердил Янко Крап.

Эма зевнула и потянулась в кресле извечным женским движением. Высокая грудь ее напряглась, вздрогнула и снова мягко опустилась. «Как глупо, — подумал Янко Крап, — что мы все говорим и говорим, все больше удаляясь от того, к чему стремимся. Почему мы говорим о вещах, которые ни к чему не приводят?»

Но Эма спросила:

— Вы давно коммунист?

— Давно, — ответил Янко Крап.

— Хотелось бы мне знать, что это такое, — задумчиво проговорила Эма. — Что чувствует человек, становясь коммунистом? Меня всегда притягивало неизведанное: пугало и притягивало.

— Тут нет ничего таинственного. Мы ничего не скрываем, да у коммунистов и нет ничего, что нужно было бы скрывать.

— Нет, — сказала Эма, — в этом есть что-то таинственное. Как-то в детстве я видела вашу демонстрацию. Тогда мне казалось, что колонна окружена такой же тайной, как и праздник тела господня. Это — таинство веры, понимаете?

— Мы верим лишь в реальные вещи, — сердито возразил Янко Крап.

— Вы верите в будущее, — ответила Эма. — А будущее неосвязаемо. У вас один бог — пролетариат. У вас есть и свои святые, свои мистерии, свой будущий рай и надежда на искупление.

— Мы верим лишь в то, что постигли разумом, — сказал Янко Крап.

Ему казалось, что Эма нарочно смеется над ним, нарочно потягивается, выставляя грудь, и нарочно так говорит.

— Ну, это было бы слишком просто, — заметила Эма.

— Все и есть просто, — сказал Янко Крап. — Мы хотим, чтобы у всех было вдоволь хлеба. Хотим, чтобы все стали равными. Это просто и справедливо.

— И хор коммунистических архангелов будет петь сладкие мелодии насытившейся толпе, — сказала Эма, улыбаясь краешком губ.

— А почему бы и нет? — окончательно рассердился Янко Крап. — Музыка, искусство и литература — все эти дары жизни для всех. Вот где справедливость.

— Б-р-р! — фыркнула Эма. — Вот скука-то будет! Скука для всех!

Янко Крап обиженно замолчал. Эма примирительно коснулась его руки, лежавшей на ручке кресла. Янко поднял голову и совсем близко увидел глаза Эмы. В них было какое-то тяжелое беспокойство и страх, это были робкие глаза близорукого ребенка.

— Эма, — тихо сказал Янко Крап. — Эма, можно мне вас так называть? Эма, зачем нам говорить обо всем этом?

— Вы правы, — так же тихо согласилась Эма. И немного спустя добавила: — Помолчим, ладно?

Рука Эмы была мягкая, теплая и немного влажная. Они молчали и слушали только собственное дыхание и

треск огня. Весь окружающий хаос куда-то исчез, теперь во всем мире их было только двое, они словно очутились на необитаемом острове, вокруг которого ничего не было.

4

Когда Ганка Крапова пришла в Осадку, она уже не застала там брата. Илона заупрямилась и не захотела идти дальше.

— Стану я таскаться, ровно дура какая, — сказала она Ганке и не уступила ни просьбам, ни угрозам.

Ганка была в отчаянии. Сидя на пороге дома, где они нашли временное пристанище, Ганка смотрела на густой туман. Резиновые сапоги у нее продырявились, внутри хлюпала вода, ноги были как ледышки, а голова горела.

— Еще заболēju, — прошептала она, — не хватало мне только заболеть!

Ганка знала, что нужно идти дальше. Янко приказал: если они не встретятся, укрыться в домике лесника под Черной Браной. Но она чувствовала, что не в силах идти дальше, что не может заставить свое усталое тело двигаться и бороться со слабостью. Ей хотелось заплакать, но было стыдно самой себя. Так откровенно поддаваться бессилию казалось ей бесчестным и позорным.

Из конюшни вышел хозяин и спросил, не скрывая неприязни:

— Ну что, когда вы отправитесь?

— Не знаю, — ответила Ганка. — Может, кто-нибудь поедет в ту сторону?

— Как бы не так, — сказал хозяин. — Аккурат для вас запрягут.

Хозяин был еще молодой, со здоровым, румяным лицом. Его портил лишь хищный крючковатый нос. Хозяин с самого утра копал ямы в саду, чтобы запрятать там все ценное. Беженцев он принял неохотно.

— Хорошенькое дело, — ворчал он, — взбудоражили народ, а теперь бегут.

Он знал Янко Крапа еще с тех времен, когда отряд Янко стоял в Осадке, и, очевидно, боялся его. Но сейчас хозяин гораздо больше боялся немцев и предпочел

бы видеть родственников Янко Крапа подальше от своего дома.

— Пора бы вам убираться отсюда, — угрюмо бросил он Ганке. — Того и гляди немцы нагрянут.

Ганка стиснула зубы.

— Сейчас уйдем, — сказала она. — Еще минутку, и уйдем.

— Знаю я ваши минутки, — проворчал хозяин и снова отправился в сад.

Ганка хотела встать, но ей казалось, что она не сумеет этого сделать, и продолжала сидеть, чувствуя, что у нее совершенно ледяные ноги. Она дотронулась до лба: голова была горячая. «Ну вот, — в отчаянии подумала Ганка, — значит, у меня и в самом деле жар. Что же со мной будет?»

Из дома вышла полная добродушная хозяйка, вынесла Ганке горячий, политый маслом блин.

— Съешь-ка, дочка, — жалостливо сказала она и присела рядом с Ганкой, глядя, как та с жадностью ест.

У хозяйки не было детей, их не хотел муж. А беспомощная Ганка походила на ребенка, и хозяйка от всего сердца жалела ее. И она помогала Ганке как умела, насколько разрешал хозяин, ее муж.

— Да ты горячая какая! — воскликнула хозяйка, коснувшись Ганкиной головы. — Вся горишь!

— Ничего, — сказала Ганка. — Пройдет.

— Ох, — вздохнула хозяйка. — Вот горюшко-то на нас свалилось. И откуда его столько берется?

Тут на дороге закрипели колеса. Ганка прислушалась.

— Кто-то едет, — сказала она, с надеждой взглянув на хозяйку.

Та проворно вскочила и побежала за угол. Было слышно, как она кричит:

— Эй, эй!

Немного погодя хозяйка вернулась. За ней семенил старичок в длинной кабанице. У старичка были маленькие быстрые глазки и неправильные черты лица, словно взятые от разных людей. Он внимательно взглянул на Ганку и, как ей показалось, весело подмигнул.

— Довезете нас, дяденька?

— Милая моя, — ответил старик. — Отчего же мне вас не довезти?

Откуда-то появился хозяин. Он помог вынести старую Крапову из избы и положить ее в повозку старика. Крапова тихо вздыхала:

— Боже мой, и когда это кончится?

— Ишь, какая любопытная! — весело проговорил старик. — Такая старая, а все еще любопытная.

Хозяйка украдкой сунула в повозку узелок с едой. Илона проводила повозку за околицу и там остановилась. Ганка, сидевшая сзади, видела, как Илона медленно исчезает в тумане.

Старая кляча неторопливо тащилась вверх по долине. Ганка то и дело прикладывала прохладную руку к горячему лбу. У нее был жар, и она чувствовала, как жар постепенно охватывает все тело. Поясницу ломило, зубы сами собой выбивали дробь. «У меня жар, — со страхом думала Ганка, — что же со мной будет?» Она не помнила, чтобы когда-нибудь болела, и тем страшнее казались ей жар и физическая слабость, которые ею овладевали.

Несколько месяцев назад Ганка не раз проходила по этой долине. Где-то здесь ее однажды встретил Лемнитцкий. (Как давно это было, в незапамятные времена! Она несла записку для Янко Крапа. Ганка очень боялась, что не решится проглотить бумажку. Какой смешной, какой давний случай, такой же далекий, как воспоминания детства!) Она помнила эту долину с речкой и ельником по крутым склонам гор, но сейчас словно не узнавала ее. Может, все это из-за лихорадки, но долина казалась Ганке совершенно незнакомой и чужой. Вокруг лежал туман, было неприветливо, холодно и сыро, но отнюдь не безлюдно. Долина жила какой-то странной, выбитой из привычной колеи жизнью. В вязкой желтой глине виднелись следы многочисленных колес; глубоко в речке тускло и призрачно поблескивал капот упавшей туда машины; под высокими елями дымили костры, а вокруг них сидели люди. Здесь были жены, матери, дети, деды, целые семьи и одинокие беженцы, солдаты, покинувшие свои части, и части, покинутые командирами, и на всех лицах лежала печать страха и безнадежности.

В одной из групп у дороги Ганка увидела доктора Розенталя и окликнула его. Доктор Розенталь испуганно оглянулся, а когда Ганка спросила его о брате, отвел

глаза и что-то пробормотал. Было странно, что доктор не ответил на вопрос Ганки, но ей показалось, будто все это в порядке вещей, именно так и должно быть; и едва доктор Розенталь исчез из виду, у нее появилось ощущение, будто это вовсе был не доктор, что вообще не было никакого доктора Розенталя, никаких костров, никаких людей, ежившихся под дождем, а одно лишь убаюкивающее движение повозки, туман и облепленные грязью колеса.

Ганка понимала, что у нее начинается лихорадка. «Нет,— приказала она себе,— я не должна поддаваться и не поддамся!» Она соскочила с повозки, ухватилась за оглоблю и какое-то время шла рядом с повозкой, но вскоре почувствовала усталость. Тогда она намочила платок в речке, туго обвязала голову и по-детски пригрозила лихорадке:

— Я все равно тебя выгоню!

На маленькой полянке стоял пятнистый теленок. В тумане он выглядел таким покинутым и одиноким, что Ганке стало жаль его. Теленок, увидев повозку, бросился к ней и жалобно зачмокал. Старик на козлах повернулся к нему и запричитал:

— Милый мой! Скотинка божья, несчастная. Даже скотинке негде голову приклонить.— А потом добавил: — Хлебца бы ему...

Ганка протянула теленку кусок хлеба, теленок весело зачмокал и побежал за повозкой. Ганке казалось, что у него детские глаза, то робкие и грустные, то веселые и игривые.

— Ну, иди, иди,— звала Ганка, протягивая теленку хлеб, и тот послушно и весело бежал за повозкой. И Ганке стало как-то лучше, жар словно уменьшился. Старик каждую минуту оглядывался, показывая свое странно непропорциональное лицо с крючковатым носом и маленькими быстрыми глазками.

— Потерялся теленок-то,— сказал старик.— Все теперь порастерялись, милая моя, и люди потеряли друг друга, как же тут немой твари найти своего хозяина. Утром сегодня собрался на мельницу, у нас осталось еще мешка два зерна. А вы остановили меня, вот я и еду сам не знаю куда. Куда же мы все-таки едем?

— В лесную сторожку, дедушка.

— А что там, в этой сторожке-то?

— Отдохнем там, дедушка.

— Милая моя, — притворно причитал старик, поднимая свой крючковатый нос. — Где уж мне отдыхать! Дома-то у меня все без призора осталось, старуха лежит, поясницу ей разломило всю, некому присмотреть за хозяйством. Где уж мне отдыхать, скоро мне и на вечный покой пора, вот-вот ноги протяну.

— Вы уж нас как-нибудь довезите, дедушка, — робко попросила Ганка.

— Милая моя, — снова запричитал старик. — А разве я вас не везу? Я понимаю, что нужно людям помочь, что они в большой беде, не понимаю я, что ли? А какое мое хозяйство? Три курицы и поросенок, да и поросенок-то не поросенок, а одна щетина. Вез одного в Прегибы, а там он счастливо богу душу отдал — в живот был ранен. Визжал — страшное дело. А из Прегиб вез дамочку — красавицу, всю в шелках. Дала она мне сигарет, пахнут здорово, но курить никак нельзя, душат, курево-то никудышное.

Дорога пошла в гору, повозка тряслась, подскакивала на узкой тропе, на которой торчали обточенные водой камни. Старик еще долго говорил, и голос его то понижался до тихого шелеста, то звучал громко.

— Я людям рад помочь, и благодарности мне вовсе не нужно, — говорил старик. — Для человека счастье людям-то послужить, совесть свою очистить...

Старая Крапова несколько раз поднимала голову и смотрела на Ганку с немим вопросом: «Скоро ли все кончится? Скоро ли конец моим мученьям?» Теленок брел за повозкой. Но уже не был весел и игрив. Он устал, высунул язык, изо рта текла густая слюна.

Ганка сидела с широко раскрытыми глазами на повозке, но видела весь окружающий мир словно в тумане. Перед ней был сейчас другой мир, реальнее и значительнее настоящего. Ей казалось, что она видит карту, обычную школьную карту, подклеенную на сгибах. На карте — горы и реки, страны и города со звучными, благоухающими названиями: Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Антофагаста. И вот города отделяются от карты, сквозь молочный туман видны улицы с высокими домами, пальмы и люди, и все там тихо и беззвучно, ни звука не пропускает молочный туман. Двигутся автомобили, люди что-то говорят, но туман не пропускает

ни звука, он все больше и больше сгущается, просвечивают лишь шпили церквей, а потом все исчезает.

Ганка жалобно вздыхает и снова видит неприветливую, холодную, сырую долину. «Это лихорадка, — шепчет Ганка, — я не должна ей поддаваться. Что тогда будет с нами?» И она снова соскочила с повозки, намочила в луже платок и туго повязала голову. Но платок быстро высох, жар начал мучить Ганку с новой силой, и она впала в полудремоту, ей захотелось снова увидеть в тумане города с заманчивыми названиями. Но перед ней выросли уже не города, а какие-то чудовища, раскрашенные в красный и лиловый цвета...

Лесник Ульрих стоял перед своим домом. Он издали заметил повозку и пытался угадать, кто едет.

— Ого-го! — крикнул он, когда повозка подъехала ближе. — Да это Крапова!

Голос у него был уже не таким звучным, как до ранения, стал глуше и тише.

Вглядевшись внимательно в лица Ганки и старой Краповой, он крикнул жене:

— Готовь постели, старая! К нам тут целая больница приехала.

Возница, кряхтя, слез с козел, запутавшись в длинной накидке.

— Милые мои, — сказал он. — Далеколько живете, что правда, то правда!

— На конце света, — гордо ответил лесник.

Ганка сошла с повозки, голова у нее горела, ноги смешно заплетались.

— Хорошо, что мы уже здесь, — сказала она.

— И впрямь хорошо, — ответил лесник Ульрих.

Немцы приближались к Банска-Бистрице, и уже стало ясно, что падение города неминуемо. Тогда Августин Шернер приготовился к самому худшему. Раздобыв вместительный рюкзак, он сложил в него теплое белье, теплые носки, сигареты и бутылку можжевеловой водки, скатал одеяло, перетянул его ремнями и хорошенько смазал солдатские ботинки. Уже совсем собравшись, он осмотрел свое снаряжение и остался

— Нет,— возразила женщина.— Я попробую ее согреть.

Августин Шернер растерянно огляделся вокруг: чем он мог помочь? Но у него ничего не было, чтобы помочь женщине, кроме зонтика, который казался ему теперь смешным и ненужным.

— Просто не знаю, что для вас сделать,— сказал он.— У меня есть только зонтик.

— Вот и хорошо,— ответила полная женщина.— По крайней мере ее не будет мочить дождик. Может, вы дадите мне ваш зонтик?

— Ну конечно,— согласился Августин Шернер.— Я дам вам его с радостью.

И Августин Шернер подал зонтик полной женщине. Теперь она держала одной рукой мертвую девочку, а другой — раскрытый черный зонтик.

Августин Шернер немного постоял в каком-то недоумении. Потом нерешительно двинулся с места и медленно побрел прочь. Чем дальше уходил он от этого места, тем быстрее становился его шаг. И, лишь удалившись на приличное расстояние, он с чувством удивления и страха оглянулся. Полная женщина все еще стояла на прежнем месте, и сквозь завесу дождя виднелся ее силуэт и зонтик, раскрытый над головой.

«Как ужасно!» — подумал Августин Шернер, и ему показалось странным, что его вовсе не трогает весь этот ужас. Казалось, весь этот ужас существует вне его, вне реальной действительности, и Шернер видел все происходящее как-то со стороны, словно на сцене. Он вспомнил цыганенка, вот тогда он действительно чувствовал ужас, страх и отвращение. А сейчас ему казалось, что какие-то любители играли перед ним плохую пьесу, а он, Августин Шернер, знал, что это лишь пьеса и в действительности ничего страшного не происходит.

— Это ужасно! — сказал он вполголоса, понимая, что говорит пустые, ничего не значащие слова. И потом добавил: — Ужасно, что я ничего не чувствую.

И снова перед ним встала вся картина: лошади с развевающимися гривами, солдат, бросивший вожжи и одной рукой придерживающий падающую шапку. Сейчас Шернер отчетливо видел множество подробностей, которых в первый момент, как ему показалось, он не за-

метил. Ему представилась полная женщина, судорожно ухватившаяся за край повозки. Воображаемая картина наполнялась звуками, множеством разных звуков, они усиливались, становились громче, слышалось лошадиное ржание и крики, проклятия и душераздирающий вопль. Звуки смешивались в диком сумбуре, над которым вдруг взвивались отдельные тоны, резкие диссонансы, и вот возник стремительный основной ритм, звуки стали выравниваться, подчиняясь этому основному ритму.

— Да это же стихи, — благоговейно прошептал Августин Шернер, — это рождаются стихи.

И он больше уже не упрекал себя за то, что не чувствует чужих страданий, как свои собственные. Если в голове у него складываются стихи — значит, иначе и быть не может. Вероятно, поэт, который хочет передать ужас, воспринимает его лишь внешне — душу его этот ужас не наполняет.

Шернер пошел быстрее, стараясь приспособить свой шаг к ритму стихов. Он уже не чувствовал ни холода, ни дождя, стекавшего ему за воротник. Шернер был в плену звуков, все новые и новые волны звуков захлестывали его, и он пытался поймать хоть некоторые из них. Слова приходили сначала по одному, потом возникали все новые и новые, теснясь в его голове. Шернер присел на обочину, достал записную книжку и записал карандашом несколько слов; ему нужно было хоть как-нибудь освободиться от бремени вдруг зазвучавших в нем звуков. И лишь после этого для него вновь возник окружающий мир: он увидел окраину города. Шернер изумился, хотя удивление было несколько притворно. Не сознавая до конца, куда он идет, Шернер подсознательно чувствовал, что возвращается в город. Даже и в момент своего бегства вместе с остальными он чувствовал, что вернется. С того времени, когда Шернер покинул полную женщину, он шел в сторону города, не сознавая этого, потому что не хотел осознать этого, но подозревал, что идет в город. Сейчас он не мог играть в прятки с самим собой. «Раз уж я здесь, — сказал он себе, — куда же мне идти?»

И, входя в город, он, казалось, услышал насмешливый голос: «Куда идешь, Шернер?»

Он лишь пожал плечами: куда же мне идти? Перескочив через какой-то забор, он открыл калитку, вошел в узкий дворик, а оттуда на улицу. На улице стояли немецкие броневики, а вокруг них — кучками немецкие солдаты. У Августина Шернера пробежал мороз по коже: а вдруг немцы уже знают, кто я? Что, если они слышали о поэте Ало Гроне, читали мои стихи, в которых я не очень-то их жаловал? Он шел, втянув голову в плечи, и ему казалось, что так он в большей безопасности и его вряд ли кто-нибудь узнает. Дойдя до своей квартиры, Августин Шернер остановился и долго смотрел в темное окно, размышляя, не попадет ли он в ловушку, поднявшись наверх. В конце концов Августин Шернер решился. Ему стало холодно, он чихал. Как вор, прокрался он в свою квартиру на втором этаже, быстро надел теплое белье и залпом выпил полбутылки водки. Потом свалился на кровать и сразу уснул.

Он не помнил, долго ли спал. Разбудил его грохот в двери и свет электрического фонарика, нестерпимо резавший глаза. Шернер открыл их и в дверях увидел немца. На немце была фуражка горных стрелков, из-под козырька виднелось смуглое лицо с косоватыми глазками. Это был не слишком представительный тип нордической расы. Некоторое время они смотрели друг на друга, наконец немец спросил:

— Партизан! Nicht Partisan? ¹

— Нет, — ответил Августин Шернер дрожащим голосом. — Здесь никого нет.

— Gut ², — сказал немец, окидывая взглядом комнату, и на всякий случай заглянул даже под кровать. Он ничего не нашел, зато заметил на столе бутылку с можжевельной водкой.

— Сливовиц? — спросил немец.

— Нет, — ответил Августин Шернер. Голос все еще не слушался, лоб от страха покрылся испариной: — Нет, это можжевельная водка.

— Можжевельная водка? — переспросил немец. — Auch gut ³. — Его смуглое лицо словно состояло из од-

¹ Партизан нет? (нем.)

² Хорошо (нем.).

³ Тоже хорошо (нем.).

них мускулов, которые непрестанно двигались, и казалось, он все время что-то жует.

— Also...¹ — сказал немец.

— Нет, — ответил Августин Шернер. — Я поэт. Ein Dichter².

— О, — удивился немец, и тон его стал почтительным. — Ein Dichter. Das ist sehr gut!³

Немец снял фуражку, положил автомат на стул так, чтобы он был под рукой, и уселся за стол. Он налил себе водки и долго ее нюхал, потом, видимо решив, что все в порядке, выпил залпом.

— Водка, — сказал он, — gut. — А потом снова спросил: — Nicht Partisan?

— Нет, — сказал Августин Шернер. — Nein. Hier kein Partisan. Ich bin ein Dichter⁴.

— Карошо, — сказал немец. — Ein Dichter. Das ist gut.

И снова выпил водки. Затем он объяснил Шернеру, что у них, немцев, поэты в почете, ибо немецкие поэты — самые великие в мире. Августин Шернер с радостью согласился с этой оценкой и сказал:

— Гёте, Шиллер.

— Да, да, — согласился немец, — это самые великие поэты на свете. Никто не умеет писать таких стихов, как немцы.

— И Рильке, — добавил Августин Шернер, понемногу набираясь смелости. — Рильке тоже был великим поэтом.

— Да, да, — ответил немец, — мы, немцы, самый талантливый народ в мире.

Немец не переставал тянуть водку, мускулы на его лице двигались быстрее и энергичнее, он разговорился. Оказалось, что он родом из трансильванских немцев, его родители из любви к Великой Германии после тридцати восьмого года вернулись в свой фатерланд. Это была страстная, слепая любовь; дух шовинизма у национального немецкого меньшинства в других государствах был гораздо сильнее, чем у имперских немцев. Гитлер

¹ Значит... (нем.)

² Поэт (нем.).

³ Поэт. Это очень хорошо (нем.).

⁴ Нет. Здесь нет партизан. Я поэт (нем.).

считал их дозорными Германской империи, они сами чувствовали себя героями, первыми завоевателями, расчищающими путь на Восток. Джонатан Дебнер, унтер-офицер полка горных стрелков, возможно, в минуты слабости иногда и сомневался в фюрере, но он ни разу не усомнился в превосходстве германской нации, в ее судьбе, в блестящем, благословенном будущем немцев. Это была наивная, почти детская, ни на чем не основанная вера, и тем губительнее она была. Джонатан Дебнер раз и навсегда поверил в миф о крови и расе. Детство и юность он провел среди румын, которых он называл грязными свиньями и, без сомнения, так о них и думал. Узнав, что Августин Шернер пишет стихи по-словацки, Дебнер не хотел этому поверить. Он был убежден, что стихи можно писать только по-немецки, ну в крайнем случае по-французски. (Он побывал во Франции, и ему очень понравились француженки.) И поскольку Августин Шернер не хотел уступать и настаивал на своем, уверяя, что пишет стихи по-словацки, и даже осмелился заявить, что словацкий язык — язык поэтический, *eine dichterische Sprache*, Джонатан Дебнер обиделся и снова стал подозрительным.

— Quatsch, — пробормотал Джонатан Дебнер, — *eine drechige Sprache ist's*¹.

Он уже изрядно опьянел и грубо сказал Августину Шернеру:

— Ты не поэт, а дерьмо и свинья, как все остальные.

Августин Шернер испугался и замолчал. Унтер-офицер Джонатан Дебнер хотел выпить еще, но бутылка была пуста, тогда он схватил ее и бросил в угол. Затем низкорослый Дебнер встал, потянулся, мускулы на его лице угрожающе заиграли.

— Ты свинья и партизанская собака! — крикнул он Августину Шернеру. — Я тебя пристрелю!

Августин Шернер смертельно перепугался и готов был упасть перед немцем на колени. Но он был в одних теплых кальсонах, и ему показалось смешным и недостойным стоять на коленях в подштанниках. Джонатан Дебнер вдруг заржал, хлопая себя по ляжкам.

— Поэт! — кричал он в промежутках между взрывами хохота. — Посмотри-ка на себя, поэт, посмотри на

¹ Чепуха, дерьмовый язык (*нем.*).

свой вид! Осторожней, поэт, а то страх уже лезет у тебя из задницы!

Августин Шернер, очень чувствительный ко всему, что касалось его миссии поэта, был глубоко задет. Впрочем, эта чувствительность распространялась, быть может, лишь на то, что касалось его положения поэта. Но вместе с тем он боялся этого шалого немца, тот мог в любой момент схватить свой автомат, лежащий на стуле, и выпустить очередь. «Вот она, их культура! — мысленно негодовал Августин Шернер. — В этом вся их культура!» Он вспомнил, как год назад его вместе с другими литераторами пригласили в немецкое Общество по обмену культурными достижениями. Они ели там бутерброды, поднимали тосты за братство словаков и немцев и за нерушимый союз словацкой и немецкой культуры, а потом пили настоящий кофе. «Фу! — возмущался в душе Августин Шернер. — Вот оно, их хваленое братство, вот их культура!»

Но вскоре за Джонатаном Дебнером зашли солдаты, которые, очевидно, обыскивали другие квартиры в доме, и Августин Шернер облегченно вздохнул. У Джонатана Дебнера угрожающе дергались лицевые мускулы, он еще раз многозначительно заметил, что Августин Шернер вовсе не поэт, а вонючий пес и свинья, и посулил вернуться. Августин Шернер так и остался сидеть на постели, не в силах уснуть, настолько он перепугался.

Утром Шернер проснулся совсем разбитый, из носа у него текло, он все время чихал. Шернер не знал, что предпринять, наконец он решился и, набив рюкзак всем, что туда влезло, осторожно вышел на улицу.

По улице в сторону площади шли немецкие части. Барабаны и флейты пронзительно играли марши, ехали танки и мотоциклы с пулеметами, пехота шагала размеренным шагом, как заведенная машина, — все свидетельствовало о торжественном параде. Но на тротуарах стояло лишь несколько смельчаков. Знамена Германской империи и Словацкого государства развевались словно в пустоте: церемониальным маршем немцы шли в мертвом, завоеванном и покорном городе. За немецкими частями шли отряды боевой готовности в своей простой и строгой форме. Кто-то окликнул Шернера:

— Шернер! Августин!

Испуганный Шернер, спрятавшись за пожилого

мужчину, стоявшего рядом с ним, осторожно выглянул из-за его плеча. Он увидел Валера Феркодича, который маршировал в боевой шеренге. Валер махал Шернеру рукой и ухмылялся во весь рот, словно хотел бросить свое любимое: «Шикарно, а?» Среди марширующих Шернер узнал и пана Ульриха, важно и солидно шагавшего впереди своей скупины.

Отряды прошли, улица опустела и затихла, и лишь с площади долетали отрывистые слова команды. Августин Шернер поправил рюкзак на спине и зашагал, решив отправиться пешком в городок, где до восстания работал в аптеке, но тут кто-то неожиданно положил ему руку на плечо.

— Пан Шернер, — произнес чей-то знакомый голос. — Вот так встреча.

Перед Августином Шернером стоял депутат Феркодич, по-прежнему одетый в осеннее пальто, в охотничьей шляпе, как и тогда, когда Августин Шернер видел его в последний раз, только его лошадиное лицо еще больше вытянулось и побледнело.

— Что вы на меня уставились? — спросил архитектор Феркодич. — Я не дух, нечего на меня так смотреть.

— Я вижу, — сказал Августин Шернер, — вы живы и здоровы.

— Мне кажется, — возразил Феркодич, — в этом вашей заслуги нет, пан Шернер.

— Я был там, — возразил Августин Шернер, страстно желая, чтобы депутат Феркодич ему поверил. Ведь Феркодич мог сейчас с такой же легкостью уничтожить его, как и спасти. — Я был там, — повторил он, со страхом глядя на Феркодича, — но ничего нельзя было сделать.

Феркодич внимательно взглянул на Августина Шернера и как будто поверил ему.

— Что вы так дрожите? — спросил он и добавил: — Вы можете меня не бояться, пан Шернер. Я вас не выдам.

— Немного страшно, — ответил Августин Шернер. И, помолчав, жалобно проговорил: — Не знаю, что мне предпринять, пан депутат.

— Бросьте, — сказал Феркодич. — Оставьте в покое мое депутатство. Я всего лишь обыкновенный архитектор, архитектор Феркодич, с меня этого достаточно.

И неожиданно предложил Августину Шернеру отправиться вместе с ним.

— Если вы хотите скрыться, то в Братиславе это ничего не стоит сделать.

Августин Шернер немедленно согласился.

Феркодиц, который уже был снова депутатом, а не арестованным, хотел по каким-то соображениям в глазах Августина Шернера остаться лишь архитектором Феркодицем и в тот же день достал ему пропуск. На пропуске имя Шернера было написано по немецки: «Augustin Schörner».

— Так это будет вернее, — не без злорадства заметил Феркодиц.

— Да, так вернее, — смиренно согласился Августин Шернер.

6

Отряд боевой готовности надзбройника Филипа Грахо заполнил два вагона поезда, шедшего на Прегибы. Гардисты были в хорошем настроении. Венделин Брада, бывший грузчик пивоваренного завода, еще где-то в Банска-Бистрице раздобыл бутылку чистого спирта. Гардисты пили спирт, почти не разбавляя, орали песни и смотрели в окна поезда, который медленно тянулся по гористому краю, завоеванному, покоренному и, как они полагали, теперь лежащему у их ног. В карательной экспедиции против повстанцев они двигались вторым эшелонном, следом за немцами, прочесывая местность. Это была работа палачей, и они еще не привыкли к ней, хотя и быстро осваивались. Они делали еще слишком много ненужных движений, слишком много шума и театральных жестов. Но они «прочесывали» с энтузиазмом, в отместку за страх, который они испытали, когда началось восстание. Повстанцы перестали быть для них словаками, это был лишь ненавистный им сброд, сволочь, осквернившая доброе имя словаков.

— Мы должны смыть оскорбление кровью! — кричал надзбройник Филип Грахо. — Должны кровью смыть позор с новой истории нашего народа.

И они искупали и смывали свой позор кровью. Гардисты были защищены со всех сторон: от партизан их

защищали немцы, перед историей — надзбройник Филипп Грахо, а перед собственной совестью прочной броней им служила исповедь, во время которой им наперед были прощены все прегрешения. Они не подчинялись никаким законам и никаким нормам: ими руководила лишь их собственная необузданность. Они уже почуяли упоительную силу власти и страха, который сеяли вокруг. И это умножало их силу, решимость, жестокость. Они были псами, обученными хватать за горло; теперь их спустили с цепи...

Прегибы словно вымерли, когда в них вступил отряд боевой готовности надзбройника Филиппа Грахо. Нигде не было ни души, даже дети не выбегали посмотреть на маршировавших гардистов. Но Лемнитцкий, который шел за отрядом в черном непромокаемом плаще, хорошо знал свои Прегибы. Он знал, что из-за занавесок на них смотрят внимательные глаза — одни со страхом, другие с ненавистью, но все они смотрят враждебно. Прегибы были партизанским гнездом.

Лемнитцкий очень неохотно подчинился приказу ехать в Прегибы со специальным заданием. Он предпочел бы уклониться от него, незаметно исчезнуть и отправиться в Швейцарию вслед за своей валютой. Но он никак не мог выбраться из машины, работавшей на полных оборотах. Вероятно, ему не хватало должной решимости порвать со своей теперешней жизнью, выбраться из привычного течения. За несколько последних месяцев он постарел, на висках у него появилась седина. Чем дальше, тем больше утрачивал он былую страсть, честолюбие, даже жажду власти. В сердце у него угнездился какой-то тупой, мутный цинизм, бессильный и пассивный. В последнее время Лемнитцкий много пил, он пил в одиночку, тайком, целыми часами разглядывая в зеркале свое лицо. Ему никогда не удавалось опьянеть. От начальства не укрылась душевная депрессия Лемнитцкого: его послали в Прегибы со специальным заданием и еще затем, чтобы проверить Лемнитцкого. Он понимал, что ему не приходится выбирать, и предчувствовал, что его мечты о Швейцарии никогда не осуществятся. Он готов был выполнить все приказы точно так же, как готов был все бросить в случае непредвиденных препятствий. Он готов был на все, ибо ничто уже не имело для него значения.

Гардисты разместились в доме Рёслера. Первым к ним прибежал органист, предводитель местных глинковцев. Лицо у него было зеленоватое, весь он словно заплесневел: во время восстания он скрывался в подвале, где хранили картофель. Этот ничтожный человек был вне себя от ярости, имея все основания для мести. До появления в Прегибах отряда Филипо Грахо вся власть была в руках органиста. Правительственный комиссар бесследно исчез, учитель, предводитель местной глинковской молодежи, ушел с повстанцами в горы. Органист видел, как все рухнуло в один миг, когда в городе появились партизаны Янко Крапа. Ни один человек не выступил в защиту вождя, бога и нации. Некоторые просто скрылись, а остальные, когда-то с восторгом приветствовавшие день четырнадцатого марта, свободу и аризацию, теперь были готовы пожертвовать всем, лишь бы поскорей похоронить эту свободу, и все помогали повстанцам. Поэтому органист уже никому не верил и ежедневно ходил в немецкую комендатуру с доносами. Майор, командир немецкого батальона, разместившегося в Прегибах, не очень-то интересовался доносами органиста.

— Это не мое дело, — сказал он, — я солдат, а это политика. Дождитесь карательного отряда.

И вот теперь в городе появился отряд Филипа Грахо, и органист очень обрадовался. До сих пор он был диктатором, но не обладал властью; теперь вся полнота власти была в его руках.

В дом Рёслера он заявился с длинным списком подозрительных лиц, который составлял по ночам с педантичной и ядовитой аккуратностью. Тут были все старые бунтовщики-коммунисты, список которых он обнаружил в сейфе районного политического комиссара. Список оказался органисту неполным, и он внес в него еще много имен. Сюда попали и бывшие глинковцы, которые, по мнению органиста, предали нацию, оказывая материальную помощь повстанцам, были тут и аризаторы, откупавшиеся от партизан добровольными дарами. Сюда попали даже те, кто в свое время мало или ничего не внес в «золотой фонд», и, наконец, те, на кого органист по разным причинам имел зуб. Список состоял почти из двадцати страниц. Лемнитцкий листал его и морщился.

— А ты не пожалел сил, — насмешливо заметил Лемнитцкий. — Без малого весь город здесь.

Но Филип Грахо строго взглянул на Лемнитцкого.

— Ну и что ж, если весь город? Нужно будет — мы прочедем весь город, мы прочедем весь этот проклятый край.

— Я, я на э-том н-наст-таиваю, — сказал заика органист.

— Мне все равно, — ответил Лемнитцкий, и было видно, что он говорит правду. — Мне-то все равно. Да куда вы денете столько людей? В тюрьме поместится лишь несколько десятков. А что вы сделаете с остальными?

— Не-не-е... — начал органист. От волнения и усердия лицо его покрылось потом. Наконец ему удалось выдать из себя: — Н-нечего с ними миндальничать!

— Мы не собираемся с ними миндальничать, — сказал Филип Грахо и строго посмотрел на Лемнитцкого.

Заместитель начальника штаба поручил Филипу Грахо присматривать за Лемнитцким, и Филип Грахо делал это, даже не пытаясь ничего скрыть. Поручение заместителя начальника штаба давало ему власть над Лемнитцким.

— Мне все равно, — повторил Лемнитцкий. — Но ведь всех тоже не перебьешь! Здесь без малого весь город.

— Я н-на эт-том н-нас-т-та-иваю, — вновь закудахтал органист.

— Увидим, что можно и что нельзя, — сказал Филип Грахо. — Если я захочу, то очищу весь город, весь этот проклятый край. И я сделаю это, как бог свят!

— Делайте что хотите, — устало произнес Лемнитцкий. — Но сначала нам все-таки нужно просмотреть список.

В конце концов Лемнитцкий убедил их, и целых полдня они провели над списком. На некоторых именах они останавливались и начинали браниться.

— Н-на э-этом я н-нас-т-та-иваю, — кудахтал органист при каждой спорной фамилии.

И поскольку Лемнитцкому было на все наплевать, а органист, напротив, жил этим списком — это была его личная жизнь, — выигрывал большей частью органист.

В конце концов Лемнитцкий ограничился тем, что разбил подозрительных лиц на категории согласно полученным инструкциям. Некоторые фамилии он обводил красным карандашом: это означало смертный приговор. Синим карандашом он подчеркивал фамилии тех, кого ждали концлагеря в Германской империи. Зеленый карандаш знаменовал надежду, означавшую тюрьму в Прегибях. Целые семьи, целые улицы, весь город был опутан сетью разноцветных значков. Цветные значки отделяли будущих мертвецов от тех, кому выпала жизнь, будущих свободных людей от будущих рабов.

Когда покончили со списком, Лемнитцкий вздохнул с облегчением:

— Ух ты! Вот так работа!

— Настала историческая минута, — сказал Филип Грахо. — Бог смотрит на словаков.

А органист смешно дергал плечами, и на его зеленоватом лице появилось победное выражение.

— Мы н-не-е ст-та-нем с н-ни-ми м-мин-дальничать! — прокудахтал он.

— Можешь быть уверен, — пообещал Филип Грахо и опустил на список руку. — Теперь это мое дело.

Лемнитцкий устало поднялся.

— У меня болит голова, — пожаловался он. — Я пойду лягу.

«Пошел спирт хлестать, — подумал Филип Грахо, — опять пошел спирт хлестать». Филип Грахо не мог понять настроения Лемнитцкого. Он встретил Лемнитцкого на курсах гардистских командиров, и тогда Лемнитцкий показался ему твердым, решительным борцом, не терпевшим компромиссов и уступок. В то время он служил примером для молодого Филипа Грахо. Как мог Лемнитцкий так опуститься и забыть о своей миссии? Филип Грахо был уверен, что все командиры глинковской гарды выполняют особую национальную историческую миссию, и прежде всего был уверен, что эта миссия возложена и на него, Филипа Грахо, который когда-то был обыкновенным парнем из Подградья, незаметным человеком. Он мог стать пастухом или мелким воришкой, не сделай его «словацкий народ» своим избранником и защитником. Он был нуль, ничто, а теперь он надзбройник Филип Грахо, его боятся, ему подчиняются. Теперь он все — господин и повелитель жизни

и смерти, он всемогущ: ведь в нем воплотилась идея нации и он верен своей миссии.

— Спокойной ночи, — насмешливо сказал Филип Грахо, — желаю выспаться, брат Лемнитцкий.

Лемнитцкий не уловил насмешки, ему хотелось скорей уйти. Ноздри у него жадно раздувались, а все тело стало вялым и слабым в жажде алкоголя. Лемнитцкий прошел через спальню, где разместились гардисты скупиника Ульриха. Одни гардисты дрыхли, а другие играли в карты. Лемнитцкий увидел Валера Феркодица, который, сидя на подоконнике, курил сигару, и все лицо его словно говорило: «Шикарно, а?» Скупиник Ульрих лежал на кровати в чистой, выглаженной пижаме и смотрел в потолок. Венделин Брада преградил Лемнитцкому дорогу, уставившись на него мутным, пьяным взглядом.

— Когда же получка? — спросил он Лемнитцкого. — Когда платить будете?

Избавившись наконец от Брады, Лемнитцкий вошел в комнату, в бывший кабинет старого Рёслера. В комнате, полной хлама, в которой давно никто не жил, стоял старый рёслеровский письменный стол полированного дерева и нескораемый шкаф в углу. Лемнитцкий лихорадочно поискал в связке ключей ключ от шкафа, наконец нашел и открыл тяжелую стальную дверцу. В нескораемом шкафу выстроились бутылки, совсем не запывавшиеся и выглядевшие очень заманливо. У Лемнитцкого раздулись ноздри. Это был его неприкосновенный запас, который он так и не успел прихватить во время бегства и мечтами о котором он жил все это время. Бутылки, элегантные, хрупкие, со знакомыми иностранными этикетками, стояли в три ряда. Лемнитцкий осторожно сунул руку в шкаф и схватил первую попавшуюся бутылку. Откупоривать ее у него уже не хватило терпения, и он просто отбил горлышко и принялся жадно пить. Острыми краями он поранил себе губы, но, не обращая внимания на это, пил огромными глотками, пока лицо его не покраснело. Затем Лемнитцкий перевел дух, сел на старый плюшевый стул, чувствуя, как кровь приливает к голове и как стремительно и молодо разливается по всему телу. Эти минуты первого опьянения Лемнитцкий любил больше всего. Ему казалось в это время, что он снова молод,

что наступило утро и он просыпается свежий, отдохнувший, а впереди еще целый день, долгие каникулы и у него нет никаких обязанностей, его ждут одни веселые приключения. Потом он о чем-то вспомнил. Он направился в столовую, снял зеркало в позолоченной раме, рукавом стер пыль и поставил на письменный стол старого Рёслера. Затем запер дверь, выпил оставшееся вино и взглянул в зеркало.

— Бе-е-е,— проблеял он, высунув язык, потом встал и поклонился.— Добрый день, пан Лемнитцкий.— И резко вскинул руку для фашистского приветствия: — На страж, брат командир!

Они были здесь только вдвоем — он и его отражение в зеркале. Они беседовали, подтрунивали друг над другом, но любили друг друга.

— Ты,— говорил Лемнитцкий, указывая пальцем на свое отражение в зеркале,— последний человек, который меня еще интересует. Все остальные могут идти к черту, но этот человек еще немного интересует меня. Ты прохвост и негодяй! — говорил он своему двойнику.— Но, в общем, славный парень. Одна беда — ты каешься под горку.

И лицо в зеркале словно вторило ему, кивало головой, соглашалось:

— Под горку... под горку...

На некоторое время он отвернулся от зеркала, потому что ему хотелось снова выпить. Теперь он уже не так спешил, ключом протолкнул пробку в бутылку и пил медленно, смакуя вино. Затем снова вернулся к зеркалу, но уже не чувствовал себя таким молодым и задорным, он стал тяжелее и угрюмее: началась философская стадия. Лемнитцкий коснулся пальцем носа и долго, испытующе разглядывал свое лицо, потом нахмурился: лицо ему не понравилось. Он прижал пальцем нос посильнее, стараясь вызвать легкую боль.

— Это я,— бормотал он,— почему это я? Почему не кто-нибудь другой? И мне кажется, что в зеркале кто-то другой. Но я чувствую боль — значит, это я. Да, это я. Мать звала меня Артушко. «Артушко! — кричала она мне.— Артушко, иди домой, а то еще простудишься». Она всегда опасалась, что я заболēju, простужусь, и больше всего — воспаления легких. Надо полагать, что тогда я тоже боялся воспаления легких — ведь страх

заразителен. Но мама умерла, и после этого я уже ничего и никого не боялся, а все боялись меня. Да, это был я, меня все боялись, а я не боялся никого. Я был большой барин, а теперь — пьяница. Почему я больше не барин? Может, потому, что я чего-то боюсь? Ничего я не боюсь! Ничего и никого не боюсь. Что для меня смерть? Пустое место, ерунда! Все ерунда — и жизнь и смерть, — все сплошная ерунда! Вот как, пан Лемнитцкий, все ерунда! Пейте, пан Лемнитцкий, пей, брат командир, ведь все на свете ерунда. Я поднимаю бокал за вас, братья гардисты! На страж, братья гардисты! Шагом марш! Споем, братья гардисты, споем что-нибудь душещипательное, такое, чтоб весь мир содрогнулся от нашей песни! Ведь мы — как чума, братья гардисты, мы все заразим чумой, и после нас не останется ничего, кроме ужасной вони! После нас хоть потоп, как сказала одна высокопоставленная французская шляха!

Лемнитцкий уже кричал, корчил страшные рожи, и его быстрые глаза неуверенно скользили по собственному отражению в зеркале. Но внезапно он притих: кто-то постучал в дверь.

— Это я, — раздался за дверью щебечущий голос. — Это я, Бертика.

— Сгинь! — крикнул Лемнитцкий в сторону двери, и двинувшись с места.

Он понял, что это его жена, которую он не видел этой поры, как ему пришлось поспешно оставить Прёзы. Все это время он и не думал о ней грустить, а поминая, не очень горевал. Так мы думаем о всяких не очень нам дорогих предметах обихода, если лишены их.

— Убирайся! — крикнул он еще раз. — Скройся, говорю тебе по-хорошему!

— Но это я, — жалобно повторил щебечущий голос. — Это я, Бертика.

— Сгинь! — заорал Лемнитцкий и швырнул в дверь пустую бутылку.

Женщина замолчала, потом слышались не то вздохи, не то всхлипывания, затем тихие семенящие шаги: Бертика ушла. Лемнитцкий откупорил новую бутылку и мрачно посмотрел на свое отражение в зеркале: теперь в нем поднимались злоба и пьяное бешен-

ство. Он плюнул прямо на зеркало кровью из порезанной губы.

— И ты, Лемнитцкий, такая же свинья, как все остальные! Валяешься в этой грязи и боишься, что недолго тебе в ней валяться! Боишься? Да, боишься, очень боишься! У тебя полны штаны от страха, брат командир. Какой ты, к черту, командир! — бормотал он с грозным видом и всю ругал свое отражение, бил и бранился, подыскивая самые грязные выражения, которые когда-либо слышал, и бросал их в собственное лицо.

— Подлец! Подлец! — кричал он самому себе. — Жил недостойно и не можешь умереть достойно!

В заплеванном зеркале неясно отражалось лицо, это было его собственное лицо, но оно казалось расплывчатым, таинственным и далеким — это было чужое лицо.

— Подлец! — кричал Лемнитцкий этому чужому лицу. — Гнусная морда!

Лемнитцкий хотел встать за новой бутылкой, но у него не хватило сил. Внезапно его бешенство прошло, он ослабел и свалился на письменный стол старого Рёслера. Наступила последняя стадия — стадия жалости к самому себе. Он приподнялся еще раз, посмотрел в зеркало, но уже ничего не увидел из-за застилавших глаза слез. Они так и лились — обильно, в три ручья. Лемнитцкий снова упал на письменный стол и гнусаво зарыдал.

7

Майор Ганс Петер Юргенс с трудом подыскал себе в Прегихах подходящую квартиру. Он был до болезненности чистоплотен; грязь не только вызывала в нем отвращение, но просто пугала его. Увидев у солдата грязь под ногтями, майор отворачивался, ему становилось плохо и начинало тошнить. Пленных он обходил стороной, а одна мысль о том, что у него могут появиться вши, отравляла ему жизнь. Майор не был противником войны, напротив, он был убежден, что для немцев война — предначертание судьбы, высочайшее проявление превосходства их расы. Но один вид грязи, которую война несла с собой, бросал его в дрожь. Болезненная

чистоплотность была для майора настоящим бедствием и причиняла ему немало неприятностей.

Ганс Петер Юргенс родился в маленьком верхнесаксонском городке, в набожной семье, из поколения в поколение возводившей в культ благочестие, нравственность и чистоту. До самого последнего времени майору удавалось работать в штабах. Человек с приятной внешностью, тонким лицом, он был точным, аккуратным, никогда не сомневался в действиях начальства, во всяком случае, никогда на него не жаловался понапрасну. Помимо всего прочего, Юргенс был полезен и как теоретик — он в совершенстве изучил Клаузевица и полсотни его толкователей, хорошо разобрался в стратегии Людендорфа и в тактике Гинденбурга. Но в конце концов и Ганс Петер Юргенс не избежал своей судьбы — на фронте все больше не хватало офицеров, а отец его был, к несчастью, лишь мелким судебским чиновником. В штабе майора заменил какой-то юнец, имевший протекцию. Но Гансу Петеру Юргенсу и в голову не пришло заподозрить свое начальство, обвинить его в нечестных поступках и затаить злобу. Во всяком случае, майор не проронил об этом ни слова. Родина была в опасности и нуждалась в нем — для Ганса Петера Юргенса этого было вполне достаточно. Он любил свою родину, зелень ее лугов и красивые городки, словно созданные для открыток; он восхищался немецким духом, который создал новую, удобную и практическую природу, но прежде всего гордился тем, что он немец.

Когда Гитлер захватил власть, Юргенсу было двадцать лет и он состоял в тайной военной организации. Гитлера он приветствовал, хотя не совсем ему доверял, приветствовал вместе со многими своими сверстниками как человека, который избавит Германию от позора и унижений. И если вначале он сомневался и не доверял, то последующие годы убедили его. Чем поразительнее были успехи Гитлера, тем сильнее Юргенс верил, что в Гитлере воплотился германский дух, дух Великой Германии, и тем больше отождествлял он свою родину с ее самозванным фюрером, и его преданность родине превратилась в преданность фюреру. Юргенс получил одностороннее образование: обстоятельства заставляли его читать главным образом о выигранных и проигран-

ных войнах и о том, как следует вести войны, чтобы побеждать. Прочитанные книги донесли до Юргенса одну священную идею, звучавшую заклинанием: слава и величие Германии. У него не было причин сомневаться в том, что смысл жизни для немца — это слава и величие Германии, и он поверил в это. А поскольку именно Гитлер возродил величие и славу Германии, Юргенс поверил и ему. За последний год он слышал в штабах всякое: шепотом говорили, что великий фюрер — обыкновенный мошенник, шизофреник, выскочка-ефрейтор.

Ход событий на фронтах, афера Витцлебена и многие другие, менее значительные и почти невидимые признаки свидетельствовали о том, что шептуны, может быть, и правы. Но майор Ганс Петер Юргенс не мог покинуть Гитлера. Он не мог представить себе, что человек, возродивший величие и славу Германии, мог оказаться не тем, за кого себя выдавал. Гитлер был Призванным и Избранным, Воплощением Немецкого Духа. Ганс Петер Юргенс не мог отделить судьбу своей родины от судьбы ее фюрера, как не мог отделить свою судьбу от судьбы своей родины. Кроме того, здесь были и чисто практические соображения: майор Ганс Петер Юргенс был женат, имел двух сыновей-подростков, а его жена энергично и успешно управляла помещьем в Генеральном губернаторстве¹. Будущее его семьи было связано с будущим Германии, с ее величием и славой. Но не это было первой и главной причиной его преданности, по крайней мере сам он был убежден, что главная причина не в этом, но все-таки это было серьезное соображение.

Болезненно чистоплотному и аккуратному Гансу Петеру Юргенсу трудно было найти квартиру в Прегихах. Ни один дом не казался ему достаточно опрятным. Он совсем не знал страну, в которую так неожиданно попал; она казалась ему варварской и грязной. Крестьяне в кабаницах, от которых шел тяжелый запах овчины, вызывали в нем отвращение. Он не мог избавиться от этого запаха, ему казалось, что вся страна воняет овчиной. Если кто-нибудь из местных жителей

¹ Так в гитлеровской Германии официально именовалась территория Польши, оккупированная фашистами.

приближался к Гансу Петеру Юргенсу, его тонкое лицо невольно передергивалось. Мысль о том, что ему придется провести в этой стране длительное время, была для него невыносима. Юргенс писал жене плаксивые письма, в которых жаловался главным образом на грязь, вонь, туманы и дождь, от которых страдала его утонченная натура.

В конце концов он поселился у старого Мелихера. В квартире царили подчеркнутое достоинство, покой и чистота. Старый Мелихер знал немецкий язык. Постепенно Ганс Петер Юргенс познакомился и сблизился со старым учителем. Равномерная, устоявшаяся жизнь, протекавшая по неизменным правилам, старомодная солидность учителя напоминала майору его отца, и Ганс Петер Юргенс был счастлив, открыв этот спасительный островок в море грязи и хаоса. По вечерам, когда майор возвращался из местной комендатуры, они усаживались у печки и беседовали. Но оба старательно избегали говорить о происходящих событиях. Учитель рассказывал об истории денег, Ганс Петер Юргенс — об истории войн; в истории денег и в истории войн было много общего. Рассматривая редкие монеты нумизматической коллекции старого Мелихера, Ганс Петер Юргенс мог представить себе, что это жалованье, выплаченное солдату за тот или иной поход, или часть денег, которыми было оплачено предательство. Старые монеты словно подтверждали все, что он читал о правилах ведения военных кампаний, об интригах и ошибках знаменитых полководцев. Расходились собеседники в основном вопросе: учитель был убежден, что золотой век человечества кончился в то время, когда перестали платить золотом, звонкими монетами. Бумажные деньги он ненавидел, считая их свидетельством глубокого упадка цивилизации. Майор, напротив, был уверен, что цивилизация неуклонно развивается: военная техника совершенствуется с удивительной быстротой, меняется тактика и стратегия, да и во всем, что касается войны, можно наблюдать неуклонный и быстрый прогресс. В военных делах развитие цивилизации было наиболее очевидным, самым явным и поразительным: войны Наполеона и франко-прусская война уже стали таким же далеким прошлым, как, скажем, походы Александра Македонского и сражение Сципиона с Ган-

нибалом. В этом майор видел доказательство успешного развития цивилизации. Ведь цивилизацией для него прежде всего была Германия, ее величие и слава. Величие и слава Германии были роковым образом связаны с военной техникой, с армией, с тактикой и стратегией, с войной.

Учитель ненавидел войну и от разговоров о ней уклонялся. Он понимал, что благосклонностью немецкого майора он пользуется лишь случайно и она в одно прекрасное время может превратиться во вражду и ненависть. Майор считал старого Мелихера любезным и порядочным человеком. Однако старик казался майору выходцем из другого века, словно минувшие столетия каким-то чудом сохранили его для потомства как музейную редкость. Гуманизм Мелихера, его непоколебимая вера в положительные ценности были не только смешны майору, но и (в этом Юргенс не признавался себе) явно раздражали его. И чем больше он сближался со стариком Мелихером, тем сильнее чувствовал в нем противника. Мелихер уклонялся от опасных тем, избегал их, его невозможно было заставить говорить на эти темы, но майор чувствовал, что за мягкой податливостью старика таится что-то упорное, мужественное и непокорное. Однажды вечером майор напрямик спросил учителя, что тот думает о немцах.

— Не знаю, — ответил Мелихер, — я над этим никогда не задумывался.

— Вы ненавидите нас? — допытывался Ганс Петер Юргенс.

— Я ненавижу войну, — сказал Мелихер.

Теперь он уже твердо знал, что ему не избежать столкновения с майором.

— Значит, вы должны ненавидеть и нас, немцев. Война и немцы неотделимы друг от друга, — заметил майор. И немного погодя добавил: — Во всяком случае, для вас это одно и то же.

Мелихер некоторое время размышлял, поглаживая свои холеные седые усы, пальцы его слегка дрожали.

— Не думаю, — произнес он наконец. — Я не думаю, что немцы и война — одно и то же.

— Для вас это должно быть одно и то же. Мы пришли к вам, и с нами пришла война, — сказал майор, пристально глядя на Мелихера.

— Нет,— ответил Мелихер.— Не думаю, что это так. Ни один народ не выбирает войну — война выбирает его. Это стихийное бедствие: народы отданы ему на произвол, принесены в жертву.

— Мы сами выбрали войну,— с гордостью заявил Ганс Петер Юргенс.— Мы, немцы, не побоялись выбрать войну. Не побоялись и выбрали ее.

— Не думаю,— сказал Мелихер и опустил глаза, не выдержав пронизательного взгляда майора.

— Мы выбрали себе войну,— повторил майор.— В этом нет сомнения.

Старый Мелихер слегка пожал плечами.

— Все может быть,— сказал он.— Может, так оно и было.

Он решил отступить, пока не поздно. Но майор не давал ему покоя, решив вытащить на свет божий то упорное и постоянное, что скрывал от него старик; он решил раскрыть все это и опрокинуть веру и представления Мелихера. Он был убежден, что стоит Мелихеру раскрыться и стоит ему, Гансу Петеру Юргенсу, коснуться обнаженного места, и все прогневшие, смешные взгляды старика мгновенно рухнут.

— Так оно и есть,— подтвердил Ганс Петер Юргенс.— Можете мне поверить, что так оно и есть. Немцы и война — одно и то же. Если вы ненавидите войну, то, значит, ненавидите и нас, немцев. Немцы и война неотделимы, они принадлежат друг другу.

— И все же я буду их разделять,— возразил старый Мелихер и еще ниже опустил голову.

— Это смешно,— сказал майор.— Нельзя отделять немцев от войны. Это просто смешно!

Старый Мелихер опять слегка пожал плечами и замолчал. Но Ганс Петер Юргенс разошелся вовсю и не мог остановиться. Что-то заставляло его обнажать скрытое сопротивление, которое он чувствовал в старике, чтобы затем сломить его одним ударом.

— Вы ненавидите войну,— сказал майор,— значит, ненавидите и немцев. Почему вы нас ненавидите?

— Я не сказал, что ненавижу немцев,— защищался Мелихер.

— Хорошо. Тогда почему вы ненавидите войну?

— Она приносит смерть, несчастье, беспорядок.

Майор Ганс Петер Юргенс презрительно усмехнулся.

— Смерть...— сказал он,— что ж, естественно. Война и смерть — самые естественные вещи нашего бытия. («Нашего бытия»,— сказал Ганс Петер Юргенс, и потому, как он произнес это словечко — «Dasein»,— можно было понять, что он презирает это слово и смеется над ним.)

Немного погодя майор добавил:

— Но почему вы утверждаете, что война — несчастье? Просто в вас чувствуется человек с неразвитыми или плохо развитыми инстинктами: в вас говорят страх и трусость. Почему война — несчастье? Лично для меня она величайшее благо: она помогает мне подавлять низменные инстинкты, расширяет сферу деятельности моего духа, позволяет мне почувствовать собственную силу, возвышает меня над обыденностью. Человек живет полной жизнью в высшем смысле слова лишь в необычайной обстановке. Война же есть не что иное, как совокупность весьма необычных обстоятельств.

Ганс Петер Юргенс встал. Он говорил быстро, стремительно, словно убеждая не только старого Мелихера, но и еще кого-то. Учитель молчал, с опаской наблюдая за майором, расхаживающим по комнате.

— А беспорядок,— продолжал майор,— так на этот счет вы уж совсем неправы. Вы видели, как маршируют наши солдаты? Война — это величайший порядок, высочайшая степень организованной цивилизации. Мы, немцы, подняли ее до этой ступени, и в этом для нас залог будущего.

— Мне это непонятно,— тихо сказал старый Мелихер.

— Да что тут непонятного? — спросил Ганс Петер Юргенс.

Его тонкое лицо слегка порозовело, голос звучал звонко, но во взгляде сквозила неуверенность, словно Ганс Петер Юргенс стал сам меньше верить в свои убеждения с того момента, когда он их так ясно сформулировал.

— Мне это непонятно,— повторил старый Мелихер.— Я никогда не размышлял о войне, пожалуй, я боялся размышлять о ней.

— Это все потому, что вы не немец, — сказал Ганс Петер Юргенс.

Он сказал это почему-то жестче и презрительнее, чем хотел, и рассердился на себя.

— Все может быть, — тихо ответил Мелихер. — Возможно, я действительно не понимаю потому, что я не немец, как вы.

— Оставим это, — с досадой заметил Ганс Петер Юргенс. — Мы все равно не договоримся.

— Вы правы, — с облегчением сказал старый Мелихер. — Лучше оставим этот разговор.

Они замолчали. Старый Мелихер время от времени подкидывал в печурку дрова. Майор послушал сообщения по радио, но вскоре сердито выключил приемник. Новости были мрачные и зловещие. Усевшись в кресло, Юргенс попытался читать, но и читать сегодня ему не хотелось. (Он мог бы, конечно, полистать свою записную книжку с заметками к книге, которую собирался написать. Книга должна была называться «Танки — революция в стратегии и тактике». Майор начал собирать материалы к книге еще во время кампании в Польше и Франции. Тогда впервые была проверена на практике эффективность молниеносной войны, которую Ганс Петер Юргенс приписывал главным образом танковым войскам. Он остроумно обобщил опыт первых кампаний. Ему казалось, что именно танковые войска, обладающие почти неограниченными возможностями маневра и внезапных концентрированных ударов, своей всепокрушающей силой больше всего отвечают немецкому духу. По мнению Ганса Петера Юргенса, единственным серьезным препятствием для танков были слишком большие пространства, по которым им приходилось передвигаться. Путем сложных расчетов он попытался определить границы возможности танковых войск и размер территории, которой они могли бы овладеть без риска. Майор был уверен, что своей книгой он окажет неоценимую услугу будущему Германии. С этой точки зрения он осторожно критиковал африканскую кампанию Роммеля и некоторые маневры армии Манштейна на Востоке. Юргенс утверждал, что они поглотили слишком много пространства, нарушив этим нормальное функционирование всего организма танковых войск. Но сейчас будущая книга казалась ему

особенно отвратительной. Он не мог и думать о ней, не чувствуя сильнейшего раздражения и еще какого-то неясного ощущения — это был не страх, а, скорее, предчувствие, что весь труд его напрасен, бесполезен и, пожалуй, даже смешон.)

Майор стоял у окна, наполовину скрытый шторой, и смотрел в темноту. Он видел, как свет электрического фонарика прыгает по стене противоположного дома, словно ощупывая ее. В лучике света серебристо поблескивали капли дождя. Это напоминало майору что-то очень далекое: юность, лес, тайные сборища штурмовых отрядов. Он задумался: то были голодные, но великолепные годы, все было еще впереди. Они чувствовали, что в них бушевали неиспользованные силы, переполняли их. И тогда еще они знали, что когда-нибудь используют эту скопившуюся, сдерживаемую силу, когда-нибудь завоюют для себя жизненное пространство. Тогда им было все ясно, а теперь? Ганс Петер Юргенс вздохнул и отвернулся от окна. В передней внезапно раздались тяжелые шаги, распахнулись двери, и в них показался надзбройник Филип Грахо. (Майор видел его в местной комендатуре. Тогда у Филипа Грахо были грязные ногти, и это вызвало у майора отвращение.)

Филип Грахо обернулся назад и крикнул:

— Он здесь, старый пес, взять его!

Но тут майор Ганс Юргенс, движимый чувством отвращения, вышел на середину комнаты и приказал изумленному надзбройнику покинуть помещение.

— Так не входят в квартиру, где живет немецкий офицер, — отчитал Ганс Петер Юргенс надзбройника Филипа Грахо.

Тот с растерянным видом указал на старого Мелихера.

— Это опасный человек, — оправдывался он, — большевик.

— Вы дурак! — ответил майор и брезгливо посмотрел на грязные ногти надзбройника. — Вы дурак. Вы даже не подумали отдать честь, входя в квартиру немецкого офицера.

За спиной Филипа Грахо виднелись лица гардистов. Филип Грахо растерянно топтался в дверях.

— Очистить помещение! — крикнул уже взбешенный Ганс Петер Юргенс, и Филипу Грахо пришлось подавить свою злость и уйти. Все это время старый Мелихер неподвижно сидел у печки, лишь слегка побледнев.

— Благодарю вас, господин майор, — сказал он, когда Филип Грахо ушел. — Благодарю.

Хмурый Ганс Петер Юргенс ничего не ответил и, даже не взглянув на Мелихера, не проронив ни слова, отправился спать.

С тех пор майор начал избегать старого Мелихера. Едва придя из комендатуры, он сразу ложился и целыми часами читал в постели. Через две недели его перевели куда-то в Румынию. В Прегибы прибыли новый командир и новый батальон. Командиром был совсем молодой оберштурмфюрер, по имени Эрих Янке. Батальон был карательный, батальон СС. К старому Мелихеру на квартиру стал унтер-офицер Джонатан Дебнер, переведенный в карательный батальон по собственному желанию.

Надзбройник Филип Грахо снова пришел за старым Мелихером; на этот раз он заполучил его.

8

Марек Угрин с трудом привыкал к неудобствам той жизни, которую теперь ему приходилось вести, — к тяжелым маршам, к беспорядочной еде, недосыпанию, к холоду и дождю. От природы он был слабого, тщедушного сложения. Физическую неприспособленность ему приходилось возмещать огромным напряжением воли. Это была старая борьба — со своими недостатками, слабостью, страхом, робостью он боролся с детства. Сейчас эта борьба приняла особенно острый и жестокий характер: поддаться слабости значило погибнуть. Все скрытые силы организма помогали ему сейчас. В человеке подчас таятся огромные силы, о которых он и не подозревает и которые дают о себе знать лишь в случае необходимости, и он может выдержать неимоверно много. Марек стал сильнее, заметно окреп, кожа на его лице огрубела, черты лица обострились. Как-то Марек

ночевал на сеновале и потерял очки. С той поры он ходил, как слепой, глаза быстро уставали, и Марек беспрестанно щурился.

Его восторженно романтическое настроение первых дней восстания улетучилось, но он все еще носил в сердце образ свободы. Ему казалось, что он сейчас стал ближе к свободе, что все неудобства и страдания делают ее еще реальнее и доступнее. Мареку не с кем было об этом поговорить, его окружали грубые, суровые люди. Да и не так уж много времени оставалось на размышления. Но мысли о всеобщей свободе, о свободе всех угнетенных и несчастных, о свободном мире без всяких войн не покидали его.

Ему удалось поговорить с Олиной. Однажды они проходили мимо Лазенце, и Марек забежал к ней на несколько минут. Олина с материнской гордостью показала ему сына. Марек попытался проявить интерес к ребенку, хотя никакого интереса у него не было.

— На кого он похож? — спросил Марек.

Олина смутилась, покраснела. Маленький Марек походил на капитана Лабуду. Уже и сейчас у него был широкий, упрямый лоб и энергичный подбородок.

— Здоровый мальчик, — сказал Марек.

— Здоровый, — ответила Олина, — я им очень довольна.

— Это хорошо, — сказал Марек, — хорошо, что ты довольна.

— Да, — повторила Олина. — Я им очень довольна.

В каморке было тесно. Марек сидел на краешке кровати и не знал, что сказать. В самые тяжелые минуты он всегда представлял себе, как придет к Олине и скажет ей все, что у него на сердце, и она поймет его. Сейчас он сидел здесь и не находил нужных слов. Ему казалось, что настоящая Олина где-то далеко, а перед ним сидит чужая, незнакомая женщина, которая лишь внешне напоминает прежнюю Олину и решительно ничего не понимает.

Марек сидел молча, моргая близорукими глазами, и смотрел на огонек коптилки, фитилек которой плавал в бараньем сале.

— Светильник я сама сделала, — сказала Олина. — Я теперь на этом островке главный поставщик коптилок. Это как новая робинзонада, правда?

Олина застенчиво улыбнулась — она хотела выразить свою благодарность ему за все, что он для нее сделал. Но благодарность — тяжелое, обременительное чувство, в нем слишком много принудительного, оно не может быть ясным и естественным. Однако Мареку было еще хуже, потому что ему нужна была не благодарность, а любовь. Правда, Марек говорил, что ему достаточно полного взаимопонимания, но Олина знала, что он хочет от нее любви, преданности и всего, что только может дать женщина. Поэтому Олина чувствовала себя виноватой, и приход Марека тяготил ее.

— Да, — сказал Марек, — ты Робинзон, а я твой верный Пятница.

Он улыбнулся, но улыбка получилась невеселая.

— Ты не раб, — ответила Олина, — а свободный человек.

Марек обиделся. Он слишком болезненно реагировал на все, что Олина делала, говорила, на ее улыбку, на нахмуренные брови, на малейшую перемену в выражении лица. Из этих мелочей он делал не всегда правильные выводы.

— Я тебе больше не нужен?

— Я этого не сказала.

— Но ты так думаешь, — упорствовал Марек. — Ты наверняка так думаешь.

— Откуда ты знаешь, что я так думаю?

— Я это вижу.

Олина сдвинула брови, полная нижняя губа слегка оттопырилась: Олина сердилась. Ей показалось, что Марек и вправду ей в тягость — у нее есть сын, и Марек ей не нужен, как не нужны и все остальные люди. Коптилка чадила и мигала, и Олина привычным движением поправила огонек. Затем она склонилась над сыном, мирно посапывающим во сне.

Марек встал.

— Ты уже уходишь? — спросила Олина, и ему показалось, что она вздохнула с облегчением.

— Ухожу, — сказал Марек. — Не хочу быть тебе в тягость.

— Ты мне не в тягость, — возразила Олина, но слова ее прозвучали не слишком убедительно. — Я рада, что ты пришел.

— Вижу я, как ты рада, — мрачно отозвался Марек.

— Ну, значит, не рада! — рассердилась Олина.

— Вот это-то я и хотел услышать, — произнес Марек.

Он открыл дверь в сени и медленно, ощупью — он почти ничего не видел в полутьме из-за своей близорукости — вышел. Олина выбежала за ним, схватила его за рукав солдатской шинели, промокшей от дождя.

— Не смей так уходить, — умоляюще сказала она. — Не смей так уходить, Марек. У меня ведь никого нет, кроме тебя и сына. Ты для меня самый близкий человек, Марек, ты не можешь так уйти.

Марек посмотрел на Олину изучающим взглядом:

— Ты говоришь правду?

— Я не говорила бы, если бы не чувствовала этого, — ответила Олина.

— Хорошо, — согласился Марек. — Я так и буду думать.

Он протянул ей руку, Олина потянулась к нему, Марек поцеловал ее в губы, мягкие и свежие.

— Ты бы мог побыть еще немного, — предложила Олина. — Я и в самом деле рада, что вижу тебя.

— Нет, — отозвался Марек, — мне пора.

Он мог побыть еще немного, разумеется, мог бы. Но он хотел уйти, унеся с собой воспоминание об этих мягких, свежих губах и открытом взгляде серых глаз, в которых для него вновь блеснула надежда. Марек боялся, что в следующий миг все вдруг рухнет. Он боялся за Олину, боялся Олины и своей подозрительности, которая гнездилась в его душе. Знал Марек и о том, что уходит, снова полный сомнений, что снова будет мучиться и страдать. Но он страшился правды, правда могла бы поглотить надежду, которую он поддерживал в себе с таким трудом. Марек оглянулся еще раз. Олина стояла на пороге, он неясно различал ее сквозь плотную пелену дождя. Внезапно у него мелькнула мысль: «А что, если я вижу ее в последний раз?» Сердце у него неровно забилося, он замедлил шаг. «Пожалуй, нужно вернуться, — подумал он, — пожалуй, нужно вернуться и сказать ей что-нибудь значительное, незабываемое, такие слова, которые бы навсегда остались у нее в памяти». Но он знал, что таких слов нет. Марек прибавил шаг, больше он не оглядывался.

Все на этом и кончилось — и в нем остались жить старые сомнения и теплилась какая-то надежда. К счастью, сейчас все это не мучило его, как когда-то. Он не мог больше заниматься лишь собой, приходилось подчиняться внешним обстоятельствам, которые постоянно заставляли его действовать: маршировать, нести караул, добывать пропитание и сухие носки, бороться с опасностью и мириться с неудобствами партизанской жизни. Лишь по вечерам, ложась спать, он иногда вспоминал Олину. Это было похоже на легкий вздох, тоскливое чувство, смешанное с приятным воспоминанием о свежих, мягких губах. Потом побеждала усталость, и Марек засыпал.

Отряд капитана Лабуды находился в непрерывном движении. Едва солдаты успевали где-нибудь остановиться, едва успевали развести костры, сварить пищу и побить вшей в белье, как их догоняли немцы, обстреливали из горных минометов, и снова приходилось двигаться дальше. Капитан Лабуда искал место, труднодоступное и вместе с тем не очень отдаленное от коммуникаций, деревень и горных поселков, где можно было достать продовольствие. Капитан был хорошим солдатом, но о партизанской войне имел весьма туманное понятие. Партизаны в представлении капитана Лабуды поджидали врага, укрывшись в засаде, нападали на транспорты противника, а затем уходили с трофеями в горы. Он убедился, что все это гораздо сложнее. Вот уже две недели они шли, голодали и испытывали нечеловеческие лишения, но им так и не удалось напасть хоть на одного немца. Наоборот, фашисты, которые заняли горные деревушки и все подступы к горам, у которых всюду были свои глаза — самолеты-разведчики, — играли с Лабудой как кошка с мышкой. Люди измучились, стали злыми и раздражительными, часто ругались между собой и втихомолку роптали на капитана. Как-то раз капитан Лабуда услышал их раздраженные голоса.

— Что вам не нравится? — хватаясь за револьвер, спросил он.

Солдаты притихли, они еще побаивались капитана, но взводный Коза все-таки подал голос.

— Мы хотим воевать, а не бежать без оглядки. Вот что нам не нравится, капитан, — сказал взводный, — хоть тресни.

— Ах, если дело только в этом, — с облегчением вздохнул капитан Лабуда, — если дело только в том, что вы хотите воевать, то не огорчайтесь. Еще навоюетесь, — пообещал он им, — еще навоюетесь так, что вам жарко станет.

Но капитан Лабуда неплохо ладил со своими солдатами, он был одним из них, пил и ел с ними, разделял все трудности похода и отличался только тем, что переносил все невзгоды молча, безропотно, всегда оказывался в самых опасных местах — он был первым среди равных. Ему тоже приходилось нелегко: он страдал без спиртного, к которому пристрастился за последнее время. Иной раз ему так хотелось пропустить хоть глоток паленки, что он готов был все бросить и бежать ради этого несколько десятков километров. Они везли с собой бутыль контушовки, прихваченную по дороге еще в Прегибках. Но солдат, правивший лошадьё, перевернул повозку, и бутыль разбилась. И не успели солдаты сбежаться, как уже все вытекло на землю. В воздухе остался лишь дразнящий запах, исходивший, словно назо, из лужи дождевой воды. Капитан тогда ничего не сказал, но запах контушовки ему так запомнился, что разбитая бутыль несколько раз даже снилась ему.

Началась третья неделя отступления. Отряд вышел на поляну, где капитан Лабуда решил разбить лагерь. Полянка, отрезанная от всего мира труднопроходимым лесом, находилась довольно далеко за Черной Браной. На ней стояло три сенных сарая; раз в год крестьяне из разбросанных высоко в горах хуторов спускались сюда косить траву. Все в отряде уже заранее радовались отдыху, возможности обсушиться и согреться, радовались сеновалам, которые в их глазах выглядели вершиной комфорта. Но, придя на поляну, они увидели, что сарай заняты. Была уже ночь, отряд капитана Лабуды остановили часовые. Солдатам пришлось убраться с поляны и провести ночь прямо под деревьями.

Наутро капитан Лабуда и взводный Коза отправились к сараям. Капитан понимал — его отряду непременно нужен отдых, но он не хотел оставаться здесь долго, раз сеновалы были заняты. Лабуде хотелось лишь, чтобы отряд хоть немного пришел в себя, набрался сил, да и самому ему нужно было немного подумать, решить, что делать дальше.

У среднего сарая, заложив руки за спину, стоял толстяк, издали наблюдая за происходящим. Это был комиссар Бенде.

— Только его нам не хватало, — сказал капитан Лабуда взводному Козе, — нам не хватало только этого комиссара.

Но делать было нечего, и капитану Лабуде пришлось, несмотря на свою неприязнь к комиссару, подойти к нему и попросить о помощи.

Комиссар хотел выглядеть достойно и важно, и не его вина, что выглядел он смешным.

— Ах, это вы, капитан, — произнес он, слишком старательно выговаривая слова. — Сколько у меня радости!

— Зато я радости не испытываю, — отрезал капитан Лабуда. — Если говорить честно, мне радоваться нечему. Вы захватили сараи у нас под носом, и нам пришлось ночевать под дождем.

— Вот как, — сказал комиссар Бенде, широко разводя руками, словно собирался заключить капитана Лабуду в свои объятия. — Кто захватил? Три домика предназначены для нас. Такова диспозиция.

— По-вашему, — запальчиво сказал капитан Лабуда, не скрывая своего раздражения, которое вызывал в нем комиссар, — по-вашему, мы должны подохнуть, так, что ли?

— Я этого не сказывал, — возразил комиссар Бенде. — Но такова штабная диспозиция. Эти домики предназначены для нас.

Капитан Лабуда едва сдерживался, чтобы не кинуться на комиссара и не избить его до крови.

— Со мной пришли люди, которые хотят воевать, — сказал капитан. — Им нужен отдых.

А взводный Коза добавил:

— Диспозицию себе выдумал, черт пузатый! Плевать нам на твою диспозицию, невидаль какая!

— Не кричи, — обиделся комиссар Бенде. — Ты не командир. Командир будет кричать.

— Что же прикажете нам делать? — спросил капитан Лабуда.

Комиссар Бенде подумал, сложив руки на толстом животе, и, играя пальцами, ответил:

— Надо соединять.

— Что соединять?
— Наших ребят и ваших ребят. Всех соединять.
— Соединяться?
— Да, да, капитан. В единстве большая сила.
— Этого еще нам недоставало! — презрительно скри-
вился взводный Коза.

— Так дело не пойдет, — ответил капитан Лабуда.
— А почему, капитан? Ты совсем хорошо можешь
работать. Наши ребята и ваши — будет очень хорошо!
— А ты будешь старшим и станешь нами командо-
вать? — спросил взводный Коза. — Маршал Толстое
Пузо!

— Ты не смейся, — строго оборвал его комиссар Бен-
де. — Я в своем брюхе не виноват, а ты ответишь за свой
дурацкий язык, что мелет всякий вздор.

— Ты мне не грози, — разозлился взводный Коза. —
Не то сейчас заработаешь!

Капитан Лабуда одернул его:

— Не суйся не в свое дело!

Выбирать не приходилось — как ни противен был ко-
миссар, капитан понимал, что тот предлагает ему ка-
кой-то выход из положения.

— Да, да, — сказал довольный комиссар Бенде. —
Нужно соединять, и тогда твои ребята придут в наши
домики.

— Хорошо, я подумаю, — ответил капитан Лабуда.

Он решил — пусть дело обсудят сами ребята, и как
они постановят, так и будет.

— Да, да, капитан, — кивнул ему комиссар Бенде. —
Нужно подумать. — Неловким движением он схватил
руку капитана и осторожно пожал ее. — Ты можешь не
бояться моей команды, — добродушно сказал он. — Ты
получишь самостоятельность. — И он принялся объяс-
нять капитану на своем ломаном и почти непонятном
языке, что хорошо бы сделать подразделение Лабуды
разведывательной группой, которая действовала бы по-
чти самостоятельно.

— У тебя будут совсем свободные ноги, ты будешь
свободно маневрировать, — сказал он капитану.

— Хорошо, я подумаю, — повторил Лабуда.

Он вернулся к отряду и объяснил солдатам положе-
ние. Капитан ничего не скрыл — ни своей неприязни к
комиссару, ни невозможности найти другой выход. Сол-

даты недолго колебались. Напрасно взводный Коза насмехался над ними и вовсю честил «трусливыми душонками» и «дохлятиной», солдаты слишком устали, и сараи с сеном казались им избавлением, им хотелось спать, спать и спать. Дальше видно будет, что делать, они что-нибудь да придумают, а сейчас — спать, зарыться в сено и спать.

Около полудня солдаты пришли в партизанский лагерь. В ноздри им ударил запах мясного супа, сена и человеческого пота. И все с облегчением вздохнули: наконец-то!

Наконец-то Марек лежал на сене в сарае, который оказался битком набит людьми. Было тесно, но для Марекка это уже не имело никакого значения. Наконец-то! Он вытянулся и с облегчением почувствовал, как ему хорошо. «Нужно бы разуться, — подумал Марек, — без обуви спать удобнее». Но у него уже не хватало сил пошевелиться; едва он лег, как словно провалился в глубокую яму, и над ним опустилась густая темнота. Тьма спускалась все ниже и ниже. Марек хотел подумать еще о чем-то, хотел вспомнить что-то, но темнота внезапно целиком охватила его.

9

Наконец взошло солнце. Бледное и очень далекое. Ночью ударил мороз и покрыл лес белой шапкой инея. От негреющего солнца исходили холодные, леденящие лучи. Но оно появилось, и этого было достаточно, чтобы вместе с ним после мрачных и безнадежных дней появилась и надежда. Люди дышали чистым горным воздухом, и вместе с ним словно приходили новые силы. Проснувшись утром, они внимательно прислушивались: иногда ветер доносил звуки очень отдаленной канонады. Все перебирали названия населенных пунктов, где, по их мнению, мог проходить фронт: все были нетерпеливы в своей надежде.

. Однажды в великолепную звездную морозную ночь сгорел охотничий домик. Никто не знал, как возник пожар, все спали. Проснулись уже среди дыма и огня. Спаслись лишь те раненые, кто как-то мог передвигаться, остальные сгорели. Спасти ничего не удалось, домик

был весь из дерева, высохшего за десятки лет. Огонь полыхал вовсю, к нему невозможно было подступиться, нечего было и думать хоть как-то унять его. Те, кто стоял ближе к огню, слышали крики раненых, а потом все смолкло, кроме веселого треска пламени. Через час с домиком было покончено: еще раз высоко взметнулись огненные языки — и внезапно упали. Спасшиеся от огня стояли у живой изгороди и растерянно смотрели на догорающие остатки. Неужели это возможно? Может, это лишь мимолетный страшный сон? Может, стоит только протереть глаза — и снова появится уютный домик с резной мебелью и каминами, от которых исходит запах горящих сосновых поленьев? Но все случившееся было правдой, напрасно люди протирали глаза и не хотели верить. Все было правдой — домика как не бывало, остались лишь догорающие балки. И где-то там, среди огня, остались люди, которые были уже не людьми, а просто пеплом. То, что слышали спасшиеся, было действительно криками людей в предсмертной агонии.

— Это ваша работа, — сказал Кремпашский Янко Крапу.

— А как же, — грубо поддакнул Шведа. — Подпалил кто-то из вашей беспечной банды. Разумеется, ваша работа.

Янко Крап не ответил, в эту минуту он испытывал только зверское желание броситься на них и вцепиться им в горло. Тесной кучкой, немного поодаль, стояли Кремпашский, Шведа и Павел Йозеф Яник. И все они жалели домик, жалели себя, жалели утраченный комфорт и злились на тех, кто там сгорел, — раненые солдаты для них были скотом, грязным сбродом. Янко Крап знал, что они думают именно так, и ему хотелось броситься на них и перегрызть им горло. Еще никогда в нем не скопилось столько ненависти, как в эту минуту. Он думал, что теперь ему не избавиться от этой ненависти и что она может заполнить весь мир. Янко Крапу страшно хотелось броситься на этих людишек, на этих смердящих, грязных гиен. Он искал самые страшные проклятия, чтобы хоть как-нибудь облегчить душу, он задыхался от ненависти, он не находил таких проклятий, все человеческие слова были бессильны по сравнению со страшной, звериной ненавистью, которая поднялась в нем.

Эма стояла возле Янко Крапа, на ней были лишь свитер и спортивные брюки, и сейчас, когда огонь догорел, ей стало холодно.

— Вот оно, ваше будущее,— сказала она Янко Крапу.— И как торжественно оно сгорело!

— Отстаньте,— злобно буркнул Янко Крап.

— А как они кричали! — продолжала Эма, стуча от холода зубами.

— Замолчите! — взорвался Янко Крап.

— Мне никогда не забыть этих криков,— сказала Эма.— И во сне я буду их слышать.

— Случилась беда,— сказал Янко Крап.— Таких бедствий в мире много. Вероятно, подобные несчастья случаются ежеминутно.

— Этот крик,— повторила Эма.— Он все еще стоит у меня в ушах...

— Так заткните уши,— грубо оборвал ее Янко Крап.

Эма замолчала. К их группе, состоявшей из Эмы, Янко Крапа и нескольких раненых, шатаясь, подошел грузный Шведа с распухшим багровым лицом. Он насмешливо поклонился Янко Крапу.

— Спасибо,— сказал он,— это ваша работа.

— Убирайтесь ко всем чертям! — почти неслышно прошипел Янко Крап.

— Спасибо вам, пан товарищ,— продолжал Шведа.— Ваши соратники славно изжарились в этом пекле.

Было ясно, что он напрашивается на ссору.

— Еще слово,— отчетливо произнес высоким голосом Янко Крап,— еще одно слово, и я вас пристрелю.

Внезапно наступила напряженная тишина. Милиционеры, стоявшие возле Кремпашского, смотрели на Шведа и Янко Крапа, готовых вот-вот сцепиться.

Шведа слегка побледнел, заколебался, но не мог остановиться и сказал роковые для себя слова.

— На это вы мастера,— с ненавистью произнес он.— Убивать вы настоящие мастера. Это по вашей части.

Янко Крап вытащил револьвер. Шведа побледнел как полотно, попятился, но поздно. Янко Крап выстрелил.

Шведа поднес руки к лицу и рухнул навзничь. Он захрипел, грудь его судорожно поднялась несколько раз и замерла. Шведа был мертв. Он умер невероятно быстро,

а еще несколько секунд назад этот здоровый, рослый и сильный человек был жив. Долго все стояли неподвижно, ошеломленные выстрелом. Они ждали этого выстрела, чувствовали, что он произойдет, и все же были ошеломлены. Наконец кто-то шевельнулся, кто-то вздохнул. Кремпашицкий произнес срывающимся голосом:

— Это убийство!

— Убирайтесь ко всем чертям! — угрожающе крикнул Янко Крап, не выпуская из рук револьвера. — Убирайтесь с глаз долой, кому жизнь дорога!

По его лицу было видно, что он действительно готов осуществить свою угрозу, и Кремпашицкий понял, что на этот раз лучше уступить. Случай свести счеты еще представится, еще будет время отомстить за Шведу. Милиционеры, стоявшие рядом с ним, не спешили вступить: это были рабочие и мастеровые. «Сброд, — проклинал их в душе Кремпашицкий, — сплошной сброд! С ними тоже нужно будет рассчитаться». И он, Кремпашицкий, сведет с ними счеты. На свете было немало людей, с которыми Кремпашицкий собирался сводить счеты, с каждым днем их количество росло, но Кремпашицкого это не страшило, он готов был рассчитаться со всеми.

— Унесите его, — приказал Янко Крап, показывая револьвером на лежащего Шведу. Шрам, пересекавший правую щеку Янко, налился кровью. Несколько милиционеров нерешительно вышли вперед и подняли грузное тело. Они растерянно потоптались на месте, не зная, куда девать труп Шведы.

— Унесите его отсюда, — повторил Янко Крап, и милиционеры пошли с телом. Над посеребренными соснами показалась половина солнечного кроваво-красного диска. Убитого провожали Кремпашицкий и Павел Йозеф Яник с тупым, ничего не выражающим лицом. Эту скромную погребальную процессию, которая двигалась в морозном свежем воздухе по тропинке, заливал кровавый солнечный свет.

Янко Крап сунул револьвер в карман и сказал:

— Я никого не зову. Но кто хочет, может идти со мной.

— С меня хватит, — ответила Эма. — Хватит, я сыта по горло.

— Я никого не зову, — повторил Янко Крап, даже не взглянув на Эму.

И эта, слегка прихрамывая, стала подниматься по склону, попрежнему делая, Янко шел, не останавливаясь, словно ему было совершенно безразлично, идет кто-нибудь за ним или нет; может, в ту минуту ему и пришла еще было безразлично. Он шел, прихрамывая и оставляя за собой на засохшей ивовой траве темную полосу. Она первая двинулась вперед за ним; идти ей было некуда. За нею потянулись раненые — все, кто мог идти, — и несколько жидкоухих, которые не ушли с Кремлянского. Им было некуда деваться, и казалось, что этот прихрамывающий человек впереди знает, куда нужно идти. Эма достала Янко Крапа и пошла за ним след в след.

— Вы пожалуйста, не воображайте, — сказала она, — это мне доставляет радость идти с вами. Не думайте, что мне это приятно! Просто ужасно, что надо идти с вами.

— Я вас не звал, — ответил Янко Крап, по-прежнему не глядя на нее. — Я никого не звал.

— Мне некуда идти, — сказала Эма.

Янко Крап промолчал. Немного погодя Эма вновь изговорила:

— Просто ужасно, что надо идти с вами. Вы страшный человек, Янко Крап.

— Вы не обязаны идти со мной.

— А куда мне идти?

— Тогда замолчите, — с досадой ответил Янко Крап. — Замолчите наконец.

Но Эма не могла остановиться.

— То, что вы сделали, ужасно. Вы страшный человек, Янко Крап.

Янко Крап молчал, стиснув зубы. Он от всей души ждал, чтобы Эма остановилась, чтобы не продолжала, потому что он боялся своего гнева, который все еще душил его, но Эма была не в силах замолчать.

— Это было настоящее убийство, — твердила она. — Вы убийца, Янко Крап!

Он остановился. Эма остановилась тоже. Глаза у Янко Крапа были мутные, налитые кровью, таких глаз у него еще не было никогда, и Эма тоже никогда не видела таких глаз.

— Да перестаньте же вы наконец! Мне плевать на ваше чувствительное сердце, поняли? Сию же минуту замолчите!

Эма стало страшно, но она продолжала.

— У вас нет совести! — крикнула она, широко раскрыв свои слегка выпуклые глаза. — Вы убийца, но я вас не боюсь!

— Замолчите же наконец! — прошепелявил Янко Крап. — Сейчас же замолчите!

Он стоял совсем рядом с Эмой и вдруг грубо схватил ее за плечо. Эме показалось, что у нее хрустнули кости. Она открыла рот, хотела закричать, но только тихо охнула.

— Я не желаю больше слышать об этом ни единого слова, — сказал Янко Крап.

Ему пришлось отпустить ее, так как приближались остальные. Эма держалась за плечо, все еще чувствуя грубую, сильную руку Янко Крапа. Янко зашагал дальше, и Эма двинулась за ним, удивляясь сама себе и не понимая, почему она все еще идет за этим страшным и суровым человеком. Но она шла за ним, теперь твердо уверенная, что именно так все и должно быть. За весь день они больше не проронили ни слова. Янко Крап все время шагал впереди, лишь иногда оглядываясь на тех, кто следовал за ним.

Ночевали они в лесу, разложив небольшой костер; все были очень голодны и дрожали от холода. Эма проснулась среди ночи; сквозь густые посеребренные кроны елей сияли звезды. Эме было очень холодно, она дрожала, и ее зубы невольно выстукивали дробь. Янко Крап не спал. Он сидел у костра и подкладывал в огонь приготовленный с вечера хворост. Он услышал, как стучат зубы Эмы, наклонился к ней и набросил на ее плечи свое тяжелое кожаное пальто. Эма хотела отказаться, но ей было очень холодно, и она не отказалась, а плотнее завернулась в пальто.

— Спасибо, — сказала она.

— Вы бы ногу мою посмотрели, — попросил Янко Крап. — Мне кажется, она снова кровоточит, наверное, рана открылась.

Эма раскрыла маленький чемоданчик, с которым никогда не расставалась; в чемоданчике хранилось несколько бинтов и немного спирта — все, что у нее осталось. Рана действительно открылась и слегка кровоточила. Эме приходилось экономить бинт, и тонкая повязка вскоре пропиталась кровью.

— Так у вас никогда не заживет, — сказала Эма.

- Ничего, потерплю, — отозвался Янко Крап.
- Вас ничем не прошибешь, — продолжала Эма. — Будто вы не человек.
- Опять вы за свое? — зевая, сказал Янко Крап. — Бросьте вы эту свою психологию. Она здесь ни к чему. Действительно, здесь как-то не подходило все то, чему Эма научилась там, в долине; здесь все имело другую ценность — это было страшно и необъяснимо.
- Я не могу этого понять... — продолжала Эма.
- Чего вы не можете понять?
- Ничего не могу понять. Все так непостижимо — вы, я, остальные люди. Почему я здесь? Зачем все это? Ничего не могу понять!
- Возможно, потом, когда все кончится, вы поймете, к чему было все это.
- Нет, — возразила Эма. — Никогда не смогу понять. — И немного погодя спросила: — А когда все это кончится?
- Вы как ребенок, — усмехнулся Янко Крап. — У детей всегда на языке два вопроса: «когда» и «почему»?
- Они разговаривали тихо, стараясь не разбудить спящих. Над верхушками елей показался месяц и тихим светом залил лес. Эма вздохнула.
- Просто потрясающе, — уже миролюбиво сказала она. — Я никак не могу поверить, что вы убили Шведу.
- Да перестаньте вы наконец, — с досадой сказал Янко Крап и немного погодя, словно нехотя, добавил: — Это был ненужный человек, вредный человек. А теперь не время возиться с вредными людьми.
- Но тогда и я ненужный человек, — сказала Эма. — По-вашему, я тоже вредный человек?
- Вы — врач, — возразил Янко Крап.
- А не будь я врачом? Вы бы и меня застрелили?
- К счастью, вы врач, — невольно улыбнувшись, ответил Янко Крап.
- Эма задумалась и потом спросила:
- Признайтесь, ведь вы немного об этом жалеете?..
- Чего же мне жалеть?
- Что выстрелили, Шведу жалеете.
- Ни капельки, — сказал Янко Крап. — Ни капельки мне его не жалко. Я никогда не жалею о том, что делаю. Жалеть о сделанном глупо и бессмысленно.
- Вы никогда ни о чем не жалеете?

— Никогда.

— И у вас не бывает угрызений совести?

— Совесть? А что, собственно, такое ваша совесть? — насмешливо спросил Янко Крап. — Что она такое?

— Я не знаю, что она такое. Но человек должен чувствовать себя перед кем-то в ответе.

— Я в ответе перед революцией, — гордо произнес Янко Крап. — Я буду отчитываться перед пролетариатом. В этом моя совесть.

— У вашей революции, очевидно, чересчур неразборчивая совесть.

— Да и у вас она не слишком щепетильна! Вы стреляли в нас, когда мы были безоружны. Стреляли за то, что мы хотели есть.

— Я в вас стреляла?

— Ваш класс. Буржуи.

— Ну вот, теперь я знаю, что вы обо мне думаете. Значит, я буржуйка?

— А кто же вы?

— До сих пор я считала, что я врач, — с оскорбленным видом ответила Эма.

— Вы принадлежите к классу буржуазии. Вы из буржуазии.

— И это позор, не так ли? — насмешливо спросила Эма.

— Ваше несчастье в том, что вы принадлежите к гибнущему классу, — серьезно сказал Янко Крап.

— Вот так новости, — саркастически улыбнулась Эма. — Стало быть, я — гибнущий класс? И у меня нет будущего?

Кто-то из раненых зашевелился и что-то пробормотал во сне. Янко Крап подбросил в огонь сухих веток.

— Все зависит от вас, — по-прежнему серьезно сказал он. — Вы можете порвать со своим классом. Такие случаи нередки.

— Значит, у меня есть еще возможность, — сказала Эма. — Благодарю покорно, но пока мне что-то не хочется. Если революцию осуществляет ваш револьвер, то я предпочитаю остаться там, где я сейчас, хотя бы среди буржуев.

— Вы еще передумаете, — убежденно сказал Янко Крап.

Эма внезапно чему-то рассмеялась.

— Что ж, хорошо, — согласилась она. — Значит, мы враги? Прямо как в мелодраме, мы очутились на противоположных полюсах!

— Да, — отозвался Янко Крап. — И нас что-то взаимно притягивает друг к другу.

— Притягивает?

— Да, притягивает.

— Тогда это и вправду мелодрама. Он и она на противоположных полюсах, но их взаимно тянет друг к другу. Ночь и таинственный свет луны. Еще не хватает музыки сфер. Вы не слышите ее? Лично у меня нет дара воспринимать музыку сфер.

— Вы напрасно смеетесь, — спокойно ответил Янко Крап. — Я знаю, что вы так не думаете.

— А как же я думаю?

— Вы притворяетесь злой, потому что стыдитесь слабости.

— Какой ясновидец! — воскликнула Эма.

— Тсс, — остановил ее Янко Крап. — Говорите тише, не то всех разбудите. — И потом добавил: — Я ведь самый обыкновенный слесарь. Если когда-нибудь вы купите автомашину, пани доктор, извольте обратиться ко мне. Извольте — ремонт с гарантией на год.

— Я не представляю вас в роли слесаря. Вы человек, проповедующий насилие, человек с грандиозными мечтами. Я могу представить себе, как вы бросаете бомбу в мчащийся автомобиль. Но не могу представить себе, как вы чините автомобиль. И уж совсем не представляю вас в будущем, после окончания войны. Каким вы станете? Что будете делать, когда война кончится? Впрочем, я даже себе не представляю, смогу ли я вернуться в общество нормальных людей, к привычной жизни. Да и вообще я не могу представить себе будущее. А может, будущего совсем не будет?

— Как вы легко с ним разделались! — с улыбкой сказал Янко Крап.

— Возможно, нас не будет. Вот и будущего не будет.

— Это все слова, — ответил Янко Крап. — Ваше глупое любование словами. Будущее наступит в любом случае.

— Без нас?

— С нами или без нас, но все равно наступит. Вы,

Эма, слишком любопытны. Спите, завтрашний день вы наверняка увидите. И он будет не из легких.

Эма улеглась, положила под голову чемоданчик и вернулась в толстое теплое пальто.

— Вам будет холодно? — спросила она Янко Крапа.

— Спите, спите, — ответил Янко Крап.

Но Эма долго еще не могла заснуть, ворочаясь с боку на бок и искоса поглядывая на Янко Крапа. Он сидел неподвижно, вытянув раненую ногу к огню, на лице у него играли огненные блики.

— Все-таки было бы лучше, если бы это будущее уже настало, — тихонько сказала Эма.

— Ну вот, наконец-то вы на правильном пути, — отозвался Янко Крап.

Эме было тепло и хорошо, но она боялась, что вдруг на нее нахлынет все то страшное, что она видела и пережила, но страшных мыслей не было, они куда-то исчезли. Сейчас остались только верхушки елей, неподвижные, посеребренные и, казалось, несокрушимые, холодный и ясный свет месяца. Эме было хорошо, как никогда: тепло разливалось по всему телу; она плотнее завернулась в пальто и крепко уснула.

На другой день к вечеру они добрались до поляны, где стояли три сарая с сеном. Янко Крап шел наугад, не зная, кого они здесь встретят. У него сразу стало легче на душе, когда он увидел партизанский лагерь. Комиссар Бенде встретил его так, словно Янко Крап только что вернулся с утренней прогулки.

— Что ты так долго не приходил? — спросил комиссар, похлопывая его по плечу.

— Главное, что я здесь, — ответил Янко Крап и впервые после многих дней свободно вздохнул. Только сейчас он почувствовал неимоверную слабость и утомление, и у него вдруг сильно заныла нога.

Профессор Маркех добрался до сторожки под Черной Браной лишь во второй половине ноября. Больше месяца скитался он по горам, останавливался в горных деревушках и хуторах, спал где придется и ел, что давали ему добрые люди. Профессор частенько жалел, что не умеет ни петь, ни читать молитвы, — ему хотелось

хоть как-нибудь отплатить добрым людям за их хлеб и кров; он видел, как трудно им живется. «Я гусляр без гуслей, — смеялся над самим собой Маркех, — нищий без смирения в сердце». Иногда он брел вместе с солдатами, беженцами, евреями, но большей частью шел один, совсем не испытывая страха. Ему казалось, что его собственная жизнь стоит не так уж много. И в этом было явное противоречие: он бежал от смерти, хотя не очень-то дорожил жизнью. Но профессор Маркех не слишком стремился к последовательности; он знал, что последовательность — закон жизни, а последовательность — лишь исключение. Его одиночество не было уже ни высокомерным, ни трудным, ни тоскливым; профессор привык к одиночеству, и ему казалось, что он настолько отдалился от остальных людей, что само понятие «одиночество» потеряло свое прежнее значение. Вид печальной, умирающей природы, среди которой он шел, вполне отвечал его мрачной философии. Природа словно подтверждала, что жизнь — всего лишь вспышка и угасание, бессмысленный процесс, результат химических реакций, которые можно выразить несколькими формулами. Важны только химические превращения основных веществ, а все прочее — лишь вымыслы высокоорганизованной материи, которая боится конечного процесса, распада, хотя и знает, что он неизбежен. Все в природе стремится спастись от неминуемой гибели, и тут человек не составляет исключения. А свободы, свободы мысли, к которой так стремился профессор Маркех еще несколько месяцев назад, а безграничной свободы мысли, все пронизывающей, обладающей способностью разрушать и созидать, способностью быть долговечной, — такой свободы не существует. Мысль неотделима от материи, которая распадается и гибнет, а там, где распад и гибель, а значит, существует и постоянная угроза исчезновения, — там нет свободы. Там царит необходимость противодействовать гибели, страху перед гибелью; все наши помыслы сжимает обруч этой железной необходимости — и потому нет никакой свободы. Профессору Маркеху нелегко было расстаться со своей последней иллюзией. Но его утешало хотя бы то, что это последняя иллюзия; теперь ему было нечего терять, отныне ему была ни о чем любая утрата.

До сторожки он добрался около полудня и оставше

еся время дня стирал, гладил, брился. Вечером он сидел чистый и выбритый, тщательно одетый и не без удивления подумал, что жизнь, в общем, не такая уж сиверная штука. И совсем неплохо можно прожить без иллюзий и без ожиданий. Немного комфорта, чистая рубашка и бритвенный прибор — что еще нужно человеку? С жителями в сторожке он держался вежливо — он мог презирать их, как существа низкие, но не мог их оскорблять — по духу он был рыцарем. С Ганкой Краповой Маркех просидел на крыльце весь вечер, рассказывая ей о далеких созвездиях и солнечных системах.

— Гармония бесконечности и бесконечность гармонии... — объяснял он Ганке.

Ганка чуть-чуть сердилась на профессора Маркеха, потому что над ней было уже не звездное небо, не просто милые веселые звездочки, а грозная пустота пространства.

— Какой во всем этом смысл? — спросила она.

— Никакого, — ответил профессор Маркех. — Тут нет никакого особого смысла. Это гармония ради гармонии и бесконечность ради бесконечности. Все довольно глупо устроено, бесконечность пожирает бесконечность, и гармония питает гармонию.

— Это просто ужасно, — сказала Ганка, вздрогнув от внутреннего холода, — ужасно быть лишь пылью и прахом.

— Ко всему можно привыкнуть, — возразил профессор Маркех. — Конечно, думать об этом слишком часто не стоит.

— Мне не нужно было слушать вас, — сказала Ганка. — Теперь я не смогу больше смотреть на звезды без страха.

— Вам страх еще не опасен, — заметил профессор Маркех. — Вы такая здоровая и привлекательная пылинка.

— Я вам не верю, — сказала Ганка. — Все равно я буду думать о звездах так, как думала о них до сих пор.

— А что вы о них думали?

— Не знаю. Они казались мне близкими и знакомыми. Такими же, как и все остальное — деревья, птицы или цветы.

— А теперь они далекие и опасные?

— Зачем вы так говорите?

— Это проклятие познания,— ответил профессор Маркех.— Познание, в конце концов, всегда страшно и опасно для нас.

Ганка грела руки, зажав их в коленях, и с опаской поглядывала на звездное небо.

— Мне хотелось бы все познать,— задумчиво протянула она,— хотелось бы все, все узнать, но не испытывать при этом никакого страха.

— Так не бывает,— грустно вымолвил профессор Маркех. И с оттенком иронии и сочувствия посоветовал Ганке: — Лучше посвятите себя более приятным вещам. На свете есть куда более приятные вещи, чем познание.

— Что же, например?

— Например, любовь.

— Я так и знала, что вы это скажете,— ответила Ганка и невольно вздохнула.— В романах тоже все начинается со звезд и кончается любовью. Но любовь-то не очень приятная вещь.

Профессор Маркех покраснел и был рад тому, что Ганка этого не видит: ведь она и в самом деле уличила его, как наивного студента. Да, были такие вопросы под солнцем, в которых профессору Маркеху не помогал его скепсис, и они касались женщин. В этой области опыт его был невелик и весьма горек. Профессору Маркеху шел сороковой год, а он по-прежнему оставался робким и наивным в отношениях с женщинами. Он закурил сигарету и замолчал. Ганка тоже молчала, думая о капитане Лабуде,— да, это так, любовь не очень-то приятная вещь. В последние дни Ганка довольно часто думала о капитане Лабуде, как в те давние дни, когда она познакомилась с ним. Ей было жаль и казалось, что она чем-то обидела его.

Профессор Маркех молчал, говорить комплименты он не умел, а разговаривать привычным для него тоном с этой искренней и чистой девушкой ему не хотелось. Он чувствовал, что здесь его скепсис неуместен. Профессор молчал и курил, наслаждаясь тишиной, спокойствием и чистотой. Немного погодя Маркех сказал:

— У вас еще все впереди.

— Ах, если бы так,— искренне вздохнула Ганка. Она не знала, что могло таить в себе будущее. Но молодость и здоровье, ее сила, не боящаяся препятствий, и умение радоваться, почти еще не утраченное умение ра-

доваться самым простым вещам и жизни — но и что она
собственно тому, что она не страшилась будущего.

— Скорей бы оно пришло, — сказала Ганка, — тогда бы оно наступило, это будущее.

— Не спешите, — сказал профессор Маркех. — Лучше жить будущим, чем прошлым.

— А разве вы уже ничему не ждете?

— Милое дитя, — сказал профессор Маркех. — Я жду даже возможности ждать чего-нибудь. И так долго ждал, что у меня остались лишь пустые карманы. Посмотрите. — он вывернул карманы пиджака, — в них ничего нет.

— Вы все шутите. — с упреком сказала Ганка и посмотрела на профессора большими, по-детски искренними глазами.

— Разумеется, шучу. — ответил профессор Маркех. — О подобных вещах никогда не стоит говорить всерьез.

Они подружились. Профессор с удивлением наблюдал себя — ему не приходилось притворяться, чтобы быть добрым с этой девушкой. Его немного стесняло присутствие Ганки, ему приходилось следить за своей речью, подавлять те слова и мысли, к которым он привык. Он усиленно подыскивал другие слова и мысли, более подходящие к этой девушке и к настроению, которое она в нем вызывала. То были слова времен его детства и юности. Ганка невольно, ничего не подозревая, инстинктивно возвращала его к жизни, о которой он давно забыл и которая, как он думал, никогда не существовала, настолько эта жизнь утонула в грязи, мерзостях и скуке последующих лет.

Но все было лишь минутным настроением, проблемом, жалкой искрой в остывающем пепле, и настроение это так же внезапно исчезло, как и появилось. Достаточно было малейшего толчка извне, и профессор Маркех вернулся в свой привычный старый мир, где так свободно себя чувствовал и где ему не приходилось на что-нибудь оглядываться, — в мир со знакомыми очертаниями, знакомыми и привычными словами и мыслями.

Почти через неделю после прихода профессора Маркеха в сторожку сюда добрались и Кремпашикий с Павлом Йозефом Яником; остальные спутники бросили их по дороге. Кремпашикий был неприятно удивлен, что в лесничестве оказались родственники Янко Крапа. Он

— Это проклятие познания,— ответил профессор Маркех.— Познание, в конце концов, всегда страшно и опасно для нас.

Ганка грела руки, зажав их в коленях, и с опаской поглядывала на звездное небо.

— Мне хотелось бы все познать,— задумчиво протянула она,— хотелось бы все, все узнать, но не испытывать при этом никакого страха.

— Так не бывает,— грустно вымолвил профессор Маркех. И с оттенком иронии и сочувствия посоветовал Ганке: — Лучше посвятите себя более приятным вещам. На свете есть куда более приятные вещи, чем познание.

— Что же, например?

— Например, любовь.

— Я так и знала, что вы это скажете,— ответила Ганка и невольно вздохнула.— В романах тоже все начинается со звезд и кончается любовью. Но любовь-то не очень приятная вещь.

Профессор Маркех покраснел и был рад тому, что Ганка этого не видит: ведь она и в самом деле уличила его, как наивного студента. Да, были такие вопросы под солнцем, в которых профессору Маркеху не помогал его скепсис, и они касались женщин. В этой области опыт его был невелик и весьма горек. Профессору Маркеху шел сороковой год, а он по-прежнему оставался робким и наивным в отношениях с женщинами. Он закурил сигарету и замолчал. Ганка тоже молчала, думая о капитане Лабуде,— да, это так, любовь не очень-то приятная вещь. В последние дни Ганка довольно часто думала о капитане Лабуде, как в те давние дни, когда она познакомилась с ним. Ей было жаль и казалось, что она чем-то обидела его.

Профессор Маркех молчал, говорить комплименты он не умел, а разговаривать привычным для него тоном с этой искренней и чистой девушкой ему не хотелось. Он чувствовал, что здесь его скепсис неуместен. Профессор молчал и курил, наслаждаясь тишиной, спокойствием и чистотой. Немного погодя Маркех сказал:

— У вас еще все впереди.

— Ах, если бы так,— искренне вздохнула Ганка. Она не знала, что могло таить в себе будущее. Но молодость и здоровье, ее сила, не боящаяся препятствий, и умение радоваться, почти еще не утраченное умение ра-

доваться самым простым вещам в жизни — все это способствовало тому, что она не страшилась будущего.

— Скорей бы оно пришло, — сказала Ганка, — скорей бы оно наступило, это будущее.

— Не спешите, — сказал профессор Маркех. — Лучше жить будущим, чем прошлым.

— А разве вы уже ничего не ждете?

— Милое дитя, — сказал профессор Маркех. — Я не жду даже возможности ждать чего-нибудь. Я так долго ждал, что у меня остались лишь пустые карманы. Посмотрите, — он вывернул карманы пиджака, — в них ничего нет.

— Вы все шутите, — с упреком сказала Ганка и посмотрела на профессора большими, по-детски искренними глазами.

— Разумеется, шучу, — ответил профессор Маркех. — О подобных вещах никогда не стоит говорить всерьез.

Они подружились. Профессор с удивлением наблюдал себя — ему не приходилось притворяться, чтобы быть добрым с этой девушкой. Его немного стесняло присутствие Ганки, ему приходилось следить за своей речью, подавлять те слова и мысли, к которым он привык. Он усиленно подыскивал другие слова и мысли, более подходящие к этой девушке и к настроению, которое она в нем вызывала. То были слова времен его детства и юности. Ганка невольно, ничего не подозревая, инстинктивно возвращала его к жизни, о которой он давно забыл и которая, как он думал, никогда не существовала, настолько эта жизнь утонула в грязи, мерзостях и скуке последующих лет.

Но все было лишь минутным настроением, проблемом, жалкой искрой в остывающем пепле, и настроение это так же внезапно исчезло, как и появилось. Достаточно было малейшего толчка извне, и профессор Маркех вернулся в свой привычный старый мир, где так свободно себя чувствовал и где ему не приходилось на что-нибудь оглядываться, — в мир со знакомыми очертаниями, знакомыми и привычными словами и мыслями.

Почти через неделю после прихода профессора Маркеха в сторожку сюда добрались и Кремпашский с Павлом Йозефом Яником; остальные спутники бросили их по дороге. Кремпашский был неприятно удивлен, что в лесничестве оказались родственники Янко Крапа. Он

решительно отказался жить в сторожке и, как он выразился, дышать одним воздухом с семьей убийцы. Лесник Ульрих пожал плечами, но ему и в голову не пришло выгнать из сторожки Ганку со старой Краповой ради Кремпашского.

— Тут вам не гостиница, — сказал он Кремпашскому, — и комнату вы здесь не заказывали.

Кремпашский с Павлом Йозефом Яником поселились на сеновале — деваться им было больше некуда. Подобно кротам, они проделали себе в сене норы и через несколько дней устроили настоящее подземелье с сетью коридоров, отдушин и жилых помещений. Павлу Йозефу Янику впервые за эту войну пригодился его старый военный опыт. Они выбирались из сена лишь в сумерки, некоторое время прохаживались, распрямляя затекшие ноги, но при малейшем подозрительном шуме снова уползали в свои норы. Теперь, когда их все бросили, когда с ними не было вооруженной охраны, оба сильно трусили. Профессор Маркех иногда неслышно, тайком подползал к отдушине и слушал целыми часами. Эти двое говорили лишь о том, как спастись, если в сторожку нагрянут немцы. Они перебирали все возможности внезапного нападения немцев — ночью и днем, в непогоду и в холод. И никак не могли прийти к соглашению, что в таком случае предпринять. Павел Йозеф Яник, человек более энергичный, предлагал укрыться в лесу; Кремпашский больше полагался на сеновал.

Теперь профессор Маркех попал в свою стихию. Он приносил еду им обоим и всякий раз подолгу не отходил от отдушины. Он нарочно курил и небрежно размахивал сигаретой, пугая их. Кремпашский, после того как сгорел охотничий домик, очень боялся огня. Профессор Маркех нарочно рассказывал истории о пожарах, припоминал все известные ему случаи и сыпал их в отдушину в сене, словно раскаленные искры. Кремпашский и Павел Йозеф Яник стали его жертвами: они не могли ни убежать, ни защищаться. А профессор Маркех был беспощаден: они были жалкими трусами и поэтому казались ему отвратительными. Он вел с ними долгие философские споры о жизни и смерти и вскользь ронял замечания о немцах: дескать, немцы народ сметливый и педантичный, никто не укроется от их глаз.

— У каждой медали две стороны, — говорил он. —

С одной стороны, ваше укрытие превосходно, а с другой — это просто ловушка.

— Так оно и есть, — соглашался с ним Павел Йозеф Яник, чувствовавший себя на сеновале неважно — резкий запах сена опротивел ему до тошноты и причинял даже страдания.

— Да, — повторял профессор Маркех, — это просто ловушка. Немцы народ педантичный, они прощупывают сеновалы штыками, а если ничего не находят, все же для верности поджигают. Педантичность у них в крови, они никогда не забывают поджечь сеновал, о котором всякий другой подумал бы, что он пуст.

— Ну, что я говорил? — горячился Павел Йозеф Яник. — Нужно бежать в лес.

— У них есть собаки, — продолжал профессор Маркех.

— Собаки? — презрительно хмыкнул Павел Йозеф Яник. — Не так уж это страшно.

— Дрессированные собаки, — заметил профессор Маркех. — От них не убежишь. Верная смерть.

— Хотел бы я их видеть, — отозвался Павел Йозеф Яник. — Посмотрел бы я на такого пса.

— Молите бога, чтобы никогда с ним не встречаться, — продолжал профессор Маркех. — Лучше встретиться с пулей, чем с такой дрессированной собакой. Лично я отдаю предпочтение пуле.

Павел Йозеф Яник замолчал. Тогда заговорил Кремпашский.

— Но может, немцы не так уж жестоки? — несмело спросил он.

— Разумеется, они не ходят с ножом в зубах, — поддакнул профессор Маркех.

— Конечно, — сказал Кремпашский. — Это ведь культурные люди. В известном смысле они культурные люди.

— Во многих смыслах, — охотно согласился профессор Маркех.

— Вы так думаете? — с надеждой спросил Кремпашский.

— Я их видел, — ответил профессор Маркех, хотя за время своих скитаний, к счастью, не встретил ни одного немца. — Я знаю их: в общем, это культурные люди.

— Быть может, они не так уж плохи, — повторил Кремпашский.

— В общем-то, они не слишком жестоки,— подтвердил профессор Маркех.

— Вот видите,— уже спокойнее сказал Кремпашский.

— Однако,— продолжал профессор Маркех,— когда я говорю «в общем», это еще ничего не означает. В общем, они, без сомнения, культурные и неплохие люди. Но жизнь идет не «в общем», и никакого «в общем» в действительности не существует. Это лишь абстрактное понятие, словечко без содержания; жизнь состоит из конкретных случаев. И наш конкретный случай таков, что мы находимся с немцами в состоянии войны. Они считают нас подлыми изменниками и по-своему правы. В нашем конкретном случае немцы отнюдь не культурные и хорошие люди. Нет, они не культурны и так же свирепы, как и их дрессированные псы.

В сене все стихло. И лишь немного погодя раздался испуганный, укоризненный голос Кремпашского:

— Вы говорите так только для того, чтобы нагнать на нас страху?

— Я их видел и знаю,— убежденно возразил профессор Маркех.

В другой раз он принес к отдушине листовку, которую нашел по пути в сторожку: это было воззвание правительства Тисо, оно обещало амнистию.

Маркех сунул листовку в отдушину в сене и сказал:

— Прочитайте, это весьма приятное чтение.

До профессора донеслось шуршание бумаги. Потом все стихло и послышался шепот: Кремпашский и Павел Йозеф Яник о чем-то совещались. Очевидно, мысль о сдаче в плен не была для них такой уж недоступной. Тогда профессор Маркех произнес с притворным сожалением:

— Вполне приличные условия. Беда только, что вышел срок.

— И то правда,— с досадой произнес Кремпашский.— Уже поздно.

— Очень жаль,— с глупой откровенностью сказал Павел Йозеф Яник,— что вы дали нам листовки только сейчас.

— Они пришли с последней почтой,— вполне серьезно ответил профессор Маркех.— Пан Тисо, очевидно, слишком поздно вспомнил о нас или он, скорее всего,

не верил, что мы так быстро пожалеем о своих заблуждениях.

— Что вы городите, — сердито огрызнулся Кремпашский. — Какие заблуждения?

— Дайте мне батальон! — В Павле Йозефе Янике вдруг проснулся герой. — Дайте мне батальон, и тогда увидите!

— Если память мне не изменяет, — ответил профессор Маркех, — у вас был целый полк. А где ваш полк сейчас?

— Да оставьте вы его в покое, — вступился за подполковника Кремпашский. — Вечно вы всех стараетесь задеть.

Профессор Маркех сидел у отверстия в сене и злоратно усмехался. Он разыгрывал роль демона и чувствовал себя неплохо. Ему хотелось увидеть как можно больше человеческой грязи, трусости, страха, беспринципности. Чем больше всего этого было, тем лучше он себя чувствовал, тем благородней, чище и возвышенней казался ему собственный скепсис. Самому себе он уже вынес приговор, и тем строже, с внутренней радостью, которую не считал извращением, выносил приговор другим. Срывать маски! Разоблачать пустоту слов, которыми люди прикрывают свой страх и свои прихоти! Это была единственная страсть, оставшаяся у него и, по мнению профессора Маркеха, не совсем унижительная. Играл роль, очевидно, тут и эгоизм, заставлявший Маркеха унижать других. Унижая других, мы тем самым возвышаем себя в собственных глазах. Профессор Маркех знал об этом, но это не смущало его, он был уверен, что дорогой ценой заплатил за право судить других. Теперь Маркех злорадствовал — он был вознагражден и мог мстить за все, что утратил.

Оберштурмфюреру Эриху Янке было немногим больше двадцати пяти лет. Его карьера казалась головокружительной лишь его землякам из Купфенберга, баварской деревушки, где жизнь испокон веков текла лениво и монотонно. Эрих Янке знал, что чин он свой заслужил по праву: у него было три медали за ранение, он воевал во Франции, на Крите, побывал и на Востоке, в котле

под Можайском. Эрих Янке принадлежал к тому поколению, которое не обременяли малодушные мысли об унижительном прошлом. Он вырос в отрядах гитлерюгенда, барабанный бой и пронзительный визг флейты были его колыбельной песней. Факельные шествия, древнегерманские мифы, полные кровавых заговоров и беспощадных побед силы над слабостью, воспитали его детскую веру. Еще не успев возмужать, он научился в совершенстве владеть пехотным оружием, маршировать, ползать, маскироваться и изучил другие весьма опасные игры. Эрих Янке научился беспрекословно повиноваться и не возражать, вскакивать по команде, маршировать по команде, жить по команде. Ему нравилась такая жизнь — она была единственно возможной, единственно мыслимой для него, и поскольку он не знал иной жизни, то не чувствовал себя обманутым. Ему повезло: его отец, жестянщик, был старым членом СА, но не настолько значительным, чтобы на него обратили внимание при чистках. Юный Эрих попал в юнкерскую школу СС, в привилегированную школу, куда имели доступ лишь избранные и которая была предметом мечтаний всех его друзей. Он не обманул ожиданий отца и товарищей, даже среди избранных он быстро выделился — не играл в карты, не пил тайком, не волочился за девицами. Для него не существовало ничего, кроме обязанностей, которые он выполнял с педантичной точностью, и кроме карьеры, о которой он мечтал и которую должен был сделать. Он был не очень сильным, ему приходилось наворачивать то, в чем ему отказала природа. Эрих вставал за час до пробуждения, тренировал мышцы стальными пружинами и полчаса плавал в крытом бассейне. Он хотел стать первым, должен был стать первым!

Эрих знал, что придет время, когда ему воздастся за все, от чего сейчас ему приходится отказываться. Он повиновался, чтобы потом получить возможность приказывать, отказывался от множества удовольствий, чтобы потом с жадностью наброситься на них и упиваться ими.

Долгожданное время пришло, и он не разочаровался. Его выпустили из школы в сороковом году, и он оказался во Франции, трижды благословенной Франции! Он испытывал почти религиозное чувство благодарности судьбе за то, что принадлежал к нации, избранной повелевать, судьбе и Гитлеру, который был воплоще-

нием этой нации. Янке маршировал перед Гитлером, возвратившись с Крита. Отборная часть СС прибыла к Бранденбургским воротам прямо с аэродрома, туда, где стоял «он» — неподвижный, строгий, все понимающий. У Эриха Янке от волнения захватило дух, ему хотелось умереть, совершить здесь, перед «ним», какой-нибудь необычайный поступок, скажем, подорвать себя гранатой или еще каким-нибудь способом доказать свою безграничную преданность. Этот подъем духа, это безумие преданности было самым сильным переживанием в жизни Эриха Янке. В самые трудные минуты, минуты оглушительной смертоносной канонады в можайском котле, он вспоминал об этом параде, пытаясь вызвать в себе тот же возвышенный подъем духа — это был символ его веры, защитный панцирь от страха, раздумий, сомнений. Оберштурмфюрер Эрих Янке уже не был так простодушно верен своим убеждениям, как Эрих Янке, некогда окончивший юнкерскую школу СС, — четыре года войны многому его научили. Он знал уже, как делают карьеру и как ломают себе шею, видел, как скапливаются и снова тают состояния во время войны, познал горький вкус предательства со стороны товарища и сам предавал товарищей. Янке понял, что пропасть существует не только между нациями, но и внутри нации; он презирал большую часть строевых офицеров точно так же, как они презирали офицеров войск СС. Он уже не стремился попасть в самые опасные места — он стал избранным среди избранных, а такие люди обязаны сохранять свою жизнь для родины. Они не отказывались и от взяток, если взятки были достаточно крупными. Даже веря в окончательную победу, он все же считал необходимым на всякий случай обеспечить себя.

Оберштурмфюрер Эрих Янке был строен и элегантен, у него были рыжие брови и слегка веснушчатый нос. Офицерскую фуражку он сдвигал низко на лоб; ему казалось, что так его взгляд становится суровее и проницательнее. Янке нравилось в Прегебах после Восточного фронта. Городок выглядел красивым и благоустроенным, и Янке стал здесь неограниченным властителем — это было место его отдыха. К надзбройнику Филипу Грахо он относился хорошо. Филип Грахо подбостранно ему повиновался, и это приятно щекотало самолюбие оберштурмфюрера. Однако охотнее он

встречался с Лемнитцким, в котором все-таки было несколько капель германской крови. Они играли в бильярд в бывшем рабочем клубе и даже несколько раз вместе выпивали: с тех пор как Янке побывал во Франции и на Крите, он стал тонким знатоком хороших марок коньяка. Правда, Янке терпеть не мог философствований Лемнитцкого, считал их результатом смешанной крови. Но он прощал их, потому что Лемнитцкий во многих отношениях казался ему полезен в незнакомых для него условиях. Впрочем, Лемнитцкий старался держать себя в руках перед оберштурмфюрером.

Надзбройник Филип Грахо ревниво следил за отношениями оберштурмфюрера к Лемнитцкому. Он чувствовал, что он, Филип Грахо, оказался в невыгодном положении, в каком до сих пор находился Лемнитцкий. Теперь же у Лемнитцкого в руках были все главные нити. Ведь как ни гордился Филип Грахо словацкой независимостью, словацкой государственностью и словацким вождем, он понимал, что сейчас братиславское правительство ровным счетом ничего не значит, вся власть у немцев. В этом он не признавался даже самому себе, но втайне негодовал, когда ему приходилось застыть перед оберштурмфюрером по стойке «мирно», а оберштурмфюрер смотрел на него как на пустое место. Все это совершенно не походило на то братство, о котором столько говорилось, а скорее напоминало отношение господина к слуге — искренности здесь не было ни на грош. Филипу Грахо приходилось тщательно следить за собой, чтобы не допустить какой-нибудь оплошности, и от этого постоянного напряжения ему становилось тошно. Но в одном он не скрывал своего возмущения — оберштурмфюрер не проявлял должного усердия в ликвидации партизан. Фронт, по мнению Филипа Грахо, приближался с опасной быстротой, и требовалась грандиозная, широко задуманная операция, которая бы одним ударом ликвидировала остатки подлых предателей и их пособников. Однажды, когда оберштурмфюрер находился в хорошем настроении, Филип Грахо осторожно намекнул ему на это. Оберштурмфюрер повел густыми рыжими бровями и произнес лишь одно слово:

— Abtreten!¹

¹ Кругом! (нем.)

И надзбройник Филип Грахо больше не отваживался заговаривать о партизанах, поняв, как опасно вмешаться в дела немцев.

Эрих Янке и в самом деле не слишком спешил с широко задуманной операцией. Он растягивал свой неожиданный отпуск, будто свалившийся ему с неба, и чувствовал себя достаточно сильным, чтобы позволить себе минутную передышку после всего того ужаса и напряжения, которые он пережил на Восточном фронте. Янке ограничивался пока тем, что высылал в горы патрули. Патрули каждый раз приводили каких-нибудь пленных солдат, которые поверили обещавшим амнистию листовкам, крестьян, подозреваемых в помощи партизанам. Эрих Янке писал успокоительные донесения и посылал их своему начальству. Он знал, что его отдых не будет продолжительным, и тем больше им дорожил.

Отряд боевой готовности надзбройника Филипа Грахо бездельничал. Гардисты уже пересажали всех, кого должны были пересажать, разграбили все, что можно было разграбить, вылакали все спиртное, которое не успели вылакать немцы. Целыми днями они валялись в столовой Лемнитцкого, превратившейся в настоящий свиначник. Валер Феркодич раздобыл где-то мандолину и теперь брэнчал на ней сентиментальные песенки. Скупиника Ульриха это раздражало, ему казалось, что Валер Феркодич слишком легкомыслен, несерьезно относится к своей миссии. Но Валер Феркодич был настолько любим другими гардистами, насколько скупиник Ульрих был ими нелюбим. Скупинику Ульриху пришлось замолчать, а Валер Феркодич продолжал брэнчать свои дурацкие легкомысленные песенки. Гардисты подпевали ему растроганными голосами. Они были довольны: животы набиты, делай что хочешь — вот жизнь, достойная мужчин! И если они еще о чем-то мечтали, если чего-то еще страстно желали — так это была добыча, большая, огромная добыча, громадный еврейский клад, который попал бы им в руки и сразу всех сделал бы богатыми, а там дальше видно будет.

Но надзбройник Филип Грахо ставил себе и более высокие цели, чем просто набить брюхо и налакаться водки. И потому он сгорал от нетерпения. Иногда он захаживал в тюрьму, но после второго и третьего посещения его уже ничто не интересовало и не доставляло удо-

вольствия. В тюрьме сидела сплошная мелочь и ни одной крупной рыбыны, то были жалкие, напуганные людишки, которые случайно попались, о них не стоило и руки марать. От скуки, от нетерпения он несколько раз вытаскивал гардистов на строевые занятия. Но и строевые занятия не походили на прежние, гардисты занимались неохотно. Теперь они уже были опытными солдатами, их первые восторги поостыли, они стали расчетливыми мастерами, которые только и ждали подходящей работы. Тем нетерпеливее становился надзбройник Филип Грахо, тем нетерпеливее ждал дня большого наступления, славного дня победы и мести, когда можно будет свести счеты со всеми врагами. Ожидаемый день должен был снова показать верных сынов словацкой отчизны во всем их былом величии, должен был возродить душевный подъем и окрылить их.

Наконец этот день все-таки настал, наконец он все же пришел. За Верхней Осадкой партизаны напали на эсэсовский патруль и уничтожили его до последнего человека. Оберштурмфюрер Эрих Янке отправился во главе усиленного сторожевого отряда на поиски исчезнувшего патруля. Он нашел весь патруль перебитым на дороге. Эрих Янке пришел в ярость, он грозил горам и клялся отомстить. Это был неслыханный позор! Неслыханная дерзость! Арийская кровь, неожиданно пролитая, взывала к беспощадной мести. Возвращаясь в Прегибы, оберштурмфюрер Эрих Янке, скрипя зубами от злобы, обдумывал ответный удар. Месть должна была совершиться по простому общепринятому счету: за каждого убитого немца сто словаков! Эрих Янке найдет эти сто человек за каждого немца, он всех заставит грызть землю и плевать кровью! Теперь все увидят, кто такой оберштурмфюрер Эрих Янке, какой он немец и эсэовец! Теперь он покажет им это! Наконец-то надзбройник Филип Грахо вздохнул с облегчением, когда Лемницкий сообщил ему о решении оберштурмфюрера. Он слегка досадовал, что оберштурмфюрер приказал им идти последними, такая роль представлялась ему унижительной. Но тем усерднее они будут, тем больше будут стараться доказать свою верность, свою отвагу и свою ненависть!

МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ

1

Рота надзбройника Филиппа Грахо за Верхней Осадкой разделалась и втянулась в горы, следуя за тремя потоками эсэсовских частей, двигавшихся впереди них.

Скупиник Ульрих шагал во главе своего небольшого отряда, направляясь к дому лесника под Черной Браной. Он поймал себя на том, что боится; лес, теснивший долину, были слишком безмолвен, защищаясь этим безмолвием от незваных гостей и угрожая им. Сейчас скупиник Ульрих снова чувствовал себя маленьким, слабым ребенком, а лес был полон угроз, опасностей и злых духов и пугал его. Ульриху было страшно, и он смотрел только вперед, не решаясь всматриваться в глубину леса, где мелькали какие-то тени; он не оглядывался по сторонам и все-таки видел эти тени — таинственные, беззвучные, полные скрытой опасности. Ему хотелось спрятаться от них, хотелось шагать в середине строя, где он был бы хорошо укрыт и защищен; но он был командир и должен был идти впереди, должен был ободрять людей, хотя сам утратил бодрость. Он не глядел по сторонам, он глядел только вперед, перед ним на свежем снегу виднелись следы немцев, достаточно было держаться этих следов, идти по ним и ни о чем не думать. Этого-то и не умел скупиник Ульрих, как ни напрягал свою волю, — он не мог не думать. Он должен был, должен был думать, ведь где-то впереди, в лесу, жил его брат, правда сводный брат, но все же брат. Не то чтобы скупиник Ульрих жалел своего сводного брата; он не помнил, чтобы когда-нибудь любил его, скорее, он презирал его, потому что сводный брат был человек простой, необразованный, грубый лесник, и ничего больше. Но скупиник боялся его — такой брат был пятном на репутации словака и гардиста, иметь такого брата было опасно. Его сводный брат, лесник Ульрих, значился в списках, был на подозрении, и вина его считалась наперед доказанной. Надзбройник Филипп Грахо показал как-то

списки скупинику Ульриху и постучал пальцем по тому месту, где было написано имя лесника Ульриха.

— Не твой ли родственник, скупиник? — спросил он.

Скупиник Ульрих слегка покраснел и сказал:

— Откуда? Как может он быть мне родственником?

— Это хорошо, — сказал надзбройник Грахо, — но почему ты покраснел?

— Меня возмутило, — ответил скупиник Ульрих, — меня возмутило такое гнусное подозрение.

— Ну ладно, — сказал надзбройник Филип Грахо, — а то было бы жаль, если б это оказался твой родственник, потому что я очень доволен тобой.

Теперь скупиник Ульрих шел по следам немцев, следы немцев явственно виднелись на свежавыпавшем снегу, и Ульрих не смотрел ни вправо, ни влево, смотрел только вперед и старался ни о чем не думать, но его пугали тихие, бесшумные тени в глубине леса, и он думал о своем брате, сводном, но все же брате, который был для него угрозой. Скупиник боялся и потому держал палец на спуске автомата — сводный брат мог быть в любом месте впереди. Палец уже онемел, на руках скупиника Ульриха были только кожаные перчатки на фланелевой подкладке, сквозь них проникал холод. Но скупиник ни на секунду не снимал пальца со спуска, он очень боялся таинственных, тихих теней в глубине леса и боялся своего сводного брата, о котором не переставал думать, несмотря на все усилия. И в конце концов он был вознагражден за то, что все время держал палец на спуске автомата, в конце концов он был очень хорошо вознагражден: за одним из крутых поворотов им навстречу попался человек с ружьем, в форменной шинели лесника. Он вышел по тропинке из леса, нос к носу столкнулся со скупиником Ульрихом и, видимо, пораженный, замер на месте. Скупиник Ульрих тоже был поражен, это походило на наваждение, и он думал, что галлюцинирует, потому что перед ним стоял тот самый человек, о котором он не мог не думать, — его сводный брат, лесник Ульрих. Не было никаких сомнений в том, что это действительно он. Скупиник Ульрих был глубоко поражен и подумал, что это игра фантазии, мираж, вызванный нервным напряжением. И как знать, что случилось бы, не держи скупиник Ульрих палец на спуске автомата! Теперь-то он был за это вознагражден, палец

сам собой нажал на спуск, и лесник Ульрих почти в ту же секунду упал лицом в снег. Скупиник Ульрих облегченно вздохнул: значит, это не дурацкая игра взвинченных нервов, все было на самом деле так, как ему виделось: лесник Ульрих, выстрелы и кровь, которая растекалась по свежевыпавшему снегу. Скупиник Ульрих сделал несколько шагов и склонился над лесником Ульрихом, который теперь был уже только трупом и перестал быть сводным братом и угрозой ему, скупинику Ульриху. Лесник Ульрих еще хрипел, он приподнялся на руках, словно хотел встать.

— Погоди, — бормотал он, — я сейчас встану.

Но он уже не встал, потому что скупиник Ульрих дал в упор длинную очередь из автомата в голову, совсем развалил череп, лицо было изрешечено и изуродовано до неузнаваемости. Затем скупиник Ульрих обошел труп, и за ним все обошли его и двинулись дальше по следам немцев, таким четким на свежевыпавшем снегу. Только Венделин Брада задержался у мертвого лесника Ульриха, вывернул у него карманы, но не нашел ничего ценного. В карманах лежали кусок сала с хлебом, завернутый в промасленную бумагу, и всякая мелочь — веревка, нож, обрывок проволоки. Ценностей никаких не было, даже обручальное кольцо было серебряное и не стаскивалось с пальца.

— Как у мальчишки, — буркнул Венделин Брада.

Содержимое карманов лесника Ульриха было, по мнению Брады, недостойно взрослого человека, и он взял себе только нож. Это был хороший нож, со штопором и тросиком для чистки трубки. И еще Венделин Брада нашел в карманах лесника какую-то бумажку, прихватил и ее — в бумагах Венделин Брада не разбирался, но питал к ним уважение. Бумажку он отдал Валеру Феркодичу, потому что Валер Феркодич был самый ученый. Валер Феркодич заглянул в бумажку и удивленно свистнул: это был пропуск на имя лесника Ульриха! Он догнал скупиника Ульриха, показал ему бумажку и заметил, как тот побледнел.

— Шикарно! — сказал Валер Феркодич скупинику Ульриху. — Шикарно! Поди угадай, где встретишь родственничков!

Валер Феркодич терпеть не мог скупиника Ульриха — тот был нудный, сухой человек, а Валер Феркодич

больше всего любил шутку. Но скупиник Ульрих разорвал бумажку и вежливо сказал:

— Вы известный шутник и выдумщик, это был вовсе не мой родственник, просто случайное совпадение фамилий.

— Шикарно! Вот так совпадение! — усмехнулся Валер Феркодич. — Ей-богу, шикарно.

Скупиник Ульрих побледнел еще сильнее, он стал совсем белый и приказал:

— Встаньте в строй, Феркодич, или я расстреляю вас за неповиновение! И намотайте себе на ус: если вы хоть раз об этом заикнетесь, если вякнете про это хотя бы во сне, я расстреляю вас за неповиновение.

Валер Феркодич любил шутки, но это была уже не шутка, по глазам скупиника Ульриха он видел, что все это очень серьезно, и потому предпочел стать в строй. Тем все и кончилось.

Около полудня без особых приключений они добрались до дома лесника под Черной Браной. Гардисты по-прежнему шли по следам немцев, и скупиник Ульрих уже не так боялся таинственных теней в глубине леса и не боялся больше думать о своем сводном брате — тот перестал быть опасным, потому что был мертв. И хорошо, что скупиник Ульрих сам видел, что его сводный брат действительно непоправимо мертв, потому что теперь он мог отбросить все сомнения. В доме лесника хозяйничали немцы, они зарезали свинью, и весь дом наполнился ароматом жареной свинины. Они жарили свежую свинину и ели, все были довольны, лица их лоснились от сала. Все было в наилучшем порядке, в доме лесника остановились эсэсовцы, они нажрались досыта; обитатели дома сидели запертые в подвале. Гардистов скупиника Ульриха в дом не пустили. Оберштурмфюрер Эрих Янке приказал им разместиться на сеновале и прислал туда еду. Гардисты наелись и легли спать — приятно было отдохнуть после трудного перехода. Один Венделин Брада не спал, все бродил по сеновалу, он не мог спать, потому что в нем жило представление о несметном еврейском сокровище, спрятанном в лесу. И вот он сам в лесу, и где-то здесь могло быть несметное еврейское сокровище. Венделин Брада неутомимо искал клад и вдруг куда-то провалился, не успев даже вскрикнуть, он только подумал, что под ним разверзлась земля

и сам сатана за ноги стащил его в преисподнюю. Венделин Брада не очень-то верил в бога и в рай, зато крепко верил в ад — ад с его огнем и запахами жареного человеческого мяса был ближе его воображению. Он упал на что-то мягкое — он провалился в замаскированное вентиляционное отверстие, которое вело в тайник, где скрывались Кремпашский и Павел Йозеф Яник. Убедившись, что он не в настоящем пекле, Венделин Брада стал звать на помощь...

Кремпашский и Павел Йозеф Яник все время сидели, притаившись, в самом дальнем углу своего просторного убежища, слушали болтовню гардистов и облегченно вздохнули, когда раздался храп. Но теперь, после того как в отдушину свалился Венделин Брада и перебудил всех, положение Кремпашского и Яника стало безвыходным. Венделин Брада был всего в нескольких шагах от них, он орал и куда-то карабкался, и им чудилось, что он весь окровавлен, а в руках у него окровавленный штык, который приближается и вот-вот проткнет их. Павел Йозеф Яник, герой Бахмача и Пензы, полез первым к выходу, Кремпашский поспешил за ним. Они лезли наперегонки, им вдруг показалось, что выгоднее как можно скорее объявиться гардистам и что тот, кто появится первым, получит какие-то особые льготы. Павел Йозеф Яник отпихнул Кремпашского, который был физически слабее, и выкарабкался первым. Гардисты изумились — упал в яму Венделин Брада, а вылез совсем другой человек. Но за ним выбрался Кремпашский, а потом Венделин Брада, и гардисты начали соображать, в чем дело.

— Шикарно! — захохотал Валер Феркодич. — Забава — первый сорт!

И Павел Йозеф Яник засмеялся доверчиво и чуточку виновато. Кремпашский попытался улыбнуться, но получилась вовсе не улыбка, а только еще ниже отвисли дряблые щеки.

— Мы сдаемся, — солидно проговорил Павел Йозеф Яник, — сдаемся — словаки словакам. Мы провинились, — сказал Павел Йозеф Яник, — но мы полны доверия к чести словаков.

Но скупиник Ульрих схватил его за горло и сказал:

— Врешь, свинья! Никакой ты не словак, а обыкновенная свинья.

— Братья! — простонал Павел Йозеф Яник. — Неужели вы будете меня бить?

— Я тебе покажу «братьев»! — сказал Венделин Брада и ударил его кулаком по лицу.

Венделин Брада был мастак по этой части: в молодости он занимался боксом, а потом вольной борьбой. Вместе с Брейбартом, с великим Брейбартом он появлялся на всех ярмарках и престольных праздниках, а во время войны, когда пришел конец веселой жизни, устроился грузчиком на пивоваренный завод. Но теперь он снова мог быть и боксером, и борцом, теперь снова началась веселая жизнь.

— Я тебе покажу «братьев», большевик ты этакий, — приговаривал он, избивая Павла Йозефа Яника только потому, что ему казалось, будто этого человека надо бить.

Павел Йозеф Яник хотел сказать, что произошла ошибка, он сам против большевиков, всегда был против них, еще во время мятежа в Пензе, и потом, и теперь. Но он не мог ничего сказать, от точных ударов у него перехватило дух, он и охнуть не успел. Вслед за Бraidой на них набросились остальные, били без особенной злости, так, тренировки ради, чтобы не терять форму. Над сеновалом вздымалась пыль, Кремпашский лежал, уткнувшись лицом в сено, и кто-то вдавливал его все глубже и глубже; ему казалось, он задохнется, в ушах гудело, а перед глазами стояла плотная темно-красная стена. Но потом откуда-то к нему все-таки проник воздух, и он мог вдохнуть, а темно-красная стена постепенно поднялась. Их обыскали, отобрали все, что можно было отобрать, — часы, деньги, обручальные кольца, документы, меховые куртки — и отвели в дом. Оберштурмфюрер Эрих Янке поблагодарил скупиника Ульриха за усердие и велел отвести обоих пленников в подвал, не уделив им никакого внимания.

В подвале было очень холодно и темно, в нем хранился картофель, и все пропиталось запахом картофеля. Но там сидели люди, слышно было, как вздыхает старая Крапова. Были там и Ганка Крапова, и жена лесника, и профессор Маркех. Когда глаза вновь прибывших привыкли к темноте, они разглядели всех этих людей, сидевших в одном углу. Однако Кремпашский не пошел к ним, ведь там была семья «убийцы», и, хотя его заста-

вили дышать одним воздухом с родственниками «убийцы», он не желал приближаться к ним и разговаривать с ними.

— Добро пожаловать, — приветствовал профессор Маркех Кремпашского и Павла Йозефа Яника, когда они спустились в подвал. — Добро пожаловать, я уж думаю, вы не придете.

Они не ответили, но профессору Маркеху было здесь очень скучно, к тому же он все время боялся, что Кремпашский и Павел Йозеф Яник каким-нибудь образом ускользнут от внимания немцев, и теперь обрадовался.

— Хорошо, что вы все-таки пришли, — сказал профессор Маркех, — хорошо, что вы не пренебрегли нашим столь смешанным обществом. Без вождей мы чувствовали себя здесь сырыми. Право, мы были как сироты, пан председатель.

— Зачем вы это говорите? — сказал Кремпашский. — Еще услышит кто-нибудь, зачем так громко? Тем более что теперь я вовсе не председатель.

— Это для меня новость, — сказал профессор Маркех. — Вас сняли?

— Зачем вы надо мной смеетесь? — спросил Кремпашский. — Теперь-то можно бы и перестать.

— Нас избили, — жалобно, с укором молвил Павел Йозеф Яник.

— Значит, все в порядке, — заметил профессор Маркех. — Тут, видимо, учитывают положение, занимаемое в обществе. Нюхом учуяли в вас руководящих лиц — у них хорошо развит нюх на руководящих лиц, — вот и высыпали вам немножко.

— Нас сильно избили, — простонал Павел Йозеф Яник.

— Значит, — сказал профессор Маркех, — они почуяли, что вы чрезвычайно выдающиеся личности. У них сильно развит нюх на вождей, и они совершенно правильно угадали их в вас.

— Это гадко, — злобно прохныкал Кремпашский. — Вы гадкий человек. Подло насмехаться в такую минуту.

— И верно, не надо так, — тихо сказала профессору Маркеху Ганка Крапова.

Профессор Маркех ответил так же тихо:

— Не надо бы, да мне приятно. Пока я говорю, я не боюсь. Чем больше их страх, тем меньше мой. Все относительно, понимаете?

— Не знаю,— укоризненно возразила Ганка.— Этого я не понимаю. Но нечестно так пугать их. Вообще это нечестно.

— Хорошо,— согласился профессор Маркех.— Больше не буду. Буду пай-мальчиком.

— Вот теперь вы мне нравитесь,— сказала Ганка.

— Очень рад,— буркнул профессор Маркех и поклонился.

Вышло очень смешно — все происходило в темном подвале, где пахло гнилой картошкой, а профессор Маркех, сидевший на какой-то колоде, поклонился вежливо и изычно.

— Очень рад,— повторил он.— Сейчас мне очень важно вам нравиться.

В его словах звучала легкая ирония, но профессор Маркех не совсем шутил: эта чистая девушка, которая до сих пор не проронила ни слова и все время заботилась не о себе, а о своей матери, внушала ему бодрость и нравилась ему, и он хотел быть ей симпатичным.

— Неужели вы не можете быть хоть немного серьезным? — спросила Ганка.

— Я немного серьезен,— возразил профессор Маркех, потом добавил уже действительно серьезно: — Но я не хочу покориться собственному страху, понимаете?

— Не понимаю я этого,— сказала Ганка.— Для меня это слишком сложно.

— Вы совсем не боитесь? — осведомился профессор Маркех.

— Боюсь,— ответила Ганка.— Очень боюсь.

— По вас не заметно,— почти с уважением проговорил профессор Маркех.

— Очень боюсь,— повторила Ганка.

Она очень боялась, и, может быть, то был даже не страх, а, скорее, печаль, печальная уверенность, что теперь всему конец. Все кончено: капитан Лабуда, брат, свобода и далекие города в чужих странах — все мечты и все, что делало жизнь полной, все это кончилось. Настоящее не было пока таким уж мрачным и безнадежным, никто не трогал Ганку, ее заперли в подвале вместе с другими, и, может быть, все обойдется, ей вернут

свободу. Нет, действительность была еще не так плоха. Но печаль, печальное предчувствие захлестывало ее, и корни этого предчувствия были не в том, что свершалось с ней в действительности, они были в самой Ганке, и вот недоброе предчувствие захлестывало ее, вымывая надежду. Она сидела в темном подвале, и ей было очень страшно — она страшилась этих печальных предчувствий и реальных вещей: стука, скрипа открываемой двери, внезапного шума и тишины; все пугало ее. Она всегда считала себя смелой, никогда не думала, что будет так бояться, а теперь боялась, очень боялась, потому что ее захлестывало предчувствие, исполненное печали.

В четыре часа утра их выгнали во двор, построили, окружили цепью солдат и повели дальней дорогой в Прегиты.

2

Унтер-офицер Джонатан Дебнер шагал с отрядом СС, которым командовал штурмфюрер Вилли Кребс. Штурмфюрер слегка прихрамывал: он объяснял это ранением, но все в подразделении знали, что у него плоскостопие: до прихода Гитлера к власти Вилли Кребс был официантом. Унтер-офицер Джонатан Дебнер, попавший в карательный батальон СС по собственному желанию, шагал теперь с карателями-эсэсовцами, косился на дикие, молчаливые горы и угрожающе шевелил мускулами лица. Он думал о мести — в патруле, перебитом партизанами, было несколько его знакомых; славные были ребята, к тому же немцы, и вот их убили. Может быть, именно поэтому Джонатан Дебнер и перешел в карательный батальон СС, ведь служба в нем хотя и была порой опасна, но никогда не была так утомительна и однообразна, как на фронте, — в тылу всегда можно было рассчитывать на приключения и на богатую добычу. Несомненно, Джонатан Дебнер попросился в карательный батальон и по этой причине, но он не говорил об этом вслух и даже не допускал мысли. Вслух он говорил и мысли допускал только о том, что стал в ряды преданнейших из патриотов, в ряды лучших сынов нации, что он сражается на переднем крае борьбы, в самом передовом дозоре. Так оно и было, это была правда, ведь надо, чтобы правда была видима и осязаема, и если

существовали еще другие правды, то Джонатану Дебнеру не было до них дела. Так оно и было — в нем жила настоящая ненависть, ему хотелось убивать, разрушать, жечь, хотелось смести с лица земли все, что мешало немцам, что мешало ему самому и прочим немцам. Лицевые мускулы его напрягались и расслаблялись, они все время двигались, как будто он постоянно что-то жевал. Дебнер был безобразный, низкорослый человечиска неарийского типа, с кривыми ногами, и беспрестанное подергивание уродовало его лицо. Но у него было германское и даже великогерманское сердце, в нем жили гордость, отвага и ненависть, Дебнер мог поклясться в этом. Он шагал с отрядом штурмфюрера Вилли Кребса, который раньше был официантом и с тех пор страдал плоскостопием, шагал непреклонно и вызывающе и косился на тихие, сумрачные горы. Миновали какую-то горную деревушку, жителей в ней осталось мало; некоторые избы сгорели, другие еще стояли, и в них жили люди, из труб несмело клубился дымок, но никого не было видно. За деревушкой свернули направо, полезли на крутой склон горы, прошли через лес и вышли на поляну; дул слабый ветер, слегка вздымая свежавывавший снежок. Заглянули на какой-то хутор, напились там молока и пристрелили пастушьего пса, который никак не переставал лаять; осмотрели хутор, ничего особенного не нашли, только напились молока и застрелили собаку. Потом забавы ради стреляли в кур, попавшихся на дороге.

Подошли к другому хутору, там дело пошло веселее, и Джонатан Дебнер взял свое. Хутор стоял под самым гребнем горы, он укрывался под гребнем от ветра и непогоды и был окружен фруктовым садом, который тихо грезил под свежим снежным покровом. (Гора называлась Лазенце, и хутор звался по ней. Летом под деревьями виднелись веселые голубые ульи, но сейчас была зима и ульи были заботливо укрыты; впрочем, Джонатан Дебнер не знал ни названия горы, ни названия хутора, не знал он ничего и о веселых голубых ульях, да если бы и знал, ему было бы все равно — для него это был не хутор, а вражеское укрепление.)

Когда они приближались к этому хутору, громко залаяла собака, и они из-под горы хорошо видели, как из двери выбежал человек, вооруженный автоматом, огля-

делся и бросился бежать. В двери осталась статная, высокая женщина, она глядела вслед бегущему, потом посмотрела на немцев, поднимавшихся из-под горы, и молитвенно сложила руки. Убегавший человек был подпоручик парашютно-десантной бригады Ондрей Корим, а женщина в двери была его мать, хозяйка в Лазенце. Но Джонатан Дебнер об этом ничего не знал, да если бы и знал, то сделал бы в точности то же самое, что и сейчас. А сделал он вот что: выстрелил вслед беглецу, беглец подпрыгнул раз и второй, а женщина в дверях вскрикнула. Джонатан Дебнер спустил овчарку, которую вел на поводке, овчарка кинулась вперед, а Джонатан Дебнер за ней.

— Назад! — крикнул штурмфюрер Вилли Кребс.

Он приказал окружить хутор, но Джонатан Дебнер ослушался, быть может, он не слышал, что кричит его командир, и бежал сейчас вслед за псом, а мускулы его лица судорожно дергались.

Подпоручик парашютно-десантной бригады Ондрей Корим упал ничком, у него были прострелены обе ноги. Он силился вытащить из-под себя автомат, чтобы отстреливаться, не желая живым попасть в руки немцев. Но овчарка была уже тут, вскочила ему на спину, Джонатан Дебнер успел подбежать, он ударил Ондрея Корима прикладом по голове, и Ондрей Корим затих. Штурмфюрер Вилли Кребс окружал хутор Лазенце, теперь это было вражеское укрепление, которое следовало взять с бою, сровнять с землей, сжечь. Но во вражеском укреплении уже не было защитников, здесь была только женщина: она стояла на пороге и, словно окаменев, смотрела на своего сына, который лежал без движения в нескольких десятках шагов от нее. Кто-то из эсэсовцев грубо толкнул ее, женщина пошатнулась, но снова выпрямилась, продолжая упорно, неотрывно смотреть туда, где лежал ее сын. Эсэсовец дал очередь из автомата по темным сеням, но там было тихо, ничто там не шевелилось. Немцы ворвались в комнату, а она была полна людей, за столом стоял священник и молился:

— Ибо тот, кто взирает на нас с высоты, без сомнения, знает беду нашу...

Остальные преклонили колени и молились вместе с ним, молились про себя, искренне, от чистого, верующего сердца, потому что очень хотели быть услышанными

и очень боялись, что в военной неразберихе господь бог их не расслышит. Немцы ворвались в комнату, закричали:

— Raus, alles raus! ¹ — и выгнали всех во двор.

Во дворе всех заставили опуститься на колени в три ряда; так стояли они на коленях, а за спиной их поместилось несколько эсэсовцев, сняв автоматы с предохранителей; остальные обыскали хутор и нашли в темной каморке Олину; она держала на руках сына и твердила:

— Das ist ein kleines Kind, ein ganz kleines Kind... ²

Но это не помогло, ее тоже выгнали во двор и поставили на колени рядом с остальными. Так стояли они в три ряда, а немцы выравняли их прикладами автоматов. Священник читал молитвы, хотя многие не молились больше, теперь им казалось, что молитвы напрасны, что теперь это ни к чему. Но когда они перестали молиться, им стало еще хуже, потому что теперь приходилось думать о своем страхе, они думали о своем страхе, и каждый звук позади них, каждый щелчок взводимого курка бросал их в объятия безумного страха. Даже Олина не молилась, она не могла сейчас молиться, держала своего сына и представляла себе, как в следующий момент залают за спиной автоматы, и это будет конец, конец, конец. Я буду спасать ребенка, я спасу ребенка, ребенок должен остаться в живых, убеждала себя Олина, и ей стало немного легче, она защитит ребенка собственным телом, защитит, пока жива, и тогда, когда уже умрет, прикроет его своим телом, и тогда этот бессмысленный конец получит какой-то смысл, да, он получит смысл.

Была тут и пани Розенталь с двумя своими девочками, она стояла на коленях в первом ряду, и девочки стояли рядом с ней, одна с правой, другая с левой стороны. Они стали на колени аккуратно, чтобы не помять юбочки, а головы их были непокрыты, и им было холодно.

— Мамочка, — хныкала младшая, — мамочка, мне холодно!

А старшая девочка сказала:

¹ Выходить, всем выходить! (нем.)

² Это маленький ребенок, совсем маленький ребенок... (нем.)

— Не плачь, Луиза, сейчас нельзя плакать, сейчас тут немцы.

— Да, — сказала пани Розенталь, — сейчас нужно быть совсем тихими.

Это было ее оружие, ее последнее оружие — быть тихими, такими тихими, чтобы никто их не заметил, чтобы всем казалось, будто их и нет вовсе, чтобы не привлечь внимания немцев, чтобы немцы не взглянули на них. Конечно, это была пустая надежда, но единственное, что еще оставалось пани Розенталь и ее обеим девочкам, — это вести себя так тихо, чтобы немцы их не заметили. Маленькая Луиза ненадолго примолкла, но она сильно мерзла и вскоре спросила шепотом:

— А почему мы стоим на коленях, мамочка? Почему мы стоим на коленках, ведь здесь так холодно?

И старшая, Гизела, которой было уже почти десять лет и которая знала все об этом мире, ответила ей:

— Мы стоим на коленках, потому что здесь немцы. Сзади нас стоят немцы, и у них автоматы, — сказала истощенная жизнью Гизела.

— Ах, — прошептала пани Розенталь, — ах, Луиза, Луиза, не надо больше говорить, не говори больше ни слова. Сейчас надо молчать, надо вести себя тихо-пре-тихо.

Унтер-офицер Джонатан Дебнер вместе с двумя эс-совцами приволок бесчувственного подпоручика Ондreja Корима во двор и бросил под старой грушей. Старая груша стояла почти посередине двора, это было доброе дерево, хозяин Корим очень любил его. Оно стояло тут со времен его юности и год за годом приносило плоды — сладкие, мягкие груши. Хозяин Корим не помнил такого года, когда бы груша не уродила. Но теперь груша стояла жалкая и старая, на ней не было листьев, которые трепещут от малейшего ветерка, не было на ней ни цветов, ни сочных ароматных груш; на ней остались лишь несколько засохших листиков, забытых осенью. Подпоручика Ондreja Корима бросили под этой грушей, родимой грушей, под сенью которой проходило и детство его и юность. Он не видел ее, не видел сейчас ничего, глаза его были закрыты, и казалось, что он мертв.

Хозяин Корим стоял на коленях вместе со всеми и видел, что делают с его сыном, хотя почти не смотрел

туда. Он смотрел на жену, всю жизнь он смотрел на жену, чтобы знать, что ему делать. Но сейчас, быть может впервые в жизни, жена обманула его ожидания. Она стояла там, куда ее оттолкнули, никто не обращал на нее внимания, будто никто ее не видел и она будто никого не видела, — она стояла, молитвенно сложив руки, и, наверное, молилась — губы ее быстро шевелились, и она смотрела застывшим, неживым взглядом на своего сына, который лежал на земле под старой грушей и, казалось, был мертв. Но он не был мертв, Джонатан Дебнер это знал. Он вошел в дом и вскоре вернулся с веревкой. То была хорошая, крепкая конопляная веревка; хозяин Корим узнал ее с первого взгляда, он сам свил ее — ведь в последнее время нельзя было достать ни цепочки для коровы, ни упряжи. Джонатан Дебнер подкатил к старой груше чурбан, встал на него, поднялся на цыпочки — он долго не мог перекинуть конец веревки через толстый нижний сук, но в конце концов это ему удалось. Он закрепил веревку и сделал петлю, потом перевел дух — все было готово.

Теперь все было готово. Штурмфюрер Вилли Кребс подошел к стоявшим на коленях людям и стал что-то говорить. Он сказал, что они вершат правосудие, казнят бандита, пойманного с оружием в руках. Но никто не знал немецкого языка. Немецкий язык знали только Олина, священник и пани Розенталь, однако все поняли слово «бандит» и еще лучше поняли жесты штурмфюрера и действия Джонатана Дебнера. Теперь все было готово, подпоручика Ондreja Корима окатили ведром воды, чтобы он мог принять участие в собственной казни. Его приходилось поддерживать на чурбане, он не мог стоять на простреленных ногах, и пришлось держать его, пока Джонатан Дебнер надевал ему на шею петлю. Но все было в порядке, Джонатан Дебнер правильно рассчитал расстояние от земли, все было в полном порядке. Подпоручик парашютно-десантной бригады Ондрей Корим на минуту с трудом поднял веки, быть может, увидел родной дом и родную мать, но взгляд его был бессмыслен и не говорил ничего. Маленькая Луиза тихонько спросила:

— Что это они делают, мамочка, что они делают?

Но пани Розенталь зажала ей рот ладонью:

— Надо держаться очень тихо, Луиза, Луизочка! —

и потом закрыла ей глаза, чтоб маленькая Луиза ничего не видела.

Олина крепко прижимала к груди крошечного Марекка. Марек спал и чуть-чуть морщил нос. Олина не хотела смотреть на этот ужас и смотрела в лицо Марекка; она не хотела, чтобы ее коснулась смерть Ондreja Корима, хотя он был хороший, веселый человек. Олина была эгоистка, и знала об этом, и хотела быть эгоисткой — всем существом своим она готовилась защищать своего сына. Хозяйка Коримова все еще стояла, словно врытая в землю; руки ее были сложены, а губы беззвучно шевелились, и тщетно смотрел на нее хозяин Корим, желая узнать, что ему делать. Священник возвысил голос, начал молиться вслух, но это длилось недолго, к нему подскочил один из эсэсовцев, ударил кулаком по одутловатому, болезненному лицу и сказал гнусные слова:

— Заткнись, дерьмо свинячье!

По лицу священника потекла кровь.

Теперь уже действительно все было готово — все было в полном порядке, петля ровно лежала вокруг шеи подпоручика Ондreja Корима, и двое эсэсовцев поддерживали его на чурбане, чтоб он не упал, не испортил собственной казни, потому что даже последние дела человеческие на этой земле требуют порядка. Джонатан Дебнер стоял под старой грушей, лицевые мускулы его двигались, и казалось, будто он что-то жует. Он еще раз проверил взглядом, все ли в порядке, и не нашел ни малейшего изъяна. В это время пошел снег, большие хлопья снега падали с неба и медленно, мягко ложились на землю. Джонатан Дебнер смахнул снежинку со лба, подал знак тем, кто держал безжизненное тело подпоручика Ондreja Корима, и они отскочили в сторону, а Джонатан Дебнер вышиб чурбан из-под ног подпоручика Ондreja Корима. Ондрей Корим повис в воздухе, ботинки его были всего в нескольких сантиметрах от земли, тело чуть-чуть подергалось и замерло неподвижно, голова упала на грудь — все кончилось. Маленькая Луиза спросила вполголоса:

— Что они делают, мамочка? Почему он высунул язык, мамочка?

Пани Розенталь пришла в ужас: на секунду отвернулась от маленькой Луизы — и вот вам. Ей казалось —

все должны были услышать тоненький детский голосок.

— Замолчи, Луиза! Луизочка, очень прошу тебя, замолчи, нам нужно быть совсем тихими,— шепнула она маленькой девочке и погладила ее по головке.

— Но почему он высунул язык, мамочка? — еле слышно спросила Луиза.

— Ах, Луизочка, замолчи же наконец,— простонала пани Розенталь,— разве не сказала я тебе, что надо вести себя совсем тихо?

Теперь самое главное было вести себя тихо, все теперь зависело от того, как тихо они будут себя вести, по крайней мере пани Розенталь казалось, что все зависит от этого, это была ее последняя надежда, и поэтому она так упорно цеплялась за нее. Конечно, это была глупая надежда, но все-таки надежда; и пани Розенталь не могла от нее отказаться, потому что всякий живущий питает надежду и порой только надеждой и живет. Все еще стояли на коленях, снег тихо опускался на три ряда коленопреклоненных людей. Ондрей Корим висел на старой груше, и ботинки его лишь на несколько сантиметров не доставали до земли, а язык постепенно синел. Штурмфюрер Вилли Кребс снова подошел к стоявшим на коленях людям и объявил, что сейчас начнется проверка, просмотр документов и отбор. Сейчас он, штурмфюрер Вилли Кребс, отделит паршивых овец — подозрительных и предателей. Но он смотрел не столько в бумаги, сколько в лица людей, больше полагаясь на свой инстинкт, чем на документы. Кребс знал, что документы можно подделать, и был убежден в ошибочности своего инстинкта.

— Вот этого... и того,— говорил он, а когда инстинкт его молчал, Кребс все же говорил: — И того возьмите, лучше перебрать, чем недобрать!

Унтер-офицер Джонатан Дебнер выстраивал отобранных парами, ему помогало несколько эсэсовцев, и действовали они совсем не деликатно и не вежливо. Дойдя до Олины, штурмфюрер Кребс слегка заколебался. У нее были светлые волосы, и она даже немного нравилась штурмфюреру, но губы ее были слишком полны, подозрительно полны были ее губы.

— И эту,— сказал штурмфюрер Вилли Кребс и двинулся дальше. Джонатан Дебнер толкнул Олину, которая крепко прижимала к груди крошечного Марека.

Так штурмфюрер Вилли Кребс дошел до пани Розенталь, та притихла как мышь, прикрыла глаза, Гизела тоже затаила дыхание, даже маленькая Луиза теперь молчала. Но штурмфюрер Вилли Кребс был не настолько наивен, чтобы его могла обмануть эта тихая покорность, у него был слишком хорошо развит инстинкт, и стоило ему внимательнее взглянуть в лицо пани Розенталь, как он сплюнул.

— Пфуй, — сказал он. — Das ist eine Judin¹, берите их.

И Джонатан Дебнер толкнул их, маленькая Луиза расплакалась, он очень больно толкнул ее в спину, теперь уж и она испугалась. Так перебрали всех, и почти никто не остался, почти всех построили парами. Осталась хозяйка Коримова, она все еще глядела застывшими глазами на повешенного, который был ее сыном. Джонатан Дебнер, указав на нее, спросил:

— Что делать с этой, Herr Sturmführer²?

— Оставь ее, — ответил штурмфюрер, — эту оставь, на что она нам?

У штурмфюрера Вилли Кребса было мягкое сердце, и он уважал материнскую скорбь.

— Ладно, — согласился Джонатан Дебнер, — оставим ее.

Все уже построились парами, по бокам стали вооруженные конвоиры, остальные эсэсовцы бросились в хозяйственные постройки, вытащили все, что показалось им ценным, и скотину вывели из хлева, а после положили солому во все четыре угла двора и подожгли. Тогда наконец двинулась с места женщина, двинулась с места хозяйка Коримова, мать, у которой повесили сына. Она сделала несколько шагов к старой груше, и шла она осторожно, словно боялась на что-то наступить, раздавить, сломать что-то такое, чего ломать нельзя. Так дошла она до старой груши и тихо опустилась на колени, обняла ноги мертвого сына. Она не рыдала, только губы ее шевелились, наверное, она молилась, платок у нее съехал на затылок, а лицо было пепельно-серое и постаревшее. Она шептала молитвы и ни разу не застонала, не заплакала; глаза у нее были сухие и

¹ Это еврейка (нем.).

² Господин штурмфюрер (нем.).

красные. Амбар уже полыхал ярким пламенем, дым густыми клубами поднимался к небу, и снежные хлопья таяли в воздухе, вместо красивых белых хлопьев теперь с неба падал грязный дождь, перемешанный с сажей. Штурмфюрер Вилли Кребс дал команду, и колонна тронулась. Слышался плач маленькой Луизы, ее невозможно было унять. Марек тоже проснулся и закричал: Олине пришлось задрать свитер, расстегнуть блузку и на ходу кормить сына. Пламя уже стояло высоко, помилованные штурмфюрером Вилли Кребсом разбежались кто куда, во дворе остался лишь священник — теперь он мог наконец вытереть кровь на лице — и женщина, мать Корима; и остался там ее сын. Священник подошел к Коримовой, положил ей руку на плечо.

— Встаньте, — сказал он как мог ласковее, — встаньте, надо уходить отсюда.

Хозяйка Коримова повернула к нему лицо; это было не ее лицо, не лицо хозяйки Коримовой — то было лицо матери, страшное лицо, оно пугало священника. «Где бог? — вопрошало это лицо. — Где сейчас бог? Где прячешь ты бога, поп?» Священник вздрогнул от ужаса — лицо пугало его, и пугал вопрос, и в голове пролетело страшное сомнение: а может быть, его действительно нет? Быть может, он не существует и священник всю жизнь обманывался и обманывал других? И может быть, он всегда подозревал, что обманывается и обманывает других? Такая мысль была ужасна, и священник не хотел ни минуты больше думать об этом, хотя знал, что будет думать об этом весь остаток жизни.

— Встаньте, — ласково сказал он хозяйке Коримой, — надо уходить отсюда.

И закашлялся — вокруг уже было полно дыму; дым был густой, удушливый — горело сено. Шатаясь, священник побрел в ту сторону, где чуял свежий воздух, и видел еще сквозь слезы мать Корима — она не выпускала ног сына, платок у нее съехал на затылок, летучая искорка упала ей на волосы и погасла. Все это священник видел сквозь густой дым и слезы — быть может, этого и не было, быть может, не было там никакой женщины. Он спотнулся обо что-то, упал; его тяжелое больное тело не имело сил встать, но он заставил себя подняться, он все-таки встал и выбрался из опасного места. Задыхаясь, остановился он на соседнем холме,

обернулся на пожар — огонь стоял огромный, могучий, казалось, горят не только строения, но и весь сад, весь склон. Священник хотел помолиться, чтобы смягчить ужас, объявивший его душу. И вдруг ему стало еще страшнее, и он вдруг понял, что не сможет молиться, быть может, никогда не сможет молиться.

Третья группа карательных отрядов углубилась в долину Марталузку — это была темная долина, там был лес да лес, с обеих сторон — старый хвойный лес, и нигде ни хуторка, ни жилья, только призрачное безлюдье леса. Группой командовал надзбройник Филип Грахо; он долго просил и канючил, чтобы ему поручили командование, но оберштурмфюрер Эрих Янке вверил ему группу лишь после того, как за Филипа Грахо замолвил словечко Лемнитцкий. «Пусть он себе шею свернет, щенок, — думал Лемнитцкий, который мудро оставался в Прегихах, — пусть свернет себе шею этот подозрительный щенок, по крайней мере спокойнее будет». Но надзбройник Филип Грахо был благодарен Лемнитцкому за доброе слово, очень был ему благодарен за то, что Лемнитцкий помог ему стать командиром в этой операции. Надзбройник был бы очень расстроен, если бы не смог принять участие в этой операции в роли командира, если бы не смог решать исход операции. Он был убежден, что сейчас тут вершится история, и не хотел в такой исторический момент оставаться в стороне, не хотел быть рядовым, безымянным деятелем, не известным истории и не важным для истории; Филип Грахо хотел идти впереди и играть ответственную роль. Он знал, что не каждый день случаются решающие моменты, и был полон решимости не прозевать момент, который наконец-то наступил. Бей, уничтожай, громи — на то ты и гардист! Вот его простой символ веры. И теперь настало время разрушать, теперь наконец-то пришло время, к которому он давно готовился, пробил час, роковой час, час сведения счетов. Надзбройник Филип Грахо был решителен, тверд, неумолим, он был герой, о которых пелось в гардистских маршах,

он был защитник бога и нации, страж Святой Правды, был мститель по воле рока.

Его символ веры был для него непререкаем, невозможно было отторгнуть веру Филипа Грахо от него самого, его вера и он были одно. А так как он никогда не сомневался в себе, то не сомневался и в своей вере. Теперь же все стало еще очевиднее и проще — бей, круши, ломай, убивай! — вот такие были слова, и это было все, что требовалось знать и чего следовало хотеть.

Однако в глубокой и темной ложине со странным названием Марталузка нечего было крушить и некого было убивать. Здесь был только лес да лес по обеим сторонам узкой долины — дремучий, нетронутый хвойный лес, и стояла такая тишина, которая все поглощает, и человек от этого невольно кажется сам себе совсем маленьким. Как будто лес был тут извечно — и навечно, и тишина словно тоже была извечной и вечной, то была сама хмурая, молчаливая вечность, она знала о своем превосходстве и словно подсмеивалась над надзбройником Филипом Грахо: куда идешь ты, червь в образе человечьем? Надзбройник Филип Грахо был не из тех, кто страшится невидимого, он не верил в невидимое и был убежден, что все сущее можно разбить и уничтожить. А все, что можно разбить и уничтожить, несомненно, существует, и, помимо него, нет ничего, только бог, который вершит суд, прощает и карает, бог, благосклонный к Филипу Грахо, потому что он и есть бог настоящих словаков. А надзбройник Филип Грахо был не из тех, кто склонен чувствовать себя малым в глазах других и в своих собственных, наоборот, надзбройник был уверен, что он велик, герой, что он призван и избран. Но лес стоял такой безмолвный и бескрайний, такой величавый и леденяще молчаливый, что дыхание его теснило душу даже столь закаленного бойца, каким был надзбройник Филип Грахо. «Это только усталость, — думал Филип Грахо, — это ничего, это всего лишь усталость». Они уже долго шли по таинственной темной долине Марталузке и не видели ничего — только следы красного зверя на свежавыпавшем снегу да лес, лес, лес. Ни души живой, ни жилья человеческого, над которым поднимался бы дымок. Все было как в заколдованном царстве; долина и была заколдованным

царством, здесь был только лес, лес, один лес. Полдень миновал, а они все еще шли, и долина Марталузка становилась все уже и уже, а лес надвигался все ближе и ближе, просто в отчаяние приводило, что лес не отступает, а все надвигается, и его нельзя ни сокрушить, ни уничтожить.

Отряду под командой надзбройника Филипа Грахо приказано было очистить долину Марталузку, захватить и уничтожить партизанскую базу в охотничьем домике. Задание звучало воинственно и заманчиво, и надзбройник Филип Грахо мечтал получить его: он просил и кланчил до тех пор, пока не добился своего. Но в долине Марталузке нечего было чистить, на вид долина Марталузка была чиста, на вид она была совершенно чистой. И нечего было захватывать и уничтожать: охотничий домик давно был уничтожен. Когда измученные гардисты подошли к охотничьему домику, они нашли там только обгорелые балки да большую кучу золы, припорошенную свежим снегом. Эсэсовцы, сопровождавшие группу надзбройника Филипа Грахо, отгребли снег и дали овчаркам понюхать золу, но дрессированные псы трясли головами и отворачивались — они чуяли только запах золы и больше ничего. Надзбройник Филип Грахо приказал сделать привал возле сожженного охотничьего домика, который ему следовало захватить и уничтожить, но который он не мог ни захватить, ни уничтожить. Гардисты и эсэсовцы ели колбасу и тянули из фляжек спирт; потом они стояли, курили и поглядывали на Филипа Грахо. Что предпримет теперь надзбройник, как поступит он при столь исключительных обстоятельствах, когда они и выполнили и не выполнили задание?

А Филип Грахо размышлял, он смотрел на карту и размышлял. Не хотелось ему уходить просто так, он все еще желал побеждать, убивать и истреблять, он по-прежнему желал вернуться победителем и героем. Филип Грахо смотрел на карту и размышлял, как следует поступить в таком случае. На карте был обозначен лес, всюду вокруг был только один лес, лес, лес, но бескрайний лес на карте выглядел далеко не так мрачно, он был веселый и невинный. Потом надзбройник Филип Грахо разглядел на карте светлое пятнышко: это была поляна с сенными сараями, и Филип Грахо принял ре-

шение. Он указал рукой, и отряд двинулся в ту сторону; впереди шли эсэсовцы с собаками, за ними — гардисты; гардисты шли не бог весть с каким энтузиазмом, но все-таки шли. Они двигались по узкой лесной дороге и теперь лес касался их, дыша им в лицо холодом, сдавливал их. Солнца не стало видно, над ними склонялся свод ветвей; лес был справа и слева, спереди и сзади, лес был и над ними, он обступал их со всех сторон и был по-прежнему леденяще и величаво безмолвен. Они шли час, два часа, шли уже третий час, а вокруг все был лес, он обступал их со всех сторон, и чем дальше они шли, тем сильнее робели. То был бескрайний лес, то была таинственная бесконечность, вечность и угроза. Надзбройник Филип Грахо готов был теперь вернуться и не мог вернуться, не мог усомниться в себе, и потому он не мог вернуться. Так они шли и шли, лес становился все темнее и темнее; темнота сгущалась, и падала на них, и сжимала их обручем страха. Эсэсовцы впереди остановились — они дошли до места, где узкая дорога раздваивалась. Филип Грахо заглянул в карту, но напрасно всматривался — на карте был только лес, он выглядел на карте весело и безопасно, но там не было обозначено никаких дорог — эти дороги прокладывали, когда свозили бревна, со временем они исчезали и оставались на картах неотмеченными.

— Заблудимся, — сказал кто-то из гардистов.

Но Филип Грахо собрал всю свою волю и показал на одну из дорог.

— Вперед — скомандовал он. — Вперед, теперь уже близко.

Тут в лесу треснула сломанная ветка, и все как по команде кинулись наземь, всех разом пронзил ужас, и они уже не скрывали его ни друг от друга, ни от самих себя. Овчарки залаяли, рванулись к лесу, но эсэсовцы держали их крепко, им вовсе не хотелось бежать за собаками в темный лес. Треск не повторился, вернулась тишина, но они долго еще лежали на земле, не решаясь пошевелиться. Потом кто-то сказал:

— Да это какой-нибудь зверь.

И все перевели дух, потому что хотели поверить сказанному, хотя страх мешал им в это поверить.

— Вперед! — снова скомандовал надзбройник Филип Грахо, но голос его уже не звучал твердо и пове-

лительно, все уловили в голосе надзбройника неуверенность и очень нерешительно и неохотно двинулись вперед.

Те, кто боялся больше всех, были правы, им и впрямь было чего опасаться — ветка треснула вовсе не под лапой зверя, а под ногой человека. На ветку наступил один из разведчиков капитана Лабуды, Марек Угрин. Марек Угрин был близорук и плохо видел в лесной полумгле. Разведчикам пришлось залечь и затаить дыхание — они боялись, что их учуют собаки, но ветер дул в противоположную сторону, и их так и не обнаружили.

— Эх ты, растяпа ученая, — шепотом выругал Марек Угрина взводный Коза, — растяпа ты безглазая! Что под ноги не смотришь? В последний раз, — гневно сказал взводный Коза, — в последний раз беру с собой такого близорукого растяпу, клянусь богом, в последний раз!

Марек, виновато съежившись, лежал рядом со взводным Козой и молчал. Он знал, что действительно виноват и что взводный Коза прав в своем гневе. Марек уже знал, что в той странной жизни, какую он вел сейчас, все вины не были похожи на вины в прошлой жизни. Теперь виной было: несмазанный автомат, неосторожный шаг, неточный прицел — вот что было настоящим проступком, грехом, а иной раз и преступлением. Марек лежал рядом со взводным Козой и злился на себя, зачем он не такой, как все? Зачем нет у него зорких глаз и гибкого тела, зачем он неловок и близорук? Марек хотел быть как все, теперь в этом заключалось его честолюбие — быть как все, не выделяться, слиться со всеми, быть оком, ухом, пружинистым бесшумным шагом, пальцем на спуске автомата — и ничем иным. Ему пришлось теперь отбросить свой прежний образ, пришлось окончательно от него отказаться, пришлось забыть те ночи, когда он терзал себя собой же, когда тщетно искал смысл, и суть, и корень смысла, когда размышлял о подвижнической роли духа; теперь все это казалось ему ненужным, бессмысленным и лишним, теперь все это было не более чем трухлявый хлам, ненужные слова, ненужные мысли, ненужные чувства. Теперь ему нужны были только верный глаз, твердая рука да физическая сила, которая помогла бы справляться со всеми трудностями; и его совсем не тянуло размышлять о

смысле и сути. Ему даже не жаль было расстаться со старым Марekom Угрином; он был милый и искренний человек, прежний Марек Угрин, милый, искренний — и ненужный человек. И еще потому Мареку не было жаль расстаться с ним, что он знал: прежний Марек Угрин исчез не навсегда. Марек уже знал, что человек возвращается сам к себе, он знал уже и то, что легче умереть, чем на всю жизнь отойти от самого себя. Но сейчас он об этом не думал, сейчас он был почти счастливым, что ему не надо ни о чем думать, что он занят только работой своих органов чувств, своего тела, своих мышц.

Капитан Лабуда отдал приказ: «Подъем, осторожно вперед», — и приказ передали шепотом по цепи разведчиков, разведчики встали и пошли вперед, осторожно, шаг за шагом, от дерева к дереву. Капитан Лабуда спустился с поляны с сараями в долину Марталузку и совершенно случайно наткнулся на отряд надзбройника Филипа Грахо. Он заметил его возле сожженного охотничьего домика и с того времени шел за ним по пятам. В лагерь Лабуда послал связного — хорошо бы, мол, заманить этих сволочей в ловушку, сам капитан пойдет следом за ними, а когда они напорются на партизанских часовых, ударит по гардистам с тыла. Все шло гладко, болваны лезли прямо под прицел, как будто их тащили на веревке, капитан Лабуда был доволен и внимательно следил, чтобы противник ничего не узнал о его разведчиках раньше времени, а тогда будет уже поздно...

В последние дни настроение у капитана Лабуды было не из лучших, он не ладил с комиссаром Бенде, да и с Янко Крапом не очень-то ладил, не мог примириться с тем, что они командиры, а он им подчинен. Капитан был слишком хорошего мнения о себе — разве не был он одним из лучших фронтовых офицеров, разве не писали о нем в газетах? Разве не был он даже чем-то вроде национального героя? А теперь ему приходилось подчиняться какому-то комиссару Бенде. Кто он, собственно, этот комиссар Бенде? Нет, неважное было настроение у капитана Лабуды в последние дни. Он все время ходил хмурый и ждал, когда его пошлют в разведку — лишь тогда он сможет освободиться от подчинения и от старших командиров.

Капитан хотел освободиться и сделаться самостоятельным, хотел стать хозяином своих действий, снова стать тем, кем был на фронте, — он хотел быть командиром и героем. Но не так-то просто было достичь этого, условия партизанской войны оказались очень сложными; необходимы были и база, и снабжение, и еще многое другое. И капитан Лабуда в душе несколько примирился и с комиссаром Бенде, и с Янко Крапом, но теперь он у них же под носом покажет им, кто он такой, кто такой капитан Лабуда. Он двигался медленно и осторожно со своими разведчиками, преследуя отряд надзбройника Филипа Грахо, и тщательно следил, чтобы никто не выдал себя; он замирал, когда гардисты останавливались, и облегченно вздыхал, когда они двигались дальше, двигались именно в том направлении, где этих сволочей ждала гибель.

Наконец лес немного поредел. В душе надзбройника Филипа Грахо ожила надежда, и дрессированные псы залаяли, издав далеко учуяв близость лагеря. Гардисты рассыпались цепью и стали медленно продвигаться вперед, прячась за деревьями; перед ними вдруг открылась полянка с санными сараями, над крышами поднималась тоненькая струйка дыма. Наконец-то они дошли, наконец-то он перед ними, этот проклятый партизанский лагерь! Надзбройник Филип Грахо решил нанести удар внезапно, он крикнул: «За бога и нацию!» — гардисты выскочили из леса и побежали к лагерю, но тут застрочили оба пулемета Лешина взвода, и гардисты пятились; кое-кто упал, многие залегли. Тогда позади них раздался рев: казалось, рев этот исходит из тысяч глоток, хотя орало всего лишь несколько десятков молодых. Гардисты и перекреститься не успели, не успели бросить оружия — все произошло мгновенно, как во сне, в какие-то считанные секунды, из леса выбежали какие-то бешеные, гардистам не было пути ни вперед, ни назад, они смешались и покорно падали под ударами. Все случилось невероятно быстро, быть может, прошло несколько секунд, а отряд надзбройника Филипа Грахо перестал существовать и сам надзбройник Филип Грахо лежал навзничь и видел, как на землю падают большие хлопья снега. Даже в ту минуту, когда он умирал, Филип Грахо не допускал мысли, что он мог ошибаться в себе и в своей вере! «Это какое-то недора-

зумение...» Но он имел в виду не то недоразумение, каким была вся его жизнь, а то, которое стало причиной его смерти.

— Хорошо, — сказал Алеша капитану Лабуде и подал ему руку. — Славная была работа.

— Еще бы, черт возьми! — ответил капитан Лабуда. — Ей-ей, неплохая работа.

Но Марек Угрин заторопился в лагерь; он не мог смотреть на людей, убивать которых сам помогал. Теперь они уже не были гардисты; теперь, убитые, они снова стали людьми, и Марека чуть не стошнило.

4

Теперь маленький Марек снова уснул, и Олина вздохнула свободнее. Как хорошо, что Марек спит и сосет свой пальчик; это такое облегчение в том трудном, опасном положении, в котором очутилась Олина. Они шли и шли, спустились с Лазенце, прошли через Верхнюю Осадку, потом миновали и Нижнюю Осадку — и все шли и шли. Наступил вечер, и настала ночь, а они все шли и шли. По бокам их двигались молчаливые тени эсэсовцев и овчарок; собаки тихонько ворчали и скалили зубы, белевшие в темноте. Пани Розенталь шла рядом с Олиной и всю дорогу несла на руках маленькую Луизу — пани Розенталь была слабая женщина, но она всю дорогу несла на руках маленькую Луизу и ни разу не вздохнула громко — она боялась обратить на себя внимание эсэсовцев и овчарок, у которых в темноте сверкали зубы. Но теперь выбилась из сил и старшая девочка, выбилась из сил и Гизела; она держалась за юбку матери и, чем дальше, тем чаще спотыкалась и стискивала зубы, она знала, что надо идти, но уже выбилась из сил и напрасно стискивала зубы; чем дальше, тем чаще она спотыкалась, и ножки у нее очень болели.

Пани Розенталь не думала о том, что будет, она думала лишь о том, что есть и что надо делать в ближайшее мгновение, и не могла ничего придумать. Вот маленькая Луиза, которая задремала в ее объятиях, и вот ее онемевшие руки, которые не хотели больше нести маленькую Луизу, которые отказывались от непосиль-

ного груза, и еще вот Гизела, которая начала часто спотыкаться, и пани Розенталь чувствовала, как натягивается юбка, за которую держится Гизела.

— Еще немножко, — шептала пани Розенталь, — еще немножко, и мы придем, продержись еще немножко, доченька моя, еще чуточку, беденькая моя.

Пани Розенталь не думала, что будет «там», она думала только о ближайших мгновениях, к счастью, эти ближайшие мгновения так поглощали ее, что она не успевала думать о том, что будет «там». Если бы пани Розенталь об этом подумала, она поняла бы, что все напрасно, что не к чему оттягивать руки грузом, который они не в силах были нести, она знала бы, что не к чему беспокоиться за Гизелу, которая уже выбилась из сил. Если бы пани Розенталь могла подумать о том, что будет «там» и что станет с ними, она бы села у дороги, обхватила бы руками своих девочек, и ей было бы уже все безразлично. Но пока ей не было все безразлично, она думала только о том, как бы им всем трем, ей и ее двум девочкам, поспеть за остальными и не привлечь к себе внимания Эсэсовцев.

— Теперь уже недалеко, еще немножко осталось, Гизелочка моя, Гизела, хорошая моя девочка, ты всегда была хорошая девочка, продержись еще самую малость.

Гизела, которой было почти десять лет и которая уже все знала о мире, знала и то, что упасть нельзя, что она должна идти, должна продержаться. Она стискивала зубы, но ножки у нее болели все сильнее и сильнее, подошвы жгло как огнем. Когда их выгнали во двор, она была в комнатных туфлях, и теперь туфли разорвались, дорога была застывшая, кочковатая, и у Гизелы сильно жгло подошвы: она сбила их до крови, и ей казалось, будто ножки у нее в огне.

Олина шла рядом с пани Розенталь и видела, как ей туго приходится. Теперь, когда Марек спокойно спал и сосал свой пальчик, она могла видеть и чужое горе. Теперь Олина могла видеть и чужое горе, могла увидеть, как туго приходится пани Розенталь. Положение пани Розенталь походило на ее собственное, только горе ее было больше, вдвойне больше — ведь у пани Розенталь было двое детей, а у Олины только один сын. Кроме того, пани Розенталь была еврейка, и дети ее были еврейские дети — горе пани Розенталь было вдвое

и втрое больше. Олина взяла за ручку Гизелу, ручка у Гизелы была холодная, это была маленькая, озябшая детская ручка, и она крепко ухватила за руку Олины, но потом все слабела и слабела, разжималась, потому что Гизела уже выбилась из сил и не могла сделать ни шагу больше, и она стискивала зубки, но это уже не помогало. Гизела споткнулась и упала — это было неизбежно, — она споткнулась, упала и не могла встать; ее оставили последние силы, покинула воля сопротивляться собственной слабости. Колонна остановилась, и Олина опустилась на колени возле Гизелы и сказала тому, кто шел сзади:

— Подсадите ее мне на спину, скорей, скорей! Подсадите ее! — Хозяин Корим, который шел сзади, подсадил Гизелу Олине на спину.

Из темноты вынырнула тень эсэсовца, и он пролаял:

— Что такое? Что случилось? Вперед, вперед! Los, los! — лаял этот человек.

Он лязгнул затвором автомата, и овчарки тоже залаяли. Но колонна уже двинулась дальше, снова все было в полном порядке, снова шли они по неровной, смерзшейся дороге, и по бокам их двигались эсэсовцы и собаки, у которых в темноте сверкали клыки. Теперь у Олины было двое детей: на руках она несла Марека, закутанного в одеяльце, он спал и посасывал пальчик, а на спине она несла Гизелу, которая холодными ручками обнимала ее за шею. Теперь у Олины было двое детей, но это не было двойным грузом, наоборот, Олина шагало теперь легче, она стала сильной, смелой и упрямой. Маленькая Луиза проснулась, ее разбудил окрик эсэсовца, она открыла глаза и спросила вполголоса:

— Как темно, мама, почему так темно, мамочка?

— Сейчас выглянет месяц, — пытаюсь ее успокоить, зашептала пани Розенталь, — сейчас выйдет месяц, и тогда будет не так темно.

Но маленькая Луиза на том не успокоилась и спросила:

— А почему мы не спим, когда так темно, почему мы не спим, мамочка?

— Ах, — вздохнула украдкой пани Розенталь, — ах, Луизочка моя, зачем ты меня мучаешь?

Но маленькая Луиза не поняла и переспросила:

— Почему я тебя мучаю, мама?

— Сиди тихо, — ответила пани Розенталь, — разве ты не знаешь, что надо вести себя совсем тихо?

Но маленькая Луиза не понимала, почему ей нужно молчать, ведь она не видела немцев, и она спросила:

— Почему нужно сидеть тихо? Почему мы должны молчать, мамочка.

— Ах, Луиза, — чуть не плача, зашептала пани Розенталь, — когда же ты перестанешь меня мучить?

Маленькая Луиза затихла и стала думать: отчего так темно, и отчего они не спят, когда так темно, и отчего нужно сидеть тихо, когда они не спят? Потом она вполголоса спросила:

— А где Гизела, почему я не вижу Гизелу, мамочка?

— Я здесь, — отозвалась Гизела, — только ты молчи.

— Где ты? — спросила маленькая Луиза, в темноте она не видела сестры.

— Здесь, — ответила Гизела, — меня несет тетя с желтыми волосами, меня несет добрая тетя.

— А где эта тетя? — не унималась Луиза.

— Я здесь, — ответила Олина. — А теперь молчи, — приказала она девочке, — теперь больше ни гугу!

Наконец колонна добралась до Прегиб, вошла в улицу с ровным асфальтом и с тротуаром из плит, на которых гулко разносились тяжелые шаги эсэсовцев. Здесь были дома и окна, городок стоял тихий, беззвучный, и все же тут были дома и окна, а за окнами спали или бодрствовали люди, и это присутствие невидимых людей, которые спали или бодрствовали за окнами, ободряло, внушало надежду. Потом колонна вышла на площадь и остановилась у дверей тюрьмы. Эсэсовцы зажгли карманные фонарики и пересчитали арестованных. Затем двери тюрьмы открылись, и все долго стояли в коридоре, только уже без эсэсовцев — теперь здесь были надзиратели и надзирательницы, тюремные служащие, которые сами были перепуганы, были невыспавшиеся и злые. Тюремщики снова пересчитали арестованных, о чем-то стали спрашивать, что-то записывать, потом развели по камерам. Тюрьма была построена по последнему слову техники, это было самое современное здание в городе, из железобетона, в камерах — цементные полы, центральное отопление, унитазы со спускающейся водой. Это была комфортабельная тюрьма.

ма, здание холодное, строгое и целесообразное; здесь все тяготело к целесообразности и к строгому порядку. Но сейчас здесь не было никакого порядка, тюрьма была набита до отказа, пришлось вынести из камер койки и тюфяки, люди лежали прямо на цементном полу, вповалку, тесно прижавшись друг к другу. Надзирательница открыла дверь в одну из камер — у надзирательницы было толстое добродушное лицо — и вздохнула:

— Может быть, как-нибудь еще поместитесь, — сказала она Олине и пани Розенталь. — Это у нас единственная женская камера, — сказала надзирательница и еще раз вздохнула, — теперь здесь все наше женское отделение, а в остальных — одни мужчины.

В камере стояла духота, в ней находилось человек десять женщин и девушек, и дети тут были, и все лежали на цементном полу, прикрытые половиками. У некоторых женщин были даже одеяла. Надзирательница зажгла свет, ее добродушное лицо как будто извинялось за что-то.

— Здесь не очень-то много места, но придется уж как-нибудь потесниться, — сказала она.

Место нашлось возле унитаза — это было, конечно, неприятное место, но остальные были все заняты. Олина привалилась спиной к стене, маленький Марек согревал ей грудь, она чувствовала, как он беспокойно шевелится во сне. Только теперь, когда уже не грозила непосредственная опасность, когда вокруг не было темноты, и теней эсэсовцев, и овчарок с белеющими во тьме клыками, только теперь ощутила Олина всю тяжесть утомления, только теперь она расправила спину, и усталость пала на нее тяжелым черным камнем. Олина то погружалась в забытие со странными, причудливыми сновидениями, то вновь просыпалась, спешила коснуться Марека, чтобы убедиться, что он тут, жив и дышит. То и дело ее будила одна из женщин — у нее был понос, и она всю ночь бегала к унитазу. Будил ее и маленький Марек, он спал очень беспокойно в тяжелом воздухе, ворочался и поминутно начинал пищать. Утром Олина проснулась, словно с похмелья, все тело ломило, и жить не хотелось. Принесли похлебку, заправленную мукой, но в этом смраде Олина не могла прикоснуться к ней, хотя и знала, что должна есть ради маленького Марека. Теперь среди женщин Олина узна-

ла и девушку, Ганку Крапову. Ганка подошла к ней и сказала:

— Боже мой, это вы, как вы сюда попали?

Олине стало смешно, что Ганка Крапова называет ее на вы; ей показалось это смешным в вонючей камере, и она сказала об этом Ганке Краповой.

— Не кажется ли вам смешным, что мы говорим друг другу «вы»? — сказала она.

И Ганка кивнула:

— Верно, очень смешно называть друг друга на «вы» в таком положении.

— Сейчас мы все равны, — сказала Олина, — сейчас мы все одинаково несчастны. Зачем же нам называть друг друга на вы, теперь мы все как родные.

— Это верно, — сказала Ганка Крапова, — теперь мы как родные и будем помогать друг другу.

Но помочь друг другу они ничем не могли, у Ганки было много хлопот с матерью, которая лежала пластом, надо было кормить ее, как малое дитя, умыть и вообще обращаться с ней как с малым ребенком. У старой Краповой ноги распухли как колоды, а сердце билось слабо и неровно. Целыми часами она лежала молча, глядя в потолок отсутствующим взглядом мученицы, и тихонько вздыхала. А у Олины был маленький Марек, она очень за него боялась; боялась, что он заболит, потому что в скверном воздухе у него пропал аппетит, он вяло лежал на руках у Олины, и ей показалось, что у него жар. Это было худшее, что могло случиться, это было самое страшное. Олина поминутно прикладывала руку к лобику маленького Марека, и ей казалось, что лобик пылает. Напрасно пани Розенталь утешала ее, Олина была в отчаянии. Утром кое-кто из женщин ушел мыть полы в коридорах, а Олина осталась со своим сыном. Она очень за него боялась, все трогала его лобик и щечки и брала его за ручки, а сердце ее трепетало и плакало.

В полдень пришла толстая надзирательница с добродушным лицом, отворила дверь и крикнула:

— Феркодичева! Кто тут Феркодичева?

Олина сначала испугалась, потом ей забрезжила надежда, она подошла к надзирательнице, и та сказала:

— Может быть, вам повезет, пани Феркодичева, о вас справлялся один гардист.

В конторе сидел органист, он до сих пор исполнял обязанности начальника тюрьмы; еще там был Валер Феркодич. Олина его не сразу узнала. Валер был в странной форме. Олина никогда еще не видела его в форме; и все же это был Валер, ее двоюродный брат; он улыбнулся, показав красивые белые зубы, и сказал:

— Шикарно, ей-богу, шикарно! Так это ты?

Потом он обратился к органисту:

— Это дочь депутата Феркодича, ты не слыхал о депутате Феркодиче, брат председатель?

— Не слыхал,— хмуро ответил органист.

— Это один из лучших сынов народа,— серьезно сказал Валер Феркодич, и только глаза его смеялись.— А тебе надо бы знать, кто такой депутат Феркодич, брат председатель!

— Очень сожалею,— хмуро ответил органист,— но я не знаю, кто он такой. Не имею чести,— насмешливо добавил он.

— Напрасно,— возразил Валер Феркодич,— надо знать выдающихся людей нации: это полезно, это повышает энергию и преданность нашим идеалам.

— Очень сожалею,— повторил органист и хотел было добавить: «Не могу я знать всех патриотов, и плевать мне на проныр, которые протолкались к кормушке!» Но он ничего не сказал, так как не очень хорошо разбирался в этих пришельцах, незнакомых гардистах, немного презирал и немного боялся их.

— Вот это шикарно! — повернулся Валер к Олине.— Как ты сюда попала?

— Не знаю,— ответила Олина,— не знаю, почему меня сюда пригнали. Со мной тут сын,— добавила она и слегка покраснела.

Все это время она думала о маленьком Мареке, оставленном на попечении пани Розенталь,— не болен ли, нет ли у него жара?

— Шикарно,— сказал Валер.— Стало быть, у тебя сын? Шикарно, у тебя есть сын, а я стал дядей. Дядя Валер — нет, просто шикарно!

— Помоги мне, Валер,— сказала Олина.— Помоги моему сыну.

— Само собой,— ответил Валер.— Дядя Валер поможет.

— Но-но, не так быстро! — вмешался органист, и его желтое лицо сморщилось и стало похоже на сушеное яблоко. — Это операция штурмфюрера Кребса.

— Кребсика? — неуважительно сказал Валер. — С Кребсиком мы договоримся. Не бойся, дядя Валер поможет.

— Вы кончили? — спросил органист, еще сильнее морща маленькое лицо.

— Все в порядке, брат председатель, — сказал Валер. Потом успокоил Олину: — Не бойся, дядя Валер поможет.

Олина вернулась в камеру, маленький Марек плакал, но сейчас же затих, едва нащупал губками сосок. Теперь он ел с жадностью, у него снова появился аппетит, а следовательно, и вкус к жизни. Олина успокоилась. Пани Розенталь спросила:

— Что им нужно?

— Кажется, меня отпустят, — ответила Олина.

— Вы думаете? — спросила пани Розенталь. Она, конечно, не хотела этого, но все же в ее словах прозвучал упрек.

— Да, — подтвердила Олина. — Кажется, отпустят.

В камере было тихо, все женщины это слышали и все смотрели на Олину. «Я тут ни при чем, — хотела сказать им Олина, — я ни при чем, я не виновата, что у меня есть надежда, и не виновата, что у меня радость, и я не умею скрыть ее — ведь речь идет не обо мне, а о моем сыне».

— Это был мой знакомый, — сказала Олина. — Мой хороший знакомый, и он обещал помочь.

— Думаете, вас в самом деле отпустят? — укоризненно, завистливо, с глубоким отчаянием спросила пани Розенталь.

— Не знаю, — ответила Олина. — Быть может, этот знакомый мне действительно поможет.

Чачкова, которую арестовали вторично за то, что ее муж был партизан и коммунист, сказала:

— Хорошо иметь таких знакомых. Я бы тоже не возражала против таких знакомых, будь они даже мерзавцы и подлецы.

— Верно, — сказала женщина, которая всю ночь бегала к унитаду. — На бедных-то всем наплевать. Господа везде господа.

Но Ганка Крапова, которая тоже завидовала Олине, сказала:

— Радоваться надо, зачем вы так говорите? Радоваться надо, что хоть одна из нас выходит на волю.

Олине было мучительно неприятно, она краснела, и в глазах ее стояли слезы.

— Я не виновата, — сказала она. — Оставьте меня в покое, я не виновата.

— К тому же еще ничего не известно, — подхватила Ганка Крапова.

Ничего еще не было известно, и это была пытка — то надежда, то отчаяние, и снова надежда, и снова отчаяние; бесконечные минуты и еще более бесконечные часы надежд и отчаяния. Но вечером загремел ключ, надзирательница отворила дверь, а за ее спиной стоял Валер.

— Феркодичева! — крикнула надзирательница, и ее добродушное лицо улыбалось. — Феркодичева, выходите с вещами!

Вещей у Олины не было, она завернула потуже маленького Марека в одеяльце и была готова.

— Значит, вы все же выходите, — сказала пани Розенталь, она, конечно, не хотела, но это звучало упреком, и в ее словах слышались зависть и отчаяние. — Значит, все-таки вам посчастливилось, — сказала пани Розенталь.

Маленькая Луиза спросила:

— Куда уходит эта пани?

Но Гизела произнесла серьезно:

— Хорошо, что вам посчастливилось.

Ганка Крапова проводила Олину, постояла с ней у открытой двери. Олина сказала ей.

— Пусть они на меня не сердятся, скажи им, пусть не сердятся на меня. Я не виновата.

— Ничего, — ответила Ганка. — Хорошо, что тебе удалось выбраться.

— Ну, идите, Феркодичева, — заторопила надзирательница. — Я не имею права держать дверь открытой.

Олина безмолвно поклонилась всем. «Простите меня, — просила она взглядом, — я не виновата». А потом была уже одна только радость. Олина сразу забыла укоризненные взгляды, пани Розенталь, даже маленькую Луизу и Гизелу, забыла всех, остались только ее

сын и она сама, Олина. Она стояла на тротуаре у дверей тюрьмы, всей грудью вдыхала свежий, резкий морозный воздух. Она стояла тут, чувствовала все свое тело, вдыхала сама себя с морозным воздухом; она снова существовала, жила, вернулась к жизни.

Валер достал для нее пропуск, проводил на вокзал и посадил в поезд.

— Шикарно, что у тебя все в порядке, — сказал он. — Дядя Валер — первый сорт, правда?

Потом махнул ей рукой.

— Передай привет Братиславе! — крикнул он ей вслед и сразу стал серьезным и больше не улыбался. Олине показалось, что он печален и чем-то встревожен. Но с ней была ее радость, и радость ее была выше всего, она перекрывала все. Это была большая, огромная, безграничная радость.

— Как хорошо, что я жива, — шептала Олина, — как хорошо жить!

5

Профессора Маркеха вызвали на допрос, но, когда его ввели в контору тюрьмы, там никого не оказалось. Конвоир куда-то ушел, в конторе никого не было, и профессор Маркех остался один. На письменном столе лежали какие-то бумаги, стояла чернильница, лежала ручка с пером и висел карандаш на пружинке — все было обыкновенное, конторское, пыльное, скучное. Профессор Маркех уже кое-что слышал о допросах, и то, что он слышал, внушало страх — он не верил человеческой совести, но знал, что, когда надо придумать всякие ужасы, человек обнаруживает изрядную фантазию. Фантазия, с помощью которой придумывают всякие ужасы, — чисто человеческое свойство, одно из тех, которые отличают человека от животного. Но контора была скучная, обыкновенная, пыльная, пол здесь не пропитался кровью, и стены не были забрызганы ею, вообще здесь ничего не говорило о каких-либо ужасах. И все-таки профессору было не по себе. Он полагал, что не боится смерти, но боялся всяких мерзостей; он ненавидел мерзости и боялся их. А допрос был не чем иным, как одной из гнусных мерзостей. Профессор Маркех долго стоял один, в конторе никого не было.

У профессора затекли ноги, но он не решался сесть, ему все казалось, что кто-то на него смотрит, кто-то подслушивает. Непорядочно, мерзко и подло было заставлять его ждать так долго стоя. К счастью, профессор Маркех понял, что это умысел. Его умышленно заставляли так долго ждать, чтобы в душу его проник страх, чтобы он задрожал от страха. И как только профессор Маркех это понял, дух его окреп, он стиснул зубы, и всякий страх покинул его.

Наконец дверь открылась, и в контору вошел Лемнитцкий. Глаза его уже не были такими быстрыми и подвижными; теперь они были чуть-чуть выпуклы, красны, в них словно что-то погасло.

Лемнитцкий поздоровался:

— Добрый день, профессор.

И профессор Маркех вежливо поклонился и тоже произнес:

— Добрый день, пан командир.

Лемнитцкий уселся за письменный стол, его движения были уже далеко не такими гибкими, как прежде. У него был утомленный вид, и весь он как бы отяжелел.

— Давно мы с вами не виделись, — сказал Лемнитцкий.

— Давно, — согласился профессор Маркех. — Могу я сесть?

— А как же. Конечно, можете. С какой стати вам стоять?

— Благодарю вас. Тут никогда не знаешь, что можно и чего нельзя.

— Это верно. Вы еще не привыкли?

— Стараюсь. Не знаю только, успею ли.

— Это будет видно, пан профессор. Все будет зависеть только от вас.

— Так начинаются допросы, верно? Мы уже начали?

— Не торопитесь. Я вот не тороплюсь, времени у нас хватит. Закуривайте.

— Закурю. Это тоже обязательный прием в начале допроса, не так ли? Предложить сигарету, установить атмосферу непринужденной беседы. Или нет?

— Вы очень образованны, профессор. Я всегда говорил, что вы слишком образованны для маленького городка и для малой нации. И что вам это вредно.

— Вредно?

— Да, это всегда бывает вредно. В человеке все должно быть распределено равномерно, все должно находиться в строгом равновесии. Человеческие возможности не бесконечны, и, если вы где-то прибавляете, вы неизбежно отнимаете в другом месте, нарушая этим равновесие и навлекая на себя несчастье.

— Интересно.

— Это не я выдумал, я читал где-то. И если даже для вас это не очень интересно, то все же тут что-то есть.

— Безусловно. Это очень интересно.

Они сидели друг против друга: Лемнитцкий по одну сторону стола, профессор Маркех — по другую. Оба курили, выпуская клубы дыма. Лемнитцкий покачал карандаш на пружинке, помолчал, следя за его движением, потом сказал:

— А теперь нам пора немного поработать. Вы должны извинить меня, профессор, мы сейчас немножко поработаем.

— Я буду счастлив работать с вами, пан командир.

— Это еще неизвестно, профессор. Неизвестно, кто из нас будет счастлив.

— Разумеется, я. Я заранее радуюсь.

— Оставьте, профессор. Оставьте, вам это вовсе не к лицу. Это к лицу вашим студентам, но не вам. Сейчас мы немного поработаем, и давайте будем серьезны, ведь мы серьезные люди.

— Хорошо. Я буду хороший.

— О, вы будете хороший, так или иначе, а будете. В конце концов вы обязательно будете хороший. Но я хочу, чтобы это произошло лучше раньше, чем позже.

— По старому знакомству?

— Безразлично, почему я так поступаю. Пусть это будет безразлично для вас, профессор. Быть может, я это делаю по старому знакомству, а может быть, потому, что хорошо знаю вас и вижу вас так же ясно, как самого себя — ведь вы на меня похожи.

— Вы не ошибаетесь, пан командир?

— Нет, я не ошибаюсь.

— Для меня это большая честь.

— Не такая уж большая.

— Но все-таки честь.

— Как на это смотреть, профессор. Порой я думаю о себе, что я негодяй, мерзавец и человек ненужный, что я никчемный человек и что никто не ощутит утраты, когда меня сдует с лица земли.

— Что вы,— сказал профессор Маркех.— Вы меня пугаете.

— Я знаю, что то же самое и вы иногда думаете о себе.

— В известном смысле все люди ненужные. Их существование не имеет смысла.

— Но не все о себе так думают.

— Да, не все так думают.

— Вот видите. А мы с вами так думаем.

— И в этом наше сходство?

— Приблизительно. Оба мы — в конце пути, и оба обречены. И оба мы знаем, что обречены.

— Пока я ничего такого не вижу.

— Это лишь видимость. Не верьте видимости, профессор.

— Большое спасибо за такую видимость,— злобно сказал профессор Маркех.

То приподнятое, игривое, чуть ли не веселое настроение, какое было у него в начале разговора, улетучилось. Он был зол теперь. «Смешно,— злобно думал он,— этот человек осмеливается утверждать, будто мы похожи, будто мы одинаковы!» Но не это было главной причиной злости профессора, главная причина заключалась в том, что профессор Маркех был склонен поверить Лемнитцкому, ибо некоторые мысли Лемнитцкого как две капли воды походили на его собственные. Лемнитцкий неподвижно сидел за столом, его красные выпуклые глаза смотрели на профессора Маркеха холодно и бесстрастно.

— Вот почему сюда пришел именно я, а не кто-нибудь другой,— сказал Лемнитцкий.— Мы с вами можем покончить с этим делом тихо и благородно — именно потому, что я вас знаю, мы можем покончить с нашим делом тихо и благородно. Без крика, без всех этих мерзостей, о которых вы, будучи человеком образованным, несомненно, знаете.

Профессор Маркех молчал.

— Вы могли бы сказать мне то, чего я еще не знаю.

— Не скажу.

— Мне нужно не так много. В основном мне уже все известно. Речь идет лишь о кое-каких подробностях.

— Не скажу.

— Напрасно. Я знаю, вы гордый человек, но тут ваша гордость неуместна. На что она вам здесь, ваша гордость?

Профессор Маркех молчал. Он понимал — это началось, и был настороже, и боялся, что может в ярости проговориться. Поэтому он предпочел молчать.

— Напрасно, — повторил Лемнитцкий. — Если бы вы были заинтересованы в том деле, о котором я прошу вас сказать несколько слов, тогда еще я понял бы вас. Но в этом деле вы не заинтересованы. Вы лишь случайно оказались на той стороне, так же как я случайно оказался на этой. А в действительности нас обоих ничто не интересует, верно?

Профессор Маркех молчал.

— Подумайте. Я жду.

Профессор Маркех молчал.

— Даю вам десять минут. Десять минут — достаточный срок, чтобы все хорошенько обдумать.

Лемнитцкий положил на стол часы. Это были золотые карманные часы с двойной золотой цепочкой, они лежали на столе, тихонько тикали и что-то напоминали профессору Маркеху. Ах, да, тихие воскресные вечера, старый Рёслер садится напротив него, трактирщик приносит новую колоду карт, а старый Рёслер вынимает золотые часы с двойной золотой цепочкой и знакомым, осторожным, почти любовным движением кладет их на стол... Да, кажется, это те самые часы с позолоченными римскими цифрами, тяжелые, старинные, солидные часы. Только теперь их вынимает из кармана не старый Рёслер, старый Рёслер исчез, его увезли на вокзал в такси, в такси была улыбчивая пани Рёслер, только тогда она уже не улыбалась, потому что на вокзале их ждал транспорт, и она об этом знала. Теперь часы вынул Лемнитцкий и небрежно положил на стол, но часы были те самые, старинные, тяжелые, солидные часы, они тикали тихо, с бесстрастной точностью.

— Я жду, — напомнил Лемнитцкий.

Профессор Маркех молчал.

— У вас еще пять минут, — сказал Лемнитцкий.

Профессор Маркех молчал.

Лемнитцкий тронул пальцем карандаш на пружине, карандаш мягко закачался из стороны в сторону. Он долго качался, но потом Лемнитцкий поймал его и остановил. Медленно, небрежно взял он со стола тяжелые золотые часы с двойной золотой цепочкой и неторопливо положил их в карман.

— Жаль,— произнес Лемнитцкий.— Жаль, что вы не передумали.

Профессор Маркех по-прежнему молчал. Ему хотелось говорить, очень хотелось, потому что его душила злоба, но он боялся, что увлечется, поддастся этой злобе и тогда потеряет контроль над собой.

— Впрочем, другого я и не ожидал,— сказал Лемнитцкий.— Вы спасаете последнее из того, что считаете ценным,— спасаете свою честь. Ведь это — последнее из всего, что вы еще цените. Но и честь не имеет ценности, ничто не имеет ценности, на свете нет ничего ценного, профессор.

Профессор Маркех молчал.

— Как хотите,— сказал Лемнитцкий.— Мне пора идти. А мы могли бы покончить с этим делом тихо и благородно. Могли бы обойтись без крика, без всех этих мерзостей.

Лемнитцкий встал, поднялся и профессор Маркех.

— Сидите,— остановил его Лемнитцкий.— Можете не вставать. Могу я что-нибудь для вас сделать?

Профессор Маркех молчал.

— Я спрашиваю серьезно,— настаивал Лемнитцкий.— Сейчас мы уже со всем покончили, и я спрашиваю серьезно: что я могу для вас сделать?

Профессор Маркех с минуту колебался, потом сказал:

— У меня отобрали бритву.

— Хорошо,— сказал Лемнитцкий,— вам ее вернут.

— Мне бы нужно несколько чистых рубашек. Они есть у меня на квартире.

— Сделаю,— сказал Лемнитцкий.— Это все?

— Все,— сказал профессор Маркех.— Благодарю вас.

Лемнитцкий усмехнулся, кожа на его опухшем лице натянулась.

— Я ваш должник, профессор. Несколько лет назад

я отбил у вас богатую невесту, ведь верно? Это мой небольшой взнос в счет долга.

— Благодарю,— повторил профессор Маркех.— Вот подлинно рыцарский дух!

Теперь профессор Маркех был снова в своей стихии. Он страхнул с себя неприятную злость и напряженность и снова стал смелым, быстрым, решительным, выскомерным и насмешливым — он снова стал таким, каким хотел быть.

Лемнитцкий стоял уже у двери.

— Всего наилучшего, профессор. Быть может, мы больше не увидимся.

— Мне будет очень жаль,— сказал профессор Маркех,— мне будет очень жаль, если вас постигнет какое-нибудь несчастье и мы больше не увидимся. Пожалуй, лучше надеяться на новое свидание, пан командир.

— Вы неисправимы, профессор. Жаль, что мы не договорились,— сказал Лемнитцкий и еще раз взглянул на профессора Маркеха тупым, тяжелым взглядом. Потом пожал плечами и вышел.

Профессор Маркех остался один. Он встал, чтобы убедить себя в свободе движений, высунул язык и ухмыльнулся в сторону двери, через которую ушел Лемнитцкий, потом выбросил вперед правую руку, как для фашистского приветствия, и пробормотал несколько раз: «На страж!» Это была детская игра, он быстро вскидывал руку и говорил: «На страж!» Это была глупость, ребячество, но его это успокаивало. Потом профессор стоял и ждал, и чувство уверенности постепенно покидало его. Он снова подвергся удару ожидания, снова всплыли недобрые предчувствия и страх. Маркех ждал и уже знал, что ему не избежать теперь самого худшего, не избежать унижительных мерзостей. Его охватила мелкая дрожь, он восстал против этой дрожи, протестовал против нее, но справиться с ней не мог, это было чисто физическое, тело отделилось от сознания, жило самостоятельной жизнью и тряслось мелкой дрожью.

Пришли конвоиры — теперь их было двое — и молча повели его в ту сторону, где помещались камеры. На какое-то время профессору Маркеху засияла надежда, что все уже позади, что его отведут теперь обратно в камеру и оставят в покое; но эта надежда оказалась

пустой. Они прошли коридор, где помещалась его камера, и спустились по лестнице в подвальный этаж. И Теперь профессор уже знал, что это будет, скоро будет: начнется этот ужас, эта мерзость. Они остановились у какой-то двери, конвоир постучал, дверь открылась. Помещение когда-то предназначалось для глажения белья — тут стояли гладильные доски, но давно уже никто тут не гладил. Теперь профессор Маркех заметил, что стены забрызганы кровью и во всем помещении стоял тяжелый запах крови. Конвоиры втолкнули профессора Маркеха и захлопнули за ним дверь. Профессор Маркех вылетел на середину комнаты и остановился, ему показалось, что комната пуста, но так казалось ему недолго — тут-то и началось *это*. Откуда-то вынырнула фигура, профессор Маркех успел увидеть лицо и руку, раздался глухой удар, профессор услышал его явно, и тут же у него подкосились ноги, он упал. Он не терял сознания, он все ясно видел; над ним стоял человек с красным лицом и носом пьяницы, а рядом — другой человек, тощий и тонконосый. Этот второй сказал:

— Осторожней, Вендель, не убей сразу.

А Венделин Брада ответил:

— Ишь, мозгяк, я его слегка погладил, а он уже сел на задницу.

Профессор Маркех сел, голова у него кружилась, из носа текла кровь. Тонконосый вылил ему на голову немного воды и приказал разуться. Профессор Маркех подумал, что не сумеет, пальцы его тряслись, все тело тряслось на этот раз крупной дрожью, но ему все-таки в конце концов удалось развязать шнурки и снять носки и ботинки.

— Подними его, — сказал тонконосый, и Венделин Брада с легкостью поднял профессора и положил на одну из гладильных досок. Доску положили на две табуретки, а профессора Маркеха привязали к доске ремнями.

— Начали, — скомандовал тонконосый, и Венделин Брада поплевал на руки.

Профессор Маркех услышал свист — в воздухе мелькнул стальной шомпол — и затем ощутил удар по голым подошвам. Первый удар был не так страшен, и второй еще не был страшен, третий тоже. А потом уже

стало страшно, стало очень больно; это была страшная боль, били по подошвам, а казалось, будто сталь впивается в костный мозг, бьет по обнаженному головному мозгу, то была нестерпимая боль, и невозможно было себе представить, чтобы она могла еще усилиться, и все-таки она усиливалась с каждым ударом. Профессор Маркех стиснул зубы, но потом не выдержал, открыл рот, взвыл от боли. Профессор Маркех вопил, и просил, и умолял, потому что боль была нестерпима и все усиливалась, и он желал, чтобы его больше не было в живых, желал, чтобы пришла тьма, обморок, смерть — только бы отошла эта нестерпимая боль. Но никакого облегчения не было, боль не уходила, она рвала ему сердце; раскаленная сталь впивалась в костный мозг.

— Хватит! — кричал профессор. — Хватит, я не выдержу!

Тонконосый перестал бить. Венделин Брада ударил в последний раз.

— Раскололся, — сказал тонконосый и вытер пот со лба.

Потом тонконосый вышел, профессор Маркех слышал его шаги и слышал, как отворилась и затворилась дверь. Венделин Брада откашлялся, закурил сигарету и долго переводил дух. Он сидел на стуле, сложив на коленях большие руки, и отдыхал, как мы отдыхаем после доброй работы.

— Ах ты, мозгляк, — обратился Венделин Брада к профессору Маркеху, — надо было сразу братья за ум. Только работать зря заставляешь.

Профессор Маркех не отвечал, он уже почти не слышал, что говорит Венделин Брада. Наконец-то пришло успокоение, в ушах стоял шум, и боль как будто опала; это было приятное чувство — будто медленно погружаешься в темноту, где нет боли. Голова профессора упала на доску, и он уже ничего не слышал — не слышал, как открылась дверь, как с ним заговорил желтолицый органист. Профессор очнулся, когда его окатили водой, и тогда увидел над собой органиста, но на его вопрос только покачал головой.

— Болван, — сказал органист тонконосому, — зачем ты меня звал?

— Я думал, он уже раскололся, — оправдывался тонконосый, — я думал, он совсем уже раскололся.

— А ты не думай,— оборвал его органист,— ты здесь не для того, чтобы думать.

Органист ушел, и все началось снова, но теперь уже было немного легче, были перерывы, во время которых Маркех проваливался во тьму, а во тьме не было боли; такие перерывы становились все длительнее, и боль отступала.

«Вот и все,— успевал подумать профессор Маркех, когда терял сознание,— вот и все, хуже ничего не будет, и я уже не боюсь, я превозмог страх и больше не буду бояться».

Перерывы, во время которых боль отступала и в которых были только тьма и пустота, становились все длительнее. Потом профессор Маркех стал приходить в себя уже только на какие-то мгновения, он открывал глаза, видел две согнутые фигуры и слышал свист шомполов — и снова наступала темнота.

Профессор очнулся весь мокрый, пришлось основательно окатить его водой, чтобы он пришел в сознание. Его окружало несколько лиц — он различал лицо тонконосого и лицо пропойцы — Венделина Брады,— желтое, сморщенное лицо органиста и еще какие-то лица.

— Едва дух не испустил,— сказал тонконосый, вытирая пот.

— Такой мозгляк,— сказал Венделин Брада,— мозгляк чертов!

Органист низко склонился над профессором Маркехом, пальцами раскрыл ему веки и заглянул в глаза. Лицо его сморщилось и стало похожим на сушеное яблоко.

— Унесите его,— приказал он.

Профессора Маркеха понесли два конвоира. Они несли его осторожно — теперь они обращались с ним крайне бережно — и так доставили его в камеру. Осторожно положили профессора на пол, где было постелено его пальто, и возле ног поставили его ботинки и положили носки. Когда конвоиры вышли, к профессору подполз Павел Йозеф Яник и испуганно спросил:

— Вас били?

— Так, немного,— с трудом прошептал профессор Маркех.— Немного побили.

А Кремпашский подошел и протянул сверток:

— Это вам передача, — сказал он профессору Маркеху, — принесли недавно.

Сверток был раскрыт — в нем оказались три чистые белоснежные рубашки и бритва.

6

Валер Феркодич нес караульную службу в тюрьме. Он стоял в углу двора, у гладкой бетонной стены, скука, топал ногами — ему было холодно. «Вот скука, — говорил себе Валер Феркодич, — какие уж тут забавы, сплошная скука и муть». Он-то воображал, что здесь постоянно будет происходить что-нибудь забавное, постоянно будут новые, необыкновенные забавы и приключения, а на поверку вышло — сплошная скука и муть. И не было ничего романтического в том, чтобы караулить заключенных да смотреть, как они уныло ходят по кругу, десять и двадцать раз по одному и тому же кругу. Не было ничего романтического и забавного в том, чтобы стеречь заключенных, следить, чтобы они не разговаривали друг с другом и не передавали друг другу записки, сигареты и спички. Но потом во двор вышли женщины, и опять он увидел ту девушку с чуть раскосыми глазами, которую привели с партией арестованных в доме лесника. Валер Феркодич уже обратил на нее внимание и подумал, что с ней можно бы шикарно позабавиться. Он подмигнул ей, но девушка отвернулась; она была закутана в бесформенную шубу, но Валер Феркодич был знаток, он и через бесформенную шубу видел, что с этой девушкой можно неплохо провести время. Вечером он был свободен от дежурства, и он забыл о девушке с чуть раскосыми глазами, но потом они пили в рёслеровской столовой, пили, как всегда, как каждый день, и в этом не было ничего приятного или забавного, а была одна только скука, скучная мужская попойка с картами и оранием песен. Тогда-то Валер Феркодич снова вспомнил о той девушке и снова подумал, что с ней, пожалуй, можно бы приятно провести время. Он подговорил тонконосого — тонконосого звали Игнац Август Коленатый, и он всегда был за добрую забаву. Итак, Валер Феркодич подговорил Коленатого, они пошли вместе в тюрьму к органисту и

попросили выдать им ту девушку с чуть раскосыми глазами — попросили выдать им ее на несколько часов, на прокат. Органист не хотел выдать девушку, он недолюбливал шалопаев, которые слишком уж заносились и не уважали его, но Валер Феркодич польстил органисту, сказав, что они прибегают к нему как к отцу, как к могущественному благодетелю, потому что он единственный из всех понимает словаков и бескорыстно служит делу словацкого народа, и наговорил ему еще кучу вещей, и трепал языком до тех пор, пока органист не размяк, потому что органист очень любил лести и верил ей, как бы глупа она ни была.

— Мы только малость позабавимся, — сказал тонконосый, — и вернем в полном порядке, брат председатель, только малость позабавимся.

— Шикарная выйдет штука, — сказал Валер Феркодич, — получится шикарнейшая штука, если нам удастся немного позабавиться с ней. И было бы смешно и странно, — добавил Валер Феркодич, — если бы ты вздумал беречь ее, брат председатель, все равно она только партизанская сучка и больше ничего.

— Это верно, — ответил органист, — она всего лишь партизанская сучка, и я вовсе не хочу ее защищать. Но вы должны возвратить ее мне, потому что ее брат у них самый главный, и я держу ее тут из-за брата.

— Мы честно вернем ее, не бойся, брат председатель, — сказал тонконосый, а Валер Феркодич потер руки — то-то будет шикарная штука!

Органист вызвал надзирательницу и распорядился выдать им Ганку Крапову, надзирательница пошла с ними не очень охотно, но она обязана была подчиниться, и она отперла дверь камеры и крикнула:

— Крапова! Ганка Крапова, выходите!

Ганка давно ждала вызова и давно боялась его. Она удивлялась, почему ее так долго оставляют в покое. Но вот это и пришло. Была ночь, и надзирательница вызвала ее:

— Крапова! Ганка Крапова, выходите!

Ганка поправила шубу, которой была прикрыта мать, и склонилась к ней, но у матери были закрыты глаза, и она прерывисто дышала. Ганка вышла из камеры, она трусила, сильно трусила. В коридоре стояли двое, два гардиста, один из них улыбался, и вид у него был до-

вольно приятный, зато у другого был тонкий нос и косые глаза, он ухмылялся, и Ганке стало очень страшно.

— Не бойся, — успокаивал ее Валер Феркодич, когда они вели ее по площади, — не бойся, будет шикарная штука, мы только немного позабавимся с тобой.

А Игнац Август Коленатый, у которого когда-то были визитные карточки с надписью: «И. А. Коленатый, представитель фирмы Зингер, швейные машины», тонконосый Игнац Коленатый сказал ей:

— Что ты так дрожишь, шлюшка, что ты так дрожишь, тебе холодно? Не бойся, шлюшка, мы тебя согреем, хе-хе-хе! Мы тебя согреем, попаришься у нас, как в бане!

Ганке Краповой было страшно, и она тряслась всем телом; она не знала еще, что хотят с ней делать, но предчувствовала что-то необычайное и страшное и сильно трусила.

В комнате было десять гардистов, они были в одних рубашках, они были пьяные и встретили их ревом, трижды прокричали «ура». Валер Феркодич налил рому в стакан и стал совать его Ганке.

— Это тебе, крошка, выпей, шикарно будет!

Ганка обвела взглядом пьяных гардистов; она уже поняла, что с ней хотят сделать, теперь она уже знала, чего они хотят, и страх ее усилился. Она не хотела пить и отстранила руку Валера Феркодича.

— Надо выпить, крошка. Как тебя зовут? — уговаривал ее Валер и приятно улыбался.

У него были очень белые и веселые зубы, но Ганке не хотелось пить, и она отстранила его руку.

— Ты должна выпить, крошка, — настаивал Валер Феркодич, — ты должна выпить с нами, тогда тебе станет хорошо, и мы с тобой немножко поиграем, получится шикарно.

— Да что ты с ней нянчишься? — сказал Игнац Август Коленатый. — Что ты с ней нянчишься, это тебе не дама какая-нибудь, чтоб угощать ее, а всего лишь партизанская шлюха.

Ганка обвела взглядом гардистов, которые окружили ее плотным кольцом, и гоготали, и кричали. «Боже мой, — говорила себе Ганка, — неужели тут нет никого, кто бы помог мне, неужели никто мне не поможет?» Но здесь не было никого, кто бы помог ей; она была одна,

совсем одна, а вокруг — пьяные рожи, много рож, много глаз. Ах, если бы тут был капитан! — пожелала Ганка невозможного, — если б тут был он, все эти рожи мигом исчезли бы, не было бы их, и ей уже не надо было бы бояться. И если бы тут был брат, если б тут был Янко Крап! Но не было никого, она была одна, совсем одна, а вокруг нее пьяные потные рожи и глаза, глаза, от которых ей делалось страшно.

— Будь умницей, — твердил Валер Феркодич, — выпей, и всем нам будет хорошо и весело.

— Да что ты с ней нянчишься? — повторил Игнац Август Коленатый. — Что ты с ней столько нянчишься? — И он схватил Ганку за волосы, потянул за тяжелую косу, запрокинул Ганке голову; губы ее слегка открылись, и Валер Феркодич влил ей ром в рот. Ганка выплюнула и еще раз выплюнула, но потом пришлось глотать, иначе она захлебнулась бы.

— То-то же, — сказал Игнац Август Коленатый, — чего же ты прикидываешься, когда очень даже хорошо умеешь?

— Ничего не бойся, крошка, — сказал Валер Феркодич, — сейчас мы с тобой только немножко поиграем, и будет очень забавно.

Пустой желудок Ганки сначала не хотел принимать ром, и ей было очень плохо, а потом стало приятно, она сделалась легкой и уже не так боялась. А когда она зажмурила глаза, то увидела далекие, неведомые города, и в ушах ее зазвенели звучные названия: Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Антофагаста. Потом она открыла глаза и опять увидела себя в окружении гардистов. Они хмылялись и от смеха хлопали себя ладонями по коленям, но казались уже не такими страшными, и Ганка улыбнулась, и Валер Феркодич тоже улыбнулся и сказал ей:

— Видишь, крошка, как хорошо прошло, теперь мы еще немного выпьем, а потом немного поиграем.

Он принес новый бокал с ромом, и теперь Ганка сама стала пить, ее уже не надо было заставлять. Она пила и только на миг спохватилась: зачем я пью?

— Пей, пей, крошка, — говорил ей добродушный и веселый парень, — пей, получится очень забавно!

И Ганка пила, спасаясь от страха: так было лучше, так было гораздо лучше.

— Вот шикарно! — сказал Валер Феркодич. — Да ты славная крошка! А теперь немножко поиграем, теперь мы будем петь и танцевать, и ты будешь наша королева.

Ганка была уже пьяна, она улыбалась, и страх ее совсем пропал. А когда она зажмурилась, то видела далекие города, видела их так, как они запечатлелись в ее памяти по открыткам — там были белые улицы, и белые дома, и аллеи пальм.

Валер Феркодич забренчал на мандолине, он наигрывал старый знакомый вальс.

— Танцуй, крошка, — засмеялся он.

И все закричали:

— Танцуй, танцуй!

Ганка улыбнулась и медленно закружилась: она кружилась все быстрее и быстрее, прикрыв глаза; она кружилась и видела из-под полуопущенных век смазанные пятна лиц; кружилась и вспоминала другие огни, другой паркет... Когда это было? Ах, да, тогда она танцевала с капитаном Лабудой, там были огни, много огней, это было давно, но все еще вернется, все еще вернется.

Наконец она устала, зашаталась, свесив голову, погрузилась.

— Танцуй! Танцуй! — кричали пьяные гардисты.

Среди них было несколько очень молоденьких, и те неистовствовали больше всех.

— Пусть разденется и пляшет для нас! — кричали они. — Пусть разденется, а так совсем не то!

Валер Феркодич налил Ганке полный стакан рому и опять пристал.

— Выпей, крошка, еще раз, будь добра, выпей. А потом разденься, шикарно получится.

Но Ганка не хотела больше пить. Ее начало тошнить от запаха рома, она не могла больше пить, и теперь все казалось ей уже совсем не таким веселым и легким, как минуту назад. Теперь лица снова стали злыми, и глаза гардистов снова пугали ее: страх вернулся и стал теперь еще сильнее и беспощаднее. «Боже мой, — вздыхала Ганка, — почему тут нет никого, кто помог бы мне, почему нет капитана Лабуды и моего брата Янко Крапа? Почему все бросили, покинули меня?» Ей хотелось снова забыть страх, снова быть легкой и веселой, но она не могла больше пить, ее тошнило от запаха рома. Она оттолкнула руку Валера Феркодича, тот выронил ста-

кан. Стакан упал на пол, ром разлился, но стакан остался цел. Валер Феркодич не рассердился, он засмеялся, и видно было, какие у него белые, безупречные зубы. Он поднял стакан и повторил:

— Ты еще раз должна быть доброй, не надо быть плохой, — и отошел, чтобы снова налить рому.

Но тут тонконосый Игнац Август Коленатый сказал:

— Да что ты с ней нянчишься, ведь это всего лишь партизанская шлюха!

Он подскочил к Ганке сзади и обнял ее, схватил руками груди, сдавил, Ганке стало очень больно, она нагнулась и укусила одну из этих рук, с силой впилась в нее зубами. Игнац Август Коленатый взревел, другой рукой ударил ее по затылку, и Ганка упала. Игнац Август Коленатый повалился на нее, теперь подбежали все, и все навалились на Ганку: они душили ее, давили, рвали с нее платье. Ганка была оглушена ударом по затылку и наполовину задушена, она едва шевелилась, а гардисты навалились на нее и рвали платье. Ганка осталась в одной короткой сорочке, но и ее порвали, и Ганка лежала под ними в разорванной сорочке; бедра у нее были худенькие, еще совсем детские бедра, и они дрожали. Валер Феркодич стоял над этим неистовым клубком человеческих тел со стаканом в руке, ему не нравилось это скотство, тут не было никакой забавы. Никакой забавы тут не было, но теперь было поздно, он ничего не мог сделать, перед ним копошился клубок обезумевших людей, они отталкивали друг друга, брызгали слюной и не видели ничего, кроме девичьего тела, придавленного ими. Это было гнусно и вовсе не забавно, и Валер Феркодич отошел от мерзкого клубка тел, сел на подоконник в другом конце столовой, выпил залпом ром и стал наигрывать на мандолине меланхолическую, сентиментальную мелодию. От всего этого Валеру Феркодичу сразу стало нехорошо и печально, его тошнило от всего этого, потому что тут не было ничего забавного. Какая уж тут забава! И может быть, с этих пор для него, Валера Феркодича, уже не будет существовать на свете никаких забав, может быть, вовсе не забав надо искать в жизни. Он сидел на подоконнике, брэнчал на мандолине меланхолические и сентиментальные мелодии, у него было нехорошо на душе и грустно,

и он старался не видеть того, что происходило там, где копошился клубок человеческих тел. Но все равно он все видел и слышал, он видел, как поднялся Игнац Август Коленатый, у него еще трепетали ноздри тонкого носа и ширинка была еще не застегнута. Игнац Август Коленатый тоже увидел Валера и пошел к нему с видом победителя.

— А ведь она не шлюха была, — сказал Игнац Август Коленатый, — она не шлюха была, представь себе, она была еще честная, и пришлось над ней чертовски потрудиться.

Валер Феркодич не отвечал, он погрузился еще больше. Ему вдруг стало гнусно все это, но гнуснее всех был Игнац Август Коленатый. Валера охватило желание разбить ему голову, Валеру неудержимо захотелось разбить ему лицо, растоптать его.

— Что же ты? — спросил Игнац Август Коленатый. — Ребята скоро будут готовы, а ты что же?

Валер Феркодич перестал бренчать на мандолине, он положил ее на колени и сказал тонконосому:

— Проваливай, Игнац, проваливай, пока у меня не испортилось настроение.

— Видали! — удивился Игнац Август Коленатый. — Видали, какой барин! Ничего, мы всяких знавали, знавали мы господ и почище и всех пережили, — с угрозой в голосе сказал Игнац Август Коленатый.

— Проваливай, — повторил Валер Феркодич, он сполз с подоконника и встал лицом к лицу с тонконосым. Валер был на голову выше, он был широк в плечах и силен. Игнац Август Коленатый отступил.

— Видали, — сказал он еще раз, — каков барин! — Но все-таки отступил.

Валер Феркодич снова уселся на подоконник и опять начал бренчать на мандолине меланхолические и сентиментальные мелодии, песенки, которые вошли в моду несколько лет назад; они напоминали ему веселую, беспечную жизнь и рождали в нем грусть. Он старался не смотреть в другой конец столовой, старался не видеть, что там делается, хотел бы не быть в этой комнате, с этими людьми, которые теперь стали ему чужды и противны, но он видел и слышал все.

— Валер! — кричали ему с другого конца столовой, — Валер, твоя очередь! Валер, что не идешь?

Он не тронулся с места, не перестал перебирать струны мандолины, но все равно он все видел. Наконец клубок озверевших людей распался, гардисты разошлись, взялись за ром и не смотрели больше туда, где лежала девушка. Но Валер видел девушку, хотя и не хотел ее видеть, она безжизненно лежала в разорванной сорочке, сорочка была в крови, и худенькие, совсем еще детские бедра были в крови, и девушка лежала без признаков жизни, быть может, она была мертва. Валеру Феркодичу захотелось уйти из этой комнаты, здесь не было ничего забавного; ему хотелось уйти от этих людей, которые еще час назад были его товарищами, а теперь все ему были гнусны и все ему стало гнусно. Здесь не было ничего забавного, ничего романтического, здесь не придерживались никаких джентльменских принципов, которых по-своему все-таки придерживался потерянный и выброшенный за борт жизни Валер Феркодиш. Ему хотелось все оплевать, хотелось уйти, но идти было некуда, он был осужден остаться в этой комнате, жить с людьми, которые еще час назад были его товарищами, а теперь внушали ему отвращение. «Какое свинство, — мысленно ругал себя Валер Феркодиш, — я вляпался в страшное свинство!» Но он знал, что уже ничем нельзя помочь, придется ему оставаться в этом самом свинстве, потому что идти ему некуда. Валер осушил еще стакан рома; он все еще сидел на подоконнике и наигрывал на мандолине меланхолические, сентиментальные песенки.

Вокруг Ганки Краповой было тихо и пусто, около нее кружил только один гардист, он был очень молод, совсем еще мальчик, с лицом, усеянным прыщами, и он все кружил около Ганки и рассматривал ее вблизи. Лицо Ганки было посиневшее, бескровное, маленькие груди казались нетронутыми, их мягкая, смуглая кожа слегка отсвечивала. Молоденький гардист почувствовал жалость к Ганке Краповой, ведь он был еще очень молод. Он все кружил около нее, потом встал над головой, лицо у нее было иссиня-белое и неживое, и гардист, который был совсем еще мальчиком, опустил на колени и влил ей ром сквозь стиснутые зубы. Лицо Ганки сначала оставалось неподвижным, потом ожило, по нему пробежал трепет. Грудь ее поднялась и опала и снова поднялась и опала. Ганка глубоко вздохнула, это был и вздох и всхлип.

— Жива, — сказал молоденький гардист. — Девчонка еще жива.

Тогда Игнац Август Коленатый оглянулся на Ганку. Ганка открыла глаза и снова закрыла их, а Игнац Август Коленатый сказал:

— Надо ее убрать.

— Нет, — возразил Валер Феркодич, перестав брехать на мандолине. — Надо ее вернуть, мы обещали председателю.

— Мне на твоего председателя... знаешь что? — сказал Игнац Август Коленатый. — Надо ее убрать.

— Мы обещали возвратить ее, — повторил Валер Феркодич.

— Надо ее убрать, — стоял на своем тонконосый, и все, в том числе и сам Валер Феркодич, знали, что тонконосый прав. Ее надо убрать, надо убрать как можно скорее. Но Валеру хотелось позлить тонконосого, и потому он еще раз сказал:

— Мы обещали вернуть ее, значит, надо вернуть. Надо вернуть ее в тюрьму.

— Ого, — сказал Игнац Август Коленатый, — видали, как этот Валер разыгрывает барина! Всегда от него таким душком разило. Вот теперь он совсем раскрылся.

Валер Феркодич не стал больше ничего говорить, он взял мандолину и вышел вон. Ему надо было пройти мимо гардистов, обступивших Ганку Крапову, но он не посмотрел в ее сторону, хотя и так видел девушку, которая лежала в разорванной и окровавленной сорочке.

Когда Валер Феркодич ушел, тонконосый, глядя ему вслед, сказал:

— Ничего, мы за тобой присмотрим, мы с тебя теперь глаз не спустим.

Потом приказал Венделину Браде:

— Заверни ее во что-нибудь, надо ее убрать.

Венделин поискал глазами, во что бы ее завернуть, и, не найдя ничего более подходящего, взял коврик и расстелил рядом с бесчувственной Ганкой Краповой. Потом переложил ее на коврик и закатал в него.

— Вот и хорошо, — сказал Игнац Август Коленатый, — теперь пусть двое из нас оденутся и пойдут со мной.

Венделин Брада вскинул сверток на плечо, в свертке была Ганка Крапова. Она еле дышала, еще жила, но то

была уже сплошная мука, то была боль, она жила только тем, что ощущала боль. «Ах, был бы тут хоть кто-нибудь, чтобы помочь мне», — еще раз подумала она, но она знала, что ей нельзя помочь, и, может быть, уже и не хотела помощи: боль утомила ее. Ганка так устала, что все казалось ей легче, чем эта усталость от боли. Четверо гардистов крались по улицам ясной ночью; снег сверкал под звездами и весело визжал под сапогами. Четыре черные тени крались по белому снегу, впереди шел тонконосый, за ним Венделин Брада, он нес, пыхтя, сверток, а сзади шли еще двое гардистов. Они проскользнули по улочке мимо тюрьмы, прошли еще одну улицу и добрались до большого, длинного здания, где помещалась городская бойня. Гардисты пересекли двор, за двором была большая сточная яма. Там Игнац Август Коленатый остановился, и все остановились.

— Бросать, что ли? — спросил Венделин Брада, и тонконосый ответил:

— Ага, здесь можешь ее бросить, здесь будет хорошо.

Венделин Брада сбросил сверток наземь, Ганка Крапова была еще жива и тихонько вздохнула. Игнац Август Коленатый подошел, нащупал Ганкину косу, чуть вытянул голову и выстрелил в затылок.

— Так, — сказал он, — теперь все в порядке.

Двое гардистов взяли за сверток, раскачали и швырнули в сточную яму. Сальная, грязная вода брызнула во все стороны, булькнула несколько раз, потом стало тихо.

— Так, — проговорил Игнац Август Коленатый, — с этим покончено, и я не хочу слышать об этом ни слова, ни единого словечка!

7

В три часа ночи затопали по коридорам тяжелые шаги, загремели ключи в замках камер. Но не надзиратели открывали сегодня двери — ни надзирателей, ни надзирательниц не было видно, здесь были только эсэсовцы да еще гардисты. Они топали по коридорам, отпирали камеры, орали, производили страшный шум. Штурмфюфер Вилли Кребс ходил со списком от камеры к камере и выкрикивал фамилии, коверкая их своим

неповоротливым немецким языком: «Плефцак! — кричал он, — Коницек!» — произнося «ц» вместо «ч». Но фамилию пани Розенталя он выговорил правильно.

— Gizela Rosenthal! — крикнул он в дверь камеры, и там была еще одна Gizela Rosenthal, маленькая Гизела, еще там была Luise Rosenthal, то была маленькая Луиза.

Штурмфюрер Вилли Кребс дошел до камеры номер четыре, где лежал профессор Маркех — он все еще не мог подняться на ноги, и где были Павел Йозеф Яник с Кремпашским и старый учитель Мелихер. Штурмфюрер Вилли Кребс толкнул дверь камеры, дверь распахнулась, и штурмфюрер заглянул в список и прочитал: «Йозеф Маркех», потом он прочитал фамилию старого Мелихера и обвел взглядом камеру, как будто ему чего-то не хватало. Павел Йозеф Яник вытянулся в струнку и дрожал всем телом, а творожистое лицо Кремпашского обвисло. Но штурмфюрер Вилли Кребс не назвал их фамилии — у Кремпашского был брат, у брата были деньги, а оберштурмфюрер Эрих Янке был человек принципиальный, но не возражал против взяток, если они были достаточно высоки. Поэтому штурмфюрер Вилли Кребс не назвал фамилий Кремпашского и Павла Йозефа Яника, хотя, несомненно, испытывал большое желание назвать и их. Однако штурмфюрер любил порядок и уважал документы.

Вызванные выстроились в коридоре, их было двадцать человек — все мужчины, одни мужчины, и среди них — пани Розенталя, маленькая Гизела и еще меньшая Луиза. Профессора Маркеха двум эсэсовцам пришлось вынести на руках; они поддерживали его с обеих сторон, пока штурмфюрер Вилли Кребс проверял список, — профессор Маркех еще не мог встать на ноги. Один из эсэсовцев сказал профессору Маркеху:

— Не пойся, фсе путет карош.

Это был судетский немец, и он хотел сказать, что они уж как-нибудь доставят его к месту. Профессор Маркех не боялся, он был уверен, что не боится, что тут ему нечего бояться, ничто не могло быть хуже того, что было, ничто не может быть страшнее той комнаты с гладильными досками, тонконосого гардиста и свиста стальных шомполов. Штурмфюрер Вилли Кребс закончил перекличку. Список был точен, все было в полном порядке, штурмфюрер аккуратно сложил список, спрятал его

в карман шинели, натянул перчатки — теперь можно было двигаться. Они спустились на первый этаж, пересекли двор, ворота сами открылись — того, кто их открывал, не было видно, и казалось, будто ворота открылись сами собой, словно тюрьма извергла из своей утробы этих двадцать человек, отрекалась от них. Над площадью сверкали звезды — ясные, холодные, далекие звезды, ясная, холодная бесконечность, и профессору Маркеху припомнился разговор с Ганкой Краповой; Ганка была славная, искренняя девушка, и он надеялся, что ей хорошо или по крайней мере что ей не очень плохо. Профессор Маркех доверял себе, он не боялся, подошвы ног у него страшно болели, каждое прикосновение к земле заливало его волной боли, но он не боялся, хотя и знал, что это конец; он, может быть, единственный из всех уже ни на что не надеялся, ибо привык видеть вещи такими, каковы они есть в действительности. Страха не было, хотя он опасался, что в последнюю минуту страх захватит его врасплох. Он знал, что страхом овладеть нельзя: страх — функция органов чувств, всего тела, а не функция духа. Пока он еще не боялся и надеялся, что не станет бояться и в последнюю минуту — он не хотел умереть недостойно, не хотел, чтобы страх отнял у него достоинство хотя бы в самую последнюю минуту, особенно в последнюю минуту. Он не боялся, но ему было чего-то жаль; то было очень неопределенное, но стойкое чувство, оно сопровождало его на всем его долгом скорбном пути.

Пани Розенталь на одной руке несла Луизу, а другой рукой вела Гизелу. Маленькая Луиза капризничала, потому что ее разбудили среди крепкого сна, сначала она испугалась и вела себя тихо, а теперь раскапризничалась и все о чем-то спрашивала.

— Почему мы опять идем, — спрашивала маленькая Луиза, — почему мы опять идем, когда ночь, мамочка?

— Замолчи, Луиза, — просила пани Розенталь, — не говори ни словечка. Луизочка, — унимала она дочь, — сейчас всем надо быть тихими-тихими, как мышки...

Пани Розенталь тоже знала, что они идут к концу всех путей, что они приближаются к этому концу, она должна была знать это, но все еще надеялась, что они сумеют избежать самого худшего, если будут вести себя совсем тихо, если не привлекут к себе внимания эсэсов-

цев. Зато маленькая Гизела молчала, она мужественно семенила рядом с пани Розенталь и знала, что надеяться уже не на что, и сердечко ее трепыхалось от ужаса.

Старый Мелихер шел своей спокойной старческой походкой. Он примирился со всем и со всеми, не жалел больше о своей нумизматической коллекции, о которой жалел все время, пока сидел в тюрьме. Теперь он не размышлял больше о своей страсти, которая поддерживала его всю жизнь; сейчас и коллекция монет, и сама страсть коллекционировать казались ему чем-то далеким и не совсем понятным. Сейчас ему было немножко смешно, что он всю жизнь занимался коллекционированием монет, что на такое смешное, несерьезное занятие он потратил весь свой ум, свою силу, свои деньги. Он и теперь не знал, что важнее всего на свете и что просто важно; зато он знал, что неважно, несерьезно, что смешно и ненужно, и понял, что его страсть нумизмата была лишь одним из проявлений эгоизма; это было всего лишь эгоистическое тщеславие, скромное тщеславие, оно тщеславилось своей скромностью. Старый Мелихер шагал спокойно и ровно, ничто в нем не восставало при мысли о конце пути, который неотвратно приближался. Он примирился со всем, и душа его была пуста, в ней не было никакой страсти; он всегда гордился тем, что спокоен, ровен и чист, а теперь пожалел, что душа его пуста, пожалел, что нет у него никаких воспоминаний, нет воспоминаний даже о горе и страдании.

Был среди обреченных американский офицер, летчик-лейтенант, который выпрыгнул с парашютом из горящего самолета. На нем была короткая меховая куртка, и выглядел он очень элегантно. Американец единственный из всех курил сигарету, табак был очень ароматный — это была исключительная привилегия. Летчик говорил что-то эсэсовцам, тем казалось, что он шутит, а он ругался и проклинал их. Так они прошли через площадь, потом по шоссе мимо поселка; поселок был тих и темен, все было тихо, даже звезды — тихие, холодные, далекие. Впереди и по бокам шли эсэсовцы, а сзади — скупиник Ульрих со своим взводом. Были там и тонконосый Игнац Август Коленатый, и Венделин Брада, был там и Валер Феркодич. Скупиник Ульрих замещал теперь командира, а по существу, командовал подразделением, потому что надзбройник Филип Грахо

не вернулся с операции, а Лемнитцкий ничего не делал, только пьянствовал целыми днями. Скупиник Ульрих был представлен к повышению и к награде. Он сам составил реляцию, Лемнитцкий только подписал ее; теперь ждали утверждения из Братиславы, и было уже наверняка известно, что Ульрих получит награду и звание збройника. Ульрих знал, куда ведут этих людей, и знал, для чего их туда ведут. Но в этом не было никакого греха: все гардисты заранее исповедались и получили отпущение грехов. К тому же тут были только евреи, большевики да подрывные элементы. Теперь скупиник Ульрих мог окончательно смыть свой позор, мог стряхнуть последнее подозрение, последнюю крошку подозрения, которое вызывалось тем, что когда-то давно он был женат на еврейке, теперь он мог стряхнуть последние остатки подозрения и сомнений, мог доказать свою преданность и свою ненависть к подрывным элементам. Тонконосый Игнац Август Коленатый не выпался и поминутно зевал; ему было холодно и хотелось пить — неплохо бы хлопнуть сейчас сто граммов рому! А Венделин Брада поглядывал на осужденных, прикидывая, что можно еще взять у этих людей, что у них еще осталось. Зато у Валера Феркодича было скверное настроение, теперь у него постоянно было скверное настроение, он уже не смеялся, не шутил, не показывал свои красивые зубы, которыми гордился. Теперь уже не было никаких шуток, он прекрасно видел, что вокруг были только подлость и мерзость, не было ничего похожего на приключения для джентльмена, одна только подлость и мерзость — расстреливать безоружных, насиловать девушек, грабить... У Валера было очень скверное настроение, он то и дело сплевывал, чтобы выплюнуть что-то противное, что собиралось у него во рту, и никак не мог выплюнуть это противное; он слышал проклятия американского офицера, он немного понимал по-английски и слушал брань и проклятия этого офицера и мысленно соглашался с ним; офицер был ему симпатичен, он-то был настоящий джентльмен.

Они прошли поселок, позади остался лесной склад и лесопилка, а они все шли. Теперь они были в открытом поле, ветер здесь дул сильнее, ветер был морозный, и он сдувал верхний слой снега с сугробов. Маленькая Луиза капризничала.

— Мне холодно, мамочка, почему здесь так холодно?

— Ох, — вздыхала пани Розенталь, она почти обезумела от страха, — ох, Луизочка, да когда же ты замолчишь? Бога ради, замолчи наконец!

Гизела ничего не говорила, она только изо всех сил держалась за мамину руку и послушно семенила ножками, хотя сердечко ее сжималось от ужаса.

Профессор Маркех тащился на своих израненных ногах, поддерживаемый с двух сторон эсэсовцами. Прикосновение эсэсовцев было ему неприятно, но ничего нельзя было поделать — раны на подошвах немного подмерзли и не так болели, но он еще не мог передвигаться без посторонней помощи.

— Фсе путет карош. Нишево, фсе путет карош, — сказал ему один из эсэсовцев, но профессор Маркех не ответил, и эсэсовец замолчал.

Профессор Маркех все еще не боялся, страх все не приходил; профессор очень внимательно следил за собой, он не хотел, чтобы страх захватил его врасплох, и он настороженно следил, не появляется ли страх. Но неопределенное сожаление неотступно шло с ним, оно становилось все острее и острее. «Что это за сожаление, отчего оно? Быть может, оно оттого меня сопровождает, — думал профессор Маркех, — что я слишком много ненавидел, быть может, я ненавидел слишком много и напрасно и, может быть, теперь сожалею об этом. Быть может, ненавидеть — слишком мало для того, чтобы умереть без сожаления, и, может быть, одной ненависти недостаточно, для того чтобы знать, за что мы умираем. Быть может, я слишком много и напрасно ненавидел и теперь сожалею об этом; быть может, я ошибался, всю жизнь ошибался, и теперь мне жаль не так прожитой жизни, жаль самого себя. Я жил честно, — спорил сам с собой профессор Маркех, — пусть я много ненавидел, но жил я честно и ненавидел только потому, что хотел жить честно. Я ненавидел подлость и мерзость, потому что любил представление о благородном человеке, и я ненавидел ограничения, потому что любил свободу». «Это одни слова, — смеялся другой человек в душе профессора, — это только слова, профессор Маркех, свободным может быть лишь тот, кому нечего терять, а у каждого есть что терять. Свобода — всего лишь слово, вымысел, и ничего более; и за нее нельзя умереть, потому

что со смертью кончается все, в том числе и само слово «свобода», которое не что иное, как вымысел, не более. А сожаление, — говорил в душе профессора другой человек, — сожаление, которое сопровождает тебя до конца пути, — это обыкновенное эгоистическое сожаление, и нет у него иного смысла, это просто сожаление человека, который сейчас умрет, который боится страха и предпочитает ему сожаление».

Теперь они свернули на проселочную дорогу, и те, кто еще надеялся, должны были отказаться от всех надежд, теперь уже стало ясно, что никуда их не переводят, впереди было открытое поле, оно становилось все пустынное и темнее. Они подошли к лесу. Эсэсовцы, до сих пор сравнительно спокойные, вдруг будто взбесились — начали орать, ругаться, бранью и ударами прикладов они погнали осужденных куда-то вперед.

— Schnell! Schnell! — орали эсэсовцы и гнали их вперед. — Скорей, скорей, свиньи, бандиты! Свинячье отродье, псы и суки, исчадия ада!

Штурмфюрер Вилли Кребс остановился, голова колонны тоже остановилась — они пришли на место, к противотанковому рву на опушке леса. Теперь пошло все очень быстро, осужденным велели сесть на край рва, и все сели. Только американский лейтенант не хотел садиться, он кричал и ругался, теперь уже стало ясно, что он не шутит, теперь и он понял, что его действительно убьют так глупо и противозаконно. До сих пор он, вероятно, думал, что все это — нелепая шутка, а теперь он рассвирепел, потому что его обуял страх. Джонатан Дебнер с двумя эсэсовцами уняли непослушного американца, они избили его и все-таки заставили сесть, как остальных, — во всем должен быть порядок. Теперь порядок был наведен, и Джонатан Дебнер с двумя эсэсовцами встали за спинами сидящих. Остальные эсэсовцы и гардисты скупиника Ульриха — который, собственно говоря, был уже збройником — растянулись двойной цепью с автоматами наготове — на случай, если кто-нибудь вздумает спастись бегством. Но никто не пытался бежать, все сидели на краю противотанкового рва и ждали. Одни тупо смотрели на дно рва, которое терялось в темноте, другие вздыхали, кое-кто кричал. Кричала и пани Розенталь, и плакала маленькая Луиза, теперь уже было все равно, теперь уже было совсем все

равно, теперь и пани Розенталь кричала, потому что перестала надеяться, что спасет жизнь покорным молчанием; теперь и маленькой Луизе можно было плакать, и Гизеле, но Гизела не плакала, она только тряслась всем телом и обмирала от ужаса. Профессор Маркех сидел на краю рва, ему было приятно, что можно было сидеть, ноги не так болели, и он мог теперь думать о чем угодно, ему уже не мешала боль или прикосновение эсэсовцев, и все же ему не удавалось ни на чем сосредоточить свои мысли. У него только было такое чувство, что он что-то забыл, что-то потерял, что-то испортил, и этого уже не поправишь, а потом и этого чувства не стало, он услышал первые выстрелы и начал считать: сейчас, сейчас, сейчас, еще нет, еще нет — сейчас... И вот кто-то ударил его по затылку, совсем не страшный удар, а после него уже не было ничего. Гизела судорожно сжимала руку пани Розенталь, но сила Джонатана Дебнера превосходила ужас маленькой девочки, он оторвал ее от матери и, подняв одной рукой в воздух, другой выстрелил ей в затылок и швырнул в ров.

— Мамочка, мамочка! — вскрикнула маленькая Луиза и вдруг замолчала, вместе с матерью она полетела в ров, но она была еще жива, она опять заплакала. Джонатан Дебнер с проклятиями прыгнул в ров — и тогда уже не слышно стало маленькой Луизы, а вскоре прекратились и выстрелы, и больше ничего не было слышно.

8

Марек Угрин валялся уже больше недели, у него была дизентерия, а лекарств никаких — он ослаб, похудел, пожелтел весь, нос его еще больше заострился, — и все-таки он выкарабкался!

— Все-таки ты выкарабкался, — сказала ему в один прекрасный день Эма, — а ведь костлявая-то уже крепко тебя ухватила! И все-таки ты от нее ушел.

Мареку же казалось, что дело обстояло еще не так плохо. Болезнь была неприятна, очень неприятна, но он вовсе не думал, что его жизни угрожала опасность. Только когда он впервые попробовал подняться, почувствовал, как ослабел, и, когда заглянул в осколок зеркала, не узнал свое изможденное лицо. Его навестил взводный Коза, пощупал в запястье его тонкие руки.

— Ах, профессор, профессор, — сказал он, — не скоро ты пойдешь с нами в разведку!

Он был груб, как всегда, черное лицо его насмешливо кривилось, но видно было, что он жалеет Марек. Марек поправлялся очень медленно, да и не с чего было — на лагерь легла тень голода. После встречи с отрядом Филипа Грахо пришлось перебазироваться, теперь партизаны жили в землянках возле лесной сторожки, в которой когда-то скрывался Янко Крап. Больных уложили в сторожке, а лагерь разместился в лесу поблизости, и все это было очень далеко от населенных пунктов, а немцы перекрыли все дороги, по которым шло снабжение. Но в канун рождества разведчики Лабуды привели откуда-то двух откормленных волов, это была жизнь, было спасение. Когда Марек немного очухался, он часто сживал на крылечке, закутанный в одеяла, вдыхал свежий воздух и смотрел куда-то поверх заснеженных гребней гор; он тихо сидел и лениво раздумывал о всяких пустяках, а жизнь постепенно возвращалась к нему. Один раз его увидел на крылечке комиссар Бенде и долго наблюдал за ним, так что Мареку стало не по себе; потом комиссар Бенде сказал:

— Ты много думаешь. Это нехорошо — много думать. Марек пожал плечами. А что ему делать?

Комиссар Бенде подсел к нему, положил ему руку на колено, он тихонько сопел, и от него разило дешевым табаком. Он сказал:

— Работа — вот смысл. Очень хороший смысл. А много думать — это не очень хороший смысл.

— А что мне делать? — осведомился Марек.

— Работать, — ответил комиссар Бенде. — Работать надо.

— Не знаю, как бы я смог сейчас работать, — возразил Марек.

— Работать надо, — повторил комиссар Бенде. — В этом очень хороший смысл. Ты интеллигент, и я тебе выдумую очень интеллигентную работу. Тогда ты сможешь работать и немного думать.

— Какую работу?

— Очень интеллигентную работу, — улыбнулся комиссар Бенде. — Ты интеллигент, будешь писать и крутить машину.

— Гектограф?

— Да, да, — удовлетворенно кивнул комиссар Бенде. — Надо работать.

— Не думаю, — сказал Марек. — Не думаю, чтобы сейчас это кому-нибудь вообще было нужно. Кому это нужно?

— Очень нужно, — задетый за живое, возразил комиссар Бенде. — Сейчас это очень нужно, очень нужная работа.

— Ну что ж, — сказал Марек, который не разделял уверенности комиссара; к тому же ему было так приятно тихо сидеть и думать о всяких пустяках и ничем себя не тревожить. — Ну что ж, — сказал он, и прозвучало это не очень-то охотно.

— Это очень нужная работа, — недовольно повторил комиссар Бенде. — И ты должен помогать ее делать.

— Ну что ж, — сказал Марек и добавил: — Ладно.

Комиссар Бенде нашел в сторожке тектограф, который оставался здесь еще со времен деятельности Янко Крапа. Нашлось и немного бумаги, а теперь вот отыскался и переводчик, который поможет ему, Бенде, преодолеть различие в языках и сделает его мысли понятными. Он был очень рад, похлопал Марека по колену, предложил даже трубку, набив ее до половины крепчайшим самосадом, — для Бенде то была неслыханная щедрость. Комиссар Бенде связывал с тектографом большие планы. Он хотел, чтобы люди слышали голос непобежденных, голос тех, кого не заставили молчать и кого невозможно заставить замолчать; он хотел доказать, что идея свободы жива, что ее невозможно убить, что они существуют, сражаются, живут, дышат, что они умирают, но не умерли и не умрут. Марек не верил в слова, не верил в пышные слова, в великолепные жесты, которые так любил комиссар Бенде, и во время работы они вечно ругались.

— Ты интеллигент, — кричал на Марека комиссар Бенде, — ты ничего не понимаешь!

Но Марек не мог переделать себя, слова казались ему мертвыми еще до того, как их произносили, а отпечатанные, выглядели смешными, глупыми и лживыми. Больше всего он любил переводить директивы из Киева и фронтовые сводки, которые они слушали через приемник, работавший на аккумуляторах. Вот это было что-то прочное, то была действительность, не нуждавшаяся

в том, чтобы прятаться в непролазной чаще слов, действительность, сама по себе внушавшая надежды и не нуждавшаяся в обманчивой оболочке слов. Марек не понимал комиссара Бенде: такой опытный человек — и так полагается на силу слов! Работая и ссорясь с комиссаром Бенде, он сблизился с ним, и постепенно перед Марексом вставал совсем иной человек — не человек со смешным животом и смешными словами, а человек с богатейшим опытом, твердый, упорный и целеустремленный. Но было тут и еще что-то, чего не мог постигнуть Марек, что-то основное, некая скрытая пружина, причина и источник энергии, упорства и целеустремленности этого человека, абсолютная вера в себя, и в свои слова, и в свои действия — и Марек не раз подозревал комиссара Бенде в притворстве. Однако было очевидно, что комиссар Бенде вовсе не притворялся, он был самим собой, ему и в голову не приходило притворяться, он был человек крутой, вспыльчивый и, в сущности, простой. Он верил в себя и в свою работу не потому, что раз и навсегда поверил в свой гений, а потому, что так научил его опыт, и собственный жизненный опыт говорил ему, что верить в себя — единственно возможный путь к успеху. Опыта у комиссара было достаточно, он имел его в избытке, имел его столько, что хватило бы и на нескольких человек. Бенде родился более полу столетия назад в Берегове, у одной батрачки-венгерки. Пять лет провел на фронте в первую мировую войну, потом сражался за Венгерскую Коммуну¹, гнил в тюрьме во время белого террора, бежал в Закарпатье, и снова воевал, и снова сидел в тюрьме. А потом была Испания и Интербригада, поражение, концентрационный лагерь во Франции и долгие годы подполья. Комиссар Бенде выпил свою чашу до дна, испытал все, что только можно было испытать, претерпел все, что можно было претерпеть, и, может быть, именно потому не было у него причин не верить в себя и в свои слова. А в остальном он не верил — многому не верил, например интеллигентам. Ему казалось, что они нарочно затемняют ясные вещи, умышленно запутывают простое, только бы им не надо было решать, только бы сделать вид, что они стоят выше споров. Все то, чего Бенде не мог понять —

¹ Имеется в виду Венгерская Советская республика 1919 года.

оттого что образование его было односторонним и случайным, — он считал возмутительным и плохим уже хотя бы потому, и только потому, что это выходило за пределы его возможностей. И именно такие вещи всегда были как-то связаны с интеллигентами. Правда, это не мешало ему использовать интеллигентов, и поскольку они готовы были по каким-либо побуждениям признавать его авторитет, постольку у него складывались с ними вполне приличные отношения. Так как он верил в себя абсолютно, его не могли сбить с толку никакие сомнения; но он предпочитал не иметь никаких сомнений, и приятнее всего ему было, когда все вокруг подтверждало его правоту, — и он не совсем был защищен перед лестью.

Марека комиссар терпел главным образом потому, что тот уважал труд, уважал его, как таковой, даже когда сомневался в его целесообразности. Короче, Марек был идеальной рабочей лошадкой. Еще Бенде выносил Марека потому, что тот представлялся ему слабым и легко поддающимся влиянию, и комиссар Бенде думал без труда обратить его в свою веру. Но тут он ошибся: Марек не соглашался ни с чем, ни с единым словом; они говорили на разных языках и принадлежали к совершенно разным мирам. Мягкость Марека Угрина оказалась обманчивой, под его внешней мягкостью скрывалась сила внутреннего сопротивления всему навязываемому, всем упрощениям, любому категорическому императиву.

— Ты анархист! — обругал его комиссар Бенде.

— Я не знаю, что это такое, — ответил Марек.

— Все интеллигенты — анархисты! — обличительно произнес комиссар Бенде.

— Вряд ли, — поддразнил его Марек. — Кое-кто из них совершенно доволен и собой, и жизнью, и им неплохо живется.

— Да-да, — твердил комиссар Бенде, — в Испании было много анархистов. Все интеллигенты — анархисты.

— А я вот не знаю, что это такое, — поддразнил комиссара Марек. — Разве быть анархистом очень плохо?

— То есть свинство, — сказал комиссар Бенде. — То есть большое свинство.

— Хо-хо, что-то вы быстро разделились с интеллигентами, комиссар, — засмеялся Марек. — А что вы будете без них делать?

Комиссар Бенде злобно запыхтел маленькой трубкой и сплюнул.

— То есть второй свинство,— гневно сказал он.— То есть второй свинство, что мы их нуждаем.

— Что вы нуждаетесь в них,— поправил Марек.

— Что вынуждаем их,— послушно, но неточно повторил комиссар Бенде.

— Хо-хо, еще того лучше! — засмеялся Марек.— Вы их вынуждаете делать то, что вам нужно, поглощаете их, используете, а потом выбрасываете, не так ли? А они об этом знают и потому никак не могут притворяться веселыми и услужливыми. Очень приятная новость для меня, комиссар Бенде.

— То есть третий свинство,— сказал комиссар Бенде.— То есть третий свинство, они знают, что мы их нуждаем. И потому все интеллигенты — анархисты, потому что знают, что мы их нуждаем.

— Еще бы не знали,— поддразнил комиссара Марек.— На то они и интеллигенты, чтобы знать.

— Интеллигенция — то есть свинство,— рассердился комиссар.— То есть элемент ненадежный.

— Подрывной элемент,— подсказал Марек.

— Да-да, подрывной. Анархист и подрывной. Он не любит революцию и хочет, чтобы его революция носила на руках.

— Вот это я и хотел от вас услышать, комиссар Бенде. Вы говорите, как Гитлер, комиссар Бенде. Вы знаете, что говорили, как Гитлер, комиссар?

Комиссар Бенде разозлился всерьез, он покраснел, гукнул трубкой по бумагам и долго не мог выговорить и слова. Наконец он сунул трубку в рот, гневно закулил ее зубами, ударил кулаком по доске, которая служила им столом, так, что сальная свечка свалилась на-земь и в подвале, где помещался гектограф, сразу воцарилась темнота, а комиссар Бенде закричал:

— Ты мне не говори об этом, сволочь, ты мне не смеешь говорить! Я воевал против этот сволочь много лет, а ты против этот сволочь не воевал, ты прятал свою интеллигентскую голову и имел страх за свою кожу, а я воевал против этот сволочь, я воевал и за тебя! Ты сволочь!

Марек ползал по земле, отыскивая свечку; нашел, зажег и снова прилепил к доске.

— Верно, комиссар Бенде. Все это верно. И все-таки сейчас вы говорите, как Гитлер!

— Ты Гитлер! — крикнул комиссар Бенде. — Ты такой же сволочь, как он, все вы в один шайка-лейка!

Комиссар Бенде был вне себя от ярости, он плюнул и ушел и целый день не разговаривал с Марек. Но на другой день они помирились — надо было помириться, у них была общая работа — и сначала трудились в молчаливом согласии, ведь между ними были не одни только трения, было у них и кое-что общее, была общая борьба и общий враг. Но их молчаливое согласие никогда не бывало длительным. Комиссар Бенде был не из тех, кто привык молчать, и, кроме того, он вбил себе в голову переубедить Марека, а Марек, хотя и спорил с ним и был упрям, нравился комиссару: он привык к Мареку и скучал без него.

Однажды разговор у них зашел о будущем. Комиссар Бенде сказал, что не существует будущего, кроме того, в которое верит он, комиссар Бенде, а с ним вместе — миллионы угнетенных; и если Марек не поверит в это будущее, то у него не будет никакого.

— Ты будешь без будущего, — заявил комиссар Бенде.

— Но мне никто не нужен, — возразил Марек. — Я существую сам по себе, мое будущее — тоже, и не нужно мне для него никаких толп.

— То есть ошибка, — сказал комиссар Бенде. — Очень большой ошибка. Ты будешь жить среди людей, и от них будет зависеть твое будущее. Ты будешь иметь будущее, если все люди будут иметь будущее.

— А мне никто не нужен, — повторил Марек. — У меня есть свое будущее.

Ведь был он, и где-то была Олина, и ребенок Олины, и все еще была надежда на тихий уголок в маленьком городке, на тихое течение мирной жизни.

— То не может быть так, — сказал комиссар Бенде. — Ты увидишь, что не может быть так. И на что оно, твое самостоятельное будущее?

— А на что вам — ваше, комиссар Бенде?

— Это не одно мое, это всех людей.

— А вы уверены, что люди хотят этого вашего будущего? Вы уверены в этом, комиссар Бенде?

— Человек без разума. Человек имеет малый разум,

очень малый разум, не может понимать будущего. Я его заставляю понимать будущее.

— Вот это да! — насмешливо сказал Марек. — Вот это правильно сказано!

— А для чего ты тут? Что делаешь?

— Не знаю, — ответил Марек. — Когда я сюда пришел, я не раздумывал, а только знал, что должен так поступить. Так я и поступил, и вот я здесь.

— Да, да, — кивнул комиссар Бенде. — Ты заставляешь людей иметь будущее, вот почему ты здесь. Так я думаю — все, кто борется, заставляют человека иметь будущее.

— Никого я не стану заставлять! — резко возразил Марек. — Я никого не стану заставлять. И не хочу заставлять людей выбирать себе то или иное будущее. Нет, ни за что я так не сделаю!

— Ты будешь заставлять, — упрямо повторил комиссар Бенде. — Ты будешь заставлять или тебя будут заставлять. Сейчас ты заставляешь, потому что ты борешься.

— Это только временно, — ответил Марек. — Когда все кончится, я не буду больше бороться. Я с огромным удовольствием перестану быть борцом.

— Это кончится не так легко, — сказал комиссар Бенде. — Когда кончится одно, начнется другое. Всегда начнется, и надо быть бойцом, всегда кончить и начинать.

— Не буду я, — сказал Марек.

— Тогда тебя будут заставлять, очень будут заставлять, придет фашист и ткнет твою глупую интеллигентскую башку в грязь. Что будешь сделать, когда опять придет фашист?

— Этого не может быть, — сказал Марек, но слова его прозвучали не очень убедительно. — Это не может повториться.

— То будет повториться, — серьезно произнес комиссар Бенде. — Если все будут такие глупые, как ты, тогда будет повториться. Придет фашист и ткнет твою глупую интеллигентскую башку в вонючую грязь.

— Этого не может быть, — сказал Марек, но он сам не очень верил в то, что утверждал.

— Так будет совсем обязательно, — сказал комиссар Бенде, — все будет повториться, если люди будут как ты. Надо заставить людей, пусть не будут дураки и ослы!

— Этого не может быть,— повторил Марек, но он знал, что комиссар Бенде прав. Потом добавил: — А если и в самом деле начнется все снова, если человечество снова сойдет с ума, тогда плевать мне на него. Никого я ни к чему принуждать не стану и не стану помогать тем, кто принуждает людей делать то, чего люди не хотят делать. Ни за что!

— Дурак,— презрительно сказал комиссар Бенде.— Дурная голова. Всегда буду думать о твоей голове так, что это глупая интеллигентная башка.

— Пусть будет какая угодно,— возразил Марек.— Все равно это моя голова.

Это была действительно его голова, но не такая уж она была независимая, как он воображал, и не такая она была невосприимчивая, как бы ему хотелось показать. Комиссар Бенде напирал упорно и неотступно, и Мареку приходилось сдаваться, приходилось принимать кое-какие истины, хотя они ему и не нравились, потому что были неудобны. Но он принимал их, он хотел быть честным и справедливым; в постоянных спорах ему приходилось без конца перестраивать свою систему обороны, отбрасывать одни ценности и принимать другие; постепенно и незаметно он подвигался все ближе и ближе к взглядам комиссара Бенде. Как-то раз комиссар Бенде дружески положил ему руку на плечо и сказал:

— Теперь ты уж скоро не будешь интеллигент, теперь ты мыслишь, как человек.

— Боюсь,— ответил Марек,— боюсь, что для меня это вовсе не комплимент.

И все-таки этот комплимент комиссара Бенде немного порадовал его.

Капитан Лабуда все время находился в движении. Под его командой было около сорока человек; это были смелые, на все готовые люди — люди, которым оставалось только одно: биться, пока они не падут или не победят. Отступающие венгерские части оставили разведчикам Лабуды добычу — коней, и теперь отряд Лабуды стал подвижным. Он внезапно появлялся в долинах, нападал на небольшие подразделения, а иногда отваживался проникать глубоко на территорию, занятую не-

приятелем. С партизанской базой капитан Лабуда поддерживал довольно случайную связь; иногда проходила неделя, а о нем не было ни слуху ни духу, пока он не появлялся сам с каким-нибудь трофеем или важной новостью. Такое положение вещей устраивало капитана Лабуду, он не мог выносить подозрительных взглядов комиссара Бенде, да и Янко Крап был ему не очень-то по душе; капитан Лабуда не уважал его как солдата и командира — как солдата и командира он уважал одного себя. Люди капитана Лабуды совершенно одичали от бродячей жизни, от постоянного соседства со смертью, от привычки убивать, многие из них брали и то, чего не следовало брать, и все они не были любителями длинных разговоров. — им проще было сорвать с плеча автомат и дать очередь. Дикая была компания, и командир выглядел довольно дико; по виду их можно было принять за разбойников, но изнутри эту шайку связывала строгая дисциплина, которую поддерживал капитан Лабуда — главным образом физической силой и в гораздо меньшей степени — вернее, даже почти ни в какой — силой духа.

Сейчас капитан Лабуда уже неделю кружил вокруг Прегиб, приближался к городу и снова удалялся, наткнувшись на сильные немецкие патрули, и опять появлялся вблизи, словно не мог прервать этого кругового движения, хотя никакой пользы от этого не было; в стычках он потерял четырех человек, но все кружил и кружил вокруг Прегиб, не мог от них оторваться. Да, это было так, он не мог оторваться — он видел сожженный сеновал под Черной Браной и слышал в Верхней Осадке о колонне арестованных, которых оберштурмфюрер Эрих Янке вел в Прегибы, и среди арестованных люди узнали мать Крапа и Ганку Крапову. Значит, Ганка была в Прегибах, и капитан Лабуда кружил вокруг Прегиб, хотя это было сопряжено с большой опасностью и он напрасно потерял четырех человек. Он устраивал засады на дорогах, ведущих в Прегибы, и однажды ему удалось захватить двадцать с лишним венгров; он захватил их вместе с лошадьми, повозками и жалким провиантом и увел их в сожженную Верхнюю Осадку. Там их допросили, даже побили немного, но венгры ничего не могли рассказать о Прегибах. Они действительно ничего не знали о том, что делается в Прегибах, а то

бы с радостью рассказали, потому что были запуганы. Их утомила, им осточертела война с партизанами, они не хотели воевать с партизанами, они хотели спрятаться, где-нибудь пересидеть это время и вернуться домой. Но они ничего не знали, в Прегихбах они простояли один день и ничего не знали ни об оберштурмфюрере Эрихе Янке, ни об арестованных, ни о гардистах.

Но ночью патруль, возглавляемый взводным Козой, притащил языка; это был гардист, и взводный Коза вез его, перекинув через седло. Рот ему заткнули грязной портянкой, и был он связан так основательно, что прошло порядочно времени, пока его удалось развязать. Капитан Лабуда еще не спал, он пьянствовал в одном из домов, уцелевших от пожара; у венгров нашли какое-то приторно-сладкое, противное пойло, но капитан Лабуда пил его, хотя ему было противно. Он пил потому, что был грустен: выходит, напрасно он кружил вокруг Прегиб.

Но теперь наконец приволокли языка, это был гардист, и капитан Лабуда очень ему обрадовался.

— Сцапали молодчика, — рассказывал взводный Коза, — сам на нас наскочил. Весь обделался, поди-ка, вонять будет.

Быстрая езда разгорячила взводного Козу, он ухмылялся черным лицом, без спросу налил себе желто-красной паленки; потом выплюнул ее, выругался, сморщился, как будто проглотил лягушку.

— Развяжите его, — приказал капитан Лабуда, — скорее развяжите. — И он сам стал помогать развязывать гардиста.

Однако возились с ним долго, он был очень основательно связан, а капитан Лабуда был очень нетерпелив. Наконец развязали, гардист поднялся на ноги и робко стал расправлять затекшие руки. Капитан Лабуда сказал:

— Уходите все вон, оставьте нас одних.

Взводному Козе это очень не понравилось, он все торчал в комнате, пока капитан Лабуда не гаркнул:

— Проваливай!

Взводный Коза уже знал этот тон Лабуды и скрылся.

— Садись, — сказал капитан гардисту, когда все вышли.

Гардист сел; у него были светлые волосы и светлые брови и гладкое, красивое лицо, это был Валер Феркодич.

— Я ушел от них,— сказал Валер Феркодич,— я не мог больше. Я ушел и шел всю ночь, а потом меня схватили.

— Это неважно,— сказал капитан Лабуда и хмуро посмотрел на гардиста.

Гардист не интересовал его, его совсем не интересовала судьба гардиста, и не интересовало капитана Лабуду, что гардист оказался его старым знакомым, что это был Валер Феркодич, двоюродный брат Олины Феркодичевой. Его интересовала только судьба арестованных и судьба одной из арестованных — Ганки Краповой.

— Это неважно,— хмуро повторил капитан Лабуда, и если в первую минуту Валер Феркодич обрадовался, узнав капитана Лабуду, если в нем и вспыхнула какая-то надежда, когда капитан Лабуда выслал из комнаты этих ужасных людей, то сейчас всякая надежда погасла для Валера Феркодича.

— Честное слово,— сказал Валер Феркодич.— Ты должен мне поверить, я ушел от них, потому что не мог больше.

Все было действительно так или почти так, как говорил Валер Феркодич; три дня после казни Валер Феркодич ходил задумчивый, мрачный, будто отравленный тем, что видел, по ночам он не мог спать и перестал сочинять всякие забавы, он только думал и думал. В последнюю ночь устроили попойку, Валер притворился пьяным, и, когда все перепились, он вышел, перемахнул через забор и двинулся по проселочной дороге. Он еще не решил бежать, он просто шел по дороге, чтобы уйти подальше от этих людей, и тут его схватили.

— Это неважно,— сказал еще раз капитан Лабуда.— Меня сказки не интересуют, сказки ты оставь для других.

— Честное слово,— в отчаянии молил Валер Феркодич.

— Хватит! — взревел капитан Лабуда, и Валер Феркодич съежился под ударом этого голоса и стих.

Тогда капитан Лабуда спросил:

— Что вы с ними сделали?

— С кем?

— Ты отлично знаешь с кем: с арестованными.

Валер Феркодич побледнел, ему стало страшно, стало страшно от глаз капитана Лабуды, вперившихся в него, от этих глаз невозможно было спрятаться, и ему было страшно, он чувствовал, что сердце его бьется как-то вхолостую, а в душе открывается грозная пустота.

— Не знаю,— выговорил Валер Феркодич и ясно услышал, как предательски дрожит его голос.

— Отлично знаешь,— сказал капитан Лабуда, по-прежнему не спуская с него глаз.— Что вы с ними сделали?

— Некоторые остались в тюрьме,— проговорил Валер Феркодич этим чужим, дрожащим голосом.

— Давай, давай выкладывай! — сказал капитан Лабуда, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие.— Что вы сделали с остальными?

— Некоторых немцы расстреляли,— выговорил чужим голосом Валер Феркодич.

— Расстреляли,— эхом отозвался капитан Лабуда.

— Мы были в охране, — выговорил Валер Феркодич, — мы только охраняли, а унтер-офицер Дебнер стрелял им в затылок, и они падали в противотанковый ров. Там были две еврейские девочки, и за одной из них Дебнер спрыгнул в ров, она упала туда еще живой. Просто ужас, я не мог больше с ними, потому и ушел.

— Это неважно,— сказал капитан Лабуда.

Потом отвел тяжелый взгляд от Валера Феркодича, стал смотреть куда-то в землю и спросил:

— Там, среди расстрелянных, не было женщин?

— Была, там была одна женщина, еврейка, мать тех двух девочек.

— А не было среди них девушки, которую звали Крапова, Ганка Крапова?

— Нет, среди расстрелянных не было никаких девушек.

— А где эта девушка?

— Не знаю.

— Давай, давай выкладывай живее! — сказал капитан Лабуда и снова уперся тяжелым, темным взглядом в глаза Валера Феркодича.

Валер Феркодич съежился, он был совсем белый, пустота в груди расширилась, и сердце билось, сжатое и

стесненное этой пустотой. Он облизнул пересохшие губы и, не отвечая, испуганно озирался, словно искал лазейку, через которую можно было бы ускользнуть. Но тяжелый, грозный взгляд капитана Лабуды всюду следовал за ним, и уйти от него было невозможно.

— Выкладывай, — глухо сказал капитан Лабуда. — Ну же!

— Эта девушка... — выговорил Валер Феркодич и с усилием проглотил слюну. — Эта девушка тоже мертва. Я этого не видел, меня там не было, но почти наверняка эта девушка тоже мертва.

— Мертва, — эхом отозвался капитан Лабуда.

— Я не виноват, — дрожащим голосом выговорил Валер Феркодич, — честное слово, я не виноват. Коленатый сказал, ее надо убрать, а я говорю — ее надо вернуть в тюрьму, но все были за Коленатого, и Коленатый унес ее...

— Убрал.

— Да, убрал.

— Почему ее нужно было убрать?

— Ее изнасиловали, — выговорил Валер Феркодич, — изнасиловали и не хотели, чтоб история вышла наружу.

— Ну, говори, говори, — сказал капитан Лабуда.

— Это все.

— Нет, ты говори, — повторил капитан Лабуда, и глаза его были дикие, а в лице — будто судорога. — Ты обо всем расскажи!

Валеру Феркодичу пришлось рассказать, как было дело с Ганкой Краповой, он то и дело запинаясь и опять говорил, а капитан Лабуда молчал и смотрел на него диким, звериным взглядом. Когда Валер Феркодич кончил, капитан Лабуда еще посидел молча, потом одним движением смахнул со стола бутылку, стаканы и вышел. Скоро он вернулся со взводным Козой и сказал:

— Бери его, делай с ним что хочешь.

Взводный Коза ухмыльнулся и сказал Валеру Феркодичу:

— Пошли, мальчик, не бойся, мы тебя не обидим, мы только малость сдерем с тебя твою паршивую шкуру.

— Это надо сделать быстро, — сказал капитан Лабуда. — Надо поторопиться, через четверть часа мы выступаем.

— Не выйдет, — сказал взводный Коза и почесал под высокой бараньей шапкой.

— Выйдет, потому что надо, — отрезал капитан Лабуда.

— Трудно, — ответил взводный Коза. — Ведь тут еще венгры.

— Верно, — согласился капитан Лабуда. — Тут еще венгры.

— Одна обуза эти венгры, — заметил взводный Коза. — Что с ними делать?

— Мы не можем их тащить с собой. Через четверть часа — выступаем.

— Верно, — сказал взводный Коза. — Не можем мы тащить их с собой. Что же с ними делать?

— Будто не знаешь, — сказал капитан Лабуда. — У нас нет выбора.

— Правильно, — сказал взводный Коза и ухмыльнулся. — Только это займет время.

— Через четверть часа выступаем, — повторил капитан Лабуда.

— Ну, пошли, мальчик, — сказал взводный Коза Валеру Феркодичу. — Не видишь, батька гневается, надо нам с тобой поторопиться.

Валер Феркодич двинулся, как во сне, и он шел, как во сне; чья-то чужая воля заставляла его передвигать ноги, и было это даже не так ужасно, скорее, это было очень странно и совсем непривычно. Капитан Лабуда вышел из дому. У забора стоял конь, он звучно хрупал сено, в темноте неясно обозначалась линия его спины и ушей. Слышно было, как кричат и ругаются разведчики, как молит о чем-то кто-то из венгров. Голоса удалились, потом раздался выстрел, и еще, и еще. Конь поднял голову, перестал хрупать, но потом снова опустил голову, снова захрустел. Капитан Лабуда подошел к коню, легонько потрепал по шее. Сбросил попону, которой его укрыли от холода, принес седло. Голоса разведчиков стали приближаться, взводный Коза рассказывал какой-то анекдот, один из своих грубых анекдотов, и все смеялись. Потом они увидели капитана Лабуду и разом перестали смеяться, а взводный Коза крикнул:

— По ко-о-оням!

Они рванулись в ночь, шел снег, и стояла густая тьма; хлопья смутно белели, от чего тьма делалась еще

гуше, но капитану Лабуде не нужно было света, он хорошо знал дорогу, этой дорогой он хаживал не раз, то была прямая дорога на Прегибы. Капитан Лабуда скакал впереди, он пустил коня в галоп, остальные мчались за ним. Это была дикая скачка, дикие конники рвались сквозь ночь прямой дорогой на Прегибы. Это было безумие, чистое безумие — в Прегибах стояло много немцев, там стоял карательный батальон СС, был там отряд боевой готовности глинковской гарды, а может быть, и еще какие-нибудь части. Прегибы были окружены окопами, а в окопах, за пулеметами, лежали продрогшие немцы. Это было безумие, но капитан Лабуда прищипывал лошадь, и остальные с мягким топотом мчались за ним, и никому это не казалось безумием, все были опьянены глухим топотом копыт и скоростью; они мчались вперед, и им казалось, что они непобедимы. Теперь дорога пошла шире, началось шоссе, которое поддерживали в хорошем состоянии; снег на нем был плотно укатан, и копыта зазвенели громче, дыхание коней участилось. До окраины Прегиб осталась уже только тысяча метров, а потом — несколько сотен. В двух местах на окраине блеснул огонь, затарахтели пулеметы, мрак прорезали летящие пули — немцы стреляли трассирующими. Это был прекрасно организованный кинжальный огонь, только немцы чуть-чуть опоздали. Взвилась и упала лошадь, другая побежала без всадника — но все остальные уже пронеслись через границу смерти и на всем скаку ворвались в город. Теперь родилось эхо, оно отскакивало от домов, и был тут адский топот, чудесный топот — разведчики кричали и улюлюкали, пьяные от скорости, от топота, от прерывистого дыхания коней. Они промчались по двум улицам и выскочили на площадь, капитан Лабуда резко осадил коня, тот поднялся на дыбы, присел на круп, но тут же стал на ноги. Капитан Лабуда указал рукой на один из домов — это было трехэтажное здание гимназии, там спали немцы. Разведчики с ревом бросились вперед, забросали гранатами окна, поливая автоматными очередями немцев, которые пытались выскочить на улицу. Это была добрая забава, веселая забава, очень веселая забава. Но потом от ворот тюрьмы заговорил крупнокалиберный пулемет, он бил в упор по мечущейся кучке людей на лошадях, площадь прорезало лезвие прожекторов, обнажив всех,

а пулемет очень быстро впитывал в себя кучку всадников, кучка таяла и рассыпалась. Пора было подумать об отходе, и те, кто еще оставался в живых, оглянулись на капитана Лабуду — он швырнул последнюю гранату в окно загоревшейся гимназии, и лицо его было все в крови; казалось, он не помышляет об отходе, казалось, он потерял рассудок, потому что повернул коня, словно для того, чтобы броситься грудью на пулемет, на тюрьму, на острое лезвие прожектора. Но рядом с ним был взводный Коза, он схватил коня Лабуды за узду, рывком повернул его и поскакал прочь с площади, не выпуская узды капитанского коня; все, кто еще был в живых, пустились за ними. И снова скакали они по улицам, но топот был уже не тот; то не был победный, пьянящий топот копыт — теперь их гнал только страх за жизнь, то было бегство; позади остались павшие товарищи, впереди же были еще немцы, был еще кинжальный огонь пулеметов на окраине города, и из города вырвалось только шесть человек, взводный Коза, капитан Лабуда да четверо разведчиков — это было все.

В Верхней Осадке взводный Коза велел сделать привал: обтерли взмыленных коней, наскоро перевязали капитана Лабуду — у капитана была поверхностная рана на темени, видимо, пуля отскочила рикошетом от стены, на излете ударила его в темя и пропахала борозду в волосах; как раз посредине головы у капитана Лабуды была красная бороздка, из нее все еще сочилась кровь.

— Ну и отделали нас, — сказал взводный Коза, но капитан Лабуда не говорил ничего, губы его были плотно сжаты, а взгляд был тяжелый и мутный, и он ничего не говорил.

Взводный Коза обвел взглядом четверых разведчиков, единственных, кто остался в живых, и они поняли его взгляд и молча согласились с ним — у капитана Лабуды голова не совсем в порядке, да, конечно, не все в порядке было в голове у капитана Лабуды. Теперь-то им стало ясно, ведь это было безумие, это была верная смерть — ворваться в Прегибы, это было сумасшествие, теперь-то им всем это было ясно. Взводный Коза спросил капитана Лабуду:

— Куда идти?

— Чего он орет? — спросил взводный Коза у Янко Крапа.

Он решил признавать только Янко Крапа, а комиссар Бенде перестал для него существовать.

— Зря вы это, — сказал Янко Крап. — Может быть, среди них были вполне порядочные люди.

— Темно было, — ответил взводный Коза. — Не разглядишь, кто какой. Да и некогда было, вот мы их всех и кокнули. Очень уж мы торопились.

— То есть свинство! За то я буду стрелять! — кричал комиссар Бенде.

— Скажи ты ему, чтоб не орал, — попросил взводный Коза, не глядя на комиссара Бенде.

— Зря вы это, — повторил Янко Крап и покачал головой. Потом добавил: — И торопиться вам нечего было — на смерть-то.

— Сначала все шло как по маслу. Красивый налет, мы мчались как черти.

— Дороговата такая красота.

— Это верно. Здорово нас отделили.

— Капитан был сильно пьян?

— Он не от этого. Не от пьянства. Просто он вдруг будто рехнулся.

— Отчего же?

Взводный Коза подумал. Потом почесал голову и сказал:

— Да все тот гардист. Не иначе, как он. Сцапали мы одного, прямо на нас наскочил — чистенький такой, беленький мальчик. Капитан сам его допрашивал, меня выгнал. А потом и началось — и вид у него был такой, будто он начисто рехнулся.

— Так, — произнес Янко Крап. — Вот как оно было.

Янко Крап начинал догадываться, отчего это могло быть — это могло быть связано с Ганкой, но он не решил себе идти дальше по этому следу. Стоп, стоп, не думать об этом, не думать об этом — я и не думаю.

— Можешь идти, — сказал Янко Крап взводному Козе.

Взводный Коза отдал честь и ухмыльнулся.

— Я еще с тобой поговорю, Коза, не скаль зубы, — пригрозил ему Янко Крап.

Но взводный Коза не очень-то встревожился, он знал, что за ним нет никакой вины.

Комиссар Бенде был мрачен и гневен.

— Ты делаешь недобро, нехорошо, — сказал он Янко Крапу. — У тебя очень мягкая рука, надо иметь очень твердую руку.

Янко Крап пожал плечами.

— А что тут поделаешь? Сделанного не поправишь.

— То есть разбой, — вспыхнул комиссар Бенде. — Он разбойник, твой капитан, разбойник и люмпен, а не партизан! Надо судить, и надо стрелять!

— Сделанного не поправишь, — примирительно повторил Янко Крап. — Ничего теперь не воротишь.

— Надо стрелять, — сказал комиссар Бенде. — Надо всем учить порядок.

— Расстрелять легче всего, — ответил Янко Крап.

Но комиссар Бенде стоял на своем, для него капитан Лабуда был воплощением непослушания, всего, что ускользало из-под его контроля, всего неожиданного. Комиссар Бенде не любил непослушных людей, а неожиданных людей ненавидел. В конце концов Янко Крап сдался и по настоянию комиссара Бенде созвал совещание штаба для разбора дела капитана Лабуды. Сделал он это очень неохотно, ему казалось, что это лишнее, и тем неохотнее он это делал, что отношение его к капитану Лабуде было каким-то неопределенным: в нем было немного зависти, немного восхищения, немного страха. И еще тут было одно — об этом Янко Крап узнал лишь несколько дней назад: ему рассказала об этом Эма, и это касалось Эмы и капитана Лабуды, и Эме вся эта история могла быть очень неприятна. Но ничего не поделаешь, комиссар Бенде был настойчив и неумолим. Все происходило в командирской землянке. Туда пришел Леша, похудевший и почерневший, скулы у него выступали твердо и остро. Потом пришел капитан Лабуда и остановился на пороге. Он стоял сгорбившись, и голова его была обвязана грязным бинтом.

— Сядь, — нерешительно сказал ему Янко Крап. — Мы хотим спросить тебя кое о чем, хотим задать тебе несколько вопросов.

Но капитан Лабуда не двинулся, он по-прежнему стоял сгорбившись в дверях землянки, и в лице его ничто не дрогнуло, у него был какой-то тяжелый, странный, как бы отсутствующий взгляд, и нельзя было угадать, слушает ли он Янко Крапа, понимает ли его слова;

скорее, казалось, капитан Лабуда слушает нечто совсем иное, явственное лишь для него самого.

Янко Крап кивнул комиссару Бенде, и комиссар Бенде начал. Он не просто задал несколько вопросов, он вытащил засаленный блокнот и пункт за пунктом стал перечислять провинности отряда капитана Лабуды. Он приводил жалобы ограбленных крестьян, у него были записаны даже те бесчинства разведчиков, о которых он слышал из третьих уст и которые были сильно преувеличены. Всего было очень много — вполне хватило бы для смертного приговора, а тут еще последний случай. Сумасбродная атака на Прегибы еще и потому взбесила комиссара Бенде, что с ней был связан расстрел венгров. Комиссар Бенде очень любил вспоминать о своем участии в Венгерской Коммуне. В отряде было несколько перебежчиков-венгров, и, по мнению комиссара Бенде, они составляли революционное ядро; нужно было много таких революционных ячеек, чтобы они в свое время спустились с гор и возродили славу Венгерской Коммуны. Комиссар Бенде не любил капитана Лабуду, а теперь, после налета на Прегибы, и вовсе возненавидел его. Янко Крап только рот раскрыл: никогда еще не видел он капитана в таком мрачном, обвинительном свете, как сейчас, хотя порой желал бы увидеть его в таком свете. Но сейчас Янко Крап был ошеломлен: картина получилась точная и недвусмысленная, она была построена слишком основательно. Янко Крап почесал шрам на правой щеке, потом неуверенно взглянул на капитана Лабуду, ожидая взрыва.

Но капитан Лабуда молчал. Быть может, он не слышал или не совсем понял, о чем говорил комиссар Бенде; а если расслышал и понял, то не совсем постиг смысл комиссаровой речи и, главное, не уловил, какое отношение имеет эта речь к нему. С грязной повязкой на голове, он стоял молча, сгорбившись, у самой двери, и взгляд у него был тяжелый, отсутствующий.

Леша сидел на нарах, положив на колени большие кулаки, и сонно жмурился. Он понимал, отчего так возмущается комиссар Бенде. Будь он, Леша, на комиссаровом месте, возможно, он вел бы себя точно так же; но он понимал и капитана Лабуду.

— Ты все слышал, капитан, — сказал Янко Крап. —

Теперь тебе следовало бы сказать нам свое мнение об этом.

Но капитан Лабуда молчал.

— Тебе следовало бы высказаться, — повторил Янко Крап.

Капитан молчал, он смотрел на Янко Крапа, но, может быть, не видел его — такой у него был тяжелый, мертвый, угасший взгляд. «Что вам от меня надо? — говорил этот взгляд. — Что вам от меня надо, не видите, что от меня уже ничего нельзя требовать?»

Быть может, Янко Крап понимал этот взгляд и, может быть, догадывался о причине, но он решительно не хотел ничего этого знать, не хотел об этом думать и не думал.

— Ты понял, капитан? — снова спросил он. — Тебе бы следовало высказаться. Дело серьезное, тут не до шуток.

— Он разбойник и никакой капитан, — сказал комиссар Бенде и опять стал говорить, много говорить, что капитана Лабуду надо примерно наказать; он говорил о грозной опасности, об окружении, о тяжелом положении, в условиях которого вина капитана Лабуды становилась тем более серьезной, что она поставила под удар всю часть. Комиссар говорил о коммуне и об интернационализме; он горячился, так как был убежден, что капитан Лабуда — враг, и в пылу горячности высказал подозрение, основанное на прошлой службе капитана в фашистской армии, что тот провокатор и диверсант и, быть может, имеет связь с неприятелем. На первый взгляд, все было построено логично, а если и возникали кое-где сомнения, то они исчезали под напором пламенной речи комиссара Бенде, в которой чувствовалась убежденность.

— Нет, — сказал Янко Крап. — Это уж слишком.

Янко Крап восстал против такого подозрения наперекор тому — а может быть, вследствие того, — что когда-то завидовал славе, доблести и успехам капитана. Он восстал против такого подозрения, но у него не было никаких аргументов, кроме знания людей, и это знание говорило ему, что капитан Лабуда честен, а комиссар Бенде ошибается.

— Ты ошибаешься, комиссар, — сказал Янко Крап. — Сдается мне, ты зашел слишком далеко.

Леша молчал, такие вещи были ему неприятны. Он знал, что комиссар Бенде неправ, но в то же время ему казалось, что он, Леша, не имеет права вмешиваться, это очень серьезное и запутанное дело, в котором трудно разобраться, а Леша любил дела ясные и простые: вот я, вот враг, вот моя родина — и я сражаюсь за свою жизнь, за жизнь моей родины. К тому же ему казалось, что обвинения комиссара Бенде направлены и против него, Леши, ведь и он не очень-то любил дисциплину, и он порой считал ее глупой и ограничивающей, и он воевал отнюдь не в белых перчатках — в такой войне нельзя воевать в белых перчатках.

— Капитан, — сказал Янко Крап. Он встал, подошел к капитану Лабуде, положил ему руку на плечо — плечо было мертвое, безжизненное. — Капитан, почему ты молчишь? Почему ничего не скажешь, капитан?

На минуту жизнь вернулась в глаза капитана, его большое тело затрепетало, он глубоко вздохнул и сказал:

— Оставьте меня. Что вам от меня надо?

— Ты должен нам объяснить, — сказал Янко Крап. — Дело нешуточное, и ты обязан нам все объяснить.

Но взгляд капитана Лабуды уже снова погас, он снова стал угасший, мертвый и далекий. Быть может, капитан Лабуда слышал взрывы гранат и глухой, грозный лай пулемета и видел вздыбленных коней и своих ребят, которых оставил мертвыми на площади в Прегигах; а может быть, слышал голос Ганки, которая тщетно звала его на помощь.

Янко Крап беспомощно пожал плечами: неприятное было все это дело, неприятное и глупое... Янко Крап чувствовал, что капитан Лабуда не предатель, но у него было мало слов для защиты капитана, а у комиссара Бенде было много слов, которыми он мог обвинять капитана. И комиссар Бенде не жалел слов, он вновь и вновь говорил о вине капитана Лабуды, и чем дальше он говорил, тем более увеличивались грехи капитана Лабуды, они распухали, росли и комиссар вновь и вновь требовал головы капитана.

— Надо примерно наказать! — восклицал он. — Его надо стрелять!

Наконец подал голос Леша.

— Нет, — сказал он. — Не надо смертной казни.

— Конечно! — облегченно перевел дух Янко Крап. — Конечно, это была бы глупость. Было бы очень глупо, если б мы его расстреляли. Ведь сделанного не поправишь, а расстрел ничем нам не поможет.

Но комиссар Бенде был в ярости, он брызгал слюной, обругал обоих болванами, он был страшно зол и оскорбил Янко Крапа — сказал ему, что тот вовсе не революционер, а мокроносый мальчишка, сопляк — так сказал комиссар Бенде. И Янко Крап вспыхнул.

— Да как ты смеешь меня оскорблять! — крикнул Янко Крап и тяжело выругался.

Комиссар Бенде покраснел, он смертельно обиделся; он вылез из землянки, чувствуя себя очень одиноким, и было ему чего-то жаль. Вскоре из землянки вышел и капитан Лабуда, остановился недалеко от комиссара, но явно не видел его; капитан смотрел на юг, в долину, туда, где были Прегибы, и прерывисто вздыхал. Комиссар Бенде протер глаза — это было невероятно! — он не мог поверить и подошел ближе к капитану, но зрение не обмануло его. Это действительно были слезы, капитан Лабуда смотрел в долину, а по щекам его стекали слезы — капитан Лабуда плакал.

11

Архитектор Феркодич забаррикадировался в своей вилле с затейливыми оравскими навесами, забаррикадировался и никого к себе не впускал; он выключил телефон и сам никуда не выходил, пустил слух, что болен, и ограничил свой мир как только мог. Его мир кончался за живой изгородью сада, в котором он тайком гулял по вечерам. Все это смахивало на заключение, но это было добровольное и хорошо продуманное заключение, да к тому же весьма комфортабельное и с полным достатком. Он выбрался в последний раз за границы живой изгороди лишь для того, чтобы обеспечить себе полный комфорт в своем добровольном заключении: съездил в горы, где у него были кое-какие знакомства еще со старых добрых времен, закупил там продовольствие — не на год, а на три года. Денег Феркодич не жалел, он был не лыком шит и понимал, что деньги эти ценят теперь только доверчивые дураки. Деньги имели

хождение только по инерции да потому, что люди привыкли в нужде больше всего доверять самому недолговечному. Архитектор Феркодич привез оттуда глуховатую девушку; впрочем, она была уже девица в летах, глухая и придурковатая, зато стряпала она вполне сносно. Устроившись таким образом, архитектор Феркодич облегченно вздохнул в убеждении, что поработал хорошо. Он понимал, что все эти меры могут и не спасти его от нужды, от несчастья и смерти, зато он сделал все, что мог, и больше в то время сделать было невозможно. В его тихом эlegantном кабинете по-прежнему лежала на столе карта фронтов со стрелами и значками, с пометками на полях; но теперь архитектор Феркодич ругал уже не главное командование вермахта, теперь он сердился на то, что так медленно продвигаются армии западных союзников. Он придумывал планы военных операций, намечал путь армии Паттона, которая могла бы, пожалуй, выйти к Дунаю и стремительным маршем двинуться по линии Аугсбург — Мюнхен — Линц — Вена — Пресбург¹.

Теперь он трижды в день слушал Лондон, слушал все, что можно было слушать, — военные сводки, комментарии и выступления политических деятелей. Из-за этого всего в его воображении как бы всплывала картина прошлого, старое доброе время, и он уже не так боялся больших перемен. По вечерам Феркодич прохаживался по саду и смотрел вниз, на город, лежавший в котловине, и ему казалось — он вознесен над городом, отделился от него, и вместе с городом от него отделились и все его прегрешения, и он стал свободным и защищенным от всего, что наступит, что уже наступает. Но бывали у него и минуты слабости, минуты тоскливого и безнадежного страха. Это случалось тогда, когда он думал о большевиках; ведь они не подчинялись никаким известным ему и признаваемым всеми авторитетами законам, как, например, закону истощения человеческих сил и материальных ресурсов, закону растянутых линий снабжения и коммуникаций. Для большевиков не существовало таких законов, они все шли и шли, они приближались в грозном топоте миллионов ног. Но это были просто припадки слабости. Архитектор

¹ Немецкое название Братиславы.

Феркодич верил, что вывернется из всего и останется цел и невредим, и строил планы на будущее, которое начнется потом, после больших перемен, — он верил, потому что хотел верить и должен был верить, он слишком ценил свою жизнь, чтобы представить себе, что и он погибнет, подобно тысячам и миллионам других.

С миром, расположенным внизу, в котловине, с обреченным миром, исполненным безграничного страха и безграничных надежд, с миром, объятым лихорадочной дрожью, архитектора Феркодича связывал только Августин Шернер. Поэт нашел приют на вилле Феркодича и очень быстро прижился там — в его натуре было заложено умение быстро приспособливаться к любому положению. Такое свойство оказалось весьма кстати в столь неверные времена, а Августин Шернер инстинктивно еще больше развил его в себе; это был акт самосохранения. В такие неверные времена ему не улыбалось стоять за аптечным прилавком, и он с ужасом избегал мысли о пани Ашеншвандтнеровой, а здесь был выход, великолепный, вполне безопасный выход. Они прекрасно дополняли друг друга — Августин Шернер и архитектор Феркодич: последний нуждался в моральной поддержке, первый — в материальном благополучии. Была тут и еще одна кокетливая идея — Августина Шернера могли разыскивать органы безопасности, и вилла Феркодича оказывалась, по существу, убежищем; это была нелегальная квартира, и архитектор Феркодич, таким образом, участвовал в подпольной работе. Вначале Августин Шернер действительно чего-то опасался, поминутно оглядывался, проходя в первый раз по улицам города, но никто не следил за ним, и ему даже стало досадно, когда он понял, что за ним нет слежки — этим как бы умалялось его значение. Но здесь не было его вины, здесь был недосмотр, глупость и близорукость органов безопасности. Сейчас Августин Шернер не делал ничего, ему лень было даже писать стихи. По утрам он долго спал, валялся на мягких перинах, вспоминая скудные студенческие годы, и все удары судьбы, и жесткую руку, но чересчур мягкую грудь пани Ашеншвандтнеровой, и ему становилось уютно, хорошо и сладко на душе. До обеда он выходил прогуляться по городу, заглядывал во все кафе, кафе зевали скукой. Иногда он встречал знакомого, шепотом обменивался с ним

новостями и свежими анекдотами, принимал несколько таинственный вид, когда упоминал в разговоре о себе, о своей миссии. Ему нравилось это время — особенно потом, впоследствии, нравилось вспоминать об этом времени, и в воспоминаниях он, конечно, преувеличивал свою роль, свое положение: он был герой, он был один в стане врага и поддерживал дух сопротивления; в воспоминаниях и в будущем он мог прослыть великим именно благодаря этому неверному времени, которое сообщало ему ореол таинственности и героизма. А в остальном в городе было скучно, город съезжился в ожидании грядущих дней и дышал лишь постольку, поскольку это было необходимо, чтобы остаться в живых. Действовали разные полицейские ограничения, проводились облавы, а вино было дорогое и скверное. Поэта Почину вызвали в Центральное управление безопасности за какие-то выкрики, которые он позволил себе в пьяном виде; допросили его, пригрозили и выпустили. Там мудро рассудили, что поэты — люди слегка тронувшиеся, но, в общем, безобидные. Старейший поэт, вошедший в историю и в школьные хрестоматии, написал два стихотворных цикла, в которых было множество намеков на поражение немцев, на торжество исторической справедливости, на близкую победу Духа над бестиальной Материей. Стихотворения распространялись в списках — великий поэт выплачивал свой долг, накопившийся у него перед историей, — несколько запоздалая выплата, вдобавок продиктованная столь же мудрой предусмотрительностью, сколь и искренним возмущением тем, что бестиальные повелители Материи принудили великого поэта стать их соучастником. Это было покаяние, свершенное в предпоследнюю минуту, почтительное ходатайство о выдаче визы в будущее. Августин Шернер не писал никаких стихов, зато держал в голове все намеки, все рискованные места чужих стихотворений: его голова представляла собой оптовый склад и антологию поэтического бунтарства, и Шернер распространял стихи по кафе, поддерживая дух сограждан. Это было славное время, очень хорошее время для Августина Шернера, многим он тогда был нужен, а некоторые считали его героем. По вечерам они играли с архитектором Феркодичем в карты, и Августин Шернер отнюдь не чувствовал себя гостем, которого только тер-

пят, или, не дай бог, приживалом. Нет-нет, ему и на ум не приходило чувствовать себя приживалом, скорее, наоборот, он был будущий защитник архитектора Феркодича, в известном смысле — будущий хозяин дома. Он был щит, надежда и опора Феркодича в старости.

Но однажды, едва стемнело и едва успели они сдать карты, в прихожей прозвенел звонок. Он звонил нетерпеливо и угрожающе — это не мог быть почтальон, почтальон звонил вежливо. Шернер и Феркодич положили карты на стол и некоторое время сидели, переглядываясь; и каждый видел страх в глазах другого. Никто не шел открывать — глухая служанка, видимо, не слышала звонка, а Августин Шернер не двигался, словно примерз к стулу, — сейчас-то он вовсе не чувствовал себя героем. В конце концов пришлось встать самому архитектору Феркодичу. Он открыл дверь и осторожно выглянул в сад, но не разглядел ничего, только у калитки маячила какая-то неясная тень да звонок не переставал звонить, он то будто угрожал, то будто молил о помощи. Архитектор Феркодич со страхом в сердце сделал несколько шагов от дома до калитки. Он все время боялся, что кто-то ворвется в его крепость, нарушит его одиночество, которое было порукой будущего, — и вот это пришло. Феркодич сделал несколько шагов, но, когда он приблизился к калитке, от сердца у него отлегло, и он даже разозлился, потому что страх его был напрасен. За калиткой стояла всего-навсего какая-то деревенская баба в полушубке, закутанная в темный платок. На руках у нее был ребенок, завернутый в тряпье. «Здесь не одают», — хотел было сказать архитектор Феркодич, да передумал и принялся шарить в карманах, разыскивая мелочь. Он торопился избавиться от бабы без шума. Но баба за калиткой откинула с головы платок, под ним оказались молодые светлые волосы, и теперь стало видно ее лицо, такое знакомое лицо — это была его дочь Олина.

— Господи, — сказал архитектор Феркодич. — Откуда ты?

Олина не отвечала, одной рукой она держалась за решетку калитки, другой придерживала ребенка. Архитектор Феркодич быстро открыл калитку и втащил дочь, он сделал это, не размышляя, в первом порыве

чувства, потому что любил дочь; ведь все-таки это была его дочь, его кровь, продолжение его. Он хотел под- держать ее под руку, но рука ее была занята ребенком, и ребенок как бы остановил его руку и оттолкнул его. Первое чистое чувство прошло, испарилось, теперь снова верх взяла гордость, растоптанная менцанская гор- дость — но он-то считал ее своей человеческой и от- цовской гордостью, а ребенок дочери запятнал и рас- топтал ее.

— Откуда ты взялась? — спросил он еще раз, и те- перь в его голосе были не только любовь и сострада- ние, теперь в нем звучали и растоптанная гордость и укор.

— Я хочу спать, — проговорила Олина.

Она шла за своим отцом, архитектором Феркодичем, как лунатик, смутно воспринимая очертания знакомых предметов, а в ушах шумело: спать хочу, спать, спать... Архитектор Феркодич довел Олину до ее комнаты. Олина положила ребенка на кровать, рухнула рядом с ним и, кажется, тут же уснула: глаза ее были закрыты, синеватые прозрачные веки слегка подергивались. «Ка- кая измученная, какая жалкая!» — подумал архитектор Феркодич, и на его длинном лошадином лице отрази- лось сострадание. Он поправил подушку под головой Олины, снял с нее башмаки — грубые самодельные башмаки на войлочной подошве. «Какая жалкая», — снова подумал архитектор Феркодич, и его захлестнуло сострадание к дочери. Потом он боязливо коснулся взглядом ребенка — у ребенка было желтое личико, он был грязен и некрасив и, кажется, болен. Это был от- врагительный ребенок — он лежал с открытыми глаза- ми, и глаза были большие, голубые и чужие. Архитек- тор Феркодич содрогнулся и вышел из комнаты. Он на- правился к Августину Шернеру — ему нужен был сей- час этот человек, нужен был кто-нибудь, кому можно было излить душу. Но Августина Шернера в гостиной не оказалось; на столе валялись брошенные карты да стояли две недопитые рюмочки со сливовицей, но Авгу- стина Шернера там не было.

— Шернер! Пан Шернер! — тихо позвал архитектор Феркодич. — Все в порядке, пан Шернер! — вполголоса звал он, проходя по комнатам. — Бояться нечего, пан Шернер!

Наконец Феркодич отыскал его в спальне. Августин Шернер вылезал из шкафа, ему было немножко стыдно, и он сказал:

— А я-то думал — пришли за мной.

Они снова подсели к карточному столику, допили превосходную сливовицу, сваренную в горных деревушках, налили еще по рюмочке и начали играть.

— Кто это был? — спросил Августин Шернер.

— А, никто, — ответил архитектор Феркодич. — Моя дочь.

— Ваша дочь? Олина?

— Да. Всего-навсего моя дочь.

Некоторое время они играли молча. Августин Шернер деликатно хранил молчание. Рюмку сливовицы он опрокинул залпом — слишком сильно он перепугался, и ему надо было успокоиться.

— А я-то думал — пришли за мной, — повторил он, осушив рюмку. — Я даже немножко испугался.

— Всего-навсего моя дочь, — отозвался архитектор Феркодич. — Она долго была в отъезде и теперь вернулась.

Августин Шернер откашлялся и промолчал. В свое время он вращался в кругах, близких к капитану Лабуде, и знал все, что касалось Лабуды и Олины.

— Хорошая была девушка, — сказал немного погодя архитектор Феркодич.

— О, да. Конечно, я ведь помню ее. Милая была девушка, красивая и милая девушка.

— Да вот попала в беду.

— С кем не бывает, — деликатно ответил Августин Шернер, потом добавил: — Не так уж велика беда.

— Это позор, — сказал архитектор Феркодич.

— А, — пренебрежительно махнул рукой Августин Шернер, — не думаю, чтоб в этом был такой уж позор. В нынешние времена на такие вещи смотрят иначе. Какой там позор!

Архитектор Феркодич взглянул на Августина Шернера, и у него блеснула идея — спасительная идея, гениальная и простая, как все гениальные идеи.

— Вы действительно так думаете? Действительно думаете, что тут нет никакого позора?

— Конечно, — Августин Шернер снова налил себе превосходной сливовицы. — Я, пожалуй, еще выпью.

Я немножко испугался, вообразил, что пришли за мной, а это не очень-то приятно.

— Несомненно,— согласился архитектор Феркодич,— это не может быть приятно.

Потом он сказал:

— Она пришла с ребенком. Ребенок, кажется, болен и долго не протянет. Он совсем желтый, наверное, болен и недолго протянет.

— Какое горе для вашей милой дочери! — посочувствовал Августин Шернер. — Какое горе, если ребенок умрет.

— Лучше б он умер,— сказал архитектор Феркодич. — Ведь все-таки это позор для незамужней девицы. И ребенок постоянно напоминает о позоре.

— Никакого позора тут нет,— возразил Августин Шернер и выпил рюмку доброй сливовицы, слегка поперхнулся, облизал губы. — Крепкая, дьявол,— заметил он. — Прямо дух захватывает.

— Настоящая горная,— сказал архитектор Феркодич. — Купил ее в горах, по старому знакомству.

Некоторое время они играли молча.

— Червы,— говорил архитектор Феркодич.

— Что ж, пойдем,— откликнулся Августин Шернер,— ударим и по червам.

Архитектор Феркодич поглядел на Августина Шернера. Его идея возникла снова, она нравилась Феркодичу все больше и больше, идея была очень хорошая, гениальная идея.

— А на это что скажете? — делая решительный ход, спросил архитектор Феркодич. Потом добавил: — Теперь наша маленькая семья увеличится.

— Попался я на удочку,— сказал Августин Шернер. Его слова относились к игре; он был слабый игрок.

Помолчав, он произнес:

— Да, теперь тут будет совсем семейная обстановка.

Архитектор Феркодич обрадовался — его идея нашла почву, она росла, крепла и приживалась.

— Олина хорошая девушка,— сказал он.

И хотел еще добавить, что, если б не это несчастье, она была бы одной из лучших партий в городе. Но он промолчал, так как намек был бы слишком прозрачен, а он наперекор всему все еще гордился своим именем, своей удачей в жизни.

— Я помню ее, — отозвался Августин Шернер. — Она была очень милая и красивая девушка. Здоровая девушка и с современными взглядами.

— Если б только не это несчастье!

— Да нет тут никакого несчастья. Теперь на такие дела смотрят сквозь пальцы.

— Вы думаете? Думаете, это не позор?

— Так, просто небольшая случайность.

— И все-таки это позор.

— Да нет же! Все при ней: она молода, здорова, красива. Так чего же еще?

— И богата. Олина — моя единственная дочь.

— Ну да, вдобавок еще и богата. Чего же ей не хватает?

— Если б не ребенок. Не было бы хоть его!

— Ребенок никому не будет мешать. У нее есть на что жить.

— Вы так на это смотрите?

— Именно так. А как же мне еще смотреть?

— А если б такое случилось с вами?

— Как со мной?

— Ну, например, если бы вы должны были жениться на женщине с ребенком, вы согласились бы? И как бы вы на это посмотрели?

— Да точно так же, как и сейчас.

— Вы чудесный малый, Шернер. Августин... разрешите так называть вас?

— Буду рад.

— Августин, вы чудесный малый. А у меня есть одна идея, великолепная идея.

— Я слушаю.

— Нет, сейчас я вам ее не открою. Не выпить ли нам?

— Можно. От этой сливовицы дух захватывает.

Архитектор Феркодич отодвинул карты и налил обе рюмки. Чокнулись. У Августина Шернера уже слегка шумело в голове. Все ему нравилось — благосостояние, комфорт, богатство, окружавшее его; нравилась тайная идея архитектора Феркодича, о которой он догадывался, нравилось даже лошадиное лицо архитектора Феркодича. Шернер был растроган — его мать умерла, когда ему шел тринадцатый год, отца он никогда и не знал; после смерти матери он знал только дортуары, только

общие спальни, общий стол, стипендии да чувство, что ты — нищий. А сейчас на него как будто дохнуло семейной атмосферой, и он был растроган.

— За ваше здоровье, — сказал Августин Шернер, — за будущее, — сказал он, — за наше совместное будущее.

— Да, — кивнул архитектор Феркодиц, — за наше совместное будущее, за мое и ваше будущее и за будущее моей дочери Олины.

— Правильно, — согласился Августин Шернер, — выпьем и за будущее Олины, славная она девушка! И вообще все здесь очень славное, и вы славный парень, пан депутат, вы тоже очень славный парень!

— Ах, перестаньте, — сказал архитектор Феркодиц, — теперь я больше не депутат.

(Феркодиц написал письмо председателю парламента, мол, по причине болезни, которая, судя по всему, затянется, он не сможет исполнять свои депутатские обязанности, и хотя... и так далее — словом, отказался от мандата.)

— Теперь-то вы не депутат, — сказал Августин Шернер, — но будете еще, вы еще очень даже хорошо можете быть депутатом.

— Ах, это будет не так легко, — возразил архитектор Феркодиц, и его лошадиное лицо попыталось принять скромное выражение, впрочем безуспешно. — Это будет не так-то легко, ведь, как-никак, я скомпрометирован связью с ними.

— Вы всегда были порядочным человеком, — сказал Августин Шернер, — и все подтвердят, что вы были порядочным человеком. Все устроится, — сказал Августин Шернер, он был немного пьян и чувствовал себя великим; могущественным, полновластным, он чувствовал себя владыкой будущего. — Придется, правда, подождать, но в конце концов все устроится. Выпьем за то, чтобы все устроилось!

Выпили, затем архитектор Феркодиц сказал:

— Думаете, устроится? Вы действительно думаете, что устроится?

— Обязательно!

— Вы чудесный малый, Августин. Я рад, что встретил вас и что мы подружались, Августин.

— А идея? В чем же ваша идея?

— Ах, идея. Нет, сейчас я вам еще не скажу. А скажу я вам завтра, да, завтра я вам все скажу.

— Что ж, подожду до завтра, не умру, верно? А теперь давайте выпьем еще!

— Конечно, давайте немного закусим и выпьем еще.

Архитектор Феркодич сам пошел поискать чего-нибудь съестного, принес свежеекопченую колбасу, ветчину с перцем...

— Жирная, — похвалил он, — посмотрите, какой слой сала!

И они принялись есть и пить, dokonчили бутылку сливовицы и тихонько запели «Течет, течет реченька». Это была любимая песня «великого демократа», который, к сожалению, умер и покинул республику в беде. Спели еще «Батюшка старый наш» и совсем тихонько — гимн республики. Это была очень приятная подпольная деятельность, архитектор Феркодич как бы вернулся к старым временам, и ему казалось, что он смыл с себя всю вину, теперь он незапятнан, чист и подготовлен к будущему, которое явится продолжением прошлого. У Августина Шернера горели глаза — вот это жизнь, настоящая жизнь, это тебе не грязная бедность, не жалкие стишки; это — жизнь, богатство, комфорт, власть над будущим, уверенность, порожденная богатством, уверенность, порожденная комфортом, уверенность в будущем. Сейчас он презирал своих друзей, которые искали смысл жизни в словах и ритме, — это были ошибочные поиски, ненужные поиски ошибочного смысла. Сейчас Шернер видел это и чувствовал себя выше всех тех, кто этого не знал. Августин Шернер и архитектор Феркодич перешли на ты, обнялись и поцеловались. Они нравились один другому и нуждались друг в друге, и в эту минуту они любили друг друга и долго не могли расстаться. А когда расходились, еще раз обнялись, и Августин Шернер растрогался чуть ли не до слез, а архитектор Феркодич был доволен собой, Августином Шернером и своей идеей.

Олина проснулась среди ночи вся в поту — ей снился страшный сон, какие-то ужасы, но они, к счастью, рассеялись без следа. Олина села на кровати, взгляды-

ваясь во тьму: где я? Мрак был полный, сквозь шторы затемнения в комнату не проникал ни один луч света; это был полный мрак, рождающий страхи. Олина пошарила вокруг себя, наткнулась на маленького Марска. Ах, да, вот он, лежит рядом со мной и спит. Как хорошо, что он лежит рядом со мной и спит. Но где же я, где я, что скрывает этот мрак? Олина старалась вглядеться, напрягала зрение, но мрак был полный; потом вдруг вспомнила — ах, да, я дома, дома! Это была радость, чувство искупления, конец голоду, грязи, вшам, холоду, конец всем страхам и ужасам. Я дома, дома, я в безопасности, и мой сын в безопасности, мой сын в безопасности, и он будет жить, жить! Олина осторожно встала, на ощупь отыскала знакомые вещи — вот тут должен стоять стол, ну да, вот и стол, и кресло, и зеркальный шкаф, конечно, это ее зеркальный шкаф. Она не стала зажигать свет, боясь разбудить маленького Марека, пусть спит, пусть себе спит, бедняжка мой, пусть выпится мой бедный сыночек. Олина вышла в коридор, отыскала дверь в ванную комнату; вода тихо шумела, и над ванной поднимался легкий пар. Зеркало запотело, а на стеклянной полочке под зеркалом были чудесные вещи — щетки и гребни с серебряными ручками, лак для ногтей и старая помада; там были флакончики с духами, стоял настоящий одеколон, и еще там были кремы — целый клад, невиданное богатство! Здесь был комфорт, безопасность, родной дом. Олина сбросила с себя старое шерстяное платье — сейчас она испытывала к нему отвращение, и сбросила грязную комбинацию и грязный лифчик, все было грязное, вшивое и казалось ненастоящим и омерзительным в этой чистой ванной. Олина сбросила с себя все и долго мылась, сидя в ванне; терлась мочалкой докрасна, намыливала волосы и смывала мыло, намыливала и смывала и снова терлась мочалкой — и так без конца. Потом она вышла из ванны — теперь она была чистая, наконец-то она была чистая, тело дышало всеми порами, тело наконец-то стало чистое и свободное. Олина чувствовала себя великолепно, после долгого перерыва тело снова доставляло ей радость. Ей уже не надо было стыдиться самой мысли о собственном теле, теперь можно было смотреть на него, касаться его и снова после долгого перерыва испытывать от него радость. Олина вытерла запотевшее

зеркало и стала рассматривать свое тело — сейчас, когда она была чистая, когда освободилась от липкой грязи, оно выглядело совсем неплохо: кожа свежая, молодая, грудь немного увеличилась, но осталась крепкой и упругой; лицо чуть-чуть похудело, и под глазами были круги. Но это ничего, в общем, все было не так уж плохо, и Олина радовалась оттого, что снова чиста и свежа, и радовалась своему молодому чистому телу. Олина причесалась — волосы отросли, закрыли затылок густыми завитками; волосы стали темнее, они отливали медью. Она подстригла ногти и покрыла их лаком — в этом не было никакой нужды, но ее так радовало ее чистое тело, что она не могла не сделать этого. Все было так замечательно: комфорт, богатство, чистота.

Вдруг Олина насторожилась: она ничего не слышала, но ей показалось, что маленький Марек плачет. Она не могла его здесь расслышать, но знала — он плачет. Набросив на себя какой-то халат, сунув ноги в какие-то туфли, Олина зашлепала по коридору. Маленький Марек действительно плакал, ей стало жаль его, она мысленно выбрала себя — какая я эгоистка, как могла я забыть о нем? Она и впрямь забыла о нем на время, забыла о своем бедном, измученном сыне. Как могла она забыть о нем? Олина зажгла свет, Марек плакал и раскидывал ручонки; глаза его были зажмурены, по личику стекали слезы. Бедный мальчишечка, как могла я забыть о тебе? Марек успокоился, когда Олина дала ему грудь, но вскоре снова расплакался и кричал до хрипоты. Он был не совсем здоров и не мог быть здоровым после всего того, что испытал он и что испытала его мать. Марек кричал и не мог уняться, как будто понимал, что теперь можно кричать вволю. И снова для Олины исчезла радость, опять вернулся страх, страх лишал ее сил. Она носила по комнате Марека, укачивала его на руках — спи, маленький, спи! Но Марек все не унимался.

Олине пришлось на ум выкупать сына, она отнесла его в ванную и выкупала; не во что было запеленать его, и Олина завернула его в большое полотенце, потом лихорадочно стала рыться в комоде — ага, вот ее белье, она схватила первое, что попало под руки, разорвала его на пеленки. Выкупанного Марека наконец-то запеленали, он утихомирился и заснул. Малыш лежал на крова-

ти. Олина лежала рядом с ним, измученная страхом и беспокойством. Она не могла больше спать, хотя была утомлена. Во всем теле чувствовалось утомление, приятная, сладостная усталость, и все же Олина не могла уснуть. Страх и тревога не проходили, и дурные, тревожные мысли мешали ей уснуть. Теперь она ощущала не только радость от покоя и безопасности, радость от родного дома и богатства, но к этому прибавилось и такое чувство, будто она одинока, будто она осиротевшая, покинутая и родной дом — не дом ей, будто она здесь чужая, пришла незваная, нежеланная, лишний груз и обуза; и ее будущая жизнь в этом доме виделась ей полной горечи, обид и унижений. «Ах, был бы тут Марек, — вздохнула она, — был бы тут Марек, я не была бы так одинока; Марек добр и благороден, и он любит меня. Быть может, теперь он окреп и сумел бы меня защитить — да, конечно, он защитил бы меня, потому что любит, защитил бы и маленького Марека. Марек, Марек, где ты?» Он был нужен Олине, она тосковала по нем, он был единственный человек, который был ей нужен и по ком она тосковала, — и теперь уже не только ради одного маленького Марека, но и ради себя самой, он был нужен ей, и она по нем тосковала. Марек, Марек, где ты? И когда она подумала, что, может быть, он уже убит, что его могли убить, что его нет в живых, ее снова обьяли ужас, и страх, и горе, она громко прошептала:

— Марек, Марек, где ты?

Олина гнала прочь страх и ужас, она не хотела отпустить надежду, пусть надежда остается при ней. Она вызывала представления Марека о тихом, маленьком городке, о тихом уголке для них троих, о тихой, спокойной жизни, но это представление было слишком нестойким, оно тотчас рассеивалось, и снова приходили ужас и страх, тюрьма, и гардисты, и эсэсовцы, и крики, и плач, и пани Розенталь с ее взглядом, в котором были страх и зависть, и маленькая Луиза, и Гизела. Все ужасы возвращались к ней, она вспоминала о голоде и холоде, о вшах и грязи; все ужасы возвращались и доказывали тщетность надежд и неосуществимость счастья. Маленький Марек спал беспокойно, дышал прерывисто, с хрипом — он простудился, и Олина с отчаянием прислушивалась к его дыханию. Боже мой, боже, в чем я

провинилась, почему я так несчастна? В конце концов усталость взяла верх, и Олина впала в полудремоту, сквозь которую слышала прерывистое, хриплое дыхание сына. И опять на нее наваливался ужас, она отбрасывала его, восставала против него, просыпалась и снова впадала в забытие; и снова душил ее кошмар, чуть изменив свой облик. Уже наступило утро, сквозь щелки плотных штор проникал свет, когда Олине показалось, что кто-то вошел в комнату, сел в кресло и смотрит на нее и маленького Марека. Сквозь сон Олина ощутила на себе этот взгляд и в страхе проснулась, открыла глаза. Так оно и было — в кресле сидел ее отец, архитектор Феркодич, его лошадиное лицо было серьезно и неприветливо. Он старался не смотреть на желтое личико ребенка, но непрестанно видел его; это сердило Феркодича, ребенок портил ему настроение, к тому же после вчерашнего болела голова. Заметив, что Олина открыла глаза, он удобнее уселся в кресле и сказал:

— Я пришел поговорить с тобой, Олина.

Олина села, она все еще была в халате и туфлях, теперь она узнала их — халат и туфли были отцовские, все в этом доме принадлежало ему; она же была тут нежеланной гостьей, обузой и бременем.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал архитектор Феркодич.

Олина взглянула на маленького Марека — сейчас он спал спокойнее, наконец-то он успокоился — и перевела взгляд на отца.

— Нельзя ли немножко подождать? Я думаю, никакого вреда не будет, если ты немножко подождешь. Я оденусь и выйду к тебе, мне не хочется его будить, раз он так хорошо спит.

И она снова коснулась взглядом сына, а потом посмотрела на отца. Архитектор Феркодич был рассержен и обижен тем, что его дочь думает об удобствах какого-то крошечного существа с желтым сморщенным личиком, заботится об этом ублюдке, но совсем не думает о своем отце, хотя он преисполнен забот о ней и хочет ей добра.

— Вот как, — выговорил он, с отвращением глядя на желтое личико ребенка и уже не стараясь скрыть своего отвращения. — Как хочешь, — добавил он и вышел.

Олина тихонько оделась — так будет лучше, гораздо

лучше, теперь все выяснится и ей не придется ждать, не придется бояться того, что будет; все выяснится между ней и этим человеком, который казался ей чужим, глупым и неприступным. Но Олина не боялась его — теперь, когда должна была решиться ее судьба, она не боялась этого человека и была полна решимости бороться за свое дитя; она снова стала сильной, беспощадной и несокрушимой.

Архитектор Феркодич курил с гневным и оскорбленным видом и поглядывал на дочь, которую по-своему любил и которая оскорбила его.

— Как ты собираешься жить? — спросил он.

— Не понимаю, — отозвалась Олина. — Что за вопрос?

Олина прекрасно понимала, что означал вопрос, но не хотела ни в чем облегчить задачу этому чужому ограниченному человеку — он был ее противник, и она боролась с ним.

— Неужели ты собираешься жить с этим?.. — гневно спросил архитектор Феркодич, он хотел выговорить это слово, хотел сказать: «неужели ты собираешься жить с этим ублюдком», но сдержался. Оскорбительное слово относилось не только к желтому личику, не только к его дочери, но и к нему самому, архитектору Феркодичу, потому что он, как-никак, был дедом «ублюдка».

— Я собираюсь жить с ним, — ответила Олина. — Без всякого сомнения, я буду жить с ним.

— Этого я не допущу. В своем доме я этого не допущу.

— Значит, придется мне уйти в другой дом. На свете много домов.

— Нет, Олина, Оля, зачем тебе уходить?

— Мой ребенок должен быть со мной. Я живу только для него, а ты его ненавидишь и не хочешь, чтобы я жила с ним здесь. Значит, придется мне уйти.

— Нет, Олина, ты можешь тут жить — это мой дом, но он и твой дом; ты моя единственная дочь, куда же тебе идти?

— Мне придется уйти, раз ты не выносишь этого ребенка.

— Ты можешь остаться, Олина, можешь остаться даже с этим ребенком. Я ставлю только одно условие, и если ты его исполнишь — сможешь остаться.

Олина молча ждала.

— Ты должна выйти замуж, — сказал архитектор Феркоди́ч.

— Это будет трудно сделать, — возразила Олина.

— Нет, почему же? Это довольно просто. Тебе надо выйти замуж — и ты выйдешь замуж, и все будет в порядке. У тебя будет муж, а у этого ребенка — отец, и все будет в порядке.

Олина отрицательно покачала головой.

— Нет, — сказал архитектор Феркоди́ч, — не бойся, это не так трудно. Есть один молодой человек — у меня тут живет один молодой человек, — и он согласен жениться на тебе, да, думаю, он согласится.

— Согласится, говоришь?

— Да, думаю, он будет согласен жениться на тебе. Это приличный молодой человек, очень приятный молодой человек, его зовут Августин Шернер. Быть может, ты его помнишь?

— А, помню. У него были такие сладенькие усики.

— Не шути, Олина, на эту тему не шутят. Он весьма приятный молодой человек, превосходный молодой человек, и у него есть будущее.

— И он согласен?

— Он согласен жениться на тебе, и ты должна радоваться, если он это сделает. Не приходится быть разборчивой, когда у тебя ребенок.

— Спасибо, — сказала Олина. — Это выгодное предложение, хотя и не совсем достойное. Однако вряд ли что выйдет.

— Почему? Почему не выйдет?

— Потому что я не согласна.

— Ты не согласна?!

— Я не согласна выходить замуж за пана Шернера. Я люблю другого человека, и он любит меня, и я сделаюсь его женой, если он захочет.

— Где же твой «другой человек»? Где он?

— Он сражается в лесах.

— Не позволю! В лесах! Не позволю!

Архитектор Феркоди́ч вскочил, забежал по комнате.

— В лесах! — выкрикивал он. — В лесах! Откуда тебе известно, что он вернется? Как ты можешь знать, жив ли он еще? Как можешь ты знать, нужна ли ты ему вообще?

— Этого я не знаю,— вздохнула Олина.— Не знаю, жив ли он.

— Не знает! — кипел архитектор Феркодич; он остановился у письменного стола, забарабанил по нему пальцами.— Не знает! Не хочет! Не согласна!

— Не могу,— тихо, но твердо сказала Олина.— Как я могу сделать такую подлость?

— Подлость! Что же тут подлого?

— А то, что это подло, подло, подло. Продать себя, быть купленной, позволить, чтоб тебя купили,— это подло!

— Нет тут никакой подлости. Он превосходный и честный юноша, и еще не известно, захочет ли он взять тебя.

— Тем лучше для него.

Архитектор Феркодич вдруг перестал кричать, перестал шагать по комнате, он тихонько дотронулся до плеча Олины.

— Ты обдумай.— Его слова звучали мягко.— Обдумай все, Олина. Ребенок не может оставаться в моем доме, если ты не выйдешь замуж, этого я допустить не могу.

— Я тебя понимаю,— сказала Олина.

Она действительно понимала его — теперь это уже был не чужой человек, это был ее отец, он по-прежнему был ограничен и глуп, но уже не казался ей дурным.

— Стало быть?..

— Не могу, отец.

Здесь были богатство, комфорт, безопасность; здесь были вещи, которые она любила — она любила красивые и удобные вещи, а теперь они были ей вдвойне дороги, после того как она познала нужду и тяжелую жизнь. Но она не могла, не могла, не могла...

— Не могу, отец,— повторила она.

— Ты сама выбрала свой жребий,— сказал архитектор Феркодич.

— Когда мне уйти? Сейчас, сразу?

Это было все-таки плохо для Олины — оставить надежное убежище, и безопасность, и удобства, едва лишь она нашла их; это было очень плохо для Олины, но еще хуже — для маленького Марека.

Архитектор стоял в дверях, он колебался. Он видел измученное лицо дочери — она похудела, под глазами у

нее были круги, и глаза большие, и губы чуть дрогнули. Ведь это все-таки его дочь, его кровь, его единственная дочь.

— Я скажу тебе, когда надо будет, — ответил архитектор Феркодич.

Олина перевела дух. Главное — чтоб не сейчас, чтоб можно было еще немного пожить тут, окрепнуть, опомниться; чтоб выздоровел маленький Марек — тогда она не будет больше бояться, тогда ей уже ничто не будет страшно.

— Спасибо, — сказала Олина.

Но архитектор Феркодич не сказал ни слова, он тихо вышел из комнаты. Если бы он задержался еще немного, любовь в его сердце одержала бы верх и он бы совсем ослабел — ибо любовь есть сила и слабость одновременно.

13

Збройник Винцент Ульрих, повышенный в звании и награжденный, вернулся в Братиславу. Он слыл теперь преданнейшим из преданных, одним из последних орлов. Родина, бог, нация, главнокомандующий, вождь и областной уполномоченный — все хвалили его, все были им довольны. И он был доволен, он гордился собой и не мог не гордиться, раз его хвалили, повышали в звании и награждали. Вождь удостоил его рукопожатия, он был благословлен на великий, последний бой и гордился тем, что он из благословленных. Награжденные устроили банкет, здесь были только свои — дружина стальных и железных ребят, они пели свои старые песни, они были последним оплотом, бастионом нации, божьей твердыней, они были последними защитниками — и умилялись собственному героическому духу и судьбе, в которой уже и сами умели различить черные тени трагедии. Но они веселились, они и не думали унывать, они и не помышляли о смерти, которая ожидает их, — они думали о силе своей, об отваге и героизме, и еще — о секретном оружии, с помощью которого одержат победу; думали о неприступной линии укреплений, где они остановят большевистских злодеев, растопчут их и навсегда уничтожат — истребят зловещую гидру. «Гей, хлопцы из-под Татр, — пели они, — мы — гардисты

Глинки, защитники словаков». Они были последние защитники, неприступный вал, неподкупные спасители Словакии, своей Словакии — Словакии черных мундиров, двойного креста и свежих братских могил. Не было выхода, не существовало иной дороги, дорога назад была отрезана. «Мы все пойдем вперед!» — так пели они; иного пути не существовало, все пути в жизнь были для них заказаны, кроме одного: уничтожить всех своих врагов. А раз не было иного пути, раз выбора не оставалось, они окружили этот свой единственный путь к жизни мифом героизма, жертвенности и ко всему этому приплели нацию, бога и веру — так выходило складнее. Теперь развелось много таких, которые скулили, забившись по темным углам, потому что боялись кары, которая все равно их не минует, а эти не боялись, не скулили, никуда не забивались, они были у всех на глазах, они существовали открыто, исполненные решимости и бесстрашия. Так было, пока они были вместе, пока распевали свои старые песни, пока дышали атмосферой товарищества, пока можно было опереться друг на друга, а всем вместе — на общий дух. А теперь они всегда были вместе, им не хотелось разлучаться, не хотелось допускать к себе страх и трусость. Они знали: страх дремлет где-то сзади, в темном углу, и подстерегает их; и они не хотели поддаваться ему, потому что знали: это — опасный дух, потому что за ним — справедливость и правда. Если они ненадолго оставались в одиночестве, то старались не думать — это было для них не так уж трудно. У них было несколько слов — спасительное убежище из слов, таких, как бог, как воинствующая церковь, как нация, судьба нации — в общем, несколько совершенно пустых, смертных слов, но они представляли собой превосходное убежище от мыслей именно потому, что слов было немного, что были они просты и в то же время туманны — именно поэтому они могли означать все и не обязаны были означать ничего. Эти слова гардисты носили и прикрывали ими свою совесть, как солдаты прикрывают голову стальной каской; и в эти слова укрывались сами, как жители города укрывались в бомбоубежище; маскировались ими, как разведчики маскируются зелеными ветками. Это были превосходные слова, очень хорошие слова, и они всегда были под рукой — их не нужно было разыс-

кивать и собирать, они всегда вертелись на языке, они приросли к языку и засели в сознании. Слова эти жили в гардистах и наполняли их, и если, кроме этих слов, было в них и еще что-то, гардисты не желали об этом знать, не знали об этом и ничего, кроме привычных слов, не признавали.

Збройник Винцент Ульрих был переведен в Братиславу. Он зашел к себе на квартиру, зашел ненадолго, потому что теперь даже он не мог быть один, не хотел и не смел быть один. Предвесеннее солнце светило ярко, в Горском парке было тихо, снег подтаивал, на деревьях медленно оплывали сосульки. Зенитчики загорали на скамьях парка — здесь стояла неправдоподобная тишина, укоризненная, коварная тишина после всего пережитого шума, после всех переходов и выстрелов. Збройник Винцент Ульрих не стал задерживаться, он спешил, он хотел забрать только кое-что из вещей, нужных ему, — несколько необходимых вещей да кое-какие драгоценности, оставшиеся после первой жены, урожденной Рёслер, которая была еврейка, но вышла замуж за Винцента Ульриха, ныне збройника Ульриха, последнего защитника родины. Он поднял шторы, в спальню ворвался яркий свет. Всюду лежал толстый слой пыли, спальня была неприветливая и чужая — здесь валялись кое-какие вещи, которых лучше было не видеть збройнику Ульриху. Вся спальня будто пропиталась мертвечиной и еврейским запахом; теперь-то у збройника Ульриха был хорошо развит нюх на такие вещи — здесь стоял отвратительный еврейский запах. Эма, его вторая жена, не оставила здесь никаких следов, словно никогда и не жила тут. Зато здесь было много следов, оставшихся после первой жены, — гравюра в выпиленной рамочке, старый пузырек с лекарством, и здесь воняло еврейским духом.

— Тьфу, — сказал збройник Винцент Ульрих, — какая пакость! Как мог я жить в подобном свинстве?

Он удивлялся сам себе, но не гнушался собой: он убеждал себя, что был обманут, его обманули и провели, ведь международные плутократы чуяли, что их ждет впереди — они всегда за несколько лет вперед чуют будущее, — и надеялись спастись с его помощью, вот и подловили на красивое личико некой Ирены Рёслер, обманули и провели его. Они хотели отторгнуть его от

священных идеалов, от содружества всей нации, но просчитались. Драгоценности он, однако, взял, настороженно понюхал — нет, у них совсем не было еврейского запаха, они были холодны, свежи и нетронуты — видимо, драгоценные камни обладают нейтральным характером, к ним не пристаёт ничто от человека, который заплатил за них: они холодны, нейтральны и служат кому угодно. Теперь збройник Ульрих был готов, он подхватил чемоданчик и еще раз ощупал драгоценности в нагрудном кармане. Он был готов, в последний раз окинул взглядом комнату, поморщился и сказал:

— Тьфу, пакость!

«Придется все это продать», — подумал он: когда война кончится, он продаст эту виллу, потому что вся она провоняла чужим духом, теперь-то он прекрасно умел распознавать этот гнусный смрад, он видел, как умирали евреи, и с тех пор хорошо запомнил этот гнусный смрад.

Он спешил — хлопнул дверью и запер ее, эхо прокатилось по пустому дому, и збройник Ульрих словно бы на секунду испугался чего-то; будто из темного коридора выступила какая-то тень прошлого, будто на ступеньках сидела женщина в белом — в первый год их супружества там сживала Ирена, поджидая его по ночам. Он заспешил прочь из этого дома, прочь от этих теней — такая экскурсия в одиночество была небезопасна. Он заспешил к своим товарищам, которые жили в казарме, все вместе, а когда они были все вместе, не существовало никаких теней, никаких безмолвных укоров, не существовало ни прошлого, ни будущего — только настоящее было у них, и это было хорошо.

На казарменном плацу збройник Ульрих занимался с новобранцами — это были по большей части молодые парни и среди них даже несовершеннолетние мальчики из «Глинковской молодежи» — нерешительные, неопытные, далеко не «стальные» юнцы. Зато збройник Винцент Ульрих был опытный, стальной солдат, и он был полон решимости сделать из вверенных ему ребят решительных и верных защитников нации, часовых родины. У Ульриха был свисток, и он, точно так же как некогда надзбройник Филип Грахо, гонял новобранцев по двору, кричал и свистел. Он был хозяин и владыка двора, и теперь он уважал свой голос: уже не вкрадчи-

вый, бархатный голос пана Ульриха — личность пана Ульриха получила некоторое развитие, и соответственно развились и его голосовые связки; голос збройника Ульриха стал теперь твердым, резким, повелительным, карающим и насмешливым — то был голос владыки, голос повышенного в чинах и награжденного человека. В казарме жили некоторые старые его товарищи — Венделин Брада и тонконосый Игнац Август Коленатый, они помогали ему кричать, ругаться и превращать тщедушных пареньков в закаленных, беспощадных, стальных солдат, будущих защитников будущего вала.

Вечером за збройником Ульрихом и за другими збройниками и надзбройниками пришла машина — их вызывали в главный штаб. Машина мчалась по улицам — предстояло срочное совещание, очень важное, секретное совещание. Начальник штаба приветствовал всех шепотом, на лице его была написана вся важность военной тайны, все в комнате разговаривали шепотом, здесь собрались командиры, уполномоченные местных властей, надзбройники отрядов боевой готовности. Еще тут были молодые люди в гражданском, командиры «Глинковской молодежи», и все разговаривали шепотом, и все были пропитаны атмосферой тайны. Потом вошел главнокомандующий со свитой, все щелкнули каблуками и вскинули руки в знак приветствия. Главнокомандующий стал посреди комнаты, заложил руку за спину и начал речь. Он говорил об общей ситуации. «Общая ситуация складывалась неблагоприятно, но мы верим и знаем, — сказал оратор, — что это лишь временная неудача, наш час еще пробьет, наш день еще наступит; мы еще будем маршировать под нашими знаменами, еще пройдем церемониальным маршем, у нас еще есть неслыханные резервы, неисчерпаемые резервы, и есть еще у нас секретное оружие. Важно только сохранить верность знамени, — сказал главнокомандующий, — сохранить верность в эти критические времена. Теперь-то и станет ясно, кто — верный словак и преданный гардист, а кто — слюнтяй и трусливый интеллигент, теперь-то отсеется зерно от плевел и каждому воздастся по заслугам, ибо еще настанет день воздаяния, великий день расплаты». У збройников и надзбройников от восторга пылали уши, они расчувствовались и гордились тем, что они — оплот и щит нации, что их преданность

нужна, что ничто не было напрасно и не будет напрасно. Высшие офицеры и вожди были не в столь восторженном состоянии, уши у них не пылали от восторга, они сохраняли спокойное достоинство, у каждого из них лежал наготове паспорт на чужое имя, у каждого был небольшой, но круглый текущий счетец в Швейцарии. Их оптимизм был глубже и спокойнее, ибо основывался на твердой валюте. А збройники и надзбройники — те верили в день расплаты, всю свою жизнь они стремились к этому дню и направляли к нему свой утлый челн — и вот им снова возвестили: день великой расплаты обязательно придет, остается только назвать дату. «От нас зависит все, — сказал главнокомандующий, — в этих стенах сейчас решается судьба нации, судьба нашей борьбы». Збройники и надзбройники озирались — они были уже не в обыкновенной комнате с деревянными панелями, теперь здесь слышалась тихая поступь истории и дыхание ее, и слышно было дыхание судьбы, оно шумно витало по комнате, касалось разгоряченных лиц збройников и надзбройников, заставляя их пылать еще сильнее.

— Мы должны сохранить верность до гроба! — сказал главнокомандующий, и один из збройников закричал так, что голос его сорвался:

— Будем верны до гроба!

И это был голос всех. Потом говорил начальник штаба, речь его была уже иная, у него был наставнический, официальный тон, однообразный и слегка скучающий. Однако то, что он говорил, было серьезно и важно: перед избранными защитниками идеи, бога и нации он развивал план широких мероприятий, великолепный план, в котором все, как в зеркале, увидели грядущую победу. В этом плане ничего не было забыто — ни отступление, ни временные неудачи, ни непрочность прочных валов. Одного не предусматривал план — поражения. Полное поражение было невозможно, согласно плану, они останутся сильны даже после отступления, после временных неудач — все равно они останутся непобедимыми, и наперекор всему их ждет окончательная победа. Некоторым надлежало исчезнуть, кануть в неизвестность, сделаться незаметными и незримыми; другим следовало перейти линию фронта в качестве диверсантов; на третьих возлагалось удержать крепость Пре-

сбург — крепость Братиславу; четвертым поручалось проникнуть в ряды временно торжествующего победу неприятеля и разлагать его изнутри — короче, это была превосходно задуманная операция, ничто не было упущено, они были готовы к временному отступлению и к временным неудачам, но были готовы и к конечной победе. Збройники и надзбройники заглянули в будущее — их ждали приключения, головокружительная азартная игра, это было в их вкусе, все льстило их распаленному самодовольству, и они готовы были принести себя в жертву на алтарь грядущей конечной победы. Вожди и высшие офицеры, разработавшие этот план по лучшим немецким образчикам, с удовлетворением слушали начальника штаба. План был хорош, а если бы он оказался и не настолько хорошим, каким представлялся, то у них был еще неприкосновенный запас — фальшивые паспорта и твердая валюта. Но збройники и надзбройники и командиры «Глинковской молодежи» были разгорячены и распалены перспективой тайны, в которую их только что посвятили; это было отличие от них, и они готовы были сражаться вплоть до конечной победы и ради конечной победы пожертвовать удобствами жизни, здоровьем, самой жизнью.

— Теперь будь что будет, мне ничто не страшно, — шептал збройник Винцент Ульрих, когда все выходили из комнат с деревянными панелями, комнаты, только что ставшей исторической.

Збройники и надзбройники, чеканя шаг, пошли в казармы, улицы были темные, в низкое небо упирались светящиеся столбы прожекторов. Кто-то тихонько затянул песню, гардисты шагали в ногу и тихонько подпевали себе: «Вперед, несокрушимые бойцы!» Никто не давал команды идти в ногу, ритм сам завладел ими, порожденный их разгоряченностью и решимостью. И они пели: «Вперед, несокрушимые бойцы! Вперед, несокрушимые бойцы!»

Под утро пришел связной большого соседнего отряда, и комиссар Бенде приказал Мареку уничтожить гектограф — партизаны были окружены и собирались пробиваться, гектограф был теперь не нужен. Но Марек не

знал, как уничтожают гектографы, да и не хотелось ему — он привязался к этой машине, полюбил запах типографской краски, и теперь ему было жаль гектографа, как будто это был его товарищ или друг. Марек высунул голову из погребца, чтобы глотнуть свежего воздуха, и сейчас же спрятался обратно — снаружи бушевала метель, ветер гнал острые кристаллики снега, хлестал по лицу, метель разгулялась вовсю, и мороз стоял трескучий, и ветер такой, что дышать было невозможно. Марек спрятался в погреб, потирая уши, моментально прихваченные морозом, и принялся разбирать гектограф. Но едва он взялся за дело, как в погребе стало темно — в дверях появился комиссар Бенде. Он спросил с порога, готов ли Марек.

— Ты готов? — заторопил Бенде Марека, потому что выход из окружения уже начался.

Комиссар Бенде стоял на пороге спиной к ветру, закутанный в какую-то женскую шубу, на голове его торчала высокая баранья шапка, уши были замотаны теплым платком. А у Марека Угрина была солдатская шинель да гимнастерка, а под ней — рваный свитер, на ногах — сапоги с широкими голенищами, в которые он перед походом набил бумаги. Марек обвязал голову старой рубашкой — он очень боялся отморозить уши — и вышел вслед за комиссаром Бенде; сквозь мятущийся снег он различал тени людей, которые взбирались по склону горы через низенький сосновый лес. Еще дальше, впереди них, маячили тени нескольких лошадей — это капитан Лабуда с уцелевшими разведчиками пробивал дорогу в глубоком снегу, карабкаясь к вершине узкой тропинкой, проложенной в ернике. Позади Марека и комиссара Бенде тоже ржали кони — низкорослые лошаденки возчиков; к их спинам были привязаны раненые партизаны, а за ними шла Эма — это был отступающий полевой госпиталь. Эма несла свой чемоданчик, в котором было лишь немного ваты и чуточку спирта. За Эмой двигался взвод охранения, а в хвосте взвода шагал Янко Крап в своем потрепанном кожаном пальто. Он сгибался под ветром и тихонько бормотал все ругательства, какие только приходили ему на ум, проклиная метель, мороз, снег, немцев, горы и людей. А Марек боялся главным образом за свои уши, они уже были обморожены и с тех пор сделались очень чувствительны

к холоду. Он то и дело поправлял рубашку, которую обмотал вокруг головы, — она без конца сползала. А так ему не было холодно, совсем не было холодно, он брел по глубокому снегу и старался только попасть в след прошедших впереди людей и животных. Мареку было довольно тепло, он согрелся от усилий, даже вспотел немного, взбираясь в гору. Теперь он ничего не видел впереди, кроме широкой спины комиссара Бенде в старой шубе. Все было очень просто — шаг и еще шаг, надо только осторожно ступать, надо следить, чтоб ноги не скользили, надо беречь силы. А так все было просто: шаг, и еще шаг, и еще один, и еще, и еще. Очень просто, не надо ни о чем думать, только следить, куда ставишь ногу. «Ноги — чудесная штука, мускулы ног — чрезвычайно важная вещь, ноги несут меня к жизни», — думал Марек и испытывал благодарность к своим мышцам, которые равномерно сокращались, продвигая его все выше и выше.

Прошли заросли ерника, теперь отряд был на голом горном хребте, ветер здесь дул куда сильнее — он свистел, и завывал, и ярился, он напирал на согнутые фигуры людей, сбивая их с ног, не давал вздохнуть. Движение замедлилось, теперь люди шли очень медленно: пройдут несколько метров — и встанут, еще несколько метров — опять постоят. А выюга свистела вокруг них, словно совсем взбесилась, с цепи сорвалась.

— Не могу больше, — сказала Эма, — не могу.

И села в снег возле протоптанной тропинки; на снегу было мягко, удобно, и Эма знала, как опасна эта мягкость, но она не могла больше идти, не могла больше дышать, ноги ей не повиновались. Она сидела в глубоком снегу — темная кучка тряпья — и сжимала в руке свой чемоданчик, а совсем рядом мимо нее проходили люди, они трудно дышали, склоняли головы под ветром и не замечали ее.

— Не могу больше, — шептала Эма, в тоске глядя на проходящие мимо склоненные фигуры, — не могу больше, господа, что со мной будет?

Она попыталась подняться — и не могла одолеть усталости, не могла одолеть того внутреннего сопротивления, которое поднималось в ее душе при мысли о том, что надо встать, идти, шагать против ветра, — это требовало нечеловеческих усилий, а силы Эмы уже исто-

жились, и она не могла больше идти. Потом люди оставались, переводя дух, кто-то заметил Эму и сказал:

— Глядите, глядите, один уже свалился!

Другой голос сзади приказал:

— Поднимите его, нельзя его тут оставлять, мы никого не можем бросить.

Эму подняли, и партизан, первым заметивший ее, сказал:

— Да ведь это наша докторша, ей-богу, она.

А Янко Крап, который шагал последним, повторил — ему пришлось кричать, чтоб его услышали в двух-трех метрах:

— Помоги ей, нельзя никого бросать!

— Не могу больше, — сказала Эма, и ей хотелось плакать — так она была утомлена, так слаба. Она снова стала маленькая, совсем маленькая, и ей хотелось плакать. Люди опять двинулись вперед, двинулся и партизан, который поддерживал Эму, но она сказала:

— Не могу больше, оставьте меня здесь.

Тогда сказал Янко Крап — он был теперь совсем близко, сзади нее:

— Ничего подобного, ты можешь, конечно, еще можешь. — Он поддержал ее, стал помогать. — Ну, еще каких-нибудь сто метров, всего сто метров еще, Эма! Ты должна справиться, ты, конечно, справишься.

Эма стискивала зубы и плакала от напряжения — это напряжение было выше ее сил, и слезы замерзали у нее на щеках, лицо совсем заledenело; она не могла даже говорить и еле-еле плелась вверх, в гору, по протоптанной в снегу тропинке — стало быть, скрывался же где-то в глубине последний запас сил, Янко Крап помогал ей, и она тащилась дальше.

Марек карабкался на гору, карабкался очень медленно, и ему казалось — гора не имеет конца; но, в общем, дело было еще не так плохо, все было просто — шаг, другой, и еще шаг, — и каждый шаг приближал его к жизни. «Как все просто, — думал Марек, — вот я, вот метель; я шагаю да шагаю и наперекор всем буранам приближаюсь к жизни». Это было поразительно просто, как в сказке — вот так ощущать себя, и любить себя, вот так бороться за себя. Сзади него ржали и скользили лошади, они падали на колени, их то и дело приходилось поднимать, и Марек помогал поднимать их, он чув-

ствовал в себе достаточно сил и для себя, и для бедных животных. Раненые были закутаны в одеяла, а одеяла покрылись снегом; метель гудела и выла, взывала гулыми порывами, а они ползли вверх по тропе, пробитой в снегу, с каждым шагом приближаясь к жизни.

Капитан Лабуда был уже на самой вершине, он остановился передохнуть — и не смог передохнуть, ветер здесь был невероятно плотный, и надо было держаться за лошадь, чтобы не снесло в пропасть. Капитан Лабуда посмотрел назад и увидел темные тени людей, маячившие сквозь летучий снег. Потом он посмотрел вперед, но не увидел ничего — там, под ногами, только клубился взвихренный снег.

— Держись! — закричал он своим разведчикам. — Теперь держись!

И взводный Коза прокричал что-то, но капитан Лабуда не разобрал, что он кричит. Капитан потрепал коня по шее, но конь не хотел спускаться, он боялся темной клубящейся бездны; Лабуда подтолкнул его, конь поскользнулся и вдруг исчез в курящихся клубах снега, заржал и исчез в вихрях снега — и его не стало. Тут вдруг тронулась почва под ногами капитана Лабуды и с гулом рухнула в бездну, капитан Лабуда еле успел схватиться за выступ какой-то скалы. «Лавина», — успел он сообразить, а вокруг него яростно ревело снеговое море; постепенно гул отдалился, затих, исчез в пропасти под ногами капитана Лабуды. Он все еще держался за выступ скалы, потом нащупал ногами твердый слой снега — то был старый слой слежавшегося снега, лавина не смогла его сорвать; лавина проделала в снегу широкую и гладкую дорогу. Капитан Лабуда закричал тем, кто был на вершине, чтобы помаленьку спускались.

— Осторожней спускайтесь! — кричал он своим разведчикам, и те связались ремнями и стали спускаться туда, где был капитан Лабуда, а за разведчиками — и остальные. Когда капитан Лабуда поднялся, он ощутил легкую боль, болело будто где-то в пояснице, но не совсем в пояснице, а немного выше. «Кажется, я ушибся, но ничего особенного — по крайней мере мне кажется, что ничего страшного». Капитан осторожно спускался по дороге, проложенной прогремевшей лавиной. Постепенно все перевалили через вершину и поползли вниз. Здесь ветер уже не так свистел — то ли заслоняла гора,

то ли метель улеглась, излила свою ярость и успокоилась. Отряд спустился по голому обледенелому склону, пробрался сквозь заросли ерника, прошел низенький лесок — и наконец все облегченно вздохнули: перед ними была горная тропа, а вокруг них — тихий, высокий лес. Партизаны перестроились: теперь Янко Крап сменил капитана Лабуду, у людей Крапа было больше сил — до сих пор они двигались протоптанной тропинкой, им не приходилось прокладывать дорогу в снегу. Так шли еще час вниз по тропе, и тогда стали слышны редкие, ленивые орудийные выстрелы и перестук пулеметов — линия фронта была близка.

«Вот дорога в жизнь, — думал Марек, — это дорога в жизнь; какая-то она будет, эта жизнь?» Он знал одно — ничто не вернется из старой жизни, жизнь будет новой и интересной, но он не знал, какой именно, и не умел себе представить. Знал только, что будет особенная, интересная жизнь, и не боялся ее. Теперь Марек ничего не боялся и совсем не страшился того, что будет, — он даже чуть ли не радовался тому, что грядет, и ждал с улыбкой на лице; мелькнула насмешливая мысль: «Я оптимист, как комиссар Бенде». Он насмеялся над собой, но это обстоятельство не меняло сути дела: ему хотелось жить в новой жизни, хотелось, чтобы новая жизнь приняла его, втянула в себя, чтобы он мог с головой погрузиться в нее.

Партизаны остановились на опушке леса, выжидая, когда стемнеет. В долине еще несколько раз взблескивали зарницы и лениво раскатывались выстрелы орудий, минометов, пророкотал где-то одинокий пулемет — и снова все стихло; и только временами взвивались к небу разноцветные ракеты, но долина лежала тихая, и тихо спускалась на нее темнота. Когда темнота достаточно сгустилась, Янко Крап пошел дальше, за ним двинулись остальные. Рядом с Янко Крапом шагал Леша, они не разговаривали — надо было соблюдать тишину, и они шли медленно, осторожно, стараясь шуметь как можно меньше. Добрались до линии железной дороги, пересекавшей долину, пошли вдоль насыпи. Наткнулись на домик обходчика — домик выглядел как мертвая вещь, но когда подошли поближе, заметили свет в щелках затемнения. Леша заглянул в щелку — в домике были мужчина, женщина и девочка, они сидели у печки и ели пече-

ную картошку. Партизаны постучали в окно — мужчина открыл. Ни этот мужчина, румяный обходчик, ни его жена, низенькая толстушка, ни дочка с косичками — никто из троих не испугался и не удивился: они пережили уже много всяких страхов, так много неожиданностей испытали!

— Покушайте, — сказала толстушка хозяйка Леше и Янко Крапу, — покушайте с нами.

Но Янко Крап засмеялся:

— Нас много, мамаша, всех не накормите! — Потом спросил обходчика: — Где немцы?

Тот пожал плечами — а кто знает, где их черти носят? Были тут, взорвали мост, а к вечеру ушли в деревню. Да ведь кто их разберет? Может, и вернутся, а может, и совсем ушли. Пусть бы никогда больше не возвращались, провались они в преисподнюю! Русские — по ту сторону, стоят там два дня и не трогаются с места. А они вот тут остались; все одно — от несчастья не убежишь, как ни бегай. Только до сих пор обходилось — вот сидят себе, картошку едят, и молочко у них есть, коровушка-то своя, никто еще на нее не позарился. Бог даст, так невредимыми и переживут это время, дождутся мирных дней, опять тут будут ходить поезда и он, обходчик, снова будет стоять у своего домика, приветствуя веселым флажком знакомых машинистов и кочегаров.

— Что ж, пошли, — сказал Леша.

— Пошли, — сказал Янко Крап, поглядывая на девочку: у нее были косички и смуглое, чистое лицо, она была похожа на его сестру Ганку, только была моложе. — Пошли, — сказал Янко Крап и вздохнул — здесь тепло, уютно, приятно пахло печеной картошкой, все здесь было неправдоподобно мирное, домашнее.

— Взяли бы хоть с собой картошечки-то, — сказала толстушка, — пожевали бы по дороге.

Янко Крап не устоял, взял одну картофелину, картофеля чудесно пахла, пахла детством, зимними вечерами, и осенью она пахла, пастбищем, скошенным лугом, на котором пасется скотина; это был чудесный аромат. Отряд отправился дальше. Шли, пригнувшись, вдоль насыпи, ночь стояла тихая, спокойная, только беспрестанно взлетали к низким облакам ракеты — красная, зеленая, желтая... Подошли к мосту, мост был взорван, стальная ферма чернела в воде, и железобетонная опо-

ра посреди реки торчала одинокая и ненужная. Партизаны двинулись по берегу реки; течение было быстрое, вода замерзла лишь у берегов. Кругом стояла тьма, хоть глаз выколи, а река, замерзшая у берега, белела припаем, посередине ее чернела быстрина. Леша ступил на лед, сделал несколько шагов. Перед ним был крутящийся черный поток, и он вошел в него, вода доходила до колен и сильно била в ноги. Автомат он держал в правой руке, а левой балансировал и медленно пробирався через быстрину. За ним в воду спустился Янко Крап, а следом пошли вброд и остальные. Леша был уже на другом берегу, лед под ним затрещал, и с берега донесся окрик:

— Стой, стой!

Но Леша выругался:

— Свои, черт, не видишь? Свои, свои же, черт старый, или не видишь, что свои?

Они не могли не поверить Леше, он говорил ядреной, смелой речью волжанина, и в звуке слов его трепетала радость, то был высокий, ликующий звук — это шел брат, шли братья.

— Но, ты, черт слепой, обними же меня, слепой чертяка! — ликующе кричал Леша. — Пощупай меня, чтобы знать, кто я такой!

Но старшим в дозоре был совсем молоденький сержант, он не склонен был обниматься, у него были свои инструкции. Сержант повел их в тыл, предусмотрительно не выпуская автомата из рук, он вел их в тыл, молчал и молча сносил Лешину брань.

«Так вот как входят в жизнь! — думал Марек Угрин. — Вот они, ворота в жизнь, вот оно, начало того нового, желанного, которого я не боюсь; вот оно — начало пути и вместе с тем — конец мрака, вот она, победа, это — победа!» Впереди Марек шел комиссар Бенде, шел, тяжело пыхтя, его старая шуба пропиталась водой, и комиссар едва тащил ее, пыхтя и потев. За Марком послушно вышагивали усталые лошаденки, везущие раненых, — низкорослые лохматые лошаденки, невзрачные и тощие, но терпеливые. А за ранеными шла Эма со своим чемоданчиком, она смертельно устала, но была счастлива: я все же справилась, мы прошли через линию фронта, — а она-то не верила, что справится, что они перейдут, и теперь вот свершилось невероятное!

Я буду жить, буду жить и никогда не стану больше грустить, не стану напрасно грустить, жизнь слишком драгоценна, и нельзя ее портить выдуманной грустью и выдуманными трагедиями, жизнь слишком дорога, надо жить и радоваться.

Зато капитан Лабуда не радовался, нечему было радоваться: он жалел, что поддался инстинкту самосохранения тогда, когда под ним поползла почва, ведь он мог пропасть, исчезнуть во мраке, мог уже не существовать — как было бы приятно не существовать, и получилось бы это совсем без боли... Спина побаливала, боль сидела не в пояснице, а немного выше, Лабуда опасался, что повредил позвоночник. Быть может, и впрямь поврежден позвоночник — это для капитана Лабуды было бы хуже смерти, потому что он стал бы калекой, калекой на всю жизнь. Ох, капитан Лабуда не вынесет этого; быть калекой — это он уже не перенесет, ведь у него осталась единственная гордость: собственное тело, сила собственного тела, его послушная, великолепная сила. Он не может быть калекой, не может он всю жизнь ходить на костылях, нет, этого он не вынесет! Боль, колющая, неприятная, не была постоянной; она приходила и уходила через неравномерные промежутки времени, это была острая боль, и он скрипел зубами, пока раненые ждали грузовики, которые должны были увезти их. Взводный Коза услышал его сдавленный стон, но ничего не сказал, а пошел к Эме.

— Посмотрели бы вы, докторша, нашего капитана, сдается мне, он ранен.

Эма, уложив раненых в каком-то доме, сидя дремала возле них; но она сразу пошла за взводным Козой и долго уговаривала капитана Лабуду, чтобы он дал осмотреть себя. Капитан противился, но в конце концов сдался — сдался своей боли. Эма внимательно осмотрела его, она надавливала пальцами и спрашивала:

— Тут больно? А тут?

Капитан глухо стонал, он был зол, ему было стыдно — такое великолепное, могучее тело, и свалил его такой глупый пустяк!

— Ты ушибся, — сказала Эма, — ничего страшного, просто ушиб, — но она-то знала, что это — позвоночник.

Приехала санитарная машина, пришел военный врач; он быстро осмотрел раненых и велел укладывать их в

машину. Капитан Лабуда хотел встать, но врач не позволил, и Лабуда понял, что с ним. Взводный Коза печально смотрел, как его вносили в машину.

— До свидания, капитан, — сказал он, чуть не плача. Стоял там и Янко Крап, он сказал:

— Эх, капитан, что же ты наделал, и как не вовремя!

— Тогда это было за Ганку, — тихо ответил капитан, — за твою сестру положил я своих молодцов. Убили ее; гардисты ее убили, запомни это. Запомни, — сказал капитан Лабуда и застонал от боли, от горя, от злости, — гардисты надругались над ней, а потом убили ее, запомни это.

Янко Крап потирал шрам на правой щеке, он чувствовал, как слабеют под ним ноги.

— Я запомню, — прошепелявил он, он всегда шепелявил, когда был сильно взволнован, — я это запомню, капитан. Прощай, капитан!

15

Лемнитцкий сидел в кабинете старого Рёслера. На дворе был ясный день, но Лемнитцкий спустил шторы затемнения. В кабинете стоял полумрак, воздух пропитался табачным дымом и запахом алкоголя, здесь был полумрак; Лемнитцкий не хотел больше света, он не выносил света. Он сидел тут, окруженный старыми, поблекшими предметами, и сам чувствовал себя старым и поблекшим. Ему казалось, что он совсем дряхл, бесконечно дряхл, покрыт плесенью, что он поблек и никому не нужен. Возле него стояли батареи пустых бутылок, некоторые из них успели покрыться пылью, но иные были еще чистые, гладкие, как будто из них только что пили. В этих бутылках еще недавно был коньяк старого Рёслера, превосходный коньяк, но он уже кончился; все уже кончилось, все миновало, и от коньяка, и от жизни не осталось ничего. Лемнитцкий поочередно хватал пустые бутылки, нюхал, тряс — кое-где сохранилось еще несколько капель, несколько последних капелек коньяку, последних капель жизни. Вот и все, что осталось Лемнитцкому — несколько капель коньяку на дне пустых бутылок, а когда-то у него был богатый дом и богатая жена, когда-то сам он сиял, как новенькая монета, сиял могуществом и богатством. Но все это теперь

было в прошлом, у него не оставалось ничего, кроме нескольких капель коньяку. Настал день подведения последних итогов, на письменном столе старого Рёслера лежал револьвер Лемнитцкого, он был плохо различим в полумраке, но Лемнитцкий знал, что он лежит там. Лемнитцкий хорошо знал, где лежит револьвер, и видел его вполне отчетливо. Был день подведения последних итогов, и жалкие то были итоги: несколько капель коньяку — вот и все, что осталось от славы, богатства и могущества. Раньше-то у него были и богатство, и слава, и могущество, а впрочем, все было только ложью, жалкой ложью, все — сплошная ложь. И нация — ложь, и бог — ложь, и вождь — ложь, все это была просто жалкая ложь для зеленых юнцов, и он, Лемнитцкий, тогда еще знал, что это ложь, что все построено на лжи. Но пока было у него богатство, и слава, и могущество, ложь не мешала ему: ведь богатство-то, слава и могущество были реальные, и они ничуть не становились менее реальными оттого, что строились на лжи. А теперь пришел конец лжи, конец всему. Лемнитцкий был теперь один, дряхлый и поблекший, он был омерзителен сам себе; он был сам себе омерзителен потому, что на дне бутылок оставалось лишь несколько капель коньяку, и ему уже никогда больше не пить, и никогда ему не отвязаться от своего собственного омерзительного образа, никогда этот образ не рассеется, он уйдет с ним вместе во мрак, которого так боится Лемнитцкий. Он высосал последнюю каплю, но это было все равно что ничего, это как капля в море, а ему так хотелось еще пить; он испытывал страшную, неодолимую жажду, но у него уже не осталось ни капли, это был конец, конец. Лемнитцкий сел за письменный стол, на письменном столе лежал револьвер, и еще там стояло зеркало в золоченой раме — в свое время он перенес его из столовой. Лемнитцкий тяжело опустился на стул, с которого не должен был больше встать, заглянул в темное зеркало и увидел там свои горящие глаза — чужие глаза; они смотрели боязливо и насмешливо. Конец, Артушко, конец, конец, брат командир, конец, братья гардисты, конец, конец! Он боится конца, посмотрите, как он боится конца! Нет, я не боюсь, не боюсь, я никогда ничего не боялся; это мать боялась, она боялась, что я простужусь, она всегда говорила: «Артушко, не ходи туда! Артушко, оденься теп-

лее!» Она всегда боялась, что я простужусь. Но я никогда ничего не боялся и докажу это.

Он дотронулся до рукоятки револьвера — она была гладкая, хорошо отшлифованная многими ладонями. Это был добрый револьвер, бельгийский, многозарядный, Лемнитцкий получил его в тридцать девятом году и учился стрелять из него в саду Фабри. Он стрелял по банкам из-под варенья, и Бертика зажимала уши, она только что окончила гимназию, и это было лето ее большой любви. Нет, это не была большая любовь, это вообще не была любовь: Лемнитцкий не любил Бертику. Фабри был богат, а Лемнитцкому тогда нужно было богатство — вот и все. Опять ложь, все было ложью, грязью и свинством. Он трогал рукоятку револьвера и твердил себе: «Не боюсь, не боюсь, я смогу это сделать...» Но был не совсем уверен в этом, слишком уж настойчиво убеждал он сам себя; он не совсем был уверен, сможет ли. В саду раздались какие-то крики. Лемнитцкий встал со стула, с которого не должен был уже никогда встать — и не следовало вставать, но он все-таки встал, — отогнул штору и увидел сквозь щелку толпу людей, почти одних только женщин; с криками, размахивая руками, они бежали по дорожке от калитки к дому; сад был залит отвратительным, мерзким светом, снег лежал невыносимо белый, и на белом снегу особенно четко выделялись темные фигуры кричавших, угрожающе жестикулирующих людей. Впереди шагала высокая крикливая женщина. Лемнитцкий узнал ее, это была жена коммуниста из поселка. Была ночь, шел дождь, когда они арестовали ее, и тогда эта женщина тоже кричала, на руках у нее был ребенок, второй держался за юбку и семенил за ней, и женщина ругалась и кричала... Лемнитцкий помнил ее, ее муж был старый коммунист, он ушел в леса; его звали Чачко, ну да, Чачко. Лемнитцкий снова сел на стул и заглянул в зеркало, откуда на него смотрели насмешливые, испуганные глаза.

— Артушко, — сказал он своему отражению, — ведь это за тобой пришли, Артушко. Надо поторопиться, брат.

Он опять положил руку на револьвер, такой гладкий и приятный на ощупь. Лемнитцкий взял револьвер, вынул обойму — все оказалось в порядке, и он снова вставил обойму. Револьвер был заряжен, Лемнитцкий снял

его с предохранителя; теперь все было в порядке, теперь уже нечего было ждать, оставалось одно: приставить револьвер к виску и нажать на спуск. Можно было еще выстрелить в рот, но это не так удобно и надежно. Да, теперь все было в порядке, и ждать было больше нечего, но Лемнитцкий все-таки ждал, ждал и уже не держал в руке револьвер. Он все ждал, ждал, хотя ждать-то было нечего, и не нужно было ему ждать; но он все еще ждал чего-то, потому что боялся мрака, в который ему предстояло шагнуть.

— Трусишь, трусишь, брат командир, — усмехался он своему отражению в зеркале, — просто наложил в штаны от страха, просто ты паршивый поросенок, и трусишь, трусишь, трусишь!

Лемнитцкий усмехался своему отражению, но это не помогало, совсем не помогало; он все равно трусил, все равно испытывал страх, и напрасно он подсмеивался над собой — все равно ему было страшно. Он понял, что вряд ли сможет это сделать, что, скорее всего, не выстрелит себе ни в висок, ни в рот — мужества не хватит, трусил и не отважится от этого страха... Его облило холодным ужасом, он вспотел от ужаса — так страшно было подумать, что у него не хватит мужества застрелиться и он попадет к ним в руки живым. Лемнитцкий верил рассказам о зверствах большевиков, он верил всему этому, потому что сам видел ужасы и сам совершал зверства. Потому-то он верил, что и другие совершают их. Разве не могло быть так? И вот у него не хватало мужества избежать этих ужасов, и он чувствовал, что у него никогда не будет достаточно мужества, и думать об этом было ему страшно. Все-таки надо было уйти, он мог уйти с последними немцами, он мог уйти и мог еще жить, мог кружиться на этой бешеной карусели, — но тогда он думал, что уже все равно, что все — свинство, ложь и грязь, и ему не хотелось больше жить в этом свинстве, хотелось покоя, и он остался в своем убежище с бутылками коньяка. Однако коньяк кончился, не осталось ни капли, а застрелиться у него не хватало мужества.

Толпа между тем барабанила во входную дверь — ничего, барабаньте, дверь крепкая, это старая дубовая дверь, и замок надежный, барабаньте сколько угодно,

только кулаки отобьете. Вы — стадо свиней, сволочи, проклятая чернь!

Его охватила ярость, он сгрёб револьвер и, отперев дверь кабинета старого Рёслера, выбежал в коридор, размахивая револьвером, — ему хотелось стрелять, стрелять, хотелось перестрелять как можно больше народу, он хотел увидеть, как они валяются кучей — безжизненные, неподвижные, с простреленным черепом; он уже видел эту кучу мертвецов, этих дохлых свиней, этих сволочей, которые осмелились грозить ему только потому, что теперь сила была на их стороне! А Лемнитцкий не раз видел, как такие же дохлые свиньи валяются с простреленным затылком, и хотел бы еще увидеть это. Но приступ ярости прошел так же внезапно, как и появился. Лемнитцкий не успел добежать до входной двери, ноги его подкосились, и он медленно побрел назад в свое убежище, последнее убежище. С трудом запер он дверь и снова опустился на стул. Он слышал крики и стук во входную дверь, но теперь эти звуки не занимали его, он сидел, сломленный духом и перепуганный, в голове его было пусто, и сильно мучила жажда, он опустился на колени, стал ползать среди бутылок, брал их в руки одну за другой, принюхивался, переворачивал каждую. Но в них ничего не оставалось, ни капли, они были безнадежно пусты. Теперь перед домом стало тихо, крик на минуту прекратился, и стук утих. Потом у входа раздался взрыв. Гранату бросили, сообразил Лемнитцкий, но почему-то не взволновался. Он видел мысленным взором, как рухнули тяжелые дубовые створки, и представлял, как толпа ринулась в дом. Он услышал топот в коридоре и в комнатах, но это сейчас его не интересовало. Сейчас все его внимание было устремлено на то, чтобы найти хоть каплю коньяка; он хотел ощутить его вкус на языке, и на нёбе, и в пересохшей глотке, хотел ощутить его в желудке. Но коньяка не было, ни единой капли, той самой единственной капли... Топот приближался, вот они уже в спальне, а вот громяхают в столовой... Кто-то остановился перед дверью в кабинет старого Рёслера, нетерпеливо нажал на дверную ручку — дверь оказалась запертой, женский голос что-то сердито прокричал, и шаги протопали прочь от двери; затем слышались другие шаги, и опять кто-то попробовал открыть дверь, и опять удалился. Лемнитцкий сидел на полу среди пу-

стых бутылок — нет ни капли, ничего нет. Он скривил лицо, ему хотелось плакать, хотелось излить кому-нибудь свое горе, но кому? И не было ни капли коньяка, от коньяка ничего не осталось, и от жизни не осталось ничего, и все это было сплошное свинство, ложь и грязь. И бог — ложь, и нация — ложь, и вождь — ложь; только мать, мать — не ложь, мать бы пожалела, спросила бы его: «Что с тобой, Артушко, кто тебя обидел, сыночек мой?» Да, мать бы его пожалела, мать его нежно любила и всегда желала ему только добра, а после нее никто уже не любил его, после им только восхищались и боялись его, потому что он был силен, богат и решал имущественные вопросы и вопросы жизни и смерти. Но мать давно умерла, она не снесла удара, не снесла банкротства и нищеты, последовавшей за банкротством; она не вынесла удара, нанесенного им грязными евреями. Господи, почему нет здесь сейчас хоть одного такого, чтобы он мог раздавить, уничтожить, растоптать его, почему здесь нет хоть одного?!

Шаги подходили ближе и удалялись, и снова слышались у самой двери, и уходили снова. Потом вдруг шум утих, надолго воцарилась тишина; Лемнитцкий удивленно прислушивался к ней. «Не нашли меня», — думал он, и радовался этому, и удивлялся своей радости, и все-таки радовался, что его не нашли. Он хотел жить, жить, теперь он понял, что хотел жить. Он подполз к окну, выглянул в щелку — снаружи было отвратительно светло, белел снег, люди сновали по дорожке к калитке, вынося платье и разные вещи — каждый нес, что успел захватить. «Грабят, — удовлетворенно подумал Лемнитцкий, — теперь они занялись грабежом и, может быть, не знают обо мне ничего или думают, что я ушел с немцами. Теперь они грабят, эти дикие свиньи, эти сволочи, эта чернь, и, может быть, не заметят, что я тут». Лемнитцкий щурился — он давно сидел в полутьме, а снаружи был разлит резкий, отвратительный свет дня — и видел, как снуют, обгоняя друг друга, люди, как выносят одежду и мебель. Две женщины тащили большой зеркальный шкаф, шкаф Бертики, а в калитке стояли солдаты в шапках-ушанках, и на шапках были звездочки с серпом и молотом. Солдаты смотрели на торопившихся женщин, что-то кричали и смеялись. На здании районной управы развевался гнусный чехословацкий

флаг — «чвахи-словахи», несомненно, повывезали из своих нор и теперь горланят свои гимны, кудахчут о демократии и молятся своему демократическому богу. А рядом развеялся другой флаг — красный флаг с серпом и молотом, и это было грозное, страшное знамение.

А вот к калитке идет та женщина, Чачкова, она ничего не тащит, на руках ее только ребенок, второй держится за юбку. Она подошла к солдатам и стала им что-то говорить, показывая на дом. Солдаты перестали улыбаться, они отбросили сигареты и пошли за этой женщиной, взяв автоматы на изготовку. «Это она им обо всем сказала, сука большевистская, это она обо мне говорила, и сейчас они придут за мной. Теперь-то уж на самом деле за мной придут, и всему будет конец, — шептал Лемнитцкий. — Теперь уж на самом деле конец, сейчас эти солдаты меня найдут, найдут меня эти большевики, и ждут меня впереди только ужасы, да пытки, да смерть».

Он еще раз сел на стул — теперь уж он не встанет с него, не смеет встать, еще раз взял в руку гладкую, приятную рукоять револьвера — теперь-то уж он ее не выпустит, не смеет выпустить из рук, теперь-то уж он покончит с этим делом, должен покончить! Он прислушивался к шагам, но сначала не слышал ничего. «А вдруг меня не найдут?» Это была крошечная искра, искорка бессмысленной надежды, и тут же он услышал шаги — солдаты приближались, вот они в спальне, проходят через столовую, вот вышли в коридор, они близко, они остановились перед дверью в кабинет старого Рёслера, стоят прямо за дверью сго убежища и что-то говорят. Лемнитцкий не понимал, что они говорили, да если б и понимал, не смог бы уяснить себе смысла. Сейчас, сейчас, сейчас... «Мужайся, Артушко, будь мужчиной, брат командир! Прощайте, братья гардисты, прощайте, сволочи! Я тоже сволочь, и все было ложью, все было только ложь, и бог, и нация, и вождь, и товарищи — ложь, и гардисты, и наши лозунги — все ложь, все, все! Ну же, ну, ведь это только миг, это как молния; слегка двинуть пальцем. Ну же, — он приставил револьвер к правому виску, и рука его тряслась, — ну же, скорей!.. На дверь поднаперли плечами, с разбегу ломятся в дверь, бьют как тараном... Ну же, скорей, сейчас ты должен это сде-

лать, ради самого бога, ты должен, дверь уже трещит, стреляй же!»

Но он не выстрелил. Случилось то, что он подозревал все время: он не выстрелил, рука его бессильно опустилась на стол, на тот самый письменный стол, где старый Рёслер каждый вечер, за исключением пятниц и суббот, приводил в порядок длинные, сложные счета. Рука Лемнитцкого опустилась, револьвер выпал, и он сидел сломленный, поблекший, словно заплесневелый. Дверь опять затрещала и сорвалась с петель, с порога на него глянули дула автоматов и глаза той женщины — Чачковой.

— Это он, он! — закричала Чачкова. — Берите его, подлеца! Я так и знала, он где-то тут!

— Давай! — крикнули ему солдаты. — Давай! — кричали они и гнали его впереди себя, подталкивая в спину прикладами автоматов. — Давай! — кричали они, и Лемнитцкий шел, покорный, бледный, почти зеленый, и люди смотрели на него, провожали его взглядами; они проклинали его, плевали ему вслед, а он шел через площадь, и над ним развевались ненавистные флаги, а в глаза бил гнусный, резкий свет, небо было голубое, на площади стояла советская регулировщица, с крыш капало, и где-то играла гармонь.

16

Взводный Коза получил во владение трактир в предместье Кошице, он ходил по городу в грязной, замасленной шинели и добывал напитки из тайных источников. Частенько он подсаживался к гостям, пил и разговаривал с ними — ему-то было о чем порассказать! В первой половине дня в трактир заходили только всякие лодыри — кучера, шоферы, проститутки. Коза и к ним подсаживался, слушал некоторое время неинтересные рассказы штатских, потом смахивал их одним бранным словом и начинал сам. У него накопилось столько всего, о чем можно было порассказать, ведь он так долго сражался, стрелял, голодал да стискивал зубы — и теперь наконец он мог рассказывать, мог вволю поговорить. Янко Крап предлагал ему место в Корпусе национальной безопасности, но взводный Коза предпочел трактир. Плевать

ему теперь на все, с него хватит, пять лет отвоевал, а этого вполне достаточно, чтобы хватило по горло даже такому бравому парню, как взводный Коза.

— Воевали, и неплохо воевали, а теперь отвоевались, — сказал взводный Коза Янко Крапу, — теперь и нам хочется пожить спокойно, себе в удовольствие, ведь и нам хочется пожить всласть...

И взводный Коза рассказывал, рассказывал, малость присочинял — да иначе нельзя, на то и рассказы бывалых людей, чтобы всего в них было намешано понемножку, и он рассказывал такие вещи, от которых у бедных штатских мороз подирал по коже, рассказывал о себе, взводном Козе, но еще больше говорил о своем капитане, о капитане Лабуде.

— Эх, человек был, в бога его!.. Таких нет и не будет больше, такие рождаются раз в сто лет — здоровенный, как дуб... Раз дал мне по морде, так до сих пор почесываюсь.

Капитан Лабуда написал ему из Киева — его увезли первым же самолетом, и теперь он писал из киевского госпиталя: «Чинят меня, да один бог знает, починят ли, и больше всего мне хочется сбежать, плюнуть на докторов, да бежать-то некуда...» Взводный Коза показывал письмо своим гостям. Письмо было захватанное, грязное, буквы наполовину расплылись, но взводному Козе и не нужно было читать, он помнил письмо наизусть. Вечерами в трактире становилось весело, слава о трактире пошла по всему городу. Здесь подавались лучшие напитки — даже в те времена, когда достать их было негде. Здесь сходились старые знакомые, партизанские командиры и рядовые партизаны, бывшие подпольщики, инвалиды и бойцы Восточной армии¹. Приходили вдовушки венгерских офицеров, они искали себе утешение и точку опоры для будущего у этих новых хозяев жизни. Здесь бывало весело, здесь пили, орали до хрипоты, и жили, жили — все тут наслаждались жизнью! Тогда всем хотелось жить, всем хотелось взять от жизни как можно больше, хотелось наверстать упущенное; люди изголодались, истомились жаждой, и долгое

¹ То есть Чехословацкого корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны на территории СССР чехословацкими патриотами.

время у мужчин не было женщины, а у женщин не было мужчин. Всем хотелось жить в эти первые месяцы, всем хотелось побольше урвать от жизни, которой все-таки дождалась и которая все-таки была чудесна. Надо было пользоваться жизнью — пользуйтесь, пользуйтесь, каждая неиспользованная минута, минута, в течение которой не ели, не пили, не спали, не любили, — каждая минутка, оставшаяся неиспользованной, каждая такая пустая минутка была потеряна! А никому не хотелось терять хотя бы минуту той жизни, которую, как-никак, отвоевали и которая, как-никак, была чудесна. И трактир «У Козы», как называли его одни, или «У взводного», или «Козий бар», как называли другие, оказался в самом средоточии жизни. Здесь жизнь вращалась быстрее всего, она бурлила, разливаясь по столам, и ее можно было черпать полными горстями — тут находили лучшие напитки, и находили тут товарищей, и девочки были тут, и еще — вдовушки, чаявшие утешения от новых хозяев жизни.

Однажды вечером снова собрались все — был Янко Крап, и была Эма, и Марек пришел, и разведчики капитана Лабуды, и партизаны, старые друзья Янко Крапа, — здесь собрались все. Трактир был полон, взводный Коза сидел с ними, гостей обслуживал хромой официант. Пили, вспоминали тех, кто не пришел, и тех, кто никогда больше уже не придет ни в один трактир мира; вспоминали павших — тот погиб там-то, а этот там, тот спал в плен, и его замучили, а этот пропал без вести; еще вспоминали тех, кто уехал: Лешу — он уехал в аспоряжение Главного штаба в Киев, комиссара Бенде — тот отправился осуществлять свою мечту о возрождении Венгерской Коммуны; и о тех говорили, кто еще вел бой где-то далеко на Западе. Так пили, вспоминали, сердечно растроганные, потом запели свои песни — и песни гремели, бились о стены трактира, трактир был слишком тесен, и песням хотелось разбить эти стены и зазвучать над всей улицей, над всем городом, над всем миром — это были победные песни, песни победителей. Потом встал Янко Крап — он уже сбрил бороду, и на правой щеке обнажился длинный красный шрам, ему было жарко, он был в одной зеленой рубашке и все равно потел, — и он произнес тост:

— Ребята, — сказал он, — товарищи, друзья, ребята!

Наше время еще не кончилось, наше время только настаёт. Для нашей силы и сейчас найдется работа, работа нас ждет большая — ничто еще не кончилось, и мы не кончили наш бой. Ребята, — говорил Янко Крап, оглядывая, растроганный, своих боевых друзей, — ребята, ничто еще не кончилось, поверьте мне, еще не настало нам время валяться на боку, потому что конца еще нет — есть наша республика, мы завоевали ее в боях, и мы ее сделаем такой, какой хотим!

Ему хлопали, но большинство думало: что ему от нас нужно, чего он еще от нас хочет? Мы свое отвоевали, теперь пусть повоюют другие, а нам теперь дайте жить, дайте пожить всласть, и чего он не оставит нас в покое, куда это он нас опять зовет? Взводный Коза так и сказал.

— погоди, не спеши, командир, — сказал взводный Коза. — Ребятам надо малость поесть, попить, не торопи их, командир. Пусть отдохнут малость, пусть поиграют с бабами, пусть попользуются жизнью. Дай нам срок, хотим и мы что-нибудь взять от этой жизни.

— Да ты взгляни на себя, — возразил Янко Крап взводному Козе, — взгляни ты на себя, во что ты превратился, был лучшим разведчиком, а теперь кем стал?

— А теперь я лучший трактирщик, — сказал взводный Коза, выкатывая грудь колесом, — теперь я лучший трактирщик во всем городе, в бога его!..

— Как знаешь, — сказал Янко Крап, — только чести тебе от этого мало. И всем вам мало чести, — обратился он к остальным, — что вы заделались трактирщиками да управляющими, только пьянствуете и в карты дуетесь да с бабами валяетесь — от этого всем вам мало чести, и следовало бы вам призадуматься о самих себе.

Но задумываться никому не хотелось, а уж тем более задумываться о самих себе. Возможно, командир и прав, но сейчас они не обязаны слушать командира и не обязаны выслушивать истины, которые им не по вкусу. Они сами себе хозяева, хозяева своей судьбы, и теперь они могут слушать только то, что им хочется слушать, а хочется им слушать то, что им нравится, что им подходит. Кто-то затянул новую песню, и о Янко Крапе забыли; слова его затерялись в шуме, провалились в шум — и никогда их не было, никогда их никто не слышал, потому

что это были неприятные слова, а они теперь имели право забывать неприятные слова.

Даже Марек Угрин сейчас не задумывался о самом себе. Он пел, горланил песни, он охрип и хриплым голосом горланил песню за песней, оглядывал сквозь запотевшие стекла очков тесно сдвинувшиеся лица. Это было вчера, это было только что и вместе с тем давно, давным-давно: все эти лица, рты, глаза и голоса — рты, глаза и голоса его товарищей, соратников, побратимов. Ведь они его братья, все они — братья, и он им брат. Просто великолепно, что все эти люди — его братья и он им брат! Марек Угрин не наслаждался жизнью, и взводный Коза не раз ему говорил: «Эх ты, растяпа, и вечно ты был ученая растяпа...» Но взводный Коза все-таки гордился им. Марек Угрин работал теперь в редакции, в настоящей редакции настоящей газеты, которая выходила ежедневно и которую каждый день читало множество людей. Когда Марек впервые увидел под статьей свою фамилию, будто мороз пробежал у него по спине: быть может, это оно и есть, быть может, это и есть мой удел, мое призвание, может быть, в этом мое будущее... То было ощущение полноты жизни и ощущение победы — впервые он почувствовал веру в себя, в свои силы, в свои способности, и это было изумительное чувство. А взводный Коза ходил с этим номером газеты и уже с утра показывал его ранним посетителям актира:

— Нет, вы смотрите, смотрите только! Мой разведчик-то — ведь он был у меня разведчиком, этаким нюня люнтяй, — но вы посмотрите, чего только нет у него голове, пишет-то как! А был ведь у меня последний из разведчиков, такой близорукий растяпа!

Но сейчас, в трактире, и Марек не думал о себе, о своем будущем. Он орал хриплым голосом песню за песней и сквозь запотевшие стекла очков оглядывал тесно сдвинувшиеся лица — эти люди были его братья, он их любил, очень любил, они были его братья, и он был им брат.

После полуночи Янко Крап ушел, и с ним ушла Эма. Они проходили тихими улицами — было начало апреля, и моросил холодный дождь, и ветер дул; улицы были тихие и пустынные, вдали где-то отдавались шаги ночного патруля. Эма и Янко Крап шли молча, склонив от

ветра головы — ветер бросал в них пригоршни холодно-го дождя. Где-то протарахтела автоматная очередь, потом донеслось пьяное пение — видимо, в каком-то трактире открыли дверь. Потом пение смолкло — дверь захлопнули...

— Опять колобродят, — с досадой сказал Янко Крап, — и когда это кончится!

— Это не наши, — возразила Эма, — это не твои ребята.

Но Янко Крап сказал:

— Все — наши, и все — мои. За всех я в ответе, потому что все — наши.

И Эма спросила — полушутя-полусерьезно:

— И как ты можешь жить с такой ответственностью?

— Я не мог бы жить без нее, — проговорил Янко Крап. — Не представляю себе, как бы я мог прожить, если б не нес ответственности за всех.

— Ты серьезно?

— Конечно. Как же иначе?

— И ты действительно так чувствуешь? Ты чувствуешь эту ответственность?

— О чем ты спрашиваешь? Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь?

— Я спрашиваю: ты действительно так чувствуешь или ты только убежден, что так надо? Сидит это в тебе или ты просто выучил это, как урок, — вот задали тебе урок отвечать за всех, ты и отвечаешь.

— Никто мне не задавал такого урока. Смешно задавать такие уроки, это должно быть в крови у человека. У меня такое чувство, будто это всегда было во мне.

— Как странно.

— Почему странно? Ничего тут странного нет. Так чувствуют многие.

— И это странно.

Они вышли на площадь, здесь ветер всей силой налег им на грудь, пришлось замолчать. Янко Крап жил здесь, но он пошел дальше, с Эмой.

— В такую непогоду это жертва с твоей стороны, — сказала Эма.

— Ладно, не смейся, — ответил Янко Крап, — опять ты надо мной смеешься.

— Да вовсе я не смеюсь, — возразила Эма, — я рада, что ты пошел со мной.

— Правда, рада?

— Ну да, я рада, что ты меня провожаешь в такую непогоду. В такой час для женщины небезопасно ходить одной по городу.

— Ах, вон что, — сказал Янко Крап.

Снова замолчали, и вокруг было тихо, только дождь шелестел по тротуару, стегал потрепанное кожаное пальто Янко Крапа. Они были одни во всем городе, совсем одни — два человека под дождем, в темноте на ветру. Они свернули в переулок, здесь ветра не было, они отдышались — здесь можно было выпрямиться.

— Эма, — начал Янко Крап. — Эма, ты слушаешь меня?

— Слушаю, — отозвалась Эма.

— Хочешь жить со мной, Эма?

Пауза. Потом Эма спросила:

— Спать с тобой?

— Жить со мной. Ну, конечно, и спать.

— Это что — предложение?

— Предложение.

— А зачем тебе это? Зачем мне жить с тобой?

— Ты нужна мне.

— Я тебе нужна?

— Я люблю тебя. Люблю тебя, Эма.

— Ого, — сказала Эма, невольно останавливаясь. —

Да это форменное признание, Янко Крап. Это похоже на настоящее признание в любви.

— Ты не смейся, — сказал Янко Крап, тоже останавливаясь. — Опять ты смеешься надо мной.

— Значит, ты серьезно?

— Серьезно.

— Брр! — содрогнулась Эма.

— Тебе холодно?

— Мне холодно, и, кроме того, жить с тобой было бы очень утомительно. Для нас обоих это будет очень утомительно и трудно, это будет выше наших сил.

— Не хочешь? Не хочешь меня, Эма?

— Я могла бы спать с тобой. Но не думаю, что суме-
ла бы с тобой жить, Янко Крап.

— А я хочу, чтобы ты жила со мной. Чтобы ты была мне другом, женой. Я люблю тебя, Эма.

— Это еще ничего не значит, Янко Крап. Слова легко произнести — а жить трудно, и любить тоже трудно.

И если ты так говоришь — это еще ничего не значит, да и не должно что-нибудь значить.

— Я говорю только то, что чувствую, — нетерпеливо проговорил Янко Крап.

Было глупо и смешно — стоять вот так и болтать наивные вещи подобает только студентам. И все-таки это надо было высказать.

— Я подумаю, — пообещала Эма.

— О чем тебе думать? Я хочу с тобой жить, потому что люблю тебя. Чего же тут еще думать?

— А я? Я-то как? Или меня это не касается?

— Ты меня тоже любишь.

— Ха-ха, как ты угадал? Как ты мог угадать?

— Я это знаю.

Эма с минуту молчала, кусая губы.

— Для нас это будет очень утомительно. Вряд ли мы выдержим долго.

— Мы можем попробовать, — сказал Янко Крап.

Эма замолчала снова. Ветер принес обрывки пьяной песни, развеселые выкрики: где-то на Шробаровой улице закрывали на ночь трактир. Они стояли в узком переулке, защищенные от ветра, стояли друг против друга и молчали. Потом Эма сказала:

— Хорошо. Попробуем.

Олина написала Мареку, как только возобновилась почтовая связь. «Я жду тебя, — писала она, — жду тебя, давно жду». Но Марек не приезжал, и вести от него не приходили. Наконец пришло письмо, коротенькое, скупое, просто привет издалека, с чужой стороны, привет от далекого, чужого человека — по крайней мере так казалось Олине. «Я приеду, но еще не знаю когда, у меня много работы, кланяюсь тебе и кланяюсь маленькому» — вот и все. Письмо дышало холодом, далью, отчужденностью. Олина встревожилась — она страшилась будущего, страшилась грозящего одиночества, страшилась потерять Марек. Внешне все было в порядке: архитектор Феркодиш стал очень скромен и скромно хранил молчание. В это время проходили заседания народных судов, и потому он не показывался на людях и

хранил скромное молчание. Целыми днями он бесшумно расхаживал по дому — молчаливая, перепуганная тень архитектора Феркодича, когда-то такого твердого и непреклонного, когда-то гордившегося этими свойствами. Августин Шернер уехал — торопился, как бы не упустить возможности, открывшиеся в новые времена. Сейчас открывалось много больших возможностей для заслуженных людей, а ведь у Августина Шернера были заслуги и, кроме них, желание взобраться повыше. Маленький Марек уже выздоровел. Внешне все было в порядке, и Олина могла спокойно ожидать грядущих дней — но она тревожилась. На нее неожиданно свалилась весна, стояли теплые, почти летние ночи, и она с тревогой ждала Марека. Ах, хоть бы пришел, хоть бы пришел, хоть бы скорее был здесь! Она опасалась, что Марек явится слишком поздно, боялась, что он не явится совсем, что она потеряла его, и она тосковала по нему; как было бы хорошо, если бы он был тут, с ней, с ней и маленьким Марек; тогда кончились бы все тревоги, и они могли бы зажечь мирной, скромной, замечательной жизнью — как было бы хорошо, если б Марек очутился тут! Она тосковала по нему, желала его и боялась его утратить. Совсем новым чувством была эта боязнь, и к ней примешивалась ревность, ревность к незнакомым женщинам — ведь сколько женщин, сколько распущенных женщин вертится вокруг Марека! Жизнь теперь стала распущенная — все хотят жить весело, жить в свое удовольствие. Ах, сколько женщин, сколько случайных встреч, сколько возможностей утратить его! А может быть, у него одна-единственная женщина, тогда это еще хуже. Если у него только одна женщина, тогда это гораздо хуже для Олины. Она вызывала в воображении образ этой женщины — ночами, когда не могла уснуть. Но женщина была неуловима, у нее не было четкого облика, она играла с Олиной в прятки, она прятала свое лицо от Олины, и Олина успевала разглядеть лишь некоторые черты, иной раз улавливала только блеск глаз таинственной незнакомки — но она была, была, Олина чувствовала ее реальность и боялась ее. Вновь и вновь перечитывала она письмо Марека, и чем дольше она читала, чем глубже вникала в смысл простых, холодных фраз, тем яснее понимала (ей казалось, что понимала) то, что не было написано. Темные провалы между сло-

вами были как недобрые предчувствия, предвестники беды. Ей становилось жалко себя. Господи, неужели мне суждено всю жизнь быть несчастной, неужели я мало претерпела, почему именно я, я должна быть несчастной? Потом она восстала против собственной жалости, против уныния и безнадежности, восстала со всей своей энергией. Нет, она не будет несчастна, не будет больше жалеть себя, не будет она жалкой, убогой, она имеет право на счастье, она обязана быть счастливой, и будет бороться за счастье, и завоюет его!

— Мы не сдадимся, — сказала она маленькому Мареку, — не сдадимся, будем бороться, и точка!

И она написала Мареку новое письмо, в нем уже не было прежней покорности. «Я не покорюсь, — писала она, — я не прошу тебя, я требую, потому что люблю тебя, да, люблю и требую, чтобы ты приехал. Я приеду к тебе сама, если ты не явишься, и не отдам тебя никому, можешь быть уверен; я знаю тебя и знаю, где твое счастье, и буду бороться за него». Олина отбросила стыд и застенчивость — это был ложный стыд, она была убеждена в своей правоте и полна решимости бороться; ей нечего было стыдиться. Она не анализировала — так ли все это, правда ли все это, действительно ли она любит Мареку — темными, бессонными ночами она поняла, что это так, что он нужен ей, любим ею — и этого было достаточно. Марек пришел в восторг от письма Олины, хотя и не понял его. Он пришел в восторг от этого взрыва, хотя и не в силах был постичь — Марек постиг уже многое в жизни, но все еще не умел постичь женщин, и Олина оставалась непостижимой для него, но ее порыв привел его в восхищение, и он ответил: «Иду, бегу, лечу к тебе» — и действительно приехал.

Они были совсем как юные влюбленные — держались за руки, бродили по улицам в сумерках и не знали, что это за улицы и что за лица выплывают им навстречу из темноты; они не знали, откуда эти огни и эти запахи — все сливалось, все вокруг них было неопределенным и неясным; определенными и ясными были только они сами, их руки, глаза, голоса — это был островок посреди смутного, но приятного мира, обтекавшего их ласковыми волнами. Совершалось возрождение мира, совсем юный мир дышал вокруг них, великолепный мир ароматов, огней и сумерек, и они останавливались и

смотрели друг на друга: это ты! Это ты! Это мы с тобой, вдвоем, вдвоем...

— Как ты прекрасна! — говорил Марек. — Какая ты стала красивая, Олина! Олина, Олина, Олина... Ты стала красивой, ты прекрасна, Олина.

Она была прекрасна, и чудесно было повторять ее имя — Олина Олина, Олина, шептать ее имя, и вновь повторять вслух, и держать ее руку, касаться ее, ощущать ее всю, погружаясь в аромат ее тела.

— Злой, злой, злой, — говорила Олина, — злой Марек! Зачем ты так долго был злой, почему так долго не приходил, почему так долго заставил меня ждать? Злой, злой Марек, — твердила Олина, закидывая вокруг его шеи свою горячую руку, — гладкая горячая рука, горячая волна, вздымающаяся вверх, вверх, до головокружительной высоты — горячая волна, горячее дыхание, горячка объятий.

Потом они сидели на траве, город лежал у их ног, мерцал огоньками, и Олина рассказывала, рассказывала, рассказывала, ей хотелось высказать сразу все — горе свое, и ужас, и муки, и ожидание, и разочарование, и надежды. Все сразу ей хотелось высказать, но всего было так много, никогда она не думала, что в душе ее накопилось столько всего, столько вещей, о которых она молчала, о которых боялась говорить, а теперь говорила, говорила, открывая себя. Смотри, вот я такая, смотри, что во мне скрыто, я ничего перед тобой не утаю. Вот я такая, и такую люби меня, Марек, такую возьми меня, Марек. Все это есть во мне, и отныне все это будет в тебе, потому что мы двое — едины. Да, мы едины, вот ты, и я чувствую тебя, и всегда буду тебя чувствовать, и мы всегда будем одно, всегда будем вместе, и всегда будем чувствовать друг друга, и касаться друг друга, и обнимать друг друга, и будем любить друг друга! Марек слушал, голова Олины лежала на его плече, и Марек слушал этот поток слов, и понимал его, и постигал, и любил этот поток слов — это и есть счастье, это и есть счастье, это больше того, что может быть, это все, что может быть. Вдруг у него закружилась голова — он увидел мгновенно черную пропасть, безнадежно темную, черную пропасть пустоты: неужели это все, что может быть? Вот он, этот вопрос, и за ним сразу разверзлась черная, грозная пропасть, а вопрос был вот какой: не-

ужели это все, что может быть? Неужели это — вершина, счастье, вершина счастья, после которой уже нельзя ничего ждать? Голова закружилась на такой высоте, и перед ним зияла черная бездонная пропасть, грозная, темная. То было минутное головокружение, оно сейчас же прошло, но след его не проходил, он остался. И след этот был страх — не страх утраты, не страх перед будущим; это был страх, порожденный сбывшейся мечтой, страх, охватывающий человека на вершине горы, головокружение от высоты. Сам страх прошел, но след его остался, и след этот был — сомнение: если это все, что может быть, значит, оно и есть то самое, чего я ждал, о чем мечтал, — так неужели теперь нельзя больше ни о чем мечтать, нельзя больше ничего ждать? Но страх прошел, сомнение рассеялось. Олина была с ним. Вот ее светловолосая голова, вот ее губы, и она спросила:

— О чем ты задумался, Марек?

И Марек ответил:

— О будущем.

— Будущее — это я и ты. Это мы с тобой и еще маленький Марек. Будущее очень просто: мы с тобой и маленький Марек.

— И еще — работа, — сказал Марек. — И еще — квартира, и деньги, и множество других вещей.

— Важно, что мы вместе, — сказала Олина. — Все прочее — смешно и ненужно. Мы вместе, и этого достаточно.

— Но все эти вещи нужны нам обоим. И маленькому Мареку.

— Фу, как гнусны вещи, в которых нуждаешься, — сказала Олина.

— В них просто нуждаешься. И они ни гнусны, ни прекрасны.

— Зачем ты со мной ссоришься, Марек? Почему ты такой злой?

— Не буду больше. Буду добрый.

— Вот так и ладно. Ты всегда будешь добр ко мне, Марек?

— Да.

— И никогда не уйдешь?

— Нет, никогда не уйду.

— Всегда будешь со мной?

— Всегда буду с тобой.

- До могилы?
- До могилы.
- Почему ты все время повторяешь мои слова?
- Ты — как эхо.
- Я твое эхо.
- Неужели это так? Вот я, и вот ты, это так?
- Это так.
- И маленький Марек.
- Да, и еще маленький Марек.
- И кроме нас, никого и ничего.
- Кроме нас, никого и ничего.

Город окутался темнотой. Лишь цепочки далеких огоньков уютно мерцали в теплом мраке. Слова Олины и Марек были игрой — древней игрой, им хотелось верить этим словам, но и она и он верили им лишь наполовину. Марек знал — сейчас такая минута, когда они одни, а потом будут другие минуты, и они уже не будут одни. Да, может быть, даже сейчас он не был с ней один: с ним были его воспоминания, его товарищи и братья, его работа, его пробужденная сила и проснувшееся честолюбие. Но Марек старался верить этим словам, так чудесно было верить, что они с Олиной — одни. Она положила голову ему на колени, он проводил пальцем по ее ресницам и губам, глаза ее были закрыты.

— У тебя всегда была только я? Не было никого, кроме меня?

- У меня всегда была ты одна.
- Другой женщины не было?
- Какой женщины?
- Ну, никакой другой, злой женщины?
- Всегда была только ты.
- И всегда буду только я?
- Да, всегда будешь ты одна.
- Я счастлива, Марек. Я так боялась, что не буду счастлива, я очень боялась, что ты не придешь и я буду несчастна. Я не хочу быть несчастной. Это — счастье, Марек?

— Тише, — сказал Марек. — Об этом не говорят.

— Хорошо, я не буду больше говорить об этом. Я буду дышать этим — дышать ведь можно, Марек?

— Нужно очень осторожно дышать. Вдыхать это надо очень осторожно, ведь оно такое хрупкое.

— Ну да — осторожно на поворотах. Доставить сроч-

но, не высовываться из окон, *é pericoloso sporgersi*¹. Приказы, приказы, наставления, наставления. А я не хочу никаких наставлений, никаких приказов. Я свободна, я люблю и хочу любить свободно. Не желаю я никаких инструкций.

— Без этого не обойдешься.

— Не нужно мне расписания в любви. Вставать в такой-то час, завтракать тогда-то, потом ждать, стряпать, гладить, и ждать, и любить пунктуально — с половины десятого до десяти. Не нужны мне никакие расписания, инструкции, приказы, правила... Я хочу любить беспорядочно и нерегулярно, любовь — это хаос.

— Боюсь, ты немного преувеличиваешь. Порядок вещей существует независимо от твоей воли.

— Я его не вижу. Его нет.

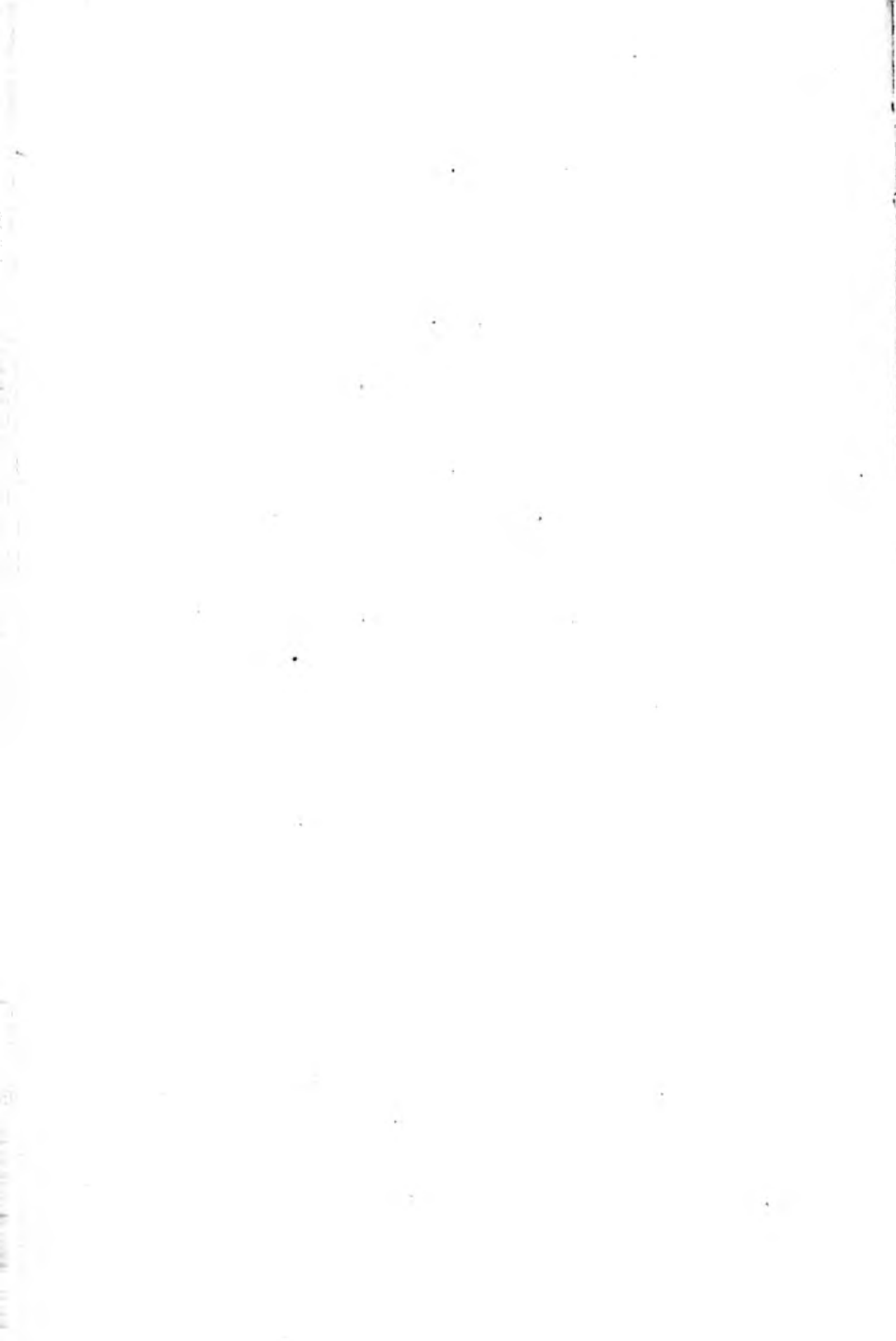
— Слишком дешево, Олина. Слишком удобно и дешево. Попробуй открыть глаза, Олина.

— Не вижу я его. Зачем ты все время ссоришься со мной, Марек? Почему ты опять стал злой?

— Ну, не буду, не буду. Буду теперь добрым.

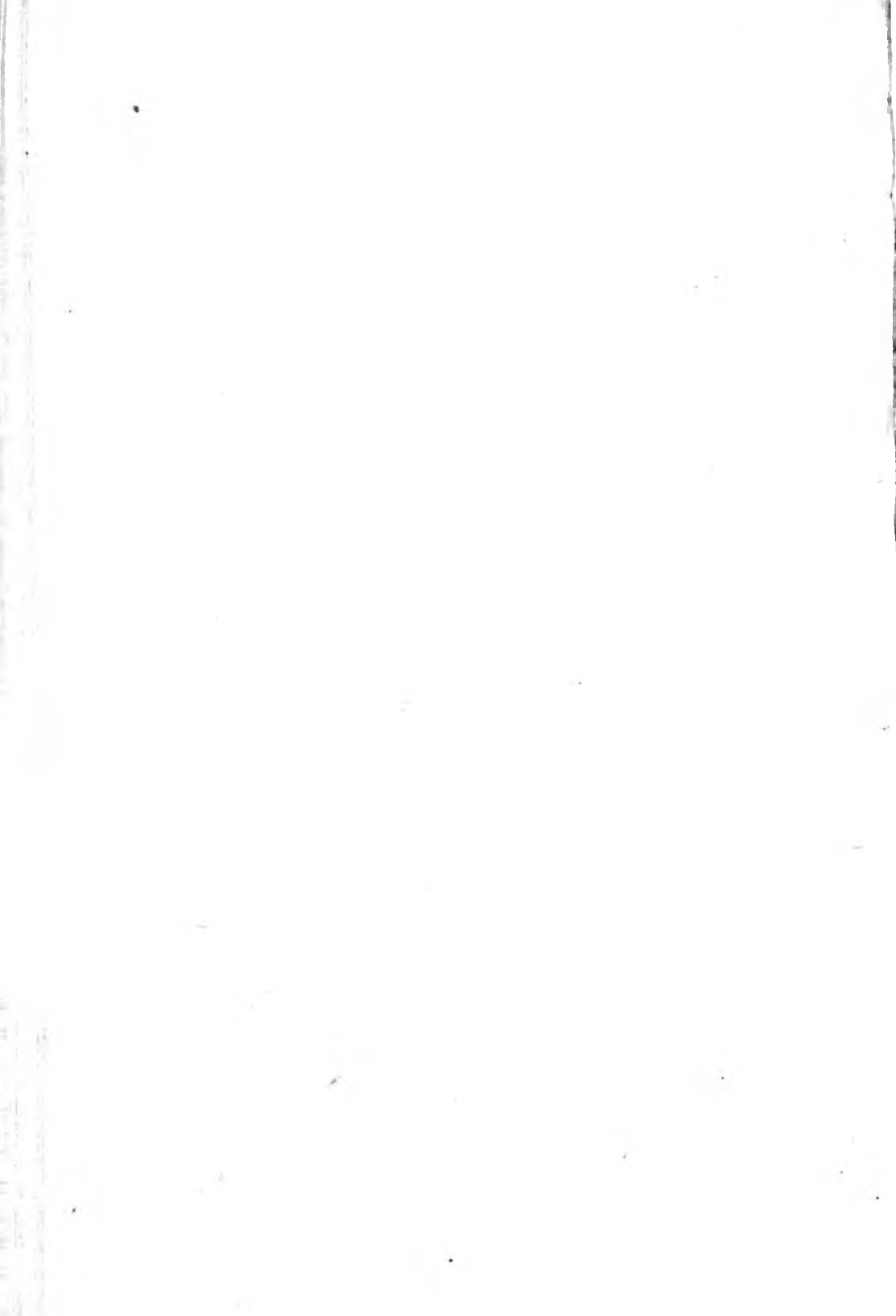
Он коснулся ее ресниц и губ, потом коснулся ее груди, которая ритмично вздымалась и опускалась. Олина как будто заснула — губы были приоткрыты и на лице лежал покой. Подул холодный ветерок, принес много запахов — запах сирени, молодой травы, цветущих слив. В городе у ног их уютно и ласково мерцало уже лишь несколько огоньков. А они были молоды, и все открывалось перед ними, и все было для них — звезды, огни, город, ночь, запахи земли, — все было для них, ради них, и у них было достаточно сил, чтобы объять Вселенную, объять свое будущее, в котором они не сомневались.

¹ Высовываться опасно (итал.).



Колокола возвещают день

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ



Бледное февральское солнце подслеповато светило над городом, неподвижным от сковавшего его мороза. Пронзительно дул ветер, подхватывал мелкий колючий снег и разметал его по пустынным улицам. Занесенные снегом, стояли трамваи; редкие прохожие шли, кутаясь до самых глаз и низко пригнувшись к земле, — маленькие черные точки среди необозримого белого простора лишь подчеркивали пустынную улиц и неподвижность города.

Была первая послевоенная зима, и была она суровой и безжалостной. В газетах писали о Братиславе как о ледяном дворце из сказки, но сказка казалась не очень веселой. Лед на Дунае вздыхал, трещал и лопался, треск льда походил на настоящие взрывы и напоминал настоящую войну. Над мостом развевались знамена, новые полотнища бились на ветру, гнулись флагштоки под порывами ветра, а металлические конструкции нового моста, покрытые инеем, сверкали на солнце весело и празднично.

Коренастый капитан с красным, обветренным лицом стоял по команде «смирно» и рапортовал, казалось, морозу и ветру, ветер вырывал у него слова, и они со звоном ударялись в конструкции моста. Это был обыкновенный советский капитан, со слегка выдающимися скулами, обожженными морозом до багрового цвета, а местами до черноты; звали капитана Карпусенко, и он возвел уже много мостов, переправился через много рек и отдал много рапортов. Но сейчас он, пожалуй, слегка волновался, прерывисто дышал и, волнуясь, произносил слова рапорта; волновался он потому, что сейчас перед ним стоял легендарный маршал, один из тех, чье имя прогремело на весь мир, а за маршалом стояли представители той страны, для которой капитан Карпусенко возвел мост. И маршал вдруг словно подмигнул капита-

ну Карпусенко, как бы говоря: смотри не наступай себе на язык, я вижу, ты молодчина и парень что надо, работу свою выполнил, так чего же боишься? И капитану Карпусенко тоже захотелось подмигнуть маршалу, у маршала были такие же широкие скулы, как и у самого капитана, и такое же простое лицо солдата — это был лишь пожилой и более заслуженный капитан Карпусенко, и капитану очень захотелось подмигнуть маршалу как близкому человеку и земляку, но он сдержался.

Над мостом развевались знамена, а на площади перед мостом стояли люди, ветер порой заметал их снегом, но временами снежный занавес приподнимался, и было отчетливо видно людей, что стояли на ветру и морозе и не слышали рапорта капитана Карпусенко, не слышали ничего, кроме глухих взрывов льдин и плеска полотнищ новых знамен. Но когда пелена снега поднималась, они видели маршала, главу правительства, и его заместителей, у всех были черные папахи, черные пальто с меховыми воротниками и лица, застывшие от мороза. Ветер продувал до самых костей, люди стучали одеревеневшими ногами, но никто не уходил, и все с гордостью смотрели на металлические конструкции моста, покрытые инеем и поблескивавшие на бледном солнце. И все сразу вздохнули, когда глава правительства перерезал ленту и мост был открыт — победа одержана. Когда-то, пятьдесят или более лет назад, мост этот строили лучшие специалисты Европы, мост был очень важным, он связывал Вену с Братиславой и с верхней Венгрией, а Вена была всемогущей и богатой, всемогущим был Франц-Иосиф и богатым венский Ротшильд, и в те времена у них было достаточно денег, достаточно специалистов со всей Европы, достаточно дешевой рабочей силы из верхней Венгрии, но строили мост пять лет. А капитан Карпусенко и его солдаты построили мост за пять месяцев.

Все это и было победой — и то, что человек непобедим и труд человеческий всепобеждающ, и то, что страна встает из руин и в эту минуту сверкают на солнце конструкции не только Братиславского моста, а многих других мостов, и бегут по стране много новых железных дорог, и во многих местах стоят вот такие же капитаны Карпусенко и рапортуют о выполнении приказа, — все это было победой и миссией Востока.

Августин Шернер пробился через оцепление, держа в руке какое-то удостоверение и размахивая им, но скорее помог его солидный вид — на нем была черная папаха и черное пальто с меховым воротником. Пальто принадлежало архитектору Феркодичу, но никто этого не знал, и подобный факт не мог отразиться на солидном и почти государственном облике Августина Шернера. Он пробился через оцепление и слился с другими черными пальто, и его гладко выбритое лицо с элегантными усиками хранило гордый и довольный вид; ведь и он, Августин Шернер, принадлежит к этим черным пальто, ведь и он близок к великим мира сего, и толпа видит, как он близок к этим великим. Он оглядывался по сторонам, здоровался кивком головы или еле заметной торжественной улыбкой и, здороваясь, вдруг заметил среди черных пальто известного политического деятеля, с которым некогда встретился в Банска-Бистрице. Медленно пробиваясь к нему, Августин Шернер наконец оказался совсем рядом и задышал тому прямо в плечо. Он поздоровался с политическим деятелем учтиво, но не подобострастно, и деятель взглянул на него сквозь свое затуманенное пенсне, наверняка не узнал, но сделал вид, что узнает, — политический деятель был от природы человеком осторожным, а в такое время никто точно не знал, что за человек перед тобой, и еще менее можно было предвидеть, кем он станет.

Августин Шернер долгие месяцы ждал подобного случая, даже не ждал, а выискивал. На стихи прокормиться не удавалось, быть аптекарем он не хотел, он, заслуженный участник Сопротивления, имел право на что-нибудь и получше; и вот сейчас случай подвернулся, вернее, Шернер нашел этот случай и поэтому гордился собой, хотя немного и растерялся: у мира, в который он хотел проникнуть, были свои законы, свои нормы, а он этих законов и норм еще не познал.

Он внимательно разглядывал лицо политического деятеля, плоское, почти квадратное лицо со слегка вздернутым носом; вздернутый нос придавал лицу выражение высокомерной угрюмости или угрюмого высокомерия. Знамена бились на ветру, оратор продолжал говорить, а Августин Шернер усиленно подыскивал слова, с которыми он мог бы обратиться к политическому деятелю. Но ничего не приходило в голову, лишь

всякие глупости вроде «ну и холод, господин председатель» или «чертовский ветер, господин председатель» — глупые, ни о чем не говорящие слова. Он уже начал бояться, что упустит случай, и напрягал все свои умственные способности, мучился, но ничего значительного, даже шутиwego не приходило ему на ум, одни только глупости, бесконечно длинная вереница глупостей. Он впал в отчаяние, боялся, что упустит случай, и чуть не плакал от злости, но наконец отважился и зашептал одну из глупостей. Не кажется ли вам, шепнул он политическому деятелю, не кажется ли вам, что все это длится слишком долго? Да, сказал деятель, презрительно выпятив нижнюю губу. Нижняя губа была у него толстая и высокомерная, а верхняя — тонкая и строгая. Да, сказал выдающийся муж, ужасный холод. Откровенно говоря, почтительно продолжал Шернер, откровенно говоря, господин председатель, немного безответственно, что столько выдающихся людей страдают на таком холоде. Выдающийся муж повернулся всем телом и посмотрел на Августина Шернера, и, вероятно не разглядев его через затуманенное пенсне, пробормотал: да, чертовский холод. Но Августина Шернера уже нельзя было остановить, он взял старт, стал смелым и твердо решил не упускать случай. Возможно, вы меня не помните, шепнул он в ухо выдающемуся деятелю, я тот поэт, что посетил вас в Бистрице. Выдающийся деятель наморщил лоб и снова повернулся к Шернеру, на этот раз рассматривая его дольше. Да, сказал он наконец, поэт и аптекарь, как же, помню, поэт да еще аптекарь. Вот-вот, ответил Августин Шернер, тот самый, мы встречались с вами в Бистрице, тогда я писал под именем Ало Грон, я хотел бы посвятить все свои силы отчизне, и тут же добавил: и демократии, демократии, разумеется. Ну что ж, сказал выдающийся деятель, такие люди нам нужны, и пригласил Августина Шернера как-нибудь зайти к нему.

Оратор продолжал говорить, и знамена плескались, лед грохотал на Дунае, как артиллерийская канонада, и в воздухе раскатывалось эхо, и все это было для Августина Шернера ликующей музыкой, музыкой надежды.

На специальном возвышении сидели и стояли солдаты и партизаны, раненые и инвалиды, офицеры с много-

численными наградами и среди них капитан Лабуда, мрачный и насупленный. И лишь когда он смотрел на шумящие знамена и на бледное зимнее солнце, его взгляд на миг светлел и капитану казалось, что на свете есть еще и мужество, и борьба, и сопротивление и что он, капитан Лабуда, одно целое с этими знаменами, шумящими на ветру, с покрытыми инеем железными конструкциями моста, с капитаном Карпусенко, одно целое со словами, звенящими в сухом морозном воздухе, с яростным ветром и со льдом, грохочущим на Дунае от избытка сил. Но боли в спине у капитана не прекращались, заставляя низко опускать голову. А опустив голову, капитан видел своих товарищей, безногих и безруких, с множеством наград, видел костыли в своих руках, натертые до блеска частым употреблением, и костыли говорили, что никогда он больше не полетит вместе с ветром, что не для него, калеки, этот мир борьбы и протеста. Сколько ночей он повторял это слово — калека, калека, повторял до изнеможения, до иступления, не в силах привыкнуть к нему, связать это слово со своим телом, со своей судьбой. И все же так оно и было: врачи усмехались и говорили, что не беда, нужно только быть внимательным и осторожным, потому что спинной мозг дьявольская штука, и действительно, дьявольская штука давала о себе знать. И никогда уже капитану Лабуде не мчаться наперегонки с ветром, а вечно будет он тащиться по жизни, опираясь на свои костыли. Это было невероятным, с этим нельзя было смириться такая глупость, он, капитан Лабуда, — и вдруг калека! Какое ненавистное слово, грозное и неизменное, как неизменна боль в спине. Капитан злился на себя и на весь мир, злился на друзей-калек, потому что они были такими же, как он, злился на здоровых, потому что они были здоровыми, боролся и упорно сопротивлялся, но постепенно терял надежду.

Вот и теперь, отведя взгляд от шумящих знамен и увидев свои костыли и протезы товарищей, вот и теперь он со злостью проворчал: калек, калека. Он метался, словно зверь, попавший в клетку. Из этой клетки не было выхода, вся сила капитана заключалась в его физическом существе, его мужество, его неиссякаемая жажда жизни были скорее мужеством мышц, чисто физическим мужеством; утратив его, он утратил почти все в

жизни. Так называемые духовные наслаждения были всегда ему далеки, а сейчас стали еще более далекими и чуждыми, ибо сейчас он вынужден был о них вспомнить, это было милостыней нищему, милостыней калеке. А он еще не опустился настолько, чтобы делать что-то из принуждения; его несгибаемость была подорвана, но не сломлена. Он не был создан для того смирения, которое, согласно обычным представлениям, есть участь калеки. А гордость в его положении была смешной, казалась смешной даже ему самому, ибо человек, по мнению капитана Лабуды, мог гордиться лишь своей силой.

И вот он метался в клетке, из которой не было выхода, ненавидел себя и других, пребывая целые дни мрачным и злым. Порой ему казалось, что он больше не выдержит, разобьет голову о стену, и тогда он пытался найти хоть какой-то спасительный выход, старался на миг поверить утешениям врачей и друзей, поверить, что все вернется, что вновь в него вольется утраченная сила. Возвращаясь из Киева, он почти поверил в это: светило по-летнему солнце, и пахло лесом, и капитану казалось, что нужно лишь несколько дней спокойного отдыха, и снова вернется радость, сила и все, что дает жизнь.

Но прошло много спокойных дней, и снова появились врачи, их сменили другие врачи, медсестры, больницы, и капитан Лабуда вновь слышал о своей болезни, он боролся с ней, бунтовал, но болезнь медленно и безжалостно брала над ним верх.

И вот теперь он стоял мрачный и насупленный и злился, видя радость других, — ведь их радость не была его радостью, и он не участвовал в воскрешении жизни, капитана вычеркнули из списка, стерли резинкой его фамилию... Калека, калека...

Марек стоял на парапете, открытом со всех сторон порывам ветра, и пытался уловить слова, звенящие в воздухе; он хорошо видел всех — и капитана Карпусенко, и легендарного маршала, и оратора. Марек пытался поймать слова и записать их закованными пальцами в свой блокнот; уши у него были закутаны платком, который, пожалуй, скорее походил на портянки; Марек боялся за уши, он обморозил их в горах, и с той поры кожа слезла с них клочьями, и пальцы у него на руках были темно-фиолетовые, но он все же записал в блок-

нот еле уловимые слова, он совсем не чувствовал ни мороза, ни холода, ни ветра, он был сейчас бойцом и выполнял боевое задание. На Мареке было пальто, кое-как перешитое из солдатской шинели, и низенькие артиллерийские сапоги с бумажной стелькой для тепла; он все еще был на фронте — вокруг простирался фронт, и отмечалась победа, это был его фронт и его победа, его возрожденный мост и его возрожденная земля. Марек помнил, каким был мост пять месяцев назад — взорванные быки и металлические конструкции лежали в воде, выступая лишь кое-где на поверхность; в тот раз казалось, что мост разрушен навсегда, навечно, что все эти тонны металла никогда не поднять из воды, но чудо совершилось и мост поднялся. Пришли солдаты в ушанках, пилили и резали металл, и конструкция распалась на части, словно была из трухлявого дерева; и тонны металла, заколдованные в Дунае, поддались рукам людей, рукам солдат в ушанках. И вот мост начал возрождаться, сначала невидимо, в кессонах, час за часом, неделя за неделей, в мороз и в оттепель, во время яростного напора реки, возрождаться вопреки всему, вначале постепенно и незаметно, потом уже заметнее и быстрее мост поднимался на глазах у всех.

Марек каждый день приходил смотреть на мост, на упрямый человеческий труд и чувствовал себя тесно связанным и с руками рабочих, и с машинами для клепки, и с пламенем сварочных машин, и с ушанками, весело и неутомимо бегающими по конструкциям. И вот мост готов, новый с иголки, и флаги весело шумят на ветру, и капитан Карпусенко в парадной шинели и фуражке выглядит торжественно и празднично, словно работник в воскресный день. Марек стоял на парапете, обдуваемый со всех сторон ветром, он стоял упрямый и негибачый, это был уже не прежний слабый, чувствительный Марек, а бывший партизан и все еще солдат на фронте. Он возмужал и огрубел, стал подтянутым и мускулистым и совсем не удивлялся, что возмужал и огрубел; он с каждым днем все больше забывал о прежнем слабом Мареке, и ему казалось, что все это было очень давно, в какой-то туманной предыстории, и тот Марек был для него чужим и незнакомым.

А нынешний Марек стоял на парапете, ловил слова оратора, записывал их в свой блокнот, временами дул

на окоченевшие пальцы, не желавшие его слушаться, и все писал и писал новые и новые слова. Статья о мосте была его боевым заданием, а ему, еще совсем молодому журналисту, любая работа казалась боевым заданием. Мареку хотелось рассказать обо всем, не только о словах оратора, но и о бледном солнце, и о покрытом инеем мосте, и о капитане Карпусенко с начищенными до блеска пуговицами шинели, и о едином дыхании толпы, об охватившей всех радости возрождения; ему хотелось рассказать о всех мостах и всех железных дорогах своей страны, хотелось написать о том, как страна долго переводила дыхание и наконец начала спокойно, ритмично дышать, как снова стремительно струится кровь по ее жилам. Ему хотелось найти такие слова, в которых все бы отражалось и сливалось, огненные слова в горниле своей памяти, ясные и понятные всем, но он не знал таких слов, возможно, их и не было, его рука писала обычные, заурядные слова, отражавшие лишь внешнюю оболочку вещей и событий, а не их суть.

Ветер понес овации по Дунаю, знамена все еще шумели, и лед на Дунае трещал и грохотал. Торжество шло к концу, и начиналась новая жизнь моста.

Капитан Лабуда, опираясь на костыли, медленно брел против ветра. На площади он почти столкнулся с Мареком. Они сразу узнали друг друга. «Капитан!» — удивленно воскликнул Марека. «Смотрите-ка кто! — сказал капитан Лабуда и в тот же миг обо всем вспомнил — о Мареке, об Олине и о том, что Марека — отец его, Лабуды, сына. — Пойдем, сказал он Мареку, не стоять же нам здесь до судного дня».

2

Это была третьеразрядная гостиница на одной из узких улочек старого города. Гостиница насчитывала всего номеров двадцать, но внизу помещалось большое кафе, а под ним ночной бар. Капитан Лабуда распахнул двери, пропустил Марека вперед. Кафе было сейчас пустынным, лишь на площадке, огражденной шторками, сидели покрашенные женщины и играли в карты. Официант с длинной шеей и большим кадыком дремал, опираясь на стеклянную стену директорского кабинета.

В темном углу спал какой-то солдат, он похрапывал, уронив голову на залитый вином стол. Официант очнулся от дремоты, кинулся к капитану Лабуде, учтиво взял у него шинель и сказал: все в порядке, шеф, и, покачиваясь на ходу, побрел к кабинету. Минуту спустя он вернулся с чистой скатертью и расстелил ее на столе.

— Садись, — сказал капитан Лабуда Мареку, — садись, посидим.

Он прислонил костыли к столу и сел сам, пригладив волосы. Его волнистые волосы все еще были блестящими и каштановыми, да и лицо осталось прежним, стало лишь темнее, да брови погустели, совсем срослись у переносицы. Официант без заказа принес чай и бутылку рома, и капитан Лабуда спросил его, показав подбородком в угол:

— Все еще спит?

— Как малый ребенок, — ответил официант и вежливо сверкнул золотыми зубами.

— Не узнаешь? — спросил капитан Марек. И немного погодя пояснил: — Ведь это Коза.

Марек чувствовал себя очень странно, попав в совершенно иной мир, да и перемена оказалась слишком быстрой. Он выпил чай и, нервно потирая руки, принялся с удивлением смотреть вокруг, на миг остановив взгляд на лице капитана Лабуды. Лицо было знакомым, но мрачным, с тяжелым взглядом, и серые глаза уже не были прежними, став злыми, — где-то глубоко в них крылся страх и испуг, и это было непривычным и новым в капитане.

— Какой Коза? — спросил Марек.

— Взводный Коза. Ты что, не помнишь взводного Козу?

— Как же, помню, — сказал Марек и посмотрел в темный угол. — Так это он, взводный Коза?

— Он, — ответил капитан Лабуда. — Явился за покупками и вот теперь храпит тут.

Чай был выпит. Капитан Лабуда налил в пустые стаканы ром.

— Пей, — сказал он. — Или ты все еще сосунок?

— Нет, почему же! Выпью.

— Растем, — насмешливо заметил капитан и посмотрел на Марек, прищурился глазом. — И вправду ты здорово вырос. Похож на настоящего мужчину.

— Благодарю,— сказал Марек, по-прежнему чувствуя себя странно. Где он, зачем он здесь, что от него нужно капитану? А ему было что-то нужно от Марека, было видно с первого взгляда, что капитан что-то хочет от него, хочет о чем-то поговорить, но, похоже, не об Олине, а о чем-то другом.

— Каждые две недели он является за покупками,— ворчал капитан Лабуда,— и всегда напивается как свинья.

— Он все еще в Кошицах?

— Нет! Кабацкий король. Известный плут! — Капитан Лабуда подпер голову руками и пристально посмотрел на Марека.

— А я торчу здесь,— продолжал он,— в этом дерьме.

— Я и не знал,— сказал Марек,— не знал, что ты народный управляющий.

— За большие заслуги,— усмехнулся капитан,— за то, что я калека.

— Но ты совсем не похож на калеку,— заметил Марек.

— А я калека! — вдруг закричал капитан. — Калека! Ясно?!

Накрашенные женщины как по команде повернулись к ним, но тут же вновь спокойно принялись за карты. Очевидно, они уже привыкли к капитану. Вздвигая голову с залитого стола и минуту тупо осматриваясь вокруг, потом встал и, пошатываясь, подошел к столу, за которым сидели Лабуда и Марек. На нем был военный китель, а под кителем белая грязная рубашка со свободно повязанным галстуком. Минуту он смотрел на Марека, потом всплеснул руками:

— Привет, очкарик! Откуда ты взялся?

— Да я здесь, в городе, все время,— ответил Марек. Коза хлопал Марека по плечам и орал:

— Он, черт побери! Он, очкарик! Профессор! Такого сумасшедшего, как ты, такого чудака в моем взводе никогда не было!

— Катись! — со злостью сказал капитан Лабуда. — Воняешь тут, как баран. Катись отсюда, шагай себе и умойся!

— Слушаюсь, капитан! — Коза стукнул каблуками, подмигнул Мареку и присел к столу, ухмыляясь капи-

тану.— Ей-богу, ковыляй быстрее, раз-два-три! — закричал он официанту.— Еще бутылку и стакан для пана. Очкарик! — повторил Коза снова.— За это нужно выпить.

— У меня работа,— упирался Марек.

— У него работа! У очкарика работа! — весело кричал Коза на все кафе.— Ты чудака, профессор, ты всегда был чудаком. Из госпиталя поскорей смылся, а мог пролежать там всю войну. Эх, ты, чудака, чудака! А вот теперь у тебя работа.

— Мне нужно в редакцию,— твердил Марек.

— Ну нет, подожди! — сказал капитан Лабуда и схватил Марек за рукав.

— Я могу вернуться,— повторил Марек,— но сейчас мне нужно идти.

Ему и вправду нужно было идти, и все время он думал о том, что должен уйти: крайний срок сдачи материала — час дня, а ему еще нужно написать статью — выполнить свое боевое задание. Марек все время об этом думал, и, хотя его очень занимал этот мир, в который он так неожиданно попал, и особенно занимал капитан Лабуда и то, что он хочет ему сказать, и хотя ему было здесь тепло и хорошо, все же он должен был уйти.

— Я вернусь,— сказал он и встал.

Капитан Лабуда посмотрел на него, прищутив серые глаза.

— Непременно,— сказал он.— Ты должен вернуться.

— Ты просто чудака, очкарик! — воскликнул Коза.

— Я вернусь,— повторил Марек и вышел.

Ему нужно было торопиться, оставалось мало времени. Он долго искал в редакции какое-нибудь тихое место, но такого места не было, редакция была маленькая и до отказа набита людьми, спорами и шумом. Как всегда, все спешили, громко хлопали двери, трещали пишущие машинки, было тесно и неудобно. Марек уже приучился не обращать внимания на шум и суматоху; присев к окну и ничего не замечая и не слыша, он видел сейчас лишь бумагу, и блокнот, и непослушные слова, и непослушные пальцы на клавишах машинки. Иногда он поднимал голову и смотрел невидящим

взглядом; в такие минуты он казался смешным и глупым, и в редакции над ним смеялись.

Вернулся в кафе Марек не скоро, ему пришлось еще забежать в типографию. В кафе уже было порядочно народу, но капитан Лабуда и Коза сидели в тех же позах, в каких Марек их оставил, и между ними по-прежнему стояла бутылка рома.

— Смотри-ка, явился очкарик, — удивился Коза.

— Садись, — сказал Лабуда. Он поднял тяжелый взгляд и снова уперся локтями в стол. Коза умылся, на нем уже была чистая рубашка, но капитан Лабуда сидел все в той же позе, подперев голову ладонями, и, прищутив глаза, все так же смотрел прямо перед собой.

— Пей, — сказал он Мареку и немного погодя добавил: — У меня с тобой кое-какие счета.

— Какие счета?

— Пей! Такие. Хочу счета с тобой свести.

— Ну и дерьмо, — сказал Коза. — Сводить счета — дерьмовое дело.

— Ты катись! — закричал на него капитан Лабуда. — Теперь уже и вправду катись!

Коза пожал плечами.

— Ну ладно, с вами все равно скущища. Пойду к цыпочкам.

Он отошел от них и побрел между столиков, стараясь держаться прямо. Еще по дороге он крикнул официанту:

— Эй, косолапый, бутылку рома для девочек, — и, подойдя к столу, где все еще сидели и играли в карты накрашенные женщины, одним махом скинул карты со стола. Женщины взвизгнули и засмеялись, они, очевидно, хорошо знали Козу.

Лабуда продолжал молчать.

— Ну что ж, я жду, — сказал Марек.

— Сначала выпей, — ответил Лабуда.

— Нет, — отказывался Марек, — мне хочется узнать это сейчас же, сию минуту.

— Пей, пей, — повторял Лабуда. Подняв свои густые сросшиеся брови, он секунду молча смотрел на Мареку. — Ты думаешь, нам обоим нечего сказать друг другу?

— Напротив, — сказал Марек. — Мы еще никогда как следует не говорили.

— Теперь у меня на это есть время, — сказал Лабуда, — я калека, и теперь до самой смерти у меня уйма времени.

— Не очень-то ты похож на калеку, — заметил Марек.

— Тебе до этого нет дела. Ты в это не суйся. — Капитан Лабуда сжал ладонями виски и поморщился. — И никого это не касается, только меня, ясно?

— Ладно, — сказал Марек. — Не будем об этом говорить.

Стаканы стояли налитые. Они молча выпили. Марек смотрел на капитана Лабуду, совсем не страшась его, а ведь некогда он боялся его и даже завидовал ему. Но сейчас в Мареке не было ни тени страха перед капитаном, хотя тот выглядел мрачным и враждебным.

— У меня с тобой счеты, — сказал Лабуда. — Мой сын у тебя.

— Это мой сын, — возразил Марек.

— Он мне нужен, — заявил Лабуда.

— Это мой сын, — упрямо твердил Марек, — мой и Олины.

— Он мне нужен, — глухо повторил Лабуда. — Я калека, и у меня больше никогда не будет детей. Мне нужен мой сын.

Его тяжелый взгляд снова остановился на Мареке, и Марек снова увидел в его глазах глухую злобу, но, кроме злобы, и тоску, и страх, притаившиеся где-то в глубине.

— Тебе, капитан, нужны люди, как вещи, — сказал Марек. — Ты всегда считал людей вещами, они были тебе нужны, как, скажем, зубная щетка.

— Как зубная щетка?

— Или как сигарета. Ты всегда брал, что тебе было нужно. Брал и потом бросал за ненадобностью.

— Олину ты сюда не впутывай. Зачем ты впутываешь сюда Олину?

— Дело не только в Олине.

— Олину я не брал, — сказал капитан Лабуда. — Она сама забралась ко мне в постель. Из любопытства.

— Дело не только в Олине, — повторил Марек, чувствуя, как в нем растет и поднимается старая злоба на Лабуду. — Ты всегда лишь брал, использовал людей, отбирал у них все. Использовал, как мы используем бо-

тинки, плащ от дождя, чистую рубашку, использовал их и брал от них все.

— Что ты мелешь? Это уж какая-то философия.

— Это правда!

— Смотрите-ка,— сказал капитан Лабуда и зло усмехнулся,— наконец-то он нашел правду!

— Я всегда видел это в тебе,— сказал Марек, и ему действительно показалось, что он всегда понимал Лабуду так же ясно, как в эту минуту.— Я лишь не осмеливался сказать тебе об этом.

— Смотрите-ка,— повторил капитан.— А теперь у тебя есть эта смелость?

— Да, теперь есть.

— Только мне на твою правду плевать,— сказал капитан.— Плюю я на твою правду. Мне нужен мой сын.

— Не выйдет, мой капитан.

— А я хочу его,— зло твердил Лабуда.— Мне он нужен, ясно? Мне нужно иметь хоть что-то, кроме этих костылей.

Тоска, притаившаяся до тех пор где-то в глубине его зрачков, сейчас целиком заполнила глаза. Капитан протянул просительно руку, словно желая растрогать Марек. Я один, и я калека, будто говорил этот его жест, я один на всем белом свете, покинутый всеми и распятый на кресте. Мне нужен человек, который мог бы жить и дышать рядом со мной, и у меня есть сын, мой сын, вопреки всему это мой сын, я его породил, это моя кровь, мое спасение и будущее.

— Я не понимаю этого,— сказал Марек.

— Ты не хочешь понять!

— Не могу понять, капитан. Это мой сын и Олины.

— Но он нужен мне,— с отчаянием твердил капитан.

— Это еще не причина, чтобы ты взял его.

Он не товар на рынке, хотелось сказать Марек, он человек, хоть и маленький, и мой сын. Он говорит: папа, дай мне ножик — или: папа пришел! Он узнает меня по шагам и по тому, как я открываю дверь, возвращаясь с работы. Это мой сын, и я его отец, это человек, хоть и маленький, а не товар на рынке.

Кафе уже заполнилось, на потертых стульях красного плюша сидело много людей, они пили, курили и тихо договаривались о сделках; это были большей частью

спекулянты, они собирались здесь ежедневно. Здесь была их биржа, сюда же приходили и девицы из Подградья, накрашенные, в очень коротких юбках. Это было кафе с темной, сомнительной репутацией на узкой улочке старого города; были здесь и агенты уголовной полиции, сидевшие за своими вечными четвертинками пива, мелькали грабители и мелкие карманные воришки, но захаживали сюда и преступники большого масштаба, личности малоизвестные, скрывавшиеся в хаосе послевоенных дней. Какая-то старуха бродила с корзинкой между столиков, в корзинке лежала жареная кукуруза — ни соленого миндаля, ни анчоусов не было сейчас и в помине, всюду царили голод и недостатки, хоть и хватало вина и жареной кукурузы; ею-то и кормилась Братислава. Но здесь, в кафе, кукуруза не шла, ведь здесь было немало спекулянтов, а у них были и миндаль, и анчоусы, был и дорогой заграничный товар, который куда-то исчезал из посылок ЮНРРА, и все они расплачивались не деньгами, а сигаретами: «Бистрица» служила отечественной валютой, «Честерфилд» — заграничной. Сигареты легко переносились, и ими платили за товары и на бирже, и в кафе «Орион». Все спекулянты приходили в кафе с портфелями, набитыми сигаретами, это была их валюта, портфели были из свиной кожи, очень заметные; эти портфели были признаком не очень тайной организации, но уголовная полиция еще не начала забирать спекулянтов, их было слишком много для тех камер, которыми располагали государственные тюрьмы. И все пока сидели в кафе, занимаясь своим делом, расплачивались сигаретами, отечественными и заграничными, и заключали сделки, которые в обычные времена казались бы фантастическими, но сейчас, в фантастические послевоенные времена, считались вполне нормальными.

Появились цыгане в старой, выцветшей, потертой, но элегантной одежде, и взводный Коза уже подпевал им, а накрашенные девицы подтягивали вместе с ним; взводный появлялся в Братиславе лишь раз в две недели и желал хорошенько поразвлечься.

Марек удивленно смотрел вокруг. Что тут происходит, как я попал сюда и почему сижу, почему еще сижу? Он сразу узнал этих людей с портфелями из свиной кожи и смотрел сейчас, как они наклоняются

друг к другу — губы вплотную к уху, и хорошо знал, что означает их шепот; ему казалось, что он сидит на чем-то липком и скользком и дышит липким и грязным воздухом; позор, хотелось ему крикнуть, позор дышать подобным воздухом, быть среди этих людей; это позор, капитан Лабуда; таким воздухом нельзя дышать, и так нельзя жить. Но, посмотрев на капитана, Марек увидел, как тот безнадежно и мрачно пьет, и так ничего и не сказал — он вдруг понял, что чувствует всеми покинутый калека капитан Лабуда, но тут же отогнал эту мысль, ибо она несла с собою сочувствие и жалость.

— И это все, капитан? — спросил Марек, вставая из-за стола.

— Нет, — ответил капитан Лабуда. — Мы еще с тобой не свели счеты.

— Но я все же пойду, — сказал Марек, стоя у стола и стараясь не поддаваться жалости и сочувствию. Но тут поднялся капитан Лабуда, поднялся, тяжело опираясь руками на стол, и резким движением схватил Марек за плечо.

— Не смеешь! — крикнул капитан. — Не смеешь идти, я тебя не пущу! — говорил он, крепко держа Марек за плечо; это было стальное объятие, прежняя сила капитана, и Марек напрасно дернул плечом, пытаясь вырваться. Но внезапно объятие ослабело, капитан Лабуда схватился за спину и тяжело рухнул на стул. Он с трудом переводил дыхание, его лицо покраснело, а руки безвольно и вяло повисли вдоль тела.

— Я все же пойду, — повторил Марек.

Но он не уходил, смотрел на капитана, стараясь отогнать от себя жалость и сочувствие и все-таки невольно жалея его — капитан был некогда красивым малым, а теперь он калека, настоящий калека, конченный человек. Война, подумал Марек, война, какая ужасная вещь война, и какие длинные руки у этой войны! Капитан Лабуда по-прежнему тяжело дышал, неподвижный и вялый, и Марек видел, как голова капитана клонилась к столу, словно ее тянул собственный вес, видел светло-каштановые кольца волос, оставшиеся такими же, как прежде, и всей душой жалел капитана, но внезапно Марек решил и заставил себя отойти от стола. Он кинулся через все кафе, не оглядываясь назад и стараясь не дышать липким и грязным воздухом, и вот он уже за

дверью; на тесной улочке было темно, пронзительно завывал холодный ветер, бросая в лицо мелкий колючий снег, но Мареку было сейчас хорошо и легко.

3

Архитектор Феркодич, шаркая домашними туфлями, ходил по комнатам своей виллы; вилла сохранилась, сохранились и ковры, и фарфор, во время перемены фронтов все было уложено, упаковано и спрятано в безопасном месте — в гараже под виллой. Сам же архитектор Феркодич не был в такой безопасности: когда-то он был депутатом Феркодичем, и это стало его уязвимым местом, но он все-таки тоже сохранился, проскользнул через Народный суд, как гладкая рыба без чешуи, за него замолвил слово родственник его жены, вернувшийся из Англии, и архитектор Феркодич отделался легким, условным наказанием. Он предстал перед судом как маленький скромный человек, которого обманули, оклеветали и который наконец опомнился, и с той поры все пошло у него довольно гладко.

Уже много дней он расхаживал по своей вилле и с облегчением убеждался, что все сохранилось, все осталось на своем месте, счастливо переплыв вместе с ним через водоворот, не произошло никаких крушений, да и сам он не потерпел крушения, выплыл. Уже много дней он ходил, останавливался перед шкафами, выдвигал ящики и осматривал пожелтевшее, никогда не бывшее в употреблении белье — много белья и много кружев, приданое для невесты; пани Гана была женщиной доброго старого времени, и все вещи выглядели весьма солидно. Осмотрел Феркодич и шкаф с фарфором, вытащил ящики с серебром и наконец открыл небольшой сейф, где лежали драгоценности — старые драгоценности и более изящные драгоценности, которые архитектор Феркодич покупал уже сам в первые годы супружества. Как это было давно! Да и было ли это? Уже много дней архитектор Феркодич расхаживал так по комнатам своей виллы, составляя опись имущества, и со дня на день все нетерпеливее подсчитывал это имущество, так называемое движимое имущество, которое никогда не двигалось, а лежало бездейтельно в ящиках и шкафах,

неподвижное и бесполезное. Уже немало дней архитектора Феркодича искушала мысль привести в движение это движимое имущество, пустить его в оборот и нажить на нем капитал. Страна возрождалась, газеты ежедневно писали о заживлении ран войны, настало время не только для рабочих, напрягших мускулы, чтобы сохранить жизнь себе и всей стране, настало время и для предпринимателей от строительства, пробил час для больших и маленьких строительных фирм; наступила пора их невиданного процветания, и казалось даже порой, что и война произошла лишь ради строительных фирм, ради их большого бума. В стране было немало молодых строителей, имевших чистое прошлое или не имевших никакого прошлого, они охотно приглашали такого пожилого, опытного строителя, как архитектор Феркодич, и не были слишком строгими; страна нуждалась в строителях, ей нужно было подняться на ноги, и подниматься ей помогали строительные фирмы; многие из них несколько лет назад помогали покорить ее, строя вместе с немецкими фирмами дороги, немецкие дороги, по которым немецкие солдаты хлынули на Восток.

Уже немало дней архитектор Феркодич вынашивал мысль превратить свое движимое имущество в подвижный капитал и ринуться, как он мысленно себе говорил, в вихрь работы, но что-то удерживало его — может быть, остаток нравственности, остаток уважения к вещам, которые прожили с ним много лет и стали своего рода священными реликвиями. К тому же он немного боялся, боялся неустойчивого послевоенного времени, которое он еще плохо знал, а к этому страху присоединялся и другой — Народный суд его все же наказал, и он пока опасался показываться в обществе. Но с каждым днем Феркодич становился все нетерпеливее — слишком удобен был случай и слишком заманчив, такие случаи выпадают раз в жизни. Он говорил об этом с Августином Шернером, и Августин Шернер придерживался того же мнения, обещая дать делу ход. Когда архитектор Феркодич думал об Августине Шернере, какое-то беспокойство овладевало им, какое-то раздвоенное чувство; надо было поговорить с Шернером, выяснить их отношения. Но он откладывал разговор со дня на день. Взаимоотношения Феркодича с Шернером

были весьма неясными, на них всегда влияли внешние обстоятельства, а эти внешние обстоятельства менялись. Пока архитектор Феркодич был исполнен страха перед новыми временами, пока над ним висела угроза Народного суда, у Августина Шернера было явное превосходство, и тогда казалось, будто Августин Шернер хозяин, а архитектор Феркодич жилец из милости. Но сейчас, по прошествии тех дней, архитектор Феркодич был снова в силе, а дела Августина Шернера пришли в упадок — он не сумел так быстро выплыть на поверхность, как Феркодич. Шернер ходил по кафе и болтал всякий вздор, и архитектор Феркодич уже начал сомневаться в его будущем; порой ему даже казалось, что теперь можно обойтись и без Шернера. С ним самим дело не было так безнадежно: перед ним открывались не только скрытые тропки, но и широкая открытая дорога. Во «Времени» он каждый день с большой радостью читал о приглашении на работу приличных людей — приличные люди были нужны позарез. А архитектор Феркодич не только сам считал себя приличным человеком, но твердо верил, что найдется немало людей, которые тоже будут считать его приличным человеком. Да и родственник его жены становился большим деятелем. И хотя архитектора Феркодича не очень-то любили в семье, считая гордецом, он все же верил в силу семейной взаимоподдержки: ему не дали упасть тогда, дадут и сейчас подняться.

Феркодич бродил по комнатам в домашних туфлях, в белой рубашке и брюках с подтяжками; порой он оттягивал подтяжки, а затем отпускал их, одновременно подсчитывая свое движимое имущество и свои шансы, и наконец решил, что нужно поговорить с Августином Шернером, этим болтуном и приживалом, который позволяет себе слишком много. Сейчас он уже забыл о своем страхе перед Народным судом и о том, как ему помог свидетель Августин Шернер. У Августина Шернера были очень хорошие справки о подпольной и повстанческой деятельности, и он дал показания, что архитектор Феркодич укрывал его, рискуя собственной жизнью. Сейчас Феркодич не нуждался в показаниях Шернера и поэтому, как человек не заинтересованный, мог видеть его в настоящем свете, и сейчас он видел, что Августин Шернер просто болтун из кафе, ничего пут-

ного из него не выйдет и потому не стоит с ним связываться. А как этот Шернер с ним держался, этот хам и приживал, держался, как господин и хозяин! Я должен с ним поговорить, решил архитектор Феркодич, должен ему тактично намекнуть, кто здесь хозяин, кому все принадлежит, а кто живет из милости, как простой жилец.

В кабинете на письменном столе он увидел разбросанные бумаги Шернера. Все это долой, подумал архитектор Феркодич, долой все эти стишки и поэмки! И что-то мелькнуло на длинном, лошадином лице Феркодича, какое-то подобие улыбки, так улыбается человек, ощутивший свое превосходство. Он сел за стол и вспомнил, что когда-то это было его любимое место.

Августин Шернер должен отсюда исчезнуть, это его, Феркодича, кабинет, и его письменный стол, и его вилла — все его, а Шернер лишь простой жилец и бедный приживал, который по каким-то туманным причинам присвоил кабинет архитектора Феркодича и его виллу, ест его мясо, пьет его сливовицу и ходит в его пальто. Да, еще это пальто, огорченно подумал архитектор Феркодич, еще и пальто, человеку приходится глядеть в оба, чтобы с него не сняли и рубашку. И он твердо решил поставить точку; наконец он снова станет тем, кем был, и он удивлялся самому себе, что так долго терпел этого заносчивого приживала, так долго не осмеливался свести с ним счеты, не замечал, что все в Шернере лишь видимость, а не реальная сила. Стишки, пробормотал Феркодич с презрением, чувствуя огромное желание бросить со стола бумаги Августина Шернера, но он порядочный человек, всегда был порядочным человеком, не хамом, и он решил — у вещей должен быть свой порядок, и на все свое время. Теперь он ждал Августина Шернера с нетерпением и был бы рад, приди Шернер поскорей; он не очень верил, что долго сможет быть таким смелым — ведь времена такие неустойчивые! Но Августин Шернер не приходил. Глуховатая прислуга накрывала на стол, и архитектор Феркодич надел пиджак и сел к столу, а после обеда прилег и занялся газетами. Это были славные минуты, лучшие минуты дня; еще несколько месяцев назад он попросту боялся газет, но сейчас страх прошел; «Время» была хорошая газета, при чтении ее человеку казалось, что он переносится в добрые старые дни: «Мы последовательно и без всяких

компромиссов выступаем против всякой реакции, стремящейся в какой-либо форме возродить фашизм, сюда же мы относим и тотальные тенденции любой идеологии» — эти не очень туманные слова были ясны и понятны архитектору Феркодичу, ибо он был порядочный человек, а подобные высказывания являлись идеологией порядочных людей. Слова означали: мы готовы уничтожить коммунизм, потому что мы порядочные люди. Несколько месяцев назад так еще не писали, но сейчас пишут, а архитектору Феркодичу это придавало мужества и отваги: значит, порядочные люди берут верх. С ними Англия и Америка, где немало порядочных людей, а Россия положена на лопатки, великан рухнул, победа обошлась ему слишком дорого, и к тому же на Западе есть атомная бомба. «Некоторым хотелось бы установить господство насилия, террора и диктатуры, систему, которую мы всей душой ненавидим, ибо ее глашатаями были Гитлер и Муссолини» — так писалось в газетах, смело и вызывающе, и архитектор Феркодич, читая, блаженно почесывал кончик носа. Так им и нужно, насолители им, и ему казалось, что в газете говорят его словами — ведь он всегда стоял за порядочность, хранил верность институту порядочности даже в фашистском парламенте, и сейчас он снова станет тем, чем был, ибо грядет его время. С завистью он углубился в объявления: строительная фирма приглашает... большая строительная фирма ищет... за этими короткими фразами он видел большой бум и, завидуя счастливым, удивлялся, что сам все еще сидит сложа руки. Архитектор Феркодич уже видел деньги, золотой дождь, десятиmillionные обороты и миллионные прибыли, и вот он решил: завтра, а может, и сегодня он превратит свое движимое имущество в подвижный капитал. Нельзя больше терять ни минуты, конец бездействию, пробил час больших дел. Присев на тахту, он стукнул себя по колену и вполголоса сказал: начинаю новую жизнь, завтра начнется новая жизнь.

Потом он вновь прилег, задремал, и ему приснился глупый сон. Пани Гана, его покойная жена, снова была жива и лежала на постели, под головой у нее были высоко взбитые подушки, и она смотрела прямо на него. Он старался скрыться от ее взгляда, но постель с пани Ганой была во всех комнатах; как она мешает, подумал

он брезгливо, и вот уже в комнате четыре парня двигают постель. Правильно, подумал архитектор Феркодич во сне, нужно ее вынести, раз она мешает, но парни напрасно старались, они были не в силах поднять постель; она привинчена, сказал один из парней, надо бы отвертку, но другой сказал — нет, здесь не винты, а большие клинья, ее заклинило. А пани Гана все лежала на постели и смотрела на архитектора Феркодича, и в ее взгляде не было упрека, нет, это был пустой, безжизненный взгляд, а потом все исчезло, и архитектор Феркодич проснулся. Уже смеркалось, в доме хлопали двери, и он почувствовал сквозняк. Но тут зажегся свет, и в дверях появился Августин Шернер, кричавший во весь голос: вставай, старина, вставай, мы выиграли в лотерею! Архитектор Феркодич хорошо знал, что он должен бы прикрикнуть на Шернера, он сразу вспомнил о своем решении, но внезапно у него исчезла вся решимость, сон совсем его сморил. Он сел и, протерев глаза, увидел, что вслед за Августином Шернером показалось еще одно лицо, женское; у женщины была сероватая шляпа с кокетливой вуалькой и рыжие волосы.

— Кто это? — с непонимающим видом спросил архитектор Феркодич.

— Актриса, — ответил Августин Шернер, и голос его прозвучал торжествующе, и весь вид у Шернера был торжествующий и решительный, и архитектор Феркодич решил отложить задуманный разговор, чувствуя сейчас себя слабым и нерешительным. — Драматическая актриса, — сказал Августин Шернер, и женщина улыбнулась, улыбка у нее была красивая и не менее красивые зубы. Августин Шернер присел на угол стола, радостно потирая руки.

— Манци, представьтесь, — сказал он.

Женщина вошла в комнату и вежливо поклонилась.

— Мерланова, — произнесла она отчетливо, с явным уважением к своему имени.

— Поет, играет, танцует. Талант. Не чувствуешь? Манци Мерланова. — Августин Шернер соскочил со стола, не в силах сидеть на месте.

— Вставай, старина, вставай, — сказал он, толкая Феркодича в бок. — Ведь у нас есть шампанское.

— Что случилось? — с непонимающим видом еще раз спросил архитектор Феркодич.

— Мы задумали одно дельце,— ответил Августин Шернер,— и вспрыснем его настоящим шампанским.

— Но что же все-таки случилось?

— Считай, что мы выиграли в лотерею,— заявил Августин Шернер.— С этой минуты мы начинаем жить,— объявил он торжественно, и архитектор Феркодиц удивился: это были его собственные мысли, его собственные слова.

— Не понимаю,— сказал Феркодиц.

— Наконец наш номер выпал! — воскликнул Августин Шернер. И рассказал Феркодицу о своей встрече с выдающимся деятелем; он рассказывал об этом уже в третий раз, и его роль с каждым разом становилась все благородней, сейчас в его рассказе уже были объяснения старых друзей (выдающегося деятеля с Августином Шернером), и Августин Шернер верил своей новой версии, ибо он всегда был склонен верить собственным словам, собственным жестам.

— А теперь мы это отметим,— сказал он, и архитектор Феркодиц опять удивился: Шернер словно прочел его собственные мысли и слова.

— Садитесь, Манци,— сказал Августин Шернер,— сегодня мы это отметим. Или вы хотите сначала посмотреть вещи?

— Сначала посмотреть,— ответила актриса.

— Какие вещи? — спросил архитектор Феркодиц.

— Манци здесь в торговых целях,— объяснил Августин Шернер.

— Что это значит? — архитектор Феркодиц все еще не понимал.

— У Манци связи,— ответил Шернер.

Архитектор Феркодиц продолжал сидеть на тахте, одетый в халат, под которым виднелась рубашка и подтяжки, он осторожно придерживал халат, закрывая подтяжки, и все еще удивлялся.

— У вас ведь немало вещей дамского обихода,— сказал Августин Шернер,— а Манци в этом деле знаток, не так ли, Манци?

— Да, немного разбираюсь,— призналась актриса.

Архитектору Феркодицу показалось, что он наконец понял.

— Подождите,— сказал он,— я сейчас!

Умываясь в ванной, он долго размышлял, не должен ли он все-таки взбунтоваться против Шернера; ему было жаль расставаться со своим первоначальным решением, к тому же его охватило чувство, что все эти знакомства Шернера не очень-то благонадежны и приличны. Но как поступить сейчас? Ведь Шернер говорил его слова, ему казалось, что у Шернера наконец появились возможности чем-то стать, и он, архитектор Феркодич, возможно, допустит ошибку, если не пойдет ему навстречу. Посмотрим, сказал он себе и еще немалое время кокетничал с мыслью о бунте против Шернера, хотя в душе уже знал, что смирится. Прицепив галстук-бабочку, он окончательно оделся, надушился; мельком взглянул на себя в зеркало — ему показалось, что вид у него благородный и элегантный.

Потом они долго ходили по комнатам, словно какая-то комиссия, актриса осматривала все очень основательно, легко касаясь вещей своими опытными пальцами и молча переходя от ящика к ящику; она все посмотрела, все оценила, но так и не сказала ни слова. Августин Шернер расплывался в улыбке, потирая руки: наконец-то двинулось, наконец-то вещи будут пущены в оборот, отныне начинается новая жизнь, все придет в движение и завертится. Архитектор Феркодич смотрел на пальцы актрисы немного сердито, это были чужие тальцы, бесстыдно трогавшие вещи, чем-то дорогие Феркодичу, но потом он заставил себя смотреть только на женщину. Актриса оказалась довольно полной женщиной в плотно облегающем сером костюме, ее красноватые волосы свободно падали на плечи, и вся она распространяла вокруг себя аромат, от которого у архитектора шевелились ноздри. Феркодич уже давно жил отшельником, и эта женщина, появившаяся так неожиданно, волновала его, ему казалось, что это его идеал, что он давно мечтал о такой женщине с пышными формами, рыжими волосами и белой, как сметана, кожей. Она долго любовалась драгоценностями, легко касалась их и ласково поглаживала, и архитектор Феркодич, приблизившись к ней и вдыхая аромат ее духов, смешанный с запахом хорошо вымытой кожи, любезно говорил с ней:

— Извините мою смелость, в каком театре вы выступаете?

— Простите? — Актриса, видимо, не слышала вопроса, не в силах оторваться от драгоценностей.

— Поет в варьете, — сказал Августин Шернер. — Пока что поет в варьете, но это временно. Она талант, все так говорят, она пробьется, не так ли, Манци?

Манци с трудом отвела глаза от сейфа с драгоценностями.

— Да, это временно.

— Вот как... Благодарю, — сказал архитектор Феркодич, слегка разочарованный.

Искусство он уважал главным образом за то, что сам был к нему совершенно неспособен. По его мнению, оно служило отличным и достойным дополнением к хорошему костюму порядочного человека. К тому же он считал, что в искусстве таится что-то развратное и актрисы своей развращенностью лишь усиливают наслаждение. Правда, певичка из варьете — это было не слишком приличным и не звучало красиво; он уже знал таких певичек, у всех у них был приблизительно один и тот же опыт и одни и те же желания. Но эта была такой телесной и на ее затылке светлели такие нежные, трогательные волосы, что у Феркодича закружилась голова.

— Итак, Манци, на сколько здесь всего? — спросил Августин Шернер.

— Не знаю, — ответила актриса.

— Ну, говорите, говорите, Манци. Ведь вы в этом разбираетесь.

— Правда, не знаю. Здесь так всего много.

— Разумеется, — заявил Шернер с гордостью владельца. — И все это добротное, наилучшего качества. Марка лучшего качества. Многолетняя традиция.

— Мы не на распродаже, — сердито заметил архитектор Феркодич и поморщился.

— Не сердись, старина, — сказал Августин Шернер. — Нужно же как-то начать. Выбросим жалость в глубины забвения. Смелей! Смелей!

Шернер остановился в центре комнаты, оживленно жестикулируя, поднял руку и весь как-то подался вперед; сейчас он начинал плавание, стоя на капитанском мостике. Капитанского мостика он никогда не видел, но это ему не мешало — ему хватало слов и жестов, слова

Умываясь в ванной, он долго размышлял, не должен ли он все-таки взбунтоваться против Шернера; ему было жаль расставаться со своим первоначальным решением, к тому же его охватило чувство, что все эти знакомства Шернера не очень-то благонадежны и приличны. Но как поступить сейчас? Ведь Шернер говорил его слова, ему казалось, что у Шернера наконец появились возможности чем-то стать, и он, архитектор Феркодиш, возможно, допустит ошибку, если не пойдет ему навстречу. Посмотрим, сказал он себе и еще немалое время кокетничал с мыслью о бунте против Шернера, хотя в душе уже знал, что смирится. Прицепив галстук-бабочку, он окончательно оделся, надушился; мельком взглянул на себя в зеркало — ему показалось, что вид у него благородный и элегантный.

Потом они долго ходили по комнатам, словно какая-то комиссия, актриса осматривала все очень основательно, легко касаясь вещей своими опытными пальцами и молча переходя от ящика к ящику; она все посмотрела, все оценила, но так и не сказала ни слова. Августин Шернер расплывался в улыбке, потирая руки: наконец-то двинулось, наконец-то вещи будут пущены в оборот, отныне начинается новая жизнь, все придет в движение и завертится. Архитектор Феркодиш смотрел на пальцы актрисы немного сердито, это были чужие пальцы, бесстыдно трогавшие вещи, чем-то дорогие Феркодишу, но потом он заставил себя смотреть только на женщину. Актриса оказалась довольно полной женщиной в плотно облегающем сером костюме, ее красноватые волосы свободно падали на плечи, и вся она распространяла вокруг себя аромат, от которого у архитектора шевелились ноздри. Феркодиш уже давно жил отшельником, и эта женщина, появившаяся так неожиданно, волновала его, ему казалось, что это его идеал, что он давно мечтал о такой женщине с пышными формами, рыжими волосами и белой, как сметана, кожей. Она долго любовалась драгоценностями, легко касалась их и ласково поглаживала, и архитектор Феркодиш, приблизившись к ней и вдыхая аромат ее духов, смешанный с запахом хорошо вымытой кожи, любезно заговорил с ней:

— Извините мою смелость, в каком театре вы выступаете?

— Простите? — Актриса, видимо, не слышала вопроса, не в силах оторваться от драгоценностей.

— Поет в варьете, — сказал Августин Шернер. — Пока что поет в варьете, но это временно. Она талант, все так говорят, она пробьется, не так ли, Манци?

Манци с трудом отвела глаза от сейфа с драгоценностями.

— Да, это временно.

— Вот как... Благодарю, — сказал архитектор Феркодич, слегка разочарованный.

Искусство он уважал главным образом за то, что сам был к нему совершенно неспособен. По его мнению, оно служило отличным и достойным дополнением к хорошему костюму порядочного человека. К тому же он считал, что в искусстве таится что-то развратное и актрисы своей развращенностью лишь усиливают наслаждение. Правда, певичка из варьете — это было не слишком приличным и не звучало красиво; он уже знал таких певичек, у всех у них был приблизительно один и тот же опыт и одни и те же желания. Но эта была такой телесной и на ее затылке светлели такие нежные, трогательные волоски, что у Феркодича закружилась голова.

— Итак, Манци, на сколько здесь всего? — спросил Августин Шернер.

— Не знаю, — ответила актриса.

— Ну, говорите, говорите, Манци. Ведь вы в этом разбираетесь.

— Правда, не знаю. Здесь так всего много.

— Разумеется, — заявил Шернер с гордостью владельца. — И все это добротное, наилучшего качества. Марка лучшего качества. Многолетняя традиция.

— Мы не на распродаже, — сердито заметил архитектор Феркодич и поморщился.

— Не сердись, старина, — сказал Августин Шернер. — Нужно же как-то начать. Выбросим жалость в глубины забвения. Смелей! Смелей!

Шернер остановился в центре комнаты, оживленно жестикулируя, поднял руку и весь как-то подался вперед; сейчас он начинал плавание, стоя на капитанском мостике. Капитанского мостика он никогда не видел, но это ему не мешало — ему хватало слов и жестов, слова

и жесты менялись, смотря по обстоятельствам, но вера в них у него оставалась крепкой и непреклонной.

— Это мои вещи, — упрямо твердил архитектор Феркодиш.

— Они станут твоим капиталом, — ответил Августин Шернер, — твоим капиталом и твоим будущим, станут твоими крыльями. Орел среди строителей. Великан появляется из волн.

— С этими волнами как-то иначе, — сказала актриса улыбаясь: у нее была красивая улыбка и влажные красивые зубы.

— Неважно. Старый хлам! Долой мифологию, да здравствует жизнь! Я только хотел сказать, что лично мне капитал не нужен. Все для друга! Я свой капитал ношу в голове!

— Хорошо, если вам его хватит, — сказала актриса и снова улыбнулась — на этот раз ее улыбка предназначалась архитектору Феркодишу. Улыбка была очень ясной. она словно говорила, что оба они договорятся и через голову Августина Шернера.

— Что за вопрос! — презрительно воскликнул Августин Шернер. — Теперь передо мной открываются все дороги и двери. Что мне теперь земное притяжение? Я снимаю с себя цепи и возношусь в чистые широкие просторы.

— А внизу прозябают ничтожные насекомые, черви, — сказала актриса.

— Не вижу. — сказал Августин Шернер. — Я так высоко, что ничего не вижу, лишь чувствую, как они там копошатся.

— Лучше спуститесь на землю. — предложила Манци. — Пока есть время. Одно такое насекомое хочет пить.

— Вы правы! — воскликнул Шернер. — О шампанском забывать не следует! Оно старое и действительно настоящее. Так давайте разольем честное старое шампанское за начало новой жизни.

— Ура! — зааплодировала актриса. И добавила, обратясь к архитектору Феркодишу: — Ну как, договоримся?

— Мы с вами договоримся, — тихо ответил архитектор Феркодиш. — Мы с вами наверняка договоримся. Если вы разрешите мне быть смелее.

— Разрешаю,— сказала Манци и снова улыбнулась; улыбка говорила, что женщина прекрасно видит алчность, откровенно сквозящую во взгляде архитектора Феркодича, и в ее улыбке таилось обещание. Улыбка была многозначительной, актриса слыла женщиной опытной.

Все перешли в столовую, Августин Шернер на миг исчез, а архитектор остался наедине с женщиной, охваченный желанием коснуться ее нежных светлых волосков на затылке.

— Вы чудесны,— сказал он, и рука у него задрожала,— извините мне мою смелость.

— Ах, что вы,— сказала Манци, улыбаясь архитектору Феркодичу; Феркодич видел совсем близко ее губы, в уголках губ еще не стерлась помада, но он видел лишь красные губы, белую, как сметана, кожу и влажные зубы и не замечал, что улыбка у женщины искусственная и усталая.

— Мне нравится старая школа,— сказала актриса.

— Но я не такой уж старик,— поморщился архитектор Феркодич.

— О, я не то имела в виду. Вы человек старой школы. Любезный и деликатный. Noblesa¹ сейчас уже не в моде. Нынешняя молодежь думает лишь об одном. Слово, помимо этого, ничего и не существует.

— Вы правы,— сказал архитектор Феркодич, который тоже думал лишь об одном.— Все это грубый материализм.

— Все они слишком грубы,— продолжала актриса,— слишком скоры и грубы. Не мой вкус.

— Думаю, что мы договоримся,— сказал архитектор Феркодич.

— Тсс,— прошептала Манци.

Вошел Августин Шернер и принес бокалы и бутылку, глуховатая прислуга ковыляла за ним с хлебом и салом.

— У нас ничего нет, только сало,— сказал Августин Шернер,— сало и шампанское. Отчизна и весь мир. Народ с Татр подаст руку всему миру. Наконец и мы сядем за стол. Мы победили и будем сидеть за столом, а не только обглаживать кости.

— Вы все время словно декламируете,— заметила актриса.

¹ Благородство (искаж. франц.).

— Но ведь я поэт! — горделиво воскликнул Шернер. — Мы наконец придем в движение и завоюем мир. Сегодня наш старт, и это сигнал к старту.

Шампанское, выстрелив пробкой, текло у него по руке. Он быстро наполнил бокалы.

— Ваш старт не удался, — усмехнулась Манци.

— Не беда, — ответил Августин Шернер. — Мы повторим старт. Мы нагоним, Манци, нагоним, хоть мы и отстали. Мы отстали на тысячу лет, и сейчас нам придется нагонять.

— Тысячу лет! Я когда-то уже слышала об этом, — сказала актриса.

— Каждая минута должна равняться году, — продолжал Августин Шернер. — Как это говорили старики? *Carpe diem!*¹ Для нас не подойдет темп улитки. Нельзя терять ни минуты. Ускорить время, разбить его на маленькие отрезки и высасывать, как тук из кости.

— На здоровье, — воскликнула Манци, — тук из кости я люблю. — Она отпила из бокала, и ее глаза под выщипанными бровями заблестели. Архитектор Феркодич коснулся коленом ее ноги. Она не отодвинулась.

— Шампанское и вправду настоящее, — сказала Манци.

Она сняла жакет и осталась в легкой кремовой блузке, высоко поднимающейся на пышной груди. Лошадиное лицо архитектора Феркодича выражало полную сосредоточенность: в уголке рта показался кончик языка, ноздри большого носа подрагивали.

— Выпьем, — предложил Августин Шернер, — давайте выпьем. Нужно скорее жить, чтобы догнать время. Ускорить темп жизни, насколько возможно, в одну минуту проживать целое столетие. Нужно овладеть временем и победить его.

— Законченный философ, — сказала Манци. — А на первый взгляд похож на официанта.

— Официанта! — воскликнул презрительно Шернер и сердито добавил: — И как вы можете так говорить?

— Ха-ха-ха! — Лошадиное лицо архитектора скривилось от смеха. Он еще сильнее прижал свое колено к ноге актрисы и зажмурил глаза.

— Простите, Августин, — продолжала Манци. —

¹ Лови мгновение! (лат.)

У вас невозможное имя: Августин, Густа, не в моем вкусе. И вы не виноваты, что похожи на официанта.

— Я поэт! — оскорбленно воскликнул Августин Шернер.

В последнее время он редко вспоминал о своей исторической миссии, но сейчас он был оскорблен, расчувствовался и вновь вспомнил, что он поэт. Я поэт, думал он, пока еще поэт, сначала поэт, а потом уже все остальное, и это все остальное — неизбежность, низость и грязь. Он попробовал припомнить кое-что из своих последних стихов — сейчас он писал полные глубокого смысла философские стихи, кокетничал с богом и космосом, с бесконечностью, всеобщей гибелью и смирением. Да, со смирением. Как у него там было с этим смирением? «В космической тиши идти, в смирении колени преклонить, бог над нами простирает свой плащ, пустота, бездна и дали необозримые, бог смотрит на нас всевидящим стеклянным оком...» И дальше, как же дальше? И почему стеклянным? Стихи расплывались в тумане — мне нужно к ним вернуться, думалось Шернеру; но стихи казались такими далекими, а близким было все остальное — неизбежность, низость и грязь.

Они выпили второй и третий бокал шампанского; глаза актрисы блестели, словно в них капнули атропина, плотно натянутая на груди кремовая блузка высоко вздымалась, и пуговицы на ней были готовы вот-вот оторваться и освободить пышную грудь, белая, сметанная кожа слегка порозовела, кровь под ней пульсировала быстро и стремительно. У архитектора Феркодича вспотели ладони, каждую минуту он вытирал их о скатерть, но ладони все потели и потели, от волнения даже на лбу у него появились капельки пота. Прижав коленом ногу актрисы, он склонился к ней и шептал: ах, Манци, разрешите мне вас так звать, позвольте мне стать смелее! И продолжал шептать: вы чудесны, Манци, вы настоящая богиня. И богиня встала, сказав: «Ну а сейчас я вам кое-что покажу». И действительно показала. Приподняв узкую юбку и открыв полные ноги и подвязки, Манци, припевая, неожиданно начала отплясывать чечетку. Потом, разгоряченная, она опустилась на колени архитектора и залпом выпила бокал шампанского. Архитектор Феркодич волновался, как семнадцатилетний юнец, дрожащими руками поглаживал бедра

актрисы, и в уголке его сознания что-то пело: теперь все начнется, все начнется снова, наконец-то жизнь начинается снова. Августин Шернер молча смотрел на них и пил, оскорбленный в лучших чувствах; он видел протест и бунт Феркодича, но решил не выпускать его из рук.

Актриса посмотрела на часы и сразу как-то сникла, ее глаза вновь стали усталыми, она поднялась — и все кончилось.

— Мне нужно идти, — сказала она.

— Но Манци, — заикался от волнения Феркодич, протягивая к ней дрожащие руки, — ведь это невозможно.

— Меня ждет работа, — упорствовала актриса.

— Ее ждут гости, — язвительно заметил Шернер.

— У меня ангажемент, — повторила Манци, — я на него живу.

— Постойте, — продолжал взволнованный архитектор Феркодич, — вы не должны, вообще не должны туда идти. Оставайтесь здесь, Манци. Оставайтесь, прошу вас.

Манци заколебалась, вспомнив о стальном сейфе и семейных драгоценностях и о других шкафах и ящиках, она стояла в нерешительности и смотрела усталыми глазами на архитектора Феркодича, да, сейчас она на распути, но ей нельзя ошибиться; Манци была мудрой и опытной женщиной.

— Мне пришлют неустойку, — сказала она наконец.

— Ну что за мелочь, — быстро ответил архитектор Феркодич, капельки пота дрожали у него теперь на кончике носа; он вынул платок, вытер лицо и лоб и схватил актрису за руку. — Все это мелочь, Манци, я заплачу.

— Наш старикан взыграл, — сказал Августин Шернер и зло усмехнулся. — Посмотрите-ка на него, как он взыграл. Прямо весенний петушок. Только имейте в виду, Манци, он старый скряга. И вам не выбить из него много.

— Фу, — сказала актриса и вырвала руку, которую держал архитектор Феркодич. Энергичным движением она надела жакет и презрительно бросила: — Как вам не стыдно, поэт!

— Нарочно наговариваешь! — кричал архитектор Феркодич на Шернера. — Прощу тебя, перестань! Перестань сейчас же!

— Простите,— сказал Августин Шернер, вежливо шевельнув усиками.— Извините, уважаемая. Я...

— Вы не должны уходить,— сказал архитектор Феркодич и, умоляюще глядя на Манци, вновь схватил ее за руку.— Вы так чудесны, словно звезда. Богиня!

Актриса наконец решилась.

— Хорошо,— сказала она,— но никаких дерзостей.

— Я выгоню его! — воскликнул архитектор Феркодич.— Как только он откроет еще раз рот, я выгоню его. Это мой дом, все здесь мое. Я могу его выгнать, если захочу.

Ну, это мы еще посмотрим, хотелось сказать Августину Шернеру, еще посмотрим, кто поедет, а кто пойдет. Но он не сказал ничего, архитектор Феркодич разошелся, походил на разъяренного быка, и, хотя Шернер уже порядочно опьянел, он так и не сказал ничего. Он привык пить и всегда умел владеть собой, если речь шла о важных вещах. Вот и сейчас дело приняло серьезный оборот, и он мог проиграть из-за глупости. Шернер открыл новую бутылку, теперь уже со всей церемонией; пробка выстрелила, и из бутылки потянулся легкий дымок, как при настоящем выстреле.

— Молчу,— сказал он.— Я...— И мгновенно наполнил бокалы; вино шипело и искрилось.

Актриса снова сделала глоток из бокала, архитектор Феркодич минуту блуждал коленом под столом, но наконец нашел ногу актрисы и уперся в нее. Она улыбнулась в ответ. Зубы у нее влажно блестели.

4

Олина гладила; на ней был старый выцветший халат, волосы были подвязаны шнурком от туфель, одна из золотистых прядей падала ей на глаза, падала каждую минуту, и каждую минуту Олина сердитым движением поправляла ее. Олина была усталой и злой, она ненавидела этот день, день стирки, бесконечный день... бесконечная работа, тяжелая до отчаяния, и повторялась она с безнадежной монотонностью.

Олина вообще ненавидела домашнюю работу, эти домашние галеры, и никогда не понимала, неужели так важно всегда иметь чистые занавески, неужели так важ-

но, чтобы на ковре не было ни пылинки, ни пятнышка; раньше она не замечала подобных вещей, они существовали помимо нее, были естественными, о них заботился какой-то скрытый механизм, а потом, потом в ее жизни подобных забот вообще не существовало, и вот сейчас они обступили Олину, окружили со всех сторон, овладели ею. Порой она поднимала голову от работы и оглядывала все, словно желая понять, зачем она здесь и что делает. Почему я встаю утром рано, спрашивала Олина себя, и готовлю чай, почему долгими часами стою в очередях перед магазинами и берегу карточки как зеницу ока, почему считаю деньги, считаю всегда, когда хожу и когда на миг присаживаюсь, почему подметаю и натираю паркет и ищу водопроводчика исправить ванну? Почему, почему? Разве такой жизни ожидала я, разве такая жизнь должна была наступить для меня? Она понимала, что это не жизнь, а какой-то дурацкий круг, дурацкий замкнутый круг, по которому когда-то в шахтах ходили слепые лошади, ходили и тянули лямку, дурацкий круг, круг для слепых лошадей.

Она порой отрывалась от работы и оглядывала все вокруг себя. Когда-то здесь была модно обставленная мансарда, тайная холостяцкая квартира фашистского главара, и большая половина обстановки выглядела весьма легкомысленно и интимно. Большая лампа с китайским абажуром, мягкая софа и мягкие кресла, много туховых и вышитых подушек и большой приемник с радиолой: настоящее гнездышко любви. Но другая часть обстановки была строгой и невзрачной. Письменный стол со стертым лаком, кровать маленького Марека, расштанная и скрипящая при каждом движении; в тесной передней висела старая солдатская шинель с большой выжженной дырой на спине и стояли старые солдатские сапоги без подметок. И это-то и было жизнью и действительностью, а гнездышко любви — лишь сказкой и ложью. Порой Олина бросала работу и оглядывалась вокруг в недоумении: все вещи она видела тысячу раз и тысячу раз их касалась, но это не были ее вещи, они не принадлежали ей, они были ее врагами, сторожили ее и хотели, чтобы она им принадлежала. Маленький Марек, согнувшись на своем стульчике, скакал, как на коне, по ковру; лицо у него покраснело от усердия, и он кричал «Гей! Гей!», погоняя свой стул.

Олина вздохнула. Да, Марек чудесный малыш, как ангелок, как картина, и Олина его любила, но порой ей казалось, что он, как и все вещи, заставляет ее ходить по этому дурацкому кругу, словно слепую рудничную лошадь, а порой ей даже представлялось, что маленький Марек сливается для нее с остальными вещами — с ковром и с занавесками, с дешевым мылом для стирки и с запахом белья, сливается со всеми теми вещами, которые она ненавидит; и в такие минуты Олина боялась самой себя.

Она прикусила немного полную губу и, еще раз вздохнув, принялась гладить дальше; маленький Марек проковылял в переднюю, и стало тихо; на улице тоже стояла тишина, за окном лежал тихий квартал, сейчас весь заснеженный, среди домов виднелись тропинки в снегу — все выглядело так, будто их дом находился где-то за Полярным кругом. На улице стояла тишина, но и тишина не была привычной и успокаивающей, а дурацкой и нудной, бесконечная застывшая тишина, которая действует на нервы и от которой никуда не скрыться. Боже мой, вздохнула Олина, боже мой, и когда все это кончится? Но тут же усмехнулась — что должно кончиться? Ведь все только началось, началась новая жизнь, как об этом говорят, все только началось, и почему все должно кончиться? А что пришло бы потом, если все кончится, что нового началось бы для нее, Олины, разве ее может что-нибудь ждать? И ей казалось, что на ее судьбе совершенно не отражается то, что происходит там, во внешнем мире, откуда к ней проникал лишь далекий и странный шум и грохот, который не имел никакого отношения к ее жизни, и с каждым днем она все больше и больше считала свою жизнь ничтожной и навеки загубленной. Правда, у нее был Марек, и Марек ее любил, но и любовь его словно все время бродила по кругу — в первые же месяцы все вошло в колею и потом лишь размеренно повторялось; и любовь бродила по кругу, словно слепая лошадь на шахте, по скучному, нудному, бесконечному кругу. Да и Мареку теперь она была не так нужна, как прежде, он стал совсем другим, более сильным и зрелым, у него было много работы и много друзей. Олина ему становилась нужна лишь здесь, среди этих четырех стен, нужна для того, чтобы гладить, стирать и варить, стоять

в очередях и спать с ним. Вот она, их любовь, думала Олина и со злостью водила утюгом, вот она, любовь, и сразу ей представилось июньское утро, она идет в школу, слабый ветерок дует ей в лицо, развеивает волосы, и она свободна от всего, легка, как этот ветер, и все прохожие оглядываются, а она знает, что красива, что радуется свежестью, и она шла по улице, отдаваясь легкому ветерку и мужским взорам, шла, охваченная туманной и очень сладкой грезой, головокружительной грезой любви, еще никогда никем не испытанной.

И это было, боже мой, всего лишь три года назад, просто невероятно, что всего три года назад, но действительно это так, сейчас ей только двадцать два, она еще молода, хотя кажется, что все было не на этой земле, а где-то на другой планете.

Вдруг что-то оторвало ее от размышлений, какой-то звук нарушил тишину, ну конечно, плеск воды в ванной, наверно, маленький Марек — и что он опять натворил? Олина быстро кинулась к ванной — маленький Марек с героическим видом стоял на стуле и пускал воду, уже давно ему хотелось пустить воду, но никогда не удавалось, а он очень хотел услышать плеск, похожий на песенку. И вот сейчас удалось, и он стоял на стуле и играл со струей воды, хватал струю руками, но струя была живая и никак не ловилась. Олина уже в дверях увидела, что случилось, увидела, что Марек весь мокрый и его придется переодевать, ужасно непослушный и непоседливый ребенок, всегда с ним одни муки — и, схватив его со стула, она со злостью ударила малыша по рукам. Маленький Марек еще улыбался, еще слышал плеск воды, звучащий, как песенка, и считал себя победителем, но тут он почувствовал удар и, сразу поняв, что его обидели, вырвался из материнских рук и разревелся. Олина потащила малыша в комнату и, все еще охваченная злостью, поставила его на пол, а он бросился на ковер, принялся реветь и бить ножками — ведь для него это была вопиющая несправедливость и обида. Олина подскочила к утюгу, но уже поздно — из-под утюга шел дым. Дымилась рубашка Марека, неделю назад она купила ее по талонам, единственная белая рубашка у Марека, он так ей радовался! Олина выключила утюг, отставила его и посмотрела на сожженную рубашку, а маленький Марек продолжал реветь; она

подняла его с пола и, утешая, вытерла ему нос, вытерла слезы, бегущие по толстым щекам; Марек больше не плакал злыми слезами, а лишь жалобно хныкал, у него уже ничего не болело, и было хорошо с мамой, но он хныкал, его обидели, а сейчас ему хорошо, ведь его ласкали и жалели. Олина села с Марексом на кушетку и утешала его: не плачь, мой маленький, мой сладкий, мой единственный, мама злая и плохая, никуда не годная и ни на что не способная мама, не плачь, а то и мама заплачет; Олине очень хотелось заплакать из-за малыша и сожженной рубашки и из-за своей жизни. Маленький Марек еще разок засопел и успокоился, слез с ее колен и отправился искать стул — своего коня. Ей пришлось принести его стул из ванной, и маленький Марек, усевшись верхом на стул, принялся ездить по всем углам комнаты — он путешествовал по таинственным и совершенно незнакомым ему местам. Олина устало поднялась, взяла в руки сожженную рубашку и стала рассматривать ее. К счастью, рубашка была спалена лишь внизу, может, удастся что-нибудь придумать. Но тут послышался звук ключа в замке, открылась дверь, и тяжелые шаги прозвучали в передней; маленький Марек остановился, крикнул: «Папа! Папа!» и заковылял к двери. «Здравствуй», — сказал Марек, поднял малыша, подбросил его в воздух и потом ласково коснулся Олиных волос. На Марексе были галифе и артиллерийские сапоги, но пиджак был штатский, черный двубортный и тесноватый. Марек раздался в плечах и уже с трудом влезал в старый пиджак.

Он стал разуваться, а Олина вновь взялась за утюг и, не повернув к нему головы, сказала:

— Скоро будешь приходить ночью.

— Я не мог раньше, — ответил Марек виновато.

— Ты никогда не можешь.

— Сегодня я действительно не мог.

— Мне уже знакома твоя пластинка: я встретил одного приятеля, — зло бросила Олина.

— Ты права, — сказал Марек, — я действительно кое-кого встретил.

— Ах, — вздохнула Олина, — просто невыносимо.

Марек встал, подошел к Олине и погладил ее по плечу.

— Я тебе действительно нужен? — Наклонившись, он хотел ее поцеловать, но она отвернулась.

— Ты пил, — сказала она брезгливо, — оставь меня в покое.

— Да, я немного выпил, — сказал Марек и виновато поморщил нос.

— Этого мне еще не доставало ко всему прочему! — воскликнула Олина.

— К чему ко всему? — спросил Марек.

Маленький Марек крикнул «папа» и схватил его за ногу. Ему хотелось к отцу на руки. Марек поднял его, и малыш, довольный, засмеялся.

— Да он весь мокрый, — сказал Марек, — надо бы его переодеть.

— Ну и переодень, — отрезала Олина.

Марек переодел малыша, он делал это не первый раз, но все еще неловко, и маленький Марек отбивался и визжал, ему не нравилось, когда с ним обращались, как с безжизненным предметом.

— Что ты имела в виду? — спросил он, возвращаясь к прежнему разговору. — Что значит «ко всему прочему»?

Олина не ответила, и Марек почувствовал, как им овладевает плохое настроение, он противился ему, но настроение все падало и падало; теперь у него нередко дома бывало плохое настроение, а ведь вне дома все было ясным и простым: интересная работа, интересные люди, а дома все было запутанным, словно тысячи невидимых нитей протянулись по комнате, и оба они, Олина и Марек, постоянно путались в них. Он знал, что Олина чем-то недовольна, и, возможно, мог бы разобраться в причине ее недовольства, если бы захотел, но Марек боялся осложнений и старался не думать о них.

— Ты еще долго будешь гладить?

— Пока не кончу.

— Мне хочется есть.

— А ты что, без рук?

— Нет. Я-то нет, — ответил Марек уже со злостью.

В последнее время так бывало часто: невинные слова вдруг становились оскорбительными и даже мелочи ранили. Он разогрел гуляш в передней, где стояла у них газовая плита, и накрыл скатертью половину стола.

— Гуляш какой-то сладкий, — сказал Марек.

— Разумеется, сладкий, раз он из конины, — ответила Олина.

— У тебя уже нет карточек?

— Ты угадал, — ответила Олина.

— Да, дело плохо, — сказал Марек, но он был голоден и потому ел с аппетитом. Есть он мог что угодно, в еде был неразборчив, привык к этому в горах.

— Некоторые получают все и без карточек, — продолжала разговор Олина.

— Ну, это спекулянты, — ответил Марек.

— А мне все равно, как ты их называешь, — заметила Олина колко. — Но у них есть хорошее мясо. У них есть все, о чем я только с трудом вспоминаю.

— Но это нечестно, — сказал Марек.

— Зато ты честный! — воскликнула Олина насмешливо. — Вот и ешь конину, раз ты такой честный!

— Разумеется, честный, — разозлился Марек. — Вот и ем конину.

— Приятного аппетита! — сказала Олина.

— Папа! — закричал маленький Марек и забрался к нему на колени.

— Можно дать ему картошки?

— Можно, — уже спокойнее ответила Олина. Она кончила гладить и теперь ровняла белье.

Я не должна быть такой, думала она, не должна так плохо относиться к Мареку. Марек хороший человек и любит меня. Но я не виновата, это сидит во мне и вдруг появляется, и это нельзя удержать и остановить, как нельзя остановить водопад.

— Олина, — тихо произнес Марек, — почему ты такая?

— Весь день я стирала и гладила, я просто устала.

— Теперь ты часто бываешь такой.

— Наверно, я часто бываю усталой.

Олина убрала белье и наконец села, наконец она смогла присесть. Марек взглянул на нее, вид у нее был действительно усталый, она сидела, сложив руки на коленях и опустив плечи.

— Ты похожа сейчас на маленькую девочку, — сказал Марек, — на маленькую девочку, которая потерялась в лесу и вот-вот заплачет.

— Меня всю ломает, — пожаловалась Олина, — с ума можно сойти от этого белья.

— Ты все очень близко принимаешь к сердцу. Ведь ты же знаешь, что нужно немного потерпеть, пока Марек подрастет. Потом мы что-нибудь организуем.

— Ты словно для этого родился, — сказала Олина. — У тебя большие способности ко всякой организации.

— Не бойся, — успокаивал ее Марек. — Как-нибудь одолеем. — Он ушел в ванную и, моя руки, крикнул: — Знаешь, кого я встретил?

— Откуда мне знать!

— Попробуй угадай. Наш общий знакомый.

— Я не умею угадывать.

— Твой хороший знакомый, — продолжал Марек.

— Не могу угадать, — ответила Олина, уже чувствуя, о ком идет речь. Кровь ударила ей в лицо, она сразу поняла, о ком говорит Марек.

— Я встретил Лабуду, — произнес наконец Марек.

— Убери полотенце, — сказала Олина. — Почему ты не повесишь его на место?

Марек послушно вернулся в ванную, и за этот краткий миг Олина пришла в себя.

— И вы, разумеется, выпили?

— Выпили мы совсем немного, он заставил меня.

— Заставил тебя! А кто он такой, чтобы заставлять тебя?

— Он все еще хочет сгибать железо.

— И ты поддаешься?

— Не совсем. Знаешь, что он от меня хотел?

— Опять я должна угадывать?

— Ну, этого ты не угадаешь! Он хотел взять нашего сына.

— Взять Марека?!

— Ни больше ни меньше. Взять нашего сына.

— Это отвратительно!

— Он ходит на костылях, — сказал Марек. — Что-то у него со спиной, кажется, неизлечимо. И чувствует, говорит, себя одиноким, вот потому и требует нашего сына. Заявляет, что это ведь его сын. Но я ему объяснил, что Марек наш сын — мой и твой.

— Просто невероятно! — воскликнула Олина.

— Наверняка он никогда о нем не думал. Увидел меня и в ту же минуту вспомнил. А сейчас его всего захватила эта мысль.

— А меня он не хотел видеть?

— О тебе он не вспоминал.

— Мог бы впрячь меня в упряжку. Я стала бы его возить, а мой сын отгонял бы мух. Дорогу герою!

— Он действительно бsdняга.

— Он отвратителен, — твердила Олина.

Она была оскорблена и вновь испытывала муки, сейчас она ненавидела капитана Лабуду так сильно, что, казалось, была способна на все, она готова была кричать о своей ненависти, ударить его, плюнуть в глаза. В последнее время Олина вдруг вновь стала думать о Лабуде: ей казалось, что она слишком легко отказалась от того, что все-таки походило на счастье. Никогда она не будет счастлива с другим, как с ним, думалось ей в минуту недовольства собой, никогда не будет настоящей любви, она была и прошла. Но сейчас Олина была оскорблена и раздражена — он хочет взять ребенка, словно тот котенок, а она, Олина, кошка!

— И вид у него испуганный, — продолжал Марек, — он старается выглядеть таким, как прежде, но глаза испуганные. Будто он боится собственной слабости.

— И ты с ним сидел! — возмущалась Олина. — Пил с ним и слушал его бредни!

— Я выслушал его и сказал, что я об этом думаю. А потом встал и ушел. Что мне было делать?

— Герой!

— Что же мне было делать?

— Вот и дал бы ему пощечину за такие слова!

— Лежачего не бьют.

— Сплошное благородство! Тебе бы быть рыцарем, родиться несколько веков назад. Тогда благородство носило кое-какой доход, хотя бы улыбки дам, и был бы ты великим рыцарем добродетели. А теперь ты просто... — Тут она остановилась.

— Договаривай, — сказал Марек. — А теперь я просто дурак.

— Ты действительно непрактичен, Марек!

— Что это значит?

— То и значит, что ты непрактичен, что не умеешь жить.

— Ах, — сказал Марек, — умение жить! Да, я действительно не умею жить и обещаю тебе, что никогда не научусь.

— А я тебе обещаю, — решительно заявила Олина, — я обещаю, что не стану больше жить, как сейчас!

— Олина!

— Не стану! Найми себе прислугу, пусть она варит, стирает и убирает. Найми себе женщину, пусть она с тобой и спит!

— Не кричи! — взорвался Марек. Голос у него зазвенел от злости; маленький Марек, дремавший у него на коленях, проснулся и в недоумении широко открытыми глазами посмотрел на отца. — Нужно его уложить, — уже спокойнее сказал Марек.

Олина взяла ребенка, стараясь не смотреть Мареку в глаза. Он встал и подошел к окну; от злости застучало в висках, разболелась голова. Он стоял у окна и глядел на заснеженную улицу, но ничего не видел, боль в голове была оглушающая. Они уже не первый раз ссорились, но никогда ссора не была такой глубокой, во всяком случае, он еще ни разу не испытывал такого острого чувства враждебности, оно захватило его неожиданно и сразу. Он слышал, как Олина что-то шепчет малышу, укладывая его; он не повернулся, но все-таки видел ее. Каждый вечер Олине приходилось держать малыша за ручку, пока тот уснет; это был единственный человек, имевший на нее право, единственный человек, который был ей дорог. Это было как просветление для Марека. Малыш — это все, что Олине дорого, а с ним, Марekom, у нее нет ничего общего, лишь чувство благодарности; она ошиблась и теперь поняла свою ошибку. Марек испугался своей внезапной мысли, попытался прогнать ее, но она возвращалась, болезненно острая и неоспоримая, — Олина никогда его не любила, теперь он это понял, и никогда не полюбит, в ее глазах он навсегда останется студентом в дырявых башмаках, неудачником, который спас ее и которому она принесла в жертву, да, принесла в жертву свою молодость.

Маленький Марек давно спал. Олина включила радио, послышалась музыка, радио звучало тихо и успокаивающе, но Марек все еще стоял у окна, смотрел на улицу и ничего не видел — он видел лишь себя и Олину, видел длинную вереницу их встреч, вспоминал каждое слово, каждый жест; все убеждало его в том, что сейчас открылась истина, а все, что он думал несколько лет назад, было лишь сладкой ложью, как об этом говорится

в дешевых романах и как поется в какой-то песенке: «Это один лишь обман, а чудесной была мечта».

Но Марек не мог стоять у окна бесконечно, он повернулся и посмотрел на Олину. Олина лежала, закрыв глаза, ее лицо так исхудало, а золотые волосы потеряли свой блеск и были подвязаны на затылке простым шнурком от ботинка. И Марек вмиг забыл все, о чем он только что размышлял.

— Олина, — позвал он тихо. — Ты спишь?

Ее веки дрогнули.

— Нет, Марек, не сплю.

— Ты все сердисься, Олина?

— Нет, Марек. Я просто очень устала.

Больше она ничего не сказала, но Марек все понял: прости меня, Марек, хотела она сказать, я очень устала и наговорила тебе чего не надо, какой-то ерунды я тебе наговорила, забудь об этом. И Марек был рад, что может забыть.

5

В кафе «Орион» сидел Игнац Август Коленатый, на мраморном столике лежал его портфель из свиной кожи — знак тайного братства спекулянтов; Игнац Август пил кофе, морща тонкий острый нос — кофе никуда не годился. В эти утренние часы в кафе было пустынно, и все-таки Игнац Август сидел в самом темном углу; он привык к полумраку, и хотя у него были хорошие документы и звался он теперь Август Гренч, он по-прежнему таился в темных углах, не высывая, покуда можно, на белый свет свой нос.

Он не испытывал большого страха, просто не привык к своему положению преследуемого, беглеца, и, хотя у него не было страха, жизнь в полумраке стала для него естественным существованием. В самом начале он, разумеется, боялся и очень сожалел, что не переехал на Запад; солдат гарды специального назначения, он мог уехать на Запад, но он остался здесь, дома, он не очень-то доверял чужбине и боялся погибнуть там.

Игнат Август переждал в Братиславе, и потом его призвали на трудовой фронт; документы у него были в порядке; он передвигался за фронтом, сначала все время думая о том, что он солдат гарды специального

назначения, но потом он перестал об этом думать. Их мысли о подпольной борьбе с русскими были наивны, ничего нельзя было сделать, никто и не думал ничего делать, они потерпели поражение и не способны были ни на какую деятельность. Но как-то раз, проходя через западнословацкую деревушку, он испытал настоящий страх. Был спокойный, мирный день, и в деревне уже не были видны следы войны, всюду пахло землей и навозом. Они шли по деревне, и вдруг к ним подскочил какой-то штатский, рослый и сильный парень, он вытащил за воротник одного из них — Игнац Август знал его в лицо, это был тоже гардист специального назначения; поднялся крик, на крик явились русские, колонне пришлось остановиться перед зданием сельской управы. Вскоре гардист появился в дверях, руки у него были связаны, вслед за ним шли русские, парень в штатском и еще несколько человек, которые кричали, что узнали этого типа. Он действительно был в деревне несколько дней, и они его хорошо запомнили — он выдал четырех человек, только их и видели. Гардист специального назначения побелел и шел послушно, как овца, волосы спадали ему на лоб, он брел, опустив голову, не глядя на своих товарищей, еле волоча ноги. «Этому крышка, — пробормотал Венделин Брада, идущий вместе с Игнацем Августом еще из Братиславы, — и жалованье больше ни к чему». — «Заткнись», — шепнул Игнац Август.

Колонне воцарилась тишина, все молча смотрели на ардиста; он споткнулся, выходя из калитки, его вывели из сада, и вскоре все исчезли за деревьями, а немного погодя оттуда донеслись выстрелы. «Да, этот уже пожил на белом свете», — произнес Венделин Брада свою похоронную речь, но у Игнаца Августа не было желания шутить, его охватил настоящий страх. Так они выловят всех нас по одному, думал он, и раздавят, как клопов. И хуже всего, что Игнац Август Коленатый ничего не мог с этим поделать, он мог лишь маршировать и молча ждать, пока его постигнет та же участь. Правда, с ним так ничего и не случилось, у него и Венделина Брады все обошлось благополучно, их отпустили, и они с хорошими документами вернулись в Братиславу, где начали налаживать свою жизнь. Сеть солдат гарды специального назначения порвалась, они никак не могли наладить связь, но Игнац Август Коленатый не стал ждать

и сидеть сложа руки, он знал, что нужно быть готовым, когда придет их время, а для этого требовались деньги, много денег, ведь так уж устроено в мире, что без денег не выступишь ни одной особой миссии солдата гарды. И вот теперь у них большое действующее предприятие, грандиозное предприятие, оно очень нравилось Игнацу Августу, это таинственное и связанное с риском предприятие. Только бы скорее подошел тот косолапый, почему он не идет, десятый раз он вытирает один и тот же стол и, хотя давно заметил Игнаца Августа, все еще медлит подойти.

Наконец косолапый официант подошел, и Игнац Август Коленатый открыл портфель, в портфеле лежали пачки американских сигарет «Честерфилд», «Лаки страйк» и «Кэмэл», у официанта засветились глаза, и он невольно протянул руку, но Август Коленатый задержал ее.

— Здесь образцы, — сказал он, — они не продаются.

— И много у вас товара? — спросил официант.

— Двадцать тысяч, — ответил Игнац Август Коленатый.

— Много, — с завистью протянул официант. — Много денег.

— На мелочи не размениваемся, — горделиво сказал Август Коленатый.

— Много денег. Столько не собрать, — вздохнул официант. Но глаза у него светились, и втайне он прикидывал — нужно с кем-то войти в компанию, столько денег у него нет, но упустить такую выгодную сделку нельзя.

— Ну ладно, я прячу, — сказал Игнац Август.

— Подождите, — ответил официант. — Я попробую, попробую найти деньги.

Игнац Август Коленатый посмотрел на часы:

— В шесть я буду здесь.

— Хорошо, — согласился официант. — Я попробую.

Игнац Август Коленатый закрыл портфель, посмотрел многозначительно на официанта и вышел. Нужно было еще зайти к Венделину Браде. Брада жил далеко, за Железной Студничкой, в избушке, и Игнац Август должен был дать ему последние инструкции. Весь день он довольно потирал руки — дело идет, их предприятие действует вовсю, один подобный случай у них уже по-

зади, но тогда все было в меньших размерах и у них еще не было опыта.

Точно в шесть он появился в кафе «Орион», официант нетерпеливо поджидал, Игнац Август даже не присел, они перекинулись взглядами и вышли из кафе. На темной улочке официант спросил:

— Где они у вас?

— Немного далековато. За Железной Студничкой.

— Ого! — воскликнул официант. — Этого я не знал.

— Боитесь? — спросил Игнац Август.

— Нет, — ответил официант хриплым от волнения голосом. — Чего мне бояться?

— Бояться вам нечего, — успокаивал его Август Коленатый. — Это сделка чистая как снег. Из рук в руки.

— Я и не боюсь, — сказал официант. — Только далековато.

— У меня там их много, — сказал Игнац Август. — Небольшой склад, я не могу столько держать в городе. Знаете, какие здесь люди.

— Это-то я знаю, — ответил официант.

Они остановились на улице у Палисадов, официант зашел в старый дом и через некоторое время вышел с большущим чемоданом. Они прошли город и еле видной тропкой стали пробираться к Железной Студничке; тропинка была узкой, лишь для одного пешехода, Игнац Август шел впереди, а официант за ним. Было холодно, но официант разогрелся, неся чемодан, хотя и пустой, он шел и размышлял, поместится ли все в чемодан и как он донесет его домой. Этот человек мог бы ему помочь. Ветер стих, и небо расчистилось, усыпанное множеством звезд; официант немного боялся, но в кармане у него лежал револьвер, и он решил, что не пойдет впереди, пусть первым идет этот человек, сам он будет осторожен, и тогда с ним ничего не случится. Дорога была длинной, Игнац Август шел молча, лишь временами оглядывался, а официант передвигался, тяжело дыша, что-то пищало у него в груди, он не привык к таким долгим переходам. «Дайте ваш чемодан, — сказал наконец Август Коленатый, — я понесу его». Официант поблагодарил и спросил Августа Коленатого, не поможет ли он ему нести его и назад, домой. «Само собой разумеется, — сказал Игнац Август, — я охотно вам помогу».

Они шли под звездами, мерцал снег, и официанта

совсем покинул страх. Продавец — солидный человек, у него солидная торговля, и официант принялся думать, что он сделает с сигаретами. Ему пришла мысль, не обмануть ли ему своего компаньона, ведь он тут гнет спину, а тот сидит сложа руки и собирает денежки.

Наконец они подошли к домику, он стоял в узкой нишечке, вокруг простирался покрытый снегом лес.

— Теперь мы можем погреться, — сказал Игнац Август Коленатый, показав на темный домик. — У меня там есть кое-что горячительное.

Они вошли в домик и выпили по стаканчику; официант оглядывался вокруг, стараясь увидеть, где сигареты.

— Они в бункере, — сказал Игнац Коленатый, следивший за взглядом официанта. — Всего несколько шагов отсюда.

Август Коленатый пошел вперед, светя фонариком, а официант двинулся за ним, теперь он опять нес чемодан, но держал его в левой руке, правой он сжимал револьвер, лежащий в кармане пальто: его снова охватил страх. Но ничего не случилось, ничего подозрительного не было видно, бункер действительно оказался всего в нескольких шагах, под высоким сугробом. Игнац Август Коленатый по-прежнему шел впереди, освещая фонариком темный узкий вход, потом он направил свет на длинную стену, там что-то лежало под брезентом.

— Они здесь, — сказал Игнац Август Коленатый.

Официант сделал несколько шагов внутрь бункера, но все еще старался держаться позади Августа Коленатого — было не очень-то приятно с такими деньгами оставаться наедине с незнакомым человеком.

— Ну вот, — сказал Игнац Август Коленатый. — Из рук в руки.

Он нагнулся, как бы желая откинуть брезент, и в этот момент официант услышал сзади какой-то шум. Он хотел обернуться, но было уже поздно, раздался гулкий выстрел, бункер наполнился запахом пороха, и официант упал на колени, еще, возможно, видя, как Игнац Август Коленатый выпрямляется и смотрит на него, потом официант упал головой вперед и так остался лежать.

— Поверни его, — приказал Игнац Август Коленатый, и Венделин Брада повернул мертвого подбородком

вверх, а Игнац Август Коленатый ловко вытащил бумажник, набитый деньгами.

— Вот это да, — воскликнул Венделин Брада, — денег здесь на целую роту!

— Можешь его убрать, — сказал Игнац Август.

— У него и перстень есть, — заметил Венделин Брада, наклоняясь над мертвым. — Перстень с печаткой. И часы имеются.

— Не вздумай брать, — пригрозил Браде Игнац Август. — Уж не хочешь ли ты привести сюда шпигов, как по веревочке?

— А все-таки жалко, — сказал Венделин Брада. — Такой хороший перстень.

— Ну ладно, убирайся, — приказал Игнац Август. — Не забывай, что командир здесь я.

Венделин Брада схватил мертвого официанта за плечи, Игнац Август поднял брезент, под брезентом чернел замерзший труп.

— Вдвоем им будет веселей, — сказал Венделин Брада. — Но весной придется выкопать яму.

— До весны далеко, — возразил Игнац Август Коленатый.

Он еще раз осмотрел бункер, все было в порядке, нигде ни пятнышка крови. Потом прикинул, сколько дег в бумажнике; было в нем наверняка не меньше восьмидесяти тысяч, не так уж плохо, сказал он себе, настоящее дело, солидная основа. Они вышли из бункера расположившись в домике, допили бутылку, начатую Игнацем Августом Коленатым вместе с официантом, а потом Игнац Август выплатил Венделину Браде жалованье за два месяца вперед и еще дал вознаграждение — две тысячи крон за хорошо выполненное специальное задание.

— Что говорить, чистая работа, Вендель, — сказал он, давая Браде деньги, и Венделин Брада обрадовался и деньгам и похвале, он привык к своему ремеслу и даже гордился им.

Вскоре Венделин Брада завалился на соломенный тюфяк и стал похрапывать, он спал спокойным сном здорового человека, но Игнацу Августу Коленатому так и не пришлось прилечь, ему нужно было идти в город, он жил в городе и еще сегодня должен был кое-что предпринять — раз ему удалось это большое дело, он пере-

стал быть ничем и мог отныне разговаривать с кем угодно, как равный с равным.

Несколько дней назад Август Игнац встретил в уличной толпе солидного кругленького господина; вначале он не поверил собственным глазам и некоторое время шел за господином следом, но это был он, да, этот кругленький пан, немного по-женски покачивающий бедрами, был не кто иной, как доктор теологии, многоуважаемый пан профессор Войтех Верный, духовный отец солдата гарды Игнаца Августа Коленатого. Он шел за ним до большого дома на Лауринской; духовный отец, доктор теологии и уважаемый пан профессор вошел в подъезд, а Игнац Август проскользнул вслед за ним и тихо его окликнул. Бывший духовный отец совсем не испугался, как предполагал Игнац Август, уважаемый пан профессор был в штатском, походил на торговца мануфактурой или на владельца парфюмерного магазина, и Игнац Август решил, что он переодет и скрывается в подполье, но пан профессор совсем не испугался, лишь некоторое время молча смотрел на Игнаца Августа, потом узнал его и произнес: «Чего ты желаешь, сын мой?» Игнац Август осмотрел подъезд, с улицы проникал шум, но подъезд был пустынным и темным, и Игнац Август зашептал таинственно и заговорщически, он рассказал о том, как остался в Братиславе и был на трудовом фронте, как потом вернулся и не смог наладить связь. Доктор теологии качал головой: «Я в подобных делах, сын мой, не разбираюсь и не понимаю, о чем ты говоришь». Но Игнац Август был твердо уверен, что это простая маскировка, что достойный господин профессор не считает его верным человеком. В конце концов духовный отец сказал ему: «Приходи, сын мой, мои двери для тебя всегда открыты, а живу я в этом доме». — «Но как мне вас искать, — спросил Игнац Август, — под каким именем?» Доктор теологии удивленно приподнял брови: «Разумеется, под моим собственным, под каким же другим ты стал бы искать меня, сын мой? Здесь, в доме, меня знает каждый, — добавил профессор. — Я управляющий этого дома». — «Вы народный управляющий? — не веря, спросил Игнац Август Коленатый. — Вы народный управляющий?» — «Да, так это называется, сын мой, — сказал доктор теологии и еще раз напомнил своему духовному сыну, что в этом доме его всегда

примут. А потом сказал: — Сейчас у меня нет времени, милый сын, меня ждет работа», — и простился с Игнацем Августом, а Игнац Август остался стоять в подъезде с широко открытым ртом. Это невероятно! Но вдруг он все понял, его словно озарило: духовный отец — большая рыба, он напрасно изменил бы имя, все равно его многие знают, так вот он и сменил окраску. Но как ему удалось сменить окраску? Как ему поверили? Пусть он будет кем хочет, но верно одно — он знает больше, чем делает вид, он звено в цепи, за которое Игнац Август может ухватиться.

И вот теперь Игнац Август Коленатый чувствовал себя личностью, у него есть деньги, он независим и имеет под командой солдата гарды Венделина Браду, не бог весть что, но все-таки основа ударной силы, и вот посему у Игнаца Августа полное право предстать перед своим бывшим духовным отцом и требовать задания.

Игнацу Августу нравилась та жизнь, которую он сейчас вел, жизнь, полная приключений и, как ему казалось, не слишком опасная, он мог бы жить так сколько угодно, такая жизнь ему пришлась по душе, но чувство долга превыше всего, ведь он был солдатом гарды, воином двойного креста, он чувствовал ответственность, лежащую на нем, вдвойне, поскольку был почти одинок в неприятельском лагере. Порой он удивлялся: куда все подевались? Ведь не все сбегали и не все в тюрьме, в тюрьме сидят лишь главари, так где же остальные, где это море сапог, и ремней, и кистей на шапках, куда исчез громовой глас марширующих?.. Временами он встречал своих прежних собратьев, они ходили среди обычных людей, ничем не выделяясь, и Игнац Август старался ничем не показать, что знает их, а они в свою очередь делали вид, что незнакомы с ним. Они растаяли в людской толпе, как сахар в воде, так думал Игнац Август и очень гордился, что он и сейчас остается солдатом гарды, солдатом двойного креста, ждет своего часа и готовится к нему.

Достойного пана профессора он нашел легко — тот жил на втором этаже. Игнацу Августу открыла дверь старая хромая служанка; достойный господин профессор был дома, сидел за письменным столом и занимался какими-то счетами. Игнац Август Коленатый остановил-

ся посреди комнаты, оглядываясь вокруг: что-то в этой комнате было ему знакомо, ах, да, кресло, глубокое кожаное кресло, где он его видел? Господин профессор следил за его взглядом и, кивнув в сторону кресла с видом сожаления, сказал:

— Ты помнишь, сын мой, это кресло бедняги Фурста?

— Разумеется,— ответил Игнац Август.— Еще как помню.

Игнац Август действительно все хорошо помнил, он был, когда увозили Фурста; сын Фурста не давался и ударил кулаком Игнаца Августа. У Игнаца Августа даже потекла кровь из носа, кровь солдата гарды, и молодой Фурст заплатил за свой удар сполна.

— Помню, как не помнить! — повторил Игнац Август Коленатый.— Мы разложили его, как...

— О ком ты говоришь, сын мой?

— Да о том парне, об этом грязном Гейзе.

— Так, так,— сказал доктор теологии.— Бедняга Фурст, неужели он уже не вернется?

— Конечно, нет, господин профессор,— решительно заявил Игнац Август Коленатый.— Могу дать голову на отсечение.

— Пути господни неисповедимы,— сказал доктор теологии и чуть ли не поднял палец.— А я охраняю имущество Фурста и жду. Я обещал присмотреть за его вещами. Вот я и присматриваю за ними. Многие вернулись, но он — нет. Бедняга Фурст!

— Меня вы можете не бояться,— сказал Игнац Август.

— А почему мне тебя бояться, сын мой?

— Передо мной вы можете не лить слезы над этим грязным евреем. Передо мной можете этого не делать,— сказал Игнац Август Коленатый.— Мы оба можем играть в открытую.

— Мне нечего таить,— торжественно произнес доктор теологии.

Игнац Август растерянно смотрел на своего бывшего духовного отца: нет, ведь это он, он поучал их, что убить еврея и коммуниста совсем не грех, ибо их убивают ради святого дела, что это грех условный, он сразу отпускается; да, это он, его духовный отец, Игнац Август помнит, словно это было вчера, как тот говорил

ему: Август, сын мой, твоя душа больше не принадлежит тебе, она принадлежит богу и народу, и, чем бы ты ни осквернил ее, она всегда останется чистой, как слезы девы Марии, и будет чистой, пока ты служишь богу и народу.

— Я вас не понимаю, — сказал Игнац Август.

— Чего ты не понимаешь, сын мой?

— Ничего не понимаю. И почему вы льете слезы над грязным иудой, и как вы стали народным управляющим. И вообще, что все это значит?

— Наш господь бог простил и врагов своих.

— Раньше вы говорили иначе.

— Раньше нужно было говорить иначе, — сказал доктор теологии, и Игнацу Августу показалось, что он подмигнул ему.

— Нас двое, — ответил Игнац Август. — У нас есть оружие и деньги. И мы на все готовы.

— О чем ты говоришь, сын мой? — спросил доктор теологии и наморщил гладкий лоб: Но тут же, словно перестав играть роль, нахмурился и зашагал по комнате, заложив руки за спину и немного покачиваясь на ходу, а потом заговорил быстро и зло:

— Ты наивен, Август. И что это вы придумали? Подполье, выстрелы, саботаж! Болваны, болваны! И еще раз болваны! Ты читаешь газеты? Разумеется, нет! Какой-то болван тебе сказал — доставай оружие, будь готов ко всему, и ты сидишь в каком-нибудь кабаке и чистишь свой револьвер. А что такое револьвер? Детская игрушка. Подполье! Его преосвященство говорит: мы верные сыны церкви и народа и мы готовы нести ответственность перед богом и перед народом. И кому говорит? Главе государства! А что это значит? Это значит, что мы снова понесем на своих плечах все бремя ответственности. А они — подполье, револьверы! Мы готовимся нести ответственность и снова встать в строй под крестом Иисуса Христа, а ты, Август, чем занимаешься? Чистишь свой револьвер?

— А что мне делать?

— Читай газеты!

— Занятие не по мне, — глухо сказал Игнац Август.

— Выбрось револьвер, спрячь свой меч в ножны, Август, сейчас не время мечей, ты проспал свое время. Посмотри на меня, Август, кем я стал?

— Не знаю, — ответил Игнац Август. — Когда-то вы были моим духовным отцом. А сейчас я не знаю, кто вы.

— Я работник подполья и заслуженный антифашист.

— Скажите! — воскликнул Игнац Август. — Ну и новости!

— Меня допрашивали органы государственной безопасности. Я сидел там целую неделю. Я заслуженный антифашист и народный управляющий. Через несколько месяцев выборы, и я мог бы, если б хотел, стать депутатом. Как ты думаешь, Август, много ли таких профессоров теологии, которыми занимались органы государственной безопасности?

— Я не разбираюсь в этом.

— Мы тот ключ, без которого нельзя открыть эту страну. Запомни это, Август, и выбрось свой револьвер. И перестань заниматься своими дурацкими связями, их выдумали дураки, которые ничего не понимают в политике.

— Но что же нам делать?

— В них не надо стрелять, всех не перестреляешь, Август. Револьвер сегодня лишь детская игрушка. В них не надо стрелять. Их нужно проглотить. И мы их проглотим. Мы их проглотим, Август, со всеми их прекрасными словами, со всей их свободой. Крест Иисусов вечен.

— Но что мне делать сейчас?

— Ждать, Август. Ждать, сын мой!

Это звучало как благословение. Игнац Август Коленатый невольно склонил голову.

Августину Шернеру не удалось попасть к выдающемуся деятелю, у выдающегося деятеля было много работы; он боролся против террора и демагогии, вел великий бой «за чистые руки и чистый стол», вел бой за словацкого крестьянина, который спас демократию, и за государственного служащего, самого преданного работника государства, к которому «злые коммунисты» приставали с «вопросом определения»; боролся он и за торговцев, мелких и средних, за кожевников, владельцев лесопилок и предпринимателей, словацких предприни-

мателей, которые энергично включились в выполнение двухлетнего плана, а «вредные» народные предприятия не шли им навстречу. Боролся он за свободу и демократию, за христианский нравственный идеал, боролся на многих фронтах и готовился в ближайшие выборы собрать большинство голосов словацкого народа; и хотя на этом пути у него было немало трудностей, он все же чувствовал себя настоящим полководцем, у которого есть право на внимание истории, и стремился единым ударом привлечь на свою сторону голоса избирателей; он, старый лютеранин и старый демократ, готовился проглотить католиков и скороспелых «людаков», проглотить их так же, как они собирались проглотить его вместе со старым лютеранством и старыми демократическими традициями.

Шла крупная игра, называлась она соглашением между партиями, но это было волчьим дележом добычи; прожорливые зубы вонзались в добычу и тащили во все стороны, крепко держали ее и не выпускали. Все делалось очень вежливо, заключались соглашения о распределении мандатов, о представительстве в секретариате, но за вежливыми фразами слышался лязг волчьих зубов и угрожающее ворчание: съем тебя, съем! Крупная игра была в разгаре, она была достойна великого стратега — одним ударом овладеть душой народа, христианской и юдацкой душой народа; архиепископ и епископы смотрели на эту борьбу с добродушной усмешкой, словно наперед зная, кто кого проглотит, кто кого съест. Из Рима рибывали сановники церкви, выходили на Братиславском вокзале и терялись в тихих костелах. Игра шла крупная, в европейском масштабе, велся бой за христианскую душу на Востоке. Ватикан стремился к тому, что не удалось Гитлеру, — удушить коммунизм, раздавить его, поднять идею христианства и вернуть всех к единому богу и к монополистическому капиталу. Старый лютеранин и классический демократ объединился с сутаной, из-под которой целомудренно поблескивали гардистские сапоги.

Августин Шернер пришел к выдающемуся деятелю в час больших перемен и большой игры, и потому Шернеру не удалось проникнуть к нему; но хотя Шернер был лишь маленьким, незаметным винтиком, выдающийся деятель не забыл о нем; личный секретарь доложил о по-

сетителе по телефону, и выдающийся деятель в вихре больших событий все-таки вспомнил о маленьком человеке — Августине Шернере. Секретарь сразу стал очень любезным и вежливо спросил:

— Чем же вы хотите заниматься?

— Я поэт, — скромно ответил Августин Шернер.

— Значит, в газету? — спросил секретарь, проворный молодой человек, видимо не теряющий времени даром и уважающий себя.

— Не знаю, — признался Августин Шернер. — Я как-то не думал об этом.

— Не думали? — произнес с явным упреком секретарь.

— То есть я, разумеется, думал, — продолжал Августин Шернер, — но, честно говоря, не знаю, какое выбрать себе поприще. Я ведь хочу служить отечеству и народу.

— Понятно, — сказал секретарь. Минуту он размышлял и молча смотрел на Августина Шернера, словно стараясь разгадать его.

— Вы католик? — спросил он наконец.

— Католик, — удивленно ответил Августин Шернер. — Но, собственно, зачем вам это?

— Нескомпрометированный?

— Что вы, напротив!

— Отлично! — воскликнул секретарь.

— Не понимаю, — повторил Августин Шернер.

— Нам нужны нескомпрометированные католики, — продолжал секретарь. — Это вам, надеюсь, ясно?

— Разумеется, — почти обиделся Августин Шернер. — Это я понимаю.

Но он так ничего и не понял, он был новичком и чувствовал себя довольно скверно. Хотя бы все это поскорее кончилось, думалось ему. Я совсем не похож на человека, отправившегося завоевывать мир. Как неприятно стоять здесь, перед этим аккуратненьким молодым человеком, у которого наверняка нет ничего за душой, кроме связей. Ведь он, Августин Шернер, поэт, повстанец и подпольщик, он уже кое-что сделал, и у него хватит сил, чтобы сделать еще больше, а ему приходится стоять, как ученику, делая понимающий вид, хотя он не понимал ровным счетом ничего. Он нахмурился, но нахмурился лишь в душе — на лице ничего не отразилось;

одно он уже понимал ясно: сейчас нужно улыбаться, и он улыбался — потом он когда-нибудь отплатит за эту улыбку, но сейчас нужно улыбаться, удачливый человек должен улыбаться.

— К тому же, — продолжал секретарь, — у вас наверняка академическое образование.

— Разумеется.

— Вы просто родились под счастливой звездой! — воскликнул секретарь. — У вас по всем пунктам полный порядок.

Секретарь улыбался, и Августин Шернер улыбался в ответ, они беспрестанно обменивались улыбками, и казалось, что от их улыбок весь кабинет наполнился ароматом, словно они обменялись букетами фиалок. Теперь секретарь перестал казаться Августину Шернеру несимпатичным человеком; он позвонил и предложил Августину Шернеру сесть: извините, я совсем забыл об этом, почему вы стоите? Да, это был ловкий молодой человек; беседуя по телефону, он говорил с паузами, и эти многозначительные паузы явно показывали собеседнику, что он знает гораздо больше, чем говорит, и говорит лишь то, что хочет. Наконец он кончил свой разговор по телефону и снова повернулся к Августину Шернеру.

— Как раз сейчас мы начинаем большое дело, — сказал он.

— Мне давно хотелось участвовать в большом деле, — произнес Августин Шернер. — Я хочу служить на роду и напрогу все свои силы.

— Мы начинаем большое дело с молодежью. Работа будет нелегкая.

— Я мог бы попробовать, — предложил Августин Шернер.

— Пожалуй, могли б, — ответил секретарь и снова улыбнулся; Августин Шернер улыбнулся в ответ, и комната опять словно наполнилась ароматом фиалок. — Занятие как по заказу для вас. Думаю, вам по душе.

И он снова принялся говорить по телефону, на сей раз по делу Августа Шернера. «Доктор, — говорил секретарь, — зайти ко мне на минутку», — и Августину Шернеру казалось, что он уже садится в машину, мчится по улицам города, что он уже не простой прохожий, а вершитель судеб; и сейчас, в миг посвящения, ему

даже показалось, что настала историческая минута, историческая не только для него, но и для всего народа. Августин Шернер не забывал о народе, ведь он любил народ и жертвовал для него своим будущим поэта. «На алтарь отечества кладем мы свои стихи; как мертвые мечты, лежат они здесь, все равные», — пришли ему на ум стихи, и он подумал, что, пожалуй, неплохо опубликовать на прощанье поэму, которая стала бы выдающейся жертвой Августина Шернера, благородной жертвой поэта, отложившего перо и полностью посвятившего себя борьбе за священные идеалы. Августин Шернер даже растрогался в эту минуту, совсем расчувствовался, и на глазах у него блеснуло что-то похожее на слезу. Но не время лить слезы и не место, в дверях уже появился доктор, низенький человек в очках в черепашьей оправе, плотный и широкоплечий; он подал Августину Шернеру руку:

— Мы ведь с вами знакомы, Шернер?

— Ну, конечно, — воскликнул Шернер. — Вы Мачуга!

— Ты, — поправил его доктор Мачуга. — Не будем так официальные.

Он обнял Августина Шернера за плечи и повел по коридору, объясняя на ходу, кто где сидит, и знакомя с новым миром. Августин Шернер помнил доктора еще по годам учебы. Это был заурядный юрист, ничем не примечательный, разве что своей угловатой фигурой, очками в черепашьей оправе да еще, пожалуй, солидностью. Помнил Шернер его и по мимолетным встречам в кафе в те времена, когда он скрывался от фашистов, которые вовсе не стремились его разыскивать, во времена, когда он разносил по кафе анекдоты и антифашистские стихи; это было славное время нелегкой деятельности Августина Шернера, и Августин Шернер был рад встретить свидетеля тех времен. Доктор Мачуга по-прежнему был угловатым и солидным, но, очевидно, перестал быть заурядным, он был знаком со всеми и о каждом все знал, был самоуверен и выглядел, бесспорно, удачливым человеком. «Наша арена», — сказал доктор Мачуга и показал три светлые комнаты; в первой сидела женщина-секретарь и с задумчивым видом покрывала ногти лаком; комнаты были обставлены наспех и были безлюдны; в третьей комнате стояли кресла, диван и стол для заседаний; это была самая большая комната, но

в отличие от первых двух она выглядела уютнее. «Наша арена», — повторил доктор Мачуга, это слово почему-то ему нравилось, и Августин Шернер ясно представил его стоящим в центре манежа с засученными рукавами.

— Как тебя звать? Августин? Ну, разумеется, Августин. Кажется, я читал твои стихи. А меня зовут Ондрей, я человек крестьянский, деревенский. Солидная закваска.

— Что правда, то правда! — подтвердил Августин Шернер. — Ты человек солидный. На таких, как ты, держатся государства.

— Но-но, — возразил доктор Мачуга. — Это поэтическое обрамление, не так ли? Я рад, что ты пришел к нам, Августин. Мы начинаем большое дело, и ты попал к самому началу.

— А что за дело?

— Организация молодых демократов. Сокращенно — ОМД.

— Я ничего не слышал о такой организации.

— Она только создается. Как звучит название?

— Не очень-то воинственно.

— Зато солидно. Солидная фирма.

— Могло бы звучать повоинственнее, — сказал Августин Шернер, он был немного разочарован пустыми кабинетами с застывшей тишиной, словно отрезанными от мира, все это совсем не походило на большое дело, не чувствовалось дыхания рождения, скорее, царила канцелярская скука, да и само название было канцелярским и скучным.

— Мы сама солидность, — твердил доктор Мачуга. — Крикливость оставляем этим типам из союза. Взамен крикливости — работа. Взамен демагогии — солидность. Солидность — наш щит и наша программа. Помни об этом, Августин. В такое шумное и крикливое время ничто так не интересует, как спокойная и достойная солидность. Это наша марка.

— Демократия должна быть воинственной, — не унимался Шернер.

— Мы и будем воевать. Только щепки полетят. Разобьем в пух и прах весь их союз, смешаем с землей. Вырвем у них из глотки честную словацкую молодежь. Привьем ей священные идеалы свободы, равноправия и справедливости. Вечные священные идеалы! Молодежи

нужны идеалы, не трудовые лагеря. А наши идеалы солидны и безопасны, они освящены традицией, наши идеалы — это наш порох! Нам не нужно кричать «ура» — нам достаточно только появиться, и победа будет за нами.

Посмотрите-ка, подумал Августин Шернер, посмотрите-ка, какая сила таится в этом заурядном юристе, завязанный оратор, глаза за стеклами очков так и блестят, стремительность жестов, сколько в нем энергии, темперамента, а прежде был такой незначительный человечиска! Не значит ли это, что дело, за которое он борется, возвышает его, облагораживает? И наверное, так же будет возвышать и облагораживать и Августина Шернера! Шернер чувствовал себя хорошо подготовленным к подобной роли, священные и вечные идеалы были вещью знакомой, сейчас ему уже казалось, что он и вправду пришел в нужный момент, в самый разгар событий, что он призван и избран.

— Но это нелегкое дело, — сказал он наконец.

— А для чего же мы здесь? — воскликнул доктор Мачуга. И снова принялся ораторствовать, расхаживая по комнате и чем-то очень напоминая выдающегося деятеля, возможно, своей солидностью и близорукими глазами.

Доктор нарисовал Августину Шернеру картину блестящего будущего, будущее было зримым, ясным и солидным. Пусть Августин Шернер не обращает внимания на их настоящее положение, это только начало, пусть он гордится, что попал к самому началу, у них будет все — пресса и клубы; в каждом большом городе — клубы и секретари, огромная разветвленная организация, которая соберет всех честных словаков под знамена демократии и свободы, против террора и диктатуры; священные идеалы восторжествуют во всей стране, будущее принадлежит молодым, они заберут в свои руки кормило государства, а те, кто начинал движение и нес зажженные факелы, станут кормчими.

— Я готов отдать свои силы, — сказал растроганный Августин Шернер.

Доктор Мачуга остановился, сделал странное движение плечами, словно что-то стряхивая, и сразу перестал быть завязанным оратором, превратясь в солидного чиновника, который заметил Шернеру деловым тоном:

— Вначале тебе придется слегка подучиться, политика дело не простое. Тебе нужно немного осмотреться.

— Я готов, — повторил Августин Шернер.

Доктор Мачуга на миг задумался, потирая короткими пальцами ямку на подбородке, и наконец сказал:

— Есть, кажется, одна возможность: учеба политических работников демократической партии на Слиахи. Как раз предлагали послать туда кого-нибудь из молодых. Ты ничем не связан? — спросил он Шернера.

— Нет, — ответил Августин Шернер. — Я готов отдать все силы для народа.

— Твой поезд отходит завтра в шесть пятьдесят.

— Я буду точен! — радостно воскликнул Августин Шернер.

Все произошло очень быстро, с блестящей скоростью, он еще не пробыл здесь и двух часов, как уже куда-то направляется; хорошее предзнаменование, перед ним было его невспаханное поле; сейчас ему казалось, что он всегда знал, где самое выгодное место для приложения его сил, и чувствовал, как эти силы пробуждаются в нем и растут. Доктор Мачуга по-приятельски обнял его за плечи: не бойся, Августин, мы оба немало сделаем, мы приведем в движение это дело, солидное дело. Какие симпатичные люди, подумал Августин Шернер, совсем не высокомерные, а простые и сердечные и относятся к нему любезно и сердечно, хоть он и новичок, а они, видно, люди стреляные.

В коридоре ему повстречался профессор Копаницкий, что тоже было хорошим знаком. Августин Шернер, читая некоторые статьи профессора Копаницкого, полностью соглашался с его мыслями о разрушенных моральных устоях и о необходимости объединения всех сил. Мысли были туманные, но явно глубокие, как некогда были глубокими другие мысли профессора Копаницкого, мысли о всеобщей гибели; теперь же у профессора Копаницкого появились такие же глубокие мысли о воскрешении.

Привет, закричал профессор Копаницкий, привет, Шернер, что ты тут делаешь? Профессор Копаницкий обрадовался, встретив Августина Шернера, он не любил здания секретариата, не любил коридоры и белые двери, ему казалось, что его мысли, такие ясные и справедливые дома, за письменным столом, здесь как-то расплы-

ваются, перестают быть ясными и справедливыми, словно на них падала тень лжи и интриг, а ложь и интриги профессор Копаницкий считал неотъемлемой принадлежностью политики.

Привет, Шернер, радостно закричал он, схватив того под руку, и, пройдя по коридорам и лестницам, они вскоре вышли на морозный воздух, где наконец профессор Копаницкий с облегчением вздохнул.

Он всегда чувствовал себя легче, выйдя из этого здания, оно портило ему всю радость; те мысли, которые многие считали глубокими, в этом здании превращались в статьи, присваивались. В газетах он нередко видел свои мысли напечатанными, но там они были в окружении других мыслей, и это бросало на них особую тень, словно профессор кому-то прислуживал. Все это очень беспокоило профессора Копаницкого, ибо он искренне верил в свое бескорыстие, почти искренне верил в глубину своих мыслей и решительно верил в их безобидность.

В политику он был втянут старыми друзьями по эмиграции; они нуждались в человеке, который представлял бы мысль, идею; сначала все это походило на легкую, несерьезную игру — аристократ кокетничал с мыслями, но вскоре профессора Копаницкого захватило, его начали называть идеологом партии, а быть мыслителем или хотя бы считаться мыслителем было давней честолюбивой мечтой профессора Копаницкого. К тому же у него подрастало трое детей, профессорская зарплата была не бог весть какой, а так он неплохо подрабатывал, да еще ему обещали депутатское кресло. Побуждала его и еще одна тайная причина: он хотел как-то искупить свою прежнюю трусость. Хотел заглушить воспоминание о тех временах, когда он кокетничал мыслями о всеобщей гибели, о разрушении цивилизации; сейчас он искренне отвергал свой прежний скепсис, это было позой, думал он, в действительности я здоровый, нормальный человек, которому нужны положительные ценности; сейчас он рассуждал о положительных ценностях и предлагал их народу, он твердо верил, что обязательно нужен народу.

Перемена не была непонятной: профессор Копаницкий был существом производным, человеком, повторяющим чужие мысли. Паулинда как-то назвал его мельни-

цей идей, но скорее это был пищеварительный тракт жвачного животного. Он не имел ни лица, ни страстей — просто переваривал. Его автоматизированная деятельность мало зависела от того, что он пережевывает. Основой, началом и концом был сам процесс пережевывания, процесс ради процесса, автоматизированная и бессмысленная деятельность. И хотя это была его собственная деятельность, профессор всегда верил, что она важна и необходима.

На сей раз он пережевывал положительные идеи; это были мысли о демократии и гуманизме, давно похороненные и запыленные, но сейчас воскресшие и обновленные, мысли о соединении демократии с социализмом — так требовала эпоха. Профессор Копаницкий был за порядочность; идеалом порядочности он считал английский парламент — ведь там идеал порядочности был основой основ, частью идеологии. Коммунисты, согласно профессору Копаницкому, были прежде всего непорядочными людьми, именно непорядочными — сказать более резкое о них он боялся. Профессор Копаницкий искал идеальную связь идей с социализмом, искал ее в прошлом — новые демократы нуждались в старых традициях, нуждались в скелете, который мог бы обрести мясом. Он нашел эти традиции у штуровцев¹ и у Юрия Фандля, у Масарика и у гласистов² и у других известных авторов социальных теорий, разыскал их и ручил демократической партии, которая, по его мнению, большую часть этих социальных идей несла в своей программе, словно именно ей завещал их какой-то идеальный демократ и социалист. Он нашел эти идеи и в других странах — кокетничал с английскими лейбористами, его привлекала их идея социального раздела, но Гарольд Д. Ласки³ был для него слишком левый, он не

¹ Последователи и соратники выдающегося деятеля словацкого национально-освободительного движения XIX века Людовита Штура (1815—1856), который сыграл прогрессивную роль в борьбе против гнета мадьярских помещиков и в создании самостоятельного словацкого литературного языка. В конце жизни перешел на панславистские позиции.

² Направление в словацкой культуре перед первой мировой войной, представляемое журналом «Глас».

³ Английский политический деятель, один из лидеров лейбористской партии, теоретик так называемого «демократического социализма».

понимал его симпатий к Советскому Союзу, стране, по его мнению, невежественной и нецивилизованной, а значит, непорядочной. Профессор был истым славянином, его очень занимала новая свобода поработанных народов, но он считал себя и поклонником Запада, его цивилизации порядочных людей. Но прежде всего профессор Копаницкий был человеком нравственным. Коммунисты злили профессора Копаницкого еще и тем, что они вынырнули неизвестно откуда, из каких-то темных глубин, не имея священных традиций и семейных связей, но больше всего профессора раздражало то, что они, как он считал, относились с презрением к самым святым вещам, выдумывая какую-то надстройку, которая к тому же должна была играть второстепенную роль в развитии общества. А согласно Копаницкому, мир был — во всяком случае, в данный момент — «реконструкцией нравственных начал», и нуждался мир лишь в свободе, демократии и порядочности. Эту консервированную смесь он каждую неделю предлагал публике, вначале опасаясь, что смесь окажется несъедобной, но, к его удивлению, покупатели нашлись; так он стал идеологом и мыслителем и с каждым разом все больше и больше верил в это и сам.

В здании секретариата профессор Копаницкий чувствовал себя скверно. Он попал как-то на совещание, где говорилось об изменении в списках кандидатур, изменения уже происходили — «новолюдаки» занимали позиции, а им, традиционным демократам, приходилось эти позиции сдавать. Слишком все походило на торги, на ярмарку за закрытыми дверями, на совещание бухгалтеров, на дебет и кредит, люди открывали рот, и слышно слышался стук костяшек; все это пахло непорядочностью. Профессору Копаницкому здесь не нравилось, и, хотя сам он был в стороне, все равно в здании секретариата он чувствовал себя стесненно и неприятно. Но сейчас, выйдя на улицу, он отбросил мысль и о бухгалтерях, о том, что когда они открывали рот, то слышался стук костяшек, и постарался думать о своем собственном выигрыше; сейчас он чувствовал себя бодрым, сильным и предприимчивым.

Было начало марта, ярко светило солнце, снег начал таять, весело перезванивались трамваи, и профессор Копаницкий ощущал, как в нем растут доброта и лю-

бовь к людям; это подбадривало его, словно свежий ветерок; подобное состояние было для профессора редким и потому особенно ценным. Он все еще держал под руку Августина Шернера, ласково склонившись к нему — профессору казалось, будто Шернер его сын или младший брат. Они о чем-то вели беседу, говоря о самых обычных вещах, и профессору Копаницкому не терпелось сказать, как великолепна и чудесна жизнь, но он понимал, что это прозвучит банально.

Они вместе зашли в кафе, профессор Копаницкий потирал от удовольствия руки, его классически красивое лицо светилось радостью и было оживленно; он пригласил Августина Шернера выпить стаканчик. Они присели у окна, за которым, отражаясь в снегу, ослепительно светило солнце. В углу над какими-то бумагами сидел Паулинда, здесь был его рабочий кабинет, он кивнул им, сделал жест, что сейчас придет, и снова склонился над своими бумагами: Паулинда теперь издавал библиотеку приключенческих романов, у него была уйма работы, книги хорошо шли, и издательство росло не по дням, а по часам, но Паулинда не расставался со старыми привычками, по-прежнему работал в кафе. Здесь было спокойно и уютно, сидело лишь несколько студентов и студенток, сверху слышались удары бильярдных шаров, да еще два шахматиста склонялись над столиком с фигурками; в кафе стоял шум мирного полудня и ароматно пахло черным кофе.

— Словно ничего и не произошло, — сказал профессор Копаницкий. — Все так же, как бывало раньше.

— Да, — ответил Августин Шернер, — а между тем все изменилось.

— Вы-то не изменились, Августин, — произнес профессор Копаницкий и ласково поглядел на Шернера.

— Только так кажется, — протянул Августин Шернер и коснулся своих усов. — Один внешний вид.

— Вы правы, — сказал профессор Копаницкий, — мы все изменились, хотя это и не всегда заметно. Мы изменились внутри, под кожей. — И немного погода спросил: — Я не удивляю вас?

— Чем?

— Вы ведь помните меня?

— Очень хорошо.

— Тогда вы должны признать, что я основательно изменился.

— Вы выглядите сейчас так же, как и год назад. Ни одного седого волоса.

— Вы понимаете, что я имею в виду, Августин?

— Сейчас изменился весь мир.

— Вы правы, — сказал профессор Копаницкий. — Но знаете что? Порой мне кажется, что все было игрой. Сейчас я не лгу, а прежде была игра, навязанная мне обстоятельствами. Всеобщий упадок нравов. Корабль, идущий ко дну. Но пошел ко дну только корабль, а мне казалось, что настал конец света. И корабль был не мой, нет, он не был моим. Я только на какой-то миг поверил, что это мой корабль, и тогда говорил вещи, сеющие страх. Я боялся сам и, боясь, пугал других.

Подошел официант, старый знакомый профессора Копаницкого, он склонился над столиком.

— Есть сливовица, — тихо предложил официант.

— Хорошая?

— Отличная, пан профессор.

От стола в углу неуклюже поднялся Паулинда. Он очень растолстел, лицо стало багрово-красным. Паулинда остановился у одного из столиков, где сидели студенты, и что-то стал им проповедовать, но явно без успеха. Пожав плечами, он побрел к профессору и Шернеру.

— Привет, великий демократ, — поздоровался он с профессором Копаницким. А Августину Шернеру сказал: — Привет, экс-поэт!

— Почему, собственно, экс-поэт?

— А может, у тебя есть что-нибудь?

— Что у меня должно быть?

— Какие-нибудь стишки. Могу мигом издать.

— На книгу не наберется.

— Вот видишь. Я и говорю — экс-поэт.

— Ну, как идут дела? — спросил профессор Копаницкий.

— Отлично. Есть новый Уоллси — «Дикий охотник» или «Охотник за людьми», как пожелаете. Лондонский полусвет. И китайский детектив.

— Совсем не плохо, — сказал профессор Копаницкий.

— Жизнь — это борьба, — вздохнул Паулинда.

— По тебе видно, — заметил профессор Копаницкий.

Этот Паулинда чем-то раздражал его, портил профессору праздничное настроение.

Паулинда хлопнул себя по животу.

— У меня честное брюхо. Оно выросло от честных доходов. Я не прячусь за слова. Хочу иметь деньги — вот и делаю их.

— Бывали вы и другим, — заметил Августин Шернер.

— Каким же?

— Таким... чувствительным.

Паулинда рассмеялся:

— Великолепно сказано! Чувствительным идиотом я был, вот кем! Печатал стишки! А что было делать? Ты величайшая скотина, Шернер! Величайшая!

Официант принес сливовицу, и Паулинда, вздохнув, принялся сожалеть о тех временах, когда еще был настоящий коньяк.

— Помнишь, — повернулся он к профессору Копаницкому, — помнишь тот коньяк, который мы пили в последний раз?

Но профессору Копаницкому не хотелось вспоминать о том коньяке, меньше всего ему хотелось помнить тот коньяк.

— Пожалуй, надо за что-нибудь выпить, — сказал профессор Августину Шернеру.

— За ту работу, которая нас ожидает! — произнес тост Шернер.

— И за дедовскую землю! — насмешливо воскликнул Паулинда.

— За демократическое будущее человечества! — терпеливо произнес профессор Копаницкий.

— Эти цыпочки, — сказал вдруг Паулинда, — черт знает что такое. То ли они слишком честные, то ли слишком дорогие. Никак не поймешь этих новых девиц. Таинственное послевоенное производство, бог знает на каком станке оно сработано и из какой материи. Все они как послевоенные сливовица и боровичка, не знаешь, из чего сделаны.

— Возможно, вы просто отстали от моды, — сказал Августин Шернер. Он заметил, что присутствие Паулинды не нравится профессору Копаницкому, и инстинктивно — а инстинкт его никогда не подводил — занял сторону профессора. К тому же у него еще не набралось стихов для издания.

— Сиди тихо, когда говорят старшие! — крикнул Паулинда. — Ты еще сопляк, Шернер.

— А ты хам! — взорвался профессор Копаницкий.

— Что?!

— Ты просто хам!

— Черт тебя побери, — воскликнул Паулинда. — Черт вас побери, прекраснодушных интеллигентов. Я по крайней мере не ханжа. Не скрываю, что хочу побольше денег и делаю их. Хочу цыпочек и покупаю их. Черт вас побери, деликатных интеллигентов! А ведь мы друг друга неплохо знаем, профессор! Ты ведь помнишь меня, помнишь обо всем? И о том, о чем тебе не хочется вспоминать, ты наверняка помнишь. О последней бутылке доброго французского коньяка и о том листе с подписями.

— Это не дает тебе права быть хамом, — невозможная злость, сказал профессор Копаницкий.

— Черт вас побери, великих демократов, — с презрением сказал Паулинда. — Идеалы! Добрые чувства! Мандат в кармане — вот и играет в философа. Грязная торговля, профессор. Меня тошнит от вашей деликатности. Позвольте вас покинуть, защитники принципов.

Лицо и шея у Паулинды побагровели. С ним может случиться удар, подумал профессор Копаницкий, только бы он случился не здесь, иначе разразится ненужный скандал, а ему, профессору Копаницкому, ни к чему скандалы. Паулинда со злостью повернулся к ним спиной и понес свое тучное тело к выходу.

Они с облегчением вздохнули. За окном светило солнце, и в кафе по-прежнему царил успокаивающий гул мирного дня.

— Животное! — горячился профессор Копаницкий. — Нецивилизованная нация. В нецивилизованной нации все еще немало животных.

— Да, — подтвердил Августин Шернер. — Без всяких высших принципов.

— Ужасное явление, — продолжал профессор Копаницкий. — Человек, состоящий лишь из желудка и требований пола. И ничего более, ничего более. Ужасное явление.

— Мир очень болен, — сказал Августин Шернер и тут же покраснел, поняв, что повторил слова из выступления Черчилля и что профессор Копаницкий наверня-

ка знает, откуда эти слова. Но профессор ничего не заметил или сделал вид, что не заметил.

— Нужны люди, неспособные на компромиссы. Бескомпромиссные борцы за светлую идею! — сказал профессор Копаницкий и попросил у официанта еще сливовицы. Он не сказал, какую светлую идею имеет в виду, но Августин Шернер понимал все и так, в нем уже работали таинственные силы, поднимавшие его над толпой, и в голове уже гудели слова, полностью овладевшие им и делавшие его сильнее. «И большой мир он на плечах нес и деве Марии Лурдской к ногам сложил». Он читал Маритена¹, он теперь знал, в чем спасение мира, знал, что нужно бороться с материалистическим пессимизмом, царящим века над народами, бороться с помощью Духа Надежды.

Они пили и все больше убеждались в собственной правоте и в собственной важности, удивлялись, что давно не сидели так; ведь они симпатичны друг другу, оба — опора нации, добрый посев, гиганты мысли, оба жертвовали на алтарь отечества, и чем больше они пили, тем больше убеждались в собственных достоинствах. Близился вечер, солнце давно зашло за облака, зажглись лампочки, а они все еще сидели, растроганные друг другом.

В кафе вошел, стуча сапогами, Марек Угрин. Оглядываясь, стал искать свободное место и, увидев Августина Шернера, кивнул ему головой. Шернер ответил на приветствие.

— Кто это? — спросил профессор Копаницкий.

— Марек Угрин, — сказал Августин Шернер. — Несчастный, близорукий человек.

— А тот, другой?

— Того я не знаю. Похож на старого еврея. Этот Угрин всегда водил знакомства с евреями.

— Ах, так, — сказал профессор Копаницкий и наморщил нос.

— Но у меня с ним лишь шапочное знакомство. Этого Марек Угрина я знаю лишь в лицо.

¹ Французский реакционный философ-идеалист, активный деятель католической церкви, видный представитель «неотомизма» — обновленного в угоду империализму учения Фомы Аквинского.

— Ходят сюда всякие, словно война только что кончилась, — с отвращением заметил профессор Копаницкий. — Носят шинели и рваные сапоги, дескать, люди, не забывают, что была война. Герои!

— Я едва с ним знаком, — повторил Августин Шернер, оправдываясь.

— Герои! — вновь воскликнул с презрением профессор Копаницкий. — Все время напоминают о своем героизме и своих страданиях, как будто героизм и страдания должны быть видны всем. Шинели и рваные сапоги! Я не удивлюсь, если твой Угрин окажется коммунистом.

— Он вовсе не мой, — оскорбленно заметил Шернер. — Я знаю его мимоходом. Человек не может быть в ответе за всех, с кем он в жизни встречался.

— Что правда, то правда, — вздохнул профессор Копаницкий. — За это человек не может быть в ответе.

7

Марек встретил Бенде в типографии. Они опять вовремя не сдали материал. Черчилль выступил в Фултоне с речью, зовущей к бою: окружить блокадой рождающийся мир, заковать его в цепи; последний удобный случай для демократии, кричал старый, искушенный господин Уинстон Черчилль, необходимо выступить против тирании, пока есть время. Это был вызов, железная перчатка; поднялся истерический крик, радиостанции встревоженно бросали миру полные угроз слова, и они в редакции сидели у приемника, стараясь первыми дать эту сенсацию, и, разумеется, опоздали с материалом. Это не было для них какой-то особой трагедией, так случилось нередко, и у них уже был свой способ борьбы: бутылочка крепкого — и все опять шло хорошо. Марек пришел в типографию с последними сообщениями и, увидев, что метранпаж не желает его замечать, подошел к нему и показал на бутылку в кармане шинели; метранпаж подмигнул ручному наборщику, лысому и шепелявому человеку, и все пошло своим чередом. Давай, давай, кричал метранпаж, и все пришло в движение; и начались хорошие и напряженные минуты, борьба с временем, где все решали быстрота и точность рук. Марек

по-настоящему любил эти минуты и, пожалуй, был бы согласен каждый день задерживать материал. Спустя некоторое время они сидели вспотевшие и одурманенные тяжелым воздухом — типография была старая и плохо проветривалась, — сидели на оцинкованном прилавке и медленно пили; ученики сбегали за пивом, и наборщики подходили на шум; дышать здесь было тяжело, стояла жара, но все чувствовали себя уютно. И тут кто-то просунул голову в дверь. Марек не видел, кто это, но, услышав резкий голос, сразу узнал — он узнал бы его и среди тысячи других.

— Это есть бордель! — кричал резкий голос. — Не допущу!

Метранпаж попытался быстро спрятать бутылку, но поздно — двери сердито хлопнули.

— Кто это? — спросил Марек.

— Новый директор. Брешет как собака. Только вчера пришел, а уже брешет как собака.

— Режет, словно бритва, — прошепелявил лысый наборщик.

— Как его зовут?

— Нам он не представился, — усмехнулся метранпаж. — Явился и вот брешет как собака.

Метранпажа вскоре позвали в кабинет директора. Он вернулся злой и мрачный, сердито отплевываясь на ходу.

— Иди ты тоже, зовут, — сказал он Мареку. И больше ничего не добавил.

Марек вышел из наборной, прошел бухгалтерию — там стояла тишина, две девичьи головы склонились над бумагами. Девушки только мельком на него глянули, но не улыбнулись, как обычно. Кабинет был маленький и тесный, за столом сидел Бенде, еще более тучный, чем когда-то в горах, и лицо у него было широкое, белое и одутловатое. Он поднял на миг глаза, но, казалось, не узнал Марек.

— Это есть бордель! — крикнул он и ударил кулаком по столу. — Деморализует. Я не допущу!

— Комиссар... — тихо сказал Марек.

— К черту комиссара! Директор. Бордель не допущу.

— Не узнаете меня, комиссар?

Марек был обижен, он нередко вспоминал о комиссаре Бенде, за многое был ему благодарен; чем больше

проходило времени и туманнее становился образ комиссара, тем лучше Марек понимал его.

Но сейчас Марек обиделся. Такая встреча после долгой разлуки! Ведь он, Марек, делает свое дело, занимается своей работой, и кое-что уже сделал, он не какой-то там молоденький парнишка, и кричать на него без причины нечего.

— С этим нет ничего общего, — ответил Бенде. — Я директор и эту бордель не терплю!

— Не кричите, комиссар, — сказал Марек обиженно. — Я не малый ребенок.

— Большой, — насмешливо произнес Бенде. — Большой дурак! Носит бутылку и деморализует. Это не есть работа!

— Порой иначе дело не идет, комиссар.

— Будет идти, — твердо сказал Бенде. — Увидишь, как хорошо будет идти, гладко будет скользить.

— Интересно посмотреть... — сказал Марек.

— Еще будешь видеть.

— Мы не канцелярия, не можем мерить работу на секунды.

— На секунды — нет, на минуты — да.

— Будем пытаться, комиссар. Но не знаю, как это пойдет.

— Да, да, — сказал комиссар и слегка улыбнулся Мареку. — Будет идти. Работа не анархия. Работа — это гармония. Будет идти как по маслу.

— Как по маслу! — усмехнулся Марек.

— Да, да, как по маслу. — Бенде встал, с трудом выбрался из-за стола и наконец обнял Марек. — Теперь буду тебя узнавать, — сказал он. И Марек увидел его совсем близко. Лицо было опухшее, кожа совсем белая и вся в порых, а глаза очень усталые.

— Да, да, — повторил Бенде. — Я читал тебя, и читал с удовольствием.

— Я очень рад, — сказал Марек. Он и вправду был рад.

— Но рожки еще видны, — продолжал Бенде.

— Какие рожки?

— Твои рожки, интеллигентские.

— Пишу, что думаю.

— Это не есть ошибка, что пишешь, как думаешь. Ошибка есть то, что еще не хорошо думаешь.

— Я не могу переделаться, — сказал Марек.

— Да, да! Переделаешься! Ты переделался и еще переделаешься, уж не такая ты дурацкая интеллигентская балда.

— Спасибо, — сердито поблагодарил Марек.

Они еще долго сидели вместе; небольшой кабинет словно отделился от всего мира, сейчас были лишь они, их друзья и товарищи, здесь было их прошлое, его острые грани понемногу стерло время, и теперь оно казалось хорошим и почти веселым. Мареку казалось, что комиссар Бенде совсем не изменился, по-прежнему все тот же комиссар Бенде, одержимый одной идеей, устремленный к одной цели, резкий и непрощающий, словно недоступный чувствам и прежде всего непреклонный, да, непреклонный — пожалуй, это главное в комиссаре Бенде. И все же что-то изменилось. Бенде был больным и усталым, старым и серьезно больным, тело перестало быть послушным. Бенде страдал бессонницей, ревматическими болями и приступами слабости; сердце все чаще давало себя знать, старое сердце, которому пришлось пережить больше, чем десяткам других людских сердец. И еще кое-что произошло, что очень удручило его: он окончательно разошелся с Янко Крапом. Он не рассказывал о том, лишь бросил мимолетно несколько фраз, но Марек все понял. Стригли их наголо, как овец, стригли, как фашисты, сказал Бенде, и Марек понял, что он говорит о волне национализма, о том, что парни, спустившиеся с гор в южные городки, обращались с венгерским населением как с побежденными, выгоняли из городов и селений и за одно слово по-венгерски брили головы, словно преступникам. Бенде тогда был против, но Янко упорно защищал своих партизан — и вот ссора вспыхнула. Бенде не сказал о Янко Крапе ни одного плохого слова, говорил о нем лишь с гордостью, он и вправду грустил о Крапе. У Бенде было неодолимое стремление воспитывать, он хотел оставить после себя революционеров, которых он воспитал и взрастил, хотел так же страстно, как другие хотят оставить после себя сыновей и дочерей, кровь от крови. Но у него было и другое неодолимое стремление — он стремился к правде и страстно желал, чтобы его правда победила. В споре с Янко Крапом ему пришлось уступить. Бенде тогда очень разгневался на Янко Крапа, от-

лучил его от своего сердца, а ведь Янко он считал одним из своих наследников, но тем сильнее он на него сердился и даже накричал на Янко Крапа, а тот не выносил, когда на него кричали. Можешь отправляться, сказал он Бенде, можешь отправляться туда, куда тебя тянет сердце, в свою дорожную Венгрию! А Бенде, который давно уже серьезно размышлял об ошибках Янко, встал на дыбы; моя родина, сказал он, моя родина всюду, где есть большевик и батрак. А потом долго ругал Крапа, ругал такими словами, которых сам в ту минуту страшился и о которых знал, что они несправедливы, но уже не мог остановиться — для него все сказанное Янко было слишком большим оскорблением, и хуже всего было то, что произнес это Янко Крап.

Бенде ничего не рассказал о том Мареку, он не говорил об этом ни с кем, носил в себе, надеясь, что все переболит. Сейчас боль была уже не такой острой, скорее, походила на грусть, он грустил о Янко Крапе и порой думал, что из-за нескольких бритых голов не стоило ссориться с Янко Крапом, ведь, в конце концов, это были всего-навсего лишь головы обывателей. Но Бенде отгонял эту мысль, она была слабостью, примиренчеством, ведь речь шла о принципах, а в этом он всю свою жизнь был непримиримым — был даже слепым и глухим, если требовалось быть слепым и быть глухим. Он знал, что сейчас ему особенно нужно быть начеку: старость и болезни сокрушают волю, а он не хотел быть смешным даже в собственных глазах, не хотел ни на минуту изменить самому себе, всей своей жизни. Но тоску и слабость отогнать полностью он не мог, и глаза выдавали его.

Марек сейчас видел совсем близко лицо Бенде и его глаза, усталое лицо и усталые глаза, и в глазах была тоска; возможно, они раньше скрывали эту тоску, а Марек просто ее не замечал, ведь он был слишком молод и мало знал о людях, но сейчас он ясно видел тоску, и Бенде стал ему ближе и понятнее. (Хотя очень трудно сближаться с людьми неуязвимыми: они словно памятники, сошедшие с пьедестала и вдруг оказавшиеся среди людей, они так и не утратили до конца свою прежнюю суть, так и остались сделанными из камня и бронзы; ими можно только восхищаться, чувствуя себя ничтожным в их огромной тени, но любить их нельзя.)

Они сидели долго; спустились сумерки, но Бенде не зажигал света, они сидели и говорили о разном и о разном молчали. В этот миг они стали очень близки, их мысли текли по одному руслу. Наконец Бенде спросил:

— Ты коммунист?

— Не знаю, — сказал Марек. Он давно ждал этого вопроса и решил ответить правду, вернее, то, что он сам считал правдой.

— Как это не знаешь?

— Не знаю, — повторил Марек. — Порой я со всем согласен, готов умереть за ваши звезды, а порой во мне все восстает.

— Дурацкая башка, — проворчал Бенде.

— Я не виноват в этом.

— Ты всегда был... как это...

— Гордый?

— Да, да, гордый. А чем ты гордился? Своей дурацкой интеллигентской башкой.

— Я такой, какой есть. И хочу остаться самим собой. Хочу жить по собственной воле, не связанный другими волями. Хочу... — Он не закончил и умолк. Чего он, собственно, хочет? Скорее всего, на это можно ответить лишь негативно — не хочет, не хочет многих вещей, не хочет, чтобы его связывали в мыслях и поступках, не хочет канонически мыслить, хочет свободы и простора для своих сомнений и поисков. Он страшился не внешней дисциплины, но того внутреннего железного обруча, который виделся ему в марксизме. Боялся, что больше не будет самим собой, что новое учение поглотит его всего, прикует и ему никогда не удастся свободно дышать. Это была боязнь хоть как-то ограничить свободу своих мыслей, по крайней мере Марек так считал. Но он не был вполне искренен — в нем сидела и другая боязнь, более отчетливая и ощутимая, — боязнь неудобств и повышенных обязательств. Марек не был человеком с душой торговца, он давал не считая, был способен к самопожертвованию, но он не видел необходимости жертвовать. Он работал в полном согласии с идеалами, которых пока полностью еще не познал, но считал идеалами коммунистов. Эти идеалы он представлял довольно туманно, чувствуя к марксизму инстинктивную неприязнь. Начни он искать причину этой неприязни, вскоре установил бы, что, как и большинство мелкобуржуазных

интеллигентов, он подпал под влияние мифов и легенд о марксизме, в том числе и фашистских мифов и легенд. Но Марек не искал причины своей неприязни и, пожалуй, оскорбился бы, назови его кто-нибудь мелкобуржуазным интеллигентом. Марек сказал Бенде правду: он не знал, коммунист он или нет, но он считал себя левым, связанным всем своим существом со страной и народом, с его страданиями и мечтами; раз и навсегда данными и порой таинственными. Он считал себя свободным человеком, хотя порой и чувствовал мнимость этой своей свободы. Бывали минуты, когда он легко бы расстался со своей свободой — слишком уж она походила на одиночество. Он боялся таких минут и старался их отогнать. У него была давняя склонность задумываться над судьбой общества, его развитием, над тем единым дыханием и ритмом, которые владели толпой и историей, но всегда в порыве высоких чувств он презирал эту свою склонность, считая ее какой-то низшей духовной функцией, выражением слабости. Как это? «Кто сам всегда борется...»¹ Этот неточный перевод стихов Гёте довольно точно выражал чувства Марека.

— Меня устраивает, что я такой, какой есть, — сказал он Бенде.

Бенде вздохнул. В полумраке светлело его большое белое лицо.

— Это есть капитулянтство, — произнес Бенде с трудом, чужим, приглушенным голосом. Он сделал в темноте какое-то движение, и Марек скорее почувствовал, чем увидел, как Бенде хватается за сердце.

— Что с вами?

— Ничего. Сердце злится.

— Я не знал об этом, — сказал Марек, чувствуя себя в чем-то виноватым.

— Ничего, — ответил Бенде и глубоко вздохнул. — Уже ушло. Старик плохо функционирует.

— Можно выйти на воздух, — предложил Марек. — Я провожу вас, комиссар.

— Нет, — ответил Бенде. — Ничего, уже ушло. Я старик, а ты молодой, и я говорю тебе, что ты не прав. Ты не имеешь права быть довольным собой.

¹ Имеются в виду строчки из «Фауста»: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

— Я и не доволен собой.

— Ты говорил другое.

— Значит, я плохо сказал. Я знаю, чем я могу быть, чем буду и на что у меня хватит сил. Меня не нужно подталкивать, и я не нуждаюсь ни в каких директивах.

— Гордый как черт, — невольно улыбнулся Бенде. За свою долгую жизнь он видел немало таких людей, как Марек Угрин, и знал о шаткости их мысли и об их бессильной гордости, но знал им и цену: они никогда не становились паразитами на теле революции. Бенде ненавидел их робость, выдаваемую за моральную честность, не любил их сложность, которой они гордились и которую рьяно защищали; по его мнению, это был старый хлам, бесполезный и вредный для революции; он не любил их вечное прятанье за слова — при прямой атаке они всегда прятались за слова, выдуманные ими самими, и тогда их гордость слишком походила на трусость; но ему нравилась их внутренняя честность и порядочность. Они стремились к правде, к истине, и он ценил в них большой заряд энергии; нужно было заставить эту энергию служить революции. Он не деликатничал с ними, а нападал открыто и резко и нередко сурово, жестоко бил, он считал, что они в забытьи, а из забытья их можно вывести лишь сильным ударом.

Но лучше, если бы ему не приходилось с ними, как он сам выражался, возиться. Слишком много затрачивалось усилий, а результаты зачастую бывали сомнительными — все же эти люди были малонадежными для революции. А порой, уставая, он бросал всех интеллигентов в одну кучу и всех одинаково ненавидел: он повидал их немало, все они повторялись и были похожи друг на друга.

Но Марека он действительно любил, честно говоря, неизвестно почему — Бенде был человек замкнутый, в своих чувствах не очень копался. Возможно, он любил Марека потому, что нередко видел, как Марек боялся, но преодолевал свою слабость, как тот записывал бумагу в свои рваные сапоги; возможно, он любил Марека за его добросовестность в работе и порядочность по отношению к другим людям и делам, а может быть, Марек напоминал ему его собственную молодость, напоминал чем-то, что он давно преодолел в себе во имя революции и о чем давно забыл. Бенде не копался в своих чувствах

к Мареку, даже их хорошенько не осознавал: ему просто казалось, что он интересуется Мареком, раз тот может быть полезным для революции — а революция была для Бенде единственным мерилom всего. Но в теперешнем Бенде появилось и новое, то, о чем он не желал ни минуты думать. Это была усталость, болезнь и обида и чувство человека, которого попросили отойти в сторону; все это вызывало в Бенде скверное настроение; не то чтобы он сомневался в своей дороге, в своей жизни или в своем отношении к революции, нет, этого не было, но он стал мягче относиться к людям, лучше теперь понимая сомнения других, и беседы с Мареком были полезны и ему; так он проверял свою правоту.

Они встречались почти ежедневно. Мареку казалось, что их беседы с Бенде текут по замкнутому кругу, порой они его утомляли, а порой он обижался и сердился на Бенде, но он по-прежнему приходил к Бенде, почему-то не в силах с ним расстаться — это походило на искушение.

Порой их беседы становились и вправду скучны и утомительны: Бенде давал читать ему литературу и экзаменовал, словно малого ученика. Но теперь, после пережитого им на войне, такое отношение казалось Мареку неуважительным, он уже вырос, чтобы кто-то экзаменовал его и поучал. К тому же его отталкивала строгость и суровость этого учения, казавшегося ему даже жестоким: в нем не было места для спасительного бегства или для игры, это было откровенное и неумолимое учение, с ним нельзя было кокетничать, даже спорить; ему можно было только покоряться. А Марек все еще любил неопределенность, расплывчатость, которые позволяли — во всяком случае, он так думал, — чтобы он сам интуитивно познавал сущность вещей. Он мог вдохновиться стихами поэта: «Вся страна и время, все люди для людей, счастье в едином теле» — такое он понимал, стихи были призывом к действию и звучали как революционные лозунги, как эхо героических эпох; в этих стихах чувствовался протест человека против неумолимой истории. Но Маркс с его учением казался Мареку скучным.

Уж лучше слушать Бенде, когда этот красный комиссар погружался в свои воспоминания. До близкого знакомства с Бенде Марек верил в грозность их мира, в

мстительную жестокость, и вот теперь Марек проникал в этот мир, и все приблизительно походило на его прежние мысли, только свет, который заливал этот мир, выходил из другого источника. Да, в этом мире были потоки и реки крови, и красные комиссары умирали от жестоких ран у тюремных стен, иные из них боялись умирать и думали о своих семьях и детях, но другие умирали гордо и мужественно, думая о всех несчастных и порабощенных, думая о будущем мира; в этом грозном мире было много бойцов, погибавших от выстрела на виду у истории, но немало и тех, кто погибал тихо, невидимо; было в нем безмерное море страданий, и были люди, которые боролись с ними. Вопреки всему! Вопреки всему — это Марек понимал и чувствовал; удивительная и самая человеческая борьба, борьба вопреки всему, отчаянная борьба, безнадежный бой, жертвы, но Марек понимал такой героизм, такой героизм был близок его сердцу. Он словно сам пережил все трагические минуты революции — кладбище Пер-Лашез и московскую Пресню в девятьсот пятом, кровавую гибель будущего мира в Будапеште и Берлине и блокаду Мадрида. И вопреки всему! Вопреки всему продолжало звучать слово о будущем мира, и красные комиссары поднимали рваные, покрытые кровью знамена, и у толпы порабощенных наливались мускулы, словно они сбрасывали бремя гнета. Борьба, бой, страдания — да, в этом были пафос и поэзия! Но победившая революция уже не казалась Мареку такой поэтичной, ее жестокость была жестокостью победителя, а значит, не всегда справедливой.

Но Бенде вспоминал о героических днях редко, боялся, что его рассказ покажется хвастовством, старческой болтовней, а все, что напоминало Бенде о старости, болезни и слабости, было его врагом. Воспоминания были отрывочны — несколько слов, живой пример, убедительный аргумент. Но, увидев в глазах Марек жадный огонек любопытства, он остановился и не продолжал дальше, как Марек его ни просил. Впрочем, эти беседы все чаще и чаще становились для Бенде тяжелее, сердце все больше давало о себе знать, много раз они сидели, не говоря ничего. Бенде дремал и словно видел спокойный, давно забытый сон, а Марек смотрел на его большое белое лицо, и в эти минуты Бенде ста-

новился ему еще ближе — он как бы наяву видел его совсем молодым, в веснушках. Бенде лежал на гнилой соломе и слышал выстрелы на тюремном дворе, это был разгул белого террора; потом Марек видел его уже с усами, полного сил, да, с рыжеватыми усами и с бородой; под раскаленным испанским солнцем он пил красное густое вино, и капли вина оставались у него на усах, темные капли, похожие на кровь, а дым горящего предместья закрывал солнце; потом он видел Бенде уже старым и грузным, бредущим по бесконечному снежному холму; он падает и встает, падает и встает... Марек смотрел на Бенде, на его большое лицо, лицо больного человека, пористое, как губка, на тяжелые темные веки и в эти минуты ясно видел всю жизнь красного комиссара, комиссара Бенде, и тогда Бенде был близок и понятен Мареку; человек, которым ты особенно восхищаешься потому, что чувствуешь одинаково с ним.

И Мареку казалось, что в эти минуты ему понятна не только революция и смысл человеческой жизни вообще, но ясен и смысл собственной жизни, собственное будущее.

8

Янко Крап пришел домой, но квартира была холодной и пустынной; он зажег свет во всех трех комнатах. Квартира была совсем новая и большая, почти не обставленная, поэтому казалась полупустой и неуютной. Стены ее пахли краской. Эма еще не вернулась. Хотя был уже девятый час, но Эма все еще сидела в своей больнице, она вечно сидит в больнице, а квартира пустует, комнаты словно служат для того, чтобы по ним ходить; в них хорошо ходить, но очень плохо жить. Еще никогда Янко Крап так ясно не чувствовал пустыньность и неуютность этих комнат, как сейчас; он приходил домой, спал, иногда ел, а то и вовсе не приходил домой, проводя целые дни и ночи в районе, области, в поездках в Братиславу, и никогда не вспоминал и не думал, что у него есть дом — пустынный и неуютный дом. Но сейчас он вдруг сразу затосковал по уютному дому, ему захотелось иметь теплый и приятный дом и человека, который бы жил с ним в этом доме и разго-

варивал с ним вот в такие вечера, как этот, чтобы он мог отдохнуть, успокоиться, чувствуя рядом живого человека. Но Эма все время сидела в этой своей больнице, и в комнатах стоял холод, и были они пустынные и неуютны. Он зажег свет во всех трех комнатах, но от этого комнаты стали еще пустынее; тогда он начал ходить по ним, паркет под ногами скрипел и трещал, и от этих звуков комнаты казались еще пустынее. Янко Крап встал у окна и в первый раз заметил, что на окнах нет штор, перед ним чернели лишь темные дыры, смотрящие на темную улицу. За окном бушевала метель, стуча в стекло замерзшим снегом, и Прегибы казались вымерзшими, пустынными, лишь уличный фонарь на площади, словно пьяный, раскачивался в снежном вихре. Минуту Янко Крап постоял у окна, потирая шрам на правой щеке, потом снова заходил по комнатам; комнаты по-прежнему оставались холодными и неприветливыми, и вскоре он остановился у другого окна, но и это окно походило на первое — такая же застекленная темная дыра, которая никуда не вела. Черт возьми, выругался Янко Крап, что это со мной творится? И он снова спросил сам себя: и чего это тебе захотелось, чего захотелось? И тут же ответил: тебе захотелось немного мещанских удобств, немного мещанского тепла, тишины и покоя, и еще тебе захотелось, чтобы жена искала у тебя в волосах. Ну и хорошенькое же у тебя желание, Янко Крап, борец и коммунист, и что это пришло тебе в голову? Янко Крап, нетерпеливо потер шрам на правой щеке, он все время беспокоил его, всегда беспокоил при перемене погоды; на улице стоял холод и завывала метель, а он проехал на открытом джипе добрых десять километров, замерз и, может быть, поэтому так тосковал сегодня об уютном доме, забыв, что у него нет дома, а есть только квартира, где он спит и где иногда даже ест. Он прилег на застланную постель, закурил сигарету и закрыл глаза; возможно, будь дома Эма, они легли бы в постель и согрелись, а то и поговорили друг с другом. Когда они в последний раз разговаривали? Она не должна вечно торчать в своей больнице, мрачно размышлял он, хотя и знал, что он несправедлив — у Эмы свой мир, у него свой, и эта квартира лишь место, где они временами встречаются, временами вместе спят и бросают друг другу мимолетно

несколько фраз, это лишь место, где они иногда встречаются, а не их дом. Он докурил сигарету, встал и снова принялся ходить по пустынным комнатам; на улице завывала метель и стучала мелким замерзшим снегом в оконные стекла, и Янко Крапу было прескверно, словно ему не хватало чего-то очень важного, и он знал, что это важное ему нужно позарез сейчас. Медленно, нерешительно он погасил свет и вышел из дому. На улице на него накинута метель; он согнулся и зашагал прямо против ветра, зажмурив глаза от колкого снега и видя только тень уличного фонаря, странно мелькающую на площади. Здесь, на широких уличных просторах, ему было легче, чем в пустынных комнатах; он шел вперед и мог представить, что метель его враг и он ей наносит удары и побеждает ее. Метель перехватывала у него дыхание, и порой казалось, ему нечем дышать, но он упрямо передвигал крепкие ноги и чувствовал силу мускулов, они были словно из железа; и ноги были его, знакомые крепкие ноги, и плечи были его, и усталое дыхание, и сила тоже были его прежними. Он прошел мимо областной тюрьмы и потом долго пробиравшись сквозь снег, идя вдоль длинной железной ограды рёслеровского сада, а метель была по голым веткам старых деревьев. Он не хотел об этом думать и обычно не думал, уже раз сто он проходил мимо рёслеровского сада, заставляя себя не думать, но сейчас он вспомнил об этом, словно Ганка появилась из метели, словно уже не было никакой метели, а Ганка стоит у забора, держит в руках полотняный портфель с книгами и тетрадями — Янко хорошо помнит этот портфель, как-то он испортил у него замок и потом приделал застёжку от старых маминых туфель, — Ганка держит портфель небрежно, размахивая им, стоя у забора под сливой; слива недавно отцвела, и сквозь нее просвечивает солнце, бросая на Ганкино лицо крапинки тени, паутину из тени. Ганка стоит неподвижно, стоит словно под душем из золотистых и черных точек, и лишь легонько размахивает портфелем. Ребенок, думает Янко Крап, совсем еще ребенок, играет с солнцем; он думает и знает, что думал об этом и в тот раз, он ничего не помнит, лишь ту мысль и забор, у которого стояла Ганка, помнит сливу и полотняный портфель да еще золотистые и черные точки на Ганкином лице.

Нет, об этом думать нельзя. Янко наклонил голову и, полный злости, ринулся навстречу метели, он спешил пройти мимо рёслеровского сада, но большой и длинный сад все тянулся и тянулся, и, даже когда он уже прошел сад и тот скрылся во тьме и снежных вихрях, сад все равно словно тянул за ним свои длинные руки — бесконечные длинные руки воспоминаний. Старая знакомая дорога, хорошо знакомая дорога. Каждый день, каждый вечер он ходил по этой дороге. Его руки всегда были покрыты царапинами, в цеху вечно что-нибудь случалось с его руками, они словно притягивали к себе острые углы и острые предметы, огонь и раскаленное железо, руки в вечных царапинах и шрамах, он стыдился их и прятал поглубже в карманы, а зимой раны и царапины гноились — он и сейчас еще порой чувствовал боль в руках. Он был учеником, стыдился своих рук и испытывал зависть и ненависть к тем, кто не был таким, как он. Это были плохие годы в его жизни, ведь тогда он еще стыдился и завидовал всем, кто не был учеником, у кого были гладкие руки, гладкие лица, красивая прическа и кто знал много красивых слов. Потом он перестал завидовать и перестал стыдиться своих рук, руки понемногу заживали, понемногу научились свободно двигаться среди множества предметов, познали эти предметы и овладели ими, и теперь он гордился своими руками и уважал их. В субботний вечер он долго мыл их, смывал с них грязь и смотрел на них: это были руки большие и ловкие, хозяева вещей. А вскоре все познакомились с его руками, сжатыми в кулак, и многих их вид пугал, а многие ими восхищались, руки стали могучими руками борца. Вот и сейчас они сжаты в кулаки и поглубже засунуты в карманы пальто — нет, он не должен вспоминать о Ганке, нужно смотреть вперед, а не оглядываться на могилы. Какие могилы, сердито подумал Янко Крап, нет никаких могил, Ганки нет ни в какой могиле, я не думаю о могилах, я думаю о том, как ее убили, не оглядываюсь на могилы, а смотрю вперед, когда думаю о том, как ее убили.

Он вошел в поселок; на одном из низких длинных домов метель оторвала кусок железной крыши, железо звенело и стонало. Садики перед домами утонули в сугробах, ручей скрылся в снегу, от него не осталось и следа. Он по памяти перешел через мостик, по памяти

открыл калитку, прошел через двор и остановился у окна. Все было как и несколько лет назад, занавеска в одном месте прилегалa неплотно, непослушная занавеска двигалась, словно живая, и мать вечно из-за нее сердилась; все было как и несколько лет назад, но в доме жили чужие люди, жила его сестра Илона, чужая, костлявая, стареющая женщина, и жил муж этой женщины, вдовец с двумя детьми, пришлый батрак, чужой человек, муж его сестры и чужие дети, две девочки с косичками.

Янко так и не вошел в дом. Тихо сошел с низкой завазенки и, словно дух, исчез со двора. Здесь живут чужие люди, и ему нечего делать среди них. Он шел, согнувшись, вдоль длинного ряда низких домов и скоро добрался до окраины поселка, но опять повернул назад, словно сам не знал, куда он попал, и наконец, решившись, вошел в один из дворов, робко постучал, но в ответ никто не отозвался. Он нажал на ручку, и дверь открылась. Чачко сидел у плиты и что-то мастерил. Янко Крап так и представлял его: сидит у плиты, потому что вечно мучается ревматизмом, и что-то мастерит, руки у него всегда что-нибудь делают. Чачко работает на лесопилке, но все умеет — ботинки сошьет и шапку, и плотник, и каменщик, и крышу починит, и телегу соберет, сделает резную лавку и оконную раму, — в общем, золотые руки у Чачко. Его руки все время что-то ищут, берут бесполезные, безжизненные предметы и делают их живыми и полезными, но золото их избегает, руки у Чачко вечно жаждущие, руки работника, маленькие сильные и почти черные.

Чачкова всплеснула руками — и кого это черт несет, она не сразу узнала Янко Крапа; дети подняли головы с постели, и маленький заплакал; Чачковой было больше сорока, но дети появлялись один за другим.

— Добрый вечер, — поздоровался Янко Крап, неуверенно осматриваясь вокруг; он давно здесь не был, даже не помнит, когда был в последний раз. — Добрый вечер всем, — сказал он.

— Смотрите-ка! — воскликнула Чачкова. — Да ведь это Янко Крап!

Чачко поднял голову и испытующе посмотрел на Янко Крапа, он говорил мало, был замкнутым и угрюмым человеком, люди считали его чудаком, но сам он

думал, что не к чему болтать языком, раз могут говорить руки.

— Ну, с чем ты к нам явился? — спросила Чачкова; сидя на постели, она баюкала младшего, и ее не очень-то занимало, с чем пришел Янко Крап.

— Ни с чем, — сказал Янко Крап.

— Не слишком много, — сказала Чачкова и добавила: — Ну, раздевайся, чего стоишь как столб, не к чужим пришел.

— Да я просто так зашел, — сказал Янко Крап и посмотрел на Чачко.

Чачко снова уткнулся в свою работу, словно Янко Крапа здесь и не было.

— Зашел посидеть, — тихо сказал Янко Крап. — Если не выгоните.

— Не болтай, — сердито сказала Чачкова. — Что мы тебе, чужие?

— Я только на минутку, — оправдывался Янко Крап.

Я не знаю, думал Янко Крап, я совсем не знаю, чужие мы или близкие, стал ли я чужим этому дому, этим местам и этому поселку.

Он повесил пальто у двери, там в дверях был большой клин, на него Чачкова всегда вешала пальто; клин Янко помнил с детства, и то, что он все еще был здесь, придало Янко смелости. Присев на маленькую скамейку у плиты, он стал греться, уставясь на руки Чачко, на эго маленькие, быстрые руки, почти черные, такие близкие и знакомые. Янко Крап знал их с детства, видел каждый день, эти быстрые и точные руки, а потом, в горах, видел, как надежные руки Чачко быстро и точно разбирали и чистили оружие и так же точно умели стрелять.

— Валенки шьешь? — спросил Янко Крап.

— Валенки, — пробормотал Чачко.

— Для нашей старшей, — сказала Чачкова. — Не в чем ей идти в школу.

— Скажите-ка, — воскликнул Янко Крап, — я даже не знаю, сколько их сейчас у вас!

— Шесть, — сказала Чачкова, — и пять из них девочки. На смех всему миру.

Чачко поднял голову и посмотрел на жену, словно хотел сказать: не болтай,

Но не сказал ничего, снова опустил голову и занялся работой.

— Это уже немало,— заметил Янко Крап.— Немалый урожай.— Он говорил каким-то не своим, чужим, добродушно-старческим голосом и сейчас же устыдился этого осторожного старческого голоса, чувствуя свой фальшивый тон. Янко показался знакомым этот тон, таким тоном разговаривают с народом те, кто с ним заигрывает; черт возьми, неужели он уже не может быть простым, каким был раньше, а может говорить со своими только каким-то чужим, покровительственным тоном? Он нервно скреб шрам на щеке и смотрел на Чачко, но тот не поднимал головы, весь уйдя в работу.

— Я был в Бановой,— начал Янко Крап.

Чачко что-то невнятно пробормотал.

— Помнишь Крещчо?

— Кого? — Чачко наконец поднял голову.

— Крещчо, из Лешиной роты.

— Помню,— тихо сказал Чачко.

— Арестовали его.

Руки Чачко остановились. Лицо оставалось прежним, но руки словно удивились.

— Арестовали,— повторил Янко Крап.— Я пришел уже поздно.— Руки у Чачко еще минуту удивлялись, по ним даже пробежала волна возмущения, но затем они снова, словно раздумав, успокоились и занялись работой.

— Наверно, было за что,— сказал молчаливый Чачко.

— Было за что! — закричал Янко Крап.— Как ты можешь так говорить?

Маленький снова заплакал. Чачкова нагнулась к постели.

— Могли бы говорить и потише,— сказала она.

— Наверно, было за что,— повторил Чачко,— раз арестовали. Ведь мы народная демократия, не так ли?

Чачко над ним смеялся. Будь это раньше и оказался кто-то другой на месте Чачко, Янко знал бы, что делать, он никому бы не простил насмешки, но перед ним был Чачко, друг покойного отца, его, Янко, товарищ и соратник, и был он в комнате, полной детей и воспоминаний, в поселке, для которого Янко Крап был не сек-

ретарем и руководителем, а просто Янко Крапом, здесь он не мог стучать по столу и не мог кричать.

— Он прятал оружие, — сказал Янко Крап. — Арестовали за сокрытие оружия. Есть такой параграф.

— На это всегда были параграфы, — пробормотал Чачко. Его руки уже не пытались работать, став не терпеливыми и возмущенными. — Сколько же у него было?

— Хватало, — ответил Янко Крап. — Несколько винтовок, два автомата, пулемет и много гранат. Нашли даже немецкий миномет, правда, без мин, но все же миномет. К счастью, не нашли еще двух пулеметов.

Янко Крап пришел поздно, но все же сумел перевезти пулеметы в безопасное место. Впрочем, где теперь найдешь безопасное место!

— Что же, выдали его? — спросил Чачко.

— Нет, разработанная акция, — сказал Янко Крап. — Действуют наверняка.

— Народные полицейские?

— Черт их побери, — воскликнул Янко Крап. — Ну, я им еще намну бока!

— Только бы не они тебе, — заметил Чачко.

— Такой полицейский еще не родился! — с угрозой произнес Янко Крап.

Руки у Чачко понемногу успокаивались; минуту они оставались в нерешительности, а затем снова взялись за большую сапожную иглу, принялись за работу.

— Меня это не касается, — сказал Чачко. — Не моя каша...

— А чья? Чья это каша?

— Не моя, — твердил Чачко. — Я ее не варил.

— Хватит, он уже намучился. А нам-то что от этого? Все у нас так же, как и было, — вмешалась вдруг Чачкова.

Чачко поднял голову и строго посмотрел на жену; ты в это дело не суйся, говорил его взгляд, это наше дело, мое и Янко Крапа, а ты не суйся. Но жена словно не видела его взгляда, она решила сказать все, что думает, и теперь говорила это.

— И чего только не наобещали! Царство небесное! А что мы получили, что получили мои дети? Медаль! Медальми заткнули нам рот. А разве я медальми накормлю детей? Нам говорят, что теперь народ будет

править, народ выиграл. А что выиграли мы? Дырку от бублика. Господа и сейчас господа, а рабочий человек так и остался нищим.

— Мы еще не выиграли,— сказал Янко Крап.

— И-и, Янко, перестань! Не выиграли да не выиграли, а если у меня нет времени больше ждать? А у моих детей есть время ждать? Тебе, Янко, легко, скажу правду, как родная мать, тебе легко ждать, детей у тебя нет, и живешь ты в хоромах, а мои дети прозябают в той же дыре, а бывает и так, что нечего им в рот положить. Всю свою жизнь я только ждала, когда мы станем жить как люди, и смотрите — дождались, победили! Оказывается, мы уже в царстве небесном! — Чачкова забыла, что нельзя кричать, и раскричалась так, что ребенок снова проснулся. Тогда она схватила его и принялась баюкать.

Чачко больше не смотрел на жену, не приказывал ей взглядом молчать и не соваться в мужские дела, он молча шил валенки для своей старшей дочери — ведь надо же ей в чем-то идти в школу, — и руки у него дрожали и словно говорили. Янко Крап чувствовал себя виноватым, весь вечер он чувствовал себя виноватым; он знал, что поселок живет плохо и бедно, но это было как-то далеко от него, не очень беспокоило, плохая жизнь была лишь временной, нужно выиграть еще один бой — и все изменится, все изменится до самого основания, только еще немного выдержать. И сейчас он хотел сказать об этом — только еще немного выдержки, а там все изменится, все будет хорошо, но слова застряли где-то в горле.

— Уважили вы меня,— сказал Янко Крап.— А я шел к вам посоветоваться.

— Посоветоваться? — усмехнулся Чачко. Его руки на минуту с насмешливым удивлением остановились и снова принялись за работу.

— Посоветоваться,— повторил Янко Крап.— К кому же мне идти? Ведь арестовывают коммунистов, понимаешь?

— Ну, конечно,— сказал Чачко.— Ты сразу нашел к нам дорогу.

— А к кому же мне было идти?

— Вокруг тебя немало прихлебателей.

— Это коммунисты.

— Коммунисты! — Руки Чачко остановились и задрожали от возмущения. — Так почему ты не идешь к таким коммунистам?

— Я пришел за тобой! — сказал Янко Крап.

— Припекло у вас, что ли? — усмехнулся Чачко. И хотел добавить: когда у вас припекает, вы всегда находите к нам дорогу и сразу о нас забываете, когда мы не нужны, старые коммунисты, старое железо, не так ли? А порой и старое железо хорошо; вы нас ищете и находите, когда вас припекает. Но в другое время вам довольно ваших прихлебателей, наскоро перекусавшихся, они вас слушают и не рискуют смотреть на вас косо, а те, кто говорит правду, вам не подходят, не так ли? Но Чачко ничего не сказал, он никогда много не говорил, только руки у него сжимались в кулаки, злые и обиженные.

— Широко задуманная акция, — повторил Янко Крап. — За ней стоит Кремпашский, хочет сломить нас перед выборами.

— Это не моя каша, — повторил Чачко.

— Черт возьми! — возмутился Янко Крап. — Ты что, глухой? Сунут нас по одному в мешок. Раздавят нас по всей стране.

— Ты на меня не кричи, — сказал Чачко. — Кричи на своих прихлебателей. Мне до этого нет дела, я эту кашу не варил, для нее у тебя есть прихлебатели.

Чачко прав: это он, Янко Крап, заварил кашу, но разве он мог иначе? Пришел к нему Крещчо и с ним еще несколько парней и сказали: полицейские, дескать, ищут оружие, что делать? А Янко Крап был жадный до оружия, которое они спрятали после фронта, он крепко надеялся на оружие, верил в него и не мог его отдать, хоть и был на то закон и всякие там параграфы. И он сказал: не будьте идиотами, ребята, о чем вы спрашиваете? И они все поняли: пока было оружие, была у них и уверенность, что их не одолеют; да, такую политику они хорошо понимали. Но сейчас каша подгорела, неприятная штука все эти государственные законы и параграфы, и Янко Крап не может против них бороться, а Кремпашский наверняка хорошо подготовил удар, ударил неожиданно и в открытое место. Вдобавок он использовал и Шведу, Янко Крап это предчувствовал — мертвый Шведа был главным козырем

большой предвыборной кампании, должен был ее победоносно завершить.

— В этом деле они вспомнили и о Шведе, — сказал Янко Крап.

— Какой еще Шведа?

— Негодяй, которого я пристрелил. Теперь они хотят его вытащить на белый свет.

Руки у Чачко нетерпеливо дернулись и разжались.

— Ну, может, это и не так? — сказал Чачко.

— Поэтому я и пришел за тобой, — повторил Янко Крап. Сейчас он знал, зачем он шел сюда; хотя вначале и не понимал, а только чувствовал, что должен идти сюда, в поселок, но сейчас он уже твердо знал.

— Меня каждую минуту могут взять, — сказал Янко Крап.

Рука Чачко вновь судорожно сжалась, образовав крепко сжатый кулак.

— Пусть только попробуют, — сказал Чачко и медленно опустил кулак на колени.

— У них на то параграфы, — ответил Янко Крап. — Наверняка попробуют.

Кулаки у Чачко медленно разжались, руки вытянулись и схватили недошитый валенок и сапожную иглу.

— Я эту кашу не варил, — проворчал Чачко, — и есть ее не стану.

— Так дело не пойдет! — крикнул Янко Крап, схватил Чачко за плечи и больно сжал. — Что ты имеешь против меня?

Чачкова наконец успокоила, маленького и искоса смотрела на мужа и Янко Крапа: что у них там творится?

— Я бы сделала вам чай, — сказала она, — да сахара нет. Ни кусочка.

Она подошла к большой постели, где не вдоль, а поперек лежали четыре маленькие девочки. К постели была подставлена скамейка, застланная ковриком, ху-денькие ножки торчали из-под перины.

— Будто бревнышки, — вздохнула Чачкова, поправляя перину и все время искоса смотря на мужчин.

— Не доставляйте себе забот, — сказал Янко Крап. Он все еще держал плечо Чачко словно в клещах и повторял:

— Что ты имеешь против меня?

- Спроси у своих прихлебателей.
- Я спрашиваю у тебя.
- Пусти меня, — вырывался Чачко. — Я тебе не сопляк мальчишка.

Янко Крап разжал руки — безнадежно чего-нибудь добиться от Чачко насилием, Янко Крап хорошо его знал, Чачко был человек из крепкого дерева, немало испытанный. Янко Крап жил в Прегихах только несколько месяцев, но уже услышал кое-что о Чачко; старик обиделся или что-то вроде этого, но Янко счел, что это дело несерьезное, и все время откладывал свое посещение поселка, ему постоянно не хватало времени. А сейчас он очень нуждался в Чачко, сейчас тот был необходим ему, как воздух. Но Янко Крап видел, что упустил время, а насилием от Чачко ничего не добьешься. Янко сидел на скамейке и бессмысленно потирал шрам на правой щеке.

— К черту эту работу, — ругался он, — к черту работу. Что мне делать?

И тут вдруг Чачко заговорил сам:

— Твои прихлебатели лучше знают, ты их спроси. Они мне говорили, дескать, я не понимаю новые времена, я старая школа. Так спроси их, с ними посоветуйся.

— А ты и обиделся, — сказал Янко Крап.

— Я им не сопляк мальчишка. Никто не имеет права называть меня сопляком, — обиженно твердил Чачко.

— Я расследую это, — примиряюще сказал Янко Крап.

— Расследую! — взорвался Чачко. — Полюбуйтесь на него, командира и секретаря! Он расследует! Так что же ты расследуешь? Разве ты лучше, чем они?

— У меня не было времени, — оправдывался Янко Крап. — Но теперь я это расследую.

— Не было времени! Прохвост ты, вот кто. Генерал среди прихлебателей. Все сам, только сам. Я да я! Расследую! Постановлю! Выступлю! А прихлебатели крутятся около него. Генерал! О людях забыл, дерьмо!

Руки Чачко двигались и падали, маленькие, сильные и почти черные руки, быстрые и точные руки, сейчас они мелькали перед глазами Янко Крапа, оскорбленные и грозные. И вдруг у Янко промелькнула мысль: старый Чачко прав! Он внезапно вспомнил Бенде, и перед ним

с блеском молнии всплыло большое огорченное дрожащее лицо Бенде. Но тут же Янко опомнился. Он не мог поверить в свою вину, это делало его слабым.

— Хватит! — сказал он решительно. — Я пойду.

— Останься, Янко, — упрашивала Чачкова. — Вода уже кипит.

Но Янко Крап встал и снял пальто с дверного клина.

— Я ошибся, — сказал он. — Мне не нужно было сюда приходить.

— Ладно, садись, — проворчал Чачко. — Теперь можешь сесть.

Янко Крап стоял у дверей, нерешительно держа пальто в руке, он был оскорблен — уже давно ему не приходилось выслушивать подобные вещи, но сейчас приходилось смириться, ради общего дела приходилось покориться. Он снова повесил пальто и сел.

— Ну а теперь можно и поговорить, — сказал Чачко. Его руки лежали на коленях, внимательные и дружеские. Сейчас, когда руки выкричали свою обиду, они стали спокойными и участливыми.

— Поговорить мы могли давно, — угрюмо ответил Янко Крап.

— Нет, — возразил Чачко. — Я должен был все тебе высказать.

Чачко сидел с довольным видом, словно рассчитался за все свои обиды, и сейчас это был старый, знакомый Чачко, но Янко Крап никак не мог привыкнуть к новой атмосфере доверия, для него Чачко был уже не только старым знакомым, товарищем, другом отца и его, Янко, соратником, но и новым Чачко; слова, сказанные им, не исчезли, они словно кружились по комнате. Чачко оскорбил Янко, коснулся самых больных струн, самых неприступных, сокровенных и потайных мыслей в его сознании и поэтому был для него врагом. Внешне все было мирно: они пили горячий чай и вели беседу о близком будущем. Чачко все понял, да, работа не должна остановиться; даже если Янко Крапа арестуют, поселку нужно собраться с силами, поселок — единственный надежный оплот в округе, и он не должен подвести. Но у Янко Крапа было смешанное чувство: то он видел в Чачко старого друга, который не изменит в трудный час, то вновь слышал злые слова Чачко, его обвинение и видел в нем соперника и врага, который

готовится его одолеть и покорить. Он чувствовал опасность в Чачко не только для себя, но и для самого дела, за которое он боролся и которое, по его мнению, представлял. И потому Янко Крап расставался с Чачко с растерянной улыбкой. Если это была борьба, думалось Янко, то старик этот тайм выиграл. Но еще не конец, еще далеко не конец. Янко Крап шел по главной улице поселка, и ему казалось, что дома напряженно следят за каждым его шагом, что и они слышали слова старого Чачко и сейчас молча поддакивают старику и караулят его, Янко Крапа. Глупости, говорил он себе, это же мой поселок, здесь я родился, каждый меня тут знает, и я знаю всех, это мой поселок, и чего я выдумываю? Но он чувствовал: что-то встало между ним и поселком, это что-то промелькнуло и в словах Чачко и даже было в детях, лежавших поперек постели, словно поленья, было это и в Чачковой, в ее серых материнских глазах, в ее выступающем зобе и отвисшем животе — Янко Крап и поселок как-то стали чужими друг другу, поселок остался на прежнем месте, а Янко Крап отошел от него, стал далеким. Вновь у него мелькнула мысль, что в чем-то он не прав, вновь он вспомнил Бенде, ведь и Бенде его предостерегал, и Бенде говорил что-то сходное со словами Чачко — дескать, он, Янко Крап, окружает себя ничтожными людьми, как спасительной стеной, которая должна сторожить его собственное величие. Но Янко не мог признать их правоту, они просто старые, усталые люди, им не хочется быть в движении, они утратили революционную гибкость, да, слово найдено — утратили революционную гибкость и завидуют ему, Янко Крапу, они революционеры на пенсии и старые брюзги, которые только ругают новые времена и новых людей. Он, Янко Крап, молод и гибок, работает не щадя сил, не щадя ни себя, ни других, работает с теми, кто хочет работать, и не может работать с теми, кто лишь брюзжит; вокруг него не прихлебатели, а старые друзья, и среди них молодые, гибкие и энергичные люди, которые поняли правду новой жизни, и с ними одна радость работать, потому что они так же гибки и энергичны, как и он, Янко Крап. А его всюду чтят, уважают, ведь он «их Янко», а не какой-нибудь пан секретарь, везде его встречают как своего, так чего же хотят от него старые брюзги? Пусть сидят на своих

пенсионных скамейках и смотрят, как становятся явью их старые мечтания, пусть не завидуют и не брюзжат. Янко уже почти жалел, что пошел к старому Чачко, поддался минутной слабости и предстал перед Чачко беспомощным, открыл ему свои слабые места. Он ободрял себя всю дорогу, упорно ободрял, находя все новые и новые аргументы в свою защиту, и так упорно себя ободрял, что ему стало неприятно.

Метель утихла, над городком мерцали замерзшие звезды. В секретариате демократической партии еще горел свет. Плетут, со злостью ворчал Янко Крап, плетут свои сети, подлецы. Он вдруг почувствовал, как засосало где-то под ложечкой, ему показалось, что тень мертвого Шведы мелькнула за шторами секретариата. И снова Янко Крап стал одиноким, беспомощным перед опасностью, которую он давно предчувствовал. Он не боялся тюрьмы, но боялся, что принесет вред своей работе и партии, бросит позорную тень на свою работу: секретарь района в тюрьме, мертвый Шведа, убийство в горах, скандал, в который с радостью станут соваться эти грязные физиономии. Он совсем не жалел, что застрелил Шведу, и, повторись все снова, он поступил бы так же — собаке собачья смерть, но сейчас он боялся, что тень мертвого Шведы запятнает и его честь, честь коммуниста, а она ему была дороже жизни. Он прибавил шагу, стараясь скорее попасть домой. Окна его квартиры были темные — Эма еще не вернулась. Но, войдя в дом и включив свет в спальне, он увидел на стульях разбросанные в беспорядке платье и белье — Эма спала. Она приоткрыла на миг глаза и тут же зажмурилась от яркого света и отвернулась к стене. Янко Крап погасил свет, разделся в темноте и забрался в свою постель; постель была холодной, и он сразу почувствовал, как замерз.

— Ты спишь, Эма?

— Нет, — ответила Эма и откровенно зевнула. — Но не подходи ко мне, ледяной принц. От тебя так и веет морозом. Не приходи ко мне, пока не согреешься.

— Да я не о том, Эма.

— Удивительная вещь, — насмешливо протянула Эма, — так в чем же дело?

— Мне нужно с тобой поговорить.

— Поговорить! Ты не заболел, Янко Крап?

— Не шути, Эма. Все очень серьезно.

— Я сейчас сделаю тебе чай,— сказала Эма и снова зевнула.— Боже мой, что за люди эти мужчины! Я сделаю тебе чай и налью сливовицы. Отличное средство против простуды и серьезных мыслей.

— Не хочу я твоего чаю,— угрюмо ответил Янко Крап.— Я уже пил чай.

— Ну, тогда я сварю кофе,— сказала Эма.— Он поддерживает присутствие духа при серьезных разговорах.

— Неужели ты хоть на миг не можешь быть серьезной?

— Я говорю ужасно серьезно,— ответила Эма и решительно встала с постели.— Боже мой, эти мужчины!

Она надела старый стеганый халат и ушла в кухню.

— Плитка! — крикнула Эма из кухни.

— Что с ней?

— Она совсем холодная и мертвая.

— Оставь ее, Эма.

— А ваши обещания перед супружеством! — кричала Эма из кухни.— Помнишь, что ты мне обещал?

— Нет, не помню.

— Боже мой, эти мужчины! Похожи друг на друга, как четки, никогда ни о чем не помнят, одни женщины должны помнить все на свете, без женщин история походила бы на эментальский сыр — сплошные дырки. Я слесарь высшего класса, приходите ко мне, милостивая пани, я исправлю вам машину с полной гарантией. Не помнишь? А сейчас речь идет лишь о простой плитке.

— Да брось все это, Эма. Иди лучше ложись.

Эма выглянула из дверей кухни.

— Иди ложись, иди ложись! Обо всем забыли и помнят лишь эти слова: иди ложись. Птичий словарь. А милостивая пани не хочет ложиться. Милостивая пани бешено хочет кофе.

Янко Крап вздохнул, встал с постели и надел прямо на пижаму пальто. Эма уже разожгла плиту и поставила воду. Они присели к кухонному столу друг против друга, Эма сидела, подперев подбородок руками.

— Итак, жизненно важный разговор?

— Что-то в этом роде.

— Брр,— передернулась Эма.— От жизненно важного разговора заранее пробирает дрожь. Ночь, метель и одиночество. И они наедине друг с другом.

— Ты перестанешь смеяться?

— Тогда бы мне пришлось снять с себя кожу, Янко Крап. И ты наверняка признаешь, что я стану менее привлекательна. Женщина со снятой кожей. Это пока не в моде.

— Возможно, нам придется расстаться,— сказал Янко Крап.

Эма подняла голову, но еще миг насмешливые огоньки играли у нее в глазах, затем они погасли, веки прикрыли глаза и задрожали.

— Только на время, Эма.

Веки боязливо поднялись, глаза были большими и, казалось, совсем пустыми.

— На какое время?

— Этого я не знаю.

— Как понять, Янко Крап? Что все это значит? Если ты хочешь меня бросить, можешь сказать прямо, я не заплачу.

— Речь идет о Шведе,— сказал Янко Крап.

— О Шведе! — воскликнула Эма, всплеснув руками, но вид у нее был отнюдь не удивленный, она сразу поняла.— Значит, мертвые воскресают?

— Да,— произнес Янко Крап.— Меня могут арестовать.

— Мне кажется, я что-то об этом слышала. Да, да, я что-то слышала. Какой-то отдаленный разговор.

— Что ты слышала?

— Ах! — крикнула Эма и вскочила из-за стола.— Вода кипит.

Она заварила кофе и разлила его в чашки. Кухня сразу стала уютной. Воздух был полон кофейного аромата, и опасность словно растаяла.

— А могла бы ты припомнить этот разговор? — спросил Янко Крап.— Могла бы ты поговорить со мной как человек, а не как роковая предсказательница? «Какой-то разговор!» Разве он мне поможет?

— Подожди,— сказала Эма, склонившись над чашкой кофе и осторожно вдыхая его аромат.— Вспомнила, Янко Крап,— сказала она наконец.— Речь шла об эксгумации.

— Черт возьми! — крикнул Янко Крап. — Они спешат.

— Спешат сделать из меня раньше времени вдову, — заметила Эма.

Она снова ушла в свою раковину, стараясь не думать об опасных вещах.

— Не шути, Эма. Дело серьезное.

— Этот Шведа был прежде всего негодяем, — сказала Эма. — Сейчас, когда он мертв, это ясно как день.

— Но мне это не поможет, — сердито прошепелявил Янко Крап. — Может, действительно я не должен был его убивать!

— Ура! — зааплодировала Эма. — Угрызения совести как раз вовремя. Угрызения в тени виселицы.

— При чем здесь угрызения совести? — Янко снова с подавленным видом потирал шрам на правой щеке. — Я нанес вред партии.

— И мне, — добавила Эма. — Мне ты тоже нанес вред. Я ведь будущая вдова. У меня появится много врагов и негде будет приклонить голову.

— Ты права, — произнес Янко Крап. — Тебе придется много испытать.

— А ты уверен, что я достаточно созрела для этого?

— Я не уверен, достаточно ли ты меня любишь!

— Можешь быть спокоен, я созрела.

Янко Крап внимательно взглянул на свою жену, но Эма смотрела в пустую чашку, помешивала ложечкой и смотрела с таким любопытством, словно на дне чашки было что-то очень интересное.

— Мне хочется верить, — сказал Янко Крап.

— Благодарю, — ответила Эма. — Ты всегда был со мной любезен.

Она встала, потянулась и с усилием зевнула.

— Что ж, значит, это наш последний кофе, — сказала она. И Янко Крапу показалось, будто она приласкала его глазами. — Придется идти спать.

Янко Крап тоже поднялся, погасил в кухне свет и вслед за Эмой вошел в спальню.

— Еще кое-что, Эмочка, — сказал он вдруг. Эма уже лежала, по горло укрытая одеялом, и с притворным видом стучала зубами. — Тебе нужна наша квартира?

— Этот каземат? Ты же знаешь, мне никогда она не была нужна.

— Хорошо, — сказал Янко Крап. — Нам она действительно не нужна. — Он думал о Чачковой и ее детях.

— Да и что нужно будущей вдове? Одинокая пещера над холодным морем. Буду ждать и лить слезы. Одна, совсем одна. Изгнанная из супружеского рая и лишенная наслаждений. Брр, уже сейчас меня от этого пробирает мороз.

«Ты могла бы быть серьезнее», — хотел сказать Янко Крап, но тут же понял, что все слова ни к чему, понял и то, что Эма таким способом подбадривает, успокаивает себя и его, а раз еще можно шутить, действительность не столь грозна. Может быть, еще не удастся их затея, может, Янко Крап найдет в себе силы бороться с ними. Если бы не было этого выстрела, этого глупого напрасного выстрела! Он сейчас для Янко словно кандалы на ногах, не будь этого выстрела, он бы им показал! Он бы им показал, что за человек Янко Крап и что за люди эти парни, которых они сейчас гонят в тюрьму, он бы им показал, они бы и не пикнули!

Толстопузые! Снова хотят все сожрать, все задушить и проглотить батрацкую свободу и будущее! Не будь этого глупого выстрела, он бы им показал! Но теперь он подорвал к себе веру, теперь он видит, что сам виноват, видит свою ошибку, и, может быть, он совершил еще немало ошибок, может быть, и вся его жизнь была лишь длинной вереницей ошибок и неудавшихся замыслов.

— Все-таки я не должен был его убивать, — сказал он, стоя в задумчивости у постели.

— Ложись, — сказала Эма, она уже не стучала зубами. — Может, в постели ты перестанешь каяться.

Была глубокая ночь, но в зале клуба горели все лампы богатой люстры. Весь клуб был голубым, стены вполовину своей высоты покрыты голубой краской, потолок выкрашен в бледно-голубой цвет, а на полу лежал большой голубой ковер; свет мягко тонул в этой голубизне. Архитектор Феркодиц ходил в клуб еще в те времена, когда был депутатом, но с конца войны ни

разу сюда не заглядывал; появившись после долгого отсутствия, он удивился, что ничего не изменилось — все было как прежде: и люстры, и стены, и ковер, и лица игроков вокруг карточных столов. Правда, было кое-что и новое: новый официант и новая трещина на фасадной стене, да еще новые лица свежее испеченных богачей — изменения, принесенные войной. В остальном все осталось таким же, как до войны, как два года, пять, десять лет назад: полный свет люстр, приятно мерцающих в голубизне, карточные столики, шампанское в ведрах и заграничные коньяки, лица, сосредоточенные на игре, и шелест банкнот — все было как пять или десять лет назад, все в полном здравии пережили войну и всяческие изменения и сидели здесь прочно и уверенно, словно сидели с давних времен и будут сидеть вечно. Это чувство устойчивости, несокрушимости богатства и силы было очень приятно архитектору Феркодичу; какая-то приподнятость духа появилась в нем, когда он видел великих мужей мира сего, ловко ускользнувших из всех капканов времени, спокойно тасующих карты, он испытывал и радость оттого, что они целы даже после потопа. Здесь было немало его знакомых, немало тех, кому Феркодич помог, когда был депутатом, — рука руку моет, и ворона садится к вороне, и вот он снова среди них, и они приняли его, ведь он принадлежал им, был одним из них, у него тоже было дело. Правда, это было не бог весть какое дело — небольшая, хоть и солидная, фирма, — большие дела вершились тайно, времена были еще опасные, царил террор, подавлялась свобода предпринимателей, хотя кое-что уже, разумеется, изменилось. Феркодич ходил между столов, касаясь взглядом широких плеч и буйволиных шей, и чувство уверенности росло в нем — эти люди, не теряя присутствия духа, пережили все перемены. Сейчас они кряхтели и сопели, пили и играли в самобытные словацкие игры — в очко и фербль, многие из них побывали в Монте-Карло и попытались счастья в шмен-де-фер, но все же остались верны словацким играм; те игры подходили лишь немощным графчикам, настоящей же мужской словацкой игрой был фербль, а не какие-нибудь французские штучки. Вообще эти всемогущие мужи были поклонниками словацкого стиля, любили грубые, вульгарные словечки, галушки с брынзой и

не чувствовали себя опозоренными, переспав с прислугой. Они презирали венгерских графчиков, называли их дегенеративными обезьянами, но втайне завидовали не только их родословным, но и тому, что эти дегенераты соперничали с ними в мотовстве; а ведь они были не только богатыми и всесильными мужами, но и истыми кавалерами. Некоторые предчувствовали, что их время уходит, а другие понимали это. Но встречались и такие, что несокрушимо верили в свою счастливую звезду, верили в неизменность мягкой голубизны клуба, так же как в неизменность власти и денег: не то чтобы они не допускали сомнения, нет, они просто были свободны от всяких сомнений здесь, в клубе. У них были свои постоянные карточные столики и свои стулья, постоянные партнеры и свое общество, свои связи и своя рука в государственных монополиях, у них были свои люди среди политических деятелей и свои запасы в нескороаемых сейфах; коммунисты, считали они, — это лишь временная неприятность. Коммунистам придет конец, придет конец и другим неприятностям, как пришел конец кризису, немцам; все имеет свой конец, неизменна лишь власть денег. А денег у них хватало, была торговля легальная, но была и нелегальная, в стране царил нищета, а нищета — хорошая основа для торговли, торговля кормится нищетой, тучнеет от нее. Они не занимались мелкой спекуляцией, имея всю валюту в портфелях, они имели дело с вагонами кукурузы из Румынии, с кабанями из Венгрии, с оконным стеклом из Чехии; нищета после войны была бездомной, царил всюдю, поле деятельности для предпринимателей было необозримо. На карточных столах шелестели банкноты, груды банкнот, кучи банкнот; денежный курс падал, и банкноты были легкими и дешевыми. Во всяком случае, казалось, что банкноты легкие и дешевые, они высились горками и, легко танцуя, опускались на сукно столов, потом снова вздымались в смелых воздушных пирамидах и с легкостью уплывали из рук, послушно меняя хозяина. И совсем не казалось, будто эти банкноты пожирали людей, их здоровье, надежды и их хлеб, на них не было и следа крови, пота или детских слез, нет, это были очень легкие и послушные банкноты, привыкшие менять хозяев; они шелестели и вели свою собственную равнодушную, независимую беседу.

Архитектор Феркодич расхаживал между столиков, и его длинное лошадиное лицо сияло, словно все вокруг принадлежало ему — и голубизна клубных стен, и воздушные банкноты, и сердитые восклицания, и напряженное дыхание игроков; он расхаживал между столиков, посматривая на стены и тучные затылки и обмениваясь молчаливыми приветствиями с новыми и старыми знакомыми; для него это была великая ночь, ночь его возвращения. Но, даже испытывая приятное головокружение от воздуха, которым он так давно не дышал, переживая радость своего возвращения, он ни на минуту не терял из виду огненно-рыжие волосы, одним глазом Феркодич постоянно стерег Манци. Она сидела у одного из карточных столов, ее полные плечи, молочная кожа и огненные волосы казались неотъемлемой принадлежностью этого зала, и никто не считал ее здесь чужой. Она сидела у стола и давала советы, ее приятно возбуждала игра, возбуждал шелест банкнот, их легкость и послушность, она следила за их движением, полуоткрыв свой свежий рот, и ее зубы влажно блеснули в свете люстр. Порой она поворачивала голову и улыбалась архитектору Феркодичу мимолетной, ничего не значащей улыбкой, но Феркодича радовала эта улыбка, ведь она подтверждала их близость, заверяла, что они муж и жена и что все идет отлично. Манци уже больше недели жила на вилле архитектора Феркодича, она расталась со своей артистической карьерой, пожертвовав ею ради Феркодича, и архитектор оценил ее жертву; вначале все выглядело легким и немного нереальным приключением, но скоро все изменилось, архитектор Феркодич стал уважать свою Маничку и даже стал человеком подневольным, ведь он только и делал, что думал и мечтал о ней. Для него самого это казалось весьма удивительным, ему было уже за пятьдесят, и он пережил всякое, но сейчас его словно опутали — он постоянно видел ее молочную кожу с легкими веснушками, вдыхал ее тяжелый, пряный аромат и не переставал удивляться, как он мог так глупо и неинтересно жить до той поры, пока не встретил Манци. Старая осторожность нашептывала ему: будь осторожен, не усложняй всю эту историю, ведь Манци лишь красивая, опасная чужая женщина. Но стоило Манци удалиться хотя бы на миг, как им овладевало желание видеть ее и тут же появлялся

страх потерять ее, она была властительницей его желаний, его имущества. Порой, когда Феркодич видел, как она распоряжается вещами, некогда принадлежавшими его жене и дочери, в нем подымался протест и даже неприязненное чувство, и тогда он сразу замечал маленькие резкие складки в уголках ее губ и ясно представлял, что с ней будет, когда она состарится; но стоило Манци улыбнуться или приласкать его взглядом, как он таял и забывал обо всем. Возможно, думал он, возможно, все так стремительно потому, что я никогда не любил и не знал любви, меня просто женили, и я жил супружеской жизнью, изредка покупая красивых женщин, а любовь росла и зрела во мне, как растет и зреет нарыв, и сейчас он лопнул. Но он редко размышлял, чаще он просто наслаждался Манци и этим жил, твердо зная лишь одно: он должен обладать ею и не должен ее потерять.

Архитектор Феркодич кружил в голубоватом свете люстр, вдыхал запах пота и запах денег и ни на миг не терял из глаз огненные волосы и полные полуобнаженные плечи; порой ему казалось, что Манци уже давно не поворачивалась к нему, что она не желает смотреть на него, тогда ноги сами несли его к ней, он становился за ее спиной и дышал прямо в эти обнаженные плечи. Манци оборачивалась, и в уголках ее губ отчетливо виднелись маленькие складки, но тут же ее лицо разглаживалось и улыбалось архитектору Феркодичу.

— Отлично, не так ли? — спрашивал ее архитектор Феркодич.

— Сказочно, — отвечала Манци, откинув голову назад и касаясь волосами груди Феркодича, это было интимное прикосновение, подтверждающее, что они муж и жена. Толстяк, возле которого сидела Манци, как раз сорвал банк, у него были короткие толстые пальцы, и он подгребал ими к себе деньги, самые крупные банкноты; архитектор Феркодич торопливо старался угадать сумму выигрыша — возможно, тысяч сто, а может, и больше, это великолепно, это сила, которая не боится денег, которая владеет ими. Толстяк повернулся и, подмигнув архитектору Феркодичу — это был один из его бывших знакомых, — взял пригоршню денег и положил Манци на колени.

— Нет, — сказал архитектор Феркодич, — не надо!

— Она приносит мне счастье, — ответил толстяк и вновь подмигнул Феркодичу.

— Нет, пожалуйста, возьмите, — настаивал Феркодич. — Манци, верни деньги.

— Как хочешь, — сказала Манци, и снова в уголках ее губ появились резкие складки.

Она положила деньги на стол, но толстяк, мешая карты, даже не посмотрел на них. Манци больше не улыбалась архитектору Феркодичу, она отвернулась и, вытащив пудреницу, долго и осторожно пудрила нос, она так и не взглянула на Феркодича, а лишь смотрела на деньги, слышала их шелест, не в силах отвести глаз от денег, которые она положила на стол, деньги еще не смешались с остальными, словно знали, что имеют свое особое предназначение. Манци любила деньги, они были надежной защитой от всего плохого, от грубых прикосновений нелюбимых мужчин, от грубых прикосновений нищеты; она всегда мечтала о деньгах, о чудесной огромной сумме денег, которая сразу бы освободила ее от мучительного страха перед будущим; огромная сумма денег, неожиданный выигрыш, конец подневольной жизни. Сейчас она любила деньги больше всего на свете, но когда-то и она могла любить другое, и она была влюблена. Ей тогда исполнилось пятнадцать лет, веснушек не было и в помине, на ее длинные ноги многие засматривались, она была очень влюблена и всюду ходила за ним как собачка, поджидала в темной подворотне. Но он не желал ее знать и прогнал прочь, а однажды так неожиданно с ней столкнулся, что испугался и крикнул ей: «Ах ты рыжая чертовка!» — и оттащил ее за волосы — так и кончилась ее любовь. «Ах ты рыжая чертовка!» Его слова ввергли ее в пучину темной ненависти, а когда она опомнилась от этого удара, то уже не захотела быть влюбленной, она хотела быть красивой и властвовать над любовью. Но ей было суждено еще немало любить и покоряться — и всегда с ущербом для себя. Сейчас ей стукнуло двадцать пять, и больше ей не хотелось вечно быть в проигрыше, не хотелось владеть такой непрочной вещью, как любовь; она хотела обладать реальной, невыдуманной властью. Вот почему она осталась на вилле архитектора Феркодича, осталась у этого дурака с

лицом лошадиного барышника, как называла она его в душе, осталась и решила закрепить свои позиции.

— Нам, пожалуй, нужно домой, — сказал архитектор Феркодич. Он уважал всеильных людей, но это не мешало ему бояться за Манци.

— Еще минутку, — сказала Манци и улыбнулась. — Это просто сказочно.

— Сказочно, — уныло повторил Феркодич.

Толстяк снова обернулся и сказал:

— Мы могли бы поставить пополам.

— Нет, — отказался Феркодич и учтиво улыбнулся. — Лучше не надо, пожалуйста.

Толстяк пожал плечами. Архитектор Феркодич немного постоял, но Манци так и не двинулась с места; потом к нему подошел старый знакомый. «Старина, — сказал он Феркодичу, — ты еще жив?» Это был торговец древесиной, у архитектора Феркодича были с ним многолетние торговые связи, и сейчас Феркодич нуждался в нем: основной капитал фирмы был невелик, в ней работали большей частью новые люди, и он, архитектор Феркодич, бывший депутат, был в ней самым старым и самым уважаемым, он обладал наиболее выгодными связями, а эти связи умножали капитал и, уж во всяком случае, увеличивали кредит. Торговец стройматериалами, плешивый человек, имел немало детей, разбросанных не только по всей Словакии, но и за границей, и очень любил рассказывать о своем многочисленном потомстве; он вел подробный список умножавшейся семьи и, удачно ведя торговлю, посылал детям деньги. Он любил похвастаться семьей: у меня детей, говорил он с гордостью, как у тунисского бея, и густая щеточка усов так и сверкала на его лице, пышущем здоровьем и энергией. У него были некоторые затруднения, и он принялся рассказывать о них архитектору Феркодичу, а Феркодич пил коньяк в буфете и кивал — как же, помню, помню. Это было и в самом деле сложное дело: какая-то еврейская лесопилка и сделка по ее купле-продаже, оказавшаяся неправильной, были тут замешаны и наследники бывшего хозяина лесопилки, которые по возвращении потребовали свое наследство, но у торговца древесиной были солидные документы. Архитектор Феркодич слушал торговца древесиной и, кивая ему, улыбался, потому что торговец был нужен

ему позарез, но в то же время он не упускал из виду огненных волос Манци, хотя карточный стол был далеко от буфета и плавал в голубоватом табачном тумане. Торговец древесиной был в хорошем настроении и сам предложил архитектору выгодную сделку, это было редким доказательством старой дружбы. Но архитектор Феркодич не испытал полной радости от удачного предложения, потому что не видел, что делается у карточного столика, ему казалось, что Манци улыбается толстяку с грубыми пальцами, и он все еще видел смятые деньги на ее коленях.

И тут кто-то дотронулся до его спины, он оглянулся и увидел толстяка, всесильного обладателя кучи денег, толстяка с квадратным лицом и короткими пальцами. Он обнял архитектора Феркодича и повел по голубоватому клубу; для архитектора Феркодича настала великая минута, его вел по клубу всесильный муж, и в то же время Феркодич чувствовал себя так, словно его вели на бойню.

— Ах, братец,— сказал ему всесильный муж.— И чего ты смотришь индюком?

Архитектор Феркодич раздвинул губы в привычной унылой улыбке, стараясь показать всесильному мужу, что не сердится на него; всесильный муж вытащил его в коридор и, сопя и пыхтя, затащил в туалет.

— Прошу тебя, сделай это для меня,— просил всесильный муж и, не договорив, остановился, будто вспоминая о чем-то.— Эх, братец... Так о чем я просил?

— Не могу вам сказать,— любезно заметил архитектор Феркодич.

— Уступи мне свою козочку.

— Простите, что?

— Конечно, не задаром.

— Я не понимаю вас.

— Только не прикидывайся дураком,— упорствовал всесильный муж.— Я хочу твою козочку. Она мне нравится.

— Но я действительно не понимаю вас,— возразил архитектор Феркодич, почувствовав страх и за себя и за Манци. А вдруг у него неостанет сил противиться этому напористому грубияну?

— Я хочу твою барышню,— сказал всесильный муж,— и денег дам немало.

Архитектор Феркодич мучительно размышлял. Да, он отказать не смеет, но и согласиться не может, ведь невысказано представить Манци и это животное вместе. И внезапно его словно озарило:

— Она моя невеста, сударь, — сказал Феркодич любовно.

— Врешь, братец, — заявил всесильный муж. — Давай не заливай мне.

— Честное слово, — еще любезнее сказал архитектор Феркодич. — Я на ней женюсь.

Всесильный муж осмотрел себя, не испачкался ли он, и потом испытующе взглянул на Феркодича.казалось, он поверил архитектору Феркодичу.

— Ну ладно, оставь ее себе, — сказал он и добавил: — Но ты осел, приятель. Наш брат не женится лишь для того, чтобы иметь дома красивый зад.

И он, покровительственно коснувшись пуговицы на пиджаке Феркодича, вывалился за дверь, весь потный, тяжело дышащий и сопящий. Архитектор Феркодич смотрел ему вслед, не чувствуя ни обиды, ни ненависти, а один только страх — что бы случилось, не приди ему на ум эта спасительная мысль? И он вновь повторил: она моя невеста, я на ней женюсь. И сейчас ему казалось, что это не было минутным озарением, нет, эта мысль давно жила в нем. Я хочу на ней жениться, хочу на ней жениться. Да, ведь был такой миг, когда эти слова чуть не сорвались у него с языка, это было в их третью ночь; Манци осталась у него, светало, и они лежали вместе, он испытывал приятную усталость, словно после долгой, утомительной дороги, он оказался под кровом, где был огонь и теплая забота. В ту ночь ему хотелось сказать Манци какие-то особые слова благодарности, но он не знал таких слов, а если и знал, то давно забыл, а ему хотелось сказать что-то хорошее и благородное, мучительно хотелось сказать: я на тебе женюсь, Манци, хочу, чтобы ты стала моей женой. Но тогда он так и не сказал этих слов, что-то в нем восстало — он случайно взглянул на стену спальни, и ему показалось, что в предрассветной дымке утра на него смотрит лицо жены, это был хороший портрет, сделанный незадолго до ее болезни, жена смотрела с портрета, и он не смог произнести этих слов. Портрет надо снять, подумал он в тот миг, непременно снять.

Настроение у Манци после истории в клубе окончательно испортилось, она неохотно отправилась домой и в такси ни разу не прижалась к Феркодичу, а старалась отодвинуться подальше, словно он чем-то обидел ее, и всю дорогу она не отвечала на его заигрывания и поглаживания. Архитектор Феркодич уже начал сердиться на Манци: хороша птичка, выходит из себя да еще злится. Но он боялся этих мыслей, боялся, что она прочтет их и тогда всему конец. А ему очень хотелось, чтобы Манци снова стала к нему ласкова, он хотел обладать ею любой ценой.

— Непременно сниму портрет, — сказал он наконец.

— Какой портрет?

— Портрет в нашей спальне.

— В твоей спальне?

— В нашей спальне. Портрет покойной.

— Но это же твоя жена!

— Она никогда не была моей настоящей женой. Меня женили на ней. И есть лишь одна женщина, которая может быть моей женой.

Манци молчала.

— Я хочу на тебе жениться, Манци.

Манци продолжала молчать.

— Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

— Ах ты, глупышка, — сказала наконец Манци. Она прижалась к нему и зашептала на ухо: — Ах ты, моя милая козявка.

Она снова стала милой и нежной, и в Феркодиче на миг мелькнуло подозрение: не сделал ли он глупость? Сейчас, когда Манци вновь стала милой и нежной, он вдруг понял истинную цену и важность своих слов.

Но тут Манци заявила:

— Это нужно отметить. Такое случается не каждый день.

И он возразил осторожно и вежливо:

— Уже поздно, Манци.

— Ах ты, моя козявочка, — нежно шептала Манци. — Мы отметим это в постели.

Пока он расплачивался за такси, Манци открыла садовую калитку и, поджидая его, оглядывалась вокруг, уверенная, рослая, закутанная в белую шаль, хозяйка его дома. И снова архитектора Феркодича охватило

неприятное чувство, будто он сделал что-то непоправимое, сдался на милость очень ненадежной и незнакомой стихии. Но он знал, что отступать ему некуда.

Кто-то вспомнил о капитане Лабуде, его пригласили в «Редуты» на совещание СВОЙПОВ¹. Какой-то голос три раза в течение недели напоминал ему по телефону о совещании, и, когда он из чувства любопытства отправился туда, его уже там ожидали и сразу посадили в председательское кресло. Это было так удивительно, что он даже не воспротивился; он оказался сидящим во главе множества людей, и, хотя стол для заседаний был закрыт до самого низа сукном, ему казалось, что все видят его ноги и костыли, что все собрались лишь для того, чтобы видеть его ноги и костыли, и он чувствовал себя опозоренным и раздетым. Вначале он видел лишь море голов, потом начал узнавать знакомые лица, чувствуя, что его товарищи, так же как и он сам, удивлены, что он сидит на председательском месте.

Он улыбнулся знакомому капитану, и тот ответил ему улыбкой, и тут вдруг Лабуда подумал: а что сказал бы Коза, окажись он здесь? И Лабуда уже внимательно рассматривал своих соседей, он поклонился одному из них, полковнику с множеством наград, и стал прислушиваться к оратору, стараясь понять смысл его слов. Оратором оказался низенький плешивый человек, заместитель главы правительства, его выступление было большим событием. Лабуда чувствовал себя стесненным. В нем неотвратимо росло чувство, что он здесь лишь для наглядности, живая иллюстрация того, о чем говорит оратор, он здесь как бы для подтверждения слов оратора, которые без его израненной спины и его костылей казались бы пустыми звуками. И Лабуда уже не улыбался, а смотрел угрюмо и зло: ну и дурацкое положение, нечего сказать, быть картой в руках этого плешивого человека, бессмысленным и покорным в той

¹ СВОЙПОВ — организация, объединявшая участников Словацкого Национального Восстания 1944 года.

игре, которая была простой игрой слов. Живя в шатком послевоенном мире, он никогда не задумывался всерьез о своем отношении к различным партиям, он презирал всякие политические штучки. У него было свое бремя, своя безмерная тяжесть, и все остальное представлялось Лабуде ничтожным, несерьезным и даже бессмысленным.

Внешний мир он воспринимал, казалось, лишь своей израненной спиной, он старался не видеть и не слышать его, пока внешний мир не задевал того, что хоть как-то было связано с его ранением. Туг были и подлинные и выдуманные обиды, и на них он отвечал взрывами гнева, которые только сильнее подчеркивали его бессилие. У Лабуды было несколько друзей, обиженных, как и он, судьбой и одинаково с ним смотрящих на мир, вот и все его радости. Прежде к миру его привязывало чувство общности со всеми, чувство товарищества, где немалую роль играли огромная сила и здоровье. Теперь с внешним миром его связывали лишь гнев и горькое чувство изгнанника, а не радость и сила товарищества.

Плешивый оратор все еще говорил, это был профессиональный оратор старой гвардии, главное для него заключалось не в словах, а в той гладкости и свободе, с какой они текли из его уст, — он восхищался героизмом и бескорыстием борцов, смело превозносил заслуги других, ибо твердо знал, что порой важно не то, чьи эти заслуги, а то, кто о них говорит. Он укреплял свой авторитет заслугами, бескорыстием и мужеством солдат Восстания, и их заслуги окружали его надежной стеной, возвышали его и зажгли нимб над его головой — казалось, вот-вот он вознесется на небо. Окруженный таким ореолом, он мог говорить не только банальности, но и просто бессмыслицу, исказить не только смысл слов, но и грамматику. Он говорил: «Бойцы Словацкого Национального Восстания вписали в историю Словакии самые прекрасные страницы». И продолжал: «Мужество героических словаков с радостным восторгом было встречено всем миром». И снова он вписывал в историю Словакии все новые и новые страницы, венчая мужественных словаков розами всемирного восторга. Он усердно льстил собравшимся, а лесть может выражаться в самых глупых и бессмысленных словах и не следовать

правилам грамматики. Это был бесконечный поток каких-то слов, и продолжительность выступления вполне соответствовала его пустоте; собравшиеся уже давно не слушали оратора — это было выше человеческих сил, но они не роптали, а просто дремали, убаюканные сладкой лестью.

Но капитан Лабуда чувствовал себя невыносимо, злость и гнев росли в нем, он выслушал о всех «страницах истории» и «венках», но его гнев не смогла убаюкать никакая лесть. Лабуда продолжал слушать плешивого оратора, поглядывая на него искоса, и прежние смелые мысли все чаще мелькали в его голове: схватить бы тебя за шиворот и скинуть с трибуны, а затем посмотреть и порадоваться, как ты болтаешь короткими ножками и потеешь от страха, а потом отлупить хорошенько, да не рукой, а ремнем, как следует отодрать ремнем и выбросить на свалку, ткнув тебя грязной физиономией в дерьмо. В порыве гнева он даже забыл о спине и сделал движение, словно желая встать, но резкая боль сразу напомнила ему, что он калека и что никогда ему уже не придется расправляться с подобными ораторами, что он, Лабуда, бессилен и приговорен. И этот отвратительный плешивый тип мог и дальше молоть свою бессмысленную чепуху. Сейчас он болтал о демократии и о том, что мужественные словаки призваны вписать дальнейшие страницы в историю и они впишут их, если встанут на защиту демократии, эти словаки уже раз встали грудью против террора и насилия, и вот сейчас вновь им нужно восстать против террора и насилия и вписать дальнейшие славные страницы в историю Словакии. Лабуда стиснул руки и крепко сжал костыли — протянуть бы тебя, храбреца, костылем, — он хорошо понимал, что здесь происходит, и плешивый оратор казался ему крысой, вылезшей из норы и кормящейся их мясом и кровью, кровью солдат, которые пали, эта крыса тучнела на их крови, бесстыдная крыса, которая выстилала ложе своей карьеры пропотевшими, пробитыми пулями, окровавленными солдатскими шинелями. Лабуде хотелось закричать на дремавших слушателей: «Солдаты, друзья, товарищи, проснитесь, здесь торгуют нашими ранами, нашими мертвыми и нашими страданиями, заткните рот этому хрюкающему поросенку!» Хотелось закричать так, чтобы

заглушить слова оратора, и Лабуда на миг словно вновь ощутил боевое содружество, вновь стал солдатом и командиром и вновь мог вести товарищей в атаку. Но все вокруг казалось мирным и спокойным, никто не удивлялся и не возмущался, все дремали, убаюканные лстивыми словами лысого оратора, и все выглядело так, будто с лысым все в порядке, а не в порядке с ним, капитаном Лабудой.

Лысый наконец кончил, но тут выступил еще кто-то, а потом их отвели в небольшой зал, лысый каждого лично поздравлял и пожимал руку, его большой рот улыбался, уши розовели от удовольствия. Но Лабуда не подал ему руки, в обеих руках он держал по костылю, и он не подал руки. Солидный полковник всех их представлял друг другу, здесь можно было и выпить, но Лабуда не стал пить, ему было противно пить в обществе лысого.

Полковник сообщил Лабуде, что собравшиеся воины избрали его своим председателем, но Лабуда сказал ему в ответ: найдите себе другого осла. Не понимаю, сказал солидный полковник, почему вы отказываетесь? И начал что-то говорить о солидарности, о том, что и в мирной жизни нужно бороться, что его, капитана Лабуду, знают и любят повстанцы и он мог бы сделать для них немало хорошего. К ним подошел и лысый, он стоял, слушал, кивал головой и наконец сказал: это большая честь, брат капитан, что они тебя выбирают, большая честь. И тут Лабуда не сдержался, побагровел и закричал лысому: заткнись, ты, храбрец! Шум в зале сразу стих, все смотрели на них, Лабуда поднял костыль, словно собираясь ударить лысого, лысый сделал движение, пытаясь защититься руками, но Лабуда ударил костылем по столу и крикнул: найдите себе другого осла! И, тяжело опираясь на костыли, заковылял к дверям, и, лишь когда он вышел за двери, в зале зашумели.

Он шел по длинному коридору, тускло блестели зеркала, и удивленно смотрели со стен ангелочки. Лабуда зло плюнул, и ему стало легче, он почувствовал прежнюю силу и уважение к себе, а этого с ним давно не бывало. Он жалел лишь об одном — о том, что не протянул хорошенько костылем этого лысого типа, интересно, какой у него был бы вид, стукни он его по лысине костылем.

На улице светило солнце и журчала вода, снег с крыш исчез с удивительной быстротой, и воздух словно таил в себе что-то радостное.

Лабуда шел по светлым улицам, совсем не чувствуя взглядов прохожих. Раньше он ощущал их постоянно, эти сочувственные взгляды, они выводили Лабуду из себя, и он сразу думал: жалеют меня за беспомощность, все время выделяют меня из среды нормальных, здоровых людей; но сегодня впервые за долгое время он совсем не ощущал этих сочувственных взглядов. Люди видели лишь солнце, излучавшее весну и надежду, улыбались и снимали шапки и шляпы, сбрасывали пальто прямо на улице и вместе с ним словно сбрасывали безнадежность, страх и все беды долгой и злой зимы. Лабуда медленно шел среди прохожих с таким чувством, будто он хорошо поработал, он был доволен собой, сцена в зале казалась уже далекой и нереальной, но чувство довольства собой было ощутимым и вполне реальным.

Перед какой-то молочной стояла длинная очередь женщин. Лабуда брел мимо очереди, никого не замечая, но, уже пройдя ее, вдруг подумал, что увидел там что-то очень знакомое; он оглянулся — и вправду там виднелся светлый жакет, такой жакет носила Олина. Это и была Олина; ее голова была закутана платком, нос стал острее, и все же это была Олина. Она тоже увидела Лабуду и, сразу узнав его, отвернулась. Он остановился на какой-то миг, решая, подойти или нет, но все же повернулся и направился к Олине. Ее взгляд, смотрящий мимо него, сердил его и отпугивал, но он упрямо шел к ней.

— Добрый день, — сказал он, — добрый день, Олина.

Олина посмотрела на него, но тут же отвернулась, давая понять, что не желает его узнавать.

— Я могу помочь тебе, Олина, — продолжал он, — могу достать молоко.

— Мне не нужно, — ответила Олина.

— Меня пропустят, — сказал Лабуда. И чуть не добавил: меня пропустят, калек пропускают вне очереди, но сдержался.

— Нет, — повторила Олина. — Мне не нужно.

— Тебе от меня ничего не нужно, не так ли?

— Мне ни от кого ничего не нужно, — ответила Оли-

заглушить слова оратора, и Лабуда на миг словно вновь ощутил боевое содружество, вновь стал солдатом и командиром и вновь мог вести товарищей в атаку. Но все вокруг казалось мирным и спокойным, никто не удивлялся и не возмущался, все дремали, убаюканные льстивыми словами лысого оратора, и все выглядело так, будто с лысым все в порядке, а не в порядке с ним, капитаном Лабудой.

Лысый наконец кончил, но тут выступил еще кто-то, а потом их отвели в небольшой зал, лысый каждого лично поздравлял и пожимал руку, его большой рот улыбался, уши розовели от удовольствия. Но Лабуда не подал ему руки, в обеих руках он держал по костылю, и он не подал руки. Солидный полковник всех их представлял друг другу, здесь можно было и выпить, но Лабуда не стал пить, ему было противно пить в обществе лысого.

Полковник сообщил Лабуде, что собравшиеся воины избрали его своим председателем, но Лабуда сказал ему в ответ: найдите себе другого осла. Не понимаю, сказал солидный полковник, почему вы отказываетесь? И начал что-то говорить о солидарности, о том, что и в мирной жизни нужно бороться, что его, капитана Лабуду, знают и любят повстанцы и он мог бы сделать для них немало хорошего. К ним подошел и лысый, он стоял, слушал, кивал головой и наконец сказал: это большая честь, брат капитан, что они тебя выбирают, большая честь. И тут Лабуда не сдержался, побагровел и закричал лысому: заткнись, ты, храбрец! Шум в зале сразу стих, все смотрели на них, Лабуда поднял костыль, словно собираясь ударить лысого, лысый сделал движение, пытаясь защититься руками, но Лабуда ударил костылем по столу и крикнул: найдите себе другого осла! И, тяжело опираясь на костыли, заковылял к дверям, и, лишь когда он вышел за двери, в зале зашумели.

Он шел по длинному коридору, тускло блестели зеркала, и удивленно смотрели со стен ангелочки. Лабуда зло плюнул, и ему стало легче, он почувствовал прежнюю силу и уважение к себе, а этого с ним давно не бывало. Он жалел лишь об одном — о том, что не протянул хорошенько костылем этого лысого типа, интересно, какой у него был бы вид, стукни он его по лысине костылем.

На улице светило солнце и журчала вода, снег с крыш исчез с удивительной быстротой, и воздух словно таил в себе что-то радостное.

Лабуда шел по светлым улицам, совсем не чувствуя взглядов прохожих. Раньше он ощущал их постоянно, эти сочувственные взгляды, они выводили Лабуду из себя, и он сразу думал: жалеют меня за беспомощность, все время выделяют меня из среды нормальных, здоровых людей; но сегодня впервые за долгое время он совсем не ощущал этих сочувственных взглядов. Люди видели лишь солнце, излучавшее весну и надежду, улыбались и снимали шапки и шляпы, сбрасывали пальто прямо на улице и вместе с ним словно сбрасывали безнадежность, страх и все беды долгой и злой зимы. Лабуда медленно шел среди прохожих с таким чувством, будто он хорошо поработал, он был доволен собой, сцена в зале казалась уже далекой и нереальной, но чувство довольства собой было ощутимым и вполне реальным.

Перед какой-то молочной стояла длинная очередь женщин. Лабуда брел мимо очереди, никого не замечая, но, уже пройдя ее, вдруг подумал, что увидел там что-то очень знакомое; он оглянулся — и вправду там виднелся светлый жакет, такой жакет носила Олина. Это и была Олина; ее голова была закутана платком, нос стал острее, и все же это была Олина. Она тоже увидела Лабуду и, сразу узнав его, отвернулась. Он остановился на какой-то миг, решая, подойти или нет, но все же повернулся и направился к Олине. Ее взгляд, смотрящий мимо него, сердил его и отпугивал, но он упрямо шел к ней.

— Добрый день, — сказал он, — добрый день, Олина.

Олина посмотрела на него, но тут же отвернулась, давая понять, что не желает его узнавать.

— Я могу помочь тебе, Олина, — продолжал он, — могу достать молоко.

— Мне не нужно, — ответила Олина.

— Меня пропустят, — сказал Лабуда. И чуть не добавил: меня пропустят, калек пропускают вне очереди, но сдержался.

— Нет, — повторила Олина. — Мне не нужно.

— Тебе от меня ничего не нужно, не так ли?

— Мне ни от кого ничего не нужно, — ответила Оли-

на. И, посмотрев на него в упор, добавила: — А от тебя в особенности.

Он схватил ее за руку:

— Дай мне карточки. Я сейчас принесу молоко.

Олина вырвала руку и спрятала ее за спину; этот человек разрушил мою жизнь, говорила она себе, этот ужасный человек. Ей стало стыдно своего выцветшего платка и грубых вязаных перчаток, и, стыдясь, она кусала полные губы и отворачивалась. Но Лабуда не уходил, и Олина вдруг подумала, что невыносимо так стоять на глазах у всех прохожих, и тут же вспомнила о маленьком Марেকে: маленькому Мареку нужно молоко, а молока оставалось мало, и очередь была длинной, лишь случайно она иногда доставала молоко, но чаще, целыми неделями, малышу приходилось быть без молока. Она разжала руку в грубой вязаной перчатке, и Лабуда, молча взяв карточки, медленно двинулся вдоль очереди. Женщины смотрели на него, но никто не отважился сказать хоть слово; он вошел в магазин и немного спустя вернулся с молоком. Теперь женщины уставились на Олину, и Олина быстро спрятала молоко под жакет, словно оно было украдено, а потом выбежала из очереди и поспешила прочь, скорее прочь от этих людей и от этого человека. Но Лабуда упрямо ковылял за ней, она слышала стук костылей и напряженное дыхание; Олине хотелось убежать, скрыться от этого стука костылей, но ноги не слушались ее, замедлили шаг, и Лабуда догнал ее.

— Мы могли бы присесть, — сказал Лабуда, с трудом переводя дыхание. Они были на старой площади, спойно светило солнце и хлопали крыльями голуби. Лада тяжело опустился на скамейку, положил костыли, вытянул ноги. Олина в нерешительности стояла перед ним, но затем села и она.

— Только на минутку, — сказала Олина. — Маленький Марек один.

— Значит, его звать Марekom? — сказал Лабуда.

— Да, так мы его зовем, — ответила Олина. И, повернувшись к Лабуде, добавила: — Напрасные старания. Это наш сын, мой и Марек. Им он и останется.

— Это я уже слышал, — усмехнулся Лабуда. — Напоминает граммофонную пластинку. Мой сын, наш сын, мой и Олины, мой и Марек.

— Но это же правда, — заявила Олина.

— Но он немножко и мой сын, — возразил Лабуда.

Олина развязала платок, словно он ее душил, и привычным жестом коснулась волос, сбившихся и неуложенных, ей было неприятно, что волосы не уложены, а на руках грубые вязанные перчатки, и она спрятала руки в карманы жакета.

— Это наш сын, мой и Марека, — упрямо повторила она. — И никто другой не имеет на него прав.

— Но мне хотелось бы взглянуть на него, — сказал Лабуда.

— Я не хочу о нем даже говорить с тобой, — сказала Олина. — Ты последний человек, с которым бы мне хотелось говорить о моем сыне.

Она хотела встать, но Лабуда крепко ее держал. Олина узнала его жест, энергичный и не терпящий сопротивления, и покорилась ему.

Какой-то миг они сидели молча — Олина, отвернувшись в сторону, и Лабуда, задумчиво ковыряющий костылем талую землю.

— У тебя есть право говорить так со мной, — сказал наконец Лабуда. — Я оскорбил тебя на всю жизнь.

Лабуда слышал свой голос, и ему казалось, что голос звучит фальшиво, все было не так-то просто, он действительно ее оскорбил, но не чувствовал этого и не был виноват в том, что не чувствовал своей вины; она сама пришла к нему и хотела его, и тогда он взял ее... Так где же тут его вина?

— Нет, ты меня не оскорбил, — сказала Олина. — Ты просто загубил мою жизнь.

Олина сидела, по-прежнему смотря в сторону, ее полные губы дрожали, словно она была готова вот-вот расплакаться; сейчас, когда Лабуда сидел рядом с ней, она вновь почувствовала свою боль живой и свежей. Вот она снова стоит в мансарде, за окном дрожит ясень, она держит в руках грязный чулок, а вся комната страшно пуста.

— Я не знал тогда, что все это так серьезно, — оправдывался Лабуда.

— Ты никогда ничего не знал, — сказала Олина. — Никогда ничего не желал знать.

Было совершенно напрасно сейчас говорить, и Олина прекрасно это понимала, но вновь проснувшаяся

боль заставляла ее говорить; и весь разговор был ненужным, напрасным, но в нем таилась какая-то притягательная сила, что-то неотвратимое.

— Ну ладно, оставим это, — сказал Лабуда.

— Ты всегда думал лишь о себе, — не могла уже остановиться Олина.

— Ну, тут ты немного преувеличиваешь.

— О себе и о своих капризах.

— Тебя я по-своему любил.

— По-своему! Вот именно по-своему!

— Я такой, какой есть. И никого не обманывал.

— Действительно, напрасный разговор. Ты никогда ничего не поймешь.

Сейчас ей нужно уйти, она не должна была оставаться и бередить старую рану. Этот человек, загубивший ее жизнь, никогда не поймет, что он совершил, он ребенок и животное одновременно, молодое животное, которое играет и, играя, причиняет боль. И все же она не уходила, ей хотелось сказать все до конца — и о пустынной комнате, и о пустынных улицах, и о пустынном мире, сказать о том, как она ждала писем, сказать о гордости и отчаянии. Олина посмотрела на Лабуду, его лицо было прежним, милое лицо ее девичьих грез, лишь брови стали гуще и морщин больше, но светлые каштановые пряди были такими же, как и в те далекие, давно ушедшие времена, и Олине вдруг захотелось коснуться этих светлых волос и зарыться в них пальцами, но она тут же испугалась своего желания. Солнце мирно заливало своим светом старую площадь, голуби били крыльями и кружили вокруг старухи с полотняными мешочками, старуха сыпала голубям крошки, и голуби сили у нее на плечах, усаживались на руки, а она смотрела на них ласковым, ясным взглядом, как обычно смотрит на детей.

— Мне хочется взглянуть на него, — повторил Лабуда.

— Не понимаю, — сказала Олина. — И как могла прийти тебе в голову подобная мысль?

— И я не понимаю, — согласился вдруг Лабуда, задумчиво что-то рисуя костью на талой земле. — Я встретил Марека, и мне захотелось взглянуть на малыша. На моего малыша, ясно?

— Так, — протянула Олина. — Раз тебе захотелось —

значит, все, баста. Ты всегда получал все, что тебе хотелось, не так ли? Но мой сын не игрушка.

— Я совсем одинок, Олина.

— Мне нужно, наверно, пролить слезу?

— Нет, этого бы мне не хотелось. Я не хочу, чтобы ты меня жалела. Хочу, чтобы поняла меня.

— Ты слишком многого от меня хочешь.

— Я одинок, и мне нужен кто-то. Мне нужен мой сын. Я должен его увидеть, чтобы я мог о нем думать.

— Это всего лишь каприз.

— Это мой единственный выход. Единственная надежда.

Олина какой-то миг колебалась.

— Нет,— сказала она наконец.— Я не могу этого сделать.

— Он моя единственная надежда,— повторил Лабуда.— У меня нет никого на всем белом свете.

— Что же будет потом?

— А что может быть?

— Что потом, после того, как ты его увидишь? Что потом? Скажи мне!

— Я не знаю.

— Нет,— твердо сказала Олина.— Я не могу этого сделать.

Она вдруг подумала о Мареке. Нет, она не может так его оскорбить. Думала она и о сыне: малыш уже кое-что понимает, и было опасно сталкивать его со сложным миром взрослых. Но была у Олины еще одна тайная мысль-искусительница, она толкала Олину причинить боль этому человеку, погубившему ее жизнь. Но, едва осознав эту мысль, Олина устыдилась ее и прогнала прочь. Посмотрев на Лабуду, она увидела его опущенную голову, покорно опущенную голову, и у нее молнией мелькнуло: ведь он отец моего сына, настоящий отец моего сына. Эта мысль принесла ей боль, облегчение и даже сочувствие к этому человеку, который вновь становился ей близким.

— Мне нужно идти,— сказала Олина и встала. Стремительно встав, она толкнула костыль Лабуды, прислоненный к скамейке. Костыль упал. Олина наклонилась, чтобы поднять его, но Лабуда наклонился тоже, их головы на миг столкнулись и руки встретились.

— Я пойду с тобой,— сказал Лабуда.

— Это невозможно, — возразила Олина. — На что это похоже? У меня вокруг соседи, что они скажут? Пани водит домой офицеров! Как бы это выглядело?

— Мне все равно, — сказал Лабуда. — Я должен его видеть.

Олина стояла перед ним, кусая свои полные губы. Ее серые глаза с испугом прятались от его взгляда.

— Это невозможно. Ты совсем сбил меня с толку.

— Я пойду за тобой, как пес.

— Сейчас я выйду гулять с малышом, — сказала она нерешительно. — Мы можем где-нибудь встретиться.

Лабуда испытующе посмотрел на Олину: говорит ли она правду? Олина повязала платок, и теперь он хорошо видел ее похудевшее лицо, бледное, словно после тяжелой болезни; она постарела, подумал Лабуда, и что-то кольнуло его в сердце.

— Хорошо, — сказал он. — Где мы встретимся?

— Мы можем прийти сюда, — ответила Олина все еще нерешительно, ей казалось, что она совершила что-то плохое, что она делает это не только из жалости к Лабуде, но и еще из-за чего-то, не очень честного и чистого, что это «что-то» заставляет ее так поступать.

— Я никогда этого не забуду, — сказал Лабуда признательно.

— Я могу еще передумать.

— Теперь я тебя уже найду, — сказал Лабуда и коснулся ее плеча; да, такой знакомый светлый жакет, и прикосновение тоже было знакомым. — Теперь уже найду, даже если ты скроешься за облаками.

Кровь ударила Олине в лицо, ей казалось, что эти слова относятся не только к маленькому Мареку, но и ней, Олине. Она быстро пошла прочь, еще раз обернулась на углу, он по-прежнему стоял, опираясь на костыль, и смотрел ей вслед. «Он найдет меня, — шептала Олина, — даже если скроюсь за облаками, будет искать меня и найдет». И тут ей вдруг стало страшно: и о чем я думаю, о чем думаю?

Марек Угрин шел по городу; это был его город, его площади и улицы, серо-стальной мост и мутные воды Дуная, и Крижна, и Высокая, разрушенные бомбежкой,

и солнце в широких окнах — все было его, он словно слился с городом, дышал в одном с ним ритме. Марек помнил, как ходил он по этому городу несколько лет назад, изгнанник и чуждый всем одинокий чужак, он все помнил, но им уже не могли владеть прежние чувства, эти чувства принадлежали чужому и далекому миру; да, они были, но теперь их от Марека словно отделила стена, вставшая между прошлым и настоящим. Теперь это был его город, он принял Марека, и Марек принял его, переживая вместе с ним его заботы, разделяя его участь и думая о его будущем. Нужно поднять город из развалин и нищеты, поднять страну из развалин и нищеты, поднять весь мир из развалин и нищеты, ведь теперь Мареку принадлежал не только этот город, но и весь мир, и он учился познавать его, чувствуя себя сильным и готовым к тому, чтобы создать этот мир заново. С Мареком случилось чудесное превращение, хотя сам Марек не считал его ни чудесным, ни внезапным, ни стремительным. Людям была нужна его работа, а он любил ее и с радостью выполнял. Вначале было действие, а не слово; действие втянуло его в мир реальных взаимоотношений. Он вышел на улицу, к людям, и это решило все. То, что он в своей жизни пережил до этого, словно свершилось в темной опытной камере. Марек не отвергал свое прошлое, свое одинокое отчаяние, но теперь он смеялся над прежними наивными поисками. Он уже знал, что все извилистые и сложные пути к истине не всегда являются настоящими, что искатели истины обычно гордятся самими поисками и их-то называют свободой. Но он не возненавидел ни свои поиски истины, ни свои ошибки, нет, они были ему милы, как мил нам близкий человек, с которым мы расстались без тени взаимной обиды. Жизнь проще, чем домыслы о ней, по крайней мере так сейчас казалось Мареку. Он перешел к действиям в нужное время, время ясное и определенное, во всяком случае для него, и это время нуждалось в нем. Марек жил с новой эпохой во взаимном уважении и согласии, они словно вместе родились, и словно им вместе предстояло расти. У Мандерлака¹ он купил себе пакет жареной кукурузы и с тех пор набивал ею

¹ Пользующийся известностью высотный дом и магазин в Братиславе.

свой живот, пытаясь обмануть его; жареная кукуруза, нередко думал он, могла бы стать почетным гербом города, весь город покупал кукурузу и набивал ею голодные рты, обманывал желудки, это говорило о нищете, но и о жизнеспособности города. Люди шли по городу с пакетами кукурузы и улыбались весеннему солнцу — это было тихой демонстрацией против голода и зимы. В самой большой толкучке Марек вдруг столкнулся с Августином Шернером. Шернер был в новом весеннем пальто, и усики его были подстрижены по весенней моде, он усмехнулся, но не поздоровался, он усмехнулся, словно Марек был придурковатым деревенским родственником, которого лучше не признавать своим знакомым. Марек понял эту ухмылку, но она только разве-селила его: Августин Шернер смеялся над солдатскими ботинками Марека и тесным черным пальто, узким в плечах, смеялся над его убеждениями. От Марека отворачивались многие его прежние знакомые, вдруг сразу перестав его узнавать, но у него не было и тени сожаления. Марек знал, что это они, а не он тем самым отрезают себя от общества порядочных людей и будущего. При таких встречах он еще отчетливее чувствовал, что выбрал правильный путь, и гордился им. И еще он понимал другое: что его собственные интеллигентские рассуждения при беседах с Бенде скорее искусственны, чем жизненны, и постепенно аргументы Бенде убеждали и Марека. Марек теперь прекрасно видел лживость этих рыцарей демократии, склонявших во всех падежах великие слова — народ, демократия, свобода — и при этом никогда не забывавших о себе; их лживость и внутренняя нечистоплотность сейчас были ясны Мареку. Если у него и оставались какие-то сомнения, то причиной их были не так называемые идейные враги, а, скорее, те, которых он привык считать своими единомышленниками. Ему казалось, что среди людей, считавших себя коммунистами, немало личностей темных, нечистых, и в их отношениях много нечистого, много личных побуждений и мало бескорыстия, что некоторые из них не делают различия между личным и общественным и слишком легко ради достижения цели идут на любые средства. Было немало и таких, которые, быстро сориентировавшись, приспособливались к новым условиям и в новом будущем видели не спасение для человечества,

а лишь возможность обрести власть и выгодно обделать свои делишки. Разумеется, все это не делало взгляды Марека более ясными. Ведь Марек не мог отделить идеал от живых людей, думающих, что они борются за этот идеал. А Марек всегда считал, что бороться за идеалы и воплощать их в жизнь могут лишь люди морально подготовленные, выкупанные в водах нового Иордана, очищенные от всего, что могло как-то запятнать человека. Наверно, это было наивно, но Марек был человеком цельным и потому склонным к наивности.

Он шел по улицам города, и солнце и голубое небо отражались в зеркальцах луж на тротуарах, вся эта знакомая картина о чем-то напоминала Мареку. Он уже шел так однажды и так же радовался солнцу, улицам и весеннему воздуху; правда, было это давным-давно, в доисторические времена, когда же это было? Да, вспомнил Марек, он спешил тогда за Олиной, солнце было таким же, и небо было прозрачным, и воздух, и радость заполняла его, только радость была иной, какой-то лихорадочной. Вспомнив об Олине, он на миг омрачился, но тут же прогнал воспоминания, сейчас ему не хотелось думать о своей жене, он боялся о ней думать. Марек все еще верил, что с Олиной он испытал полное счастье, но порой в нем просыпались сомнения. Любовь к Олине вначале была плодом фантазии Марека, она овладела им в те времена, когда Марек жил лишь одной фантазией: образ любимой складывался из грез и некоторых внешних признаков — ее волос, губ, глаз.

Он не знал, чем жила реальная Олина, а знал лишь то, чем жила Олина его грез.

И хотя Олина его грез вначале мало отличалась от действительной Олины, все же между ними были противоречия, и они росли изо дня в день. Марек не был обманувшимся, разочарованным мужем, но он начал сомневаться в возможности полного счастья, о котором некогда мечтал: Олина не стала в его жизни единственным светом в окошке и — как он убеждался все больше — не могла стать. Она бывала мелочной и сварливой, угрюмой и недовольной и даже — что было для Марека совсем непонятным — мечтала о благополучии и комфорте, в ней порой показывала зубки мещанка. Марек понимал, что Олина не изменилась, изменились ее воз-

зрения на жизнь, и если он и обвинял кого-то в их ссорах и неурядицах, то больше всего самого себя. Он слишком доверял силе своей любви и, сам не желая того, обманул Олину, он упрямо держался за свою мечту, так упрямо, что и Олина поверила в нее. Его мучили укоры совести, как будто он соблазнил Олину, и мысленно думал, что в известном смысле — имея в виду ее душевное и моральное состояние — он ее действительно соблазнил. Он не любил думать об Олине еще и потому, что страшился будущего, своей будущей жизни с Олиной. Страх пока был неясным, неосознанным, таился где-то в подсознании, такой страх появляется еще до того, как сказаны слова, часто повторяемые, с привкусом банальности: мы ошиблись, мы не подходим друг другу.

Марек шел по городу, заглядывая в лица прохожим, и видел на этих лицах обычные человеческие радости и заботы, похожие на его радости и заботы; нужно поднять весь мир бедняков, и нельзя думать лишь о себе, нужно слиться с толпой и дышать в едином ритме с ней; это акт смирения.

Слияние с толпой было новой миссией Марека, его служением, его жертвой и смирением; он еще не понимал, что все это скорее высокомерие, чем смирение. Он не понимал, что новым познанием нужно овладеть, а не смиряться перед ним. Марек был искренен с собой, но еще не понимал коварства подобной искренности; такая искренность всегда что-то таит в себе. У Марека она таила гордость, она прикрыла эту гордость смирением, жертвенностью и служением, словно не Мареку был нужен коммунизм, а коммунизму, коммунистическому движению был нужен именно Марек.

Секретарша редакции встретила его громким возгласом. В редакции стояла тишина, но секретарша привыкла к шуму и уже не могла разговаривать иначе; у нее были длинные черные волосы и зеленая блузка, она была тощей, подвижной, с птичьим носом. Увидев Марек, она крикнула: «Иди, иди скорей, старик ждет тебя!» Марек направился к шефу, тот сидел за столом, подперев голову руками и почти уткнувшись носом в рукопись, шеф был близоруким, но по какой-то причине не носил очков. Он поднял голову и указал Мареку на стул. Марек сел и уставился на шефа: у него были при-

лизанные черные волосы, на темени торчал вихор, шеф знал об этом и, казалось, не в силах забыть о нем, вечно приглаживал рукой. На его квадратном большом бычьем лбу беспрестанно играли жилки, но лицо было несоразмерно со лбом, его словно сделали по меньшей мере. Это была не только несоразмерность, но и несоизмеримость: воинственный, мужественный лоб, брови и маленькие губы с детским подбородком, сокрушительное мужество и детская мягкость. Марек никогда не знал, что главное в шефе и что второстепенное, что характерное, а что случайное. Он так и не сумел хорошо узнать шефа, шеф редко бывал в редакции, много ездил, вечно спешил с одного заседания на другое, появляясь в редакции словно комета, чтобы исчезнуть где-то там наверху, в неведомом звездном пространстве. Порой он забегал на редакционные совещания, энергичный, решительный, полный великих планов и смелых прогнозов. Но очень редко он осуществлял свои замыслы, у него не было времени на каждодневную кропотливую работу в редакции, да и не в его стиле было заниматься такой кропотливой работой, в его стиле было преподносить политические новости, которых еще никто не знал, рассказывать об обширных планах и внезапных огромных переменах, которые обычно никогда не осуществлялись.

— Так вот, — сказал шеф. Это было его третье имя, в редакции его звали «шеф», «старик» или «так вот». Он поднял голову и испытующе посмотрел на Марек:

— Ну как, все в порядке?

— В порядке.

Шеф минуту размышлял.

— Тебе ничего не нужно? Здесь, в отделе?

— Нет, — ответил Марек. Ему нужно было многое — и новое радио, и письменный стол, и еще одна комната, но он знал, что напрасно все это просить у шефа, в ответ он получит лишь обещания, вот он и сказал: нет, ничего не нужно.

— Так вот, — сказал шеф, приглаживая вихор. — Замечательно! Удивительный парень. Ничего ему не нужно, а всем остальным нужно все. Ничего не нужно. Тебе и вправду ничего не нужно? Или просто не хочешь просить, зная, что я все равно ни за что ничего не дам, только пообещаю?

— Вы правы, — сказал Марек. — Вы славитесь своими обещаниями.

— Замечательно! — воскликнул шеф. Его маленький рот смеялся, но брови сдвинулись. — Известный обманщик, не так ли? Обещания даются, а дураки радуются, так? Удивительный парень, прямой, как кинжал.

Шеф встал из-за стола и принялся ходить по комнате, сутулясь и засунув руки в карманы. Наконец остановился перед Марekom и посмотрел на него сверху вниз. Марек впервые видел так близко глаза шефа, почти черные, умные и суровые глаза.

— Ну так как, Угрин? Я хотел с тобой поговорить.

Марек молча кивнул. Шеф дошел до противоположного конца кабинета и быстро повернулся:

— Происходят великие события, Угрин. Великие события!

Марек молча ждал.

— Миры столкнутся. Вот так! — Он вынул руки из карманов и быстрым движением стукнул кулаками, так что раздался треск.

— Так далеко не должно зайти, — возразил Марек.

— Столкнутся, — повторил шеф, словно не слыша Марекa. — Ты читал заявление об атомной бомбе?

— Я даже писал к нему комментарии.

— Что? Ага, ты писал. Шеф не читает собственную газету, не так ли? Удивительный парень, такой прямой. Я слышал о тебе, Угрин. Прямой, смелый парень. Становишься известным? Необходимым?

— Не знаю, — сказал Марек. — Я просто стараюсь делать свою работу.

— Значит, стараешься. И притом такой скромный. Удивительный парень. Клад для редакции. — Шеф стоял посередине кабинета и нервно приглаживал непослушный вихор на темени.

— И все-таки они столкнутся. Неизбежно. Возможно, войны и не будет, но они столкнутся. Мы не можем дышать одним воздухом, Угрин, воздух, который они выдыхают, испорченный. А мы здоровые и хотим идти вперед. Понятно? Вперед и вперед, к высотам коммунизма.

— Понимаю, — сказал Марек.

— В этой игре нет третьего пути, Угрин.

— И это я понимаю.

— Каждый будет прикован к своему месту. Прикован! Привинчен! Все, что не будет прикреплено, рухнет. Буря, немилосердная буря. Каждый на своем месте, Угрин. — Он снова, пройдя весь кабинет, подошел к Мареку, остановился перед ним и положил руку ему на плечо. — А ты уже выбрал свое место, Угрин?

— Его нельзя выбрать, как товар в магазине.

— Ты прав. Смышленный парень. Где твоё место, смышленный парень?

— Я думал, вы знаете.

— Осторожный парень. Не уклоняйся!

— Я не уклоняюсь, — сказал Марек.

Ему было неудобно стоять так близко от шефа.

— Кажется, моя работа говорит вам обо мне.

— Я думаю! Мне кажется! Этого мало, Угрин. Не нужно думать! Нужно быть!

— Не нужно думать?

— Не нужно думать, что ты кто-то. Нужно им быть.

— Какая тут разница?

— Огромная! Грандиозная! Эпохальная! Те, которые думают, что они что-то, оставляют для себя запасной выход. Извините, это была шутка, говорят они. Я думал, что я коммунист, но я теперь понял... и так далее. Но если я что-то, я плачу за эту жизнь! Жизнью! Я коммунист, я отдал всю свою жизнь. У меня нет никакой побочной мысли, никаких запасных выходов. Я не кокетничаю этим.

— Я тоже не кокетничаю, — возразил Марек.

— Не кокетничаешь? Думаешь, что знаешь, где твоё место? Думаешь, что ты честный и искренний и ещё бог знает какой? Узнаю, узнаю. Герой, которого остановят первые сомнения. Узнаю, узнаю.

— Я через это уже прошёл.

— Так чего же ты ждёшь?

— Не понимаю.

— Ага. Смышленный парень. Так и не понимаешь? Ты коммунист?

— Я считаю себя им.

— Я спрашиваю не об этом. Где твой билет?

Марек молчал. Шеф хлопнул руками:

— Смышленный парень! Молчит! Другой бы сказал: билет у меня здесь, в сердце. Но смышленный парень молчит. Не хочет быть смешным.

— Вы правы, — сказал Марек. — Но я думаю, что кусок бумаги ничего не решает. Это лишь фетиш.

— Ну вот, — сказал шеф, строго глядя на Марека, хотя его маленький рот улыбался. — Вот ты и высказался.

— Важно то, что я чувствую, — продолжал Марек, — еще важнее — что делаю. Как можно судить о человеке по какой-то бумажке, по какому-то знаку? Крестonosцы шли под знаком креста. И вы знаете, как все кончилось.

Шеф не улыбался.

— Самое важное — не давать обязательств ни черту, ни дьяволу, — сказал он резко. — Самое важное для вас — иметь запасной выход. Сочувствуете нам, симпатизируете? Можете отправляться ко всем чертям. Сочувствующие паразиты! Нарост на теле общества! Крестonosцы! Мы, видите ли, убиваем детей. А они хотят иметь чистые руки.

Марек с оскорбленным видом встал.

— Сядь, сядь, Угрин. Выслушай до конца. Я на десять лет тебя старше, но на самом деле я старше на сто лет, ведь уже двадцать лет я иду вместе с партией. Сядь, Угрин прекраснoдушный, сядь и выслушай меня. Нет ничего легче, как сочувствовать. И нет ничего тяжелее, как самому участвовать в борьбе, нести полную ответственность за всех! За все! Да, и за карьеристов, и за подлецов, и за всякое свинство — за все! И это не фетиш, это ответственность! Все остальное просто трусость. Трусость, Угрин! — Шеф бегал из одного угла кабинета в другой, дергал вихор на голове и извергал стремительный поток слов. Это был гром, молния, настоящая буря. Марек сел и стал послушно слушать.

— Я никогда не был трусом, — отозвался он тихо. — Я испытывал страх, но трусом не был никогда.

— Но сейчас ты трус.

— Мне просто не все ясно.

— Потом тебе станет все ясно.

— Мне хотелось бы все понять сейчас.

— Так вот. Тебе хочется быть чистым, вымытым. Чистым-чистеньким!

— Да, чистым, очищенным.

— Мы не церковь. У нас нет святого причастия.

Разумеется, это не церковь и не святое причастие, но действительно, какое тут еще есть «но»?! «Но» есть, ма-

ленькое, колючее, старое и хорошо знакомое «но», давний страх, что он растворится, не будет больше личностью, а станет винтиком в общей машине, в огромном механизме, маленьким винтиком в машине с навсегда заданным направлением движения. Правда, он знал, что свобода вещь ограниченная и почти выдуманная, часто ею считалось то, что давало безопасность лишь сильным мира сего, все это Марек знал, но знать — это совсем другое, чем ощущать, а он ощущал свою личность все еще как исключительную, неповторимую, и эта личность восставала и не желала быть маленьким винтиком.

— Я немало думаю об этом, — сказал Марек наконец.

Глаза шефа смотрели по-прежнему строго, на его лбу играли жилки, но маленький рот улыбался.

— Так вот, Угрин. Товарищ Угрин. Он честно размышляет, думает. Но время не ждет.

И немного погодя он спросил:

— Тебе действительно ничего не нужно?

— Конечно, нужно, — ответил Марек. — Много вещей.

— Так вот. Но мы не богаты. В первую очередь что?

— Письменный стол.

— Он будет у тебя. Честное слово! Вот моя рука.

Все это походило на наводнение, и, когда Марек вышел из кабинета шефа, он словно ощущал вокруг себя спокойный, широкий простор. Будто перестал дуть ветер.

Марек снова шел по городу, уже не чувствуя радости, все его мысли были об одном. Это бремя, думал он, давнее бремя. Если б он мог быть простым, верующим. Быть легким и подчиняться лишь своим чувствам, выбросить из головы лишний груз, мешавший ему двигаться вперед. Но Бенде говорит, что выбрасывать ничего нельзя. Все пригодится, все нужно брать с собой, все может быть полезным для будущего человечества. Сейчас нет времени копаться в невероятном сумбуре его мыслей; сейчас нет времени ни на что, кроме действия. Потом, потом будет время и на генеральную чистку мыслей, и даже на сомнение. Но когда наступит это «потом»? Марек не хотел его ждать, хотел сейчас, сегодня избавиться от сомнений, очиститься перед тем, как сделать решительный шаг в жизни. И обязательств он страшился потому, что они могли быть связанными с сомне-

ниями; боялся, что окажется слабым в решительную минуту. Его прежние сомнения были еще сильны, да и жестокость революции противоречила той правде, которую он исповедовал. Террор французской революции так и остался для него террором: убитые люди, невинно убитые люди, залитые кровью площади. И головы в корзинах гильотины. И хоть он и признавал цель террора, хоть и допускал, что бывает в истории, когда террор неизбежен, он не мог с ним смириться, не мог избавиться от жалости, от сочувствия жертвам террора. Но в то же время Марек понимал, что шеф прав: сейчас нужно решать. Нельзя скрыться от решения, нельзя убежать, нет такого тихого места на земле. И чувствовал, что для него есть лишь одно решение, все тянуло его к новому миру. Он поймал себя на том, что бормочет: «Так вот, Угрин. Чего ты ждешь, Угрин? Час пробил, он не может длиться вечно, чего ты ждешь, Угрин?» Марек стоял посреди тротуара, прохожие толкали его со всех сторон, а он все стоял, прищурив глаза, и тихо убеждал себя: «Я не буду больше ждать, не буду ждать. Все это никому не нужная чувствительность, никому не нужные стихи. Нужно броситься в воду и плыть». И почти вслух воскликнул: «Какие страхи? Ведь я буду не одинок!» Прохожие обходили Марека, искоса поглядывая на него, а он все стоял посреди тротуара и улыбался. «Смотрите-ка,— сказала одна женщина другой,— еще белый день, а уже напился».

12

Престарелый Сетон Уотсон¹ в сотый раз твердил о ключевых позициях Чехословакии, лежащей между Западом и Востоком, а нестареющий Уинстон Черчилль заявил, что мир очень болен и нужно обратиться к богу, а сам втихую подбирал ключи к Чехословакии и Средней Европе, к Среднему и Дальнему Востоку, и казалось, что английский бог ему помогает. Другие обращались к своим богам; набожные словаки заявляли, что они не дадут попать крест Иисусов, как они не отдали его свастике — тогда они просто скрыли его под двой-

¹ Сетон Уотсон — английский философ, историк и этнограф, занимавшийся историей и культурой западных славян.

ным крестом, — и не позволят разбить этот крест молотом и превратить в какой-то серп. Набожные словаки считали, что единственная звезда, нашедшая в Словакии отчизну, — это звезда Вифлеема, и поэтому посвященные и некоторые из непосвященных носили на воротничке крестики, показывая тем самым, что их долг — охранять священный гроб господень от кровожадных коммунистов, а кое-кто просто-напросто волновался за судьбу кожевенных предприятий в Липтове. Находились и такие, что писали на стенах: «Тиса и Тука скоро вернутся, если выиграют демократы». А некий муж, основатель новой партии, агитируя за свою кандидатуру, выдавал себя даже за старого соратника Глинки, но демократы, расследовав его прошлое, разоблачили его и объявили предателем Великого вождя; словацкий народ не одурачат те люди, что предали Глинку, и все католики как один взялись за работу во славу демократической партии.

Короче говоря, близились выборы.

Обещания сыпались со всех сторон. Президент двусмысленно и сбивчиво оправдывал национализацию: «Я считал это мероприятие необходимым и, по моему мнению, неизбежным...» Этим он хотел сказать, что коммунисты прижали его к стенке. Владельцы гостиниц и трактиров заявляли на своих съездах, что готовы защищать основы демократии. Народный управляющий в Аполке, растративший больше миллиона крон, заявил, что он, как демократ, не признает суда рабочих, который хотел его осудить.

Молодые демократы уже в седьмой раз объявляли войну тотальному режиму и деспотизму. Профессор Копаницкий вещал, словно новоявленный Иоанн Креститель, что практически демократия наступит сразу же после выборов и что священные идеалы станут явью. Лишь Игнац Август Коленатый ничего не провозглашал, он бродил по улицам, таскал револьвер в портфеле из свиной кожи и ждал своего часа.

В эту знаменательную минуту демократическая партия от имени отечества призывала верных словаков собраться всем как один, и торговцы — кожевники и лесники, лютеране и католики, новоаграрники и «новолюдаки» — смыкались и слушали призывы отечества, тысячи и десятки тысяч поднимались на защиту демокра-

тии, которую они уже раз — во времена фашизма — неплохо защитили. Тени Туки и Тисы вставали над страной. Газеты демократов успокаивали народ: состояние здоровья Туки обнадеживающее. И многим был ясен этот намек, они вытаскивали из тайников спрятанные гардистские сапоги, и зловещий шепот полз по стране. Чехи и евреи, слышалось в этом шепоте, вновь расплодились на христианском теле Словакии, гнусные паразиты готовятся уничтожить мирный словацкий народ, уничтожить и сделать его нищим, а коммунисты — лишь помощники еврейского интернационала, его слуги, к тому же безбожники, они превращают церкви в амбары, из христианских жен делают язычниц и проституток и вот-вот отберут имущество и все разделят поровну, а мы все будем разгуливать с голыми задками. Газеты демократов зывали к крестьянам: крестьяне, спасайте свои хозяйства. Словацкий крестьянин спас демократию, спасет он ее и сейчас. Страх за свое хозяйство, за деньги расплзался по стране, страх за деньги, которые для многих означали не только главное, но все, для чего стоит жить. И этот страх спланивал верных словаков, делал их непроклонными, готовыми защищать демократию. Прошлое возвращалось, принося с собой прежние опасности, прежние мысли и даже прежние слова: словаки, братья, христианство, нация, бог, демократия.

В эти дни вышел сборник стихов Августина Шернера, второй его сборник, и, выйдя, растворился среди крикливых слов прессы. Две коротенькие рецензии — и все. Сборник носил печать времени, там было и о болезнях мира, и о ясном духе вселенной, и о Фоме Аквинском, и даже о Жаке Маритене; было там и строгое осуждение материального мира, и подлинные радости от обновления души — словом, сборник был злободневным лекарством для человечества. Правда, казалось, человечеству были не нужны лекарства в красивой упаковке, человечество нуждалось в хирургическом вмешательстве. Августин Шернер успокаивал себя, что это лишь временная неудача, придет час — и его стихи вновь блеснут в ежедневной суматохе и победоносно зазвучат во всем мире. Он по-прежнему верил, что стихи хороши уже тем, что они стихи, они способны жить века, отмеченные печатью вечности. Разумеется, это не мешало ему принимать участие в ежедневной суматохе — ведь

стихи были ступенькой к вечности, а вечность была слишком далека. Он тоже «сплотился», как верный словак, как христианин и младодемократ, и готовил возрождение Словакии. Через несколько недель Шернер установил, что делать политику — его жизненное призвание. Нужно только иметь в запасе красивые слова и солидно выглядеть, ведь главным отличием партии, которой он посвятил все свои силы, была сама солидность. И Шернер стал воплощенной солидностью — от кончиков ботинок до глубины души. И если несколько недель назад он скромно пристроился к политике, никому не известный человек во взятом взаймы пальто, то сейчас у него было все свое собственное: и новое весеннее пальто, и модная шляпа, и взгляды. Выскачка, говорили о нем, а многие, не такие ловкие и быстрые и не такие завязанные ораторы, попросту завидовали ему. Он успевал всюду: на семинары в Слиаче, где еще внимательно слушал, и на семинары в Пештяны, где уже говорил сам, говорил долго и воодушевленно о безнравственности материализма и о том, что словацкую молодежь нужно вырвать из глотки материализма и бригад и вернуть в лоно христианства. Он рисовал перед слушателями заманчивую картину модернизированного и подправленного христианства. Говорил он долго, это было его первое политическое выступление, и ему хотелось выложить все, что он знал. И говорил неплохо — во всяком случае, так ему казалось. Его избрали в комитет Союза молодых демократов; еще вчера никому не известный человек встал во главе многих. Впрочем, в такие дни это было скорее правилом, а не исключением. Августин Шернер стал одним из многих неизвестных, которые выбились вперед, — известные личности слишком себя скомпрометировали.

С той поры он был всюду — на совещаниях, конференциях и собраниях, в редакциях и секретариате; он постоянно где-то маячил, и все к нему привыкли; он мало спал и совершенно стряхнул с себя свою поэтическую лень, в кафе его почти не видели. Шернера полностью захватило собственное возвышение, он словно упивался своеобразным ритмом своего возвышения, более величественным, чем ритм стремительного полета. Он был убежден, что он таков, каким кажется, и он действительно многим казался способным и подающим на-

дежды, во всяком случае, ему так говорили. Один высокий деятель даже будто сказал о нем: весьма способный юноша. Шернер упивался своим возвышением, как некогда стихами. Его радовало не только ясное будущее, полное славы и власти — больше всего славы, его радовал сам процесс возвышения, бесконечная цепь успехов, радовало то, что он действовал так, как ожидали от очень способного человека. Он научился свободным и ловким манерам, научился улыбаться и говорить приятные вещи, овладел, как говорится, искусством жить. И его улыбка стала теперь другой — не застенчивой и, разумеется, не льстивой, а полной достоинства, но не наглой улыбкой преуспевающего молодого человека. Окружающие считали новый облик Августина Шернера естественным, они не помнили его прежнего облика. Только профессор Копаницкий удивлялся: посмотрите-ка, говорил он, как этот Августин растет, и чего только в нашем Августине не таилось! Профессор Копаницкий не то чтобы утратил свой прокурорский тон, он просто перестал пользоваться им, этот тон мешал его нынешней политической деятельности. Копаницкий даже написал рецензию о новом сборнике Августина Шернера, где похвалил Шернера за глубокое понимание музыки и правильный ритм стиха. Впервые политическая деятельность Копаницкого так затронула его литературные взгляды; до той поры занятия литературой были для него своего рода спасительным убежищем, где он мог хотя бы на миг почувствовать себя честным, не отмеченным грязной меткой времени. Но сейчас он отказался от всех принципов, которых он придерживался ранее из уважения к самому себе. Он влез в махинации с фирмой скобяных изделий, которая под чужими именами приобретала другие подобные фирмы поменьше, особенно в районах пограничья. Одна такая фирма была куплена на имя профессора Копаницкого, и профессор получил за свое имя деньги. А Августин Шернер, вездесущий Августин Шернер прознал об этом, и профессор Копаницкий уже не чувствовал себя меценатом, а Шернер — его протеже. Он был уже нечто, молодым преуспевающим деятелем, и даже сам великий деятель считал его подающим большие надежды.

Шернер восхищался самим собой и верил если не каждому своему слову, то, во всяком случае, их конеч-

ному смыслу. Понятия, бывшие недавно для него далекими, даже мертвыми, стали теперь центром вселенной: он крепко верил и в демократию, и в христианство, и в солидарность. Он верил в них, потому что говорил о них сам. И в жизни он оставался лириком, мир кончался для Шернера на его «я».

В напряженной суматохе предвыборных дней он ни от чего не отказывался, даже от самой черной работы. Он принес в жертву свой талант, возложил его на алтарь отечества, и его сердце при этом не кровоточило, он знал: его жертва полна исторического значения. Он писал предвыборные стихи на каждодневную потребу. Они походили на обычные предвыборные стихи: были довольно глупыми. Августин Шернер и сам считал их наивными, ведь они предназначались массам. В них он призывал «людаков» не бросать в урны пустые бюллетени, это грозило им гибелью:

Пуст бюллетень, пуста голова.
Чтоб не было плохо, используй права!

Для большей энергичности и понятности он прибегал к интерпункции, которую уже давно забросил. Идеи ему подкидывал секретариат, простые как сама жизнь.

Коль демократы победят,
Вернутся все права назад!

Порой он прибегал к более сложной стихотворной технике:

Что нужней всего сейчас
Для словацкого народа?
Лозунг наш «Кто больше даст» —
Наши правда и свобода!

Ритм брался взаймы у предвыборных стишков пятидесятилетней давности, когда писали, что «Из пивной шел Лани ночью, разорвал одежду в клочья».

Стишки шли нарасхват: из газет попадали в листовки, из них — на стены и тротуары. В любое время, в любой части города Августин Шернер мог читать свои стихи, он стал самым массовым и популярным поэтом. И он не стыдился этих стихов; впрочем, он под ними не подписывался.

И личная жизнь Августина Шернера изменилась в корне. Прежде он не пользовался успехом у женщин, не

понимая, почему он им не нравится, и, кроме вдовы Ашеншвандтнеровой, о которой он не вспоминал, желая сохранить к себе уважение, у него не было серьезного романа. Возможно, женщинам не нравилась его словно приклеенная усмешка, а возможно, за внешней элегантностью они угадывали его душевную нищету. Это мучило его, и он написал несколько стихотворений, в них он с легкостью завоевывал многочисленные женские сердца. И хотя Шернер еще не стал ни богат, ни знаменит, однако уже завоевал успех, а успех даровал ему внимание женщин. Некоторые из них теперь смотрели на Шернера как на подающего надежды молодого человека. В секретариате работала девушка с бледным личиком, небольшого роста, хрупкое создание, никогда не улыбающееся. Всегда, когда Шернер мчался через кабинет, он чувствовал запах ее духов и мельком видел ее длинные темные волосы. Как-то раз девушка улыбнулась ему, и он, остановившись на бегу, уселся напротив.

— Хелло,— сказал он. В комитете молодых демократов и в секретариате был в моде американский жаргон, жаргон американских фильмов.

— Хелло, приятель. Я думала ты никогда не остановишься.

— Вот я и остановился.

— Я умираю от радости,— сказала девушка. Наступила весна, и на носике девушки виднелось несколько веснушек, очень милых веснушек.

— Я так занят,— вздохнул Августин Шернер.

— Ах,— сказала девушка и посмотрела на него своими приятными серыми глазами.— Я слышала, как ты выступал. Ты замечательный оратор.

— Я еще только учусь,— скромно ответил Августин Шернер и добавил доверительно: — Пойдешь со мной выпить стаканчик?

— Ты очень скор,— сказала девушка. Августину Шернеру показалось, что она покраснела, и почему-то ему стало очень приятно.

— Я так занят, у меня совсем нет времени.

— Когда же? — спросила девушка.

— Хотя бы и сейчас.

Близился вечер, на улице зажигались огни. Он взял девушку под руку, она нежно прижалась к нему.

— Меня зовут Вильма,— сказала девушка.

— Вильма, люби меня.

— Да, ведь ты еще поэт! Я совсем забыла, что ты поэт.

— Я был им, — скромно заметил Шернер.

Вскоре они сидели в винном погребе, выпив уже не стаканчик, а много стаканчиков, они больше не пользовались американским жаргоном, а были по-словацки сентиментальны. Она рассказала Шернеру о своей семье. Некогда ее семья была состоятельной, владела крупным поместьем — хотя и заложенным, но все же поместьем, но потом все пришло в упадок; у отца была известная словацкая болезнь — он много пил. Годы были трудные, и однажды он упал с лошади и умер благородной смертью. Мать умерла во время войны, а она, Вильма, еле-еле смогла окончить торговую академию, и тогда родственники устроили ее в секретариат, у нее нет никого на свете, и она чувствует себя совсем одинокой. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, держась за руки, пили много и быстро, были веселы и немного влюблены. Августин Шернер расчувствовался и признался: у него никогда не было приличной девушки. И с силой сжал ей руки. Приличная девушка, думал он, из приличной семьи, к тому же кончила торговую академию, эта девушка мне подходит.

— Вильма, люби меня, — просил Августин Шернер. Он положил руку на ее колени, девушка нежно отвела его руку.

— Ты слишком скор, — сказала девушка, не очень-то искусственная в делах любви.

— Мне всегда хотелось такую девушку. Всегда хотелось любить порядочную девушку.

Она смотрела на него, и ее глаза обещали многое: ты можешь владеть мной. Но в душе она размышляла, что лучше: переспать с этим парнем, чтобы он женился, или не переспать — и, может, тогда он женится. Пила она много и быстро и поэтому вскоре решила, что это приблизительно одно и то же.

— Я совсем одна на свете, — сказала наконец она. — Ты должен быть добр ко мне.

— Честное слово! — воскликнул Августин Шернер. — Ты замечательная девушка. Мне всегда хотелось такую.

— Знакомые слова. Так все говорят.

Он хотел что-то возразить, но девушка приложила к его губам палец.

— Ходишь мимо меня уже две недели и не замечаешь.

— Я боялся.

— Ах ты голубок! Робкий голубок!

— Я боялся тебя, как боюсь судьбы.

— Так я твоя судьба?

— Да, ты моя судьба. С сегодняшнего дня и навеки.

Девушка испытующе взглянула на Шернера и немного погодя сказала:

— О'кей!

Они вышли на улицу, ночь была холодная, звездная и ветреная. Девушка шла с Августином Шернером, пела и смеялась, она совсем опьянела, Августин Шернер тоже был пьян, но, сохраняя мужское достоинство, поддерживал девушку и защищал от холодного ветра; так они добрались до виллы архитектора Феркодича. Августин Шернер открыл калитку и поморщился: окна виллы еще светились, лучше бы пробраться незаметно, значит, Манци дома, а она считает его приживалом. Но затем он набрался мужества: ведь он не какое-то ничтожество, от него зависят многие, и, может быть, сам архитектор Феркодич со своей виллой и всем благосостоянием и даже его новая жена.

Манци выглянула из столовой и удивленно остановилась в дверях. Складки отчетливо проступали в уголках ее губ:

— Что это значит?

— Одну минутку, — сказал Августин Шернер и слегка подтолкнул девушку вперед.

— В чем дело? — раздался из столовой голос архитектора Феркодича.

— Наш жилец развлекается, — ответила Манци.

— Одну минутку, — повторил Августин Шернер. — Это моя милая.

— Оно и видно! — воскликнула Манци. — И что же дальше?

В дверях появился архитектор Феркодич и, поняв ситуацию, стал звать Манци в спальню.

— Оставь, — упрашивал он ее лстыиво. — Оставь, Манци.

— Нет! — воскликнула Манци. — Это приличный дом.

— Простите, мадам, — сказала девушка и развязно поклонилась. — Позвольте мне уйти из приличного дома, мадам. — Она повернулась и сделала шаг к дверям, но Августин Шернер остановил ее и не пускал.

— Этого не будет! — воскликнул он и посмотрел на архитектора Феркодича. — Хотелось бы мне видеть, кто может выгнать меня отсюда!

— Никто тебя не выгоняет, — успокаивал его архитектор Феркодич.

— Здесь не публичный дом, — резко сказала Манци.

— С тобой я не разговариваю, — бросил ей Августин Шернер.

— Вы пьяны, — разъярилась Манци. — И я не помню, когда мы с вами были на «ты».

— Оставь, Манци, — уговаривал архитектор Феркодич. Он знал, что Шернер имеет перед ним превосходство, а сам он еще не встал твердо на ноги, чтобы рассориться с Шернером.

— Не помню! — повторил Августин Шернер и насмешливо подкрутил усики. — Разумеется, не помнишь! Актриса! Слишком велика честь быть с тобой на «ты». И большая честь для такого дома, что я в нем живу! Я спас его собственным телом!

Девушка тянула его за рукав:

— Пойдем отсюда, Густик. Пойдем из этого приличного дома.

— И не подумаю! — кричал Августин Шернер. Никогда до этого он так не кричал, ему было не на кого так кричать, но сейчас ему понравилось кричать, он видел, что Манци онемела; а архитектор Феркодич перепугался, и ему нравился собственный крик.

— И не подумаю! — вопил он.

— Я твоя жена, — сказала Манци Феркодичу. — Надеюсь, что ты меня защитишь?

Но архитектору Феркодичу не очень-то хотелось иметь дело с пьяным и, как ему казалось, взбешенным Августином Шернером. Конечно, Манци его жена, ведь он расписался с ней в ратуше, правда, без особого шума, с двумя свидетелями и скромным обедом, но до сих пор он еще не знал, хорошо ли он поступил — Манци оказалась слишком энергичной супругой. И ему совсем не

хотелось ссориться сейчас с Шернером, он начал большое дело, и Шернер мог быть полезным: ведь и малые рыбы все же рыбы и порой быстро превращаются в больших.

— Оставь, Манци, — повторил он примиряюще.

— Отличный муж! — сказала Манци. Она не желала уступать, чувствуя себя хозяйкой этого дома.

— Убирайся! — закричал Шернер и кинулся к ней, выкатив глаза. — Убирайся вон, корова!

Манци с испуганным видом скрылась в столовой. Архитектор Феркодич, словно дух бесплотный, исчез вместе с ней.

Двери столовой хлопнули. Августин Шернер торжественно рассмеялся, потирая руки, он смеялся бессмысленным пьяным смехом, наслаждаясь своей победой, впервые он одержал победу силой своего голоса, и это ему чрезвычайно понравилось. Приличный молодой человек открыл в себе новую, не известную ему первобытную силу, притаившуюся где-то до времени: достаточно на людей прикрикнуть — и люди сдаются.

— Ты просто великолепен, Густ! — воскликнула девушка. — Парень что надо!

— Ох, — возразил Шернер скромно и искренне. — Я еще только учусь.

Держа девушку за руку, он повел ее в свою комнату, нашептывая по пути:

— Ты девушка, которую я долго ждал, девушка моих през, Вильма, я буду тебя любить, Вильма, люби и ты меня...

В столовой стояла Манци с бледным лицом, блестящим от ночного крема, уголки ее губ были опущены, и складки резко обозначились.

— Этого я вам никогда не прошу, — сказала она архитектору Феркодичу.

— Я все устрою, — успокаивал ее Феркодич. — Завтра я подыщу ему квартиру.

— Устрою, он все устроит, а как же с оскорблением? — упорствовала Манци. — Вы поняли, что вашу жену оскорбили?

— Это просто недоразумение.

— Вы не муж, а... — Манци долго искала подходящее слово и, не в силах найти его, с возмущением воскликнула: — Вы просто размазня.

Она ушла, полная оскорбленного достоинства, архитектор Феркодич остался в одиночестве в пустой столовой, слушая, как его новая жена сердито стучит ящиками шкафа, и в его голове мелькнуло: какой я несчастный, какой несчастный. Он искал в этой коротенькой мысли опору против надвигающегося несчастья, но не нашел; рядом не было никого, кто любил бы его; была, правда, у него дочь, но та, наверно, ненавидит его. Однако Феркодич не был ни сильным, ни решительным, чтобы долго размышлять о своих несчастьях, он встал и открыл дверь в спальню! Манци была уже в постели. Он подкрался к ней, быстро разделся и, уже лежа рядом и чувствуя тепло ее тела, подумал: какой я дурак, ведь все в порядке, все устроится.

13

Лабуда брился, строя гримасы перед зеркалом, чувствовал он себя в это утро вполне прилично — спина не болела; зеркало, безопасная бритва, жалкая комнатуха с железной кроватью — все напоминало ему далекие времена и делало их близкими, почти осязаемыми; он, самый молодой офицер в гарнизоне, имел такую же жалкую комнатуху с железной кроватью, так же брился, строя гримасы, и радовался дню, ночи, жизни. Он брился основательно и не спеша; ему вновь начинало нравиться собственное лицо, все еще молодое лицо, крупное, правильное и выразительное; нет, с таким лицом невозможно кончить жизнь в тридцать лет. Наконец он кончил бриться, умылся, оделся и подошел к окну; в узкую улочку пробивался солнечный луч, и далекая башенка казалась золотистой. Стоя у окна и все еще пребывая в хорошем, ясном настроении, он вдруг подумал об Олине. Она меня любит, подумал Лабуда, она меня все еще любит и не переставала любить. Его растрогала эта мысль, его не трогали ее страдания, трогала ее любовь, стойкость и постоянство этой любви — что-то такое, чего Лабуда не мог понять и именно поэтому уважал. Она действительно не переставала меня любить, все это время любила меня, думал он и вновь представлял ту минуту, когда они сидели на скамейке на старой площади и все — глаза Олины, ее настороженность,

ее гнев, — все подтверждало, что она его любит и никогда не переставала любить. В задумчивости он потирал гладко выбритый подбородок, впервые думая об Олине не как о женщине, с которой он некогда был близок, а как о человеке, с которым он мог бы жить; да, простая, обычная вещь: она мать его ребенка, она любит его, и он может ей дать сейчас все, что имеет, не так уж много, но он будет стараться, будет работать, и сын будет расти с отцом, мать его сына будет с ним. Мы уедем куда-нибудь в тихое место, где только тишина и стук мельницы, нет, мельница больше не стучит, ее сожгли, она мертва, нужно создать новый дом, и я его создам для сына, для себя и для матери моего сына, которая меня любит. Он все еще стоял у окна и смотрел на узкую улочку. Старуха напротив открыла окно и разложила на нем перины; на ее голове красовался странного вида грязный тюрбан, и из окна на Лабуду повеяло спертым запахом тесной грязной комнатухи. Черт возьми, нужно отсюда убираться, убираться из этого города; моего сына должны окружать лишь красивые вещи, горы, и леса, и чистые реки, я буду с ним бродить по горам и знакомить с миром, в котором я вырос и жил и в котором я только и могу жить. Лабуду вдруг охватила невыносимая тоска по родным горам, и он с удивлением подумал: почему я здесь, почему я, народный управляющий, в этой грязной гостинице, почему обслуживаю проституток и спекулянтов, когда рядом родные горы, где только и можно дышать и жить, жить настоящей жизнью, а не влачить жалкое существование в ожидании этой жизни? Я мог бы чем-то стать, чем я мог бы стать? Скажем, учителем, сейчас мало учителей, я мог бы учить в каком-нибудь глухом уголке, у меня есть заслуги, и мне, наверно, дали бы место учителя, я бы стал учить, выстроил домик с верандой, посадил дикий виноград, заложил сад, и деревья шумели бы прямо в окно. Старуха напротив навалилась грудью на перины и смотрела вниз, на улицу, что-то крича служанке, но Лабуда уже не видел и не слышал ее, он видел лишь свою мечту и слышал, как шумит лес. Да, все это может быть, все зависит от меня и от Олины. Она по-прежнему меня любит и пойдет за мной, а я еще не свел счеты с жизнью, нет, я не поддамся, я еще не умер, у меня только болит спина, но сегодня я совсем ее не чувствую, и, возможно,

все не так страшно; возможно, я выдумываю, что я калека. Слегка помрачнев, он взял в руки ненавистные костыли, но тут же подумал: я должен быть осторожным, внимательным, и все будет в порядке. Он осторожно сошел с лестницы и прошел через кафе; в эти утренние часы там сидели обычные посетители, и новый молодой официант стрелой носился между столиками (старый официант куда-то исчез). «Доброе утро, шеф», — бросил новый официант на ходу и быстро побежал между столиками, ловко балансируя подносом. Лабуда вышел на улицу; сюда, на узкую улочку, солнце еще не проникло, было холодно, но это был не свежий, прохладный воздух утра, а воздух, полный отвратительных запахов, и Лабуда брезгливо поморщил нос; все вокруг стало ему противно в этом городе, и если бы он мог, то тут же покинул бы его с радостью, ушел бы хоть завтра или даже сегодня. Но он знал, что это невозможно, теперь он в ответе не только за себя, но и за своего сына, и за его мать, не перестававшую его любить. Он шел с легкостью, почти не опираясь на костыли, спина не болела, и он чувствовал себя бодрым, свежим и молодым, и снова ему страстно хотелось жить. На старой площади стояла тишина, спокойная каменная тишина, лишь голуби порой били крыльями. Лабуда взглянул на часы: он пришел на целых полчаса раньше, чисто выбритый, и будет ждать, и будет волноваться — неужели будет волноваться? Нет, он не станет волноваться, все будет так, как он представлял, Олина его любит, никогда не переставала любить и теперь не может обмануть, она верная женщина, верный человек. Она придет, и они обо всем договорятся, как друзья, довольно уже страданий и непонимания, жизнь нужно изменить к лучшему. На площади царила тишина, лишь изредка по парковой дорожке шел одинокий прохожий, голуби взлетали, били крыльями и снова опускались на землю. Лабуда уселся поудобнее и принялся разглядывать парк и площадь, он знал, что Олина еще не может быть здесь, и разглядывал все рассеянно и равнодушно, но вдруг его взгляд остановился: на скамейке напротив, полускрытой фонтаном, сидела девушка и смотрела в учебник; ничего удивительного не было в ней, но ее лицо было Лабуде до странности знакомо. Он с трудом отвел глаза от этого лица, но через миг снова к нему вернулся — это было

такое знакомое лицо: широкий лоб, слегка косящие глаза и очень маленький рот, удивительно знакомое лицо! Лабуда протер глаза и минуту смотрел на старую башню, следя за стрелкой на старых башенных часах, но вскоре снова стал смотреть на девушку, его бросило в озноб — да, то самое лицо, лицо Ганки Краповой, тот же маленький девичий рот, те же косящие глаза, доверчивые и слегка озорные; девушка подняла голову и бросила равнодушный взгляд на Лабуду, он затаил дыхание, но девушка отвернулась и со вздохом углубилась в учебник. Перст судьбы, подумал Лабуда, и тут же ему стало стыдно. Что за глупость, какой перст судьбы? Простая случайность, игра случая, просто это девушка случайно похожа на Ганку Крапову, но Ганка Крапова мертва, он знает это наверняка. Он больше не станет об этом думать, а будет думать о своем сыне и о матери своего сына. Но лицо живой Ганки Краповой упрямо стояло между ним и его сыном, он никогда не видел лица мертвой Ганки, она осталась в его памяти живой, он и сейчас помнил ее большие карие доверчивые глаза. Девушка, еще раз вдохнув, захлопнула книгу, встала и пошла по дорожке, приближаясь к Лабуде; он снова затаил дыхание: у девушки была Ганкина фигура и Ганкины движения, еще нескладные, но предвещавшие будущую грацию. Проходя мимо Лабуды, девушка бросила равнодушный взгляд, и под ее нижней губой Лабуда увидел родинку. Он перевел дыхание. Нет, это не перст судьбы, просто случайность, и девушка вовсе не так уж похожа на Ганку Крапову, да и кто может быть похожим на Ганку? Это всего лишь глупый мираж. Жизнь по-глупому жестока, подумал Лабуда, и хотя это банально, но правда; жизнь бессмысленно сурова, сколько трудов и негодяев пережило войну и сейчас засоряет землю, а Ганка Крапова умерла — бессмысленная тупая жестокость. Он порой думал о Ганке, и это были самые трудные минуты, мертвая Ганка была ему ближе, чем все живущие, и тогда ему хотелось покончить с жизнью. И если в эти тяжкие минуты он не убил себя, то не из-за отсутствия мужества, а из чувства брезгливости: самоубийство было ему противно. Но сейчас ему хотелось думать не о смерти, а о жизни, о продолжении жизни, сейчас он хотел жить для сына, а кроме того — чего он не признавал, — ему просто хотелось жить; тут действо-

вала неумолимая сила жизни, которую нельзя ни одолеть, ни уничтожить.

Башенные часы весело, легкомысленно пробили четверть и потом, уже важно, десять часов; Лабуда проверил свои часы, они тоже показывали ровно десять, Олина могла бы уже прийти, но женщины известный народ, женщины, даже любящие, не очень-то точны. Она придет, в этом он не сомневался, он очень в ней нуждался; прежде он никогда не ждал женщин, они всегда к нему приходили сами, а сейчас он с нетерпением ожидал Олину, нуждался в ней, ведь она все же любила его, ни на минуту не переставала любить, так как же ей не прийти? Но большая стрелка на башенных часах неумолимо двигалась, и он все чаще поглядывал на свои маленькие часы на руке и на большие часы на башне, минуты бежали с головокружительной быстротой. Его охватило знакомое чувство быстро летящего времени, когда оно неумолимо летит, приближаясь к заветному часу, к минуте, к секунде, когда стреляет ракета, давая знак к наступлению, докуривается последняя сигарета, и вот уже легкие набирают воздух... Вот и сейчас минуты и секунды летели с головокружительной быстротой: пятнадцать, двадцать минут одиннадцатого, а на площади по-прежнему царил каменная тишь и безлюдье. Лабуда беспокойно ерзал на скамейке, напряженно выпрямив спину и оглядываясь по сторонам, но Олина не шла. Может, с ней что-то случилось? Иначе она была бы уже здесь. В домашнем хозяйстве всегда что-то приключается: выкипает молоко или еще что-либо случается у домашней хозяйки. Он по-прежнему не допускал мысли, что Олина просто не придет, по-прежнему отгонял эту мысль, не давая ей проникнуть в его сознание, но она проникала и медленно овладевала им. На башне было двадцать пять минут одиннадцатого, и он окончательно понял — Олина не придет, потому что не хочет прийти, она хочет отомстить ему и имеет право на месть, но мысль об этом была для него страшной. Он коснулся рукой лба — лоб был влажный.

Я вспотел от страха, с удивлением подумал Лабуда, я так радовался, что она придет, так хотел, чтобы она пришла, и вот сейчас боюсь, что Олина не придет. Ему было страшно, что он боится, страх был ему почти не-

знаком; конечно, и им порой овладевал страх, скажем, страх на фронте, но это был иной страх, физический и совсем не такой мучительный. Башенные часы весело пробили половину одиннадцатого. Лабуда больше не сидел, выпрямив спину; он устало сгорбился, сжался, чувствуя уже не страх, а безнадежность. Он просто все выдумал, нафантазировал, все было неправдой, правда лишь то, что он одинокий калека, да, калека, и сразу что-то резко кольнуло его в спину. Он больше не смотрел на ненавистную площадь с ее каменной тишиной, а сидел сгорбленный, разбитый, уставившись в землю и думая о том, что жизнь кончена и ничего не поделаешь, не начнешь сначала, глупо и навсегда он проиграл свою игру; ничего его не ждет, осталась лишь глупая боль в спине и бесконечное одиночество. Но тут рядом с ним заскрипела коляска, он почувствовал, что кто-то остановился. Поднял голову и увидел Олину; она стояла с непокрытой головой, в распахнутом светлом жакете и прерывисто дышала. Лабуда смотрел на Олину, и его глаза странно светились; радость, огромная, большая радость вдруг овладела им. Олина только на миг взглянула в его сияющие глаза и тут же перевела взгляд на маленького Марека, спавшего в коляске; малыш спал, розовый и кудрявый, подсунув кулачки под висок.

— Вот он,— тихо сказала Олина, все так же прерывисто дыша.

— Ты все-таки пришла,— сказал Лабуда и протянул: ней руку.

Она точно не видела его протянутой руки.

— Говори тише,— попросила она.— Малыш спит.

— Я так боялся, что ты не придешь.

— Ты хотел его видеть?

— Я хотел, чтобы ты пришла. Очень хотел, чтобы ты пришла.

— Вот он,— повторила Олина.— Вот он, маленький Марек.

Лабуда видел своего сына, наконец он видел его — малыш спокойно спал, розовый и кудрявый, у него были отцовские каштановые кудрявые волосы и отцовский широкий, открытый лоб, но рот был Олинин, с полными губками, которые сладко причмокивали во сне. Это был мальчишка что надо, и он был его сыном. Но сейчас Лабуде казалось, что для него важнее, чтобы пришла мать

его сына, пришла Олина, которая его по-прежнему любит.

— Я очень тебя ждал,— вновь сказал он, ища ее взгляд.

— Ты хотел его видеть, вот я и пришла.

Она долго колебалась и наконец решила не идти, понимая, как опасно для нее это свидание, но тут она подумала, что опасности надо смотреть прямо в лицо, а не бежать от нее, к тому же ей хотелось еще раз увидеть Лабуду, а уж потом все кончить.

— Я так ждал, так боялся,— сказал Лабуда,— словно юный студентик.

— Боялся, что не увидишь малыша?

— Боялся, что не увижу своего сына, боялся, что не увижу тебя, Олина.

— Это новость.

— Я все время думал о тебе.

— Оставь свои шутки. Я уже не девочка.

Но она хотела быть девочкой. Хотела быть девочкой, какой была тогда, когда, возвращаясь с баскетбола, впервые увидела Лабуду. Она знала, что ничего не возвращается, и жалела, что не может вернуть то время. И этот сегодняшний сияющий взгляд Лабуды — ах, если б хоть раз тогда он встретил ее таким взглядом!

— Я думал о нас троих.

— О нас троих?

— Да, о нашем сыне и о тебе.

— И о себе,— добавила Олина.— Как всегда, о себе.

— Естественно. И о себе.

— И что же ты придумал?

— Придумал домик с верандой.

— Смотрите-ка! Домик с верандой!

— И дикий виноград.

— И пенье птиц. И сверкающий горизонт.

— Да, да! Солнце и запах земляники в березовой роще. Помнишь, как пахнет земляника в июле?

— Мне кажется, что уже не помню.

— И придумал жизнь для всех нас троих.

— Романтическая жизнь. Романтический Лабуда. Новое обличье капитана Лабуды. Капитан Лабуда научился говорить медовые слова. Устроил хороший домашний улей и достает оттуда медовые слова.

— Это совсем не романтика.

— Рискованные бредни!

— Все это может стать явью. Зависит лишь от тебя.

— Рискованные бредни! Кому ты говоришь?

Он взглянул на Олину — она вся пылала от возмущения, лицо покраснело, глаза смотрели в упор, враждебно. Но он не сдавался, не в силах остановиться, он чувствовал, что чем-то снова обидел Олину, но не мог остановиться, никак не мог.

— Я говорю это женщине, любившей меня.

— Скажите пожалуйста! — воскликнула Олина.

— Говорю матери моего сына.

— Скажите пожалуйста! — повторила Олина. — Это отвратительно! Отвратительный шантаж! За кого ты меня принимаешь?

За кого он ее принимает? — возмущенно думала Олина. За брошенную тряпку, которую можно когда угодно поднять?! Нет, он совсем не изменился, никак не изменился. Прежде он был холодный и равнодушный, а теперь стал чувствительный и сентиментальный, но и теперь он равнодушен ко всему, кроме себя, он хочет устроить себе удобную жизнь, и для этого ему нужен ее сын и она, Олина, которую он когда-то так безжалостно бросил. Он нуждается в ней, и этим все сказано, нуждается в ней, как в своих костылях, ему нужно на кого-то опереться, и он хочет взять ее как нужную ему вещь; ему безразлично, о чем она думает и что чувствует, и всегда ему было безразлично.

— Кому ты это говоришь?

— Ты не должна думать о старом, Олина.

— А о чем я должна думать? О веранде с диким виноградом?

— Да, о веранде с диким виноградом. О будущем.

— Плую я на твою веранду! Плую я на твой дикий виноград!

— Не будь опрометчивой, Олина.

— Я уже раз была опрометчивой, не так ли?

— Ты не должна все время думать о старом. Кто виноват? Зачем искать виновного, если все можно исправить?

Хозяин разбил свою игрушку, ненужную игрушку, хозяин забыл о ней и случайно ее разбил, а сейчас пришел за ней, потому что она нужна, пришел и собирает осколки, желая починить игрушку; Олина знает, что это

невозможно, никогда не собрать все осколки. Ей нужно уйти, не к лицу замужней женщине слушать подобные речи и подобные предложения, но что-то держало ее, нет, не старое чувство, сейчас она уже знала, что от старого чувства нет и следа, ее держала мысль о мести, она боролась с этой мыслью, но не очень искренне, желая как-то расплатиться за свой прежний проигрыш.

— Исправить! — воскликнула она. — Как сломанные часы?

— Может быть, и так.

— Благодарю вас, милый часовщик.

— Ты должна быть искренна с собой, Олина. Все это ложь.

— Что ложь?

— Все, что ты говоришь. Сплошное притворство. Ты говоришь одно, а чувствуешь другое.

— И что же я чувствую?

Он колебался, зная, что его слова могут решить все, а сейчас он уже не был так уверен в любви Олины. Олина была словно в панцире, и он никак не мог найти слабое место.

— Ты все еще что-то чувствуешь ко мне, но скрываешь это.

— Что значит твое «что-то»?

— Ты любишь меня.

— Смотрите-ка!

— И никогда не переставала меня любить. Все это время.

— Баста! Решено! Незабываемый капитан Лабуда. Он всегда в моем сердце. Дай мне руку и пойдем за мной.

— Напрасно ты притворяешься, Олина.

— Ты просто дурак. Ко всему прочему еще и дурак. И как я вообще могла тебя когда-то любить? Слепая...

Она забыла, что нельзя кричать, маленький Марек проснулся, задвигался в коляске, заморгал и принялся хныкать, затем сел и попытался вылезти из коляски. Олина взяла его на руки, но малыш упрямо бил ножками, стараясь встать на землю. Олина поставила его, и он с серьезным, важным видом прошел вдоль скамейки, вернулся и положил ручку на колено Лабуды.

— Папа, — залопотал малыш.

— Это не папа,— сердито сказала Олина.— Ты же знаешь, у папы стеклянные глазки.

— У папы глазки,— повторил маленький Марек, оставив колено, и заковылял по дорожке, остановился у первых анютиных глазок и начал тыкать в них пальцем.

— Мне нужно идти,— сказала Олина.

— Так не может все кончиться.

— А чего же ты еще ждал? Придет господин, позовет, и она бросится на колени и поползет за ним, целуя ему руки! Ты этого ждал?

— Ты не права.

— А ты неисправим. Ты должен перестать считать себя божеством. Должен стать человеком. Тогда ты поймешь других.

Лоб у Лабуды вновь стал влажным, и он вытер его тыльной стороной руки. Пробуждение было слишком внезапным, ему все еще не хотелось верить, что всему конец. Но Олина встала, поправила одеяльце в коляске и собралась уходить, холодная, неприступная, неумолимая.

Медленно, очень медленно он поднимался со скамейки, чувствуя острую боль в спине.

— Значит, так? Все, что ты мне сейчас сказала, правда? Извини, что я тебя утруждал,— сказал Лабуда с усилием.— Это было действительно глупо.

— Все уже позади,— сказала Олина. Она пошла за маленьким Марекком, даже не оглянувшись на Лабуду.

Он двигался медленно, тяжело опираясь на костыли. Боль в спине не утихала, коварная, острая боль. Олина, пройдя немного, оглянулась, ощутив в сердце не торжество победы, а только жалость. Тоскливый стук костылей Лабуды гулко раздавался по пустынной каменной площади, он, горбясь, тащился, почти повиснув на костылях, тащился и говорил себе: глупец, глупец, самый глупый из всех глупцов, нужно все кончать, скорее все кончать. Минута отвращения перед смертью пройдет, ее можно преодолеть, всего лишь миг — и потом все кончится. Только не думать о том, как все сбегутся в комнату, как найдут его, как будут испуганы и примутся его жалеть: знаете, он был ранен в спину, неизлечимо; и не думать о морге и своем теле среди чужих несчастных тел, не думать о всей этой грязи. Ни о чем не думать, это всего лишь миг, ничтожный миг — и человек

освобождается от боли и глупых мечтаний, он никому больше ничем не обязан и никого не будет обижать, да, никого не будет обижать. Лабуда брел среди прохожих, никого не видя, ему уступали дорогу, он шел неуверенной походкой, еле тащился, борясь с собой, чтобы окончательно решить, и наконец решил, твердо решил, но, когда он твердо решил, им сразу овладели мысли, которые раньше были ему чужды, совершенно новые для него мысли: как он жил, и почему он так жил, почему обижал людей, принося им несчастье? И мысли эти были так новы и неожиданны, что разом перевернули все его прошлое, не оставив камня на камне. Лабуда вдруг понял, как он отвратителен. Я подло жил, жил как паразит, который кормится страданиями других, страданиями собственной матери — ведь я никогда не заботился о ней — и страданиями других женщин, я был тупым паразитом, и только. Эти новые мысли укрепили Лабуду в его решении: с паразитом нужно покончить, его солдатская честь требовала убить паразита, и это будет не самоубийство, а военный суд, военный приговор, и он лишь приведет его в исполнение. Он даже поразился правильности своих новых мыслей; все его мысли, все поступки говорили об одном: он вел жизнь законченного паразита, был только хвостун, паразит и ничего больше. Лабуда шел по узкой улочке, в которую наконец проникло солнце, осветив всю грязь, и думал теперь о практических вещах: что ж, все это просто, в столе лежит револьвер, он сядет лицом к стене, но сначала опустит шторы, он не хочет, чтобы на него смотрела старая ведьма напротив, ведь это его личное дело, самое интимное и сокровенное...

14

Коза лежал на спине, курил сигарету за сигаретой, пуская колечки дыма, радовался, когда ему удавалось красивое колечко, плывущее до самого потолка, и лениво размышлял о своем положении, бога им в... сказал он вслух, я им покажу, и снова закурил, ругая кого-то, оскорбившего его, и обещая ему весьма нерадостные вещи.

Когда в комнату вошел Лабуда, Коза присел на постели и отдал честь:

— Привет, капитан! Где тебя носит?

Лабуде пришлось сесть; еще и это, подумал он, теперь этот нахал со своей гнусной физиономией разлегся здесь в такую важную минуту и ухмыляется. Ему захотелось хорошенько протянуть Козу костылем, но он чувствовал себя слабым, да и спина невыносимо болела.

— Проваливай, — сказал Лабуда, немного отдышавшись. — Давай проваливай!

— Не выйдет, капитан, — ответил Коза и ухмыльнулся. — Некуда мне проваливать.

— А мне на это наплевать. Я не желаю тебя видеть.

— Серьезно, капитан? Я на лопатках. Некуда мне идти.

— Опять напился?

— Честное слово, капитан! — Коза вскочил, подошел к Лабуде вплотную идохнул. — Трезв как стеклышко.

Ужасно, думал Лабуда, просто ужасно, что же мне делать? Он чувствовал, как его решение ослабевает, и знал, что уже никогда не сумеет действовать с такой твердостью, решающий миг пропущен, некстати подвернулся Коза, противная морда, старый товарищ. Лабуда не мог его выгнать, хотя ему было жаль той решающей минуты, которая безвозвратно ушла.

— Ну ладно, выкладывай, — сказал Лабуда. — Что с тобой?

Коза стоял посреди комнаты и, положив руку на сердце, пел: «В этот мир я пришел голый, голый и уйду». Он пел, ухмыляясь, и вертел шеей.

— Не паясничай, — сказал Лабуда.

— Ну и свинские морды! — вышел из себя Коза.

— Какие морды?

— Выгнали меня. Эти свинские морды выгнали меня!

— Рассказывай по порядку: откуда выгнали?

— Из кабака. Сукины дети.

— Что же ты натворил?

— Капитан! Клянусь богом!

— Знаю, знаю твоего бога. Так что же случилось?

— Требовали с меня по какому-то счету, свинские морды.

— Вот видишь. Мог бы сразу сказать.

— А что я им, бухгалтер? Я партизан!

— В кабаке нужно платить по счету, мой милый.

И вдруг Лабуда подумал: не окажись здесь сейчас

Коза, уже не было бы ни кабаков, ни счетов и ни о чем бы он не слышал. Но сейчас Коза все больше и больше втягивал его в разговор, и Лабуда уже не знал, хорошо это или плохо.

— Капитан! — вновь закричал Коза. — Что я, какой-нибудь разбойник?

— Кто это говорит?

— Эти свинские морды! Эти сукины дети! Но я им покажу!

— Проверяли?

— Жирные морды. Смотрели на меня как на черта. Так я им устроил кавардак и хлопнул дверями.

— Хорошенькое было зрелище. — Лабуда невольно улыбнулся.

— Носились, как овцы, из угла в угол. Я немного пострелял, и эти свиньи наделали в штаны.

— Представляю себе, — сказал Лабуда.

— Видите ли, проверяют меня. Что я им, разбойник? Я партизан и честный пролетарий. Ага, ни геллера у меня не осталось, — добавил он, выворачивая карманы.

— Не нужно было напиваться.

— Капитан! Я пропивал свое. Партизанское жалование. Из того вшивого кабака я не взял ни геллера, клянусь богом, ни геллера!

— Так почему же ты ушел?

— Из-за пустого кармана. Из-за этих жирных морд. Кончилось бы плохо, останься я там дольше. У меня бы рука не промахнулась. А за таких свиней я не хочу пасть за решетку.

Коза рывком сел на постели, постель застонала, дрожащей рукой Коза закурил сигарету. Минуту они молча сидели друг против друга, и внезапно Лабуду захватила волна симпатии к Козе, братское, почти нежное чувство, и сразу подумалось, что его решение просто глупость и хорошо, что Коза оказался в комнате и помешал ему совершить эту глупость. Глупо убивать себя, когда за тобой еще долг, хоть и незначительный: помочь верному товарищу Козе.

— Так что же теперь? Что будешь делать, честный пролетарий?

— У меня пока две руки. Какая-нибудь работа для них найдется.

— Что ж, дело. А может, они стали слишком нежными?

— Ничего, погрубеют. Ведь дробил я когда-то камень на дорогах, работка не очень нежная! — И, наклонившись к Лабуде, Коза доверительно сообщил: — Я рад, капитан, что я оттуда выкатился. Пора. Этот кабак мне уже давно противен.

— Вот тут ты прав, браток. — И в голосе Лабуды даже проскользнуло что-то вроде нежности к Козе. — Сидеть в кабаке — работа не для нас.

Коза бросил сигарету на пол и медленно, о чем-то размышляя, давил ее ботинком.

— Пожить, видите ли, мне захотелось, — сказал он наконец и усмехнулся. — Надоели вши и всякая ерунда, все это у меня лезло уже из горла. И еще одно, об этом, капитан, я никому не рассказывал. Я столько намерзся, капитан, за свою жизнь, что промерз до костей, казалось, никогда уже не согреюсь. До самых костей промерз, посмотри, капитан, какие у меня руки, пухнут от ревматизма или черт знает от чего. Так вот, захотелось мне пожить. По-людски! А что из того вышло? Ерунда и больше ничего.

Лабуда молча искал в кармане сигареты, удивляясь, что еще несколько минут назад он думал покончить с собой, а сейчас ему страстно хотелось закурить и поговорить с Козой.

— Дай-ка мне сигарету, — попросил он.

— Да, эта работка не для нас, — сказал Коза. — Ни для меня, ни для тебя, капитан.

Лабуда закурил.

— А какая работа для нас? — спросил он.

— Бить этих свиней! Бить их в морду!

— Но кого бить?

— Фашистов, — серьезно ответил Коза.

— Тогда придется их выдумать.

— Выдумывать их не нужно, не видишь разве, что творится?

— Видеть-то вижу, — сказал Лабуда. Но он не был уверен в том, что говорил сейчас, не очень-то хорошо он разбирался в послевоенном мире. Ему только казалось, что вся их борьба, все их усилия оказались напрасными и ненужными, что жизнь катится по старым, знакомым рельсам и мир не меняется.

— Всюду пролезли сволочи! — сердито воскликнул Коза. — Сменили шкуру. Но я-то их узнаю! Узнаю их свинячьи морды, и вытрясу я их из этой шкуры.

— Только не спеши, Коза. Наше время прошло.

— Они, видите ли, смеются над нами! — Коза вскочил с постели и заходил по комнате, громко стуча ботинками, словно желая что-то растоптать. — Ухмыляются, кривят морды! За что мы боролись? И вправду нас можно поднять на смех: за что мы боролись?!

— За честь нации, — сказал Лабуда. Ему всегда казалось, что это главное: смыть вину, доказать всем, что они честная нация, не трусливая, а смелая и гордая. Он не особенно задумывался над всем этим, просто чувствовал так, и этого ему было достаточно.

— Честь нации! Спрячь эту честь в... О ней кричат одни краснобаи, набивая себе карманы. Иди в... со своей честью, капитан, сегодня она не товар!

— Сегодня, может, и не товар, — задумчиво произнес Лабуда. Да, прежде все было иначе, в ту пору все, наверно, чувствовали, как и он, все хотели смыть кровью позор, и все как один пошли. Какой это был невиданный подъем!

— Но ведь и ты за что-то боролся? — спросил он с любопытством Козу.

— Вымуштровали меня. Вот я и боролся.

— Только поэтому?

— И потому, чтобы эти грязные морды не топтали землю. Нашу землю! В ней наши товарищи лежат.

Лабуда вдруг подумал: ведь и у него было то же самое чувство, что и у Козы. Когда это было? Да, при встрече с этим лысым типом, вот когда он тоже вспомнил о мертвых товарищах, когда этот лысый тип торговал их кровью, и в тот миг он охотно набил бы ему морду. Но сейчас, слыша эти гневные слова от Козы, он словно видел себя со стороны, и ему казалось, что эти возмущенные и гневные слова неискренни, что они лишь прикрывают что-то другое, прикрывают слабость, лень и равнодушие.

— Не разводи философию, — сказал он кричащему Козе. — И давай садись. Это не для нас. От твоих слов так и несет политикой.

Коза сел, но вскоре опять вскочил.

— Набить морду фашистам! При чем здесь политика?

— Политика не мое дело.

— Черта в душу! — выругался Коза и готов был снова вскочить, но раздумал и остался сидеть. — А что из того, если и пахнет политикой?

— С политикой я не желаю иметь ничего общего.

— Ах ты чистюля! — ухмыльнулся Коза. — Я и не знал, что ты такой чистюля!

— Вовсе я не чистюля.

— Не хочешь мараться?

— Нет, просто не желаю иметь с политиками ничего общего. Зачем мне это? Политика не мое дело.

У Лабуды затекла спина, он прошелся по комнате и остановился у окна. Солнце поднялось высоко и заливало улочку, по тротуару спешили прохожие, это было странное зрелище: мелькали шляпы и платки, руки и ноги, словно приводимые в движение какой-то машиной.

— Впрочем, политика и не твоё дело, — сказал Лабуда Козе.

— Я и не хочу быть политиком, я просто хочу бить эти грязные морды.

— Кто поедет на мельницу, тот испачкается в муке.

— Мне это не мешает, — сказал Коза и замолчал.

Лабуда все еще глядел на улочку: окна у старухи напротив были закрыты черными бумажными шторами, оставшимися с войны; вещи остались, подумал Лабуда, вещи остались теми же, но изменилось их назначение.

— Разыщешь живого фашиста — позови меня, — сказал Лабуда. — Непременно позови.

— Ладно, капитан, — ответил ставший вдруг серьезным Коза. — Позову.

Они больше не продолжали этот разговор. Оба чувствовали недовольство друг другом, какое обычно вызывают подобные разговоры, и оба знали: слова говорят, хлеб едят, но слова легки и мимолетны, а дружба, товарищество — дело трудное и не мимолетное. Они наконец решили, что делать Козе. Временно Коза остался у Лабуды. Еще до обеда он принес вещи, барахло принес, сказал он, целое утро устраивал постель, притащил матрац и доски, потом отправился на вокзал и привез из камеры хранения солдатский чемоданчик, старый, потертый чемоданчик — все, что у него осталось. Открыв его,

он вздохнул: в чемоданчике в беспорядке лежали рубашки, белье, носки и бритвенный прибор, вот и все, что у него осталось, еще раз вздохнул и махнул рукой: легко пришло, легко и ушло, пожалуй, ему самому стало легче после того, как он распрощался с этим кабаком и со своим постоянным чувством, будто он получает нечестные деньги, украденные или вытщенные из кармана доверчивых людей; теперь он сам себе господин, у него есть две руки, и как-нибудь он проживет. Он не слишком спешил устраиваться на работу и не очень ломал над этим голову; солдатская жизнь, а тем более жизнь управляющего и трактирщика не приучила его любить труд, но Коза знал: когда жизнь прижмет, он сумеет извернуться, не пропадет, и эта мысль его успокаивала. Он устроился в комнате Лабуды и вздохнул с облегчением, словно вернулся домой после долгой дороги. Коза вовсе не испытывал к Лабуде особого чувства благодарности, ведь и сам он, случись что, сделал бы для Лабуды то же самое, это само собой разумелось. Коза, казалось, вернулся домой после длинной дороги и впервые после долгого времени чувствовал себя легко и свободно. Вечером они долго лежали, курили, лениво переговаривались и дремали, вдвоем им было совсем неплохо. Лабуда был доволен, что он больше не одинок, не остается наедине со своей тоской и со своей больной спиной, в последнее время он неохотно спал один, ночью его нередко будила боль в спине — плохой компаньон в длинные зимние ночи. А теперь он был не один, с ним был товарищ, не только взводный Коза и партизан Коза, не только хороший партнер для выпивки, но и товарищ Коза. Приютив Козу, Лабуда почувствовал его более близким, чем тогда, когда он отдавал ему приказания и пил вместе с ним. Лабуда стал спокойным и немного грустным, старался не думать о сыне и об Олине, рана была слишком свежей. Думал он о давних событиях, о товарищах, о светлых минутах в бою, и ему казалось, что жизнь как-нибудь образуется и все войдет в колею; возможно, его жизнь и не станет привлекательной, но будет хотя бы сносной.

На другой день к вечеру Коза примчался из города и что-то закричал через все кафе — Лабуда занимался счетами в стеклянном кабинете и видел, как он несся через все кафе и что-то кричал, но что — Лабуда не

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

Вот и закончилась эта поездка. — Утром, 10-го, на
завтраке в ресторане «Григорьев» — встретил Коля
Степановича. Он в хорошем настроении.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он.
— Хорошо, — ответил я. — Только немного устал.
— Устал? — удивился Степанович. — Почему? —
— Да так, — ответил я. — Просто устал.
— Устал? — удивился Степанович. — Почему? —
— Да так, — ответил я. — Просто устал.
— Устал? — удивился Степанович. — Почему? —
— Да так, — ответил я. — Просто устал.
— Устал? — удивился Степанович. — Почему? —
— Да так, — ответил я. — Просто устал.
— Устал? — удивился Степанович. — Почему? —
— Да так, — ответил я. — Просто устал.

знамя с серпом и молотом, знамя коммунистов, но для Лабуды оно было просто одним из боевых знамен, и сейчас он, как и все, вдыхал стремительный воздух, смешанный с парами бензина, слегка опирался на Козу, и ему казалось, что жизнь начинается снова, снова он, капитан Лабуда, и взводный Коза, и все остальные смелые ребята куда-то мчатся по тихим примолкшим улицам. Они прогрохотали мимо «Палленера» и тут услышали другой гул, смешавшийся с гулом мотора: это был гул огромной людской толпы, еще далекий, но быстро приближающийся.

Августин Шернер стоял на невысокой ограде, слегка возвышаясь над толпой, и что-то пытался говорить, но его слова мгновенно тонули в шуме толпы. Шернер кричал: «Братья, демократы!» И кто-то стоящий рядом в ответ неприлично выругался, а из толпы крикнули: «Свободу Тисе!» Августин Шернер хотел было протестовать, такого лозунга у молодых демократов не было, он хотел протестовать, но какие-то грубые руки стащили его с возвышения, кто-то вlepил ему затрещину, и Августин Шернер удивленно умолк, пытаясь незаметно влиться в толпу. «Свободу Тисе! Свободу Тисе!» — кричала толпа. Было здесь несколько тысяч оголтелых юнцов, старые гардисты и юные студенты, которым нравились гардистские кресты, они маршировали под этими крестами, им нравилась та смелость, с какой они кричали: «Долой коммунистов! Свободу Тисе!» Государству грозила опасность: толпа была многочисленной и бесстрашной. Стоял здесь и Игнац Август Коленатый, окруженный какими-то молодчиками, он держал простой деревянный крест, и его глаза на узком лице горели от восторга — их время грядет, больше не нужно ждать, их час пробил. Был здесь и Венделин Брада, он подсчитывал, сколько жалованья пришлось бы выписать всем этим юнцам, и так и не подсчитал, он знал, что никто не получит жалованья, но он, Венделин Брада, получит его, ведь он на службе, а остальные горланят просто так, задаром. Толпа гудела и медленно двигалась вниз от Сворадова, перед ней лежал вражеский, еще не завоеванный город. «Долой коммунистов! — кричала толпа. — Свободу Тисе, не дадим растоптать крест Иисусов!» — выкрикивала толпа и, набирая скорость, двигалась вниз по улице. Грузовик

прогрохотал перед зданием радио, круто развернулся, парней резко качнуло, они стояли, крепко держась друг за друга, плечо к плечу — единое тело, над которым развевалось красное знамя с серпом и молотом. Гул толпы стал отчетливым, но тут они взяли еще один крутой поворот, грузовик вздохнул, словно набирая дыхание, шофер переключил скорость, мотор снова сердито заурчал, и машина понеслась прямо навстречу толпе. Резкий свет фар ударил в первые ряды, осветив разгоряченные лица, в толпе вновь послышались выкрики: «Долой коммунистов! Свободу Тисе!» Юнцы из первых рядов заслоняли глаза от яркого света фар, не понимая, что происходит, — какое-то чудовище вынырнуло перед ними непонятно откуда всего в нескольких десятках метров, первые ряды остановились, но толпа продолжала напирать на них. Грузовик был уже в нескольких шагах и, не сбавляя скорости, грозно и сердито грохотал, казалось, он готов врезаться в толпу и подмять ее под себя — и тогда первые ряды дрогнули, расступились, распались. В нижней части улицы лежал пустырь с двухметровым откосом, оставшийся после бомбежки, и толпа ринулась туда, пустырь словно поглощал ее, а грузовик, вклинившись в толпу, не уменьшая скорости, мчался и мчался вперед, ревя и урча, как самое настоящее чудовище. «В морду их! — весело закричал Коза. — В морду!» И партизаны, наклонившись из грузовика, били палками кого попало; это была веселая работа. «Дайте им по башке, — кричали ребята, — дайте им за Тису, покажите, что у нас не плодятся фашистам, пока мы живы!» Партизаны даже вспотели от этой веселой работы. Машина проехала через всю толпу, развернулась в конце улицы и вновь стала подниматься по ней, толпа за машиной опять сливалась в одно целое, и партизаны вновь принялись за свое дело. Августин Шернер присел за низенькой оградой, боясь высунуть голову, потом для большей надежности лег; рядом с ним за оградой лежало много юнцов, отрезвевших и перепуганных, они вспоминали сейчас о своих матерях, которые с такой надеждой провожали их в город, и, вспоминая, боялись завтрашнего дня, а еще больше — ревущего грузовика, партизанов с орденами и красного знамени с серпом и молотом. Этого я не хотел, думал Августин Шернер, лежа за оградой, этого я действитель-

Но не хотел, мы не хотели этого, и это не наших рук дело; выкрики о Тисе — фашистская провокация, а толпа всегда готова подхватить броский призыв, толпа зла, мстительна и жестока, я только хотел успокоить ее и в ответ получил по шее, а сейчас уже разбивают головы. И Августин Шернер не знал, на чьей стороне он должен быть. Но Игнац Август Коленатый хорошо знал, за кого он, и, скрытый большой липой, с ненавистью смотрел на ревущий грузовик, и Венделин Брада был тут же. Игнац Август Коленатый выругался, бросил деревянный крест в развалины дома, разрушенного бомбой, и, вытащив револьвер, старательно прицелился, но цель была нечеткой, грузовик двигался, а он привык стрелять лишь в близкие цели и неподвижные затылки, он долго, старательно целился и наконец выстрелил и, очевидно, не попал, грузовик вновь повернул в конце улицы и понесся навстречу остаткам демонстрантов. «Ребята, — заорал Коза, — в нас стреляют!» И низенький партизан в форме поручика крикнул: «Покажем им!» И сразу все, кто мог, соскочили с грузовика. Коза вытащил револьвер, выстрелил в воздух и побежал вперед, а за ним кинулись, стуча сапогами, партизаны, их орденна блестели в свете фар и весело звенели. «По шеям им, по шеям!» — кричал Коза, и теперь, разгоряченные и злые, партизаны били демонстрантов в кровь. Лабуда в первую минуту тоже хотел было кинуться вместе со всеми, но спина невыносимо заныла, и он понял, что не в силах спрыгнуть с едущего грузовика, ему пришлось остаться и беспомощно наблюдать за всем происходящим, с ним остался и одноногий партизан со знаменем. «Будем сторожить знамя», — сказал он, и Лабуда ответил: «Хорошо, друг».

Но вскоре грузовик остановился, и сразу наступила тишина. Все кончилось. Партизаны возвращались к грузовику по двое и поодиночке, разгоряченные и веселые, это была настоящая работа, подходящая мужская работа. Они с видом победителей оглядывали пустынную улицу, безлюдную, словно вымершую, нигде не было ни души, лишь кое-где валялась бумага, виднелись чьи-то растоптанные шляпы, обломки дерева и стекло, но в остальном улица была пустынной и тихой, спокойная вечерняя улица, и не верилось, что совсем недавно здесь ревела алчущая власти толпа.

— Ну и всыпали им, даже рука болит, — сказал Коза, уже стоя в грузовике рядом с Лабудой и довольно ухмыляясь, потом, почесав свою черную лохматую голову, добавил:

— Палку-то твою я сломал, капитан.

— Ерунда, — ответил Лабуда. — Дома у меня есть запасная.

— И бог знает из чего у него была башка, — сказал Коза с удивлением. — Я ударил его по башке, — думал, башка надвое. А он как зачесет от меня, куда там зайцу! И от палки твоей осталась лишь ручка.

— Ерунда, — повторил Лабуда.

— Жаль, ты не мог с нами, капитан. Нашлась бы работа и для тебя!

— Кто-то должен был остаться, — сказал Лабуда, и, несмотря на все его старания, в голосе его прозвучала горечь. Кто-то должен был остаться, это правда, но он никогда не оставался сзади, всегда бросался в атаку первым, у него был добрый гнедой, который летел сквозь ночь и тьму, а за ним скакали другие, и вот теперь он больше никогда не помчится на гнедом, никогда не полетит вперед.

— Ты прав, капитан, — сказал примиряюще Коза. — Все должно идти согласно воинскому порядку.

Грузовик мчался вперед, и одноногий закричал, обращаясь ко всем:

— Ребята, товарищи, что же мы, так и разойдемся?

И он действительно выразил желание всех, сейчас они не могли разойтись по домам, они еще не закончили всего как полагается, не отпраздновали победу. Одноногий позвал их к себе, у него была пивная на Вентурской, закрытая в его отсутствие, но сейчас он открыл ее, и ребята набились в две комнаты, уселись за длинные столы, и две женщины не успевали носить им вино. Все сидели, пили и громко говорили, некоторые были давно знакомы, воевали в одних частях, других знали лишь по имени или в лицо. Взводный Коза обходил столы и хвастался, но больше всего расхваливал капитана Лабуду. Как, вы не знаете капитана Лабуду? Это мой капитан, и вы его не знаете? Все знают моего капитана, его имя когда-то гремело, повстанческие газеты то и дело писали о нем, он был героем и примером для всех. И все подходили к капитану Лабуде, и каждый

хотел с ним выпить, чокнуться и поцеловаться. Лабуде впервые за долгое время стало хорошо, словно вернулось былое, не сгинуло, нет, не могло все сгинуть, провалиться в тартарары, вот он, как и раньше, сидит среди ребят, уже кое-что испытавших и кое-что доказавших, и все хотят быть с ним друзьями, все признают его былую силу. Все кричали и обнимались друг с другом, а потом из одного угла вылетела песня и сразу загремела в обеих комнатах. У них были свои песни, это были русские песни, которые им нравились, пелись песни на непонятном русско-словацком языке, но это никому не мешало, у всех были сильные голоса, и песни раскатывались громом под потолком, их песни, песни партизанских костров и ночных походов, атак и отступлений, песни их погибших друзей.

А в перерыве между песнями они пили и жалели себя, больше они не кричали не хвастались, песни вернули их к прежним временам и, вспоминая эти времена, они расчувствовались. Коза обнимал Лабуду и растроганно говорил: капитан, эх, капитан, сесть бы еще разок на коня, еще бы разок, мы бы им показали! Лабуда крепко выпил, боль притаилась, и сейчас он мог бы вскочить на своего гнедого и закричать ребятам так, чтобы горы отозвались эхом: «На коней! На коней! Ура! В атаку!» Он чувствовал силу своих мускулов, и ему хотелось что-то сделать, хотелось вскочить и заулюлюкать, показать свою силу. Песни больше не пелись хором, слышались лишь отдельные голоса и пьяные выкрики, и тут Лабуда встал и сказал Козе: посмотри, посмотри, что я сейчас сделаю. Он оперся на костыль и забрался на стул, а с него осторожно поднялся на стол, он был великолепен, рослый, плечистый, казалось, стол прогнулся под ним, и, стоя на столе, он забросил костыль в угол, а сам остался стоять без всякой опоры, слегка покачиваясь, его каштановые кудри в беспорядке свесились на лоб. «Гей! — закричал он. — Гей!» — крикнул он еще раз, заглушая все голоса в обеих комнатах, это был прежний голос капитана Лабуды. Крикнув, он подпрыгнул на столе и затопал ногами. «Браво, капитан!» — закричал Коза, и все, кто еще не был совершенно пьян, усталились на Лабуду и кричали: «Да здравствует капитан Лабуда!» А он раскинул руки, снова затопал ногами и закричал: «Гей!» Бутылки и стаканы

зазвенели, Лабуда еще раз притопнул ногами, но тут руки у него как-то странно повисли, на лбу блеснули капельки пота, лицо побледнело, какой-то миг он стоял неподвижно, преодолевая боль, со стиснутыми зубами, но затем покачнулся и стал медленно оседать. Коза подхватил его и закачался под тяжестью грузного тела. Казалось, Лабуда был в обмороке, голова у него бесильно повисла. «Ребята, помогите!» — закричал Коза, и двое подхватили Лабуду под мышки, а Коза за ноги, они оттащили его в комнату и, положив на диван, влили в рот сливовицы. Лабуда с усилием проглотил ее, закашлялся и открыл глаза, но тут же снова их закрыл, он ни на миг не терял сознания, все понимал, но просто не хотел смотреть, не хотел ничего видеть, сразу все ему стало противным, как был противен он сам себе. Ничего, капитан, успокаивал его Коза, просто нога у тебя поскользнулась и рана заболела, даже лицо от боли сморщилось, ничего, все пройдет, до свадьбы заживет, капитан. Но Лабуда не открывал глаза, и Коза сразу протрезвел — его товарищ страдал. Коза видел, что у Лабуды стиснуты зубы, он морщится от боли. В голове у Козы все еще гудело от песен и вина, но он уже протрезвел, умылся под умывальником в углу и причесал обломком гребешка черные взлохмаченные волосы; обломок гребешка был его единственной реликвией, он прошел с ним всю войну, был с ним и на Украине, в Одессе, и в горах Словакии; Коза вернулся к Лабуде, присел к нему и заботливо стал слушать его прерывистое, беспокойное дыхание. Лабуда наконец открыл глаза и, убедившись, что он наедине с Козой, задал вполголоса:

- Сделай так, чтобы меня никто не видел.
- Понятно, капитан.
- Отведи меня домой.
- Слушаюсь, капитан, — серьезно отчеканил Коза.

В Прегрибах была большая манифестация за победу демократии и христианства, за спасение старых отцовских традиций — последняя предвыборная демонстрация; до выборов оставалось всего несколько дней, и демонстрация блестяще завершала ту великолепную ак-

цию, которую предпринял Кремпашский. Кремпашский восседал на трибуне, его рыхлое лицо обвисло, в последнее время он заметно похудел, рядом с ним сидел каноник в пенсне — это было братание христиан перед лицом избирателей, братание лютеран и аграрников, представителей старых традиций, с католиками и «людаками», представлявшими традиции помоложе, и над всем этим, словно балдахин, раскинулось весеннее небо. Кремпашский слегка морщил нос, думая о своем соседе в пенсне: этот каноник засел в своем приходе, как в замке, окруженный крепкими стенами, садами и легендой о добродетели и почти святости, и сидел там тихо как мышка, никогда ничем не рискуя, а сейчас явился на готовенькое, пришел воспользоваться плодами его, Кремпашского, труда. Плодами моего труда, со злостью подумал Кремпашский и оттопырил нижнюю губу, но тут же улыбнулся: он был на виду у толпы избирателей, смотревших на него. Кремпашский получил мало голосов, его кандидатура была под сомнением, но хуже всего, что этот святоша каноник, этот скрытый фашист оказался впереди него на два места. Это было великое сражение, и у Кремпашского были всюду свои люди — и в центре и на местах, но в результате он проиграл сражение, и речь шла не о его личной заинтересованности, а о голосах избирателей, христиан и католиков; разумеется, личные дела нужно подчинять великому общественному делу, но какой-то осадок, какая-то горечь у него осталась. Он с еще большей энергией занялся подготовкой выборов, но чувство обиды, горечи, чувство, что его обошли, оскорбили, ни на минуту не оставляло его. Сунули мне в глотку старую прогорклую брынзу, думал он, и мне пришлось проглотить, но я буду стоек, останусь на своем месте, я должен быть там, куда меня поставила история, мое место скромное, но важное. Кремпашский был в курсе всех политических махинаций, соглашений и предательств, но все это как бы проходило мимо него, он считал себя честным человеком с чистыми руками. Он верил в свою миссию, и слова «нация», «дедовские традиции» произносил со священным уважением. Сам он сейчас занимался большой торговлей молочными продуктами, посылал нежнейшую брынзу в Америку, американским словакам, и неплохо на этом зарабатывал, и эта деятельность впол-

не гармонировала с его священным идеалом — служением народу; он был настолько ограничен, что мог себе представить, как нежная брынза из Прегиб поднимает национальное самосознание американских словаков — ведь любовь начинается с желудка. Он любил свое дело, свое доброе имя и слепо ненавидел коммунистов, боялся их — а вдруг они окажутся правы, но еще больше боялся их победы. Тогда пришел бы конец всему, настала бы смерть для нации. Ведь коммунисты, утверждал Кремпашский, не признают деления на нации, да и Маркс весьма отрицательно относился к словакам. Да, тогда бы рухнуло все, чем он жил всю жизнь. Он ненавидел коммунистов вообще, а Янко Крапа в особенности, его он просто боялся. Боялся физически, боялся его силы, могучего здоровья, на заседаниях он никогда не был уверен, что Янко Крап не встанет и не ударит его. Он боялся Янко Крапа еще и по другой причине — чувствовал в нем ту уверенность, которой у него самого не было. При каждой их встрече Янко Крап словно убеждал всем своим видом, что переживет его, Кремпашского, имя которого забудется, а он, Янко Крап, все еще будет жить; значит, он победит, раз останется в живых. В последнее время вся борьба Кремпашского, весь смысл его жизни словно сосредоточились на Янко Крапе. Кремпашский хотел во что бы то ни стало уничтожить своего противника, победить его и думал, что тем самым он победит и собственную слабость, и чувство старости, а вместе с ними свои сомнения. Солнце светило, в воздухе пахло весной после утреннего майского дождя, и оратор в очках все говорил и говорил, оратор был прислан из центра и был одним из тех новых людей, которых Кремпашский почти не знал. Он читал по бумажке, читал то, что ему написали в секретариате, читал о бремени налогов, о справедливом их распределении и о справедливых ценах и о том, что крестьянин оплот государства и краеугольный камень демократии, на котором демократы строят свое прочное здание. Крестьяне, собравшиеся сюда со всей округи, стояли и слушали вполуха, ожидая услышать то, за чем они пришли: о судьбе их хозяйств. Кремпашский хорошо знал, чего они ждут, знал, что они собрались здесь не ради спасения демократии и даже не ради креста Иисусова, а ради своих хозяйств

и теперь хотели увериться, что их не тронут, хотели запастись защитниками в столь неустойчивые времена.

Янко Крап стоял в открытом окне секретариата и смотрел на эту демонстрацию крестьян, демократов и христиан, он все видел и все слышал, скрытый складками шторы, он смотрел на людскую толпу на площади, охваченный злостью и гневом. В этот миг он ненавидел крестьян; они никогда ничего не поймут, думалось ему, навсегда останутся привязанными к своей земле и безысходному труду, безнадежное дело, они никогда не расстанутся со своими предрассудками и со своей проклятой жизнью, и понадобится немало сил, чтобы оторвать их от глупой веры, что единственно устойчивое в этом неустойчивом мире — их хозяйства. Сколько он ни бывал в деревнях, сколько часов ни говорил и ни убеждал — все напрасно, и вот сейчас они стоят покорно как овцы, а их, знай, стригут. К черту, тихо ругался Янко Крап, нервно почесывая шрам на правой щеке, к черту, эти заблудшие души явились и смиренно бьют поклоны тем, кто собирается их сожрать, кто уже не раз их сжирал, а они вздумали целовать им руки. Он смотрел на трибуну, расположенную прямо против окна, и отчетливо видел лица тех, на трибуне, видел, как меняется их выражение, как Кремпашский покусывал губы и насильно улыбался; так тебе и надо, старый перечник, злорадно думал Янко Крап, так тебе и надо, сдули тебя, как перышко, напрасно ты презрительно кривишь губы, брыззовый король, твой сосед и пальцем не шевельнул, а с легкостью обскакал тебя, звонят по вас колокола, и звонят в колокола фашисты. Янко Крап даже был рад, что демократы так безнадежно сели в лужу; во всяком случае, ситуация ясная и наглядная. И если еще сегодня она ясна не всем, так станет ясной через несколько месяцев, через год, пять лет, все равно час придет и наступит наконец время, когда всех фашистов и таких вот демократов сметут с лица земли. Янко не боялся за будущее, его только злило, что будущее отдаляется и что происходит это на его глазах, а он упускает возможность помешать им.

Он оглядел площадь и увидел в обеих ее концах ребят из поселка, они вклинились в ряды крестьян, демократов и христиан, спокойно стояли и ждали, порой свистели и что-то выкрикивали, стояли неподвижно, за-

стыив на своих местах. Все в порядке, еще не время начинать, не время, все спокойно, и крестьяне дремлют и не слушают тупицу оратора, счастье еще, что сюда послали такого олуха. Говори, говори, заманивай их своими гладкими речами, эх ты, прихвостень демократический, ругался Янко Крап, но тут же подумал: и зачем он ругает оратора, ведь его скучные, занудные речи — наш союзник; и в Янко Крапе вдруг затеплилась искорка надежды, что все кончится хорошо, что гладкие, ничего не говорящие слова оратора заставят крестьян задуматься, сделают их беспокойнее. Оратор кончил и педантично сложил бумажки, слышались жидкие хлопки, все по-прежнему стояли неподвижно, и тут заговорил Кремпашский. Он произносил заключительное слово, но Янко Крап сразу понял, что это будет не просто заключительное слово, Кремпашский разозлился на каноника в пенсне и тупицу оратора, он разозлился и заговорл, исполненный важности своей миссии, и крестьяне стали слушать, они узнали Кремпашского — он покупал у них сыр, масло и творог и в последнее время платил неплохо. Дорогие земляки, друзья крестьяне, сказал Кремпашский, и его рыхлое лицо в складках задрожало; он говорил о том, чего ждали от него: об опасности мирового коммунизма, о том, что рука красных простирается над миром, не дает ему дышать, что все гибнет и сохнет, трава не растет там, где ступает нога коммуниста. Хозяйство, семью, нацию, церковь — все проглотит эта ненасытная огненная глотка; крестьяне, друзья, вставайте все под знамена демократии, под священные знамена наших отцов! Ребята из поселка засвистели, закричали и стали пробиваться к центру площади, но крестьяне стояли неподвижно и внимательно слушали все, что говорилось сейчас с трибуны, и что подтверждало злые и опасные слухи. Кремпашский повысил голос, голос стал прерывистым и дрожащим, но он, не обращая на это внимания, кричал: друзья крестьяне, спасайте вашу землю, ваши хозяйства, и в центре площади дружно загудели, но ребята из поселка вновь подняли такой свист и крик, что хоть уши затыкай. Янко Крап отодвинул штору и высунулся из окна, это было знаком, и ребята из поселка задвигались; дайте им хорошенько, крикнул кто-то, и Янко Крап опять скрылся за шторой.

Ребята из поселка все настойчивее пробивались к центру площади, а Кремпашский продолжал что-то кричать, но уже не мог перекричать гул, свист и рев, завязалась драка, и каноник с оратором быстро спустились с трибуны, только Кремпашский продолжал стоять. Давай, бей их, хотелось крикнуть Янко Крапу, но он не мог этого сделать, они договорились о соблюдении правил в избирательной борьбе, и он не мог нарушить соглашение, вмешаться в происходящую драку, да этого и не требовалось, совсем не требовалось понукать ребят из поселка драться с крестьянами, их старинными недругами. У крестьян были хлеб и мука, масло и сыр, а они, жители поселка, ходили на работу с краюшкой хлеба и маргарином, потому что крестьяне все продавали на черном рынке. Поселок наступал на центр площади, легко врезался в ряды крестьян, женщины визжали и первыми бросились в бегство, придерживая одной рукой юбки, а другой молитвенники — было воскресенье, и утром они молились в костеле, — за женщинами кинулись пожилые крестьяне, лишь несколько молодых парней ринулись в драку, но тут появились блюстители порядка, и все разбежались, площадь опустела, только Кремпашский по-прежнему стоял на трибуне и грозил кулаком в сторону секретариата; Янко Крапу даже показалось, что Кремпашский видит его за шторой.

Он отошел от окна, прошел через пустынный секретариат и короткий коридор и вошел в комнату: они переселились в одну из комнат секретариата, это была хорошая комната с диваном-кроватью, книжным шкафом и ковром, хорошая и уютная комната. Эма была дома и, лежа на диване, слушала музыку и курила.

Когда вошел Янко Крап, Эма повернула голову:

— Что это был за крик?

— Мы разогнали их сборище, — мрачно сказал Янко Крап.

— Ура! — воскликнула Эма. — Победа!

— На победу пока не похоже, — ответил Янко Крап. И еще больше помрачнел. Это действительно не было победой, они поступили так потому, что больше не могли выносить, как эти подлецы все больше наглеют, но победы не было, и Янко Крап об этом хорошо знал.

— Значит, вы их разбили, а победили они?
— Похоже, что так.
— Прекрасно! У Янко Крапа пораженческие настроения.

— Они выиграют на выборах.
— Но еще не выиграли?
— Выиграют! Эти шкурники! — вдруг закричал Янко Крап. — Гниды деревенские!
— Они спасли нас от голодной смерти. Разве ты не помнишь?

— Помню. Тогда они были добрые.
— А сейчас злые? Сейчас они не нравятся Янко Крапу. Они рассердили Янко Крапа?

— Сейчас они опасны. Дрожат за свои хозяйства.
— А разве вы не хотите их отобрать?
— Пусть они ими подавятся! К черту, пусть сдохнут со своими хозяйствами.

Янко Крап бегал по комнате, он знал, что напрасно злится, и это еще больше выводило его из себя.

— Вы хотите отобрать у них хозяйства, а они позволяют себе за них бояться. Разве это не смешно?

Янко Крап бросил взгляд на Эму и продолжал бегать по комнате.

— Садись, — сказала Эма. — Садись и побрейся, Янко Крап. Человек, побрившись, заново рождается. Сегодня воскресенье, и я случайно не на работе. На улице весна, и светит солнце. Мы могли бы немного погулять, Янко Крап.

— Погулять! Ты сошла с ума!

— Не знаю, что в этом безумного, — ответила она обиженно.

— Что за мещанство! Идти гулять, показывать себя людям и бог весть почему им улыбаться! Отвратительный мещанский пережиток!

— Осторожней, Янко Крап, — сказала Эма и села на диван. — Мне может стать с тобой скучно.

— И что тогда?

— Тогда я от тебя уйду.

— И что тогда? — упрямо повторил Янко Крап.

— Ну вот, все и прояснилось, — ответила Эма, и ее голос слегка дрогнул.

— Ты разговариваешь, как в романах, — сказал Янко

Крап и мрачно потер шрам на правой щеке. — Что произошло?

— Ты мог бы давно сказать. — Эма уже овладела своим голосом.

— О чем давно сказать?

— Я могла бы давно знать. — Она закурила новую сигарету, и рука ее слегка дрожала. — Я могла бы давно знать, — повторила Эма.

Их супружество было удобным, думала Эма, они вместе спали и порой вместе ели и разговаривали, удобное супружество, ничего не скажешь, и я совсем забыла, что такое размышлять, думать; возможно, я боялась размышлять, у меня был уютный уголок, где я могла согреться, когда было холодно, и не была одинока, все-таки не была одинока. Мне нужно сейчас встать, да, встать, собрать вещи, перебраться в больницу и больше не возвращаться. Уйти, гордо подняв голову.

— Сплошное сумасбродство, — сказал Янко Крап. — Оставим этот глупый разговор.

— Разумеется, оставим. — Эма поднялась и колко добавила. — Я оставляю и тебя, Янко Крап.

Вынув из шкафа чемодан, она открыла ящики и быстро начала выкидывать свои вещи. Янко Крап смотрел, ничего не понимая, ему казалось, что это всего лишь невинная ссора, он совсем не понимал, что делает Эма.

— Что случилось?

— И он еще спрашивает! — воскликнула она. — Он еще спрашивает!

— Я не понимаю, вот и спрашиваю.

Эме хотелось быть спокойной, уйти без крика и без сцен, но когда она увидела, как Янко стоит у окна и смотрит на нее с непонимающим видом, ее ярость возросла; ей хотелось броситься на Янко, выцарапать ему глаза, дурацкие телячьи глаза, да, он ничего не понимает, бревно, а не человек, стоит и смотрит невинными удивленными глазами, ничего не понимает — тем хуже. Она стиснула зубы, чтобы не закричать, ей хотелось уйти спокойно, без сцен.

— Я не могу на это смотреть, — сказал Янко Крап. — Что ты делаешь, Эма?

— Так не смотри.

— Что с тобой, Эма?

Эма сидела на полу и собирала вещи, она подняла голову, посмотрела на Янко Крапа, глаза у нее блеснули от злости.

— Я ухожу! — крикнула она. И добавила, превозмогая себя, более спокойно: — Я ухожу от тебя, Янко Крап. Теперь ты все знаешь.

— Что за дьявольская глупость, — сказал Янко Крап, все еще думая, что это одна из Эминых шуток, она любила его дразнить и наказывать.

— Мне так не кажется. Мне кажется, что я была глупой, когда жила с тобой.

— Зачем ты говоришь так? — сказал Янко Крап с оскорбленным видом. — С этим ты не шути.

— Дурак! — крикнула Эма. — Я говорю всерьез!

Янко Крап отошел от окна, но тут же остановился, пораженный мыслью, что Эма действительно может говорить всерьез, может всерьез уйти от него. Неужели она совсем не ценит их совместную жизнь и даже недовольна ею? Это оскорбило его, и он взбунтовался: иди к черту, раз ты кричишь на меня, раз не уважаешь, я проживу и один, и один не пропаду.

— Я не могу любоваться на твое сумасбродство, — сказал он зло, взял шапку и направился к дверям. Остановившись в дверях, он добавил: — Я иду в поселок, через час вернусь. Опомнись, Эма!

— Иди хоть к черту на рога! — закричала вслед ему Эма.

Но когда двери закрылись, она перестала собирать вещи, опустилась на пол и закрыла глаза руками. Ей вспомнилось, что однажды она так бежала от супружеской жизни, но в тот раз все было иначе, совершенно иначе, в тот раз рядом был низкий и подлый человек и она ненавидела его и имела право бежать, а сейчас все по-другому. Дело не только в том, что они вместе спят и им хорошо, дело в чем-то большем: он для нее муж, и друг, и товарищ, и ей трудно строить свою жизнь без него. Нет, она не влюблена в него, такая глупость эта любовь, и еще глупее само слово «любовь», измельчили это слово в порошок, и теперь им чистят зубы, глупое, ничего не значащее слово, но представить жизнь без Янко Крапа она не в силах, это правда. Спокойно, Эма, спокойно, говорила она себе, все это глупость, в последнее время у Янко Крапа просто плохое настро-

ние, во всем виновата политика и проклятые выборы, к тому же она до сих пор не понимает его работу и его трудности, живет своей жизнью, самостоятельно, рассуждает самостоятельно и напрасно его дразнит, все это глупости, это просто первая трещина в их семейной жизни. Но как он мог, как он мог так говорить, словно она ему безразлична? Ей вновь вспомнилось его непонимающее лицо, и вновь она возмутилась, но возмущение уже было спокойным, она знала, что останется. Во всяком случае, я ему припомню, размышляла она, все еще сидя на полу, припомню, Янко Крап, и твое непонимание и твою...

Кто-то позвонил. Эма неохотно поднялась с пола: никогда не дают покоя, ни в воскресенье, ни ночью, никогда нет ни минуты покоя, опять, наверно, какое-нибудь важное и неотложное дело к Янко Крапу, у него всегда важные и неотложные дела. Она взглянула в зеркало и, быстро напудрив красный нос, стянула кушаком халат. Потом открыла двери. За дверьми стояли трое в кожаных пальто. Эму охватило злое предчувствие, но она сказала:

— Нет дома. Товарища Крапа нет дома.

— Пани Крапова? — Спросивший был еще молодым человеком с приятным лицом и тонкой кожей, любезный и чисто выбритый.

— Да, это я, — ответила Эма.

Он всунул ногу между дверью и порогом, на нем были до блеска начищенные коричневые сапоги и хорошо отутюженные зеленые брюки.

— Разрешите?

Все трое прошли мимо нее, последний закрыл двери и остался у них.

— Сожалею, — сказал элегантный молодой человек. — Сожалею, что вынужден вас побеспокоить.

Эма пожала плечами.

— Я не могу вам посоветовать, — сказала она насмешливо, — чувствовать себя у нас как дома. Очевидно, вы и так чувствуете себя как дома?

Элегантный молодой человек посмотрел на нее голубыми мальчишескими глазами и строго сказал:

— Нам приказано у вас сделать обыск, уважаемая пани. И свои замечания оставьте при себе. Они могут вам выйти боком.

— Серьезно? — Эма тянула время, желая прийти в себя. — Это что, угроза?

— Заткнись, ты!.. — прикрикнул низенький, коренастый парень, его кожаное пальто почти волочилось по полу, лицо у него было квадратное, усеянное красными жилками. — Заткнись, — повторил он и прижал ее локтем к двери.

Они вошли в комнату, и Эма покраснела от стыда: на ковре в беспорядке валялось женское белье, и посредине комнаты стоял наполовину уложенный чемодан.

— Получше прячете? — насмешливо спросил элегантный молодой человек и, взяв в руки чулок, принялся его разглядывать с видом знатока.

— Америка, — сказал он и довольно прищелкнул языком.

— Положите на место, — сказала Эма. — Вы ведь видите, что там нет гранаты!

— Это мое дело, уважаемая пани, — ответил с насмешливой любезностью чисто выбритый молодой человек. Он наклонился к открытым ящикам шкафа и вдруг резко повернулся, уставившись на Эму своими синими мальчишескими глазами.

— Откуда вы знаете, что мы ищем оружие?

— Это видно по вашему носу.

— Будьте осторожны, уважаемая. Мы не шутим.

— Я вижу.

Коренастый парень рыскал по комнате, щупал одеяло, заглядывал под диван и наконец профессиональным жестом распорол внутренность дивана и сунул туда руку, а элегантный молодой человек копался в шкафу, в ящиках ночного столика и в письменном столе, там он нашел револьвер, но это не доставило ему радости — револьвер был служебный, и у Янко Крапа имелось на него разрешение, им нужно было совсем не это, они искали много оружия, целый склад, но в этой комнате его не было.

— Здесь все? — спросил элегантный молодой человек.

Эма сделала вид, что не понимает. Закурила сигарету и встала у дверей, небрежно прислонившись к стене.

— У вас больше нет комнат?

— Нет, — отрезала Эма.

— Но здесь еще много дверей, — заметил коренастый парень.

— Там секретариат, — сказала Эма. — Сейчас он закрыт.

Коренастый парень, так и не снявший зеленой шляпы, вопросительно посмотрел на элегантного молодого человека.

— У нас нет разрешения, — тихо произнес тот и с деланной любезностью добавил, повернувшись к Эме: — Нам придется здесь немного подождать. Надеюсь, что вы не станете на нас сердиться?

Эма ничего не ответила. Коренастый парень сел на диван, положил руки на колени и так и остался сидеть без всякого движения. Молодой человек ходил от двери к окну, насвистывал и временами, останавливаясь у окна, поглядывал из-за штор на площадь, всем своим видом выражая нетерпение. Эма по-прежнему стояла, прислонясь к стене, у нее затекла нога, но она не меняла своей небрежной позы, ей казалось, что она не должна менять ее, что так она лучше выражает свое презрение к тем, кто явился сюда за Янко Крапом и перевернул всю комнату. Все молчали, лишь молодой человек посвистывал и порой смотрел в окно, с нетерпением поглядывая вниз, на площадь.

— Вот он! — воскликнул наконец молодой человек. — Идет!

Коренастый парень открыл прищуренные глаза, вытащил из кармана кожаного пальто револьвер, проверил его и снова сунул в карман. Эма вздохнула, ей пришлось изменить свою позу, нога совершенно затекла, и Эма, переступив с ноги на ногу, закурила новую сигарету. Ей показалось, что она слышит шаги на лестнице, и она словно видела, как Янко Крап, горбясь, задумчиво идет по лестнице, он всегда шел по лестнице слегка горбясь, будто поднимаясь по крутому склону, и тут, уже наяву, она услышала стук двери и неясный разговор, шаги приблизились к дверям комнаты, и Янко Крап встал на пороге, а за ним шел третий человек в кожаном пальто.

— Мы пришли за вами, пан Крап, — произнес элегантный молодой человек немного театрально.

Янко Крап, стоя в дверях, перевел дыхание и посмотрел исподлобья на элегантного молодого человека.

— Все в порядке, — сказал он, только сейчас заметив Эму, стоящую у дверей и курившую сигарету. — Могли бы вы оставить нас на минутку одних?

— Пожалуйста, — согласился молодой человек, довольный, что все сошло так гладко. — Но никаких глупостей!

— Не бойтесь, я не выскочу из окна.

— В вашем распоряжении пять минут.

— Этого мне вполне хватит.

Когда они остались одни, Янко Крап спросил Эму:

— Они тебя напугали?

— Я боялась, что это случится ночью.

— Ну вот, так, пожалуй, лучше, — сказал Янко Крап и тут же добавил: — Мне нужны теплые рубашки и белье.

Эма стремительным жестом бросила сигарету и лихорадочно принялась искать рубашки и белье среди разбросанной одежды на полу.

— Сейчас, Янко, сейчас, — сказала она. Эма никогда так не называла его; даже в самые нежные минуты она говорила ему «Янко Крап», но тут вдруг сказала: — Сейчас, Янко, все будет.

— Теперь ты можешь остаться и не уходить.

— Это было все глупостью, Янко. — Стоя на коленях, она повернулась лицом к Янко Крапу, ее глаза были полны слез.

— Все в порядке, Эма.

Молодой человек открыл двери:

— Не сердитесь, — сказал он, — мы лишь исполняем свой долг.

— Все в порядке, — повторил Янко Крап.

Эма уложила белье в маленький чемодан. Он обнял ее одной рукой и поцеловал в щеку. Щека была влажной.

— До свиданья, Эма, — сказал он.

Трое в кожаных пальто окружили его и вывели из комнаты, какой-то миг слышались шаги в коридоре, потом стукнули входные двери. Эма вытерла слезы тыльной стороной руки и, подойдя к окну, посмотрела на площадь. Янко Крап с тремя людьми в кожаных пальто вышел из дома, перед домом стояла черная машина,

Янко Крап взглянул наверх, на окно, но на площади уже темнело и Эма была скрыта шторой. Двое сели с Янко Крапом на заднее сиденье, а элегантный молодой человек сел впереди, дверцы машины захлопнулись, и машина двинулась, медленно пересекая площадь.

Марек сидел в редакции и ожидал последних известий перед сдачей номера; зазвонил телефон и в трубке раздался высокий голос секретарши: к тебе посетители, Угрин, дама. Пропусти ее наверх, сказал он и задумался: кто бы это мог быть? Знакомых женщин у него было немного, тем более таких, кто бы мог прийти к нему в редакцию. Наконец открылись двери, и вошла женщина в светлом голубом костюме, довольно полная, с большими темными кругами под глазами; лицо женщины было невероятно знакомым, очень знакомым. Эма, закричал Марек, честное слово Эма, и тут же предложил ей стул. Эма села, чувствуя себя неловко в роли просительницы. Переплетя пальцы в длинных черных перчатках и нервно играя ими, она наконец взглянула на Марека — он сидел на углу стола и выжидающе на нее смотрел.

— Я словно свалилась с неба, — сказала Эма и с усилием улыбнулась. — Мне нужна твоя помощь.

— Помощь? Моя?

— Я была у комиссара. Он сказал, что это дело для газеты, и дал адрес твоей газеты.

— Какое дело?

— Арестован Янко Крап.

Это сенсация, подумал Марек и хотел было сказать об этом Эме, но взглянул на нее и сдержался: для нее это не было сенсацией, она сидела сама не своя, озабоченная и постаревшая.

— Как же все случилось?

— Просто пришли и забрали его. Что за глупые вопросы ты задаешь?

Марек играл карандашом, не зная, как вести себя, как вести себя с женщинами, у которых арестовывают мужей. Он решил быть корректным и ненавязчивым.

— Я думаю о причинах.

— Они искали оружие. У Янко Крапа всегда были какие-то дела с оружием. Но я об этом не очень-то знаю.

— Представляю себе. Он большой любитель пострелять.

— Но не это главное. Главное — Шведа. Ты помнишь Шведу?

— Шведу?

— Янко был тогда невменяем и застрелил Шведу. У Янко сгорели раненые друзья, а этот негодяй смеялся над ними.

— Да, я слышал об этом.

— А я видела это. На месте Янко я сделала бы то же самое. — Эма уже не помнила, как она была тогда напугана и потрясена выстрелом Янко Крапа, сейчас ей казалось, что она сделала бы то же самое.

— Да, это довольно запутанное дело, — сказал Марек.

— Янко был командиром и имел право расстреливать.

— Это похоже на хороший взрыв. Большой политический взрыв.

— Мне все равно, — сказала Эма. — Я хочу, чтобы Янко поскорее выпутался из этого дела. — Она страстно хотела этого и решила, что до тех пор не успокоится, пока не освободит Янко, что пойдет куда угодно, даже поползет на коленях, будет просить, унижаться и кричать, да, если нужно, кричать и угрожать.

— Подожди минутку, — сказал Марек. Наборщик принес последние известия. Марек быстро пробежал несколько страниц — ничего важного, столбец с сообщением из Греции он отрезал, написал заголовки и отправил в секретариат.

— Можем продолжать, — сказал он наконец.

— Ты похож на заправского редактора, — улыбнулась Эма. — А был ведь таким робким и боязливым.

— Так что у тебя еще?

— Это все.

— Что же мы будем делать?

— Я думала, что ты его друг, — сказала Эма и сделала движение, словно хотела встать.

— Я не знаю, как быть, поэтому и спрашиваю.

— Бороться за товарища.

— Это я понимаю. Но как? Что нужно сделать?

— Я знала, что все это напрасно. Ты такой же, как и был, нерешительный стрелок. Нужно быть мужчиной, Марек. Нужно всегда знать, что делать.

Марек вздохнул и усмехнулся:

— Это не так легко, Эма. Мне кажется, я всегда знал, что не нужно делать, что я не должен делать. Нас воспитывали, многое запрещая: этого не касаться, так не делать, того опасаться. Воспитание запретом. Только теперь мы учимся, как нужно делать.

— Благодарю за урок,— сказала Эма. Нервным движением она снимала и снова натягивала перчатку.— Я пришла не за этим.

— Не бойся, что-нибудь придумаем. Ведь мы не одни, Эма.

Он позвонил шефу, шеф случайно был в редакции; подожди меня, сказал Марек Эме и отправился к шефу. Придя к нему, Марек рассказал все дело, шеф рассвирепел, так вот, сказал он, хорошенькое свинство, они ведут себя так, словно в их руках уже власть, но они ошибаются, Угрин, ошибаются! Шеф ходил по кабинету и наконец, остановясь перед Марек, похлопал его по плечу: так вот, Угрин, мы возьмем это дело на себя, а? Возьмем! — ответил шеф сам себе.— Раздуем хорошенько этот огонь! Раз они хотят так танцевать — пожалуйста! Мы им сыграем, Угрин! Ну и свинство! Из-за какого-то паршивца арестовали партизанского командира! Секретаря партии!

Они договорились, что Марек поедет в Прегибы и на месте разберется в этом деле. Загляни им в глотку, сказал шеф, но смотри делай вид, что ты объективен, что ты всего лишь объективный наблюдатель, выслушивай все и не угрожай. А потом мы им покажем! Им расхочется ходить по этим дорожкам! Арестовать партизанского командира! Это наше дело, Угрин. Хотят прирезать по одному, одного за другим, а? Хотят освободить Тису? И взять власть? Но мы еще посмотрим!

Эма встала и с нетерпением ждала, нервно сжимая пальцы в черных перчатках. Ей было неловко в новом костюме, она знала, что он полнит ее, к тому же она совсем не выпалась после дороги и чувствовала себя грязной, непричесанной и не приведенной в порядок — всю ночь она ехала в битком набитом поезде. Да и

роль просительницы была не по ней, она никогда ни о чем не просила, но сейчас она решила не отступать и отправиться даже в Прагу, к самому президенту, отправиться, если нужно, пешком, в пыли ползти на коленях и смиренно просить, а если нужно — кричать и царапаться.

Марек вернулся, его глаза за очками блестели; мы возьмемся за это дело, сказал он, будет хороший фейерверк, вся страна увидит этот фейерверк.

— Мне все равно, — сказала Эма. — Я хочу, чтобы Янко скорее был дома.

— Нет, не все равно. Освобождение Крапа не только твое личное дело, это дело всех нас. Твое дело уже перестало быть только твоим личным, частным делом, Эма.

— Мне не понять. Я хочу, чтобы он был дома. Был со мной.

Она хотела добавить: я сумею этого добиться, сумею, если даже придется сбить все ноги, сумею, потому что иначе не хочу жить. Но так и не сказала ничего, все это касалось только Янко Крапа и было непонятным для других, да и для нее самой удивительным. Внезапная тоска по Янко Крапу, когда его забрали и мир вдруг почернел, внезапная уверенность, что без него она не может жить, не может дышать, работать, — все это было для Эмы удивительным: она и не думала, что с ней и Янко Крапом так плохо, так плохо и так хорошо.

— Ты изменилась, Эма, — сказал Марек.

— Состарилась, да?

— Изменилась. Когда-то для тебя все было безразлично. Во всяком случае, так казалось.

— Тогда мне нечем было дорожить, — ответила Эма. Ей не хотелось говорить о старых временах, ей не хотелось даже думать о прошлом, которое промелькнуло так быстро, что уже не казалось реальным. — Мне нужно идти.

— Куда ты спешишь?

— Мне нужно идти, — повторила Эма, не зная, куда ей нужно идти, но она не могла больше сидеть и говорить с Марekom, для него случай с Янко Крапом был только случаем, сенсацией, а для нее он был вопросом жизни, единственным, о чем она могла думать, и она

не могла говорить о неважных вещах, пока Янко Крап сидел в тюрьме, а все было неважным, кроме Янко Крапа.

— Не бойся, Эма, в этом деле мы не одни, — сказал Марек. — Мы не будем одни в этой борьбе.

— Ты словно выступаешь по радио.

Марек досадливо усмехнулся:

— Ты права, я порой и сам замечаю. Эти слова будто смазаны клеем. Так и липнут к человеку.

— Но я все равно тебе благодарна, — сказала Эма.

Он проводил ее до выхода, улица была полна солнца и людей, при дневном свете он ясно увидел ее усталое лицо, большие, неподвижные, словно затуманенные, близорукие глаза, ему стало жаль Эму и захотелось как-то ее утешить, но Эма заметила его порыв и быстро попрощалась. Бедняжка Эма, подумал Марек, глядя ей вслед, она очень изменилась, пополнела, и юбка на ней слишком длинная, да и весь вид провинциальный и старомодный.

В Прегибы Марек смог поехать только в воскресенье. Прошло несколько дней после выборов, волнение спало, и все успокоилось. Словацкие крестьяне, верующие в единого бога Христа, поддерживали демократию, проголосовали за свои хозяйства и свою веру, но чешские и словацкие батраки голосовали за коммунизм, у них не было хозяйств, и верили они лишь в собственные руки и в свое будущее. И вот теперь христианская Словакия была заражена коммунизмом. Правда, старые аграрники и новоиспеченные «людаки» кричали о победе, но победа слишком отдавала страхом перед будущим. Им хотелось изолировать божий край, превратить страну в тюрьму, но для этого у них не было сил, да и время работало не на них.

Марек давно не путешествовал и сейчас радовался своей поездке, она походила на загородную прогулку, на неожиданные каникулы; колеса мерно стучали по новым рельсам и новым местам, было начало июня, за окном вагона вдруг потемнело, и далеко у горизонта засверкали молнии, земля гудела далеким эхом грома, и теплый дождик захлестал в окна мчащегося поезда.

Озимая пшеница уже выгоняла колоски и послушно колыхалась под теплым ветром, но вскоре буря осталась позади, горизонт очистился, посветлел, и в воздухе за-

пахло травой и деревьями — Марек словно вернулся в детство и, забыв обо всем, почти в полузабытьи, дышал ароматом трав и подставлял лицо ветру. Приближались горы: леса задышали прохладой. Мареку вдруг захотелось петь: это мой край, моя родина, я буду расти вместе с ней, а она — расти во мне, мы неразлучны и едины. Через два дня Марек долго ожидал в окружном суде, то присаживался на скамейку, то ходил по коридору, он уже три раза напоминал о себе секретарше, но она в ответ лишь пожимала плечами: господин доктор очень занят, я не знаю, когда он освободится. Ожидание было отупляющим, часы работы суда кончились, и коридор опустел, но Марек был готов ждать хоть всю ночь.

Все обстоятельства дела Янко Крапа были весьма таинственными, словно скрытыми от Марека в неприступном сейфе, за семью замками. В прокуратуре ему сказали, что дело передано в суд, посетить арестованного не разрешили, и здесь, в коридоре окружного суда, он торчит с утра, торчит и злится, но уходить не собирается. В конце концов он все-таки дождался. Когда в коридоре стемнело и зажегся свет, вышла секретарша и презрительно усмехнулась, за ней появился судья, старомодный господин с тросточкой, серую шляпу он держал в руках, на макушке у него блестела лысина, а серебристые виски были аккуратно приглажены. Марек остановил его: несколько слов, пан судья, сказал он и показал журналистское удостоверение. Судья внимательно посмотрел на удостоверение и сделал удивленный вид: а, Угрин, воскликнул он, я вас помню, ведь я навал вашего отца.

— Я жду здесь с утра, — сказал в ответ Марек.

— Я и не знал, что это вы, — продолжал судья, — уж ради старого знакомства я бы освободился. Как трагически кончил ваш отец!

— Для меня это не трагедия, — сказал Марек. Его отец умер в сумасшедшем доме, и Марек почувствовал тогда скорее облегчение, чем скорбь.

— Отцы и дети, не так ли? — спросил судья деликатно. — Старые и молодые, спор поколений, что ж, это естественно.

— Мне хотелось бы получить от вас кое-какую информацию.

— Я к вашим услугам, хотя догадываюсь, в чем дело.

На судье было темно-серое пальто, он старательно застегнул его на все пуговицы, надел шляпу и, размеренно махая тросточкой, вышел из здания суда. Теперь Марек вспомнил его, да, это был тот самый судья, в летние вечера он так же, как и сейчас, гулял с женой, маленькой розовой женщиной, — то же самое серое пальто, шляпа, тросточка и прямая спина, это было давно, во времена детства Марека, потом розовая женщина почему-то ушла от молодого судьи, но судья по-прежнему ходил на вечерние прогулки в своем вечном темно-сером пальто и с вечной тросточкой. Мареку не хотелось верить — все это походило на явление с того света, правда, пятнадцать лет назад у судьи были светлые волнистые волосы, а сейчас блестела плешь, и спину он уже не держит так прямо.

— Я тоже вспомнил вас, — сказал Марек.

— Возможно. Я ведь так и остался в этом городе.

Они вышли на улицу, дул влажный теплый ветер. Судья то и дело придерживал шляпу на голове.

— Я не имею права говорить вам ни слова, — сказал судья. — И все, что я скажу, коснется данного случая лишь в самых общих чертах. Ни к чему не обязывающий академический диспут, хорошо?

— Но все это не похоже на академический случай.

— Все случаи равны перед законом, — поучительно заметил судья. — Особых случаев не существует.

— И все-таки они есть.

— Никаких все-таки, — нетерпеливым тоном отрезал судья. — Вы читали когда-нибудь свод законов? Разумеется, нет. Вы читаете лишь романы, и в них полно всяких там «кажется», «приблизительно», «что-нибудь», «все-таки». В своде законов подобных слов нет.

— Жизнь нельзя вместить в точные фразы.

— Она должна вместиться. — Судья строго поджал узкие губы и быстрее замахал тросточкой. — Закон предвидит все случаи.

— Интересно, как вы поступаете в данном случае?

— Это простой случай, пан Угрин. Убийство доказано. Эксгумация трупа, допрос обвиняемого. Вопрос лишь в том, как велика вина обвиняемого, господин Угрин, и насколько убийство пренамеренно. Это дело суда. Мое дело — применить надлежащий параграф.

— И все-таки вы не вправе так поступать! — возмутился Марек.

Судья остановился и ткнул тросточкой перед собой.

— Молодой человек, — сказал он строго, — вы слышали о независимости судьбы? Возможно, вы об этом не размышляли, но вы наверняка размышляли о свободе. Но свобода должна быть гарантирована законом. А закон до той поры закон, пока судья независим. Вы слушаете меня? Это железная логика, причина и следствие, все связано друг с другом. Я всего лишь скромный провинциальный судья, пан Угрин, но всю жизнь, я выполнял свой долг. Я хочу его выполнять, пока у меня достанет сил.

— Какой долг?

— Я приводил в действие законы. Старался, чтобы они обеспечивали свободу, которую они гарантируют.

— Вы ведь были здесь и при фашистах, господин судья?

— Да, был, — сказал судья и ткнул тросточкой в Марек. — А вы что, коммунист?

— Нет, — ответил Марек, и он вдруг устыдился, что не может сказать — да, я коммунист, что не может об этом закричать.

— Тогда я удивляюсь, молодой человек.

— Вы приводили в действие фашистские законы. Вы судили антифашистов, посылали их в тюрьмы, в концентрационные лагеря, на смерть.

— Не торопитесь, господин Угрин. Не я придумывал эти законы. Я только их придерживался. И я никого не осудил на смерть.

— Это-то и страшно. Да вы знаете, что делали с вашими жертвами?

— Это не входит в мою компетенцию. Я исполнял долг, и ничего более.

— А потом вы шли гулять и со спокойной совестью спать, и вам снились снежно-белые ангелы?

— Точно так, господин Угрин. Все так, вплоть до ангелов.

— И так вы защищали свободу. Но какую свободу? Свободу убивать?

— Тогда были исключительные времена, — сказал судья и двинулся вперед, словно желая поскорее рас-

статься с Марекком. Но Марек пошел опять рядом с ним, держа его как в клещах.

— Это вам так просто не пройдет! — кричал Марек прямо ему в ухо. — Не должно вам так пройти!

Судья был вынужден остановиться, поправить шляпу, его голос уже не был поучительным и любезным, а сразу стал злым.

— Молодой человек! Я человек проверенный, если хотите знать. Я не желаю вам отвечать, вы еще сопляк, вот так! И если уж вам так интересно, то знайте, меня вообще не мучит совесть из-за каких-то нескольких коммунистов и евреев! Мое почтение!

И он двинулся вперед, а Марек так и остался стоять, как будто врос в землю; поразительно было услышать подобное от такого любезного и корректного судьи, так удивительно и поразительно.

— Пойдите, эй, вы! — закричал он. — Судья! Пойдите!

Судья на миг остановился.

— Вы просто зверь! — крикнул Марек.

— Это вам будет дорого стоить, — проскрипел судья и сердито покрутил тросточкой.

— Зверь! Грязная скотина! — крикнул Марек и пошел дальше, несколько прохожих остановились и с удивлением помотрели на Марека, он стоял под уличным фонарем и глядел вслед судье, постепенно приходя в себя. Потом он долго ходил по полупустынным улицам городка, не узнавая знакомых домов; свобода, вот она свобода, думал он, начинается свободой, а кончается убийством, да, кончается массовым убийством, все великие слова кончаются на корректном судье, все прекрасные слова, а дальше идут могилы, миллионы могил во всем мире. Свобода, я ненавижу тебя, если у тебя такое лицо! Он никак не мог избавиться от чувства вины; что-то у него, у Марека Угрина, было общее с судьей, судья был лишь примитивнее, откровеннее и более последователен. Ложь, обман, преступление! Соткали из слов редкое полотно и твердили, что это знамя праведников и невинных, а это было рубище, которым прикрывали убийство. Все, кто молчал, все виновны, все отвечают за судью, за судей и за палачей.

Марек долго еще блуждал по улицам городка, в котором родился и который был ему чужд, наконец устал

и присел на низкую ограду на площади. В секретариате было светло, за шторами двигались тени — там все еще ждут. Ребята послали депутацию в Прагу, вчера Марек вместе с ними ждал телефонного звонка, они лежали на столах до утра, не дождались, но так и не разошлись, днем и ночью сидели в секретариате друзья и соратники Янко Крапа, они ждут, ругаются и возмущаются, самые горячие головы хотели вытащить из укрытия оружие, вычистить его и направиться к тюрьме.

Марек взглянул на часы: через полчаса поезд. Он встал и пошел проститься с Эмой. Эма заварила чай для всех, кофе уже кончился, она была усталой и невыспавшейся, но очень решительной; когда она была среди друзей Янко Крапа, то ей казалось, что все кончится хорошо. Она утешала Марек: не бойся, Марек, все кончится хорошо, все идет неплохо; не бойся, Угрин, кричали ему и ребята, не бойся этих вшивых паршивцев, мы им покажем, Угрин!

Сойдя с поезда, он не пошел домой, было почти утро, и ему не хотелось будить Олину и маленького Марека, он остался в дымном и грязном вокзальном ресторане, где пахло старым, кислым пивом,пил жидкий, плохой чай и потом отправился прямо в редакцию.

Ему повезло: перед редакцией стояла машина шефа. Марек побежал вверх по лестнице и столкнулся с шефом в коридоре, шеф по-мальчишески размахивал набитым портфелем и, как всегда, куда-то спешил.

— А, Угрин! — крикнул шеф, помахал ему свободной рукой и, увидев, что Марек хочет его остановить, сказал: — Нет времени, Угрин.

— Одну минутку, — попросил Марек.

— Ну ладно, — шеф нерешительно остановился. — Пять минут.

— Как это делается? — спросил Марек.

— Не понимаю, Угрин.

— Мне хотелось бы вступить в партию.

— Ура! — воскликнул шеф. — Наш парень встает на ноги.

— Я говорю серьезно.

— Так вот, — сказал шеф и оглянулся, словно чего-то ища. — Это действительно серьезное дело, а тут сквозняк. — Шеф поправил вату в ушах. У него вечно болели зубы, и он боялся сквозняков. Он вернулся с

Мареком в свой кабинет и из окна велел шоферу заглушить мотор. Потом сел за стол и положил руки на бумаги, разбросанные в беспорядке по всему столу.

— Ну, рассказывай, — попросил он Марека.

— О чем рассказывать? Я решил.

— На пути из Эфеса в Дамаск? На пути из Братиславы в Прегибы?

— Приблизительно так. Я прозрел. И причина тому — доктор Медзиградский, судья в Прегобах.

— Но такое на всю жизнь, Угрин, — сказал шеф, и его черные глаза сурово взглянули на Марека.

— На всю жизнь, — ответил Марека. — Я знаю.

Шеф все еще смотрел на Марека, он был убежден, что у него пронизывающий взгляд и что он никогда не ошибается в оценке людей, и большей частью он не ошибался. Шеф был доволен: да, для такого парня это на всю жизнь, я сразу его распознал, сразу отметил, подумал шеф, хотя при первой встрече он даже не заметил Марека.

— Как это делается? — спросил Марека.

— Очень просто, Угрин, — сказал шеф и посмотрел на часы. — Я должен бежать. — И уже в дверях добавил: — Завтра в восемь. Поставлю тебя в повестку дня.

— Хорошо, — сказал Марека.

Это был суровый год, словно война в этом сорок седьмом году еще раз прошла по стране своей безжалостной рукой. Горели леса, и пастбища были спалены солнцем, на пастбищах бродил тощий скот, сушь уничтожила посевы и вместе с ними надежду, что страна наконец передохнет. Земля трескалась от зноя, появились тысячи трещин, походивших на глубокие морщины на очень старой натруженной руке, да и цвет у земли был как у натруженной руки, руки старой женщины, желтоватый и серый, цвет смерти. Да, это было горькое разочарование для тех, кто вместе со страной жил ее новой жизнью и верил в ее будущее. А те, кто стоял в стороне, и те, кто хотел повернуть жизнь вспять, и те, кто не верил, с радостью слушали рассказы о конце света, о том, что бог наконец разгневался на коммунистов и уже не в силах смотреть на такое безбожие и бесправие, что он простер над страной свою карающую руку. Те, кто стоял в стороне, опасались: как узнает господь бог в такой неразберихе, которая царит на земле, кто виновный, а кто невинный? Но те, кто хотел вернуть прошлое, потирали от радости руки, сеяли слухи, в которые сами не верили, устраивали крестные ходы по пыльным дорогам и считали дни, недели, месяцы до той поры, когда новое государство рассыплется, словно смешная детская игрушка.

В этот год пришло с востока советское зерно. А с запада прибыл в Чехословакию доктор Губерт Гутс, человек, который часто устремлял свой взор к небесам и не реже — к Центральной Европе. В этом году в Словакии, по данным министерства внутренних дел, насчитывалось тридцать шесть подпольных организаций с весьма разветвленной сетью; восемь тысяч фашистских эмигрантов ожидало за границей подходящей минуты. В том же году Стефан Бендера решил вывести остатки своих банд из Польши через Чехословакию в Западную Германию.

В конце сентября сержант Коза вернулся с операции против бендеровских банд, вернулся в запыленной форме, загорелый, с черным лицом. Лабуда проверял счета в своем застекленном кабинете и кивнул Козе, что сейчас придет, но, когда он вошел в комнату, Коза уже лежал, развалившись поперек постели, и храпел. Лабуда уложил его, прикрыл и с радостью посмотрел на Козу: казалось, вернулся его родной брат, он привык к Козе, и в эти два месяца без Козы ему было по-настоящему тоскливо. От Козы пахло на него свежим воздухом вольной жизни, запахом гор и ночных костров, с новой силой его охватила зависть к Козе, и вновь он нестерпимо ненавидел свое бессилие, свою несчастную спину, которой понемногу становилось легче — боли были реже и не такие острые, — но которая до самой смерти будет связывать его по рукам и ногам, не давать ему быстро двигаться — таков был окончательный приговор врачей.

Коза проснулся лишь на другой день утром, когда Лабуда уже умывался; Коза мигом применился к новой обстановке — многолетняя привычка солдата. Он увидел крупную мускулистую спину Лабуды и услышал плеск воды; я дома, подумал он, и мысль показалась ему странной, удивительной, он уже давно не возвращался домой, и было странно и приятно чувствовать себя дома. Он сел на постели и протер глаза, ну и дрыхнул же я, сказал он и вспомнил, что свалился на постель в чем был.

— Это ты меня раздел, капитан?

— Ты спал как сурок.

— Ну и времена, — сказал Коза и усмехнулся. — Капитан разувает сержанта! Никогда я и не мечтал, что с меня будет снимать сапоги такой чин.

— Ну, как там было?

— Клянусь богом, капитан, — сказал Коза, закуривая первую сигарету, — ну и война была!

— Я ничего здесь не слышал.

— Я видел там даже Офелию.

— Офелию?

— Ухажорку их главного, Бурлака.

Лабуда невольно улыбнулся.

— И какая она?

— Постричь бы ее. Волосы до пят, а ногти как у

ведьмы. Хорошенько помыть да потереть скребницей докрасна. Тогда она бы в твоём кафе сделала неплохую карьеру. Пятьдесят крон за час — и полное удовольствие.

— Это не мое кафе, — помрачнел Лабуда. Чем дальше, тем больше он стыдился своего положения, грязного кафе, стыдился за спекулянтов с портфелями из свиной кожи и за проституток, которые за своим столом вечно играли в джокер. Но что делать, он не знал.

— Все в порядке, капитан, — сказал Коза. Он встал, хлопнул Лабуду по голым плечам, так что раздался звонкий треск, и улыбнулся. Лабуда вытерся, и они пожали друг другу руки.

— А что ты еще там попробовал?

— Поели мы там вволю гуляша из конины. И выпили немного сливовицы.

Это было не совсем так. Козе нравилось участвовать в операции, там было немало хороших ребят и старых товарищей, нередко по ночам он водил грузовик по горным дорогам, непроходимым и хорошо знакомым дорогам, они останавливались в деревнях и горных поселках, производили разведку, выслеживали врага и часто лежали ночью затаив дыхание в тех местах, где должны были пройти бендеровцы, и эти теплые ночи были полны волнения. Но Коза не хотел, чтобы капитан завидовал ему, и искренне жалел, что Лабуды не было с ними — без капитана и радость была не в радость.

— И вы поймали их? — поинтересовался Лабуда. Он знал, что Коза не говорит всей правды, и не говорит ради него.

— Эх, — вздохнул Коза и махнул рукой. — Сколько их ушло! Было нас там порядочно — и солдаты, и милиция, и партизаны, один другому наступал на пятки. Никакого порядка, капитан, не то что с тобой. И всякого дерьма хватало.

— Какого дерьма?

— Предателей.

— Придумываешь, Коза!

— Клянусь богом! Затянули мы петлю — мышь не проскользнет, всю ночь ползли на брюхе, наконец добрались и уставились друг на друга: ни души! Никем и не пахнет. Смылись! И как смылись? Какой-то вшивый капитан и его рота спали в деревне. И в нашей петле дыра оказалась. Пострелять бы их, предателей.

Умываясь, Коза лишь слегка побрызгал на лицо, но потом долго причесывался своим обломанным гребешком и ухмылялся в зеркало. И тут, вдруг что-то вспомнив, ударил себя по лбу:

— Капитан! Ведь я был в тех местах!

— В каких местах?

— В тех самых. И сеновалы, и землянки наши — все так и осталось. Трех мы там поймали, совсем зеленых от голода. Целую неделю мы ходили по тем местам, по тем тропкам, по тем самым дорожкам. Правда, теперь не они нас преследовали, а мы их.

Лабуда вздохнул.

— Одна тетка просила тебе привет передать, — усмехнулся Коза.

— Что за тетка?

— Одна мордатая баба. Говорит, на руках тебя носила, когда ты ребенком был. Какая-то родня.

— Не помню.

— Где помнить, ведь ты был несмышленный. А у тетки есть девка — клянусь богом, я бы там остался! Все ребята кинулись в хату как на пожар, но я их повикидывал. Если родня, так родня. И зовутся, как ты, Лабудовы, а деревня та называется Пачкова или как там?

— Фачкова, — поправил Лабуда.

У него мелькнуло неясное воспоминание: деревушка высоко в горах, и он едет туда десятилетним парнишкой, звенят колокольчики, а мамины пироги, завернутые в платок и перевязанные веревочкой, пахнут всю дорогу, свежие, только что испеченные пироги. Они ехали на крестины, маму пригласили крестной матерью, и отец, еще здоровый и молодой, погонял лошадей, и глаза у него радостно светились, а лицо покраснелось от быстрой езды.

— Они тебе даже написали. Старуха диктовала, а молодая писала. Да я потерял письмо.

— Это двоюродный брат отца, — сказал Лабуда. — Я был там раз, но едва помню, давно очень. — И он представил деревню, ее теплое дыхание под снежным покровом, струйки редкого дыма и заснеженные леса, и сразу деревня стала ему близкой и родной.

— Старика убили немцы, — сказал Коза. — Не дал им корову или чего-то еще. А в хате в каждом углу по ре-

бенку. Полна хата детей, и есть им нечего, старуха причитала так, что окна дрожали.

— А письмо ты, значит, потерял?

— В шапке его носил. А шапка с меня сорвало. Удалили по нас на мосту, и шапка моя прямо в воду.

— Жаль, — сказал Лабуда. Он был одинок, никого, кроме Козы, не имел на свете, и эта родня, появившаяся вдруг из неясного тумана детства, как бы связывала его с тем, что он считал навсегда утраченным.

— Куда направляешься? — спросил он Козу, который затянул ремень и уже надевал шапку.

— Демобилизовываться, капитан, — ухмыльнулся Коза. — А потом поеду загляну на работу.

Уже полгода Коза работал в большой строительной фирме шофером, специальность шофера была единственная, которую он приобрел на войне за семь лет; холостяк Коза, шофер дивизии, дивизия давно расформирована, и Коза больше не был ни сержантом, ни холостяком, но искусство водить машину осталось у него навсегда.

— Можешь им написать, — сказал Коза. — Я о тебе столько наговорил, прямо расписал тебя всего.

— Может, и напишу.

Коза ушел, но в комнате все еще пахло лесом и дымом лагерных костров, и Лабуде не хотелось спускаться вниз, в прокуренное кафе; вечно один, все те же лица и разговоры, те же жесты и сделки шепотом и пьяный визг — утомительное, дурацкое однообразие. Порой ему не хотелось даже двигаться, и целые дни он валялся на железной кровати, смотрел в потолок и думал, думал о всем, сейчас у него хватало времени на это занятие. Никогда прежде его не волновали вопросы о смысле жизни, о смысле человеческого существования, нет, не избегал их, просто они его не трогали. Жизнь, когда человек уйму времени тратит на всякие там мысли, а не на дело, он считал бесполезной и пустой, а все размышления над смыслом жизни — никому не нужными и смешными: занимаются этим лишь люди слабые, бездеятельные, люди, как ему казалось, стоящие в стороне от жизни. Это была добродетель по нужде, а они еще гордились и смотрели свысока на тех, кто на самом деле двигал жизнью, на людей вроде капитана Лабуды. И Лабуда платил им той же монетой, он попросту пре-

зирал их. И лишь в редкие минуты одиночества, меланхолии и бездействия он задумывался, и что-то похожее на страх и неуверенность овладевало им. Раньше такие минуты бывали действительно редкими, его всегда окружали люди, и он всегда что-то делал, чем-то занимался, был полностью захвачен этим. Но сейчас эти минуты перестали быть редкими, течение выбросило его на берег, и он сам прозябал в стороне от жизни. И мысли, непривычные и незнакомые, посещали его все чаще, но только еще больше, как он думал, запутывали жизнь, и без того немало запутанную. С той поры как Коза устроился на работу, Лабуда снова часто оставался один, теперь он ждал редких приходов Козы как искупления. В кафе все шло само собой, в те времена не нужно было много изобретательности и энергии, чтобы кафе хорошо работало. Люди ели все, что им ставили на стол, и пили и курили все, что предлагали, выбора не было никакого и никакой конкуренции. Да Лабуда и не думал прилагать хоть какую-то энергию к такому ничтожному делу, как это кафе со спекулянтами, прости-тутками, дансингом и несколькими грязными кабинетами. И чем дальше, тем больше все это становилось для него бременем и унижением. Он научился мечтать с открытыми глазами, это помогало ему прогонять неприятные мысли. Его мечты устремились сейчас к тому, что ранее он считал неважным и даже не замечал, — так возникла его мечта о сыне, его греза о тихой, спокойной жизни с Олиной и сыном. Сейчас его взволновал рассказ о далеких родственниках и больше всего растрогало то, что они были очень бедны. Он имел кое-какие сбережения: получил сразу жалованье за месяцы, проведенные в горах. Он никогда не думал о деньгах, но сейчас обрадовался им, начал их считать своим вкладом в жизнь, в будущее. Он напишет своим родственникам и предложит помощь. Он может посылать им кое-что каждый месяц, ему самому нужно немного, все ему опостылело, а пить он почти перестал. Он мог бы, конечно, перебраться в Прегибы и там зарабатывать кое-что на жизнь, тогда он навещал бы их и смотрел, как они понемногу выбираются из нищеты с его помощью; словом, заимел бы дом, семью. Целый день он лежал на постели и грезил с открытыми глазами, пытался пробраться сквозь туманные воспоминания детства и увидеть дерев-

ла блузка с перламутровыми пуговицами, девушка посмотрела на Лабуду, ее кофейные глаза на смуглом лице улыбались.

— Так это вы! — протянула она.

Лабуда лежал лохматый и небритый, рубашка выбилась из брюк, на ногах у него были грубые, довольно грязные носки.

— Да, я, — ответил Лабуда. Все происходящее начинало забавлять его. — А вы, собственно, кто?

— Я Гела, — сказала девушка.

— Привет, Геленка! Что вы мне принесли?

— Вы не получили письмо?

— Какое письмо?

— Я сразу отправилась после письма, но, значит, я его обогнала.

— А что в том письме?

— Я Лабудова, — продолжала девушка. — Лабудова из Фачковой. У нас был ваш товарищ, такой чернявый, а потом вы нам написали. А мы вам ответили, что я приеду, но, значит, я обогнала письмо.

Лабуда сел на постели, свесив ноги, и потирал заросший подбородок.

— Так ты Гела! — сказал он наконец. — Но я тебя не помню.

— Ведь я была в пеленках, — засмеялась девушка. — Вы были у нас на крестинах. Ваша мама — моя крестная.

— Теперь припоминаю, — улыбнулся Лабуда. — Всю дорогу до костела ты визжала, как поросенок. Мы везли тебя на санях, а ты так визжала, что хотелось тебя задушить от злости.

Лабуде и впрямь вспомнилось красное сморщенное личико, его заставили тогда взглянуть на малышку и похвалить ее, но он сердито смотрел на это противное личико с белыми прыщиками, и визжала малышка как резаная.

— Садись, Гела, — предложил он.

Она оглянулась и вежливо присела, положив руки на стол. Лабуда все еще в удивлении потирал подбородок, думая о далекой деревне, он никогда даже в мыслях не связывал с ней какой-то Гелы, там жили лишь далекие родственники, была нищета и дети в каждом углу хаты, а сейчас перед ним сидела девушка, она сва-

лилась прямо с неба, и он не знал, что с ней делать, о чем говорить.

— Хорошо, — сказал он, а сам подумал: и что мне с тобой делать?

— Вы писали, что поможете нам. Вот я и приехала.

— Что же мне с тобой делать?

— Но я не хочу быть вам в тягость, — заявила девушка. — Боже сохрани. Нам нужны деньги, вот я приехала, чтобы заработать. — Она смотрела на Лабуду, и ее глаза слегка улыбались, придавая взгляду детскую доверчивость.

— Понятно, — повторил растерянно Лабуда. — Значит, села на поезд и поехала?

— Мы взяли займы на поезд. Председатель дал нам займы, в доме у нас ни кроны. Даже нет на сало.

Она сказала об этом как о самой обычной вещи, лишь слегка вздохнула, очевидно вспомнив хату, детей и мать.

— Я хотел, — неуверенно сказал Лабуда, — хотел послать вам денег.

Она задумалась.

— Ну что ж, — сказала она наконец. — Пошлите им.

— У меня есть кое-какие деньги, и мне они ни к чему, а вам быгодились. Но я боялся — а вдруг вы обидитесь?

— Что вы, мама наверняка не обидится, она будет рада выбраться из нищеты. Да мы и вернем их вам, когда дела поправятся.

— Ну ладно, с деньгами мы устроим. Но как быть с тобой?

— Раз уж я приехала, то обратно не вернусь. Да и стыдно мне возвращаться с пустыми руками.

Лабуда обулся, встал и слегка пригладил волосы перед зеркалом. У двери стоял небольшой потертый чемоданчик из фанеры. Лабуда искоса взглянул на девушку — она все еще с вежливым видом сидела на стуле, и ее тонкие руки торчали из коротких рукавов жакета.

— Ты можешь умыться и отдохнуть, — сказал он. — Когда я вернусь, мы подумаем, как быть дальше.

— Благодарю покорно, братец.

— Ну, вот что, — добавил Лабуда уже в дверях, — раз мы родня, говори мне «ты».

— Хорошо, — просто сказала девушка. — Я буду тебе «тыкать».

Когда Лабуда вернулся, девушка, уже умывшись и аккуратно повесив жакет на стул, по-прежнему сидела за столом, вытянув перед собой руки. Лабуда подсел к ней; от нее пахло мылом и молоком.

— Что с тобой, родственница?

— Не думай, я обязательно найду себе работу. Со мной у тебя не будет забот.

— Спать ты можешь здесь. У меня есть тут каморка. Я принесу тебе постель.

— Спасибо, братец.

— Но какую работу ты хочешь найти?

— Мне все равно. Пусть только хорошо платят.

Лабуда улыбнулся такой наивности: садится на поезд, приезжает да еще хочет хорошо заработать и не знает ничего ни о городе, ни о мире вокруг; с малых лет пасла коров, сажала картошку, окучивала ее, доила корову, ходила за ребятами, надрывалась, таская мешки, и вот приезжает в город и хочет хорошо заработать!

— Это не так легко, Гела.

— Я многое умею. Я и шить училась. Могу в портнихи пойти, могу хозяйством заниматься, мама говорит, что я готовлю хорошо, могла бы наготовить на целую свадьбу.

— Это мысль, — сказал Лабуда.

— Какая мысль?

— Ты можешь остаться здесь на кухне, хотя бы для начала.

— Я не хочу быть вам в тягость, братец.

— Все в порядке, — сказал Лабуда, хотя ничего не было в порядке. Мне нужно бы дать ей денег, думал он, и уговорить вернуться домой, нечего ей здесь искать с такими наивными кофейными глазами, в подобном заведении нечего делать такой девушке, от которой пахнет молоком и которая, похоже, все свои двадцать лет умывалась росой.

— Ладно, я согласна, — сказала девушка, — если ты так считаешь.

Она казалась сейчас взрослой, лишь большие кофейные глаза оставались по-детски наивными.

— Только смотри, — нерешительно начал Лабуда. — Будь настороже. Сюда ходят разные люди.

— Ой! Ой! — воскликнула девушка. — С парнями-то я знаю, как обращаться. Адьюнкту я так влепила, что кровь из носа пошла.

— Какому адьюнкту?

— Садилы мы деревья, и он облапил меня. Приставал да приставал. Я ему так влепила — кровь брызнула.

Лабуда засмеялся, и сразу ему стало весело и легко.

— А ты не любишь, когда тебя обнимают?

Девушка зарумянилась, смуглые щеки стали темно-пунцовыми, даже лоб покрылся темным румянцем. Она смело взглянула на Лабуду, ее глаза весело улыбались.

— Тот, кого я полюблю, может обнимать меня хоть ночь и день.

— А ты уже кого-нибудь любила?

Она опустила голову, задумчиво глядя на руки, вытянутые на столе.

— Был один, — сказала она тихо. — Да и тот сейчас в солдатах.

— Все в порядке, — помрачнев, сказал Лабуда. — Ведь он вернется.

Она вздохнула.

— Кто знает, что тогда будет. — И потом спросила: — Так где твоя каморка?

— Сначала поедим, — сказал Лабуда.

Он велел принести ужин, а пока они разговорились о Фачковой, о войне, немцах, о заботах в деревенском хозяйстве; оно, это хозяйство, доставляло немало забот, большая часть их лежала на ее плечах, младшему брату только семнадцать, да он слабый, не очень-то пригодный для деревенской работы. Можешь поехать домой, вернуться, предложил ей Лабуда, я дам тебе столько денег, сколько здесь заработаешь в год. Но она не хотела — что скажут люди, если она так внезапно вернется, да она и сама хочет попробовать свои силы и поближе увидеть незнакомую жизнь. Лабуда не очень настаивал на ее отъезде, в душе он был рад, что Гела решила остаться, ему казалось, что она принесла с собой радость и облегчение, аромат далекого детства и кусок ушедшей жизни.

— Ты очень милая, — сказал он, когда Гела уходила спать, и улыбнулся. Опустив глаза, она серьезно ответила:

— Спокойной ночи, братец, спокойной ночи, спасибо тебе.

Марек купил материю, достал ее не на карточки, а по случаю и сейчас спешил домой довольный, что порадует Олину, она уже давно жаловалась, что ей не во что одеться. Действительно, она ходила в старых выцветших платьях, кое-как их перешивала, убавляла; порой она плакала и вспоминала об отцовском доме, где никогда ни в чем не испытывала нужды, и, вспоминая, жалела себя. Поэтому Марек радовался, что достал материю, и нес ее, как драгоценность, стараясь быть внимательным и не оставить где-нибудь в трамвае. Он не очень разбирался в таких вещах, но ему казалось, что материя великолепная. Как обрадуется Олина — в последнее время она редко радовалась, была молчаливой, почти не говорила, была мрачной и усталой; да, радостей у нее было мало. Марек уже давно избегал думать о всем происходящем — об Олине, о себе, об их отношениях — и все же думал порой об этом, но сейчас он не боялся думать, он нес Олине подарок и, придя домой, хотел сказать, что понимает ее, думает о ней и знает, как безрадостна теперь ее жизнь, хотел пообещать, что скоро все кончится, нужно лишь немного еще потерпеть, что он будет о ней больше заботиться — только когда он будет о ней заботиться больше? Нет, убеждал он себя, нужно действительно как-то уладить их отношения. Олина несчастная, а он старается этого не замечать, так нечестно, нечестно с его стороны. Когда он с ней в последний раз по душам разговаривал? Он даже не помнит, когда был этот их последний разговор, наверно, очень давно, сейчас они привыкли молчать, бывая вместе, и это не было спокойное молчание, когда царит взаимопонимание, нет, молчание было мучительным, и, даже начав разговор, они говорили лишь о ежедневных заботах, и в каждом слове таилась возможность ссоры, вот почему они охотнее молчали, стараясь избежать худшего. Как это случилось и почему все так идет? — спрашивал себя Марек и обвинял себя, да, больше всего виноват он, ведь он приходит домой только спать, не заботится об Олине и не думает о ее бедах. Они должны поговорить и все выяснить, ведь ничего ужасного не случилось, еще не случилось, во всем повинны мелочи, мно-

го мелочей, бесконечные недоразумения. Нужно только поговорить по душам — и все уладится.

Он спешил домой, осторожно неся драгоценную материю, довольный, что порадует Олину и что все устроится — он не очень верил в это, но старался поверить.

Дома никого не оказалось, комната была пуста. Возможно, Олина вешает белье, подумал Марек, но и балкон был пуст. Марек взглянул в садик за домом, но и там Олины не было; хозяйка сказала, что она ушла с маленьким Мареком; я видела ее час назад, пан редактор, сказала хозяйка. Спасибо, сердито ответил Марек, и ему стало стыдно перед хозяйкой, в такое время Олина всегда бывала дома, близился вечер, где она могла быть? Он злился и чувствовал себя обманутым, но тут же подумал: возможно, это случайность, глупая случайность, в которой Олина не виновата; он положил материю на стол так, чтобы Олина заметила ее сразу, и сел с книгой в ожидании ее. Уже стемнело, а Олина все не приходила. Марек забеспокоился, что-то кольнуло его в сердце: что, если она ушла, ушла навсегда? Но нет, все оставалось на своих местах, это лишь глупая случайность, просто она задержалась.

Наконец Марек дождался: в двери повернулся ключ, и он услышал, как малыш топал в передней и искал дверную ручку; дверь открылась и маленький Марек закричал: папа тут, папа тут, и заковылял к нему. Марек взял малыша на руки. Олина стояла в передней, не сняв жакета, и смотрелась в зеркало, поглаживая пальцами лицо, она бросила на Марека короткий косой взгляд и снова уставилась в зеркало, не сказав ни слова и не ответив на его приветствие, она держалась так, будто Марека здесь не было. Марек снял с малыша пальто, малыш хныкал, усталый и сонный, и в Мареке начинало расти раздражение: как она могла отправиться так далеко, не обращая внимания на ребенка? Она ни на что не обращает внимания, ходит с надутой, трагической физиономией, словно бог знает как ее обидели, и на него, Марек, смотрит как на преступника, и почему все это? Он уже не верил, что стоит только поговорить по душам и искренне, и все уладится, их отношения прояснятся и снова наступит мир и покой; сейчас, видя Олину, он больше не верил в это, но сдерживал свой гнев, как мог. Я должен ее понять, приказывал он себе, у нее нелегкая

жизнь, я должен ее понять и быть добрым, насколько у меня хватит сил.

Олина вошла в комнату, он возился с маленьким Марек, но наблюдал за ней, она увидела материю на столе, не могла ее не заметить, но притворилась, что не видит, потом все же потрогала:

— Что это?

— Это я достал. Для тебя.

Олина помяла пальцами материю и отодвинула ее презрительным жестом, словно дотронулась до чего-то грязного.

— Ну и тряпка! — сказала она глухим голосом. — Редкая, как сито.

— Материя не так уж плоха, — обиженно заметил Марек. — Я достал ее по случаю.

— Исключительно! — воскликнула она. — Исключительная тряпка!

— Можешь ее выбросить, — сказал Марек, напрасно стараясь сдержать злость. — Можешь выбросить, раз она тебе не нравится.

— Ну и выброшу, — сказала Олина, сидя на диване, устало сложив руки на коленях, так и не взглянув ни разу на Марек. — Мне не нужны твои тряпки, не нужно от тебя ничего. Что я стану делать с такой тряпкой?

— Ты отвратительна.

— А ты мой любимый. Самый любимый из любимых. Маленький Марек захныкал:

— Мама, мама, Марек бай-бай.

— Он устал, — сказал Марек со злым упреком. — Где это ты с ним так долго ходила? Хоть бы ребенка пожалела.

— Это мое дело, — сказала Олина. — Мой ребенок, и тебе до него нет дела.

— Я этого не знал, — сказал Марек. — До сих пор я этого не знал.

Олина взяла у него из рук малыша, почти вырвав его.

— Теперь ты знаешь, — отрезала она.

Она ушла с малышом в ванную, и, пока там плескалась вода, Марек точила одна мысль: это конец, конец, теперь всему конец, невозможно так жить дальше, невозможно, глупо и ни к чему. Что с ней произошло, что с ней вдруг произошло? Она и прежде не была слишком

ласкова к нему, но такого еще никогда не бывало. Возможно, она его давно ненавидела, а теперь уже не в силах скрывать свою ненависть? Он закрыл глаза и опустился в кресло. Боже мой, куда мы зашли, думал он, как все это случилось, как мы могли так далеко зайти? Она ненавидит меня, и, может, ненавидит давно, возможно, ненавидела всегда и только притворялась. Просто она нуждалась во мне, в этом все дело. Олина вернулась в комнату, уложила малыша, снова скрылась в ванной и долго не возвращалась. У Марека было достаточно времени обо всем подумать, но он так и не придумал ничего, в голове у него стучала она и та же мысль: это конец, конец, это похоже на конец. Теперь, когда его переполняла злость, он не боялся утраты и даже, пожалуй, испытывал облегчение, он станет свободным, освободится от всего, от всех сложностей и неясностей, и если уж все должно кончиться, так пусть кончается сейчас, немедленно.

Олина вернулась в старом халате, грязная вата торчала из швов, лицо у нее было намазано кремом и неприятно блестело, но, очевидно, она не обращала внимания на это, ей было все равно, какой она покажется перед Мареком, а Марек сидел еще целый час, стараясь не слышать сердитого стука в висках.

— Ты бы мог погасить свет, — сказала Олина.

Он погасил свет и продолжал сидеть в темноте, темнота приятно успокаивала.

— Где ты была так долго? — наконец спросил он.

— У врача.

— Я не знал этого.

— Ты никогда ничего не знаешь.

— Что с тобой, Олина? Зачем тебе понадобился врач?

— Ах, — вздохнула Олина, и Марек с удивлением почувствовал, что ее голос задрожал от плача. — Я даже не знаю, говорить ли тебе об этом.

— Я ничего не знал, — повторил Марек, ему сразу стало жаль Олину; значит, у нее какие-то затруднения и она нуждается в помощи, а он был груб с ней и напрасно ее обижал.

— Ты должна мне все сказать, Олина. — Он встал, подошел к ней и, присев на диван, стал искать ее руку, но Олина спрятала руки под одеяло.

Она лежала, отвернувшись к окну, с улицы через шторы проникал свет, и ее лицо тускло блестело от крема. Олина всхлипнула.

— Ты должна мне все сказать, — сказал Марек, утешая ее.

Он начинал бояться за Олину, она никогда так не расстраивалась, что-то серьезное мучило ее, какое-нибудь большое горе, ведь раньше она сжимала зубы, злилась и ссорилась с ним, но никогда не плакала. Марек боялся за Олину, чувствуя, как все сильнее его охватывает жалость и любовь к ней, все их ссоры просто глупость, глупое недоразумение, Олина его жена, частичка его самого, и это единственная правда, все остальное глупость и недоразумение.

— Ведь все же я твой муж, Олина. Ты должна мне все сказать.

— Мой муж! — воскликнула она глухо и внезапно разрыдалась.

Он успокаивал ее, гладил волосы, но Олина уткнулась головой в стену, отвернулась и жалобно всхлипывала, не хотела успокаиваться.

— У меня будет ребенок, — выговорила она наконец в промежутке между рыданиями.

Марек не мог сказать, чтобы он был очень поражен, какие-то неясные мысли мелькали у него в голове, когда Олина упомянула о враче, но он боялся ошибиться, боялся услышать что-нибудь плохое, и теперь у него отлегло от сердца.

— Но, Олина, какое же это горе!

— Нет! — рыдала Олина. — Это счастье! Поразительное счастье!

— У нас будет ребенок. Какое же это несчастье?

У нас будет ребенок, повторил он про себя, у меня и у Олины, у нас будет ребенок. Это звучало утешительно и естественно.

— Я не хочу его! — сердито воскликнула Олина, перестав плакать.

— О чем ты говоришь?

— Не хочу! Не хочу! Лучше убью себя.

— Как ты можешь так говорить?

— Не хочу! Не хочу! Убью себя.

Она снова разрыдалась и, плача теперь от злости и отчаяния, била кулаком в стену, словно желая сокру-

шить темные и злые силы, обступившие ее и не дающие ей свободно дышать. Уже давно в ней зрело чувство, что она в безнадежном тупике, что против нее сплотились все темные силы рока, что она осуждена и теперь все эти силы навалились на нее и принялись душить. Лучшие я убью себя, кричала она и била кулаком в стену, сейчас она думала об этом всерьез, все ей казалось лучше, чем эта невыносимая жизнь, жизнь, закованная в вечные ежедневные и бесконечные цепи.

Пока у нее был лишь маленький Марек, оставалась крохотная надежда, что она когда-нибудь освободится от четырех стен тесной комнатухи, от вечной стирки и глажения, от кухни и мытья посуды. Марек вырастет, пойдет в школу, и она освободится, снова у нее будет своя жизнь, как прежде, и она распростится с серым, нудным прозябанием, глупым, пустым и безнадежным прозябанием. Она могла представить свободу лишь как отрицание, желая сбросить с себя бремя, которое было для нее невыносимо, но она мечтала об этой свободе и не страшилась ее и если все выносила теперь, то только потому, что видела свое освобождение близким. И вдруг всему конец, конец надеждам: снова жизнь ее замкнется в железном круге. А потом, потом будет уже поздно, пройдут годы, и она состарится, поблекнет и, возможно, примирится с глупой судьбой: больше всего она боялась этого примирения, боялась, что станет такой же, как другие женщины, послушной рабочей лошады, которая тащит свой груз по бесконечной пыльной дороге. Нет, это не должно случиться, никогда не должно случиться, лучше смерть, чем такое существование, она не хочет провести всю жизнь в стирке и глажке, не хочет, чтобы ее единственной радостью было посплетничать с хозяйкой и сходить раз в неделю в кино, а в воскресенье на семейную прогулку, нет, ей не нужна такая жизнь, лучше умереть.

Марек больше ее не утешал, он встал и принялся ходить по комнате, натываясь в темноте на мебель, всю его жалость и любовь к Олине как рукой сняло: она не хочет его ребенка, ребенка от него, она ненавидит его и поэтому не хочет от него ребенка.

Олина с трудом успокоилась, села, вынула из ночного столика платок и вытерла глаза.

— Может, ты перестанешь бегать?

— Пожалуйста,— проворчал Марек и остановился у окна.

— Мне нужны деньги.

Марек молчал.

— Мне нужно много денег. Ты должен их где-то достать.

— Это ты выбрось из головы,— сердито сказал Марек.— Этого не будет.

— Я не могу иметь ребенка, Марек. Если бы ты захотел, то понял бы меня. Я не могу так жить.

— Все так живут.

— Я не могу так жить, Марек.

— Нет, выбрось из головы. Этого не будет.

— Нет, будет! — Олина ударила кулаком по одеялу.

— Даже и не подумаю,— сказал Марек.— Слишком долго я был глупцом.

— Ты подумай хорошенько.— Голос Олины звучал угрожающе.

— Я подумал. Подумал и понял, что долго был глупцом. Но больше не буду.

— Что это значит?

— Или ты станешь такой, как все женщины, или...

— Или?

— Или между нами все кончено.

— Ура! Наконец тебе пришло это в голову.

— Конечно. И глупцы со временем становятся умными.

— Но сначала ты достанешь мне денег,— упрямо твердила Олина.

— Я не могу красть. И даже ради тебя не буду красть.

Все это было отвратительно, противно обоим, и оба со страхом заглянули в пропасть, вдруг раскрывшуюся перед ними; каждого оскорбляли слова другого, но они не могли остановиться, это было сильнее их, независимо от их воли навалилось на них, как лавина, и толкало в пропасть.

— Вот как все выходит на поверку,— насмешливо произнесла Олина.— Большие слова! Большая любовь!

— Ты всегда была против любви.

— Большая любовь,— повторила Олина.— Пустые слова!

— Я был нужен тебе, как спасательный круг. Тебе некуда было деваться, хорош был и бедняга Марек. Глупый Марек!

— Ты! — закричала Олина. — Как ты смеешь?! — Она не находила слов от злости, нет, это ужасное оскорбление не было правдой, она вышла замуж за Марека не только потому, что в нем нуждалась, она любила его, да, по-своему любила, он ей был ближе и дороже всех, она мечтала вместе с ним о будущем, да, все-таки она его любила!

— Я был глупцом, — сказал Марек. — Ты никогда ничего ко мне не чувствовала. — Ему не нужно было так говорить, он понимал это; возможно, он не прав, ведь было немало дней и ночей, когда они любили друг друга, были судорожно сплетенные пальцы, и это не было ложью, но было и много обид, оскорблений, тень Лабуды и много старых несведенных счетов, много страданий, и все это сейчас поднялось в Мареке, рвалось наружу и несло с собой злые, недобрые слова.

— Ты можешь уйти, — сказала Олина. — Мы уже все сказали друг другу.

— Не все, но вполне достаточно.

Так и не зажигая свет, он надел в темноте сапоги и пальто. Олина слышала, как он собирается, и сразу испугалась: он и вправду уходит и больше не вернется. Этого она не хотела, нет, не хотела, чтобы Марек ушел и больше не вернулся, после него осталась бы пустота. Вот он остановился у кровати и смотрит на маленького Марека, нужно его окликнуть, она должна ему что-то сказать, как-то задержать, но она не знала таких слов, все было разрушено, поругано и попрано, все уничтожили грязные, отвратительные слова, ничего не осталось, ничего они не сумели сохранить. Марек ушел молча, ничего не сказав, даже не хлопнув дверью, ушел спокойно, но спокойствие было зловещим, во всяком случае, так казалось Олине. Она хотела подбодрить себя; наконец все кончилось, говорила она себе, не могло же так продолжаться до бесконечности, всему приходит конец, конец и баста! Но потом она уткнулась лицом в перину и зарыдала, она была одна, покинутая, отчаявшаяся.

Марек вышел из дому, моросил дождь и дул ветер, улица была безлюдной, тихой и пустынной. Марек шел, шел и шел, слушая свои шаги — чавк-чавк — единствен-

ный звук на тихой улице, ему казалось, что все это уже однажды было, что он уже уходил так от Олины, чавк-чавк, конец, все кончилось. Он забыл дома шапку, волосы у него намokли от дождя и спадали на лоб, но он не убирал их, теперь все равно, пусть мокнут, пусть ему плохо. Все кончилось, и ему было жаль самого себя. Он шел по улицам, и все улицы были одинаковыми — холодные, тихие и безлюдные, он шел и слушал свои шаги — чавк-чавк — да, все это уже было — и дождь, и ненастье, и безнадежный конец, и звук его собственных шагов — чавк-чавк. В какой-то пивной открылась дверь, оттуда выплыл пар и людские голоса. Марек остановился и зло рассмеялся, ну конечно, патентованное словацкое лекарство от всех страданий, гарантированное, хорошо действующее лекарство. И он вошел внутрь. Это была грязная пивная, буфетчик походил на вырезанную откуда-то карикатуру, толстый и усатый, с засученными, словно у мясника, рукавами и красной физиономией. Он молча налил Мареку стаканчик рома, и Марек так же молча выпил и жестом попросил второй, выпил второй, потом третий и перевел дыхание. Ну вот, все позади, подумал он, ожидая, когда пройдет боль; ром оглушил его, и нестерпимая боль и болезненное чувство пустоты — все должно было пройти после такого количества рома, должно было окаменеть и успокоиться так, как порой стихает и успокаивается зубная боль. Где-то в углу кричали пьяные голоса. Марек повернулся от стойки, пивная была полна дыма, в дымном угаре расплывались какие-то лица и что-то кричали. Через весь зал к стойке брел пьяный, размахивая руками и стараясь удерживать равновесие. У него были грязные седые космы и маленькое сморщенное лицо, он дотащился до стойки, ухватился за нее одной рукой, а другую с пьяной доверчивостью положил Мареку на плечо. Насосался я, приятель, доверчиво сказал он Мареку, насосался, как последний пес. И потом отпрянул от Марека, стараясь лучше его разглядеть. Он стоял и крепко держался за стойку, но вскоре вновь приблизился к Мареку и уткнулся головой ему в грудь. Рому, закричал он буфетчику, рому для меня и для приятеля, но буфетчик не давал ему рому, он, очевидно, хорошо знал пьяного, тебе уже хватит, сказал буфетчик, и так воняешь. Пьяный принял грозный вид, но буфетчик не обратил на это внимания,

тогда пьяный принялся выворачивать карманы пиджака и брюк, в них ничего не было, кроме полыхавших и недокуренных сигарет, он основательно, раза три перевернул кошелек, но и в нем ничего не нашел, грустно вздохнул и сказал: и правда, приятель, у меня нет ни гроша.

— Два раза ром, — сказал Марек. — Я плачу.

— Оставьте его, — сказал буфетчик. — Это... Он верно вас разыгрывает, не верьте ему.

— Налейте нам, прошу, — повторил Марек.

— Давай наливай, старый, — сказал пьяный. — Приятель просит.

Буфетчик пожал плечами и налил им два стаканчика, они чокнулись, выпили, еще раз чокнулись и выпили. Пьяный обнимал Марек и клялся ему в вечной верности и преданности, целовал и рассказывал запутанную историю, из которой Марек запомнил лишь странные слова: различительный горемыка. Потом пьяный плакал у Марек на груди, и Мареку тоже хотелось плакать, но он не был настолько пьян и потому не мог плакать. Марек лил в себя ром, но это ему не помогало, он никак не пьянел, тяжелый комок застрял где-то у него в горле и не проходил. В углу все еще пронзительно кричали голоса, словно угрожая Мареку, пьяный едва стоял на ногах, все так же привалясь к Мареку, и Марек вдруг пришел в себя, быстро расплатился и почти выбежал вон. На улице дождь шел сильнее, Марек засунул руки поглубже в карманы, опустил голову и зашагал против ветра, он шел и снова слышал звуки своих шагов, чавк-чавк, этот звук словно преследовал его. Марек прибавил шаг, но звук бежал вслед, отвратительный и назойливый, Марек остановился, и звука не стало слышно. Он осмотрелся вокруг: куда я иду, куда спешу? И ему стало ясно, что некуда идти, некуда спешить, у него больше нет дома, некуда деться. «А сыну человеческому негде приклонить голову», — подумал он и криво усмехнулся, он жалел себя, ему было жаль себя до слез, но комок остановился в горле, застрял там и не давал дышать. Он весь промок, ему стало холодно, но он все шел и шел, злясь на звуки собственных шагов, неумолимо преследовавших его, шел по лужам и пинал все, что попадалось под ноги: я испортил себе жизнь, как глупо испортил себе жизнь, бедняга Марек! Он больше не будет глупым. Больше никогда он не будет глупым и несчастным

Мареком, бедным студентом, который молил о любви, о любви! Молился любви, как божеству, преклонял колени перед этим божеством, смиренно ожидая чуда. Нет, теперь он уже взрослый, давно стал взрослым, твердым и непреклонным, и не нужно ему никакой любви, никакой Олины. Он думал об Олине с гневом, ругал ее и пинал все, что попадалось под ноги, он искал ругательства позлее; ведь она мещанка, ограниченная и упрямая мещанка, дочь своего отца, ей нужно много денег, большая квартира и две служанки, тогда она снизойдет до любви, да, она ограниченная мещанка, подумаешь, какая драгоценность! А он, Марек, почти загубил свою жизнь, связав ее с Олиной, но теперь конец, конец лжи. Ох, если бы ее никогда не было, если бы он не узнал Олину, если бы ее не было, если бы она умерла в эту минуту и перестала его мучить! Он остановился в подъезде старого дома и перевел дыхание, да, лучше, если б она умерла. Что она об этом говорила? Да, она говорила, что убьет себя, и он мстительно стал представлять, как Олина убивает себя. Как убивают себя женщины? Пускают газ или пьют какие-нибудь порошки? Он сразу увидел Олину в передней, она сидит на стуле, склонясь над маленькой газовой плиткой, зубы сжаты, и лицо все еще блестит от крема, а рядом в комнате спит маленький Марек, спокойно дыша, в доме стоит тишина, тишина царит во всей улице, во всем городе, и в этой тишине слышно слабое шипение газа, а у Олины крепко сжаты руки, она старается преодолеть искушение и не закрыть газ, она до крови закусил губы, и голова ее медленно склоняется все ниже и ниже, боже мой, что она делает? Олина, не делай этого, Олина, я люблю тебя! Он бежал по улице, уже не слыша звука своих шагов, не слыша ничего, только странное шипение газа, и в измученной голове сменялись картина за картиной, и страх все рос и рос, чем ближе подходил он к дому. Наконец, с трудом переведя дыхание, он остановился перед дверью. В квартире стояла тишина, он слышал, как пульсирует кровь в висках, стучит в ушах. Марек открыл дверь, в передней было пусто. Он стряхнул с себя дождевые капли и вошел в комнату. Олина лежала с открытыми глазами, положив руки под голову. Он наклонился к ней, и ему показалось, что глаза у нее стеклянные и неподвижные, мертвые глаза.

Но Олина была жива, она отвернулась и сказала:
— Уходи прочь! Оставь меня!
— Олина! — сказал Марек. — Я очень боялся.
— Ты пьян, — сказала Олина с отвращением.
— Я очень боялся за тебя.
— Уходи прочь! — повторила она и вытянула руки перед собой, словно защищаясь. — Иди прочь! Ты просто пьян!

3

Летом сорок седьмого года на родину нелегально вернулся бывший збройник Винцент Ульрих. Границу он перешел легко: темной, беззвездной ночью переправился через Дунай на рыбацкой лодке, пристал к берегу, сделал в лодке дыру и утопил ее. Это было символично: он не вернется обратно, пока не выполнит заданий. А заданий у него было много, и все важные: он должен был обеспечить регулярную связь между отдельными подпольными группами, создать что-то вроде информационного центра, куда бы сходились сообщения со всей Словакии, и посылать эти сообщения дальше, за границу; он должен был скоординировать деятельность некоторых политических лидеров с подпольным движением. Словом, Винцент Ульрих был одним из тех, кто готовил Словакию к славному часу, часу воскрешения свободы. Он гордился своей миссией, гордился тем, что среди десятков кандидатов выбрали именно его. Это свидетельствовало о его стальной решимости, его непоколебимости, о том, что он великолепный солдат свободы. как теперь их называли. За плечами у него были лагерь для перебежчиков, вши, грязь, голод и дизентерия; он никогда не хотел к этому возвращаться. Перед ним была единственная дорога, единственная возможность: на этой дороге он ничего не мог потерять и все мог приобрести. Он не уклонялся от своей миссии, готовился быть строгим и исполнительным солдатом свободы. Решил быть неумолимым не только к врагам, но и к себе. Нет, он не был увлечен какой-то идеей с большой буквы. он всегда не очень доверял идеям, а особенно идеям с большой буквы; он был просто солдат, мобилизованный для борьбы с коммунистами, и гордился, что он солдат свободы.

Он гордился своими светлыми усами, которые он отпустил ради нелегального положения, гордился шифровальным ключом, и мелкокалиберным револьвером, привязанным под мышкой, и прочными сапогами, и важностью своей миссии, и приказом среди приказов: умри, но не выдай! Три месяца он был в учебном лагере, учился лазать по отвесным стенам, ползать, плавать под водой, стрелять в мишень, зашифровывать, учился молчать на допросах с настоящим битьем, учился всему со страстью — это была его единственная дорога, его единственное будущее.

Все шло как по маслу, хорошо смазанная машина работала точно и бесшумно. В Братиславе он появился утром, из первого же кафе позвонил по данному ему адресу: не оставляли ли задаток за комнату? Старческий голос ответил: комната свободна; в этот же день он перебрался, хозяином оказался старик с большой лысой головой. Когда он отворял Винценту Ульриху дверь, руки у него слегка дрожали. Через несколько дней Ульрих отправился из Братиславы со своей миссией. Вернулся он через две недели очень недовольный. Все это подполье было сплошной любительщиной, они занимались лишь тем, что устраивали тайные сборища, ругали всех и вся и ждали атомной бомбы или еще какого-нибудь чуда. Ими руководили ненависть и страх, хотя некоторым и казалось, что они служат идее, это была старая идея — за бога и народ, они были непримиримы к коммунизму, но бездейственны, лишь в некоторых группах, понимая требование времени, собирали оружие, но большая часть отделялась речами, ждала чуда, вспоминая заслуги, за которые хотела получить вознаграждение, когда наступит день победы. Там, за границей, казалось, что все готово, что достаточно искры — и Словакия вспыхнет, подпольное движение сотрясет землю и сметет коммунистов, чехов и евреев. Но бывший збройник Винцент Ульрих, а сейчас на все готовый солдат свободы, очень скоро установил, что нет и в помине никакой ударной силы, что есть лишь подпольные группки, болтающие вздор и посылающие за границу сообщения, в которых выдают желаемое за действительность, и что настоящую ударную силу еще нужно создавать. Винцент Ульрих считал, что он способен создать такую ударную силу, но для этого требовалось время. Он по-

слал обо всем длинное сообщение в Центр и получил по носу. Он, дескать, новичок и пусть не воображает бог-весть что, они ежедневно получают десятки сообщений, и те противоречат его заявлению; их не интересуют его комментарии, их интересуют факты, комментариями займутся они сами. Это его разозлило, но он был послушным солдатом; в другом сообщении он стал уже осторожнее, приспособился к официальному тону: Словакия — слабое звено в республике, сообщал он, Словакия — крепость свободы, она не покорила коммунизму и не покорится, и все словаки до единого человека, кроме нескольких предателей и заблуждающихся, восстанут в нужную минуту. Нужная минута близка, с каждым днем близится великий час сведения счетов; страна голодает, ее свободу попирают, и она бурлит от недовольства. Возможно, все действительно так, утешал себя солдат свободы Винцент Ульрих, возможно, я все вижу в черном свете, я слишком многого ожидал, ожидал складов оружия и людей, готовых пойти в наступление в любую минуту, толп голодающих, которые берут приступом укрепленные секретариаты красных комиссаров, слишком многого ожидал и потому теперь все вижу в черном свете. И он приказал себе на будущее поменьше размышлять; размышления осложняют службу и ослабляют боевую готовность. В Центре правы, он простой солдат свободы, он здесь не затем, чтобы комментировать и размышлять, он выполняет лишь приказы, несет службу. И точка.

И он нес свою службу. В одной из братиславских групп он наткнулся на старого знакомого — Игнаца Августи Коленатого. Когда-то он им восхищался, даже немного побаивался. Сейчас он мог говорить с ним свысока, Коленатый был лишь провинциальный пачкун и отсталый человек, хотя и бойкий парень, но в сравнении с Винцентом Ульрихом он оставался провинциалом без широкого взгляда на вещи. Но его группа была одной из лучших: там все были бойкие ребята, готовые хоть сейчас перерезать глотку красным. Большей частью они прошли ту же дорогу, что и Игнац Август Коленатый: это были остатки отрядов Боевой готовности, они вернулись из Чехии и Венгрии и какое-то время жили тихо, пока не приспособились, потом осмотрелись и нашли друг друга. Побольше бы таких групп, мечтал Винцент

Ульрих, не сегодня, так завтра, еще немного, и Словакия окажется в наших руках. Ему не казалось невозможным создать тысячи таких групп: вокруг были десятки тысяч бойких парней, ведь не все ушли и не всех арестовали, многие остались, жили в стране, их нужно только найти и собрать под знаменем свободы, показать им дорогу и дать в руки оружие. Нет, это не было безнадежно, они не одиноки в этом решительном и роковом бою, с ними бог-церковь и бог-хозяйство, за ними Ватикан и Вашингтон, крест господень и атомная бомба, нужно только выполнять приказы, нести как полагается свою службу — и все вернется, снова вернется Словакия двойного креста, свободная Словакия верных словаков, вернуться и шествия, и знамена, и блеск власти, а кое-кто отправится в газовые камеры и на мыло. Возвращение старого времени они представляли неясно, были тут осложнения с демократией и споры между вожаками, но они ясно представляли, кто отправится в газовые камеры и кто на мыло, о, это бойкие парни знали твердо, и больше, чем все остальное, их побуждала к деятельности мечта о мести. Они знали, что нужно завершить работу, которую они некогда начали, смести с лица земли всех красных, евреев и чехов, смести с лица земли, которая с давних пор принадлежит Словакии, и отправить их на мыло, а этим мылом вымыть весь мир, смыть с него позор и унижение от проигрыша. Тысячи бы таких групп, ударный кулак, мечтал Винцент Ульрих, и мы ударим этим кулаком по коммунизму, и от него ничего не останется, только смрад от сожженных трупов.

Но он знал, что час еще не пробил, его нужно готовить, и он усердно нес свою службу. Он решил сплотить разбросанные группы в западной Словакии в одну мобильную группу с центральным управлением, создать решающую ударную силу, которая могла бы ударить в решающую минуту в решающем месте. Его план одобрили, но о средствах он должен был позаботиться сам. От Игнаца Августа Коленатого он узнал об их бывшем духовном отце и о его теперешнем странном положении; усмехнувшись в усы, он решил посетить его.

Доктора теологии Войтеха Верного не оказалось дома, когда Винцент Ульрих позвонил у его двери. Дверь открыла старая кривая хозяйка, доктор Войтех Верный вел примерную жизнь, не любил молодых женщин, во

всяком случае, не любил, чтобы они оставались долго в его доме. Винцент Ульрих удобно расположился в его кабинете, кабинет был солидный, с умеренным налетом эlegantности, кресла были старые и солидные, был в кабинете письменный стол с аккуратно разложенными деловыми бумагами, позолоченное распятие, лампада, и святая Магдалина, в рубашке, с обнаженной большой грудью, обмывала Христу ноги. В комнате стоял приятный полумрак, окна выходили на темный двор. Винцент Ульрих открыл окно и выглянул наружу, под окном шел довольно широкий карниз, тянувшийся вдоль всего этажа; отлично, подумал Ульрих, в крайнем случае можно использовать. Он уселся поудобнее в кресло, положил ноги на небольшой журнальный столик и закурил сигару, выпуская дым и гордясь тем, что сидит здесь как хозяин и господин и что раньше он не отважился бы так сидеть в присутствии своего духовного отца, он ходил к нему со страхом в сердце и со священным уважением, но сейчас Войтех Верный не его духовный отец, сейчас это человек, который уклоняется от своего долга и которого необходимо заставить выполнять этот долг, и он, Винцент Ульрих, солдат свободы, заставит своего бывшего духовного отца исполнять свой долг. Он встал и принялся рыться в бумагах на столе, но бумаги не были интересны, сплошные счета и всяческие просьбы о помощи и протекции. Старуха хозяйка заглянула в кабинет, держа руки под передником, недоверчиво посмотрела на Винцента Ульриха и сказала ему низким хриплым голосом: нельзя, пан, нельзя трогать. Вон, старая! — крикнул ей Винцент Ульрих и топнул ногой. Старуха мигом исчезла, зашлепав домашними туфлями, обувными на босу ногу. Винцент Ульрих, скучая в ожидании, снова уселся в кресло и, положив ноги на столик, слегка задремал, он привык отдыхать в любом положении, дремал он неизвестно сколько, но тут хлопнула входная дверь, и он моментально насторожился и весь подобрался: без сомнения, это вернулся доктор теологии Войтех Верный, доктор о чем-то пошептался с хозяйкой, и вот двери открылись, и бывший духовный отец Винцента Ульриха появился в дверях, осторожно заглядывая в темный кабинет. Винцент Ульрих видел, как доктор нахмурил свои светлые брови, но он не двинулся с места, продолжая дымить сигарой и удобно развалясь в кресле.

— Что все это значит? — спросил доктор теологии Войтех Верный. Его вопрос звучал раздраженно, но был подкрашен страхом; какой-то коммунистический агент, думал доктор, они, видно, что-то пронюхали.

— Ничего особенного, — сказал Винцент Ульрих и небрежно стряхнул пепел. — Небольшая проверка, отец.

— Надеюсь, у вас есть разрешение?

— Вот оно, — сказал Винцент Ульрих и коснулся револьвера, привязанного под мышкой.

— Не покажете ли вы мне его?

— Не думаю, что оно вам понравится, отец. Ха-ха-ха, — засмеялся Винцент Ульрих, это была шутка, хорошая шутка — так испугать своего бывшего духовного отца. — Наверняка вам не понравится.

— Тогда позвольте мне позвонить.

— Это вы можете, отец, — милостиво разрешил Винцент Ульрих. Он все еще сидел, развываясь в кресле, и с наслаждением курил, но, когда Войтех Верный поднял трубку, вскочил и схватил его за руку. — Впрочем, лучше не надо, — сказал он и крепко сжал руку Верного в запястье.

— Я буду кричать, — защищался доктор теологии, его розовое лицо побледнело.

— Лучше не надо, отец, — прошептал Винцент Ульрих ему в ухо, потом отпустил руку и приблизил к нему свое лицо:

— Не узнаете, отец?

— Не припоминаю, — пробормотал доктор теологии растерянно.

— Я пришел к вам с приветом от друзей.

— От каких друзей?

— От друзей с той стороны.

— Я не знаю таких друзей. Ничего не припоминаю. Винцент Ульрих кивнул:

— Я уже слышал. Слышал, как вы быстро теряете память, мигом забываете своих бывших друзей.

— Это провокация.

— Совсем нет, отец. Вы действительно меня не узнаете?

— Нет. И не желаю вас узнавать. Вы ворвались ко мне в квартиру и беспокоите меня. Что это за манера?

— Тогда я не носил усов. Неужели мой духовный отец и вправду не узнает меня?

Войтех Верный внимательно посмотрел на человека, стоящего перед ним, голос показался ему знакомым, и он попытался представить себе это лицо без усов. Кого-то оно напоминает, может, это и вправду не провокатор?

— Нет, не помню,— признался он растерянно.

— Я Ульрих, збройник Ульрих. Ну, теперь вспомни-ли, духовный отец?

Верный сделал шаг назад и снова посмотрел на Винцента Ульриха. Да, это был он, теперь доктор ясно вспомнил, это был он, честолюбивый паренек, пришедший к ним в последнюю минуту и переживший самые горькие испытания.

— Сын мой! — вздохнул он с облегчением. — Это действительно ты?

— Наверняка,— засмеялся Винцент Ульрих. — Разрешите поцеловать вам ручку, отец?

— Ты очень меня испугал, сын мой.

— Небольшое испытание,— засмеялся Винцент Ульрих. — Небольшое испытание нервной системы. Вам понадобятся крепкие нервы, отец.

— Мне и мои хороши.

— Вам понадобятся лучшие.

— Не понимаю тебя, сын мой.

— Вы никогда не были тугодумом, отец. Я хорошо помню, что вы не были тугодумом. Когда вы нас благословляли...

— Тише!

— И стены слышат? — засмеялся Винцент Ульрих. — Или вы и об этом забыли и не помните?

— Я не забыл, сын мой. Но не к чему об этом говорить.

— Я пришел вам напомнить,— жестко сказал Винцент Ульрих.

— Я не забыл об этом, сын мой.

— Но не рады слышать.

— Сейчас другие времена.

— Понятно, вы боитесь?

— Чего ты от меня хочешь, сын мой?

— Сначала сядем, милостивый пан. Разговор будет длинный.

Они сели, и Войтех Верный вынул из застекленного книжного шкафа вишневый ликер и предложил Винценту Ульриху. Он хотел принести что-нибудь из закуски,

но Винцент Ульрих отказался, выпил лишь рюмку и больше не стал, на службе не пью, сказал он. Верный предчувствовал, что с появлением этого энергичного парня его ждут осложнения и неприятности, и уже обдумывал, как избежать их, но предчувствовал он и другое — совсем избежать их не удастся, и поэтому решил отделаться как можно дешевле.

— Мне нужны деньги, — сказал Винцент Ульрих.

Войтех Верный почувствовал облегчение.

— Это не так уж трудно, сын мой. Кое-какие деньги у меня есть. И я буду рад послужить.

— Мне нужно много денег.

— Сколько?

— Возможно, два миллиона. А может, и больше.

— О чем ты говоришь, сын мой?

— Речь идет о большом деле, и нужно много денег.

Войтех Верный даже вспотел и вытер ладонью лоб.

— Откуда я их возьму, сын мой?

— Меня не касается, — отрезал Винцент Ульрих. — Организуйте. Обратитесь к епископам, есть же всяческие пожертвования, фонды, а у вас связи, вас всюду примут, куда я и нос не суну. Ведь у вас связи.

— Кое-какие связи, конечно, есть...

— Можете дать деньги не сразу, — сказал Винцент Ульрих, словно они уже договорились. — Поступление может быть частями.

Войтех Верный опомнился:

— Какое поступление?

— Поступление денег.

— Мой милый сын, — сказал доктор теологии Войтех Верный, и снова ему пришлось вытереть пот. — Ваш натиск слишком стремителен.

— Молниеносен, — засмеялся Винцент Ульрих. — Вспомните, что вы нам говорили в прощальной проповеди? Молниеносный удар — милосердный удар. Христианин наносит удар молниеносно, ибо он милосерден.

— Я должен подумать, — сказал Войтех Верный и сделал вид, что не слышит слов Винцента Ульриха, он не любил вспоминать прошлое не потому, что стыдился своей тогдашней деятельности, нет, тогда были времена железа и крови и таким и должно было быть служение господу богу, но сейчас опасно вспоминать о старых делах, о них лучше забыть.

Винцент Ульрих взглянул на свои новые часы:

— Как долго вы будете размышлять?

— Я думаю, несколько дней.

— Это невозможно.

— Мне хотелось бы кое с кем посоветоваться, — сказал Войтех Верный почти умоляюще. Он сам себе удивлялся, что боится какого-то молокососа, какого-то неоперившегося честолюбца, но он боялся его, словно чувствуя за этим юнцом большие и темные силы, которые схватили его за горло и не хотели отпускать.

— Советоваться вам не к чему, — решительно заявил Винцент Ульрих. Его уже утомило называть этого благополучного типа отцом и уважаемым, утомило быть вежливым, он был солдатом свободы и не мог перед каждым препятствием надолго останавливаться, он должен наступать стремительно и энергично, должен приказывать.

— А если я скажу «нет»?

— Вы этого не сделаете.

— Я могу это спокойно сделать. Как тогда вы меня заставите? — И доктор теологии перестал называть Винцента Ульриха «сын мой», ведь этот человек применял насилие. — Я мог бы отдать себя под защиту господ бога и не покориться насилию.

— Вы отлично знаете, что защита господ бога — дело неверное.

Почему именно я, почему именно меня постигла эта участь? — думал Войтех Верный. Я мог жить спокойно, а теперь они явятся и для меня начнется жизнь, полная опасностей и лишений. Он не боялся, что с ним случится что-то серьезное, но боялся лишиться своего комфорта и удобств, он уже был в летах и любил комфорт, хорошую еду и хорошее вино, ежедневные прогулки и весь ритм своей жизни.

— Мне никогда не нравились подобные вещи! — воскликнул он.

— Что вы говорите! — насмешливо протянул Винцент Ульрих.

Войтех Верный покраснел, его полное лицо легко краснело.

— Думаю, что сейчас еще не время, — оправдывался он.

— А для чего сейчас время? — усмехнулся Винцент Ульрих.

— Сейчас время для мирного труда.
— Ваши друзья так же думают?
— Моя друзья, насколько я знаю, думают так же.
Сейчас время мирного труда. Мы трудимся во имя божье, и труд наш благословен.

Винцент Ульрих взял вторую сигару, медленно откусил конец и не спеша закурил.

— Вы совсем размякли, отец.

— Что, простите?

— У вас уже растет второй подбородок, — сказал Винцент Ульрих и выпустил дым прямо в лицо своему бывшему духовному наставнику. — Христовы воины! Не помните? Сейчас вы не в лучшей форме.

— Я твердо знаю, — продолжал Войтех Верный, — что сейчас время мирного труда, еще не настал час бурь, сейчас пора мирного созидания.

— Значит, ждать, пока другие перережут вам горло?

— Мы не сидим сложа руки, — оскорбленно заявил доктор теологии.

— Ерунда, — сказал Винцент Ульрих и разогнал рукой дым. — И чего вы достигли? У кого власть? У кого оружие? За несколько часов вас могут уничтожить. Вместе с вашим мирным трудом и мирным созиданием. Сплошная ерунда.

— У нас всюду свои люди. Прочные позиции.

— Позиции! Одна видимость!

— Вы еще слишком юны, молодой человек. Мы выбрали дорогу и следуем по ней во славу господню. С каждым днем силы наши множатся.

Винцент Ульрих встал:

— Пора кончать. Я пришел не спорить с вами.

— А если я откажусь?

— Но вы не откажетесь.

— А если я все-таки откажусь? Что тогда?

— Тогда мы уничтожим вас.

— Уничтожите? Меня?

— Разумеется, вас, отец.

— Что за гангстерские приемы!

— У нас нет выбора, уважаемый, — насмешливо произнес Винцент Ульрих. Ему было приятно помучить своего бывшего духовного отца, когда-то он с робостью и страхом слушал пламенные проповеди, но сейчас духовный отец оказался сплошным ничтожеством, и его нуж-

но было заставить снова стать решительным и полезным.

— Что за манеры! — произнес раздраженно Войтех Верный. — Угрожать револьвером!

— Револьвер, пожалуй, и ни к чему, — продолжал с усмешкой Винцент Ульрих. — Он наделал бы много шуму. Достаточно анонимного доноса — бывший духовный наставник отрядов Боевой готовности, допрос в управлении государственной безопасности был липовый — и добавить кое-что об аризации, ведь мы сидим в ворованных креслах, уважаемый! Достаточно несколько слов, и револьвер не нужен.

— Это насилие. Просто шантаж!

— Не бойтесь, — сказал Винцент Ульрих. — Вашим друзьям на той стороне я сообщу, что вы включились в нашу работу с воодушевлением. С воодушевлением, достойным старого борца.

Доктор теологии Войтех Верный охотнее всего выставил бы этого грубияна, этого сопляка, но он знал, что не выставит, что ему придется проглотить эту наглость, придется слушать.

— Хорошо, — сказал он со вздохом. — Я попробую кое-что собрать.

— Вот так-то лучше.

— Когда вам нужно?

— Через неделю. В это же время. К вам кто-нибудь придет, я не могу приходить к вам сам, не хочу вас компрометировать, кто-нибудь придет и скажет: вам привет из Большого Бора. Из Большого Бора, не забудете?

— Нет, не забуду.

— Я рад, что мы договорились.

Войтех Верный не ответил.

— Разрешите поцеловать вам руку, отец.

Верный спрятал руку за спину.

— Не к чему.

— Как хотите, — сказал Винцент Ульрих, и на его лице промелькнула улыбка. — Не подарите ли вы мне несколько сигар? Они действительно хороши.

— Берите, — неохотно сказал Войтех Верный.

— Итак, через неделю, — повторил Винцент Ульрих, распахивая сигары по карманам. — Не забудьте: Большой Бор.

— Не забуду, — сказал доктор теологии и вздохнул, а когда за Винцентом Ульрихом закрылась дверь, он

вздыхнул еще раз. Почему он? Почему именно он? Он уже предвидел все осложнения, которые наступят, и, что хуже всего, он не верил в успех подпольной деятельности, зная, что борьба проиграна и нужно немало времени и немало усилий, пока они снова соберутся с силами; он не верил и эмигрантским вожакам и злился на них: они не желали расставаться со своими иллюзиями, не обращали внимания на действительную ситуацию и тем только затрудняли и без того сложную и трудную работу. Нет, он не верил в успех акций с оружием и все же дал вовлечь себя в это дело. Что ж, конец спокойной жизни, его ждут лишения, а он уже не молод и так боится неудобств и трудностей, боится физически. Боялся он и тюрьмы, от которой после освобождения так счастливо отделался. Он налил себе вишневого ликера и выпил, но без всякого удовольствия — все ему отравил этот тип, этот Винцент Ульрих, спустили мы их с цепи, и вот они нам мстят, думал он, ходил по кабинету и вздыхал: почему именно я, почему выбор пал на меня? Но потом он начал размышлять, как собрать деньги, возможно, он этим откупится, возможно, тогда он отвяжется от этого отвратительного типа; два миллиона, бормотал Войтех Верный, два миллиона, этот тип говорит о них так, словно это корзина слив, два миллиона!

4

После той ночи Марек переехал; утром он собрал чемоданчик, это было легким делом, всего несколько пар белья — вот и все его имущество; маленький Марек еще спал, и он на миг задержался около его кровати. Олина что-то разогревала в передней, он не сказал ей ни слова и вышел. Вначале Олина почувствовала себя легко и свободно, во всяком случае, все кончилось, думала она, наконец кончилось, но настал длинный день, и он казался очень длинным, а затем пришел вечер, и Олина была все одна, только с маленьким Марekom. Но вот и малыш заснул, и всюду воцарилась тишина — в доме, на улице, в городе, во всем мире стояла тишина, глухая, праздная тишина; Олина попыталась думать о своем будущем с маленьким Марekom, о работе, которую она подыщет, о той свободе, которую она обретет,

но это почему-то ее не утешало, будущее казалось пустым и бессмысленным. Она не хотела сознаться, что ей не хватает Марека, что без него будущее кажется таким пустым и бессмысленным, нет, говорила она, нужно лишь стиснуть зубы и думать о себе и о маленьком Мареке, стиснуть зубы, и все пойдет хорошо. Но все было не так-то хорошо, уже на другой день ей хотелось позвонить Мареку в редакцию, она удерживала себя, крепилась и наконец позвонила, но, когда он ответил, она положила трубку и схватилась за виски: что я делаю? Нет, она не смеет поддаваться слабости, не поддастся, она сумеет справиться сама, никого ей не нужно, это лишь привычка, глупая привычка, и не больше.

Злость на Марека перестала быть такой острой и стала какой-то безличной, она уже злилась не только на Марека, но и на всех мужчин, ах, эта их любовь, их любовь, она им быстро приедается, и очень скоро они требуют лишь шлепанцы, выглаженную рубашку и приготовленную постель, а временами делают детей. У них всегда под рукой находятся слова, которыми они прикрывают этот свой эгоизм, пустоту и недостаток чувств, они любят все человечество, но их любовь к жене быстро проходит, им удобнее любить все человечество, удобно и безопасно, об этом можно заявить во всеуслышание, и они охотно заявляют. Она возненавидела всех мужчин и всех их кляла и обвиняла, и вина Марека тоннула в этой всеобщей вине, нет, Марек не самый худший среди них, он легкоранимый и чувствительный, и он любил ее и, возможно, все еще любит. И все-таки он, как и все мужчины, себялюбец и лицемер, и жить с ним нелегко. А без него, без него? Через несколько дней она поняла, что без Марека жить еще труднее, во всяком случае, жизнь без него тупа и бессмысленна, и чем больше проходило времени, тем яснее она это чувствовала, но все еще крепилась. Она решила действовать: ей нужно найти денег и как-то покончить с тем ребенком, что должен родиться, иначе ей конец, иначе она навсегда будет связана по рукам и ногам и ей придется вечно молиться, чтобы Марек ее не разлюбил, нет, этого не должно быть, она никогда не унижится перед ним, она должна найти деньги, пока есть время. Олина перебирала в памяти знакомых: большого выбора у нее не было и ей пришлось вспомнить о собственном отце. Она никогда

у него ничего не просила и рассталась с ним с легким сердцем, но не переставала думать о доме, о шкафах и полных ящиках, о платьях и развлечениях, которые там остались, она с детства привыкла к красивым и добротным вещам, привыкла, что они ей принадлежат, и немного жалела, что оставила их там, ругая свою гордость и упрямство и гордясь этим. Но сейчас у нее не было другого пути, это была единственная возможность достать деньги, первый шаг к освобождению, правда, не очень честный и чистый шаг, и она, зная о том, пообещала себе, что этот первый шаг станет последним и, как только она достанет деньги и освободится от ребенка, который ее связал бы, она больше никогда не будет просить и унижаться, а будет работать, станет самостоятельной, независимой и свободной.

Она отправилась к отцу вечером, оставив маленького Марека на дворничиху. Ей стыдно было пойти днем и казалось нечестным идти с малышом: банальная история примирения над детским личиком. Отца дома не было; она присела, испытывая стыд и унижение, но решила ждать хоть до утра — отец был ее единственной надеждой. Глуховатая экономка недоверчиво посмотрела на нее, но в конце концов пожала плечами — ей приходилось видеть немало странных вещей, какое ей дело? Наконец Олина услышала шаги в соседней комнате и плеск воды в ванной: неужели отец скрывается от нее? Но немного погодя вошел Августин Шернер. Он был только после ванны, аккуратно причесанный, в халате. Это удивительно, воскликнул Шернер. Он слышал ее разговор с экономкой, Олине пришлось кричать, пока они поняли друг друга. Это удивительно, повторял Августин Шернер и от всего сердца улыбался, он вошел лишь из любопытства, но сейчас обрадовался и приветливо улыбался, Олина была все еще хороша, в последние недели она пополнела и с ее лица исчезли следы забот, да и лицо было юное, девичье, с немного полными, словно жаждущими, губами. Августин Шернер уже давно не жил с Вильмой, он был с ней, когда только начинал свое широко задуманное наступление, потом ее сменило много новых Вильм, и теперь Августин Шернер уже вошел во вкус и брал от жизни все, что когда-то упустил, меняя женщин почти ежедневно. Ему нравилось это, он гордился своими успехами, своей удачной

охотой, это были достойные настоящего мужчины развлечения, и каждый новый трофей поднимал его в собственных глазах и в глазах приятелей — так приятно поговорить о приключениях с приятелями за стаканчиком винца. У него не было особых трудностей, теперь у Шернера хватало денег и, что еще важнее, он имел связи, мог достать у спекулянтов и материю, и кофе, и чулки, даже французский коньяк, все это прибавляло ему очарования в глазах тех женщин, с которыми он встречался, а встречался он большей частью с женщинами, которых было нетрудно завоевать.

— Восхитительно! — воскликнул Шернер, он чувствовал себя свежим после ванны и бритья, от него шел сильный запах духов, он чувствовал себя в форме и на Олину смотрел с улыбкой знатока. — Это восхитительно, что я вижу тебя, что наконец я вижу тебя, Олина.

— Ты грустил обо мне? — насмешливо спросила Олина. Она видела и его улыбку, и гладко выбритое лицо, и он был ей отвратителен, как отвратительны были все мужчины, а Августин Шернер в особенности.

— Ты будешь удивляться, Олина, но я думал о тебе довольно часто.

— Я жду отца.

— Ах, старика, — усмехнулся Августин Шернер. — У старика заботы.

— Когда он придет?

— У него новая жена, и с ней сплошные заботы. Куришь?

— Нет.

Он присел на ручку кресла и закурил. Банный халат распахнулся, открыв голую ногу.

— Он едва стоит на ногах, — сказал Августин Шернер. — Жена молодая и хочет развлекаться. Каждый вечер она развлекается, и старик вместе с ней. Он очень ее ревнует.

— Можешь прикрыться, — сказала Олина. — Меня не очень интересуют твои прелести.

— Извини, — сказал он. Ему немного стало стыдно, он встал и запахнул халат. Довольно бойка, подумал он, не очень легкий случай; но это не остановило его, напротив, он готов был сейчас же заняться этим трудным случаем.

— А чего тебе нужно от старика?

Олина колебалась, сказать ли. Ей не хотелось испытать чувство стыда перед Шернером, но затем она подумала, а чего мне стыдиться, ведь это мой отец, и я имею право на его деньги.

— Мне нужны деньги.

— Много?

— Десять тысяч.

Августин Шернер гладил усики и размышлял.

— Старик скоро не придет. Он является порой под утро.

— Я подожду и до утра.

— Я могу тебе помочь.

— Мне не нужны твои деньги.

— Это честное предложение, — сказал Августин Шернер, приняв оскорбленный вид. — Завтра старик вернет мне их.

Олина раздумывала. Ей было неприятно сидеть здесь, в этом доме, где все напоминало ей о счастливых временах беззаботной жизни и вместе с тем было таким ненужным, было неприятно сидеть и ждать отца и какую-то чужую женщину.

— Ладно, — сказала она. — Возьму.

— Правда, этих денег здесь нет.

— А где они?

— У меня есть приятель. У него всегда деньги при себе.

Олина была разочарована.

— Не надо, напрасные осложнения.

— Мелочь, — сказал Августин Шернер, охваченный усердием и едва не потирая руки от нетерпения. — Ты подождешь меня минутку? — И, не дожидаясь ответа, он вышел и позвонил в секретариат, к счастью, там оказалась свободная машина, все идет хорошо, думал он, потирая руки, все идет как по маслу. Он заглянул в комнату, Олина сидела, опустив голову и беспомощно сложив руки на коленях.

— Еще минутку — и все готово.

Он переоделся. Теперь на нем был светлый в полоску костюм. Он пригладил волосы, поправил белый платочек, все было в порядке, все шло как по маслу.

— Машина сейчас будет, — сказал он, вернувшись к Олине. Она взглянула на него с любопытством и вместе с тем насмешливо.

— Отправляешься жениться?

— Нет,— сказал Августин Шернер и улыбнулся одной из самых своих обольстительных улыбок.— Я еще не нашел такую женщину.

— Какую женщину?

— Женщину своих грез. Она могла бы походить на тебя, быть такой, как ты.

— Ну, Шернер, так не пойдет, с этим ты должен кончить. Никаких комплиментов, или я останусь здесь и стану говорить комплименты махече.

— Успокойся, не буду. С этой минуты никаких комплиментов. Только деловые отношения.

Но про себя он думал: подожди, размякнешь; его привлекала Олинина гордость, размякнешь, мы обрежем тебе коготки, я видел разных, и все становились податливыми.

— Кое-какие затруднения, Олина?

— Об этом не будем говорить.

— А о чем мы будем говорить?

— Можем вообще не говорить.

— Может быть, выпьем?

— Нет, не хочу.

— Ты холодна, как лед, и бесчувственна, как циркуляр.

— Ладно,— согласилась Олина.— Дай чего-нибудь выпить.

Она теряла решительность, боялась, что не выдержит, уйдет из этого дома, не сделав всего, что задумала. Стисни зубы, говорила она себе, отправилась на войну — войой. Августин Шернер исчез, Олина слышала, как он громыхал чем-то в столовой, наконец он явился, неся коньяк на серебряном подносе.

— За что выпьем? — спросил он.

— Да просто так.

— За твою мачеху. Пусть провалится!

— Какая она?

— Торговка. Вульгарная женщина. Забрала власть над домом и стариком и выжимает его как губку. А от меня даже коньяк прячет.

Как-то ночью архитектор Феркодиц вернулся домой со своей молодой женой, архитектор был пьяным и усталым, но его молодая жена совсем не была усталой. архи-

тектор уснул прямо за столом, и жена, проскользнув к Августину Шернеру, переспала с ним, а наутро сказала: приятель, ты годишься скорее для витрины, чем для постели. Этого он не мог ей простить.

Мне нужно быть мужественной, думала Олина, очень мужественной, пока я все не кончу и не переберусь через эту реку грязи. Августин Шернер снова налил ей:

— Пей, пей, здесь все твое. Все здесь твое, и серебро, и коньяк — все может принадлежать тебе. Эта вульгарная баба все присвоила.

Олина выпила, и ей сделалось лучше, мужество, нужное Олине, вернулось, она чувствовала, как оно разливается по жилам.

— Пусть она подавится, — сказала Олина.

— Да, все могло бы быть твоим. — Августин Шернер инстинктивно ухватился за эту мысль, с помощью Олины он смог бы отомстить этой торговке и архитектору Феркодичу, который как преданный пес ее слушает, мысль была пока неясной, но он чувствовал, что мысль неплоха, просто превосходна. — Ты не должна была позволить себя выгнать. Это деньги твоей матери. Все может быть твое — вилла, сад, все.

— Это я уже слышала. Ты словно искуситель. Искушаешь меня, как библейский дьявол. — Олина не привыкла пить, язык стал тяжелым, но это странное состояние ее не беспокоило, напротив, забавляло, ее страдания вдруг потускнели, и все вокруг стало веселее, даже Августин Шернер казался просто приятным и веселым бездельником.

— Тебе не очень-то хорошо, Олина?

— Да нет, ничего.

— Я сразу понял, что он не для тебя. Этот смешной верзила.

— Не будем говорить о нем.

— Ха-ха-ха, — засмеялся Шернер. — А помнишь, как нас хотели поженить?

— Что в том смешного?

— Мы были смешными. Нам, пожалуй, нужно было пожениться. Это было бы единственной возможностью.

— Какой возможностью?

Августин Шернер остановился — Олина еще не опьянела и насмешливо смотрела на него. Мне нужно успо-

коиться, подумал он, быть солидным и не слишком болтать, а не то я все испорчу.

— Да так — мы подошли бы друг другу.

— Не болтай глупости. Ну, пойдем?

Она встала, и Августин Шернер послушно отнес поднос с коньяком в столовую. На улице стоял теплый вечер, и лунный серп висел, словно декорация. Когда они открыли калитку, как раз подъехала машина. Они сели, и шофер с мощным затылком повернулся к Шернеру. Куда ехать? — спросил он ворчливо, и Шернер назвал адрес. Машина бесшумно двинулась с места, и в этот теплый вечер квартал вилл казался тихим и мечтательным и в садах пахло яблоками. Олина чувствовала себя отлично, уже давно ей не было так свободно и хорошо, машина тихо шуршала шинами, и внизу под ними шумел город.

— Я не знала, что ты такой добрый парень, Шернер.

— Не зови меня так. Это звучит слишком холодно.

— Ладно, пусть будет Августин. Августин, ты добрый парень.

— Для тебя я готов на все.

Она видела, как во тьме белеют его зубы.

— Оставь! Это ты выбрось из головы. А наш договор, ты забыл о нашем договоре?

— Хорошо. Будем говорить о погоде.

— Можно и совсем не говорить.

Улицы города плавно проплывали мимо них, пахло бензином и жареными каштанами. Наконец они остановились у длинного дома. Августин Шернер вышел и сказал: подожди, пойду подготовлю почву. Немного погодя он вернулся и заметил, горестно разведя руками:

— Не везет. Его нет дома.

— Так что же делать? — Олина чувствовала себя несчастной, деньги уже были почти в руках и опять уплыли, мужество оставляло ее, и затылок шофера казался ей еще отвратительней.

— Не беда. Я знаю, где он.

Олина облегченно вздохнула.

— Правда, это немного далековато, — неуверенно сказал Шернер.

— Мне все равно.

Олине казалось, что теперь ей все равно, и они вновь ехали по улицам, а потом окунулись в темноту.

Они были уже за городом, ну да ладно, нужно только сидеть в машине и ехать, это успокаивало, тихая ночь и лунный серп, как на декорации, и свет фар, которые вырывали из тьмы незнакомые предметы: пень, щекоду на садовой калитке, зеленую ветку ореха. Не нужно возвращаться, нужно лишь ехать и ехать, теперь уже все равно, ехать и доехать к цели. Не нужно ни о чем думать, забыть о всех бедах, только ехать и ехать, как чудесно ехать так всю жизнь в удобной машине, и ни о чем не думать, и забыть о страданиях, неудобствах и бедах, только ехать и ни о чем не думать. Сейчас они ехали лесом, и лунный серп лениво плавал в кронах деревьев. Августин Шернер был доволен, все шло как по маслу, Олина сидела рядом с ним, закрыв глаза, и казалась разнеженной и податливой, он касался ее плечом, и все шло как по маслу.

— Ты, оказывается, не сентиментальна!

— Я просто ленива.

— Жизнь совсем не сентиментальная штука, не так ли?

— Оставь меня в покое, Августин, оставь в покое со всеми этими премудростями. Никогда они многого не стоили, а теперь и вовсе ничего не стоят.

— Ха-ха-ха,— смеялся в темноте Августин Шернер.— Ты права, Олина, все это глупости.— Он дотронулся до ее локтя, но у Олины все еще были закрыты глаза, ею овладела лень, и она делала вид, что не чувствует руку Шернера, ей хотелось лишь ехать да ехать и ни о чем не думать. Так удивительно и чудесно все время ехать, ни о чем не вспоминать, только беззаботно ехать в надежной машине и смотреть прищуренными глазами на смешной рожок месяца, быть ленивой, слабой и податливой.

Только закрыть глаза, закрыть глаза, слиться с мягким движением машины, все нереально, кроме нее самой, мягкого движения машины и глупого рожка месяца, скачущего в кронах деревьев. Августин Шернер не смело поглаживал ее локоть, но Олина заставила себя не думать о Шернере, это было прикосновение незнакомой руки, тихое и неназойливое прикосновение, сливающееся с движением машины, уносящей ее куда-то, и Олина отдыхала после многих дней волнений и забот, отдыхала перед тем, что должно прийти, отдыхала и

была ленивой, не желая думать о том, что это лишь миг, ей хотелось продлить этот миг, растянуть до туманной бесконечности.

Наконец они остановились.

Шернер открыл дверцу машины и выглянул:

— Света нет, — сказал он. — Возможно, уже спят.

Он помог Олине выйти. Она огляделась, теперь ей уже пришлось открыть глаза, движение кончилось, лунный серп уже не плыл над кронами деревьев, а висел в небе, неживой и тусклый.

— Это дача моего приятеля, — сказал Августин Шернер. — Он ночует здесь в хорошую погоду. Город действует ему на нервы.

Он пошел по дорожке к темнеющей даче, на миг задержался у дверей, наконец нашел ключ, засунутый под щиток, и открыл дверь. Олина стояла у машины, шофер, уткнувшись головой в руль, дремал, его могучий затылок покраснел и стал еще отвратительнее. Олине пришлось очнуться окончательно, она уже не могла дремать, закрыв глаза. Где я и зачем я здесь? — подумала она, наконец пришла в себя и попыталась угадать, что будет дальше.

— Проходи, — сказал Августин Шернер.

Олина не двигалась.

— Неужели ты меня боишься?

— Было бы кого, — сказала она и решительно вошла в дом. Шернер посветил спичками, потом нашел свечку и зажег ее.

— Его еще нет, — сказал он с удивлением. — И где он может быть?

— Во всяком случае, не притворяйся так глупо, Шернер.

— О чем ты говоришь?

— Твой приятель пропал без вести. Растворился. Спасательные работы успешно продолжаются.

— Он может быть здесь каждую минуту.

И Шернер прислушался, словно его приятель мог действительно появиться каждую минуту. На улице заурчал мотор машины. Августин Шернер подскочил к дверям.

— Уехал. Этот тип уехал.

Олина нашла плетеное кресло и устало в него опустилась.

— Ты забыл ему сказать, чтобы он подождал нас, — сказала она насмешливо.

— Ты права, — согласился Августин Шернер. — Совершенно забыл.

Она сидела и разглядывала все вокруг, это была элегантно обставленная дача, в углу темнела тахта, виднелись плетеные кресла, ковер, сервант и застекленные шкафы. Она могла бы злиться, могла бы возмущаться, этот подлец ее обманул, могла бы выцарапать ему глаза, что он о ней думает? Но сейчас она была такой усталой, подавленной, такой одинокой, что ей хотелось только плакать.

— Теперь ты будешь меня соблазнять? — спросила она.

— Устроимся поудобнее. Каждую минуту он может вернуться.

— Ты болтун, Шернер. Ты всегда был болтуном.

Он снял со стены фотографию и, делая вид, что ничего не слышит, показал ее Олине.

— Вот он, мой приятель.

— Видный парень.

— Скоро придет. Он действительно красавец.

— И привезет деньги в кармане?

— Да, у него деньжата водятся. Счастливчик, имеет отца, дядю и кучу денег.

Она внимательно посмотрела на Шернера. Может быть, он все-таки не обманывает? Она была такой усталой и подавленной и так хотела, чтобы ее не обманули, то была готова верить.

— Ты не обманываешь, Шернер?

— Честное слово! С минуты на минуту он может быть здесь.

— Хорошо. Поверим.

— А теперь я тебя немного угощу, — сказал Августин Шернер. Он вытащил из застекленного шкафа консервы и поставил их на стол. — Отличные консервы, — похвалил он. — Американские.

— Я не хочу есть, — сказала Олина.

— Чего-нибудь выпить, мадам? Имеется настоящее виски. У Камоша-отца большая торговая фирма.

— Так и быть, — сказала Олина. — Возможно, как раз не хватает виски.

— Ха-ха-ха, — засмеялся Шернер. — Наверняка.

Она сделала глоток, и у нее остановилось дыхание. Августин Шернер быстро подал ей воду, он вел себя услужливо и дружески, и Олина ни чуточки его не боялась.

— У меня внутри будто что-то взорвалось, — сказала Олина. И действительно, у нее внутри что-то взорвалось, и после взрыва наступило блаженное освобождение.

— Виски пьют с содовой, — сказал Августин Шернер. — Но содовой здесь нет. Ха-ха-ха, прости, что ее здесь нет.

— Ладно, не беда, — сказала Олина. Усталость быстро оставляла ее, лицо покраснело.

— Сможешь еще?

— Попробую.

Они вышли снова, потом еще, и сразу ей стало все безразлично, ее больше не мучил вопрос, обманул ее Шернер или нет, и дача казалась милой и уютной, ее больше не мучило, будут у нее деньги или нет, вообще ее не мучило будущее, все неприятное куда-то исчезло, беззвучно провалилось, она стала легкой, воздушной, ей захотелось танцевать.

Августин Шернер наблюдал за ней: лицо ее залилось румянцем, полные, немного чувственные губы приоткрылись.

— Немного музыки, мадам.

Он нашел патефон и завел.

— Что ж, потанцуем? — сказала она. — Пойдем танцевать, Шернер.

— Не зови меня так. Для тебя я просто Августин.

— Пойдем танцевать, Августин.

Они танцевали, и Шернер прижимал ее, поглаживая спину.

— Но-но, не так сильно. Я не могу дышать.

— Не будь ребенком, Олина.

— Оставь меня!

Она оттолкнула его. Они перестали танцевать, и Олина, сев в плетеное кресло, упрямо кусала кулак.

— Может, выпьешь еще?

— И все-таки ты обманул меня, Шернер. Все-таки обманул.

— Нет, правда. Каждую минуту он может быть здесь.

— Хочешь меня соблазнить? Дача, настоящее виски, пластинки. Соблазн по всем правилам.

— Ты мне нравишься, — сказал Шернер.

— Ты мне нравишься — и это все?

— И это все.

— Налей мне еще. Налей мне настоящего виски. Единственно настоящая вещь, которая здесь есть.

Он охотно налил ей.

— Тебе плохо, Олина? Тебе плохо. Жизнь, которую ты ведешь, не для тебя.

— Ага, ты знаешь мою жизнь?

— Я могу представить. Могу представить, что ты несчастна. Пролетарская семья. Олина — жена пролетария. Я никогда не мог этого понять. Ты создана для другого.

— Для настоящего виски. Для поездки на такие дачи. Для дураков.

— Дурак — это твой пролетарий.

— Его ты оставь в покое! — сердито закричала Олина. Потом добавила тише: — С ним я покончила.

— Отлично! — воскликнул Шернер. Он наклонился и обнял ее за плечи. — Ты должна быть последовательна, Олина. Должна сделать следующий шаг, должна покончить и с этой жизнью.

Она кусала кулак, в ее глазах стояли слезы.

— Что же мне делать?

— Все очень просто, — шепнул ей Августин Шернер и еще крепче обнял. — Жить!

Олина с усилием освободилась из его объятий. Встала и вытерла слезы.

— Ты дурак, Шернер. Обыкновенный болтун. Мне нужно дать тебе по физиономии, вот что мне нужно сделать. Охота по всем правилам! И еще я должна быть тебе благодарна, не так ли?

— Не понимаю, чего ты хочешь, — рассердился Шернер. — Что я тебе такого сделал!

Его уже злила постоянная смена настроений Олины, этому не было конца-краю, то все шло гладко, а то все казалось совершенно безнадежным. Она немного истеричка, подумал Шернер, с такими надо действовать настойчивее.

— Дурак, — повторила Олина и направилась к двери. — Благодарю за угощение.

Шернер остался стоять посреди комнаты, скрестив руки. Дверь была заперта.

— Сейчас же открой! — закричала Олина.

— Не выходи из себя, — сказал Шернер. — Куда ты пойдешь среди ночи?

— Открой, сейчас же открой! — Охваченная яростью, она оглядела комнату, подскочила к столу, схватила первое, что ей попало под руку, — бутылку с виски, и нацелилась прямо в голову Шернера, закричав: — Я разобью тебе голову, ей-богу, разобью тебе голову!

Августин Шернер перепугался: Олина невменяема, могут быть неприятности, нужно все кончать, он злился, что все вышло так по-дурацки, но страх был сильнее злости. Он открыл ей дверь, и Олина выбежала из дома, все еще держа бутылку виски в руках. Она бросила ее в кусты и побежала дальше, дача уже была далеко позади, но она все бежала и бежала; не страх гнал ее от дачи, нет, скорее, чувство стыда и вины, она чувствовала себя словно покрытой грязью и хотела быть подальше от этого места. Месяц давно зашел за тучу, и вокруг стояла тьма, Олина пробиралась по темной дороге, падала в какие-то ямы, быстро вылезала оттуда и снова пускалась бежать; рядом с дорогой шумел ручей, она умылась в студеной воде и почувствовала, как от боли дергаются виски. Какое-то время она сидела на плоском камне, чтобы отдышаться, потом причесалась и тут заметила, что ее юбка разорвана, и ей стало невыносимо жалко себя. Боже мой, не хватало только разорванной юбки! И тут она вспомнила о маленьком Мареке, ей показалось, что она совершила мерзкий поступок и что это непременно отразится на малыше; Олина вновь пустилась бежать, ноги у нее подкашивались, и рот с трудом ловил воздух, но она бежала и бежала. Дорога лесом все тянулась и тянулась, и ей казалось, что эта темная дорога никогда не кончится — Олина была в отчаянии.

Наконец перед ней забелело шоссе. Вдали несмело мерцали огни города.

5

Марек ушел из дому решительно и бесповоротно, но уже за дверью не знал, что предпринять, он по-прежнему был не очень силен в практической жизни и не умел

позаботиться о себе. Несколько ночей он провел в редакции и спал там, расстелив на полу старые газеты и прикрываясь старой солдатской шинелью; вставал он с тяжелой головой, разбитый и весь день ходил в странном, каком-то полутрезвом состоянии. В эти дни его не оставляло чувство, будто у него кружится голова, мир вокруг он видел словно сквозь густую паутину, очень неясно. С отчаяния он накинулся на работу, целые дни просиживал в редакции, работал за десятерых, пока не заболели глаза и он не становился совершенно опустошенным. Но в эти дни даже работа не доставляла ему радости. В редакции заметили его состояние и обходились с ним, как с больным. Марек всегда оставался несколько независимым одиночкой, и сейчас ему воздалось: друзей у него не было. Все жалели его и старались не слишком явно это показывать — вот и все, что они могли для него сделать. А ему самому и в голову не приходило довериться кому-нибудь, он не мог ни с кем поделиться своим несчастьем, это было его сугубо личное несчастье. Но это было несчастье; чем больше проходило времени, тем больше он в этом убеждался. Напрасно он говорил, что его удел — работа, долг, жертва, что он коммунист и цель его жизни — счастье всех и он не может все бросить из-за каких-то личных переживаний — личные переживания давали себя знать. Пустота, которая в нем разверзлась, не заполнялась всеобъемлющей любовью ко всему человечеству — во всяком случае, в первые дни. И привычные утешения, к которым прибегают в подобных случаях, — все пройдет, ереболит — и эти утешения не успокаивали; Марек не хотел, чтобы все проходило, чтобы все переболело, боялся той минуты, когда уже ничего не будет чувствовать, это было бы равносильно смерти. Для Марек настали плохие дни, и отчаяние этих дней совсем не походило на безнадежную тоску по счастью в прошлом; сейчас Марек был отчаявшимся человеком, уже вкусившим счастье.

В эти дни Марек часто ходил в типографию. Старый Бенде был единственным человеком, с которым он мог о чем-то говорить и больше всего молчать. Бенде, очевидно, знал обо всем, но ни о чем не спрашивал. Он стал еще толще и еще сонливее; казалось, он дремлет целыми часами, поглядывая лишь щелочками прищу-

ренных глаз, но взгляд его был внимательным, Бенде, по-видимому, радовался, что Марек избавился от этой особы, как называл он мысленно Олину. Он не был знаком с ней, но знал, что она «буржуйка», и этого ему было достаточно. Но Мареку он не сказал о ней ни слова. Бенде знал, что Марек спит в редакции, и предложил переселиться к нему.

— Я слышал, что ты спишь где попало, как бездомная собака, — сказал он Мареку как-то, когда они сидели в небольшом кабинете типографии.

— Бывало и хуже, — ответил Марек.

— Нет, — сказал Бенде. — Сейчас не такое время. Нужно спать по-человечески.

— Что-нибудь подыщу, — сказал Марек.

— Я найду, — настаивал Бенде. — Я уже нашел.

Он настойчиво предлагал Мареку переехать к нему, у него большая комната и свободная тахта, и Марек совсем не будет ему мешать, ему уже не много нужно. Марек колебался. У него теперь всегда болели кости, и целые дни он ходил сонный, к тому же он понимал, что нельзя вечно спать в редакции, но все-таки он боялся быть Бенде в тягость, ведь Бенде пожилой человек, со своими привычками, и он наверняка ему будет мешать.

— Я не хочу быть тебе в тягость, комиссар.

— Ты дурачок, — сказал Бенде, — ты вообще мне не в тягость. Я один, могу каждую минуту свалиться, и я боюсь, страх нападает на меня ночью. Ты сослужишь мне службу, дурачок, на меня не будет нападать страх.

Бенде убедил Марек, что, собственно, он, Марек, сделает ему одолжение, если переедет: он боится ночью, плохо спит, боится приступа, он один, старый, покинутый всеми человек. Марек переехал; Бенде жил в старом доме под Градом, коридоры там пахли кислой протухшей капустой, в доме было полно шумных, бранчливых женщин; правда, комната Бенде была приятной, хотя немного темной, а в ненастье приходилось в ней зажигать свет и днем, но зато она была свежеевыкрашенная и чистая, в комнате стоял письменный стол, старая пишущая машинка и свободная тахта — больше Мареку ничего и не требовалось. Бенде спал на большой никелированной кровати, он погружался в нее с многими вздохами и говорил шутя, что кровать глубока, как гроб,

и его слова не были простой шуткой — каждый вечер он боялся, что утром не встанет с огромной кровати. Спал он беспокойно, долго ворочался и вздыхал, принимая лекарства — на ночном столике располагалась вереница пузырьков, порошков и тюбиков, — он часто просыпался среди ночи, садился на кровати, тяжело вздыхал, зажигал ночную лампочку и держал руку на сердце. Марек просыпался, тоже вставал, желая помочь Бенде, но тот его прогонял. Ты спи, спи, ты молодой, говорил он, с усилием переводя дыхание, ты вставай, когда я попрошу помочь. Бенде было по-настоящему плохо, Марек это видел и осторожно намекнул о больнице. Но Бенде разъярился: ты гонишь меня на смерть, кричал он на Марека; он был убежден, что больница означает конец, нет, он должен быть среди живых и здоровых людей и не хочет отправляться в больницу, к умирающим и больным, оттуда ему уже не вернуться. Он держался на работе огромным, почти нечеловеческим усилием воли; в типографии он навел строгий порядок, лично следил за каждой мелочью, доставал из пограничья новые машины, мечтая превратить старую типографию в современное хорошее предприятие. Он перестал курить, пить кофе, ел очень мало, как ребенок, но не пропускал ни одного собрания и приходил оттуда весь в поту, падая от усталости.

Как-то вечером он пришел особенно усталый, даже не разделся и сел на стул прямо в шляпе и непромокаемом плаще. Марек стучал на машинке и немного погодя вернулся. Бенде все еще сидел; казалось, он дремлет. Марек подошел к нему, Бенде слегка приоткрыл глаза и бессильно поднял руку. Лекарство, прошептал он, лекарство. Марек уже разбирался в пузырьках и тюбиках, ему пришлось самому влить капли в стиснутые губы Бенде, потом Марек с трудом раздел его и уложил в постель. Он сидел у постели и с грустью смотрел на большое синеватое лицо, которое постепенно оживало. Бенде открыл глаза и, глубоко вздохнув, сел на постели. Марек подложил ему под спину подушки.

- Это меня убьет, — сказал Бенде хриплым голосом.
- Что случилось, комиссар?
- Едва ожил, — сказал Бенде и криво усмехнулся, а потом добавил: — Этот парень крал.
- Какой парень?

— Этот парень, Кошкович. Этот негодяй. Крал бумагу.

— На здоровье! — сказал Марек. Кошкович был из их типографии, маленький, черный и неприятный парень.

— Крал и перепродавал, — стонал Бенде. — А я ничего не знал, не замечал.

— И много?

— Много. Крал и отправлял контрабандой в Венгрию. Негодяй!

— Что ж, на него похоже.

— Как похоже? Сейчас и ты умный! А раньше и я умник и ты умник ничего не видели. — Он в сердцах ударил себя кулаком по голове. — Дурацкая башка! Ничего не видел!

— Не волнуйся, комиссар.

— Должен волноваться! Это меня убьет. Этот тип сказал, чтобы я все прикрыл. Понимаешь! Осмелился сказать это мне!

— Чтобы вы все скрыли?

— Да, чтобы скрыл. Говорит мне: ты коммунист, я коммунист, мы не можем кричать о позоре.

— Прекрасно!

— Да, и еще мне сказал: ты и я — евреи, мы много терпели и должны друг друга поддерживать. Так я ему дал, дал по его грязной морде! Только завизжал.

При воспоминании о том, как он ударил Кошковича и как Кошкович завизжал, Бенде немного успокоился.

— Он думает, я мертвая обезьяна, — сказал он довольно. — А я еще живой и влепил ему в грязную морду.

— Что будешь делать?

— Скажу всем. Утром соберу и всем скажу. Смотрите на вора, на разбойника!

— Ты мог бы с кем-нибудь посоветоваться, — сказал Марек. — А то будет скандал.

— Ни с кем! Я старый коммунист, а это оскорбление коммунизму. Понимаешь? Этого я не могу терпеть. Никогда! Страшное оскорбление! Пусть все видят, что он не коммунист, но обыкновенная свинья.

— Хорошо, — сказал Марек, — только успокойся, комиссар.

Но Бенде долго не мог успокоиться, он был старый и больной, а оскорбление было горьким. С той поры

как он начал сознательно воспринимать мир, он верил в звезду коммунизма, это стало его единственной верой, верой на всю жизнь, кроме нее, у Бенде ничего не было, вера была его ребенком, сестрой, его женой, она заполняла всю его жизнь — он был цельный человек. Его вера в будущее коммунизма была несокрушимой, священной, неприкосновенной реликвией, комнатой за семью печатями. Но сейчас он был старым и больным, порой терял веру в свои силы, а порой сомневался в своих решениях. Мир новых отношений казался ему излишне сложным: враги не вели открытый бой, а те, кто считался друзьями, нередко прятались за множеством ничего не значащих слов. К тому же Бенде не раз давали понять, что он чужак, унижали и отстраняли его и давали почувствовать, что он стар и ненужен. И даже смешон. А этого Бенде боялся больше всего на свете, он знал, что может казаться смешным, и поэтому боялся быть таким для тех, кому он хотел казаться образцом чистоты и неподкупности. Он уверял себя, что все в порядке и силы коммунизма возросли, что он на склоне лет видит, как будущее становится явью, будущее, за которое они столько страдали и вели такие бои. Ведь он счастливее своих погибших друзей — он дожил до того часа, когда завершается вся их борьба. А чего ему еще желать? Чего мог желать старый боец, как не осуществления своей мечты? Он пытался быть спокойным, но это ему не удавалось, разумом он понимал новое время, но существом не воспринимал, чувствуя себя обиженным, старым и больным. Его посещали порой минуты депрессии, но и тогда он не сомневался в правильности своей жизни, в правильности жизни, как таковой, хотя вспоминалось много мелочей, ошибок, недоразумений и все они цеплялись друг за дружку, и это были мрачные и неприятные минуты. В такие минуты ему хотелось все бросить, оставить все как есть и поскорее кончить жизнь. Но он не позволял таким минутам полностью овладеть собой. И спастись от них он тоже не мог — мешала болезнь, и они приходили все чаще и чаще. В прежние времена случай с Кошковым был бы для него простым — сколько подобной нечисти нужно выгнать из партии! Но сейчас, при недобрых обстоятельствах, этот случай придавил Бенде. Он не спал всю ночь. И хотя перед Марекком Бенде принимал

решительный вид, сам он далеко не был уверен, что поступает правильно. Враги раздуют все это дело, возьмут на вооружение, газеты подхватят: вы посмотрите на коммунистов! Посмотрите на этих благодетелей, которые провозглашают благо для всех, а сами набивают карманы. И самая черная реакция, подполье, несправимые расисты — все они будут радоваться, их радость будет шумной — взрыв антисемитизма. И возможно, он поступил неправильно, заявив во всеуслышание о вине Кошкови́ча, возможно, он причинил больше вреда, чем принес пользы. Можно, разумеется, наказать Кошкови́ча тихо, без шума, выгнать его из партии, и все будет в порядке, никто ничего не узнает. А сам он, Бенде, уйдет из типографии, уйдет наконец от дел. У него будет время читать, а ведь ему так хочется узнать еще о многом, прежде чем он умрет! Но, придя к этому решению, он тут же испугался. Нет, нет! Иди, прямо, Бенде, не сворачивай! Всю жизнь он шел прямо, никогда не изменяя своим принципам! Не изменять же им в конце жизни!

— Нет, он не мог этого сделать, не мог пойти на компромисс с собственной совестью. Виной всему лишь его слабость и болезнь, они нашептывали ему об уступках. Но он еще не мертвый, и, пока он жив, он не должен быть слабым! Он останется коммунистом до конца. Сейчас ему трудно, но разве не было трудно стоять с завязанными глазами лицом к стене, слушать команду и ждать смерти? Тогда он не боялся, он был молод и горяч и не боялся смерти, он стоял спокойно и радовался, что умирает за коммунизм. Он чувствовал, что его жизнь, чистая и неоскверненная, походила на священное знамя революционных боев. А предать знамя он не мог.

Кошкови́ч исчез, не пришел в типографию. Бенде собрал заместителей и сообщил им все, теперь он не колебался, действовал решительно. Он внес предложение о своем уходе из типографии, считая себя виновным, потому что был слишком доверчив. Все возмутились, кража лично касалась всех, бумаги было мало, Кошкови́ч не только крал бумагу, но и лишал типографов возможности работать. Все возмущались, кричали и ругались и об уходе Бенде не желали и слышать. Вначале, когда он только появился, его невзлюбили, он

был крутой и ворчливый, но потом поняли, что его строгость дает результаты, в типографии он навел порядок, повысил темп работы, исчезла ненужная гонка, и сейчас все чувствовали, что Бенде сросся с типографией, хочет улучшить ее работу; теперь он стал их человеком, и они не хотели его отпускать.

Бенде стало легче, он был почти счастлив, после долгих месяцев у него вновь появилось чувство единения с остальными, он снова был справедливым, справедливым среди справедливых. Домой он вернулся в хорошем настроении, и с нетерпением поджидал Марека, хотел поделиться с ним, он привык всем делиться с Марексом, это тоже было результатом болезни и старости — потребность всем делиться.

Марек пришел, когда смеркалось.

— Я им сказал, — сообщил он Мареку.

— Я уже знаю, — ответил Марек.

— Очень быстро, — удивился Бенде.

Скандал был приличный. На дневном совещании шеф возмущался. Этот Бенде, старая перечница, ругался шеф, заварил кашу; а расхлебывать ее будем мы, и в физиономию получим мы, а не он, старая перечница.

— Ерунда, — сказал Бенде. — Утрясется.

— Не думаю, — возразил Марек. — Завтра все будет в газетах. В городе уже все знают.

— Главное есть правда.

— Насолил ты нам с этой правдой! — сказал Марек. Он не знал, что и подумать в связи с этим случаем тогда, когда он слушал шефа, и он возмущался и был бежден, что глупо из-за одного негодяя очернить всех. Но сейчас, слушая Бенде, он уже не был уверен, он знал Бенде и понимал его, да и как бы поступил он сам, Марек, на месте Бенде?

— Главное есть правда, — повторил Бенде. Его радостное и приподнятое настроение исчезло, вокруг него сейчас уже не было лиц наборщиков, которые поддерживали его, и сейчас он вновь видел только неприятности, причиненные им, длинную вереницу неприятностей. Но ничего не изменишь, да и все равно он поступил бы так же; он знал, что прав.

— Говорят, неправильная тактика, — заметил Марек.

— Ты, парень, зеленый, — возмутился Бенде. — Ты не знаешь, что есть тактика, а я знаю.

— Даже если я зелен, все равно я могу быть прав, — обиделся Марек. Он не выносил никакой иерархии между коммунистами, между старыми и молодыми, между рядовыми коммунистами и руководителями; Марек был еще молод и наивен и верил, что те, кто борется за равноправие, должны и между собой быть равны, равны прежде всего.

— Единственная тактика есть правда, — сказал Бенде, и, хотя Марек ему не возражал, он все больше горячился. — Ты еще теленок, слепой котенок, ты не знаешь, что есть тактика. Вбей себе это в дурацкую башку: единственная тактика для коммунистов есть правда. Заруби себе это на носу, ты же коммунист!

— Да, я согласен с этим.

— Ну так что?

— Просто тебе нужно было посоветоваться. Наверняка еще будут осложнения.

— Их я как-нибудь выдержу, — сказал Бенде самоуверенно, но чувствовал он себя не так уж уверенно, он был стар и болен и, похоже, боялся дальнейших событий.

— Ну, тогда все в порядке, — ответил Марек. Больше они об этом не говорили.

На другой день вся история появилась в газетах, газеты расписали ее, раздув большое дело, говорили о наступлении на экономическую политику государства. Демократы потирали руки от радости и не преминули заметить между строк, что речь идет о наступлении международного еврейства на словацкий народ, и имя Бенде упоминалось в статье в связи с какими-то неприятностями и таинственными обстоятельствами. Разумеется, Бенде раскрыл кражу, но, с другой стороны, кража измерялась не килограммами, а вагонами, так что же это за руководитель, раз он не замечает, что у него под носом крадут целые вагоны бумаги? — спрашивали газеты и добавляли: не разоблачил ли все директор Бенде уже тогда, когда все стало известно и когда ему пришлось пожертвовать мелким вором, чтобы скрыть крупных? Скандал разразился по всем правилам и не окончился одной статьей, об этой истории напечатала и пражская пресса — нравственные народные социалисты возмущались безнравственностью коммунистов. Шеф примчался в типографию, накинулся на Бенде,

стал кричать, и, пока Бенде опомнился, шеф уже исчез. Вскоре Бенде пригласили в районный секретариат — его знали все, он был членом районного комитета — и там устроили ему настоящий экзамен, перекрестный допрос и принялись упрекать: ты должен был посоветоваться, товарищ, это анархистский шаг. С усилием он сохранял спокойствие и выдержал все. Получил выговор, согласился с ним: что же, справедливое наказание за нарушение дисциплины. Но в душе по-прежнему был убежден, что он прав, и ему было почти весело при мысли, что все так кончилось.

— Я получил по носу, — сказал он Мареку дома.

— Я смотрю, ты не очень переживаешь!

— Ничего, — заметил Бенде поучительно. — Коммунисту нужно много по носу, если он настоящий коммунист.

— Есть и дети, которых нельзя бить.

. Большое белое лицо Бенде расплылось в улыбку. Марек с удивлением смотрел на Бенде, уже давно он не видел его улыбающимся.

— Ты не только дитя, — сказал Бенде. — Ты получишь по носу, пока станешь коммунистом. Будешь сильно битый. Ты зеленый, а думаешь, что все съел. Но еще ничего не съел, все впереди.

— Не пугай меня.

— Это не страшно. Когда по носу дают друзья — не страшно. Только не будь обидчивый.

— Значит, быть покорным? — насмешливо произнес рек. — Склонить лицо свое перед господином?

— Так — нет, — возразил Бенде. — Покорным, как коммунист. Ты не один носишь правду в своем кармане. Все носят правду, в том сила.

— Ты учишь меня, как мальчишку, — сказал Марек удрученно. — Я не маленький.

— Ты должен быть доволен. Ты еще дурацкая интеллигентская башка. Тебя нужно учить.

— Я в восторге, — сказал Марек.

Порой Бенде действовал ему на нервы, обращаясь с ним, как с подростком, и Марек переставал себя чувствовать взрослым, его тяготила вечная опека — вечно кто-то хочет быть его опекуном, вечно хочет его вести. До какой поры его будут водить за руку? Он хотел быть

равным среди равных, самостоятельным и ответственным перед собой. У него не было терпения слушать советы. У него хватало своих забот и сил. Когда после ухода из дома он все еще чувствовал себя одиозным, битым на кусочки и никак не мог снова стать взрослым и собранным. Даже во время работы его мучила тоска, чувство безграничного одиночества и безнадежности; тогда ему хотелось все бросить и бежать к Олине.

6

Ребята играли в войну. У них были деревянные ружья, а у одного парнишки настоящий револьвер, старый, ржавый револьвер с барабаном, но все-таки настоящий. Играл с ними и волкодав Рыс. Старый рыс Рыс не портил игру. Он пробирался сквозь кусты, ронявшись носом в землю, и порой, возбужденно выискивая след врага. Тогда ребята, пригнувшись к земле, устремлялись за ним, держа ружья наготове, а парнишка с настоящим револьвером бежал впереди, чувствуя себя предводителем, признанным и законным. Он бежал впереди, широко открыв глаза, и это уже переставало быть игрой и становилось действительностью: так же минуту среди кустов мог появиться немец в камуфляже с засученными рукавами, таких ребята видели когда немцы бежали через виноградники. Тогда предводитель одним прыжком бросится на немца, он и волкодав Рыс и выстрелит из револьвера, который в обычное время не стреляет. Парнишка пробовал потянуть за спусковой крючок, но крючок не действовал, ребят же парнишка заверял, что пожелай он — и револьвер наверняка выстрелит, ребята верили, а сейчас он верил в это и сам. Волкодав продрался сквозь кусты и выскочил на тропку, парнишка понукал: давай, Рыс, давай, не бойся. Рыс бежал, и он бежал вместе с ним, остальные отстали. Он услышал топот их ног за собой и побежал еще быстрее, он хотел первым настичь врага, стать героем и доказать, что он самый настоящий и законный предводитель.

И вдруг парнишка остановился: перед ним был домик, скрытый в гуще деревьев. На окнах — деревянные

ставни. Домик выглядел опасным и таинственным — вражеская крепость. Парнишка заколебался, не подожждать ли остальных? Но волкодав воинственно залаял и кинулся вперед. Парнишка бросился за ним. Волкодав обогнул домик, ринулся к бункеру и вбежал туда. Он больше не лаял, а скулил и подвывал. Парнишка заглянул в бункер: в бункере было темно, поскуливание волкодава отражалось от бетонных стен, звучало гулко и пугающе. Рыс, упраскивал парнишка, Рыс, пойдем отсюда. Там никого нет, уговаривал он волкодава, пойдем Рыс. Но старый умный пес Рыс сейчас и вправду почуял след, он бросился в самый темный угол бункера и стал разгребать лапами землю, не обращая внимания на уговоры.

Прибежали остальные ребята.

— Что случилось?

— Рыс не хочет выходить из бункера.

— Давай вытащим его.

— Попробуй, там тьма кромешная и чем-то воняет.

— Попробуем позовем его.

Они звали волкодава: Рыс, Рыско, иди сюда, иди! Но волкодав скулил и греб лапами землю. Наконец парнишка с револьвером отважился и вошел в темный бункер; остальные стояли у входа.

— Здесь страшный смрад,— сказал парнишка с револьвером.

Все сразу почувствовали запах, выходивший из бункера. Они зажали носы и так и стояли, дрожа от страха.

Парнишка с револьвером схватил пса за ошейник.

— Идем, Рыско, идем,— уговаривал он.

Волкодав подтащил его к брезенту, это был немецкий маскировочный халат; волкодав яростно забрежал, схватил зубами край халата и с силой потянул его. Парнишка с револьвером смотрел на все, словно окаменевший.

— Что там? — спрашивали ребята.

Он не отвечал, стоял как вкопанный и смотрел, как волкодав медленно тащит брезент, засыпанный землей. Рыс весь напрягся, чтобы справиться с брезентом. Все выглядело очень таинственно, парнишка дрожал всем телом, и рука с револьвером бессильно повисла, он чувствовал, что сейчас он увидит что-то страшное, но не мог двинуться с места.

Наконец он увидел человеческие волосы, облепленные глиной. И под ними белые кости черепа. А ниже лба дырки вместо глаз.

— Ой! — закричал парнишка с револьвером. — Ой, мамочка!

Он едва выбрался из бункера. Белый как мел, только губы посинели. Ребята перепугались. Они схватили его за руки и тянули прочь от бункера. У него подкашивались ноги, но он покорно шел. Они пришли к ручью, парнишка долго плескал водой в лицо. Наконец пришел в себя. Волкодав прибрел за ними и уже не лаял, а спокойно крутил хвостом.

— Попей, — советовали парнишке. — Поможет.

Он набрал в горсть воды и принялся пить.

— Что там было?

Парнишка с револьвером задрожал.

— Человек!

— Врешь!

— Честное слово. Я видел волосы, а вместо глаз дырки.

— Ой! — закричал самый маленький из них, толстый беловолосый мальчишка и расплакался. — Я хочу домой.

Домой хотели все, и они кинулись прочь, пробираясь по тропкам. Только бы поскорей выбраться из леса. Выбравшись из леса, они уселись у шоссе и сделали передышку. По шоссе медленно тащился грузовик. Виднелись дома, скрытые садами. Здесь они чувствовали себя в безопасности.

— Нужно заявить, — сказал парнишка в очках.

Но мальчишка с револьвером был против, их станут обо всем расспрашивать, может раскрыться, что у него есть револьвер и что они украли Рыса у стражника, пока тот спал.

— Ребята, — сказал он, — пусть это будет нашей тайной.

— Я не хочу, — хныкал малыш. — Я хочу домой.

— Нужно пойти заявить, — твердил мальчишка в очках.

— Эх вы, трусы, — сказал парнишка с револьвером, подтянул брюки и засунул револьвер за куртку. Он встал и пошел вперед, волкодав побежал за ним следом.

Немного погодя ребята его нагнали, и мальчишка в очках сказал:

— Ладно. Пусть это будет нашей тайной.

Но парнишка с револьвером кричал ночью во сне: «Ай-ай, мамочка!» Мать проснулась, положила ему руку на лоб — он был горячим. Старик, сказала она, у парня опять лихорадка. Но отец что-то пробормотал и повернулся на другой бок. Мать положила сыну компресс, на миг он успокоился, но вскоре снова стал звать: «Ой, мамочка, ой!» И вдруг крикнул тонким испуганным голосом: «Там человек!» Отец сел, зажег свет. Парнишка проснулся потный.

— Где человек?

— В бункере, — сказал парнишка, испуганно тараща глаза на отца. — Рыс его грыз.

— Бредит, — сказала мать.

— Вместо глаз дырки.

— У него нет глаз? — спросил отец.

— Дырки вместо глаз. И волосы есть. — Парнишка заплакал и прикрыл глаза рукой.

— Не бойся, — сказал отец. — Это, наверно, мертвый немец. Нечего тебе бояться. — Он взял сына за руку, и тот понемногу успокоился.

На другой день к бункеру пришла комиссия. Она нашла четыре разложившихся трупа, у троих на ногах были стоптанные башмаки. Это пропавшие официанты, сказал молодой подпоручик, официанты, которые таинственно исчезли. У одного были выломаны зубы.

— Густы, — сказал пожилой пузатый господин, старший инспектор уголовного розыска, походивший на горговца древесиной. — У Густы был полон рот золота. — И добавил: — Чистая работа, весь затылок снесен, дело мастера боится.

Они зашли в кафе «Орион» и закрылись с Лабудой в стеклянном кабинете. Коза, оказавшийся случайно дома, кружил вокруг кабинета, боясь, что пришли за Лабудой. Лабуда пожимал плечами, два пришедших агента назойливо его выпрашивали. Но Лабуда действительно ничего не знал, в один из дней официант исчез, он сообщил об этом куда следует, вещи официанта забрали в полицию, вот и все. С кем тот встречался? У него было много знакомых, пожимал плечами Лабуда. Вы должны нам помочь, сказал пожилой с седыми, редкими, аккуратно зачесанными волосами. С кем он разговаривал в тот день, когда исчез? Лабуда снова по-

жал плечами: прошло много времени, *много* и он едва помнит лицо официанта, с *той* *уже* *трое*.

Коза все бегал вокруг кабинета.

— Кто это? — спросили Лабуду.

— Мой товарищ, — ответил он. — *Он тоже был*

Молодой подпоручик энергично *открыл* *двери*

— Чего вы здесь бегаете?

— Мне интересно, — ухмыльнулся Коза.

— Вам интересно? А что вам интересно?

— Когда полиция приходит к *приятелю* *мое* *когда* интересно, — сказал Коза.

Пожилой вытащил фотографию и *сунул* *ее* *Козе* *на* *нос*:

— Узнаете?

— Да, это Дюси! — ответил Коза *не раздумывая*. — Косолапый. Что он натворил?

— Вы с ним встречались?

Коза непонимающе взглянул на *молодого* *подпоручика* и на пожилого. Было похоже, что *его* *друзья* *встречают*. Лабуда ему подмигнул: *влез* *не* *в* *свои* *дела* *и* *получай*.

— Он приносил мне сливовицу и коньяк. А *я* *давал* *ему* *заработать*. Вот и все наши встречи.

— И это все? — Подпоручик говорил *высокомерно* и энергично, резко выбрасывая слова: *слова* *вылетали* *со* *свистом*.

— Не торопись, подпоручик, — промолвил Коза *выразительно*. — Со мной не торопись и действуй *деликатно*. Таких, как ты, я много повидал.

— Вспомните, пожалуйста, — вежливо попросил *пожилой*.

Коза задумчиво потирал кончик носа.

— Как-то он мне сказал, что хочет начать *самостоятельное* *дело*.

В тот раз официант сидел рядом с Козой, *примостившись* на стуле и готовый каждую минуту *вскочить*. кафе было почти пустым, и Коза препаршизо чувствовал себя после пьяной ночи, а косолапый о чем-то ему доверительно нашепывал, будто исповедовался. но Коза не очень-то понимал, что шепчет ему официант.

— Откуда он хотел взять деньги?

— Не знаю,— ответил Коза.— Я не был его казначеем. Но официанту всегда кое-что перепадает. Он был ловкач, этот Дюси. Так что же он натворил?

— Он спекулировал?

— Как все официанты.

— Откуда он брал товар?

— Оставьте меня в покое! Откуда я знаю?

— Вы должны нам помочь,— любезно сказал пожилой.— Речь идет об убийстве.

— Вот бы не подумал,— удивился Коза.— Он был совсем не похож на убийцу. Страшный трус.

— Убили его,— сказал подпоручик и быстро посмотрел на Козу.— И еще троих.

Коза присвистнул.

— Приличная работка! Ну, бог с ним, с Дюси.

— Вы должны нам помочь,— повторил пожилой.

— Подождите,— вдруг вмешался Лабуда.— Мне кажется, я помню одного.

Лабуда тогда выходил из кафе и был уже в дверях, когда заметил в зеркало официанта, наклонившегося к человеку с портфелем из свиной кожи; из портфеля высыпались пачки американских сигарет. Он решил сказать официанту, чтобы тот не занимался спекуляцией в кафе, но потом забыл, да ему, собственно, было все равно.

— У этого типа был тонкий острый нос,— вспомнил Лабуда.— Он предлагал официанту американские сигареты.

— Что ж, это не очень-то,— заметил подпоручик.

— Длинное узкое лицо,— продолжал вспоминать Лабуда.— Я видел его только в зеркало.

— Вы бы узнали его? — спросил пожилой.

— Возможно.

— А вы, значит, больше ничего не знаете? — стремительно повернулся подпоручик к Козе.

— Нет, ваше величество,— ухмыльнулся Коза.

— Осторожней,— сказал подпоручик угрожающе.— Ваши шуточки могут вам дорого стоить.

Подпоручик хотел еще что-то добавить, но пожилой потянул его за рукав. Они ушли. Ночью в кафе устроили облаву. Забрали несколько спекулянтов и проституток. Но человека с тонким носом и длинным узким лицом не нашли.

Целую ночь в доме стоял крик, визжали женщины, в дансинге поднялась драка. Гелу разбудили резкие удары в дверь, это напоминало тот раз, когда пришли немцы и застрелили ее отца. Дрожащими руками она надела юбку и открыла; за дверью стояли люди в форме, они вошли и стали спрашивать, кто она и что тут делает. Гелена им ответила, что работает на кухне, она двоюродная сестра капитана Лабуды; ребята в форме загоготали и еще долго оставались в ее каморке, но ничего не искали, только ухмылялись, а один из них хлопнул ее по спине; она кинулась в коридор и, едва переводя дыхание, вбежала в комнату Лабуды. Лабуда был еще одет, варил кофе, Коза сидел на постели в кальсонах. Гела остановилась в дверях.

— Проходи, — ухмыльнулся Коза. — Чего боишься? Не видела парня в исподнем?

— Входи, — сказал Лабуда. — А ты прикройся!

Коза с ухмылкой забрался в постель.

— Я не знал, что ты такой обходительный, — сказал он Лабуде.

— Что случилось? — спросил Лабуда.

— Эти парни у меня.

— Они приставали к тебе?

Она смотрела на Лабуду, не понимая.

— Один хотел меня схватить. Так я убежала.

— Ха-ха-ха, — смеялся Коза. — Приставали к ней.

А за что он тебя схватил? За зад?

Гела покраснела по самые уши.

— Не будь хамом, — сказал Лабуда.

— Слушаюсь, капитан, — сказал Коза, осклабясь. — Намажу себе рот медом. Больше не буду... Клянусь богом, буду говорить одни медовые слова.

— Идем, — сказал Лабуда. — Покажешь мне того парня.

— Лучше не надо, братец. — Гелена, все еще перепуганная, по-прежнему стояла в дверях. — Лучше я немного посижу здесь.

Она поправила юбку, но ее грудь была прикрыта лишь рубашкой, соски резко обозначались под тканью.

— Как хочешь, — холодно заметил Лабуда. Он отошел к окну, чтобы не видеть Гелену в рубашке.

— Выпей кофе.

[illegible]

— Interpretation of the 1950 Census —
— Interpretation of the 1950 Census —

[illegible]

— NEW APPROACH — FOCUSING ON THE "HOW" OF THE
INTERVIEW — INSTEAD OF THE "WHAT" OF THE INTERVIEW —
A NEW WAY TO INTERVIEW CAN BE USED TO INTERVIEW ANYONE
WHICH CAN BE USED TO INTERVIEW ANYONE

— ५३० —

[illegible]

— 12. Число. ДАВНОСТЬ

— 150 —

— 10 —

On February 10, 1964, the following information was received from the Bureau of the Census, Washington, D. C.:

— 1 —

100-000000-100

— А-а-а-а — заговори тя. — Изглежда съм забравила да ви кажа, че в този дом живеят още двама души. Единият е старец, а другият е жена.

[illegible]

[Faint, illegible handwritten notes]

Она послушно села к столу и налила кофе. Коза делал вид, что дремлет, но, прищурив глаза, смотрел на обоих — Лабуду и Гелену, с интересом наблюдая, что будет дальше. Гела ему нравилась, но он не ревновал ее к капитану, он, Коза, здоров как бык, и на свете немало женщин и девушек, а капитану кто-то нужен, чтобы он держался за жизнь. А такая сумеет удержать капитана от смерти даже полуживого, думал Коза, но, клянусь богом, во второй раз я бы ее не уступил. Пожалуй, мне нужно одеться, подумал он, и спуститься вниз, там сейчас такой галдеж, может, найдется забава и для меня. Но как на ее глазах одеться, ведь она пулей умчится.

— Вернулась бы ты в деревню, — сказал Лабуда. — Здесь не место для тебя.

— А чего я там не видела? Сейчас там нечего делать, скоро зима наступит. Кусок льна соткет и мать, мы с ней будем только мешать друг другу в хате.

— Как хочешь, — холодно ответил Лабуда. Но ему почему-то было приятно, что она не хочет уезжать. — А если что случится, сама будешь виновата. Разве не видишь, что тут за место!

— А что со мной случится?

— Вот сейчас парень тебя облапил.

— Не облапил, только хотел, а я убежала.

— А если б меня здесь не было? Чтоб ты делала?

— Но ты здесь, — сказала она просто.

Он повернулся от окна. Гелена сидела за столом, пустив плечи и доверчиво на него поглядывая.

— Ты права, — сказал он в смятении. — Пока я тут.

Коза больше не мог выдержать.

— Ха-ха-ха, — загоготал он. — Страшно трогательно! Сохранение чести. Как в романе, клянусь богом, как в старом романе!

Он катался от смеха, и белки его глаз сверкали на смуглом цыганском лице. Он вспомнил, что когда-то в роте читали такой роман, где героем был один благородный тип. Они читали роман и смеялись над этим благородным типом и делали не очень приличные замечания. Сейчас капитан Лабуда походил на этого типа с благородными намерениями, и Козе было смешно.

— Ну, я пойду, — сказала Гела. — Наверно, они ушли. — Она сверкнула глазами на смеющегося Козу. — И чему вы смеетесь, непонятно!

Она встала, поправила юбку и, преисполненная достоинства, ушла. Коза смотрел ей вслед широко раскрытыми глазами.

— Как королева, — сказал он с восхищением.

— Я изобью тебя, как последнюю собаку, — сказал Лабуда. — Разобью в кровь твою грязную морду, если ты скажешь о ней хоть слово.

— Ого! — присвистнул Коза. И добавил: — Ясно, капитан.

— Она мне родня, — добавил Лабуда уже миролюбиво. Коза накрылся периной и продолжал смеяться под ней. Таковую родню и я не против иметь, думал он, такая родня неплоха в постели. Но вслух ничего не сказал, он хорошо знал Лабуду, тот и вправду мог рассердиться, к тому же он сейчас не понимает шуток. Да и рука у него тяжелая, Коза помнит его руку, после той затрещины он начал уважать капитана, а потом и полюбил его, капитан был товарищ, такие в жизни встречаются не часто.

Лабуда все еще сидел, уставившись в пустую чашку. Он заметил, что глупо улыбается. Что случилось? Почему он улыбается как дурак? В общем-то, ничего не случилось: была облава, и забежала в его комнату Гела, выпила кофе, не успев как следует одеться, ну и что здесь такого? Гела хорошая девушка, его родня, и он ее должен защищать, от этого у него такое хорошее чувство, ведь он ее защитник. Вот и все. Он погасил свет и лег, зная, что не заснет; тогда он начал думать о деревушке, которую помнил очень туманно, он пытался представить ее себе, и это доставляло радость, деревушка все время менялась, мерцала вся в снегу на солнце, была чистой и прозрачной, его мечтой. Ему очень хочется распрощаться с этим грязным кафе, с вечно шумными гостями и вечным кухонным запахом, с облавами и всеми неприятностями, и если он ничего не предпринимал, то только из страха, что он снова проиграет или его мечта вновь окажется разрушенной.

Через несколько дней Лабуду пригласили в полицию. Он уже почти забыл об облаве, о подпоручике и пожилом господине, но они, очевидно, не забыли о нем.

Он сидел на стуле, и пожилой ему приветливо улыбался. Потом открылись двери напротив. Ввели какого-то человека. Свет падал ему в лицо.

- Это он?
- Мне кажется, да.
- Хорошенько на него посмотрите, — любезно сказал пожилой. — Для нас это очень важно.
- Да, он, — уже увереннее произнес Лабуда. — Я хорошо помню. Тот же самый нос.
- Уведите его, — сказал пожилой стражнику, который привел остроносого. Потом он поблагодарил Лабуду. Его еще, возможно, побеспокоят, сказал пожилой, но он, разумеется, понимает, служба есть служба.
- Лабуда ушел, а пожилой остался сидеть за столом, кусая ногти. Немного погодя он вздохнул: ну, за работу, старые кости, за работу. Он набрал номер.
- Введите его снова, — сказал он в трубку.
- Через минуту стражник ввел остроносого.
- Вы можете идти, — разрешил пожилой стражнику.

Какое-то время пожилой устало смотрел на остроносого. Тот поглядывал в сторону; за окнами, наполовину закрытыми решеткой, серело небо.

— Садитесь, уважаемый, — любезно предложил пожилой.

Игнац Август Коленатый сел, не переставая смотреть в окно.

— Итак, теперь мы кончили, уважаемый, — выразительно произнес пожилой. — Конец вашей молчанке. Начнем разговаривать всерьез.

Но Игнац Август Коленатый даже бровью не повел, он сидел выпрямившись и смотрел в окно. Идиот, мысленно ругался он, ох, попадись мне в руки этот идиот, я придушил бы его. Идиотом был Венделин Брада, забывший о трупах, он оставил их в бункере и лишь присыпал землей, но Игнацу он заявил, что все в порядке. Идиот, ругался Игнац Август, ему совсем не хотелось умирать. Как только он прочел в газетах сообщение о найденных трупах, он сразу понял, что дело плохо и лучше всего исчезнуть, но Винцент Ульрих в нем нуждался, у них было на полном ходу одно дельце, и нужно было его закончить. Его схватили в кафе, он спокойно сидел и пил кофе, подошел знакомый официант и привел с собой штатского в губернаторскую; Игнац Август сразу понял, что дело плохо. У него нашли револьвер, счастье еще, что его прихватили в одиночестве, ведь у

него могла быть встреча с кем-нибудь из подполья, и все бы рухнуло. А этого идиота Венделина Браду, которого мало застрелить, а надо бы ему вспороть брюхо, — этого идиота забрали раньше; он ходил среди баб на рынке и выкрикивал антисемитские лозунги, расхаживал и кричал среди бела дня, настоящий идиот, и вот его схватили. Игнац Август Коленатый не боялся за себя, самое худшее, что с ним могут сделать, — повесят, а это не бог весть какая смерть, он видел и пострашнее. Но ему было досадно, что он попался на такой глупости, из-за этого ленивого идиота, и он больше всего боялся, что Брада заговорит; его хорошенько накормят, напоят, и этот идиот заговорит, у такого животного нет никаких идеалов и никакой души, у него лишь брюхо, куча кишок и ненасытная глотка, одно горе работать с такими, они хороши только до тех пор, пока на свободе, а едва их арестуют, не стоят ни гроша. Им немного погрозят — и у них уже полны штаны, и они продаются за жратву, просто за жратву. Черт возьми, ругался Август Коленатый, почему я не убил эту свинью, почему не выпустил ему кишки, я должен был предвидеть, что так случится, и давно мне надо было вспороть это ненасытное брюхо. Этот идиот наверняка заговорит, как могли такого идиота допустить к работе! Он скажет все, что они захотят, и, возможно, уже сказал.

— Вам ничто не поможет, уважаемый, — мягко сказал пожилой. Вошел молодой человек, взглядом поздоровался с пожилым и сел на стул в углу.

Игнац Август Коленатый молчал, по-прежнему смотрел на серое небо, разрезанное решеткой окна.

— Шеф упрям, — заметил молодой человек и зло усмехнулся. У него было розовое гладкое лицо; видимо, он только что побрился.

— Напрасно, приятель, — отцовским тоном сказал пожилой. Он пригладил свои грязновато-серые волосы и стукнул пальцем по столу. — Можешь спокойно облегчить свою совесть. Ничего другого тебе не остается. Генеральная исповедь, уважаемый.

Но Игнац Август Коленатый сидел не двигаясь и молчал. Даже если они знают все — а всего они наверняка не знают, — он будет молчать; последнее, что он может сделать, — это молчать и отомстить молчанием,

это его последняя возможность мести, он не откроет рта, даже если его будут четвертовать. Молодой человек поднялся со стула, тихонько подошел, встал за спиной тонконосого и внезапно закричал:

— Где ты этому научился? Где научился стрелять в затылок?

Игнац Август Коленатый молчал, лишь слегка шевельнулся, но так и не произнес ни слова, лицо у него было презрительное и угрюмое, он быстро размышлял: кажется, этот идиот еще ничего не сказал, кажется, они ничего не знают; кроме трупов, у них нет никаких улик, и, может быть, он еще выпутается, если этот идиот не заговорит.

Действительно, у пожилого еще не хватало улик, а с теми уликами, какие были, тонконосого не подведешь к наказанию. Следствие продолжалось и было не простым, речь шла уже не только о найденных трупах, дело осложнялось и росло как снежный ком, к делу прибавились и фальшивые документы; словом, кажется, они напали на крупное дело, не все обстоятельства еще были ясны, но след был отчетлив, и пожилой радовался хорошему следу, что же, работа веселая и спорится, если есть хороший след.

Прошли недели, пока след их куда-то привел. Они раскрыли фабрику фальшивых документов, их делал помощник нотариуса откуда-то из Загорья. Потом все пошло уже быстрее: они затянули сеть и схватили распространителей фальшивых документов. Была установлена связь между тонконосым и парнем, который был осужден на несколько месяцев за антисемитские выступления. Венделин Брада заговорил. Ему пообещали облегчить участь, и это было для него словно обещанным жалованьем: он заговорил. В нем все время поддерживали хорошее настроение, кормили и поили, и Венделин Брада чувствовал себя неплохо, улыбался маленькими глазками, стражники ходили для него за пивом и горячительным, он чувствовал себя превосходно и все рассказал о себе, об Игнаце Августе Коленатом и о мертвых официантах.

Игнац Август Коленатый по-прежнему молчал, хотя это уже было бессмысленно, он знал, что петля затянута и многих схватили, но молчал; пусть его разрежут на куски, говорить он не станет, он упорно сопротив-

аялся, и это помогало ему терпеть положение, в котором он оказался. Но независимо от того, говорил Игнац Август Коленатый или нет, независимо от этого дело подвигалось, факты множились и следы вели все дальше и выше. Факты были и достоверны и поразительны. Следы вели в самую гущу высокой политики: руководство «младолюдаков» оказалось связанным с подпольем. В стране ширилось возмущение; действия «младолюдаков» походили на предательство и были слишком рискованными в стране многочисленных могил, сожженных деревень и десятков тысяч погибших антифашистов.

Рабочие, партизаны — все вышли на улицы: фашизм не пройдет! Поднялась волна народного гнева, высокая и яростная волна, она не смогла обрушиться с полной силой, так как не встретила сопротивления, но была могучей и неистовой, вновь сплотились людские сердца, это был увлекающий всех боевой подъем, походящий на взрыв народного гнева три года назад. Реакция затаила дыхание, вожаки в замешательстве делали поспешные заявления, в которых трогательно бормотали о недоразумении, о собственной невинности, заявляли о своей ясной и недвусмысленной антифашистской позиции, они пытались сплотить свои ряды и отступить в полном порядке. Но сами они были в замешательстве, были потрясены. Их не потряс тот факт, что их соратники оказались преступниками, они знали, с кем сплотились. Нет, они почувствовали страх, увидев яростную волну гнева, они испугались улицы, испугались, как они говорили, сброда. И были правы, что боялись улицы. Для некоторых это было вопреки всему лишь временное отступление, тактическая ошибка, которую исправит грядущее время. Для других это было предостережением.

Августин Шернер умышленно зашел за профессором Копаницким; пришлось идти к нему на квартиру, профессор Копаницкий в последние дни совсем не показывался ни в кафе, ни в секретариате. Шернер нашел его за работой, он сидел за письменным столом, на котором были разбросаны раскрытые книги и груда заметок, это были его старые замечания к книге, которую он хотел написать и за которую уже не раз принимался.

Профессор Копаницкий сидел, положив театрально руку на эту груду бумаги.

— Возвращаюсь к своей работе,— произнес он торжественно.

А Шернер сказал ему:

— Никогда я им не верил.

Ему действительно казалось, что он никогда не верил этим новым людям, выплывшим бог знает откуда, людям без всяких заслуг, без прошлого, нет, он никогда им не верил и знал, что на них нельзя положиться в борьбе за подлинную демократию, что они мошенники и замаскированные враги демократии; ему порой даже казалось, что он не раз говорил о своих подозрениях.

— Возвращаюсь к своей работе,— торжественно повторил профессор Копаницкий.— К своей настоящей работе.— Ему не очень хотелось возвращаться к этой настоящей работе, он привык работать с легкостью и без всякой системы, не хотелось расставаться с комфортом и хорошей жизнью, которую он только-только понюхал, но иначе было нельзя, он не мог оставаться среди этой бездонной грязи, и к тому же это казалось ему опасным.

— Я расстаюсь с политикой, Августин,— заявил он.— Я не знал, что творится вокруг меня, но теперь знаю и расстаюсь с политикой. Я запятнал свое имя — очищу его честным трудом.

Он написал заявление, полное справедливого возмущения, и послал его во все газеты. Но мандата так и не отдал, надеялся, что акции фирмы скобяных изделий останутся при нем.

Августин Шернер поглаживал усики.

— Что же делать?

— Ты же поэт,— сказал профессор Копаницкий.— Тебе остается твоя поэзия.

— На нее не очень проживешь.

— Так иди обратно в аптеку.

— Не знаю,— неуверенно сказал Августин Шернер.— Может, и не следует отказываться от борьбы.

Ему-то легко, думал Августин Шернер, строит из себя пророка, на все случаи жизни себя обезопасил, а меня посылает в аптеку. Нет-нет, он, Шернер, не может себе даже представить эту нудную и глупую жизнь, жизнь, без волнений, белый халат и вечный запах лекарств; вновь отвешивать поклоны, собирать гроши и все начинать снова — нет, это не по нем.

Профессор Копаницкий пожал плечами:

— Посоветуйся с собственной совестью.

Убирайся, ты, паяц, вместе со своей поэзией, думал профессор Копаницкий, убирайся и не лезь ко мне, я не нянька, у меня полно своих забот.

— Теперь придется бороться за подлинную демократию, — продолжал Августин Шернер. — Нужно очистить наш щит от грязи.

В эти дни освобождалось много мест, и места были неплохие, в секретариате очень скоро опомнились от первого удара, вновь стало шумно и оживленно, вновь начались интриги, борьба за свободные места, за оперативный простор. Возможно, нужно только переждать плохие времена и снова все образуется, нужно только выстоять, удержаться, взять правильную карту.

— Нужно остаться у знамени, — сказал Августин Шернер.

— Дело твое, — холодно ответил профессор Копаницкий.

Он склонился над столом, над грудой бумаг, сделав вид, что не видит Августина Шернера. Шернер понял и вышел из комнаты. Он был зол на профессора Копаницкого, ну и трус, ругал он его, только подуло ветром похолоднее, как он надевает шлепанцы и не выходит из дому. А ведь ему, Шернеру, казалось, что он и профессор Копаницкий могли кое-что предпринять, сейчас была нужда в незапятнанных людях, а они оба были незапятнанными, они могли снова начать борьбу и выиграть бой, но профессор трус, засел дома, надел шлепанцы, пустой человек, и напрасно он к нему ходил. Нужно остаться у знамени, остаться у оскверненного знамени и очистить его, говорил себе Шернер, он повторял это так долго, пока не уверовал, что и вправду хочет остаться у знамени демократии и очистить его от грязи. А поверив, расстался со всеми сомнениями. Он чувствовал, что совесть его чиста, и радовался своему решению.

Судья, нахмурившись, смотрел в окно кабинета на прегибскую площадь: она была полна народу. Рабочие с консервного и лесопилки, много деревенских — и все

стояли уже несколько часов, стояли и не двигались, но судья хорошо знал, что все это значит. Он злился, ругал толпу и боялся ее. Многих он узнал, он давно был судьей в Прегихах, и многие, стоявшие там, внизу, не раз встречались с ним; многие из них сами по себе были люди неплохие, вежливые и смиренные, но судья знал, что они совсем не смиренные, когда вместе. Такой скандал, думал он, такой скандал, такая близорукая политика, а ему приходится за нее расплачиваться, приходится смотреть, как под окнами чернеет этот сброд и молча ему угрожает. Сюда наверх поднялась делегация, он отказался ее принять, принял ее прокурор. У него нет ничего общего с этими людьми, но судья в демократической республике не зависит ни от кого. Янко Крапа он осудил строго в рамках закона, и он не признает никакого насилия, никакой воли масс и ничего в этом роде, он просто свод законов — вот и все. Судья стремительно и гневно расхаживал по кабинету, порой задерживаясь у окна, толпа по-прежнему чернела внизу, она уже там несколько часов, стоит и не двигается, и это его выводило из себя. Он потребовал вооруженную охрану, ему отказали: дескать, у них нет никаких причин вмешиваться. Все связаны с коммунистами, некуда обратиться за помощью, нет постоянных ценностей, все куда-то провалилось. Пусть его выпустят, думал он со злостью, пусть выпустят этого Янко Крапа, пусть преступят закон, они сами роют себе могилу, сами предают себя в руки этому неисчислимому сброду, он не хочет иметь с этим ничего общего, он выполняет свой долг и будет его выполнять, пока дышит. Он считал себя фанатиком долга и ненавидел этот сброд и мразь лишь потому, что они мешают ему выполнять свой долг. Он не мог себе признаться, что ненавидит их потому, что боится людей, не носящих галстуки, людей с грязными ногтями, боится за свой чистый костюм и чистые ботинки, он всегда боялся за свое чистое платье и чистые ботинки, даже тогда, когда стал взрослым, этот страх продолжал жить в нем, правда, в других личинах. Он гордился своим независимым положением, любил свое знание, любил думать, что он решает судьбы, любил убежденность в собственной честности и беспристрастности. И вот сейчас все куда-то уходило, он не был наивен и видел, как развиваются события:

приближался конец, не только конец его положению, но и конец жизни — после того как ушла жена, весь смысл жизни для него сосредоточился в его звании судьи. Он выдержит до конца, не покорится, не пойдет просить, учтиво склонив голову, не станет подлизываться к новым хозяевам, как многие его коллеги; трудность хуже поражения. Нельзя уступать толпе; лучше умереть, чем быть оскверненным. Он останется блистательным образцом для других. Но, подумав об этих словах, судья усмехнулся, он знал, что это смешно, и никому не нужен этот блистательный образец, и никому не будет нужен, поднимается мутная волна и все смоеет, и, возможно, никто и не узнает о существовании окружного судьи Медзиградского, который оставался на своем месте до последнего вздоха, борясь с низменными страстями толпы; все смешно и ненужно, он погибнет, и ничего от него не останется, все поглотит мутная волна, которая неумолимо надвигается. Ну и пусть, пусть это смешно и ненужно, но он все-таки останется на своем месте и будет стойким. И возможно, все к лучшему: мученики всегда были опорой нравственности. Мир не может долго пребывать в хаосе, хаос кончится, снова наступит порядок и власть законов, а законам нужны судьи. Возможно, через несколько лет явится новый судья и поднимет из пепла сожженного мира забытую личность окружного судьи Медзиградского, и, возможно, эта личность придаст ему силы. Мир не может существовать без порядка, законов и судей, эстафета передается, хотя люди, которым придется ее принять, еще не известны. В истории всегда бывали времена, когда страсти толпы одерживали верх над порядком, но порядок возрождался вновь, и вновь закон воцарялся на своем троне, и судьи появлялись, как и прежде, они были вечны и неистребимы.

Все это было плохим и весьма слабым утешением, и он чувствовал его фальшь. Такой дешевой ценой не отделаться от действительности, от площади, где чернела толпа, и от мысли о том, что его коллеги дрожат от страха, лихорадочно звонят во все колокола и стараются свалить ответственность друг на друга. Он, судья Медзиградский, умывает руки: он осудил Янко Крапа строго по закону, и для него этот случай кончен, апелляция занимается высшая инстанция, это уже не его

дело, как не его дело, что случай стал достоянием общест-венности, что здесь столкнулись партийные стра-сти и шла борьба.

Все это его не касалось, он выполнил свой долг, его не смогли ни испугать, ни подкупить. Он стал центром внимания, о нем писали в газетах; этот сумасшедший, сын сумасшедшего, соплjak Угрин, написал о нем, что он старый пожиратель евреев и коммунистов; тогда он дал в газеты заявление: он гражданин и, как таковой, имеет свои политические убеждения, свои симпатии и антипатии, но он никогда не примешивал их к выполнению своего долга и может доказать это — никогда. Заявление было сформулировано в официальном, стро-гом и спокойном тоне, написано с превосходной терми-нологией и звучало не только достоверно, но даже со священной достоверностью. На него накнулись: руга-ли изо всех сил, словно речь шла не о случае с Янко Крапом, Янко Крапа уже никто не упоминал, сейчас все занимались судьей Медзиградским, а ведь не он созда-вал законы, он лишь служил им и усердно проводил в жизнь; законы менялись, но отношение к ним у судьи оставалось прежним, судья оставался все таким же строгим, преданным слугой закона. Слуга закона, обра-зец честности, опора демократии, свободы и независи-мости, человек древнеримской добродетели — так писа-ли одни, убийца и пособник убийц — кричали другие. Пропать была непреодолимой, и судья лишь с усилием сохранял достоинство и внутреннюю независимость, он охотнее бы ринулся в бой, веря, что борется не только за себя, но и за весь свой мир, но он не смел осквернить себя партийными страстями, он должен был быть выше их, преисполненный благородства, неприкосновенный, как сам закон, которому он служил.

И вот теперь все пошло прахом. Волна гнева и воз-мущения, охватившая страну после разоблачения фа-шистского подполья, разбила тишину в Прегибах и со-брала на площади толпу, которая спокойно ждала свое-го часа и знала, что дождется. В крайнем случае толпа придет в движение и выломает ворота тюрьмы. Толпа была единственной силой в городе, ей никто не оказы-вал сопротивления; ей не было дела ни до судейской независимости, ни до свободы, которую должен гаран-тировать закон и его слуги, она твердо знала, что спра-

ведливо и несправедливо, и ей не казалось справедливым, что фашисты и пособники фашистов арестовывают тех, кто боролся против них. Толпа хотела освободить Янко Крапа и ждала этого часа, все удивлялись лишь тому, что не стояли здесь раньше и позволили уже много месяцев держать Янко Крапа в тюрьме, под следствием. Толпа ждала, что дело решится согласно закону. Глупый, слепой закон, мертвая машина, которая не чувствует, что справедливо, а что нет, что для них справедливо, а что для них несправедливо. Глупый, слепой, бессильный закон. Они его не боятся, давно перестали бояться, они не желают терпеть и дальше эту слепую машину. Они стояли на площади, сидели кучками, курили, временами перекидывались словами — это была мирная толпа, были здесь и женщины, дети путались под ногами взрослых, бегая друг за другом, и никто их не прогонял, это была мирная толпа, и она упрямо ждала; уже шесть часов стояла лесопилка, и в поселке не было ни души, поселок был безлюден, будто вымер, все из поселка пришли на площадь и ждали Янко Крапа.

Камера Янко Крапа выходила окном во двор, но он знал, что происходит. Дежурный пришел к нему, открыл двери и сказал: весь город здесь, во всяком случае, весь поселок. Только бы ничего не случилось, сказал дежурный, худой и вечно небритый человек, отец пятерых детей. Я оставляю вам двери открытыми, пан Крап, предложил дежурный, но Янко Крап не хотел никакой милости, теперь он уже не хотел милости, он сидел и ждал, ждал спокойно, за три месяца он научился ждать. Сначала ему было очень плохо, он охотно бы отгрыз себе руку от нетерпения, он пришел в отчаяние от одиночества и бездельности, но знал, что не смеет показывать своим врагам, как ему плохо, и тогда он начал воспитывать в себе терпение, упражняя дух. Сначала он принялся за простые вещи, считал до десяти тысяч, это длилось до отчаяния долго, целые часы, потом он думал, как научиться печатать на машинке, нарисовал клавиши на бумаге и учился печатать быстро, без ошибок, это уже было забавно. Понемногу он привык к одиночеству и к размышлениям в одиночестве; оказывается, не так уж страшно быть наедине с собой, и он уже начал думать, что это даже полезно. Сейчас он хорошо видел всю свою прошлую жизнь, торопливую и

полную волнений, видел и свои ошибки, которых он совершил немало, сейчас у него хватало времени подумать о своих ошибках, и он перестал прогонять мысли о них и смело их разбирал. Главная беда, думалось ему, в том, что я боялся думать о своих ошибках, я постоянно прогонял эти мысли от себя, и не только от себя, но и от других — от товарищей и даже от Эмы. Независимость не в том, что мы бездумно стремимся куда-то и стучим кулаком по столу, кричим и ругаемся, если нам что-то не по душе, независимость даже не в том, что мы поддаемся лести окружающих в тот момент, когда нас одолевают сомнения. Я слишком был горд. Слишком одинок. Я обижал людей. Не замечал их. Видел лишь цель, и эта цель словно срослась со мной, была, в сущности, вторым моим я. Всюду был я. Всегда я. Мое я заслонило даже работу, заслонило коммунизм.

Вот к какому выводу он в конечном счете пришел. Пришел он к нему нелегко, боролся с собой, ходил по камере и со злостью потирал шрам на правой щеке, ругал всю христианских грешников, которые вечно каются, и слабодушных; я стал смиренным, попав в тюрьму, думал он, и все мои мысли об ошибках просто глупости и западня для слабых духом, а я не хочу быть слабым, не смею быть слабым, но вновь открывшаяся истина все возвращалась и возвращалась к нему, становясь привычной и менее горькой. Ну что же, говорил он себе, я жил не совсем правильно. Но не будем устраивать трагедию, еще есть время все исправить. У меня еще много времени, и много сил, и большое желание работать! Янко Крап никогда не боялся жизни, а сейчас меньше всего. И если он и был нетерпелив, то только потому, что ему хотелось побыстрей оказаться среди друзей, среди товарищей, хотелось взглянуть на них новыми глазами, так, как он увидел их из тюремной камеры, и ему очень хотелось быть с Эмой. Нет, теперь он ничего не боялся. Тогда, когда он стучал кулаком по столу и все боялись его и слушали, — тогда порой у него бывало чувство неуверенности, ощущение, что не все в порядке, что-то ускользает, и он заглушал его внешней решительностью и непреклонностью; теперь Янко Крапу не надо было стучать по столу; ему казалось, что он понял, в чем правда, и что все поймут это, если он о ней расскажет.

Смеркалось. На улице моросил дождь. Янко Крап от нетерпения застучал в дверь. Дежурный мигом открыл, словно и не уходил от двери, готовый чем-нибудь услужить.

— Как там на площади? — спросил Янко Крап.

— Не знаю, пан Крап. Все еще стоят.

— Спасибо.

— Рад служить вам, пан Крап, — сказал дежурный. — Всегда с радостью послужу, пан Крап.

Янко Крап уже хотел закрыть дверь, но вдруг внимательно взглянул на дежурного; он видел его часто, но впервые как следует рассмотрел: небритое лицо, желтый, болезненный цвет кожи, под глазами фиолетовые синяки.

— Работа не из приятных, не так ли?

— Я рад и такой, пан Крап.

Янко Крап с удивлением взглянул на него, он не мог себе представить, как можно радоваться работе дежурного.

— Работа спокойная, — сказал дежурный, словно извиняясь.

— А как вы сюда попали?

— Подал прошение. Знаете... — Он замолчал, но потом все же досказал: — Когда чехи ушли, здесь тогда были свободные места. Так я подал прошение и меня взяли.

— Правоверный словак?

— Легкие у меня слабые. Что мне было делать? Уже тогда у меня было трое ребятишек, а вы не представляете, пан Крап, что такое дети. До пенсии я не дослужил, жена все время причитала — вот отдашь богу душу, а мне что делать с ребятами? А я и вправду каждую минуту могу умереть, сплю плохо, на ногах едва стою. По крайней мере после меня что-нибудь останется.

— Вы были здесь все время?

— У меня сидели уголовники, пан Крап, — оправдывался робко дежурный. — Политических не было. И потом, при немцах я только с уголовниками имел дело, все могут подтвердить.

— Сестру мою не знали?

— Видел я вашу сестричку, — сразу ответил дежурный, казалось, он ждал этого вопроса. — Они ходили на

прогулку после уголовников. Мы в тюрьму, а они гулять. Так мы и встречались.— Руки у него затряслись, словно он вспомнил о чем-то, ключи на стальном брелоке зазвенели.— Все ее тут знали,— сказал он.— Такое открытое личико, словно солнышко была. И ничего не боялась.

Янко Крап молчал. Дежурный не уходил, растерянно переступая с ноги на ногу.

— Так ничего вам не нужно, пан Крап?

— Нет, ничего.

— Ну, я пойду.

Он отошел, но, пройдя несколько шагов, остановился, видимо колеблясь, и вернулся обратно.

— У меня были только уголовники, пан Крап. Все подтвердят.

Янко Крап не ответил, лишь кивнул головой, и дежурный, помедлив, ушел. Немного спустя зажгли свет. Янко Крап стоял, опершись о косяк двери, и думал о Ганке; в эти месяцы он думал о ней нередко, ведь и она когда-то была здесь, среди этих белых строгих коридоров, он думал о ней и о ее убийцах и сжимал кулаки. Но сейчас, думая о ней, о своей маленькой сестре, он видел ее чаще всего ребенком и не в силах был представить в тюрьме, среди всего этого ужаса. Что она думала, что делала, чтобы не бояться, как держалась в свой последний час? Он вспомнил, как некогда, мечтая о коммунизме, он связывал эту мечту с ней, своей маленькой сестрой; да, она уже не будет ни летчицей, ни полярным исследователем, ни знаменитой спортсменкой, не будет, никем не будет. Да, коммунизм придет, но Ганки уже не будет, его маленькой сестренки уже нет, и ему даже казалось в эти минуты, что коммунизм от этого станет беднее. Он станет беднее не только из-за гибели Ганки, но из-за гибели всех борцов за справедливость, павших в этой борьбе и не дождавшихся коммунизма. И Янко Крапу было жаль всех павших, которые не дождались и не дождутся светлого часа. Нужно беречь человека, нужно как можно меньше жертв. Сколько уже было жертв, какая бесконечная вереница! Он стоял, прислонясь к косяку, и неторопливо потирал шрам на правой щеке, совсем забыв, где находится. Наконец Янко Крап очнулся, вздохнул, вошел в камеру и закрыл за собой дверь. Войдя, он присел

на нары, нетерпение оставило его: если не сегодня, так завтра он выйдет из тюрьмы, он ни на минуту не сомневался в этом. Он стал спокойнее, вдруг снова почувствовал доверие к себе и к товарищам, как в те времена, когда он был хозяином положения. Он перебрался через вершину собственной гордости, это был головокружительный путь, но Янко Крап знал, что путь этот стоил того.

В коридоре раздались шаги. Дежурный открыл дверь и вошел вместе с главным смотрителем.

— Вот и все, пан Крап, — сказал главный смотритель, поправляя ремень на растущем брюшке и улыбаясь Янко Крапу. Улыбка была широкой и ослепительной. Главный смотритель повел Крапа по коридору, и дежурный покорно шел за ними, бренча связкой ключей. — Я рад, — говорил главный смотритель, — я рад, что вы отсюда выбираетесь, пан Крап. — Он улыбался широко и добродушно, но Янко Крап не верил этой улыбке. Теперь мне все улыбаются, теперь все стараются улыбаться, думал он. Даже начальник тюрьмы приятно улыбался в тюремной канцелярии, улыбался и вздыхал: мы выполняем лишь свой долг, пан Крап, и я надеюсь, что вы остались нами довольны, хе-хе-хе. Янко Крап, ничего не говоря, взял постановление об освобождении, даже толком не взглянув на него, он спешил, спешил скорее выбраться отсюда, спешил к своим, к друзьям, он хотел скорее быть с Эмой, и, только выйдя на площадь и взглянув невидящим взором на чернеющую толпу, он почувствовал радость освобождения и был тронут: они стоят и ждут его, и ему показалось, что он не заслуживает этого. Толпа загудела радостно и облегченно, все хотели увидеть Янко Крапа, увидеть свою победу, плоды своего долгого терпения и силы, но Крап затерялся среди толпы. Все пробивались к нему, протягивали руки, в толпе мелькали знакомые лица и среди них и такие, которые Янко Крап едва помнил, он встречался с этими людьми лишь мимоходом и не обращал тогда на них внимания, вечно спеша и проносясь мимо, словно выпущенная стрела, но сейчас он внимательно смотрел на лица этих людей, стараясь разглядеть каждого, каждого в отдельности поблагодарить.

— Все хотят тебя видеть, — сказал Чачко.

— Это ты устроил? — спросил Янко Крап.

— Ничего я не устраивал, — сказал Чачко. — Просто мы больше не могли смотреть на то, что творится. Вот мы и оставили работу и пришли сюда. Никто ничего не устраивал.

Янко Крап понимал, что все не так просто, что такую демонстрацию нужно организовать и Чачко скромничает, он всегда любил скромничать.

Янко Крапа подняли на низкую ограду. Толпа чернела, разливалась спокойной волной по площади.

— Скажи им что-нибудь, — попросил Чачко.

Ну конечно, им надо что-то сказать, толпа все так же чернела на площади и мирно ждала, все смотрят на него и ждут, они привыкли слушать его речи и теперь ждали, что он скажет. И вот уже слова наготове. Революционная сила, революционная бдительность, завоевание революции — привычные слова, вошедшие в его плоть и кровь, они послушно выстраивались друг за другом и просились на язык. Но нет, сейчас нужны не те слова, и стыдно сейчас произносить эти привычные слова, но другие не шли ему на ум. В этот короткий миг Янко Крап вдруг понял, что у него нет других слов, кроме тех, привычных и приевшихся, и новое, почти неведомое и давно забытое чувство неуверенности и волнения вдруг охватило его. Все смотрели на него и ждали, что он скажет, и ему казалось, что ждут они не привычных слов, произнесенных им столько раз, а каких-то новых, более глубоких и искренних.

Но он так и не нашел нужных слов, и ему даже показалось, что подобных слов и нет вовсе.

— Спасибо, — произнес он наконец хриплым от волнения голосом. И немного погодя повторил: — Спасибо, товарищи. — Голос у него дрожал, стал непривычно высоким, и люди поняли, что он хочет им сказать, все вздохнули, и по площади разнесся как бы единый вздох, никто не кричал «ура», никто не выкрикивал лозунгов, толпа вздохнула, как вздыхает человек после хорошо сделанной работы, вздыхает с облегчением, выполнив работу, помогающую хорошему делу. Янко Крап спустился с ограды и пожал плечами, словно желая оправдаться перед Чачко и теми, кто стоял рядом с ним.

— Ничего лучшего я не придумал, — сказал он Чачко.

— Мы не на демонстрации, — ответил Чачко.

Янко Крапа проводили до секретариата и долго еще стояли перед входом, прощались, говорили все сразу и обо всем сразу, и Янко Крап чувствовал симпатию этих людей и думал, что не заслуживает ее, совершенно не заслуживает, но теперь он решил заслужить эту симпатию, эту любовь, он больше никогда не будет одинок, нет, не будет одинок. Многие из них садились в машины, они приехали издалека, пробирались по плохим дорогам и стояли здесь на площади почти целый день, и все ради него, ради Янко Крапа; вокруг него сейчас были мужественные, хорошие и справедливые люди, с такими людьми можно перевернуть мир. Толпа распалась на кучки, молодые парни шли с девушками, мужчины постарше держались вместе, а женщины по старому обычаю шли, останавливаясь, чтобы перекинуться словечком, все шли мирно, словно возвращаясь с воскресной прогулки. Янко Крап смотрел им вслед, и сейчас он любил их всех, думал о поселке, о своем детстве, о коридорах поселковых домишек с их вечно кислым запахом и грязью, о детях с худыми ручонками — нужно снести эти трущобы, скрыть, чтобы от них не осталось и следа, нужно построить белые дома с зелеными садами, белые, чистые дома с веселыми зелеными садами. Он верил, что так будет, но в этот миг он хотел, чтобы это произошло скорее, как можно скорее, пусть случится чудо и все изменится прямо сейчас. Хотя он знал: чуда не случится и нужно еще немало труда, немало усилий и жертв, прежде чем все изменится, ведь они только начали свой гигантский труд по переустройству мира, удивительный, грандиозный труд. Но Янко Крапа не страшило, а только радовало, что впереди уйма работы; теперь он чувствовал себя neodолимым, он знал, что чудо произойдет и что он, Янко Крап, увидит его.

Эмы дома не было. На стуле лежал халат, домашние туфли с голубыми помпонами валялись рядом с тахтой, шкаф был открыт настежь, а на столе стоял недопитый черный кофе: обычный для Эмы домашний беспорядок. Янко Крап убрал вещи, включил музыку, прилег и закурил; великолепное чувство, когда тебя окружают знакомые, привычные вещи, Эмины вещи, великолепное чувство — иметь дом, быть у себя дома.

Вначале комната показалась ему чужой и незнакомой, но, когда он увидел привычные вещи, коснулся их,

это чувство исчезло; его окружали старые знакомые: чашка с отбитой ручкой, домашние туфли с голубыми помпонами и окурок сигареты в губной помаде; все это были близкие друзья, они ждали его и приняли как своего. Музыка звучала нежно и усыпляюще, и Янко Крап задремал. Когда он открыл глаза, в дверях стояла Эма.

— Янко Крап,— сказала она,— может, ты снимешь сапоги?

Эма подошла к нему, склонилась и коснулась губами лица. Он протянул к ней руки, но Эма ускользнула.

— И мог бы помыться,— добавила она, брезгливо морща нос.— Воняет этой проклятой тюрьмой.

Янко Крап сел и спустил ноги с тахты.

— Прекрасная встреча. После стольких месяцев.

— Подожди,— сказала Эма.— Сейчас будут фанфары. Возвращение героя. Отважный, энергичный герой возвращается.

— Оставь, пожалуйста, свои шутки. Хоть бы в такую минуту не шутила.

Эма открывала окно, словно ее действительно преследовал запах, принесенный Янко Крапом.

— Хорошо,— сказала она.— Вот я уже растрогалась. Верная супруга льет слезы, обессиленная от умиления.

— Ты не перестанешь?

— Я должна бы омыть тебе ноги, не так ли? Но верная супруга устала, у нее две службы, герой еще не знает, что за службы. Я сварю тебе кофе. Вот и все, что я могу сейчас для тебя сделать.

— Свари и перестань кривляться.

Он встал, подошел и обнял Эму, склонившуюся над плитой.

— И вправду Янко,— сказала она,— ты бы помылся. Ты бы...

Больше Эма ничего не сказала. Она уткнулась головой ему в грудь, своей усталой головой, теперь она могла отдохнуть.

Манци изнывала от скуки возле архитектора Феркодича, хотя архитектор Феркодич и старался как мог. Она быстро свыклась с благополучием и достатком, уже

через несколько дней привыкла к вилле и ко всему, что в ней было, и быстро забыла, что раньше это принадлежало не ей; ее уже не волновала новизна богатства. Она с головой окунулась в развлечения и всюду таскала за собой усталого и словно пожухшего, съжившегося архитектора. Но и обыкновенные развлечения скоро наскучили ей, наскучила ей и ревность архитектора Феркодица, и романы, которые она время от времени заводила; она искала все новых и новых забав и треволнений.

У нее была знакомая хиромантка. Манци ходила к ней регулярно, каждую среду после обеда, сначала потому, что у гадалки была обширная клиентура из «хорошего общества», она знала все сплетни и передавала их с забавным пресбургским акцентом; потом Манци к этим визитам привыкла, привыкла к таинственному полумраку опущенных жалюзи и шепоту хиромантки и стала верить ее прорицаниям. Предсказания были всегда благоприятны и утверждали, что вся жизнь у Манци еще впереди.

Поначалу она слегка кокетничала с загадочными силами и таинственностью — хиромантка вызывала и духов, — но потом стала бояться, находить в этом страхе перед загадочными вестниками потусторонней жизни какое-то особое наслаждение и поддавалась этому страху.

Некий человек, по имени Дюмон, предлагал открыто всем желающим доступ в неизведанные миры, он сулил спасение в грозном космическом году, который начнется 15 ноября. Для этого достаточно было собственноручно написать: «Я жажду силы воли, спокойствия и успеха, чудесной власти над мгновением. Опишите мой характер и пришлите вашу книгу». Совершив это, каждый мог считать себя созревшим для овладения тайной. Система Дюмона еще никого не разочаровала. Естественно, к такому собственноручно написанному письму необходимо было присоединить еще тысячный банкнот, но ведь проситель получал гарантированно действующий гипнотический кристалл: обломок стекла в элегантном футляре.

Манци упражняла волю по системе Дюмона, а это означало, что через день, на рассвете и в сумерки, она пристально глядела в стеклышко и ждала. Глаза ее начинали слезиться, а когда она не высыпалась после ноч-

ного кутежа, ей и впрямь начинало казаться, что на нее что-то нисходит и это «что-то» наполняет ее невиданной силой; тогда ее трясло от возбуждения. Она неистово выискивала все, что было связано с этим необычным, таинственным миром, прочла даже толстую книгу об оккультизме, хотя вообще читала неохотно; она стала ходить на спиритические сеансы: ах, как приятно это щекочет нервы, ужас! Архитектор Феркодиц заметил ее новую страсть и не стал протестовать, когда убедился, что дело тут в чисто духовных вещах: по крайней мере не будет бегать за мужиками. Иногда он замечал, что она упражняет свою волю на нем; среди обеда она вдруг начинала таращить на него глаза, дико сверкая белками, а он делал вид, будто обессилел под ее взглядом и весь сжимался. Нельзя сказать, что это его очень забавляло. Он знал о Манци все, что можно знать о женщине, но не мог обойтись без нее, она стала необходима ему, как сигарета или черный кофе. Кроме того, он боялся сцен и истерических криков, он всегда старался жить солидно, и все, что нарушало солидность жизни, было для него неприемлемо. Впрочем, новое увлечение его жены обходилось ему дешево, дешевле по крайней мере, чем частые пирушки, и было, безусловно, не так утомительно. Итак, ему казалось, что все пошло в свою колею: Манци теперь чаще бывала дома, не флиртowała, да и дела его шли прилично. Порой он вспоминал о своей дочери, досадливо морщил нос и тут же отгонял неприятные мысли.

Но все это благополучие внезапно лопнуло.

Была суббота, они отправились в свое любимое кафе, сидели и слушали музыку. Манци потягивала полгоньку вино и, видимо, скучала. Но внезапно она встрепелась и прислушалась к пению. Сладкий тенор пел итальянскую песенку, Манци слушала, навалившись грудью на стол. Архитектор Феркодиц хотел ей что-то сказать, но она грубо оборвала его. Он оглянулся: на возвышении возле музыкантов стоял невысокий смуглый человек с курчавыми, черными, слегка уже поредевшими надо лбом волосами, коротконогий, с расплывшейся талией. Архитектор хотел было сказать ей: «Нашла на кого смотреть», но, увидав ее прищуренные глаза и пристальный взгляд, лишь вздохнул: ах, опять начинается!

Она аплодировала. Аплодировали все: пел ведь не кто-нибудь, а гость из-за границы! Больше того — итальянец. Звали его Джузеппе Панпилоне. Пел он не бог весть как, и все-таки это был настоящий итальянец и потому имел большой успех.

— Ты должен его пригласить, — заявила Манци.

— Еще что! — заворчал архитектор Феркодич. — Только этого не доставало!

Она уставилась на него, вытаращила глаза, сверкнула белками — упражняла силу воли по системе психологических наук Дюмона. Но архитектор Феркодич был зол и пренебрёг системой Дюмона.

— Прекрати дурацкие штучки!

Она ахнула.

— Что ты сказал?

— С меня хватит! — Архитектор Феркодич хотел стукнуть кулаком по столу, но раздумал и лишь побарабанил пальцами: — Хватит с меня этих глупостей. Таращишь глаза, словно я идиот.

— Что ты сказал? — Система Дюмона тотчас была забыта и ею, она была обозлена, открытые плечи покраснели.

Архитектор Феркодич увидел, что дело плохо.

— Я не то хотел сказать, Манци.

— Он не то хотел сказать!

— Нам лучше пойти домой, Манци, — сказал он просительно.

Он ругал себя за то, что поддался вспышке гнева, и знал, что ему придется расплачиваться. Хуже того — теперь она не отстанет с этим курчавым коротышкой, с этим эстрадным фигляром. И зачем нас сюда понесло! — мысленно ругался Феркодич, и ему казалось, что с самого начала, как только он увидел у входа афишу с этим итальянцем, у него было плохое предчувствие, незачем было сюда идти.

— Я остаюсь, — заявила Манци. — Можешь катиться к чертям вместе со своими деньгами, а я останусь здесь!

— Не кричи так, Манци. На нас смотрят.

— Буду кричать. Что захочу, то и буду делать! Хватит с меня!

И у нее было предчувствие, когда она увидела афишу. Джузеппе Панпилоне — это имя звучало нежно и

сладко, от него веяло ароматом далеких стран. Как-то раз хиромантка нашептала ей: «Вижу оливы, и солнечный край, и белые скалы, и море». Тогда она думала, что предсказание означает путешествие в Италию с архитектором Феркодичем, но сейчас поняла, что предсказание было связано со сладким, ласкающим слух именем и с этим голосом, с этой песней.

— Хорошо,— сказал архитектор Феркодич,— я приглашу его.

Он понимал, что должен взбунтоваться, что это унижительно, но боялся скандала, он знал Манци, она действительно способна заорать и устроить скандал, а его здесь знали как уважаемого человека и солидного предпринимателя, он не мог позволить себе скандала. Он боялся также, что Манци не просто грозит, но и правда бросит его, а он без нее не может: что без нее завтрашний день? Пустой дом. Нудная, тоскливая жизнь.

Джузеппе Панпилоне подошел, у него были живые темно-карие глаза, крючковатый нос и толстые, мясистые губы; архитектору Феркодичу он не понравился. Панпилоне был элегантен, одет в хороший костюм, платочек в кармане пиджака сверкал белизной, оттеняя смуглое лицо, он поклонился, и Манци начала кокетливо извиваться на стуле; архитектор Феркодич уже знал ее манеру. Манци казалась ему вульгарной, он терпеть ее не мог в такие минуты. Панпилоне выпил всего одну рюмку и извинился на скверном немецком языке: он должен еще петь.

Архитектор Феркодич облегченно вздохнул — может быть, дела не так уж плохи! Почему этот итальянский франт должен завести роман именно с его женой? Манци не так уже молода, есть помоложе и красивей.

— Он совсем не похож на итальянца! — объявил архитектор.

Манци молча смотрела, как певец пробирается среди танцующих, она не спускала с него глаз и, когда тот подсел к оркестру, попыталась перехватить его взгляд. Это моя судьба, думала она, моя судьба, я узнала бы его и без предсказания, это моя судьба — граница, солнечный край и сладкие песни.

— Он похож скорее на еврея,— продолжал архитектор Феркодич.

— А ты что, видел когда-нибудь живого итальянца? — Она на мгновение скользнула взглядом по его лицу и снова уставилась на музыкантов.

— И не одного, — ответил Феркодич. — Я был в Италии.

— Ах, он был в Италии! И что же ты там видел?

— Все. Гондолы и прочее. Не можешь ли ты смотреть на меня, когда со мной разговариваешь?

Она повернулась к нему лицом.

— Что же ты там видел?

— Я был там две недели. Мы все время ездили.

— Свадебное путешествие? — бросила она насмешливо.

— Нет, — отрезал он. А про себя подумал: ну нет, об этом я с тобой говорить не стану, ты не имеешь права знать это! Это только мое личное; Гана была тогда молода и свежа, щеки ее были румяны, она купила себе большую соломенную шляпу, поля отбрасывали на ее лицо тень, и казалось, что оно прикрыто кружевной вуалью. Олине тогда исполнился год, и они отправились в Италию. Кажется, они были счастливы... Олина... Что делает Олина, что она делает в эту минуту? Может быть, сейчас, именно сейчас, в эту самую минуту Олина плачет, Шернер сказал, что она разошлась с тем странным типом; может быть, его дочь где-нибудь плачет, а он тут развлекается, пьет и слушает музыку, пение этого сладкоголосого итальянского пижона! Ну разве мир не перевернулся вверх ногами?

— Нам, пожалуй, пора домой, Манци.

— Только без меня, сударь.

— Чего тебе еще? Я пригласил его, что тебе еще надо?

— Пусть он подойдет еще раз, — сказала Манци.

Она уперлась подбородком в ладони, и ей удалось перехватить взгляд Джузеппе Панпилоне. Он придет, возьмет ее за руку и уведет в солнечный край.

— Это мерзко, — тянул архитектор Феркодич. — Это мерзко — так кокетничать.

— Он еще и злится! — ответила Манци. Она коснулась пальцем его щеки. — Не злись, папочка!

— Я тебе не папочка!

— А кто? Пупсик?

— Я твой муж. И требую, чтоб ты отправилась домой.

— Хи-хи-хи, — смеялась она, поглаживая его по лицу. — Мой муж! Действительно, мой муж! — У нее чуть не вырвалось: мой бывший муж, моя пересадочная станция, но она сдержалась — неизвестно, как долго он еще ей понадобится.

Архитектор размяк от прикосновения ее руки.

— Идем домой, Манци, идем домой, Маничка!

— Тш-ш-ш! — приложила она палец к его губам.

Джузеппе Панпилоне опять пел. Это было танго, как и полагается, сентиментальное танго. Она схватила Феркодича за руку, это было знакомое, страстное пожатие.

— Пойдем танцевать, пусик.

Архитектор послушно встал, чувствовал он себя при этом неважно, со всех сторон его толкали, но Манци прижималась к нему, дразнила... Он ощущал ее всю, всегда вновь волнующую, а Манци поглядывала из-за его плеча — так она лучше видела Джузеппе Панпилоне и ей было удобно договариваться с ним глазами. Джузеппе допел, а Манци стояла и хлопала, и архитектор Феркодич тоже должен был хлопать, все хлопали, это был настоящий итальянец, новый аттракцион кабаре. Потом они вернулись к своему столику, и Джузеппе Панпилоне действительно подошел к ним опять, на этот раз он выпил две рюмки, архитектор Феркодич тоже выпил, и сразу же этот итальянский хлыщ стал казаться ему симпатичнее, архитектор смотрел только на него и беседовал только с ним. Манци для него словно не существовала; архитектор Феркодич сказал несколько слов по-итальянски, и Джузеппе Панпилоне вылил на него целый поток итальянских фраз, это походило на ближнюю артиллерийскую атаку, архитектор лишь бессильно пожимал плечами. Итальянец оказался веселым парнем и охотно смеялся, смеялся по любому поводу, у него были великолепные зубы, и архитектор Феркодич почти полюбил его, он всегда уважительно относился к иностранцам, а кроме того, на их столик со всех сторон глядели завистливые глаза — они явно имели успех в обществе. Джузеппе Панпилоне как будто бы вовсе не замечал Манци, но все-таки пригласил ее танцевать, он был галантен и сначала поклонился Феркодичу, и Феркодич ничего не имел против того, чтобы

итальянец танцевал с Манци, ведь он такой вежливый и корректный.

И танцевал он словно бы без всякого интереса, элегантно и солидно, не прижимал Манци к себе, и Манци к нему не прижималась, это был элегантный и солидный танец, казалось, они даже не перебросились ни одним словом. И несмотря на это, они успели сказать друг другу все, что надо, хотя оба прескверно изъяснялись по-немецки. Они с удивительной легкостью договорились о свидании на следующий день, и Манци, спокойная, вернулась к своему столу. Ее как будто вовсе не интересовал Джузеппе Панпилоне. Они еще немного выпили, и архитектор Феркодич совсем развеселился, он хлопал певца по плечу и называл его на своем собственном итальянском языке *bene ragazzo*¹ и приглашал провести ночь на его вилле, но *bene ragazzo* элегантно и солидно отказался.

— Замечательный итальянец, — изрек архитектор, раздеваясь. — Итальянцы вообще замечательные ребята.

— Гм-м, — пробормотала невразумительно Манци, она сидела в постели одетая и улыбалась отсутствующей улыбкой. Ей казалось, что она влюбилась. Она уже давно ни в кого не влюблялась, а теперь ей казалось, что ее судьба решена, и ей было немножко боязно.

— Что ты говоришь?

— Слишком слащав для меня, — сказала Манци и притворно зевнула. — Слишком сладкий с этой своей улыбкой...

— Итальянцы вообще слащавые, — заявил назидательно архитектор Феркодич. — Бездельничают и поют сладкие песенки. *Dolce fare niente*². — И тоже зевнул. — Зевота напала. Ну, ложись уже.

Манци была с ним в ту ночь и в последующие дни нежна и мила, и архитектор Феркодич был счастлив, он даже начал замечать, что к нему возвращается молодость, прилив юношеской энергии, он был горд своей нестареющей силой и любил деликатно похвастать этим перед друзьями за карточным столом.

У архитектора Феркодича были неприятности на работе: один из компаньонов уехал в Голландию изучать

¹ Хороший парень (итал.).

² Сладкое ничегонеделание (итал.).

новые строительные материалы и не вернулся. Плохо было не только то, что он там остался; он прислал архитектору Феркодичу открытку с непонятным и неприличным текстом: «Крысы покидают корабль, капитаны остаются до последней минуты. Крысы мудрее».

Раньше архитектор Феркодич струсил бы. К тому же открытка была не единственным фактом, который должен был его напугать. Политическая ситуация складывалась неважно, американцы недостаточно энергично угрожали атомной бомбой, ходили всяческие слухи о возможностях, которыми располагают коммунисты, были введены ограничения для предпринимателей, установлен контроль, организованы какие-то заводские комитеты, ограничено количество служащих. Однако все эти беды были преодолены, его фирма переваливала и через более опасные препятствия. В эти дни воскресшей страсти ничто его не волновало, он не желал, чтобы что-либо волновало его! Его длинный нос лоснился от блаженства, архитектор не брюзжал и всем дарил улыбки, даже старой глуховатой прислуге. У него был солидно поставленный дом, солидные доходы, солидное счастье, он ничего больше не ждал от жизни и хотел, чтобы все оставалось именно так.

Но как раз в эти-то дни ему пришлось уехать на отдаленную стройку. Когда он вернулся, Манци дома не было. Никаких иллюзий не оставалось: шкафы стояли распаханутыми, шкатулка с остатками фамильных драгоценностей исчезла, исчезли и те наличные деньги, которые он хранил дома. Архитектор, взбешенный, с пеной у рта, натыкаясь на двери и мебель, метался по дому. Разбудил Августина Шернера и обрушился на него: «Где Манци, где Манци?» Он готов был схватить Шернера за глотку, словно тот был виновником побега Манци. Шернер глядел на взбешенного архитектора Феркодича и ничего не понимал. И лишь когда вошел вместе с ним в спальню, сразу сообразил:

— Привет! — воскликнул он. — Эта шлюха сбежала!

Не смей так говорить о ней, хотел возразить архитектор Феркодич, это моя жена, не говори о ней так, но, оглядевшись вокруг, упал на стул и закрыл лицо руками.

— Мелодрама по всем правилам, — заявил Августин Шернер. — Налить сливовицы? Сливовицу, надеюсь, она с собой не прихватила?!

Он нашел бутылку и чуть ли не силой влил рюмку архитектору Феркодичу в рот. Архитектор Феркодич застонал.

— Не знаешь, где она может быть?

— Еще рюмки три, — сказал Августин Шернер, — и все будет в порядке. Она все время водила тебя за нос. — Он влил в архитектора вторую рюмку.

— Если б я знал, где она! — страдальчески тянул Феркодич.

— Она спала с каждым, кто ей попадался, — сообщил Августин Шернер. Он чуть было не сказал: и со мной, у тебя под самым носом, но спохватился. — Этакая шлюха! Тебе плясать нужно от радости!..

Но архитектору Феркодичу было не до плясок, из него словно душу вынули, он бродил по опустевшим комнатам и хмурил брови; манящие запахи еще витали в спальне, а в одном из ящиков остался ее старый корсет. И когда архитектор Феркодич закрывал глаза, ему казалось, что она здесь, что она лишь выскочила на минутку к своей хиромантке и вот-вот вернется, свежая, теплая, мягкая и уютная.

Он бродил по комнатам небритый и немывтый, к еде не прикасался и кричал на старую прислугу, если та пыталась проветрить спальню.

— Еще рехнется чего доброго, старый осел, — шамкала старуха.

Три дня архитектор не ходил в контору; он похудел и пожелтел, его лошадиный нос печально повис между запавшими щеками. А к концу третьего дня к нему с криком ворвался Августин Шернер.

— Нашел! — вопил он.

— Что такое? Что случилось? — Архитектор Феркодич смотрел непонимающе и хмуро. Крик обеспокоил его, он ничего не хотел знать о внешнем мире.

— Эта шлюха в Праге, — сказал Августин Шернер. — Удрала с тем певцом.

— С каким певцом?

— С тем итальянцем, Бамбироне или Бимбароне, как его!

— Певец... — припоминал архитектор Феркодич. — Его зовут Панпилоне, а не Бамбироне.

— А мне начхать. И тебе тоже начхать, как его зовут. Твоя козочка удрала с ним и живет в Праге.

Архитектор Феркодич все понял.

— Панпилоне! Такой приличный человек!

— Настолько приличный, что помог ей обобрать тебя. И порядком они тебя общипали?

— Все это пустяки, — сказал архитектор Феркодич рассеянно. — В Праге, говоришь?

— Могу себе представить эти «пустяки», — злорадно усмехнулся Августин Шернер. — И эта шлюха еще хотела меня выставить! Подал бы ты на нее в суд. Ведь это же форменный грабеж!

— Нет, — ответил архитектор Феркодич, — надумал тоже!

Он растерянно оглядывался вокруг, словно искал чего-то. Потом вскочил, ринулся в ванную комнату и начал лихорадочно бриться. Августин Шернер постучал себя пальцем по лбу и отправился за ним.

— Ты что делаешь?

Архитектор Феркодич покосился на него.

— Этот сумасшедший едет за ней! — всплеснул руками Августин Шернер.

И так как архитектор Феркодич ничего не отвечал и лишь отчаянно таращил глаза, Шернер закричал:

— Круглый идиот! — и хлопнул дверью.

И действительно, в тот же день архитектор Феркодич отправился в Прагу. В поисках знакомой афиши он бродил по ночным заведениям и наконец нашел ее — афишу с именем Джузеппе Панпилоне и его портретом. Смуглый певец улыбался белозубой улыбкой, и в кармане пиджака сверкал белоснежный платочек. Негодяй, подумал архитектор Феркодич, негодяй, а казался таким приличным! По дороге он все обдумал и решил, что всему виной этот негодяй итальянец, этот пижон и профессиональный соблазнитель, а Манци — глупенькая, его жертва и нет за ней никакой вины, кроме глупости, и не может быть иной вины, ведь она была так нежна с ним в последнее время!

Джузеппе Панпилоне пел медленное танго, это было, как и полагалось, сладкое и сентиментальное танго. Манци сидела за стойкой бара, архитектор заметил ее сразу, хоть она и сидела к нему спиной. Она пила с какими-то незнакомыми мужчинами. Архитектор Феркодич пробирался среди танцующих, расталкивая их локтями, он чувствовал в себе прилив сил и энергии, он

готов был драться и кусаться, но, когда очутился возле Манци, сразу обмяк.

— Манци! — срывающимся голосом выдал он.

Она обернулась и на какое-то мгновение удивилась:

— Ах, пупсик! Ты уже нашел меня?

— Поедем домой, Манци! Все прощу, вернись!

— Не пойдет.

— Почему же не пойдет?

— Потому что не хочу.

— Нам надо поговорить, — просительно начал он.

— Залезай сюда. — Она указала на табурет рядом с собой. И, заметив, что он колеблется и озирается на ее кавалеров, заявила: — Все это ерунда! Плати за всех, раз уж ты здесь.

Он уселся на табурет у стойки и нервно огляделся вокруг. Все было именно так, как ему представлялось в дороге. Джузеппе Панпилоне и сентиментальное танго! Только Манци была другая.

— Пеппи! — крикнула она бармену. — Четыре больших. Платит этот господин!

— Я приехал за тобой...

— Знаю, знаю, — прервала она. — Ты не можешь без меня жить.

— Правда, Манци. Я как будто задыхаюсь...

— Выпей, — усмехнулась Манци, — может, пройдет...

— Нет. Поедем домой, Манци.

— Этот номер не пройдет, пупсик.

— Но почему? Все будет по-прежнему.

— Я не могу с тобой жить.

— Почему, почему? Из-за него?

Манци проследила его взгляд и помрачнела.

— Из-за этого? Обыкновенный голодранец! Гляди, на нем твоя золотая булавка. Ты бы сходил отобрал. Вот был бы скандалчик!

Она захлопала в ладоши и неприятно засмеялась. Потом вдруг посерьезнела:

— Только ты этого не сделаешь! Вот почему я не могу с тобой жить.

— Почему?

— Потому что ты зануда. Я всю жизнь с тобой прозеваю. Благодарю покорно. Я актриса, понимаешь?

— Я сделаю все...

— Ты добренький, пупсик. Но не создан для любви. Плачь не плачь, но это так. Я-то уж в таких вещах разбираюсь.

Она действительно жалела его в этот момент, но, когда представила себе жизнь с ним, ее передернуло. Она уже не грезила ни о чем, не было больше солнечной страны. Джузеппе оказался обыкновенным голодранцем, он вечно требовал у нее денег, все больше и больше денег, но она вовремя раскусила его, да и в постели он был не бог весть что, сплошное разочарование. Но Манци вновь попала в привычный для нее мир и вдыхала знакомый воздух ночных кабачков, который казался ей ароматом свободы. И возвращаться она не желает! Ни за что!

— Драгоценности ты мне подарил, — сказала она. — Они мои. А денежки — фьють! Может, когда и верну...

— Все это пустяки, — тянул архитектор Феркодич. — Вернись!

— Не морочь мне голову. Выпей за мое счастье, если хочешь. Это все, что ты можешь для меня сделать.

— Манци, — шептал он умоляюще. Он уже понял, что это конец, что она не вернется, но не мог сдвинуться с места, не мог!

— Не скули, пупсик. Смотри не разревись!

— Значит, конец, — сказал он упавшим голосом.

— Хорошо, что ты так понятлив.

Он сполз с табурета, с минуту смотрел на ее обнаженные плечи, они были такими знакомыми, близкими, с нежной россыпью веснушек. Архитектор смотрел на эти плечи и не мог оторваться. В конце концов он перекинул себя...

— Алло, господин! — крикнул ему вслед бармен. — Деньги!

— Ты забыл заплатить, пупсик, — сказала Манци. А когда архитектор заплатил, предложила: — Можешь поцеловать меня, ты всегда был ко мне добр, пупсик.

Он не поцеловал ее, боялся, что не сможет тогда уйти и будет смешон в глазах этих людей. Всю свою жизнь он лез из кожи вон, чтобы выглядеть солидно, и вот на старости лет стал смешон! Он лишь вздохнул и поплелся к выходу.

— Прощай, папаша! — крикнула ему вслед Манци и подняла бокал. Ее кавалеры засмеялись. Джузеппе Панпилоне пел сладкое, сентиментальное танго.

Какая глупая песня, мелькнуло у Феркодича в голове, какая глупая жизнь! Какая глупая жизнь, думал он всю дорогу, какая бессмысленная! Все было отвратительно, ни к чему вся жизнь, вся жизнь...

Всю жизнь он старался что-то приобрести, а теперь все потерял, стоит здесь с пустыми руками, словно нищий. Он, словно нищий, молил о подачке, и ему отказали.

Дома было безрадостно, но и к людям не тянуло, его перестала интересовать работа, и жизнь сразу потеряла смысл. В минуту душевной боли и отчаяния он вспомнил об Олине; это был единственный выход. Он не знал о ней ничего, не знал даже, где она живет, знал лишь, что она разошлась с этим смешным типом, и это давало ему некоторую надежду. Он не хотел довериться Шернеру; он не доверял теперь никому. После долгих колебаний архитектор Феркодич позвонил в редакцию, где работал этот тип. Пусть думает о нем, что ему угодно, но он должен узнать Олинин адрес; впрочем, он на это имеет право, ведь она его дочь.

Этот тип оказался грубияном: узнав, с кем говорит, он повесил трубку. Архитектор Феркодич, однако, не собирался сдаваться, сдать он не мог, он обратился в полицию. И там получил адрес.

9

Олина уже не пыталась достать денег; она боялась, что история с Шернером может повториться, боялась, что потеряет уважение к себе. Она оставила все так, как есть; а раз решив, уже не хныкала, а пыталась устроить свою жизнь по крайней мере сносно. Устроить ее хорошо было невозможно: Олина была загнана в угол; у нее малыш, и она ждет второго, а денег мало. Марек ей кое-что послал и приложил записку в несколько сухих, официальных слов: так как... ввиду того... посылаю... больше не имею возможности... буду стараться ежемесячно...

Она словно видела, как он старательно подыскивает эти холодные слова, и ей было смешно. Но с другой сто-

роны, помощь Марека оскорбляла ее свободу, ее чувство независимости, она с удовольствием вернула бы ему деньги с еще более короткой и официальной запиской. О, она сумела бы составить изящно-оскорбительную записку, но позволить себе этого не могла.

Решив не доставать деньги и отдавшись на волю судьбы, она слегка повеселела; мысль избавиться от ребенка никогда не казалась ей заманчивой, она считала это нечисто плотным, в ней еще жили отголоски строгого воспитания пани Ганы, ее матери. Для морали ее матери аборт был делом, безусловно, нечистым и недопустимым или по меньшей мере чрезвычайно неприличным. Олина повеселела лишь относительно; для веселья не было причин. Она была одна, по целым неделям одна с маленьким Мареком, не с кем словом перекинуться; однажды она поймала себя на том, что завидует соседке, которую каждый день встречала на лестнице, — та вела бесконечные разговоры с привратницей. И тут же она испугалась этой зависти, увидев в ней возможность своего падения; превращусь в домашнюю хозяйку, стану стирать и гладить, стряпать и смахивать пыль, раз в неделю буду ходить в кино и радоваться, если встречу на лестнице привратницу.

На дворе стоял ноябрь, ноябрь с дождем, с бесконечным мелким дождем, город был мокрый и грустный, вытуженный холодным ветром, окна заплаканы; Олина не ходила с малышом гулять, сидела в четырех стенах, словно в тюрьме. Были минуты, когда ей хотелось рыдать. Но самыми тяжелыми были бесконечные вечера. Она укладывала малыша, все было прибрано, вымыто, вытерто, выглажено, делать было уже нечего, читать не хотелось, не хотелось слушать радио, она сидела или лежала, закинув руки за голову, в заплаканные окна ветер швырял мелкий дождь, бесконечный мелкий дождь. Бесконечное одиночество, бесконечная заброшенность. Ей казалось, что так будет всю жизнь, и это были отчаянные, безнадежные мысли и чувства, словно она приговорена к пожизненному одиночному заключению. В такие минуты она не могла думать о будущем, она боялась его. Она понимала: ребенок, который должен родиться, продлит срок заключения, отдаст свободу и настоящую жизнь на неопределенный срок. Олина все чаще думала о прошлом, о давнем, утерянном прошлом, обо всем, что

было до того, как она познакомилась с Лабудой, до того, как ее жизнь так безнадежно запуталась. От той жизни у нее сохранилось несколько фотографий: вот она стоит перед горным домиком и с видом кинозвезды опирается о деревянный столбик у входа; вот она на теннисном корте с ракеткой в руках — улыбка смелая, вид спортивный... Вот фотография с настроением — под березкой, рядом с их старой квартирой, ее делал Валер. Картина должна была изображать заход солнца, последний луч света на ветвях березы и ее золотых волосах, на ее длинных волосах, причесанных под Алиду Валли. Всюду была она, девчонка из другого века, — радостная, смелая, красивая и глупая девчонка, которая любила видеть себя в восхищенных взглядах мужчин, любила свое тело, свои волосы, свою красоту. Она понимала эту девочку, знала о ее безрассудстве, отчаянной смелости, ограниченности и, несмотря на все, любила ее. Она была так молода! Она имела право на все ошибки, на еще большие ошибки; имела право на счастье, даже если оно складывалось из чего-то эфемерного и непостоянного, из того, что серьезные люди считают ничтожным. Она завидовала этой девочке: ей хотелось быть счастливой и глупой, а не такой вот, знавшей страдания, многое пережившей, хотя бы потому, что она знала: это уже необратимо. Та девочка исчезла безвозвратно, исчезла навсегда, от нее остались лишь фотографии и легкие, словно дымка, воспоминания, беззвучные движения, жесты, взгляды — мираж. Но и воспоминания не помогали, и тяжело было возвращаться от фотографий и от воспоминаний к одиночеству; на улице все еще свистел ветер и лил дождь, бесконечный дождь хлестал по мокрым окнам; ничего не изменилось, лишь стало труднее жить.

По утрам она вставала с новой энергией, с решением выстоять. Выстоять перед чем? Об этом она не думала, важно одно — выстоять. Днем ей некогда было задумываться, с ней ее трехлетний Марек. Это уже почти человек. Для своего возраста мальчик был очень понятливым, так ей по крайней мере казалось. (Она знала, что матери слепы, но в данном случае следовало сделать исключение. У нее не слепая любовь, малыш действительно необыкновенный. Она не предполагала, что точно так же думает большинство матерей.)

Маленький Марек был умненький и крепкий мальчуган с широким лбом и каштановыми кудрями, иногда ласковый и милый, но это бывало редко, как исключение из правил, большей же частью упрямый, а порой и вспыльчивый до бешенства, эгоистичный, как все дети, и эгоистичный, как одинокое дитя — лишенное товарищей мамино дитя. Он был непослушен и знал, что ему много дозволено — мать никогда не била его; грозила, уговаривала, но он быстро сообразил, что слова не приносят боли. Первую неделю он спрашивал: где папа? Марека он любил, у папы можно сидеть на коленях и играть с его очками, очки такие интересные, от отца исходило крепкое и волнующее дыхание иного, таинственного мира. Олина отвечала, что он уехал; мальчик успокаивался, дни шли, он забывал об отце и лишь иногда, когда мать укладывала его спать, снова спрашивал: где наш папа, он все еще едет на паровозике? А утром приедет? Она отвечала, как обычно отвечают в таких случаях: да, сынок, утром паровозик приедет, ты хорошенько выспишься, а утром паровозик уже будет тут.

Наутро маленький Марек уже не вспоминал большого Марека, а через некоторое время и вовсе о нем забыл.

Если б могла забыть и Олина! В этом было ее заблуждение: она не освободилась ни от чего. Может быть, потому, что была одна и жила окруженная все теми же вещами. Текли недели, а Марек не уходил, оставался с ней и становился все реальней. Лишь в первый момент после разрыва пришло облегчение, тогда ей казалось, что стало легко и свободно, что она освободилась не только от физического присутствия Марека, но и от духовной связи с ним; но это была лишь иллюзия первых мгновений, пока не прошла вспышка озлобления и ее не обступила пустота. Она не могла покориться и даже самой себе признаться в своей вине: она убеждала себя, что Марек оставил ее обдуманно, что он ждал лишь подходящей минуты и, как только эта минута пришла, воспользовался ею. Но долго лгать себе Олина не могла, с собой она всегда была честна. Кроме того, ее гордость или, если угодно, самолюбие не могло смириться с мыслью о том, что Марек ее бросил, потому что не любит; нет, он был ее мужем и любил ее. В мыслях

она постоянно возвращалась к их совместной жизни и видела ее все более объективной, видела, что бывала невыносима, требовала все и ничего не давала взамен. Но, даже признав свою вину, она не могла покориться, и особенно Мареку, особенно ему, это было бы поражением окончательным и бесповоротным. А Олина не хотела быть побежденной, и это уже была ее гордость вообще, это бунтовала гордость ее любви, в которой она не хотела признаться.

Теперь она прочитывала все его статьи и словно слышала его голос, немного невнятный, как при междугородном телефонном разговоре, и все-таки она узнавала его. Раньше она никогда не читала то, что он писал, ее больше занимала его карьера и деньги, чем его идеалы. Она не проявляла интереса к политике, политика была для нее, как и для большинства людей ее круга, низменной и грязной игрой. Олина не обижалась, когда Марек говорил ей, что она безнадежная мещанка, — это случилось, когда они ссорились из-за денег, — она гордилась тем, что происходит из хорошей семьи, гордилась своей матерью, и уж если моя мать мещанка, думала она потом, не такое это несчастье — быть мещанкой.

Но сейчас, когда она была предоставлена самой себе, когда на каждом шагу чувствовала нехватку и начинала страшиться бедности, теперь, когда она стояла вместе с другими женщинами в очередях, мокла и мерзла в своих дырявых туфлях, когда ей приходилось экономить каждый геллер, придумывать блюда подешевле и ходить в потрепанном пальто, не имея надежды на новое, теперь, когда она сама была «той бедной», Олина научилась видеть острые углы, о которые ударялась, научилась ругаться с продавцами, которые прятали товар под прилавков, и с дамочками, которые приезжали за покупками на служебных машинах. Она выстаивала вместе с другими женщинами в очередях и страдала от дождя и холода, вместе с ними кляла все на свете, а однажды была втянута в драку, и ей разорвали единственную приличную пару чулок. Она плакала и целый день ругала «этих раскормленных свиней», у которых ни стыда, ни совести, они не считаются даже с голодными, истощенными детьми. А потом посмотрела на маленького Марек и невольно улыбнулась. Уж он-то не был ни голодным, ни истощенным, он съедал все, что она ему давала, и выгля-

дел так, словно его заливали молоком и маслом. И все-таки в ней жил протест, протест материнский и женский, у нее рождался новый взгляд на вещи; теперь она уже понимала Марека: он борется за справедливость, за бедных женщин и их детей.

Олина не была убеждена, что путь, выбранный Мареком, единственный, как не была убеждена и в том, что этот путь правилен; но теперь она знала, что Марек считает его и единственным и правильным. Он был всегда так деликатен, а я называла его дураком, думала она; я и тогда понимала, что не смею принуждать его быть иным, а не самим собой, гнаться за деньгами... Она вспоминала его поступки, и он становился ей ближе и понятней, чем тогда, когда жил с ней в одной комнате и спал в одной постели. И все же Олина не думала покоряться — она не могла прийти первая. Иногда она мечтала: они встретились случайно и без слов бросились друг к другу. А иногда ей казалось, что как-нибудь вечером он позвонит, войдет, скинет с себя в передней мокрое пальто и произнесет какие-нибудь обычные слова, словно вернулся из недалекой поездки; вот это ли вень, скажет он, хорошо бы выпить горячего чаю. А потом сядет и возьмет маленького Марека на колени, и мальчик будет играть его очками, а она приготовит чай. Когда-то на их долю выпадали чудесные тихие вечера, в первые месяцы их жизни таких вечеров было много. Сейчас она вспоминала тишину тех вечеров, ту спокойную, добрую и понятную тишину, когда чувствуешь присутствие того, другого, когда можно договориться движением руки, легкой улыбкой. Как все это могло рухнуть? Когда это началось? Почему началось? Почему они вовремя не остановились? Ведь можно же было все как-то разрешить. Ведь это были лишь пустяки, нагромождение пустяков, нагромождение недоразумений, ведь можно же было вовремя остановиться и все понять, почему они вовремя не остановились? Это она не остановилась, она не пожелала остановиться, теперь она это знала, такая жизнь ее не устраивала, она ждала от жизни чего-то большего. А чего она, собственно, ждала от жизни? Свободы! Ей хотелось что-то значить, претило быть прислугой, стирать, гладить, убирать, она не желала ходить в стоптанных туфлях. А действительно ли ей хотелось только этого? Хотелось ли ей свободы? А что,

если бы Марек мог дать ей денег, много денег, и большую квартиру, и уют, и новые туалеты — она и тогда бы стала требовать свободы? Была ли она справедлива, честна с собой?

Теперь у нее достаточно времени, эти бесконечные вечера с нескончаемым дождем, у нее достаточно времени для размышлений, и все начинает понемногу проясняться, она начинает понимать, почему Марек называл ее мещанкой и что он этим хотел сказать. Бывали минуты, когда она признавалась себе во всех ошибках, и, если б в такую минуту каким-то чудом появился Марек, она бы честно сказала ему об этом. Но она знала, что сама к нему не пойдет, не сможет ему поклониться, потому что любит его — именно потому, что любит! Олина почему-то верила, что и Марек относится к ней хорошо, что и с ним происходит то же самое, что с ней, что он тоскует, что он вернется — он не может не вернуться. Иногда ей казалось, что Марек действительно уехал в командировку и она ждет его возвращения; тогда она чувствовала себя не такой забытой.

В один из таких бесконечных дождливых вечеров в дверь кто-то позвонил. Олина кинулась открывать. За дверью стоял отец. Со шляпы и плаща стекала вода, на длинном носу повисла капля, эта капля делала его таким беспомощным, что Олина не смогла захлопнуть дверь.

— Это ты! — сказала она разочарованно.

— Наконец-то я нашел тебя, — ответил отец. — Я уже совсем отчаялся.

— Отчаялся? — усмехнулась Олина. — С чего бы это вдруг?

— Разреши войти.

Она отошла от двери. Отец снял плащ, повесил шляпу, с любопытством огляделся.

— Так вот, значит, как ты живешь...

— Входи. Только тихо!

Он вошел на цыпочках и, оглядевшись с тем же любопытством, остался, видимо, недоволен. Он думал увидеть бедную каморку, нищенскую конуру и войти в нее как спаситель, но жилище Олины не имело нищенского вида.

— Здесь тесновато, — заметил архитектор Феркодиш. Олина пожала плечами.

— Это он? — показал архитектор на кровать и сделал движение, чтобы подойти, но Олина загородила ему дорогу.

— Пожалуйста, без сантиментов. Ах, он склонился над постелькой обретенного внука! Не терплю паясничанья!

— Я хотел только взглянуть на него, — растерянно ответил архитектор Феркодиш. Он опустился в кресло, в котором обычно сидел Марек, и Олина чуть не крикнула: не садись, ты не имеешь права здесь сидеть!

— Зачем ты пришел? Быстро и потише!

— Я уже стар, — ответил архитектор Феркодиш.

Олина не помогала ему. Она стояла возле окна и не смотрела в его сторону. Отец был жалок, и Олина боялась, что вдруг она расчувствуется.

— Я отчаянно искал тебя, — повторил архитектор Феркодиш.

— Все эти годы?

— Последние недели. Ты нужна мне.

— Утешать твою старость?

— Я одинок, дочка. — У него задрожал голос, он действительно был расстроен.

Олина закусил губу.

— А твоя услада? Что с твоей усладой?

— С ней все кончено. — Он колебался. А что, если рассказать ей, что произошло? Может быть, это вызовет у дочери сочувствие. Но тут же он отказался от этой мысли, Олина высмеет его.

— Вот как, — усмехнулась Олина. Она уже не жалела его и не боялась, что пожалеет. — Теперь ты ищешь новую усладу?

— Я обидел тебя. Все эти годы я думал об этом.

— Ты мог хотя бы послать мне мои вещи, — раздраженно бросила Олина. — Если уж ты так много думал обо мне...

— Я боялся, что ты откажешься. Ты всегда была со мной... — он с минуту подыскивал слово, — немного не приветлива.

— Лжешь, — ответила Олина и отвернулась от окна. Он избегал ее взгляда. — Ты не думал обо мне. Ты о себе думал. Ты всегда лгал.

— Мы могли бы все забыть. Что было, то прошло. Я пропащий человек, доченька.

— Оставь эти нежности при себе. Они могут тебе еще пригодиться.

— С этим уже все кончено, — пробормотал архитектор Феркодич. — Я стар и одинок. И ты одинока.

— Это мое дело.

— Тебе трудно. А у меня тебе будет хорошо.

— Найди себе другое утешение.

— Ты моя дочь. Ты мне ближе кого бы то ни было. У меня тебе будет хорошо. Ты ни в чем не будешь нуждаться.

— Благодарю вас, благородный отец!

— Подумай о ребенке. И ребенку там будет хорошо.

Олина думала о маленьком Марекe, думала и о ребенке, который должен родиться, она думала обо всех трудностях, которые ей предстоят, и знала, что у отца ей действительно будет лучше, жизнь там будет удобней, да и оставаться у отца навсегда вовсе не обязательно, можно лишь отдохнуть, а ей так нужен отдых! Не надо будет стоять в очередях и вечно дрожать: «А что с маленьким Марекoм? Ведь он дома один!» Не придется стирать, гладить и убирать! Такая жизнь ее устраивала, но она не могла вернуться туда. Она взглянула на отца: он отвратителен, она не сможет жить в этой лжи, лицемерии, грязи! Нет, не сможет, не сможет!

— Я о нем и думаю, — ответила Олина.

— Сжался надо мной, Олина! Ведь я твой отец!

Боже мой, он сейчас бросится на колени!

Архитектор Феркодич действительно сделал движение, словно собирался соскользнуть с кресла, но передумал.

— Смотри не пожалей, — заявил он с некоторым неудовольствием. Она всегда была жестока, подумал он.

Он уже понял, что явился напрасно, и, пожалуй, сожалел об этом. С дочерью он давно не видался и забыл, какая она, а сейчас снова убедился, что спокойно жить рядом с ней невозможно, возникнут всяческие осложнения, она недостаточно солидна, она вспыльчива, нерасчетлива и никогда не любила его.

— Это все? — холодно спросила Олина.

— Смотри не пожалей. Как бы тебе не пришлось прийти с поклоном.

— Скорее умру.

Он поднялся с кресла, собираясь уходить.

— Я не думал, что ты такая. У тебя каменное сердце.

— Уходи поскорее.

В передней архитектор промямлил:

— Чем я могу помочь тебе?

— Пришли мне мои вещи.

— Не знаю, получится ли это...

— А почему это может не получиться?

Не мог же он сказать, что ее вещи исчезли, что их присвоила другая женщина, а потом они исчезли.

— Я попытаюсь...

— Что ж, попробуй, — ответила Олина твердо. — Это вещи мои, они остались после мамы, и я хочу их получить.

Архитектор Феркодич только головой покачал — до чего же каменное сердце, как можно жить с таким каменным сердцем? Но ничего не сказал, он уже начал сердиться на Олину и боялся, что вспыхнет ссора, а он хотел, чтобы все оставалось в рамках приличия.

— Разреши мне оставить тебе денег.

— Я в твоих деньгах не нуждаюсь, — ответила Олина. — Пришли мне мои вещи.

Архитектор Феркодич оделся, он был жалок в своем промокшем плаще; еще раз взглянул на дочь, но она сурово смотрела куда-то поверх его головы.

Он ушел. Олине казалось, что ее охватит жалость; всегда после резких решений к ней приходит чувство неуверенности, неясных сожалений. Но сейчас жалости не было: она гордилась собой, она обрела свободу, настоящую свободу, завоевала ее и утвердила!

10

Августин Шернер правильно использовал момент: сейчас на верности можно нажить капитал. Он покончил с неопределенностью и неясностью, выбрался на яркий свет и очутился совсем близко к тем, кто вершил судьбы.

Он мог каждый день видеть великого деятеля, почти отца народа; мог заглянуть и заглядывал за кулисы политики, а его телефонные разговоры шли только под

грифом «молния». Все эти недели у него было такое чувство, будто земля стала вертеться быстрее. Круговорот событий, шум, взметнувшийся в вихре воздух; ему казалось, что все это отдается в его барабанных перепонках. Если бы такое выражение не звучало банально, он сказал бы, что мчится на карусели, но даже такое бешеное движение не мешало ему помнить, что он поэт.

О, это были отличные недели, великолепные недели, наконец-то настоящая жизнь, а не существование; не прозябание, а быстрый взлет, орлиный, соколий, поэтический взлет. Он всегда умел приспособляться, но быстрота, с какой он проделал это на сей раз, была неповторимой! Он стал необходим и в меру загадочен: он знал все, знал, кто что сказал, кто что думает и кто что предпринимает. Наконец-то он смог увидеть шахматную доску политики с нужной высоты; фигур он, правда, не передвигал, но видел, как их передвигают. Августин Шернер располагал наисвежайшими сведениями из пражского парламента и пражского политического мира, а также из Лондона, Вашингтона и Парижа, как если бы эти сведения поступали из Наместова или из Снины; у него было чувство, будто он уже начал понимать, что движет миром и способствует его покорению. Сама идея — демократия, благородство, гуманность, — которая еще несколько дней назад его вдохновляла, потускнела и померкла; это были лишь фразы, предназначенные для толпы; он очень быстро почуял, что произносить подобные фразы в новой среде бестактно и даже, пожалуй, смешно. Сейчас не было времени для словоизвержений; сейчас были нужны мужи дела, сильные мужи, которые шли к власти. Они сплотились в едином строю и временно отступили, готовясь к атаке. Все было как на войне, да это и была война. О, эти мужи были очень далеки от сантиментов, от гладеньких слов, их слова были насквозь практичны и предшествовали действиям. Внешне они ничем не выделялись и выглядели вполне обыденно. Они носили пенсне или очки, у них были двойные подбородки и широкие лысины. Но их нутро было из гремющей стали и набатной меди. Августин Шернер услышал этот звук. Он хотел стать таким же, как эти люди. Может быть, некоторые из тех, кто стоял у кормила, предчувствовали конец; но если даже и так, то виду не подавали. Все держались оптимистично, бодро

и решительно. И Августин Шернер не вникал в суть; он был человеком поверхностным; кажущееся он принимал за действительность — в том случае, конечно, если ему это было удобно. Августин Шернер чувствовал себя оптимистично: он верил в Черчилля, и в атомную бомбу, и в перевес оружия Запада, и в искусство западной дипломатии, и во внутренние ресурсы объединенной демократии — верил во все, ибо верил в свое будущее, в свою звезду. Он был убежден, что раз и навсегда связал свое будущее с будущим демократии, и пока все было в порядке; он ни разу не усомнился в этом крепчайшем союзе. А впрочем, о будущем он не думал, а, скорее, предчувствовал его; у него было слишком много работы, продвижение его было слишком стремительным, он не мог ни остановиться, ни оглядеться. Августин Шернер был человеком культурным, а у партии культурных людей не хватало: он должен охранять Идею от множества наскоков и опасностей — ведь мир так развращен! Он огорчился, прочитав в газете о некоем коммунисте профессоре, который в своей лекции в университете заявил, будто существует лишь разум и нет никакой души — какая недалёковидность, какая провокация против христианской нации, и это за государственные-то деньги!

Августин Шернер охранял чистоту нравов, он напал на некоего Б. Травена за то, что тот употребляет слово «сброд» в связи со словом «христианин», а также выступил против применения слова «саббоне». Он был категорически против всякой грубости, против «еврейских и коммунистических вымыслов» и упорно хранил свою «чистую, незапятнанную» душу словака-крестьянина. Он многого не понимал и считал материализмом все, что казалось ему вульгарным и грубым, — даже непристойные выражения. Необходимо было удерживать позиции партии — от культуры до церковных владений; Августин Шернер считал, что его фронт — культура; ее он считал одним из главных участков борьбы. Его деятельность отмечали, его хлопали по плечу, в нем нуждались. Но были очень далеки от того, чтобы считать его таким необходимым, каким считал себя он сам. Культура тоже пошла в сражение, которое приближалось к своему апогею, но, увы, исход решался на другом фронте. Церковь еще раз напрягла все силы. Пражский нунций

Ксаверий Риттер предал безбожников анафеме и призвал на помощь историю: «Никогда не было благословенно имущество, изъятое у церкви; народ, который сознательно обирает церковь, призывает на свою голову лишь новые беды, он будет предан анафеме!» Но христиане, землепашцы из-под Татр, как это ни странно, не побоялись анафемы, вырвали землю у архиепископа и уцепились за нее, рискуя навлечь на себя адские муки и вечное проклятие, геенну огненную. Они сразу перестали бояться и бросились на священную землю, словно гнусные кровожадные хищники. Будьте прокляты, будьте прокляты! Проклятия вылетали из глубины души нунция, синклит епископов, потупив очи, тоже бормотал проклятия, свои собственные проклятия за свои собственные владения — за леса, и луга, и поля, за родники, ручьи и реки, за землю, которая зашаталась под их ногами. Будьте прокляты! Что стало с этим покорным народом? Ох, как видно, всегда дремала в нем разбойничья душа! Народ выскользнул из их рук. Будьте вы прокляты! Церковь потеряла все, кроме силы, вложенной в проклятия, но и проклятия не оказывали действия. Церковь почувствовала себя гонимой, позорно преданной и одинокой. Она грозила возмездием, божьим возмездием! Все в руках божьих! Она хотела внушить веру в божье возмездие, в огненный меч; но меч огненный не сверкнул. Это было поражение, и мудрые отцы церкви все поняли: бунт против порабощения и против ужасов ада, победа земной корысти. Это уже не отступление, а поражение, злое предзнаменование на будущее. Но церковь не сдавалась. Бог злопамятен, а церковь сильна и вечна.

Устои пошатнулись. Землепашец, душа народа, его корень, скала, на которой зиждется крепость, сделался вдруг непонятным, многоликим, беспокойным. Его перестали завлекать слова. Ему льстили, нежно убеждали: «...как бы не пришлось тебе со слезами на глазах оставить отчизну...» Но слова уже не имели власти. О земледелец, ты неблагодарен: ты веришь лишь аромату скошенной травы, зернам на ладони, теплоте духу полных закромов. Все прочее для тебя — плевал на ветру.

Было немало признаков наступающего поражения: многие видели их. Почти отец народа говорил: «Мы

и решительно. И Августин Шернер не вникал в суть; он был человеком поверхностным; кажущееся он принимал за действительность — в том случае, конечно, если ему это было удобно. Августин Шернер чувствовал себя оптимистично: он верил в Черчилля, и в атомную бомбу, и в перевес оружия Запада, и в искусство западной дипломатии, и во внутренние ресурсы объединенной демократии — верил во все, ибо верил в свое будущее, в свою звезду. Он был убежден, что раз и навсегда связал свое будущее с будущим демократии, и пока все было в порядке; он ни разу не усомнился в этом крепчайшем союзе. А впрочем, о будущем он не думал, а, скорее, предчувствовал его; у него было слишком много работы, продвижение его было слишком стремительным, он не мог ни остановиться, ни оглядеться. Августин Шернер был человеком культурным, а у партии культурных людей не хватало: он должен охранять Идею от множества наскоков и опасностей — ведь мир так развращен! Он огорчался, прочитав в газете о некоем коммунисте профессоре, который в своей лекции в университете заявил, будто существует лишь разум и нет никакой души — какая недалёковидность, какая провокация против христианской нации, и это за государственные-то деньги!

Августин Шернер охранял чистоту нравов, он нападал на некоего Б. Травена за то, что тот употребляет слово «сброд» в связи со слвом «христианин», а также выступил против применения слова «сабгопе». Он был категорически против всякой грубости, против «еврейских и коммунистических вымыслов» и упорно хранил свою «чистую, незапятнанную» душу словака-крестьянина. Он многого не понимал и считал материализмом все, что казалось ему вульгарным и грубым, — даже непристойные выражения. Необходимо было удержать позиции партии — от культуры до церковных владений; Августин Шернер считал, что его фронт — культура; ее он считал одним из главнейших участков борьбы. Его деятельность отмечали, его хлопали по плечу, в нем нуждались. Но были очень далеки от того, чтобы считать его таким необходимым, каким считал себя он сам. Культура тоже пошла в сражение, которое приближалось к своему апогею, но, увы, исход решался на другом фронте. Церковь еще раз напрягла все силы. Пражский нунций

Ксаверий Риттер предал безбожников анафеме и призвал на помощь историю: «Никогда не было благословенно имущество, изъятое у церкви; народ, который сознательно обирает церковь, призывает на свою голову лишь новые беды, он будет предан анафеме!» Но христиане, землепашцы из-под Татр, как это ни странно, не побоялись анафемы, вырвали землю у архиепископа и уцепились за нее, рискуя навлечь на себя адские муки и вечное проклятие, геенну огненную. Они сразу перестали бояться и бросились на священную землю, словно гнусные кровожадные хищники. Будьте прокляты, будьте прокляты! Проклятия вылетали из глубины души нунция, синклит епископов, потупив очи, тоже бормотал проклятия, свои собственные проклятия за свои собственные владения — за леса, и луга, и поля, за родники, ручьи и реки, за землю, которая зашаталась под их ногами. Будьте прокляты! Что стало с этим покорным народом? Ох, как видно, всегда дремала в нем разбойничья душа! Народ выскользнул из их рук. Будьте вы прокляты! Церковь потеряла все, кроме силы, вложенной в проклятия, но и проклятия не оказывали действия. Церковь почувствовала себя гонимой, позорно преданной и одинокой. Она грозила возмездием, божьим возмездием! Все в руках божьих! Она хотела внушить веру в божье возмездие, в огненный меч; но меч огненный не сверкнул. Это было поражение, и мудрые отцы церкви все поняли: бунт против порабощения и против ужасов ада, победа земной корысти. Это уже не отступление, а поражение, злое предзнаменование на будущее. Но церковь не сдавалась. Бог злопамятен, а церковь сильна и вечна.

Устои пошатнулись. Землепашец, душа народа, его корень, скала, на которой зиждется крепость, сделался вдруг непонятым, многоликим, беспокойным. Его перестали завлекать слова. Ему льстили, нежно убеждали: «...как бы не пришлось тебе со слезами на глазах оставить отчизну...» Но слова уже не имели власти. О земледелец, ты неблагодарен: ты веришь лишь аромату скошенной травы, зернам на ладони, теплему духу полных закромов. Все прочее для тебя — плевел на ветру.

Было немало признаков наступающего поражения: многие видели их. Почти отец народа говорил: «Мы

останемся верными правде словаков, правде демократии». Другое значительное лицо спрашивало, спасем ли мы демократию. Куда девался былой задор — в речи заползала ностальгия. И тем не менее их партийная машина была основательно подмазана, она мчалась вперед, не сбавляя хода, не зная границ. Секретариаты и секретари, председатели, области и районы, крупные торговцы и кожевники, пильщики и строители, епископы и епископство, каноники и деревенские священники, спекулянты и беглые убийцы — все трудились во славу партии; свет не сошелся клином на Шумаवे, он простирался и за Шумаву, там был большой, сильный мир. Были и связи, и обещания, и вечная надежда, что впереди еще решительный удар! А главное — им казалось невероятным и нереальным, будто их в состоянии поглотить масса, безликая толпа, сброд, отребье, заросшее и грязное, пришедшее из неизвестности. Они были столь высокомерны, так часто принуждали толпу к покорности, что не могли поверить в свое поражение.

Машина была хорошо смазана и мчалась вперед. Инода она, правда, скрипела, и кое-кто слышал это. Но Августин Шернер не слышал ничего, он был слишком занят собой, своей головокружительной карьерой. Он смаковал свою значительность, он излучал блаженство, силу и поглощал их вновь. Он был добр, сердечен и ласков, а если надо, то благосклонен. Он был убежден, что в нем родилось какое-то особое, лишь ему свойственное благородство. Он не понимал, что достиг своего потолка. Ему казалось, что он еще поднимается: дорога вверх была свободна, а конец ее невидим. Там он видел лишь сияющее солнце. Даже если небо было в тучах, голова его вздымалась над облаками. Это была та полнота счастья, на которую способна только духовная ограниченность. Все ему удавалось, он все мог, а конца взлета все еще не было. «Выше, еще выше, мой волшебник» — как в классических стихах. Он был настолько самоуверен, что готов был простить даже своих врагов коммунистов. Он прощал им потому, что они были убоги, а он намного выше их. Он видел всю грязь закулисной игры и не боялся сунуть туда руки — другого выхода не было; он был убежден, что грязь его не коснется.

У него, вероятно, хватило бы сил оценить себя и увидеть обман, но, увы, не хватало времени. Подсознатель-

но он старался и не иметь его: на ночь принимал сновторное, а день заполнял беготней и шумом.

Партия устраивала большой бал в «Редутах»; он, Августин Шернер, один из главных устроителей, был весьма респектабелен. В новом двубортном черном костюме из отличного материала, с новой улыбкой под великолепно подстриженными усиками. Улыбка теплая, добродушная и разве что самую малость высокомерная. Он встречал высоких гостей; кланялся, был мил, обходителен, лъстив. Он был знаком еще не со всеми, не знал, например, людей второстепенных, но инстинктом, который в нем чудесно развивался, умел отличить крупного коммерсанта от предпринимателя помельче и от совсем маленького провинциального функционера. Он был в отличной форме и знал это; он нравился, и это его вдохновляло. Бал был, казалось, в его честь, в его честь были огни и тонкий аромат, он вытянул счастливый жребий. Августин Шернер танцевал мало, дам выбирал осторожно — не мог же он ронять свое только что приобретенное достоинство. Здесь были дамы и девицы из старых добрых семей; были здесь дамы и девицы из новых, но богатых семей. Круг замкнутый — не так крепко замкнут, как когда-то, но все-таки замкнут: народная аристократия. Августин Шернер был человеком новым, совсем новым и еще малоизвестным. Но был он человеком недюжинным и верил в себя, он знал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы проникнуть в этот замкнутый круг, единственно подходящий момент, который не скоро может представиться; и он знал, что в этот круг проникнет. Он был уже в летах, поиграл и хватит: никаких «Вильма, люби меня», никаких бедных машинисточек и легкодоступных женщин, нужно воздвигнуть храм жизни, крепость, свить солидное гнездо. Он все время приглашал танцевать молоденькую девушку, длинную, тощую и костлявую. Она была наследницей большой мельницы. Это Августину Шернеру импонировало: крупный землевладелец, крупный торговец, крупный мукомол; это звучало сильно и благородно. (Дома, в его родной деревне, была лишь маленькая мельница, колесо ее поросло мхом и вздыхало при каждом обороте. А большую мельницу он видел лишь издали из окна автомобиля, она выглядела импозантно и величаво, словно крепость, крепость современного предпринимательства.)

Августин Шернер делал тощей девушке комплименты, восхищался ее глазами. Они действительно привлекали внимание, темные, глубокие, испуганно-грустные. Девушка молчала и робко улыбалась. Но Августин Шернер был великолепен, он говорил и говорил, говорил красиво и безостановочно, говорил о себе и своих надеждах, о том, как надо завоевывать мир, о радости завоевания. Не забыл заметить также, что он поэт и что принес себя в жертву: обычно это действует на юные сердца. Он сообщил ей об этом доверительно — пусть это останется между нами. Августин Шернер не очень-то доверял склонности папы-мельника к поэзии.

Когда Шернер отводил девушку к ее столу, кто-то крикнул ему вслед:

— Гляньте-ка на этого козерога!

Он обернулся: то был Паулинда. Паулинда сидел в большой компании, пьяный, с красной физиономией, и тараторил глаза на Августина Шернера.

Августин Шернер нахмурился, но тут же снова расплылся в улыбке. Он сделал вид, что эти слова к нему не относятся, проводил девушку к столу и с минуту постоял там. Пани мельничиха улыбнулась ему золотым ртом, она была худа и костлява, лицо обсыпано толстым слоем пудры, руки унизаны кольцами. Когда он возвращался, за его спиной снова раздался крик Паулинды:

— Гляньте-ка на этого козерога!

Августин Шернер подошел к его столу и улыбнулся. Надо быть великодушным к людям, которым не повезло.

— Пойди сюда, ты, пижон,— икнул Паулинда.— Пади на мою грудь!

— Тише,— попросил Августин Шернер. Он опасался скандала и сел. Здесь же был и Почина — поэт. Когда-то он был его другом и предметом поклонения. Почина был чисто выбрит и даже в галстук. За столом сидели молодые люди и веселые девицы.

— Выпей, ты, пижон! — весело орал Паулинда. — Выпей, вонючий мужик!

Паулинда издал Травена, которого Августин Шернер из христианских побуждений отрицал.

— Не так громко,— сказал Августин Шернер и испуганно оглянулся. — А эту дрянь тебе издавать не следовало.

Паулинда захохотал:

— Я всегда знал, что в тебе дремлет тонкая, delicate душа.

Заиграла музыка. Шернер приподнялся, собираясь уйти. Но Паулинда прижал его к стулу.

— Сиди! Ты среди старых друзей. Разве тебе плохо со старыми друзьями? — Он обернулся к Почине. — А ты, кажется, хотел ему кое-что сказать?

Почина сидел прилично и скромно, с неподвижным лицом, вперив черные насмешливые глазки в Августина Шернера. Августина Шернера охватил страх.

— Ты свинья, Шернер, — внятно сказал Почина. — Паршивая свинья и предатель!

— Хо-хо-хо, — ржал Паулинда. — Получай!

— Это необоснованно, — ответил Августин Шернер. — Необоснованное оскорбление.

— Необоснованное! — хохотал Паулинда.

— Ты мразь и гнусная крыса, — продолжал Почина, и лицо его осталось неподвижным. Колющие черные глазки горели от злобной радости. — Счастье еще, что тебе скоро заткнут глотку.

Августин Шернер снова попытался подняться, но Паулинда не пустил его.

— Я прикажу вас вывести, — испуганно промямлил Августин Шернер.

— Счастье еще, что вам скоро заткнут глотки, — повторил Почина с каменным лицом.

— Меня не запугаешь, — ответил Августин Шернер. Хорошее настроение его покинуло, люстры померкли, и музыка отдалилась.

— Хо-хо-хо, — ржал Паулинда. — Он, голубчик, воображает, что его запугивают. Да ведь он тебя, миленький, не пугает! Ты же сидишь на подпиленной ветке, осел!

Августину Шернеру удалось все-таки встать.

— Я прикажу вас вывести! — воскликнул он и стал пробираться среди танцующих.

— Хо-хо-хо, — хохотал Паулинда. — А неплохо мы его разыграли!

Августин Шернер пробирался среди танцующих, люстры померкли, и музыка звучала где-то далеко. Он распорядился, чтобы дежурные вывели этих грубиянов. И смотрел из угла зала, как их выводят. Музыка уже не играла, и они толпой шли через зал, не выказывая ни ма-

лейших признаков огорчения. Впереди шагал Почина, шествие замыкал Паулинда, он озирался по сторонам:

— Хо-хо-хо, ну и разыграли мы тебя, Шернерчик! Голубчик, куда ты спрятался?

А потом все стало на свои места. Это был лишь коротенький эпизод, о котором надо поскорее забыть. Мразь. Завидуют, и все. А он стоит выше и этой зависти, и этой грязи, он опять чист и благороден, и улыбается и, пожалуй, прощает в душе этим ничтожествам. Снова гремела музыка. Люстры сверкали. Председатель заметил его, поманил пальцем и чокнулся с ним. «За счастливое будущее, молодой человек! Да прокормит тебя словацкий бог!» Когда он подошел пригласить на танец наследницу мельницы, девушка вспыхнула и невольно протянула к нему руки, черные глаза стали мягче и доверчивей. Люстры сверкали, и музыка гремела. О чем мы говорили? Ах, да, жизнь надо завоевать. Смелость и великодушие. Орлиный взлет. Отвага и сила, великолепное чувство силы в развернутых плечах. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вы слушаете меня? Да, она слушала его, он казался ей таким, каким хотел казаться. Ничто не пропало даром, все вело его к этой минуте и минутам, которые придут за этой, ничто не пропало даром. Люстры сверкали, и музыка играла. Августин Шернер блистал в свете люстр и уносился в ритме танца. Все хорошо. Все идет своим чередом. Все именно так, как должно быть, солидно, с глянцем благополучия, прочно и надежно, и он в центре этого прочного и надежного мира. И все-таки ему вдруг почудилось, что он слышит смех Паулинды: «Хо-хо-хо, а неплохо мы тебя разыграли!» Это был грубый, опасный, угрожающий смех, он высмеивал сияние люстр и добрый, ленивый ритм музыки, высмеивал танцующих, высмеивал прочное, надежное благополучие.

— Мразь, — пробормотал Августин Шернер и сделал рукой движение, словно хотел отереть пот со лба, но лоб был сухой, ему лишь казалось, что он потный.

— Что вы сказали? — спросила наследница.

— Нет-нет, ничего, ничего, дорогая крошка. А как вас, собственно, зовут, крошка?

— Я не такая уж крошка, — ответила она стыдливо и покраснела, а потом сообщила, что зовут ее Аничка.

— Ну конечно же, Аничка, — заметил Августин Шер-

нер, — как вас еще могут звать? Крошка Аничка! И все-таки вы крошка! Когда вы краснеете, вы свежи, словно лепесток розы поутру, поутру... что я хотел сказать? Ах, да, лепесток розы с каплей росы, понимаете, крошка?

Музыка играла, благопристойный танец уносил Августина Шернера, он скользил, и не останавливался, и купался в свете люстр, не останавливался, не думал о неприятном, отбросил все неприятные мысли, он всегда находил в себе силу отбрасывать неприятные мысли. Они были ему ни к чему, а следовательно, их и не было.

— Ах, братец, я больше не могу!

Гела стояла в кабинете и вытирала жирные руки о фартук, глаза ее жалобно косили.

— Что не можешь?

— Они надо мной... — сказала Гела и шмыгнула носом, словно собиралась расплакаться, но удержалась. — Они надо мной смеются. — И она закусила губу.

— Кто над тобой смеется?

— Ах, братец, этот старый повар сам грязный, и язык у него грязный, что ни слово, то грязь, невозможно выдержать, и приличной работы мне никогда не дают, я только посуду мою да картошку чищу, а они смеются надо мной да грязно бранятся!

Лабуда сердито сдвинул брови, смотря в сторону, стараясь не видеть девушки — слишком много жизни и молодости было в ней.

— Я тебя предупреждал, что здесь за жизнь.

— Он хочет выгнать меня.

— Не выдумывай. Как он это сделает?

— Я ему сказала, что он ворует.

Лабуда поднял голову и посмотрел на Гелу, лицо ее горело, волосы выбились из-под платка.

— Милая моя, — сказал он и невольно улыбнулся. — О таких вещах не говорят.

— Но ведь он ворует! Он грязный бандит.

— Я тебе говорил, что надо уйти, — настаивал Лабуда.

— Значит, тебя это не интересует? — искренне удивилась Гела. — Я говорю тебе, что он ворует. Я видела.

Жир, сахар, кофе. Все, что под руку попадает, все загребает. И тебе все равно?

Он с минуту смотрел ей в глаза. Потом угрюмо опустил голову, не выдержав взгляда.

— Почти, — ответил он.

— Тебе безразлично, что тебя обкрадывают?

— Ей-богу, — воскликнул Лабуда, — я даже не знаю, должно ли это меня беспокоить!

Но он знал, знал отлично, что ему до этого и впрямь нет дела, ему это действительно безразлично. Он сидел здесь из глупого упрямства, и все ему было противно — счета, и вечный запах кухни, и сплетни персонала, и мелкое надувательство, и ночные вопли, и облавы, — все ему было противно, от всего этого он с удовольствием сбежал бы, но по непонятным причинам оставался и топтался на одном месте. Может быть, у него не хватало смелости разрубить этот узел? Иногда он начинал внушать себе, что не уходит потому, что хочет помочь Геле и ее семье, но знал, что это не совсем так, что тут что-то неясно и не так чисто, как он себе внушает. Поэтому-то ему и не хотелось смотреть девушке в глаза.

Гела всплеснула руками:

— Ты сумасшедший, братец. Как ты можешь? — Она смешалась и еще больше покраснела. — Я не хотела... — пробормотала она жалобно, — но этот старик общипал тебя, как гуся!

— Знаешь что... — сердито заявил Лабуда, — ты больше не вмешивайся. Это тебя не касается.

— Ладно, братец.

— И ступай на кухню.

— Хорошо.

Правый глаз косил в его сторону, она была пристыжена и оскорблена, а он, поймав ее взгляд, рассердился на себя: глупо получилось, она еще совсем ребенок, а я ее обижаю. Ему хотелось удержать ее, сказать ей ласковое слово, но, пока он раздумывал, девушка исчезла. В последнее время все стало как-то слишком сложно и глупо запуталось. Почему бы? Может быть, он стал чересчур чувствительным, слишком много было у него свободного времени? Раньше он жил словно в тумане, видел лишь контуры вещей, вещи не имели определенной формы, расплывались, словно при быстрой езде на авто-

мобиле, а сейчас он двигался уже не с такой скоростью, он вовсе не двигался, и свободного времени у него было слишком много. И он увидел то, чего раньше не замечал. Мелочи, из которых складывается медленная и неподвижная жизнь; взгляды, чужие судьбы; маленький мир вокруг него стал необъятной вселенной, сложной и запутанной, и, что невероятнее всего, он вбирал его в себя, ждал его участия и сочувствия. Иногда он страшился того, что малые, а подчас и мелкие вещи становятся для него значительными, а большие — бесконечно далекими, чужими и опасными. То, что он всегда считал слабостью, растительной, никчемной жизнью, навалилось на него и прижало. Чем дальше, тем сильнее. У него не было желания бороться со сладкой ленью такого существования; иногда он ловил себя на том, что радуется своему маленькому мирку (это была дружба с Козой и воспоминания, Гела и ее семья и неясная мечта о горах); больше у него не было никаких желаний, никакой борьбы, никакого движения. Покой, тишина, тишина пенсионера, скамеечка, осеннее солнышко, ветка березы — в общем, человек без желаний. Потерпевший кораблекрушение. Тишина, тишина. Конечно, это был самообман, он не мог жить без страстей, тишина была обманчивой, под ней бушевали страсти. Главное, у него уже не хватало смелости для ошибок. Что у него в таком случае останется? Ох, эти страшные мысли! И откуда они берутся? Гела, бедняжка, за что я ее обидел? Лабуда поднялся и зашагал по комнате, со злостью ударяя палкой об пол. Он нерешительно выбрался из комнаты, прошел через кафе, спустился в кухню. Гелу он увидел сразу. Она сидела в уголке и плакала, плакала, и слезы падали на картофельные очистки. Повар стоял спиной к дверям и что-то помешивал, и вдруг он повернул голову, сразу почувствовав за собой кого-то. Лабуда увидел широкую сальную физиономию, отвратительную, грязную! Как он не замечал этого раньше? Лабуда сделал несколько шагов по направлению к нему, и повар непонимающе уставился ему в лицо, глазки у него были маленькие, слезящиеся, а в глазках страх.

— Пан шеф! — крикнул он. — Пан шеф! — и закрыл локтем лицо.

Лабуда удивился, почему этот человек так кричит. Он и сам не знал, что поднял палку для удара, и, лишь

увидев испуганные глаза повара, заметил свою палку, готовую нанести удар.

— Послушайте, — сказал он хрипло, — послушайте, еще одно грязное слово из вашего грязного рта, и я переломаю вам кости!

Повар уже понял, что непосредственная угроза миновала, осмелел и озлился на Лабуду за свой страх.

— Вы. про какие слова, шеф? О каких словах идет речь?

— Вот этой палкой я переломаю тебе кости! — повторил Лабуда.

А повар его уже не боялся и только злился за тот испуг, который пережил.

— Это не так-то просто, пан шеф, — сказал он. — Сейчас трудящихся охраняет закон. Не так-то просто переломать кому-нибудь кости.

— Я тебе это постараюсь объяснить, — процедил Лабуда сквозь зубы.

— На это есть профсоюз, — пробормотал повар, а сам, почувствовав, что опасность надвигается снова, осторожно отступил к двери.

— Ей-богу, убью! — крикнул Лабуда и, размахивая палкой, кинулся к двери, но повар оказался проворней, он успел выскочить и захлопнул дверь перед самым носом Лабуды.

Лабуда стоял перед дверью и пытался овладеть собой, подавить ярость, которая так неожиданно прорвалась. Ему казалось, что ярость его спокойно спит, что она ушла вместе с прошлым, но она была снова здесь и неожиданно взбунтовалась. И чего я так вскипел, чего так вскипел? — подумал он и обернулся. Гела все еще плакала, слезы падали на картошку, но сквозь слезы она смеялась.

— Что тут смешного?

— Как он удирал! — ответила девушка и рассмеялась. — До чего же смешно он удирал!

Лабуда нашел маленький стул и осторожно примостился. Он смотрел на Гелу, а она от смущения снова принялась чистить картошку.

— Какой ты еще ребенок, Гела.

— Ребенок?

— Реагируешь на все по-детски. И плачешь и смеешься, и все сразу видеть по твоему носу.

— Я просто честная, — ответила Гела. — Мне скрывать нечего. А за свой нос я не отвечаю — какой вырос, такой он и есть!

— Твой нос мне не мешает.

— А что тебе мешает?

— Ничего.

— Не-ет, кое-что тебе мешает. Я, братец, знаю.

Мешает, конечно, мешает, ты мне не нравишься, потому что молода, и свежа, и живешь рядом. Мне мешает твоя грудь, и твои бедра, и твой плач, и твой смех, и твои детские глаза: днем ты со мной, и ночью ты тоже со мной, я все сейчас понял, понял в эту минуту — ты мне мешаешь, ты мне не нравишься, потому что нравишься, думал он, но сказать ей этого не мог.

— Ты очень мила, — сказал он и мрачно взглянул на свою палку. — Но не могла бы ты не звать меня братцем?

— А разве ты мне не братец?

— Седьмая вода на киселе! Нашему забору двоюродный плетень.

Она надула губы:

— А я не знала, что ты так считаешь.

И он этого раньше не знал и только сейчас понял и сказал. И сразу ему стало легче.

— Мне ты и так нравишься! — сказал он, продолжая мрачно разглядывать палку. Он не смотрел на Гелу, а она молчала. Потом скосила на него правый глаз и, вздохнув, вновь принялась за картошку.

— А я это знаю, — сказала она.

— Откуда?

— По глазам видно.

— Это ты просто так говоришь?

— А как я должна говорить?

— Не шути, Гела.

— Батюшки мои! Да почему я не могу тебе нравиться, братец?

— Ах, да брось ты это — братец да братец!

Он яростно постучал палкой по полу. Гела нагнулась, чтобы видеть его лицо. Но он избегал ее взгляда.

— Ну вот, опять злишься! Как же мне тебя звать?

— Как хочешь.

Он поднялся и с сердитым видом двинулся к двери. Безнадежно, Гела просто ребенок, наивный, простодуш-

ный ребенок, и стыдно смотреть на нее так, как смотрел он: она родня ему, ребенок, который нуждается в нем.

— Ты уже уходишь?

Он не ответил, и она склонилась над корзиной. А потом спросила:

— Как быть с обедом?

Он держался за дверную ручку.

— С каким обедом?

— С обедом для посетителей. Кто-нибудь ведь должен сварить обед?

— К черту обед! — крикнул он со злостью. — Чтоб он пропал совсем!

Он отворил было дверь, но снова захлопнул ее. Повернулся и посмотрел девушке прямо в лицо. Ее взгляд показался ему ласковым. Он двинулся к ней, схватил корзину с картофелем, рассыпав ее. Она вскрикнула и инстинктивно, как сделала бы это любая хозяйка, хотела броситься собирать его.

— Что ты наделал!

— Вот и все, — сказал он.

— Что ты наделал!

Он рассмеялся:

— Я рассыпал картошку.

Одной рукой он опирался о палку, в другой держал корзинку, а сам улыбался.

— Надумал тоже, — удивилась Гела. — Придется собирать.

— Только попробуй! — сказал он, продолжая улыбаться. Глаза прищурены, густые светлые брови и блестящие волны каштановых волос; улыбка добрая и уютная, он чем-то напоминал ей пастушьего пса.

— С этим покончено, — сказал он и отшвырнул корзинку в угол. Гела все еще сидела, сложив руки на коленях, и ждала. Он схватил ее за руку, и девушка покорно встала.

— Что же мы будем делать?

— С этим покончено, — повторил он и обвел широким жестом кухню. — Со всем этим!

К нему вдруг вернулась прежняя смелость. Все сломать, все отбросить и изменить жизнь! Этой минуты он ждал, она пришла, и он не испугался.

Лабуда вывел Гелу из кухни, и она покорно пошла

за ним, за своим сильным братом, она немного боялась, но доверилась ему, она боялась не так уж сильно, чтоб не отдать себя в его руки. Она понимала, что в судьбе ее происходит решительный поворот, и удивилась, но не боялась и не видела в этом ничего плохого, а скорее приятное.

— Ступай переоденься, — сказал он ей уже в зале кафе, и она послушно пошла и, пока подымалась по лестнице, думала о нем — что с нами будет, что с нами будет? — и ощущала свою руку в его и стыдилась этого; она торопливо одевалась и была взволнована: что теперь будет, что со мной творится?

Лабуда крикнул официанту, чтобы тот закрыл кафе, и официант подмигнул — дескать, все ясно, шеф. Иногда кафе закрывали и приходили друзья Лабуды. Они пили день и ночь, а официант вешал на окно записку: закрыто по техническим причинам.

— Всё ясно, шеф, но придется немножко подождать, за столиками еще сидят...

— Гони их, — сказал Лабуда, — всех гони и запирай эту гнусную, грязную лавочку, этот сортир, свиной хлев, и чтоб тут ни души не было!

— Постараюсь, шеф, — шепнул официант и исчез, а Лабуда отправился в свой кабинет. Надо все привести в порядок перед уходом, он не собирался бежать, он хотел уйти, все уже думано-передумано, он уже не раз все обдумал, и сейчас дело двигалось быстро. Потом появилась Гела, она стояла за стеклянной перегородкой, и он кивнул ей: входи! Она вошла и молча села напротив, и Лабуда заметил, что на ней новая белая блузка и что она идет к ее смуглому лицу и карим глазам. Гела сидела спокойно и покорно и лишь глубоко вздыхала: что это творится со мной и с ним — с нами обоими?

— Что ты делаешь?

— Навожу порядок. Ликвидирую.

— Какой порядок?

— Да тут, во всем этом! Завтра уезжаем.

— Сейчас, среди зимы?

— Сейчас. Какая разница?

— Что я буду делать дома? Сейчас, зимой?

— Ах, Гела, какой ты еще ребенок.

— Сейчас, зимой, у нас нет работы. Что мне там делать?

— Не думай об этом.

— А кто за меня подумает, если не я сама?

— Я!

О, ее наивность была не так уж наивна, она хотела узнать, услышать! Женщины всегда хотят это знать и слышать. И сейчас она услышала и больше ни о чем не спрашивала, стала покорна и тиха, она сидела и терпеливо ждала. А потом Лабуда вызвал по телефону такси, они вышли на мороз и долго ездили по улицам. Гела не знала в городе ничего, кроме нескольких улиц. Она обычно сидела дома, а теперь разъезжала на машине, словно барыня, и Лабуда показывал ей улицы и дома, а потом остановил машину у небольшого ресторанчика, и они вошли внутрь. Им предложили столик в темном углу. Еду здесь подавали без карточек, все чрезвычайно учтивы: шеф, приятель Лабуды, подсел к ним.

— Это Гела, — сказал Лабуда, и приятель понимающе улыбнулся, все были добры и предупредительны, потом они выпили вина и снова вышли на улицу. Смеркалось, у Гелы слегка кружилась голова. Она оперлась о Лабуду, они шли медленно. Я никогда не пила вина, и сейчас у меня кружится голова, что со мной будет?

— Ничего, это пройдет, — сказал он.

Но головокружение не проходило, голова кружилась, мысли путались, все случилось так быстро, налетело, словно вихрь из-за гор. Что будет? Что это надвигается, большое, огромное?

Она понимала, что надвинулось что-то огромное и неизбежное, но ни за что на свете не хотела бы, чтоб этого не случилось. Пусть случится, пусть случится!

Вечером Лабуда укладывал вещи.

Коза вернулся с работы и удивленно уставился на него:

— Что такое, капитан? Распродажа? Белая неделя?

— Ухожу, — ответил Лабуда, смотря на своего взводного Козу — единственное, что он оставлял здесь.

— Не понимаю, — удивился Коза. — Почему ты уходишь и почему именно сейчас?

— А почему бы и не сейчас? — ответил Лабуда. — Сейчас, через неделю, через год — какая разница?

Коза скептически покачал головой.

— Хоть бы несколько дней подождал. Почему так сразу?

- Я так решил.
- Подождал бы несколько дней.
- Не имею желаний.
- Сейчас каждый день решает...
- Брось. Что решает?
- Капитан! Дружище! Ты что, газет не читаешь?

Мы можем опять понадобится...

- Я нужен в другом месте.
- Каждый день может произойти взрыв. Все должны быть на своих местах.
- А где мое место?
- Со мной. С нами. Бить буржуйские хари. За что мы боролись? Чтоб они здесь снова разъедались?
- Брось, Коза.
- Не брошу. Ты не имеешь права уйти.
- Имею право жить как хочу. Плевать на все. Не желаю.

Коза стоял посреди комнаты, взъерошенный, вымазанный в масле, и мрачно смотрел на капитана, на своего капитана, на своего командира, которого всегда считал частицей самого себя. А сейчас вдруг эту частицу отдирали, и было больно. Была боль, злость и жалость.

— Все уже наготове, — сказал он, подавляя злость. — Мы снова выйдем на улицы и померимся с ними силой. Не понимаешь, капитан?

— Не желаю.

— Это... — Коза заколебался, но все-таки сказал: — Это все равно что дезертировать с фронта, капитан.

— Я не на фронте.

— Ты командир.

— Это было давно, Коза. А может, и не было вовсе? Меня вычеркнули из списков, давно вычеркнули.

— Это все отговорки. Ты уже парень здоровый, капитан. Можешь как следует дать в морду.

— Дело не в этом, Коза.

— А в чем?

— Что мне до всего этого? Ясно?

— Ясно. Вот здесь-то твоя ошибка, капитан.

— Оставь меня в покое.

Лабуда резко встал, и вот старые товарищи стояли друг против друга. Когда-то они вместе боролись, вместе хоронили друзей, а сейчас стояли и ненавидели друг

друга; вот он бог, которому я молился, думал Коза, мой бог сейчас рухнул и рассыпался, бог-то глиняный, просто юбочник, за юбку продаст товарища, все продаст за юбку! А Лабуда злился: пристаёт ко мне, задирается, хам, вечный взводный, хам, вздуть бы его хорошенько, чтоб знал, кто здесь хозяин и где его место.

— Ясно, капитан, — сказал Коза. — Все понятно.

— Долго до тебя доходило, — проворчал Лабуда.

Они по-прежнему стояли друг против друга. Лабуда с усилием улыбнулся.

— Ну, я пойду, — сказал Коза.

— Куда ты пойдешь?

— На свете много счастья, капитан. Пусть тебя добрый боженька благословит на небесах, благословит детьми и хозяйством.

Он повернулся и, не подав Лабуде руки, вышел. Лабуду не оставляла злость, ему был противен и он сам и Коза, ведь он еще гордился своим прошлым, а все происходящее походило на дезертирство; сейчас, после ухода Козы, он это ясно понимал, понимал и злился. С этим всем конец, думал он, конец и никаких гвоздей. У него всего одна жизнь, и он имеет право на свою личную жизнь и не желает ничего другого.

Кто-то постучал, в дверь заглянула Гела.

— Кто это был? Коза?

Он не ответил.

— Я слышала, как вы здесь кричали. Что случилось?

Он взглянул на Гелу почти с ненавистью. Тебе до того нет дела, это касается только меня.

Она сразу притихла.

— Может, тебе помочь?

— Нет, — отрезал он.

Ее лицо стало жалким, она была готова разрыдаться. Лабуда видел все, и ему стало жаль, жаль Гелу и себя, жаль Козу и всю свою запутанную жизнь. Он подошел к ней и погладил по лицу.

— Ничего, — сказал он. — Пройдет. — И немного погодя добавил: — Давай начнем собираться.

Волна росла, грозный девятый вал, все сметающая последняя волна; ее стальной гребень виднелся издали, она была страшна своей неудержимостью. Мудрые

ее видели: они проверяли свои вклады в Швейцарии и еще раз удостоверались в надежности своих виз — игра могла каждую минуту прийти к концу. Но пока игра продолжалась, шла крупно, ва-банк, пока оставались на своих местах все те же министры и генералы, нунции и епископы и Союз промышленников, созданный в первой половине февраля, готовился бороться до последнего вздоха за частное предпринимательство, оставался на прежнем месте и министр Штейнгардт с его идеей монопольной атомной бомбы, оставались и другие укротители рабочего люда — искушенные стратеги политической борьбы и прославленные тактики, оставалась золотая молодежь, оставался президент со своими туманными предсказаниями, оставались богатые адвокаты, и Союз рестораторов, и Союз торговцев, оставалась еще и армия денежных тузов — и все чувствовали подземные толчки, и все преисполнились отчаянной решимости выстоять. Игра продолжалась, но руки игроков, тасовавших карты, дрожали: где-то в стране встали заводы, бастионы рабочего класса, эти люди угрожали и чего-то ждали, и чувствовалось, как напрягалась их рука, нечеловечески напрягались их железные мускулы, рука была готова каждую минуту нанести удар. Неправильная игра, кричали политики и стратеги, недозволенные приемы, это просто террор и насилие! Мы не можем в такой обстановке хорошо тасовать карты, не можем, когда нам угрожают! Но их крик не помогал, все так же стояли заводы, и никто не работал. И вот страх, нервозность и отчаяние породили новое слово — кризис.

В эти напряженные дни тяжело заболел комиссар Бенде. Марек быстро сбежал по лестнице и из закускойной взволнованным голосом вызвал Скорую помощь. Настали полные страха минуты и секунды, лицо Бенде побелело, и зубы были плотно сжаты: казалось, он умер; Марек напрасно старался разжать ему зубы и влить немного лекарства, лекарство разлилось по белому лицу, и лицо стало еще страшнее. Наконец приехала Скорая помощь и взяла Бенде. Марек поехал с ним, сгорбившись на заднем сиденье, они мчались по улицам, по обледеневшей дороге и на крутом повороте резко затормозили. Марек больно ударился головой о боковую стенку, шофер выровнял машину, и Марек,

схватившись за голову, думал лишь о собственной боли — так, пожалуй, и лучше, он может не думать о Бенде, его белом лице и стиснутых зубах. Наконец мотор машины затих — они остановились у больницы. Немного спустя Марек стоял в коридоре и смотрел. По коридору бесшумно плыли парусники-сестры, голубые парусники с белыми парусами, плыли горделиво и чинно, не замечая Марека у запыленного окна. Да, он снова потерпел крушение, снова остался один на пустынном острове. Вскоре вышел врач, а за ним сестра — голубой парусник с белым парусом; врач, пожилой человек, сочувственно расспрашивал Марека. Это ваш родственник? Нет, собственно, да, отвечал Марек, мой родственник, я у него единственный близкий человек, и он мой родственник. У врача был строгий, усталый, полный сочувствия взгляд. Он пожал плечами: очень тяжелый случай, запущенная болезнь, приготовьтесь ко всему. И Марек все понял, он знал, что болезнь запущена, знал, что надо подготовиться ко всему; да, понимаю, доктор, благодарю вас. И врач вздохнул: ну что вы, не за что, Марек вышел из больницы, все еще держа за болевшую голову, не в силах в этот миг ничего делать, только держаться за больное место. В редакции шло совещание, теперь все время шли совещания, шеф теперь всегда приходил на них и на каждом совещании выдавал новую порцию сенсаций, радуясь, словно малое дитя свистульке, совещания проходили весело, но Марек был грустным и сказал как-то шефу: Бенде умирает. Шеф вытарашил глаза: какой Бенде? Ах, тот несчастный Бенде, да, бедняга Угрин, родится новый ир, а он, бедняга Угрин, поминает смерть, ему бы быть исадомщиком, а не газетчиком, ха-ха-ха. Жизнь по-прежнему бурлила, подмывая берега, которые до сих пор казались прочными, и неся деревья, вырванные с корнем, буря, смерч, наводнение, не оставалось времени думать, приходилось действовать, действовать и действовать. Так вот, Угрин, сказал шеф, чтобы ты расстался со своими думами о смерти, даю тебе задание: поговори с делегатом профсоюзного съезда, вот твое боевое задание, это не просто съезд профсоюзов, а съезд Советов, представителей рабочего класса, могучий кулак, решимость, натиск; давай беги и через два часа явишься ко мне, ну, раз, два, три, смотри веселей и выше голову —

родится новый мир, так встречай его с улыбкой, ведь это наш мир. Телефоны звонили, и внизу стояли два джипа с заведенными моторами. Марек сел в один из них и помчался по улицам; только что он летел в Скорой, но это было давно, в другом историческом периоде, все стало далеким, больничные палаты и белое лицо Бенде, Марек больше не вспоминал о нем, хоть и не в силах был от него избавиться, он вновь и вновь чувствовал, как хватает Бенде, упираясь в плечи и спину, как несет его. Человек, с которым Марек должен был говорить, оказался приземистым парнем с красным лицом, сборщиком и председателем цехового комитета, на нем были замасленная куртка и все время сползавшие тренировочные штаны. Что вам нужно, молодой человек? — спросил он, вытирая руки обрывками газеты — интересно какой. У него было жесткое западнославянское произношение, широкое лицо и курносый нос, и выглядел он мирно и добродушно. Марек сразу представил его за ежедневной кружкой пива и партией марьяша, представил, как он копается в воскресенье в своем садике и ходит с ребяташками гулять, но представить его со знаменем и со сжатыми кулаками никак не мог. Давайте побыстрее, молодой человек, что вы хотите знать? Ах, товарищ? Ну ладно, товарищ, но вид у вас господский, давайте выкладывайте. Это все очки, оправдывался Марек, из-за них у меня такой вид, и приземистый парень, подтянув падающие тренировочные штаны, усмехнулся. Очки? Может, и очки, ха-ха-ха. Чего я жду? Жду, что мы их положим на лопатки, знаешь, товарищ, раз — и на лопатки, и хорошенько напомним им бока, чтоб никогда не поднялись. Мы слишком самоуверенны? Почему самоуверенны? Мы стали сознательные, вот и самоуверенны; знаешь, товарищ, мы не они, не наложим в штаны, у нас сил хватит, хотя и у нас есть всякие несознательные, но и они все понимают — господ нужно скрутить, чтоб наша голова о них не болела, пусть у них болит. А Готвальд хорошо знает, что делает, он ведь давно уже раскусил эту публику, он ей насолит, а рабочий класс весь за него. Так уж весь? Да, весь! А тем немногим, кто другого хочет, стыдно станет — от одного нашего взгляда придется заткнуться! Только поглядите, какая сила — эти машины и люди, и все дышит, а если нужно, мы все остановим.

Один завод, другой, третий, и сотни заводов, и железная дорога, и электростанции, и газ — все работает и дышит, пока мы хотим, вот такая мы сила, молодой человек, пардон, товарищ. Он с нетерпением вытер руки обрывком газеты и замолчал. Цех сборки шипел, гудел, грохотал и сверкал огнем, жизнь кипела и не останавливалась, приземистый парень в нетерпении оглядывался, работа не ждала, у него не было больше времени говорить с Марексом; я все вам сказал, только не забудьте написать: раз — и мы их на лопатки, и что мы ничего не боимся, и смотрите под ноги, молодой человек, закричал он вслед Марексу. Марекс поскользнулся на маслянистой бетонной дорожке, едва удержал равновесие и покраснел, но никто на него не смотрел, только приземистый сборщик ободряюще усмехнулся: так и напишите, товарищ, раз — и на лопатки. Но Марекс так и не написал этого, такие слова не годились в газету, раз — и на лопатки, они были хороши там, в цехе, но в газете вовсе не казались удачными, а выглядели странными и неприличными. Да и сам Марекс уже привык к затертым газетным словам и так и писал: сознание, единство, сила, яростная, острая борьба, все бросить комиссаров за правительство Народного фронта и т. д. и т. д. далее. Ему было жаль слов сознания, но ничего не сделаешь, слова были слишком красивые, слишком сырые, которое выглядело бы странно в газете. Впрочем, традиция не последняя в газете, традиция этого не допустит. Старик Островицкий, редактор большой плечи и длинных ногтей, он уже много лет работал в газете, знал все тонкости журналистики, хозяевам, что давно знали, что такое журналистика, он должен был, а знал, что это дело, представляющее в газете традицию и историю, и он, Островицкий, через его руки не проходило ни одно слово, ни один оборот, ни одно рискованное выражение. Авторитет его был непререкаем. Все остальные были молодыми людьми, как журналисты, и всю кропотливую работу по стилю давал на откуп Островицкому. Он работал в стилистике; и действительно, Островицкий был строгим, любящим порядок и не терпящим хаоса. Никуда не желал укладываться в про-

режима. Он обычно говорил: ох уж эти мне ретивые молодые люди! И добавляла: в наше время такого не было. Если кто-нибудь приходил с новой идеей, с сенсацией, бомбой, он советовал ему по-отцовски посты сначала попариться: хорошая парилка помогает нормальной функции нервной системы. К нему приходили и некоторые действительно бежали париться. Все в газете считали его занятым стариком и немного побаивались, тридцать лет в газете — не шутка. В нем просматривалось таинство искушенности, и даже газетное ремесло в его изложении выглядело таинственным и священным, и казалось, что самое главное и сокровенное в этом таинственном ремесле он держит при себе.

Сейчас, во времена больших перемен, Островицкий чувствовал себя неуверенно и растерян, он не привык к землетрясениям и был не без грехов в прошлом. Сейчас многое могло ускользнуть от него: он не поднимал головы от стола, исправлял лишь грамматические ошибки и говорил: браво, мальчики, золотая молодежь, страстные борцы. Но Островицкий уже прочно засел в них самих, овладел ими и постепенно укладывал их в прокрустово ложе своего газетного опыта. Они уже не решались нарушить железный порядок слов, и не потому, что в душе с ним соглашались, а потому, что были не в силах установить иной порядок; а какой-то порядок был необходим в полном анархии мире слов.

Да, Мареку многое вначале было непонятно; он немало мучился в поисках слова, которое бы жило и говорило. Куда теперь девалось его волнение? Где прежняя страсть, гнев, возмущение, скрежет зубов, плач, торг, где тот подъем до боли в сердце, нагонявший слезы, куда все это подевалось? Ничего подобного не осталось в серой массе слов. Марек боролся, и наконец сдался. Все вокруг говорили: ремеслом нужно овладеть, и Марек учился ремеслу. Он в ряды, примите эстафету от буржуазии, ученым должны овладеть, проникнуть во все тайны. Для него это казалось, что тайны нет и все это жульничество, а Островицкий — пустая пугало для неискушенных. Но как раз для неискушенных, и пугало действовало. Никто не расходился. Телефоны не звонили, телетайп угрожающе гудел. Каж-

Один завод, другой, третий, и сотни заводов, и железная дорога, и электростанции, и газ — все работает и дышит, пока мы хотим, вот какая мы сила, молодой человек, пардон, товарищ. Он с нетерпением вытер руки обрывком газеты и замолчал. Цех сборки шипел, гудел, грохотал и сверкал огнем, жизнь кипела и не останавливалась, приземистый парень в нетерпении оглядывался, работа не ждала, у него не было больше времени говорить с Мареком; я все вам сказал, только не забудьте написать: раз — и мы их на лопатки, и что мы ничего не боимся, и смотрите под ноги, молодой человек, закричал он вслед Мареку. Марек поскользнулся на маслянистой бетонной дорожке, едва удержал равновесие и покраснел, но никто на него не смотрел, только приземистый сборщик ободряюще усмехнулся: так и напишите, товарищ, раз — и на лопатки. Но Марек так и не написал этого, такие слова не годились в газету, раз — и на лопатки, они были хороши там, в цехе, но в газете вовсе не казались удачными, а выглядели странными и неприличными. Да и сам Марек уже привык к затертым газетным словам и так и писал: сознательность, единство, сила, яростная, острая борьба, все без компромиссов за правительство Национального фронта и так далее. Ему было жаль слов сборщика, но ничего не поделаешь, слова были слишком неловкие, словесное сырье, которое выглядело бы очень странно в газете. Впрочем, традиция не последнее дело в газете, и традиция этого не допустит. Старик Островицкий, обладатель большой плечи и не меньшего опыта (он уже так долго работал в газете и служил стольким режимам и козням, что давно забыл, что такое газета и какой она должна быть, а знал лишь, как ее делать), представлял в газете традицию и имел право сокращать материал, через его руки не проскальзывал ни один необычный оборот, ни одно рискованное, странно звучащее слово. Авторитет его был непререкаем: тридцать лет в газете! Все остальные были молоды по возрасту и еще моложе как журналисты, и всю кропотливую работу по правке шеф дал на откуп Островицкому, заявив, что не разбирается в стилистике; и действительно, он в ней не разбирался, а Островицкий был человеком серьезным, строгим, любящим порядок и нетерпимым, если кто-нибудь не желал укладываться в прокрустово ложе его

режима. Он обычно говорил: ох уж эти мне ретивые молодые люди! И добавлял: в наше время такого не было. Если кто-нибудь приходил с новой идеей, с сенсацией, бомбой, он советовал ему по-отцовски пойти сначала попариться: хорошая парилка помогает нормальной функции нервной системы. К нему привыкли, и некоторые действительно бежали париться. Все в газете считали его занятым стариком и немного побаивались, тридцать лет в газете — не шутка, в нем проглядывало таинство искушенности, и даже газетное ремесло в его изложении выглядело таинственным и священным, и казалось, что самое главное и сокровенное в этом таинственном ремесле он держит при себе.

Сейчас, во времена больших перемен, Островицкий чувствовал себя неуверенно и растерянно, он не привык к землетрясениям и был не без грехов в прошлом. Сейчас многое могло ускользнуть от него: он не поднимал головы от стола, исправлял лишь грамматические ошибки и говорил: браво, мальчики, золотая молодежь, страстные борцы. Но Островицкий уже прочно засел в них самих, овладел ими и постепенно укладывал их в прокрустово ложе своего газетного опыта. Они уже не решались нарушить железный порядок слов, и не потому, что в душе с ним соглашались, а потому, что были не в силах установить иной порядок; а какой-то порядок был необходим в полном анархии мире слов.

Да, Мареку многое вначале было непонятно; он немало мучился в поисках слова, которое бы жило и говорило. Куда теперь девалось его волнение? Где прежняя страсть, гнев, возмущение, скрежет зубов, плач, восторг, где тот подъем до боли в сердце, нагонявший на глаза слезы, куда все это подевалось? Ничего подобного не осталось в серой массе слов. Марек боролся, мучился и наконец сдался. Все вокруг говорили: ремесло, ремеслом нужно овладеть, и Марек учился ремеслу. Стройтесь в ряды, примите эстафету от буржуазии, учитесь, мы всем должны овладеть, проникнуть во все таинства. Порой ему казалось, что тайны нет и все это ремесло — лишь жульничество, а Островицкий — пустая надутая кукла, пугало для неискушенных. Но как раз Марек и был этим неискушенным, и пугало действовало.

Шеф уехал, но никто не расходился. Телефоны не переставали звонить, телетайп угрожающе гудел. Каж-

дую минуту шли новые сообщения. Номер был сверстан, джип носился между редакцией и типографией: еще одно сообщение, еще одно! Они просили почти на коленях, вспотевший метранпаж в десятый раз велел набрать заново сверстанную первую полосу. Наконец им пришлось уйти из типографии, и тут же стали приходить новые важные сообщения, одно другого важнее, они сидели в редакции и спорили, в нетерпении бежали на улицу и возвращались обратно — на улице ничего не происходило, а телетайп грозно выстукивал: «Демонстрация в Праге, рабочие делегации у Зенкла и Дртины»; где-то рушился мир, где-то по улицам шли люди со знаменами и лозунгами, где-то все решалось, а они беспомощно торчали здесь, прикованные к скачущим клавишам телетайпа. Наконец они разыскали где-то оберточную бумагу и тушью принялись рисовать на ней большие буквы. Последние известия! Последние известия с пражских улиц! Эти белые листы с последними известиями, написанными большими буквами черной тушью, они вывесили в витринах магазина, расположенного под редакцией. Разрешения им так и не пришлось брать: все были сейчас услужливы. Перед витринами стали собираться прохожие, толпа росла, множилась. Они продирались через толпу с новыми кусками оберточной бумаги, исписанными неуклюжими большими буквами, но слова были отчетливы, кричали с белой бумаги людям: старый мир рушится, новый поднимается из глубин истории, последние известия, последние известия! Они гордились собой, когда продирались через толпу с кусками белой бумаги, на которой кричали слова, — вот и они принимали теперь участие, и они стали частью волны, которая росла и поднималась, ее частью, а не случайным мусором. Они поднялись вместе с бурей. Кто-то крикнул: ребята, у кого есть оружие? Островицкий поднял голову от стола: спокойно, мои милые, все это я уже видел, кашу никогда не едят, когда она еще варится, сколько правительственных кризисов я уже пережил! Да это же революция, эх, ты, плешивый брюзга, хотелось крикнуть Мареку, это революция, а не какой-то правительственный кризис, но слово показалось ему слишком героическим и смелым, слово было священным, с ним нельзя паясничать. Нечто великое и

окончательное, точка, после которой все рушится и все создается, поворот истории — вот что такое революция, и ей нужно оружие, без оружия не может быть революции. Марек побегал домой; улицы были полны народу, всюду царило волнение. В воздухе словно носилось что-то неясное и таинственное, отсвет событий ложился на лица людей, отражался в их оживленных жестах и более громких речах, во внезапной молчаливости; Марек хорошо видел проблески этого волнения, он сам был наполнен им и видел его всюду. На небольшой площади какие-то люди в черном произносили речи прямо с машины, среди них он узнал Августина Шернера. Шернер тоже весь в черном — черное зимнее пальто, черная шляпа и черные усики. Шернер стоял у машины, открывая двери жокаам, он заметил Марека и сделал жест рукой, словно желая его остановить, но Марек отвернулся. Да, дела у него плохи, подумал Марек, плохи у них дела, господин изволил меня заметить, все они чувствуют грозную волну, и этот дурак почувствовал и сразу стал узнавать Марека Угрина, сейчас ему подходит и такое знакомство, но Марек не желал иметь с ним ничего общего, Шернер — враг, и его нужно уничтожить, уничтожить, уничтожить. Идет бой, а в бою нельзя быть милосердным, и он не был милосердным. И странное дело, Мареку не представляло труда быть немилосердным, прежняя жалость, сочувствие всем и всему куда-то исчезли. Когда родилась в нем решимость быть немилосердным? Совсем недавно комиссар Бенде доказывал ему, что он, Марек, слишком левый, и он в душе гордился тем, уверенный, что это единственно возможный способ как можно быстрее и действеннее порвать с собственным прошлым. Никаких оглядываний назад! Никакого глупого сожаления! Он знал о своей слабости и поэтому вопреки ей старался быть твердым и сердился на Бенде, когда тот угадал его слабость и упрекал Марека, что он прикрывается словами, маскирует свою слабость героическими словами и жестах, вместо того чтобы посчитаться с ней лицом к лицу. Тогда он не верил Бенде: все это психология, буржуазная рухлядь, да и сам Бенде был старый, больной человек, бессильный и неподвижный, а он, Марек, молод, полон сил, и он нашел свое призвание. Он действительно был еще молод и не хотел подрывать свою

веру сомнениями, ибо это была вера не в абстрактную идею, а вера в себя, в свои силы. Насколько легче ему жилось теперь, когда он верил в себя, в свою работу, в свое назначение. И вот поэтому-то все сомнения, откуда бы они ни появлялись, казались Мареку опасными, предательскими, даже враждебными. Марек так долго не верил в свои силы, что сейчас, открыв их в себе, боялся подорвать их сомнениями и старался не оглядываться на прошлое. Он был молод и, желая быть твердым и решительным, был немилосердным и нетерпимым. Вначале он поражался переменам, происходившим в нем, в спорах им порой овладевала ярость, и он упрямо не уступал даже в малом, если речь шла о том, что он считал истиной. Впоследствии он стал считать свою неуступчивость выражением своей силы, идейной принципиальностью и попросту стал нетерпимым.

Комната Бенде была тихой, пустынной и темной, в полумраке тускло поблескивала никелированная кровать. Марек старался не смотреть туда. Он вынул из шкафа чемоданчик, на дне его лежал револьвер, завернутый в промасленную тряпку, хороший револьвер, парабеллум, смазанный маслом. Марек почистил его и зарядил, проделывая все быстро и ловко, его руки ни о чем не забыли, он усмехнулся: да, мы еще не забыли, еще помним оружие. Взяв револьвер, он встал и все же не удержался и взглянул на кровать Бенде, она была убрана, на миг он вновь увидел синеватое лицо Бенде, он вновь увидел больничный коридор и плывущих мимо сестер в белом и вдруг понял, что эту кровать никогда больше не раскроют и пузырьки с лекарствами так и останутся сиротливо стоять на ночном столике.

Прости, старина, сказал Марек мысленно, прости, но сейчас у меня нет времени, мне нужно идти, прости, старина. Он почти выбежал из темного дома, дом был такой старый и неизменный, что даже не верилось; на улицах и над городом в морозном воздухе висело волнение, последние известия, последние известия, поворот истории, революция — но дом оставался неизменным со своей вечной капустной вонью и своей плесенью.

Перед редакцией стояла большая толпа, она теснилась у витрин магазина, все хотели прочитать черные призывные буквы на белой бумаге, последние известия, история тревожно мчалась по белой бумаге, писала на

ней все новые и новые слова: кому-то жизнь, кому-то смерть. Марек пробивался через толпу, гордясь собой, ведь он не только частица толпы, он в вихре событий, в его кармане хорошо смазанный револьвер, он с важным видом пробивался через толпу — и вдруг увидел ее. Олина стояла, прислонясь к телефонной будке, на ней был светлый жакет и шерстяная шапочка, детская шерстяная шапочка с кисточкой, и лицо казалось детским, будто испуганным. Олина стояла и смотрела, как Марек пробивается через толпу, и ее губы беззвучно шевелились, словно она хотела окликнуть его, но не решалась, Марек остановился, растерянно снял очки и вытер их о подкладку пиджака, потом вытер еще раз; он вытирал очки и думал: что мне делать, что делать? Он видел по-детски испуганное лицо Олины и движение ее губ. Тогда он решил и подошел к ней.

— Олина, — сказал он, — Оля! Какой случай!

Она робко улыбнулась.

— В такой день, — продолжал Марек. — Ну и случай!

— Я ждала тебя здесь, — сказала Олина.

— Ждала?

— Уже несколько дней. — Она вновь робко улыбнулась, виновато и испуганно.

— Что случилось? — спросил Марек.

— Ничего. — Светлый жакет потерялся на локтях и стал тесным. Олина еле влезала в него.

— Я видела тебя. Ты садился в машину. А в другой раз ты шел с товарищами.

— И ты меня не окликнула?

— Ты никогда меня не замечал.

— Странно. Напрасно ты меня не окликнула.

— Я боялась.

— Боялась?

— Мне было стыдно.

Ей было стыдно и страшно, прошло немало времени, пока Олина преодолела гордость, но оставаться и дальше одной она не могла, одиночество стало горьким и мучительным, она носила ребенка, который скоро должен появиться, все больше страшилась будущего и стала совсем беспомощной от страха и одиночества.

— Ты очень изменилась, — сказал Марек. Глаза у нее стали большие, лицо похудело, и нос заострился.

— Да?

Олина и сама знала об этом, да, она изменилась и сейчас совсем не хороша и не желанна, и она боялась этого, боялась показаться Мареку, но она не могла так жить дальше. Я изменилась, Марек, хотелось сказать ей, я нищенка и протягиваю руку за милостыней, мне уже не надо больше чуда, только милостыню, без которой нельзя жить. Она вздохнула, прислонилась к телефонной будке. Марек был в замешательстве: так неожиданно видеть смирение Олины, ее сломанную гордость, ее страх и стыд, он чувствовал, что все возвращается, заснувшее и подавленное, все, что он считал мертвым и что никогда не было мертвым, все вернулось в один миг. Олина, Оля... Но он был настороже, хотел быть настороже, не хотел поддаться. Перед ним снова разверзлась пропасть с непроглядной и опасной глубиной, он не хотел в нее упасть еще раз. Но Олина стояла рядом, беспомощная, покорная, и он готов был взять ее руки и согреть их в своих, ее по-детски тонкие руки.

— Мы не можем здесь так стоять, — сказал он наконец.

— Я знаю. У тебя нет времени.

— У меня и вправду его нет. — Он не хотел смотреть и все же увидел, как ее немного полные губы задрожали. — Просто случай, что ты встретила меня в такой день. В такой день, когда пылает земля.

— Я знаю. Но мне так было нужно тебя увидеть. — Она опустила глаза, сжав руки в кулаки и глубоко засунув их в карманы жакета. Наконец она решилась и посмотрела Мареку прямо в глаза. — Я больше не могла выдержать, Марек. Одиночество и все остальное...

Глаза у нее были грустные и влажные. Марек больше не мог так стоять и смотреть на Олину! Олина, Оля. Он не мог стоять, но уйти был не силах, все вернулось, в один миг вернулось все — муки, жалость и радость, надежда и страх, он не хотел этому поддаваться, но уже знал, что все бывшее снова с ним — роковой, неотвратимый ход событий.

— Мы не можем так стоять, — повторил он.

— Да, — сказала Олина. — Я пойду.

— Я не то хотел сказать. Мы могли бы где-нибудь посидеть.

Он видел, как Олина облегченно перевела дыхание.

В старой кондитерской было почти темно, они сидели, молчали, каждый слушал дыхание другого. Так странно снова видеть и слышать друг друга, они изменились и все же остались прежними — близкими и посторонними людьми. Олина уже обо всем рассказала и сейчас замолкла, не в силах больше произнести ни слова, покорно ожидая, что с ней будет. Сейчас все зависело от него, от Марека, но Марек молчал. Олина, Оля была с ним рядом, он чувствовал ее дыхание, он понимал, что настала та минута, которая все решит, и боялся тех слов, которые ему хотелось сказать.

— Как там маленький Марек? — спросил он.

— Он у дворничихи.

— Наверно, вырос? Я его, возможно, и не узнал бы.

Он меня еще помнит?

— Дети легко забывают.

— Это правда.

Да, это правда, дети легко забывают, вот бы нам иметь детскую память, почему у нас ее нет, несколько недель — и все бы забылось, ничего бы не возвращалось, никакой боли и никакого самоистязания. Им подали кофе с молоком и сухим кексом, в кондитерской было темно, Марек снял куртку и повесил на стул. Ты не снимешь жакет, Олина? Олина минуту колебалась, но ей действительно было жарко, она встала, и Марек помог ей снять жакет, он был неловок, как всегда, и долго снимал жакет, он видел ее похудевшую шею с голубыми жилками, знакомые волосы с таким родным запахом, синяки под глазами и на губах плохо стертую помаду — и вдруг он увидел ее всю в луче света, пробившегося сквозь тяжелые шторы, увидел всю, и она показалась ему новой, незнакомой и чужой. Что же это? Почему она кажется такой незнакомой и чужой? Но Олина уже села, и снова все стало прежним, но что-то все-таки было в ее внешности, что делало ее чужой и незнакомой. Марек все думал и думал об этом, какая глупость, но не мог перестать думать, и вдруг точно молнией блеснуло в его голове: да ведь причиной этому ребенок, ребенок, Олина была беременна, и это уже ясно угадывалось, боже мой, ведь это ребенок, его ребенок, а он-то думал, что ребенка уже давно нет, что

он исчез, испарился, боже мой, Олина носит его ребенка и молчит об этом! Прости меня, Олина, Оля, прости дурака. Я настоящий дурак, я думал, что ты меня бросила; Марек смотрел на Олину с новой нежностью и искал ее руку худую, жалкую руку.

— Прости меня, Олина!

— За что, Марек?

— Я глупец. Я думал, что ты освободилась от ребенка. Прости меня, глупца.

Она отвернулась.

— Я пришла не поэтому.

— Я должен был все понять, Олина.

Она в упор взглянула на него.

— Марек, между нами должно быть все ясно. Все ясно, с самого начала. А ведь это начало, правда?

— Да, Олина.

— Все должно быть ясно. Мы больше не можем ошибаться. Я вернулась к тебе не потому, что у меня будет от тебя ребенок.

— Но он будет?

— Это лишь случайность. У меня не оказалось денег.

— Не оказалось денег?

— Да, не было достаточно денег. Сначала. А потом я уже и сама не хотела.

— Значит, все-таки ты не хотела?

— Сейчас неважно, как это случилось. Сейчас важно не это.

— А что важно? И что потом будет важно?

Она задержала дыхание и наконец с усилием сказала:

— Важно то, что я вернулась, вернулась к тебе. Не к отцу моего ребенка, а к тебе.

— Важно, что ты вернулась,— повторил Марек.

На улице постепенно смеркалось. В кондитерской зажгли свет. Рука Олины была худой и слегка влажной, важно то, что ты вернулась, думал Марек, что здесь твоя рука, волосы, глаза, рот, как чудесно, что ты вернулась, что ты со мной здесь и я с тобой и останусь с тобой. В кондитерскую вошел разносчик газет, ковыляя на коротеньких ножках, ему не пришлось кричать, как обычно,— люди вырывали газеты у него из рук, и вскоре газеты зашуршали по всей кондитерской; Марек,

в нетерпении оглядываясь вокруг, наконец сказал: мне нужно идти, Олина, я обо всем забыл, такой прекрасный, чудесный день, а мне нужно идти. Хорошо, произнесла Олина, и это звучало так, словно она сказала: иди и возвращайся, я буду тебя ждать, буду ждать.

Снег падал большими влажными хлопьями, вокруг была непроглядная тьма, и Винцент Ульрих сидел за рулем машины в туго подпоясанном кожаном пальто, сидел и ждал в нетерпении, постукивая ногами, ноги мерзли, пальцы на ногах были очень чувствительны к холоду, и было омерзительно ждать в такой непроглядной тьме, к тому же в последнюю минуту могло что-нибудь случиться; поскорее бы отсюда убраться, поскорее убраться из этого вшивого города, из этой вшивой страны, пусть всемогущий господь бог покарает ее и превратит в пустыню, пусть она провалится в ад, если ад еще существует — в нынешние времена человек уже ни в чем не уверен. Он мерз, стучал от холода ногами и злился на весь мир, страх не покидал его в последние дни, последние недели, месяцы, страх прочно засел в нем, он все время слышал за собой тяжелый топот ног, слышал очень явственно, и порой ему казалось, что он слышит даже свистящее дыхание преследователей; сеть уже давно порвалась, и он напрасно завязывал новые прочные связи; сеть продолжала рваться, это была бесконечная и безнадежная работа, коммунисты напали на след, и нюх у них был неплохой, они раскрывали явку за явкой, просто чудо, чудесная случайность, что не схватили и его; при одном обыске он лежал на крыше, почти замерзнув там, и просто огромное счастье, что его не взяли. Он был зол на весь мир, и на своих руководителей в особенности, они все еще посылали дурацкие инструкции, никому не нужные дурацкие инструкции, они по-прежнему верили лишь своей фантазии, ничему другому не желали верить и по-прежнему мечтали взять инициативу в свои руки, организовать, подготовить удар. Им-то хорошо сидеть там и фантазировать в теплых кабинетах, а вот полежали бы восемь часов на крыше в январский мороз, когда внизу, под тобой, этот

враждебный мир, — это, пожалуй, потруднее, чем сидеть в теплых кабинетах и флиртовать с секретаршей. Винцент Ульрих не сдавался, он по-прежнему оставался солдатом святого дела, вопреки всему оставался солдатом и ненавидел тех, кого ему приходилось бояться, сейчас ненавидел еще сильнее и надеялся, что вернется и поставит к стенке всех коммунистов, всех евреев, всех чехов и всех, кого надо; да, они вернутся, и тогда никто не ускользнет из их рук, никто, пусть господь бог смиляется над ними. Он устал от вечного преследования, вечного бегства, от вечного страха, он еще был солдатом, но и у солдата есть право на усталость и отдых. Винцент Ульрих постукивал от холода ногами и ругался, охваченный нетерпением; все идет к концу, его должны сменить, и сегодня он покинет эту вшивую страну, пусть будет она тысячу раз проклята, этот вшивый город, пусть он провалится в ад, если тот еще существует! Он ждал, становясь все нетерпеливее, только бы ничего не случилось в последнюю минуту, ему хотелось стряхнуть с себя вечный страх, эти звуки приближающихся шагов, черт побери, есть же у него право на отдых!

Августин Шернер сидел в передней, сторожа входные двери, но все его внимание было приковано к другим дверям, плотно обитым, через них проникали приглушенные звуки, он посматривал на часы и мрачно думал: мы задерживаемся, акция должна была начаться в двадцать два ноль-ноль, что они там так долго возятся? Сейчас он не был в черном, на нем были надеты толстый свитер, непромокаемая куртка и тяжелые лыжные ботинки, вид у него был боевой и решительный, никакого страха, только очень далекая, туманная мыслишка, чем-то напоминавшая страх, очень, очень далекая мыслишка, с ней нечего считаться, он чувствовал себя в своем новом одеянии отлично, словно закованным в броню, да, одежда меняет человека. И чего они там так долго возятся? Ах, эти старики! Умеют только красиво говорить, плести интриги и быть важными, пока все в порядке, но, когда что-нибудь случается, у них сразу дрожат поджилки — никакой закалки! Когда что-нибудь взрывается... да, это был хорошенький взрыв, взлетела на воздух их партия, их будущее и карьера, свобода, богатство и демократия — все взлете-

ло на воздух за несколько дней, это было ошеломляющее зрелище, подземные толчки, огненный столб — и все сразу охвачено пламенем, все заходило ходуном, не осталось ни одной точки опоры, волны обрушились на их землю, высокие яростные волны, от них не было спасения, оставалось лишь бежать, оставить землю, которую поглощали волны. Что они там так долго возятся? Они уже задержались на десять минут, акция должна быть точной, иначе все может взлететь на воздух, все без остатка, ах, эти старики, эти выдающиеся деятели! Несколько часов назад один такой выдающийся деятель, почти отец народа, схватил его за руку в коридоре секретариата, сотрясенного землетрясением; все бегали от одного к другому и непонимающе заглядывали в глаза: неужели это возможно, неужели возможно? Выдающийся деятель долго жал ему руку, гладил по плечу и испуганно поглядывал сквозь пелену, он льстил Шернеру, прямо завлекал его словами: всем известно, что он, Шернер, честный и прямой человек, надежная опора в опасные времена, и сейчас, в дни испытаний, он должен доказать, как любит народ, свободу и демократию, он молод, интеллигентен, предприимчив, перед ним будущее, а будущее не бывает связано с определенным местом, пойдете с нами, говорил выдающийся деятель Шернеру, куда бы мы ни отправились, разве вы, молодой брат, не наш по душе, разве не так же мыслите, как и мы? Молодой брат мыслил так же, он чувствовал, что для него настала историческая минута, а он любил исторические минуты, особенно когда они касались лично его, — вершить историю, вершить историю любым способом лучше, чем не вершить ее вообще. А выдающийся деятель ручался за его будущее, моя особа, говорил он, гарантирует вам будущее, мы уходим не навечно, мы вернемся, народ не забудет вам этого, и демократия не забудет. Для Августина Шернера настала историческая минута, на него повеяло дыханием истории, побуждая его к героизму и жертвам, к тому же, честно говоря, он побаивался коммунистов и грядущих дней. Но что они там так долго возятся? Сквозь плотно обитые двери доносился приглушенный разговор, что они так долго возятся? Нельзя же сидеть до бесконечности, их акция должна быть точной, а они уже просрочили четверть часа. Он взглянул

на часы, летели секунды, минуты, летело время, нельзя допустить, чтобы они проспали акцию, эта акция не должна взлететь на воздух. Шернер энергично встал и, пройдя по ковру в тяжелых лыжных ботинках, законванный в броню и бесстрашный, открыл дверь и молча показал на часы. В комнате клубился едкий дым, двое жгли документы, тайные списки, картотеки, сообщение о финансовых фондах, они уже кончили работу, и выдающийся деятель, вытирая платком руки и вспотевший, покрытый копотью лоб, кивнул Августину Шернеру: сейчас идем. И действительно немного погодя он вышел, вздыхая и извиняюще улыбаясь: что делать, мой молодой брат, отвратительное занятие — все уничтожать и сжигать, словно ты поджигатель, и я не рожден для подобного занятия, но оно должно быть выполнено. Августин Шернер кивнул в знак согласия, закинул свой рюкзак и взял в обе руки чемоданы выдающегося деятеля, а выдающийся деятель еще раз оглядел комнату, его глаза, казалось, повлажнели, он прощался с родиной, с неблагодарной родиной, эта комната — последний символ того здания, которое он хотел создать и которое рушилось, неблагодарная страна, неблагодарный народ — одним махом разрушил дело стольких лет, но мы еще вернемся, вернемся. Выдающийся деятель не отказывался от борьбы, он уезжал, чтобы продолжать борьбу, и хотел покинуть эту страну с гордо поднятой головой, но поднимать гордо голову было не перед кем, сейчас перед ним была лишь передняя и этот парень с чемоданами. Он отправился за парнем по коридору и потом вниз по лестнице, все время думая о том, о чем не переставал думать в последние дни. Как все это случилось? Когда все началось? В чем главная причина? Где они сделали ошибку? Ему казалось, что у них не хватило осторожности, предвидения, мужества и что все зависело от этого, они плохо смешали карты, плохо их роздали. И где они сделали такую глупую и непоправимую ошибку? Политика была для него партией в карты или в шахматы: его ходы и ходы противника, предвидение, расчет, гибкость. Так где же они сделали эту роковую ошибку? Он сердито поморщил нос: «народ, народные массы», как они могли допустить, чтобы все решалось на улицах?

Они вышли в темноту, большими хлопьями падал

влажный снег; выдающийся деятель неловко поскользнулся и чуть не упал, на нем были высокие канадки, и он чувствовал себя отвратительно в этих высоких канадках, губертусе и охотничьей шляпе — вот в каком виде ему приходится уезжать, в каком виде приходится бежать, смешно и недостойно, еще счастье, что вокруг темно и никто его не видит. Нет, он никогда им не простит свое позорное бегство, он навсегда запомнит эту ночь, никогда не простит им, коммунистам, народным массам и этим трусам, что смылись при первом дуновении холодного ветра; никакого прощения — самое строгое сведение счетов. Все это было поражением, крушением основ, крушением здания, которое он созидал, политическим проигрышем, все происходившее в последние дни он считал личным оскорблением: он всегда соединял личное с общественным. Дело всей его жизни! Его самопожертвование, его изнурительный труд, ночи, полные бдения, постоянная спешка, постоянные переезды, подорванное здоровье — и за все это такая благодарность! Неблагодарный народ! Никогда этот народ не уважал великих людей!

Он был убежден, давно убежден в своем величии, в том, что он великий представитель этого народа, потомок и прямой наследник великих мужей прошлого. Но он всегда слегка подозревал, что его народ еще не дорос до того, чтобы понять миссию великих мужей, и вот сейчас все подтвердилось. Его выгоняют в темную ночь как собаку, как паршивую, никуда не годную собаку! Такое не забывается — ни эта ночь, ни позор, ни эти насмешки. Он не забудет этого и не простит!

Дверцы машины открылись, это был комфортабельный черный автомобиль, он сливался с темнотой и тихо урчал, человек за рулем, открывший дверцы, не двинулся с места, чтобы помочь Августину Шернеру с чемоданами; Августин Шернер положил чемоданы на заднее сиденье, поместил рядом выдающегося деятеля, а сам сел вперед, к шоферу; шофер проворчал под нос что-то похожее на ругательство, и выдающийся деятель наклонился вперед и вежливо спросил: простите, в чем дело? Но шофер в ответ фыркнул: ничего. Машина двинулась, Августин Шернер облегченно вздохнул, акция продолжается, акция продолжается, уже ничего не изменишь, все решено. Вокруг них стоя-

ла сплошная тьма, уже ничего не изменишь, неужели ничего не изменишь? Может, открыть дверцу и выскочить, они едут не слишком быстро, можно выскочить, ничего с ним не случится, но что дальше, что завтра, послезавтра? Нет, он не может вернуться, он отправился в далекий путь, откуда не возвращаются. Неужели он больше не вернется? Да, пока они ехали по тихим, плохо освещенным улицам, им овладело предчувствие, даже уверенность, что он больше не вернется, никогда, никогда, он протирал замерзшее стекло, пытаясь увидеть хоть что-то в том городе, который он покидал, но видел лишь неясные силуэты домов, мерцающие огни и падающий снег. И им еще сильнее овладела грусть, подлинная, не наигранная грусть, без всякой позы и жестов. Эта непонятная грусть овладевала им в редкие минуты жизни и тогда он сам себя не понимал и казался сам себе странным и незнакомым. Ерунда, успокаивал он себя, пройдет, я просто расчувствовался, у меня ностальгия, ностальгия, звучит как стихи, настоящая ностальгия или не так? Возможно, и не так, но теперь уже все равно, теперь не время для стихов, не время для поэзии, время поэзии уплыло вместе с юностью и городом, который он покидал, город его юности, город поэзии, город грез. И вновь его захватило грустное чувство, приступ грусти поднялся в нем, как волна боли, и исчез, оставив после себя лишь пустоту. Мой город, думал он, моя родина, родина, в его груди словно что-то взорвалось, и после взрыва возникла пустота, и в пустоту откуда-то издалека прокралась заглохшая было мыслишка, весьма похожая на страх. Они ехали через мост. Тихо погромыхивал настил. Дунай был призрачно белый, заснеженный и мертвый. Августин Шернер повернулся, пытаясь еще раз увидеть огни города, но ни одно окно не светилось, и он так ничего и не увидел.

Остановились они в поле, у группы молодых тополей. Винцент Ульрих закурил, удобно развалился на сиденье. Отсюда всего несколько десятков метров — и эта вшивая страна останется позади, наступят минуты, лишённые страха, минуты великолепного отдыха, он будет сидеть в тихом кафе и ничего не бояться, просто сидеть и пить черный кофе, а не смотреть с опаской на дверь, и официант, протягивающий ему спичку, не бу-

дет казаться подозрительным, и никаких шагов не будет слышно, только великолепный отдых, тишина и покой, никакого страха, никакой погони. Уголкем глаза он посматривал на своих пассажиров, они сидели тихо, в сплошной тьме, но Винцент Ульрих и в темноте чувствовал, как они боятся, боятся неизвестности, будущего, и его охватила радость, он знал, что это за люди, когда-то они стояли по другую сторону баррикад и были его врагами; схвати он их тогда, три года назад, их ожидала бы пуля в затылок и ров, и вот сейчас он тешился мыслью, что мог бы бросить их здесь; они дрожали бы от страха и со слезами на глазах ползали бы в темноте, но он знал, что не бросит их, у него был приказ, а он все еще оставался солдатом в строю и выполнял приказы. Выдающийся деятель очнулся от полудремы: мы стоим, почему мы стоим, что случилось? Вокруг царила тьма, виднелась необозримая равнина, безнадежная, тоскливая равнина, темная, безлюдная и опасная бесконечность; где они стоят, что случилось?

— Что случилось? — спросил выдающийся деятель, и Винцент Ульрих, бросив сигарету в снег, проворчал:

— Вылезайте из машины!

— Что? Почему?

— Конечная станция, — сказал Винцент Ульрих с ухмылкой. — Извольте выйти.

Августин Шернер вылез из машины, по его спине бежали мурашки, было сыро и холодно, и вокруг необозримая темная равнина, грозная и опасная. Он открыл дверцу и помог выбраться выдающемуся деятелю, потом с усилием вытащил тяжелые чемоданы. Они стояли в темноте, стараясь проникнуть взглядом сквозь необозримую ширь, но эта ширь была словно из серой ваты, она не отступала и, казалось, все плотнее сжимала их. Винцент Ульрих тоже вышел из машины, натягивая перчатки, потом кинул взгляд на чемоданы, спросил:

— Что это?

— Это мои чемоданы, — сказал выдающийся деятель.

— Вижу, — усмехнулся Винцент Ульрих. — Жаль, у меня нет грузовика.

— Что это значит?

— Это значит, что вы понесете сами.

тьма — не сбился ли он с пути, не заблудился ли в необозримой шири? Он поминутно останавливался, уже забыв о своем превосходстве над этими двумя типами, сейчас он только мучительно всматривался в тьму.

Но наконец он заметил вдали тусклый огонек.

Теперь они зашагали прямо на этот огонек. Августин Шернер тащился из последних сил, чемоданы были невыносимо тяжелы, ему хотелось бросить их и сесть прямо на снег, сидеть на снегу и плакать, плакать от безмерного напряжения и от отчаяния, но он боролся, спина того чудовища удалялась, и Августин Шернер твердо знал, что она не должна исчезнуть.

Наконец чудовище остановилось, ожидая, пока подойдут его спутники. И тут торжественно, почти растроганно бывший збройник Винцент Ульрих сказал:

— Поздравляю вас, господа. Вы в свободном мире.

14

Уже все было собрано, все было готово, но Эма по-прежнему ходила по комнате, словно не могла, не желала остановиться. Это всегда мучительно — последняя минута перед прощаньем. Человек никогда не привыкнет расставаться, как бы часто он это ни делал. Янко Крап сидел в кресле и курил. Что он знает о том? Сидит себе и курит, приходит и уходит, он вечно куда-то уходит, уезжает, что он знает о том? Что он знает о разлуке? Этот угол, этот дом для него лишь маленькая часть большого мира, один из его домов, маленький уголок в большом мире, который он сделал своим, он приходит и уходит, и он не знает, что такое разлука. Но Эма, Эма знает, что за вещь разлука и ожидание.

— Ну, я пойду, — говорит Янко Крап. — Уже время. Эма смотрит на часы.

— Да. Время. — И добавляет: — Знаешь что? Я, пожалуй, провожу тебя.

— Лучше не надо.

— И все же я пойду.

— Ты могла бы еще полежать, не к чему было вставать. На улице холодно и сыро.

— Надену ботики, — сказала Эма. — Мне нужен воздух. Нужно подышать воздухом.

— Сплошная сырость, а не воздух, — проворчал Янко Крап. — Никакого там нет особого воздуха.

— Мне нужен хоть какой-нибудь воздух.

Она не в силах больше оставаться одна в комнате, не может лечь, напрасно бы она старалась уснуть, всю эту короткую ночь Эма так и не закрыла глаз, она лежала и думала... Янко Крап спал рядом и спокойно посапывал носом, ей хотелось больно дернуть его за волосы, ущипнуть за нос, он уезжает надолго и спокойно посапывает себе носом, а она не может спать и все думает, думает. Янко пожал плечами, услышав о ее желании проводить его, как хочешь, угрюмо сказал он, как хочешь, плохо, когда прощанье затягивается, нужно уходить сразу, не раздумывая, и не оглядываться назад. Жизнь идет вперед, позади остаются только воспоминания и прочие лишние вещи, которые мешают движению, подлинная жизнь только в движении вперед. А жалость и грусть разлуки — опасная роскошь, ведь даже Янко Крапу было не все равно: он покидал городок, товарищей и Эму, а все это было его жизнью, здесь оставалась его работа, его любовь и ненависть, детство и ошибки, дни его славы и его унижения, все было связано с этим куском земли, который он покидал и куда, возможно, он больше не вернется.

Они шли молча, снег слегка примерз, в воздухе повис слабый туман, уличные фонари подслеповато мигали, и вокруг была такая тишина, что даже собаки не брехали, глубокая предрассветная тишь. Янко Крап нес в руке чемоданчик с бельем и книгами и, думая лишь о том, что его ждут, ускорял шаг. Эме приходилось почти бежать, она задыхалась.

— Почему ты так бежишь, Янко Крап? Ты и вправду бежишь от меня?

— Просто привычка.

— Глупая привычка. Вечно ты куда-то спешишь.

Я спешу, чтобы не опоздать, мне нельзя оглядываться, вот я и спешу, я хочу быть среди первых — вот в чем мое честолюбие, мне хочется побольше сделать, но не для себя, побольше суметь — как это говорится... быть на уровне эпохи, на уровне исторической минуты, я не хочу тащиться как улитка, потому и спешу. Да, я мог бы спокойно остаться, никто меня не принуждал уезжать, мы одержали победу, и я мог остаться, но я

не хочу оставаться, я хочу торопиться, словно школьник, я спешу учиться, словно маленький школьник, хотя на моих висках седина, и я знаю, это преждевременная седина, мой отец тоже раньше времени поседел и раньше времени умер, нужно жить торопясь, нельзя, чтобы тебя опередила смерть, нельзя мешкать ни минуты, нельзя оглядываться назад. И все же он оглядывался назад: там оставался поселок, его юность, друзья, родные, дорогие его сердцу мертвые и дорогие живые, оставалась Эма... Да, с Эмой просто беда, спешит за ним, тяжело дыша, что будет с ним и Эмой? И Эма думает о том же: что будет с нами? Почему он уезжает? Ведь это не на месяц, а на два года, огромный срок, черная пропасть во времени, сколько это дней, часов и минут, сколько это ночей, сколько ночей! Почему он уезжает? Она не спрашивала его о том, они люди свободные, у них договор о полной свободе друг друга, у них немало молчаливых договоров. Но эти договоры хороши лишь на день, в обычной ситуации, и плохи тогда, когда жизнь сходит с рельсов и начинает брать за живое. Сегодняшней ночью она минутами даже подозревала Янко Крапа: может, он уезжает потому, что не хочет жить с ней? Ведь бессмысленно уезжать, когда все в порядке, когда наконец все успокоилось, люди его любят — она была с ним на заводе в те волнующие дни и видела, что его любят: это их сын, Янко Крап из поселка, их защитник, ведь в детстве они носили его на руках, почему же он уезжает? Полная подозрений, она вспоминала все оскорбления, отголоски сплетен, она вспоминала косые взгляды, но ничего подозрительного не находила, нет, я не способна на ревность, думала она, не в силах представить Янко Крапа с другой женщиной, нет, это невозможно. Может быть, я ему надоела? Ведь бывает так: человека охватывает равнодушие, и все, что раньше освещало жизнь, становится мертвым и скучным, но нет, с ним, Янко Крапом, такого не бывало, он приходил к ней шумный и полный желания, она оставалась для него желанной. Что за привычка так бежать? И куда он так бежит? Учиться! Будет сидеть за партой, грызть науку и нерешительно отвечать, и это Янко Крап, победитель и воин, с измазанным чернилами пальцем. Янко Крап, мой муж! Мой муж, которого я люблю. Мой неугомонный муж. Мой глупый ре-

бенок. Мой вечно жаждущий и вечно куда-то спешащий парень. Два года — сколько же это недель и дней, часов и минут и сколько это ночей, сколько ночей?

В зале ожидания нечем было дышать, они вышли на перрон. Перрон был безлюдный и темный.

— Я же говорил, — проворчал Янко Крап, — что нет здесь никакого особого воздуха.

— И все-таки хоть какой-то воздух, — ответила Эма. — Дома я бы просто задохнулась.

Янко Крап слышал Эмины слова, хотя старался не слушать их, не слушать звука ее голоса, при прощании человеку нужно быть настороже и не слышать некоторые слова, не замечать странного изменения в голосе, все это телячьи нежности, они только делают человека слабым. Он взглянул на часы, поднес их к самым глазам и стараясь разглядеть в тумане циферблат.

— Через минуту будет поезд, — сказал он.

— Не можешь подождать?

— Ехать так ехать. Терпеть не могу ждать.

— Он терпеть не может ждать! Каких-то несколько минут. А я могу ждать два года. Что же говорить мне?

— Я буду приезжать каждый месяц, — с угрюмым видом пробормотал Янко Крап.

— Знаю, знаю. Привет из далеких краев. Незнакомый человек в доме. С чужой улыбкой. И товарищи. Телефоны. И потом снова: привет — и поезд дает гудок.

— О чем-то ты забыла, — засмеялся Янко Крап.

— Плевать мне, я не корова, которую раз в год водят к быку. Я хочу иметь парня в постели каждую ночь.

— Ну, это слишком большие запросы.

— Просто нормальная жизнь. Физиологическая потребность, Янко Крап.

— Ничего не поделаешь, Эма, — серьезно сказал Янко Крап. — Как-нибудь придется тебе выдержать.

— Опусты пкрывало, женщина! — насмешливо воскликнула Эма. — И надень грубую власяницу. Ходи по тернистой тропе, убей свою грешную плоть и покайся. Вам бы нужно устроить монастырь для жен коммунистов, Янко Крап.

Из станционного здания донесся звонок телефона. Потом раздались удары колокола. Вдали засвистел паровоз, Янко Крап вздохнул. И кто это выдумал прощанье? Прощанье — отвратительная штука, мещанский

пережиток, сантименты, сморкание в платочек, отменить его — и все. Отменить проводы в общегосударственном масштабе. Новой эпохе нужны темпы, молниеносные старты, к чему ей прощанье, это проявление отсталости, оно замедляет темп. Он схватил чемоданчик и быстро направился к проходу, Эма шла рядом, заспанный дежурный вышел из кабинета, он узнал Янко Крапа и почтительно с ним раскланялся, теперь все узнавали Янко Крапа, поезд загрохотал на повороте и наконец подошел к перрону, неся с собой жизнь, огонь, пар, шум. Янко Крап поставил чемодан, готовясь проститься с Эмой, но Эма прошла мимо и поднялась на ступеньки вагона. Что все это значит?

— Что ты делаешь, Эма?

— Видишь, сажусь в поезд.

Вижу, вижу, подумал Янко Крап, но что все это значит? Может, она действительно хочет ехать со мной? Он покачал головой и вошел в вагон, купе было пустое и холодное, и Эма села, сжавшись, в уголке.

— Ты похожа на девчонку, — сказал Янко Крап, он хотел сказать совсем не то, но Эма и вправду походила на девчонку, она жалась в углу купе, на голове у нее была шапочка с отделкой из каракуля, которая все время непослушно сползала на лоб.

— Этой девчонке многовато лет, — сказала Эма.

— Ты словно девчонка с катка, — сказал Янко Крап. И ему сразу стало весело, теперь он был рад, что Эма села в вагон, сидит с ним в купе и шапка с меховой отделкой сползает ей на лоб; он радовался, что Эма еще с ним. — Что это ты придумала?

— Это оказалось сильнее меня, — насмешливо ответила Эма. — Прямо захватило. Муза дальних странствий, понимаешь? — И немного погодя добавила: — Не бойся, Янко Крап. Я сойду на ближайшей станции.

— Я очень рад тебе, Эма. И совсем не боюсь.

— Ты прав, я безвредна. Тоскующая жена. Любящая и тоскующая жена. Я не пилю тебя, я плачу.

— Напрасно ты смеешься. Я говорил правду.

Эма сверкнула глазами.

— Если все правда, то почему ты уезжаешь?

— Ты же знаешь, я не могу иначе.

— Знаю, что можешь.

— Хорошо, тогда я так хочу.

— Хочу, хочу! — воскликнула Эма возмущенно. — Что ты за человек? Кто ты, Янко Крап, если твоя воля должна быть законом и для других? Ты не один, не один на свете!

— Как раз потому я так и делаю.

— Что такое? — Эма продолжала кричать.

Янко Крап, успокаивая ее, положил руку ей на колено, но она резко ее отбросила. Поезд, фырча, с усилием пробивался сквозь белую мглу. Эмины щеки пылали от гнева и возмущения. Янко Крап отодвинулся, уселся поудобнее и закурил сигарету.

— Я так поступаю, потому что я не один на свете.

Он смотрел не отрываясь в белую мглу и спокойно говорил, говорил вещи, которые для него были очевидными и неопровержимыми, были самой реальной действительностью, такой, как это холодное купе в поезде и белый туман за окном, как Эмины глаза и ее слегка согнутый мизинец; нет, он не один на свете, вместе с ним миллионы, десятки миллионов таких же, как и он, пролетариат всего мира, свобода в общемировом масштабе, революция, верность, служение идее. Нельзя покрываться плесенью. Нельзя отставать от общего движения, надо спешить, бежать, не опоздать. Он революционер, и у него свой долг. Его долг в том, чтобы не задержаться на месте, не опоздать, быть впереди, возглавить борьбу, понимает ли это Эма? Эма понимала, она знала, что за человек Янко Крап, что слова его идут из глубины сердца и правдивы, что в нем нет никакой фальши, ведь как раз за это она его и любит. Да, она его любит и понимает, но ее жажду этим не уймешь, она хочет, чтобы он был ее до конца.

— Тебе надо было взять в жены знамя! — зло воскликнула она. — Пролетарское знамя, продырявленное в Боях. Ведь так это у вас говорится?

— Не шути этим, — возмутился Янко Крап.

— Или какое-нибудь важное постановление, или какую-нибудь общепролетарскую героиню, которая знает толк в счастье всех масс.

— Я взял тебя.

— Но я только женщина.

— Моя женщина.

— Только женщина, Янко Крап. И не желаю быть героиней, заруби себе на носу, не желаю быть героиней.

ней, не хочу класть себя на алтарь, на алтарь любого движения. Коммунист! Какое-то средневековье! Замуровывает жену и уходит, звеня оружием, а жена должна ждать, пока вернется воин и победитель. Слезы умиления. И в перерыве между двумя походами торопливо делают ребенка. Победители! Это даже не эксплуатация, это вымогательство. Вымогательство любви!

Она возмущенно посмотрела на Янко Крапа и в удивлении остановилась: Янко Крап смеялся и потирал пальцем шрам на правой щеке, он вовсе не был уничтожен и разбит, нет, он смеялся, и ему было только весело при виде ее возмущения; поезд засвистел, приближаясь к станции, и Эма поднялась, но Янко Крап все еще смеялся, смеялся громко, весело и заразительно, смеялся, похлопывая себя по коленям: ты настоящий клад, Эма, у меня воинственная жена, нужно тебя привлечь к нашей работе, Эма. Она в нерешительности стояла перед ним, не зная, как ей вести себя, сердиться она уже не могла, а Янко Крап продолжал смеяться: я не отдам тебя за весь мир, Эма, буду приезжать каждую неделю и стеречь свой клад. Поезд въезжал на станцию, и Эма собиралась выйти, но Янко Крап обнял ее за талию, смотря ей прямо в глаза и уже не смеясь.

— Счастье твое, что я тебя люблю, — сказала Эма.

— Да, мое счастье, — согласился Янко Крап.

Они долго стояли на ступеньках вагона. Наконец поезд тронулся.

— Я буду приезжать каждую неделю. Каждую неделю, Эма.

Он видел, как Эма кивнула головой, шапка с меховой отделкой сползла на лоб, она походила на девчонку, брошенную всеми девчонку среди белого тумана. И только теперь он почувствовал всю боль разлуки.

Ни в тот день, ни в ту ночь, ни на следующий день и в следующую ночь Мареку так и не удалось зайти к Олине — происходившие события затянули его, и он не мог и не хотел от них отрываться; все в редакции спали прямо на столах, варили черный кофе и сидели

на телетайпе и телефонах, это была настоящая фронтовая редакция, боевая часть, и Марек не мог бросить фронт, да и не хотел этого, он хотел быть на передовой, чувствовать свою силу и правду, не быть зевакой, стоящим на тротуаре, а быть в центре толпы — единый шаг, единое дыхание, единая воля; словом, это была веселая, хорошая работа, вызывающая подъем. Минуты боя, восторженные минуты, когда ему хотелось кричать. И Мареку казалось, что вся его прошлая жизнь стремилась к тому, чтобы вылиться в этих криках восторга и радости. Вместе с другими миллионами рук он сбрасывал тяжелое бремя и просто физически ощущал огромное напряжение мускулов; и сразу чувство облегчения — свобода, вольность, простор; отчетливей всего было чувство простора. А где-то там виднелось светлое будущее. Наступили стремительные и торопливые дни, они совсем не походили на то, что он раньше представлял как революцию. В заводских воротах стояли часовые, и по улицам порой проходили вооруженные милиционеры, а порой на грузовике проносились рабочие и пели песни, но никакого взрыва, никаких обломков, никакой все сметающей взрывной волны, все напоминало большие маневры, приготовление, но вовсе не войну. С чувством сожаления он носил в кармане куртки ненужный револьвер; он еще не знал, что величие событий измеряется не количеством стреляных гильз и не количеством убитых. Он хотел быть героем, наконец-то он был к этому внутренне подготовлен — во всяком случае, так он считал — и хотел доказать свою готовность всем, и прежде всего самому себе, доказать за все три года вялой и покорной жизни. Он находился среди молодежи, среди боевых ребят и сам был боевой парень, но стрелять было не в кого. Враг словно исчез в безвоздушном пространстве, и вокруг остались лишь победители и масса молчаливых лояльных личностей. И все они, Марек и остальные ребята из редакции, могли лишь не спать, спорить и делать газету. И еще мечтать — эти ночи не обходились без романтики.

Марек не мог остановиться в своем движении. Он не был только щепкой, влекомой стремительным течением, он был пловцом с собственным направлением. Он был предан делу революции до страсти, до самозабвения, словно желал нагнать все то время, которое упу-

стил. Он заседал в комитетах и комиссиях, проверял, был строгим и часто несправедливо жестким — в общем, боевым парнем. Он обвинял без долгих выяснений, подозрения превращались в уверенность и становились причиной для суда, и действительно, времени на размышление и обдумывание не хватало: к тому же он чувствовал, что за его несправедливостью, за его резкой бескомпромиссностью все еще таится старый страх, страх за собственное прошлое, прошлую слабость и бесконечную нерешительность — и он становился особенно жестоким к тем людям, которые духовно походили на него самого. Но это были весьма слабые укоры совести, к тому же, как он считал, буржуазной совести. В целом он был доволен собой: так быстро сменить старую кожу! Боевой парень, и чем решительней он становился, тем больше отходил от своего прошлого, от сомнений, даже от возможности ошибок и заблуждений.

Наконец волна начала спадать, он мог увидеть вещи в их реальную величину. Пришел конец фронтовой обстановке — они возвращались в тыл. Домой он вернулся почти вечером, еле успел раздеться, как уже заснул. Спал он глубоким сном без сновидений и проснулся только около полудня. Никелированная кровать Бенде тускло светилась в вечном полумраке комнаты. Бенде! Боже мой, он совсем забыл о нем в эти дни! Мысли о больнице были так далеко от того, что происходило в эти дни! Сейчас он почувствовал укоры совести, но легко расстался с ними — ничего не случилось, он пойдет и навестит Бенде, пойдет немедленно. Он побрился и почувствовал себя свежим и отдохнувшим, как хорошо вставать, когда все в порядке и впереди светлое будущее! И что только нас не ждет! Он открыл окно, на галерее судачили женщины — старый дом не изменился, будто ничего и не произошло, по-прежнему он был полон запахов плесени, кислой капусты и крикливых сплетен. Марек, посвистывая, сбежал с лестницы и пошел по улицам, которые теперь принадлежали ему, он шел, распахнув куртку, с развевающимся на ветру шарфом. Но по мере того, как он приближался к больнице, хорошее настроение покидало его. У него не было никаких плохих предчувствий, но все же перестал свистеть и прибавил шаг. По лестнице он почти взбежал, тяжело дыша. По коридору плавал голубоватый

парусник с белым парусом — сестра. Он хотел ее остановить, но не решился. Она остановилась сама:

— Кого вы ищете? — У нее было ясное, чистое лицо с морщинками вокруг глаз. И ясный, холодный взгляд.

— Товарища Бенде.

Она опустила голову:

— Бенде... Не знаю такого. Когда его доставили?

— Две недели назад. Пожилой человек. Больное сердце.

— Ага,— сказала она и опустила глаза.— Старый еврей?

— Товарищ Бенде.

— Этого старого еврея здесь уже нет.

— Где он?

Она подняла голову:

— На льду.

Глаза у нее были чистые и холодные, как кусочки льда.

— Простите, где?

— Да в мертвецкой.

Марек все еще не понимал: на каком льду? Но голубоватый парусник уже отплывал, и он не мог переспросить, про какой лед шла речь, и вдруг все поняли мертвецкая, она упомянула о мертвецкой. Бенде мертв, лежит в мертвецкой, у него синее лицо и лекарство течет по подбородку, нет, уже не течет, Бенде мертв, он не нуждается в лекарстве. Возможно, это просто ошибка, ведь случаются же глупые ошибки. И Марек отправился к врачу. Врач был полон сочувствия: да, очень трудный случай, запущенная болезнь, мы сделали все, что могли, но вы понимаете, есть же предел. Марек понимал. Когда это случилось? Сегодня ночью. Врач не знал подробностей, дежурил его коллега, но утром мы вам звонили, покойный хотел, чтобы мы вам сообщили, когда он умрет. Когда умрет, повторил Марек. Да, сказал врач, судя по всему, у него нет родственников, и нужно его похоронить, организовать похороны. Разумеется, похороны, как эхо повторил Марек. Мы вам звонили, продолжал врач, но не застали вас в редакции, тогда позвонили к нему на работу, в типографию, и теперь все в порядке с похоронами, вы можете о них не заботиться. Все в порядке, сказал Марек. Спасибо. Все в порядке, нет, я не забиваю себе голову

заботами о похоронах. Никаких сложностей с похоронами, лакированный гроб, серебряные кисти, черные галстуки, да, мне нужно купить черный галстук, черный галстук на похороны Бенде, ведь Бенде мертвый и холодный, он теперь не будет со мной спорить никогда. Что значит никогда? Белая равнина, белый снег, глубокий снег, высокая вершина и ветер, метель и Бенде в женской шубе, он обливается потом и тяжело дышит, уже тогда он был болен, уже тогда у него, наверно, болело сердце; что значит никогда, если Марек слышит его прерывистое дыхание? Что такое никогда? Какая-то глупость, этот лакированный гроб — сколько стоит гроб? Есть ведь разные гробы — дубовые, и сосновые, и даже металлические, есть разная лакировка и разные цены, пышные похороны и похороны победнее, есть ценник на похороны и гробы, и вход на похороны свободный. Никаких билетов и ограничений. Да, еще речи над гробом, длинные и короткие, маленькие и большие: смерть вырвала из наших рядов благородного и пламенного борца, да, есть речи над гробом, произносимые совершенно даром. Но что общего с этим всем у Бенде? Все это сплошная глупость: мертвецкая, больница, лакированный гроб и речи — все это сплошная глупость.

Нужно просто зарыть его в землю и сделать надгробие из камней. Здесь лежит Бенде, красный комиссар. Он сражался и пал в бою. Мой друг Бенде. Наш товарищ Бенде. Груда камней и старое знамя, сражался и пал в бою. Пролетарий всего мира. Красный комиссар. Мой друг Бенде.

Все в порядке, звенят трамваи, спешат люди, с крыш падает мартовская капель. Скоро весна. В редакции все идет своим чередом, да, вы слышали, умер тот смешной директор, старый член партии, будут устроены пышные похороны, коммунистические похороны, пойдет милиция, вся типография и редакция. Словом, народные похороны. Марек не мог оставаться в редакции. Долго бродил по улицам и наконец пошел домой. Никелированная кровать Бенде таила в себе укор. Хозяйка стояла в дверях притихшая, вся в черном. Бедняжка, сказала она. А вы уходите? Как же с его вещами? Оставьте его вещи себе, сказал Марек. У него будут пышные похороны, ему уже ничего не надо. А я возьму с собой укору совести. Они отправятся со мной, будут

моим имуществом. Здесь бесконечно пустынно, потому я и ухожу. Я не хочу быть одинок, не могу.

Чемодан он оставил внизу, у лифта. Позвонил, ему сразу открыли, словно ждали. Да, Олина ждала его. Маленький Марек осторожно выглядывал из-за ее спины, он был измазан до ушей. Марек хотел взять его на руки, но малыш недоверчиво отступил.

— Ты похож на индейца, — сказал Марек.

— Я достала мармелад, — сказала Олина, — а он весь его потаскал.

Она закрыла за Марекom дверь. Он разделся в знакомой передней, на вешалке висела его партизанская шинель, сожженная на спине. Ничего не изменилось, изменился лишь маленький Марек, он похудел и вырос. Изменилась и Олина. Но вокруг ничего не изменилось, жизнь продолжалась. Жизнь всегда продолжается, при всех обстоятельствах.

— Где твои вещи? — спросила Олина.

— Внизу. Я не знал, надо ли мне их нести.

— Ах, Марек, — сказала Олина. — Ты как малое дитя.

И немного погодя добавила: садись в свое кресло, в нем никто не сидел, пока тебя не было. Кресло было прежним и стояло на прежнем месте. Ничего не изменилось. Он вернулся. Сидит в своем кресле. Ничего не изменилось, жизнь продолжается. Это очень знаменательно, что жизнь продолжается. При всех обстоятельствах. Совершенно великолепное, радостное чувство.

Маленький Марек осторожно кружил вокруг кресла. Он разглядывал незнакомый предмет среди знакомых предметов.

— Это папа, — сказала Олина. — Вот он и вернулся.

— Иди сюда, индеец, — позвал его Марек. — Давай знакомиться снова.

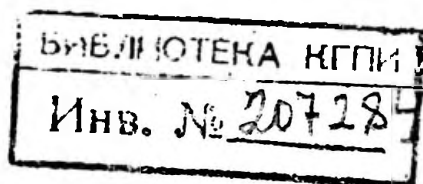
— Сначала он умоется, — строго сказала Олина.

— Я не хочу мыться! — кричал мальчуган.

Но Олина взяла его на руки и понесла, он кричал и бил ногами, а Олина смеялась. В дверях она обернулась и улыбнулась Мареку: теперь, когда ты здесь, мне трудно уходить от тебя даже в ванную. Теперь я от тебя не уйду никуда. Теперь я буду с тобой, Марек, до самой смерти, а это очень долгий срок.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
ВРЕМЯ ДОЛГОГО ОЖИДАНИЯ. <i>Перевод Л. Касюга</i> . .	7
Город спит и говорит во сне	9
Старая и добрая провинция	96
Время ожидания	165
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ	299
Солнце, туман и дождь. <i>Перевод Л. Касюга</i>	301
С ними бог. <i>Перевод Л. Касюга</i>	411
Мертвые и живые. <i>Перевод Н. Аросевой</i>	499
КОЛОКОЛА ВОЗВЕЩАЮТ ДЕНЬ. <i>Перевод Л. Касюга</i> .	637
Холодный ветер утра	639
Кому день, кому ночь	820



ВЛАДИМИР МИНАЧ

Поколение

Редактор *Б. Шуплецов*. Художник *В. Добер*. Художественный редактор *А. Купцов*. Технический редактор *Л. Жарова*. Корректор *Э. Зельде*

Сдано в производство 3.IX.1973 г. Подписано к печати 8.II.1974 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂ тип. № 2. Бум. л. 15¹/₄. Печ. л. 51,24 + 0,105 п. л. вклеек. Уч.-изд. л. 53,29. Изд. № 16698. Цена 3 р. 57 к. Заказ № 660

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.